

ЛИТЕРАТУРНАЯ МОСКВА

ЛИТЕРА-
ТУРНАЯ
МОСКВА

1956
СБОРНИК ВТОРОЙ

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ**

ЛИТЕРАТУРНАЯ МОСКВА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
СБОРНИК МОСКОВСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

СБОРНИК ВТОРОЙ

Под редакцией:

М. И. АЛИГЕР, А. А. БЕКА, В. А. КАВЕРИНА,
Э. Г. КАЗАКЕВИЧА, А. К. КОТОВА, К. Г. ПАУСТОВСКОГО,
В. А. РУДНОГО, В. Ф. ТЕНДРЯКОВА

✱

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1956

**ПРОЗА,
ПОЭЗИЯ,
ДРАМАТУРГИЯ**

*

А. Фадеев



ОТ РЕДАКЦИИ

13 мая 1956 года советская литература понесла тяжелую утрату. Ушел от нас Александр Александрович Фадеев. Но книги, созданные им, будут жить, они отмечены ярким талантом и большим мастерством. Его романы «Разгром» и «Молодая гвардия» стали любимыми книгами советского народа и широко известны за рубежом. Он оставил нам прекрасные рассказы, очерки, сценарии, критические и теоретические работы по литературе, накануне смерти собранные им в большую книгу «За тридцать лет», и наконец — роман «Последний из удэге».

В богатом творческом наследстве Александра Фадеева роман «Последний из удэге» занимает совсем особое место. Писатель всю свою жизнь не прекращал работу над этим романом, но так и не закончил его. Однако даже в том виде, в каком он известен нашему читателю, «Последний из удэге» среди прочих произведений Александра Фадеева может рассматриваться как самое полное и значительное выражение его таланта. В истории развития советской литературы роман занимает свое неоспоримое место. Поистине гигантский замысел этого романа состоит в том, чтобы, повествуя о событиях гражданской войны на Дальнем Востоке, охватить и далекое прошлое человечества — первобытный коммунизм, на стадии которого в то время еще находилось племя удэгейцев, и события социалистической революции в России, с главными деятелями ее, большевиками, ведущими массы на великую историческую борьбу.

Этот роман не утратил остроты и значения и сейчас, поскольку в нем ярко выражены основные закономерности нашей эпохи.

Печатаемая нами первая глава из пятой части «Последнего из удэге» вновь возвращает читателя к первоначальным

истокам романа, к истории удэгейского племени. В грандиозной метафоре, которой открывается эта часть, подчеркнута существование маленького народа на фоне бурных событий девятнадцатого века; здесь как бы предвещается, что «внеисторическому» существованию удэгейского народа скоро придет конец и что одному из героев романа Масенде, о рождении, детстве и юности которого изумительно сжато и выразительно рассказано в этой главе, суждено будет впоследствии принять участие в событиях, имеющих поистине международное и эпохальное значение.

В архиве Александра Фадеева насчитывается несколько десятков записных книжек. Предлагаемая вниманию читателя записная книжка 1927 года содержит первоначальные наброски к публикуемой нами главе из «Последнего из удэге». Она позволяет заглянуть в творческую лабораторию художника и проследить, из каких первоначальных впечатлений, из каких кропотливо и тщательно собранных материалов возникла печатаемая глава. Материалы эти в какой-то степени показывают место главы в пятой части, ее значение для всей сложной композиции романа.

В публикуемой записной книжке роман еще носит первоначальное название: «Последний из тазов». Тазами (да-цзы) китайцы называли ту часть удэгейцев, которая подверглась наиболее сильному влиянию китайской культуры. Писатель в записной книжке дает истолкование этого слова. Мы видим, что от тазов Александр Фадеев в дальнейшем, разрабатывая роман, перешел к удэгейцам, наиболее независимой части народа,— этот переход обусловлен темой романа.

Записная книжка печатается целиком. Она раскрывает творческий мир писателя во всем его богатстве. Мы находим здесь одну из самых ранних записей «Последнего из удэге», которая возникла еще в то время, когда Александр Фадеев находился во власти другого своего замысла; он остался невыполненным. Речь идет о романе «Провинция», мотивы которого возникли у А. Фадеева в период партийной работы на Северном Кавказе (1923—1926 гг.). В этом романе А. Фадеев хотел показать первоначальную эпоху советского строительства.

Для того периода характерно, что столкновение нового со старым происходило теперь не на полях битвы гражданской войны,— сферой этих столкновений стали хозяйство, быт, психология людей.

Наблюдая за жизнью Ярославля, где Александр Александрович подолгу бывал, он видел те же столкновения старого с новым, какие бросились ему в глаза еще на Северном Кавказе. Писатель наблюдает, сопоставляет, обобщает. Так возникают записи на страницах этой книжки.

Такого рода записные книжки сопровождали Александра Фадеева всю жизнь. Они полны ярких зарисовок, в которых то

отражается жизнь природы, то даются тонкие наблюдения за поведением людей, за их характерами, то оцениваются прочитанные книги. Дальнейшая публикация рукописного, еще находящегося в стадии изучения, литературного наследия Александра Фадеева даст возможность читателю ознакомиться с этими материалами. В частности, его последние записные книжки свидетельствуют о настойчивой и напряженной работе над романом «Черная металлургия», при этом писатель пристально следил за современной советской и зарубежной литературой, продолжая осмысливать и свой опыт и опыт других писателей.

До самого последнего дня он жил богатой творческой жизнью, которая вся была обращена к народу, к советской литературе.

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ УДАГЕ

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

I

В том самом году, когда Аахенский конгресс скрепил «Священный союз» царя России и королей Англии, Австрии, Пруссии, Франции против своих народов, в году, когда студент Занд убил Коцебу и Меттерних готовил Карлсбадские постановления «против возмутителей общественного спокойствия», и в воздухе пахло манчестерской бойней и хиосской резней, и правительство Англии готовило свои «шесть актов о зажимании рта», а Шелли — «Песнь к защитникам свободы», в году, когда родился Карл Маркс, а Дарвин начал ходить в школу, а Виктор Гюго получил почетный отзыв французской академии за юношеские стихи, — в те времена, когда английский капитал завоевывал Австралию, и Индию, и Канаду и проникал в Китай, а доктрина Монро о невмешательстве европейцев в дела Западного полушария только вызревала, когда самыми большими рабовладельцами в мире были графы Шереметьевы — хозяева почти 100 тысяч ревизских душ, и родоначальник миллионеров Морозовых — крепостной Савва откупился от помещика Рюмина за 17 тысяч рублей ассигнациями, когда зачинаялось декабристское движение, зарождался либерализм в Европе, и кончался ампир, и Наполеон еще был жив на острове Святой Елены, — времена промышленного переворота, банков, английской политической экономии, утопического социализма, гегельянства, времена

Вандербильта Первого, Роберта Оуэна, Бетховена, Грибоедова, Дениса Давыдова, «Руслана и Людмилы», — в эти самые времена и в том самом году, холодной осенью, среди людей, не знавших, что всякое такое происходит на свете, родился на берегу быстрой горной реки Колумбе, в юрте из кедровой коры мальчик Масенда, сын женщины Сале и воина Актана из рода Гялондика.

Когда он родился, он не закричал, как полагается новорожденным. Его красное, плоское, мокрое личико было слишком спокойным. И принимавшая его повивальная бабка, схватив его за ноги и опустив вниз головой, сильно встряхнула его. И он закричал так, что слышали в поселке. А бабка, обернув его в очень тонкую по выделке и очень грязную пеленку из рыбьей кожи, стала тетешкать его в сильных морщинистых рукав и запела:

Кян-кян-кичив!
Кян-кичив!
К реке ходил
кян-кичив!
Рыбку поймал
кян-кичив!
Вот каким стал
кян-кичив!
Вот каким стал
кян-кичив!..

II

Народ кочевал по стране, могущей вместить семь с половиной таких государств, как Япония, и десять таких государств, как Англия с Шотландией и Ирландией и Нормандскими островами.

Когда-то народ был велик. В песне говорилось, что лебеди, перелетая через страну, становились черными от дыма юрт.

Племя удэге кочевало в широкой и очень длинной полосе лесов и рек, протянувшейся между хребтом Дзуб-Гынь и океаном, и по ту сторону хребта, по течению рек Викина, Хора, Имана, Улахэ, Даубихэ — рек, получивших эти названия много позже от китайцев. Эти реки впадали в одну большую реку, за которой жил народ маньчжуры. А эта большая река впадала в еще большую реку, из-за которой приходили гиляки, солоны и еще десятки племен, а откуда и куда она текла, эта самая большая река, об этом никто не знал.

Где-то еще жил в ладу с таинственной силой неизвестный и неисчислимый, как песок, народ китайцы. Оружие, материи, посуда, орудия для обработки земли шли от китайцев к маньчжурам, а от маньчжуров попадали к племенам, кочевавшим по

рекам за хребтом Дзуб-Гынь, а от них попадали и на эту сторону хребта, к морю. Но когда Масенда родился, удэге не знали еще фитильного ружья.

Племя удэге, как и другие племена, редко кочевало и зимовало вместе, потому что многим людям трудно кормиться в одной местности. Племя странствовало группами родов во главе с наиболее опытным из родовых старшин, а в трудные для питания годы — отдельными родами, а иногда даже семьями с разрешения старшего в роде.

Роды бродили летом, а поздней осенью собирались группами на зимовку. А все племя собиралось только тогда, когда к этому призывала военная нужда. Тогда вступал в силу вождь племени, в обычное время такой же охотник, как и все.

Род, первый увидевший опасность не только для себя, а для всего племени, разводил на сопке костер войны. Если это было ясным днем, бросали на костер полынь, дающую густой белый дым, а если пасмурным днем — ветви сырой ясеницы, дающие черный маслянистый дым, а если ночью — ветви сырой ясеницы и лапки ели, от которых столб искр подымался до неба. Завидев дым или огонь войны, ближайший род разводил свой костер на сопке, а ближайший к нему разводил свой. Так по кострам на сопках узнавали об опасности и сходились в условленное место.

Каждый год приходила весна с жаркими днями и холодными ночами. Задували ветры с юга и юго-запада, несли летний туман, пасмурь, потом ливни и наводнения. Приходила долгая сухая солнечная осень и незаметно превращалась в такую же сухую солнечную зиму. А потом дули ветры с севера или северо-запада, холодные, малоснежные, земля промерзала на три четверти человеческого роста, а весной снова оттаивала.

Неуловимо для одного человеческого поколения, но заметно для многих поколений подымался к небу берег океана. Выверченные в скалах водой и галькой шершавые котлы, в которых прапрадеды ловили руками маленьких крабов, когда еще сами были маленькими, эти котлы все выше подымались над морем и были теперь недоступны для волн.

В памяти людей оставались только те годы, когда природа отступала от своих привычек или жизнь людей была чревата особенными удачами или несчастьями: год снежной грозы или год прихода русских; год Каньгу, бога бурь, или по-китайски — тайфунов; год оспы; год засухи, он же — шынги; год желудей, он же год перехода тигров с запада на восток: урожай желудей приманивал кабанов, а по следам кабанов шли тигры. Их было так много, тигров, в тот год, что люди не охотились на кабанов, а часами пролеживали, уткнувшись лицом в хвою, боясь увидеть священного Амбу.

Так проходил век Масенды, век, в котором, кроме удач и несчастий, общих для всех людей, были и его собственные удачи и несчастья. А если бы их не было, трудно было бы сказать, живет ли это сам Масенда или одно из его перевоплощений: известно, что душа, прежде чем совсем исчезнуть, переселяется во все меньших и меньших тварей. И тля, ползущая по листу, вела в прошлом жизнь зайца, а в еще более глубоком прошлом жизнь медведя, Мафа, а в совсем далеком прошлом жизнь того огромного существа с обвисшей шерстью, костяными бивнями и тяжелыми ступнями, которое известно людям только по стариковским преданиям да по остаткам, находимым в земле.

III

Впервые Масенда узнал сам себя в расшитом крашеной шерстью кожаном мешке за спиной у матери. Масенда обнимал ее просунутыми в отверстие в мешке сильными ножками и чувствовал округлые движения ее бедер.

Это было в год белок, когда был неурожай шишек и полчища белок хлынули в долины; это было ранней весной, очень тяжелой для людей: зимние запасы кончились, рыба еще была подо льдом, ничего еще не росло, зверь уходил в глубокие дебри, шла война с ольчами, племя уходило на юг и голодало.

Но у Масенды не осталось плохой памяти об этом времени: он помнил продолговатую косую теплую грудь матери, с темным карим соском и желтовато-розовыми пятнышками вокруг соска, и вкус материнского молока. Возможно, он помнил эту грудь еще и раньше, а может быть и позже,— у удэгейцев кормят грудью до семи лет. Но он помнил эту грудь и вкус материнского молока до сей поры, а как выглядела его мать, он уже не помнил.

И вот другое воспоминание: он ступает по траве коричневыми босыми ножками, его ведет за руку мать, а рядом идет отец: он хорошо помнит отца, от его расшитых оленьих унтов и до кончика беличьего хвоста на шапке.

Они подходят к какой-то юрте, возле нее много-много людей, и в маленькой колыске, похожей на салазки, сидит маленькая девочка в красивом, расшитом крашеным волосом и перетянутом ремешками кожаном мешочке.

Что-то делали все люди вокруг него и этой девочки,— потом он узнал, что это был обряд обручения. Но в памяти осталось только, как девочка заплакала, а незнакомая женщина стала качать ее в колыске и запела о том, что девочка будет матерью честного и сильного поколения, и девочка уснула.

После того он никогда уже не ходил к этой маленькой девочке и, когда стал юношей, не помнил, какая из девушек была этой маленькой девочкой. И женился он не на этой девочке, а на Гулунге, которая разговаривала с деревом-осокорем.

IV

Мать погибла, когда он был уже взрослым. Она утонула в один из годов бога Каньгу, когда реки так разлились, что вся страна стала одной водой, и над водой возвышались только узкие спины хребтов, полные зверей и людей.

Но пока мать была жива, она имела на каждого сына и дочь ореховую палочку и осенью, когда начинал падать лист, насекала на палочках прошедший год. Так вела она счет годам детей своих.

До тринадцати лет Масенда, как и все мальчики его народа, спал в то же время, что и птицы, и там, где придется, и не спал совсем, если нельзя было, и не знал обуви ни зимой, ни летом и почти не знал крыши над головой.

Девочки с ранних лет проводили все свое время с женщинами. Еще не кончался возраст, когда играют с куклами, как они уже работали: собирали коренья, травы, грибы, варили пищу, мололи зерна, выделывали кожи, туески, корзинки, рогжки, вышивали шерстью и волосом и раковинками. Если многие из них умели бить острогой рыбу и стрелять из лука, то только потому, что этим в часы досуга занимались и женщины.

А мальчики жили отдельной от мужчин жизнью, но подражали ей во всем, кроме куренья табаку. Любимыми игрушками мальчишеских игр были лук, нож, острога. А лучшими товарищами в играх — собаки и лодки-оморочки.

До тринадцати лет запрещалось стрелять в зверей и птиц: мальчик так рано получал лук в руки, что он не мог знать, какой зверь или птица потребны человеку, и в какое время года можно убивать, и какие звери и птицы священны. Мальчики стреляли в бабочек, жуков, стрекоз, кузнечиков, и считалось позором не попасть, если цель была не дальше седмижды семи шагов.

Жизнь мальчика — это игра. Но всякая игра — испытание.

Испытывали бичом для собачьей упряжки. Мальчик становился посреди лужайки, нагнув оливковую спину и упершись руками в колено выставленной вперед ноги. А остальные мальчики становились позади полукругом на расстоянии бича и один за другим щелкали бичами по спине, стараясь попасть в одно и то же место плоским кожаным концом. Испытание кончалось, когда показывалась кровь. А случаи, когда бы испытуемый сам просил пощады, были очень редки.

Испытывали на огне. Испытывали на порез ножом на лопатке. Испытывали на морозе,— это испытание очень любили наблюдать взрослые, и это было самое веселое испытание. И очень распространенным было испытание на голод.

И в колыбельных песнях и в песнях любовных, где девушка воспевала возлюбленного-героя, одним из самых прекрасных качеств героя была умеренность в еде. Взрослые удэге принимали пищу дважды — на восходе солнца и вечером перед сном. А наиболее прославленные охотники и воины ели только один раз поутру. Легендарный мужчина-герой не ел совсем.

Во всех этих играх Масенда был таким, как все.

Ему миновало семь зим, а может быть шесть, а может быть восемь, когда с севера пришли солоны, и отец его, Актан, разжег костер войны. Это было в середине лета. Племя собралось в низовьях реки Такеме, где кочевали в это время род отца — род Гялондика — и роды Кимунка, Амуленка и Юкамика.

Детей обезоружили и заперли в юрты. Они слышали сверху по реке крики боя и, визжа, катались по юртам — не от страха, а от желания принять участие в бою.

Удэге разбили солонов и преследовали их далеко на север за реку Нахтоху и взяли в плен много воинов. Тех из них, кто отказался вступить в удэгейские роды, убили, а остальные вошли в пленившие их роды, и через два-три года их уже нельзя было отличить от удэгейцев.

Другим памятным событием детства было появление китайских купцов. Их было двенадцать, китайцев, все в одеждах из материи. У них были ружья. У старшего было на пальце костяное кольцо.

Они перевалили хребет с верховьев речки Арму — притока Имана — и пришли из страны маньчжуров. Им нужны были шкурки соболя, молодые олени рога — панты и корень женьшень. И каждый охотно отдал им большую часть того, что имел: обывай велел делиться всем добытым и без того, чтобы человек просил, а если человек просит, значит ему это очень нужно.

Китайцы были веселый народ и пили горькую воду, от которой становились еще веселее. Они угощали этой водой и удэге, и несколько охотников сделало по глотку, чтобы не обидеть гостей. Охотникам не только не стало весело, но несколько дней они были больны, и все удэге были обижены. Может быть, китайцы хотели их отравить, а может быть посмеяться над ними. Но китайцев отпустили с миром, так как не видели от них большого зла.

Китайцы просили добыть им на следующий год побольше шкурок, корня, пантов и обещали принести взамен ружья. От ружей все отказались. «А шкурок, корня, пантов,— сказали,— много в лесу, приходите — мы вам дадим сколько вам надо».

Самым счастливым временем в жизни людей были встречи кочующих родов поздней солнечной осенью. Это было время браков. Шли охотничьи игры и танцы перед зимней охотой. И собиралось так много детей, насмотревшихся за лето чудес и так жаждавших померяться силами, что от детского щебета, от стремительной беготни, от взрывающихся в воздух стрел, от мечущихся по реке оморочек, от дымов костров, вокруг которых, подражая взрослым, дети вели беседы,— счастливо становилось на душе у всех людей.

Масенда, голый по поясу, сидел у костра на берегу моря среди других мальчиков и слушал рассказ мальчика из рода Юкамика, как он встретил красного волка.

И подошел отец. За спиной у него был большой лук, который он мастерил все эти дни, у пояса нож и стрелы в кожаном чехле. В руке у него была рогатина.

— Пойдем,— сказал отец.

Масенда послушно встал.

Они молча пошли вверх по реке, долиной, поросшей таволжником. Быстро темнело. Они шли вглубь гор и леса. Стало совсем темно. Отец свернул в кустарники дуба и стал взбираться по крутому отрогу. Масенда старался не отстать от него. Отец был очень быстр на ногу и очень силен. Стрела его лука проходила насквозь и козулю и изюбря, а застревала в кабана и медведе из-за их сала. Отец подвел Масенду к черному отверстию пещеры, окруженной мшистыми скалами.

— Здесь ты будешь жить семь дней и семь ночей. Выходить из пещеры нельзя. Можно петь песни,— сказал отец.

Он передал Масенде рогатину, нож, лук, стрелы и пошел вниз, в темноту, так тихо, что его не было слышно.

Масенда понял, что он должен пройти испытание, прежде чем стать охотником и воином, и вошел в пещеру. По звукам шагов он угадывал, что она глубока. Все рассказы о злых духах пришли ему в голову, и он испугался. Он не решился идти далеко вглубь и пошарил босыми ногами — нет ли травы. Везде был камень и мелкая щебенка. Он чувствовал кожей тела и по запаху, что пещера — сухая. Он размел щебенку ладонями и сел лицом к выходу, держа оружие близ себя.

Из рассказов взрослых он знал, что самое страшное в испытании, когда темной ночью набредет зверь. Говорят, бывали случаи, когда тигрица — Амба — уносила мальчиков во время испытания, как она унесла легендарного мальчика, убившего стрелой священную птицу Куа.

В отверстие пещеры, широкое у основания и узкое вверху, видны были ближние кусты, гемные вершины деревьев, растущих внизу, в долине, и небо, полное крупных звезд. В их свете, таком огнистом в небе и бледном на земле, он стал различать

выступы камней на стенах. И страшно было чувствовать черную глубину за своей спиной. Чтобы приучить себя к этой черной глубине, он сел спиной к выходу. Уши слышали все, что происходило за его спиной, и рассказывали ему: бормотание внизу — река; выше по реке тихое звенение — ключ; это птичка шелохнулась в кустах, а это сами листья переместились под тяжестью росы; посыпалась мелкая щепенка — просто так, от времени, а эта — оттого, что пробежала ящерка.

Привыкнув к темноте, он лег на камни лицом к выходу и уснул.

Проснулся он от распространенного шума в кустарнике далеко внизу, с той стороны реки. Все было в тумане, светало, он различил в шуме листьев ступание легких копытцев, — стадо коз пришло на водопой.

Светило солнце, мир пещеры был тесен, хотелось пить и есть. Он прошел в глубину пещеры, она имела конец и очень скучно было сидеть в ней.

В середине дня прямо на отверстие пещеры вышел пятнистый олень. Из кустов, по которым олень с шумом взбирался на гору, показались сначала его ворсистые рога, и темнокарие дикие и добрые глаза его встретились с глазами Масенды, ждавшего его, натянув тетиву. Олень, взвившись, сделал косой скачок выше своего роста и умчался, просвистав по листве. Масенда успел бы пронзить его, если бы захотел.

Так прожил он в пещере семь ночей и семь дней без пищи и воды. За это время очень много событий совершилось вокруг него. Залетали летучие мыши. Каждое утро приходили козы на водопой. Черный медведь перешел через реку. Масенда не видел его, но знал, что это черный, — по шуму, когда он шел сквозь кустарник и переваливался в воде: медведь был невелик. Белохвостый орлан ловил рыбу в реке. Вороны гоняли сорокопута. Звезды падали с неба каждую ночь, — очень много падало звезд. И этот год так и назвали потом: год падения звезд.

Масенда спел все песни, какие знал, — военные, охотничьи, любовные и те, какие поют при камлании по всем случаям жизни, — не пел только колыбельных. Жажда так мучила его, что заглушала голод. Тело его стало невесомым, но мышцы его были тверды, и, если бы надо было, он мог бы просидеть еще столько же. А может быть, и не мог. Все-таки очень трудно было высидеть последний день.

Красное солнце перешло на верхушки деревьев, а понизу уже клубилась вечерняя сырая мгла, когда Масенда, надев на себя оружие так, как носил его отец, держа в руке рогатину на весу, спустился в долину. Он шел среди предсумеречного гама синичек, бесшумно, как охотник и воин. Он был счастлив.

И вот сквозь кусты проглянуло море вдали. Он подходил к поселку. Девичий голос журчал в сумерках. Девочка лет девяти, в унтах из рыбьей кожи и такой же тонкой рубахе в мел-

ких и хрупких разноцветных раковинках, стояла, обняв ствол могучего осокоря, начавшего желтеть, и разговаривала с ним. Она быстро обернулась к Масенде, узкая, вся в блестках, как ящерка. Это была Гулунга из рода Амуленка. Род ее три года зимовал за хребтом, на реке Иман, но Масенда узнал ее: он дружил с ее братом Есси Амуленка.

Девочка спокойно смотрела на Масенду из-под своих тонких-тонких бровей.

— О чем ты говоришь с ним? — спросил Масенда.

— Это мой жених, — сказала она. — О чем можно говорить с женихом?

— Вы обручены? — пошутил он.

— Нет, он заколдован. Я обручена с Салю из рода Йоминка. Но я не буду жить ни с кем. А ты разве будешь жить со своей «давным-давно»?

Так среди молодежи назывались жених или невеста, обрученные в детстве. Теперь уже редко совершались браки по этому обручению.

— Не знаю, — ответил Масенда.

— В поселке только и говорят, что этой осенью Актан выйдет на охоту с четырьмя сыновьями, — сказала Гулунга.

— Все, что я добуду, все ваше...

И Масенда, точно плывя над землей от слабости, прошел мимо девочки в поселок.

Он шел среди юрт, и все мужчины, и юноши, и старки по обычаю не смотрели на него. Только его вчерашние товарищи по играм украдкой подглядывали из-за кустов. Отец и братья тоже не посмотрели на него, точно ничего не случилось.

Мать, возившаяся у костра, откуда наносило такими вкусными запахами, что у Масенды помутилось в голове, вошла в юрту и вынесла Масенде унты, рубаху, три кафтана из изюбриной кожи и шапку с беличьим хвостом. Масенда надел все на себя и сел на корточки и так сидел до тех пор, пока мать не позвала его ужинать вместе с отцом и братьями.

Хотя он шел один близ реки, он не разрешил себе испить, зная, что это неблагоприятно. И только перед едой отпил несколько глотков из глиняного тулуза — по старшинству, после отца и братьев. Но когда все уснули, он сбегал к реке, лег животом на гальку и пил долго, как лось. Утром отец отдал ему свою трубку.

Так Масенда стал охотником и воином.

VI

На этом кончилось хорошее время в жизни Масенды, как и в жизни всего народа. Но сначала нужно рассказать о двух последних счастливых событиях в жизни Масенды.

Он вошел в пору юности, и стрелы его лука тоже пронзали козую и оленя насквозь, а застревали только в кабане и мед-

веде из-за их сала. Он и сам уже не раз бывал под кабаном и медведем и дважды падал ниц перед тигром и несколько раз тонул и участвовал в трех войнах, и тело его было в бесчисленных шрамах, как тело всякого охотника и воина. За это время Масенда несколько раз встречал Гулунгу, но она была для него, как и всякая другая девочка.

Потом пришла осень, когда Гулунге уже неинтересно было разговаривать с осокорем, и Масенда встретился с ней на реке. Она пришла за водой, а может быть и не за водой. Но прошло еще два года, пока они стали жить вместе.

Вот как это случилось. Отец Гулунги хотел, чтобы дочь соблюла обычай и жила с Салю из рода Йомишка. Но Гулунга не хотела жить с Салю. Отец Гулунги, старший в роде Амуленка, был человек умный, знал силу времени, и род стал кочевать вместе с родом Гялондика: как похитишь невесту из рода, с которым кочуешь вместе?

Так они кочевали вместе два года. На третью осень род Гялондика зазимовал на Сыдагоу, а род Амуленка на Даубихе. И этой осенью Масенда похитил Гулунгу.

Из всех прекрасных осеней в этой стране это была самая прекрасная. Солнце так долго грело, что, казалось, совсем не будет зимы. Лист долго не опадал, зеленая хвоя стояла среди красной листвы. По утрам ударял морозец, деревья, сухая трава и мох были точно в розовой шерсти. Утром солнце сквозило через морозную дымку, а потом грело все сильнее, сильнее,— и все оттаивало и мокро сияло вокруг. А к полудню уже было так сухо, что над открытыми пригорками с поникшей белесоватой травой попархивали простенькие бабочки, бог весть где переждавшие морозец.

Масенда шел пять дней и четыре ночи и к вечеру пятого дня увидел внизу в долине, в медленно плывущем дыму, продолговатые юрты, похожие на рыб, уснувших в воде. Людей не видно было, так это было глубоко.

Он спустился в долину перед рассветом, пока не выпал иней. Он рассчитал верно: иней заглушил его ход в траве и для людей и для собак.

Два дня и две ночи он просидел на ели среди красных деревьев почти над самым поселком. И если бы подул ветер с той стороны, откуда он пришел, собакам нанесло бы его запах. Мужчины не вышли еще на охоту и целые дни проводили на реке, были острогами последнюю ходовую кету. В это время и секачи и особенно самки настолько оббивают хвост, плавники и брюхо о гальку, что уже вяло плывут и плохо пахнут, но удэге любили такую кету с запахом.

Несколько раз Масенда видел Гулунгу, но всегда она была на виду у других людей. Наутро третьего дня женщины и девушки пришли в рошу, где сидел Масенда, собирать хворост. Гулунга была среди них.

Женщины расходились в разные стороны и сносили хворост в общую кучу. Обняв руками большую охапку хвороста, откинув головку с тоненькими черными косами, Гулунга плыла среди красной листвы прямо на Масенду. С отчаянной отвагой он соскочил с вершины дерева. Она узнала его, мгновенно сбросила хворост, чтобы облегчить ему дело, и даже успела отряхнуться. Он заткнул ей рот, схватил ременными петлями ноги и руки и, очень довольную, потащил сквозь кусты волоком за косы.

Самое удивительное во всем этом было то, что никто из женщин, кишевших в роще, их так и не увидел: все ложились среди кустов, чтобы им не помешать.

Масенда знал, что, если его нагонят братья Гулунги, ему надо будет защищать невесту и его убьют. И он сделал все, чтобы уйти. Он развязал Гулунгу, и во все время их скитаний она тоже делала все, чтобы уйти. Несколько дней и ночей подряд они бежали бегом через хребты, через хвойные зеленые леса и через леса в красной листве и часами брели по горным ледяным рекам, чтобы запутать следы. Так вышли они на реку Эрльдагоу, в сторону, противоположную той, куда им надо было идти, и в первый раз остановились на ночлег.

Они не развели огня и спали, прижавшись друг к другу, как дети, и проснулись от сотрясения воздуха над ними. Была пора изюбриного гона, и стадо голов в триста клубилось вокруг. Старые самцы и молодые ревели на разные голоса — то низко, то высоко, иногда они уже просто хрипели от страсти. Чаша стонала эхом, и иней сыпался с деревьев.

Когда Масенда и Гулунга пошевелились, самка и два самца, преследовавшие ее, дали такого дробота двенадцатью копытами, что все стадо услышало и ринулось в чашу, и иней посыпался с деревьев часто, как снег. Но где-то близко, голосом, полным тоски, раз за разом, очень однообразно, еще ревел старый самец. Видно, он ничего не услышал.

У Масенды был с собой только нож. Неслышно, как дух, он прокрался на голос. Одиноким марал-отшельник с подседевшим брюхом, с пушистыми внизу и костяными вверху рогами в развитых отростках стоял в болотце, проломив копытами тоненькую пленку льда и увязив ноги в грязь по бабочки. Он ревел, как дьявол, выкатив карие выпуклые помутненные глаза и положив тяжелые рога на спину. Изюбри сбивались в пары и табунились, а его не принимали к себе, и он так и состарился в одиночестве.

Масенда сделал скачок в две длины человеческого тела, и старый марал рухнул под ним, пораженный в шею, и волны крови облили руки Масенды. И тут только Масенда заметил, что Гулунга стоит рядом. Она шла за ним следом, боясь остаться одна. Они стали пить кровь по очереди.

Когда солнце стало пригревать, они уже были муж и жена. За много дней и ночей скитаний они не сказали друг другу ни слова и не видели в словах никакой нужды.

Забавно было, придя с женой в свой поселок на Сыдагоу, застать братьев Гулунги — одного моложе другого — во главе со сверстником Масенды Есси Амуленка. Но посмеяться пришлось все-таки Есси, потому что он и не думал преследовать Масенду. Он прямо направился к Гялондикам, зная, что все будет по обычаю, и очень хорошо проводил здесь время.

Род Гялондика отдал за жену Масенды обычный *тори* — железный котел, три рубашки и три копыя и за похищение еще железный котел и десять рубашек.

На обратном пути Есси не уступил дороги бурому медведю, и медведь вынул у него глаза. И Есси стал шаманом. Потом роды Амуленка и Гялондика всегда кочевали вместе.

А последним счастливым событием в жизни Масенды-вонна было рождение первого сына. Потом у него были и еще сыновья и дочери, но он уже не радовался им, зная, что они рождаются на несчастье себе.

ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ

(18/I 27 г.—8/V 27 г.)

Москва — Ярославль — Москва

18/I 27 г.

М. Рейснер¹. «Мещанство» («Красн. новь», № 1 от 27 г.).

1. «Мировая скорбь» и «культ сверхчеловеска».

2. Индивидуализм, как основа мировоззрения и страшнейшая *безличность*.

3. Почва для Наполеонов и Кавеньяков и величайшая разрушительная сила.

4. Идеал уюта, порядка и *фашизм*.

5. Мещанство у нас.

Деревня: старый уклад. (Пример: подмосковье.)

Город: «Далеко не всегда возможно обеспечить и достаточную перемену занятий, и широту общения, и новую культуру. А монотонность, узость, однообразие неизрасходованных сил неизбежно влекут за собой ощущение гнета, жестокой связанности, непонятного, а потому и ненавистного насилия».

¹ М. А. Рейснер — профессор-юрист, автор научных трудов в области права и психологии.

6. Мещанство в рабочем классе.

7. Хулиганство.

8. *Проблема организации личности.* «Мещанство держится за индивида, но индивид не есть личность. Индивид есть лишь средоточие животных потребностей, привычек и стадного порыва, живущего в нем помимо его воли. *Личность есть социальная организация.*»

«Без организации личности немислим никакой вождь или предводитель».

Вожди пролетариата, как сильные и сознательные *личности.*

9. Ненависть «безликого» мещанства к организованной личности пролетария.

10. Бюрократизм и формализм.

11. Пролетарий «деклассирующийся» в госаппарате: карьеризм и чванство.

12. Обеспечение *творческого* начала.

В «Провинции» проблему мещанства поставить со всей силой. Особенно — в рабочем классе. 1) Лиду, кишашую в «прекрасных» *надстройках* мещанского бытия — *непрерменно* в итоге повенчать в *церкви*. Не знаю только с кем: *либо* с хулиганом Мишкой Степуренко — тогда надо показать, как Мишка от хулиганства эволюционирует *просто* к мещанству (*породившему* хулиганство, особенно о влиянии родителей его в этом деле). Но это жаль, хотелось бы поставить его на «правильный путь», уж больно удал парень. (Он и покоряет Лиду вначале своей *удалостью* — это естественно.) *Либо* с мещанином умным и *добрым*, покорившим ее *именно* добротой, «простившим» ей ее «мятущуюся душу» и «понявшим» ее по-своему. Тогда особенно подчеркнуть влияние *его* родителей. Но в обоих случаях показать их (Лиды и мужа ее) *неверие* с одной стороны и «поэтизирование» церковного брака с другой. Доброго героя Лиды покоряет своей «*необыкновенностью*» (якобы). Мишку — образованностью, манерами (претензии на аристократизм), начитанностью, умением играть на пианино.

Надо испробовать оба варианта.

Чтобы понять, *почему* Лида такая, продумать особенности ее воспитания (уездный романтизм, влияние школы. В отрочестве какой-нибудь «философств.» друг). Возможно, что *венчание* в итоге *не выйdet* — тенденциозно, — но надо попробовать.

Мишка Степуренко — обязательно *рабочий*, а «добрый» — *интеллигент*. Кстати, он должен *принимать* советскую власть, он может даже учиться в какой-нибудь школе повышенного типа имени Карла Маркса и готовиться в университет, например.

(Подумать над тем, кто его родители, и о родителях Мишки.)

2) На обрисовке табачной фабрики показать беспросветность труда на ней, слабость *нашего* воздействия — отсюда влияние *мещанства* и улицы. (Учсть замечание Серединой¹ о замыкании работниц в семью в связи с улучшением материального положения.) Близнякова — член окружка ВКП(б) *от станка*, дома вышивающая под какую-нибудь «простую строчку».

3) *Хулиганство*. Процент безработных среди хулиганов (выборочное обследование Мосгубсуда) — 14,5%, 16,6%, т. е. *источник хулиганства не непосредственно -нищета и безработица*.

«Среда и индивидуум — это элементы некоторой постоянной динамической игры сил, находящихся в соотношении прилива и отлива. Для психиатра индивидуальное бытие является функцией социального бытия» (проф. Е. Краснушкин)².

Хулиган Гвоздь (он же Зуй) — личность умственно-отсталая. Его неспособность к учению, отсутствие способности обобщать и вообще *обдумывать*, немотивированное повседневное юродство (*глупое* юродство, бессвязные фразы, сопровождаемые гримасничаньем: «наших восемь братишек заняли Ростов — в чем дело! — сидим, газуем»), бессмысленные улыбки одним ртом, совершенно наивные, первобытные, — но живые, неосмысленные глаза, — забывчивость. Вместе с тем пронырливость и хитрость, соединение бесстрашия и трусости, чувство товарищества. Терпеливо с юродством переносит боль, не любит одиночества, а наоборот — как можно больше компанию, — с девицами держится либо подражая кавалерам-ухаживателям, употребляя полуосмысленно набор стереотипных фраз, тогда довольно галантен и ловок, либо с беззлобным, но сопровождаемым недвусмысленными и смелыми прибаутками и действиями, насилием, — в таком виде может, вероятно, как-либо надругаться и даже изнасиловать. Большой лгун и плут. Работать не любит.

Сам — рабочий неквалифицированный и отсталый (с мельницы), но служил в Красной Армии и в ГПУ. Особенно развратило его ГПУ. Отец его — бывш. городской. Живет обычно вне дома, приходит домой в безвыходные времена. Правая рука «покровского бога» Луны. (Прочсть: проф. Е. Краснушкин: что такое преступник?) Любит петь блатные песни, которые плохо запоминает и глупо перевирает по-своему. Очень подвижен и болтлив, всегда, как на шарнирах. Вообще типичный

¹ Серединая — работница из Ярославля, партийная активистка.

² Е. К. Краснушкин — видный советский ученый, психиатр.

«безвольный психопат с неустойчивыми чувствами и чрезвычайной податливостью ко всякого рода хорошим и дурным влияниям окружающей их среды». В романе мечется между жизнерадостным комсомольцем Вихорем и «Луной» (последний — «психопат с тупыми душевными чувствами и мощными влечениями низшего порядка, господствующими над всей остальной психологической жизнью»).

Маленькое тщеславие: любит, чтобы его приняли за агента ГПУ, когда уже там не работает, и т. п. Франтится. Любит носить револьвер и военную форму, вообще пристрастен к камтам, значкам, ремешкам и т. п.

6/II 27 г.

*О Ченьюае:*¹ (Кстати имя нужно переменить, но на какое?) Старик не знал, сколько ему лет, но век его был долог. И на протяжении всего своего века он видел, как вымирало его племя (тазы), теснимые китайцами, потом русскими. В нем было много фатализма, потому что племя вымирало неуклонно и потому что постоянны и неотвратимы были циклы природы — смена покровов и температур. Осень суха, зима холодна и суха, так что земля промерзает на 2 аршина, лето туманно. В долины по ночам стекает холодный воздух и лежит слоем, так что, если поднять руку, чувствуется, как лежит и дышит над ним слой теплого. Зимой дуют северо-западные, холодные и малоснежные муссоны, а летом — южные или юго-западные, несущие в конце весны и в первой половине лета туман и пасмурь, а во второй половине лета — ливни и наводнения. *Весной жаркие дни и холодные ночи.* Ченьюае заметил даже, что за долгий его век берег моря поднялся на целую четверть и береговые котлы, в которых он мальчишкой полоскал гальку, теперь стали недоступны для волн.

2/III 27 г.

Марк Анней Сенека о Фабиане — ученике Ареллия Фуска.

«Изложение у Ареллия Фуска было блестящее, это правда, но вымученное и запутанное, слишком много деталей, ритм слишком мягок, чтобы нравиться тем, кто подготовлялся к философии благородной и сильной; его стиль был крайне неровен, то тощий, то до распушенности смутный и расплывчатый; начало, аргументы, рассказ трактовались сухо, в описаниях он не соблюдал никаких правил при выборе слов, только бы они блестели; ни силы, ни глубины, ни энергии, речь великолепная, но скорее распушенная, чем радующая своим богатством...»

¹ Рукою А. Фадеева после слов «О Ченьюае» написано карандашом «Масенде».

«Ему (Фабриану) не хватало силы и остроты борца, но без всякой искусственности речь его сияла естественным блеском».
(Грифцов, Теория романа, стр. 33.)

Просмотр: Ахилла Татия «Левкиппа и Клитофонт», Лонга «Дафнис и Хлоя». (Всемирн. литература) Петрония «Сатирикон». «Эфиопика» Гелиодора (по части композиции).

Греческий роман —

Построен на контroversии:

- 1) мотивы любовные,
- 2) странствий,
- 3) риторические.

Внешняя фабула отделена от внутренней темы.

Проблема: Сочетать толстовское «строение чувств» с умением Дюма «заинтересовать запутанностью событий»?!

3/III 27 г.

Катя («Провинция»), решив писать дневник, ставила своей целью, как можно честней и правдивей записывать в нем свои мысли, поступки, желания — для себя самой. Но как-то невольно получалось так, что она писала как бы с расчетом на то, что дневник будет читаться кем-то другим. Поэтому, описывая будто бы себя, на самом деле она имела перед собой образ какой-то *другой*, воображаемой Кати, — т. е. все поступки, мысли, желания *Кати действительной* она невольно старалась окрасить в какие-то новые, более совершенные и глубокие цвета, какими окрашены были в ее сознании поступки, мысли, желания *Кати воображаемой* и какие (цвета) должны были бы для тех *других* людей, для которых (по существу) писался дневник, показать настоящую Катю с более интересной стороны. Получалось иногда так: сделав более или менее фотографическую правдивую запись, она оставалась ею неудовлетворенной и начинала править и перечеркивала записанное применительно к тем преобразенным мыслям и образам, которые смутно начинали роиться в ней.

Большей частью, особенно в первое время, из этой правки ничего не выходило, т. е. эти новые образы не находили своего словесного выражения, и она, перечеркнув все и испытывая чувство раздражения и неудовлетворенности, надолго забрасывала дневник. Порой же, особенно впоследствии, ей *удавалось* в той или иной степени передать на бумаге эти смутные образы, причем дурные ее поступки, мысли и желания, воплощенные в этих образах, как-то особенно глубоко — дурно выглядели на бумаге, а хорошие — тоже как-то усугублялись в еще более лучшую сторону. В первом случае, перечитав написанное и испытывая чувство некоторого удовлетворения от того, что удалось выразить именно то (или почти то), что роилось в ее сознании, она вдруг начинала думать: «Но как же я тут скверно

выгляжу!.. «Он» (под этим безличным «он» подразумевался тот *другой*, который будет читать дневник), — «он» прочтет и скажет — «ах, какая она дрянь!..» И она тщательно вымарывала все написанное (чтобы тот «другой» не мог бы ничего разобрать), несмотря на то, что она никому не собиралась показывать своего дневника и вообще начала его вести для самой себя. Во втором же случае к чувству удовлетворения примешивалось еще приятное сознание того, что тот «другой» увидит, какая она, Катя, хорошая и интересная, и в этом случае она не уничтожала написанного.

Но в *обоих* случаях она, пытаясь выразить *самое* себя, выражала на самом деле уже *нечто преобразенное*, более конденсированное, и дневник ее был вовсе непохож на дневник, а на что-то другое. После такой удачной записи она долго бралась за него снова, пока не чувствовала нового прилива тех смутных мыслей и образов, которые возникали из ее *действительных* поступков и желаний, но чем-то сильно *отличались* от них в то же время («людям, которые смотрят на вещи с целью записывать, вещи представляются в превратном виде». — Л. Толстой). (Просмотреть: *Рудольф Тенфер*, «Библиотека моего дяди», Отеч. записки, 1848 г., т. 61.)

Здоровым, нормальным детям все вопросы кажутся простыми, имеют одну сторону. Например, они не представляют себе, что одна и та же вещь может быть приятной и в то же время вредной (например, что вредно есть много сахара). Происходит это от недостатка умственного развития, просвещенности и опыта. Противоречия рождаются с увеличением того, другого и третьего (например, наестся сахару до того, чтобы тошнило: после такого *опыта* сахар уже *не только* приятная вещь). Отчасти *здесь* ключ к пониманию большей «цельности» и «гармоничности» Ченьювая, находящегося по своему интеллектуальному уровню в детской поре человечества (родовой коммунизм, хотя уже и распадающийся). Вместе с тем это и *ключ* к его творческому изображению (основываясь даже на *собственных детских* переживаниях можно лучше показать его, Ченьювая, *изнутри*).

Очевидно, сочетание этой более примитивной, не разработанной (благодаря недостаточной образованности) психики с *определенной классовой принадлежностью* — особенно к рабочему классу (ибо внутренняя противоречивость выходца из *мелкой буржуазии* как раз *задана* его социальн. происжд.) — есть первая причина, почему мой центральный *рабочий* герой из «Провинции» прост, непосредствен, естествен в обраще-

нии с другими людьми. Но тогда его интеллектуальный рост, умственное развитие,— а это одно из *основных* в романе, что нужно показать,— неизбежно должно вести за собой утончение психики, более всестороннюю работу сознания, т. е. *уменьшение простоты и непосредственности и увеличение внутренней противоречивости*, обусловленной противоречиями жизни.

Чем же, однако, объяснить тогда необычайную простоту и непосредственность многих передовых и развитых *пожилых* рабочих или даже некоторых интеллигентов (напр., вождей партии, Ленина)? Или это только кажущееся? Можно ли назвать *непосредственным* Ленина, при его необыкновенно развитом интеллекте и связанности, подчиненности всей его богатой психики *одной идее*? Но тогда откуда, если не от непосредственности восприятий, такая веселость, простота поведения, любовь к котяткам и детям и даже к детским радостям (елка, охота, катанье на велосипеде, примитивный юмор французского пестельника, которого он любил слушать)? Очевидно, и мой рабочий герой в какой-то пропорции *должен* сохранить эти свои первоначальные качества. Один из путей к объяснению,— *почему*: связанность с молодым революционным классом, принадлежность и преданность ему (и чувством и сознанием) максимально сливают собственную личность героя с делом класса,— т. е. утончающиеся благодаря интеллектуальному развитию всякие любовные эмоции, понимание сложности и разнохарактерности людей и то или иное отношение к ним и т. п. вещи, коренящиеся в значительной степени в родовом, в биологическом, но утончающиеся и разнообразящиеся через рост классового сознания,— естественно связываются, попадают в зависимость еще в зародыше и в процессе роста от дела класса, наиболее полно выражаются и наиболее полно удовлетворяют личность, преломляясь именно сквозь призму этого классового дела, которое благодаря своему величию и устремленности не дает ходу «личничеству» в узком смысле,— отсюда естественность и простота. Это пока очень общо и мало говорит, но это, вероятно, один из путей к объяснению и пониманию психики передового большевика-рабочего (и не только рабочего) в *чистом*, хотя бы *абстрактном* виде.

Над этим особенно подумать, т. е. идя по этому пути (хотя сотни конкретных примеров опровергают этот путь).

Примеры: 1. Икс — рабочий от станка — жизнерадостен, прост, непосредствен, жизнь очень любопытна ему и сулит будто бы много радости. Он растет, развивается, выдвигается по общественной линии. Попадает в сложную обстановку: видит много завистничества, людской мелочности, сплетни, многие «руководители», старш. т-щи не кажутся ему такими уж простыми, хорошими и преданными беззаветно, как раньше, он должен уже многое прятать в себе от остальных, более следить

за своими поступками, ряд условностей не дает ему радоваться, когда хочется, и печалиться, когда печально, у него появляется связанность движений и поступков, их анализ (после того как он несколько раз попадает впросак), недоверие к людям, сомнение в своей правде и силах. Допустим он еще влюблен *без взаимности* (любовь— это для него теперь очень развитое, большое, многообразное и глубокое чувство, поэтому он ужасно страдает от этого), допустим у него большие трудности в общественной работе, связанные с какими-либо общественными кризисами, для преодоления которых он должен расходувать все силы, отказываясь от многого. *В итоге* — бездна внутренних противоречий. *В самом законченном виде* — это один из путей перерождения. *В большинстве же случаев* — это кончается осознанием причин противоречий, их неизбежности и необходимости жить и работать дальше хотя бы и в таких условиях (если уж они неизбежны), делая в конечном счете и прежде всего *основой* своей жизни свое *общественно-революционное дело*.

В подобном случае X. может быть хорошим большевиком: он достаточно целеустремлен, предан своему делу, он может быть даже вождем, если он вообще крупных сил человек. Но простоты, естественности, непосредственности он все-таки навсегда лишается. Таких, по-моему, большинство (со всем многообразием их индивидуальных вариаций).

2. Игрек — рабочий от станка — те же предварительные данные... но — нет — не те же!.. И здесь, пожалуй, основной корень различия: у меня была не совсем верная основная посылка; а именно: он (Игрек) прост, непосредствен и естествен *не потому, что примитивен*, а потому, что «воспитан» в такой *социальной среде и так*, что собственная личность не представляется ему «средоточием всего мира», вообще он как-то не «носит» *с собой*. Вместе с тем этот первоначальный его период вовсе не лишен противоречий — он попадает в них чуть ли не с пеленок, ибо он родился в обществе, разделенном на классы. Но он трезв и действителен. По мере своего физического и духовного роста он чувствует, что круг противоречий даже еще шире, чем ему казалось. Он ищет их причины и способы их преодоления и очень скоро находит первые в социальном строении общества, а вторые в революционном изменении этого общества. Ему тем легче уйти в последнее, чем меньше он «носился» *со своей личностью*. Дальше он все больше и больше *осознает* себя, как *личность*, но уже в *процессе самого революционного дела*, т. е. как неотъемлемая *часть его*, как *личность социально-устремленная*. Те же «превратности», что и у Икса, появляются перед ним, как препятствия и противоречия *не его, личные*, а препятствия *его* социальному делу. Он старается преодолеть их, не интересуясь тем, как это на него влияет и «что об нем подумают», а в интересах *к л а с с а*, что получается у него совершенно естественно, так же, как есть и

пить. Таким образом, он сохраняет свои первоначальные черты. *Почему же, однако, Икс-ов все-таки больше, чем У-ков?* Потому что рабочий класс живет в мелкобуржуазном окружении и в своем развитии должен преодолевать мещанский индивидуализм и все прочее. Игреки — это лучшие из лучших своего класса. Но именно поэтому Игреки и есть *лицо* класса, его *тип*. Но тогда Иксы — это тоже разновидность *Игреков*, но с большим индивидуалистическим грузом за плечами. Это вместе с тем ключ к пониманию того, как лучшие из крестьян и интеллигенции преобразуются *через Иксов* в Игреки.

14/III 27 г.

Катя с детства ищет идеальной дружбы. Первые плохие последствия дружеской чрезмерной откровенности. Отсюда скрытность в дальнейшем и одиночество. (Продумать, насколько раскрывается она перед Сергеем.)

Деревянные домики с занавесками и цветами на окнах, большие мусорные дворы с парой старых акаций, лавочки у ворот, гнилые солнечные тротуары. Лида выросла среди всего этого и примиряет эту убогость со своими романтическими мечтаниями о прекрасном и героическом (например, с мечтами о «нем»). «Он» и вообще все прекрасное и героическое представляются ей *не* как нечто противоположное окружающему, а, наоборот, *вне* этого именно окружающего (как фона), они вообще не существуют как прекрасное и героическое. Отсюда *на деле* розовая идеализация мещанской убогости и пошлости и бездна кишеней.

20/III 27 г.

Решено!.. «Добрый» героем Лиды будет сын *зубного врача*. Обстановку его квартиры списать с зубного врача Никитина (его же портрет, как портрет отца). Семейная столовая. Сонмище толстых и глуповатых дочерей. Приемная с картинами в красках — какой-нибудь олень, пьющий из ручья, пара голых баб, засиженных мухами, этажерка с толстыми в черных потертых переплетах изданиями Художеств. театра и приложениями к Ниве. Семья большая. Квартира в несколько комнат с коридором. Огромный гардероб в коридоре. Возле него вход в комнату к каким-то двум пергаментным, никому не нужным и всеми обижаемым старушкам (их даже к столу не пускают), происхождение которых и степень родства с хозяевами никто не в состоянии запомнить. На мягких рваных креслах в приемной вечно несколько посетителей, «страдающих» зубами. Таков — увы — итог романтических мечтаний Лиды!

22/III.

У зубного врача лягавый пес, зовут «Дарвин».

Ярмарка в Ярославле.

Мужики и игрушки. Люди в ватных пиджаках неизвестной социальн. породы. Карусель «Марионеточный театр» с «мировым аттракционом» — «спиритический обман — И. Сироткин». Качели с лодочками, расписанными драконами и попугаями. Китайские игры. Обрусевшие китайцы. Рулетка и «Альпийский тир». В последнем хозяин в собачьем малахае, сам похожий на пропившегося рыжебородого сатану с голубыми глазами и красным лицом, возглашает хриплым голосом: «Расчет произведен, игра сделана, ставки принимаются и оплачиваются *в 20 раз более!*.. Желающие *могут* принять участие!..» Граждане ставят пятаки. Мальчик с синяками под глазами стреляет из воздушного пистолета в вертящийся круг (стрелой).

«После выстрела желающие добавить», — кричит, безразлично хрипя, рыжебородый сатана. — *Никто* не желает? Игра закончена!.. Выигрывает *козел!* — 3-я группа — звери!.. Нечет!.. Свободный номер (или: «ваших 80 копеек!») и опять сначала. Рядом такой же тир, но там хозяин молодой, нового образования — в черном пальто с барашком, гладко выбритый, с «культурным» акцентом в голосе. У рулетки все время выигрывает рябой паренек в валенках. Из-под шапки у него жалко торчат потеющие, как в бане, волосики. Руки трясутся.

Мужички покупают игрушки детям. По улочке, напротив друг друга, — кондитерская ЦРК и какого-то Веденеева. У ЦРК народу больше. Вся ярмарка возле старинной церковки, смаживающей на Василия Блаженного. В ней — местный «музеум».

24/III.

Концерт в Ярославле.

Перед выступлением Тамары Церетелли играет скрипка. Лысенкий, в визитке, старичок с сияющим мослачком на затылке (там, где находится мозжечок) хлопает, чтобы все подумали, что он *очень культурный*... Крупнотельый, но с худыми руками в коротких рукавах пиджачка, широко- и мягколицый человек с чуть намечающимся вторым подбородком хлопает ужасно громко (и скрипачке и Церетелли) и умильно улыбается, точно они поют и играют лично ему и смотрят на него лично. Некрасивая жена, рядом, ненавидит его за белые маленькие, чисто промытые руки с отвратительными складочками на суставах пальцев и синими нетрудовыми жилочками. Все это она замечает потому, что Тамара Церетелли поет о великих страстях, катастрофической любви и изменах, о цыганской

воле, и некрасивой жене кажется, что она достойна именно такой любви и вообще таких незаурядных участи. На самом деле лицо у нее в веснушках.

Вообще все притворяются. На самом деле никто ни черта не слушает и не понимает и все «хотят казаться». Среди всех слушают только три цыгана на галерке. Один из них болезненный парнишечка с острыми глазами.

25/III.

Последний из тазов (материалы).

Животные — тотэмы. Геронческие образцы прошлого, которые подражают дети. Развитость всех органов чувств и памяти. Последнее подчеркнуть в Актане (так временно назыву Ченьювая). Актан маленький жил в кожаном, расшитом окрашенной шерстью мешке, в котором его всюду таскала его мать. Вообще тазы расшивали одежду, обувь, ремни и т. п. Полевая работа — женское дело. Мужчины — охотники. Мать — первая воспитательница. Природа заменяет книгу. Ребенок вставал и ложился спать вместе с птицами. С детства развивалась выдержка и спокойствие. Частые передвижения племени. *Появление китайцев и борьба с ними*¹. Борьба с другими племенами своего народа. Переправа на долбленых лодках. Зима. Снежные заносы. Актан не чувствует себя несчастным, трудности ранней весны. Большая спайка племени. Физическое здоровье людей. Бесконечность. *Отец Актана*. Ростом около сажени, широкоплечий и стройный. Он был очень сдержан, правдив и храбр и неоднократно избирался вождем. Жизнь в шатрах, крытых корой. Воспитание отца. Закалка. Умеренность в еде — утром и вечером. Физические упражнения. Привилегии женщин и детей. Актан воспринял от отца верность своим принципам. Вера в *таинственную силу*, влияющую на природу и людей. *Пост и молитва в одиночестве*. Мать хотела сделать Актана знахарем. Что за человек была бабушка Актана? (Вообще о положении женщины.) Подвиги женщин. Женщины средних лет неповоротливы и малоподвижны. Вдовы легко могут выйти замуж снова. Пленные орочки тоже часто шли замуж за тазов. Суеверие. Летние празднества, игры. Запрещение ссор. В колыбельных песнях, которые пели девочкам, их называли будущими матерями благородного, честного поколения. *Идеал человека, мужчины — идеал героя*. Доброта и милосердие, уважение к религии. Воспрещение курения до определенных лет.

Игры детей — подражание занятиям взрослых. Соревнование. Невеста Актана. Ее детство. Мягкосердечие. «Ведь зверю

¹ «Появление китайцев и борьба с ними», — здесь так же, как и в дальнейшем, А. Фадеев подразумевает не китайский народ, а тех полукупцов, полуразбойников, которые с целью грабежа проникали в местности, населенные первобытными племенами.

так же дорога жизнь, как и нам?» — говорила она. Она была большая выдумщица. Она говорила про осокорь, что это ее муж, — только он заколдован, и она разговаривала с ним. Уже взрослой, она участвовала с Актаном в охоте на изюбров. Утренний рев, иней. Одинокий изюбр. «Мне жаль его, он очень одинок», — сказала невеста. Актан не убил изюбра, и они скрыли это от всех (это было самое интимное их переживание). Тут же описать рев.

31/III 27 г.

Едва ли не самый интересный уголок Ярославля — это весь клин между Волгой и Которослью, где затон для пароходов. Надо пойти от ночлежного дома — с его облупленными желтыми стенами, приземистыми окнами, в которые глядит безглазая темь, сырость и нищета и слышатся хриплые — не этой жизни — голоса, — пойти через «*масляный пролом*». Тут полуразрушенные дома, грязные и нищие, в них несколько одиноких ремесленников, потом трактир, а возле него постоянный двор: противоположный выход пролома — к базару. Весь двор заставлен розвальнями: мужики кормят тощих лошадей. Почему же тут постоял. Дома крестьянина?

Разгадай (в смысле раскрытия психологического) этих мужиков! Вот они — краснолицые, в тертых полушубках, бородатые, со своими разговорами и заботами, — а рядом базар, где *на деле* смыкается город с деревней. Как? Где те *индивидуальные* пути, по которым идет эта смычка? Они приехали сюда в город — не как труженики, а как *купцы*. Приехали они в *советский* город, но этот *постоялый двор*, и *трактир*, и *хозяйин* трактира — все это, вероятно, такое же, как *30 и 50 лет* тому назад? Сколько старых и новых влияний! Как преломляются они вот в этом *конкретном*, с мягкой, нечистой, русой бородой, с лицом обветренным, сухим и мужественным, крестьянине, засыпающем своей сирой лошади овса? Или вот в этой *конкретной*, — в валенках, в платке и толстом полушубке, безликой бабе, пожевывающей хлеб? Что это за старик — среднего роста, но кажущийся *огромным* — такие у него широкие плечи и грудь и все мешковатое, когда-то могучее тело, — идущий мимо этих подвод, равнодушно посматривая узкими, ничего не выражающими, глубоко спрятанными глазами с кирпичного, мясистого, белобородого лица? Кто он? Каков его *быт*? Чем соприкасается он с современностью? (Кстати, тут рядом торгует крестница Галкина. А отец его был старым моряком, кондуктором, «шкурой» и расстрелян революционными матросами. Сам же Галкин был коммунист и дрался за революцию, а теперь исключен за неисправимое пьянство.)

Но вот еще несколько шагов от базара, от «масляного пролома» к Которосли, и тут целое стадо *церквей*, изъеденных снарядами и пулями — одна без куполов, с высокой, идущей вверх, к входу, — меж белых екатерининских колонн — лестницей, другие — еще древней, разрушенной, запущенней, в решетках, на замках, и ветер свистит под колокольнями. Там только вороны живут. Они летят оттуда на базар за пищей, на постоянный двор, дерутся из-за кусков всякой дряни, хохлят свои зимние теплые ссрые ошейники. У одной я заметил яркие серебряные отметины на крыле. Церкви эти — отчаянное запустение, огрызки камня и кирпича, воистину тлен и прах! Но тут же вслед за ними по всему побережью чья-то продолжающаяся жизнь. Здесь белые каменные дома и можно видеть в окнах занавеси, цветы, кусок какой-нибудь пальмы, картины на стенах, даже книги, — какой-то уют по нынешнему времени! Но он почему-то жалок, этот уют: ведь дома облуплены и изрешечены пулями. Кто в них раньше жил, в этих домах? Рыбопромышленники? Лесоторговцы? Владельцы пароходов? Их служащие? Ясно одно: здесь жили люди с устоявшимся, плотно осевшим, стародавним бытом. Однако они учили своих детей? Дети их знакомились, например, с русской литературой? Переживали, может быть, любовь над Волгой, в романтических городских парках? Раньше мне всегда глупо казалось, что в окнах таких домов можно увидеть задумчивых девушек с черными или русыми косами, склонившихся над книгами и грустящих вообще. Они в моем воображении походили почему-то на пушкинских Татьян или даже на грустных царевен, хотя я никогда не наткнулся ни на тех, ни на других, а всегда на очень пошлых румяных дур. Но если *были* такие «славные» одиночки, то им, видно, плохо жилось, потому что нет ничего более жестокого и косного и вместе с тем столь трудно преодолимого (так как он с детства пропитывает *все существо*, и поэтому не только ненавидим, но и любим), чем устоявшийся быт. (Татьяна, например, писала Онегину: «Вообрази: я здесь одна, никто меня не понимает», а в то же время не могла забыть и свой дом, и «бедный сад», и какое-нибудь кладбище, где «нынче крест и тень ветвей над бедной нянею моею», т. е. все то, в чем выросла, хотя там ее и «не понимали».)

Под этими домами внизу — деревянные скоростройки, леса, вмерзшие в лед баржи и пароходы, дровяные дворы. Кто *теперь* живет в этих домах? Те же, кто и жил? А может, те, кто раньше жил в тех холодных скоростройках и в баржах? Если так, то у кого переняли они — новые хозяева — все эти занавески, и пальмы, и картины на стенах, и весь этот «уют»? Если же не так, если живут в них старые охвостья, чем они занимаются? Учат ли своих детей? А если и сейчас сохранились в этих домах немного думающие, может быть, даже с творческой жилкой, с какими-нибудь такими «подлинными порывами» —

одиночки? Худо им, худо! Все в них, должно быть, переломано, ведь нет им ходу. Может быть, они ходят летом в тот монастырек, где мы были с Валеи,— погрузить с книжкой в руках среди чахлых русских березок? Или такие уж *совсем* повывелись,— а остался в этих домах только один *голый*, подлый, приспособляющийся обыватель: он служит теперь при *тех* (и рвет где только можно!),— на чьих *спинах* и чьим *пóтом* когда-то построил свои белые каменные домики. Домики отошли к комхозу, а обыватели платят установленную государством квартплату. Дети их носят ботинки с узкими носками и ухаживают за дочерьми лавочников с того базара, что расположился сразу за церквями. Хоть бы одним глазком посмотреть, *кто же и как же* живет в этих домах на самом деле! (Но только — нет, нет — не сохранилось в них никаких грустящих девочек (если и были они?). Да и невозможно теперь грустить среди березок, потому что в стенах древнего монастыря наделали дымных кузниц — они гúкают и скворчат; в одной из них веселая девчонка раздувает меха, показывая из-под платья полное грязное колено,— приезжий парень заигрывает с ней. Угрюмые черные могучие люди куют мужикам лошадей.)

«*Последний из тазов*».

Весенняя и осенняя охота. Утренний общий костер, к которому являются охотники и сообщают о вчерашней добыче (перед отправкой на охоту). Маленький Актан, вынужденный лежать пластом в шалаше, тогда как племя дерется с врагом, испытывал бешеную злобу. Горе по погибшим: переживается *сообща*; женщины восхваляют мужество и добродетели погибших и плачут вместе с матерями и женами; девушки уединяются плакать в одиночестве, мужчины стараются скрыть чувства под маской спокойствия, сидят по шалашам и курят. Потом все передеваются в «траурные одежды».

Организованность на охоте.

Первое появление водки. Появление пьяных. Их связывали и запирали, чтобы они не буянили.

Осень — время сближения девушек и парней. Места для сближений: роша, где собирались дрова, ключ, где бралась вода, и т. п. Явное и тайное ухаживанье. Уловки, чтобы повидаться. Отсутствие внешней, показной вежливости.

Четыре рода песен: религиозные, военные, охотничьи и любовные. (Пятый род: колыбельные.)

Женитьба Актана. Как Актан мстил китайцам. (Месть на поле битвы как высшая добродетель.) Сила Актана: он пронзал стрелой изюбра навывлет. *Правление тазов:* 1) Выборный

совет, в который могли входить также мудрые старики и прославленные воины, 2) вождь, 3) исполнитель приговоров, выбираемый на срок, 4) стражники.

Суд. Либо отдельные мудрейшие старики, либо совет, либо собрание племени.

Стражником мог быть человек, имеющий воинские отличия. Они же наблюдали за охотой и следили, чтобы было равномерное распределение добычи. *Запрещение индивидуальной охоты на крупного зверя, если она может вредно отозваться на других.* Организованное дробление племени по различным местам для облегчения вопросов питания. Периодические скопления всех в одно. Ни одна семья не имела права жить самостоятельно без разрешения Совета. Совет содержался на общественный счет (очередные наряды для добывания пищи старейшинам).

Юмор тазов. Презрение к русским и вместе с тем приписывание им сверхъестественного. Причины презрения: жадность, лицемерие, лживость, захватничество русских.

Вместе с китайцами появились кремневые ружья.

1/IV.

Шкотово основано в 1864 г. Стекло, как меновая ценность.

Пищуха — зверек? Птица с пронзительным криком? *Желна* — с трещетной музыкой (птица). *Даба* — крепкая синяя материя.

Медвежья желчь — лекарство от трахомы. Оленьи выпоротки — для надорвавшихся.

Примеры того, как Актан разбирался в следах.

Поползень — суетливая, посвистывающая птица. *Кедровка*. *Зимородок* — с яркосиним оперением и большой головкой.

Дзуб-Гынь: гольдское название Сихотс-Алиня.

Перемещение звезд ночью. Созвездие Ориона.

Воспоминания *Сережи*¹ об Актане (сцена на огороде капустном).

Совка «Ли-у», уводящая искателей женьшеня от корня.

5/IV.

Черный заяц — редкостный зверек Уссурийского края. Даурская береза. Кумирня, украшенная красной тряпичей с надписью Сан-лин-чжи-чжу («Владыке гор и лесов»). Пурпуровые горы вечером.

¹ *Сережа Костенецкий* — один из главных героев романа «Последний из удэге».

Гольдский¹ род Юкамика. Стойбище было на Амуре, возле Хабаровска, потом на Уссури, теперь на реке Улахэ. В 1907 г.— 12 человек: трое мужчин, пять женщин и четверо детей. Влияние китайцев (стр. 70 — Арс.).

Сухая мгла — предвестник непогоды. *Обилие клещей весной(?)*.

Заход солнца в лесу после дождя — «нежная улыбка». Соболиные ловушки. Папоротниковые вай. Конец мая, начало июня — цветут рододендроны (пурпурно-фиолетовые цветы на скалах).

Новая мысль. Пусть у Актана будет сын (или племянник) — «националист» и преобразователь. Тогда все улучшения быта (например, мельница) будут принадлежать ему, его инициативе. Он самолюбив и принципиален. *Продумать и его и всю ситуацию*. Варка пантов. В частности, возможный вариант.

Дружба Мартынова², как гонимого и прячущегося в лесах, с Актаном. Потом Март. уводит его сына (или племянника) вместе работать на рудник. (Можно начало так: Актан находит Мартынова израненным и оказывает ему помощь.) Мартынов не очень умен, немного тщеславен, но прост и честен, бывает вспыльчив, любит учить. Он мог очень сойтись с инородцами. Его колоссальная авторитетность среди населения. У него синеватые простодушные, добрые глаза с пестринкой, бороду неаккуратно бреет — всегда неопрятная щетина, прокуренные жесткие рыжеватые усы.

Китайская иволга — оранжевая птица величиной с голубя. *Нехитрый сибирский соловей* — серяк с золотым горлом. В сумерки (вернее перед ними) *все птицы* более оживленны.

Да-цзы (тазы) — инородец, т. е. не русский, не кореец и не китаец. Наиболее окитаившиеся из удэхэ живут в южной части страны. Находятся у китайцев чуть ли не на положении рабов; (продажа жен и детей), вырождающееся, трахомное, забитое, изъеденное паршами племя. Китайские скупщики и «хозяева долин». Их союз с хунхузами. Мартынов, зная про союз, горячится на заседании Ревкома, когда решается вопрос о перемирии с хунхузами.

Особое внимание — переговорам предревкома с инородцами, прибывшими на съезд.

Хозяйственные запасы. Бурундуки. Просушка их.

¹ Г о л ь д ы — вышедшее из употребления название народа нанайцев, проживающих в Приамурье и находившихся примерно на том же уровне культурного развития, что и удэгейцы.

² М а р т ы н о в — первоначально так назывался Мартемьянов, один из героев романа «Последний из удэге».

6/IV 27 г.

Экспедиция Будищева и Максимовича в 60-х годах.

Тисс — с красноватой корой и древесиной.

Бабочки: *махаоны* (темносиние, большие) — могут садиться на воду. *Крапивницы* — кирпичного цвета с радугой. Голубоглазые стрекозы.

Маленькая птичка — *чаичка* (крохотный клюв, короткий хвостик).

Оспенная эпидемия 1881 г. Первые поселенцы, высаженные в Ольге в 1859 г. и поселившиеся на реке Вай-Фудине.

Ши-мынь — китайский поселок на восточном берегу залива Ольги, когда-то центральный торговый пункт.

Каменная полынь — растет на осыпях.

Заросли белокопытника — (любимая пища медведей весной).

Чуть заметные зарницы ночью, при звездном небе.

Ясеница — растение, выделяющее эфирные масла.

1857 г. Путешествие Венюкова на Тадушу. Его прогнали китайцы.

Амба — тигр (букв.— черт).

Счастливый человек тот, который никогда не видал тигра. (Гольдское поверье.)

Отношение к покойникам (стр. 171 — Арс[еньев]).

Поведение Актана в местности, где умерли его родные.

7/IV 27 г.

Золотистоголовый дятел (сам зеленый, дятлик).

Крик кедровки — кто-то идет.

Долина Серебряной скалы (Инзы-лази-гоу).

Восход солнца, наблюдаемый Актаном. Рассуждения Актана о солнце, земле, огне и воде. Птичка — уссурийский зук. Красноногие травники (кулички).

Китайцы принесли с собой заразные болезни и пагубные привычки (водка, опиум).

Елена Пак — руководительница корейцев.

Банцуй (женьшень).

Белогрудый медведь (бывают белые лапы и брюхо).

Изюбрь-отшельник.
Длиннохвостая неясыть (птица).

Романтические мечтания Сережи об удэхейцах: «буду жить, как они»...

Китайская дружина под командой Ч ж а н - Б а о, заступника за обиженных.

Запятая манз (стр. 223).

Приветствия тазов, когда Актан проходил мимо (поведение женщин и детей).

Каньгу — бог бури, пурги.

Лудевы для ловли зверей.

Оморочка — лодка.

Одежда удэхейки (245 стр.) и удэхейца (246 стр.).

Цай-туп — хозяин долины.

Вагунбе — удэхейский поселок. *Имена удэхейцев*: Масенда, Салю, Гулунга (род Гялондика), Сарл Кимунка.

Золотисто-розовый дым ранним морозным утром.

Вначале зажигается Венера, потом Юпитер.

Бунт удэхейцев против Цай-тупа.

10/IV.

Наказание за бунт — погребение заживо в землю. Дележ удэхейских женщин между китайцами.

Ханяла — тень, душа умершего. Умилостивление души (стр. 293).

Когда в тихую погоду туман подымается кверху и сильное эхо — к большому дождю.

12/IV.

Онку джугдыни — чертово жилище.

1887 г. — год перехода тигров с запада на восток. (Sic!)

Красный волк — темнее на спине, светлее на брюхе.

Чан-лин: имя таза.

Описание выдры (стр. 337).

Синий опаловый оттенок воды.

Рев изюбря описать уже после того, как изюбри отабунились — он остался отшельником.

Описать восстание удэхейцев, их *безрезультатное* обращение к правительству, затем жестокую расправу и гибель жены Актана.

За фитильное ружье Актан заплатил 20 соболей.

Актан сидит у костра — игра месяца: красная половина тела переходит в голубую.

Растение *багульник*.

Сале — имя удэхейца.

Одежда удэхейца (рис. 365 стр.).

Жертвоприношение у водопада (стр. 369).

Любовь Актана ко всему живущему. Ничто не должно быть загублено зря: если не использует человек, пусть использует зверь.

14/IV.

Мафа — медведь.

Даурская калина.

Люрл — имя удэхейца.

Женские костюмы отличаются пестротой вышивок (стр. 383 о б я з а т е л ь н о).

Выражение удэхейца: раньше нас было столько, что лебеди, пока летели от р. Нусуна до Ольги, делались черными от дыма наших юрт.

Шаман — (стр. 383).

Солоны — племя, живущее на севере.

Г о д б е л о к — нашествие белок на долины, ввиду неурожая кедровых орехов.

Гроза со снегом, принесенная русскими. З — за все время.

Эндули — божество.

Эндули посылает гром Агды, чтобы прогнать черта.

Янсели — имя удэхейца.

Мончули — то же.

Одежда удэхейцев (стр. 401—402).

Пугуй — имя удэхейца.

Тему — повелитель морей.

Сеедзасу-Мамаси-ни — утесы человекоподобной формы.
Синие фазаны — название манз, бродящих по тайге.
Логада — имя удэгейца.
Его нечувствительность к холоду.
Сунцай — имя удэгейца.
Байта — штраф за нарушение каких-либо правил.
Буй — сохатый.
Маньчжур Чи-ши-у.
Китенбу — имя таза.

14/IV 2 ч. дня.

Отец Сони («Провинция») — типа Верещака, со всеми его удачами и несчастиями.

Украинцы-переселенцы называют Южно-Уссурийский край «Зеленым клином».

Вымирание народов — чем дальше, тем быстрее (причины стр. 154 Пр[жевальский]).

16/IV.

Муравьевские казацки сплавы на Амуре и Уссури + штрафные солдаты из линейных батальонов (1855—1862).

Больше всего ассимилируются с русскими *корейцы*. «Садить села на сыром кореню» — летописное выражение.

19/IV.

Возделывание растений. Ручные животные.

Дети родных братьев — братья и сестры между собою, так же, как и дети родных сестер. Дети же родных сестры и брата — двоюродные братья и сестры между собою.

Обоюдно легко расторгимое супружество. (Вероятно, у удэхе современных это заменилось более прочным единобрачием.) Но женщина должна соблюдать верность до расторжения. Дети остаются при матери.

Похищение и купля жен.

Актан похитил жену из другого рода.

Женщина несет обременительную работу, но пользуется всеобщим уважением.

Пленный или убивался, или прикреплялся к роду.

Удэгейцы, очевидно, находились в той стадии, когда жена

переходит в род мужа, а не наоборот (?). Может быть, такой вариант: Актан родился в *переломную* эпоху.

Брат матери — по родству ближе, чем муж.

У гольдов возможна более укрепившаяся форма единобрачия. В связи с этим грубое обращение с женщиной ¹.

Кровная месть. Вначале всякие пути примирения. Если примирения не выходило,— совершалась месть, и на этом дело кончалось.

Актан вспоминает, как во время восстания в последний раз собралось все племя (весь народ?). Гибель (поголовная) многих племен.

Очеловечение природы, однако без овеществления богов.

23/IV.

Удэхе не задумывается над вопросом, право или обязанность участия его в общественных делах, кровной мести и т. п.

Такой вопрос показался бы ему столь же смешным, как если бы его спросили, по праву или по обязанности он пьет, ест, спит, охотится.

Партизанские песни:

- 1) Как в Питере и Москве
Знамена заалели,
По России-матушке
Песни загрели.

Припев

Собралась Красная Армия в
 пять мильен
Для защиты красных рек
 знамен.

- 2) Сучан-реченька мала,
В наводнение — море,
Наша сила прибыла
До полночи вдвое.

О хунхузах.

Во-мынь-ши гуп-гак-дан (Мы — большевики).

Да-цянь — пушка.

Бу-дуп-дэ — не понимаю.

¹ Рукой А. Фадеева на этой записи помечено: «Неправильно».

*К образу Лены*¹ (ее мысли или слова).

«Внутреннего пути у меня нет... Я надеюсь, что кто-нибудь меня натолкнет на этот путь... Но смогу ли я идти по нему, крылья мои слабы».

Чувство особенного, прекрасного, живого во всем — в звуках голосов, в природе, — жажда познать все это и слиться с этим, пока молода.

Она жадно бросается на все новое — и не только, как наблюдатель, а с желанием поделиться своим внутренним теплом — особенно с человеком, но вместе с тем большое недоверие к человеку и отсюда — «он сам по себе», а «я сама по себе» (характерное для нее чувство с людьми).

24/IV.

Провинцию, может быть, закончить письмом Кати о ее любви к Сергею, полученном им тотчас после съезда Советов. (Можно использовать маленькое письмо из «архива».) Подробно описать, как накануне съезда Сергей провожал Катю на вокзал перед ее отъездом в Москву. Отходит поезд, он стоит на перроне. Ей стало жаль. Слезы.

30/IV.

Использование Толстым приема смещения плоскостей без предварения в «Хаджи-Мурате». I—II главы.

Стожары — созвездие, в половину неба много позже полуночи.

Предрассветный ветерок.

7/V.

Сережа чувствует большие перемены в настроении мужиков от того, что они выбирают на съезд ранее презираемого, нищего мужика по прозвищу «Боярин»².

8/V.

Масенда советует отправить разведчиков наблюдать за хунхузами; для него это *естественная необходимость*.

¹ Лена Костенецкая — героиня романа «Последний из удэге».

² «Б о я р и н» — прозвище крестьянина, героя романа «Последний из удэге». В первоначальных вариантах романа — один из главных героев.

В. Каверин



ПОИСКИ И НАДЕЖДЫ

(Роман¹)

ВСТУПЛЕНИЕ

— Москва, Москва... Да вы садитесь, товарищ Власенкова. Длинная история. Не дают нам Москву!

Дождь стучит по крыше маленького здания телеграфа в маленьком пограничном городке. Заливает окна, журчит вдоль панели, брызгая, выбегает из водосточной трубы. Без отдыха, без умолку. На стеклах в сливающихся струях воды переламывается свет фонаря.

— Подождем, товарищ Власенкова. Видно, Москве не до нас!

Да, подождем. Телеграфистка похожа на Машеньку Спешневу — худенькая, прямая, с мягкими движениями, с нежным лицом. Я смотрю, как она работает, — тонкие пальцы ловко, с треском вставляют в гнезда шнуры.

— Вы бы прилегли, товарищ Власенкова. У вас лицо усталое. Я разбужу, когда дадут Москву.

— Спасибо. Я подожду.

А ведь правда, как хочется спать! Дождь стучит успокоительно, равномерно, и под это постукивание и журчанье, под этот раздробленный, пробегающий топот спит городок. За десять тысяч километров от фронта, от Москвы, от всего, о чем говорено-переговорено, думано-передумано, спит городок. Что же делаем здесь мы в эту ночь, в эти дни, за десять тысяч километров от фронта?

¹ Третья часть трилогии «Открытая книга».

«Проводим мероприятия» — за кордоном были случаи азиатской холеры. Даем бактериофаг пограничникам и населению. Всех приезжающих из-за рубежа сажаем на шесть дней в карантин. Уничтожаем продукты, которые они привозят с собой. Встречаем пароходы, дезинфицируем грузы...

Нет холеры, ложная тревога! Давно пора возвращаться в Москву. Нельзя вернуться, нет приказа. Нельзя вернуться, молчит, не отвечает Москва.

— Алло, кто на проводе? Вызываю Москву.

Все мешается в голове. Сплю и не сплю. Андрей выходит из темноты, из туманного света, который, дрожа, переливается на залитом водою стекле. Где ты, мой дорогой? Здоров ли? Почему, не дождавшись меня, отправил Павлика с бабушкой в Лопехин — ведь мы условились, что они будут ждать моего возвращения в Москву? Почему в Лопехин, где у нас давно уже нет ни родных, ни друзей? Ах, как беспокойно, тревожно на сердце! Как волнуется, скучает, томится душа!

— Москва, Москва...

Занят провод. Не отвечает Москва.

Завернутый в газету завтрак лежит в кармане пальто. Я разворачиваю газету. «Особенно ожесточенные бои происходили на Клинском, Волоколамском, Тульском и Ростовском (Ростов-на-Дону) участках». В десятый раз я перечитываю последнюю сводку.

— Хотите бутерброд?

— Спасибо, некогда.

Сплю и не сплю. Стучит дождь, стучит девушка телеграфным ключом. Полно, да в Термезе ли я? Просторный город с раскинувшейся просторной рекой открывается передо мною. Ростов? Фонари нежно и ярко освещают липы бульвара. Где Митя? «Скучаю без вас, — писал он в последнем письме. — Ну, не преступление ли, что мы видимся так редко?»

Да, мы могли видеться чаще. Не так уж много на свете людей, без которых хотя и можно, но не очень хочется жить. Зачем же мы — я и Андрей — позволили, чтобы он столько лет, семь или восемь, прожил так далеко от нас? Он один, у него не удалась — кажется, не удалась? — жизнь. Он стареет, у него поседели виски. Что придумать, как поступить, чтобы он вернулся в Москву?

Поздно. Неподвижно висят черные, страшно освещенные тучи — над полями и лесами, над морями и реками, над городами и селами.

— Москва, Москва!

Не отвечает Москва.

Дверь хлопает, я открываю глаза. Высокий человек с мокрым лицом, в мокром плаще входит в комнату. Это Виктор Мерзляков — наяву, не во сне.

— Татьяна Петровна, я пришел вас сменить. Я у хозяйки зонтик взял. Вот он Идите к себе, отдохните.

— Зачем вы вскочили, Витя? Мне нельзя уйти. А ну как уйду — и дадут?

— Москва, Москва... Кто на проводе? Москва? Центр шесть шесть один пятьдесят четыре. Алло! Товарищ Власенкова, возьмите трубку.

— Дежурный по Наркомздраву слушает.

— Дайте Малышева... Михаил Алексеевич, это вы? Говорит Власенкова.

— Слушаю вас, Татьяна Петровна.

— Докладываю: работа полностью закончена. Предположения не подтвердились. Прошу разрешения вылететь в Москву.

— Нет, Татьяна Петровна. Вылетайте в Ташкент.

— Ташкент?

— Да. На месте получите спецзадание.

Пауза.

— Одна или с группой?

— Кто с вами?

— Мерзляков и два лаборанта.

— Одна. Мерзлякова оставьте для дальнейшего наблюдения.

— Михаил Алексеевич, а вы не думаете, что в Москве я...

— Поменьше вопросов, Татьяна Петровна. Институт эвакуирован в тыл.

Снова пауза.

— Андрея Дмитрича видел на днях. Вернулся с фронта и опять уехал. Справлялся о вас. Сообщил ему, что вы живы-здоровы.

— Я-то что! Вы как?

— В порядке. Тороплюсь. Желаю счастья, Татьяна Петровна.

— Желаю счастья.

* * *

...Мы выходим на улицу, и Виктор раскрывает надо мной огромный рыжий старомодный зонт.

Дождь усиливается.словно в бешеной битве, кружатся, сталкиваются, сливаются капли. Барабанят по крышам. Бегут по ночной пустынной улице спящего пограничного городка.

— Стало быть, я с лаборантами здесь останусь? Ну что же! И здесь найдется работа. Татьяна Петровна, как вы думаете, а что, если на пробу залить фагом колодцы? Ведь, собственно говоря... Да вы никак плачете, Татьяна Петровна?

— Что вы, Витя? Это — дождь. Когда же, наконец, кончится этот надоедливый дождь? Зайдем к начальнику погранотряда, Витя. Нужно справиться, когда идет самолет на Ташкент.

Почему с такой острой запомнилась мне эта ночь в Термезе? Потому ли, что еще непривычным были горькие впечатления войны? Или потому, что я томила сознанием оторванности, заброшенности в этом чистеньком, уютном в садах городке? Не знаю. Вскоре я поняла, что это — ложное чувство. Но тогда мне казалось, что все, чем мы занимаемся в нескольких тысячах километров от фронта, не имеет и не может иметь ни малейшего отношения к тяжкому испытанию войны.

...Я получила письмо из Лопихина — Агния Петровна сняла комнату на Малой Михайловской, недалеко от того дома, в котором когда-то жили мы с мамой. Знакомых она не нашла, кроме какого-то Дедюлина, который в те годы, когда Агния Петровна заведовала Домом культуры, работал в этом доме монтером. Но зато она случайно на улице встретила Агашу — той самой толстой, доброй, пугливой Агашей, которая еще до революции служила у Львовых. И Агаша по старой памяти взялась помогать бабушке по хозяйству. Я радостно вздохнула, прочтя эти строки: на Агашу, со всеми ее причудами, запомнившимися с детства, все же можно было положиться. Впрочем, и бабушка, судя по этому письму, была настроена бодро. Я боялась, что она растеряется, — нет! Фразы были короткие, почерк — решительный, твердый, и по всему было видно, что Агния Петровна снова почувствовала себя прежней энергичной, деятельной, вырастившей двух сыновей хозяйкой «Депо проката роялей и пианино».

Андрей вернулся с фронта и с августа жил в Москве, один, в новой квартире в Серебряном переулке, которую мы получили перед самой войной. «Мы обменялись профессиями, — писал он, — ты стала, как сказал Маяковский, «певцом воды кипяченой и ярим врагом воды сырой», а я засел в лабораторию и занимаюсь известной тебе вакциной. Пока не получается ничего или почти ничего, причем дедушка утверждает, что на это «почти» он наткнулся еще в конце прошлого века. Я спросил, почему же в таком случае он бросил работу, и он ответил, что занялся другой, «менее безнадежной». Каков, а?»

Дедушка — это был Никольский, который, несмотря на все настояния родных и друзей, отказался уехать из Москвы, а вакцина, над которой работал Андрей, была вакциной против сыпного тифа. Что касается выражения «засел в лабораторию», то нетрудно было догадаться, что Андрей принимает желаемое за совершившееся, потому что он был назначен директором большого производственного института и в своей лаборатории мог бывать — увы — не больше двух-трех раз в неделю.

О том, каждый ли день он обедает, он не писал, а когда я, наконец, рассердилась, ответил, что на работе так хорошо, тепло и уютно, что он подчас предпочитает ночевать в инсти-

туте, тем более что непривычно большая квартира без меня и Павлика представляется ему чем-то вроде пустыни Гоби...

Мы долго ничего не знали о Мите, а между тем кого только я не расспрашивала о нем! Куда ни закинула бы меня судьба или, точнее сказать, опасность эпидемической вспышки, везде я прежде всего искала ростовчан и, найдя, расспрашивала о Мите. Один военный врач, с которым я познакомилась в самолете, сказал, что Митя с лабораторией эвакуировался в Нальчик. Я немедленно написала туда и не получила ответа. В Красноводске какая-то медсестра, узнав, что я навожу справки о Мите, разыскала меня и, наговорив с три короба, напугала до смерти. Митя, по ее словам, тяжело заболел накануне отхода наших войск из Ростова и безусловно остался бы в городе, если бы не доктор Гордеева, которая спрятала его в погребе, выходила, а потом бежала с ним к партизанам. Я не поверила этой истории, — мне показалось странным, что медсестра отзывалась о Мите с истерической восторженностью, а потом проговорила, что видела его только раз на публичной лекции в Доме санитарной культуры. Но как я ни убеждала себя, что нельзя верить ни одному слову этой болтливой, растрепанной женщины с неприятными вздрагивающими глазами, а все-таки думалось: ведь взялся же откуда-то этот слух! И тревожно, тоскливо становилось на сердце.

Я написала Андрею, и он согласился со мною, что все это — вздор. Но что было делать с Агнией Петровной, которая каждое письмо начинала с вопроса — где Митя? «Только не скрывайте правды, — просила она. — Сердце чувствует, что с ним случилась беда, и лучше мне все сразу узнать, чем медленно убьет меня неизвестность».

Прошло два-три месяца, и вдруг — это было в Ташкенте, в конце декабря — один знакомый микробиолог спросил меня: «Вы знаете, что вас разыскивает Дмитрий Дмитриевич Львов?»

— Как разыскивает? Дмитрий Дмитрич? Да ведь я же его разыскиваю вот уже полгода!

— А он — вас. Или брата.

Я бросилась в институт, разыскала этот больше месяца пролежавший в канцелярии узенький драгоценный листок — и сразу точно чья-то рука отвалила камень от сердца. Это был краткий, в двух словах, запрос обо мне и Андрее: не знают ли в институте, куда мы уехали из Москвы? Под Митиной — несомненно, Митиной — подписью стоял номер полевой почты.

Точно такой же запрос я нашла через две недели в Астраханском, потом в Куйбышевском бакинститутах. Митя поступил просто: он написал директорам всех бакинститутатов — знакомым и незнакомым, — справедливо рассчитав, что микробиологи должны знать, куда эвакуировались их товарищи по работе. В том, что мы с Андреем эвакуировались, он почему-то не сомневался.

Где же он пропал так долго? Почему, когда мы, наконец, списались, ответил на мои вопросы глухо, невнятно, упомянув между строк, что прошел пешком больше тысячи километров? «Все расскажу при встрече. А вот встретимся ли, где и когда? Кто знает?»

КРУТОЙ ПОВОРОТ

Еще в юности, в ту далекую пору, когда я работала над своим первым рефератом, Николай Васильевич предостерегал меня от «комнатности» в научной работе, от опасности, которую таит в себе «стеклянный мир лаборатории». То были годы, когда я выбирала между деятельностью практического врача и наукой, смутно догадываясь, что не могу и не захочу жить без этого «стеклянного мира». И вернувшись из зерносовхоза, на добрых восемь лет я села в лабораторию, забыв и думать об этих предостережениях и опасениях. Впрочем, я не забыла о них. Но мне казалось, что самое направление работы, связавшее меня сперва с промышленностью, потом с клиникой, само по себе разрывает заколдованный круг, в котором живут многие люди науки. И началась — и продолжалась до самой войны — та особенная полоса в моей жизни, когда с жесткой последовательностью я старалась отстранить от себя все, что отвлекало меня от дела науки.

Но вот в летний воскресный день 1941 года скрылась из глаз, как за крутым поворотом, прежняя налаженная жизнь, и вдруг стало ясно, что со всеми своими «тропинками» в промышленность, в клинику я все-таки жила за лабораторным стеклом. Как красная ракета — сигнал «к наступлению», вылетела я из привычной обстановки и одна, без сотрудников, без лаборатории, принялась за дело, о котором до войны не имела никакого понятия. Из Москвы в Термез, из Термеза в Ташкент, потом Красноводск, Астрахань, Саратов. Лабораторный работник, занимавшийся изучением лекарств, я стала эпидемиологом, санитарным врачом. Как тысячи моих товарищей, я читала лекции по гигиене, добывала дрова для бань, инвентарь для больниц. Я воевала с местными администраторами, не желавшими тратить свое драгоценное время на такую малость, как противоэпидемическая защита. Я преследовала, разумеется с помощью милиции, спекулянтов, торговавших сансправками, без которых нельзя было купить железнодорожный билет.

Главная трудность заключалась в том, что необходимо было предупредить возникновение болезней не только в городах и селах, среди оседлого, живущего в привычных условиях населения, а среди сотен тысяч людей, медленно двигавшихся на восток по железным и шоссейным дорогам. Случалось, что на иных этапах этого громадного переселения возникала

необходимость остановки, ожидания транспорта, происходили скопления, заторы. Вот сюда-то и посылали меня, как посылали других солдат и офицеров противозидемической службы.

Я сказала — солдат и офицеров и не оговорила. Мы действительно составляли армию — огромную армию, действовавшую незаметно, непрерывно, днем и ночью, на дорогах и вокзалах, в колхозах и на заводах. У этой армии был свой штаб, своя разведка, свои тактика и стратегия — и, разумеется, свой фронт, о котором в сводках главного командования не упоминалось и не могло упоминаться ни словом. Боевые действия на этом фронте то охватывали обширные пространства, то происходили в тесноте походных лабораторий. Фронт был незримый, без свиста бомб и грохота снарядов.

* * *

Часть моих сотрудников осталась в Москве, и только двое — Виктор и Катя Димант — оказались в Ташкенте. Разумеется, нечего было и думать о научной работе, тем более что сама-то я в Ташкенте почти не жила, а только прилетала и улетала. Но все-таки мы затеяли кое-что, хотя для того, чтобы осуществить это кое-что, касавшееся почвенных микробов, у нас не было даже крыши над головой, не говоря уже о животных и аппаратуре.

Прошла неделя, другая, и нашлась крыша, подобралась аппаратура. Хуже было с мышами. Мышей не было, — конечно, белых, серые не годились для опытов, — и не было надежды, что удастся достать их, хотя в ту пору на ташкентском базаре, кроме небесных светил, можно было, кажется, достать все что угодно.

И все-таки я отправилась на базар. Мне пришло в голову, что наше «кое-что» можно прекрасно испытать на морских свинках, тех самых, которые предсказывали судьбу по рублю за билетик.

Не стану подробно рассказывать о своих приключениях на ташкентском базаре: первая предсказательница, заподозрив во мне опасную соперницу, немедленно и решительно отвергла все предложения. Разговор со второй начался издали: сперва я вытащила билетик с надписью: «Ваше желание исполнится», потом еще один, на котором прочла: «Утешься! В твоих намерениях будет успех». Потом дала понять, что предсказательница имеет дело с врачом. Поговорили о болезнях. Наконец, узнав, что у предсказательницы проходят курс обучения еще десять свинок, я открыла карты и предложила продать всю партию за весьма солидную сумму. Если бы я предложила ей полет со мной на луну — вероятно, это не вызвало бы большего изумления! Предсказательница ахнула, закусил губу и едва не трахнула меня ящиком, в котором находилось все ее несложное хозяйство!

Не все владельцы морских свинок встречали меня с таким острым чувством негодования. Один пожилой мужчина даже пригласил меня к себе и терпеливо выслушал мою страстную речь о том, что он может оказать человечеству неоценимую услугу. Но, выслушав, все-таки отказался, заявив, что человечество бог весть когда выиграет от моей затеи — да еще и выиграет ли? — а он уже и сейчас проиграет.

Наконец, мне удалось купить двенадцать свинок. Но опыт поставить все-таки не удалось. Малышев вызвал меня в Москву и предложил заняться холерным бактериофагом, который по сведениям, поступившим из оккупированных местностей, мог понадобиться в условиях нашего контрнаступления и действительно понадобился, когда оно началось.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Вся наша семейная жизнь состояла в сущности из одних только разлук и свиданий. Десятки раз мы подолгу жили далеко друг от друга, и можно было, кажется, привыкнуть к этим расставаниям, беспрепятственно сменявшим друг друга. Но к этой разлуке было невозможно привыкнуть. Мне было бы легче, если бы война настигла нас одновременно и мы рука об руку вступили бы в новую, неизвестную жизнь. Но война началась, когда наша группа была в Термезе, и как я ни успокаивала себя, думая о том, что все близкие здоровы, бабушка с Павликом и без меня прекрасно устроились в Лопакхине, а Андрею удалось наладить свою холостую жизнь, время от времени становилось страшно, что все это произошло и продолжает происходить без меня. Теперь — наконец-то! — все мое стало моим: и то, что Павлику (об этом сказал мне Андрей на вокзале) можно отправить посылку со знакомым проводником вагона, и то, что Андрей не знал, хорошо ли он сделал, купив на рынке кило масла за девятьсот двадцать рублей, и то, что концентраты, которые выдали ему на работе, он положил в столовую, где температура редко поднималась выше нуля, и то, что в институте профилактики половину сотрудников, по чести говоря, нужно уволить, а другую учить с азав, и т. д., и т. д.

...Неразобранные книги в связках лежат по углам, под диваном, на окнах. Паровое отопление не действует, и в самой маленькой из комнат (прежде в ней жила Агния Петровна) Андрей поставил железную печку, ту самую знаменитую «пчелку», или «буржуйку», о которой еще смутно помнили люди моего возраста, а кто помоложе — мог лишь прочитать в книгах о гражданской войне.

«Пчелка» топится давно, в комнате жарко. Все, что я привезла из Ташкента, стоит на столе. Это первый наш вечер в

Москве. Обнявшись, мы обходим квартиру, которая без Павлика кажется мне не просто пустой, а пустынной, возвращаемся, садимся за стол и только теперь, наконец, рассматриваем друг друга — впервые в этом новом мире войны. Андрей побледнел, скулы торчат, на носу беленькие параллельные косточки, как всегда, когда он худеет, и мне смешно, что, расставаясь с ним, я всегда забываю, что он красивый, и что, когда он смеется, видны все его широкие белые зубы.

— Вспомнила?

— Почти. А ты?

Письма Агнии Петровны лежат перед нами, и среди них — дневник Павлика, который он ведет с первых дней эвакуации и который тайно от автора бабушка прислала в Москву.

«Когда началась война, детей стали эвакуировать из Москвы. Нас повели в большой зал, в конце которого было нечто вроде сцены. Мы по очереди шли на сцену, где нам выдавали номерки, потом мы построились парами и пошли на вокзал. По дороге нас внезапно остановили, но потом мы опять пошли. Когда пришел поезд, началась толкотня, но мы пробились и сели в поезд. В поезде мы сразу выпили всю воду, а потом страшно хотелось пить. Ночью не спали. Отлично».

Последнее слово написано красным карандашом — видимо, бабушка позволила Павлику изложить свои впечатления вместо диктанта.

«На второй день езды у нас опять кончилась вода, и мы ее больше не пили. Обед мы брали в вагоне-ресторане, но бабушка боялась ходить, и мы не брали. Света не было. Отлично».

«Когда приехали, долго сидели на улице, а потом пошли на вокзал. Скамейки были заняты, и многие, подстелив какой-нибудь платок, лежали на полу. Бабушка села в какую-то сме-тану, и ее пришлось вытирать...»

«Станция Лебедин, на которую мы приехали, называлась городом, но на самом деле это было большое село. Мы шли по пыльной дороге, уставали, маленькие плакали. Мы пришли поздно, легли спать на голый пол, так как вещи были в поезде. На следующий день играли и бегали. Вторую ночь мы спали на сене. Так началась моя жизнь в Лебедине. Я радовался, когда приходили хорошие известия с фронта».

«Драка с Лелей. Однажды я вышел гулять в сад. Девочки кидались снежками с большим мальчиком Лелей. Он постепенно загнал нас в глубокий снег. Я провалился, а когда вылез, калоша на моем валенке не было. Старуха пряла пряжу. Только на другой день калош нашелся буквально на метр в снегу».

Должно быть, старуха переехала в дневник со следующей страницы, на которой большими ужасными буквами были написаны грамматические упражнения.

Скоро год, как мы расстались с Павликом, — как он, должно быть, изменился, как вырос! Хоть бы только раз посмот-

реть на него. Осенью он пойдет в школу — я не буду с ним в этот важный для него, надолго памятный день. Вот он пишет: «Буквально на метр в снегу» — в прошлом году он еще не знал этого слова.

Мы вздыхаем и смеемся одновременно, и Андрей ладонью вытирает мне глаза, и целует, и называет старушкой, как всегда, когда он особенно ласков со мной.

— Ничего, старушка! Давай-ка ложиться. Двенадцать часов.

...Огонь в печурке вспыхивает и меркнет, сквозь открытую дверцу видно, как медленно покрываются пеплом бархатно-красные угли. Встать бы, подбросить дровишек! Куда там! Разве можно изменить что-нибудь в этой тишине, в этом ровном дыханье Андрея? Осунувшееся лицо его кажется в полусумраке молодым, острые косточки скул торчат совсем, как в далекие лопахинские годы. Так это он условился встретиться со мной на берегу Тесьмы в семь утра, потому что еще никто не назначал свиданий так рано? Пустынька была видна с набережной, плоты стояли на реке — так много, что можно было, не замочив ног, перейти на другой берег, утреннее солнце вспыхивало разноцветными лучами в облачках пара, поднимавшегося от сохнувших бревен.

И мне чудится, что я еду к нему по зимней, заваленной снегом Москве. Тишина, темнота! Только время от времени рассыпается сноп искр над трамвайной дугой, мгновенно озарив улицу сверлым брызнувшим светом, да фосфорный значок на груди одинокого прохожего слабо забрезжит и растает во мгле. Он прилетел, он ждет меня на аэродроме. Неужели пройдет еще час, прежде чем я увижу его, прежде чем он снимет перчатки с моих замерзших рук и станет греть их своими губами?

Но вот уже утро, а я еще жду. Овальные тени сугробов медленно тают под желтым светом зари. Он приехал, но это не он. В полутемном вестибюле аэропорта кто-то другой подходит ко мне, высокий, с орлиным лицом, с недовольно поднятыми бровями. Чем ты недоволен, в чем я провинилась перед тобой? Кого просить, кого умолять, чтобы больше не приснился этот мучительный сон?

* * *

Я не видела Москвы с первых дней войны и поразилась тому, насколько она стала другая — опустевшая, раскрашенная, задумчивая и в то же время полная сдержанной силы. Странные темнокрасные дома с перекошенными окнами были нарисованы на площадях, на Манеже, на Китайгородской стене. Ящики с песком стояли у витрин, и «окна ТАСС» в шутку назывались «мешками Тасс», потому что все большие окна и витрины были забиты деревянными досками и завалены мешками с песком. На площади Коммуны появились маленькие дома,

деревья, речка, и театр Красной Армии превратился в раскинувшуюся среди Москвы искусственную деревушку.

Легкие белые аэростаты по почам висели над городом, и первые лучи солнца серебрились на них — только первые, потому что с рассветом на всех бульварах и скверах начинали скрипеть лебедки, и девушки в пилотках спускали на тросах эти аэростаты, которые оказывались огромными, похожими на каких-то мягко колеблющихся, бесшумно дышащих рыб. На улицах разговаривало, гремело, пело радио, и часто после тревоги почему-то передавали «Ночной зефир» Глинки: «сквозь чугунные перила ножку дивную продень». Исчезли, как ни бывало, такси, сменившись грязными закамуфлированными фронтовыми машинами, трамваи с забитыми фанерой окнами шли медлсно, как бы ошупью, прикрыв по вечерам свои — и без того неяркие — огни козырьками.

У вокзалов вдруг появились извозчики — бородатые, в армяках, с номерами, и школьники подолгу разглядывали их, как живую иллюстрацию к истории дореволюционной России.

Новая обувь появилась в Москве — суконные туфли и ботинки на деревянных подошвах, и, присоединяясь к городскому шуму, всюду слышался непривычно отчетливый стук.

Кажется, ничего не было забыто, чтобы превратить прежнюю веселую, многолюдную Москву в этот новый, полужнакомый, полный сурового спокойствия город. Забыли только детский городок на бульваре у Новоекатерининской больницы. И лесенки, мостики, сказочные домики на курьих ножках остались на своих местах — скучающие, пустые. Не кружилась больше полинявшая под осенним дождем карусель, неподвижно висели гигантские шаги, и петушки на кровлях, подняв головы, с удивлением прислушивались к железному лязганью танков.

* * *

Осенью 1941 года Коломнин собрал сотрудников, оставшихся в Москве после эвакуации института, и предложил организовать лабораторию по производству фагов. Месяца три эта лаборатория работала на началах полного самоуправления, что не мешало ей снабжать необходимыми препаратами уходившие на фронт ополченские дивизии. Потом я послала (из Ташкента) просьбу оформить ее, как филиал отдела. Возможно, что это было слишком громкое название для лаборатории, состоявшей из пяти человек и работавшей в единственной теплой комнате опустевшего здания. Но нарком согласился, и 31 декабря 1941 года, в запомнившийся, радостный день взятия нашими войсками Калуги, я получила от сотрудников телеграмму, в которой они поздравляли меня с тремя событиями: с победой, с Новым годом и с основанием филиала.

Из сотрудников нашего отдела в филиале первое время работали только Коломнин и Ракита. Рубакины были в Казани, и Лена писала, что Петр Николаевич энергично хлопочет о возвращении института в Москву.

Конечно, это было прекрасно, что новую и сложную работу мы начали не на пустом месте. Но для того чтобы развернуть ее, нужны были люди, а новые сотрудники никогда не занимались антимикробными веществами, и обучить их оказалось делом нелегким. Один из них, Петр Петрович Зубков, был паразитологом, всю жизнь бродившим где-то в пустынях Средней Азии и интересовавшимся древней архитектурой Самарканда куда больше, чем своей наукой. Другой — обыкновенный санитарный врач, заботившийся доселе лишь о чистоте московских дворов. Зато нашелся — это было важно — хороший хозяйственник, тот самый энергичный, усатый, воинственный Кочергин, которого Крамов в свое время без всякой причины уволил из института.

В начале марта Никольский, которому минуло восемьдесят три года и который уже давно не то что «ушел на покой» (он не любил этого выражения), но почти не работал, явился в институт, сказал: «Ну-ка, покажите, что у вас тут есть», — и проворно облазал все наше хозяйство.

— Хороши разбойнички, — с довольным видом сказал он, увидев редкий прибор, который по необъяснимой причине остался после эвакуации в Мечниковском институте. — Стащили?

— Николай Львович, такую вещь бросить! Это уже только перед концом света.

Он помолчал.

— Штат укомплектовали?

— Какое! Ведь мы сейчас вообще без определенного штата работаем, Николай Львович. На хозрасчете. Людей можно было бы сколько угодно взять. Да где их найдешь? Вот нам, например, фармаколог нужен просто до зарезу!

Дед снял очки, подышал на них и стал долго протирать большим носовым платком.

— А микробиолог не нужен?

— Вы говорите о Караеве?

— А при чем тут Караев? — сердито наморщив большой мясистый нос, спросил Николай Львович. — Караев еще человек молодой, а я вам хочу предложить работника со стажем.

Караеву было лет шестьдесят, так что нетрудно было, кажется, догадаться, кого имеет в виду дед, предлагая мне «работника со стажем». Но я все еще не понимала.

— Пожалуйста, Николай Львович, — сказала я с глупым, любезным выражением. — Кого бы вы ни рекомендовали — найдем работу. Вот сейчас мы, например, раневой фаг налаживаем. Может быть, в эту лабораторию? Или...

Дед сурово засопел.

— Вам бы этого... немного отдохнуть, Татьяна Петровна,— сказал он.— А то вот тоже на днях зашла к нам молочница, а моя старуха берет у нее молоко и платит, я вижу, десять копеек. И говорит: «Это тебе за две кружки, а на три копейки ты нам в другой раз картофеля донесешь, ну там еще морковочки да капустаки». Вдруг назад отъехала лет этак на сорок. Молочница так растерялась, что даже молоко пролила. Я говорю жене: «Ты что, матушка, с луны свалилась?» Ну, спохватилась она, разумеется, стала смеяться. Теперь я для нее пуховку хлопочу. Отдохнуть надо. Так вот, может быть, и вам бы...

— Николай Львович,— я вскочила и поцеловала его.— Вы хотите работать у нас?

— А что же мне в такое время сложа руки сидеть? — сердито сказал дед.— Дадите дело — возьму. А на нет и суда нет. Пойду восвоюся.

К сожалению, дед успел побывать у нас только несколько раз. Узнав, что он хочет работать, нарком уговорил его взять на себя руководство одним из крупнейших, только что вернувшихся в Москву институтов.

В апреле 1942 года мы получили план и выполнили его с превышением. Препарат мы научились готовить в сухом виде, что дало возможность перебрасывать его воздушным путем на любые расстояния. Потом (благо в нашем распоряжении было все здание на Ленинградском шоссе) мы организовали еще одну лабораторию — по раневому фагу...

Нужно было поставить производство, которое было одним из тысяч больших и маленьких производств, связанных с великим делом победы, и вокруг лаборатории, затерянной в пустом, холодном здании эвакуированного института, стали собираться люди — техника и люди.

* * *

Зимой 1941 года многие москвичи оставались ночевать на работе — одни были на казарменном положении, другим не хотелось возвращаться в опустевшие, без жен и детей, брошенные квартиры. Оставался, когда я была в отъезде, и Андрей. Но с тех пор как я вернулась в Москву, решено было непременно возвращаться домой, хотя там было холодно и темно и приходилось возиться с «буржуйкой», а на работе — сравнительно тепло, и старинная «лампа-молния», которую откуда-то достал Кочергин, горела по уговору до полночи...

В марте после оттепели ударил мороз — очевидно, зима, как и полагается военной зиме, отступила стратегически, чтобы с новыми силами перейти в наступление.

Погода стояла солнечная, с крепким, скрипящим под ногами снегом — и вдруг капель начинала стучать по корочкам льда, намерзшим под водосточными трубами.

В эту ночь, пасхальную, пятого апреля, разрешено было ходить без пропусков, и мы с Андреем, встретившись у моего института, прошли пешком до Серебряного переулка. Пусто было на улицах, снежные сугробы лежали нетронутые, как в поле, и холодно было смотреть на их овальные тени.

Накануне я узнала о смерти Оли Тропининой от голода в Ленинграде, и страшные вести, которые до сих пор были все-таки только вестями, впервые предстали передо мной во всем их бессмысленном, бесчеловечном значении.

Мы почти не виделись со студенческих лет, но следили друг за другом и как-то гордились теми особенными, милыми, хотя и сдержанными отношениями, которых у меня никогда не было ни с кем, кроме Оли. И эта прекрасная, умная женщина умерла, потому что отдавала свой хлеб старику отцу, который пережил ее несколькими часами.

Вот бойцы мчатся по Ленинградскому шоссе, стоя в розвальнях, распахнув полушубки. Счастливый путь! Вот по улице Горького идет артиллерия. Движение закрыто, в пустоте ночного города — грохот, железное лязганье, далеко раскатившийся шум. Люди сидят на лафетах, у нацеленных в небо стволов. Возвращайтесь с победой!

* * *

Весна 1942 года — пожалуй, это было самое трудное время. В марте почему-то ничего не выдали по февральским талонам, в коммерческих столовых стало пусто, хоть покати шаром, за хлеб на рынке спекулянты просили по сто рублей за кило, и наше хозяйство, и без того не очень-то прочное, окончательно развалилось. Вероятно, оно все равно развалилось бы, потому что я давным-давно отвыкла от хозяйства и теперь, во время войны, никак не могла заставить себя думать о том, что приготовить к ужину или к обеду. Впрочем, обед и ужин происходили обычно в один и тот же очень поздний час, когда, возвращаясь с работы, мы с Андреем вынимали из портфеля небогатый паек, состоявший иногда из селедки и куса пшенной каши.

...Все было под рукой в этой комнате — белье, книги, посудный шкафчик, который, разумеется, не шел в сравнение с новым буфетом, стоявшим в будущей, когда кончится война, столовой. Обеденный стол, в зависимости от обстоятельств, превращался то в письменный, то в кровать, когда оставался ночевать кто-нибудь из друзей, приезжавших с фронта. Это было настоящее — тесная, заваленная вещами, книгами, газетами комнатка, в которой соединилось все необходимое для двух очень занятых людей, редко бывавших дома. А те большие, светлые, просторные комнаты, в которых мы не успели пожить, — будущее, не успевшее осуществиться. Случалось, что я заглядывала в это «будущее» и с грустью убеждалась в том,

что матовые стены выглядят уже не так красиво, как прежде, на потолке здесь и там появились трещины, белила пожухли. Бывали дни — солнечные, веселые, когда казалось, что от настоящего до будущего только шаг — распахнуть дверь и выбежать навстречу яркому, зимнему солнцу! Но трудно, ох, как трудно сделать этот шаг! Далеко было до светлого, прекрасного, просторного будущего. Ох, как далеко.

В СТАЛИНГРАД

Нарком предлагает на выбор два самолета, и я выбираю более поздний — в шесть тридцать утра. Плохо только одно: Андрей на заседании, и туда, где оно происходит, нельзя позволить. Ну что ж, придется оставить записку: «Михаил Алексеевич расскажет тебе, в чем дело. Вылет с Центрального аэропорта, шесть тридцать. Если успеешь — приезжай. Хлебные карточки — в столе. Каша — в газете под подушкой. Обнимаю тебя». Записку — условлено — я прикалываю к абажуру настольной лампы, ключ — тоже условлено — оставляю соседям. Смена белья, полотенце, мыло, зубная щетка, пачка печенья. Кажется, все. Нарком сказал, что он ждет меня дней через десять. Самолет специальным приказом прикомандирован ко мне.

Спускаюсь по лестнице. Темно, хоть глаз выколи! За углом водитель, приоткрыв дверцу, окликает меня.

Сегодня дежурит Коломнин — вот что получилось удачно! Нужно поговорить, на время командировки он заменит меня. Эх, еще бы дней десять, и первое испытание наш раневой фаг мог бы пройти в Сталинграде!

...Коломнин горбится, на узкие плечи накинуто старенькое пальто, грудь впалая, худое лицо в морщинах. Мы работаем не спеша — времени вдруг оказалось много. Из лабораторного оборудования — только самое необходимое. Из медикаментов — набор проверенных противохолерных сывороток. Среди пленных, взятых под Сталинградом, отмечены случаи холеры.

— Татьяна Петровна, возьмите с собой раневой фаг. Когда еще представится случай испытать его в боевой обстановке!

Я смотрю в его умные, терпеливые глаза много видевшего, много думавшего человека. Война прервала наши опыты над лечебными свойствами зеленой плесени. Раневой фаг — наша главная надежда в борьбе против нагноения ран, заражения крови! Но работа не кончена, количество добытого препарата ничтожно.

— Возьмите, Татьяна Петровна. Приготовим новый.

Легко сказать — приготовим новый! Но Коломнин настаивает, и я соглашаюсь.

- Товарищам кланяйтесь.
- Непременно!
- Деду привет.
- Передам.
- На Клинский завод не забудьте послать за посудой.
- Не забуду. Берегите себя.
- Спасибо. Все будет в порядке.

...Утро встает над городом, медленное, неторопливое, в равнодушных, бледножелтых красках июньской зари. Я стою у подъезда аэропорта. Машины подкатывают одна за другой, военные, разговаривая, проходят в подъезд. Нет Андрея. Дежурный по вокзалу приходит за мной. Пора.

В большом самолете летят, кроме меня, пять военных. Один из них генерал — пожилой, сухощавый, с умным, мрачноватым лицом. Пилотов — двое, и, как всегда, кажется немного странным, что сейчас они поднимут в воздух просторное помещение самолета с окнами, полом, стенами, потолком и двумя рядами длинных скамеек, на которых сидят, читают, курят, разговаривают люди. Но как ни странно, а чудо происходит — помещение поднимается и послушно летит над землей, над облаками, встречая и обходя темные, грозовые тучи.

Проходит час, другой, третий. Спят пассажиры, спит генерал, прикрыв лицо воротником шинели. Уснуть бы и мне. Да не спится, все думается... Сталинград.

Когда мы с Леной ездили на Астраханский икорный завод, пароход почему-то долго простоял в Сталинграде, и мы успели посмотреть этот прекрасный город. Мы успели лишь пробежать по нему, но в памяти осталось впечатление чистоты, ровных газонов, бегущих к Волге аллей, обсаженных акацией и тополями, частого сочетания двух цветов — белого и зеленого. А вечером, когда зажглись огни, стало видно, как далеко по берегу Волги раскинулся город — «на пятьдесят километров», — сказал нам вежливый, загорелый, в ослепительном кителе помощник капитана. Пароход отошел — и прощальная музыка, грустная и веселая, прозвучала над Волгой. Мы отплывали все дальше, а музыка слышалась и слышалась. Нас провожал Сталинград...

Частая дробь мгновенно прокатывается по самолету, стекло вылетает, осколки падают на колени. Пилот приоткрывает дверцу кабины:

- Никто не ранен?
- Что случилось?
- Обстрелял, паразит.

Самолет с ревом устремляется вниз, все падают друг на друга. Я поднимаюсь, смотрю в окно. Мы летим низко, над самой Волгой. Неподвижно лежит она под сверкающим солнцем, белый берег сбегает к ней стремительно круто, замаскированные зелеными ветками стоят у причалов лодки, катера, пароходы...

ВСЕ ЛИ СДЕЛАНО?

...Несколько пленных, взятых под Сталинградом, заболели холерой — впрочем, мне еще предстояло проверить этот установленный местными микробиологами факт. Просочившиеся через фронт слухи о том, что на территории, занятой противником — в Равенках, вспыхнула эпидемия, полностью подтвердила разведка.

Белянин, тот самый, толстый, пыхтящий, с красным, зверским лицом, который был помощником Андрея по Метрострою, сидит рядом со мной в машине. Мы едем в СЭЛ — Санитарно-эпидемическую лабораторию фронта.

— Всю жизнь мечтал пожить на Волге, поудить рыбу. Поудил! Как Андрей Дмитрич? Его бы сюда.

— Здоров. А что, и для него нашлась бы работа?

— Еще бы! — Что вы смотрите на меня? — скорчив свирепую физиономию, сказал Белянин. — Потолстел?

— Все тот же.

И правда, Белянин все тот же, война мало изменила его. Гимнастерка сидит на нем нескладно, по-штатски. Фуражка измята. Ремень нетуго затянут на большом животе.

— Как Малышев?

— А вот Малышев похудел, как собака. Мы с ним все телячью ногу жуем.

— Какую телячью ногу?

— Жена на дорогу дала.

— Вы же здесь вторую неделю!

— Ну так что ж! Еще хорошая нога. Мы строгаем ее и жуем. Местами, правда, заплесневела. Но я ему говорю: «Ведь Власенкова доказала, что плесень полезна».

СЭЛ помещается в маленьком деревянном домике на улице Кагановича, за железнодорожным мостом. В одной из маленьких комнат можно устроить бокс¹ — это удобно. Белянин знакомит меня с сотрудниками.

— Доктор Мельников. Доктор Пирогова. Садитесь, товарищи, и, не теряя времени, расскажите Татьяне Петровне, в чем дело.

Оба доктора из Харьковского института микробиологии, эвакуированного в Сталинград. «О кадрах не беспокойтесь, — это сказал мне Белянин. — Кадры первоклассные. И гости и хозяева. Действуйте смело».

Доктор Мельников — пожилой, загорелый, в очках, с коротко стриженной седой головой, рассказывает о том, как среди множества ежедневно проверяемых культур он обнаружил две подозрительных. Доктор Пирогова — маленькая, круг-

¹ Изолированное отделение для работы с особо опасными инфекциями.

ленькая, пришепетывающая от волнения — о том, как были проверены эти две подозрительные культуры.

— Нечего и говорить, как мы были бы счастливы, если вам удалось доказать, что мы неправы, Татьяна Петровна. Вот я был под Харьковом в окружении, насилу вырвался, многое пережил. Но когда пришлось убедиться в том, что...

С тяжелым сердцем принимаюсь я за работу. Нужно ответить на вопрос — угрожает ли новая опасность Сталинграду, который днем и ночью на дальних и ближних подступах готовится к обороне? Который пропускает сотни тысяч бойцов к излучине Дона, где в середине июня развернулось еще невиданное по своему размаху сражение. Который принимает в свои госпитали бойцов со всего Донского фронта, потому что пути на север (через Балашов) и на юг (через Котельниково) закрыты. Который переполнен войсками, эвакуируемым населением из других городов. В котором, как в любом южном городе, очень много фруктов и овощей, и никто не задумывается — некогда! — над преимуществом кипяченой воды перед сырой. От которого ежедневно отходят пароходы и эшелоны в Астрахань и Саратов — следовательно, эпидемия, если бы ее не удалось предотвратить, могла бы разлиться по всему Союзу.

В двенадцать часов ночи я кончаю проверку. Да, товарищи из СЭЛа правы! Сомнений нет. Необходимо принять срочные меры.

* * *

Заседание ведет Покровский, заместитель председателя исполкома, высокий, уверенный, неторопливый, усталый, с характерным отрубаящим движением руки, которым он подкрепляет свою неторопливую речь.

— Прежде всего санитарно-гигиенические меры — изоляция, дезинфекция очагов и затем — бактериофаг. В каких пределах? Поголовно. Это возможно, но при одном условии: на всех пунктах выдачи хлеба должны находиться наблюдатели, выделенные райсоветах, РОККом: каждый, получающий хлеб, принимает бактериофаг. Вы спросите меня, откуда мы возьмем такое количество бактериофага? Ведь для того, чтобы фагировать население, нужны тысячи тонн. Об этом нам сейчас расскажут специалисты.

Он переходит к санитарному состоянию Сталинграда, и с первых слов становится ясно, что город он знает глубоко, подробно. Не только тот, который знаком каждому коренному сталинградцу, но и другой, подземный, невидимый, бесшумный — тот, который раскинулся сетью электрических и телефонных кабелей, сетью труб водопроводных и канализационных.

Ночь, а в комнате душно. Приглушенный стук время от времени пробегает по окнам, завешанным синими плотными шторами, — ветер бросает в стекла песок.

Выступает сухощавый генерал с жесткой складкой у рта, тот самый, который летел со мной из Москвы и за всю дорогу не сказал ни слова. Впрочем, он и сейчас не особенно многословен.

— Кто не знает, что холере не страшны надолбы и противотанковые рвы? Она наступает бесшумно и незаметно.

Выступает представитель транспорта.

— От Сталинграда ежедневно отходят пароходы и эшелоны в Астрахань и Саратов. Следовательно, вспышка, если ее не удастся предотвратить, может распространиться по всему Союзу. Достаточно ли ясно, какая огромная ответственность ложится при создавшемся положении на членов противоэпидемического совета? В полной ли мере сознают они все значение предстоящей работы?

Да, сознают. Но открой, отыщи тропинки, по которым болезнь может проникнуть в огромный, переполненный войсками, находящийся в беспрерывном движении город!

Слово представляется доктору медицинских наук Татьяне Петровне Власенковой — так пышно представляет ее председатель, и нельзя сказать, что с ясной головой и спокойным сердцем выступает сей доктор медицинских наук.

* * *

В Сухуми — это было в 1939 году — мы заражали холерой обезьян и излечивали их с помощью бактериофага. В Термезе мы с успехом применили бактериофаг, как предупреждающее средство, — по ту сторону границы, в Иране и Афганистане, были случаи тяжелой холеры. Но задача, возникшая перед большим отрядом микробиологов и эпидемиологов в Сталинграде, была не похожа на все, что делалось прежде, — ни по характеру, ни по масштабу. Задача была неслыханная, небывалая. Она заключалась в том, что мы должны были организовать сложное микробиологическое производство в городе, осажденном, находившемся под тяжелой угрозой. Она заключалась в том, что это производство должно было выпускать препарат в огромных, с каждым днем возрастающих размерах. Она заключалась в том, что фагировать нужно было не только оседлое население, а тысячи людей, уходящих, уезжающих и улетающих из Сталинграда.

На заседании Чрезвычайной комиссии кто-то предложил доставлять бактериофаг из Москвы. Но в середине июня это было уже невозможно: железнодорожные линии были блокированы, самолеты прорывались с трудом.

* * *

В СЭЛе, или, точнее, в подвале СЭЛа, на термостатах стоят бутылки с лизолом, а в глубокой яме помещается несгораемый шкаф, в котором, вероятно впервые, хранятся не деньги

и бумаги, а живые культуры, необходимые для производства фага. Восемь человек — в том числе Мельников, Пирогова и я — работают в этом подвале. Кажется, обо всем переговорено. Но проходят две, три недели, а мы попрежнему почти не знаем друг друга. Иное заботит душу, волнует сердце, будит по ночам, заставляет включать радио дрожащей рукой: каждый день новости, одна тревожней другой. Немцы взяли Цимлянскую. Вышли на излучину Дона.

Я ночую в военном госпитале и, возвращаясь ночью с работы, всякий раз нахожу перемены, от которых беспокойно сжимается сердце. Все теснее сдвигаются койки. Все больше раненых в саду, на дворе. Еще несколько дней — и разбито левое крыло, печалью обнажена внутренность операционной, в накренившемся шкафу видны медикаменты, вата. Теперь госпиталь начинается от самых ворот...

Каждый вечер со всех концов города, от строителей рубежа, из военных частей санитарные сводки сбегаются в исполком, и становится ясно, что то, чем занимаемся мы — лабораторные люди, производители фагов, — это лишь частица огромной задачи, которую решает сам Сталинград. Девушки — дружинницы РОККа обходят город, у каждой под наблюдением десять квартир. Все ли здоровы? Уезжающие, знаете ли вы, что перед отъездом нужно пройти пропускник! Хлорированы ли колодцы? Нет ли больных в соседнем дворе?

А другие хлорируют колодцы, уничтожают очаги выплода мух, осматривают уезжающих. По радио и в газетах, в бомбоубежищах и на пристанях без усталости рассказывают о том, как бороться против желудочно-кишечных заболеваний. Дежурят в булочных, на эвакуопунктах — хлеб не выдается, прежде чем не принимается фаг.

НЕ О ВОЙНЕ

Это может показаться странным, но, работая в СЭЛе, я почти не видела Сталинграда. Мне запомнилась только улица имени Кагановича, по которой каждый вечер я шла на заседание противоэпидемического совета. Я проходила мимо городского сада, в котором, повидимому, не так давно гастролировал зверинец — на полотнище были нарисованы уже изрядно полинявшие лев с разинутой пастью и тоненький, как мальчик, укротитель. Может быть, здесь был зоологический сад? Я все собиралась спросить об этом кого-нибудь из сталинградцев, да так и не спросила.

Это было в середине августа, вечером, после работы. Я шла «домой» — если можно назвать так маленькую комнатку подле операционной, которую я делила с одной медицинской сестрой. В операционной были выбиты стекла и никто не

оперировал, а лежали раненые и среди них трое, которым я стала впрыскивать раневой фаг на другой же день после приезда. Неясные результаты! Один поправляется, но врачи полагают, что он поправился бы и без раневого фага. Другой умирает...

Какой-то моряк обогнал меня — как раз у рекламы звинца, потом вернулся, заглянул в лицо и сказал неуверенным голосом:

— Таня!

— Да.

— Не узнаешь?

Я колебалась только две-три секунды — немного, если вспомнить, что мы не виделись со студенческих лет.

Это был Володя Лукашевич, мой земляк и школьный товарищ. В юности он был так здоров, что при одном взгляде на него становилось смешно, да и сам он немного стеснялся своих слишком румяных щек, крепких плеч, сильного рукопожатия, после которого, бывало, долго трясешь в воздухе онемевшей рукой. Теперь он, кажется, не мог похвастать здоровьем: выгоревший китель свободно облегал неширокую грудь, чуть сгорбленные плечи. Лицо стало тоньше, как будто из-под прежних молодых грубоватых черт показались новые, в которых отразилась внутренняя (должно быть, не легкая) жизнь.

— Как я рад! Я часто вспоминал о тебе! Давно в Сталинграде?

— Скоро месяц. А ты?

— А я скоро сутки. Сколько мы не виделись?

— Сто лет.

— Андрей с тобой?

— Нет.

— Жалко. Какая ты стала, — сказал он с доброй улыбкой. — Ведь я все знаю о тебе. Догадайся, от кого? От Гурия Попова.

— Да ну! Где он? Вообще, где все наши?

Володя засмеялся.

— Вот интересно, сколько было потом друзей — в училище, на флоте. Все — наши. А лопахинцы все-таки — самые нашенькие наши! Гурий это Г. Попов. Разве ты не читала его корреспонденции в «Правде»?

— Так это он? Мне и в голову не приходило, что Г. Попов — это Гурий.

— Почему же? Вот наша компания, — с гордостью сказал Володя. — Знаменитые люди! А Нинка Башмакова? Я слышал ее в Ленинграде. Как поет! Но растолстела! Ужас. А ты — молодец.

— Почему?

— Не знаю. Доктор наук. Не растолстела.

— Растолстеешь тут! Но расскажи же о себе. Откуда ты? В последний раз ты писал, что тебя собираются перевести из Кронштадта?

— И перевели. В Полярное, на Крайний Север. А вот теперь, видишь, в Сталинграде.

— Надолго ли?

Он пожал плечами.

Мы вышли на набережную, и я сказала Володе, что за три недели в Сталинграде еще не была на набережной и памятник Хользунову, например, вижу впервые.

— Так занята?

— Да, очень.

Он посмотрел на меня — наверно, хотел спросить, что я здесь делаю. Но подумал и не спросил.

...Это было так, как будто, отыскивая любимое место в книге, мы быстро перелистывали страницы от конца к началу. Лопахин, школа, наша ячейка, споры о том, как должен вести себя активист в условиях нэпа.

— А помнишь «Клуб старой и молодой гвардии»?

— Еще бы.

— А научную комиссию по преобразованию праздника Ивана Купалы!

— Неужели и такая была? Нет, не помню!

— Ну, как же! Комиссия по преобразованию Ивана Купалы с целью придать ему революционно-пролетарское содержание. Ах, черт побери! Как мы были молоды! И как странно, что тогда мы как-то не замечали этого чувства молодости, счастья, здоровья. Впрочем, у меня к нему неизменно присоединялось еще одно чувство: мне, понимаешь, все время казалось, что я ужасный дурак, а вы все умные-преумные, особенно Гурий. И правда, вы все много читали, а я только журнал «Юный пролетарий». Впрочем, в этом виноват тот же Гурий. Он дал мне «Руководство к чтению», а там было написано: «Никогда не читайте чрезмерно. Это приводит к донкихотству. Вы станете жертвой призраков и будете жить, как во сне». Вот я и не захотел жить, как во сне. Зато я заучивал афоризмы.

— Зачем?

— А чтобы не отставать от вас! «Нэпман — бацилла капитализма, посаженная в банку», — с ученым видом сказал Володя и не выдержал, засмеялся. — Ты знаешь, мне и до сих пор иногда снится, что Андрей с Гурием говорят о чем-то ученом, а я жду удобную минуту, чтобы вставить свой афоризм.

Мы говорили, и я долго не могла понять то особенное, что было в нашем разговоре. Потом поняла: мы говорили не о войне. Володя сказал только, что был ранен, служил после госпиталя в береговой обороне, а теперь со своим батальоном отправлен с Крайнего Севера на Сталинградский фронт.

— Как все прошло, как прошло, — говорил он. — В юности трудно жилось, работали и учились. И все-таки так хорошо, пожалуй, никогда больше не было в жизни! А помнишь ночь на Пустыньке? — вдруг с волнением спросил Володя. — Ох, как

я был тогда влюблен в тебя, если бы ты знала! Мы переходили через какой-то ручей, я перенес тебя на руках, и долго-долго еще не проходило это острое, прекрасное чувство. Мне потом каждую ночь казалось, что я несу тебя на руках.

— Я все знала, все!

— Нет, не все.

Тихо было на набережной и пусто, только девушки с красной повязкой на рукаве и солдат прошли мимо нас с серьезными, счастливыми лицами. Я слушала и волновалась.

— С Гурием ты кокетничала, а со мной была серьезная, степенная. Ты точно наказывала меня. Я все думал: «За что?» Я писал тебе письма и не отправлял — все вспоминалось, как ты однажды, как дважды-два, доказала, что любить по-настоящему может далеко не всякий, а только тот, кто обладает гением любви. Я чуть с ума не сошел, все проверял — есть ли у меня этот гений? С той минуты, как я расставался с тобой, я начинал думать только об одном: где и когда мы увидимся снова. Ты снилась мне каждую ночь, и я помню, что одно письмо начиналось так: «Сегодня ты мне не снилась».

Мы прошли по набережной, потом вернулись к Хользунову. День был жаркий, а сейчас жара стала быстро спадать, с Волги повеяло прохладой. Какая-то военная машина, покрытая темнозеленым с лапчатым рисунком полотнищем, с грохотом проехала и остановилась у спуска, изрытого щелями.

— И вот что странно: я не сомневался ни одной минуты в том, что со мной ты была бы счастлива, а с любым другим человеком на земле, будь он даже ангелом во плоти, — несчастна. Тебе холодно? — спросил Володя. — Ты побледнела.

— Нет, нет.

— Разумеется, я бы не думал так, — улыбнувшись, сказал Володя, — если бы знал, что ты выйдешь за Андрея.

Завыла сирена, свет сразу многих прожекторов беспокойно скрестился в еще прозрачном, только что потемневшем небе, и какой-то суровый человек сказал, торопливо проходя по набережной:

— Не слышите, что ли? Тревога.

Мы не ушли, только замолчали — точно можно было не заметить тревоги, света прожекторов, людей, появившихся на Спуске и поспешно уходивших в щели, беспокойства, с которым солдаты стали заводить замаскированную машину, — всего, что не было юностью, Лопахиным, нашей встречей. Точно не было на свете ничего, кроме этой неназванной, неразделенной любви, этой горечи, вдруг перекликнувшейся с моими самыми затаенными мыслями, полузабытыми, отложенными надолго. Может быть, навсегда?

Еще прежде я спросила Володю, женат ли он, и он пожал плечами с таким видом, как будто был виноват передо мной, что до сих пор не женился.

— Пробовал,— серьезно сказал он.— Даже дважды. Но каждый раз в последнюю минуту прыгал в окно, как Подколесин.

— Что же так?

— Боялся обмануть.

— Обмануться или обмануть?

— И то и другое. А жалко. Иногда так бывает жалко, вот особенно теперь, во время войны! Я очень детей люблю. Как-то пусто становится в сердце, когда подумаешь, что на свете нет никого, кто беспокоился бы о тебе, ждал, думал. А подчас думается — может, и лучше?

Володя проводил меня до госпиталя, и, расставаясь, я взяла с него слово, что он завтра же зайдет ко мне в СЭЛ, а если не удастся — напишет. Он кивнул.

— А ведь грустно, что так разбросала нас жизнь,— сказал он.— Все могло быть иначе. Ты счастлива?

Я ответила:

— Да.

Он заглянул мне в глаза, потом крепко сжал руки и ушел — точно растаял в темноте, я не успела даже проводить его взглядом.

* * *

Окно маленькой комнаты подле операционной выходит на улицу, ведущую к Бекетовке, одному из южных районов Сталинграда. Каждую ночь я просыпаюсь от глухого топота, невнятных окриков, тревожного шума. Гонят скот. Тощие, измученные коровы проходят, недобро поглядывая вокруг. Овечьи отары смутно виднеются в предрассветном сумраке, в облаке пыли... Жмутся друг к другу, жалобно кричат, точно просят о помощи овцы.

Но в эту ночь — так мне кажется — они кричат особенно уныло и грустно. Бесформенные фигуры в накинутых на голову парусиновых плащах показываются и пропадают — как будто их уносит вместе с овцами, с пылью какая-то нечеловеческая роковая сила.

Стараясь справиться с тоской, от которой ноет, сжимается сердце, я долго стою у окна, потом ложусь, потом снова встаю. Я счастлива, обо мне беспокоятся, думают, ждут. И довольно об этом.

Протяжный стон доносится из бывшей операционной. Один из раненых не справился с мучительной болью, и вслед за ним — так бывает всегда — другие начинают стонать в коридоре, в саду, на дворе. Все могло быть иначе,— кажется, так он сказал?.. Что за вздор!

Я счастлива — и нечего прислушиваться к вдруг забывшемуся беспокойному сердцу. Я счастлива — и нечего думать о том, что не случилось и не могло случиться. Или могло?

И нечего вглядываться в эту неизвестную жизнь, которая прошла где-то рядом со мной.

И довольно, довольно об этом!

«Ты поздно вернулась, не зашла к раненым, которым вприснула фаг,— вот о чем нужно думать, Татьяна Петровна!

— Не удался наш раневой фаг. Не удался,— вот что говорят эти стоны, этот страдальчески бормочущий сад, эти койки, стоящие вплотную друг к другу, этот госпиталь, начинающийся от самых ворот.— Где лекарство, которым ты бралась облегчить наши муки?»

И старая мысль, как старый друг, входит и останавливается на пороге и терпеливо ждет, когда уйдут другие, случайные, беспокойные мысли: маленькая худенькая девочка, лежащая на высокой подушке, с затянутой полотенцем головой, Катенька Стогина, крустозин, «воскресенье из мертвых»...

ДОКТОР ДРОЗДОВ

Стоит тяжелая, сухая жара. Ветер несет по улицам горячий мелкий песок. Тревоги становятся все чаще, и, наконец, каждый день в десятом часу вечера разносится надоедливый, скучный вой сирень. Это значит, что налет — групповой. Когда к городу пробиваются одиночные самолеты, тревогу не объявляют.

В духоте, от которой нет спасения, в жаре и пыли трудится город. Роют окопы, возводят дзоты, устанавливают противотанковые ежи. Строят рубеж — ближний и дальний. Запасают воду. На заводах все быстрее делают танки, покрывают броней тягачи. Каждый день после работы становятся в строй.

Работают, не отступая перед трудностями, и солдаты микробиологии, лабораторные люди. Без сомнения, фашисты были бы изумлены, узнав, как много холерного бактериофага производится в городе, находящемся под угрозой двадцати двух пехотных, трех моторизованных и пяти танковых дивизий. Пятьдесят тысяч человек в день принимают бактериофаг — этого еще не было никогда и нигде.

Все очень заняты, и нет времени, чтобы думать о том, что нельзя сделать сейчас, на другой день, через неделю. В госпитале не хватает врачей, и каждую ночь, вернувшись из исполкома, я выслушиваю, перевязываю, даже — в неотложных случаях — оперирую. Была же я лет двенадцать тому назад лечащим врачом в зерносовхозе!

* * *

...Гулкий раскатившийся шум донесся откуда-то издалека, затрещали зенитки, шевельнулась прикрывавшая разбитое окно бумажная штора. Налет. Ночь проходит, еще одна ночь.

Но если я не сплю, если правда, что я в Сталинграде, — откуда же взялся за стеной этот хриплый, ворчливый, разносящий кого-то, решительный голос? Эти короткие распоряжения, похожие на морские команды? Откуда взялся здесь доктор Дроздов, тот самый, который заведовал Сальским райздравом и вместе со мной ликвидировал мнимую холерную эпидемию в зерносовхозе?

Через минуту я была уже в коридоре, потом — голос успел удалиться — спустилась во двор. Разумеется, он! И точно такой же, как был, — маленький, седой, с короткой черной трубочкой в зубах, в развевающемся халате.

— Здравствуйте, Иван Афанасьевич!

— Здравствуйте, — отвечал он смирно. — Люди лежат чуть ли не один на другом, а разобрать складскую рухлядь на заднем дворе — это вам в голову не приходит? Безрукость! — хриплым, страшным голосом сказал он начхозу, который, поблднев, вытянулся — руки по швам — перед ним. — Голову надо иметь!

Он задохнулся, не найдя слова, и, грозно откашлявшись, зашагал между коек. Я догнала его.

— Иван Афанасьевич, вы меня не узнали?

Дроздов вынул трубочку, и на его морщинистом лице появилось доброе, удивленное выражение.

— Батюшки-светы, никак докторенок? Мне кто-то в сануправлении фронта сказал — да нет, думаю, наверно, не та! Та, значит?

— Та, Иван Афанасьевич.

— Ну, рад, сердечно рад. Вы здесь, в госпитале, живете?

— Да.

— Так идите же к себе. Я тут посмотрю еще кое-что и явлюсь к вам. Очень рад, от души!

Я не дождалась его, уехала за город, в Горную поляну — там была наша главная производственная база — и вернулась к себе в двенадцатом часу ночи.

— Так профессор, да? — спросил Дроздов, постучавшись и зайдя в мою комнату, когда я уже собиралась ложиться. — А кто говорил, что вы далеко пойдете?

— Еще не далеко.

— Как сказать! Чай есть? Черт знает что у вас тут творится, — сказал он, садясь, снимая фуражку с еще курчавой седой головы и приставив потрепанный портфель к ножке стула. — Полевые госпитали перебросить в Сталинград уже невозможно. Значит, эвакогоспитали должны взять на себя функции полевых. Кажется, ясно? И поняли же это в шестом, семнадцатом, девятом. А у вас тут... Просто из рук вон!

Я сбегала за кипятком, заварила чаю. Хлеба не было. Зато было печенье и шпиг, который я привезла еще из Москвы.

— Иван Афанасьевич, расскажите же, где вы, что вы? Давно в Сталинграде?

— Недавно, а на Волге — с июля прошлого года. Просился на флот, попал на флотилию. На войну не пускали — стар! А вот видите — вышло по-моему.

Я налила ему чаю. Он выпил стакан и стал немного дрожащими пальцами набивать свою трубку.

— Знаю, что вы здесь делаете, докторенок. Извините, что я по старой памяти вас так называю! Мне сегодня ваш Белянин целую лекцию прочитал о том, как важно перед едой мыть руки. Все верно! И все-таки в сравнении с тем, что происходит вокруг, — он широко повел рукой, — это мираж, обманчивое видение!

— Ну, нет. Не мираж!

— Так самообман, еще хуже. Вот скажите, положила руку на сердце, сколько у вас было подозрительных случаев — два, три, четыре? А от ран, от раневых осложнений умирают десятки тысяч! У меня статистика самодельная, я только три месяца как в начальство попал и не успел еще подыскать себе статистиков-доброхотов. Но кое-что я все-таки успел подсчитать! Вот, взгляните!

Он вынул из портфеля разграфленный, покрытый цифрами лист бумаги и бережно положил передо мной на стол.

— Не умеем мы лечить раны, — хриплым, низким голосом сказал он. — Не умеем! Умирают люди по нашей вине. Я об этом наверх писал и с медицинскими генералами говорил... Дошел до начальника сануправления фронта. Разводят руками генералы! Нет других средств, работаем на уровне современной науки. «Здесь чудо нужно», — так один и сказал. А люди умирают, — горестно опустив голову, сказал Дроздов. — Так чем бороться с призраками, придумайте же это средство, это чудо! Сейчас не то время, когда подобный вопрос должна решать одна голова. Сейчас нужно собрать сто, двести ученых — и поручить им, приказать им выдумать чудо. Да что приказать! Сами стали бы думать день и ночь, если бы своими глазами увидели, как умирают люди...

Он был прав и неправ. Прав, потому что гнойные инфекции уносили тысячи людей иногда даже после легких ранений. Неправ, потому что не придавал значения тому барьеру, который мы воздвигали, охраняя здоровье армии и народа.

— Заражение крови — вот бич, — показывая мне свою самодельную, но весьма убедительную статистику, сказал Иван Афанасьевич. — А боремся мы против него лишь немного успешнее, чем во времена Пирогова.

Я уговорила его остаться, уложила на койку, сама легла на пол. Он посопел трубочкой, потом откинул руку. Трубочка выпала, уснул. А я не спала до утра. Впервые с такой отчетливостью предстала передо мной наша неудача. Мы схватились за раневой фаг, потому что этот путь обещал нам легкую победу. Но в науке не бывает легких побед.

День был воскресный, и ко мне пришли в гости две дружинницы Красного Креста, которых я взяла к себе, потому что в СЭЛе с каждым днем работы становилось все больше. Одна была еще совсем девочка, лет шестнадцати, но уже сложившаяся, высокая, с нежным лицом. Ее звали Клава, на курсы РОККа она пошла из восьмого класса. Другая, Валя, работница с «Красного октября», была из тех находчивых, веселых девушек, о которых Николай Васильевич любил говорить: «Куда ни поиде, за ней всюду золотии верби растут». Она много смеялась, встряхивая кудряшками и кончая каждую фразу певучей вопросительной интонацией.

Девушки принесли мне арбуз с очень мелкими семечками, и мы немного поговорили об этом сорте, который я не встречала в Москве. Он назывался «Победитель». Потом девушки рассказали, что им дали отпуск на целые сутки, что почти все отделение отправилось на строительство баррикад, и они тоже скоро пойдут, только нужно заглянуть еще к Клавиной маме, потому что она должна была в воскресенье вернуться с рубежа и, наверно, очень беспокоится о Клаве.

Мне запомнились большие, красиво нарезанные куски душистого арбуза, лежавшего на белом больничном столе, и то, что Валя, смеясь, рассказывала о каком-то краснофлотце, с которым она условилась встретиться на набережной, если не будет тревоги, и то, что я слушала ее с удивлением перед могуществом молодости, которая в этом городе, в эти дни назначает свидания. Все это запомнилось мне с такими подробностями потому, что это была последняя минута той напряженной, очень трудной, но все-таки укладываемой в определенный порядок жизни, которою до сих пор жил Сталинград. Завыла сирена, девушки заторопились, они должны были немедленно вернуться на пост. Я сказала, что зайду к Клавиной маме, и она сперва не соглашалась, стеснялась, а потом торопливо набросала несколько строк, и девушки подписались: «Твои дочери Клава и Валя».

Они не были сестрами — почему они так подписались? Почему, прощаясь, мы взглянули друг другу в глаза? Я видела этих девушек третий или четвертый раз в жизни — почему в эту минуту мне было так трудно с ними расстаться? Тревоги объявлялись каждый день, по нескольку раз в день, откуда же взялось это чувство, что объявлена какая-то особенная, непохожая на другие, тревога? Оно не обмануло меня... Воздушная тревога, объявленная в середине дня 23 августа, больше не отменялась.

Я проводила девушек до подъезда госпиталя, вернулась к себе и увидела их через окно. Они бежали вдоль забора — на той стороне улицы стоял деревянный двухэтажный дом,

обнесенный забором. Но что-то изменилось за те две-три минуты, пока я их провожала: тень упала на город, и улица, которую только что ярко освещало солнце, была теперь в этой странной, быстро надвигавшейся тени. Я услышала крик: «Немцы, немцы!» Женщина с ребенком на руках торопливо вышла из-за угла, за нею мальчик лет пятнадцати с лопатой, которую он неловко держал перед собой,— и в том, как женщина взглянула на небо, а потом с отчаяньем прикрыла головку ребенка рукой, был ужас перед этой догоняющей тенью. Я тоже посмотрела на небо — над городом шли, не знаю, сколько, но, должно быть, не меньше тысячи самолетов. Тень надвинулась, и вместе с грохотом рванувшегося воздуха черный столб земли взметнулся перед деревянным домом. Все исчезло в этом столбе — женщина, мальчик с лопатой, забор и самый дом, рассыпавшийся дождем досок, стропил, рваных кусков железа. Вихрь отбросил меня, я упала, больно ударилась, но сейчас же вскочила и бросилась на двор, на улицу, где — я это знала — была ранена или убита эта женщина, прикрывавшая голову ребенка рукой.

Девушки-дружинницы, которые ушли довольно далеко, успели вернуться, пока, успокаивая раненых, я пробиралась между койками, стоявшими на дворе. Грузовик с аварийной командой вылетел из-за угла. Рвущийся и свистящий воздух, грохот зениток, искры, рассыпавшиеся снопами в черно-дымной пыли...

* * *

Мы не расставались весь день, весь вечер, эти девушки и я,— приводили в чувство угоревших, перевязывали раненых, перевозили тяжело раненных, если удавалось устроить их в переполненные санитарные машины. Как в причудливом, болезненном сне, помнится мне бомбоубежище на набережной, где вдоль стен сидели, задыхаясь от дыма, полуголые, обожженные люди. Взрывы стали удаляться, и по траншее девушки провели меня к Волге. Нужно было умыться... А потом мы снова пошли по щелям, где лежали и сидели в почерневшей одежде задохнувшиеся, обожженные люди, и снова приводили их в сознание и перевязывали, перевязывали без конца. Клава уговаривала меня остаться в третьей поликлинике, куда свозили тяжело раненных, я согласилась, и девушки простились со мной. Но потом все это как-то забылось, потому что задохнувшихся становилось все больше, а у нас кончился нашатырный спирт. Я достала его в третьей поликлинике, а выйдя, снова пошла с девушками по траншеям и щелям.

...Не только не ослабевал грохот рвущихся бомб, но усиливался с каждой минутой. Не только не утихал, рассыпаясь искрами, дымный вихрь, от которого тлела и загоралась одежда, но поднимался все выше, со всех сторон охватывая город.

Я вспомнила, что в подвале СЭЛа, в несгораемом шкафу, могли остаться культуры особо опасных инфекций, и, хотя можно было не сомневаться, что Мельников и Пирогова делают то, что в подобных случаях полагается делать, я все-таки беспокоилась и решила зайти.

Светало — и непередаваемая картина израненного, горящего города медленно открывалась перед нами. Еще не отпылали деревянные здания, еще пламя, бледное в утреннем свете, страшно показывалось из окон. Проволока судорожно скрутилась в спирали вокруг упавших телеграфных столбов. Копоть низко летела над мостовой, завальной осколками кирпичика, сломанной мебелью, изогнутыми крючками бетонной арматуры.

...Чуть слышный стон донесся из полуразбитого дома. Мы осторожно заглянули в подъезд и увидели небо сквозь рухнувшую, прогоревшую крышу. Прислушались — стон повторился. Осторожно, стараясь не касаться наклонившихся стен, мы вошли в одну комнату, потом в другую. Никого! Как будто самый дом простонал и умолк в последней, предсмертной муке.

— Татьяна Петровна, здесь, — негромко сказала Клава.

И мы увидели высоко, почти на уровне плеч, чуть заметные в гряде мусора кончики ног, носки женских туфель.

Женщина была завалена в узком пространстве под лестницей между первым и вторым этажом. Казалось, что весь второй этаж лежит на ней, — и он действительно рухнул бы вниз, если бы его не поддерживала накренившаяся балка перекрытия.

Нечего было и думать, что удастся вытащить эту женщину своими силами, и я послала девушек за аварийной командой. Но, быть может, удастся нащупать голову, освободить дыханье?..

Два марша лестницы сохранились, и я стала подниматься очень осторожно, потому что ступени так и ходили под ногами. Первая, вторая... Вдруг наступила тишина, и с каким-то болезненным чувством *услышала* я эту режущую тишину после непрерывного грохота и гула. Третья, четвертая... Перила качнулись, я хотела вернуться, но стон повторился, и на этот раз отчетливо слышалось:

— Помогите!

Пятая и шестая. Теперь я была на площадке, но дотянуться было все-таки трудно и пришлось — очень осторожно — подняться еще на одну ступеньку. Где-то здесь должна быть голова — и я действительно нащупала ее в гряде щебня. Так! А теперь освободим дыханье.

Лестница качалась, но мне почему-то больше не было страшно.

— Разожмите рот!

Рот был набит известкой, и пришлось присесть на корточки, иначе было трудно работать. Я отбрасывала известку одной рукой, а другой держалась за перила.

— Вы слышите меня? Разожмите рот!

Что-то глухо скрипнуло за моей спиной, и стена, которую подпирала балка перекрытия, стала медленно оседать, пере-страиваясь перед моими глазами. Я схватилась за перила, но и они стали уходить, так что прыгнуть можно было только под накренившуюся стену. Но я извернулась, прыгнула в сторону, и последнее, что мне запомнилось в этот день, в этот час, было странное ощущение, что я лечу не вниз, а вверх, туда, где в рваной бесформенной дыре светлело небо, озаренное нежным светом восходящего солнца.

СОСЕДКА

Не стану рассказывать о том, как со сломанными ребрами меня вытащили из-под рухнувшего дома,— скажу только, что плохо было бы мое дело, если бы я не послала девушек за аварийной командой. Но дело было все-таки плохо. Сказалось ли напряжение последнего дня или усталость, постепенно нарастая, дошла до своей высшей точки, но мертвая неподвижность, полное, глубокое безразличие овладели мной. Я потеряла сознание ненадолго, голова, по счастливой случайности, была почти не ушиблена, ранений много, но легкие. Почему же мне было так трудно заставить себя поднять руку, выпить глоток воды, произнести хоть слово? Именно это беспокоило врачей куда больше, чем сломанные ребра.

Первую неделю нечего было и думать о том, чтобы вывезти меня из Сталинграда. Тысячи самолетов продолжали бомбить город, и, чтобы добраться до переправы, нужно было пройти вдоль падающих зданий, по расплавленному асфальту, в котором вязли ноги, пройти, не задохнувшись в дыму. Об этом со спокойным мужеством говорили раненые, назначенные к эвакуации и лежавшие вместе со мной в бомбоубежище областного театра. А я... странно вспомнить и немного смешно, но едва раздавался грохот сброшенных бомб, как меня мгновенно охватывал сон, с которым невозможно было бороться. Я засыпала, поднося ложку ко рту, не договорив фразу...

Давно сбились, перепутались дни и ночи, но когда бы я ни открывала глаза, толстое озабоченное лицо Белянина неизменно склонялось надо мною. Он ухаживал за мной трогательно, самоотверженно — доставал откуда-то воду, когда был разбит городской водопровод, таскал ко мне врачей и со страшным, зверским выражением лица требовал от них, чтобы мне стало лучше. Он же, доложив о моем положении командующему Сталинградским фронтом, отправил меня на самолете в Москву.

Это было первое утро, когда мне вновь захотелось вспоминать, сравнивать, думать. Осторожно, чтобы не спугнуть это чувство, я повела глазами направо — тумбочка, покрытая салфеткой. Потом налево — дверь, освещенная солнцем. Голова начинала кружиться, когда я смотрела на эту ослепительную белую дверь.

Больше я не сомневалась в том, что все это уже было когда-то: точно так же я лежала на спине и боялась вздохнуть. Точно так же мне казалось, что в этой комнате я не одна и что, если осмотреться вокруг, можно увидеть того, кто ровно дышит где-то рядом со мною. Но тогда мамонты поднимались и спускались по лестнице, и с медленно бьющимся сердцем я долго прислушивалась к их удалявшимся, тяжело переступавшим шагам. Это было, когда Митя нечаянно ранил меня, и я лежала у Львовых.

...Дверь внезапно распахнулась, и высокий человек в шапочке и халате стремительно ворвался в комнату. Он не вошел, а именно ворвался, и за ним, уступая друг другу дорогу, тоже торопливо вошли другие врачи. В тихой палате сразу стало тесно и шумно. Один из врачей стал что-то говорить о моих сломанных ребрах, высокий человек молчал, прищурясь, потом перебил, подсел ко мне, послушал сердце и одобрительно буркнул. Я едва удержала улыбку — у него был озорной вид, точно он раздумывал, не выкинуть ли ему какую-нибудь забавную шутку? Две медсестры немедленно и почтительно записали это бурканье. Потом он вышел, и врачи, негромко и тоже почтительно переговариваясь, повалили за ним.

Это был профессорский обход, и высокий стремительный человек с бледным, умным лицом, в котором было что-то мальчишеское, был профессор Л., знаменитый хирург.

А ведь в палате я действительно была не одна! Первые дни мы лежали, не видя друг друга, две забинтованные куклы, с большими, неповорачивающимися, круглыми головами. Мы разговаривали, и я уже знала, например, что моя соседка — военный врач, хирург, что она ранена где-то под Ростовом. Она рассказала мне о своем сыне, а я — о своем. С помощью сиделки мы обменялись их фотографиями и таким образом увидели своих сыновей, прежде чем друг друга. Мальчик был курчавый, с торчащими ушками, милый, но все-таки не такой милый, как мой.

Соседка говорила лениво, как будто с трудом, и по этому неторопливому разговору я почему-то решила, что у нее круглое, добродушное лицо с улыбающимися глазами. Ничуть не бывало! Когда мы, наконец, повернулись — я на левый бок, она — на правый, — я увидела одно из тех смелых, поражающих своей сдержанной силой лиц, которых в жизни встречаешь

немного. И какое там добродушие — к Елизавете Сергеевне (так звали мою соседку) меньше всего подходило это слово!

Я видела до этой встречи только двух настоящих красавиц: Глафиру — в молодости — и одну подавальщицу в столовой зерносовхоза. И обе они не только прекрасно знали, что они — красавицы, но именно это заставляло их говорить и думать так, а не иначе.

А моей соседке было все равно, что у нее такое нежно-смуглое лицо с крупными сходящимися бровями. Ей было все равно, что, когда она нехотя смеялась, становились видны такие удивительно ровные, с голубоватым отливом зубы. И то, что врачи, осматривая ее, немного терялись, как будто она была особенным существом, которому неловко было давать обыкновенный бром с валерианой, — все это не имело для нее никакого значения. Я сказала, что она смеялась нехотя. Это и было первое впечатление — все она делала как бы нехотя, сдерживая раздражение и сердясь на себя. Сестры, ухаживая за нею, немного робели, сиделки — я слышала — сердились на нее: «Подумаешь, королева!» Она никогда не говорила ничего лишнего, и в этой определенности, законченности было даже что-то неженское, резкое. Мне становилось неловко, когда она двумя словами обрывала не в меру разговарившегося собеседника. Однажды к ней зашли однополчане, и один офицер глупо пошутил, что Елизавета Сергеевна живо поправилась бы, если бы начальство позволило прибавить двести граммов беленькой к больничному рациону. Все засмеялись, а она даже бровью не повела. Офицер, взглянув на нее, неловко замолчал. И все замолчали.

* * *

Андрей бывал у меня очень часто, но с полной ясностью сознания я встретила его все в тот же заломнившийся день, когда мне удалось, наконец, убедиться, что тумбочка — это тумбочка, а дверь — это дверь. Повидимому, идиотическое равнодушие, в котором я находилась так долго, очень напугало его, потому что, увидев меня очнувшейся (или, вернее, полуочнувшейся), он с трудом удержался от слез. Зато я не удержалась!

Он очень похудел, пиджак смешно болтался на плечах, глаза были запавшие, испуганные. Он принес бульон, который сам варил в лаборатории, и сказал, чтобы я не беспокоилась ни о чем: Павлик здоров, мама пишет часто. Вчера звонил Малышев, справлялся обо мне и просил передать, что группа, работавшая в Сталинграде, представлена к награждению. С продовольствием — хорошо. На фронте — тоже хорошо, наши наступают.

— Словом, дело только за тобой, — сказал он с такой, непохожей на него, наигранной бодростью, что я испугалась, что все эти новости — сплошное вранье, не только фронтовые.

О том, что на фронте плохо, что мы отдали Новороссийск и бои идут в самом Сталинграде, я знала.

— Что случилось?

— Ничего, все в порядке.

— Павлик здоров?

— Я же тебе сказал, что здоров.

— А Митя?

— Собирается в Москву.

— Вот хорошо! И надолго?

— Не знаю.

Так я и не поняла, чем был расстроен Андрей,— да и не очень старалась! С какой-то эгоистической бережностью обходила я в эти дни все, что могло огорчить меня. Мне нужно было поправиться скоро, очень скоро! Поправиться и, едва позволят врачи, вернуться к работе. Коломнин уже перестраивал лабораторию на плесневой, «крустозинный» лад.

ДАВНО ПОРА

— Татьяна Петровна, как ваша фамилия?—спросила меня соседка, когда Андрей ушел и наступило то спокойное предвечернее время, когда нас не кормили, не лечили и дневные сиделки перед уходом домой занимались не нашими, а своими делами.

Я назвала себя, и у нее дрогнуло лицо, точно она надеялась услышать что-то совсем другое.

— Вы огорчились? Вы думали, что с вами в одной палате лежит Уланова, да?

Она улыбнулась.

— А как ваша, Елизавета Сергеевна?

— Гордеева.

Гм, Гордеева! Я подумала и решила, что горьковский Фома Гордеев виноват в том, что мне показалась знакомой эта фамилия.

— Нет, я потому спрашиваю,— помолчав, сказала Елизавета Сергеевна,— что он напомнил мне одного человека.

— Кто напомнил?

— Ваш муж. Он не родственник Дмитрия Дмитриевича Львова?

— Родной брат.

— Родной брат?

Я взглянула на соседку и поразились: это было так, как будто прежняя, сдержанная Елизавета Сергеевна мгновенно исчезла куда-то, а вместо нее появилась совсем другая женщина, живая, вдруг вспыхнувшая, с широко открытыми глазами, с изменившимся от волнения лицом.

— А вы знакомы с Дмитрием Дмитриевичем?

— Да. Мы вместе работали в Ростове.— Она посмотрела на меня и опустила глаза.— Вы не знаете, где он теперь?

— Знаю.

Елизавета Сергеевна перевела дыханье.

— Он жив?

— Да.

И мы замолчали. Елизавета Сергеевна—потому что ей нужно было, я это видела, справиться с волнением, а я... Мне вспомнился тот вечер в Ростове, когда мы с Митей остались одни и он показал мне разорванный и склеенный портрет Глафиры Сергеевны. Мы сидели на балконе, фонари нежно и ярко освещали нарядные липы бульвара, и я чувствовала, что о своей «тяжелой болезни» он может говорить только со мною. «Меня познакомили здесь с одной женщиной,— сказал он тогда.— И мне показалось...»

Он не договорил, а потом стал рассказывать об этой женщине — врач-хирург, ученица Б. Я спросила: «Красивая?» Он ответил: «Да. Очень».

Елизавета Сергеевна — вот кто была эта женщина, и вовсе не горьковский Фома Гордеев был виноват в том, что эта фамилия показалась мне такой знакомой! Я услышала ее от полусумасшедшей сестры в Красноводске, которая рассказала о том, как некая доктор Гордеева спрятала Митю в подвале, а потом бежала с ним к партизанам.

Широко открытые темные глаза смотрели на меня с мучительным нетерпением, и я стала торопливо говорить о Мите, так торопливо, точно была виновата перед этой женщиной, которая, быть может, была бесконечно ближе Мите, чем я.

— Я сама еще ничего толком не знаю, мы от него получили только одно письмо, да и то какое-то беглое. Все-таки можно понять, что он был где-то у немцев в тылу, потому что пишет, что прошел пешком больше тысячи километров. Андрей придет послезавтра, я попрошу его принести это письмо. Очень беглое, вы увидите — все о нас спрашивает, а о себе — два слова. Когда вы видели его в последний раз? Это правда, что вы спрятали его в каком-то подвале, а потом бежали с ним из Ростова?

Ни разу в течение тех дней, что мы лежали в одной палате, я не слышала, чтобы моя соседка смеялась. Наконец, услышала, когда я спросила ее об этой истории.

— Я была мобилизована в первые дни войны, он проводил меня, и больше мы не виделись. Это было второго июля.

Мне захотелось спросить — откуда же взялись такие странные слухи? Но я только подумала и не спросила.

Елизавета Сергеевна лежала на спине, повернув ко мне голову, забинтованную, трогательно красивую, с темными

большими глазами. Я рассказывала о Мите и думала: «Да, милая. И красивая. И давно пора. И прекрасно».

Но все было совсем не так прекрасно, как мне представлялось.

* * *

— Я была уже лет пять замужем и любила мужа, хотя он был много старше меня. Хороший человек, очень спокойный и все прощал, только одно требовал — чтобы я говорила правду.

— А было что прощать?

— Было. Я очень неровная, капризная, вечно меня тянуло куда-то. То мне весело, и муж хорош, и работой увлечена, и жизнь прекрасна. А го хоть на белый свет не гляди — все скучно, немило! Муж ребенка очень хотел, а я — нет, но он в конце концов убедил, между прочим, тем, что я тогда перестану метаться. И вот тут-то я встретилась с Дмитрием Дмитриевичем.

Длинный больничный день подходил к концу, ночная сиделка уже пришла и поздоровалась громогласно и добродушно, дневная стала собираться домой, и Елизавета Сергеевна, которая ела очень мало, подозвала ее и сунула хлеб в карман халата.

— Встретились мы в одном доме, и он мне сперва не понравился — какой-то резкий, недовольный, хмурый. Говорит нехотя, свысока. Мы с ним сразу поссорились — помнится, из-за шефа. Я у Б. работала, вы о нем слышали?

— Еще бы! Превосходный хирург.

— И человек превосходный. Дмитрий Дмитрич отозвался о нем иронически. Ну, а я, разумеется, на дыбы! Так мы и расстались — с отвратительным впечатлением друг от друга. А через несколько дней я встретила его на улице. Это было вечером, зимой. Холод резкий, а он идет в летнем пальто, шляпа откинута, в руке трость и пьяный. Не очень, но навеселе, он ведь первое время вообще пил в Ростове. И, сама не знаю почему, мне вдруг захотелось, чтобы он... ну, вспомнил бы хоть, что я существую на свете! «Дмитрий Дмитрич, застегнитесь, простудитесь». И вижу, он обрадовался, хотя за то время, что мы не виделись, конечно, не подумал обо мне ни разу. Он ведь такой, знаете...

— Какой?

— Когда видит, тогда и любит.

Она сказала это с грустным и сердитым выражением и, когда я отрицательно покачала головой, посмотрела на меня искоса и тоже сердито.

— Ладно... Ну, разлетелся он, поцеловал руку — знаете, как он умеет с женщинами, когда хочет понравиться. От него немного пахло вином, но и это было приятно. «Вы меня пожалели, Елизавета Сергеевна? И не боитесь? Ведь это опасно!» — «А я, Дмитрий Дмитрич, не из пугливых!» И мы пошли — сама

не знаю куда, зачем... Мне только хотелось, чтобы это было всегда — острый ветер, от которого щеки кололо, снежинки, залетавшие в рот. И чтобы он вел меня под руку и говорил, говорил со мной, обо мне, для меня. — Елизавета Сергеевна замолчала, вздохнула. — Потом мы не виделись долго, около года. И не было ни единого дня, когда бы я не думала о нем, ни единого часа. Он всегда был со мной, и, когда иной раз случалось, что я ненадолго забывала о нем, поверите ли, мне было стыдно, точно я совершила какое-то святотатство.

— Девочки, пора спать, спокойной ночи, — сказала, зайдя в палату, дежурная сестра.

— Спокойной ночи.

Сестра ушла и вернулась.

— Как вы себя чувствуете, доктор? — спросила она Елизавету Сергеевну.

— Очень хорошо, благодарю вас.

— У вас лицо взволнованное.

— Вам показалось. Спокойной ночи.

Мы помолчали.

— Татьяна Петровна, мы все лежим, и я даже не знаю, какая вы. Высокая или маленькая? — спросила вдруг Елизавета Сергеевна.

— Скорее маленькая. А вы?

— А я — большая.

— Так я и думала. Свет погасить?

— Зачем? Скоро одиннадцать.

В одиннадцать свет выключали.

— Потом родился Игорь, — продолжала Елизавета Сергеевна. — И все прежнее потускнело, отступило. Муж и всегда-то меня любил, а тут просто не отходил от меня, и я начала относиться к нему сердечнее, мягче. И когда стали говорить, что Дмитрий Дмитриевич собрался в Москву — потом оказалось, что не совсем, а на конференцию ВИЭМа, — я даже удивилась — так спокойно встретила это известие, так равнодушно! Этот разговор был, между прочим, при муже, и он, помнится, с тревогой посмотрел на меня. Я ему улыбнулась и подумала: «Все кончено, навсегда, навсегда».

Свет погас, и в больнице стало по-ночному тихо. Надоедливая дверь, весь день хлопавшая под нашей палатой, хлопала теперь редко. Радио, бормотавшее, певшее, игравшее в наушниках, лежавших у меня на груди, замолчало.

— И вот... Это было осенью тридцать девятого года. Я узнала случайно, что Дмитрий Дмитрич должен быть в театре, и решила пойти — из какой-то лихости, что ли! Мне хотелось доказать себе, насколько я к нему равнодушна. Он опоздал, я не видела, как он вошел в темноте. Но точно кто-то сильно толкнул меня в самое сердце, когда он вошел. Я знала, знала на-верно, что вот только что его не было в зрительном зале, а сей-

час он здесь, где-то близко, и смотрит на сцену, и видит то же, что я. И мне уже было все равно, что нас могут заметить, что в театре много общих знакомых, что завтра о нас станут говорить в Мединституте. Я только ждала, когда кончится действие, чтобы, не медля ни минуты, найти его и сказать, что стоит ему сказать одно слово, только одно, и я...

Елизавета Сергеевна замолчала. Я слушала ее и не могла справиться с грустным, щемящим чувством.

— Так что я его ни в чем винить не могу. Все сама, только сама. И вы знаете, Татьяна Петровна, нельзя сказать, что в моей жизни не было счастья. Но если все это счастье подобрать до последней крупинки и положить на одну чашу весов, а наши немногие встречи с Дмитрием Дмитричем на другую...

— Немногие?

— Да. Мы скоро расстались. Я разошлась с мужем, рассталась с сыном, он и теперь у моей матери в Канске — есть такой городок в Сибири. А с Дмитрием Дмитричем так ничего у нас и не вышло.

— Почему?

— Не знаю. Мы очень разные люди. Мне все казалось, что я не могу жить без него, а ему без меня иногда даже лучше. Он мне рассказал о Глафире Сергеевне и уверил, что давным-давно забыл и думать о ней. И все-таки я знала, что он любил ее совсем не так, как меня,— и мучилась, сходила с ума, ревновала. Он не был счастлив со мной,— вздохнув, сказала Елизавета Сергеевна.— И очень хорошо, что мы разошлись. Так мне и надо.

* * *

Елизавета Сергеевна простудилась, когда ее возили на рентген, и два дня пролежала с высокой температурой. Она бредила — отталкивала кого-то, звала на помощь, оправдывалась, умоляла и несколько раз тоненьким, жалобным детским голоском позвала Митю. На третий день температура упала, и она очнулась, обессиленная до такой степени, что едва могла вымолвить слово.

Вскоре и меня повезли на рентген. В длинном коридоре, повернувшем под углом и снова оказавшемся длинным-предлинным, сидели и лежали на койках раненые, и с чувством неловкости я подумала о том, как в сущности нам с Гордеевой хорошо в отдельной светлой палате. Подумала и сказала.

— Еще бы,— отозвалась сердитая, катившая мое кресло сиделка.

Перед лифтом, который должен был поднять меня в рентгеновский кабинет, мы застряли, и я вдруг увидела себя в зеркале — вот так вид! Забинтованный, измученный монгольский мальчишка с широкими скулами и провалившимися глазами смотрел на меня... Хороша, голубка!

Сердитая сиделка кричала на другую сиделку, загородившую нам дорогу узлами с бельем, та оправдывалась и тоже кричала. Санитары молча растащили узлы и с размаху вкатили меня в большой грязноватый лифт. Но отрываясь от монгольского мальчика, я успела подмигнуть ему одним глазом и теперь, поднимаясь на лифте, думала — что бы это могло означать, что я ему подмигнула? Выздоровливаю — вот что! Иначе бы не мигала!

В рентгеновском кабинете был народ; печальный пример Елизаветы Сергеевны научил меня, и я упорно отказывалась снять шерстяной платок до тех пор, пока меня не поставили перед аппаратом. Я сказала, что у них все простуживаются в рентгеновском кабинете, но меня им простудить не удастся. Бодрый, красноносый рентгенолог в халате, надетом на что-то теплое, толстое — должно быть, на ватник, — засмеялся и сказал, что, когда больной является к нему с подобной претензией, можно заранее сказать, что дело идет на поправку. Потом он посмотрел мои кости, и действительно оказалось, что дело быстро идет на поправку.

* * *

Друзья бывали у меня очень часто — и в приемные и в неприемные дни. Лена Быстрова, которую я не видела с начала войны и по которой очень скучала, приехала на несколько дней из Казани — похудевшая и помолодевшая, хотя седеющая прядь над высоким лбом стала теперь совсем седая.

Войдя в палату, она остановилась у двери, глядя прямо на меня и не узнавая. Это больно кольнуло меня.

— Лена, это — я! Неужели я так изменилась?

Она бросилась ко мне:

— Нет, нет! Просто свет ударил в глаза.

Это была неловкая минута: Лена уверяла меня (не очень искренно), что я не изменилась, а я не слушала — расстроилась, что она не узнала меня.

Катенька Стогина — вот о ком она вспоминала через каждые два-три слова, вот кем была глубоко, болезненно занята! Ее отец был ранен, лежал в госпитале где-то под Тюменью и, повидимому, после выздоровления останется работать в тылу. Лена боялась, что он возьмет к себе Катеньку. И дрогнувшим голосом она сказала, что заранее старается приучить себя к этой мысли — старается и не может.

Она достала из сумочки фотографию Катеньки, и толстенькая девочка с огромным бантом взглянула на меня, доверчиво улыбаясь.

— Здорова?

— Совершенно. А помнишь...

— Еще бы! Ты даже не представляешь себе, как много я думаю о твоей Катеньке. И не только я. Ты была в институте?

— Была и все знаю. Ох, ты даже не представляешь себе, как мне хочется поскорее вернуться в Москву!

Накануне Коломнин приезжал ко мне, и мы как раз говорили, что в нашем коллективе, особенно перед войной, уже была не только профессиональная, но и психологическая цельность и что теперь, когда лаборатория разорвана на две неравные части, эти внутренне связанные части непременно должны тянуться друг к другу.

— У меня фармаколога нет, и ты мне нужна до зарезу.

— Вот так и написать наркому: Быстрова, в частности, нужна до зарезу.

Мы проговорили до тех пор, пока дежурная сестра, появившись на пороге, выразительно развела руками.

* * *

Виктор, только что вернувшийся из Ташкента, и Николай Васильевич Заозерский пришли ко мне в один день и, выяснив, что я уже почти здорова, занялись вопросом о том, как поставлена в Средней Азии противоэпидемическая работа.

Николай Васильевич спрашивал, Виктор отвечал — и отвечал умно, со знанием дела. Я посмотрела на них, и слезы невольно навернулись на глаза: это были мой учитель и мой ученик. Виктор заметил, что я взволнована, спросил, что со мной, и я засмеялась и сказала, что он приехал смешной — черный, подсохший, похожий на индуса, но с самой что ни на есть рязанской выгоревшей шевелурой.

А Николай Васильевич постарел. Никогда прежде я не видела его таким подавленным и усталым. Ни привычных шуток, ни милых украинских словечек, от которых почему-то становилось проще самые запутанные дела!

Его приемный сын, тот самый, который некогда, во времена маньчжурской чумы, был торжественно вручен ему китайским мандарином, погиб под Москвой. Николай Васильевич любил сына, гордился его успехами и был глубоко потрясен этой смертью. А осенью сорок второго года он похоронил и жену.

К этим несчастьям, о которых с ним было лучше не говорить — большие глаза его сразу же наполнялись слезами, — присоединилось еще одно. Последние годы после переезда на Украину он каждое лето проводил в Чеботарке. Он мечтал превратить ее, по образу Павловских Колтушей, в один из центров советской микробиологии. Немцы сровняли с землей его Чеботарку. На месте богатейшего села с двумя школами-десятилетками, с только что выстроенным медицинским техникумом стояли среди развалин виселицы с казненными партизанами — об этом упоминалось в одной из фронтовых корреспонденций.

Прежнего, добродушно-лукавого, любящего цветы, легкий отдых, легкую беседу с друзьями, Николая Васильевича теперь

трудно было узнать в старом, сгорбленном человеке с пожелтевшим исхудалым лицом. Бородка его тоже пожелтела и стала редкая, длинная. Глаза смотрели пристально, с неподвижным выражением. Он умолкал подчас во время оживленного разговора, и чувствовалось, что его томит в эти минуты невеселая дума...

* * *

— Неужели это правда о Догадове? — спросил Виктор, возвращаясь к новости, о которой я знала уже давно и которая его поразила. — Какой негодяй!

Летом 1942 года Догадов оказался — при каких-то темных обстоятельствах — на оккупированной территории и выступил по радио с клеветнической речью.

— Татьяна Петровна, неужели правда?

— А вы думаете, Витя, что я должна знать больше других? Очевидно, правда.

— Какой позор!

Я сказала, что Догадов всегда казался мне человеком фальшивым.

— Эта корректность, этот ровный голос, эта видимость полной объективности, а на деле ненависть, от которой он, должно быть, задыхался наедине с собой. Не помню, где я читала: «Мертвые, которые считают себя живыми только потому, что видят свое дыхание в холодном воздухе». Это — о нем.

— И довольно о нем, — сердито сказал Николай Васильевич.

Последнее время Виктор работал уполномоченным Наркомздрава по Средней Азии, и теперь было необходимо, чтобы Заозерский позвонил наркому насчет возвращения Виктора в наш «филиал». Я попросила, Николай Васильевич обещал, а потом разговор снова уткнулся в эту, как будто немного отравившую всех, историю с Догадовым.

— Интересно, что думает об этом Валентин Сергеич? — сказал Виктор. — Должно быть, расстроен? Как-никак, а ведь Догадов — его ученик. И ближайший.

— Еще бы не расстроен, — сказал Николай Васильевич. — Впрочем, знает ли он? На днях он уехал в Лондон.

— Зачем?

— Очевидно, хочет изумить своими достижениями мировую науку, — сильно покраснев, сказал Виктор.

Заозерский внимательно посмотрел на него.

— Подрос ваш воспитанник, Татьяна Петровна.

— Да, подрос. Впрочем, у него с Крамовым — счета. Правда, Витя?

— Да. Но не личные счета.

Мы помолчали.

— Ну-с, это дело особое, — сердито теребя бородку, возразил Заозерский. — И к тому, что сделал подлец Догадов, ни ма-

лейшего отношения не имеет. И я к Валентину Сергеевичу симпатии не питаю. Больше того, должен сознаться, что подчас в его присутствии испытываю нечто подобное тому, что испытывает человек при виде скорпиона, который может его ужалить. Но на грязное предательство он не способен. И довольно об этом.

* * *

Ох, как трудно, оказывается, стоять на ногах, не держась за спинку кровати! Первый день — десять шагов, второй — двадцать, а на третий — прощанье с Елизаветой Сергеевной, которая как-то сухо, едва разжимая губы, целует меня, — точно сердится за то, что мы расстаемся. Ей еще лежать и лежать. Я написала Мите о нашей встрече, и она написала, но письма едва ли успеют дойти — скоро он должен приехать в Москву.

...Андрей привез из дому платье, которое я не носила, должно быть, лет пять, я сержусь на него, а сама так рада этому старенькому, заштопанному платью. С радостной, глупой улыбкой я бреду, едва передвигая ноги, по коридору, спускаюсь по лестнице, и все, кто встречается мне на этом бесконечном пути, тоже начинают улыбаться, точно весь огромный госпиталь радуется тому, что я возвращаюсь домой.

Андрей надевает на меня пальто — сто пудов, но все равно хорошо! Мы выходим на улицу — темнота, от которой я успела отвыкнуть, резкий ветер, косой дождь пополам с мокрым снегом — все равно хорошо! Мы садимся в машину, толстый слой снега лежит на переднем стекле, «дворник» еле работает, водитель ругает погоду, Андрей сетует, что не взял меня из госпиталя утром... Хорошо!

ЗАКОЛДОВАННЫЙ КРУГ

Не знаю почему, но в госпитале я не могла заставить себя расспросить, что случилось с Андреем, а между тем редкий день не замечала в нем беспокойства, которое он (не очень умело) старался скрыть от меня. Зато дома, когда мы остались одни, я напала на него с такой энергией, что он не выдержал — поднял руки и закричал: «Сдаюсь!»

Дело касалось, как я и думала, вакцины против сыпного тифа — той самой вакцины, которую Никольский оставил в конце прошлого века, чтобы заняться другой работой, «менее безнадежной». Но дед не располагал в конце прошлого века тем простым и оригинальным методом, который предложила известная Карабчевская и которым воспользовалась лаборатория Андрея. Метод — если сказать о нем по возможности кратко — заключался в том, что мышей заражали через нос

возбудителями сыпного тифа, вызывая у них воспаление легких, а потом из переболевших легких приготавливали вакцину.

Все шло хорошо. Мыши лихорадили, кашляли, чихали — словом, вели себя именно так, как им полагалось. Первые препараты были уже получены, испытаны с хорошими результатами, осталось немного, чтобы приступить к производству. И вдруг — это было в тот день, когда меня привезли из Сталинграда — заболел лаборант, приготавливавший вакцину, и заболел — увы — сыпным тифом.

Конечно, это могло быть случайностью. Но лаборант был опытнейший, не допускавший промахов в своем, подчас рискованном, деле. Может быть, совпадение? В самом деле — мог же он заразиться и вне института?

Но через несколько дней захворал швейцар, он же гардеробщик, то есть человек, который вообще не заходил ни в лабораторию, ни в виварий. Это было уже совсем ни на что не похоже! Жил он в комнате под лестницей, в первом этаже, а мыши свой недолгий век коротали на третьем. Правда, раза два в неделю он поднимался наверх, чтобы попить чайку со своим приятелем, служителем из лаборатории Андрея. Однако служитель-то был здоровехонек!

Снова случайность? Но Андрей, который, быть может, лучше всех в Советском Союзе умел разгадывать эпидемиологические загадки, прекрасно понимал, что двух совершенно подобных случайностей не бывает и что нужно причину искать там, где скрещиваются пути заболевших. Но пути их не скрещивались — ни на работе, ни в жизни.

— Ты понимаешь, не могу понять, что произошло. Я проследил каждый час жизни этого швейцара и даю тебе слово... Это совершенно необъяснимо — почему заболел он, а не швейцар из соседнего дома.

Но вот — это было совсем недавно — в институт приехал важный гость, сотрудник иностранной миссии, интересовавшийся достижениями советской науки. Он не заходил в лабораторию Андрея. Он только прошел по коридору, вдоль стены, за которой находился виварий, — только прошел и через установленный срок заболел сыпным тифом.

— Тяжелым?

— Да, — потирая ладонью лоб, отозвался Андрей. — Очень тяжелым.

Нарком назначил комиссию, и дело — по многим причинам — сразу приняло дурной оборот.

* * *

Институт профилактики был одним из тех научно-производственных институтов, которые Наркомздрав в течение многих лет пытался передать Академии наук, упорно отказывавшейся от этого сомнительного подарка. Вечно в нем что-то не

ладилось — то он перестраивался, то объединялся, — иные лаборатории находились в таком неопределенном положении годами. Вечно менялись директора, среди которых были даже статистики, что можно объяснить только тем, что статистика имеет отношение решительно ко всем наукам, в том числе и к медицине. Среди научных сотрудников были люди, не имевшие ничего общего ни с профилактикой, ни с иммунитетом и стремившиеся лишь к одной цели — стать кандидатом, а впоследствии (если удастся) доктором наук. Поговорка, поразившая меня своей откровенностью (когда я услышала ее впервые), родилась, мне кажется, в стенах именно этого института. Вот она: «Не в знании сила, а в звании». Недаром же Институт профилактики и иммунитета называли «кузницей диссертаций»!

Правда, эти диссертации забывались через день (или через час), не оставляя ни малейшего следа в науке. Но зато в бюджете Наркомздрава они оставляли заметный след, поскольку доктора и кандидаты, согласно закону, получают втрое больший оклад, чем не доктора и не кандидаты.

Трудно или даже невозможно определить, чем занималось это учреждение вплоть до самой войны. Очевидно, даже его основатели не могли с полной ясностью ответить на этот вопрос. Одна из лабораторий работала над проблемой выпадения волос, так что по своему научному направлению она приближалась к известному «Институту красоты» в Париже. Причем и руководитель и сотрудники этой лаборатории были, как на грех, необычайно плешивы. В другой — занимались определением пола будущего ребенка по материнской крови, — почтенная, но далекая от микробиологии задача.

Были в этом институте и серьезные ученые, но работали они, закрыв глаза и уши и стараясь не замечать той, поистине фантастической чепухи, которую выдавали за науку иные лаборатории. Впрочем, с открытыми глазами и ушами они не продержались бы в этом институте и полгода.

Не знаю, по какой причине Институт профилактики не был эвакуирован — очевидно, его признали одним из тех незаменимых научных учреждений, без которых жизнь столицы (в отношении профилактики) могла принять нежелательное направление. Так или иначе, он остался в Москве. Директор-статистик был снят, а на его место назначен Андрей, с азартом взявшийся за это запущенное хозяйство.

Вероятно, он сразу нажил врагов, потому что действовал с той беспощадностью, которую я оценила в нем еще в те далекие времена, когда мы боролись с дифтерией в Анзерском посаде. По своей привычке, которая меня всегда раздражала, он скрывал от меня свои неприятности. Впрочем, я и сама понимала, что трудно обойтись без столкновений, когда нужно уволить полторы сотни бездельников (причем многие из них

при этом лишались брони) и на их место поставить дельных людей.

Ему удалось многое. В 1942 году институт впервые за много лет выполнил производственный план. В дальнейшем — так я и советовала Андрею — нужно было развивать именно производство, тем более что вакцина против сыпного тифа была хотя и многообещающей, но слишком сложной задачей. Он сердился на меня за эти советы — и в самом деле, пока работа шла, они были как будто и ни к чему. Но вот работа остановилась — и остановилась перед загадкой, которую Андрей не мог решить, несмотря на весь свой многолетний опыт.

Такой острой, болезненной неудачи в его жизни еще не бывало! Случались промахи, подчас заметные, но не отражавшиеся на той совокупности черт, которая определяет место человека в обществе и называется «положением». На этот раз было подорвано именно «положение». Эпидемиолог, не сумевший предупредить вспышку заразной болезни в собственном институте, — это было нечто такое уж непочтенное, обидное для самолюбия, вызывающее иронию!

Я не успела до Сталинграда побывать в его институте и теперь просила показать мне лаборатории, виварий, — кто знает, быть может, мне и удалось бы найти причину загадочной вспышки. Он решительно отказался: «Не семейное дело». Это была та преувеличенная, высшая принципиальность, которую я называла «святой» и которая раздражала меня.

* * *

Он боролся отчаянно, последовательно, не упуская ни одной возможности, даже самой ничтожной. Каждый вечер он писал объяснения, отчеты, и это были великолепные объяснения, объективные отчеты. Он привозил в институт Малышева, Ровинского, Краута, и эти опытейшие работники должны были признать, что и они не в силах найти причину загадочной вспышки. Это были люди, желавшие помочь ему, поддержать, ободрить. Но были другие — те, которые только и ждали удобной минуты, чтобы толкнуть в спину, отвернуться, сделать вид, что они ничего другого от Андрея и не ждали.

Среди этих недоброжелателей на первое место можно было смело поставить некоего Скрыпаченко, в прошлом одного из учеников Крамова, бывшего заместителя директора института. Это был человек, о котором многозначительно говорили: «Пишет», отнюдь не имея в виду при этом непреодолимую склонность к художественной литературе. Скрыпаченко занимался литературой другого рода, той самой, которая зачастую остается анонимной, разумеется только по скромности автора, у которого не было других причин, чтобы оставаться в тени. Правда, эта сомнительная безыменность говорила сама за себя —

многие произведения Скрыпаченко попадали в корзину для бумаги. Но что-то оставалось — легкое подозрение, оттенок недоверия, тот дым, который «без огня не бывает».

Это был высокий человек с неопределенно-осторожной улыбкой, чуть показывающейся на тонких губах. Он всегда ходил в потертом длинном пиджаке, в длинном пальто, и затхлый запах уютного, холостого жилья шел от этих плохо сшитых вещей, от носового платка, от всей его извилистой, настораживающей, несимпатичной фигуры.

Говорили, что от него сбежала жена, — этому нетрудно было поверить. Что он живет более чем скромно — аскетически, отвешивая домашней работнице продукты на весах и попрекая ее каждой копейкой. У него были узкие слабые руки с длинными пальцами, и мне подчас представлялось, как он сидит один в полутемной комнате, погруженный в свои отравленные завистью мысли, и слабыми пальцами плетет сети-интриги, в которые завтра попадет друг или враг.

С приходом Андрея этот опасный человек должен был уступить свое место опытному эпидемиологу, с которым Андрей еще до войны работал в туркменских степях. Скрыпаченко стал заведовать отделом и, разумеется, не простил этого новому директору института.

Куда только не посылал он свои ядовитые доносы! В Наркомздрав, в райком, в газету «Медицинский работник». Впрочем, на этот раз он выступил открыто — случай был выигранный, сулящий многое — можно сказать, единственный в своем роде. Произошел он во время войны, в большом производственном институте, работавшем на армию, — легко себе представить, с каким восторгом Скрыпаченко думал о том, что грозит тому, кого комиссия признала бы виновным в оплошности или недосмотре.

* * *

...Проведя свой первый после болезни рабочий день в институте, голодная, усталая, я вернулась домой, и Андрей не окликнул меня, как обычно, хотя не мог не слышать, что я открыла дверь, вошла, сняла пальто в передней.

— Ты дома?

Он сидел на полу, обхватив колени руками, дверца «пчелки» была открыта, и угли бросали слабый красноватый свет на его лицо, показавшееся мне особенно измученным в эту минуту.

— Что с тобой? Почему ты молчишь?

— И я еще учил тебя, как нужно работать в науке! — с отчаянием сказал он. — Я сердился и доказывал, что ты не права. Лучше бы ты прямо сказала, что я бездарен и что мне не следовало браться за такое сложное дело. Быть может, я бы послушался тебя. А теперь все пропало. Молчи, молчи, не утешай меня!

В первую минуту я растерялась, потом подседа к нему, обняла, и давно мы не говорили так сердечно, так долго! Куда исчезли его спокойствие, его умение всему найти свое место? Передо мной был очень расстроенный, усталый человек, потрясенный тем, что он усомнился в себе, потому что это было совершенно на него непохоже. Он не судил себя, нет! Просто пришла минута, когда он не мог справиться с собой, и он от всей души отдался этой минуте.

Это было совсем нетрудно — доказать Андрею, что дело совсем не в его мнимой бездарности, а в том, что он, в сущности говоря, мало занимался наукой.

— Ты вспомни, что было со мной! Не отмахивайся, пожалуйста, вспомни! Со свечением я возился — страшно подумать — три года! А сколько начатых и брошенных работ! А раневой фаг? А крустозин? Ведь я думала, что в моих руках — средство от самых страшных болезней! Цепь неудач — и среди них редкие праздники, когда начинаешь чувствовать, что все-таки недаром существуешь на свете! Ты оглянись не на свою, а на мою жизнь и увидишь, что я совершенно права.

Я успокаивала его и думала: «Полно, да Андрей ли это?» Я целовала его и чувствовала, что вот такой растерянный, непохожий на себя, он почему-то особенно дорог мне — дорог и близок.

Позвонили. Я пошла открывать и не поверила глазам, увидев высокую фигуру Скрыпаченко, вежливо улыбающегося, в длинном пальто и облезлой шапке со спущенными ушами.

— Виноват... Здравствуйте. Андрей Дмитриевич дома?

Это был несомненно Скрыпаченко, и спутать его с кем-нибудь другим было решительно невозможно. Он спросил, дома ли Андрей Дмитриевич, — стало быть, не ошибся дверью. И все-таки это было настолько невероятно, что я долго молчала, прежде чем ответить:

— Дома. Раздевайтесь, пожалуйста.

Конечно, незачем было пускать его к Андрею, тем более что у меня даже не было уверенности, что Андрей захочет разговаривать с ним. Но было уже поздно. Скрыпаченко снял пальто. Затхлый, неприятный, какой-то нежилой запах вошел вместе с ним в переднюю. Уж не был ли это обман чувств? Он повесил пальто и стал долго чистить перед зеркалом потертые лацканы своего пиджака.

Я попросила его подождать в передней и вернулась к Андрею, плотно закрыв за собой дверь. Он попрежнему сидел перед «пчелкой», упершись подбородком в колени, и не обернулся, когда я вошла, только спросил усталым голосом:

— Кто там, Танюша?

— Скрыпаченко.

— Кто?

— Скрыпаченко. Только ты не волнуйся, пожалуйста, и

не делай глупостей,— торопливо сказала я. У Андрея потемнело лицо, и он встал, машинально отряхивая брюки.— Обещаешь? Я скажу, что он может зайти. Хорошо?

Возможно, что мне не следовало оставлять их наедине, но, к сожалению, остаться с ними было неудобно, и, уйдя на кухню, я принялась за обед или ужин — как там ни называть полузамерзшую картошку, из которой с помощью манной крупы иногда удавалось испечь недурные оладьи. Впрочем, ни звука не доносилось из комнаты, и можно было, кажется, не сомневаться, что там идет серьезная и миролюбивая беседа. Мне даже представилась эта беседа: Скрыпаченко с улыбкой на тонких губах, слабо взмахивая рукой, убеждает в чем-то Андрея, а тот слушает, хотя и мрачновато, но внимательно и время от времени вставляет ни к чему не обязывающие, но вполне корректные замечания.

Прошло несколько минут, и послышался легкий стук, точно кто-то за стеной снял с ноги сапог и бросил его на пол, а потом поднял и снова бросил. Я вышла в переднюю, прислушалась. Стук прекратился, и, успокоенная, с поварешкой в руках, я снова принялась за оладьи. Конечно, после идиллической картины, которую я так живо нарисовала, было трудно догадаться, что этот стук вызван тем, что один из собеседников бьет другого головой о стену.

Увы!.. Это было именно так. Только что я приготовилась отправить на сковородку новую порцию оладий, как стук повторился, на этот раз одновременно с пронзительным бабьим криком, от которого у меня сердце так и упало; потом дверь из нашей комнаты распахнулась, и, с помертвевшим лицом, Скрыпаченко вылетел в переднюю и прислонился к стене, выставив вперед длинные руки. Андрей не торопясь вышел за ним. Я бросилась к нему. Он отстранил меня, даже не отстранил, а поднял и переставил. У него были бешеные веселые глаза, немного косящие, веки полупушены. Таким я его еще никогда не видела. Он подошел к Скрыпаченко и засмеялся, так что стали видны все его белые широкие зубы, потом взял за горло, и вот тут-то и повторился этот странный стук, которому я прежде не придавала значения.

— Андрей! Оставь его, перестань! Ты слышишь?!

Скрыпаченко попрежнему пронзительно визжал и, вдруг захлебнувшись, высоко подпрыгнул, точно надеясь взлететь в воздух и таким образом освободиться от Андрея. Но не тут-то было! Держа его одной рукой за горло, Андрей открыл дверь и, сжав зубы, одним движением вымахнул этого длинного человека на лестницу, а потом — я не успела опомниться — сорвал с вешалки его пальто и шапку и бросил их вслед за ним.

Это уже было однажды: некий звездочет явился ко мне после маминой смерти, потребовал, чтобы я вернула ему какие-то гадальные книги, и Андрей спустил его с лестницы. Но звез-

дочет тогда все-таки не был, как мне кажется, настолько близок к своему последнему расчету с земным существованием!

Немного бледный, но очень веселый, Андрей обнял меня за плечи и аппетитно потянул носом.

— Вкусно пахнет. Знаешь, что предложил мне этот прохвост: замять всю эту историю с вакциной. Но с одним условием,— чтобы я снова сделал его своим заместителем по научной части. Хорош? Жаль все-таки, что я его не убил.

Я засмеялась и только пожала плечами. Не могла же я признаться, что мне ужасно понравилось, что Андрей едва не убил Скрыпаченко. Я поцеловала его, и мы принялись за олады.

* * *

Очень странно, но это покушение на убийство не только не имело ни малейших дурных последствий для Андрея, но вообще не получило огласки. Скрыпаченко, что называется, съел — и не поперхнулся. Однако не думаю, чтобы положение Андрея в Институте профилактики стало прочнее, чем прежде. Да и только ли в институте? Его не пригласили на пленум ученых медицинских советов РСФСР, где он собирался выступить с докладом о методе Планельеса по лечению дизентерии. Медгиз, для которого он написал популярную брошюру, не только вернул рукопись, но потребовал обратно аванс, что было даже забавно. Но совсем не забавным показался нам фельетон в «Медицинском работнике» о некоем директоре института, который похвалялся, что открыл могучее средство против заразной болезни, а сам не обеспечил простейших санитарных условий в «собственном доме»...

Признаться, ни разу в жизни не случалось мне задумываться над общественным значением обыкновенного телефона. Меньше всего представляла я, например, что этот привычный аппарат, который мы даже не замечаем, может стать чем-то вроде зеркала отношений между людьми. До этой истории с вакциной Андрея звали к телефону каждые полчаса, в урочное и неурочное время. Теперь с каждым днем ему звонили все реже.

* * *

То были последние месяцы года, когда радио что ни день приносило известия о новых победах. В ноябре началось наступление под Сталинградом, и радостное дыхание его сразу почувствовалось во всех делах — больших и малых. Кажется, с первых дней войны не было в стране человека, который не работал бы с крайним напряжением, физическим и душевным, но только теперь этот грозный «фронт работ» вырисовался с неотразимой силой.

Было нечто страшное — скажу, не боясь этого слова, — в той вынужденной неподвижности, на которую был обречен Андрей среди этого нарастающего кипения дела. Как будто он остановился на мгновение с разбега, а чья-то злая рука уже успела обвести вокруг него заколдованный круг. Он не был одинок в этом кругу, друзья остались друзьями. (А те, которые лишь притворялись друзьями, — о них не стоило думать!) Но никогда в жизни ему не было так тяжело, так невыносимо грустно!

Давным-давно он затеял написать книгу о работе врача-эпидемиолога — все доказывал, что пора «вывести в люди» представителей этой скромной профессии. В годы войны эта тема стала значительнее, острее, и он все сетовал, что нет времени, чтобы взяться за нее, не доходят руки. Теперь дошли. Лучше бы не доходили!

Света не было, короткий зимний день кончался в четыре часа, Андрей работал при копилке. Глаза у него стали красными от напряжения, веки набухли. Я посылала его к врачу, но он только смеялся и говорил, что теперь — баста! Он окончательно потерял доверие к медицине, сыгравшей с ним такую подлую шутку.

Он писал, почти не выходя из дому, по четырнадцать часов в день, с бешенством, с неистовой страстью — словом, с теми чувствами, которых я у него прежде, кажется, не замечала. Я возвращалась поздно, усталая, и он редко читал мне, а читая, стеснялся и сердито морщился, останавливаясь на неудачной фразе. Мне казалось, что он пишет живо, ярко, умно, а он был все недоволен и зачеркивал подчас по шесть-семь страниц сразу. Я знала, что Андрей тонко понимает литературу (во всяком случае тоньше, чем я, что, впрочем, было нетрудно). Но впервые мне подумалось, что я совсем не чувствую того, что заставляет его волноваться.

Я ложилась, а он еще писал. Минутами он задумывался, по-детски зажав палец между зубами, и удивление проходило по усталому, но чем-то недовольному лицу — точно он и верил и не верил тому, что сам написал эти строки.

РАССКАЗАТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ

Прошло всего две недели с того вечера, когда, полуживая, еще не умея ходить, я вернулась домой, а между тем казалось, что все это было очень давно: госпиталь с его размеренной, как бы идущей по кругу жизнью, смена сиделок, знакомство с Гордеевой, о которой я аккуратно справлялась через день, а в другое время почему-то старалась не думать.

Крустозин удалось наладить, и работа пошла бы полным ходом, если бы не приходилось время от времени прибегать к

помощи каких-то подозрительных кустарей, наживавшихся на упаковке. Мы просто пропадали без собственной упаковочной мастерской, и дело кончилось тем, что наш воинственный завхоз просто-напросто стащил чье-то беспризорное оборудование, очень хорошее, с новенькой штамповальной машиной. Машина в особенности порадовала меня: теперь мы сами могли печатать этикетки для бактериофага и других препаратов. В общем, все было бы хорошо, если бы не холод, которого я стала почему-то особенно бояться после ранения. Холодно было дома, холодно на работе! Я возвращалась к себе, и такая настывшая, неуютная комната, с такими ледяными — не дотронуться — вещами встречала меня! Жизнь начиналась только поздним вечером, когда на раскаленной буржуйке, похожей на маленького чугунного бога, закипал чайник, и становилось тепло, и возвращались на свои места сбежавшие куда-то от холода обыкновенные, человеческие, мысли и чувства.

...Мы боялись, что плесневой грибок заразит производство фагов, и работу по крустозину пришлось перенести в институтский флигель, необорудованный и тесный. Кому-то пришла в голову мысль устроить термостаты в ящиках от письменных столов, и хотя в результате практического приложения этой мысли лаборатория стала походить на мебельный склад, грибок в письменных столах чувствовал себя превосходно.

В этот день был «аврал» — нужно было разобрать всю рухлядь, оставшуюся после эвакуации в первом этаже институтского здания. День был полон суеты и хлопот, и лишь возвращаясь домой в полутемном трамвае (где закутанные, синие под синими лампочками сидели молчаливые понурые люди и синяя кондукторша с фонариком отрывала билеты), я с тревогой вспомнила об Андрее.

...Еще на лестнице я услышала голоса, настолько похожие, что мне показалось, что Андрей громко говорит сам с собой. Не раздеваясь, я осторожно заглянула в комнату. Нет, не он! Он сидел на корточках перед печкой, колол дровишки и молчал, а говорил кто-то другой, и прежде чем я узнала этого другого, я увидела его мечущуюся по стенам огромную угловатую тень.

— Митя!

Он замолчал на полуслове, засмеялся, шагнул через стул, на котором лежал его заплечный мешок, и протянул мне руки.

— Я, Танечка, я, как это ни странно!

Он был в форме — полковник, и на мгновение мне вспомнился молодой врач, носившийся по тихим лопахинским улицам в длинной кавалерийской шинели. Но врач был уже немолодой, сильно поседевший, с острым профилем, в котором и прежде было что-то орлиное, а сейчас оно стало еще заметнее.

— Встретились все-таки, как хорошо, — говорил Митя, держа мои руки в своих.

— Надолго?

— Сравнительно, да. Вызвали и поручили организовать экспедицию.

— Куда?

— К черту на рога,— смеясь, сказал Митя.

Он был очень доволен.

— Садитесь, Татьяна! — Я сняла пальто.— Нет, сперва покажитесь! Похудела,— сказал он с огорчением.

— Постарела, Митя.

— Может быть. Чуть-чуть. А вот Андрей...

— Он вам рассказывал?

— Еще бы!

Они спорили добрых два часа до моего прихода. Уже был нарисован план лаборатории, вивария, института. Уже были обруганы Ровинский и другие, бездарные, по мнению Мити, советчики Андрея. Уже раз десять братья вернулись к сотруднику иностранной миссии, который, к счастью, не зашел посмотреть на зараженных мышей. В общем, Митя утверждал — и это была неожиданная точка зрения,— что эта история доказывает только одно: сыпнотифозная вошь, повидимому, не является единственным источником заражения.

— Чтобы согласиться с тобой,— с досадой сказал Андрей,— нужно только одно: забыть все, чему нас учили в институте.

— Вот и забудь! Иногда это полезно.

Андрей махнул рукой.

— Да пропади она пропадом, эта история. Не хочу я больше говорить о ней. Расскажи лучше о себе. Черт знает как мы за тебя волновались! Таня, он не хотел рассказывать, пока ты не придешь!

* * *

Я разогрела кашу, Митя достал из заплечного мешка консервы и шпиг, и мы устроили великолепный, давно не виданный ужин, с настоящим кофе, которое я сварила по всем правилам «кофейного» искусства. В комнате было тепло, и хотя печка время от времени «отказывала» — дым валил в комнату, а из колена трубы, направленной в форточку, начинала капать черная жидкость,— братья объявили, что «банкет удался».

Последние годы так редко удавалось видеть их вместе! В юности они были совсем непохожи, а теперь то в движениях, то в интонации вдруг мелькало необыкновенное сходство. Младший стал немного горбиться с годами, старший попрежнему держался по-военному прямо. Младший был, как всегда, сдержанно-нетороплив, в старшем то и дело закипало нетерпение — в особенности, когда нужно было выслушать собеседника, этого он никогда не умел. Младший, как всегда в эти редкие встречи, был полон делами, мыслями, надеждами старшего брата. А старший был полон только «своим» и рассказы-

вал о себе с легким оттенком хвастовства, несколько не уменьшавшегося с годами.

Он был действительно болен — дизентерией и очень тяжелой,— когда немцы взяли Ростов. На третью неделю он начал вставать, и в этот день у его дома остановилась легковая машина. Какой-то человек в штатском, с цветком в петлице и с драгоценной тростью в руке поднялся по лестнице и на чистом русском языке спросил профессора Львова. Разговор был короткий. Через четверть часа машина уехала, а профессор позвал старушку домработницу и спросил, не хочется ли ей поехать с ним в город Берлин.

— Не хочется,— сказала старушка.

— Ага. Вот и мне не очень. А ведь обещают полмира.

Старушка сказала, что ей не нужно полмира.

Он уложил свой заплечный мешок и, когда стемнело, вышел из дома. План был простой — на время скрыться в одной знакомой деревенской семье, а потом найти партизан и переправиться с их помощью через линию фронта.

Недалеко ушел он за ночь. Недавняя болезнь давала себя знать, да и не привык он шагать по дороге с тяжелым мешком за плечами. С зарей он залег в пшенице, и такой незнакомой, забытой показалась ему эта зеленая, с капельками росы, молодая пшеница. И он спокойно уснул, глядя в розовое высокое небо.

На другую ночь он подошел к знакомой станице — и не нашел ее. Почерневшие стояки торчали здесь и там, указывая место, где находились избы. Станица была сожжена, и, как видно, недавно: дымок еще пробивался кое-где среди обугленных бревен. Нужно было двигаться дальше. Куда?

Так началось его путешествие — в своем письме он шутливо назвал его «великим исходом». Но тогда было не до шуток. Он шел, и одежда, в которой он покинул Ростов, постепенно превращалась в тряпье. В одной деревне он променял свои изношенные ботинки на лапти, в другой — пиджак на котелок супа. У него отросла борода — «увы, седая», — смеясь, добавил в этом месте Митя. Без шапки, с пыльной гривой, с длинной палкой, он скоро понял, что нельзя придумать лучшего маскарада. Старухи крестились, когда он появлялся на деревенских улицах, — «ну и, разумеется, подавали».

В одной станице мотоциклист, у которого отчаянно фыркала, но не трогалась с места машина, подозвал его свистом, как собаку. Митя подошел. Очевидно, наружность его показалась подозрительной солдату. Не слезая с машины, он дернул его за бороду.

— Сам бог,— сказал он, захохотав, и, уверившись, что борода настоящая, приказал подтолкнуть мотоцикл.

Уже кончилась степная полоса с ее зеленым простором без конца и края. Пошли курские леса — Льгов был недалеко.

Теперь, просыпаясь, Митя вставал с трудом. Немела спина, ноги были давно разбиты, сердце болело, и боль была плохая — с отдачей в левую руку. Как-то он присел у ручья и очнулся от страшного чувства, как будто кто-то рукой закрывает ему глаза. Он лежал в ручье — должно быть, упал, потеряв сознание.

И вот наступил день, когда он почувствовал, что кончается его «великий исход».

Не скрываясь больше, Митя днем зашел в большое село. Он узнал, что здесь сохранилась больница и женщина-врач принимает больных.

— Здравствуйте, доктор, — сказал он, дождавшись своей очереди и зайдя в комнату, где сидела худенькая женщина в халате.

— Здравствуйте, дедушка. Откуда?

— Издалека, — сказал Митя и сел. — У меня к вам секретное дело, доктор. Я вас не знаю, но вы — русская и врач, этого достаточно. Дело в том, что...

Вечером, умытый и причесанный, он сидел в чистой избе с вышитыми полотенцами и рассказывал без конца. Перед ним стояла тарелка с жареным картофелем, и то, что можно и даже нужно было брать этот картофель вилкой, казалось ему чудесным сном, который может исчезнуть в любую минуту.

Решено было, что он останется у доктора Клитиной на несколько дней. Это было рискованно, муж ее служил в Красной Армии, немцы присматривались к ней, староста не раз подъезжал с разговорами. Больные видели, как она проводила Митю к себе из больницы. Но делать было нечего...

Он проснулся ночью, в чулане, и несколько минут лежал, не открывая глаз и сонно прислушиваясь к тому, что его разбудило. Это был шорох, шепот где-то очень близко, за стеной, на дворе. Чулан был дощатый, в пристройке, и ему показалось, что слабый свет мелькнул между разошедших досок.

Он приподнялся на локте, потом встал. Негромко постучали в окно. Полоска света появилась за дверью — хозяйка со свечой вышла в сени. Она спросила:

— Кто там?

И прежде чем со двора успели ответить, понял, что пришли за ним.

Три недели он провалялся в каком-то грязном подвале. Его били, снимали оттиски пальцев, показывали каким-то незнакомым людям. Он выдавал себя за профессионального нищего, бывшего сторожа хлебозавода в Нахичевани, к нему подсаживали провокаторов, ловили на перекрестных допросах. Ничего не добившись, его перевели в одиночку и оставили умирать, потому что он дошел до последней степени истощения.

Но прежде чем умереть, — так он решил, — нужно было рассказать человечеству, что он думает о происхождении рака!

Ему удалось достать листок папиросной бумаги, отгрызок карандаша, и, собрав последние силы, он бисерным почерком изложил свою теорию. Но кому передать листок? Доктору Кличиной? Кто знает, быть может, и она схвачена, выслана, погибла?

Среди его тюремщиков был один русский, тот самый, который помог ему добыть карандаш и бумагу. Довериться ему? Терять было нечего, а у этого парня было хорошее лицо. И Митя решил.

— Подойди-ка поближе, друг,— сказал он, когда тот заглянул в камеру на вечерней проверке.— Мне, кроме тебя, поговорить не с кем. Слушай, я не нищий и не сторож хлебозавода. Я — ученый человек, профессор, а не назвал себя, потому что не хочу работать у немцев. Дело мое, как видишь, плохо. Еще дня три — и не поминай лихом! Так вот, возьми этот листок и при первой возможности перешли моему брату, в Москву, Серебряный переулок двадцать два, квартира четыре. Не хочу я, чтобы вместе со мной пропали мои мысли, котсыре могут принести пользу людям.

Листок, свернутый в трубку, был засунут в окурочек. Парень взял окурочек, повертел его в пальцах. Потом оглянулся на дверь и наклонился к Мите.

— Погодите помирать-то, профессор,— быстрым шепотом сказал он.— Наши близко. Скоро небось увидите брата.

Это был наш разведчик, связанный с партизанами и служивший у немцев...

И наши действительно оказались близко. Через неделю Митя лежал в госпитале, а еще через две возился со своими пробирками в фронтовом СЭЛе.

* * *

Мы с Андреем сидели на кровати, а он шагал по комнате, натываясь на стулья, и огромная тень металась за ним, причудливо повторяя его движения. Копилка мигала, он нервно поправил ее. Он умолкал, иногда надолго. Справляясь с волнением, он крепко брался за спинку стула. Веселый тон подшучиванья над собой пропал, и он рассказывал тяжело, задумываясь над тем, что произошло с ним, и как будто не веря.

— Митя, а вы знаете, с кем я лежала в одной палате? — спросила я, когда стало удобно заговорить о другом.— С доктором Гордеевой. Я писала вам о ней, но вы, должно быть, не получили?

То было время, когда свет в Москве включали по районам,— нужно же было, чтобы он вспыхнул в то мгновенье, когда я сказала об Елизавете Сергеевне!

Пожалуй, с хозяйской точки зрения, было бы лучше, если бы свет дали завтра — уж в очень непривлекательном виде

предстала наша комната, с измятой кроватью, с грязными тарелками на столе! Но эта мысль только мелькнула: Митя бросился ко мне так стремительно, что столик, за которым происходил наш «банкет», покачнулся, и я едва успела подхватить покатившиеся стаканы.

— Где она?

— Не знаю, должно быть, еще в госпитале.

— Ранена?

— Да. Но все обошлось.

Как будто просыпаясь, он провел рукой по лицу.

— Это мой лучший друг,— просто сказал он.— Она уехала из Ростова в первые дни войны, и мы переписывались, пока это было возможно. Как вы думаете, Таня, могу я ей позвонить?

— Когда?

— Сейчас.

— Вы сошли с ума! Третий час ночи.

— Ну так что же! Я только передам ей привет.

— Ох, Митя! Не торопитесь. Она не уснет, если ей скажут, что вы звонили. У вас голова седая. Не торопитесь.

БРАТЬЯ

Наутро он умчался, не позавтракав, вернулся в середине дня, притащил груды хлеба, который за несколько дней получил по аттестату, и с этой минуты все в доме пошло вверх дном, потому что он стал заниматься нашими, а мы — его делами. Экспедиция «к черту на рога» оказалась ответственнойшей, и, чтобы организовать ее в короткий срок, нужно было заняться ею, и только ею. Как бы не так! Елизавета Сергеевна выписалась из госпиталя, и он устроил ее в гостиницу «Москва» — зимой 1943 года это было равносильно самому трудному из подвигов Геракла. Он прочел книгу Андрея — черновик, в котором я не могла разобрать ни слова, и три вечера подряд доказывал, что главная неудача Андрея заключается в том, что двадцать лет тому назад он, Андрей, занялся медициной, а не литературой.

И, наконец,— это было самое главное,— он поехал с Андреем в Институт профилактики.

— Иди ты, знаешь, куда! — сердито сказал он, когда Андрей его попытался убедить, что это «не семейное дело». — Кроме высокой чести состоять с тобою в родстве, я все-таки четверть века занимаюсь наукой.

Молча облазил он все три этажа института, заглянул в виварий и заставил всех лаборантов, одного за другим, рассказать о том, как они приготавливали вакцину. Рабочее место

заболевшего лаборанта он не просто осмотрел, а, можно сказать, обнюхал.

Вечером, когда мы встретились за столом, об этой ревизии не было сказано ни слова. Мы поужинали, легли, и я уже почувствовала, что мысли смешались, и что-то неожиданное всплыло, как всегда, в последнюю перед сном минуту...

— Андрей, я понял!

Я испугалась. Андрей коснулся моей руки и тихонько сказал:

— Спи, спи. Он бредит.

— Иди ты к черту! Ты сам бредишь! Я все понял! Они заразились аспириаторно.

— Кто заразился?

— Эти люди, лаборант и кто там еще.

Андрей повернул выключатель и сел:

— Сыпной тиф по воздуху не передается.

Митя засмеялся. Он был всклочоченный, бледный, с вдохновенными, смеющимися глазами.

— Вот спасибо, а я и не знал,— сказал он.

— Во всяком случае, до сих пор не передавался.

— Ах, до сих пор! Так ведь до сих пор никто не вызывал у мышей сыпнотифозного воспаления легких. До сих пор сыпной тиф не сопровождался кашлем. До сих пор...

— Швейцар не заходил в виварий.

— Значит, он плохо изолирован. Не швейцар, разумеется, а виварий!

— Штукатурная перегородка.

— Ну, тогда трещины, черта и дьявола, не знаю что,— покраснев и сердито подняв брови, сказал Митя.— Таня, вы спите?

— Нет.

— Вы согласны со мной?

— Почти.

— В науке не бывает «почти». Товарищи, да как же вы не понимаете, что весь опыт как будто нарочно поставлен для того, чтобы возбудители могли свободно выделяться в воздух? Андрей!

— Да?

— Ты что молчишь?

— Я думаю.

— Ах, ты думаешь? — с глубоким удовлетворением сказал Митя.— Так вот, раз уж ты думаешь, постарайся усвоить ту простую истину, что из новых условий, как правило, возникают и новые явления. До сих пор сыпнотифозные больные не чихали, не сморкались и вели себя согласно формуле «сыпной тиф по воздуху не передается». А ты заставил их...

Он замолчал, потом стал ровно дышать — уснул. Уснула и я. Андрей вставал, пил воду, ворочался — не спал до утра.

На другой день братья снова поехали в институт, и Митина догадка полностью подтвердилась. Виварий был действительно изолирован, но вентиляционный ход соединял его с коридором, и возбудители сыпного тифа не просто проникали, а, можно сказать, с силой выбрасывались наружу, распространяясь по всему институту. Ничего удивительного не было в том, что люди, проходившие по этому коридору, подвергались опасности заражения. Удивительно было другое — что из множества этих людей заболели всего только трое.

Митя оказался прав, потому что все — в том числе и такие опытейшие люди, как Малышев и Ровинский, — начинали с готовой, общепринятой формулы, а он не согласился с формулой, противоречившей фактам, и опрокинул ее с помощью этих фактов.

Разумеется, все это произошло далеко не так просто, как я рассказала. Через несколько дней многие сотрудники Института профилактики и иммунитета заговорили о том, что иначе и быть не могло, они думали совершенно так же. Это было повторением известной истории с колумбовым яйцом, поставить которое — после Колумба — оказалось удивительно просто.

Но нашлись и другие: Скрыпаченко, например, упорно доказывал, что если даже Львов-старший прав, что более чем сомнительно, Львов-младший все-таки виноват, потому что хороший директор обязан знать устройство вентиляционных ходов в своем институте. Не стану рассказывать о других более сложных маневрах. Все было сделано, чтобы Андрей не то что не мог, а не захотел вернуться в Институт профилактики. И он действительно не вернулся. Но об этом — ниже.

ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА

Митя пропадал по целым дням — по его словам, в разных «снабах», которые должны были снарядить его экспедицию, а по моим смелым предположениям — в гостинице «Москва», на одиннадцатом этаже, в номере тысяча сто десятом.

Впрочем, обитательница этого номера почти не упоминалась в наших разговорах, — мы с Митей редко оставались вдвоем, а говорить о ней при Андрее он, повидимому, стеснялся. Лишь однажды он спросил Андрея, с кем, по его мнению, нужно поговорить, чтобы ему, Мите, разрешили включить в состав экспедиции опытного врача-хирурга?

Нетрудно было догадаться, о ком идет речь, но Андрей сделал вид, что это его не интересует.

— Гм. Но ведь твоя экспедиция, насколько мне известно, не имеет к хирургии ни малейшего отношения!

— В том-то и дело! — с отчаянием отозвался Митя.

— Так, так. Старый врач?

— Какое это имеет значение?

— Не скажи. А прежде когда-нибудь он был в твоём распоряжении?

— Не был. — Митя слегка покраснел.

— И ты в этом совершенно уверен?

— Совершенно.

— Гм. Тогда, пожалуй, ничего не выйдет.

— Почему?

— Видишь ли, если бы ты прежде знал этого врача, можно было бы сказать наркомому, что тебе без него будет скучно. А начальник экспедиции не должен скучать, — это может вредно отразиться на деле.

Митя посмотрел на него.

— Господи помилуй, единственный брат — и подлец, — с некоторым даже изумлением сказал он.

В другой раз он упомянул — небрежно и между прочим, — что медкомиссия дала Елизавете Сергеевне полугодовой отпуск и, стало быть, теперь ее участие в экспедиции зависит только от собственного желания.

Я заметила, что после тяжелого ранения ехать в такую далекую экспедицию неосторожно. Но Митя улыбнулся и возразил, что трудно придумать понятие, более несвойственное Елизавете Сергеевне, чем «осторожность».

Он сказал это — и я как наяву увидела ее перед собой — смуглую, нехотя улыбающуюся, с крупными, сильными, помужски сходящимися бровями.

Но вот прошло несколько дней, и мрачный, расстроенный Митя явился домой, отказался от великолепной картошки в мундире, которую я только что сварила и от которой по всей комнате пошел вкусный пар, и стал ругательски ругать какого-то Корниенко, который просто задался целью провалить экспедицию, а его, Митю, засадить в каталажку.

Но не в Корниенко тут было дело! Повернувшись к стене, он долго лежал, притворяясь, что спит, и демонстративно засопев, когда я его о чем-то спросила. Потом не выдержал, сел на постель и сказал мрачно:

— Не едет.

— И прекрасно. Лучше, если она подождет вас в Москве.

— Подождет! Она за Военносанитарным управлением, ей придется вернуться в полк, если она не поедет со мной. Да об этом еще сегодня утром и речи не было.

— Что же случилось?

— Случилось то, что я думал, что знаю женщин,— с досадой сказал Митя,— а оказалось, что не только не знаю, но сам черт их не разберет. Она прогнала меня.

— Ну вот!

— Да, да. За то, что я пошел к Глафире Сергеевне.

— Ах, так!

Митя посмотрел на меня.

— И вы — туда же? — пожав плечами, спросил он.— Я даже не знал, что она в Москве, и вообще не думал о ней ни одной минуты.

— Как же вы к ней попали?

— Да просто наткнулся в записной книжке на ее телефон и позвонил наудачу. Сам не знаю почему, может быть — из любопытства. Вы мне верите, Танечка?

— Верю.

— Она обрадовалась, позвала меня, и мы — это было вчера — провели вечер за чаем. Это был очень грустный вечер, такой, что грустнее и придумать нельзя. Уж лучше бы она осталась в памяти прежней Глашенькой, той, без которой я не мог жить, как это ни странно.

— Постарела?

— Да, постарела, располнела, хотя и была в черном платье, наверно, чтобы не было очень заметно, что располнела. Это что! Мы все постарели. Нет, другое! Я нашел ее раздавленной, испуганной, отвыкшей от человеческого слова. Она не просто боится Крамова, она его смертельно боится. Он — в Лондоне, за тридевять земель, но он присутствует в каждом ее движении, в каждом взгляде. И вы думаете, она жаловалась на него? Превозносила. Но какая пустота чувствовалась за этими похвалами, какая усталость! Она была очень откровенна со мной. Но как только речь заходила о нем...

Митя замолчал. У него было напряженное лицо, одновременно задумчивое и холодное, с недовольно поднятыми бровями.

— Вы знаете, что ее мучит, о чем она жалеет больше всего: скоро старость, а нет детей. Хотела взять сироту — невозможно.

— Почему?

— Валентин Сергеевич не любит детей. Да, Валентин Сергеевич... А мне-то казалось, что он остался где-то далеко позади, в прежней, довоенной жизни. Ничуть не бывало! Известный ученый, общественный деятель, член коллегии, Лондон, Париж...

— Увы!

— А что же ваша дискуссия, его поражение? Отложено? Или забыто?

— Ни то ни другое. Но он — дельный человек, умен, представителен. Такие всегда нужны, особенно в военное время.

— Да? Ну, черт с ним. Вот, Татьяна. Это все, что произошло. Теперь скажите, неужели я действительно не должен был идти к Глафире Сергеевне?

— Не знаю.

— Не притворяйтесь, Танечка. Все люди как люди. Один я как собака.

— Митя, вы должны настоять, чтобы Елизавета Сергеевна осталась в Москве. Война скоро кончится.

— Ну да, конечно. «Жди меня, и я вернусь». А вы уверены, что я вернусь?

— Уверена.

— Кто знает.

— Ах, так! В таком случае тащить ее с собой — преступление.

Митя улыбнулся.

— А любить? — спросил он. — Тоже преступление?

Он уговорил меня поехать к Елизавете Сергеевне, и как я ни отнекивалась, а все-таки поехала, сердясь на себя, на него и чувствуя себя старой, скучной тетушкой, которой почему-то всегда приходится улаживать подобные недоразумения.

* * *

У подъезда стояли грязные фронтовые машины с привязанными баками, вдоль вестибюля спали, неудобно скорчившись в креслах, военные, у ресторана на лестнице толпились женщины с кастрюльками — словом, я не увидела ничего похожего на ту картину, которую, рассказывая о гостинице «Москва», нарисовал передо мной Митя. Впрочем, он особенно напирал на два обстоятельства — в номерах круглые сутки горячая вода, а в ресторане подают даже водку. Водка мало занимала меня, а вот вода... Это было глупо, но, поднимаясь на лифте, я с завистью поглядывала на счастливых, которые могут днем и ночью мыться горячей водой.

Елизавета Сергеевна жила на одиннадцатом этаже, где уже не было ни мрамора, ни ковров и где в узком, обыкновенном коридоре сидели не всевидящие, окруженные телефонами дежурные, а простые женщины в платках, пившие чай из эмалированных кружек.

Я постучала к ней, — шорох, испуганный шепот, быстрые шаги послышались за дверью. Потом она выглянула — в халате, с завязанной полотенцем головой и встревоженная, как мне показалось.

— Вот это кто! Ну, заходите, живо!

И, энергично втащив меня в комнату, она закрыла двери на ключ.

— А я уже думала, что попалась с поличным, — сказала она и засмеялась. — Катька, тащи кастрюльку. Напрасная тре-

вога! Не дают, скоты, пользоваться электрической плиткой,— объяснила она мне, доставая плитку из-под кровати и водружая ее на письменный стол.— А как тут обойдешься? Вот девица приехала с укреплений, нужно ее накормить?

Хорошенькая девочка лет четырнадцати, в юбке до колен и рыжем свитере с закатанными рукавами, вышла из ванной комнаты и подала Елизавете Сергеевне кастрюльку, очевидно с супом.

— А поздороваться? — строго напомнила Елизавета Сергеевна.

Девочка подняла на меня глаза под длинными ресницами и произнесла очень вежливым тоненьким голосочком:

— Здравствуйте. Катя.

— Видите, какая тихоня,— смеясь, сказала Елизавета Сергеевна.— А сама отказалась уехать в эвакуацию и осталась в Москве с какой-то сумасшедшей старухой. Это дочь моего двоюродного брата.

— Я не отказалась, тетечка Лизочка, а просто маме без меня будет легче.

— Да уж! Это несомненно. Вернулась с окопов такая грязная, что я ее три часа не могла отмыть. Щеткой терла, как лошадь. Ну, ладно. Вари суп и молчи. Что вы на меня так смотрите, Татьяна Петровна?

Я сказала:

— Любуюсь.

Елизавета Сергеевна немного покраснела.

— Вот именно, в этой чалме. Мы только что мылись. Хотите принять ванну?

— Нет, спасибо.

— Ну, тогда садитесь. Я давно хотела вас повидать и очень рада. Вот сейчас сварим суп, запрем Катю в ванной комнате и наговоримся вволю.

* * *

Когда мы лежали в клинике, Елизавета Сергеевна не раз подшучивала над своими длинными ногами — и все-таки я не думала, что она на целую голову выше меня. Она была большая, но вовсе не длинная, не угловатая, а легкая, неторопливо-грациозная, с плавной походкой. Все шло к ее высокому росту — и крупные сходящиеся брови, и смуглость, и выражение смелости; вдруг мелькавшее в исподлобья брошенном взгляде. Разговаривая с нею в клинике, я часто испытывала неловкое чувство, происходившее, мне казалось, оттого, что между нами не было ни малейшего душевного сродства. Сейчас она была радушнее, проще.

С первого слова она поняла, зачем я пришла, и выслушала меня молча, насупясь.

— Вот уж не ожидала, что он посмеет поручить кому-нибудь такой разговор. Даже вам.— Она взяла меня за руки.— Не сердитесь. Я его люблю, что мне перед вами таиться. Но вы не знаете, как это трудно — любить его, какое это мученье! Ведь он нарочно пошел к Глафире Сергеевне.

— Нарочно?

— Да, да. Нарочно, чтобы потом мне рассказать. Я не верю, что из любопытства, да и откуда мог взяться в записной книжке ее телефон. Он купил в Москве эту записную книжку. Он помешан на своей свободе, и это даже не странно, потому что вся его жизнь с Глафирой Сергеевной была рабством, унижительным, подлым. Но как же он не понимает, что это постоянное напоминание оскорбляет меня! — Она сердито смахнула набежавшие слезы.— Не нужен он мне со своей свободой, если она для него дороже, чем я. Да и что за детская выдумка, боже мой! Вот я люблю — нужна мне, что ли, свобода? Вы скажете, что это ревность, и глупая, потому что глупо ревновать к женщине, с которой он расстался чуть ли не десять лет назад и которая причинила ему столько горя! Конечно, не стоит. Но вы не знаете его,— снова сказала она страстно.— Он беспечен, легкомыслен, он всегда полон только собой. Это сожаление о каждом ушедшем дне, если он прожит не так, как ему хотелось, это незамечание чужой жизни, потому что он всегда занят только своей. Он бы замучил меня, если бы я поехала с ним. Даже не он, я бы сама замучилась, и тогда мы поссорились бы навсегда, навсегда!

Дверь из ванной комнаты чуть-чуть приоткрылась — должно быть, Катька решила вознаградить себя за скучное ожидание и познакомиться, хотя бы в общих чертах, с душевной жизнью тети. Елизавета Сергеевна сердито захлопнула дверь.

— И потом, вы думаете, это легко — работать под его руководством? Мало сказать — он требователен. Он беспощаден. Попробуйте ошибиться, ответить приблизительно, опоздать... У него становится такое лицо, такой взгляд и голос, что только и впору провалиться сквозь землю!

Постучали, вошла коридорная, извинилась и задернула шторы.

— И еще одно,— продолжала Елизавета Сергеевна, когда девушка вышла.— Эта экспедиция... Вы знаете, куда его посылают?

— Куда — не знаю. Зачем — догадываюсь.

— Вам я могу сказать... У наших соседей — чума, к нам обратились с просьбой о помощи. Вот видите, и вы взволновались. А Митя уверяет меня, что в наше время чума — это вздор. Врет, конечно?

— Врет.

— А ведь он отчаянный, вы не представляете себе, какой он отчаянный! Так еще и беспокоиться за него каждый час? Ну, нет! Благодарю покорно. Чему вы смеетесь? Скажите, Татьяна Петровна?

— Да нет же! Мне просто стало смешно, потому что Митя точно так же отозвался о вас — отчаянная, неосторожная. Вот что я думаю, дорогая Елизавета Сергеевна: я обещала ему уговорить вас, хотя мне все время казалось, что ехать в экспедицию прямо из госпиталя, после тяжелого ранения — это ошибка, которая может дорого обойтись и вам и ему. Теперь я вижу, что это не ошибка, а безумие. Противочумная экспедиция, да еще за рубежом, в чужой, незнакомой стране, без подготовки... Да он не имеет права брать вас с собой!

Это была минута, когда мне показалось, что Елизавета Сергеевна ждала от меня совсем другого, надеялась, что я стану уговаривать, убеждать ее. И тогда, может быть... Странное выражение мелькнуло на ее взволнованном, побледневшем лице.

— Да, вы правы, — сказала она грустно. — Мы расстанемся надолго, на полгода. Ну что ж! Быть может, это к лучшему. Передайте ему, что я не поеду.

Дверь из ванной комнаты снова приоткрылась.

— Тетечка Лизочка, теперь можно? — жалобно пропищала Катька.

* * *

Это уже было однажды — я приехала к Мите и нашла его в тоске, в отчаянье, потрясенного несчастьем, которое заставило его пересмотреть всю свою жизнь. Тогда от него ушла Глафира Сергеевна. В опустевшей, пропахшей табачным дымом комнате он шагал из угла в угол, запахивая измятую пижаму, грустно поглядывал туда и сюда, и в каждом его слове была видна усталость надломленного человека.

Теперь все было совсем иначе, и все-таки, возвращаясь от Елизаветы Сергеевны, я живо представила себе, как Митя, которому тесно в нашей маленькой комнатке, мечется, натываясь на стулья и прислушиваясь к каждому скрипу двери, а Андрей сидит на корточках перед буржуйкой, колет дрова и немного косящими глазами, как всегда, когда он сердит, поглядывает на брата.

Ничуть не бывало! В комнате было холодно и дымно, на столе стояла пустая бутылка и валялся скелет какой-то глубоководной рыбы, а братья лежали валетом на кровати и мирно разговаривали — вспоминали молодость, гимназию, Лопухин. Впрочем, говорил главным образом Андрей, а Митя лишь изредка вставлял два-три слова — и всякий раз с оттенком горечи, которую я не знала чему приписать — бутылке ли на столе, или другой, более серьезной, причине? На меня братья

не обратили никакого внимания, и только когда, растопив печку, я полезла под кровать, где у нас был устроен дровяной склад, Митя сонно посмотрел на меня одним глазом.

— А помнишь Саньку? — спрашивал Андрей. Это был учитель математики, и он смешно изобразил его — заморгал и озабоченно почесал подбородок — должно быть, похоже, потому что Митя, несмотря на свое мрачное настроение, так и покатился со смеху.

— Нет, Санька что! — сказал он. — В наше время это была уже не та гимназия. А помнишь тетку Пульхерию?

И, хохоча, он стал вспоминать какую-то тетку, сестру отца, которая, приехав в Лопухин, потребовала, чтобы ей устроили «красную комнату», и бедная Агния Петровна, заняв под вексель, велела оклеить комнату красными обоями и заказала красный абажур на толстых красных шнурах.

Андрей удивился.

— Позволь, я забыл, почему красную?

И Митя, слегка заплетаясь, объяснил, что у тетки была «отталкивающая внешность» и что на красном фоне эта внешность заметно выигрывала, так что в конце концов один ветеринарный врач предложил тетке руку и сердце. Рассказывая эту историю, он внимательно присматривался ко мне, очевидно, не узнавая.

— А, Танечка, это вы? — сказал он и сделал попытку, совершенно безнадежную, сесть на постели. — А мы тут рас... расположились и отдыхаем.

— Я вижу, как вы отдыхаете.

— Да, — гордо сказал Митя. — А что? Все люди как люди. Я один как собака.

— Оставь, разве она понимает? Слушай, а ты помнишь этого, как его... Из восьмого «А»? У него еще была хорошенькая сестра, за которой ухаживал Ванька Зернов?

— Коржич?

— Да, да.

— Мими — собачья морда?

— Да, да, — сказал Андрей с наслаждением и засмеялся. — Мне мерещится или это правда, что Рубин напился и доказывал, что нужно его утопить? Я был тогда маленький, и все, что вы говорили, казалось мне значительным, необыкновенным.

Должно быть, долго еще продолжались бы эти то скорбные, то восторженные признания, если бы я не потребовала, чтобы братья слезли с постели. Они покорно слезли и немного постояли, дружески поддерживая друг друга и вспоминая, как было хорошо, пока я не пришла. Потом Митя подмигнул брату, и Андрей, сделав серьезное лицо, присел на корточки и стал шарить в углу, где были сложены книги. Водку выдавали довольно часто, почти каждый месяц, почему-то на промтоварные единицы, но за книгами стояла бутылочка заветная, настоен-

ная на тархуне,— накануне решено было распить ее на Митиной отвальной.

— Андрей!

Он сделал вид, что не слышит.

— Перестань!

Значительно моргая, Андрей достал бутылку и передал ее брату.

— Да что вы, товарищи, ошалели? С чего бы это?

— По стопочке!

— Никаких стопочек! Пора спать! Митя, у вас завтра трудный день.

— Вот и нужно, чтобы была легкая ночь.

— Дайте сюда бутылку.

Митя погрозил мне.

— Э, нет! — пьяным, добрым голосом сказал он. — Я еще не забыл, как вы швырнули в форточку коньяк, когда я жил на Садовой. А какой был коньяк! Пять звездочек, боже правый! — И он высоко поднял руку с бутылкой. — Достанете — ваше!

— И не подумаю. Пейте, пожалуйста. Кстати, вам не хочется узнать, что ответила мне Елизавета Сергеевна?

Трудно было поверить, что минуту назад Митя стоял посередине комнаты, глупо хохоча, упираясь бутылкой в потолок. Точно я взмахнула волшебной палочкой — так стремительно он превратился в совершенно трезвого, взволнованного, слегка побледневшего Митю.

— Вы говорили с ней? Вы у нее были?

— Да, была.

Он поставил бутылку на стол.

— Не томите, Татьяна! Что она вам сказала?

— Завтра, завтра! Сегодня вы не годитесь для серьезного разговора.

— Так ведь я же не знал, что вы пошли к ней сегодня!

— Вот и поговорим не сегодня, а завтра.

— Танечка!

— Нет, нет!

— Андрей, скажи ей!

— Ну, нет. Это — ваши дела. Я в них не мешаюсь.

— Татьяна, я очень прошу вас!

— Нет!

Я не слышала, как раздался звонок. Андрей вышел в переднюю и вернулся.

— Митя, к тебе.

Она не вошла, а влетела в комнату, быстро дыша, в распахнутом полушубке, взволнованная, румяная, с испуганными глазами.

— Татьяна Петровна, простите, но я... — дрогнувшим голосом сказала Елизавета Сергеевна. — Когда вы ушли, я решила...

Я испугалась, что Дмитрий Дмитриевич позвонит куда-нибудь, что я отказалась. Познакомьте же меня с братом, сумасшедший человек,— сказала она, и слезы стали быстро капать на полушубок.— И больше не сердитесь на меня. Я еду, еду.

* * *

Через несколько дней мы провожали Митю. Мы ехали в газике, я сидела, заваленная чемоданами и мешками, и молчала, а братья всю дорогу, до самого вокзала, с ожесточением обсуждали не слишком злободневный вопрос о том, каким образом — и нужно ли — связывать кафедру с научной работой? Очевидно, война, так глубоко изменившая жизнь, что трудно было даже вообразить, что еще совсем недавно не существовало на свете ни лимитов, ни заклеенных крест-накрест окон, ни сводок Информбюро, оставила неприкосновенным лишь содержание этих долголетних споров. Впрочем, я не прислушивалась. Мне было грустно. Это был день, когда в газетах появилось известие о гибели Марины Расковой, и хотя такие известия были не в диковинку зимой 1943 года — эта смерть показалась особенно неожиданной и нелепой. На каждом углу с расклеенных газет смотрело на меня милое женственное лицо в траурной рамке, и так трогателен был контраст между строгим военным кителем и косами, уложенными вокруг головы!

Эти косы, эти глаза, как будто задумавшиеся в юности и так и оставшиеся задумчивыми, молодыми. Это лицо женщины, созданной для спокойной, счастливой жизни. Остались ли дети?..

— Вздор! — сказал Митя так громко, что я невольно вздрогнула.— Мы тем и сильны, что война не отменила ни одной перспективной теоретической мысли.

— Правильно! Но мысли атакующей или отражающей,— сейчас же энергично возразил Андрей,— то есть работающей на победу. А ты утверждаешь...

Вдоль полутемного вестибюля вокзала, на скамьях, на полу, спали солдаты, молоденький командир с измученным тонким лицом курил в стороне. Девушка-носильщица тащила чемоданы толстого, хорошо одетого пассажира, и я слышала, как он тревожно расспрашивал ее, почему в Москве молоко и масло.

Митя настоял, чтобы мы не провожали его до вагона.

— Но вот что забавно.— Он засмеялся и поставил чемодан на платформу.— Ведь я так и не рассказал вам о самом главном.

— То есть?

Митя махнул рукой.

— Ладно, в другой раз,— сказал он, и я догадалась, что самое главное — это его теория о происхождении рака.—

Кстати, у меня сохранился листок который я хотел переслать тебе из тюрьмы. Жаль, надо бы его в Москве оставить. На всякий случай, а?

— Иди ты к черту!

Митя засмеялся.

— А теперь, дети мои, будем прощаться.

Сама не знаю почему, но мне вдруг стало невыносимо жалко его — так остро, так невыносимо, что я не выдержала и заплакала, когда, обняв и еще не отпуская Андрея, он полуобернулся и протянул мне свою широкую руку.

— Полно, Танечка, что это вы? — говорил он и, как ребенку, быстро вытер своим платком мои мокрые глаза и щеки. — Вот уж непохоже!

— Что-то грустно вдруг стало. Ну, ладно! Все будет хорошо! Желаю счастья! Мы ждем вас, Митя. Берегите себя.

Он подхватил чемодан, спрыгнул с перрона. Перешел одни пути, потом другие. Легко обернулся и ласково помахал, чтобы мы уходили.

СТАРЫЕ ДРУЗЬЯ

Мы снова прошли все стадии работы над крустозином и снова получили желтое вещество, подавлявшее рост дифтерийных палочек, возбудителей сепсиса, менингита, газовой гангрены, воспаления легких.

В свое время метростроевцы попросили нашу лабораторию выяснить, какие изоляционные материалы наиболее устойчивы против плесени, легко развивающейся под землей, и, вспомнив об этом, мы решили испытать «подземные» виды.

В институтском бомбоубежище, где мы, случалось, еще проводили часа по четыре, были взяты на пробу несколько видов грибка, и один из них действительно оказался не менее сильным, чем пенициллиум крустоzum.

Снова, как два года тому назад, мы заразили мышей гнойными микробами и снова спасли их — девяносто из ста — с помощью нашего препарата.

Пора было переходить от животных к людям. Но рано было переходить к людям, потому что препарат попрежнему терял свои полезные свойства под влиянием многих причин, одну из которых — время — устранить было невозможно. Правда, теперь мы успевали накопить крустозин в количестве, достаточном для небольших клинических испытаний. Но все же его было мало, несмотря на то, что едва ли не половина институтского здания была превращена в термостатные комнаты и в каждой из них стояли матрасы с питательной средой, на которой росла зеленая плесень.

Убийственно мало — потому что препарат портился, прежде чем мы успевали воспользоваться им для лечения больных!

Разумеется, мы не забывали о Катеньке Стогиной. Лена прислала мне ее фотокарточку, я повесила карточку в лаборатории, и кругленькая девочка с бантом, подпирая голову кругленькой рукой, с удивлением смотрела на озабоченных дядей и тетей, вечно суетившихся вокруг каких-то стеклянных трубочек с темножелтой водичкой.

— Вы совершили чудо, — сказал Вишняков. — Но одна ласточка не делает весны. Будущее покажет.

Догнать это будущее, сделать фактом обыденной жизни Катенькино «воскресение из мертвых» — вот именно это-то и не удавалось!

* * *

Малышев звал Андрея в Военносанитарное управление, и он согласился — работа была огромная, увлекательная, еще небывалая, как, впрочем, небывалой за всю историю человечества была и сама Великая Отечественная война.

Выше я рассказала о том, как гражданская противоэпидемическая служба незаметно действовала среди сотен и тысяч мирных людей, которые были вынуждены оставить свои дома, спать где придется, неделями не умываться и месяцами находиться в пути. Такая же служба, охватившая всю нашу армию контролем здоровья, действовала на фронтах, непрерывно меняющихся, растянувшихся на огромном пространстве от Черного до Белого моря. Но здесь задача была сложнее.

Преследуя противника, наши войска сталкивались с угрозой повальных болезней, охвативших целые районы. В оккупированных местностях свирепствовали тифы, дизентерия, холера, даже натуральная оспа, давно исчезнувшая в нашей стране. Немцы перебрасывали через передний край сыпнотифозных больных — без сомнения, это была одна из форм бактериологического нападения, о котором говорил Никольский еще на Ростовской конференции в 1935 году.

Нужно было оборвать эпидемии, вспыхнувшие среди освобожденного населения в Орловской, Тульской, Смоленской областях. Нужно было предотвратить опасность, угрожавшую частям Калининского фронта, действовавшим в зараженных районах.

Следуя за наступающими войсками, нужно было отыскивать больных и отправлять их в полевые госпитали и медпункты. Нужно было посылать разведчиков впереди наступающих войск, на территорию, занятую противником, чтобы наши войска могли миновать зараженные села. Это была санэпидразведка, отличавшаяся от военной разведки тем, что к обычным опасностям присоединялась опасность заражения, и еще

тем, что медицинские разведчики не только стремились избежать этой опасности, но шли прямо на нее, в самую глубину бушующих эпидемий. Нужно было организовать санитарно-контрольные пункты, построить тысячи бань и десятки тысяч дезинфекционных камер. Словом, нужно было сделать очень многое, и Андрей взялся за это многое с вдохновением, с азартом.

Он получил военное звание — полковник медицинской службы, надел форму, и сразу же у него стал непривычно подтянутый помолодевший вид. Всю жизнь я забывала, что он хорош собой — с правильными чертами доброго, твердого лица, с широко открытыми серыми глазами. Теперь снова вспомнила и насмешила его, сказав, что он стал похож на писателя Ф., которого мы видели в Доме ученых перед самой войной.

Несколько дней он пропадал в библиотеках, возвращаясь домой лишь для того, кажется, чтобы сообщить мне, что из тридцати тысяч военнопленных, захваченных русскими в городе Вильно в 1813 году, двадцать пять тысяч оказались больны сыпным тифом, или что французская армия, осаждавшая Севастополь в 1853—1854 годах, потеряла умершими от заразных болезней свыше десяти тысяч, или что во время русско-японской войны наша армия потеряла убитыми и ранеными сто сорок тысяч, а от эпидемий в три раза больше.

Потом он стал уезжать, улетать, неожиданно возвращаться и опять уезжать — эпидработа всегда была для него чем-то вроде трамплина, который стремительно выбрасывал его в неведомые края и маршруты. Но теперь он стал относиться к этим поездкам как-то иначе, чем прежде, — я не сразу догадалась, что эта перемена была связана с его литературной работой. Он продолжал собирать материал для своей книги, и по его письмам нетрудно было догадаться об этом.

«Знаешь ли, какое зрелище больше всего поразило меня, — писал он из Сталинграда, — пленные немцы! Не могу забыть одну колонну, идущую степью, сплоченную в голове, но постепенно редющую к концу. Люди останавливались, пошатываясь, потом гнулись к земле, падали, пытались ползти на четвереньках и коченели в снегу, с белыми носами, с замерзшими веками. А другие все шли да шли. Наши автоматчики в полушубках и валенках терпеливо ожидали их, положив на автоматы руки в шерстяных рукавицах. В одной балке наши раздавали пленным хлеб и колбасу, и ты посмотрела бы на эти дрожащие руки, горящие глаза и послушала бы добродушные прибаутки нашего каптенармуса, кормившего вчерашних врагов! Потом налетел запоздавший «юнкерс» и сбросил несколько бомб в балку, на своих. Те пленные, у которых еще были силы, побежали в разные стороны, а большинство продолжало жевать русский хлеб, обильно поливая его слезами... Злобы? Обиды? Отчаяния? Поди разберись!»

В Сталинград он уехал надолго — нужно было восстановить в разрушенном, заваленном трупами городе все санитарно-эпидемиологическое хозяйство.

* * *

Весна сорок третьего года. Днем — работа, напряженная, острая, а по вечерам — внезапные приезды друзей из разных мест и лет, не вспомиравших о нас (и друг о друге) годами. Война, глубоко перетряхнувшая жизнь, вдруг оживила старые, казавшиеся давно забытыми связи. К старым друзьям потянуло, как потянуло к «Войне и миру», книге, которую тогда читали все — и в тылу и на фронте. Многие были недоговорены, полужамечены — и все задумались — да не были ли эти полужамеченные, промелькнувшие мысли и чувства самыми серьезными, самыми глубокими в жизни?

* * *

Однажды, возвращаясь домой, я догнала на лестнице плотного, широкоплечего военного с большим лицом, в котором, точно в дружеском шарже, все было как бы подчеркнуто, добродушно преувеличено: брови — вдвое шире, чем надо, губы — толстые, немного шлепающие, глаза — угольно-черные, нос — вздернутый, крепкий.

Это был Гурий Попов, военный корреспондент «Известий», а в прошлом — мой товарищ по школе и автор знаменитой бессловесной кинопьесы, в которой я играла главную роль.

— С лопахинским приветом, — сказал он и засмеялся. — Не будем говорить о том, какими мы стали. Поговорим о том, какими мы были. Можно называть вас на «ты», уважаемый доктор медицинских наук?

Он провел у меня целый вечер, рассказывая о своей работе, которая понаслышке всегда представлялась мне увлекательной, необыкновенной. Увы! Сам военный корреспондент был о ней совершенно другого мнения!

С первого слова я спросила о Володе Лукашевиче, и Гурий ответил, что в последний раз видел его прошлым летом на Северном флоте. Он ничего не знал о его дальнейшей судьбе и удивился, когда я сказала, что в августе прошлого года мы встретились в Сталинграде.

— Славный малый, — с обидевающей меня небрежностью сказал Гурий.

Это был милый вечер воспоминаний о Лопахине, о нашей комсомольской ячейке, о школьных друзьях. Но это был вечер, в котором чего-то все-таки не хватало, точно мы старательно ловили и не могли поймать давно порвавшуюся нить отношений. Так не было, когда я встретила с Володей Лукашевичем

в Сталинграде, потому что жизнь сделала его богаче и тоньше, а Гурий — я быстро убедилась в этом, — потеряв прелесть молодости, стал энергичным и дельным, но ограниченным человеком. Впрочем, может быть, нам просто не хватало Андрея?

— Расскажи хоть, какой он стал? — с нежностью, вдруг ожившей его большое, грубое лицо, сказал Гурий. — Черт знает что за жизнь! С лучшим другом видишься раз в полстолетие.

Фотография Андрея висела над столом, моя любимая, на которой ясно виднелись беленькие параллельные полоски на носу и твердое правильное лицо было озарено светлыми глазами, — и Гурий долго рассматривал фотографию.

— Какая досада, что он — в отъезде. Бог весть когда еще удастся выбраться к вам!

Я сказала, что в последнее время Андрей работал над книгой, и Гурий вдруг радостно захохотал, показав большие неправильные зубы.

— Нашего полку прибыло! — сказал он. — Ох, нелегкое дело. Ну-ка, почитай.

Мне давно хотелось, чтобы Андрей посоветовался о своих очерках с каким-нибудь писателем или журналистом. Куда там! Он только смеялся и говорил, что сейчас пишут все — летчики, врачи, просто читатели. Вот написал и он, чтобы не отстать от всех!

Часть рукописи была напечатана на машинке — опять-таки по моему настоянию, и я наудачу прочитала Гурию несколько страниц. Он выслушал, туповато уставившись в одну точку и немного распутив толстые губы.

— Это написал Андрей? Послушай, да ведь это же превосходно. Тыфу ты, черт! Если бы я умел так писать — давным-давно ушел бы из газеты. Только меня и видели! Прочитай еще что-нибудь.

Я прочитала.

— Очень свежо! Дай мне этот очерк.

— Зачем?

— Мы его напечатаем.

— Ну да? А если Андрей не захочет?

— Не захочет — верну.

Я подумала и согласилась. Гурий ушел, пообещав позвонить. И не позвонил — должно быть, уехал.

* * *

Я сказала, что друзья стали являться «из разных лет и мест» — и это было именно так. Из далеких комсомольских лет явился Гурий Попов. В середине января была прорвана Ленинградская блокада, и в Москву приехал Леша Дмитриев, мой товарищ по Медицинскому институту. А в середине марта сам зерносовхоз № 5 ворвался ко мне с «лекарней», в которой

горел по ночам загадочный лунный свет, с пылью, жарой, суховеями, с грейдерными дорогами, по которым грохотали нагруженные пшеницей машины.

Впрочем, в то утро воскресного дня я занималась не наукой, а стиркой. Котел с бельем стоял на раскаленной докрасна «пчелке», поперек комнаты была протянута веревка, на которой висели наволочки, полотенца и другое белье, которое я, пожалуй, не развесила бы так картинно, если бы поджидала гостей.

В комнате было жарко, и я выехала с своим корытом в переднюю. Длинная белая лента пара тянулась на лестницу через приоткрытую дверь.

Кто-то постучал, должно быть соседка — она всегда почему-то стучала не в дверь, а в стенку около двери. Я крикнула, не отрываясь:

— Открыто, войдите!

И, прежде чем успела опомниться, высокий военный в фронтовой шинели шагнул через порог и расцеловал меня в обе щеки.

Это был Репнин, мой товарищ по зерносовхозу, ныне майор танковых войск, постаревший и поседевший, но попрежнему шумный, самоуверенный, с широкими движениями, с победоносным хохотом, от которого звенело в ушах.

Невозможно было вести его в нашу комнату, увешанную мокрым бельем, и, предупредив, чтоб Данила Степанович не снимал шинели, я устроила чай в столовой. Из рта у нас шел пар, но зато чай был хорош — тот самый крепкий и сладкий «морской» чай, который некогда меня научил варить тот же Данила Степанович.

— Ну, рассказывайте же! Где вы и что вы? В армии?

— Как видите.

— Танкист?

— Так точно.

— Больше, стало быть, не прокладываете дороги?

Репнин поджал губы и pokrutil головой.

— Как сказать! Другое оружие и другие дороги.

— Где Машенька? Как это получилось, что мы не переписывались так долго?

— Мы с Машей не раз собирались написать вам. Да как подумаешь... Ученый человек, доктор наук! Помнит ли? Может, у нее таких, как мы, сотни две друзей? Или три? Не со всеми же вести переписку?

— Как вам не стыдно!

— Шучу. Маша — в эвакуации, в Кунгуре.

— Здорова? Как сын?

Это было последнее, что я знала о Репнинных — что у них родился сын, которого назвали, как отца, Данилой.

— Маша здорова, спасибо. Надеюсь съездить к ней, да не пришлось. Как вы сказали — сын?

Он улыбнулся. Потом отстегнул планшет и вынул из него фотографию. Машенька, очень изменившаяся, поплывшая, с толстой косой вокруг головы, сидела у стола в уютной, знакомой позе. По правую руку от нее стояли два мальчика, беленькие, застенчивые, удивительно похожие на нее и друг на друга, а по левую еще два — черные, лихие и — с первого взгляда было видно — страшные хвастуны и задиры.

Я не могла удержаться от смеха.

— Четыре?

— Да,— с гордостью сказал Данила Степаных.

— Сколько же им?

— Пять, шесть, восемь и девять.

— Ну, счастливый же человек. Четыре сына!

— Счастливый-то счастливый...

Данила Степаных замолчал, только сурово взглянул исподобья... «Счастливый-то счастливый, да удастся ли уберечь это счастье?» — так можно было понять этот взгляд.

...Данила Степаных зашел ненадолго, но и эта короткая встреча была испорчена появлением одной очень глупой женщины, которая жила на одной площадке со мной. Соседка забежала за утюгом, но, увидев офицера, да еще такого бравого, вдруг проявила острый интерес к действиям наших танковых частей, которого я в ней прежде не замечала. Напрасно я намекала, что у майора мало времени, что нам еще нужно поговорить о важных делах, напрасно Репнин с досадой сказал, что на ее вопросы едва ли может ответить даже командующий фронтом, она только кокетливо щурилась — и не уходила. Наконец, я выпроводила ее, но было уже поздно. Данила Степаных взглянул на часы и встал.

— Не сердитесь, Татьяна,— добродушно сказал он.— Хорошая примета! Стало быть, не в последний раз встретились. Еще доведется нам увидеть друг друга. Тогда и договорим.

— Вы даже не сказали, надолго ли в Москву? И зачем?

— Зачем — могу сказать. Пришли мне в голову некоторые соображения, и послал я их начальству в Москву. Вот меня и вызвали. А надолго ли? (Он пожал плечами.) Кто знает. Если будет возможность — непременно приду. Не могу передать, как я был рад повидать вас, Татьяна! Андрею Дмитричу сердечный привет. Да, кстати,— сказал он, когда мы вышли в переднюю,— не его ли статью я читал в последнем номере «Известий»? Подписано — А. Львов.

— Однофамилец. Мало ли Львовых? О чем статья?

— В том-то и дело, что по медицинской части! Очень живо написано. Что с вами, Татьяна?

— Ох, я пропала!

— Что такое?

— Это Андрей написал, а я без его ведома отдала одному журналисту.

— Ну и что же? Хорошо ведь, что напечатано?

— Он мне голову оторвет.

Репнин засмеялся.

— Вот действительно огорчение. Меня бы умудрил господь что-нибудь написать, уж я и не говорю — напечатать. А я свою записку полтора месяца составлял. Вот была мука! Два слова напишу — и на воздух!

— Зачем?

— Как зачем? Дышать! Мне воздуха не хватало. Буквально шатался после каждой страницы! Андрей Дмитрич пока статью писал — пил?

— Нет.

— Ну вот! А вы говорите!

Он захохотал, потом обнял меня и сказал грустно:

— Не поминайте лихом.

* * *

Это был один из радостных дней по двум причинам, несравнимым между собой, но слившимся в общее ощущение счастья. Первая причина заключалась в том, что утром этого дня Совинформбюро опубликовало сообщение о том, что наши войска заняли Ржев и Орел, и ощущение перелома в ходе войны вновь сверкнуло ослепительно остро. «Каштаны белые победы», — с утра я твердила эту строчку из стихотворения, помещенного в «Правде», и мне представлялась каштановая роща в полном цвету, с прямыми нарядными свечами, освещенными утренним солнцем.

Вторая причина заключалась в том, что победу в эти дни одержали не только наши войска, но и наш «филиал». Конечно, мало было надежды, что сообщение о том, что нам удалось почти решить проблему устойчивости, появится в сводках Информбюро, тем более что мы не раз спотыкались на этом «почти». Но работа над крустозином в последнее время шла так плохо, что даже этот неполный успех решено было отметить грандиозным «банкетом».

Уходя с работы, я отдала Кате Димант ключ от квартиры — не была уверена, что рано вернусь домой, — и гости собрались без хозяйки. И даже не только собрались, но уютно устроились вокруг «пчелки», на которой гудел мой слегка помятый заслуженный чайник. Катя, повязавшись моим передником, накрывала на стол, а Зубков, полный, смешливый, с темным лицом, обожженным в среднеазиатских пустынях, читал вслух «Медработника». Виктор и Ракита слушали его и хохотали. Это был любимый «номер» Зубкова — чтение «Медработника» с комментариями, в которых, как в зеркале, отражалось подлинное и — увы — невеселое положение дел в нашей медицинской науке. Когда я вошла, он сказал что-то насчет

наркома, и Виктор, хохоча, потребовал, чтобы он повторил свою шутку.

— Ну, пожалуйста! Татьяна Петровна, послушайте, это очень метко.

Зубков сказал, что нарком занимается тремя вещами: во-первых, старается понять, почему он нарком, во-вторых — ждет чуда и, в-третьих — боится. Ждет чуда — это значило, что он надеется, что к нему в один прекрасный день явится гениальный самоучка-новатор с могучим средством от всех болезней сразу.

— А Коломнин звонил, что не придет,— сказал Ракита.

— Почему?

— У него грипп. Какая сегодня сводка превосходная, правда? Федор Андрейч, объясните, я не понимаю ничего. Как стратегически связываются эти удачи?

Тихий, неторопливый Ракита считался в нашей лаборатории стратегом.

Я достала карту, и в течение получаса были высказаны по меньшей мере десять предположений о том, каким образом окружить немцев в одном месте и наголову разбить в другом, причем некоторые из них своей смелостью, без сомнения, поразили бы руководителей генерального штаба.

— В общем, все это стратегически связывается с победой под Сталинградом.

— А где Андрей Дмитрич? — спросил Зубков. — Еще в Сталинграде?

— Да.

— Пишет?

— Часто.

— Ох, повезло ему, что он ушел из Института профилактики! Вот уж поистине — унес ноги!

— А что?

— Как, вы не слышали? Вчера посадили Верховцева.

— Не может быть! За что?

Зубков иронически поджал губы.

— Знаю, да не скажу,— усмехнувшись, сказал он.— Вы, должно быть, забыли, как я всегда отвечаю на этот вопрос?

Верховцев был не просто скромный и честный, а скромнейший и честнейший человек, проработавший в Институте профилактики чуть ли не четверть века. Поверить, что его могли арестовать за политическое преступление, было невозможно хотя бы потому, что он был членом партии с 1916 года.

— Ну, стало быть, за уголовное,— возразил Зубков.— Впрочем, в Институте профилактики это, кажется, уже девятый случай.

— Но ведь не может быть, что без всякой причины?

— Эх, Татьяна Петровна! Хотите, я вам скажу, кто их сажает? Сам директор, собственной персоной.

— Какой директор?
— Ну, какой! Скрыпаченко.
— Зачем?
— Очевидно, для престижа,— сказал Виктор.
— Вы думаете, Витя?
— А почему бы и нет? Чего только не сделает подлец, чтобы оправдать свое существование.

— И такому человеку верят?

Все замолчали.

— Ладно,— нахмурясь, сказал Зубков.— Поговорим о чем-нибудь более веселом. Насчет Андрея Дмитрича — ясно. А как поживает его отчаянный брат?

— Почему отчаянный?

— Ну, как же! Говорят, он кого-то увез?

Это были запоздалые отзвуки сплетни, распространившейся вскоре после Митинового отъезда.

— Увез жену.

— Свою?

— Не люблю сплетен.

— Не сердитесь, дорогая Татьяна Петровна! Он ведь в сущности гусар, ваш Дмитрий Дмитрич. Свою жену может увести всякий. А ему положено — не свою, а чужую.

...Так много говорили и думали мы в те дни о нашем крустозине, так близка — рукой подать — казалась заветная цель, столько надежд и разочарований было связано с этой работой, что накануне, сговариваясь о «банкете», мы решили наложить на крустозин «табу», то есть не упоминать о нем ни единым словом. Кто-то даже предложил установить штраф — небольшой, но возрастающий в геометрической прогрессии и немедленно поступающий в кассу будущей встречи.

Не помню, где я читала рассказ о том, как гусары дрались на дуэли, причем один из них имел право выстрелить только при одном условии: не думать в эту минуту о сырной пасхе. И дуэль не состоялась, потому что, как только гусар поднял пистолет, перед его глазами появлялась пышная, украшенная бумажной розой, сырная пасха.

Вот точно так же и мы при всем желании не могли отделаться от своего крустозина. Первая проштрафилась я, потом Ракита, потом снова я, потом Зубков, который хотел было отвертеться:

— Я же сказал только «кру...»

— А что вы хотели сказать?

— Крутится, вертится шар голубой! Фу ты, дьявол! Просто наваждение какое-то! Ну, баста! Поговорим о другом. Виктор, расскажите, как вас встретили в Энгельсе.

— Ну, вот еще!

— Слово Виктору!

— Расскажите, Витя.

Это была история о том, как, возвращаясь в Москву, Виктор залетел в приволжский городок и самолет опустился в тот день и час, когда на аэродроме был выстроен почетный караул для встречи какого-то высокого гостя. Уж не знаю, за кого приняли нашего застенчивого, грязного с дороги, никогда не уделявшего особенного внимания своему костюму Виктора, но едва он показался на лесенке, как оркестр грянул приветственный марш, и почтенный гражданин (очевидно, из руководства горсовета) широким жестом протянул Виктору руку. Недоразумение разъяснилось в ту минуту, когда Виктор, сконфузившись, спросил:

— Вы уверены, что это — я? То есть, я хочу сказать, вы уверены, что ждете именно меня, а не кого-нибудь другого?

Оркестр замолчал, а почтенный гражданин столь же широким жестом, которому он придал теперь совсем другое значение, потребовал у Виктора паспорт.

«Банкет» наш шел к концу, уже выпили за Андрея и его успехи на медико-литературном фронте, за старика Никольского, наконец — последний тост — за тамаду Зубкова, когда вошел Коломнин, в шубе, бледный, с завязанным горлом.

Его встретили радостно: «А, Иван Петрович! Пришел все-таки! Товарищи, лечить его! Татьяна Петровна, у вас в доме есть перец?»

Коломнин снял шубу и примостился с краешка на диване. Я тревожно взглянула на его усталое, морщинистое, исхудавшее лицо, на сгорбленные плечи, на всю его тощую, словно вогнутую, фигуру. Он ответил тревожным, неуверенным взглядом.

— Иван Петрович, что случилось? — спросила я через несколько минут, воспользовавшись тем, что по поводу «лекарства» поднялся жаркий спор — всыпать в него перец или нет и разбавлять пополам или на четверть? — Вы хотите говорить со мной?

— Да. Мне звонил Преображенский.

Это был один заведующий отделом бакинститутов Наркомздрава.

— Он говорит, что в «Британском журнале экспериментальной патологии» появилась заметка о новом средстве против раневых осложнений.

— Ну так что же?

— Пенициллин, препарат из плесневого грибка. По некоторым признакам напоминает наш.

— Не может быть!

— Крамов вернулся из Англии. Он настаивает, чтобы мы немедленно приобрели патент. Завтра он будет разговаривать об этом с наркомом. Вы понимаете, что это значит, Татьяна Петровна? Да почему же мы шепчемся? — вдруг спросил он, растерянно улыбнувшись.

— Не знаю. Товарищи, минуту внимания!

К вечеру подморозило, я открыла окно перед сном, и сухой, еще совсем зимний воздух вошел в комнату, точно сказал: «Здравствуйте. Вот и я!» Но когда я легла, далекий отчетливый стук послышался в ночной тишине. Это весенняя капель начала свою беспокойную песню.

Что же произошло? Мысль, которой были отданы годы труда, к которой я возвращалась, как бумеранг — кажется, так определил мое пристрастие Крамов, мысль, поразившая меня еще в те далекие годы, когда я впервые увидела на окне у Павла Петровича старые позеленевшие от плесени ломтики хлеба и сыра, как бы завещанная мне старым доктором, — эта мысль больше не принадлежала ни мне, ни ему.

Заметка, напечатанная в «Британском журнале экспериментальной патологии», была подписана тремя именами. Одно из них было знаменитое — Александр Флеминг.

Тук, тук, тук — неторопливо стучит капель, и в этот важный, равномерный стук вдруг врывается быстрая, шаловливая поступь. Это тающий ледяной великан шагает по Серебряному переулку, а впереди — тук, тук, тук — бегут его маленькие шаловливые дети. «Опоздала» — стучит великан-капель, и дети повторяют дразнящими голосами: «Опоздала, опоздала!»

Да, опоздала. Ну что ж! Ничего не поделаешь. Вст теперь будет в жизни и это. И нужно постараться уснуть, потому что для разговора с Крамовым нужна ясная голова, очень ясная, а в том, что нарком вызовет его, можно не сомневаться.

Должно быть, я все же уснула, потому что вдруг увидела койки, стоящие в саду, на дворе почти вплотную друг к другу. Сталинград! Комната, в которой я жила, подле разбитой операционной, стоны раненых, госпиталь, начинавшийся у самых ворот. «Где лекарство, которым ты бралась облегчить наши муки?» Маленький, красный, потрясенный доктор Дроздов, который сказал, что сейчас нужно собрать сто, двести ученых и приказать им выдумать чудо...

Тук, тук, тук — стучит капель. По всему переулку стучит капель, уходя все дальше и дальше, и вдруг сосулька падает и разбивается о мостовую с нежным, далеко разносящимся звоном. Мартовский ветер гуляет по городу, раскачивает кроны еще черных деревьев, гудит в дымоходах. Светает? Да, кажется. Какая длинная, бессонная ночь!

СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ

— Соображения материальные нас в данном случае не остановят. Речь идет о реальной помощи раненым бойцам — этого, Татьяна Петровна, золотом не измеришь. Так что предостерегать от подобных трат не приходится.

— Еще бы! Но, прежде чем покупать, необходимо, мне кажется, убедиться в полезности препарата.

— В полезности или незаменимости?

— И в том и в другом. По журнальной заметке в несколько строк трудно судить, что представляет собою это открытие.

Тяжелый малахитовый прибор — чернильница в виде чаши, обвитой змеей, — стоит на столе, за которым сидит невысокий плотный человек лет пятидесяти, с энергичным красным лицом, на котором особенно заметны большие темнорыжие брови. Это — Павел Ильич Максимов, заместитель наркома здравоохранения, в недавнем прошлом — врач, работавший председателем одного из областных исполкомов. Он молчит, крепко сжимая челюсти. Говорит, опустив глаза, — все это сильно огорчает меня в первые минуты нашего разговора. Что это за человек? На своем ли он месте? Понимает ли всю важность вопроса? Кто знает! Он всматривается, взвешивает, медлит. Одно можно сказать с уверенностью: он осторожен.

Мы — Крамов и я — в его просторном, с высокими окнами, с высоким потолком кабинете.

— Но почему же вы думаете, Татьяна Петровна, что мы намерены, извините, купить kota в мешке? Валентин Сергеевич привез данные, которые не позволяют сомневаться в высокой активности препарата.

Крамов встает, прохаживается, садится — манера, которую я не замечала прежде. Я не замечала прежде, чтобы он был так уверен в себе. Он тратит теперь «вдвое меньше времени на вежливость», как сказал о нем Николай Васильевич. Свободным жестом он останавливает замнаркома, когда тот слишком высоко, по мнению Валентина Сергеевича, оценивает его заслуги в деле установления культурной связи между советской и британской наукой.

— Павел Ильич, я только что доложила вам о нашей работе. Нам удалось доказать, что препарат из плесневого грибка представляет собою кислоту, неустойчивую в водном растворе, но образующую значительно более устойчивые соли. Я объяснила, почему этот путь обещает быстрое решение задачи. А между тем... Должна сознаться, что мне кажется странным направление этого разговора. Как будто ни нашей лаборатории, ни нашего препарата вообще не существует на свете.

Вероятно, мне следовало отложить этот разговор хотя бы на два-три дня. Я не спала, голова кружится, и сердце по временам начинает биться скоро и слабо.

Крамов встает, прохаживается, садится — покрупневший, пополнившийся и все-таки очень маленький, особенно когда он поудобнее устраивается в глубоком кожаном кресле.

— Я вполне почимаю волнение Татьяны Петровны. Она занималась плесенью еще до войны. Она упрямо — нужно

отдать ей должное — верила в бактерицидные свойства плесени в то время, как многим это убеждение казалось несколько странным.

— Многие — это вы?

Максимов поднимает карандаш, чтобы постучать по столу...

— В том числе и я, — не колеблясь, с достоинством отвечает Крамов. — Однако, насколько мне известно, возражения — в том числе мои — не остановили Татьяну Петровну. Она продолжала работать и добилась бы значительных результатов, если бы...

— Если бы ей не мешали.

Максимов опускает руку, не постучав по столу.

— Мешали? О нет! — тонко улыбаясь, отвечает Крамов. — Помнится, когда я был директором Института биохимии, вы свободно выбирали любую тему для себя и своих сотрудников, дорогая Татьяна Петровна. Но оценим положение спокойно, без обиженного самолюбия, в интересах дела. Англичане получили новый препарат, который нужен нам, будем прямо говорить, до зарезу. Есть возможность наладить производство этого препарата у нас — в этом, разумеется, мы будем прежде всего рассчитывать на помощь Татьяны Петровны. Следует ли вмешивать в это ясное дело личные отношения? Какое значение имеет в данном случае история вопроса? И, наконец, — будет ли работа Татьяны Петровны и сотрудников ущемлена самим фактом приобретения пенициллина? Нимало. Но если бы и так — неужели это заставило бы нас отказаться от возможности быстро и эффективно помочь бойцам, страдающим от раневых осложнений? Положите на одну чашку весов эту возможность, а на другую — ложно понятую научную честь... Неужели не ясно, какая из них должна перевесить?

А, честь! Он говорит о чести, этот старый знакомый? Голова кружится немного больше, чем прежде, на сердце приходится положить руку, чтобы оно мне не мешало.

— Не знаю, Валентин Сергеевич, кому из нас следовало первому сказать о научной чести. Кто из нас настоял на том, чтобы вопрос о плесени был вычеркнут из производственного плана? Кто утверждал, что этот вопрос вызывает представление о задворках науки, потому что «на задворках обычно пахнет плесенью и валяется мусор»? И вот теперь, когда наш сложный многолетний труд подходит к концу, вы упрекаете меня в том, что из ложно понятого самолюбия я мешаю важному делу?

Крамов слушает меня, положив ногу на ногу, с равнодушным, почти скучающим видом.

— Вы сказали... кто станет интересоваться... никто не захочет узнать историю вопроса. Ошибаетесь, Валентин Сергеевич, и глубоко ошибаетесь! Эта история началась не вчера, и

она далеко не исчерпывается тем, что некий директор мешал своим сотрудникам заниматься жизненно важной задачей. Десять... нет, двенадцать лет в вашем архиве пролежала рукопись, в которой свойства плесени были доказаны опытами на животных. И теперь, когда задача давно проверена и обдумана, когда она требует лишь одного — хорошей лаборатории, теперь вы предлагаете нам от нее отказаться? Да кто вы такой, чтобы...

Крамов медленно поднимается с кресла, снимает пенсне, протирает стекла. Пальцы — я замечаю это со злобной радостью — немного дрожат. Заместитель наркома обходит вокруг стола, успокоительно поднимая руку. Они оба что-то говорят, мне все равно, я не слышу.

— Да кто же вы такой, чтобы отменить не только мой труд — за него я еще постою, — а труд нескольких поколений русских ученых? Какую пользу надеетесь извлечь для себя из этого дела? Кого думаете обмануть — очевидно, тех, кто еще не знает...

Крамов со страдальческим выраженьем подносит пальцы к вискам, и от этого знакомого жеста у меня — сама не знаю почему — вдруг пропадает дыхание. Все крепче я прижимаю руки к груди. Только бы договорить...

...Странное, успокоительное чувство, что все это уж было когда-то — точно так же я кричала, не помня себя, и кто-то наливал воду в стакан широкой, твердой рукой, — охватывает меня. Точно так же я отталкивала стакан, а потом выпила, и немного воды пролилось на ковер. Точно так же я лежала на диване, и кто-то смотрел на меня серыми, внимательными глазами и говорил: «Успокойтесь, Татьяна Петровна, вам нельзя волноваться». Точно так же я хотела подняться на локте, а мне сказали: «Молчите и лежите спокойно».

Все это уже было однажды и прошло, и кончилось прекрасно, и в самом деле нужно немного помолчать и успокоиться, а потом все объяснить неторопливо и хладнокровно. И нечего было ехать в Наркомздрав, если я всю ночь не спала и сердце ежеминутно то падало, то билось болезненно часто.

* * *

— Да как же вы не позвонили мне, что плохо себя чувствуете, Татьяна Петровна? Мы вместе поехали бы к Максиму. Что касается Крамова... Нет худа без добра! Это хорошо, что вы на него накричали.

— Да уж! Куда лучше.

Коломнин шурится, поджимает тонкие губы. У него усталое, но спокойное лицо, и в том, как он достает из кармана старенький кожаный кисет и неторопливо набивает трубку, тоже чувствуется спокойствие, которое невольно передается и мне.

Было время, когда Ивана Петровича тревожило непризнание его научных заслуг, когда в каждом номере научного журнала он искал свое имя, когда самолюбие, слишком легко ранимое, мешало ему работать. Теперь его интересовало только то, что происходило внутри работы. Как его работа будет принята, станет ли первым или вторым словом в науке — об этом он больше не думал. «У меня нет времени на обиды», — сказал он мне однажды, когда я удивилась спокойствию, с которым он встретил известие, что его исследование — по-моему, блестящее — не получило сталинской премии. Впрочем, у него и без премий было в биохимии прочное, я бы даже сказала, железное имя.

— Ваш обморок беспокоит меня куда больше, чем эта история.

— Да что обморок! Вчера не ела целый день, ночь не спала, утром тоже ничего в горло не лезло — вот вам и обморок.

— Вольно же вам так волноваться! А стоит ли? Разве это первый случай?

— В чем же дело, Иван Петрович? Кто виноват?

Коломнин щурится, молчит, положив ногу на ногу, подняв узкие плечи.

— Вы, конечно, хотите, чтобы я ответил вам — Крамов? Да, и он, потому что он — живое воплощение неверия в нашу науку. Причем неверия тайного, глубоко запрятанного, о котором он, может быть, сам сожалеет. Но дело не только в Крамове. Прошло, и никогда не вернется, то время, когда науку вели вперед всеобъемлющие умы, гении, корифеи. Сколько человек занимались у нас крустозином? Восемь? Сколько химиков из этих восьми? Один. — И желтым табачным пальцем он ткнул себя в тощую грудь. — А нужно было бросить на это дело десятки лабораторий, сотни ученых и дать им не наше это оборудование, собранное, с бору по сосенке, в эвакуированных институтах, а первоклассную технику, которую тоже нечего покупать за границей, потому что мы можем и должны ее сделать. Вот тогда не пришлось бы вам падать в обморок. Да что!

И он безнадежно махнул рукой.

— А Крамовых, конечно, нужно бить. Или, если можно, убить, — добавил он, усмехнувшись. — Потому что в конечном-то счете все упирается в людей, которые командуют этим делом. Впрочем, Крамов еще ничего! Есть и похуже.

— Что же делать, Иван Петрович, дорогой?

— Что делать! Работать! Я считаю, что мы в три-четыре месяца можем дать клиникам препарат, который будет действовать не хуже этого хваленного пенициллина.

— Иван Петрович, да полно вам! Разве справимся мы так скоро?

— Справимся, если получим «танки».

До сих пор мы пользовались обыкновенными «матрасами» — сравнительно небольшими стеклянными сосудами, которые служат для выращивания культур. Но в матрасах плесневой грибок вырастал лишь на поверхности питательной среды, и количество краустозина, добытого при помощи этого поверхностного метода, было ничтожно. Необходимо было перейти на «танки» — так называются большие котлы, которыми в бродильном производстве пользуются для глубинного выращивания дрожжей.

— Будут танки. Вчера Кочергин договорился с директором Института брожения.

— Людей маловато.

— И люди будут.

Мы помолчали. Я потянулась за носовым платком, лежавшим под подушкой.

— Что вы? Я вас просто не узнаю, Татьяна Петровна. Вот уж правда, что женщина всегда остается женщиной.

— А кто же я еще? — Я вытерла слезы. — Обидно...

— Э, не привыкать! Да мы еще возьмем свое! Помяните мое слово.

СЕМЕЙНЫЙ ДОМ

Это было напряженное, но, в общем, веселое время, когда в нашем филиале господствовала атмосфера риска, вдохновенья, азарта — этим острым ощущением были захвачены решительно все, вплоть до девушек, наклеивающих этикетки на препараты. Мы не останавливались на мелочах — некогда! — и о привычном всматривании в каждый новый факт не могло быть и речи. Мы не измеряли высоту всяких барьеров, попадавших на пути — некогда! — и перелетали через них, не задумываясь. Как в стремительном наступлении, мы оставляли часть своих сил под стенами окруженных крепостей, а сами двигались дальше и дальше.

Срок был неслыханный, и, когда я думала, что мы должны в четыре месяца — только четыре! — дать клиникам готовый, проверенный препарат, мне хотелось, как маленькой девочке, убежать куда глаза глядят, «потеряться в просторах родины», как шутил надо мной Коломнин. Но нельзя было потеряться — Наркомздрав по нашему настоянию отказался от покупки патента, и можно было не сомневаться в том, что Крамов и разные Крупенские, работавшие под его руководством, с нетерпением ожидали нашего провала...

Технология — вот что было трудно и ново! Я помню хмурые, озабоченные, торжественные лица Коломнина, Мерзлякова, Ракиты, ходивших едва ли не на цыпочках вокруг первого танка нашей конструкции, стоявшего в производственной

лаборатории. Можно было подумать, что этот, в общем несложный котел из нержавеющей стали — живое существо, — с такой надеждой они посматривали на него, так говорили о нем негромкими, серьезными голосами.

Но надежда — увы! — оправдалась не сразу: грибок, привыкший к скромной территории матраса, не пожелал расти в глубоких недрах котла. Очевидно, нужно было провести его через какую-то промежуточную форму, то есть найти нечто среднее между матрасом и танком. Технологи подсказали нам эту форму, и в течение десяти дней — десяти драгоценных дней — грибок привыкал к новой жизни в огромных двадцатилитровых бутылках. Стерильный воздух — условие глубинного роста — через стеклянные трубки проникал в бутылки до самого дна. Результаты оказались хорошие. Пройдя через бутылки, плесневой грибок быстро осваивался с танковыми условиями существования.

* * *

Не следует думать, что жизнь на планете Земля остановилась в молчаливом ожидании нашего решительного наступления на плесень во всех ее видах и превращениях. Жизнь продолжалась, и даже в моей собственной жизни произошло событие, которое в другое время показалось бы мне необыкновенным.

Это было утром, я торопилась в институт и, стоя в пальто, разговаривала по телефону. В парадной позвонили, я открыла дверь, вернулась к телефону и, только поговорив еще минуты две, поняла, кто с чемоданом в руке остановился у порога. Это был мой отец, которого я не видела со студенческих лет.

Давно забытое чувство страха перед тем неожиданным, что всегда входило в мою жизнь вместе с появлением отца, шевельнулось в душе, когда я увидела его маленькую, худенькую, но еще довольно крепкую фигурку. Но вот мы обнялись, расцеловались, я стала спрашивать его, он не мог отвечать от волнения и только утирал слезы, так и катившиеся по его румяным пухленьким щечкам, — и мне стало стыдно этого чувства.

— Таня? — сказал он не очень уверенно. — Господи помилуй, родная дочь.

Он приехал чистенький, аккуратный, с пушистыми седыми усами, над которыми как-то совсем уж по-стариковски висел красненький нос. Впрочем, нос был теперь красненький вообще, а не по известной причине. Еще до войны отец сообщил мне, что бросил пить, но не «резко», как это опрометчиво сделала его покойная супруга, а постепенно, по «методу», — писал он, — Демидова князя Сан-Донато».

Если не считать, что время от времени он присылал мне длиннейшие письма, посвященные главным образом улучше-

нию складского дела на железнодорожном транспорте,— у нас в сущности не было никаких отношений. Но вот он сидел передо мной и плакал, и было совершенно ясно, что эти несуществующие отношения на самом деле связывали нас неразрывно прочно.

— Успокойся, папа! Что же ты не написал, я могла оказаться в отъезде. Раздевайся же! Ты молодец, что приехал!

Он уже оправился, снял пальто, аккуратно расчесал усы.

— Да вот надумал, понимаешь ты,— сказал он.— У меня тут дела в Москве. Самоцветов звонил — лично просит свидания. У них тут с хранением швах. Пришлось поехать.

Самоцветов был заместителем наркома путей сообщения, и едва ли он стал бы лично просить о «свидании» моего отца, занимавшего какую-то скромную должность в камере хранения на Амурской железной дороге. Я невольно засмеялась, и мне вдруг стало легко с отцом.

— Ты прямо с вокзала?

— Так точно. А что? Проведать дочь, а там — алле-марше! Ведь тут в Москве сейчас Петька Строгов. Говорят, персона. Так можно к нему. Что ж такого? Я понимаю.

— Вот еще! Никуда я тебя не пущу. Я одна сейчас и очень скучаю. У нас ведь еще две комнаты, не только эта. Пойдем, я тебе покажу.

Должно быть, отец понял слово «одна» в том смысле, что я разошлась с Андреем, потому что он поморгал, и в светлых глазах появилось тревожное выражение.

— Одна? А супруг?

— Супруг в Сталинграде.

Мы пошли смотреть комнаты, и отец надолго замер перед портретом Павлика, висевшим над письменным столом, в кабинете Андрея.

— Внучек?

— Да.

— Красавец, а? Весь в бабку! Ведь она в молодости какая была? Косица — во! Элеонора Дузе. Ужасно, безобразно красива.

Я сказала, что отправила Павлика в Лопяхин, и старик вдруг радостно-захохотал — так и залился, как ребенок.

— В Лопяхин? Значит, пригодился еще наш Лопяхин!

За чаем он вернулся к Самоцветову, высказав весьма вероятное предположение, что этот ответственный товарищ намерен поручить ему хранение «во всесоюзном масштабе» и что в этом нет ничего удивительного, поскольку у него, Петра Влащенко, в этом деле еще с гражданской войны солиднейший опыт.

Я сказала, чтобы он не торопился к Самоцветову, а сперва отдохнул бы дня три с дороги. Он подумал и согласился — в самом деле, подождет Самоцветов.

Как это ни странно, а в Наркомате путей сообщения действительно не торопились с назначением Петра Власенкова на пост всесоюзного руководителя камер хранения — иначе у него не оказалось бы так много свободного времени, которое он решил употребить на устройство моих дел, находившихся, по его мнению, в полном беспорядке. По лимиту, например, продукты получала соседка — та самая кокетливая пожилая дама, которая при виде Репнина обнаружила такой острый интерес к действиям наших танковых частей на Центральном фронте. За услугу она получала натурой, и отец торжественно доказал, что эта «натура» равняется едва ли что не трети лимита. На другой день он сам отправился в магазин и, вернувшись с топленным маслом, сказал, что давно так приятно не проводил время в избранном обществе действительных членов Академии наук, среди которых, к его удивлению, оказалось довольно много женщин. Это были, конечно, не академики, а их жены или домашние работницы, но они действительно называли себя академиками — это я не раз слышала и сама. Я объяснила отцу, в чем дело, но он отнесся к моим словам с недоверием и убедился, что я права, лишь через несколько дней, увидев старую женщину в рваном кожухе, которая протискивалась к прилавку, потрясая лимитной книжкой и крича на весь магазин: «Я — академик, я — академик!»

Мои электрические дела отец устроил менее успешно, затеяв генеральную уборку квартиры с помощью пылесоса.

Этот полузабытый с довоенных времен аппарат он взял у кого-то напрокат, заплатив за пользование манной крупой, пропахшей нафталином, — крупа стояла под кроватью еще с апреля сорок второго года. Мысль была прекрасная — я имею в виду пылесос, а не крупу, и квартира была убрана с неслыханной быстротой. Жаль только, что едва было закончено это мероприятие, как явилась белокурая девушка лет шестнадцати, которая, весело напевая что-то, перерезала провода, пояснив в двух словах, что мы использовали электрический лимит, полагающийся нам до конца года.

Но все это были мелочи в сравнении с трактатами, посвященными Т. П. Власенковой, доктору медицинских наук. Дело в том, что, приглядевшись к моему, в общем весьма беспокойному существованию, отец пришел к выводу, что образ жизни Т. П. Власенковой не соответствует ее научным заслугам и что он, как отец, обязан обратить на эту ненормальность внимание начальства. «Поскольку личность работает не для купидомства, а исключительно в отношении советской науки, — писал он в одном из трактатов, — советую обратить внимание, пока не села на якорь». Словом, в краткой, но выразительной форме отец доказывал, что раз уж Т. П. Власенкова посвятила себя забо-

там о здоровье народа — народ в свою очередь должен позаботиться о ее здоровье и, в частности, не позволять ей оставаться ночевать на работе. Тут же приводились очень толковые, хотя и не относящиеся к делу, соображения относительно нецелесообразности выдачи водки на промтоварные единицы. Очевидно, хотя отец и бросил пить — его волновала судьба других граждан, еще не воспользовавшихся системой Демидова князя Сан-Донато.

В общем, с приездом отца мне стало куда веселее и легче, чем прежде. Возвращаясь с работы, я знала, что он ждет меня — чистенький, аккуратный, в пижаме Андрея, с расчесанными седыми усами. Он читал мне газеты, высказывая весьма дельные соображения по поводу глубоких потрясений, которые испытало складское дело во время войны, и сетуя, что в прессе почти не отражена боевая деятельность наших интендантов, что, кстати сказать, было совершенно верно. Когда ко мне заходили друзья, он умело поддерживал разговор, рассказывая главным образом о грандиозных аферах прошлого века и пересыпая свои рассказы фамилиями крупных дельцов и авантюристов, с которыми, по его словам, он был «на короткой ноге». При этом он не забывал упомянуть, что бурная, полная приключений жизнь, однако, не помешала ему воспитать дочь, в которой он давно угадал будущее светило медицинского мира.

ВЫСОКИЙ ГОСТЬ

Я ездила в этот день на Клинский завод и очень устала, потому что наш заслуженный газик вдруг отказал и пришлось несколько часов провести на пыльной дороге. Мечтая лишь о том, как бы поскорее добраться до постели, я вернулась домой и еще в передней, открыв своим ключом входную дверь, догадалась, что этой надежде суждено осуществиться не скоро. Два голоса донеслись до меня, один — отцовский, а второй... О, услышав второй голос, я с изумлением поняла, что удостоилась чести, о которой не смела и думать! Высокий гость поджидал меня, почтенный, глубокоуважаемый гость, с пухлыми, улыбающимися губами, с облысевшей головой, вокруг которой лежал венчик седых волос.

Я бесшумно закрыла входную дверь и немного постояла в передней — мне хотелось послушать, о чем они говорят. Потом вошла.

— Здравствуйте, Валентин Сергеич.

Крамов встал, улыбаясь, и протянул мне свою маленькую, со слабыми пальцами, почти детскую руку.

— Ну, Татьяна Петровна, я на вас в претензии, честное слово. Вы знаете меня столько лет и никогда не упоминали о вашем батюшке. Да вы его от нас просто скрывали.

Я посмотрела на отца. Он приосанился, выгнул грудь и с достоинством провел рукой по усам. Он был чрезвычайно доволен.

— Отец недавно приехал. Извините, Валентин Сергеич, я переоденусь, умоюсь. Прямо с работы.

— Ради бога! У нас тут такой интереснейший разговор, что я даже прошу вас не торопиться.

Я похолодела, услышав из соседней комнаты этот интереснейший разговор: отец рассказывал о том, как в 1903 году его приятель Петька Строгов «под видом прошения» покушался на жизнь Николая Второго.

— Значит, оделся он, тройка приличная, крахмалá, цепочка от часов серебряная аршин, подходит честь честью, а тут черкесы, конвой его величества. Стой, осади назад! Ладно. Отступил и через забор в сад. Идет, не подавая вида, смотрит, графиня Румянцева, он знал. Стоит и нюхает розу: «Ты что?» — «Да царя поглядеть». — «Вали в церковь». А царский кортеж уже показался, кучер вот с такой бородой, черкесы с саблями наголо, дворяне, которые почище, пажи. Ну, думает, ладно! Будь что будет. Я сжег корабли.

Должно быть, у меня было каменное лицо, когда, поспешно умывшись, я вернулась в столовую, потому что, взглянув на меня, отец робко заморгал и осекся. Потом перевел взгляд на Крамова, который слушал его с неподдельным интересом, и приободрился, даже повеселел.

— Слушайте дальше, чем кончится — драмой, — значительно сказал он. — Вот, значит, заходит он в церковь. Народу полно. Запах от дам — задохнешься, сирень. Вдруг — суматоха, кортеж. Подождал он еще немного, да и шмыг к алтарю! То — се, копых-ворых — пробрался, руки назад, и стоит. Тут он, а тут Александра Федоровна. — Отец усмехнулся. — Простота нравов.

Я послушала еще немного и, наконец, не выдержала, когда Петька упал перед царем на колени, одной рукой придерживая на голове прошение, а другую засунув в карман, где находилась бомба.

— Извини, папа, я занята. Да и у Валентина Сергеевича, должно быть, не так уж много времени! Ты в другой раз доскажешь эту историю.

— Татьяна Петровна, — укоризненно сказал Крамов.

Отец пробормотал: «Конечно, конечно...» — испуганно закивал и вышел.

— Я вас слушаю, Валентин Сергеич.

— А может быть, и я — в другой раз? Тем более, что я без звонка явился. Правда, пытался созвониться, но вы сегодня, повидимому, путешествовали с утра. Много работы?

Тон был участливый, дружеский — и фальшивый.

— Не столько работы, сколько ненужных хлопот, которые мешают работать.

Крамов помолчал. Он пришел почему-то с палкой (еще у наркома я заметила, что он немного хромает) и теперь, поставив ее между колен, удобно устроил на набалдашнике руки.

— Татьяна Петровна, я очень жалел, что наш разговор у Максимова окончился так печально. Хотите верьте, хотите нет, мне и в голову не приходило обойтись без вас в этом деле! — Крамов говорит негромко, точно бережет себя, свой голос. — Скажу более — это было бы невозможно. Но с другой стороны — вольно же было вам не опубликовать вашу работу! Я был уверен, что у вас ничего не вышло.

Он лгал. Перед самой войной мы с Леной Быстровой выступали в Обществе микробиологов с докладом, в котором были приведены первые данные и рассказана история болезни Катеньки Стогиной. Но мне было все равно — лжет он или говорит правду.

— Не будем вспоминать прошлое, Валентин Сергеич, тем более что вы ничего не выиграете от этих воспоминаний. Мы в полной мере расплатились за то, что своевременно не опубликовали работу. Но не вам упрекать нас за то, что мы опоздали.

Крамов серьезно посмотрел на меня.

— Это — правда, — задумчиво сказал он. — Я виноват. Много у меня грехов — и неполнота знаний, которую я скрывал, и равнодушие, которым сам подчас тяготился. И честолюбие, ради которого поступался — и поступаюсь — многим. Но самый большой мой грех — отношение к вам, Татьяна Петровна. Как могло случиться, что я не понял вас, в то время как вы всегда были для меня живым воплощением времени? Не знаю.

— Благодарю вас.

— О, это искренно, — возразил Крамов. — Я — человек не только другого поколения, но, можно сказать, другой психологической структуры, а вы... Ну, да не о том речь, — поспешно добавил он, должно быть заметив, что меня ничуть не тргают эти запоздалые и сомнительные признания. — Я не уверен, дорогая Татьяна Петровна, что вы с полной ясностью представляете себе положение дела. Даже англичанам оказалось не под силу поднять пенициллин, несмотря на солидные технические средства. В Оксфорде не одна и не две лаборатории полностью переключились на эту работу. Привлечены патологи, биохимики, инженеры. А все-таки Флори вынужден был поехать в Америку, и только там ему удалось получить достаточное — впрочем, не более одного килограмма — количество препарата.

Я слушала с интересом. Так Флори ездил в Америку? Килограмм, ого! Хорошо бы узнать, в жидком или порошкообразном виде.

— Я знаю вашу энергию, вашу способность безраздельно отдаваться работе,— продолжал Крамов.— Но хорошо ли взвесили вы свои силы?

— Думаю, что да. Ведь я училась этому у вас, Валентин Сергееч.

Он улыбнулся.

— Странная вещь,— сказал он очень свободно.— У меня в жизни было много врагов. Меня не любили, старались подорвать, отстранить, я платил тем же, и в конечном счете победа оставалась за мной. Вероятно, я мог бы поставить в безвыходное положение и вас, тем более что у вас есть слабая черта — вы неосторожны. Но всякий раз меня останавливает какое-то необъяснимое чувство. Мне начинает казаться, что я сражаюсь не против вас, а против себя. Право, можно подумать, что вы воплощаете все, чего мне не хватает!

— Зачем такое сложное объяснение, Валентин Сергееч? Просто у вас еще сохранились в душе остатки совести, которые вас беспокоят.

— И вы даже не хотите узнать, зачем я пришел?

— Нет, хочу. Впрочем, об этом легко догадаться. Вы прикинули — а что, если эти беспокойные люди доведут до конца свою затею? Вы поняли, что пенициллин — не случайная удача, а целое направление, которое еще бог весть что может натворить в науке. Причем убедили вас не мы — куда там! — а, разумеется, англичане. Вы пришли, чтобы помочь нам, не правда ли?

— Да.

— Спасибо. Я подумаю. А теперь, когда мы объяснились, давайте пить чай. Признаться, я голодна и очень устала.

Он был очень мил за чаем — интересно рассказывал о своей поездке в Лондон, остроумно подшучивал над Андреем, напечатавшим в «Известиях» еще одну корреспонденцию из Сталинграда.

— И не боится, отчаянный человек, что врачи будут считать его хорошим писателем, а писатели — хорошим врачом!

Я смеялась. Он тоже смеялся. Но неуловимое движение время от времени проходило по холеному, маленькому лицу. Равнодушие? Ненависть? Усталость?

АНДРЕЙ — ИЗ СТАЛИНГРАДА

«Родная моя, прости, что так редко пишу. Это происходит не только потому, что совершенно нет времени, а потому, что не знаю, что выбрать из множества поразительных впечатлений. Я — в городе мертвых, не в символическом, а в самом точном, грубо реальном смысле этого слова. На каждом перекрестке, на каждой улице, за каждым углом — мертвые,

которых нужно немедленно предать земле, чтобы сохранить здоровье живых. А то, пожалуй, враги и после смерти сумеют нанести нам немалый урон. Много молодых, рослых, красивых, с рыжими, примерзшими к земле волосами. И ты знаешь — не мстительное «Мы вас не звали!», а совсем другое, очень грустное чувство звучит в душе, когда проходишь мимо этих юношей, для которых жизнь еще только что начиналась.

Иное дело, впрочем, когда сталкиваешься с живыми врагами. Вчера, разыскивая уцелевшее помещение, мы наткнулись на полуобвалившийся деревянный барак. Это было ночью, и при свете фонаря мы увидели зрелище неправдоподобное, почти фантастическое, напомнимшее мне пиршество королевы Чумы из рассказа Эдгара По. Солдаты, даже не повернувшись, когда мы вошли, укрывшись шинелями, лежали на койках, а над ними, оскалив морды, висели ободранные лошадиные туши. Я не сразу понял, что это значит: не вставая с койки, можно было отрезать ножом кусок гниющего мяса. Я приказал им встать. Они поднялись, поддерживая друг друга, распухшие, заросшие, черные. Не могу тебе передать, какая ненависть глянула на меня из этих провалившихся глаз.

Ну, ладно! Поговорим о другом. Позвольте вам доложить, что я без памяти влюбился в одного человека. Не бойся — мужчина и в солидных годах — шестьдесят четыре, хотя на вид значительно меньше. Зовут его Григорий Григорьевич Рамазанов. Я поручил ему один из самых трудных районов, и он работает толково, умно и, главное, весело — в здешних условиях это особенно важно. А по вечерам — мы в одной землянке — он рассказывает мне историю своей содержательной, с блеском прожитой жизни. Я сперва слушал, потом стал записывать — опасно доверять памяти подробности, которые так выразительно рисуют и его самого и забытую обстановку работы в двадцатых и тридцатых годах. Вот один из его рассказов.

«Это было в 1920 году, в одном из городков Приднепровья. Госпитали были переполнены, и раненых с санпоезда, которым командовал я, необходимо было перегрузить на пароходы и отправить вниз по Днепру. В одной из теплушек бойцы, измученные тяжелой дорогой, отказались двигаться дальше. Начался шум, уговоры, крики. Вдруг слышу за спиной: «Доктор, что случилось?» Смотрю, военный, не особенно видный такой, сухощавый, с бородкой. Я сгоряча и на него: «А вам что за дело?» Он в ответ очень вежливо: «Будем знакомы. Фрунзе». Вытянулся я, отрапортовал. А он заглянул в теплушку, сказал раненым несколько слов — и пошла своим чередом погрузка. (По дороге с пристани в город Фрунзе попросил Григория Григорьевича рассказать о себе, и доктор упомянул, между прочим, что, «кроме специальности, имеет еще и призвание». Призвание это — бактериология, которой он увлекался со студенческих лет.)

«Рассказываю я все это Фрунзе, и он слушает, вижу, с большим интересом. Досказать, впрочем, не удалось. Только я начал о том, как в 1918 году первый санпоезд организовал,— стоп! Приехали в город.

Поблагодарил меня Михаил Васильевич, записал что-то в книжечку и простился, а больше ничего не сказал.

И прошло, скажу я вам, более полугода. Вдруг — предписание. Читаю и не верю глазам. Немедленно сдать поезд и явиться в Царицын, в распоряжение штаба. Зачем? Развернуть лабораторию в Камышине. Вот тебе и ничего не сказал!

Прочел я это предписание раз десять и засел за науку. Три месяца не выходил из штабной лаборатории. И как у меня тогда все в голове не перемешалось, до сих пор понять не могу. Получил два ящика лабораторного оборудования, приехал в Камышин, явился к начальству и узнал с трепетом, что призван обслужить шесть госпиталей — ни много ни мало! Прошу помещение. Дают. Стоит дом на берегу Волги, на фасаде вывеска «Сапожная мастерская». Я спрашиваю:

— Что это значит?

— Хороший дом,— говорят.— Берите, доктор. Все равно лучше не будет.

— А мебель?

— Из мебели есть только бильярды.

— Тьфу, пропасть! На что мне бильярды?

— Как хотите, доктор. Бильярды, между прочим, старинные, каменные. Мы их из увеселительных заведений реквизировали. Возьмите, может, и пригодятся.

И вы не поверите, какие у меня получились из этих бильярдов лабораторные столы — просто на диво! В каждом по пяти шиферных плит оказалось. Я гробовщика нанял, он эти плиты отшлифовал,— и вот так-то удалось мне впервые в жизни организовать бактериологическую лабораторию — с помощью гробовщика и на базе бильярдов...»

Занятная история, правда? Но это только одна, а записал я таких четыре. И, знаешь ли, кто мерещится мне, когда я слушаю Рамазанова? Лермонтовский Максим Максимыч. И невольно думается, что не Печорины, а Максимы Максимычи с их скромностью и самоотверженностью составляли костяк русской армии в старые годы.

На Максима Максимыча он и внешне похож, впрочем, кроме одной черты, о которой Лермонтов не упоминает: он удивительно молодожав, несмотря на свои пожилые годы. Внутренняя жизнь — это бывает только в молодости — то заставит его покраснеть, то сожмет решительный рот с легкой косиной от раны, то заблестит в глазах. Это человек плотного сложения, широкоплечий и не седой, а какой-то серо-стальной — и этот оттенок присоединяется к общему впечатлению спокойной энергии, которую от него так и веет!

Будь здорова, родная. Я очень рад, что Петр Николаевич вдруг приехал в Москву. Передай ему привет и ни в коем случае не отпускай в Лопяхин до моего возвращения. Пишет ли тебе мама? Я получил от нее только одно письмо, зато с приложением, в котором Павличек огромными каракулями сообщает о своих и бабушкиных делах. Мама волнуется о Мите — что делать? Видно, так уж нам на роду написано — беспокоиться о нем всю жизнь. Может быть, ты от него что-нибудь получила? Целую тебя. *Твой Андрей*».

ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА

Мы перебрали весь ход нашей работы, все ступени, одну за другой. Мы снова впрыснули наш препарат мышам и кроликам в огромных дозах и снова убедились в том, что здоровые животные относятся к пенициллину или крустозину (как бы его ни называть) более чем хладнокровно. Мы снова впрыснули его друг другу и, кроме жжения и легкой красноты в местах уколов, не заметили решительно ничего, заслуживающего внимания. Мы снова проверили активность препарата на мышах и вылечили их с быстротой, которая показалась бы фантастической, если бы два года тому назад мы не были живыми свидетелями столь же фантастического выздоровления.

Все было — и ничего не было! Разве могла я сравнить наши первые, робкие, спотыкающиеся шаги — шаги ребенка, который только что научился ходить, — с этим смелым маршем по дорогам и без дорог? Мы действовали тогда неуверенно, наугад, почти вслепую. Мы дрожали над каждым миллиграммом препарата — грубо очищенного, слабоактивного. Матрасы с питательной средой, на которой росла зеленая плесень, стояли во всех лабораториях, и чуть ли не две сотни этих матрасов понадобилось, чтобы спасти одну-единственную человеческую жизнь. А теперь нам казалось чудом не то, что мы спасли Катеньку Стогину, а то, что наш слабый, неочищенный препарат мог произвести это чудо.

До войны проблема устойчивости стояла перед нами как неприступная крепость. Страшно было вспомнить, сколько сил стоила нам борьба с временем, с воздухом, с солнечным светом, с другими врагами крустозина, превращавшими его в бесполезную желтую пыль! Теперь мы действовали иначе. Мы привлекли другие лаборатории — химические и физические, и хоть не сто, как требовал Коломнин, но добрых три десятка опытных работников взялись вместе с нами за искусную, хорошо подготовленную осаду. Пошло дело! Физики подсказали нам один способ, химики другой, и оба оказались настолько удачными, что до сих пор соперничают при изготовлении пенициллина.

* * *

Работа была еще далеко не закончена, еще нужно было одно испытать, другое проверить, третье закрепить новой серией опытов, о четвертом просто подумать. Еще не прибранное, не оштукатуренное, только что подведенное под крышу, открытое всем ветрам стояло наше здание — «Пенициллин-крустозин ВИЭМ», как мы назвали его после мучительных размышлений. Еще леса были не сняты, строительный мусор валялся здесь и там под ногами, а уже подошел, наступил тот долгожданный день, о котором мы думали со стесненным сердцем, которого боялись, о котором мечтали

* * *

Теперь, когда пенициллин можно приобрести в любой аптеке, когда на этикетке каждого флакона печатаются данные, установленные в результате тщательного, многолетнего изучения, когда на основе этого открытия возникла новая большая отрасль промышленности, — какими робкими представляются мне наши первые шаги в практической медицине! Как мы были осторожны, как неуверенны, с каким трепетом ждали, что скажут врачи! Мы связались с несколькими клиниками, мы раздали препарат хирургам, кожникам, терапевтам — и в лабораторию со всех сторон стали слетаться вести. Их было очень много, этих вестей, и для ясности можно, пожалуй, разделить их на три группы: неопределенно хорошие, просто хорошие и неправдоподобно хорошие, причем последних с каждым днем становилось все больше.

...Каждый четверг в моем кабинете собирались врачи и профессора, хирурги и нейрохирурги, кожники, педиатры, терапевты — препарат испытывался в шести клиниках одновременно. Уже и в этом была увлекательная новизна. И тогда, на заре изучения, «спектр действия»¹ пенициллина поражал своей яркостью и широтой.

В каком количестве впрыскивать препарат? Сколько раз в день? Внутримышечно или внутривенно? Как устранить болезненность? Почему в некоторых случаях повышается температура? Как применять пенициллин при ожогах? Для лечения местных гнойных процессов? Тяжелых послераневых осложнений?

Разговор начинался обычно около двух часов дня, а к пяти вдруг приезжал дед и требовал, чтобы все было рассказано сначала. Сгорбившись, положив ногу на ногу, задумчиво почесывая подбородок, выслушивал он очередные новости, и характерное скептическое лицо никуда не торопящегося, очень

¹ Степень активности антибиотика по отношению к микробам.

старого человека постепенно смягчалось, принимая удивленное, умиленное выражение. Да и было чему удивляться — так много событий происходило за эти семь стремительно пробегающих дней!

Кто не знает, что представляет собою «история болезни» — скучная вещь, сухой протокол беды, кончающийся смертью или выздоровлением или ни тем, ни другим. Но нечто сказочное, фантастическое вдруг вспыхнуло в протоколе, который на очередном четверге прочитал нам Селезнев — старый, опытный, давно ничему не удивлявшийся хирург с седыми, длинными, казачьими усами:

«М-ский, 1896 г. р. Сквозное осколочное ранение левого коленного сустава. Через три дня (через три!) произведена первичная обработка раны. Еще через две недели под гипсовой повязкой обнаружено гнойное воспаление сустава. Первая операция — сустав вскрыт. Состояние не улучшается. Воспаление распространяется на голень. Вторая операция — широкий разрез голени. Состояние не улучшается. Третья операция — отнята нога. Через несколько дней — воспаление печени, гнойное воспаление вен, воспаление легких. Температура 40°, пульс 120 в минуту, потрясающий озноб, бессонница, поты. Ярко выраженная картина тяжелого общего заражения. Начато лечение пенициллином. Через десять дней температура падает. Рана заживает. Выздоровление».

А вот та же история, переведенная с профессионального языка на общедоступный.

Боец М-ский, уралец, председатель колхоза, был твердо уверен в том, что он поправится — рана была неопасная, в ногу. После первой операции он даже написал родным, что теперь-то дело обязательно пойдет на поправку. Вторая операция сильно огорчила его, однако он еще не потерял надежду. Но когда у него отрезали ногу и вместо облегчения открылись три новых болезни, он стал понемногу готовиться к смерти. Человек он был пожилой, обстоятельный и готовиться тоже стал обстоятельно — благо по ночам не спалось и времени было много. Он написал жене, простился и приказал недолго горевать, а лучше побережь меньшую дочку, родившуюся перед самой войной. Старшей дочке он тоже написал, но не письмо, а что-то вроде наставления. Он беспокоился — справились ли в колхозе с уборкой? Еще совсем молодая женщина замснила его, и хотя она была работящая, но болезненная, и, говоря с врачами, он спрашивал уже не о себе, а о ней, о ее болезни. Наконец, он успокоился. Упрекать себя ему было особенно не в чем, а вот пожалеть есть о чем! Да что толку жалеть, если жизни осталось уже от силы дней на пять?

Его еще кололи, заставляли пить какую-то горечь, и он слушался, но сердился и говорил, что раз уже не сумели его вылечить, так оставили бы уж лучше напоследок в покое!

И вдруг — это было через двое суток после того, как ему начали впрыскивать пенициллин — он почувствовал, что изнурительный озноб, от которого все внутри ежеминутно трепетало и содрогалось, оставил его. В руках, беспомощно лежавших вдоль исхудалого тела, появилась сила. Усталая голова прояснилась, и впервые за много дней ему захотелось двигаться, говорить, жить...

И эта необыкновенная история, о которой главный хирург Красной Армии Кипарский сказал, что ее нужно золотыми буквами высечь на мраморном обелиске и поставить этот обелиск перед зданием нашего института, эта история, чтение которой было встречено аплодисментами, была забыта через несколько дней. Другие события заслонили ее, и о самом необычайном из них рассказал на очередном четверге главный врач детской инфекционной больницы.

— Мы испытали ваш препарат на безнадежном случае септической скарлатины, — сказал он. — И были живыми свидетелями картины, которую смело можно назвать «возвращением с того света».

В этот день мы заглянули далеко вперед, и перед глазами открылись такие дали, что невольно закружилась не одна голова.

* * *

А потом стали приходиться письма. Каждое утро они нетерпеливо врывались в дом, требуя, чтобы их прочитали. Они слетались со всех концов страны, свернутые треугольниками, в самодельных конвертах — иные больше месяца проводили в дороге. Они лежали вокруг меня на столе, на окнах, на диване, на откидной крышке бюро — так что Андрей, вернувшийся в конце марта из Сталинграда, сказал, что я «вписана» в этот эпистолярный пейзаж, как шишкинские медведи в пейзаж соснового леса. Это были письма-просьбы, письма-исповеди, письма-признания. Это были простые и страшные истории о том, как, внезапно врываясь в жизнь, болезнь переворачивала ее вверх дном, не оставляя камня на камне. Одних с размаху приковывала к постели, других убивала медленно, почти незаметно, как будто нарочно, чтобы человек испытал всю муку затянувшегося умирания. Одних ожесточала, заставляла терять веру в близких, не испытывать никаких желаний, кроме страстного, полубезумного желания выздоровления. Других превращала в замкнутых эгоистов, с холодным упорством мучивших своих жен и детей.

Это были письма о страданиях, которые должны были отступить — «ведь теперь в этом можно не сомневаться, не правда ли?» — перед волшебной силой науки. Это были письма солдат и офицеров, мечтавших о скорейшем возвращении в

строй и просивших, чтобы мы, не теряя ни одной минуты, исцелили их от тяжелых послераневых осложнений.

Среди этого ливня, который неожиданно-негаданно обрушился на меня, попадались письма, которые нельзя было читать без улыбки: некий гражданин со странной фамилией Непейпиво спрашивал меня, не помогает ли наш препарат при выпадении волос. Он, Непейпиво, недавно вторично женился и теперь до крайности озабочен тем, что «самый факт ускорившегося за последнее время выпадения» может неблагоприятно отразиться на отношении к нему молодой супруги. Лесной объездчик сообщил, что открытое нами средство известно ему вот уже более двадцати пяти лет и успешно применяется старухами знахарками при лечении рака и желтухи.

Счетный работник из Кунгура интересовался, замужем ли я, и упоминал, между строк, что, потеряв в 1935 году супругу, с которой благополучно прожил более двух десятков лет, подумывает о том, что недурно бы вновь сочетаться браком.

* * *

И только в большом светлом доме, занимающем чуть ли не половину Рахмановского переулка, никто не интересуется нашим «большим экзаменом», как назвал клинические испытания дед.

На неделю раньше назначенного срока мы с Коломнинным приходим к заместителю наркома, и с грубоватой снисходительностью принимает нас сей государственный муж.

Входят и выходят бесшумные, хорошо одетые секретарши, негромкими почтительными голосами разговаривают заведующие отделами и подотделами, которых по разным вопросам, не имеющим отношения ни к русскому, ни к английскому пенициллину, вызывает заместитель наркома. Поросшая толстыми рыжими волосами рука нажимает звонок, и является тот, кому надлежит, и произносит то, что надлежит. Все совершается быстро, свободно, легко — но совершается ли? Легкий оттенок непрочности, шаткости сопровождает решительно все, что происходит в этом просторном, богатом, устланном большим ковром кабинете. И на самой коренастой фигуре хозяина лежит этот оттенок, даром что он сидит за таким внушительным письменным столом, на котором стоит такой внушительный малахитовый прибор с чашей-чернильницей, вокруг которой обвилась змея — символ мудрейшей из наук — медицины. Можно подумать, что, кроме нас, здесь присутствует какой-то неведомый и невидимый дух — и прежде чем ответить на любой вопрос, заместитель наркома безмолвно советуется с этим духом, да не советуется, а с униженной покорностью прислушивается к каждому его слову. «Что ты думаешь по этому поводу, глубокоуважаемый дух?» — как будто спрашивает

нарком, и дух отвечает или молчит, и если он молчит, заместитель наркома тоже молчит, предоставляя нам понимать его молчание так или иначе.

Кто же этот дух, эти флюиды, рассеянные в воздухе, невидимые, но обладающие магической силой? Боязнь ответственности, страх перед начальством, попытка угадать, что скажет тот или подумает этот? Кто знает! Но почти все, что мы слышим, говорит этот дух, а на долю заместителя наркома остается немного — очень немного, почти ничего.

Я прошу о расширении производственной лаборатории — количество пенициллина, которое мы выпускаем, ничтожно, а потребность велика и растет с каждым днем. Начальство соглашается, но будет ли разрешена лаборатория — это почему-то остается неясным.

Я напоминаю, что еще в мае Столов (хозуправление) обещал обеспечить моих четырех сотрудников продовольственным лимитом. Начальство соглашается и даже ставит на листке настольного календаря загадочную закорючку. Но при одном взгляде на эту закорючку у меня почему-то окончательно пропадает надежда, что сотрудники получают лимит.

Недобро поблескивая глазами, Коломнин спрашивает, известно ли уважаемому Павлу Ильичу, что в Англии уже приступили к строительству пенициллинового завода. Павел Ильич соглашается — пора подумать и нам. Но, вероятно, невидимый дух, с которым он ежеминутно советуется, еще не принял решения по этому вопросу. Поэтому, сказав: «Пора и нам», заместитель наркома умолкает и лишь произносит неопределенный звук, когда мы спрашиваем, когда будут вызваны руководители колбасных фабрик, на базе которых можно временно наладить массовый выпуск пенициллина.

Не в очень веселом настроении покидаем мы просторный кабинет с высокими окнами, с тяжелым письменным столом, и сидящего за ним человека, от которого, к сожалению, зависит очень многое в огромной системе советского здравоохранения.

— Черт побери, стоило сходить с ума, не спать ночами! Он даже не поблагодарил нас.

Коломнин бледен, расстроен, зол.

— А вы ради его благодарности не спали ночами?

— Нет, конечно! Но все-таки... Грубиян. Вы заметили, он не встал, когда мы уходили?

— Еще вставать! Не огорчайтесь, дорогой Иван Петрович. Не в нашей власти назначать наркомов.

— К сожалению.

— Если бы на месте Максимова был настоящий человек — талантливый, образованный, смелый... Каков был бы наш разговор? Помечтаем.

И всю дорогу от Рахмановского до Ленинградского шоссе мы утешаемся тем, что придумываем этот несостоявшийся разговор. Вот он:

З а м е с т и т е л ь н а р к о м а (*приветливо*). А, товарищи Власенкова и Коломнин! Ну, как дела? Можно поздравить?

Я. Благодарю вас. (*Скромно*.) Да, кажется, кое-что получилось.

З а м е с т и т е л ь н а р к о м а. Хотелось бы мне, чтобы это «кое-что» почаще повторялось в нашей науке. Садитесь, прошу вас. Иван Петрович, вы курите? Может быть, чаю?

Коломнин закуривает, я отказываюсь.

З а м е с т и т е л ь н а р к о м а. Прежде всего, Татьяна Петровна, как ваше здоровье? Ох, как я ругал себя за то, что вызвал Крамова, не поговорив предварительно с вами.

Я. Да что уж! Дело прошлое. Кто старое помянет, тому глаз вон.

З а м е с т и т е л ь н а р к о м а. Впрочем, нет худа без добра. Волей-неволей я был свидетелем сцены, которая говорит об очень сложных отношениях в научной среде. А ведь уж кому-кому, а мне-то не мешало бы в них разобраться!

Коломнин. М-да.

З а м е с т и т е л ь н а р к о м а. Но об этом речь впереди. А теперь — в чем нуждается ваша группа? Довольны ли вы техническим оборудованием? Прошу вас, говорите все, не стесняйтесь.

Я. Благодарю вас. Нам нужно... Иван Петрович, прочитайте список.

Коломнин читает список. В нем сто три пункта. Заместитель наркома внимательно слушает, изредка кивая головой в знак одобрения.

З а м е с т и т е л ь н а р к о м а. И это все?

Мы. Да, в основном.

З а м е с т и т е л ь н а р к о м а. Очень хорошо. Оставьте мне этот список. Все будет сделано. (*Заметив наши недоверчивые улыбки*.) И гораздо скорее, чем вы думаете, товарищи. Да, да, гораздо скорее!

Мы собираемся уходить, он встает и провожает нас до самой двери.

Не столь велик был в действительности наш список и не надеялись мы, что начальство будет махать нам вслед носовым платком. Но ведь мы пришли к Максиму после напряженной, выматывающей душу работы, когда на карту, в полном смысле слова, была поставлена научная честь. Неужели не мог он найти для нас ободряющего, дружеского слова? Нужно было еще многое взвесить, обдумать, решить. Нужно было вникнуть в то, что сделано, и в то, что еще оставалось сделать. Нужно было

оценить не только свои силы и возможности, но силы и возможности английских и американских ученых, работавших параллельно с нами.

Ничуть не бывало! Равнодушие, скрытое пренебрежение и поразительное, полное непонимание дела!

АНДРЕЙ — ИЗ СТАЛЛИНГРАДА

«Родная моя, спасибо за длинное, подробное, непохожее на тебя письмо, в котором ты сделала все возможное и невозможное, чтобы скрыть от меня свои огорчения. Ты думаешь, я не понял, чье имя сквозит за этими недомолвками? Крамов всегда был для меня не человеком, а болезнью, трудно распознаваемой, с загадочными симптомами и возникающей при еще не изученных условиях, которые, однако, давно пора изучить. Конечно, прежде всего это честолюбец, и не мелкий, а с размахом, мечтающий, может быть, о мировой славе. Он не просто умен, он умен дьявольски, и не только труслив, а напротив — способен на смелый, рискованный шаг. Ты всегда недооценивала его, и Рубакин недооценивал, — собственно, не его самого, а его способность, подобно птице Феникс, возрождаться из пепла. Пепел нужно было развеять, вы этого не сделали, так нечего и плакаться. И винить нужно не его, а себя...

...Здесь еще очень трудно, нет воды, приходится возить ее с Волги, добывать из родников на Мечетке. Негде жить — на площадях раскинулись палатки, живут в землянках, блиндажах, даже в брошенных немецких автомашинах. Трудно, наконец, просто передвигаться по городу — все завалено, везде воронки, под каждым камнем может оказаться мина. Но перемены поразительные, каждый день и на каждом шагу! Недавно мы проснулись от протяжного заводского гудка. Стальгрэс дал ток. Покровский — кажется, ты его знаешь? — рассказывал мне, что в страшные сентябрьские дни он все поглядывал на Стальгрэс. Дымит? Значит, все в порядке. Так вот он снова дымит. Кажется, еще вчера, опустив руки, останавливались люди перед этим перепутанным, смердящим разрушением. А сегодня — уже светится по вечерам окно в иной, чудом сохранившейся, комнате разбитого дома. Столик на тротуаре — почтовое отделение. Пекари месят тесто в ваннах, вытасенных из-под развалин. На днях первая школа начала занятия в подвале разрушенного дома. Я был на одном уроке. Дети сидели на перевернутых обгоревших ящиках вместо парт. Черныльница — одна на троих, из обрезка снарядной гильзы. Учительница географии, седая, почтенная, рассказывала детям об открытии Северного полюса, об Амундсене и Седове. Где-то недалеко работали каменщики, и голоса, стук молотков негромко отдавались под низким сво-

дом подвала. Она рассказывала о том, как Амундсен и его товарищи вернулись домой после четырехлетней разлуки, как жены, матери, сестры встречали их с цветами, и цветов было так много, что вся пристань в Осло превратилась в цветущий сад. И Амундсен сказал: «Если бы в моих руках были все цветы мира, я положил бы их к ногам этих женщин».

Удивительный это был урок — дыханье могучей, побеждающей жизни среди угрюмых, закоптелых, обнаженных с бесстыдством смерти развалин!

Писал ли я тебе, что сделал мой Рамазанов? Все комсомольские организации его района постановили один час после работы отдавать на санобработку. Это — очень важный почин в здешних условиях. На днях он мне «выдал» чудную историю о том, как он занимался санобороной в Монголии. Вот она — в усеченном виде:

«Тогда Монголия была совсем не то, что теперь, и столица ее походила более на большую, состоявшую из мазанок деревню. В домах и дворах и тогда было чисто. Зато на каждом углу — свалка, причем от окраины эти свалки с каждым днем все ближе придвигались к центру.

Долго разговаривал я с городскими властями — должно быть, месяца три или четыре. Правда, разговор был большой и не только о свалках: в стране господствовала тибетская медицина, представители которой, так называемые «эмчи», отказывались, например, признавать хирургию. Покойников хоронить было не принято — их выбрасывали в «Долину смерти». Можете себе представить, каким пылающим очагом было это местечко! Собак было не то что много, а великое множество — собака считалась священной! И в этой долине священные животные, разумеется, чувствовали себя прекрасно. Не удивительно, что по стране время от времени прокатывались эпидемии, причем какие-то средневековые, вроде натуральной оспы.

Кое-что удалось сразу: достаточно, например, было рядом с «тибетской» палатой организовать в клинике русскую, чтобы эмчи потерпели полное поражение. Кстати, одну хирургическую операцию они все-таки признавали: продырявливали голову у сумасшедших в надежде, что злой дух воспользуется предоставившейся возможностью и через дырку в голове уйдет из больного. Но вот с оспопрививанием — это было как раз по моей части — оказалось сложнее! И даже не с оспопрививанием, а с ламами — так называется ихнее духовное сословие, вроде монахов. Жили эти ламы в монастырях, и один из крупнейших монастырей находился недалеко от столицы. А вокруг святого места — вы даже себе представить не можете, что творилось! Навоз кучами лежал, грязь невылазная, и, куда ни взглянешь, мертвые козлы валяются: какая-то эпизоотия была среди козлов, когда я приехал. Вокруг — юрты, а в юртах — жены. Не

настоящие, законные, потому что ламам жениться не положено, а временные. Обстоятельство тоже к порядку не располагающее.

Пошел я к настоятелю — этаким полный оказался мужчина, выхоленный и еще молодой, лет сорока. Посидели мы, выпили чаю. Объяснил ему, что необходимо святое место почистить, а ламам оспу привить, а что он, как настоятель, должен подать пример своей пастве.

Выслушал он.

— Ну, как? — спрашиваю.

— Думать надо, — отвечает. — Много думать. Голову в руки брать.

Ладно же! Дня через два я снова к нему пришел. Опять посидели, поговорили о том о сем, выпили чаю. Не принять меня он не мог — тем более что монголы вообще народ вежливый и гостеприимный. Убить — тоже не мог, хотя по глазам было видать, что хотелось. Но согласно ламским воззрениям убивать возбраняется, и оспопрививание, кстати сказать, настоятеля сильно смущало главным образом потому, что при этой операции иногда появляется капелька крови.

Короче говоря, стал я ходить к нему каждый день и целые лекции читать о том, как беспощадно истребляла человечество оспа в семнадцатом и восемнадцатом веках. И, между прочим, до сей поры читал лекции плохо, а настоятелю — хорошо, с вдохновением. И слушал он хорошо, хотя мне, признаться, чудилось, что он и без меня все это превосходно знает. Да так оно, наверно, и было. Ведь у них правила предупреждения болезней развиты. Никогда монгол в руки мертвого тарабагана не возьмет — чума! Если в юрте больной — веревка из шерсти к ручке двери привязана. Знак — «не входить»!

Наконец, согласился настоятель. То есть вроде как согласился.

— Хорошо, — говорит.

Ну, думаю, надо ковать железо, пока горячо! Посадил я его в машину, и поехали мы вокруг монастыря с остановками. На какую-то молещницу полюбовались, которая ежеминутно хлопалась в грязь, вставала и снова хлопалась — такой уж у этих молещниц особенный религиозный способ передвижения. Дальше поехали. А я, надо сказать, заранее распорядился, чтобы наши врачи к этому времени в монастыре собрались и чтобы все к оспопрививанию было готово. Вот мы вернулись, а они уже ждут. Почтительные, в белых халатах. Чистота и сияние.

Не выдержал мужчина. Однако прежде с меня честное слово взял, что крови не будет. Ну, а там уже простое дело пошло! Вызвал он кого-то, сказал несколько слов, и принялись за работу ламы. Да не за страх, а за совесть! И местность вычистили

на совесть. И привили оспу всем до одного. И на кровь — если случалась капелька — не обращали никакого внимания. А на месте свалок был посеян овес, и вскоре взошел, зазеленел — очень получилось красиво.

До свиданья, родная. Я перечитал письмо и решил, что насчет Крамова получилось как-то очень сердито. То есть насчет того, что ты сама виновата. Может быть, я не прав? Без тебя очень скучно. Как ты думаешь, Павлик очень отвыкнет от нас? Обнимаю тебя. *Твой Андрей*».

СЛУХИ

Нельзя сказать, что клинические испытания прошли так уж гладко, без промахов и ошибок! Так, в разгаре удачи, когда самые придирчивые скептики были вынуждены признать, что «спектр действия» нашего препарата необычайно широк, произошел случай, который показался нам загадочным, необъяснимым...

В эвакогоспитале, которым руководил известный хирург Левитов, лежал лейтенант-артиллерист, еще совсем мальчик, лет восемнадцати, тяжело раненный в левое бедро с переломом кости. Рана была обработана поздно, началось заражение крови, и когда Левитов решил применить пенициллин, состояние больного было уже довольно тяжелым.

— Ну что, доктор, — сказал лейтенант, когда я пришла навестить его после первых инъекций, — как говорится, «до смерти четыре шага»?

Он был смуглый, широколицый, с нежным пушком на щеках и страдающими глазами.

— Ничуть не бывало! Будете жить и жить, Петр Алексеевич.

— Алексеевич! Просто Петя. Меня еще никто и не называл по имени-отчеству. Вот заважничая и не умру.

— Ну, так я вас иначе и называть не стану.

— ...А вы, оказывается, совсем и не доктор, — сказал он мне в другой раз. — Профессор! А на вид и не скажешь.

— Не похожа?

— Нет. Вы скорее на артистку похожи.

Я засмеялась, и он так смутился, что даже пот выступил на бледном смуглом лице. Но быстро оправился.

— Я так сказал, потому что у меня мать артистка, — негромко возразил он. — А вы чем-то похожи на мать.

Левитов начал с маленьких доз, потом перешел к средним, и уже на третий день состояние настолько улучшилось, что мы решили было, что наш больной поправится и без пенициллина; с которым все еще приходилось обращаться весьма экономно.

Потом все-таки решили продолжать, тем более что лейтенант стал жаловаться на головные боли. Каждые четыре часа он получал вполне солидную, по нашим тогдашним понятиям, дозу. Но бог весть почему, магическое средство, с помощью которого уже были спасены сотни людей, вдруг потеряло силу. Вновь поднялась температура, начались бурные мозговые явления, и, когда на девятый день мы с Левитовым встретились у постели больного, стало ясно, что конец неизбежен.

Почему он погиб? Потому что мы начали с маленькой дозы? Когда наступило улучшение, мы пропустили несколько впрыскиваний — может быть, это было ошибкой?

Полумертвая, пришла я в лабораторию, и Коломнин должен был целый день возиться со мной, доказывая, что нет ничего неожиданного в том, что безнадежного больного не удалось спасти с помощью нового средства.

Быть может, именно эта история, дойдя до наркома в искаженном виде, заставила его отнестись к нашему опыту с таким недоверием? Выше я упомянула о том, что каждый четверг в нашу лабораторию слетались хорошие вести. Но, кроме вестей, слетались еще и слухи, и среди этих, богатых разнообразными оттенками слухов были и такие, которые сильно смахивали на клевету. Мы смеялись — пустая болтовня, вздор, глупые сплетни! Но вскоре я поняла, что нельзя — более того, вредно для дела недооценивать влияние этих невесомых на первый взгляд величин.

* * *

Правда ли, что на заседании Московского хирургического общества профессор Власенкова была вынуждена огласить записку, автор которой спрашивал — сделала ли она соответствующие выводы из того обстоятельства, что ее препарат послужил непосредственной причиной гибели генерал-лейтенанта, лежавшего в клинике Бурденко? Генерал-лейтенанта? Да, известного, его имя часто упоминалось в приказах!

Расстроенная лаборантка приходит на работу и под строжайшим секретом спрашивает Виктора Мерзлякова — правда ли, что Татьяну Петровну отдают под суд за то, что она дала больному непроверенный препарат? — Кто вам это сказал? — Лаборантка из соседнего института.

«Безвреден, если не убивает» — кому принадлежит эта тупая острота? Неизвестно. Но доподлинно известно, что академик Никольский сказал, что пенициллин, как всякое оружие, опасен в руках тех, кто не умест с ним обращаться.

Взволнованная Лена Быстрова звонит из Казани — правда ли, что наш препарат спешно изымается из всех лабораторий, госпиталей и клиник? — Что за вздор! Почему изымается? — Да тут все говорят, что Фармакологический комитет взял назад свое одобрение!

Виднейшие хирурги и терапевты обращаются в Ученый совет Наркомздрава с письмом, в котором они протестуют против распространения клеветнических слухов. Но бог весть как и почему это письмо превращается в собственную противоположность: «Известно, что в Советском Союзе запрещены опыты на людях,— будто бы пишут с негодованием эти виднейшие профессора и врачи.— Почему же этот гуманнейший закон не распространяется на Т. П. Власенкову, испытывающую токсический препарат на раненых воинах?»

Старый знакомый, которого вы знаете вот уже добрых двадцать лет, вдруг смущается и переводит разговор, когда вы начинаете рассказывать ему о своих удачах. У него становятся виноватые глаза, и вы догадываетесь, что хотя он сочувствует вам, но, к сожалению, не верит. Глубоко сочувствует, но не верит.

Соединяясь самым причудливым образом, упорно повторяются эти темные слухи. То уходят — и тогда начинает казаться, что это был просто мираж, на который не стоит, разумеется, обращать никакого внимания. Мало ли о чем говорят? То возвращаются — и вместе с ними возвращается тревожная мысль о том, что все это неспроста, не случайно, что кому-то на руку эта сложная, глухая игра.

* * *

Рубакин приезжает из Казани, чтобы хлопотать о возвращении нашего института в Москву, и мы надолго, часа на три, запираемся в моем кабинете. Он изменился за годы войны, похудел, постарел, и уже трудно представить себе, что в молодости он был розовый, круглый и чем-то походил на доброго лохматого пса. Теперь стали особенно заметны его маленький рост, седина. Характерные, убегающие вверх брови поросли большими толстыми волосами. Но способность сомневаться осталась такой же и даже стала, мне кажется, еще острее, чем прежде.

— Крамов? Ну, нет! Он все-таки крупнее, Татьяна.

— Не он, так его окружение.

— Новое дело всегда обрастает слухами. На вашем месте я не обращал бы на них никакого внимания.

— Пробовала. Не выходит. Петр Николаевич, когда-то вы рассказали мне историю Крамова, объяснили секрет его влияния, успеха. Это было открытием для меня и одновременно уроком. Вы блестяще доказали тогда, что его теория — это оружие не науки, а благополучия и славы. Вы думаете, он не понимал, что мы пытались выбить это оружие из его рук — и, вероятно, выбили бы, если бы не помешала война?

— Еще бы не понимал! Так вы полагаете, Татьяна, что он надумал, наконец, расплатиться?

— Нет, сложнее. Он знает, что война только отодвинула наш спор, что мы еще вернемся к нему — или если не мы, так другие. А ведь положение изменилось. Интерес к его теории потерян, школа постепенно превращается в группу людей, связанных личными интересами — и только. Теперь он в сто раз опаснее, чем до войны, когда на институтской конференции осмелился откровенно признаться в том, что работает мало и плохо. Теперь он совсем не работает — вот почему он будет держаться за свое положение зубами! Вот почему он будет хвататься за малейшую возможность показать, что он — деятель большой науки. Вы читали его письмо Сталину в сегодняшней «Правде»?

— Нет.

— Прочтите.

Я протянула Рубакину газету. Крамов писал, что он жертвует сто тысяч рублей в фонд Главного командования. «Родившись и получив первоначальное воспитание в старое время, я начал думать и действовать по-настоящему только в советский период, когда перед учеными всех специальностей впервые встал вопрос о единых формах движения и оценки науки. Я сделал попытку осуществить это в одной из самых сложных систем — в иммунологии, и у меня нет оснований полагать, что эта попытка себя не оправдает. Я счастлив, что вместе с другими имею возможность материально содействовать укреплению нашей обороны» и т. д.

Рубакин прочел и хмуро усмехнулся.

— Вам кажется, что это умно?

— Не то слово! Кому пришло бы в голову воспользоваться подобным письмом, чтобы еще раз утвердить себя как главу направления. Это дороже ста тысяч. «Нет оснований полагать, что эта попытка себя не оправдает» — какая смелость! И клятва в верности, и осторожная лесть, и скрытый намек на пропасть между «я» и «другими». Основоположник, мировое значение, большая наука! А для этого — в числе всего прочего — нужно уметь связывать со своим именем каждый новый значительный факт — тем более что этот факт намечает, хотя бы еще приблизительно, совершенно новое направление в науке. Новое направление — вот куда устремляется мысль. Возглавить направление — это по-крамовски! Вы согласны со мной?

— В общем, да. Но при чем же здесь слухи?

— А вот при чем: вы думаете, я обвиняю Крамова в том, что он, как базарная торговка, занимается распространением слухов? Нет. Он сказал десять слов. Но этого достаточно для тех людей, которые его окружают. Одни попрежнему слепо верят ему, другие боятся, третьи трезво оценивают его влияние, четвертые держатся за него просто потому, что без поводыря ни на что не способны в паукс. Теперь представьте себе, что у всей

этой компании вдруг отнимают успех, которого хватило бы на всю жизнь. Не беда, что никто из них никогда не занимался плесенью, не беда, что они боролись против этой мысли, или не замечали ее, или относились к ней с нескрываемым презрением! Пришло время, когда эта мысль, уже превращаясь в практическое достижение, оказалась у них в руках. С какой же бешеной энергией они должны были за нее схватиться!

Рубакин слушал, подняв кверху умное ироническое лицо.

— А что собственно оказалось у них в руках? — спросил он.

— Как что! Да вы только представьте себе, что могло произойти, если бы Крамов убедил правительство приобрести английский патент. Во-первых, он оказал бы государству крупную услугу, предложив препарат, с помощью которого можно удвоить или утроить возвращение раненых в строй. Во-вторых, он немедленно напечатал бы добрый десяток статей о том, что новые явления должны стать управляемыми, а для этого необходимо их объяснить, а для этого нужна теория — и соответствующая теория была бы очерчена талантливо, остроумно, метко. Словом, для меня плесень — это муки сомнений, колебаний, горечь неудач, мысль, с которой я возилась годами. А для него — беспрюгрышная карта, верная возможность заставить говорить о себе, оправдать авансы, которых накопилось немало. Это — новые связи, новая слава, новое богатство, а уж он-то прекрасно знает, что делать с деньгами. И еще одно — он самолюбив, быть может его смелость основана на одном самолюбии. Вы думаете, он простил себе, что рукопись Лебедева пятнадцать лет пролежала в его архиве? Он прекрасно понимает, что, если бы у него хватило чутья, он сам занялся бы плесенью и прежде нас добился бы успеха. Как он, должно быть, ругал себя! Как мучила его досада!

Я говорила очень быстро, и задохнулась, и засмеялась, когда Петр Николаевич молча налил стакан воды и поставил его передо мною.

— Успокойтесь, Татьяна. Все верно. И все-таки — при чем же здесь слухи?

— А вот теперь поговорим о слухах. К чему они сводятся, если отбросить частности, найти основное. Основное заключается в том, что хотя сам по себе препарат и хорош, но не отечественный, а заграничный. Что практики, испытавшие пенициллин из лаборатории Власенковой, убедились в его непригодности. Что Власенкова и Коломнин обманывают государство, и это плохо кончится не только для них, но и для тех, кто их поддерживает и признает их заслуги! Если Крамов при всех его качествах был человеком науки и еще смутно помнит об этом, так ведь у его последователей нет прошлого, нет ничего, кроме того, чему он их научил. Эти люди способны на преступление.

ПРОВОДЫ

Это был один из самых печальных дней моей жизни, когда я узнала о том, что друг моей юности, с которым я встретила совсем недавно, тяжело ранен, безнадежен и, быть может, умер, прежде чем до меня дошло его письмо, оборвавшееся на полуслове. Володя Лукашевич написал мне, лежа в госпитале, но его письмо было отправлено кем-то другим. Вот оно:

«Дорогая Таня, мы условились, что я напишу тебе, если не удастся зайти в СЭЛ. Не удалось, и вот пишу — правда, с небольшим опозданием, всего в полгода. Но лучше поздно, чем никогда, тем более что это «никогда» стоит буквально рядом с моей койкой, что там ни говорят в утешение врачи.

Знаешь ли ты, чем была для меня наша встреча? В раннем детстве я тяжело болел, и мать, у которой не было никого, кроме меня, по целым дням носила меня на руках и пела. Не умолкая ни на минуту, широкими шагами она ходила со мной из угла в угол — и мне казалось, что я не умру, пока будет звучать этот низкий, не привыкший к пению, с грубыми переходами голос. Я чувствовал, что она не отпускает меня. Вот так же звенит в душе и не отпускает меня наша встреча.

Говорят, вся жизнь проносится перед глазами в последнюю перед смертью минуту. У меня затянулась эта минута — и жизнь проносится, не торопясь, как будто нарочно, чтобы я мог, наконец, серьезно подумать над нею. Что представляла собою эта жизнь, к чему я стремился, на что отдал все силы души? Мне всегда казалось, что ценность человека на земле измеряется тем, насколько он нужен. Ты нужен близким, семье — и это немало. Ты нужен товарищам по работе, колхозу, заводу, городу — это уже настоящее счастье. Есть люди, которые нужны всему человечеству, — это счастье, которое вообразить почти невозможно. Был ли я нужен кому-нибудь на земле? Кажется, да, и жизнь прошла не напрасно. С детских лет я мечтал, что стану моряком. У меня не было других привязанностей, не было семьи, не было женщины, которую связало бы со мной искреннее, глубокое чувство. Я много читал, увлекался театром. Но серьезно меня интересовал только флот. (В этом месте было зачеркнуто несколько строк.) ...Какое это должно быть счастье, когда тебя любят! Когда с волнением ждут хоть двух слов от тебя, когда ты знаешь, что твое письмо прочтут десять раз, потому что это *твое* письмо, написанное *твоей* рукою! Ты знаешь ли, а ведь меня никто никогда не любил! Вот почему мне кажется, что наш Лопухин и то, что я был влюблен в тебя, — это начало какой-то недосказанной истории, которая с тех пор никогда не оставляла меня. То шла рядом со мной, то выплывала из душевной темноты, когда я, казалось, забывал и думать о ней. Уходила, когда

я сам уходил в море, где мне всегда становилось веселее и где жизнь представлялась куда приятнее и проще. И возвращалась, когда я возвращался на сушу. (На другой странице, неуверенными буквами, очевидно дрожала рука.) ...Ты спросишь себя: «А с какой стати старый приятель, с которым я не виделась много лет, написал об этом именно мне?» Пишут девушке, приславшей посылку, пишут незнакомым друзьям, потому что легче умирать, когда есть на свете хоть одна душа, которая вздохнет о тебе. Ведь ты вздохнешь обо мне, дорогая Таня? Пусть мы стали другими, пусть ничего не было между нами — мне дорого и то, что не сбылось...»

* * *

Клинский завод прислал не ту посуду, которая была нам нужна, и пришлось ехать в Наркомздрав, звонить на завод, объясняться с хозяйственниками, которым было не до наших ничтожных, с их точки зрения, заказов. И весь этот трудный, утомительный день ни на одну минуту не забывала я о Володе. Я терпеливо объясняла, почему лаборатория нуждается не в щелочном, а в нейтральном стекле, а перед глазами сливались, дрожа, строки, в которых он навсегда простился со мной. Я сердилась на Кочергина, который был, кажется, не виноват, но слушал меня с виноватым видом, а в душе повторялись слова: «Мне дорого и то, что не сбылось». На проводах — вот где я была в этот день, и никто не догадывался, как бесконечно далеки от меня были все эти хлопоты и заботы!

Вот он лежит в госпитале, отгороженный ширмой, потому что соседям тяжело видеть, как он умирает. Тускло светит самодельная лампа-ночник на столе, у которого дремлет, опустив голову в руки, сестра. Слабый голос окликает ее, она встает, берет ночник, и полоски света скользят по одеялу, по лицу, по беспомощно упавшей с койки руке...

Должно быть, у меня был расстроенный голос, когда в два часа ночи я позвонила Малышеву, потому что он тотчас же тревожно спросил:

— Что случилось?

— Михаил Алексеевич, сегодня я получила письмо от старого друга. Он тяжело ранен, лежит в госпитале. Повидимому, безнадежен. Как узнать, где находится госпиталь?

— По номеру почты.

Я назвала номер.

— Не отходите от телефона... Это — Москва,— сказал он через две-три минуты.— Ну-с, еще чем помочь?

— Как Москва?

— Очень просто. Беговая, четыре.

— Так что же он не написал, что лежит в Москве?

Малышев засмеялся.

— Вот уж не знаю,— сказал он.— Как Андрей?

— Спасибо, хорошо.

— Что же это он? Писателем стал?

Накануне в «Красной звезде» была корреспонденция Андрея из Сталинграда.

— А вам это не нравится?

— Почему же? — возразил Малышев очень вежливо, но так, что нетрудно было понять, что он считает эти писания несерьезным для Андрея занятием. — Кланяйтесь ему. Впрочем, он скоро вернется.

— Да? А я и не знала!

— А вам и не положено. Вот придет вдруг — и сразу выяснится, как вы тут себя ведете без мужа.

Я говорила с Малышевым, смеялась, а сама думала: «Без ночного пропуска как добраться до госпиталя? Подождать до утра? Но застану ли я Володю, если подожду до утра?»

* * *

Темно на московских улицах, так непроглядно темно, что первые минуты я иду ощупью, протянув перед собою руки. На дне непроглядной осенней ночи лежит Москва. За плотными шторами, за окнами, переклеенными крест-накрест бумагой, спит, бодрствует, трудится, готовится встретить новое утро Москва.

Дождь моросит, плохая погода! Патруль останавливает меня на улице Горького и пропускает, узнав, что я тороплюсь к больному.

— А в чемоданчике что?

— Лекарство и инструменты.

Девушка в пожарном костюме стоит у ворот, и, должно быть, очень скучно стоять у ворот в эту длинную, дождливую, осеннюю ночь, потому что она окликает меня:

— Промокнете, переждите.

— Спасибо, некогда. Тороплюсь к больному.

Пропадает вдалеке одинокий свет фонаря, снова — темнота, пустота.

Кончаются темные громады домов, щиты у окон, витрины, заваленные мешками с песком — Ленинградское шоссе, наконец-то! Оказывается, есть на свете небо — я вижу его над Ленинградским шоссе. Оказывается, после этой дождливой ночи, так же как после любой другой, наступает утро — иначе в темном месиве, низко спустившемся над Москвой, не просквозили бы быстро проносящиеся, тоже темные тучи.

Слава богу, теперь недалеко! Поворот на Беговую. Асфальт кончается. Ноги скользят по грязи. Снова патруль. Бесконечная, прыгающая под ногами дощатая панель вдоль низких заборов. Нештукатуренное кирпичное здание за железной решеткой. Школа. Кажется, здесь!

ЗНАЧИТ, Я НЕ УБИТ?

Штатский человек, без пропуска, ночью — меня не пустили бы в госпиталь, если бы дежурный врач, совсем молодой, лет двадцати пяти, с тонкой юношеской шеей, торчавшей из халата, не был на моем докладе в Обществе микробиологов перед самой войной. У него стало серьезное лицо, когда я спросила о Володе.

— А вы ему кем приходитеесь? Жена, сестра?

Я объяснила.

— Вот что!

Он интересовался микробиологией, слышал о пенициллине, но не слышал ничего хорошего: «Разве уже испытывали в клинике? А мне сказали, что с этим делом что-то не вышло!» Рассказывая о состоянии Володи, он употреблял без нужды множество иностранных слов и покраснел, когда я машинально поправила одно ударение.

— У него множественное осколочное ранение левого предплечья, осложнившееся остеомиелитом лопатки и обеих костей предплечья. Две операции — секвестретомиа. В крови — гемолитический стрептококк. Высокая температура. Словом, тяжелый сепсис. В настоящее время... — Он замаялся и не договорил.

— Могу ли я пройти к нему?

— Конечно, пожалуйста. Но мне хочется предупредить вас...

— Я все понимаю.

Володя лежал, отгороженный ширмой, ночник стоял на столе, слабый свет падал на закинутую голову с широко открытыми, блестящими глазами. Сиделка дремала на табурете подле койки — все было так, словно ожило виденье, стоявшее передо мною весь день, с той минуты, как я получила письмо. Он лежал неподвижно, одна рука свесилась с койки, лицо было белое, задумчивое, с медленнодвигающимися, что-то шепчущими губами. Мы вошли, он повернул голову, шепот стал громче.

— А вот и Таня, — сказал он, точно ждал меня и был уверен, что я непременно приду. — Здравствуй, Таня. Почему ты так смотришь на меня? Я изменился, да? Это пустяки, просто грипп, я скоро поправлюсь.

Я подседа к нему, взяла его руку в свои. Он говорил без умолку, облизывая пересохшие губы.

— А помнишь, как было хорошо в Сталинграде? Я спросил: «Ты счастлива?», и ты ответила: «Да». Как я обрадовался за тебя, если бы только знала! Понимаешь, командование не в курсе, а то ведь мне бы попало за то, что я перенес тебя на руках.

Сиделка негромко сказала что-то врачу.

— Что я еще хотел узнать у тебя? — взглянув на них невнящими глазами и тотчас же отвернувшись, спросил Володя. — Ах, да! Скажи, пожалуйста, тебе нужна война? Мы уже

привыкли к ней, а ведь у каждого есть свое, дорогое, даже у тех, кого никто не любил. Иногда мне приходило в голову разыскать тебя, но я думал — зачем? А теперь уже поздно, темно... Галки кричат, — вдруг сказал он упавшим голосом. — Ох, как кричат! Таня, это ты? Почему ты плачешь? Ведь все хорошо?

— Все хорошо, Володя.

— Скажи им, чтобы они не кричали!

* * *

До сих пор мы еще не пробовали вводить такие огромные дозы — у Левитова, с которым я встретила на другой день, глаза полезли на лоб, когда я сказала, что за двенадцать часов больному впрыснули почти миллион единиц. Токсическое (отравляющее) действие пеницилина еще не было полностью изучено в те годы, и ни один человек на земле не имел никакого представления о том, убьют ли эти дозы Володю, или вернут ему жизнь.

Но терять было нечего, и, договорившись с начальником госпиталя, я начала этот, казавшийся почти фантастическим, курс.

Кто не знает русской сказки о мертвой и живой воде? Невозможно было не вспомнить о ней, наблюдая те удивительные превращения, которые на моих глазах стали происходить с приговоренным к смерти человеком.

Можно было точно предсказать, когда произойдет эта смерть, когда закроются глаза, остановится сердце. Ничего нельзя было сделать, чтобы этого не произошло, хотя бы самые гениальные врачи всех времен и народов собрались у постели Володи Лукашевича и приложили все усилия, весь многовековой опыт, чтобы спасти ему жизнь. С неумолимой последовательностью шел процесс умирания, и не было до сих пор в мире такой силы, которая могла бы остановить или сделать обратным этот процесс.

Но вот врач бросает щепотку желтого порошка в раствор поваренной соли, вливает эту жидкость в кровь приговоренного к смерти, и через несколько часов исчезает изнуряющий озноб, ослабевают боли, приходит счастье глубокого, ровного сна. Незаметно, исподволь прекращается мучительная борьба тела с надвигающимся прекращением жизни. Еще день, и сиделка убирает ширму, стоящую между жизнью и смертью — пусть все видят новое «восстание из мертвых»!

Еще два-три дня, и тысячи мыслей, понятий, чувств врываются в судорожное, как бы вытянутое в одну линию сознание. Уже не линия, а пространство составляет осязаемый и видимый мир, и скоро в этом новом, просторном мире ничтожно малое место займет больничная койка, на которой произошла чудесная победа жизни над смертью.

Я приезжала к Володе почти каждый день, и он радостно встречал меня, невероятно худой, старательно причесанный, с провалившимися, стеснительными, улыбающимися глазами. «Я буду жить» — это чувствовалось в каждом движении, в каждом слове. Только при взгляде на его виски становилось немного страшно, точно в этих темных, впалых висках с прилипшими волосиками еще сохранилось воспоминание о смерти. Он старался принарядиться к моему приходу — сложная задача, если вспомнить, что весь наряд состоял из бязевых кальсон, шлепанцев и халата! — и однажды рассердился на сестру, которая сказала, что, «видать, недаром капитан волновался, дойдет ли до него очередь бриться?»

Я приезжала ненадолго — хорошо еще, что от института до госпиталя было недалеко. Дела не радовали, и Володя узнавал это с первого взгляда.

— Опять Максимов? — спрашивал он сердито.

О пенициллине я прочитала ему целую лекцию, но она ему не понравилась — неясно.

— А ты не можешь — с самого начала?

— То есть?

— Ну, то есть с вопроса о том, какое место занимает плесень в природе?

Обо всем ему нужно было знать с самого начала, и это трогательно перекликалось с ощущением все возрастающей полноты жизни — ощущением, в котором было что-то детское и тоже как будто «начавшееся с начала».

— А знаешь, все-таки странно, что ты — это ты, — однажды сказал он. — То есть, что ты — ученый человек, доктор наук. Ведь это в сущности на тебя непохоже.

— Ну, вот еще!

— Честное слово! С тобой легко, хотя ты всегда немного грустная и чуть что — сразу начинаешь огорчаться, волноваться. Очень простая, а мне люди науки всегда казались сложными, загадочными, необыкновенными. Я как-то еще до войны ехал в одном купе с академиком — так полночи не мог заснуть от уважения. Он храпел, и я чувствовал, что даже к его храпу отношусь как-то иначе, чем к обыкновенному ненаучному храпу. Кроме того, ты все-таки женщина.

— Здравствуйте. И что же?

— Ну, как же! Дом и семья, а тут нужно думать о препаратах. И тебе, наверно, особенно трудно, потому что ты как раз очень женщина.

— Что это значит?

— Не понимаешь? Ну, бывают не очень женщины, а ты — очень. Другое дело, если б ты была сухарем...

— А я — сухарь.

— Нет. У тебя глубокие чувства.

Я засмеялась.

— Правда, все это у тебя на втором плане, — немного покраснев, добавил Володя. — Но сегодня на втором, а завтра... Кажется, это Павлов сказал, что наука требует от человека всей его жизни?

— Да.

— На его месте я бы сделал оговорку, — серьезно сказал Володя. — Специально для женщин.

Я знала теперь о нем несравненно больше, чем после нашей сталинградской встречи, но первое впечатление душевной тонкости, неожиданной для прежнего лопахинского Володи, осталось и даже стало еще сильнее. И эта тонкость соединялась в нем с мальчишеским прямодушием, которое особенно сказывалось в его манере говорить, не выбирая слов, быстро спрашивать, не дожидаясь ответа. Несмотря на свои тридцать восемь лет, он производил впечатление еще не сложившегося человека. Полная определенность чувствовалась в нем, только когда речь заходила о флоте — моряк он был, повидимому, превосходный. Но едва Володя «выходил на сушу», как эта определенность мгновенно покидала его, и за опытным моряком вдруг показывался юноша, застенчивый и немного путающийся в собственных — подчас острых и оригинальных — мнениях. Он много читал и Третьяковку, например, знал куда лучше, чем я. Но начитанность была беспорядочная, неровная. Однажды в разговоре я упомянула Мечникова.

— Это капли Мечникова? — спросил Володя и смутился до слез, когда я в ужасе замахала руками.

Он расспрашивал меня об Андрее, и в этих подробных расспросах, касавшихся подчас того, что понятно без всяких расспросов, был виден человек, стосковавшийся, одинокий. Как-то я вспомнила и пересказала ему несколько строк из дневника Павлика — он захохотал так, что обеспокоенная сестра пришла с другого конца палаты и объявила, что ему вредно так громко смеяться.

— Ну, какой Павлик? Ты еще ничего не рассказала о нем.

— Не знаю. Хороший.

— Похож на Андрея?

Я подумала.

— Да. А может быть, нет.

— Вот видишь! Это к нашему давешнему разговору. Нет, нет! Женщинам нельзя заниматься наукой. О собственном сыне — «да, а может быть, нет»!

— О собственном — трудно.

— Слишком близко, да?

— Вот именно.

— Если бы у меня был сын, я бы знал, что о нем рассказать. Или тогда пускай в науке работают только необыкновенные женщины.

— Вздор, Володя.

— Я хочу сказать — не по таланту, а в том смысле, что их душевная жизнь должна быть необыкновенно широкой. Чтобы хватило на все — и на дом, и на любовь, и на науку.

* * *

Не прошло и двух недель с той ночи, когда капитан второго ранга Лукашевич получил — впервые в истории человечества — фантастическую дозу пенициллина в один миллион единиц, а мы в госпитале на Беговой стали своими людьми — не только шумный, вечно острящий Зубков, но и тихий, неторопливый Ракита, о котором Володя сказал, что он впервые видит человека, который был бы так необыкновенно похож на собственную фамилию. Мы перезнакомились с ранеными, подружились с врачами и внушили подавляющему большинству персонала безусловную, непререкаемую веру в чудесные свойства плесневого грибка. Только главный врач, угрюмый толстяк, с тяжелым лицом и грубыми, красными, виртуозными, как я не раз убеждалась, руками, скептически покряхтывал, просматривая «наши» истории болезни. Он верил только в одно лекарство — хирургический нож.

— Видали мы эти панацеи! Гравидан, симпатомемитин. Приходят и уходят. А это,— и толстым пальцем он толкнул ланцет,— остается.

* * *

Это было после лекции, которую я по просьбе раненых прочитала в палате, где лежал Володя. Я подошла к нему проститься, и вдруг он стал горячо благодарить меня.

— Спасибо тебе, спасибо!

Я удивилась.

— За что?

— За все. Ведь это только кажется, что просто, а на самом деле... Подумать только, ты спасла меня. И Грушина, и Трофимова, и этого лейтенанта-казаха, который все просил ничего не писать матери, когда он умрет.

У него были горячие руки, блестящие, взволнованные глаза, и я стала беспокоиться, не поднялась ли температура.

— Полно, это совсем не то. Если и поднялась — не опасно. Послушай, вот ты говорила о старом докторе. Поразительно, как несправедливо обошлась с ним жизнь! Почему так бывает, что самые лучшие, чистые, добрые люди несчастны, а счастливы — другие, жестокие, холодные, думающие только о себе?

— Павел Петрович был счастлив.

— Да, может быть. Потому что он был гениален. Ты знаешь, а мне он казался просто скучным стариком, на которого я сердился, потому что ты пропадала у него целыми днями. Но потом я стал жалеть его. Я видел, как однажды, когда он сидел

на крыльце, какая-то женщина подошла и подала ему двадцать копеек. Он крикнул: «Сударыня, вернитесь. Вы ошиблись». Она извинилась, взяла деньги, ушла. А он... У него было такое лицо... После этого случая я перестал сердиться, что ты у него пропадешь.

— Ну, ладно. Вот ужин несут. Поешь и усни.

— Не хочу.

Володя сел на постели. Одеяло сползло, он нервно поправил его и с тоской оглянулся вокруг.

— Ох, устал! Скорее бы в полк.

— Да что с тобой сегодня?

— Ничего. Не думай обо мне. Все хорошо. У тебя сохранилось мое письмо?

— Конечно. А что?

— Верни мне его, пожалуйста.

— Еще новости! Почему?

Он вздохнул и растерянно улыбнулся.

— Тогда было совсем другое. Я умирал, и мне хотелось проститься с тобой.

— И что же?

— А теперь... Ну, хоть не перечитывай его, обещаешь?

Я сказала: «Обещаю», и все-таки заставила его померить температуру — нормальная. Он поужинал при мне, мы простились, и я ушла, успокоенная, хотя и не очень.

* * *

Должно быть, Володя заразил меня своим непонятным волнением, потому что, вернувшись домой и просидев полчаса над какой-то упрямой фразой (мы с Коломниным готовили статью о крустозине), я отложила рукопись и принялась бродить из угла в угол.

Смешно повязавшись моим передником, отец хозяйничал у буржуйки — варил суп «по методе Марии Ределин «Дом и хозяйство». Об этом супе, который некая Мария Ределин рекомендовала варить, когда в доме «по случаю или необходимости нет продовольственного запаса», он толковал давно.

...А ведь среди лопахинских мальчиков Володя был дальше всех от меня! Вечно он гудел свои басовые партии, и казалось, что геликон, на котором он играл в школьном оркестре, был чем-то похож на него — такой же большой, простодушный и добрый. Он искренно огорчился, что не может одолеть «Давида Копперфильда», и в журналах и газетах читал только о флоте. Все мальчики объяснялись в любви, мне смутно мерещилось, что однажды объяснился и он. Это было на Власьевской, Володя провожал меня из школы, и мне нравилось, что мы так чинно разговаривали, точно заранее условились, что скажу я, а что он...

Отец пожаловался, что вчера по промтоварным единичкам выдавали игрушки, и он хотел взять для Павлика, но раздумал, потому что игрушки (очевидно, за неимением красок) были белые, а это, по его мнению, легко могло испортить мальчику вкус.

— Вообще, фантазмагория, — пожав плечами, сказал он. — Все белое — чулки, шнурки, пуговицы, пряжки.

От супа, который варил отец, почему-то пахло селедкой, я хотела попробовать, но он не позволил — рано. Метода, по его мнению, была верна — и ошибки быть не должно, разве только относительно вкуса. «Это случалось и прежде, — продолжала я думать. — Володя волновался, встречая меня, — ну и что же! Ведь в сущности одна его жизнь была прожита и началась другая, в которой все казалось ему непривычным и новым. Откуда же сегодня эта тоска, и «скорее бы в полк!», и растерянность, от которой мне стало неловко и страшно?»

Наш разговор в Сталинграде вспомнился мне, тишина прохладного вечера, пустынная набережная, свет прожекторов, тревога. Как он сказал тогда: «Я не сомневался ни одной минуты, что со мною ты была бы счастлива, а с любым другим человеком на земле, будь он даже ангел во плоти, — несчастна».

Я засмеялась, и отец с удивлением посмотрел на меня.

«Ах, вздор! И нужно работать! Съесть суп Марии Ределин, если это возможно, — и за работу! Написать Андрею, что жду его к празднику, — и за работу!»

ДЕЛА И ВРАГИ

Нетрудно было убедить Рубакина в том, что клеветнические слухи идут если не от самого Крамова, так из его окружения. Некогда Петр Николаевич первый смело набросал психологический портрет Крамова, и мое дело было только прибавить к этому портрету новые, появившиеся за последние годы, черты. Рубакин был единственный в своем роде «знаток Крамова» — уж он-то прекрасно понимал, что значат два-три слова, сказанные в надлежащее время и надлежащем месте! Кто же, если не он, мог помочь мне в этой сложной, завязывающейся схватке, пугавшей меня, потому что бороться приходилось в сущности с призраками и тенями?

Но — увы! Добившись согласия на возвращение института в Москву, Петр Николаевич вернулся в Казань, и я осталась лицом к лицу с намеками, брошенными между прочим, с шутками, невинными на первый взгляд, а на деле — подрывающими доверие, с железной осторожностью чиновников, ловящих на лету каждое движение начальства. А начальство медлило, взвешивало, сомневалось...

Конечно, я была не одна. За полтора года наш «филиал» из механического соединения людей самых разнообразных

профессий превратился в коллектив, ясно представляющий себе, чего он хочет добиться в науке, и действующий весьма согласованно — может быть, потому, что он был небольшой. По структуре он напоминал Крамовский институт, с той разницей, что под руководством Валентина Сергеевича он работал бы, без сомнения, над подтверждением одной из его теорий, а мы видели перед собой проверенную практическую цель. Основу этого маленького института составляли талантливые ученые, хорошие коммунисты и комсомольцы, люди общественные не только по имени, прекрасно понимавшие, что каждый час нашей работы связан с делом победы. Но среди нас — увы! — не было «специалиста по слухам», который сумел бы разобраться в тумане бессовестной лжи и сомнительных предположений.

Коломнин отмалчивался, жестко поджимая губы, или говорил, что он недаром всю жизнь больше доверял пробиркам, чем людям. Виктор был в той полосе «думанья», когда он вообще ничего не видел и не слышал вокруг себя, и я нарочно говорила ему, что все эти слухи — вздор, которому не следует придавать никакого значения. Зубков посмеивался, Ракита, с каждым годом все больше напоминавший своего (и моего) учителя Лаврова, рассуждал последовательно, ясно, но, выслушав его, я всякий раз приходила к выводу, что против нас, очевидно, действуют магические силы, если обыкновенный здравый смысл выглядит, в сравнении с ними, таким беспомощно-безоружным.

Словом, все это были люди, охотно, радостно, с любовью думавшие о науке и с трудом, нехотя заставлявшие себя думать о том, что мешает науке. А против нас действовали люди опытные, бывалые, неуверенно чувствовавшие себя в лабораториях, но зато очень уверенно на заседаниях и в наркоматах. Крамов не был теперь главой «направления». Но всюду, куда ни бросишь взгляд, работали его соратники, если не по ЖМЭИ¹, которым он руководил до войны, так по второму Мединституту, где он и теперь занимал кафедру микробиологии. Это был Крупенский, попрежнему прославлявший в бессодержательных и пыльных речах заслуги своего шефа. В его внешности, и прежде заметной, появилось теперь нечто благородное, внушающее доверие. В самом деле, кто бы мог подумать, что этот худой, узкоплечий человек, нервно закурывающий папиросу от папиросы, с романтически торчащей седой шевелюрой, с серыми навывкате глазами, в которых мелькала фанатическая преданность науке, на самом деле — просто смелый интриган, думающий одно, а говорящий совершенно другое?

Было время, когда я почти не сомневалась в том, что его связывает с Валентином Сергеевичем искреннее чувство — недаром же все-таки он всю жизнь перед ним преклонялся? Теперь для меня стало ясно, что это были отношения, отнюдь

¹ Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии.

лишенные каких-либо иллюзий. Иногда я думала — как разговаривают они наедине, без свидетелей, не притворяясь? И мне казалось, что и тогда их подлинные отношения открываются лишь чуть-чуть и что в длинных вежливых фразах они все-таки не называют вещи своими именами.

Крупенский был опасный пустозвон, не забывший, разумеется, что в 1939 году, после дискуссии о крамовской теории, он вылетел из нашего института. Но в тысячу раз опаснее его был другой человек, лишь недавно появившийся на московском горизонте и немедленно примкнувший к Валентину Сергеевичу. Впрочем, примкнувший или включивший его в свою орбиту — этого, мне кажется, не понимал еще и сам Валентин Сергеевич.

Это был Скрыпаченко, которого Андрей спустил с лестницы, что, впрочем, не помешало этому любителю безыменных произведений стать директором Института профилактики. Не знаю уж, за какие услуги он был назначен членом Ученого совета Наркомздрава — должность, которую занимали обычно весьма почтенные деятели нашей медицины. Знаю только, что в кругу микробиологов это было встречено с изумлением.

В самом деле, глядя на этого высокого, небрежно одетого человека, с неопределенно-осторожной улыбкой, чуть показывающейся на тонких губах, я спрашивала себя: «В чем секрет успеха этого человека, который настолько чужд всему советскому, что это буквально режет глаза?»

Если даже четверть того, что говорили о нем, — правда, он должен был не преуспевать, а униженно благодарить судьбу, что ему еще подавали руку. Он не только не имел права преуспевать, а его на пушечный выстрел нельзя было подпускать к любому делу, которое дало бы ему возможность — пусть самую малую — распорядиться другими людьми. А он не только считался одним из видных медицинских деятелей, но представлял нашу страну на международных конгрессах.

Скрыпаченко и ему подобные были люди дела, опытные администраторы, чувствовавшие себя в самых сложных обстоятельствах уверенно и спокойно. Ни один из них не только не возражал против организации пенициллинового завода, но и не мог возражать, потому что по кругу своей работы не имел никакого отношения к нашему препарату. Но взаимно выгодные отношения связывали этих людей с некоторыми видными работниками Наркомздрава, и хлопоты о заводе то и дело натывались на эти чуть заметные, но прочные связи.

* * *

Вспоминая теперь об этих хлопотах, я начинаю думать, что в своих неудачах отчасти была виновата сама. Мне казалось бессмысленным доказывать доказанное, настаивать на очевидном, объяснять то, что было ясно само по себе. Но именно это-то и нужно было делать — последовательно, без усталости, упрямо.

Совещание руководителей колбасных заводов должно состояться в сентябре. Проходит сентябрь, октябрь, ноябрь, и второй заместитель наркома, очень любезный молодой человек, внимательно выслушав меня, отвечает, что он впервые слышит о подобном совещании и не совсем ясно представляет себе, какое собственно отношение имеет колбаса к производству нашего препарата? И приходится терпеливо объяснять любезному молодому человеку то, что ему положено знать, потому что он не только второй заместитель наркома, но и редактор сборника, в котором помещена моя статья об отечественном пенициллине.

Он тщательно выбрит, пробор блестит, у него свежее лицо, превосходные зубы. Он говорит тихим голосом, с длинными паузами, долженствующими показать мне — и всему свету, — что, хотя он и молодой человек, однако не бросает на ветер ни одного своего драгоценного слова. Конечно, в нашем разговоре не упоминаются слухи, — что за вздор! — но за этими осторожными, скользящими обещаниями то и дело мелькает, прячась, тень клеветы, краешек слуха. Я слушаю и чувствую с ужасом, что мне хочется убить этого человека с его вежливостью, пробором, зубами и глубоким дикарским равнодушием ко всему, что не касается его блестящей карьеры. Куда там, не под силу! И я ухожу, проведя у второго заместителя наркома не самый веселый час в своей жизни.

Плесневому грибку нужен сахар: активность крустозина возрастает, когда мы подкармливаем грибок сахаром — в частности, молочным, лактозой.

— Ишь чего захотела! — добродушно, но твердо отвечает мне другой человек, которому поручено снабжение лекарствами всех больниц и аптек в Советском Союзе. — Сахар, матушка моя, нужен мне для людей. А грибок твой небось как-нибудь обойдется!

Высохшие споры плесени распространяются в воздухе и легко могут заразить фаги, которым отданы первый и второй этажи институтского здания: крустозин производится в подвале. Не хватает посуды и танков, во много раз ускоряющих производство, — справиться с заказами, ежедневно поступающими из госпиталей, невозможно. Нужно строить завод или приспособить под крустозин один из мясо-молочных заводов.

— Вы правы, Татьяна Петровна, — отвечает мне третий руководитель, с которым я училась в Ленинградском медицинском институте и который и тогда не внушал мне ни доверия, ни уважения, — и записка ваша составлена дельно, умно. Но беда-то в том, что Наркомздрав по своему профилю не принадлежит к организациям, строящим заводы. Вот отберут от нас медицин-

скую промышленность — тогда вы и поставите перед ней ваш вопрос. А дело нужное. Перспективное, полезное дело!

К счастью, не все хозяева просторного дома на Рахмановском переулке в такой степени подвержены влиянию невидимых, но магических величин. Находятся люди, способные оценить «перспективное дело». Находятся люди, которые считают, что все это граничит с преступлением, в особенности если вспомнить, какое значение имеет пенициллин для возвращения раненых в строй.

И один из этих людей, который тоже носит звание члена коллегии, но у которого это высокое звание не написано на лице, не влияет на образ мышления и не заставляет ежеминутно стремиться к еще более высокому званию, хватает меня за руку и тащит к наркому и требует, чтобы нарком немедленно занялся загадочной историей крустозина-пенициллина ВИЭМ. И через неделю мы получаем небольшое, но удобное здание на берегу Москвы-реки, недалеко от Новодевичьего монастыря — восемь комнат, в которых можно разместить людей, термостаты, танки...

* * *

Я немного опоздала на партконференцию, Литвиненко уже начал доклад. Мы не виделись с начала войны, но я знала, что он был ранен, долго лежал в госпитале и, вернувшись в Москву, стал секретарем не Ленинградского, как прежде, а Фрунзенского райкома. Он изменился, усы поседели, нервное подергивание время от времени пробегало по широкому крестьянскому лицу с выпуклым лбом, на котором прибавились морщины. Должно быть, то же самое — то есть, что я изменилась, — подумал и он, мельком взглянув на меня и вернувшись к докладу.

Председатель, рабочий авиационного завода, которого я тоже знала, показал на пустой стул рядом с собой — должно быть, его предупредили о моем выступлении. Я на цыпочках прошла в президиум, села и стала искать Цейтлину из Фрунзенского райкома. Цейтлина сидела в первом ряду, толстая, румяная, в ватнике, не сходявшемся на ее мощной груди, с блокнотом на коленях, озабоченная, строгая и готовая немедленно, не задумываясь, ринуться в бой. Мне повезло, что на своем тернистом пути я встретилась с этой женщиной, и сейчас, убедившись (по целой серии подбадривающих энергичных движений, которыми она ответила на мой вопросительный взгляд), что ее боевой вид относится к моему выступлению, я снова подумала, что мне повезло.

Конференция происходила в Доме ученых, в большом концертном зале, где мне случалось бывать не раз и где мы с Андреем провели перед войной новогодний вечер. Тогда строгий зал, с высокими дубовыми панелями, с квадратными ложами, был празднично украшен, бумажные фонарики висели крест-накрест

под резным потолком, возле елки стоял большой Дед-Мороз, и все говорили, что он, как две капли воды, похож на знаменитого старого ученого, славившегося своей рассеянностью, о которой рассказывали анекдоты. И все узнавали его, смеялись и жалели, что оригинал заболел,— не мог приехать на встречу Нового года.

Воздушные шары качались в нагретом воздухе, на женщинах были высокие цветные колпачки со звездами, и так важно было, чтобы за соседним столиком сидели Пушкивы, а не Бельские и чтобы первый бокал шампанского был выпит ровно в полночь, с последним ударом часов.

Теперь в этом зале было по-осеннему сыро, еще не топили, и «должно быть,— подумалось мне,— не будут топить, как прошлой зимой». Пар шел изо рта, люди сидели в пальто и шинелях, с руками, засунутыми в обшлага, с румяно-сизыми лицами и с таким видом, как будто они пришли сюда только для того, чтобы сказать друг другу самое необходимое — то, без чего никак нельзя обойтись.

Доклад затянулся, Литвиненко слушали с нетерпением. Потом начались выступления, очень краткие, видно было, что люди дорожат своим временем и не желают отнимать его у других. Но в этом нетерпении, в этой сердитой деловитости была видна та круговая порука, то чувство внутренней связи, которое было характерно для партийных собраний в годы войны. Невозможно было говорить о нем — и никто не говорил, это произвело бы неловкое и странное впечатление. Но в каждом выступлении — хотя бы речь шла о санитарном состоянии задних дворов — мелькало, скрываясь, это трогательное и чистое чувство.

О санитарном состоянии дворов говорил пожилой санврач из горздрава, и мне понравилось его выступление, хотя речь шла о том, что было очевидно для всех. Но в энергии, с которой он говорил о вывозе мусора и нечистот, было нечто поэтическое — ничуть, впрочем, не мешавшее, а скорее даже помогавшее делу.

Для пенициллинового завода были нужны люди, и «вот бы такого директора», — подумалось мне.

Я спросила у председателя фамилию санврача.

— Рамазанов.

— Как Рамазанов? Не может быть? Григорий Григорьевич?

Председатель улыбнулся.

— Почему не может быть? Вот именно, Григорий Григорьевич. Замечательный человек. Знаете, сколько ему лет? Шестьдесят четыре.

Я еще раз взглянула на Рамазанова: плотный, широкоплечий, с военной выправкой, серо-седой, с большим решительным ртом, чуть скошенным, повидимому, от раны. Конечно, это был тот самый санврач, в которого Андрей «влюбился» в Сталин-

граде и необыкновенную жизнь которого пересказывал в своих письмах.

Я подошла к нему в перерыве.

— Здравствуйте, Григорий Григорьевич.

Он щелкнул каблуками.

— Извините. Не имею чести...

— Мы знакомы, хотя видим друг друга впервые. Давно из Сталинграда?

— Никак нет.— Он отвечал с вежливым недоумением.—
Недавно.

— Как Андрей Дмитриевич?

— В добром здоровье. А вы...

— Я его жена.

— Да ну! — Он обеими большими руками долго тряс мою руку.— Как я рад! Последнее время перед моим отъездом Андрей Дмитриевич был в Горной Поляне, а то я бы вам от него непременно письмо привез. Я и так все собирался позвонить, да замешкался с делами.

— Значит, будем знакомы?

— Будем знакомы! Будем знакомы! И разрешите навестить вас! Нужно же доложить о супруге. Впрочем, могу и предварительно: редкий молодец и умница.

— Спасибо.

— Ему спасибо. И вам.

— А мне за что? Вы еще не уходите? Я буду выступать после перерыва, и хочется, чтобы вы послушали.

— Непременно.

— Мне нужно с вами кое о чем посоветоваться...

— К вашим услугам.

* * *

Я знала, что это трудно — объяснить людям, весьма далеким от микробиологии, всю сложную игру, возникшую вокруг нашего открытия. Но я не представляла себе, насколько это трудно!

Нельзя было назвать Валентина Сергеевича, который — как меня уверяли в Наркомздраве — был сторонником немедленного строительства большого пенициллинового завода. Нельзя было упрекать Максимова, который все-таки отказался поддержать Крамова, настаивавшего на покупке английского патента. Нельзя было жаловаться на Скрыпаченко, Крупенского, Мелкову, стоявших в стороне и не имевших в сущности ни малейшего отношения к нашему препарату. Слухи? Да кто же станет придавать серьезное значение этому вздору?

И, взвесив слабость своей позиции, я перестроилась на ходу и заговорила о том, что, несмотря на удачу клинических испытаний, в практике не сделано и не будет сделано почти ничего, пока не удастся наладить массовый выпуск пенициллина.

— Что толку от лекарства, даже самого сильного, если его нельзя широко применить? Мы испытали препарат в сухом и жидком виде. Мы убедились в его полезности и сделали многое, чтобы усилить эту полезность. Но препарата нет, а между тем сотни и тысячи раненых бойцов ждут его в тысячах госпиталей, в тылу и на фронте.

— Что вам нужно? — спросил с места высокий скуластый человек в темных очках, на которого я старалась не смотреть, потому что он слушал меня с недоброжелательным, сердитым выражением.

Я прочитала список. Нельзя сказать, что он был, как две капли воды, похож на тот длинный, в сто три пункта, список, который мы собирались предъявить заместителю наркома, если бы состоялся наш воображаемый разговор. Но сходство было — если не в количестве пунктов, так в том воодушевлении, с которым он был прочитан и которое было понятно коммунистам, внимательно слушавшим меня в холодном, с запотевшими стеклами, неуютном зале.

* * *

Через неделю Цейтлина позвонила в институт и сказала, что завод стройматериалов отгрузил для нас метлахские плитки.

— Что?

— Метлахские плитки, — спокойным, торжественным голосом повторила Цейтлина.

Я сказала об этом Коломнину, и он скептически поджал губы. В самом деле, среди множества необходимых материалов на последнем месте в нашем списке стояли именно эти метлахские плитки. Но вслед за плитками привезли кирпич, а за кирпичом приехала центрифуга — большая, пузатая, красивая и выглядывшая среди лабораторных центрифуг, как Гулливер среди лилипутов.

Весь ноябрь на нас сыпались приборы и материалы, и двадцать новых сотрудников, в числе которых был, кстати сказать, Рамазанов, работали над устройством весьма солидного, по масштабам 1943 года, пенициллинового завода.

МЫ НЕ ОДНИ

Ракита и Виктор, работавшие в госпитале, аккуратно докладывали мне о Володином здоровье, так что я знала, что все идет хорошо — настолько хорошо, что в конце ноября его уже собирались перевести в команду выздоравливающих. Но настроение у него было, повидимому, плохое.

— Чудит ваш пациент,— сердито сказал как-то Виктор, которого я попросила передать Володе несколько книг.

— А что?

Виктор сконфуженно пожал плечами.

— Он спросил, знаю ли я, чем кончилась война между Белой и Алой розой?

— И что же вы ответили?

— Я сказал, что не помню.

— А он?

— «Очень рад, говорит, а я помню». Как вы думаете, Татьяна Петровна, что это значит?

— Не имею понятия.

— Между прочим, когда я был в школе, у нас историей вообще почти не занимались, даже русской. Он, по-моему, скучает. Вы бы съездили к нему, Татьяна Петровна.

Но прошло еще добрых две недели, прежде чем я собралась к Володе.

Он лежал, повернувшись к стене, обхватив голову тонкой, похудевшей рукой. Справа от него, на соседней койке, два незнакомых офицера играли в шахматы, озабоченные болельщики стояли вокруг, обмениваясь замечаниями, почтительно-негромкими, чтобы не мешать игрокам. Слева — пожилая сиделка вязала у постели тяжело раненного и о чем-то неторопливо рассказывала ему, а он молча, покорно смотрел на нее, широко открыв глаза, большие темные, с застывшим выражением страдания. Одни читали, другие, надев наушники, слушали радио, третьи просто лежали на спине, сосредоточенно уставившись в потолок: ждали выздоровления. Только у Володи был одинокий, заброшенный вид, точно в этой большой, занятой своей жизнью палате до него никому не было дела. У меня сжалось сердце, когда я увидела его тонкую фигуру, вытянувшуюся на измятой постели.

— Володя!

Он медленно повернулся, откинул одеяло. Он был небрит, носки спустились, и, садясь, он не поправил их, не запахнул халат.

— Как дела, Володя? Как здоровье?

— Спасибо, хорошо.

— Сердишься?

— За что?

— За то, что я так долго не приходила?

— Разве долго?

Он постарался сказать это как можно равнодушнее — должно быть, рассердился, почувствовал, что я жалею его.

— Ты не представляешь себе, как я была занята! Помнишь, я рассказывала тебе о пенициллиновом заводе? Так вот, в конце концов удалось-таки получить помещение! И недурное, восемь комнат, на берегу Москвы-реки, поправишься,

приезжай посмотреть! Правда, наркомздравцы спохватились в последнюю минуту, хотели отобрать под очковый завод. Ну, мы им показали!

Я говорила с оживлением, но, сама не знаю почему, с искусственным оживлением. Володя слушал или делал вид, что слушал.

— Да, совсем забыла! Ты что же так сконфузил Мерзлякова?

— Кого?

— Да Виктора же! Он теперь всех встречных спрашивает, чем кончилась война между Белой и Алой розой.

— Потому что он говорил со мной, как с полуграмотным человеком. Вам всем скучно со мной, и тебе скучно, хотя ты и притворяешься, что рада видеть меня.

— Здравствуете! Говорю же тебе, что у меня не было ни одной свободной минуты.

— Нет, я знаю. Тебе всегда было скучно со мной.

Как будто за те дни, что мы не виделись, между нами произошло что-то очень важное, и это дает Володе право говорить со мною холодным, почти враждебным тоном, а меня заставляет снова и снова объяснять ему, почему я не приходила, торопясь и чувствуя, что он мне не верит, — так мы говорили несколько минут, перебивая друг друга.

Подошла сестра и пожаловалась на Володю — последнее время плохо ест, а по ночам сидит и думает, а нужно не сидеть и думать, а спать. Потом прибежал мальчик-врач, который дежурил в ту ночь, когда, разыскивая Володю, я впервые пришла в госпиталь на Беговой, и, вытягивая и без того длинную юношескую шею, принялся рассказывать о раненом, поправившемся — поразительный случай! — от менинго-энцефалита! Случай был действительно поразительный, но мне не понравилась восторженность, с которой о нем рассказывал врач. Повидимому, он был одним из тех неофитов, которые пытались лечить пенициллином все, что попало, — верный способ подорвать доверие к новому средству.

— Да, интересно. Значит, у него теперь нормальная формула крови, — сказала я, чтобы сказать что-нибудь, и сделала ошибку, потому что, покраснев от удовольствия, мальчик-врач принялся с испугавшей меня энергией перечислять, сколько у больного было и сколько стало лейкоцитов, нейтрофилов и эозинофилов.

Наконец, он ушел — во-время, потому что Володя уже давно с тоской оглядывался вокруг, как будто выбирал, каким предметом ударить бедного мальчика — книгой или настольной лампой.

— Ты не должна говорить мне неправду, — тотчас же торопливо сказал Володя. — Я наверное знаю, что ты могла хоть каждый день бывать у меня, а не приходила, потому что в по-

следний раз у меня было тяжело на душе, и ты вообразила, что я влюбился в тебя. Не беспокойся, пожалуйста, не влюбился.

Он был бледен, когда я пришла, а теперь побледнел еще больше, и под глазами стали видны синеватые тени.

— Вот была бы история, да? — Он невесело засмеялся. — Ладно, поправлюсь, и в полк, а там некогда думать — война. Я ведь знаю, что все это вздор, и даже не дай бог, чтобы сбылось, потому что у тебя и без того довольно хлопот. Но ты не представляешь себе, как вдруг ослепила меня эта надежда! Не убежать, не откреститься... Глаз не поднять — так непривычно, так страшно! Ну, прости меня, больше не буду, — стараясь улыбнуться, быстро сказал он. — И не думай о том, что я наболтал. Все прекрасно. Да не оглядывайся же, никто не смотрит, все заняты и не интересно никому. Ты ученая женщина, доктор наук, а какой же чудак посмеет объясниться в любви такой почтенной персоне? Радость моя, — чуть слышно продолжал он и быстро провел моей рукой по лбу, по глазам, — спасибо, что ты пришла. Я бы умер, если бы ты не пришла. Фу, как хочется посмотреть Москву, — это было сказано громко, чтобы слышали соседи и особенно смуглый, широкоскулый офицер, бродивший по палате и ответивший ему добродушной улыбкой. — Вот, Баруздин, счастливцев, на днях выписывается! Смотри, джан, не забывай друзей! Да, впрочем, и мне уже немного осталось. Не правда ли, Татьяна Петровна?

* * *

...Это был самый обыкновенный вечер, если можно так назвать один из декабрьских вечеров 1943 года. Мы поужинали, потом послушали сводку: «Северо-западнее Пропойска наши войска, преодолевая сопротивление и контратаки противника овладели сильно укрепленными пунктами его обороны...» Очевидно, в названии Пропойск отцу почудилось нечто родное, потому что, подивившись меткости русского языка, он пустился в воспоминания о том, как некогда служил у одного генерала майора.

— Представь себе, Таия, культурная личность, ездил к Льву Толстому, предлагал ему чистить нужники, верующий непротивлению зла, а сам приедет с ученья домой, разденется до кальсон, плачет и пьет. Его домработник, или как в старое время лакей, получал десять рублей в месяц, деньги громадные, начитанный, — а каждое лето ловил чертей. Кухарка пожилая, верующая, сорок неугасимых лампадок, почтенная — а сама наливалась с утра, как налим. То землемеры приезжают, то офицеры из низших, пьянка поголовная. Чуть не погиб.

«Чуть не погиб» — это было сказано, повидимому, о себе.

Пора было ложиться, но я знала, что не усну, и, умывшись, принялась за письма, давным-давно ожидавшие ответа.

Но, прежде чем ответить на письма, нужно было заняться диссертацией одного молодого хирурга, в которой значительная часть была посвящена крустозину. Я открыла диссертацию и, прочтя несколько строк, вспомнила, что Медгиз торопит корректуру статьи для сборника «Достижения советской медицины в годы Великой Отечественной войны». Это было действительно неотложное дело, и, твердо решившись не отвлекаться посторонними мыслями, я вооружилась и принялась за чтение корректуры. Но посторонние мысли, очевидно, не считали себя посторонними, потому что, уйдя ненадолго, они вернулись и стали преспокойно распоряжаться моею душой, как будто мне было не о чем больше волноваться и думать.

«Да, возвращенье к жизни и надежда, что новая жизнь будет прожита богаче, интереснее, ярче, — вот что бьется в глубине этого чувства. И если бы он встретил не меня, а другую женщину — случилось бы то же самое — ведь писал же он: «Ты знаешь, а ведь меня никто никогда не любил?»»

Я взглянула на письменный стол, слабо освещенный самодельной лампочкой, которую подарил мне Виктор, и мне стало смешно: это было так, как если бы что-то удивительно нелогичное, не похожее ни на что, вдруг вошло в жизнь, состоявшую до сих пор из мыслей и чувств, тесно связанных между собою, привычных, обыкновенных, — если бы, например, оказалось, что я сижу не за столом, заваленным бумагами, а на корточках среди розовых кустов, которые нужно подрезать, чтобы они не превратились в шиповник...

Случалось, что мне объяснялись в любви, но давно, и я вспоминала об этом с каким-то нервным, раздражительным чувством. Школьница, бежавшая по Развьяжской, под светом луны, волшебным образом изменяющим мир, низенькие, притихшие над снегом дома, в которых спали люди, не догадываясь о том, как загадочна, необыкновенна любовь, — полно, да было ли это? Неужели это была я, та тоненькая девушка, которая в ответ на объяснения начинала длинно доказывать, что любовь — такой же талант, как искусство или наука. С тех пор — увы! — эти неопровержимые доводы потеряли многое в своем глубоком значении!

Что же произошло? Старый школьный товарищ, который, быть может, не вспомнил бы обо мне, если бы мы не встретились в Сталинграде — или вспомнил бы именно, как старый товарищ, сегодня сказал, что он любит меня. Одиноким, стосковавшийся человек, он мог ошибиться, уговорить себя. Воспоминанье о любви он мог принять за любовь — недаром же с таким волнением говорил он о своем юношеском, неразделенном чувстве?

— А если это не так? — спросила я себя, и сердце двинулось куда-то и остановилось и стало биться радостно и тревожно. Он сказал: «Не поднимать глаз, не убежать...» Боже

мой, он сказал: «Ты не знаешь, как ослепила меня эта надежда!»

Я разделась, легла, потом вскочила и подняла синюю бумажную штору. Ночь была лунная, и мне захотелось, чтобы в комнате стало светло от луны. Эти шторы, эти козырьки над фарами машин, голубоватый сумрак в трамваях, темные улицы, по которым ошупью бредешь из лаборатории домой — бог знает что лезет в голову, того и гляди — заблудишься, не узнаешь себя.

Вот на днях приезжает Андрей — наконец-то! — и все станет ясно, как всегда, когда приезжает Андрей. Мы вместе поедem в госпиталь, я стану рассказывать ему что-нибудь и --- это будет легко — упомяну, между прочим, что Володя влюбился... В кого? Да в меня! Андрей засмеется и станет шутить надо мною, а я... Нет, невозможно! Да и зачем? Ведь сказал же Володя, что «ничему не бывать, и даже не дай бог, чтобы сбылось».

Лунный свет вошел в комнату, и за окном стали видны деревья в снегу и на крышах чистый снег — сухой, отрезвляюще-белый. Но трезвости не прибавилось. Я лежала, волнуясь, трогая рукой горящие щеки.

Он сказал: «Радость моя», а я оставила его в тоске, в отчаянии, от которого нет спасения. Я слушала его, не чувствуя ничего, кроме страха, что мы не одни, и неловкости, и жалости к нему — такая обыкновенная, такая скучная, как будто мне не объяснялись в любви, а докладывали о результатах клинических испытаний в энской больнице. Теперь в комнате стало светло, как днем, и я пожалела, что накануне, рассердившись на тесноту, перетасила туалет в столовую, холодную, как и прошлой зимой, и которую мне некогда и незачем было прибирать после отъезда Андрея. Мне захотелось взглянуть на себя. Причесываясь, я каждое утро смотрелась в зеркало, но, должно быть, машинально, не видя себя, потому что вдруг забыла, какие у меня волосы, губы. Какие глаза — карие, серые?

Из сумочки, лежавшей подле кровати на стуле, я достала зеркальце и стала разглядывать себя при свете луны. Усталое лицо. Еще не очень старое, но усталое, и нужно уснуть, а утром все будет так, как будто ничего не случилось. Известно, что по ночам в голову лезет вздор, а с зарею все становится на свое привычное место. Ночью человек должен спать, потому что если он не спит, начинает действовать его ночной разум, и все кажется другим — страшнее, сложнее. Да, надо спать, тем более что ничего нельзя изменить. Не только — нельзя, а не нужно, потому что я счастлива и совсем не хочу другого, неизвестного, страшного счастья.

И вдруг мне захотелось мучительно, страстно, чтобы сын был сейчас рядом со мною. Где ты, милый мой? Как

случилось, что ты так далеко от меня? Родной мой, да что же это такое? Как смела я так мало думать, так плохо заботиться о тебе! Голубчик ты мой! Что же делать, как поступить, чтобы увидеть тебя, обнять, рассказать, как мне тоскливо, как грустно!

И нетерпеливо, тревожно я стала думать о том, как устроить, чтобы завтра же можно было уехать в Лопяхин. Это трудно, почти невозможно, но еще более невозможно не видеть его так долго — год или два? Боже мой, два года!

Начинало светать, лунный свет побледнел, и деревья стали по-утреннему голубыми в снегу, когда с такой отчетливостью, как это бывает только во сне, я увидела себя входящей в лабораторию, *до которой мне нет никакого дела*. Плитка шоколада, которую выдали на работе, лежит в ящике моего стола, я пришла, чтобы взять эту плитку для сына да попросить Виктора достать мне «Таинственный остров». Павлик в каждом письме просит прислать ему эту книгу, а у Виктора в книжных лавках — друзья, он достанет, он милый. Ракита подходит ко мне с каким-то вопросом, я слушаю и не слышу его. Мне все равно, чем заняты Коломнин, Зубков и утвердил ли нарком Рамазанова директором пенициллинового завода. Не глядя, прохожу я мимо того, чему были отданы годы труда. Одно — не кончено, другое — отложено, третье — забыто. Мимо, мимо! Я больше не вернусь сюда, я пришла за плиткой шоколада. «Виктор, достаньте мне «Таинственный остров». Мне ничего не нужно, я устала, я два года не видела сына. Кто эти люди, провожающие меня грозным, укоризненным, упрекающим взглядом? Оставьте меня, я устала, устала...»

— Петр Николаевич, не нужно, пусть спит.

— Как можно, как можно! Ожидала, волновалась, супруг. Таня, вставай! Смотри, кто приехал!

Я открыла глаза. Андрей, румяный, смеющийся, в белом запачканном полушубке, опоясанный желтым ремнем с кобурой, стоял у моей постели. Все это было одно — щедро лившийся в окна зимний солнечный свет, и то, что Андрей похудел и окреп, и его радостные, соскучившиеся глаза, и запах улицы, свежести, зимы, который шел от его крепкой фигуры.

ВОЛОДЯ ЛУКАШЕВИЧ

На этот раз мы не виделись долго, почти полгода, и я догадывалась, что для Андрея это было особенное время, полное острых, незабываемых впечатлений. Недаром же он просил меня поберечь его письма! Я даже обиделась на него — в старинном бюро, которое мы купили, переезжая в Серебряный переулок, для его писем давно был отведен отдельный ящик.

Впрочем, и в этой просьбе было что-то новое для Андрея. Прежде он только смеялся, когда я говорила, что его письма нравятся мне больше, чем автор.

Книга — вот с чем он приехал, вот о чем заговорил с первого слова! И письма он просил сохранить, потому что они могли пригодиться ему для книги. Он назвал ее «Неизвестный друг» и еще из Сталинграда послал одному писателю, который с хорошим отзывом передал рукопись в Военное издательство, так что почти не было сомнений в том, что она будет принята к печати. «Неизвестный друг» это был поэтический образ эпидемиолога — человека, который поставил своей целью «борьбу с несчастьем многих», а сам всегда остается в тени.

Мне трудно судить, была ли книга Андрея произведением искусства, тем более что я не особенно хорошо разбираюсь в художественной литературе. Но мне нравилось, что Андрей остался в ней настоящим эпидемиологом, именно эта профессиональная окраска придавала ей жизненную достоверность.

«Еще в самолете, — писал он, — обдумываешь план кампании против надвигающейся, разливающейся болезни, и летит вверх тормашками этот план, потому что на месте все оказывается «не то и не так». Всю ночь ворочаешься в постели, незнакомый город спит за окном, а где-то притаился враг, и нужно найти и уничтожить его, прежде чем он начнет шагать из дома в дом, из одной улицы в другую».

И то сказать — ведь я была единственной в своем роде читательницей этой книги! Для меня в ней снова показался тот Андрей, которого я узнала еще в далекие комсомольские годы — с его внезапной задумчивостью, с его неожиданно простыми решениями, с его «взглядом со стороны», так странно и верно проникавшим в запутанные отношения взрослых. Наши разговоры тех лет вспомнились мне. Ночь на Пустыньке, первая сквозящая зелень язвов, «спор о великом, которое в нашей стране скоро будет происходить ежедневно». Юноша, умевший не смотреть, а всматриваться, точно он видел совсем другое, чем мы, своими широко открытыми серыми глазами...

* * *

Невозможно было не рассказать ему о Володе, тем более что он, разумеется, прекрасно знал о нашей сталинградской встрече. И я прочла ему письмо Володи и рассказала, как с помощью Малышева нашла его в госпитале на Беговой. Это вовсе не значило, что я собралась утаить от Андрея то, что произошло между Володей и мной. Но ведь в сущности не произошло ничего, о чем следовало бы рассказать мужу в первый же день его возвращения? В первый день, когда он проводил меня в институт и, вместо того чтобы поехать по делам, засел в моей лаборатории, и все утро мешал мне работать — ласко-

вый, соскучившийся, с сияющими глазами? И я ничего не рассказала Андрею в первый день, а потом во второй и в третий. По утрам он распевал, умываясь, по вечерам с наслаждением долго разговаривал с отцом о Лопахине, поражая его — и меня — своей необыкновенной памятью, о которой, как он клятвенно уверял меня, он и сам не подозревал еще совсем недавно.

Он разыгрывал меня с самым серьезным видом, и когда, догадавшись по его смеющимся глазам, что я снова осталась в дурах, я принималась бить его, осторожно запирали меня в стенной шкаф, так что приходилось — ничего не поделаешь — прощать его и мириться. Словом, он был в превосходном настроении — так стоило ли рассказывать ему об этом свалившемся на голову объяснении в любви, о котором я сама вспоминала с чувством неопределенного стеснения и страха?

* * *

Первым явился Рамазанов — по делам пенициллинового завода, которыми мы, впрочем, не занимались и четверти часа, потому что Андрей стал приставать к старику насчет какой-то самарской истории.

— Товарищи, да забудьте вы о делах хоть ненадолго! Хорошая сводка, взят Кировоград, Конев наступает. Тепло, светло, на столе чай, сахар, хлеб. Обратите внимание — белый! Григорий Григорьевич, рассказывайте!

— Это как я дивизию мым?

— Ну да, вы только упомянули в Сталинграде, а при случае обещали рассказать. Ну, проси же, Таня!

Нельзя сказать, что мне так уж хотелось услышать еще одну историю из далекого прошлого нашей эпидемиологии, но делать было нечего, и я притворилась, что просто умираю от нетерпения.

Впрочем, история была действительно любопытная.

— Приехал я, значит, в Самару — было это в 1921 году, — и встретил меня там старый мой испытанный враг, с которым я и прежде неоднократно встречался, — начал Григорий Григорьевич с приятной неторопливостью много видевшего и много думавшего человека, — и поручили мне дезинфекционную группу при военносанитарной станции. Стал я мыть людей — так сказать, король банщиков, его величество Мойдодыр Первый. Веселое занятие, когда под рукой все что нужно! А если приходит с басмаческого фронта боевая дивизия, а мыла — ни куска и белья чистого — ни единой пары?

Григорий Григорьевич рассказывал, и его старое большое лицо с косым шрамом у рта и начинающими выцветать старыми глазами было необычайно спокойно.

— Что делать? Ну, предложил я прежде всего дивизию остричь. Сделано. Казарму — дезинфицировать и основательно

натопить. Сделано. Дрова у нас были, значит людей можно было хоть горячей водой сполоснуть, если не вымыть. Но из средств соответствующих была только сера, а серная дезинфекция продолжается, как известно, никак не меньше, чем двенадцать часов. Следовательно, люди должны были из бани голышом бежать, а потом в казарме более полусуток без белья и обмундирования сидеть, потому что белья на смену у меня, разумеется, не было. Командование — на дыбы!

— Издевательство, доктор! Ищите выход!

Я говорю:

— Выхода нет. И ждать нельзя, поскольку в дивизии уже несколько случаев сыпняка было. А насчет издеательства — посовестились бы говорить! Кто за людей отвечает — вы или я?

Согласилось начальство. Отправились люди в баню, стали мыться поэскадронно, а потом — из бани в казарму бегом марш!

Вы знаете, когда один человек зимой по улице голый бежит — это уже зрелище, как бы помягче сказать, привлекающее внимание. А когда дивизия голая... Не эскадрон, не полк, а дивизия, и с утра до вечера в чем мать родила! Смеху было! И только один человек не смеялся — ваш покорный слуга. У меня кошки на душе скребли. Я с лекпомами в бане чай горячий устроил и самодеятельность организовал. Риск был большой. Люди простудиться могли, и двое действительно заболели. Но заболели и поправились, а сыпного тифа в дивизии больше ни единого случая не было.

Андрей слушал, улыбаясь и глядя на Григория Григорьевича влюбленными глазами, потом побежал за блокнотом и как заправский литератор стал быстро списывать листок за листком. Отец тоже слушал с интересом, но с каким-то снисходительным интересом, слегка раздувая усы и готовясь, по видимому, поразить нас рассказом, перед которым рамазановская «голая дивизия» показалась бы безделицей, не стоящей внимания. Он уже начал было: «А вот, помнится, нанялся ко мне в пастухи бывший граф, некто Рябчинский...» — как пришла Катя Димант, и интересная история оборвалась в самом начале.

Катя недавно вернулась из Ташкента, но уже успела с головой погрузиться в дела и заботы нашего «филиала». Она заметно постарела за годы войны, но была все та же скромнейшая, тишайшая Катя, без которой в моей лаборатории всегда как будто чего-то не хватало — может быть, тех поразительных новостей из жизни друзей и знакомых, с которыми она каждое утро являлась на работу. На этот раз ей удалось только шепнуть мне, что Зубков, по ее наблюдениям, намерен вернуться или даже уже вернулся к Зубковой, а потом мы

занялись важным вопросом о «банкетах» в честь будущего доктора медицинских наук Виктора Мерзлякова.

Обычно на наших банкетах дежурным блюдом был студень, который мы варили из костей, оставшихся от «кру-стозинного» бульона. Кости были тощие, и лишь с помощью довольно сложной методики мы умудрялись готовить из них холодец нормального запаха и вкуса. Но Виктор был первым из моих учеников, защищавшим докторскую, и Катя считала, что на этот раз надоевший студень нужно заменить. Чем же? Вопрос остался открытым.

Обычно на банкет после докторской не приглашались артисты. Но защита — тринадцатого, а тринадцатого — старый Новый год. И каждый день такие хорошие сводки! И так давно не приезжал артист Журавлев, которого мы нежно любили и который, по слухам, разучил новую программу. Тут уж пришлось привлечь к обсуждению мужчин, и за столом — я пригласила гостей к столу — завязался оживленный разговор о том, что всегда интересует русского человека: об артистах и театрах.

...Сама не знаю почему, мне вдруг представилось, что кто-то стоит на нашей площадке, за дверью, и не решается постучать, только робко пошевелил раза два расшатанной ручкой: на лестнице было темно, перегорела лампочка, и кто-нибудь мог прийти и постучать, не найдя в темноте звонка. Но стало тихо, и я подумала, что ошиблась. Нет, постучали снова. Андрей пошел открывать, и сейчас же смех, восклицания, громкие голоса послышались в передней.

Это был Володя Лукашевич, в новенькой форме, страшно худой, коротко стриженный, с торчащими, как у подростка, ушами.

— Вот он! — еще с порога закричал Андрей. — Владимир Лукашевич, прошу любить и жаловать. Срок дружбы — сорок лет, ни много, ни мало!

— Ну, хватил! — смеясь, возразил Володя.

— Тридцать, не все ли равно. Ну-ка, покажись!

И Володя комически вытянулся перед ним, щелкнув каблуками.

Он волновался, но только я (так мне казалось) почувствовала чуть заметное напряжение, которое то показывалось в нем, то исчезало! Все было немного слишком — и держался он слишком прямо, откинув плечи, что было вовсе на него не похоже. И говорил с преувеличенным оживлением. И слишком часто смеялся — даже когда не было сказано ничего смешного.

Мы вспомнили госпиталь на Беговой, а потом Володя стал рассказывать о каком-то «морском полуэкипаже», где живут ожидающие назначения офицеры.

— И ты? — спросил Андрей.

— Вот и я, в том-то и дело! Ох, ну и жизнь! Начальство

глупое, толстое. За несвежий подворотничок — такого фитиля дает, только держись. Гигиена, уставы, лекции, по утрам зарядка, обливаемся холодной водой, топаем во дворе минут сорок. А потом все бродят сонные, скучные, вялые. Воевать охота — нельзя! Напиться — рискованно!

Володя рассказывал живо, весело, но что-то искусственное сквозило за этим беспечным тоном. И потом мне ужасно не нравилось, что он ни разу не посмотрел на меня. Думал ли он, что я недовольна, что он явился так неожиданно, без предупреждения, или боялся, что одного только взгляда будет достаточно, чтобы смутить меня? Не знаю. В том, что он не смотрел на меня, была неловкость, которую невозможно было не заметить. Но чем заметнее становилась эта неловкость, тем я сама становилась все холоднее. Я сердилась на него — разумеется, не за то, что он пришел, а за то, что не в силах был справиться с собой. Коли так — нечего было и приходить! Но то, что я сердилась на него, не только не мешало, а даже помогало моему спокойствию, так что в конце концов я стала уже не просто холодная, а какая-то ледяная.

— Я ведь к вам еще третьего дня собирался, — все с той же нервной торопливостью говорил Володя. — Да какой-то полковник придрался на улице и отправил в комендатуру.

— За что? — спросил Рамазанов.

— За небритость. — Володя махнул рукой и засмеялся. — Вообще-то не беда, даже забавно, да один лейтенантик всю ночь по телефону звонил: «Загораю». Так мягко, с украинским выговором: «Захораю». Я, между прочим, прежде никогда не слышал этого выражения.

— А что это значит? — снова спросил Рамазанов, у которого было строгое лицо и которому, повидимому, не нравился Володя.

— Вот и значит — попасть на губу. Словом, утром выстроил нас помощник коменданта и сказал речь, из которой следовало, что бриться надо. Посмотрел я на своих товарищей по заключению, да так и покатился со смеху. Люди все больше пожилые, лица помятые, сконфуженные — невеселая при бледном свете утра картина!

Я собрала посуду, вышла на кухню, осталась там долго, минут пятнадцать, вернулась — Володя все еще говорил. Так бывает в кино, когда изображение уходит вверх или вниз, поперек экрана появляется темная полоса, и нетерпеливые мальчишки кричат: «Сапожники, рамку!» Вот так же не попадало «в рамку» все, о чем говорил Володя. Он был слишком откровенен с Рамазановым и Катей, которых видел впервые. Он не встречался с Андреем давным-давно, с юношеских лет, но, казалось, совершенно забыл об этом. Это было особенно странно. И Андрей не напоминал, только какое-то задумчивое сожаление раза два прошло по его лицу.

— Да, ведь ты же недавно из Сталинграда. Ну, что там теперь? Я читал, что машинист Лукин на свои деньги купил тысячу тонн угля и сам же доставил его откуда-то из Сибири. Вот, должно быть, встретили его сталинградцы! Комсомольцы съехались со всего Союза, целая армия, да? Я, между прочим, думал — заботится ли правительство, чтобы все это сохранилось?.. То есть в памяти сохранилось, как история, что ли. Не только восстановление — этим-то, наверно, занимаются разные там кинохроники. Нет, я бы нарочно оставил какой-нибудь район нетронутым — вот хоть это место, где дивизия Людникова дралась на «Баррикадах». Или переправу — но только в точности, как все было. Да нет, мы этого не понимаем! У нас, может, один разбитый домишко оставят на память, да и то едва ли! Снесут и построят новый!

— Я привез фотографии, хочешь посмотреть? — спросил Андрей.

— Конечно, хочу.

Это были минуты, когда «рамка» как будто встала на место, хотя Володя все еще не смотрел на меня и руки, в которых он держал фотографии, немного дрожали. Но он хоть замолчал — должно быть, догадался, что говорил до сих пор слишком много.

Одна из фотографий поразила всех: на площади, окруженной грозными, подавляюще-мрачными остовами разрушенных зданий, раскинулись полевые палатки — белые, легкие, похожие на маленькие снежные горы. У них был воздушный вид — точно они спустились в Сталинград прямо из стратосферы. Это был один из лагерей, в котором жили молодые строители, съехавшиеся в город по путевкам ЦК комсомола.

— Это какое же место? — спросил Володя и вспомнил, прежде чем Андрей успел ответить. — Неужели площадь Павших борцов?

— Да.

— Позволь, но разве отсюда видна Волга?

— Волга, брат, теперь видна отовсюду.

— Невозможно узнать! Таня, а помнишь, мы с тобой встретились недалеко от площади Павших борцов, а потом пошли к набережной, и ты сказала, что еще не видела памятника Хользунову?

Он еще продолжал что-то об этом памятнике — правда ли, что он был сброшен взрывной волной, но сохранился, и сталинградцы уже успели поставить его на прежнее место? Но у него было такое лицо, как будто произошло что-то непоправимое и в этом непоправимом был виноват он, он один! Не знаю, что пришло ему в голову — решил ли он, что я не рассказала Андрею о нашей встрече в Сталинграде, или сама эта встреча как-то сместилась в его сознании и перепуталась с нашим последним разговором в госпитале, накануне приезда Андрея?

Должно быть, последнее, потому что он вдруг замолчал на полуслове, с потрясенным, остановившимся взглядом.

Я спросила как можно спокойнее:

— Что с тобой, Володя?

Он не ответил. Он вышел в переднюю, прямой, мертвенно-бледный, и стал надевать шинель. Андрей бросился за ним.

— Куда же ты? Тебе дурно?

— Нет, нет. Нет, ничего.— Он бормотал, не слыша себя.— Извини, я уйду. Я позвоню вам. Все хорошо. Просто у меня вдруг пошли круги перед глазами,— сказал он еще невнятно, но уже стараясь с усилием улыбнуться.— А в такие минуты мне, пожалуй, лучше быть одному.— Он впервые взглянул на меня.— Я ведь еще и контужен. Таня знает.— У него было измученное, растерянное лицо.— Таня, подтверди, пожалуйста. Ведь ты еще не забыла мою историю болезни?

МЫ ОДНИ

Еще не поздно было объяснить то, что произошло, хотя, когда Володя ушел и мы заговорили о нем, я сказала, что не понимаю, почему он расстроился, вспомнив о нашей сталинградской встрече. Это была ложь, но еще не поздно было объяснить эту ложь. В самом деле, не могла же я сказать правду при Кате и Рамазанове, хороших, но, в общем, далеких людях?

Но когда мы остались одни и Андрей сел верхом на стул и задумался, машинально следя, как я мою посуду, стелю постели, заплетаю волосы на ночь,— почему я и тогда все-таки ничего не сказала? Он ждал, он никогда не заговаривал первый в течение всей нашей трудной чистой семейной жизни. А я только спросила неискренним голосом: «Что же ты не ложишься?» — и он, не сводя с меня взгляда, неопределенно покачал головой. Нужно было сказать десять слов, и мы вернулись бы друг к другу — только десять... Но с той минуты, как Андрей понял, что я что-то скрывала и продолжаю скрывать от него, точно какая-то злая сила подхватила меня...

Так начался этот разговор — непоправимый, потому что не было никакой надежды на то, что мы еще вернемся к нему.

— Ты думаешь, я не понимаю, что между нами всегда оставалось что-то недоговоренное? Не чувствовал, как ты пряталась от меня, как спрятала теперь то, что произошло между вами?

— Между нами ничего не произошло. Я не знаю, почему он смутился.

— Хорошо, пусть так. Я всю жизнь чувствовал, что люблю тебя больше, чем ты — меня, что ты от самой любви всегда, еще девушкой, ждала чего-то другого. Я чувствовал это давным-

давно, мы еще не были женаты. Ты всегда как будто немного заставляла себя любить меня, даже в наши самые счастливые дни. Когда ты, наконец, позвала меня и я приехал в зерносовхоз, думаешь, я не видел, что ты обрадовалась, а у самой в душе все-таки что-то оборвалось, потускнело? Вот скажи, что это неправда? Ты думаешь, я не замечал, как ты грустишь и завидуешь чужому счастью, которое могло быть твоим, если бы ты любила иначе. Не так, как меня — привыкая и уверяя себя, что меня нельзя не любить. Ты всю жизнь доказывала себе и другим, что меня нельзя не любить, а сама не любила. Да, не любила.

— Это неправда.

— Нет, правда. Если бы между нами была полная откровенность, ты и теперь рассказала бы, что произошло между вами.

— Ничего не произошло. Ты мне веришь?

Он промолчал. Я в темноте искала и нашла его руку. Он отнял ее.

— Мне все казалось — пройдут годы, пройдет и это неравенство, которое всегда расстраивало и огорчало меня. Ты не знаешь, как я мучился ночами, лежа подле тебя и задыхаясь, потому что мне казалось, что у тебя счастливые сны, в которых ты счастлива не со мною. Я сам виноват, не нужно было надеяться, что ты, наконец, полюбишь меня. А ты столько лет прожила с нелюбимым!

— Неправда!

— Ну, с не очень любимым, не все ли равно!

Диван заскрипел в столовой, должно быть и отец не спал. Я вспомнила его расстроенное лицо, когда, проводив гостей, мы вернулись и он вдруг перекрестил меня на ночь.

— Ты можешь молчать, я не стану настаивать. Скажи мне только одно: вы переписывались после Сталинграда?

— Нет. Я получила от него только одно письмо. Он был при смерти и хотел проститься со мною.

— Почему с тобой? Если ты говоришь мне правду — почему с тобой? Что за странная мысль!

— Не знаю. Разве он мог бы написать мне такое письмо, если бы между нами в Сталинграде что-нибудь было?

— Конечно, да.

— Ты не помнишь.

— Я помню каждое слово. Я читал это письмо, думал о том, что он одинок так же, как я.

— Тебе не стыдно?

— Да, я одинок. Ты не пригварялась бы, если бы не была передо мной виновата. Ты притворялась с первой минуты, когда он вошел, неужели ты думаешь, что я не заметил, как ты волновалась? Ты запретила ему являться при мне, а он не выдержал и пришел, и ты рассердилась на него, а сама в глубине души была рада.

Я встала и зажгла свет. Андрей лежал, закинув руки под голову, и у него было мрачное лицо, с косящим неподвижным взглядом.

— Андрей, опомнись, что ты говоришь?

— То, что ты слышишь.

— Даже если Володя влюбился в меня — разве это так уж страшно? Мало ли кто еще может влюбиться в меня?

— Да, страшно. Потому что ты всегда мечтала, не знаю, о ком... А я... Ты думаешь, я не вижу, что ты радуешься, когда я уезжаю?

— Андрей!

— Да, да. Ты лежишь подле меня, а думаешь о другом, а меня винишь за мою любовь, потому что она для тебя постылая, надоевшая, чужая. И всегда, всегда было так, еще с первых дней в Анзерском посаде, когда ты обещала, что будешь моей женой, и притворилась из жалости, что полюбила меня. Да, из жалости, и вот уж как дорого обошлась мне эта жалость! Я был болен тогда, ты не захотела меня огорчить, а огорчила на всю жизнь. Огорчила и оскорбила.

Он сел на постели. У него было усталое лицо, сразу постаревшее, с глубокими складками у рта. Ремень с пистолетом висел на спинке кровати, он скользнул по нему потускневшим взглядом. Он был в отчаянии, я видела, что он — в отчаянии, что он стыдится своей ревности, которую всегда скрывал от меня, что ему трудно бороться с желанием — не знаю — ударить меня, уйти. Застрелиться?

Но как будто это был не Андрей, а какой-то незнакомый мужчина в измятой пижаме, перед которым я за что-то должна была отвечать и бог весть в чем провинилась — так я смотрела на него, не думая ни о чем, в оцепенении, от которого не могла и не хотела освободиться. «Да, это он. И нужно что-то придумать, чтобы все стало как прежде, когда я любила его. А я не хочу и не буду ничего придумывать, а буду холодно и злобно желать, чтобы между нами все было безжизненно, пусто, мертво»

Это продолжалось недолго, не больше минуты, а в другую минуту я уже бросилась к Андрею, не помня себя.

— Милый мой, родной, не сердись или, даже лучше, сердись на меня, но только не думай, что я так перед тобой виновата! Да, он любит меня, он сказал мне об этом накануне твоего возвращения. Но ведь он же, он, а не я! Да, ты прав, у меня бывают какие-то глупые мысли, какие-то обрывки мыслей и чувств, о которых я не говорила тебе, и хорошо, что не говорила, потому что мало ли что мелькнет и исчезнет, мало ли что может присниться, когда человек не владеет собой? Но ведь я же твоя, как ты смел хоть на минуту подумать другое? Неужели я не вижу, не знаю, что ты любишь меня? Да, ты прав, я неискренно рассказала тебе о Володе. Я должна была рассказать тебе все

и не знаю, почему я не сделала этого, должно быть боялась огорчить и расстроить тебя. И сейчас молчала так долго, потому что была оскорблена, что ты подозреваешь меня. Ну, прости меня! Я виновата. Я скрыла от тебя это объяснение в любви, и не только объяснение, но и то, что я потом не могла уснуть целую ночь и волновалась теми чувствами, за которые ты сейчас упрекаешь меня.

Я целовала и гладила Андрея, и умоляла простить меня, и только раз, может быть, мелькнула в душе полусознательная, горькая мысль, что я уговариваю не только его, но себя. Но только мелькнула! Лишь бы смягчился этот чужой, косящий исподлобья, недоверчивый взгляд, лишь бы ушла безвозвратно эта мертвая, испугавшая меня пустота...

Мы проговорили до тех пор, пока слабый свет пасмурного зимнего утра не окрасил чуть заметно истертые бумажные шторы. Теперь было рассказано все — даже то, что, казалось, принадлежало только мне и никому другому. Мы помирились, и все стало совершенно как прежде. Прошел еще час или два, и совсем рассвело, а с зарей, как известно, все становится на привычное место. И становится ясно, что по ночам нужно спать, а не ссориться с мужем.

НИ ОДНОЙ СВОБОДНОЙ МИНУТЫ

Это вышло удачно, что на другой же день ни у Андрея, ни у меня не оказалось ни одной свободной минуты. Дела, дела! И действительно важные, так что не было ничего удивительного в том, что мы занялись ими с рвением и даже, можно сказать, с вдохновением.

У Андрея начались совещания по санитарному обеспечению наших наступающих войск — вместе с армией, стрелявшей, бомбившей, нападавшей с воздуха, захватывавшей города, переплывавшей реки, к наступлению готовилась и «незримая армия» противоэпидемической службы. За скучными словами «санитарное обеспечение» вставляли марши в четыреста километров по зараженной местности, бои в городах, охваченных сыпняком и холерой, концлагери, из которых разбежались больные. Нужно было воздвигнуть санитарный барьер между освобожденным населением, неотвратимо двигавшимся на восток, и армией, которая на тысячах дорог могла встретиться с угрозой поварных болезней.

* * *

Что касается пенициллина-крустозина ВИЭМ — можно смело сказать, что с весной 1944 года для него началось счастливое время. Мы работали теперь в две смены, людей было много, и

каждый месяц все новые сотрудники появлялись в маленьком флигеле на институтском дворе. Больше, слава богу, не приходилось пользоваться тумбочками от письменного стола — многочисленная раса плесневых грибов привольно росла в уютной духоте оборудованной термостатной.

У нас появились ученики и последователи не только тыловые, но и фронтовые. Одна из санитарно-эпидемиологических лабораторий Первого Украинского фронта, например, прекрасно наладила производство препарата. В Ташкенте и Баку начали работать пенициллиновые лаборатории. Словом, все было хорошо, и только какое-то осторожное чувство время от времени легонько постукивало в сердце — что-то уж больно хорошо, как бы чего не случилось.

Вот почему я не очень удивилась, узнав, что Комитет по сталинским премиям отклонил нашу работу. Никто и думать не думал о премии. Но работа была отклонена на том основании, что она «не получила достаточного практического подтверждения», — вот это уже было вздором, и подозрительным вздором. Проще было указать, что первенство осталось за англичанами — как-никак, а возражать против этого нам все-таки было бы трудно.

Я сказала об этом Коломнину, и он с желчным недоумением посмотрел на меня.

— Станный вы человек, Татьяна Петровна. Неужели вы не понимаете, что он ни в коем случае не стал бы ссылаться на эту сторону дела?

Крамов не был членом Комитета, мы до сих пор не упоминали о нем, и тем не менее Коломнину не надо было объяснять мне, кто разумеется под местоимением «он».

— Почему?

— Потому что для этого нужно свалиться с луны. Не сердитесь, милая Татьяна Петровна! В самом деле — вы же сами упрекали его, что он задержал работу над плесенью — и не на месяц или два, а на годы. Это — во-первых. А во-вторых, разве вы не видите, что все кругом просто с ума сошли на отечественном приоритете? Скоро окажется, что мы луну и звезды выдумали, не говоря уже о пенициллине. Кстати, Норкросс — в СССР.

Это был один из оксфордских ученых, работавших над плесенью.

— Откуда вы знаете?

Коломнин протянул мне номер «Медработника» с заметкой, отчеркнутой красным карандашом. Я прочитала: «На заседании Ученого совета Наркомздрава присутствовал профессор общей патологии Оксфордского университета Норкросс. Последний заявил о своем желании изучить методы получения пенициллина в СССР».

Пожалуй, могло показаться странным, что этого молодого и не столь уж известного ученого (Виктор, который был самым начитанным среди нас, сказал, что Норкросс начинал как патолог и лишь недавно, в годы войны, примкнул к группе оксфордских ученых, работавших над пенициллином) встретили у нас с таким шумом. Заметка в «Правде», статья в «Медработнике», интервью по радио. Заседание медицинской секции ВОКСа, на котором профессор Норкросс передал академику Бурденко набор хирургических инструментов — подарок английского хирурга Робинсона. Письмо Робинсона: «Мой знаменитый коллега и замечательный патриот академик Бурденко! В знак нашего братства, работающего во имя человечества, я имею удовольствие...» и т. д. Прием в Наркомздраве, на котором Семашко рассказал о дружеских связях между учеными Англии и СССР. Профессор Норкросс в энском госпитале. Профессор Норкросс на концерте Краснознаменного ансамбля, на станции Скорой помощи и т. д.

— Вы когда-нибудь играли в теннис? — спросил меня Коломнин, прочтя одно из этих сообщений.

— Нет.

— Стало быть, не представляете, что такое подача?

— Вы хотите сказать, что Норкросса подают?

— Вот именно.

— Кому это нужно?

— Не знаю, не знаю, — сердито проворчал Коломнин.

Это была уже подозрительность бессмысленная, слепая! Я засмеялась и сказала, что теперь пришла моя очередь спросить — не свалился ли с луны милый Иван Петрович?

Прошло несколько дней, и Максимов позвонил мне и сказал, что завтра Норкросс приедет в наш институт.

— Он намерен передать вам некоторое количество английского препарата. Так что прошу позаботиться, Татьяна Петровна.

— О чем?

— О соответствующей встрече, — неопределенно, но с металлическим оттенком в голосе сказал Максимов.

...Это было глупо, но прежде всего я подумала, чем мы будем кормить нашего гостя — не холодцом же из костей, оставшихся от производства? Вскоре выяснилось, что можно не заботиться об этой стороне дела: бесшумные, вежливые, хорошо одетые люди явились (утром того дня, когда должен был приехать английский ученый) и, назвавшись работниками треста ресторанов, воздвигли в моем кабинете стол, покрытый хрустящей белоснежной скатертью. Очевидно, это была скатерть-

самобранка, потому что на ней с волшебной быстротой появились вкусные, давно невиданные яства.

Все остальное было, кажется, в полном порядке — за исключением коломнинского табаку, от которого свежему человеку могло сделаться дурно, да необъяснимого пристрастия Виктора к песочным штанам, которые он носил не первое десятилетие, упорно отказываясь заменить их другими, несмотря на все мои уговоры.

Норкросс приехал. Это был еще совсем молодой человек, веселый, долговязый и слегка смахивающий на лошадь, быть может потому, что он внезапно, как будто очнувшись, встряхивал пепельными, падавшими на лоб, волосами. Он долго тряс моим сотрудникам руки с одинаковым выражением веселого дружелюбия, по которому было нетрудно догадаться, что их имена он слышит впервые. Но когда очередь дошла до Коломнина, он произнес непередаваемое английское «Оу» и сказал, что счастлив познакомиться с великолепным химиком, работы которого еще в юности поразили его воображение. Краска удовольствия проступила на худом лице Коломнина, а наркомздравцы, приехавшие с Норкроссом, растерянно заулыбались — очевидно, не имели понятия о том, что у них под носом работает «великолепный химик». Кстати, по сравнению с Норкроссом они показались мне в этот день какими-то дедушками, а Крамов, даром что был одет с особой тщательностью, — прямым Мафусаилом.

Мы прошли по лабораториям, и начался разговор, в общем весьма содержательный, потому что на обмен любезностями ушло не более четверти часа, а потом гость перешел к препарату, который он из любезности называл по всей форме «пенициллин-крустозин ВИЭМ».

Мне понравилось, что он вел себя без всякой торжественности. Передача «некоторого количества английского препарата», о которой столь внушительно предупредил меня заместитель наркома, произошла так быстро и между прочим, что ее можно было и не заметить. Продолжая спрашивать меня о чем-то, Норкросс просто положил на стол коробку с ампулами, а потом, попросив халат, стал показывать нам свой так называемый чашечный метод.

...Это было за столом и довольно поздно. Тосты затянулись; наш гость, у которого был утомительный день и который решил, повидимому, преодолеть усталость при помощи русской водки, уже не без труда тарачил покрасневшие глаза на очередного оратора и только, чтобы не уснуть, встряхивал своей пепельной гривой. Представитель Красного Креста приветствовал его как прогрессивного общественного деятеля, видного члена общества «Англия — СССР». Представитель медицинской секции ВОКСа рассказал о связи между учеными дружественных стран,

способствующей скорейшему поражению фашизма. Потом слово попросил Крамов.

Только он мог начать свою речь с утверждения, что и у него, Крамова, есть своя доля в чудесной истории плесневого грибка. Эта доля заключалась в том, что он всегда сомневался в его целительных свойствах, а ведь сомнение — не правда ли? — это основа науки.

Я взглянула на Коломнина: он сидел выпрямившись, в длинном застегнутом на все пуговицы пиджаке, в белой рубашке с широким воротником, из которого торчала морщинистая, похудевшая шея.

— Но вот плесневой грибок, долгое время произраставший где-то на задворках лабораторий, начал свое победное шествие по клиникам всех пяти частей света. Кто не знает сказки о Золушке, проводившей дни и ночи у грязного очага и вдруг оказавшейся красавицей, победившей королевского сына? Плесневой грибок — Золушка науки. Давно ли она потеряла свою крошечную туфельку на королевском балу, а уже все принцы микробиологии ищут красавицу, чтобы предложить ей руку и сердце.

Валентин Сергеевич приостановился — очевидно, рассчитывая на успех своего действительно очень удачного сравнения. Успеха не последовало. Наркомздравцы давно забыли сказку о Золушке, а Норкросс только широко улыбнулся, показав длинные желтые зубы.

— Мой друг, профессор Норкросс, явился к нам не с пустыми руками. Родоначальник новой расы плесневых грибков передан из рук в руки, и можно не сомневаться, что под покровительством талантливой Татьяны Петровны он произведет на советской земле многочисленное потомство.

Крамов обвел всех смеющимися глазами. Он порозовел. Он был что называется в полете.

— Наш уважаемый гость сегодня откровенно признался, что не ожидал встретить Золушку в русских лабораториях. Прибавим, не только в лабораториях, но в клиниках, и не только свою, но и нашу. Мы не ждали помощи, мы самостоятельно создали восьмое чудо света. И вот является естественная мысль, когда мы думаем о том, что отныне наука располагает не одним, а двумя чудотворными препаратами: почему бы, воспользовавшись пребыванием профессора Норкросса в СССР, не поставить опыт сравнительного воздействия на больных русского и английского пенициллина?

Норкросс проснулся. Впрочем, он не спал, а находился в том состоянии добродушной лени, когда на весь мир хочется смотреть только одним, да и то полузакрытым глазом. Теперь точно кто-то мгновенно сбросил с него это блаженное полузабытье. Он снова сказал «Оу», но это было уже совсем другое, рискованное «Оу», по которому сразу же можно было узнать человека с азартом.

— Некогда великий Ру,— продолжал, улыбаясь, Валентин Сергеевич,— остановился перед страшной возможностью раз и навсегда проверить силу открытой им сыворотки против дифтерии. Разделив сто больных детей на две группы, он мог впрыснуть свою сыворотку лишь пятидесяти из них, приговорив, таким образом, остальных пятьдесят к почти неизбежной смерти. Слава богу, мы не стоим перед подобной альтернативой. И английская и русская Золушки приносят реальную, ощутимую пользу. Обе прекрасны, но которая лучше? Обе делают чудеса, но чья волшебная палочка обладает большей магической силой?

Я снова посмотрела на Коломнина и встретила спокойный, иронический взгляд. «Ну-с, кто оказался прав?» — как будто говорил этот взгляд.

— Профессор Норкросс — наш друг,— продолжал Валентин Сергеевич.— Однако едва ли он ясно представляет себе, какое значение в жизни нашей страны имеет социалистическое соревнование. Не решаюсь воспользоваться этим определением, поскольку в поединке, который я предлагаю, участвует продукт иной социальной структуры. Но ведь дело — не правда ли — не в словах? Обдумаем условия. Изберем болезнь. Поставим параллельное наблюдение. Сопоставим факты, подведем итоги. И перед лицом мировой науки увенчаем победителя лавровым венком, разумеется в переносном... а может быть, и в буквальном смысле этого выражения.

Норкросс встал. Это был, конечно, все тот же долговязый молодой человек, которому давно пора было постричься и который десять минут тому назад думал только о том, чтобы добраться до постели. Но точно его окунули в живую воду — так вдруг загорелись его серые, слегка вылупленные глаза, с таким задором он встряхнул своей пепельной гривой.

— I agree (я согласен),— сказал он.

Все посмотрели на меня. Это была одна из тех минут, которые запоминаются надолго. Можно ли было сомневаться, что Крамов предложил эту дуэль с единственным, глубоко спрятанным расчетом поставить меня — и всю лабораторию — в безвыходное положение? В самом деле, если я откажусь, что скажут руководители Наркомздрава, которым я прожужжала все уши, добиваясь сносного существования для своего плесневого грибка? Что скажут мои товарищи по работе и весь широкий ученый круг — широкий, потому что крустозин вошел в жизнь многих лабораторий и клиник? Нет, об отказе нечего было и думать! Ну, а если я соглашусь? Есть ли надежда, пускай самая маленькая, что наш препарат устоит перед прославленным оксфордским пенициллином?

— Валентин Сергеевич опередил меня,— сказала я очень спокойно.— И остается лишь подивиться его умению читать мои мысли. Едва стало известно, что профессор Норкросс приехал в СССР, как мне пришло в голову, что недурно было бы поста-

вить опыт сравнительного изучения — в условиях клиники — нашего и оксфордского пенициллина. В самом деле, когда еще представится более удобный случай? Вашу руку, профессор Норкросс! (Он поспешно протянул мне руку.) Завтра мы приступим к делу. А сегодня, прошу вас, товарищи, наполнить бокалы. Я пью за это рукопожатие, за соперничество друзей, за братство прогрессивной науки.

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ

Мне уже случилось однажды участвовать в подобной дуэли — на рыбных промыслах под Астраханью, когда мы с Леной Быстровой победили мастера-икрянника Зимина, доказав, что промытая лизоцимом икра может сохраняться больше месяца при комнатной температуре. Но одно дело была икра, даже зернистая, даже сорт «экстра», и совершенно иное — бойцы и офицеры, лежавшие в энском госпитале и страдавшие от тяжелых послераневых осложнений. Тогда мы воевали против отживших традиций старой купеческой Волги, а теперь... О, теперь перед нами был совсем другой неприятель — куда более дальновидный, уверенный и, главное, чувствующий себя хозяином положения. Я говорю не о Норкроссе, искренно увлекшемся научной стороной спора. Но за его спиной, в приличном отдалении, стоял Крамов, стояли Скрыпаченко, любитель безыменных произведений, Крупенский, Мелкова и другие темные карьеристы, которым было важно и выгодно доказать, что наш препарат ничего не стоит по сравнению с оксфордским. Идея верная! Не удалось захватить в свои руки крустозин, а вместе с ним и новое направление в медицине — так хоть доказать, что Крамов был прав, советуя правительству приобрести английский патент. «Не послушались, пренебрегли, отклонили — ну что же, товарищи, пеняйте на себя. Уж кто-кто, а мы не виноваты в том, что ваш хваленый крустозин провалился!»

Да, это была совсем другая дуэль, и нетрудно вообразить те чувства, с которыми Крамов (и крамовцы) ожидали нашего поражения: здесь все сошлось — и злорадство, и зависть, и полная уверенность, что удар, наконец, попадет в цель, и торжество — немного преждевременное, быть может.

* * *

Гурий, который время от времени появлялся как из-под земли — толстогубый, смуглый, в простреленной (чем он очень гордился) шинели, пригласил нас в Дом писателя — и мы пошли, хотя пришлось поломать голову, чтобы выкроить целых

три часа на знакомство с современной поэзией. Андрей бывал в Доме писателя, а я — нет, и давно жалела об этом еще и потому, что, по слухам, в этом старинном московском доме, на улице Воровского, жили Ростовы из «Войны и мира». Но Гурий разочаровал меня, сказав, что дом Ростовых — рядом, а тот, в котором помещается писательский клуб, не представляет собой ничего интересного с исторической точки зрения.

В небольшом, темноватом, отделанном высокими деревянными панелями зале, с высоким же овальным окном и антресолю, на которую вела резная лестница, собралось немного народа. Зато ресторан, находившийся рядом с залом, был полон, и посетители, казавшиеся мне, все без исключения, известными писателями, шли и шли в ресторан через зал, пока маленький толстый сердитый администратор не закрыл широкую дверь.

Гурий усадил нас и, уважительно прищелкивая губами, стал называть имена. К моему стыду, я спутала двух беллетристов, у которых были похожие фамилии, и совершенно пала духом, когда Гурий, затрепетав от этого святотатства, разъяснил, что между Р. и Р. нет ни малейшего сходства. Андрей тоже что-то наврал, но ловко вывернулся, блеснув цитатой из первого Р., который действительно ничем не был похож на второго Р., но зато необычайно напоминал Льва Толстого.

Андрей был очень оживлен в этот вечер, глаза блестели, форма сидела на нем как-то особенно ловко. С Гурием он обращался нежно, должно быть догадавшись, что наш старинный приятель был не только незаметной, но, можно сказать, микроскопической величиной в этом доме. Для меня «жертва поэзии» была, в общем, довольно тяжелой жертвой, не потому что я любила поэзии, а потому что приходилось все время быть на чеку, и я скоро устала. А для Андрея, который чувствовал себя в этот вечер автором «Неизвестного друга», это было вступление в неведомый, загадочный, привлекательный мир. Он покраснел, как мальчик, когда Гурий познакомил нас с одним известным писателем, а когда маленький сердитый администратор пригласил публику занять передние, пустовавшие ряды, он ринулся вперед с такой поспешностью, не соответствовавшей его возрасту и званию, что я даже придержала его за рукав. Чтение началось, и он стал слушать с бледным румянцем на щеках, с вдруг засиявшими, взволнованными глазами. Он был по-юношески мил в эти минуты.

И мне стало легко, когда началось чтение. Выступали три поэта, должен был приехать четвертый, но заболел, и почему-то при известии, что он заболел, в публике пробежал смехок, здесь и там мелькнули улыбки. Но с меня было довольно и тех, что приехали, тем более что и трех-то поэтов одновременно мне

до сих пор еще никогда не приходилось видеть. Они были в военной форме (этому я уже перестала удивляться: почти все литераторы, как объяснил нам Гурий, служили в армии и носили форму), и у них был самый обыкновенный вид, так что, если бы мне показали их на улице, я бы ни за что не поверила, что это поэты. Но вот они стали читать — и сердце дрогнуло, с трудом удалось удержать подступившие слезы.

Не знаю, хороши или плохи были эти стихи — мне они все, без исключения, показались прекрасными. Здесь было все — и сожаление, и шутка, переплетавшаяся с горечью, и то грозное, мстительное чувство, которое, быть может, впервые заставило меня оглянуться на три тяжелых, невознагражденных года. «Мы привыкли к войне, — как будто говорили эти стихи, — нам кажется, что так было всегда — эта жизнь на кухнях, подле газовых плит, окна, переклеенные крест-накрест, дымовые трубы в форточках, ночная пустыня затемненной Москвы. Но вот взлетает над городом разноцветный ворох салюта, в ослепительном магическом свете отступает, тускнеет все повседневное, и мы видим себя «с оглохшими от горечи сердцами». Кто вернет нам встречи, которых не было, потому что мы потеряли друг друга? Время не возвращается, дети растут без нас, нежный звон позывных плывет над советской землей. Прислушайся, что он сулит тебе? Надежду, избавление, горе?»

Андрей обернулся, взглянул на меня и крепко, ласково сжал мою руку.

* * *

В «Казаках» Толстого есть прекрасные страницы, где Оленин, впервые приехавший на Кавказ, видит горы, и тонкий воздушный рисунок гор присоединяется ко всем его мыслям и чувствам: «И горы».

Вот точно так же стоило мне закрыть глаза, и передо мной появлялась светлая, просторная палата, где происходило наше в сущности очень странное состязание.

Двенадцать бойцов, находящихся в одинаково опасном положении, лежат в этой палате — шестеро справа и шестеро слева. Заражение крови! Лежащих слева лечат нашим препаратом, лежащих справа — английским. «Левые» истории болезни идут под четными, «правые» — под нечетными номерами.

Каждый день после работы я отправляюсь в Яузскую больницу, и почти всегда Норкросс уже шагает между койками, озабоченный и удивительно долговязый, в коротком халате, в шапочке, из-под которой торчат непокорные космы, и в огромных, по-моему, сорок пятый номер, ботинках. Разумеется, он доверяет нам (исследования ведут мои сотрудники) — но это

настоящий ученый, который все хочет видеть собственными глазами.

Спор в сущности идет о дозах, и по тем временам это — существеннейший, глубоко значительный спор. Пенициллин был тогда редкостью, лечить им приходилось лишь тяжело раненных, приговоренных к смерти, и не хочется даже вспоминать, как трудно было подчас *выбирать* тех, кому мы могли подарить — и дарили — жизнь.

Норкросс утверждает, что наши маленькие дозы недостаточно активны и, следовательно, бесполезны. А мы утверждаем, что большие дозы английского препарата дают не лучший, в сравнении с нашим, результат, а даже несколько худший.

* * *

Право, можно было подумать, что весь ход развития здравоохранения в СССР зависит от итогов нашего состязания — с таким интересом отнеслись к нему самые видные деятели Наркомздрава. Звонит Максимов — как дела, не нужна ли помощь? Приезжает Преображенский — тот самый любезный, внимательный молодой человек с превосходными зубами, который еще совсем недавно напугал меня своим дикарским равнодушием к судьбе крустозина. Но роль верховного арбитра — не знаю уже по чьему соизволению — берет на себя Валентин Сергеевич Крамов.

— Ну, как «Власенкова — Норкросс»? — спрашивает он, касаясь слабой рукой пенсне, за которым остро и сухо поблещивают глаза.

И маленькое холодное лицо светлеет — да, да, светлеет! — когда я отвечаю, что не сомневаюсь в успехе.

Игра, которую он ведет, — глубоко продуманная, дальновидная, в характерном «крамовском» духе. На всех совещаниях и конференциях он расхваливает наш препарат. Он рискует — трудно поверить! — благосклонно отозваться о нем на приеме, где присутствуют «Высокие Договаривающиеся Стороны», как принято выражаться в дипломатических документах. В беседе, напечатанной в газете «Медицинский работник», он свидетельствует свое глубокое уважение к профессору Норкроссу, что не мешает ему выразить полную уверенность в победе русской советской науки.

Что значит это запоздалое признание? Как всегда, мне трудно проследить ход мыслей этого человека угадать расчет, проникнуть в его «тайное тайных». Но на этот раз ларчик, кажется, открывается просто: чем выше будет вознесен крустозин, тем с большей силой он брякнется о землю. А с ним, разумеется, и я. — недаром же с некоторых пор Валентин Сергеевич не устает напоминать о том, что «наша милая, деятельная Татьяна Петровна отдала лечебной плесени всю свою жизнь».

* * *

А между прочим, что-то непохоже, что собирается «брякнуться» наш крустозин! Более того, с каждым днем он, как говорится, «дает жизни» — прошу извинить за это, хотя и грубоватое, но очень подходящее к случаю выражение. Уже на десятый день становится совершенно ясно, что все наши раненые находятся на пути к полному выздоровлению. Правда, не отстают и английские подопечные. Но они получают по сто тысяч единиц в день, а наша шестерка — в десять раз меньше.

* * *

Теперь, когда оба соперничавших препарата давным-давно заменены третьим, с изумлением вспоминаю я молодость «Золушки науки». Я не могу отделаться от мысли, что какие-то оставшиеся нераскрытыми драгоценные свойства пенициллина были утрачены, когда из лабораторий он перешел на заводы. Протоколы нашей «дуэли» лежат передо мной, и, перелистывая их, я сравниваю, взвешиваю, вспоминаю... Не слишком ли легко забыли мы эту могущественную молодость с ее секретами и чудесами?

* * *

Это были шумные, тревожные, но, в общем, хорошие дни, когда, возвращаясь из клиники, я влетала домой с какой-нибудь новостью и находила Андрея над корректурой «Неизвестного друга». Издательство уже прислало гранки, стало быть книга должна была вскоре выйти в свет. Гранки были белые, длинные, пахнувшие типографской краской, и Андрей правил их с трогательной пунктуальностью, так что корректорам после него, без сомнения, уже нечего было делать. Кто-то сказал в издательстве, что наборщики похвалили книгу — верный признак, что ее ждет успех! И Андрей сообщил мне об этом с таким сосредоточенным выражением, как будто он открыл железный закон, согласно которому развивается — столь успешно — наша литературная жизнь.

Не знаю, ждал ли его успех, но легкий шум и неразбериха начались уже и теперь, когда на столе еще лежали гранки. Люди, с которыми я до сих пор не имела чести быть знакомой, стали запросто приходить к нам, причем, как нарочно, в самое нудное время. Это были журналисты (один даже член Союза писателей), и Андрей отзывался о них с уважением. Но у этих уважаемых людей было почему-то очень много времени, так что я никак не могла взять в толк — когда же они пишут свои произведения? По телефону они начинали разговаривать почему-то после часа ночи, причем поводы были не очень

серьезные: что, например, думает Андрей о последней статье Эренбурга?

Гурий привел к нам этих журналистов и сам стал бывать очень часто. От него-то и пошел шум, столь несвойственный нашему тихому «ученому» дому.

Словом, жизнь усложнилась, и только один человек чувствовал себя в этой суете превосходно. Это был мой отец. Недалом же он всегда утверждал, что в литературе он «доброволец-фанатик».

Отец блаженствовал. Бог весть что пришло ему в голову, но он, повидимому, решил, что журналисты приходят к нам с единственной целью — почтить своим присутствием его, Петра Николаевича, незаурядное дарование. Правда, едва он вынимал откуда-то из сундучка свои рассказы — те самые, которые еще в Лопахине он писал по четыре-пять в сутки — как наши гости скисали — «повидимому, просто не любят читать», — высказал он однажды очень вероятное предположение.

Впрочем, многие свои рассказы отец знал наизусть, так что ему удавалось время от времени познакомить с ними наших новых знакомых. «Прибытие интервентов на станцию «Михаил Чесноков», — вдруг начинал он торопливо, очевидно побаиваясь, что его перебьют. — «Американские матросы гуляли в поселке Сурожевка, и один говорит: «Кто меня тронет, то мы не оставим камня на камне, а наша эскадра разобьет Владивосток». И тогда один наш встает: «Эскадра, пли!» — и бьет его в левую щеку. Тот падает, а он опять: «Эскадра, пли!» — и в правую щеку. Откачали с потерями, но вскоре выздоровел и заключил брачный контракт с русской девицей на три месяца по 160 долларов в месяц. Вот тебе и «Эскадра, пли!».

Отец даже потолстел, так что красный носик совершенно скрылся между пухлых щек. Седые усы, которые он мыл синькой — я случайно разгадала этот невинный секрет, — распушились и выглядели очень солидно на кругленьком, слегка надутым лице. Он и в самом деле стал похож на кого-то из классиков — Гурий утверждал, что на Григоровича и что для полного сходства хорошо бы еще отрастить бакенбарды.

* * *

Андрей уехал, как всегда, неожиданно, не успев даже проститься со мной — только позвонил и попросил, чтобы я занесла в издательство корректуру. На этот раз он уехал не в Сталинград, а на Первый Украинский, и ненадолго — так по крайней мере сказал ему Малышев. Мы простились, но он не сразу повесил трубку, а немного помолчал, точно ожидая, что я скажу еще что-нибудь. Потом повторил ласково: «До свиданья, родная». Я ответила: «Счастливого пути» — и занялась концентратом крустозина в крови одного из моей «шестерки».

Не стану подробно рассказывать о том, как происходило наше состязание — боюсь, что и без того в моих записках слишком много науки. Оно продолжалось долго, около месяца, и за это время мы не только уточнили дозы, но узнали — что тоже было весьма любопытно — историю пенициллина в Англии и США.

Первое впечатление не обмануло меня. Норкросс оказался человеком живого и оригинального ума, умеющим ценить чужую точку зрения, даже если она нисколько не соответствовала его убеждениям. С полной серьезностью, за которой то и дело поблескивала ирония, он рассказал о том, как в 1942 году он метался из одной промышленной фирмы в другую, напрасно пытаясь уговорить владельцев «хоть взглянуть на бутылку, в которой находился волшебник-джинн из «Сказок тысячи и одной ночи».

— Джинн уже творил чудеса,— сказал он, смеясь и показывая длинные лошадиные зубы.— Но фирмы были загружены военными заказами, которые приносили им верный доход. Без прочной гарантии — кто же согласится финансировать чудо? Даже сам Иисус Христос вынужден был бы на их глазах воскресить Лазаря, если рассчитывал получить субсидию на свое предприятие!

Немцы бомбили Англию, и оксфордские ученые решили пропитать свои одежды раствором плесневого грибка, чтобы в случае немецкого вторжения незаметно вывезти его из Оксфорда.

Я спросила:
— Незаметно?

И Норкросс снова захохотал, очевидно представив себе, как он и его друзья идут по городу в штанах и пиджаках, от которых разит плесенью на добрых пятнадцать метров.

Словом, известная поговорка — нет пророка в своем отечестве — вполне оправдалась на изобретателях пенициллина.

Пришлось обратить свои взоры к Америке, и Норкросс, захватив с собой пробирку, «которая была дороже всего золота и всех бриллиантов мира», отправился в путь-дорогу. Его встретили вежливо и выслушали с интересом. «Все это прекрасно,— сказали ему.— Но не можете ли вы дать нам хоть сотню литров вашего препарата, чтобы владельцы клиник могли убедиться в его чудотворных свойствах?»

У Норкросса не было сотни литров, и, чтобы добыть хотя бы сотню граммов, ему пришлось на полгода засесть в лабораторию одной из американских фирм.

Это были счастливые полгода для неизвестного плесневого грибка. Англичане не утаили от человечества свое открытие, и пенициллином занялись десятки лабораторий. Была найдена

питательная среда, на которой грибок размножился с невиданной (по тому времени) быстротой. У него появились многочисленные братья и сестры.

— Словом, дух вылез из бутылки,— сказал Норкросс,— и тогда произошло самое главное: чудеса, которые он был способен творить, стали котироваться на рынке.

Американская промышленность заинтересовалась пенициллином: не только фирмы, но и отдельные лица стали выращивать его в самых невероятных условиях. Начался ажиотаж, и в отчаянной схватке победили, разумеется, те фирмы, которые «тратили деньги, как индийские раджи, проводящие свой отпуск в Париже». Наряду с полноценным препаратом на рынке в огромном количестве появились подделки, причем распознавать их было подчас довольно трудной задачей. И, наконец,— это было самое забавное — посыпались патенты.

Норкросс так и сказал: «Самое забавное», но почему-то у него помрачнели глаза и сердито оттопырились губы.

— Мы люди науки, а не дельцы, и отдали американцам свой труд безвозмездно. Что же сделали эти люди, черт побери! Они запатентовали десятки мелких изобретений в промышленном производстве, и теперь мы же вынуждены покупать у них эти патенты. О да! Вот что трудно представить у вас! К прямому значению того, что происходит в науке, присоединяется косвенное — но, увы, не менее важное: деньги. Сейчас двадцать одна фирма в Америке занята производством пенициллина. Это — двадцать пиратских судов, свободно плавающих в открытом море. На мачте — черный флаг с изображением черепа и скрещенных костей, а на борту — желтая магия, которую изобрели не пираты. Нет! Люди науки.

ГЛАВНЫЙ АРБИТР

— ...Что касается сравнительных данных по концентрации русского и английского препаратов в крови...

За длинными, в виде буквы Т, покрытыми зеленым сукном столами сидят ученые мужи, прославившиеся своими (или чужими) трудами, носящие высокие (и не очень высокие) звания. Представители Наркомздрава, представители ВОКСа, представители прессы. Коломнин — в своем парадном черном костюме, горящийся, довольный и усталый. Виктор, все еще молодой, Катя Димант, Ракита. Эти — справа, вдоль длинной палочки Т.

Скрыпаченко с неопределенно-осторожной улыбкой на тонких губах, Мелкова — толстая, кокетливая, неприятно смешная, Крупенский, Картузова из городского института, это — слева, вдоль длинной палочки Т. Внимание! Главный Арбитр,

Само Беспристрастие, почтеннейший ученый с седым венчиком волос вокруг лысой головы, с сизыми щечками, свисающими на высокий крахмальный воротник, читает протокол:

— Итак, яркая картина тяжелого послераневого сепсиса была констатирована у всех двенадцати больных. Следует отметить...

Это я настояла, чтобы заседание было назначено в конференц-зале нашего института, в том самом конференц-зале, где пять лет тому назад сей Главный Арбитр потерпел свое первое поражение. Любопытно, понял ли он, что я сделала это нарочно? Разумеется, да! Но Само Беспристрастие это еще и Само Хладнокровие. Валентин Сергеевич всегда умел владеть собой, и все-таки... До какой же превосходной степени сумел он развить это искусство!

— Таким образом, клинический эффект был получен при лечении раненых как английским, так и русским препаратом. Однако следует признать...

Вот именно — следует признать! Следует признать, что Главный Арбитр немного жалеет об этой странной дуэли. Следует признать, что Главный Арбитр раскаивается, что он затеял это странное состязание. Следует признать, что он с большим удовольствием прочел бы некролог одного из «друзей-соперников», чем этот протокол, составленный столь обстоятельно и подробно. Следует признать, что ему не везет с этой Власенковой, черт бы ее побрал вместе с ее крустозином!

Да, не везет! Недаром же этот подлый Скрыпаченко смотрит на него таким тяжелым презрительным взглядом. — должно быть, думает — а не пора ли расплесться с шефом? Уж больно он по-старомодному тонок. Кому нужны эти хитрые штучки? Надо действовать проще — сажать в тюрьму, если это возможно, убивать, если этому мешают. Донос — это вещь! А все остальное — приблизительно, шатко, непрочно.

Изредка касаясь двумя пальцами поблескивающего пенсне, Главный Арбитр читает протокол. Он читает медленно, внятно, как бы стараясь продлить удовольствие, которое доставляет ему содержание этого документа. Время от времени он останавливается и со сдержанной улыбкой обводит глазами ученых мужей, прославившихся своими (и чужими) трудами, носящих высокие (и не очень высокие) звания. Седой венчик вокруг головы придает ему сияющий вид.

— Поскольку же комиссия установила, что дозы пеницилина-крустозина ВИЭМ были, при равной клинической эффективности, значительно, до десяти раз, ниже оксфордского препарата...

Норкросс начинает аплодировать первый, и через весь стол протягивает мне огромную лапу. Аплодирует Максимов, Скрыпаченко, Крупенский. Аплодируют свои и чужие. Аплодирует пресса.

Маленькой, почти детской, рукой Главный Арбитр аккуратно складывает листы. Само Беспристрастие, Само Хладнокровие, Само Лицемерие хочет сказать несколько слов от себя.

— ...Я счастлив, что с первых дней этого беспрецедентного состязания предсказал победу советского препарата... Для меня, неисправимого фантазера, давно стало ясно, что мы вступили в новую эру медицинской науки, когда все силы исследователей будут отданы антибиотикам — вновь открытому высокосоввершенному оружию в борьбе микробов за существование... Нет сомнений, что закончившаяся столь успешно дуэль войдет в историю науки.

Он говорит уверенно, свободно — не менее уверенно и свободно, чем пять лет тому назад, когда утверждал, что идея лечебной плесени принадлежит к числу курьезов и заблуждений, которыми кишит история науки. Все в порядке. Ничего не переменялось. Но, может быть, ему только кажется, что ничего не переменялось? Может быть, не переменялся только он сам, со своим уже немного смешным изяществом старого карьериста? Может быть, его трагедия как раз и заключается в том, что только он один этого не понимает?

Валентин Сергеевич заканчивает свою речь здравицей в честь дружбы русской и английской науки. Слово предоставляется профессору Власенковой, и профессор Власенкова встает с мыслью, от которой она начинает чувствовать себя семнадцатилетней. Вот эта мысль: «Ух, как я сейчас его двину!»

— ...Но в особенности я должна поблагодарить Валентина Сергеевича Крамова, который не только с необычайной тщательностью вникал в каждую подробность происходивших испытаний, но предсказал победу нашего препарата. Это был шаг смелый, я бы даже сказала, рискованный, в особенности если вспомнить, сколько сил он отдал в свое время борьбе против самой идеи крустозина. Подумать только, ведь еще не так давно он сравнивал доктора Лебедева, основоположника этой идеи в России, с теми средневековыми алхимиками, которые утверждали, что им удалось из тряпок и гнилой муки вырастить живого человечка! Он доказывал, что для советского ученого непростительно то, что можно простить полусумасшедшему знахарю, автору ангинаучного бреда. Какую же мучительную душевную борьбу должен был он выдержать, чтобы забыть свои прежние убеждения, выкинуть их из головы, объявить их никогда не существовавшими или существовавшими только в моем воображении! Нет, нет! Я не допускаю и мысли о том, что этот смелый шаг мог преследовать какие бы то ни было личные цели. Напротив! Самопожертвование — вот слово, которое вполне определяет отношение нашего дорогого Валентина Сергеевича к вопросу о крустозине. Не задумываясь, он принес себя в жертву высокой объективности, и нельзя сомневаться в том, что

этот подвиг — да, да, именно подвиг! — войдет в историю нашей науки.

Кажется, профессор Власенкова слегка перехватывает: напряженные улыбки застывают на лицах Скрыпаченко, Крупенского и других, сидящих слева, вдоль длинной палочки Т. Колоннин хмурится — боится за меня или недоволен моим остроумием? Коснувшись двумя пальцами пенсне, Главный Арбитр кладет руку на сердце. У него страшное лицо с поблескивающими зубами, и на мгновение мне самой становится страшно. Максимов смотрит на меня, насупив рыжие брови. И только Норкросс, ничего не понимая, рассеянно поглядывает вокруг. Ему кажется — об этом легко догадаться, — что церемония затянулась. Крустозин оказался сильнее — ну, и прекрасно! Зачем же об этом говорить так торжественно, так долго?

В самом деле — зачем?

И, двинув еще разок пошатнувшегося врага, я приглашаю присутствующих к столу.

— Как, опять банкет? — смеясь, спрашивает Норкросс. — Клянусь честью, я не знал, что у вас так весело заниматься наукой!

ВРЕМЯ НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

С полузабытым чувством беспричинного счастья я проснулась в тот, навсегда оставшийся в памяти день.

Отец шуршал газетами в столовой и поджидал меня, должно быть уже второй или третий раз ставил чайник на плитку. Утро было воскресное, солнечное, майское — три серьезных повода, чтобы, закинув руки под голову, провалиться до половины одиннадцатого, перечитывая письма — от бабушки из Лопихина и от Мити — из некоей дружественной державы. К бабушкиному письму был приложен, как обычно, дневник Павлика, перепутанный с каким-то упражнением, из которого можно было узнать, что «скворцы не поют, грачи не кричат, колхозники не пашут и не сеют», а сам Павлик «не ложится рано, не ложится поздно, не катается на лыжах, не находится в душной комнате и не моется по утрам холодной водой».

Митя очень кратко, в несвойственном ему телеграфном стиле сообщал, что жив-здоров и вернется в июле. «Таня, милая, не жалею, счастлива», — твердым, неженским почерком приписывала сбоку Елизавета Сергеевна.

Что-то звенело в душе и хотелось, чтобы немедленно, сию же минуту произошло — сама не знаю, что — ну, хоть чтобы я вдруг очутилась в кедровом лесу за Тесьмой. Я закрыла глаза и улыбнулась. Открыла — нет, все то же: комната, в которой я

снова одна, потому что муж снова — и надолго — уехал. Книги, книги, книги. Письменный столик-бюро, тесный, заваленный оттисками своих и чужих статей, диссертациями, слишком «дамский» для такой ученой «дамы», как я. Туалет с потемневшим старинным зеркалом, в котором все выглядят загорелыми, только что с юга, и которым я пользуюсь сравнительно редко. «Сравнительно с письменным столом?» — как-то спросил меня Митя.

Я снова закрыла глаза — и на этот раз неожиданное все-таки случилось. Отец, давно шуршавший газетами в столовой, постучал и спросил:

— Таня, ты спишь? Тебя к телефону.

Это был Володя Лукашевич, не приходивший и не дававший о себе знать с того вечера, когда он до полусмерти смутился, упомянув при Андрее, что мы виделись в Сталинграде.

— Я скоро уезжаю в полк, и вот подумалось, что, может быть, это все-таки нехорошо, что я... что мы... Ты очень сердисься?

— Теперь уже не очень.

— Я вел себя как подлец, да?

— Нет, как мямля.

Володя помолчал, очевидно, был подавлен беспощадностью моего приговора.

— Я хотел тебе сказать. У меня большая радость. Пока я валялся в госпитале, мне дали звездочку. Вчера было в газетах.

— Орден Красной Звезды?

— Нет, золотую звездочку.

— Да ну? Героя?

— Да. А я, главное, ничего и не знал. Вдруг приходят товарищи и тащат вино. Вот, понимаешь... — У него зазвенел голос. — Мне хотелось именно с тобой поделиться.

— Спасибо. Поздравляю, Володя! Жаль, что Андрей в отъезде. И он бы порадовался. Позволь, так тебе теперь памятник поставят в Лопахине?

— Да нет же! — смеясь, возразил Володя. — Это дважды героям — и то не целый памятник, а только половину. Я хотел тебе предложить, Таня... Сегодня в консерватории концерт Нины Башмаковой. Может быть, ты захочешь пойти? Ты с нею давно не встречалась?

— С Нинкой-то? Лет пятнадцать.

— Ого! Но ведь она до войны часто выступала в Москве?

— Нет, редко. Она же оперная. Приезжала, правда, и мы даже собирались несколько раз, а потом все как-то не получалось. Ведь она — знаменитая?

— Во всяком случае, известная.

— Еще и не узнает!

— Ну, вот еще! Так пойдем? Органный концерт.

— Конечно, пойдем!

Он так обрадовался, что даже переспросил несколько раз, прежде чем убедился, что я действительно готова пойти с ним в концерт, несмотря на все его прегрешения.

Я бы солгала себе — к счастью, только себе, — если бы стала уверять, что весь этот месяц ни разу не подумала о Володе. Я сердилась на него, и все-таки мне хотелось встретиться с ним. Зачем? Не знаю. Неужели только для того, чтобы снова увидеть, как он бледнеет и, вытянувшись, выходит из комнаты с оставившимся, потрясенным взглядом?

Может быть, это было подло с моей стороны, но в то солнечное майское утро мне было весело и хотелось, чтобы он позвонил. И вот он позвонил.

* * *

Володя пришел совсем другой — распрямившийся, отдохнувший, со звездочкой, выглядевшей на новом кителе сразу и парадно и скромно. Прежнее впечатление надломленности совершенно исчезло, и вместе с ней — тоска, от которой (это чувствовалось) ему самому становилось страшно. Короче говоря, он ожил, и если бы не глаза, пожалуй, можно было вообразить, что он сейчас загудит басовую партию, как в юности, когда в школьном оркестре он играл на большой красивой медной трубе. Глаза остались прежние, задумчивые, с пристальным взглядом — глаза человека, чувствующего и понимающего «больше, чем ему положено», как однажды сказал о нем Андрей.

Он заехал за мной на какой-то грязной, в черно-желтых разводах машине, которая была совершенно ненужна, потому что от Серебряного до консерватории, как известно, не более пятнадцати минут ходу. Вообще он ухаживал за мной — и в том, как он это делал, была трогательная неловкость, от которой я тоже начинала чувствовать неловкость и нежность. Вот это было уже совсем ни к чему, и я сразу же подумала, что нужно изменить эти отношения, которые неожиданно стали такими, как будто мы оба давно и нетерпеливо ждали этой встречи.

— Володя, пожалуйста, купи мне программу, — сказала я холодно и, пока он ходил, постаралась превратиться в почтенного профессора, доктора наук, только что доказавшего, что крустозин в десять раз сильнее прославленного оксфордского пенициллина. Один сотрудник из Мечниковского института узнал меня, поклонился, я еле кивнула. Не запомню, когда еще я чувствовала себя такой почтенной личностью, разве что в Лопухине, читая «Любезность за любезность». Но вот Володя вернулся, подал программу, заговорил — и, увы! гордая, надменная, ученая дама, сидевшая выпрямившись и глядя вокруг себя ничего не выражающими глазами, мигом пропала, а на ее месте оказалась самая обыкновенная женщина, которой было приятно, что она в консерватории, в большом нарядном зале, где за

всю войну не удалось побывать ни разу. И что некий капитан с золотой звездочкой на груди смотрит на нее такими потерянными глазами.

Концерт начался. Знаменитый органист, сгорбленный, с красным лицом и пушистой седой шевелюрой, вышел, волоча ноги, и равнодушно потащился к органу. А вместе с ним...

— Вот она, — прошептал Володя.

Я не видела Нину много лет, и не было ничего удивительного в том, что она изменилась. И все-таки первые минуты я не могла заставить себя поверить, что эта уверенная красавица в длинном платье, из-под которого выглядывали кончики серебряных туфель, крупная, но с легкой походкой, как это бывает у рано поповневших женщин, — та самая топенькая, принципиальная Нина! Та самая Нина, которая никак не могла понять, есть ли уже у нее мировоззрение и когда наступает минута, когда человек может с полной уверенностью сказать, что у него сложились «определенные взгляды на мир». Та самая Нина, которая в Ленинграде таскала меня в страшный театр «Гиньоль», а потом не могла заснуть и лезла ко мне в постель, и мы обе тряслись, ругая друг друга?

Но вот она запела, и первый же чистый звук, пронесшийся и затихший где-то далеко, мгновенно вспугнул это впечатление поразившей меня перемены. Она пела, орган вторил ей, глубоко вздыхая, и казалось, что какое-то огромное, но хрупкое существо стоит за ее спиной и осторожно, чтобы не помешать, дует в серебряные трубы.

И, как всегда под музыку, я стала думать о чем-то своем, но музыка входила в это чувство, и оно открывалось для меня, как чудо, от которого хотелось смеяться и плакать.

Не знаю почему, мне вспомнилось, как девочкой, зимними вечерами, я возвращалась домой из трактира Алмазова и с высокого берега Тесьмы открывалась привычная картина засыпанного снегом бедного и темного Посада. «А помнишь комнату старого доктора?» — пел голос. И это была уже не глупенькая милая Нина и не артистка, исполнявшая номер, а какая-то волшебница, читавшая мои мысли и чувства. Ветхая фисгармония стояла в углу, и, когда старый доктор играл на ней, она начинала вздыхать и задыхаться, как будто жаловалась, что ей очень тоскливо. Портреты прекрасной женщины с темными глазами висели на стенах. Это была любовь несбывшаяся, неудавшаяся — любовь, которой помешали. Но разве можно помешать любви?

Потом орган запел торжественно и нежно, и это была ночь в степи, когда мы до рассвета бродили с Андреем и грели руки в пшенице, и где-то далеко горела стерня, и ветер гнал на нас легкий дым, освещенный зарею. Это была ночь, когда я была так счастлива, как никогда потом не была счастлива с ним. «Почему же, когда он уехал и мы снова встретились в Москве, все

стало совсем по-другому?» Я слушала и думала с прикрытыми рукой глазами. «Почему все стало таким, как будто не было этого лучшего месяца в жизни, Аскания-Нова, кино в степи, бабочки, мелькнувшей в прозрачном конусе света, когда Андрей сказал, что он не может жить без меня? Прошло то время и никогда не воротится, и нечего думать о несбывшемся, о неудавшемся, о том, что все равно нельзя изменить. Вот летят легкие счастливые звуки, прислушайся к ним, это весенний дождь звенит в ночных улицах, по которым он пойдет провожать тебя — неловкий, с радостными, потерянными глазами, от которых тебе тоже становится радостно и неловко».

* * *

Володя сказал, что неудобно идти к Нине в антракте, потому что артисты перед выходом на сцену должны «собраться». Но я возразила, что не беда, если старые друзья однажды в жизни помешают этому таинственному занятию. И мы пошли — храбро, но без уверенности: уж больно эта прекрасная дама в длинном платье была непохожа на нашу лопахинскую наивную Нину.

Какая-то строгая тетя в мундире с белыми галунами не хотела пускать нас в артистическую, но я издали увидела Нину, разговаривающую с органистом, и закричала ей:

— Нина, мы к тебе! Скажи, чтобы пропустили.

И тетя в мундире пропустила нас, услышав, что мы называем знаменитую артистку на «ты» и радостно машем ей руками.

— Позвольте представиться,— сказала я, когда она, не узнавая, с недоумением уставилась на нас своими большими, с загнутыми ресницами, глазами,— Татьяна Власенкова и Владимир Лукашевич. Мы боимся, что ты стала такая знаменитая, что, пожалуй, нас и не узнаешь.

— Господи помилуй, свят, свят,— сказала Нина и смешно, по-бабьи, всплеснула руками.— Татьяна! Володя!

Она обняла меня, поцеловала, покрасила и, спохватившись, стала оттирать платочком.

— Откуда вы взялись? Вы узнали, что я в Москве?

— Собственно, на каждом углу висит известие о твоём приезде,— серьёзно возразил Володя.— Так что выяснить это было нетрудно.

— Да, правда. Господи, живая Танька! — снова сказала она и засмеялась.— Сколько мы не виделись?

— Не стоит считать.

— Подожди, что я знаю о тебе? Ты за Андреем?

— Я, брат, уже двенадцать лет за Андреем.

— Нет, я что-то еще слышала,— растерянно сказала Нина.— Ты что-то открыла, какое-то лекарство.

— Э, брось! Что там лекарство. Как ты поешь, Ниночка!

— Разве хорошо?

Она покраснела от удовольствия.

— Очень. Очень.

— Спасибо. Я давно не была в Москве, а сегодня первый раз во время войны, и как-то было особенно страшно. Какие вы милые, что пришли. А где Андрей? — вдруг спросила она с спаской. — Он ведь тоже врач. Когда мы увидимся? У меня еще три концерта в Москве.

— Три? Учтем, — смеясь, сказал Володя.

— Володька, а ты все еще не женат?

Она спрашивала, не дожидаясь ответа, смеялась, — и не прошло и пяти минут, как исчезло впечатление поразившей меня перемены. Нина была все та же — хорошенькая, добрая и — улы — такая же недалекая, как в те времена, когда она будила меня по ночам, чтобы выяснить, серьезно ли влюблен в нее Васька Сметанин, или не серьезно.

Я упомянула что-то о Павлике, и она вдруг взволнованно захлопала глазами.

— Послушай... Извини, Володя, — она отвела меня в сторону. — Может быть, мне не следует тебя спрашивать... Но я очень волнуюсь, а ты ведь все-таки доктор. Ты ничего не заметила?

— Нет. А что?

Мы почему-то заговорили шепотом.

— Ты думаешь, я всегда такая толстая?

— А-а.

— Шестой месяц. Боюсь как!

Я сочувственно покачала головой.

— Первый раз?

— В том-то и дело. Я не хотела. Муж настоял. А ведь мне уже тридцать восемь.

— Ничего, родишь, как миленькая.

— Я хочу девочку.

— Ну, это уж... — Я развела руками. — Что бог даст.

— Я понимаю. Ох... — Она вздохнула. — Так не очень заметно?

— Нисколько.

— А ты не боялась?

— Милый друг, да когда ж это было!

— А я боюсь.

— Ничего, ничего. Все будет прекрасно.

— Ты думаешь?

Органист, куда-то скрывшийся, когда мы подошли к Нине, появился в дверях. Она вздохнула.

— Нужно идти. Я в «Метрополе», номер четыреста двадцать. Приезжай, я тебя умоляю.

НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ ИЗМЕНИТЬ?

Был прохладный вечер с вдруг налетавшим ветерком, каким-то негородским, прозрачным. Мы шли из консерватории, Володя говорил без умолку, и, наверно, мне не следовало слушать то, о чем он говорил. А я слушала, и мне хотелось, чтобы мы еще долго шли по этим гулким весенним улицам, о которых пел в Большом зале орган.

— Я спрашивал себя — ну, а если бы мы не встретились в Сталинграде? Произошло ли бы со мной это счастье, потому что со всей безнадежностью, с сознанием, что ты не любишь меня — это все-таки счастье. Вот ты уверяешь меня, что я обманываюсь, что это просто возвращение к жизни и если бы мы не встретились, я влюбился бы в другую. Но ты не знаешь, как я верен себе и чем было всегда для меня это чувство!

Я сказала: «Довольно, Володя», но, должно быть, у меня был не очень решительный голос, потому что он замолчал только, чтобы поцеловать мою руку.

— Вот на флоте у меня был друг, даже брат: мы побратались, и я написал его матери, чтобы она меня считала за сына. Он убит. Мы говорили, и я поражался тому, как беспечно, как циничически-равнодушно он относился к любви. И другие. А я... Меня всю жизнь охватывал трепет, и сердце начинало стучать, и казалось, что если бы я стал такой, как они, я провинился бы перед тобой на всю жизнь. Тебе странно, я знаю, что все это как будто вспыхнуло вдруг. Да, вспыхнуло, но таилось всегда, и я никогда не мог совершенно забыть тебя, а когда влюблялся, это были женщины, которые чем-то напоминали тебя. Не говори ничего, — вдруг сказал он, остановившись. — Пусть будет так, как будто ты не слышишь меня. Когда в Сталинграде я спросил тебя: «Ты счастлива?», и ты ответила: «Да» — ведь это было неправдой.

— Володя, я запрещаю тебе говорить со мною об этом.

— Хорошо, поговорим о другом. Хочешь, я расскажу тебе, как однажды в ледоход перещел Оку? — вдруг спросил он, остановившись и приблизив ко мне взволнованное лицо с широко открытыми глазами. — Это было в Колкове, есть такой маленький городок на Оке. Я приехал туда по комсомольским делам и не один, а с товарищами, среди которых был некий Шульга, очень острый и насмешливый парень. Время было — весна, апрель, вот как сейчас — снег только что сошел, земля взъерошенная, неприбранная, и все кругом в каком-то волнении: птицы орут без умолку, вода бежит днем и ночью, звенящая, сливающаяся, живая. Должно быть, это волнение передалось и нам — мы много спорили и все до одного были влюблены.

— И ты?

— Да,— быстро отозвался Володя.— В том-то и дело. Но я, понимаешь, был влюблен в девушку, которая совершенно не замечала меня. Она жила в Ленинграде, в общежитии Мединститута и, когда я приезжал к ней из Кронштадта, разговаривала со мной ровно десять минут, да и то уткнувшись в какую-нибудь терапию. Ну, вот. Это было тогда.— Он помолчал.

— Я много раз видел ледоход, и всегда это было так, как будто какая-то медленная сила нехотя ломала грязный лед и с трудом двигала его неизвестно куда, вместе с обломками зимней жизни. А тут... Грозный шум стоял над рекой, да не шум, а рев, от которого на сердце сразу стало тревожно. Льдины стлкнувались, кружились, и вода между ними была мутная, блеская. И все вокруг было именно бешеное — солнечный блеск, мельканье каких-то птиц, с криком носившихся над рекой.. Мы стояли и смотрели. А на том берегу тоже стояли и смотрели какие-то люди. И вдруг мне подумалось: «Если бы Таня была на том берегу,— хватило бы у меня смелости дойти до нее?» И едва я мысленно произнес эти слова — даже еще не произнес, а только пробежал от берега до берега взглядом, как этот парень, Шульга, толкнул меня локтем в бок и сказал: «Ну, что задумался? Небось слабó перейти?» Я посмотрел на него и стал спускаться на лед.

Мы шли, Володя говорил, я слушала и волновалась. Уже довольно давно, с полгода, как в Москве зажглись маленькие фонари, и казалось, что в переулках, слабо освещенных этим расплывающимся, падающим вниз, голубоватым светом, война уже кончилась, и началась совсем другая, мирная, полузабытая жизнь. Но война продолжалась. Часовой расхаживал у зениток, спрятанных в деревьях сквера. На улицах белели свеженаведенные линии переходов, и край панели был обведен белым — это стали делать только в годы войны. Дежурные в огромных шубах неподвижно сидели у ворот, и все, как нарочно, было таким, чтобы остаться в памяти на всю жизнь.

— У берега лед был еще нетронутый, крепкий, с темной тропинкой, по которой переходили Оку,— продолжал все с большим волнением Володя.— Я выбежал на эту тропинку, но она сразу пропала, а впереди открылась большая полынья,— наверно, в этом месте зимой выпиливали лед для складов. Ребята закричали, но голоса донеслись чуть слышно, да и не до них мне было теперь. Мне казалось, что я один на один схватился с этими льдинами, с этим блеском, от которого что-то дрожало перед глазами, с этим звоном, весело отзывавшимся в сердце. Я прыгнул и провалился в кашу из снега и мелкого льда, вылез и опять побежал, и все менялось вокруг, и нужно было сразу решать, куда броситься в следующее мгновенье. И все это было ради тебя! Я был уверен, что ты ждешь меня на том берегу, честное благородное слово. Чему ты смеешься?

— Ты смешно сказал, по-старинному: даю честное благородное слово.

— Разве нехорошо?

— Нет, хорошо. Рассказывай.

Мы были уже недалеко от Серебряного переулка. Патрульные встретились на Арбате, приостановились, хотели проверить документы, да, видно, раздумали и двинулись дальше. Синие лампочки горели под уличными часами, и тоже не для того, казалось, чтобы можно было узнать время, а чтобы запомниться навсегда — точно стрелки показывали не без четверти одиннадцать, а вечность.

— Да, ты. И не только ждешь, а с ужасом, с восторгом следишь за каждым моим движением. Мне казалось, что ты говоришь: «Смелее!», или: «Вот так! А теперь остановись, оглядись!» И я останавливался и снова бежал в азарте, от которого дрожь так и ходила по телу. Потом вдруг оказалось, что берег близко, но дойти до него нельзя — только доплыть. Мгновенно тишины вдруг прорвалось среди этого звона и шума, и я увидел себя стоящим на огромной льдине, у которой чуть слышно плескалась вода — совсем другая, прозрачная, пронизанная солнечным светом. И в глубине мелькнуло дно, милое, песчаное, плотное! Дно, по которому можно дойти до берега — только двадцать или тридцать шагов, а там люди, которые, что-то крича, бежали мне навстречу.

Мы стояли у подъезда, и пора было прощаться, потому что этот вечер, так непохожий на все другие вечера в моей — и Володиной? — жизни, кончился вместе с его рассказами. Я протянула ему руку, нет — руки. Он поцеловал их задумчиво и тоже как-то — на память.

— Вот так-то, — сказал он грустно. — И ты знаешь, мне часто кажется, что я все еще иду к тебе среди этих сталкивающихся, кружащихся льдин. Или дошел?

Я не ответила, и мы простились, условившись встретиться завтра — да, завтра, на площади Пушкина, в половине седьмого.

И Володя ушел, а я осталась одна. Дежурный узнал меня, поздоровался и пошутил что-то насчет подозрительных ночных возвращений. И я пошутила и засмеялась, и не было ничего особенного в том, что мы условились встретиться завтра, и нечего было, поднимаясь по лестнице, трогать ладонями горящие щеки.

У меня был свой ключ, я открыла, зажгла свет в столовой — и сразу же погасила: на окнах были почему-то не опущены шторы, но в комнате светло от луны, и отец сидел на диване, опустив голову в руки, и плакал.

— Что с тобой? Что случилось?

Он вскочил испуганный, трепещущий, дрожащий.

— Ничего, ничего. Тут звонили... Тут тебе звонили...
— Кто звонил? Да говори же, папа!
— Он хотел приехать... Он... Он приедет. Он сказал, что хорошо, что тебя нет дома, потому что я могу... я должен... Но что я могу? Что же я могу, боже мой!
— Кто сказал? О ком ты говоришь?
— Не... не помню. Он, он!
Слезы душили его.
— Он сказал, что Андрей... Андрей...
— Убит?

Отец подошел ко мне, обхватил и замер, крепко сжимая мою голову руками.

— Нет, нет, нет!

Шум подбегавшей машины послышался в переулке. Это был Малышев. Он прошел несколько шагов и остановился, неподвижный, прямой, в шинели с высокими плечами, отчетливый, как тень, на пустом, залитом луной тротуаре. Потом, опустив голову и тяжело вздохнув, направился к подъезду.

ЭТО БЫЛО ВЧЕРА

Андрей был арестован на фронте и привезен в Москву — это было все, что сказал мне Малышев, и, глядя на его расстроенное лицо с жестко поджатыми губами, я поняла, что больше ничего от него не услышу.

— Михаил Алексеевич, мы столько лет знакомы, и вы — я знаю — любите Андрея. Вы работали вместе, и кто же настоял, чтобы он вернулся в Наркомздрав, если не вы? Скажите мне все. Ведь нужно же действовать, хлопотать, доказывать, что он не виновен. Я знаю, что вы связаны, вы не имеете права... Но ведь не государственная же тайна то, что вы думаете об этой нелепости, потому что я ни одной минуты не сомневаюсь, что это нелепость.

Он сидел, выпрямившись, опустив глаза.

— Не скрывайте от меня того, что может помочь ему.

— Татьяна Петровна, поверьте мне, я ничего не знаю. Андрей Дмитриевич не мог сознательно совершить преступления. В этом для меня нет ни малейших сомнений. Но с другой стороны... его могли арестовать только по серьезной причине.

— Вы — его начальство, и если он арестован в связи с какими-то служебными делами, — вас должны были известить об этом... Вы согласились на его арест, да? Скажите мне, дорогой Михаил Алексеевич! Мы одни, отец за стеной, он плохо слышит. Я не стану упрекать вас, если нельзя было поступить иначе.

Малышев вздохнул.

— Не знаю я ничего,— с тоской сказал он.— Мне самому уж так тяжело, что я вам и передать не могу. Никто у меня ничего не спрашивал. Да и о чем? О таких вещах не советуются с начальством. Отвечать придется, это так. Уже и то, что я пришел к вам, да еще ночью...— Он замолчал.

Отец чуть слышно постучался в двери. Я вышла и сказала ему, что ничего не случилось,— глупое недоразумение, которое разъяснится через несколько дней.

* * *

Ничего не разъяснится через несколько дней. С закрытыми глазами, стиснув зубы, я немного постояла у открытого окна, стараясь справиться — сама не знаю, с чем — с тоской? С отчаянием? С безнадежностью, от которой опускались руки? Но как бы ни называлось это чувство — вот что нужно сделать прежде всего: забыть о нем. Я не одна, только что от меня ушел человек, который так же, как и я, убежден, что Андрей не мог сознательно совершить преступления. Так думают все, кто знает его, и мне помогут все, кто его знает и любит.

А теперь надо лечь! Завтра трудный день, и хорошо бы уснуть хоть ненадолго. Я разделась и легла, не закрывая окна. Ветер качнул бумажной шторой и привел откуда-то ночь, и спящий переулочек, освещенный луной, и чей-то взволнованный голос. Неужели еще не кончилась эта ночь? Да, — и до утра далеко.

...Он не мог потерять секретных бумаг, хотя бы потому, что у него не было с собой никаких секретных бумаг. Нет, другое. Скрыпаченко?

И бледное лицо подлеца появилось передо мною — прислушивающееся, с неопределенно осторожной улыбкой на тонких губах. Но Скрыпаченко — доносчик патологический, профессиональный, неужели кому-нибудь пришло в голову поверить ему? Это было безумием, что Андрей чуть не убил его... «А надо было убить», — подумала я и, задохнувшись, вскочила с постели. Патруль прошел под окном, стук каблучков приблизился, потом удался. Вот так же и он лежит, прислушиваясь, — гулко стучат каблучки по асфальту двора в тишине. Только несколько улиц, мы ведь недалеко друг от друга!

Да, не уснуть! И нужно было не ложиться, а сразу засесть за письмо, тем более что я уже сочинила его в уме и забыла. Кому писать? Наркому?

Я легла — и две перекрещенных полоски появились где-то высоко надо мною — смутные, светлосерые, но темнее, чем беспредельное серое пространство, в котором тонули, невольно закрываясь, глаза. Что значит этот крест над моей головой? Конечно, конечно — вот что он значит! Андрей не вернется. Что, смерть? Для него это хуже, чем смерть.

И не обо мне он думает сейчас, закинув руки под голову и дожидаясь медленного тюремного утра. И не о сыне... Он коммунист — вот ось, вокруг которой вращалась жизнь и становилась видна изнанка явлений. Вот свет, который озарил его путь во всех делах — больших или малых! Да был ли в жизни хоть час, когда померк перед ним этот ослепительный свет? Все для него — каждая мысль, каждое биение сердца. И вот награда — крест, склонившийся над головой, зачеркнувший все, чему была отдана жизнь...

Что за вздор лезет мне в голову, боже мой! Это не крест, это переплет окна. Скоро утро, и тень переплета на потолке с каждой минутой становится все светлее.

* * *

Я не видела Никольского с тех пор, как он явился ко мне, чтобы предложить свои услуги в качестве «работника со стажем», и поразила тому, как он постарел за эти два промелькнувших года. Он обрадовался мне, пошел навстречу, но сразу же сел, и мертвенно-холодной показалась мне большая сморщенная темная рука, которой он слабо пожал мою руку.

— Николай Львович, мы давно не виделись — по моей вине, — а вот теперь я пришла к вам по делу, да еще по какому трудному, горькому делу.

— Ну вот еще! А кто это видится? Все заняты, и хорошо, что заняты. Время такое.

Он говорил медленно, подолгу останавливался после каждого слова.

— Да и что за извиненье! Вы дама, — вдруг сказал он по-французски, — и ваше извинение — укор для меня. Я первый должен был пожаловаться на судьбу, помешавшую мне часто видеть такую милую женщину, как вы.

— Спасибо, дорогой Николай Львович. Теперь мне можно сказать, зачем я пришла?

— Прошу вас.

— Николай Львович, у меня несчастье. У меня страшное, неожиданное несчастье, и если мне не помогут друзья, — я не знаю, как я справлюсь с этим несчастьем.

— Что случилось?

Он выслушал меня, насупясь, отогнув рукой сморщенное восковое ухо.

— Как это посадили? — с недоумением спросил он. — Он человек известный, партийный. Что за порядок — не выслушав, без объяснений. Ведь чтобы так поступить, нужны причины, улики.

— Мне кажется, да.

— Где ваше письмо?

— Может быть, это не то, что нужно.— Я достала из сумки письмо.— Тогда исправьте. Дорогой Николай Львович, если бы вы знали, как я счастлива, что вы встретили меня так сердечно. К вам прислушаются, вас знает весь мир.

Сердито посапывая, дед подписал письмо и, слегка пошатываясь на длинных ногах, прошелся из угла в угол. Он был взволнован.

— Черт знает что такое,— сказал он.— И я буду счастлив, если это письмо поможет Андрею Дмитриевичу. Да. Но следует, мне кажется, действовать иначе.

— А именно?

— Обратиться в правительство,— грозно нахмурившись, сказал дед.— Поехать и объяснить. И в свою очередь потребовать объяснений.

— Николай Львович, дорогой...

— И в свою очередь потребовать объяснений,— не слушая и сильно взмахнув рукой, сказал дед.— Личность заметная, с заслугами, член партии. Как же так? Воевал?

— Да, то есть не участвовал в боях, но полгода провел в Сталинграде, и еще в феврале...

— Все равно — воевал. Труды. И потом, позвольте, он же написал книгу.

— Да.

— И, говорят, превосходную.

— Мне трудно судить.

— Написал превосходную книгу,— утвердительно сказал дед.— Работник первоклассный. Функционер. Человек дела. Кто же у нас сейчас лучше, чем он, разбирается в практической эпидемиологии? И такого человека сажать! Да я только что в «Правде» прочел, что наши войска на Калининском фронте за три месяца подобрали более двенадцати тысяч сыпнотифозных больных, освобожденных из плена. В Смоленской области обнаружена натуральная оспа. Дизентерия поголовная. В городах освобожденных ни воды, ни света, воздух отравлен.

Немного дрожащими руками Никольский стал шарить на столе — должно быть, искал газету. Он побагровел, и я испугалась, что ему может сделаться дурно.

— Николай Львович, садитесь, дорогой, поговорим спокойно. Вы сказали — обратиться в правительство. Но как это сделать?

Он сел, вытянув длинные ноги, и принялся сердито стучать пальцами по ручке кресла.

— Вот теперь давайте подумаем, как это сделать.

И дед замолчал. Я подождала минуту, другую. Послышалось ровное дыхание. Темная сморщенная рука упала на колени. Большое веко поднялось, потом опустилось. Дед спал, склонив на грудь большую лысую голову с пергаментными мешочками у глаз и старческими меловыми висками.

Белянин — разахавшийся, растерявшийся, дважды проверивший, плотно ли закрыта дверь его кабинета, с испуганными глазами на красном мясистом лице. Знаком ли он с Рудиным? Разумеется. Более того, у них превосходные отношения. Но захочет ли Рудин подписать это письмо — кто знает? Он, Белянин, думает, что едва ли. Рудин человек неожиданный, со странностями, проще говоря, взбалмошный, и что ему взбредет в голову, вообразить невозможно. Кроме того, вы знаете, какое он сейчас получил назначение? Конечно, он, Белянин, пойдет к нему. Да что пойдет! Сегодня вечером они условились встретиться за преферансом. И, конечно, если это будет удобно, он заговорит об Андрее. Да, он заговорит — сперва издали, а потом... а потом, если это будет удобно...

— Но откуда эта напасть? Откуда? — Он раскачивался, с отчаянием взявшись за голову и глядя на меня круглыми от ужаса глазами. — Андрей Дмитриевич, боже мой! Нет, тут что-то есть, иначе быть не может.

Мне не хотелось выяснять, что он подразумевает под этим «что-то», и я ушла, поблагодарив его и условившись, что он немедленно позвонит мне — все равно, откажется Рудин или согласится.

Кипарский — главный хирург Красной Армии, генерал-полковник медицинской службы — грузный, коротконогий, глухой, со слуховым аппаратом, в котором ежеминутно что-то ворчит и который он настраивает, подкручивает, подправляет.

К сожалению, он не был знаком с Андреем Дмитриевичем, хотя, разумеется, знает его по литературе.

— Вот за вас я, матушка моя, действительно могу заступиться, если с вами, не дай бог, что-нибудь произойдет в этом роде. Вообще-то история бессмысленная, нелепая и, к сожалению, далеко не единственная. Да-с. Так что, если бы даже я и подписал это письмо, которое, по-моему, составлено несколько экспансивно, — ничего бы из этого не получилось, матушка моя, ничего. И вам, мне кажется, нужно не торопиться, а переждать недели две-три.

Аппарат ворчит, и, подкрутив какой-то упрямый винтик, Кипарский начинает водить микрофоном по воздуху перед моими губами.

— И не сидеть сложа руки, да-с, а поехать на фронт и доказать, что представляет собою ваш препарат в полевых условиях.

— Препарат?

— Вот именно. В чем дело с Андреем Дмитриевичем, — это, повидимому... станет известно впоследствии, но что подобная

история может отразиться на вас, а следовательно, и на вашем препарате,— это для меня уже и сейчас совершенно ясно.

И, склонив красную апоплексическую шею, Кипарский поглядывает на меня маленькими умными глазками из-под нависших бровей.

— Вам известно, что скоро на Первый Прибалтийский фронт отправляется под моим руководством бригада? Вот и присоединяйтесь. Испытаем пенициллин в полевых условиях — вот тогда, надо полагать, крыть действительно будет нечем.

Я слушаю его и ничего не понимаю. Почему Кипарский вдруг заговорил о моем препарате? Зачем снова испытывать его, да еще на фронте? Разве могу я сейчас уехать из Москвы?

— Хорошо, я подумаю, Иван Аникиныч.

— Что? Не слышу. Вот проклятая машина!

Подкручивает, настраивает, подправляет.

— Матушка моя, скажите-ка что-нибудь, скажите хоть — так.

— Так.

— Еще раз.

Я повторяю:

— Так.— Слезы душат меня, но я повторяю: — Так. Теперь хорошо?

— Так. Теперь превосходно.

* * *

Еще две-три-четыре встречи. Кипарский отказался. Не подпишет ли Крамаренко? Холодные, внимательные, равнодушные лица. Лица приветливые и мгновенно меняющиеся, когда речь заходит о том, что... И речь заходит совсем о другом. Лица испуганные, с ускользящим выражением.

* * *

Приемная Министерства внутренних дел. Долгое ожидание. Женщины, ничем не похожие друг на друга — и удивительно, необычайно похожие. Молчаливые, но понимающие с полуслова, озабоченные, надеющиеся, усталые, взволнованные. Вот эта совсем молодая, с усталым лицом — если бы она вчера заговорила со мной о ее муже, отце или брате — ведь я бы не поверила, что он так же ни в чем не виноват, как Андрей...

И весь этот, как во сне, промелькнувший мучительный день, весь этот день, которого не хватило даже на то, чтобы повидаться с Рубакиным, приехавшим из Казани, я старательно вспоминала что-то, казавшееся мне очень важным! Это было необходимо, то, что мне не удавалось вспомнить, и касалось не только меня — вот в чем я не сомневалась ни единой минуты.

Знают ли уже о том, что произошло, в институте? Должно быть. Иначе Коломнин не спрашивал бы так настойчиво о моем здоровье.

Да. Вот это. Но и что-то еще. То, что должно было случиться сегодня. Где и когда? В котором часу? И вдруг я вспомнила: Володя Лукашевич будет меня ждать на площади Пушкина в половине седьмого. Мы назначили друг другу свидание. Он придет. Он будет ждать меня, волнуясь и считая минуты.

Может быть, нужно пойти — вот такой, какой я стала за сегодняшней день, едва держащейся на ногах, подурневшей, неузнаваемой? Все-таки друг. Ведь это немало! И даже не все-таки, а близкий, любящий друг. А друзьями надо дорожить, особенно когда стареешь за один день и, зайдя домой, не можешь есть от усталости, и голова раскалывается от боли, и нет лекарства, от которого могла бы пройти эта боль.

Неужели все это было вчера — консерватория, серебряные трубы, осторожно вторившие чистому голосу Нины? Спящий переулок, освещенный луной, синие лампочки под уличными часами. Юноша переходит Оку среди сталкивающихся, кружащихся льдин. Кого он видит на том берегу? Не помню. Не знаю.

* * *

Ни одной минуты не сомневалась я, что Володя ждет меня, хотя было уже около девяти и изд городом скользили прозрачные вечерние тени. Я не ошиблась. Там, где садик у памятника Пушкину переходит в бульвар, Володя стоял, подтянутый, взволнованный, бледный, такой, что каждый скользнувший по нему даже невнимательным взглядом мог прочесть: «Не пришла». Вокруг гуляли, громко разговаривали люди, на скамейках было тесно, цветочницы продавали букеты первых фиалок. Но у него было свое место в этом мире — то, где мы условились встретиться и где мимо него проходили женщины, которые ничем не отличались друг от друга, потому что они ничем не напоминали меня.

— Таня! Ты пришла? Родная моя, а я уже думал...

Он бросился ко мне, и это было единственное мгновенье, когда, как в зеркале, я увидела себя — некрасивую, с ненакрашенными губами, в ненарядном, обыкновенном платье, не в том, которое я надела бы, если бы все было иначе. Но это чувство только мелькнуло в сознании, как слабый отсвет ушедшей в далекое прошлое жизни — той, которою я жила до вчерашнего дня. Все стало другим. Все стало горестно, безнадежно другим. И я остановилась перед Володей, не говоря ни слова и только стараясь унять сжавшееся, онемевшее сердце.

— Что с тобой? Ты больна? Что случилось?

Я сказала только два слова — и это были две черты, крестнакрест перечеркнувшие все, что могло произойти между нами.

Он ничем не мог мне помочь, хотя бы потому, что уже получил назначение и через несколько дней должен был отправиться на Северный флот. Но он был одним из немногих друзей, которые хотели сделать для меня все, что было в их силах, и мне помогло уже то, что в эти дни он оказался рядом со мной. Мы вместе ходили к Малышеву, вместе перебирали бумаги Андрея, пытаюсь найти среди них объяснение, хотя бы самое отдаленное, тому, что случилось,— и Володя держался по-товарищески просто, с прямою, в которой я одна могла угадать безнадежность.

ИЗ ДНЕВНИКА ДМИТРИЯ ЛЬВОВА

14 января...

...Накануне отъезда Лиза достала Handbuch¹ по чуме, и я читал его всю дорогу. Время от времени это занятие чередовалось с чтением «Войны и мира». Так вот — подобно тому, как диспозиция генерала Вейротера с его «первая колонна марширует... вторая колонна марширует...» помогла ему под Аустерлицем,— помог нам сей Handbuch, когда мы принялись за дело в этих диких, охваченных чумой местах.

Согласно руководству, нужно было: во-первых, изолировать не только больных, но и здоровых, соприкасавшихся с больными. Во-вторых, произвести основательную дезинфекцию тех помещений, в которых находились больные, и не менее основательную — других, в которых они должны были провести положенный срок до благополучного или — что более вероятно — смертельного исхода. В-третьих, нужно было широко оповестить население о мерах предупреждения и раннего распознавания болезни и т. д. и т. п.

Но в этом превосходном руководстве, к сожалению, не было ни слова о том, как поступить в том случае, если губернатор охваченного эпидемией района сомневается в целесообразности вышеуказанных мероприятий. И не только сомневается, но убежден, что чума распространяется по той причине, что некий международный шпион-диверсант Ибрагим Заде заражает население кусочками трупов (!). Дело в том, что в течение последних лет вовсе не правительство распоряжается в здешних местах, а некий Мамед Али, назначенный в свое время губернатором района, но легко распространивший свое влияние на всю обширную область. Это мужчина серьезный, нетерпеливо относящийся к возражениям и пользующийся в споре главным образом двумя аргументами: во-первых, заковычиванием в кандалы — если на исправление непокорных есть хотя бы небольшая надежда — и, во-вторых, публичной казнью — если на-

¹ Справочник (нем.).

дежды нет. Своих сыновей он назначил уездными начальниками. В парламенте у него есть влиятельные сторонники, через которых он поддерживает связь с «некоторыми иностранными кругами», как принято выражаться в сообщениях ТАСС. По своему усмотрению он назначает налоги и сборы. На построенном недавно (англичанами) мосту через реку Шарун с каждой головы скота берется по его приказу специальный сбор, причем остальные мосты и броды — разрушены. Сахар и ткани, которые присылаются для распределения по карточкам, он продает на черном рынке. Живет он, окруженный телохранителями, и т. п.

Все это, разумеется, касается и нашей экспедиции, поскольку мы явились сюда, чтобы помочь ограбленному, голодному населению, среди которого началась и быстро распространяется чума. Но больше всего касается нас то обстоятельство, что господин губернатор не согласен с тем, что в области, им облагодетельствованной, могла начаться или даже уже началась столь страшная эпидемия. Он считает, что никакой чумы нет и что нужно только поймать Ибрагима Заде, накормившего население кусочками трупов. Кстати сказать, мне показалась странной эта упорно повторявшаяся легенда, которую мы слышали не только от лиц, близких господину Мамеду Али. Примерно так же объяснил нам распространение заразы один школьный учитель — единственный культурный (не очень) человек, которого мы встретили в здешних местах. Я сказал ему, что гораздо проще распространить эпидемию с помощью чумной культуры, заразив ею пищу, одежду и т. д. «Не кажется ли вам, что это чистейший вздор, просто с точки зрения здравого смысла: кто же станет есть кусочки чумного трупа?» Он ничего не ответил.

15 января...

Черные флаги над пустынными нищими селами. В домах ни души. Тишина. Голые дети плачут, сидя на земле и протягивая к нам руки.

16 января...

Если бы не английский консул, у которого, повидимому, имеются особые, неведомые нам, способы воздействия на местную администрацию, нам не только не удалось бы вырыть и сжечь трупы, но пришлось бы, вероятно, спасаться бегством от господина Мамеда Али. Уж не знаю, что ему сказал консул, но он внезапно стал «большим католиком, чем сам папа». Думаю, что консул объяснил Мамеду Али, что он сам не бессмертен и может в один прекрасный (для местного населения) день умереть от чумы.

Это было зрелище фантастическое. Ночь. Факелы, бросающие неверный свет на дрожащих от страха полуголых людей.

И вместе с тем это было зрелище глубоко грустное, потому что впечатление трагической нищеты, с которой встречаешься в этой стране на каждом шагу, никогда еще не поражало меня с такой силой. Вероятно, в этой работе было что-то позорное или глубоко чуждое обычаям, верованиям, уж не знаю чему, но согласились на нее только бедняки, которым нечего было терять, да и то после грубых настояний офицеров из охраны Мамеда Али. Первая, вторая, третья могилы были разрыты наугад, и трупы, очень характерные для бубонной чумы, оказались совершенно целыми — очевидно, международный шпион Ибрагим Заде не успел или не сумел воспользоваться ими для распространения заразы. Потом, тоже наугад, была разрыта четвертая могила. И вот когда мне — увы, не в первый раз — пришлось раскапывать в своем скептицизме! У четвертого трупа была отрезана голова, вскрыта, довольно искусно, грудная клетка и удалены печень и сердце. Зачем? Что значит эта загадка? Но раздумывать не приходилось. Нужно было, не теряя времени, приниматься за сожжение.

Мы занялись этим довольно сложным делом, и к страшным впечатлениям дня или, вернее, ночи прибавилось еще одно: в пламени костра один из мертвецов, вероятно от сильного жара, вдруг медленно поднял руку. Не могу передать, что произошло с крестьянами, которые только что совершили чудовищное и, по их понятиям, бессмысленное святотатство! Все, как один, с дикими воплями бросились они на землю, и мы провозились еще добрых полтора часа, успокаивая их и стараясь всеми средствами вернуть утраченное доверие.

17 января...

Нельзя проходить между двумя собаками или двумя женщинами — случится несчастье или по меньшей мере неудача. Человек, ударивший черную кошку или вошедший ночью в конюшню без молитвы, заболает горячкой. Черная кошка — это супруга джинна, а в конюшнях частенько ночуют и сами джиинны. Если не обмыть покойника на ночь, — он может встать, ударить первого встречного и выйти из дому. Если в селе иностранцы — нужно бояться дождя, потому что брызги стекающего с них дождя могут попасть — да спасет аллах! — на ноги правоверных... Суеверие, приметы, гадания на каждом шагу. И, думая над этой странной историей с обезглавленным трупом, у которого были вынуты печень и сердце, я решил, что она тоже связана с каким-нибудь суеверием или колдовством, причем колдовством, так сказать, «в профилактических целях».

Учитель в Алиабаде — это был все-таки единственный человек, который мог помочь мне решить загадку. И я снова поехал к нему, немного побаиваясь, что он спустит меня с лестницы, если до него уже успело дойти известие о нашем святотатстве. Ничуть не бывало! Он принял меня очень любезно и

даже угостил чашечкой крепкого душистого чая. Я не знал, что это был весьма вежливый намек на то, что гостю пора отправляться восвояси, и просидел еще добрых два часа, не потеряв, впрочем, времени даром. Мне стало ясно, что в прошлый раз я его просто не понял. Вот что объяснил мне, весьма спокойно, этот умный человек в черной шапочке и черном халате, перетянутом на животе белым кушаком. Чума, как известно, уносит целые семьи. Почему? Потому что первый умерший тянет близких за собой в могилу. Как же лишить его этой таинственной власти? Очень просто: нужно вырезать у него печень и сердце и дать по кусочку всем оставшимся в живых членам семьи.

Многое я успел узнать за эти дни, на многое наглядеться и все-таки, слушая его, не верил ушам. Но умные черные глаза смотрели на меня доброжелательно, серьезно. Учитель, несомненно, говорил правду, да и что за выгода была ему лгать? Когда я был у него в прошлый раз, он спросил меня, как я думаю, почему чума обошла Алибад, хотя он лежит у самой дороги. Потому что в селе и в округности на ближайшие двадцать — тридцать миль нет знахарей. Вот этого-то, то есть связи знахарей с распространением чумы, я и не понял. Теперь все стало ясно, и, уезжая, я от всей души поблагодарил этого человека, оказавшего мне неоценимую помощь. Кстати, мы говорили по-английски — он плоховато, а я и вовсе плохо, но, когда я уже уезжал, выяснилось, что учитель вполне прилично говорит по-русски. В молодости он служил приказчиком у торговца фруктами в Ашхабаде.

18 января...

Ночь. Сразу два десятка вопросов, один сложнее другого: где живут эти проклятые знахари, которые, быть может, в эту минуту вырезают печень и сердце у очередного трупа? Как их найти в этой стране, где, по данным министерства, в сельских местностях на сто тысяч жителей — один врач и где население вынуждено лечиться у знахарей и верит им и, без сомнения, будет скрывать их, в особенности от «неверных»? Правда, есть возможность помешать этому непостижимому способу распространения заразы, о котором в научной литературе, ручаясь, не найдется ни слова. Нужно вырыть и сжечь *все* трупы умерших от чумы. Сложная задача, если вспомнить, что только в трех ближайших от нашей базы селах погибло 36 человек. Допустим, что нам это удастся, хотя, когда я вспоминаю ночь на 15-е, у меня становится невесело на душе. В крайнем случае придется обратиться к нашему командованию, хотя и не хочется: обстановка туманная, и, прежде чем вызывать сюда наших, нужно точно определить пути распространения заразы.

Так или иначе трупы будут сожжены. Это необходимо. Ну-с, а кусочки зараженной ткани, которые уже бродят среди

населения и в которых микроб чумы может сохраняться около года? Где искать эти маленькие, но бьющие без промаха конденсаторы заражения?

19 января...

Дома ворчишь, ругаешься, даже плюешься, в лучшем случае работаешь машинально, видя лишь небольшую частицу огромной, стройной и, в общем, необыкновенно человеческой системы нашего здравоохранения. Издалека, в чужой стране, где сталкиваешься с чудовищными пережитками, которым нечего противопоставить,— видишь целое и понимаешь, что значит работать среди людей, выросших в сознании общих интересов.

20 января...

Господин Мамед Али, как и надо было ожидать, ошалел, когда я сказал, что мы намерены бесплатно раздать полные комплекты одежды, мужской и женской, по числу жителей четырех зараженных сел. Неведомые доводы, которые приводил ему английский консул, очевидно, потускнели за эти дни, и, глядя на меня выпученными глазами — одновременно дикими и хитрыми,— он, без сомнения, думал о том, что не проще ли зарезать меня, а заодно и весь наш отряд, чем возиться с таким хлопотливым делом. Потом я узнал, что гораздо больше чумы его беспокоили действия некоего Сардархана, недавно назначенного начальником отдела юстиции области, который, ознакомившись на месте с положением дел, к изумлению губернатора, немедленно скрылся в неизвестном направлении. Впрочем, Мамед Али сказал, что он считает наше решение легкомысленным: знает ли господин доктор, сколько стоит сейчас на базаре самое обыкновенное полотенце? Если русские полагают партией нижнего белья, он, Мамед Али, готов приобрести ее по сходной цене, чтобы никому не было обидно. Что касается чумы, то его чиновники только что задержали уличного отгадывателя снов, которого подозревают в распространении заразы. Не хочет ли русский доктор посмотреть на этого врага аллаха?

Отгадыватель снов сидел во дворе местной армянской церкви — заброшенной, потому что армяне давно покинули эти места,— и молча перебирал бусы. Из-под серого халата были видны грязные подштанники. Он молча курил. Я подошел, и он поднял на меня маленькие злобные глазки. Странно, но чем-то он был похож на русского попа — редкие усы, курносый профиль, длинная седая борода. Мне захотелось попросить, чтобы он разгадал мой вчерашний сон — я слышал голос покойного отца, который, стоя внизу на улице, звал меня к себе. Но это было неудобно, и с помощью переводчика, которого мне, наконец, прислали из штаба, я приступил к допросу.

Да, это был весьма содержательный допрос, без которого я бы положительно не знал, что и делать! Я выяснил, например, что отгадыватель снов в настоящую минуту всецело занят борьбой против злых духов, которые появляются перед ним то в виде белых слонов, то в виде единорога. Громадный жернов на тонком волосе висит над ним, и если русский доктор не хочет, чтобы этот жернов упал, он должен, не теряя времени, вручить бедному дервишу пять реалов.

21 января...

Вчера население зараженных сел от первого до последнего человека переодето в новое бельё и вывезено в другие села. Опустевшие дома залиты хлорпикрином. Вакцинация — к моему изумлению, почти не встретившая возражений. Раздача мыла и дезинфицирующих средств. Но что делать с селом Ардель, где наш отряд был внезапно встречен в штывки, к сожалению, в буквальном смысле этого слова? Какие-то косматые люди с винтовками, неведомо откуда взявшиеся в этих местах и не обратившие, повидимому, ни малейшего внимания на черный флаг, развевавшийся над селением, заявили нашим дезинфекторам, что они не признают власти господина Мамеда Али и что этот грязный шакал вскоре узнает волю аллаха. «В селе Ардель, — объяснили они, — вся власть, законодательная и исполнительная, принадлежит господину Сардархану, который является начальником отдела юстиции района. Возможно, что Сардархан разрешит русским врачам переодеть и вывезти жителей селения Ардель, но в настоящее время, к сожалению, он отбыл в имение Кумешлю, куда съехались ханы, решившиеся, наконец, покончить с подлой собакой Мамедом Али». Лиза, руководившая отрядом, пыталась объяснить сторонникам Сардархана, что чума не будет ждать, когда кончится многообещающий съезд, и что жители Арделя могут тяжело пострадать, если не будут приняты соответствующие меры. На это она получила весьма логичный ответ, что едва ли они могут пострадать больше, чем осенью прошлого года, когда губернатор отобрал у них весь урожай. «У нас и без смерти — смерть», — объяснили они. И после этой выразительной формулы, подкрепленной несколькими выстрелами в воздух, наш отряд вынужден был вернуться на базу.

Ардель — небольшое старинное селение-крепость с домами и башнями из темнокрасного камня.

21 января...

Причина вспышки все-таки остается неясной. Миграция мышей-полевок из чумного очага? Случай, о котором сообщил мне врач из погранохраны, по-моему, не имеет отношения к чуме. Карантин был наложен для успокоения начальства.

22 января...

Очень не хочется прибегать к силе, но еще больше не хочется, чтобы Мамед Али, откровенно обрадовавшийся сопротивлению, которое встретил наш отряд в Арделе, воспользовался им для кровавой расправы. Поэтому я сам поехал в Ардель. Начальник юстиции оказался, к моему удовольствию, симпатичным молодым человеком европейского склада — правда, вооруженным с головы до ног, но, повидимому, не умеющим пользоваться этим оружием. Он извинился за своих людей и сказал, что недоразумение, о котором идет речь, вызвано поспешностью, впрочем, вполне понятной: дело в том, что с Мамедом Али необходимо справиться до тех пор, пока в горах не растаял снег, потому что весной правительство пришлет ему подкрепление. Я спросил Сардархана, почему он думает, что правительство, которое зимой прислало его сюда в качестве начальника отдела юстиции, будет весной действовать против него. Он мудро ответил, что политика меняется независимо от времен года. Мы сговорились на том, что жители Арделя в ближайшие два-три дня будут переодеты и вывезены в соседние села. Прощаясь, он намекнул, что с точки зрения высшей справедливости разумнее было бы распределить белье среди его солдат, но я ответил, что это было бы вмешательством во внутренние дела иностранной державы.

14 марта...

Ни одного нового случая за полтора месяца. Стало быть, вскоре можно будет снять карантин и убраться отсюда во-свояси. Пора.

15 марта...

Сегодня Мамед Али предложил мне сжечь все дома, в которых были обнаружены больные. Я ответил, что в этом нет ни малейшей необходимости, поскольку дома дезинфицированы и, следовательно, стали безопаснее для жилья, чем когда бы то ни было прежде.

16 марта..

Вторичный приказ сжечь дома и прежде всего — в селении Ардель, из которого только что ушел в горы Сардархан со своими людьми. Теперь я понимаю, откуда взялся этот вдруг вспыхнувший страх губернатора перед чумой, с которой мы благополучно справились полтора месяца тому назад! Я снова отказался, сославшись на инструкцию, согласно которой, пункт третий, обработка помещения, в котором находились больные, была произведена в надлежащее время.

17 марта...

Третий приказ, на этот раз с прозрачным намеком на «сторонника дьявола», под которым следует подразумевать Сардархана. И третий отказ, тоже с намеком: не думает ли господин губернатор, что военные действия, даже в том случае, если они преследуют самые благородные цели, не должны касаться селений, находящихся под карантином?

17 марта. Ночь...

Сегодня я приказал отряду переехать в дома, где были обнаружены больные. Это единственная возможность остановить действия губернатора и его бандитов. Если бы я этого не сделал,— все четыре селения были бы сожжены, и несчастные безропотные крестьяне вернулись бы на пепелище.

18 марта. Утро...

Письмо господину губернатору — изысканное, с комплиментами: «Глубоко чувствуя заботу Вашего превосходительства о вверенном Вам населении района и стремясь уверить Вас в полной санитарной безопасности указанных помещений, я приказал своим отрядам занять их до окончания указанного в инструкции срока». Я становлюсь дипломатом.

19 марта...

Все хорошо. Завтра собираюсь с Лизой в город — посмотреть базар, который, говорят, не уступает столичному.

20 марта...

Лабиринт полутемных коридоров. Шум, оглушительный, непрерывный, от которого сразу начинает болеть голова. Стучат медники, делающие подносы, котлы, кувшины из толстых листов красной меди, визжат подпилки оружейников, шипит расплавленная бронза, сопяг кузнечные мехи, монотонно гудят струны лучков, на которых работают шерстобиты. Пыль, дым, чад, отвратительный тошнотный запах бараньего жира. И вдруг — лабиринт раскидывается веером душистых фруктовых лавок. Прохладный полумрак, запах пряностей, тишина — впрочем, относительная, потому что продавцы, увидев нас, оглушительно закричали, расхваливая свои товары.

2 апреля...

Приказал свертываться. До железной дороги 167 километров. Состав обещан к нашему приезду.

3 апреля...

Я знал, что к нам привыкли в здешних местах, может быть, даже полюбили, хотя за традиционной высокопарностью подчас

трудно было разглядеть искреннее чувство. Но мне, конечно, и в голову не могло прийти, что крестьяне окрестных сел с самого раннего утра начнут собираться вокруг нашей базы, что женщины будут выть, а мужчины — стоять, потупившись, с такими лицами, как будто у них отнимают самое дорогое в жизни. Сейчас я спокоен, даже посмеиваюсь над Лизой, которая не удержалась и немного всплакнула, а ведь вчера сам с трудом удержался от слез.

5 апреля. Ночь...

Не подозревал, что можно так соскучиться по вагону. Все на месте, хотя и нет, к сожалению, уверенности в том, что чужие руки не перелистали рукописи, не прошлись по книжным полкам и т. д. У Лизы разболелась голова, и она ушла к себе очень рано, а я уселся за стол, который из фанерного листа соорудили мне санитары, вынул чистый лист бумаги и написал: «Вирусная теория происхождения рака».

6 апреля. Утро...

За одну ночь написать то, что в течение многих лет исподволь выстраивалось в сознании — не могу поверить, что со мной произошло это чудо! Многое еще приблизительно, неточно, все здание — в лесах, но я уже вижу его от фундамента до флюгера на крыше. Все дело в том, что вирус уходит из клетки, когда она становится злокачественной — вот почему его до сих пор никому не удавалось найти! Если я не прав — отдаю сатане мою грешную душу.

7 апреля...

Невольно вспомнил об Уоллесе, который во время приступа лихорадки за несколько часов набросал теорию происхождения видов, не зная о Дарвине, трудившемся над этой теорией 20 лет и рассказавшем о ней только самым близким друзьям. Не смею сравнивать, но мне кажется, что нечто вроде этого счастливого вдохновения я испытал в прошлую ночь. Сегодня даже спел Лизе арию старого бурша из «Аси» — «И пью, и пью, и пью я», и действительно выпил.

6 апреля. Вечер...

Лиза больна. Температура около сорока, кашель, острая боль в груди. Неужели?..

7 апреля...

Весь день настоятельно требовал, чтобы ее осмотрел местный врач-терапевт, ругался, грозил и, наконец, добился, что по ступенькам вагона поднялась трепещущая фигура в высоких сапогах и калошах, в резиновых перчатках, в маске, из которой

торчали клочья ваты, в десяти халатах, невыносимо вонявших сулемой. И хорошо еще, что только сулемой! Я бы не удивился, если бы почувствовал другой, еще менее аппетитный запах. Конечно, этот жалкий трус даже не выслушал Лизу, да это было и невозможно в подобных доспехах; он только пробормотал какой-то вздор на ломаном русском языке и удалился, спотыкаясь на каждом шагу и, повидимому, стараясь не дышать, насколько это было возможно. Я сам выслушал ее, и хотя утром температура упала...

7 апреля...

Плохо. Резкая слабость, рвота, озноб. Я вспомнил, что накануне отъезда зашел в палатку, где Лиза вскрывала зараженных грызунов (мы хотели взять с собой штаммы), и удивился, что она работает почти в темноте. Она помолчала, как всегда, когда я начинал говорить с ней в повышенном тоне, а потом ответила, что нет смысла, да и лень возиться с лампами, когда работы осталось самое большее на десять минут.

7 апреля...

Хотел пройти на станцию, чтобы вызвать к телефону начальника санотдела дивизии. Не тут-то было! Станция оцеплена, над зданием — черный флаг; у моего вагона — солдат с винтовкой, в мундире и высокой шапке, очень испуганный и босой. Я потребовал, чтобы он вызвал ко мне кого-нибудь из начальства, — молчит. Я пригрозил наганом — тарашит испуганные глаза, переступает босыми ногами, молчит.

7 апреля...

«Дорогой Андрей! Пишу тебе, к сожалению, без всякой уверенности, что ты получишь это письмо. Лиза заболела вчера, а сегодня положение настолько определилось, что диагноз почти не вызывает сомнений. Боюсь, что завтра придет и моя очередь — мы не разлучались последние дни. Как видишь, все сложилось далеко не так удачно, как хотелось бы, и виноват в этом я и никто другой. Не следовало брать ее с собой в такую ответственную и опасную экспедицию — не потому, что она моя жена, а потому, что она совершенно лишена той осторожности, которая у микробиологов входит в плоть и кровь с первых недель лабораторной работы. Поздно теперь сожалеть об этом. Тем не менее прошу тебя сообщить наркому, что всю вину за провал экспедиции я беру на себя. Мы не на родине. Мы в чужой стране — тем горше сознавать, что я не оправдал оказанного мне доверия. Не хочется, чтобы ты (и, разумеется, Таня) думали, что эту грустную, но, повидимому, неизбежную развязку, которую внезапно приготовила мне судьба, я встречаю с подавленной душой, измученной страхом. Разумеется, беско-

нчно жалко расставаться с жизнью, особенно теперь, когда я, наконец, отчетливо представил себе направление, по которому должна идти наука, чтобы приблизиться к разгадке рака. Тебе это может показаться странным, но я подвожу свой невольный итог с таким чувством, как будто все, что было сделано до сих пор,— это лишь подступы к настоящей работе. Я никогда не боялся смерти, может быть потому, что никогда и не думал о ней, но умереть в полной уверенности, что самое главное еще впереди, примириться с этим все-таки трудно. Жаль еще, что мы с тобой больше не увидимся и что я не смогу вновь и вновь порадоваться той завидной ясности твоей жизни, до которой мне всегда было очень далеко. А как хотелось бы встретиться, черт побери! Что делать! Не уверен даже, что до тебя дойдет этот дневник,— вероятнее всего, мои бумаги будут сожжены вместе с вагоном. Но если они сохранятся, прошу тебя, прочти внимательно, и непременно вместе с Таней, статью, которую я набросал прошлой ночью и вкладываю среди этих страниц. Это беглые, приближенные соображения, и на первый взгляд они, вероятно, покажутся парадоксальными. И все-таки я буду благодарен, если вы займетесь этим вопросом и попытаетесь проверить мою догадку. Это потребует известной подготовки, и если ты занят,— пусть это сделает Таня на память о безрассудном, но искренно любившем ее старшем брате. Может быть, ей поможет план опытов, довольно подробный, вы найдете его в моем наброске.

Так живо представились мне сейчас вы оба — твердые, чистые, точно созданные друг для друга. Все вместе — и мысли и чувства! Без обманутых надежд, без вынужденного отказа от себя, без унижений, отравивших мне молодые годы. А ведь думалось, что хоть теперь, с поседевшей головой, усталый, но еще энергично действующий в науке, я доберусь в конце концов до счастья спокойной жизни и свободной работы. Так нет же: женщина, которую я люблю и которая счастлива со мной, умирает в муках у меня на руках. А через два-три дня... Впрочем, довольно.

Мне кажется, что маме нужно сообщить, что я остался здесь на неопределенное время, во всяком случае до окончания войны. Может быть, упомянуть мельком, что я на особо важной, секретной работе? — тебе видней. Бедная, она привыкла беспокоиться обо мне.

Обнимаю тебя и Таню, всех друзей и товарищей, помнящих обо мне.

Твой Дмитрий.

Я успел рассказать о своей догадке очень милому, но, к сожалению, туповатому человеку. Кажется, он понял, в чем дело. Если удастся, я передам ему — еще не знаю, каким образом,— мою просьбу непременно повидаться с тобой».

ЭТО БЫЛО ВЧЕРА (Продолжение)

Не знаю почему, но именно с Рубакиным я особенно боялась встретиться после того, что случилось. Мы всегда были очень дружны, но мне казалось, что в предвоенные годы в его характере появилась неприятная сухость. «Стальной и немигающий» — так подшучивали над холодными догматиками, свято верящими лишь в непререкаемость своего безупречного, на первый взгляд, мышления. Оттенок этого слепого догматизма, этой не допускающей возражений и поэтому раздражавшей меня «святой принципиальности», подчас мелькал в Петре Николаевиче. Он больше нравился мне в молодости, когда, похожий чем-то на доброго лохматого пса, он врывался, как буря, в чужие лаборатории, со своей иронией, со своими сомнениями, в которых всегда было что-то живое.

...Мы встретились в институте, на людях, и нечего было рассчитывать, что он попытается хоть намекнуть, что сочувствует мне, взволнован, расстроен. Но я все-таки ждала, все-таки, разговаривая с ним, старалась побороть горькое чувство. Нет и нет! Ни слова, ни взгляда. «Мы на работе, и самое важное сейчас — разместить лаборатории так, чтобы плесневый грибок не заразил фаги. И не ждите от меня, пожалуйста, ничего другого».

Холодно поблескивали белые нити в поредевших волосах, и маленький чужой человек в туго подпоясанной гимнастерке был так же вежлив и сдержан со мной, как с другими.

Правда, прощаясь, он задержал мою руку в своей, и лицо — все еще круглое, румяное, но уже с большими мягкими складками у рта — потеплело. Но, может быть, мне это лишь показалось?

* * *

Лена Быстрова вернулась в Москву через несколько дней и бросилась ко мне прямо с вокзала, без звонка, не заезжая домой. Это было в воскресенье; я была еще в постели, и отец, с пышными, расчесанными усами, жалкими на похудевшем лице, только что изложил мне свои соображения, в которых главную роль играл все тот же Петька Строгов, выростивший на Амуре быка симментальской породы, а ныне занимающий весьма влиятельную должность в Москве...

Раздался звонок. Лена вошла на цыпочках, как входят к больному. Я уже почти не плакала последнее время, но, увидев ее — милую, взволнованную, бледную, с большой седой прядью над чистым высоким лбом, — не удержалась, заплакала. И Лена, обняв меня и бессвязно утешая, тоже не могла удержаться от слез.

— Нет, нет, это я просто так. Давно не виделись, — говорила она, вытирая глаза. — Я уверена, уверена, что все обойдется.

— Ты думаешь?

— Да, да. И Петя думает так же. Бог с тобой, да он места себе не находит,— испуганно сказала она, поняв по моему выражению, что я расстроена холодностью, с которой Петр Николаевич отнесся к моему несчастью.— Он в бешенстве. Я его таким еще в жизни никогда не видала. Он потрясен, и не только не отказывается, а наоборот, ищет выход и найдет, вот увидишь! Найдет непременно. Он скоро придет, он знает, что я у тебя. Ты побледнела? — спросила она, с удивлением глядя на меня своими широко расставленными глазами.— Ты не хочешь, чтобы он приезжал?

— Да что ты!

Лена поцеловала меня.

— Бедная, родная... Все будет хорошо,— быстро сказала она.— Или мы пойдем и скажем, чтобы нас тоже посадили, потому что мы так же виноваты, как и он. Да не смотри ты на меня такими глазами!

Рубакин приехал, потребовал, чтобы Лена немедленно отправлялась домой, потому что Катенька сидит на вещах и не знает, что делать. Потом проводил жену до машины и вернулся ко мне.

* * *

Это был разговор, после которого, как после шока, ко мне стало постепенно возвращаться сознание. И не в утешениях тут было дело — на утешения Петр Николаевич был как раз скуповат. Впервые за эти дни я услышала уверенный голос человека, который ни одной минуты не сомневался, что Андрей не совершил никакого, даже невольного, преступления.

— А если так,— сказал, жестко поджав губы, Рубакин,— следовательно, он должен быть и будет оправдан. Какие бы мы с вами предположения ни строили, для меня ясно, что это ложный донос и что следствие введено в заблуждение. Кем,— не знаю, может быть Скрыпаченко. Как-никак Андрей, и никто другой, заставил его пересчитать ступени. Ах, все-таки это было безумием,— с досадой, в которой сквозило невольное восхищение, сказал Петр Николаевич,— спустить с лестницы такого прохвоста, такую злопамятную скотину! И вы знаете, Татьяна, я думаю, что Кипарский прав

— То есть?

— Ничего бестактного не было в том, что он предложил вам присоединиться. И о вашем препарате он упомянул не случайно. Я не знаю, направлен ли этот удар против вас,— возможно, что и так. Но препарат — в сложном положении, это мне стало ясно уже на другой день после приезда в Москву. Вы думаете, что это положение упростилось после вашей победы над Норкроссом? Как раз наоборот. Так что это вовсе не так глупо, что Кипарский предложил вам поехать на фронт.

— Ничего не понимаю.

Петр Николаевич посмотрел на меня и, как маленькую, погладил по голове с доброй улыбкой.

— Ну хорошо, откинем догадки,— сказал он,— тем более что пока еще все это действительно только догадки. Давайте рассуждать от обратного: почему бы вам не поехать на фронт? Поездка займет не больше месяца. Что произойдет за это время в Москве? Передачи еще не разрешены, так?

— Да.

— Справки? Даю вам честное слово, что мы с Еленой будем звонить туда каждый день. И не только звонить, а надоедать, лезть к следователям, обивать пороги. Вы верите мне?

Взволнованный, решительный, маленький, лохматый, он метался из угла в угол, накручивая на палец клок седеющих волос и дергая себя с такой силой, как будто он, и никто другой, был виноват в том, что случилось с Андреем.

* * *

Конечно, при других обстоятельствах я бы не уехала из Москвы, а послала бы с Кипарским Виктора или Лену Быстрову. Институт только что вернулся из Казани, наш «филиал» необходимо было полностью перевести во флигель, пенициллиновый завод, несмотря на все мои требования и даже угрозы, плохо снабжался сахарами — словом, дело требовало неустанного наблюдения. Правда, нам удалось многое за последнее время.

Лаборатории, производившие пенициллин, были к тому времени созданы на эндокринных заводах в Баку и Ташкенте. Это были наши тыловые ученики. Мы передали плесневый грибок в военно-санитарные управления, и он множился изо дня в день, покрывая золотисто-желтым налетом поверхность питательной среды в десятках фронтовых СЭЛов. И все же в нашей работе попрежнему было что-то кустарное, самодельное — по двум причинам, которые, повидимому, определяли друг друга. Одна из них станет понятна, если представить себе длинный ряд тяжело нагруженных товарных вагонов, который тащит, пыхтя, легонький пригородный паровоз. Теперь, когда Институт биохимии вернулся в Москву, наши вагоны можно было со спокойной совестью прицепить к мощному паровозу, который вел опытный и в практике и в теории машинист. Это был, разумеется, Петр Николаевич Рубакин. Другая причина заключалась в том, что, несмотря на клиническое признание, несмотря на дуэль с Норкроссом (о которой почему-то умолчал даже «Медицинский работник»), тень недоверия попрежнему лежала на пенициллине-крустозине ВИЭМ. Забавно, что это недоверие сказывалось не только в наркомздравских кругах, но и на черном рынке, где канадский пенициллин стоил вдвое дороже.

БОЛЬШОЕ П

Вероятно, впечатление слаженности этой поездки соединилось в моем сознании с тем чувством близости несомненной, определившейся победы, которое окрашивало все чувства и дела 1944 года. Теперь, вспоминая о бригаде Кипарского, я вижу, что мы работали трудно, преодолевая преграды, которые можно было обойти, если бы все участники нашей группы, начиная с главного хирурга, думали только о науке. И все-таки поездка удалась, более того, оставила след в истории нашей полевой хирургии.

Задача была сложная: проверить возможность применения новых препаратов (и в том числе пенициллина) в условиях фронта, непосредственно после ранения, а потом на всем пути следования раненых в тыл.

Большое П стояло на сигнальной карте, которая приклеивалась к истории болезни, и эта ничем не замечательная буква мгновенно удваивала внимание врачей, санитаров, сестер. Равнодушных не было. Одни с недоверием, другие с иронией, третьи с надеждой подходили к раненым, над которыми возникал этот загадочный знак. Загадка была простая: П — пенициллин, раненый лечится пенициллином, дважды в сутки под кожу вводится препарат из плесени, о котором говорят так много.

...Армия есть армия. И когда к поразительным фактам, которые десятки врачей и сестер видят своими глазами, присоединяется еще один, а именно, что этот препарат — хорош он или плох — привез на фронт сам главный хирург Красной Армии генерал-полковник медицинской службы Иван Аникиныч Кипарский, — буква П вырастала в прописную, и пенициллин получал то самое безусловное признание, которого ему все еще не хватало.

Впрочем, высокое служебное положение играло в этом деле несравненно меньшую роль, чем сам главный хирург с его острым взглядом маленьких глазок, с его слуховым аппаратом, который он ежеминутно подвинчивал, подкручивал, подправлял; с его потайными мыслями, о которых никто, кажется, не подозревал. Одна из них, несомненно, касается меня и, видимо, доставляет ему удовольствие; иначе, встречаясь со мной, он не смотрел бы на меня так победоносно-ласково из-под старческих косматых бровей.

Конечно, меньше всего мое участие в бригаде Кипарского похоже на заранее обдуманый маневр; это был шаг естественный, обусловленный — пришло время принять на вооружение новое могучее средство скорейшего возвращения раненых в строй, и это нужно было сделать, перешагнув через десятки больших и малых преград, которые воздвигали перед ним «призраки и тени». А то, что я помогла успеху этого огромного дела, и то, что этот успех был нужен мне в ту тяжелую пору, — это

было таким отдаленным, незаметным результатом нашей поездки, о котором, кроме меня, никто не думал.

Мы едем в автобусе по дорогам Литвы мимо светлых озер. Мы — это я и Селезнев, старый хирург с длинными казацкими усами, прочитавший на одном из наших «четвергов» ту самую историю, о которой Кипарский сказал, что ее нужно высечь золотыми буквами на мраморном обелиске. Круглолицые румяные женщины, под которыми слишком хрупкими кажутся велосипеды, то и дело попадают нам навстречу. Высокие распятия — на въездах в маленькие чистые города. На улицах Поневежиса — молодые ксендзы в изящных сутанах, в начищенных черных ботинках, улыбающиеся, окруженные нарядными дамами. Селезнев серьезно утверждает, что это «интересантки» и что так называются женщины, которых ксендзы готовят к религиозному испытанию. Чужой мир, в котором очень странными, должно быть, кажутся запыленные, усталые люди в автобусе, несомненно штатские, впервые надевшие военную форму. Пенициллин — с нами, и время от времени Селезнев поглядывает на него, как на живое существо — неуверенно, но с надеждой.

* * *

Мы организуем лаборатории в селах, читаем лекции о новом препарате для врачей и больных. Путь следования раненых от фронта до Двинска разбит на три этапа, и на каждом промежуточном пункте большое П отбирает раненых в отдельную палату и заставляет врачей всех специальностей изучать картину болезни. Сам главный хирург со своим немногочисленным штабом сидит в Двинске. Это конечный пункт, где раненые грузятся в санитарные поезда, направляющиеся прямо в Москву. Вторая группа обосновалась в маленьком литовском городке, где базируется санитарно-эпидемиологическая лаборатория фронта. А мы поехали дальше, туда, где можно было применить препарат в первые часы после ранения, — в полевой госпиталь недалеко от линии фронта.

* * *

Конференция в Шауляе, на которой я должна выступить с предварительным отчетом, очень ответственным, потому что нам удалось доказать — это ново, — что гнойные заражения ран нужно лечить большими дозами, примерно такими же, какие я вводила Володе. Отчет готов, не хватает только «иллюстраций», и Селезнев, пользуясь старинным знакомством с дивизионным врачом, добывает художника — тоненького, подтянутого юношу в орденах, симпатичного и, главное, понимающего меня с полуслова.

— Вот наши таблицы, диаграммы, температурные кривые, нужно просто оформить их, вы понимаете?

— Будет сделано!

Приложив руку к козырьку, художник делает полный оборот и уходит, унося наши отчеты.

Накануне конференции он возвращается — такой же подтянутый, в чистом подворотничке, очень серьезный. Один за другим он развешивает перед нами плакаты, и у меня темнеет в глазах и на мгновение явственно останавливается сердце: танки с грозно нацеленными орудиями двигаются среди температурных кривых, самолеты, врезаясь в диаграммы, идут на таран, разрывы бомб бросают страшный отсвет на итоги концентрации пенициллина в крови и стройные колонны цифр атакуют врага в красивом разноцветном дыму.

Мы горячо поблагодарили художника, который был очень доволен произведенным впечатлением, и — делать нечего — отправились в Шауляй с этими картинками, впрочем имевшими на конференции шумный успех.

ПРИХОДИТСЯ ТОРОПИТЬСЯ

Все было бы хорошо, если бы главный хирург не мучил нас докладами, в которых не было никакой нужды и которые отнимали дорогое время. Причем доклады эти нужно было представлять непременно в письменном виде. Главный хирург за свою долгую жизнь успел заметить существенную разницу между словом письменным и устным. Уж не по этой ли причине его аппарат неизменно портился, когда собеседник высказывал серьезное, ответственное мнение?

— Вот проклятая машина! Повторите, пожалуйста! Нет, не слышу, — и Кипарский протягивал собеседнику карандаш и блокнот. Записочка прочитывалась, пряталась, и горе тому, кто, совершенно забыв о том, что его мнение зафиксировано, высказывал противоположное через день или год. Главный хирург извлекал из своих многочисленных карманов соответствующую записочку, и уличенный гражданин, независимо от своего положения в обществе, выслушивал краткое, но выразительное наставление.

Отчитываться приходилось в Двинске, и Селезнев каждый раз любезно предлагал поехать к старику вместо меня. Но, к сожалению, это было невозможно. Бог весть почему, Кипарский вообразил, что этот скромный человек, работавший энергично, хотя и без шума, — «отъявленный бездельник», а к бездельникам он чувствовал ненависть, от которой у него, по его словам, начиналось сердцебиение. В конце июля, после тысячи отговорок, я, наконец, собралась к старику и, проведя у него

интересный и утомительный день, поехала в Шилово, где работала одна из наших наблюдательных групп.

Большой сортировочный госпиталь, расположенный в старинном рыцарском замке, был переполнен, и я сразу же стала помогать товарищам — просматривать истории болезней и отбирать среди них те, на которых стоял наш сигнальный «пенициллиновый знак». Меня вызвали в палату — случай был интересный: лейтенант, у которого осколком поранило палец, отказался от противостолбнячной сыворотки, заболел столбняком, и теперь каждые три часа ему вводили пенициллин в спинно-мозговой канал, почти без всякой надежды на спасение.

Столбнячные больные — самые тяжелые. Непроизвольные судороги выбрасывают в стороны то руки, то ноги, перекошенное лицо мелко дрожит и вдруг начинает мучительно гримасничать и кривляться. От человека остаются только глаза — усталые, застывающие, молящие о спасении.

Расстроенная, вернулась я к дежурному врачу, у которого просматривала сигнальные карты. Только что привезли новую партию раненых, машина с ревом ворвалась во двор, и слышно было, как глухо чавкала под колесами непроходимая грязь. Невзорвавшаяся бомба лежала недалеко от крыльца. Разворачиваться было неудобно, и шофер ругал эту бомбу, и дождь, зарядивший с утра, и каких-то бандитов, обстрелявших под самым Шиловом санитарные машины.

...Может быть, я уснула на минуту, потому что пришлось сделать усилие, чтобы вернуться к себе, к этому закутку, отгороженному от большого, с узкими окнами, каменного зала. «Летучая мышь» освещала маленький колченогий стол, на котором я листала истории болезни. Одна из них ничем, кажется, не отличающаяся от прочих, была в моих руках, и я еще, должно быть, не совсем проснулась, потому что смотрела на нее, ничего не понимая. Фамилия раненого была Репнин, имя — Данила Степаныч. Ничего особенного не было в этом совпадении. Но так же, как мой старый друг, с которым я некогда работала в зерносовхозе, он был майором танковых войск. Так же, как Репнин, он был ранен не впервые — следы тяжелого ранения разрывной пулей в спину были обнаружены при осмотре, а в анамнезе упоминалась операция, которую в 1929 году сделал Даниле Степанычу знаменитый ростовский хирург.

Я встала и вышла на двор — темный, огороженный каменной стеной, полуразвалившийся и заросший редкими деревцами. На дворе было почему-то светло, может быть от стремительных, окрашенных невидимой луной облаков. Санитары несли раненого по узеньким дощечкам, проложенным от грузовика к каменному сараю, в котором был устроен приемный покой. Времянка жарко топилась в сарае, и девушка лет двадцати трех — врач, сопровождавший раненых, — сушила шинель над огнем. Я показала ей историю болезни; она сказала, что да, помнит, —

это из разбившихся, и что его еще привезут, если станет спокойнее на дороге.

— Как из разбившихся?

— А вы разве не слышали? Под Клайпедой разбился наш самолет, человек пятнадцать погибли, все офицеры. Вы из группы Кипарского? — вдруг спросила она с любопытством.

— Да. Вы привезли его?

— Нет, не привезли. Дорога простреливается, а ведь тяжело раненных быстро не повезешь. Говорят, какие-то бандиты засели, немцев-то здесь уже нет. Ну, и пришлось повернуть! А истории болезней я захватила с собой.

— А он... вы смотрели его?

— Нет.

Я поблагодарила и пошла искать своего шофера.

* * *

Прошел час, прежде чем мы тронулись в путь,— и это был бесконечно тянувшийся час, потому что с тех пор, как я поняла, что должна не теряя ни одной минуты ехать к Репнину, все стало происходить в тысячу раз медленнее, чем прежде. Медленно делал что-то с машиной шофер на дворе, ушла за инструментами и тысячу лет не возвращалась сестра. Среди только что привезенных раненых нашелся офицер, летевший вместе с Данилой Степанычем, меня провели к нему, и он долго рассказывал о том, как произошла катастрофа.

— Очнулся — лежу грудью на спинке сиденья, повезло: смягчила удар. Земля рядом, и, вы не поверите, вижу, как по травинке букашка ползет. Поднял голову — самолет горит, людей выбросило, только один, вижу, идет весь в крови. Я ему кричу: «Репнин, ложись!» Не слышит. Я снова: «Ложись, я тебе говорю!» Послушался, лег... Притащили нас потом в избу и давай, представьте себе, обливает прямо из шлангов. Боль невыносимая, все ругаются, стонут, грозят. Сосчитал я людей,— нет Репнина. Спросил у доктора, он вынул из кармана ордена, партбилет и положил на стол, так бережно, осторожно. Ну, думаю, все. И вдруг вижу — несут.

Он рассказывал неторопливо, подробно, радуясь, что все так прекрасно обошлось для него, и не замечая, что мне тяжело его слушать.

* * *

Это был почерневший от дыма бревенчатый дом с выбитыми окнами, выходившими в старый яблоневый сад. «Белегт» (занято) было написано на двери; женщина в подоткнутой юбке, стоя на крыльце, старательно смывала мокрой тряпкой острые буквы, и я вспомнила, что на всех домах, мимо которых мы

проезжали, было написано: «Белегт», «Белегт». Должно быть, немцы недавно ушли из этой деревни.

Забора не было, мы въехали прямо в сад, переломанный, с жалкими торчащими ветвями. Водитель сказал: «Кажется, здесь», и толстый военврач выбежал на крыльцо и вытянулся, приняв меня за начальство.

— Майор Репнин? Да, у нас, — сказал он.

За дверью слышались голоса, но все смолкло, когда я вошла и, ища Данилу Степаныча глазами, остановилась у порога. Он полусидел, откинувшись на подушку, бледный, с забинтованной головой и не очень удивился, увидев меня, хотя узнал с первого взгляда.

— Татьяна? — слабым голосом спросил он. — Может ли быть?

Я подседа к нему.

— Она самая, Данила Степаныч.

— Вот видите, я же говорил, что мы еще встретимся. Помните, когда заходил к вам в Москве?

— Помню, Данила Степаныч. Ну, как вы?

— Хорошо. А теперь, когда вы приехали, — еще лучше. Татьяна, а может быть, это не вы?

— Я.

— Ну, тогда еще повоюем. А то лежишь, и все думается: что, брат, кажется, худо? Гоняется, костлявая, и, кажется, догнала.

В комнате было душно, солнце ярко светило сквозь разбитые окна, и над Данилой Степанычем жужжали блестящие черные мухи. Я прогнала их, но они снова вернулись.

Раненые давно не смотрели на нас, а давешний толстый врач деликатно отвернулся, хотя ему хотелось — я это видела — поговорить со мной.

— Вот странно, Татьяна, вы явились, и я сразу почувствовал себя виноватым — не перед вами, конечно, а перед Машей. Но я, честное слово, не виноват. Если бы это зависело от меня, я бы ни за что не разбился. Тем более что это мне и не положено. Ведь я, как-никак, танкист, а не летчик.

Лучше бы он не шутил, лучше бы не улыбался так робко! Я тоже улыбнулась и встала, чтобы поговорить с врачом.

* * *

Данила Степаныч не вскрикнул, не застонал, когда солдаты переносили его в машину — не санитарную, а обыкновенную грузовую, покрытую натянутым на каркас полотном, в котором было слюдяное окошко. И потом, когда мы выехали и машину стало подбрасывать на неровных, уложенных из хвоста, гатях, он молчал и только крепко сжимал мою руку.

— Вы расскажете ей, Татьяна? — Он сказал это громко и повторил, чтобы я не подумала, что он бредит.

— Кому?

— Машеньке.

— Вы ей сами расскажете.

— Хорошо, я сам. Но и вы.

— Непременно. Вы увидите ее прежде меня.

— Конечно. Но все-таки. Вы поможете ей?

— Полно, Данила Степаныч.

— И детям. Боже мой, детям.

Он сжал зубы, но не заплакал, а только скорбно покачал головой.

— Ладно. Где Андрей Дмитрич? На фронте?

Я ответила:

— Да.

— Я тогда в Москве его статью прочитал и потом все перелистывал газетку — не встречу ли его имени снова.

— Он не писал последнее время.

— Не писал? Что вы так пригорюнились, Татьяна? Расскажите мне что-нибудь.

— Хорошо, Данила Степаныч.

Я сидела подле него на каких-то узлах, которые врач просил передать в санпоезд, и говорила, говорила без конца, — лишь бы он слушал меня, лишь бы не искажалось от боли белое в наступившем полумраке лицо.

Все темнее становилось в машине, должно быть мы въехали в лёс или наступил вечер, хотя трудно было представить, что стемнело так быстро. Наверное, я задремала, потому что равномерный грохот мотора превратился в шум воды, которая свивалась в закипающие белые бревна и катила их на скалы одно за другим. Это была Анзерка, Крутицкий порог, и Андрей, расстроенный, усталый, шел к высокому берегу, а я бежала за ним. «Андрей, подожди!» Но он уходил, не оборачиваясь, опустив голову, по каменной тропинке, к варницам, где виднелся навес на столбах и под навесом вспыхивало дымное пламя. Потом все смешалось, и это уже не Андрей, а молодой казах смотрел на меня, сжимая побелевшую челюсть. И другие раненые, поднимаясь на койках, смотрели мне вслед — не было ни одного, который не проводил бы меня укоризненным взглядом. И я шла все быстрее, потом побежала, схватившись руками за голову, и снова увидела вдалеке между коек Андрея, который, наконец, обернулся ко мне.

Нужно было проснуться немедленно, сию же минуту, чтобы не услышать от него что-то страшное, непоправимое — то, что уже начали выговаривать дрогнувшие губы — и я заставила себя открыть глаза, унимая сердце, вся в холодном поту.

Репнин лежал, закинув голову, и сразу открыл заблестевшие глаза, точно ждал моего пробуждения.

— Проснулась, Татьяна? Я не хотел будить вас.

— Я долго спала?

— Не знаю, кажется долго.

— Ну, как вы, Данила Степаныч?

— Хорошо.— Он улыбнулся. Машину подбросило, и он прикусил губу.

— Очень больно?

— Нет. Вы говорите, ладно? Возьмите опять мою руку. Ох, сколько я вам наделал хлопот!

И я снова начала говорить — не знаю, о чем, все равно, о чем,— лишь бы кончилась, наконец, эта ночь, этот сумрак машины с убегающим, качающимся в мутном окошечке лесом. Ветки стали хлестать по кузову, как будто кто-то хотел остановить нас длинными зелеными руками; и я говорила теперь, стараясь заглушить эти хлещущие, рвущиеся и трещающие звуки.

Слабый свет окрасил слюдяное окошечко. Это значит, что светает? Или мы проехали через лес? Машина остановилась, водитель соскочил и, подойдя к кузову, поднял полотно.

— Ну, как вы там?

Я спросила, почему мы остановились, и он ответил с мягким сожалением:

— Придется подождать.

Была еще ночь, но как бы дрогнувшая, отступившая перед возникающим откуда-то издалека светом зари. Мы выехали из леса, но впереди снова синел лес, и на дороге, уходящей в этот лес, окутанный пеленою тумана, в два и три ряда стояли машины; их было много, и они стояли так неподвижно-мертво, точно на свете не было силы, которая заставила бы их тронуться с места. Не знаю, что это была за часть — танки, но и обыкновенные грузовики, на которых, прикрытые брезентом, стояли какие-то странные орудия, похожие на опрокинутые книжные полки. Людей не было видно, но когда я подошла поближе, на обочинах, поросших травой, показались смутные, неотчетливые фигуры танкистов; они лежали и сидели в траве, и у них был ужаснувший меня, ничего не ожидающий вид.

Я вернулась к Репнину, сказала, что водитель хотел объехать военную часть, стоявшую на дороге, но я не позволила, — боюсь, растрясет. «До Шилова уже недалеко», — так я сказала ему, — мы, конечно, поспеем к утру, и даже лучше, если придется постоять, потому что можно впрыснуть камфару и вообще отдохнуть от тряской дороги.

* * *

Это было странно, но никто не удивился, не принял меня за сумасшедшую, когда я спросила, скоро ли часть отправится дальше и нельзя ли, чтобы она отправилась скоро. Коротенький загорелый танкист сказал:

— А вы сами кто будете?

Я объяснила, что врач и везу в грузовике раненого офицера. Он в тяжелом состоянии, нуждается в срочной операции, нельзя ли поэтому как-нибудь пропустить нашу машину? Или, может быть, можно разрешить перенести его в головную машину и на ней доставить до станции Шилово, через которую в восьмом часу утра пройдет санитарный поезд?

Танкист покачал головой, и те, что лежали в траве и поднялись, когда я подошла, тоже покачали, как люди, которые, если бы даже и очень хотели, все равно ничем не могли мне помочь.

— Конечно, возможно, что двинемся вскоре, да ведь кто ж его знает. А перенести — что за толк? Если головная пойдет — и мы за ней. Там с мостом катавасия.

Подошли другие солдаты, и я снова объяснила, почему к утру нам нужно поспеть в Шилово, и коротенький танкист помог мне рассказывать и даже кое-что рассказал за меня.

— Подполковник спит? — спросил он, оглянувшись и найдя в толпе того, кто мог ответить на этот вопрос. Из толпы сказали, что нет. — Тогда проводи ее, Пчельников, может, он и придумает что-нибудь. Едва ли, конечно.

* * *

Смуглый, широкоскулый офицер в фуражке, сдвинутой на затылок, встал и широко шагнул мне навстречу. Он выслушал меня внимательно, но с каким-то недоуменным выражением, всматриваясь и, кажется, сомневаясь, верить глазам или нет.

— Татьяна Петровна? — вдруг спросил он.

— Вы знаете меня?

— Конечно же, боже мой! Я в госпитале на Беговой лежал, но вы меня, без сомнения, не помните. Баруздин. Вы меня лечили.

Нужно было хоть из вежливости сказать, что я помню его, хотя на Беговой под моим наблюдением было по меньшей мере пятьдесят человек, и я сказала, хотя не было сил притворяться:

— Конечно, помню. Как хорошо, что я встретила вас, если бы вы только знали!

И я обеими руками взяла и крепко прижала к груди его руку.

— Успокойтесь, Татьяна Петровна. Куда вы едете и чем я могу вам помочь?

— Я везу раненого. Он танкист, как и вы, он — майор, фамилия Репин. Не обращайтесь внимания, что я плачу, это скоро пройдет. Вы понимаете, он разбился и мало надежды, потому что сердце и сейчас уже работает плохо.

У меня язык почему-то ворочался с трудом и раза два захотелось засмеяться, что было уже совсем плохо, потому что я помнила еще со студенческих лет, что смех пополам со слезами называется истерией.

— Нужно доставить его в Шилово.— Это, кажется, было сказано твердо.— В восьмом часу через Шилово пройдет санитарный поезд. Мы могли бы успеть, если бы не ваши машины. Ждать нельзя, может быть и теперь уже поздно! Это счастье, что я встретила вас.

* * *

Забыла сказать, что, когда я уходила, Репнин попросил меня вынести его из машины.

— Ведь неизвестно же, правда, сколько мы простои́м?

Это было сложно, потому что еще в селе койку прочно прикрепили к кузову, и пришлось терпеливо развязывать затянувшиеся в дороге узлы. Но, должно быть, Даниле Степанычу очень хотелось полежать на поляне, потому что, когда мы вынесли его и я хотела отстранить коснувшиеся его лица травинки, он покачал головой и сказал чуть слышно:

— Не надо.

...Солнце, поднимавшееся за лесом, нежно скользнуло по заблестевшей поляне, и я издалека показала подполковнику койку, чуть заметную среди высокой травы.

— Вижу, вижу.— Я не поспевала за ним.— Ничего, обойдется. А насчет дороги — будьте покойны! До Шилова через лес не более пяти километров. В крайнем случае мои ребята перетащат вашего раненого на руках, вот и вся недолга.

Мы подошли, и он вдруг замолчал, остановившись в двух шагах от Данилы Степаныча.

— Ничего, он не спит. Данила Степаныч, посмотрите, кого я привела к вам. Это подполковник Баруздин, мой пациент, я его лечила.

Репнин лежал, вытянувшись, закинув под голову здоровую руку.

— Это чудо, что мы встретились, настоящее чудо. Рано утром мы будем в Шилове, а там — в санитарный поезд... Почему вы молчите?

Опять не ответил. Улыбка чуть тронула губы, и спокойное, усталое выражение остановилось на тонком лице.

— Татьяна Петровна,— негромко сказал подполковник. Он опустил голову. Водитель, подойдя, тоже опустил голову, и оба почему-то сняли фуражки.

— Да что вы! Нет, нет. Это просто обморок. Данила Степаныч, не пугайте меня. Почему вы молчите?

* * *

А утром дорога свободна, и я везу его в Шилово. Приходят солдаты с носилками, и раненые, лежащие на дворе, провожают носилки тревожным и сочувственным взглядом. Идти недалеко — два шага, и уже видны невысокие могильные холмики

среди расщепленных сосен в черном обожженном лесу. Военком идет за покойником, да старый друг — не мать, не жена, — который принял его последний вздох, закрыл глаза, сложил остывшие руки. Это все, что подарила ему судьба. Могила готова, опущен, зарыт. Зеленая ветка воткнута в маленький холм — быть может, последняя в этом черном, обугленном, мертвом лесу.

В ПУСТЫНЕ

Через несколько дней после возвращения в Москву мне удалось попасть к следователю, которому было поручено дело Андрея, и он сказал, что письмо академика Никольского и других, «о котором вы, без сомнения, знаете», получено и будет принято во внимание.

— Я очень рад, — он был очень вежлив, — что работа Андрея Дмитриевича получила столь высокую оценку со стороны видных ученых. — Он предложил мне папиросу и, когда я отказалась, сам неторопливо закурил. — Правда, это обстоятельство не имеет никакого отношения к его делу, но тем не менее...

Я спросила, когда будет кончено следствие, и он ответил, тоже очень вежливо, что нет оснований полагать, что следствие не уложится в срок, установленный законом.

— Передачи разрешены?

— Да.

— Переписка?

— Тоже.

Я спросила, можно ли в ближайшее время рассчитывать на свиданье, и он ответил, что «ближайшее время — понятие неопределенное», но что если следствие закончится в так называемое «ближайшее время», то вскоре последует и свидание... Злая ирония промелькнула в последних словах, и мне на мгновение стало страшно, что эта встреча со следователем, добиться которой было так тяжело, даже самым отдаленным образом не касается того, что произошло с Андреем, и представляет собою в сущности просто какую-то постыдную пустую игру. Этого не могло быть — и все-таки я ушла от следователя подавленная, с испуганно сжавшимся сердцем.

* * *

Меня радостно встретили в институте, точнее сказать в лаборатории, потому что в институте за годы эвакуации появилось немало новых сотрудников, и почему бы они, собственно говоря, стали радостно встречать человека, которого они совершенно не знали? Что касается старых... Какая-то неуловимая неловкость подчас мелькала в отношениях, испытанных го-

дами,— то принужденное желание подбодрить, то обижавшая меня сдержанность, совершенно напрасная, потому что я ни у кого не искала утешения. Так было первые два месяца после возвращения с фронта, когда ощущение бесспорной удачи было еще свежо и ощущалось всеми. Ученый совет Наркомздрава выслушал и единодушно одобрил наши отчеты. В «Медработнике» появилась большая статья, и хотя вся заслуга в распространении нового могучего средства приписывалась академику Кипарскому — и наша лаборатория упоминалась в уважительном тоне. Правда, мне не казалось необходимым, отдавая должное полевой хирургии, с такой беглой снисходительностью отзываться о работе нашей лаборатории. Но Рубакин сказал, что «все идет нормально» и что было бы даже «замечательно нормально», как говорит наш воинственный завхоз Кочергин, если бы с отчетом о поездке выступил в печати сам главный хирург.

Желание его исполнилось: не прошло и двух-трех недель, как Кипарский выпустил свои знаменитые «Письма о пенициллине...»

Но вот потускнели первые впечатления удачи, и в один далеко не прекрасный день на меня пахнуло не скажу холодом, но тем непередаваемым чувством пустоты, с которым я познакомилась в те дни, когда мне впервые пришлось задуматься над общественным значением телефонного аппарата. Правда, кое-кто еще продолжал звонить из Наркомздрава, из Фармакологического комитета, но из института, кроме самых ближайших сотрудников, мне больше никто не звонил. Чувство пустоты шло оттуда, из этого дома, в котором я проработала двадцать лет и в котором всегда была сама собой, без искусственности, без напряжения. Теперь наступила пора этой искусственности, этого напряжения. Что вдруг заставило нашего «замечательно нормального» Кочергина, всегда относившегося ко мне с нескрываемым, даже немного глуповатым, почтением, пробормотать что-то невнятное и торопливо пройти мимо меня с опущенной головой? Что принудило Зубкова, умного, острого и, в общем, кажется, вполне порядочного человека, любившего рассказывать о том, как ему с моей помощью удалось «найти себя» в биохимии (он был паразитологом), — без всякого повода, грубо отказаться от работы, которую я поручила ему неделю назад? Точно надо мною возник невидимый знак, заставлявший одних обходить меня на почтительном расстоянии, а других — относиться ко мне с необъяснимым предубеждением и даже, может быть, страхом.

Глухая борьба шла в институте, доносясь до меня то знаменательным отсутствием моего имени в официальных отчетах, то обидами, которые терпели из-за меня Виктор Мерзляков, Коломнин, Катя Димант — сотрудники, давно ставшие моими друзьями. Рубакин вдруг появился с забинтованной правой

рукой, и Катя шепнула мне, что он разбил руку, ударив ею по столу на заседании парткома. Как случилось, что Петр Николаевич, всегда иронически-сдержанный, никогда не повышавший голоса, вышел из себя и потерял прославившее его равновесие? Не знаю. Он и сам не говорил и запретил Лене говорить об этом со мною. Но разговор на парткоме шел обо мне. Партком на две трети состоял из новых людей, и не было ничего невозможного в том, что они сомневались в необходимости пребывания в партии Татьяны Петровны Власенковой, которая скрыла от соответствующих органов преступную деятельность своего супруга.

* * *

Было уже поздно, и, когда раздался звонок, я подумала, что это кто-нибудь из соседей, хотя соседи в последнее время заходили все реже и реже. Отец открыл дверь, в передней слышался женский голос. Я вышла и увидела Глафиру Сергеевну, очень располневшую, в темном платье, без шляпы. Она держала какой-то сверток, перевязанный ленточкой, должно быть из магазина, и, точно испугавшись меня, поспешно положила его на подзеркальник.

— Не нужно смотреть на меня такими глазами, а то я могу уйти,— быстро сказала она.— И будет жалко и вам и мне. Мне — потому, что надо же хоть раз в жизни сделать доброе дело, а вам... Ну, это неизвестно, может быть, я еще ничего не скажу.

Я пригласила ее зайти. Мы сели в столовой, и, должно быть, я все еще продолжала смотреть на нее с изумлением, потому что она сама вдруг взглянула мне прямо в лицо. У нее в глазах всегда было что-то неподвижное, мрачное, но теперь этим мрачным огнем было озарено все погрубевшее лицо с тяжелыми складками на подбородке, с опустившимися углами губ, как у человека, привыкшего плакать.

— Это ваш отец? — вдруг спросила она. (Отец вошел и вышел.)— Я помню его еще по Лопяхину. У нас ведь в Лопяхине лавка была, и он одно время служил в этой лавке. Моей мачехе — она вела дело — пришло в голову, чтобы в нашей лавке, как в Москве у Мюра, швейцар открывал покупателям двери. И вот ваш отец, на удивление лопяхинцам, одно время стоял у дверей и, кажется, был очень доволен. А потом он, помнится, что-то сделал... Да, вспомнила: пропил ливрею,— сказала она со смехом.— И бесследно пропал.

— Глафира Петровна, простите, я устала, у меня был очень тяжелый день. И если вы пришли для того, чтобы...

Она перебила меня:

— Нет, нет. Я знаю, вы думаете, что я самый плохой человек на земле. Это верно. Но мне, видите ли, было трудно понять, что я плохой человек, а ведь это само по себе доказывает,

что не такой уж плохой... Татьяна Петровна, дайте мне чашку чаю,— вдруг попросила она,— а то я сегодня с утра хожу по Москве. Вот в лимитном, например, купила шелку на платье,— думала, станет легче,— это у меня прежде бывало. Нет, не стало.

Я пошла за чаем и, вернувшись, увидела, что она сидит, подняв голову, с закрытыми глазами.

— Да, чтобы не забыть! У вас давно не было писем от Мити?

— Вовсе не было, только с дороги.

— Тогда нужно узнать, вот только не знаю, у кого. С ним что-то неладно.

— Как неладно? Что вы хотите сказать?

— Бог с вами,— испуганно сказала Глафира Сергеевна,— вы побелели. Ничего особенного. Просто как-то между прочим *он*...— Это «он» было произнесено с ударением, и я поняла, что она говорит о Крамове.— *Он* сказал, правда неопределенно, что там в экспедиции Митиной что-то случилось. Я тогда же решила непременно вам сообщить, чтобы вы разузнали. Я беспокоюсь,— прибавила она просто.— Да и вообще я ведь все-таки привязана к вашей семье. Ничто в жизни не проходит бесследно.

Глафира Сергеевна выпила чай и с сомнением поглядела на хлеб. Потом взяла ломтик и на него тоже посмотрела с сомнением, точно не знала, сумеет одолеть его или нет.

— Но я почему-то думаю, что с Митей все будет прекрасно. Он любит жизнь, он счастливец, и в сущности ему не повезло только со мной. Правда, крупно не повезло. Но он справился. А *новая* его — он мне рассказывал — совсем другая. Ей, кроме любви, ничего не надо. Простите, что я так много болтаю,— прибавила она с изяществом, напомнившим мне былую Глафиру.— Я ведь всегда одна и всегда молчу, с *моим* не наговоришься. Да, вот теперь о нем. Я уж не знаю, чего вы там не поладили,— сказала она, небрежно оглянувшись, но в самой этой небрежности было что-то осторожное, страшное, точно она думала, что не только я, еще кто-то слышит ее и следит за каждым ее движением,— но он вас ненавидит. Вот говорят, что нужно уметь любить,— я-то никогда не умела,— добавила она,— но по нему видно, что нужно уметь и ненавидеть. И что ни год, то пуще, особенно после того, как вы над ним посмеялись.

— Когда?

— Да вот, когда приезжал к нам этот, не помню фамилии, английский ученый. Он ведь был у нас, да какой-то оказался чудак, то есть с точки зрения Валентина Сергеевича. А может быть, просто хороший? Это ведь карта была — англичанин-то, и козырная, а вот поди ж ты, вы ее побили. На всякого мудреца довольно простоты,— сказала она, улыбнувшись.— Мне

иногда даже приходило в голову, что вы и вовсе не подозреваете обо всей этой тонкой игре. Вы подозревали?

— Не подозревала, а прекрасно знала и боролась сколько могла. И не без успеха.

— Нет, без успеха,— сказала Глафира Сергеевна.— Вы его еще не знаете. Вам только одно может помочь — его смерть, а иначе он все равно добьется, уж не знаю чего — унижения, уничтожения, а только тоже смерти, не физической, так душевной.

Я посмотрела на нее, и мне стало страшно: так равнодушно говорила она о человеке, который был — или я ошибалась? — ее мужем, то есть самым близким человеком на свете.

— Я ведь к вам не просто так пришла, а по делу. Поймите, у меня написано.— Она расстегнула сумочку и достала блокнот.— Первое — Митя. Теперь второе. Вы думаете, может быть, что этот удар — я имею в виду арест Андрея — направлен против него, то есть, что хотят уничтожить его? Нет, вас. То есть, разумеется, и его, но это не обязательно и вообще попутно. Что вы смотрите на меня? В здравом уме и твердой памяти. И все, что я вам говорю, хотя на первый взгляд и бессвязно, но на самом деле — обдуманно. И тщательно и давным-давно, еще в тот день, когда я узнала, что его посадили. Ох, я взвилась в этот день! — сказала она, подняв брови с печальным и удивленным выражением.— Сама не ожидала, честное слово. Вы знаете, Татьяна Петровна, живого во мне немного осталось, но это взяло меня за живое. Правда, еще в прошлом году, когда у него в институте была эта история с сыпным тифом, я еще тогда подумала, что едва ли они не воспользуются этой историей.

— Кто они?

— Ну, кто? Скрыпаченко, конечно,— сказала Глафира Сергеевна на этот раз торопливо, точно боясь, что кто-то помешает ей договорить до конца,— и Крупенский и Мелкова. Но тогда, повидимому, материала было маловато.

— Какого материала?

Она улыбнулась, но глаза остались неподвижно-мрачными на желтом отеком лице.

— Материала для следствия,— сказала она.— И вся эта банда, я уверена, сегодня сидит у нас и торжествует.

— Почему торжествует?

— А потому, что дела идут и даже очень идут. Вы смотрите с удивлением, вам трудно поверить?

— Да нет, не трудно, но когда я думаю о Валентине Сергеевиче...

— Представьте себе, да,— живо отозвалась Глафира Сергеевна.— Причем очень характерно, что даже вам это кажется странным. Уж кто-кто, а вы, кажется, должны были бы... Вы думаете, он не может зарезать?

— Как резать?

— Очень просто. Ведь он же разбойник. Он же наградил все это — деньги, квартиру роскошную, ковры, мебель, славу, связи свои. За что ему все это? Что он в сущности сделал? И знаете ли, что я вам скажу,— помолчав, продолжала Глафира Сергеевна,— таких, как он, сотни. Куда там — тысячи! И они держатся друг за друга. Боятся и ненавидят и все-таки, ох, как держатся, как старательно прикрывают друг друга!

Она помолчала. Она была в платье с короткими рукавами, и полные еще красивые руки были открыты почти до плеч.

— А вот попробуйте отнять у такого человека хоть пловку — зарежет; один — вежливо, предварительно попросив извинения, а другой, вроде Скрыпаченко,— попросту, при ясном свете дня. Но и его зарежут.

— Кого?

— А Валентина Сергеича! Ведь это только кажется, что он в этой компании — главный. Командуют-то они, а он только делает вид, что главный. Он им надоел.

— Как надоел?

— Очень просто. Он все-таки вежливый и действует не торопясь, старомодно, и с ним нужно долго разговаривать и поддерживать эту игру, что он — фюрер. А они торопятся, у них методы проще. Им в сущности только слава его нужна, а его самого они хоть сейчас выбросили бы на помойку. И еще выбросят. Я, впрочем, этого уже не увижу.

Мне вспомнился разговор с Рубакиным прошлой зимой, когда я жаловалась ему на «слухи», мешавшие нам работать над крустозином. «Если Крамов еще смутно помнит, что он человек науки, так ведь у его соратников нет прошлого, нет ничего, кроме того, чему он их научил. Эти люди способны на преступление».

— Вот. Теперь слушайте.— И Глафира Сергеевна нервно расстегнула и застегнула сумку (она пришла с большой, изрядно поношенной сумкой и во время нашего разговора не выпускала ее из рук).— Самого главного я вам еще не сказала. Они сделали так, что Андрея не могли не арестовать. Это было бы чудо.

— Как не могли?

— Очень просто. Подумайте сами: если по крайней мере три свидетеля, да еще всеми уважаемых, известных в науке, в один голос утверждают, что он совершил преступление,— у кого же хватит смелости не посадить его? Тем более что для того, чтобы посадить, никакой смелости не надо! Я сама все это раскумекала,— с оттенком трогательной гордости сказала Глафира Сергеевна.— Правда, не сразу, а постепенно, потому что сразу мне было бы не под силу. Сперва разговоры подслушивала, хотя и с трепетом, потому что я ведь его очень боюсь. Ах, если б вы знали, как я его боюсь,— сказала она, крепко

прижав к груди полные руки.— Бывало, он спит — маленький, крепенький, бледный, головка торчит из-под одеяла, а я смотрю и не могу уснуть от страха, от отвращения. Конечно, можно бы и не подслушивать — другая жена, пожалуй, была бы и так в курсе дела,— но ведь он сразу же меня за дверь выставлял, когда к нему эти скоты приходили. Вы знаете, что я сделала сегодня, когда уходила? Все его бумаги— а они у него всегда так аккуратно, листик к листику уложены — перепутала и перемешала. А по большому стеклу на столе, которым он очень дорожит почему-то, ударила пресспапье и разбила.— Она коротко засмеялась.— Да, так вот. Только вы не подумайте, что это были откровенные разговоры, то есть что Скрыпаченко или кто-нибудь другой приходил и спрашивал: «А что, не посадить ли нам некоего доктора Львова?» Это были разговоры обходительные, дальновидные, так что даже трудно было собственноручно понять, о чем идет речь. Правда, подчас прорывалось нечто профессиональное, но редко. Например, этот Скрыпаченко однажды так сказал об Андрее: «На него есть материал». Вот этот материал они и подбирали, да не просто подбирали, а притворяясь перед собой, что они тем самым оказывают государству большую услугу. Но кончалось всегда непременно тем, что кто-нибудь — только не Валентин Сергеевич — брал перо и бумагу и писал. А если не получалось что-нибудь, комкал и бросал в корзину. Кто это у вас за дверью стоит?

— Никто не стоит.

— Нет, стоит, я слышу.

За дверью стоял отец, и, выйдя к нему, я сказала громко, чтобы он ложился спать, а потом тихо, чтобы он позвонил Рубакину и сказал, что я прошу его немедленно приехать.

* * *

Вероятно, он позвонил не сразу или Рубакина не было дома, потому что прошел добрый час, а мы с Глафирой Сергеевной все еще оставались одни. И мне даже несколько раз померещилось, что она не уходит так долго потому, что ей некуда уйти от меня. Разговаривая со мной, она спросила, где телефон. Я показала и предложила проводить, но она качнула головой и пробормотала «потом», а потом как будто забыла. Она была очень подавлена, и по глазам с распухшими покрасневшими веками видно было, что плакала или, может быть, несколько ночей не спала. Ей нездоровилось, она часто прижимала руки к груди, как будто хотела успокоить сердцебиение, и странное выражение скользило в эти минуты по ее одутловатому лицу с глубокой складкой на обвисающей шее. Она старалась справиться с болью в сердце, и в том, как она это делала, видна была гордость униженного, но не потерявшего достоинства человека. Она говорила о себе, и я не понимала,

поражалась, почему эти глубоко личные обстоятельства жизни, которые всегда остаются неизвестными, потому что они касаются мужа и жены и происходят в непередаваемой глубине отношений,— почему все это было рассказано мне, человеку постороннему, получужому и не любящему — она это знала — Глафиру Сергеевну?

Потом я поняла: у нее никого не было, ни друзей, ни знакомых. Она была одна, как бывает один-одинешенек человек в пустыне, раскинувшейся вокруг него на тысячи километров. Она была одна, живя в центре Москвы, на прекрасной улице, где кипела, не унимаясь ни на мгновение, богатая, сложная, многосторонняя жизнь. Она была одна — в огромном доме, где росли дети, работали люди, где тысячи мужчин и женщин были естественно и глубоко заняты своими мыслями, заботами, делами. Она сама сказала мне об этом: «Я ведь одна» — и прибавила с горькой улыбкой: «Ко мне иногда только Равский заходил, знаете, был такой человечек? Но Валентин Сергеевич запретил, и он перестал, а потом, кажется, умер».

Это было не просто грустно — то, что я услышала от Глафиры Сергеевны. Это было так, как будто мне сказали, что рядом со мной, под боком, идет совсем другая жизнь — другая не потому, что она чем-то отличалась от той, которой жила я и сотни тысяч обыкновенных советских людей, а потому, что она *ничем* не походила на нашу жизнь, точно происходила в другое время, в другой стране, в Древнем Китае например, где били палками по пяткам за неповиновение богдыхану.

Никого, разумеется, не били в почтеннейшем доме Валентина Сергеевича Крамова, и даже представить это себе было как раз невозможно. Все совершалось неторопливо, с предупредительностью людей, глубоко уважающих друг друга. «Брак основан на вежливости», — сказал однажды Валентин Сергеевич. Но вежливость эта была хватающей за горло, а точность — все в доме происходило в один и тот же навсегда назначенный час, — точность эта напоминала Глафире Сергеевне один рассказ (название она забыла), в котором над горлом осужденного ходит маятник-нож, с каждой минутой опускаясь все ниже. Несколько раз она пробовала стряхнуть с себя этот мираж, выйти из этого заколдованного круга. Куда там! Дважды она принималась пить, и во второй раз, в общем, пошло — хотя водка всегда вызывала у нее отвращение. Но пить незаметно, то есть скрываясь от Валентина Сергеевича, было немислимо, невозможно. А пить при нем... ну, разве мог он допустить, чтобы на его кристальное имя упала хотя бы легкая прозрачная тень? По той же причине он раз и навсегда запретил ей ходить в церковь — «а ведь это для многих женщин, особенно одиноких, — с глубокой уверенностью сказала Глафира Сергеевна, — все-таки облегчение, утешение». Валентин Сергеевич был безгрешен и настоятельно требовал такой же без-

грешности от жены. А то, что вся его, на первый взгляд, содержательная, общественно-полезная жизнь была в сущности жизнью разбойника на большой дороге,— это нисколько не мешало благополучной чистоте его уютно-размеренного существования.

— Вот теперь, я знаю, вы хотите спросить, почему я вдруг все это именно вам рассказала? Почему молчала столько лет, а тут вдруг взяла да и выложила? А потому, что хотя эта двойная жизнь в общем-то уже давно началась, а все же не всегда было так. Он был все-таки какой-то другой, когда я за него выходила. Тогда не было страха, что первый встречный может догадаться, что у него за душой ничего, пустота. Не было предчувствия, что все может рухнуть, и тогда — боже сохрани — не придется ли расплатиться? Я не понимаю всех ваших ссор, потому что ничего не понимаю в науке. Я только вижу, что он будет драться не на живот, а на смерть.

Она оглянулась, точно ища кого-то глазами, потом быстро открыла сумку и достала какие-то исписанные вдоль и поперек листы измятой бумаги.

— Вот это из корзины,— шепотом объяснила она.

Ей было трудно, руки дрожали. Потемневшее лицо на мгновение стало властным, с крепко сжатым решительным ртом. Но тут же она снова оглянулась и с просящим, робким выражением протянула ко мне дрожащие руки.

— Только вы... я хочу сказать, вы не должны... Впрочем, теперь это уже безразлично.— Она положила листки на стол передо мною.— Это то, что они писали об Андрее, конечно, черновики и далеко не все, но, как видите, немало. Вы потом прочтете, когда я уйду. В общем, я подумала, что, если вы будете знать, в чем его обвиняют, может быть, вы как-нибудь...— Она закрыла сумку и сразу же снова нервно открыла.— Да, вот еще. Вас могут спросить, откуда вы все это знаете, тогда просто скажите... тогда прямо назовите меня.

Я молчала до сих пор — не потому, что мне нечего было сказать, а потому, что Глафира Сергеевна говорила, почти не переводя дыхания. Теперь я встала и молча поцеловала ее. Она не ответила, и мертвенно-неподвижно было ее лицо, сурово очерченное тенью под глазами и на впадинах щек.

— Надо идти.— И она снова открыла сумку.— Вот тут у меня письма неотправленные,— сказала она как будто самой себе, но, кажется, для того чтобы и я знала, где у нее лежат неотправленные письма.— Бог даст, все еще будет хорошо. Андрей ваш вернется. Он меня никогда не любил — и поделом. А теперь вот вы расскажите ему, как я для него постаралась. Может быть, я ему покажусь уж не так и плоха! — Она улыбнулась впервые простодушной, осветившей лицо улыбкой, и это было мгновение, когда ее красота сверкнула в последний раз и погасла.— А Мите передайте...

— Да что вы так говорите, Глафира Сергеевна? Вы же сами сказали, что все еще будет хорошо. Я верю, мы все еще придем к вам. И Андрей и Митя.

— Милости просим. Нет, я просто так. Не на память. У меня ведь детей нет, а жалеть кого-нибудь надо. Я и Митю очень жалела потом, когда мы уже разошлись, и раскаивалась, что так долго мучила его и терзала. А потом стала думать, что все к лучшему, потому что он ведь все равно бросил бы меня, когда я стала так безобразна. Вы скажите ему, что если я любила кого-нибудь в жизни, так его,— сказала она, подумав и грустно улыбнувшись, как будто и теперь еще не была уверена в том, что любила Митю.— Да, его.

— Глафира Сергеевна, останьтесь у меня. Вы расстроены, устали. Побудьте со мной. Я не говорю... не могу сейчас говорить о том, как я вам благодарна. Я — ваш друг теперь и очень, очень прошу — останьтесь.

Она покачала головой.

— Не могу.

— А я не отпущу вас.

— Нет, надо идти. Ваш отец спит? Пожалуйста, извинитесь за меня перед ним. Я неловко о нем рассказала.

* * *

Я закрыла за ней дверь и не сразу вернулась, немного постояла в передней. Было уже поздно. В нашем доме сквозь тонкие стены всегда доносились какие-то звуки — то радио из соседней квартиры, то голос с лестницы, то хлопанье двери в подъезде, а сейчас все было тихо, и я стояла в передней, прислушиваясь к этой непривычной тишине, от которой вдруг стало тревожно на сердце. Отец позвал меня, я зашла к нему, но ничего не стала рассказывать, и только спросила, точно ли, что он позвонил Рубакиным? Это было странно, что они не пришли. Потом вернулась в переднюю и с трудом удержалась, чтобы не открыть входную дверь — мне почему-то почудилось, что Глафира Сергеевна еще не ушла, а стоит на площадке, облокотившись о перила и беспомощно глядя в темный провал лестничной клетки. Может быть, не следовало оставлять ее одну? Но, кажется, ей не хотелось, чтобы я знала, куда она пойдет от меня. И, упрекая себя, что я все-таки не предложила ее проводить, я вдруг увидела лежавший на подзеркальнике сверток из магазина, который забыла у меня Глафира Сергеевна.

Это были немногие мгновенья, промелькнувшие в тысячу раз быстрее, чем я о них сейчас рассказала, и когда, схватив сверток, я крикнула с площадки: «Глафира Сергеевна!», у меня не было ни малейших сомнений в том, что она отзовется. Но очень тихо было на лестнице, еле освещенной синей лампочкой,

горевшей на втором этаже, и только мягко и страшно темнел глубокий колодец лестничной клетки.

— Глафира Сергеевна!

Я побежала вниз и остановилась. Мне померещился стон, далекий, еле слышный.

— Глафира Сергеевна!

Тишина. Я перевела дыхание. Внизу хлопнула парадная дверь. «Ушла?» — подумала я и стала торопливо спускаться. Какие-то люди шли мне навстречу, переговариваясь взволнованными голосами. И вдруг уже не стон, а дикий, бессознательный, мгновенно оборвавшийся крик раздался в подъезде. И, схватившись за перила, я замерла, с обомлевшим, затрепетавшим сердцем. Люди, которые поднимались по лестнице и были уже в двух шагах от меня, повернулись и побежали вниз, а я опрометью бросилась вслед за ними.

Она лежала в нише, устроенной, должно быть, для лифта, который в нашем доме начали строить перед войной. Рубакины (это были они) прошли, не заметив ее потому, что ниша была в тени под лестницей, и еще потому, что в слабом синеватом свете видны были только неестественно раскинувшиеся полные руки. Она лежала, точно пытаясь встать, точно рванувшись куда-то, и ее можно было узнать только по этим красивым рукам, на которые я все смотрела во время нашего разговора.

ВЕРНОЕ ДЕЛО

Опущу другие события этой печальной ночи. Тягостный спор с врачом неотложной помощи, который вежливо, но решительно отказался везти Глафиру Сергеевну домой, хотя она была в безнадежном состоянии; бесконечное, до поздней ночи, составление протокола... Отец испугался, что меня хотят арестовать, и набросился на милиционера, который сам испугался, когда маленький взъерошенный человечек в халате, багровый, с измятыми усами влетел в переднюю, крича, что он не допустит беззакония и что его знает весь Советский Союз.

— Да что вы, папаша,— убеждал его добродушный милиционер,— да бог с вами, папаша!

А я пока прятала от посторонних глаз бумаги, которые оставила у меня Глафира Сергеевна.

* * *

Розовая девушка-лейтенант в отделении милиции, задумчиво напевавшая что-то во время допроса и, видимо, куда больше занятая событиями личной жизни, чем событием, «имевшим место ночью 15 июля в доме № 6 по Серебряному

переулку», сказала, что я могу не беспокоиться, поскольку факт самоубийства подтвержден письмами, найденными в сумке покойной.

— Покойной? Она умерла?

— Скончалась в пятом часу утра,— осторожно сказала девушка-лейтенант, видимо не зная, как я отнесусь к этому сообщению.— Супруг звонил и, между прочим, просил освободить вас от формальностей. Но мы, конечно, не можем освободить, хотя и не сомневаемся в вашей полной непричастности к делу.

И формальности заняли еще добрых часа два с половиной.

* * *

Рубакины отвезли Глафиру Сергеевну домой. Лена осталась подле умирающей, Петр Николаевич поднялся, чтобы предупредить Крамова, и вернулся потрясенный — с таким самообладанием выслушал его Валентин Сергеевич. Он только болезненно сморщился и сделал несколько падающих шагов, схватившись за сердце. Рубакин подхватил его, подвел к стулу, и он посидел несколько секунд, согнувшись и втянув голову в плечи. Это было все — одна минута слабости, только одна! И вот он уже встал и, крепко ставя ноги, пошел навстречу санитарам, осторожно поднимавшим по лестнице свою страшную ношу.

* * *

Весь следующий день мы провели за чтением — точнее сказать, за изучением — тех скомканных, видимо вырванных из большого настольного блокнота листов бумаги, которые передала мне Глафира Сергеевна. Это были черновики какого-то, я бы сказала, доноса, если бы в каждой фразе не было сделано решительно все, чтобы в голову не пришло это слишком откровенное слово. Со всей видимостью строгой научной логики черное определялось как белое, и белое — как черное, в этой безыменной записке, направленной неизвестно куда. Не личная, нет, государственная заинтересованность была видна в каждой строке на каждой странице! Это был донос-шедевр, составленный в такой искренней, осторожной, тщательно обдуманной форме, что, только читая заключительные фразы, вы начинали ясно понимать, что перед вами не что иное, как беспощадный обвинительный акт.

В чем же эти люди обвиняли Андрея? Почему они сочли своим общественным и политическим долгом обратить внимание соответствующих органов на деятельность А. Д. Львова, давным-давно внушавшего им сомнения, а в последние годы и подозрения? Под номерами следовали один за другим преступные факты. И самое поразительное, что это были подлинные факты, оставившие отчетливый след если не в истории советской

эпидемиологии, так в официальной переписке Санитарно-эпидемиологического управления.

В 1937 году под Рязанью на химическом заводе внезапно вспыхнула и с опасной быстротой распространилась эпидемия брюшного тифа. Как это всегда бывало в трудных случаях, Малышев послал Андрея — и с первого взгляда Андрея порадовала необыкновенная чистота и в цехах и на квартирах рабочих. До сих пор он встречал на заводах несколько иную картину. Причина вспышки была уже выяснена ко времени его приезда: вода. За последние годы мощность завода возросла почти втрое, воды стало не хватать, и руководители, недолго думая, приказали пустить в заводское водохранилище какую-то речку. К проверенному водоему присоединилась непроверенная, дикая речка — а ведь кто же не знает, что сырая речная вода обычно служит причиной эпидемических вспышек? Это предположение, на котором, кстати сказать, настаивала приехавшая незадолго до Андрея государственная комиссия, показалось ему убедительным. Но все-таки он плохо спал в эту ночь. Ощущение неясности тяготило его — ощущение, которое и в делах и в людях он ненавидел. И вдруг, казалось бы без всякой связи, ему вспомнилась любопытная история майора Уолтера Рида. Этот Рид, майор медицинской службы, был еще совсем молодым человеком, когда начальство решило, что именно он должен открыть возбудителя желтой лихорадки на Кубе. Приказ, который однажды он получил, так и гласил: отправиться на Кубу и установить природу желтой лихорадки. И майор Уолтер Рид отправился на Кубу и стал действовать, опираясь не столько на свой научный багаж, сколько на здравый смысл. Он не имел ни малейшего понятия о том, где искать возбудителя желтой лихорадки. На всякий случай он нанес на карту все искусственные и естественные водоемы в районах, где распространилась желтая лихорадка, а потом на ту же карту — дома, в которых были обнаружены больные. И оказалось, что дома заболевших кубинцев находились в одних местах, а колодцы и водоемы — в других. Это был, без сомнения, самый простой и самый остроумный способ доказать, что вода не является причиной возникновения желтой лихорадки. Болезнь (как Рид выяснил несколько позже) вызвали комары — но это уже не имело никакого отношения к загадке, возникшей перед Андреем на химическом заводе под Рязанью...

Он встал очень рано и прежде всего потребовал карту поселка. Первый же взгляд на карту убедил его в том, что злокозненная речка, влившаяся в заводской водоем, не имеет никакого отношения к вспышке брюшного тифа. Очаги болезни находились в одном месте, а водоразборные колонки в другом, и рабочие, пользовавшиеся водой из этих колонок, были здоровы. Он не спрашивал себя, почему государственная комиссия стремилась найти виновного среди местных санитарных

врачей. Эта сторона дела интересовала его очень мало. Нужно было приниматься за опрос заболевших: что они едят, что пьют, где работают, бывают ли друг у друга?

Таким образом он установил, что почти все заболевшие работали во вредных цехах. Из этого можно было кое-что извлечь, хотя и немного. Любопытнее было то обстоятельство, что они, все без исключения, пили молоко, которое полагалось им как работникам вредных цехов. Но молоко было отличное, стерилизованное, привозившееся с опытно-показательной фермы, находившейся недалеко от завода.

Андрей поехал на ферму: белые халаты, сверкающие окна, стены, в которые можно смотреться, как в зеркало. Ни пылинки на сепараторах, холодильниках, лабораторных столах! Можно было, конечно, проверить, нет ли среди работников фермы, справедливо гордившихся ее чистотой, бациллоносителей — так называются люди здоровые, но выделяющие болезнетворные бактерии? Он сделал это, что называется, для очистки совести и обнаружил, что такой бациллоносительницей была женщина, разливавшая стерилизованное молоко, которое отправлялось в столовую завода.

Вот какова была эта история, которой в свое время справедливо гордился Андрей. Как же она была рассказана в черновике доноса?

Старая, еще с институтских времен, дружба связывала Андрея с группой санитарных врачей, работавших в заводском поселке, в особенности с неким Горяиновым, шпионом и вредителем, арестованным в 1938 году, — так писал Скрыпаченко. Я не сомневалась в том, что именно Скрыпаченко. — Этот Горяинов настоял на том, чтобы в заводское водохранилище была спущена речка, что само по себе было крупнейшим санитарным упущением. Знал ли доктор А. Д. Львов, что это упущение повлекло за собой человеческие жертвы, панику в заводском поселке, бегство рабочих из вредных цехов, где было особенно много заболевших? Разумеется, знал. Но, вместо того чтобы честно установить причины эпидемии, он стал «заметать следы», высказывая невероятные, сбивающие с толку предположения, и в конце концов выгородил виновных, обнаружив какое-то фантастическое «бациллоносительство» среди работников опытно-показательной фермы, известной в области своими блестящими достижениями и награжденной орденом «Знак почета».

Не стану приводить других примеров. В Пятигорске Андрей будто бы нарочно искажил картину холерной эпидемии, утверждая, что выделенный местными эпидемиологами эмбрион является не холерным, а холероподобным. Он настоял на отмене карантина, и если бы не энергичные меры, предпринятые органами Наркомата внутренних дел, холерная пандемия распространилась бы по Северному Кавказу.

Особое место в доносе занимала недавняя, прошлогодняя, история, после которой Андрей ушел из Института профилактики. И как же отчетливо, как ясно была видна рука Скрыпаченко в любовной отделке деталей. Казалось бы, именно на этом «материале» проще всего было обвинить Андрея во вредительстве. Подумать только — сыпной тиф в институте, занимавшемся изготовлением сыпнотифозной вакцины! Страшная, заразная, эпидемическая болезнь в центре Москвы! Конечно, вредительство? Ничуть не бывало! Очень тонко, ни на чем не настаивая, авторы записки упрекали Андрея не во вредительстве — в невежестве. И, может быть, это было одно из самых опасных для него обвинений! В самом деле, если ученый, о котором идет речь, не только ничего не сделал в науке, но мгновенно обнаружил свою полную беспомощность, едва лишь оставил практическую эпидемиологию и перешел в исследовательский институт,— какова же цена всей его деятельности, которой он занимается чуть ли не четверть века? Все попытки убедить следствие, что Андрей — самостоятельный, крупный работник, в том числе, разумеется, письмо Никольского и других, были заранее опровергнуты этим примером.

Не стану... Но уже не впервые останавливаю я себя, пересказывая эту отравленную ложь, это хладнокровное, обдуманное убийство, разбитое на главы и подтвержденное множеством ссылок на авторитеты. Здесь было все — и расчет на невежество в сложных научных вопросах, и мнимая правдивость подробностей, и страшная логика кривды, почти непонятная, но бьющая в самую цель, в самое сердце. О необходимости ареста Андрея, разумеется, не говорилось ни слова. Но разве можно оставить на свободе чудовище, размахивающее оружием эпидемий, разливающих с неслыханной быстротой? Разве можно пройти мимо поразительного факта тончайшей, сложнейшей маскировки этого злодея под честного советского гражданина, якобы отдающего все свои силы строительству социализма?

ТАКОГО-ТО ЧИСЛА, В ТАКОМ-ТО ЧАСУ

«Ученый Совет Наркомздрава выражает свое глубокое сочувствие профессору доктору наук Валентину Сергеевичу Крамову по поводу безвременной кончины его жены, Глафиры Сергеевны Рыбаковой-Крамовой...»

«Дирекция и местком Мечниковского института глубоко скорбят по поводу смерти жены и друга профессора В. С. Крамова, последовавшей...»

«Партком, местком, дирекция Института имени Гамалея выражают искреннее сочувствие заместителю директора инсти-

тута по научной части профессору Валентину Сергеевичу Крамову в связи с кончиной...»

«Дирекция и местком Мечниковского института сообщают, что гражданская панихида по скончавшейся 15 июля Глафире Сергеевне Рыбаковой-Крамовой состоится на квартире покойной такого-то числа в таком-то часу...»

* * *

Парадная дверь старинного дома в Федотовском переулке распахнута настежь. На лестнице в прохладной полутьме пахнет духами, должно быть от женщин, только что поднявшихся вверх, чтобы проститься с покойной. Похоронный автобус уже тут, у подъезда. Небольшая толпа любопытных ожидает выноса, прячась в тени лип от жаркого июльского солнца. Липы цветут буйно, свободно, могущественно, равнодушно-прекрасные, занятые только собой.

Женщина с усталым лицом лежит в просторной комнате с высокими овальными окнами, залитыми солнцем. Закрыты большие глаза, тени на полном лице с белой повязкой, скрывающей рассеченный лоб, горькая складка у рта, как у людей, много плакавших трудными, не облегчающими сердце слезами. Не поднимет веки, не взглянет, не встанет. В молчаливом ожидании стоят вдоль стен те, кто пришел, чтобы проводить ее, и солнце медленно скользит по комнате, по цветам, установленным вдоль гроба, по сложенным крест-накрест рукам, по груди и лицу. Не отстраняется, не заслоняется, — как будто нарочно, чтобы я запомнила ее навсегда.

Маленький, в черном длинном пиджаке, с надменно поднятой лысой головкой, Валентин Сергеевич стоит у изголовья усопшей и смотрит в ее лицо, не отрываясь, сосредоточенно, бесконечно долго, с убитым, страдающим лицом. Заплаканная, запудренная, с измятым накрашенным бабьим лицом, Мелкова смотрит на него скорбными обожающими глазами — любопытно, принимала ли она участие в доносе-убийстве? Другие разбойники тоже, разумеется, здесь. Изредка проводя рукой по романтической седой шевелюре, стоит у стены Крупенский, выкатив свои сумасшедшие глаза и не чувствуя ничего — это почти написано на его худошавом лице, — ничего, кроме скуки затянувшегося ожидания. Стоит высокий, небрежно одетый, в засыпанном пеплом и перхотью пиджаке Скрыпаченко, поджав свои тонкие губы и как бы беспомощно опустив вдоль нескладного тела длинные слабые руки.

Цветов так много, что некуда положить те, которые я принесла Глафире Сергеевне. И в ту минуту, когда мне все-таки удастся найти место в ногах покойницы, чтобы положить свои розы, я ловлю, поднимая глаза, быстрый, настороженный, обеспокоенный взгляд, которым обмениваются Скрыпаченко и Крупенский. В самом деле, как случилось, что Власенкова пришла

на похороны Глафиры Сергеевны? Что это значит? И если это действительно самоубийство,— о чем она говорила с Власенковой, прежде чем покончить с собой? Вздор, чепуха, неосновательные предположения! Пришла потому, что ничего не знает. Пришла потому, что даже не подозревает, что это мы сделали так, что ее муж, коммунист и человек чести, сидит в тюрьме и будет приговорен — непременно, мы надеемся, мы уверены — к высшей мере наказания, к расстрелу. Пришла потому, что не имеет понятия, что это мы — мы и Крамов, который нам еще нужен,— заставили ее измучиться и выбиться из сил и трепетать ежечасно, ежеминутно. Пришла потому, что Глафира Сергеевна была замужем за Дмитрием Львовым, и нет ничего особенного в том, что ей захотелось отдать последний долг человеку, с которым она когда-то была близко знакома. Пришла потому, что не догадывается и не догадается никогда, что мы затеяли против нее. А мы на этот раз затеяли верное дело. Мы — такие, мы — умные, дельные, нам много надо, мы многое можем. Мы сотрем в порошок того, кто осмелится предположить, что для нас нет ничего святого...

Долгое ожидание, неподвижность, тишина, склоненные головы, негромкие голоса. Наконец, движение, сперва в толпе, истомившейся от жары и все-таки ожидающей у подъезда, потом на лестнице, наконец наверху, в доме, который постигло несчастье. Проходят за венками, скользят на ельнике, разбросанном вдоль ступеней. Пора в дорогу. Пронесут цветы. Устроитель, толстый, седой, почтенный — каким и должен быть устроитель похорон супруги профессора, доктора наук, директора института и т. д. и т. п., — подкатывает на легковой машине и, устремившись наверх, на мгновение останавливается в подъезде: пройдет ли великолепный глазетовый гроб через довольно узкие двери? Пройдет. И вот спускаются с цветами в руках друзья и знакомые — известные люди, деятели нашей науки. С приличным кряхтеньем тащат тяжелый гроб друзья и знакомые покойной, а так как это люди в годах, а гроб тяжелый и взялись они за него неудобно, на помощь к ним бросаются рабочие похоронного бюро, взявшего на себя почетную обязанность предать земле тело покойной супруги профессора, доктора наук, директора института и члена многих советских и иностранных научных обществ.

Двери автобуса распахнуты настежь, и устроитель предлагает всем желающим занять места на скамейках вдоль гроба. И находится много желающих, так что мест не хватает, и некоторым друзьям и знакомым приходится садиться в такси. Дверь захлопывается, и автобус медленно трогается с места. Медленно трогается вслед за ним траурная вереница машин. Последним прощальным взглядом я провожаю бедную женщину, которая прожила жизнь ложную, несвершившуюся, жизнь, выпавшую из времени, жизнь, не понятую ею самой.

Забыла сказать, что уже на третий день после ареста Андрея мне прислали из издательства его книгу «Неизвестный друг» с кратким письмом, сообщавшим, что книга не подходит «к профилю» издательства, что было, в общем, более или менее справедливо, но о чем Андрею до сих пор не было сказано ни слова. Конечно, у меня оставались другие экземпляры, но тот, который вернуло издательство, был отредактирован самим Андреем, и нам с Петром Николаевичем очень пригодились убедительные мелочи, как раз относившиеся к рязанской и пятигорской историей.

Не знаю, мучился ли так еще кто-нибудь из людей, сидящих с пером в руке над чистым листом бумаги, как мучились мы, составляя по словам, по фразам письма генеральному прокурору Союза. Это письмо, в котором нужно было доказать, что Андрей не виновен, а виновны в ложном доносе те, кто обвинил его,— не должно было походить на письмо, под которым подписались Никольский и другие. Старик Кипарский был прав, утверждая, что первое письмо было рассчитано скорее на чувство, чем на логику доказательств. «Я очень рад,— сказал мне следователь,— что Андрея Дмитриевича так ценят видные деятели науки, но ведь это в сущности не имеет отношения к делу».

Как же писать теперь, когда в наших руках оказались неопенимые материалы, когда мы могли проделать ту же работу, которой занималось следствие,— работу проверки данных, анализа показаний? Когда ложная картина, возникающая в сознании при чтении доноса, стояла теперь перед нами и мы могли просто указать пальцем на клевету в одном месте, на тонкое, преднамеренное искажение в другом. Но это была одна сторона дела. Была и другая: как попали к нам эти, еще никому, кроме следственных органов, не известные материалы? Могли ли мы откровенно сказать, что их принесла Глафира Сергеевна? И, наконец, самое сложное: черновики не подписаны. Откуда мы знаем имена авторов этого безыменного послания? Но стоит только обойти эти имена, и наши доказательства сразу окажутся «взятыми с потолка», приблизительными, неопределенными. Стало быть, что же? Идти напролом? Страшно — особенно, если вспомнить, куда могут кинуться эти люди! И если все-таки идти напролом, упоминать ли о Крамове, с которым — это широко известно — мы уже много лет сражаемся в науке? Не придаст ли это нашему письму оттенок, который заставит генерального прокурора задуматься о личных счетах, и тогда письмо может обернуться против нас, а следовательно и Андрея?

Не помню, кому в конце концов пришла в голову догадка, показавшаяся на первый взгляд почти невероятной: что, если написать всю правду, ничего не скрывая? Без дипломатии, без

маневров. «Не в силе правда, а в правде сила», — вспомнил и много раз повторил эту мудрую поговорку Рубакин.

И мы поступили именно так: рассказали о том, как неожиданно-негаданно ко мне явилась Глафира Сергеевна (потому что иначе невозможно было объяснить, каким образом оказался в наших руках черновик доноса), а потом разобрали самый донос — тщательно, последовательно, подробно. Мы не только опрокинули клеветническое толкование того, что было сделано Андреем в Рязани, Пятигорске, Кисловодске — всюду, где возникали вспышки заразных болезней и где под его руководством приходила в движение и энергично двигалась вперед наша противоэпидемическая защита. Мы приложили данные, извлеченные из архива Санэпидуправления и, без сомнения, неизвестные следователю, потому что, по словам заведующего архивом, до нас никто не заглядывал в эти пыльные, давно забытые и никому не нужные документы. Мы не защищали Андрея, не порочили его врагов, не утверждали, что удар направлен против меня. Но мы постарались объяснить, что этот удар является новой — и чудовищной — формой той борьбы, которая уже не первый год ведется в науке.

Как в кино, где голос лжеца рассказывает одно, а на экране перед глазами зрителей происходит другое, мы неторопливо рассказали правду, только правду, скупую правду, подтверждая ее, когда это было необходимо, официальной перепиской, сохранившейся в Санэпидуправлении. И равнодушные канцелярские справки ожили, рисуя жизнь не яркую, быть может лишенную того пламени, которое озаряет деятельность большого таланта, но полную твердого, светлого разума, который в любое, самое запутанное дело вносил стройность логики — человеческой и неотразимой.

Письмо со всеми приложениями, которых, на мой взгляд, было слишком много, подходило к концу, и мы с Петром Николаевичем, раз десять перепечатав его на машинке, уже сочиняли последние, оказавшиеся самыми трудными, фразы, когда произошло то, чего я давно ждала: ко мне позвонил и попросил зайти Валентин Сергеевич Крамов.

* * *

Он тяжело заболел вскоре после похорон Глафиры Сергеевны — должно быть, дорого далось ему самообладание, которое так поразило Рубакина! Да и не только его: о необыкновенной выдержке Валентина Сергеевича на кладбище, на гражданской панихиде, а потом на поминальном обеде много говорили в научных кругах.

Он лежал на диване, прикрытый толстым клетчатым пледом, и тотчас же, едва я вошла, извинился, что вынужден принять меня, будучи «далеко не в форме».

— Но если бы я стал дожидаться выздоровления,— бледно улыбнувшись, сказал он,— боюсь, что мы встретились бы не скоро.

Я что-то ответила вежливо, но сдержанно и, кажется, более сдержанно, чем нужно. Мне трудно было пересилить себя, и я не пошла бы к нему, если бы на этом не настоял Рубакин. Мне было трудно смотреть на него, притворяясь, что я ничего не знаю, и говорить, и даже просто быть в одной комнате с ним — в этой холодной комнате, где стояла черная высокая мебель и где в тяжелых рамах висели картины, казавшиеся мне — что там ни было изображено на них! — бесстрастными зеркалами, отражавшими бесстрастную, темную, уходящую жизнь. Мне было трудно и страшно, потому что прежде, когда мы встречались — всегда враждебно, всегда в борьбе, грозившей ему или мне чувствительными поражениями,— меня никогда не оставляло уважением к нему, правда уменьшавшееся с годами. Не все средства были тогда хороши для него, и этот оттенок уважения даже помогал мне бороться с тем Крамовым, который, несмотря ни на что, оставался человеком науки. Теперь я видела перед собой человека, дошедшего до распада души, до глубокого, безвозвратного падения. И не уважение — куда уж там! — а отвращение чувствовала я, сидя подле него в мягком, удобном кресле и глядя на это замкнутое лицо с высоким лысым лбом, с иссиня-бледными щеками, лицо, напомнившее мне заспиртованного печального уroda-младенца.

— Вам не кажется странным, что мне захотелось встретиться с вами, Татьяна Петровна?

— Нет, конечно. Я ожидала вашего звонка, Валентин Сергеевич.

Он вздохнул. Настольная лампа с низким абажуром стояла на круглом столике у дивана. Он переставил ее маленькой слабой рукой. Теперь мое лицо было освещено, его — в тени, и он смотрел на меня внимательно, пристально, точно надеясь прочесть в моих глазах то, что я собиралась утаить от него. А я собиралась и знала, что утаю, и знала, что то, что я утаю, прочесть в моих глазах ему не удастся.

— Я не сомневаюсь, что вам было трудно заставить себя приехать ко мне, и прежде всего позвольте мне сердечно, от всей души поблагодарить вас, Татьяна Петровна.

Я молча наклонила голову. Он помолчал.

— Мне не удалось, к сожалению, встретиться с вами после того, что случилось с Андреем Дмитриевичем. Я звонил, вы были в отъезде. Хотелось сказать, что ни одной минуты я не сомневаюсь в полной его невиновности. Мы были мало знакомы, но то немногое, что я знал о нем...

Не останавливается, не запинается, не закрывает лицо руками. Слово за словом, глядя мне прямо в глаза, негромко,

но отчетливо, ясно. Не опускает взгляда, не дрожит, не падает передо мной на колени.

— Я убежден, что это недоразумение. Нашлись люди, которым он мешал, оклеветали, очернили, поставили следствие перед необходимостью ареста. И вот...

Не нашлись, а собрались вокруг тебя, не оклеветали, а уничтожили, почти убили, и не он, а я мешала тем, кто поставил следствие перед необходимостью ареста!

— Словом, я не сомневаюсь, что справедливость восторжествует. Иначе не может быть, хотя бы потому, что сам Андрей Дмитриевич — кто же этого не знает? — воплощенная справедливость.

Не останавливаясь, не запинаясь, почти не задумываясь, глядя мне прямо в глаза. «Невозможно вообразить, самоотверженная работа, воплощенная справедливость...» Через пять, нет, шесть дней после смерти жены, — убежавшей от него и разбившейся насмерть.

— Татьяна Петровна, вы, без сомнения, давно догадались... Я осмелился пригласить вас к себе потому, что вы последний человек, видевший Глафиру Сергеевну. Я не спрашивал себя, почему она поехала к вам, несмотря на то, что последние годы вы с нею были очень далеки. Это ее право, и святотатством было бы с моей стороны... ну, что ли, недоумевать, что она не пожелала проститься со мной, — он выговорил это с трудом, и пухлые губы дрогнули, как у собравшегося заплакать ребенка. — Дело не в этом. Но хотелось бы знать подробности. Как произошло, что она поехала именно к вам? Она звонила, вы условились? Долго ли она пробыла у вас? О чем вы говорили? Не посетуйте на меня, ради бога, что я... — Он тяжело вздохнул, помолчал, заговорил снова и должен был откашляться, чтобы справиться с подступившими к горлу слезами. — Мне нужно знать, мне необходимо знать, потому что я... я страшно виноват перед нею.

С изумлением, почти с ужасом смотрела я на это порозовевшее от напряжения лицо с крепко сжатыми, чтобы не расплакаться, губами. Он не лгал. Невозможно было представить себе, что он лжет. Но только ли потому ему нужно было знать, о чем говорила со мной Глафира Сергеевна, что он был «страшно виноват перед нею»? Не потому ли еще, что он боялся — подозревал и боялся, — что Глафира Сергеевна говорила со мной о другом?

— Что же удивительного, Валентин Сергеевич, что вам захотелось увидеть меня? Да я бы сама давным-давно приехала, если бы не боялась вас потревожить. Я знала, что вы нездоровы.

Я говорю спокойно, неторопливо, сочувственно — не очень, но в меру. «Хорошо ли вы взвесили свои силы?» — спросил он однажды, предлагая союз, от которого я отказалась. И я отве-

тила: «Думаю, что да. Ведь я училась этому у вас, Валентин Сергеевич».

— Вы хотите услышать, как случилось, что Глафире Сергеевне в тот вечер захотелось увидеть меня? Не знаю. Должно быть, ей вспомнилась юность, Лопахин. Условились ли мы о встрече? Нет. Она приехала без звонка, вошла, извинилась и сказала, что ей давно хотелось повидаться со мной... Она сказала: «Я все-таки привязана к вашей семье, ведь ничто не проходит даром». А говорили мы... Сперва, как это ни странно, о каком-то шелке, который она купила в Мосторге, потом о Дмитрии Дмитриевиче — она интересовалась его здоровьем, делами. Кстати, она упомянула, с ваших слов, что у него в экспедиции что-то неладно? Я справлялась в Наркомздраве и не поняла — отмалчиваются или не знают?

Крамов устало покачал головой.

— И то и другое. Да, кажется, что-то было. Заболела одна из сотрудниц.

— Чумой?

Он кивнул.

— Впрочем, все это слухи. Беспокоиться за него нет оснований.

— Вы в этом уверены?

— Да.

Мы помолчали. Он выжидательно поднял глаза.

— О чем же вы еще говорили с Глафирой Сергеевной?

— О вас.

— Обо мне?

— Да. О том, что вы работаете не по годам, через силу, что вы вечно возитесь с чужими делами, что к вам, зная, что вы не откажете, обращаются полужнакомые люди. Я познакомилась с отцом, и она пожалела, что давно не поддерживает никакой связи с родными. Потом она вдруг сказала: «Но не нужно все-таки думать, что я — очень плохой человек» — и это была единственная фраза, по которой можно было судить, что она — в дурном настроении и недовольна собой. Конечно, я ответила, что «очень плохой человек» не пришел бы навестить меня в эти трудные дни, когда даже близкие друзья бывают не часто. Она улыбнулась и попросила у меня чашку чая.

Я говорила быстро, почти не задумываясь и заботясь только о том, как бы увереннее, *точнее* солгать. Впервые в жизни я лгала с чистой совестью, потому что только так можно было победить другую ложь, против которой не было иного оружия.

Больше я не сомневалась в том, что Крамов пригласил меня, потому что боялся, что Глафира Сергеевна знала то, что ей не полагалось знать, и поехала ко мне, чтобы рассказать о доносе, но у него была и другая, главная цель. Расспрашивая, испытывая меня, он постепенно стал успокаиваться. Он

поверил, что мы с Глафирой Сергеевной разговаривали о пустяках и что я поражена тем, что, решившись покончить с собой, она с такой настойчивостью возвращалась к мелочам обыденной ежедневной жизни. Он поверил мне, и тогда исподволь, осторожно стал подходить к своей главной цели.

— Татьяна Петровна, Кипарский мне говорил, что вы просили его подписаться под поручительством... Почему вы не обратились ко мне? Неужели вы думаете, что наши отношения, каковы бы они ни были, помешали бы мне засвидетельствовать, что Андрей Дмитриевич человек безупречный?

Я промолчала. Что я могла ответить ему? Что невозможно придумать для себя большее унижение, чем в беде обратиться к нему? Что, даже когда я еще не знала, что он, Крамов, виновен в этой беде,— все равно для меня это было невозможно?

— Представить себе, что несходство научных взглядов может заставить меня отвернуться,— дурно же вы думаете обо мне, милая Татьяна Петровна. В то время, когда бессмысленная случайность ворвалась в вашу жизнь и причинила так много незаслуженного горя. Мы спорили, мы сердились друг на друга, и очень сердились. Но подобный вариант отношений, поверьте, никогда не приходил мне в голову! Никогда!

Я ответила:

— Да, я пожалела, что не обратилась к вам, Валентин Сергеевич. Тем более что я даже не получила ответа.

— Вот видите.— Слабая тень оживления прошла по его бледному лицу с высоким, лысым, вдруг разгладившимся лбом.— А между тем, знаете ли вы, как нужно было действовать, дорогая Татьяна Петровна? Подписать-то подписать, но это еще полдела. Нужно было с этим поручительством поехать к Л.— И он назвал имя очень крупного деятеля, одного слова которого было бы, без сомнения, достаточно, чтобы Андрей оказался дома.— Да. Именно так, поехать. К Л., который знает меня, и добиться, чтобы он лично занялся этим делом.

Как на картине Гойя, два лица были обращены ко мне — одно улыбающееся с искренностью, которой трудно не поверить, другое — мрачное, с неподвижно-сжатым ртом, с полуприкрытыми глазами убийцы, и оба принадлежали одному человеку. Потому ли, что за долгие годы я научилась разгадывать Крамова и в этот вечер все мое умение пригодилось мне сразу, или потому, что я так искусно обманула его, но мне вдруг стало ясно все,— даже то, о чем он еще не сказал ни слова. Я поняла, во-первых, что он предлагает *товар*, состоящий в том, что он, Крамов, поедет к Л., и тогда Андрей вернется ко мне, может быть, через несколько дней, а во-вторых, что за *товаром* вскоре последует *цена*, причем представить себе размер этой цены было, в общем, нетрудно.

— Татьяна Петровна, я бесконечно сожалею о том, что жизнь увела нас так далеко друг от друга за последние годы. Вот и этой ошибки не произошло бы — я имею в виду мою подпись, — если бы мы были хоть чуточку ближе. Но будем считать, что все исправимо. Дайте срок, я поправлюсь, возьмусь за дела, и первое, внеочередное, дело — встреча с Л. и разговор насчет Андрея Дмитриевича. Ручаюсь за успех, а ведь я редко ручаюсь.

Я благодарю его со всей сердечностью, на какую только способна. Вот только очень трудно пожать протянутую решительным движением маленькую слабую руку. Но сходит и это. Нужно лгать. Пожимаю — и крепко.

— А теперь о другом. Я слышал, что ваша поездка на фронт удалась, Кипарский не только доволен, но на всех заседаниях кричит, что он очень доволен. Поздравляю вас. Это был умный шаг, а теперь можно не сомневаться, что для вашего препарата, а значит и для вас, открыта дорога. Но знаете ли вы, что именно теперь стало ясно, что ваш препарат — это только начало. Наступает эра антибиотиков — не будем бояться этого слова, — и эта новая эра потребует не только координации сил, она приведет к теоретическому перевооружению. Вот тут-то и окажется, что нам не только нужен, но крайне необходим небольшой на первых порах, но хорошо вооруженный теоретический центр.

С чувством какой-то тайной власти над ним я прислушиваюсь к этим словам, на которые нечего возразить, но которые не значат ровно ничего, потому что они принадлежат человеку, который давным-давно ничего не значит в науке. Да, новая эра. А каково будет мне в этой новой эре? — вот что в сущности означают эти слова. Что удастся захватить, а что не удастся?

Он говорит внятно, естественно, свободно — но как в повторяющемся сне, который мучит меня всю жизнь. Вот сейчас он скажет, что Институт биохимии, который (это на днях решено) будет заниматься главным образом антибиотиками, должен стать производственным, а не теоретическим институтом. Сейчас он предложит мне свой проект института антибиотиков, который возглавит, разумеется, он и в котором я буду работать на него — покорно, безмолвно подчиняясь каждому его слову. Большая цена! За Андрея? Не очень.

С холодным изумлением смотрю я на этого человека, полумертвого, потому что тень смерти уже лежит на его вяло повисших щеках, одинокого, старого — к его семидесятилетию уже готовились в Мечниковском институте — и все еще упорно цепляющегося за свое разбойничье право, которое было дано ему неведомо когда и неведомо кем.

Не сожалеет ни о чем, не вспоминает о прошлом, не провожает уходящую жизнь. Ставит условия, продает, покупает.

Хочет властвовать, пока в остывающем теле, в замирающем сердце еще теплится жизнь.

Я ответила Валентину Сергеевичу, что еще не думала о теоретическом центре, хотя согласна с ним, что изучение антибиотиков едва ли будет двигаться вперед, если мы ограничимся пенициллином. Я поблагодарила его за участие и сказала, что не теряю надежды — следствие покажет всю необоснованность обвинения, в чем бы ни обвиняли Андрея. Я снова выразила искреннее сочувствие по поводу безвременной смерти Глафиры Сергеевны и от всей души пожелала Валентину Сергеевичу мужественно перенести утрату. Вошла Мелкова, толстая, запудренная, нарумяненная, в черном шелковом, траурном платье, и я подумала, не просидела ли она все время, пока мы разговаривали с Валентином Сергеевичем, на короточках у замочной скважины под дверью его кабинета. Впрочем, и Мелковой, глядевшей на своего шефа со скорбным обожанием (и, кажется, с тайной надеждой, что вскоре ей удастся занять в этом доме вакантное место), я сказала несколько вежливых фраз.

СЫН

Это было решено еще до того, как арестовали Андрея, — поехать в Лопахин и привезти Павлика и бабушку в Москву. Теперь все изменилось, и Лена Быстрова, например, с которой я посоветовалась, сказала, что мне будет гораздо труднее, если они вернутся домой, хотя бы потому, что Агния Петровна, которая едва справляется с Павликом, не сможет вести мое неустроенное хозяйство. Она была права. Со всеми новыми заботами жить станет — я знала это — не труднее, а легче, когда Павлик вернется в Москву. Больше я не могла жить без сына.

Мне давно уже казалось странным, что до войны я видела его каждый день. Я не могла понять, как произошло, что я не только не ценила этого счастья, но даже как бы не замечала его. Теперь он рос без меня, и я могла лишь догадываться о том, каким он стал — по письмам бабушки и по отрывкам из дневника, которые она мне иногда присылала. Этот дневник был придуманный самим Павликом способ выполнять очередное задание, одновременно излагая свои, в общем, вполне оптимистические взгляды на жизнь.

Жизнь в Лопахине, в одной маленькой тесной комнатке с бабушкой, надоедавшей ему своими наставлениями и причитаниями, и Агашей, которая под старость впала в религиозность и занималась только тем, что ходила в церковь да переписывала священные книги, несколько не тяготила его. У него были друзья, и одному из них, проявившему редкое мужество в битве

с какими-то татарчатами, он, повидимому, старался подражать — к ужасу бабушки, считавшей этого храбрца отъявленным хулиганом. Вопрос о храбрости в особенности беспокоил его, об этом я знала и прежде. Он боялся, что вдруг может оказаться трусом! Недаром же еще до войны, когда ему было шесть лет, я нашла в его тетради записку: «Гулька был трус. Алеша был храбрый. А Павлик был не храбрый и не трус. Павлик был я». Он читал все, что попадалось под руку, и с наибольшим удовольствием почему-то разные эпосы, в том числе огромный, неуклюже переведенный, армянский эпос «Давид Сасунский». Я знала, что уже в семь лет он строго соблюдал неписанные товарищеские законы, сильно отличавшиеся от законов, которыми жили взрослые люди. Однажды, рассердившись на возню в коридоре — это было, еще когда мы жили во флигеле на институтском дворе,— я выскочила в коридор и, не разобравшись, в чем дело, шлепнула какого-то паренька, который беспощадно лупил Павлика, зажав его в угол. Уж не знаю, какие правила я нарушила, в какой уговор вмешалась без спросу, но Павлик с таким ужасом закричал: «Что ты делаешь, мама!», так разрыдался, бросившись на пол, что я растерялась. В таком отчаянии я его еще не видала! Расспрашивать, по какому поводу была драка, кто начал первый, кто виноват — было бесполезно. В таких случаях он отвечал только одно: «Я не ябеда», и больше от него нельзя было добиться ни слова.

Но все это было, было! Скоро три года, как я рассталась с ним. Нельзя же считать короткую промелькнувшую встречу летом сорок третьего года, когда мне удалось вырваться в Лопухин и провести с Павликом несколько дней. Он тоненький, чистый, честный. Он — мужественный, справедливый. Как я объясню десятилетнему мальчику, который свято верит, что в нашей стране не может произойти ничего несправедливого и жестокого — верит, потому что мы его этому научили,— как объясню ему, что это несправедливое случилось именно с его отцом? Как я скажу ему, что арестован отец — отец, который, как герой «Давида Сасунского», всегда был для него образцом благородства и чести?

* * *

До Петрова я ехала в санитарном поезде, который вез раненых с Первого Белорусского фронта. Врачи знали о пенициллине, я взяла его с собой и была рада, что работа мешала мне думать о надвигающейся, самой трудной в жизни, минуте.

Поезд был превосходный, недавно победивший в соревновании на обслуживание раненых, как мне с гордостью заявил комиссар. И действительно, блистающий чистотой, с собственной операционной, хорошей библиотекой и даже с особым, еще не виданным мною, устройством, позволявшим вносить

раненых через откидывающийся угол вагона. В коридорах висели репродукции Рубенса, а в столовой — переносная выставка «Отечественная война 1812 года», похожая на складную детскую книжку-картинку. Одна могущественная черта, которую нельзя было не заметить, чувствовалась в каждом пункте «расписания дня» — близость победы. Никто не говорил об этом ощущении, оно существовало как бы само по себе, исподволь перестраивая жизнь. Но разве можно было сравнить бедные санпоезда первых лет войны с этими двигающимися палатами, ничем в сущности не отличавшимися от первоклассного стационара? Этот поезд, который вез более тысячи раненых, был поездом победы. Раненые долго обсуждали меню, споря о сравнительных достоинствах щей и супа — победа! Плотник-санитар придумал стойку в два этажа, чтобы быстрее разносить горячие первые блюда — победа! Подъезжая к станции, расходясь с встречными поездами, паровозный гудок кричал долго, радостно, празднично — победа!

Но вот умчался этот госпиталь победы, и я осталась одна на той самой станции Петров, куда в былые времена ездили кутить лопахинские купцы и куда — да было ли это? — полный неприятный гимназист увез на тройке девушку в беленьком полушубке с мрачными глазами.

Долго, часа четыре, ждала я рабочий поезд, который должен был доставить меня в Лопахин. День был душный, солнце расплывалось в оранжевом мареве. Со всех сторон, куда ни взглянешь, был виден обугленный еловый лес, и казалось, что горьковатый запах гари, от которого некуда деться, еще стоит в неподвижном воздухе. Баба продавала лепешки бог знает с чем, я купила и съела, потому что надо же было съесть что-нибудь. «Ведь отец не виновен, да, мама?» — «Конечно». — «И он объяснил им, что не виновен?» — «Да». — «Почему же они ему не поверили? Как они смели ему не поверить!» Я ходила по раскаленной маленькой станции — пустой, хоть покати шаром, и думала, думала... «Сказать Павлику правду? Нет, не могу».

Начальник станции — рыжая девушка в шапке с красным околышем вышла из будки, собралась о чем-то спросить у меня и не спросила, только постояла немного, следя за мной сочувственным взглядом. Так было и в поезде. Меня не спрашивали. Должно быть, у меня на лице было написано горе.

Рабочий поезд пришел, наконец, и еще два часа я тащилась в Лопахин вдоль неубранных одичавших полей и пустых перелесков. Сказать? Мост через Тесьму промелькнул за окном; на низком берегу часовой, поставив винтовку между колен, сворачивал папироску. Сказать? Вот и дорога в Замостье, и пожарная каланча, и «Утюг» — самое высокое место на набережной, где река огибала ее под углом. Ласточки вились вокруг купола монастырской церкви. Сказать?

НОЧНЫЕ ГОЛОСА

...Едва ли можно назвать затишьем то, что я нахожу, возвращаясь в Москву. И все-таки для меня это — промежуток, ожидание, затишье. С осени я впервые в жизни начинаю вести курс в Институте усовершенствования врачей, волнуясь, готовлюсь к лекциям и даже, по неопытности, зазубриваю их наизусть. Агнию Петровну, после долгих размышлений, я решила оставить в Лопяхине, а вместо нее привезла Агашу. Увы, в рыхлой, желтой, помешанной на святых книгах старухе трудно узнать прежнюю энергичную, быстроногую, хотя и склонную к преувеличениям Агашу! И домашние дела, которые и всегда-то не ладились в моих руках, в конце концов все-таки попадают в мои неумелые руки.

В эти дни ранней осени 1944 года я затеваю работу над новым препаратом, любопытным даже не столько по своим практическим свойствам (о которых я, впрочем, тогда еще почти ничего не знала), сколько с теоретической стороны. При этом, как ни странно, я обхожусь без «теоретического центра», о котором так убедительно говорил Валентин Сергеевич Крамов.

И все это — промежуток, ожидание, затишье.

В Институте биохимии — кипение работы. Едва вернувшись из эвакуации, институт получает красное знамя социалистического соревнования. Прекрасно одетый молодой человек, тот самый, который говорит с длинными паузами, долженствующими показать, что хотя он и молодой человек, однако не бросает на ветер ни одного своего драгоценного слова, — этот вежливый, с красивыми зубами, молодой человек от всей души (и от Наркомздрава) поздравляет Рубакина, впрочем тут же отмечая, что победителю не мешало бы с большей тщательностью выполнять программу по номенклатуре. Студия научно-популярных фильмов затевает картину «Пенициллин-крустозин ВИЭМ», и это оказывается необычайно хлопотливым делом — не столько для студии, сколько для нас. Оно начинается с того, что люди в грязных белых блузах, быстрые, дельные, говорящие отрывисто, кратко, втаскивают в нашу скромную лабораторию свои аппараты с толстыми, как змеи, проводами, о которые все спотыкаются и к которым тем не менее относятся с уважением. Потом сценарист, поражающий меня полным отсутствием каких бы то ни было представлений о микробиологии, просит, чтобы я отредактировала его сценарий, и я, испытывая к своему изумлению нечто вроде священного трепета, работаю с ним чуть ли не каждый день. Потом начинаются съемки, и уж тут надолго исчезают из глаз антибиотики, новые и старые, а все мы, оказывается, существуем только для того, чтобы позировать с мнимо-значительными лицами перед съёмочным аппаратом.

И все это — промежуток, все это — кажущееся затишье, когда не позволяешь себе даже думать о том, что «не имеет

права случиться». Все это — лишь нетерпеливое, страстное, упрямое ожидание Андрея.

Указ об учреждении Академии медицинских наук опубликован в газетах, и, боже мой, какую бурю производит этот указ среди людей, никогда до сих пор не думавших о том, что придет время, когда они упрямо, деятельно, энергично будут стремиться к высокому званию действительного члена или, на худой конец, члена-корреспондента этого почтенного учреждения! Сколько волнений, интриг, фальшивых улыбок, передернутых карт! Сколькó забот, с которыми нельзя даже сравнить заботы о самой медицинской науке, во имя которой принято решение и опубликован указ.

В числе других заметных, хотя и не очень, деятелей медицинской науки и я получаю звание члена-корреспондента Академии медицинских наук. Это очень хорошо. И вовсе не потому, что моя довольно скромная зарплата увеличивается едва ли не вдвое. Это очень хорошо, потому что, несмотря на вольные и невольные, предусмотренные и непредусмотренные попытки расшатать или хоть пошатнуть мое «положение», несмотря на то, что некоторые сотрудники Института биохимии еще огибают меня, как будто встречаясь с невидимым препятствием, заставляющим их отклоняться в сторону градусов на двадцать; несмотря на то, что борьба продолжается и Рубакин в горькие минуты утверждает, что она закончится, лишь когда в институте будет новый директор или новый партком,— несмотря на все эти и многие другие обстоятельства, со всех сторон обступившие супругу некоего А. Д. Львова, арестованного за свои, повидимому, весьма серьезные преступления, эта супруга получает полное признание как видный и полезный — что там ни говори — работник нашей медицинской науки.

И все это лишь промежуток, затянувшийся, как мучительная, бесконечная ночь. Но ночь никогда не переходит в ночь. Ночь кончается, и наступает утро.

* * *

Павлик играл в шахматы с Рамазановым, отец — чистенький, аккуратный, с расчесанными пушистыми усами — сидел в кресле, следя за игрой с добродушно-снисходительным видом, Агаша гремела посудой на кухне — словом, когда я пришла, все было так, как будто ничего не случилось. Так, без уговора, без единого слова повелось с того времени, когда Павлик приехал в Москву: ничего не случилось! Рамазанов приходил почти каждый вечер, сперва подыскивая предлог, что было вовсе не трудно, потому что на пенициллиновом заводе дела шли далеко не так гладко, как хотелось бы, потом без предлогов, — и не могу передать, как это было мне дорого в ту тяжелую пору. Отцу он «выдавал» необыкновенные истории из да-

лекого прошлого советской эпидемиологии, а с Павликом играл в шахматы и спорил о сравнительных шансах Ботвинника и Кереса в случае возможного матча на первенство мира. Он был из тех людей, которые во время потрясений, переполоха, внезапного несчастья начинают действовать размеренно, неторопливо, прекрасно зная, что эта успокоительная неторопливость незаметно поддерживает мужество, внушает уважение к себе.

И в этот вечер, играя с Павликом, он рассказывал очередную историю, относившуюся к тем временам, когда Григорий Григорьевич был военным врачом.

— Приказано было вывезти наш корпус в Березовский лагерь, а прежде чем вывезти — восстановить, поскольку в этом лагере войска стояли еще в царские времена, а с тех пор он был забыт и заброшен. И посылает меня начсандив...

Мы сидели в столовой, просторной и все еще нарядной, хотя обои, из-за которых мы с Андреем когда-то чуть не поссорились, выгорели и потускнели. Фигурки из моржовой кости, которые Андрей некогда привез из Андзерского посада, стояли на книжном шкафу. Какую коллекцию кустарных изделий собрал он тогда — полотенца, вышивки, прялки! Он любил собирать — да все не доходили руки! Работая в метро, он вдруг заинтересовался археологией, и странные предметы появились у нас — печные изразцы, глиняные сосуды. А однажды он притащил домой страшную ржавую рукоятку меча и целый час доказывал, что этот меч принадлежал польскому офицеру, сражавшемуся против Шуйского в начале семнадцатого века.

— И посылает меня начсандив, — неторопливо продолжал Григорий Григорьевич, — выяснить, каковы там условия, и дать по сему поводу заключение. Ну-с, поехал я и вижу — лагерь прекрасный. Местность пересеченная, полигон такой, что только во сне может присниться. Но что-то не понравилось мне в этой пересеченной местности: болот много. И стоит над ними оглушительный комариный звон. А кто не знает, какая болезнь прилетает на комариных крыльях?

Павлик играл, и в том, как он, слушая, поднимал руку и долго держал ее над шахматной фигурой, было что-то от Андрея, но не взрослого, а лопахинского, когда он еще ходил в серой гимназической курточке и не смотрел, а всматривался, точно видел совсем другое, чем мы, своими серьезными серыми глазами.

— Послал я свое заключение, и не согласился с ним командующий войсками. Трудно, знаете, иногда убедить начальство в том, что не все то хорошо, что решено и подписано, — продолжал Григорий Григорьевич, обращаясь к отцу и давая ему понять, что уж он-то, без сомнения, прекрасно знает, что такое начальство. — Назначили комиссию, а она, изволите видеть, на мою сторону стала. Дошло дело до Главного

санитарного управления, а там тогда Зиновий Соловьев сидел, энергичный, между прочим, мужчина. Соловьев поддержал, и приступили мы к весьма серьезной по тем временам работе. Это ведь вам не шутки шутить — малярия! Это болезнь коварная, изнурительная; самого Наполеона заставила уйти из Египта, строительство Панамского канала приостановила, войска Антанты во время первой мировой войны на Балканском фронте опустошила.

Давно пора было идти в свою комнату и приниматься за план подготовки Института биохимии к зиме,— в прошлом году холода застали нас врасплох и едва не сорвали выпуск пенициллина,— но я все не шла, а сидела за столом и смотрела на Павлика, серьезного, бледного, погруженного в обдумывание очередного хода. Как он переменялся, как вырос! Он стал высокий, с худыми прямыми плечами, а светлые доверчивые глаза глядели рассеянно-пристально, как у близоруких, когда они снимают очки. Но у него — я проверила — было нормальное зрение.

— И вот взялись мы за малярию,— продолжал Рамазанов.— Старые землянки засыпали — это прежде всего, нефтевальщиков двинули вперед, палатки при распланировании подняли в здоровые места, подальше от «старниц» — так называются тихие заводы, остающиеся после половодья. Людей хинизировали, но как! Каждое утро выстраивались полки, гремели оркестры и каждый красноармеец получал по стаканчику спиртового раствора хины. Та же водка, а какой русский человек откажется от стопки водки перед завтраком? Это вам не таблетка какая-нибудь, тем более горькая, которую и выбросить недолго. Вот тут дело, между прочим, пошло.

— Григорий Григорьевич, а в Сталинграде, когда вы с папой работали, была малярия? — спросил Павлик.

— Нет.

— Григорий Григорьевич, а что он сейчас делает в Сталинграде?

— Фью, что делает! Там, брат, хватает работы.

— А почему же он не может приехать хоть на несколько дней?

— Ну, как же он приедет, голубчик,— мягко сказал Григорий Григорьевич,— если без него там сразу все вверх ногами пойдет? Тебе шах, между прочим.

— Я вижу.

«Догадывается. Смутно чувствует, что от него что-то скрывают,— продолжала я думать.— Почти не спрашивает меня об отце, как будто понимает, что мне особенно трудно сказать ему правду».

Позвонил телефон, я сняла трубку и не сразу узнала Колмнина: у него был непривычно бодрый и даже легкомысленный голос.

— Да что там дела! Дела на ять,— весело сказал он.— И, кроме того, не все же заниматься делами!

— Иван Петрович, что случилось? — Признаться, мне пришло в голову, что наш вечно хмурый, сумрачный Коломнин хватил лишнего. Это случалось с ним последнее время.

— Со мной? Решительно ничего, дорогая Татьяна Петровна. Вы лучше спросите, что с так называемым Скрыпаченко!

— А что с Скрыпаченко?

— То самое.

— Арестован?!

— Нет еще, к сожалению, но вроде. Исключен из партии — это во-первых. Уже не директор Института профилактики — это во-вторых.

— Быть не может!

Я так радостно изумилась, что Григорий Григорьевич вскочил, подбежал ко мне, и, прикрыв трубку ладонью, я торопливо сообщила ему необычайную новость.

— Это верно?

— Как пуля. Я хочу сказать, он вылетел, как пуля.

— Вам это нравится?

— Очень.

— Вот видите, есть, оказывается, правда на земле. И даже, может быть, выше. Не сердитесь на меня, это я на радостях хлопнул. Я, между прочим, вас люблю, честное слово.

Это было невероятно — услышать от Коломнина подобное признание. Я тоже сказала, что очень люблю и уважаю его. И мы простились, пожелав друг другу доброй ночи.

— Лю-бо-пыт-но,— значительно подняв брови, сказал по слогам Рамазанов. Он ничего не знал о письме, которое мы с Рубакиным послали генеральному прокурору Союза, но он, разумеется, прекрасно знал о непреодолимой склонности Скрыпаченко к «анонимной литературе» и, вероятно, не раз подумывал о том, что эта склонность сыграла заметную роль в аресте Андрея.

— Да, любопытно.

Отец вопросительно посмотрел на меня, должно быть надеясь на пространный объяснительный комментарий, но я только прибавила:

— И очень.

— Григорий Григорьевич, кто это Скрыпаченко? — негромко спросил Павлик, когда Рамазанов вернулся к шахматам, и обыкновенный вечер, ничем не отличавшийся от других вечеров осени 1944 года, пошел своим чередом.

— А это, брат, очень плохой человек.

— А плохой человек ведь не должен быть членом партии, верно?

— Еще бы. Твой ход.

«Ох, какой сегодня, должно быть, переполох среди разбойников, какое смятение! Крупенский уже, без сомнения, бросился к шефу, а шеф не в форме, шеф расстроен, шеф болен. Одно огорчение за другим. Жена есть жена, и все-таки очень неприятно, когда жена, какова бы она ни была, уходит из дома, бросается в пролет лестницы и разбивается насмерть. Теперь — Скрыпаченко. Что значит это неожиданное крушение? В чем он промахнулся, с кем не поладил? А впрочем, шеф не особенно удивлен, что этот сомнительный и всегда производивший какое-то неопрятное впечатление субъект исключен из партии и снят с поста директора института, скрыпаченкам — не место в науке. И Крупенский, нервно сощурившись, зажигая папиросу от папиросы, смотрит на шефа: «Что ты сделаешь, если надо мной разразится гроза? Тоже продашь? Попробуй! Обойдется дороже».

* * *

Павлик спал в одной комнате с дедом, и я долго слушала, как дед, который после Рамазанова всегда испытывал сильнейшее желание поделиться с кем-нибудь опытом своей, полной приключений, жизни, рассказывал Павлику о том, как в 1918 году на знаменитую станцию «Михаил Чесноков» прибыл эшелон бандитов.

— Бывших каторжан освободили как политических, отправили на фронт, а они захватили эшелон и в городах под видом красных грабят госбанки. Золото — с собой, серебро, как цари, бросают народу. Командир, дальний родственник князя Сумбатова-Южина, левый эсер. Пытался удрать. Они выстрелили и ранили зад жеребцу, так что пришлось отдать его нашему завскладом. А завскладом продал его казачке, которая вышла за Шимановского, а потом ушла от него к шарманщику по любви. Вот тебе и обреченные люди!

Рассказ затянулся, и я слышала, как Павлик деликатно спросил: «А потом?» И мне представилось, как он лежит с закрытыми глазами и, хотя ему очень хочется спать, старается не уснуть, чтобы не обидеть деда. Я постучала в стенку, и история казачки, которая неожиданно — вероятно, и для самого рассказчика — ушла к шарманщику, была отложена на завтра.

«Да, это внушает надежду — то, что мне сообщил Коломнин. Лиха беда начало, как говорится. Взялись за Скрыпаченко, доберутся и до других. Ох, поскорей бы! А что, если его исключили из партии в связи с делом Андрея? Здесь нет ничего невозможного. Прокурор мог переслать наше письмо в ЦК и не то, что мог, а был обязан, потому что мы опирались на проверенные, непровержимые факты».

Совершенно забыв о плане подготовки института к зиме, я принялась шагать из угла в угол, крепко сжимая виски. «Но почему, собственно говоря, я думаю, что это так? Разве мало было за Скрыпаченко и других преступлений?»

Нужно было ложиться, Павлик учился в первой смене, и ему нравилось — я это знала, — когда не дед, а я провожала его.

Я умылась, надела халатик и пошла к нему — взглянуть и поцеловать еще раз, если он еще не уснул. В комнате было не очень темно. Дед с внуком спали при открытой форточке, и на ночь приходилось поднимать бумажную штору. Мне показалось, что у Павлика чуть-чуть дрогнули веки, когда я наклонилась над ним — не спит? Но он ровно дышал, и я подумала, что ошиблась.

Вот и ночь! Я лежала с закрытыми глазами и уговаривала себя не принимать снотворного: «Ну, еще хоть час. Лучше помучиться, чем проснуться с туманной, тупой головой».

И я помучилась, а потом, должно быть, все же уснула, потому что мне почудился легкий звон — такой легкий и нежный, как это бывает только во сне. Он был несколько не похож на звонок у парадной, и мне стало смешно, потому что это был не звонок у парадной, а родник, сверкающий на солнце и бьющийся в зеленой ложбине между раздвинутых скал. Но он повторился, и как ни жаль было расставаться со сном, а приходилось, потому что отец проснулся и стоял в дверях моей комнаты, испуганный, в большом, запахнутом вдвое, халате Андрея.

— Открыть?

— Подожди, я сама.

Руки немного дрожали, когда я одевалась. Три часа ночи! Что за поздний визит? Отец хотел зажечь свет, я остановила его и, прислушиваясь, постояла у двери. Тишина. Нет, шепот. Кто-то негромко разговаривал на площадке, и мне, быть может, удалось бы расслышать — дверь была тонкая, — если бы сердце не билось так непростительно громко. Тишина. Потом снова звонок. Голоса.

Ж е н с к и й. Никого.

М у ж с к о й. Ох, не пугай!

Ж е н с к и й. Вот видишь, нужно было дать телеграмму.

М у ж с к о й. Если спросят, ответишь ты. Хорошо?

Митя? Или все это снится мне — взволнованные голоса на площадке и то, что я стою босиком, прислушиваясь и стараясь унять стучавшее, как колокол, сердце.

— Кто там?

— Ох, слава богу! Таня, это мы, мы!

— Митя?

— Да, да, это я, это мы. Откройте же. Мы напугали вас? Я говорил Лизе, что нужно было подождать до утра.

Они вошли на цыпочках, встревоженные, загорелые, большие — я забыла, какие они большие — и, едва войдя, стали, перебивая друг друга, расспрашивать об Андрее.

— Неужели это правда? Нам в самолете сказал один врач. Когда? Почему вы не написали нам? Лиза приехала бы, она давно освободилась, в июне!

— Все расскажу. Ох, как хорошо, что вы приехали! Как хорошо, если б вы только знали!

Я обнимала их, милых, загорелых, обветренных, точно прилетевших на крыльях, чтобы помочь мне и теперь тревожно хлопотавших вокруг меня, потому что я все-таки не удержалась и немного всплакнула.

— Ничего, будем надеяться, что все обойдется. Я надеюсь и очень. Что же вы стоите, раздевайтесь, идите сюда, скорее, скорее!

* * *

В столовой стояли открытые чемоданы, на диване, на стульях, повсюду было что-то набросано, и уже невозможно было вообразить, что только что была ночь и все в доме спали. Правда, ночь еще продолжалась, и нужно было прежде всего устроить гостей, тем более что Елизавета Сергеевна проговорила, что ей было нехорошо в самолете. Но это была уже совсем другая ночь и другой дом — дом с Митей и Елизаветой Сергеевной. Я выпроводила Агашу на кухню, уложила отца, и мы, наконец, остались втроем — я и милые неожиданные гости, на которых я не могла наглядеться.

* * *

Целой ночи не хватило бы, чтобы рассказать все, что случилось, и я начала с конца, потому что это было, без сомнения, важнее всего. Мне хотелось, чтобы Митя и Елизавета Сергеевна поняли и оценили все предположения, мелькнувшие передо мной, когда позвонил Коломнин.

— Нет, все-таки с начала. Хоть самое главное! — взмолился Митя.

И я стала рассказывать самое главное. Но что же было не самым главным в том, что касалось судьбы самого близкого на земле человека? Я только упомянула, что Кипарский отказался подписать первое письмо в прокуратуру, — и сразу же оказалось, что об этом нельзя только упомянуть, потому что тогда становится непонятным, почему он пригласил меня поехать с его бригадой на фронт. Все было связано, переплетено — вольно или невольно, — и, сказав, что Рубакин две недели ходил с перевязанной правой рукой, я должна была перебрать

все догадки, подтверждавшие, что главный удар направлен против меня. Но о чем бы я ни рассказывала, как в стену упиралась я в ту ночь, когда ко мне приехала Глафира Сергеевна. Конечно, лучше было не говорить Мите о том, что произошло в эту ночь, и сказать в другой раз, когда мне не пришлось бы ежеминутно останавливаться, чтобы обойти то, что обойти было все равно невозможно. И, должно быть, Елизавета Сергеевна почувствовала, что нам с Митей нужно остаться наедине, потому что вдруг ушла — сперва в ванную, а потом, вернувшись, не дала мне хозяйничать и сама принялась устраивать постель на диване в столовой. Она хотела поднять чемодан, Митя шумно сорвался со стула, отнял, отнес — и я поняла, почему она так смутилась, упомянув, что ей было дурно в дороге. Елизавета Сергеевна ждала ребенка.

Митя слушал, не шевелясь, прикусив губу, и у него было усталое лицо, энергично-хмурое, со сдвинутыми бровями.

— Умерла? — немного побледнев, спросил он.

Я кивнула. Мы помолчали.

— Да, Танечка, я слушаю.— Митя сказал это так же строго, как покойная Глафира Сергеевна говорила о нем.— Когда я был у нее перед отъездом, у меня мелькнула мысль, что все это кончится плохо. Это был пустой дом, и пустота была угнетающей, безнадежной. Тогда она сказала мне, что прочитала рассказ, не помню чей, кажется, Телешева, в котором чуваш, чтобы отомстить обидчику, вешается у него на воротах. И прибавила, что ведь в сущности это только кажется, что нужно жить во что бы то ни стало.

«Вы передайте Мите, что если я любила кого-нибудь в жизни, так это его,— припомнилось мне,— насколько впрочем, была способна любить». Сказать? Но дверь в столовую была открыта, и, взглянув на Елизавету Сергеевну, которая, постелив на диване, прошлась по комнате еще попрежнему плавной, но потяжелевшей походкой, я промолчала. В другой раз.

— Ну, ложитесь, завтра доскажу, вы устали с дороги. Мы будем говорить еще много. Митя, я совсем забыла. Что случилось у вас в экспедиции? Очень странные слухи донесли до Москвы. Мне даже казалось одно время, что все вокруг знают что-то о вас, а мне не хотят говорить. Что это было?

Он рассеянно смотрел на меня, думая о другом. Потом пробормотал:

— А, вздор!

— У вас среди сотрудников был случай чумы?

— Да, заболела одна сотрудница,— ответил он и засмеялся.— К счастью, оказалось, что это была не чума, а туляремия. Напугала до смерти.— Он глазами показал на жену.

Я уложила гостей, потому что все еще была ночь, и легла сама, не надеясь больше уснуть, а только дожидаясь уже недалекого утра. И неожиданно-негаданно поплыли сонные, неторопливые мысли. Я не одна. Приехал Митя с женой, какие хорошие, загорелые, большие. Удобно ли им вдвоем на диване? Ждут ребеночка, как хорошо. Я не одна. Что они будут делать теперь? Оба в армии, и ничего за душой. Митя поседел, оба какие-то черные, как индусы. Ну да, ведь там очень жарко, наверное. Как обрадовался бы ему Андрей! Еще обрадуется, я надеюсь, надеюсь. Может быть, они долго пробудут в Москве? Едва ли. Митя уедет, а Елизавета Сергеевна останется у меня. Она милая, гордая, я ее люблю, останется непременно. У Мити не было детей, а как у него всегда светлело лицо, когда он говорил о детях!

Уже подумалось о чем-то другом, вдруг о летней даче во Внукове, сухой, пронизанной солнцем, с чьими-то быстрыми детскими шажками на открытой террасе. И в подступающем сне я уже радостно, раскинув руки, бежала навстречу этим милым стучащим шажкам, когда точно что-то толкнуло меня, и я с ужасом, с трепетом открыла глаза: Павлик слышал наш разговор! Он не спал. Не может быть, чтобы он не проснулся!

И, сдерживая дыхание, я прошла к нему, стараясь осторожно ступать босыми ногами.

В комнате был уже слабый утренний свет. Дед похрапывал, лежа на спине, и с каждым вздохом его седые усы поднимались и опускались. И Павлик спал так бесшумно, что мне, как всегда, стало немного страшно, и я наклонилась к его лицу, чтобы послушать дыхание. Я наклонилась, чтобы быть поближе к нему, и снова как прежде, мне почудилось, что у него дрогнули веки. Осторожно, чтобы не разбудить его, если он все-таки спал, я встала подле него на колени. Он не спал. Веки дрожали. Он чувствовал меня рядом с собой. И со слезами, с гордостью, от которой сердце сжалось больно и сладко, я поняла, что он слышал наш разговор и теперь не хочет, чтобы я догадалась об этом. Не хочет, потому что ему кажется, что мне станет еще тяжелее, если я догадаюсь. Потому что для меня лучше так: лучше думать, что он ничего не знает.

Я вернулась в свою комнату, и снова пошли чередой ночные беспокойные мысли и чувства. Все те же, но и еще одно: гордость за сына. И не ради себя, нет, ради него я вдруг потребовала — сама не знаю у кого, у судьбы, у доли, у счастья, — чтобы дверь распахнулась и вошел Андрей, такой же, как всегда, с плащом, переброшенным через плечо, в старом сером костюме, который, казалось, сейчас треснет на его сильных плечах, в кепке, из-под которой виднелось его доброе лицо, с твердыми, соскучившимися глазами. Или другой, все равно, —

усталый, расстроенный, похудевший — таким он возвращался из своих поездок, когда чужая тупость или равнодушие мешали его светлому делу. Пусть он войдет, если есть на свете справедливость и честь и если мы принесли человечеству эту справедливость и честь, которой верят и без которой не могут жить наши дети. Пусть он войдет, или дайте мне умереть, потому что я не хочу больше жить, обманываясь и теряясь и трепеща от страха, что может победить подлость — подлость и ложь.

ЭПИЛОГ. ИЗ ДНЕВНИКА ПОСЛЕВОЕННЫХ ЛЕТ

Могильная тишина стояла в погибших городах, страшные, почерневшие поднимались к небу остовы разрушенных зданий. Запах тления стоял над землей, и в сердцах людей, вернувшихся в родные места и ютившихся в жалких бараках, становилось пусто и холодно, когда ветер доносил до них сладкий, тошнотворный запах беды.

Полстраны нужно было поднять из развалин, и так же, как сотни тысяч других советских людей, принявшихся за великий труд восстановления, я упорно работала в эти тяжкие годы. Но я работала, отгоняя от себя горькие мысли и стараясь обойти то, что мешало работе. Пенициллин, давно потерявший свое очарование чуда, с каждым годом становился все совершеннее, и среди множества усилий, которые отдавали ему ученые всего мира, свое место заняли и наши усилия. Из института он ушел на заводы, и новые препараты заняли его место на лабораторных столах.

* * *

Перед странной задачей остановились мы в послевоенные годы — доказать, что наша медицинская наука развивается с необычайной быстротой или, по меньшей мере, быстрее, чем наука других стран или всего мира. Нам и никому другому принадлежали все величайшие открытия XIX и XX века — это утверждалось в книгах и статьях, в кино и в театре. И никто не замечал, что наряду с защитой придуманного, мнимого первенства мы теряли подлинное, добытое в мучительных трудах и исканиях. Существовали десятки причин, из-за которых мы теряли это реальное первенство, но самая главная из них заключалась в том, что никто из нас не имел права делиться своими открытиями даже с лабораторией соседа.

О, эта тайна, этот сумрак, в котором мы едва различали друг друга. Еще и сейчас — я пишу это в 1956 году — не расквитались мы с тем невежественным вздором, с той таинственной чепухой, вокруг которой городились опутанные колю-

чей проволокой заборы и которые после рабочего дня хранились в запечатанных сейфах! Сколько ловких людей, не имеющих никакого отношения к медицинской науке, получили высокие звания под покровом этой искусственной тайны, без которой почему-то невозможно было ни работать, ни жить.

Мнимая, выдуманная наука нуждалась в мнимом оживлении — и широкие дискуссии были организованы, чтобы показать всему миру блеск творчества, столкновения мнения. Но под этим искусственным светом становились видны лишь потрепанные декорации догматизма, готовых представлений, подсказанных мыслей.

Конечно, это была победа Крамова — победа, всего страшного значения которой он, может быть, и сам не предвидел.

* * *

Я жила в кабинете Андрея, почти пустом; война помешала нам купить мебель для новой квартиры. Но письменный стол мы все же купили, и теперь он очень пригодился мне — этот прекрасный, покрытый зеленым сукном вместительный стол. Три ящика были набиты бумагами, и все это были бумаги, прямо или косвенно связанные с «делом» Андрея. Здесь хранились копии заявлений, которые я посылала в Комиссариат внутренних дел, доказательства невинности Андрея, свидетельства его порядочности и нравственной чистоты. Здесь были акты, протоколы, доклады, выступления — все, что касалось его работы в Анзерском посаде, в Сталинграде, в Москве, все отчеты о его бесчисленных поездках в Среднюю Азию и на Дальний Восток, все черновики его книги, все письма, проекты — осуществленные и неосуществленные, — все, что он думал о своем тяжелом и незаметном деле — словом, вся его жизнь. Нетрудно было изучить ее — день за днем, год за годом, и если бы следователю пришла в голову эта мысль, он легко убедился бы в том, что в этом тесном ряду дней и лет, полных труда и пронизанных мыслью, просто некуда поместить преступления, которое тоже требует работы и мысли. Но в те годы следователь не был обязан и не хотел листать какие-то бумаги, на которых не было даже входящего номера, не говоря уже о подписи и печати. Это было опасно — ведь за бумагами он мог, чего доброго, рассмотреть человека. А что может быть опаснее человека? С упорством, почти маниакальным, в сотнях писем и заявлений я доказывала, что Андрей не участвовал в контрреволюционных заговорах, не способствовал эпидемиям, не вербовал шпионов, не занимался вредительством и не писал книг, подрывающих основы советского строя. Это была работа неустанная, непрерывная и казавшаяся решительно всем, кроме меня, безнадежной. Но она продолжалась.

В одном из писем Карла Либкнехта я нашла в ту пору вдохновившие меня строки: «Ты порицаешь меня за то, что я часто повторяю то же самое. Это — не старческая слабость. Это — вколачивание, пока гвоздь не будет прочно сидеть. Это — удары топора, пока дерево не упадет. Это — стук, пока спящий не проснется».

* * *

Весной 1951 года я поехала в Сталинград на сессию Академии медицинских наук, и Митя присоединился ко мне, хотя то, что должно было произойти на этой санитарно-эпидемиологической сессии, не имело к нему ни малейшего отношения. Впрочем, у него, как это выяснилось по дороге, была совсем особая, важная цель: в Сталинграде жил Алфеевский, мировой специалист по культуре тканей, и он надеялся уговорить его переехать в Москву — иными словами, встать под знамя, на котором было написано: «Вирусная теория», и которое поднималось все выше. Этим он и занялся, пропадая в лаборатории Алфеевского дни и ночи, а я, заглянув на сессию (мой доклад был назначен на последние дни), принялась бродить по Сталинграду, разыскивая места, памятные по грозному лету 1942 года.

Я нашла Санитарно-эпидемиологическую лабораторию, или, точнее, то место, где она находилась. Деревянный домик сторел, но рядом с ним сохранилось небольшое розовое здание, в котором размещался санпропускник-изолятор. Отсюда мы шли в исполком на очередное заседание противоэпидемического совета. По улице Кагановича мы поднимались наверх мимо зверинца — львы с добрыми мордами, похожие на мохнатых собак, были изображены у входа.

Я прошла вдоль линии обороны, отмеченной постаментами, на которых стоит маленькая модель танка Т-34. То круглыми зигзагами взбирается на холм эта линия, то падает в овраг, по которому течет быстрая речка, то пересекает восстановленный, грохочущий, кипящий жизнью заводской цех, то так близко подступает к Волге, что невольно дивишься — как же здесь, на открытом со всех сторон краешке обрывистого берега, отбивались и удержались наши?

Покровский, так и оставшийся заместителем председателя Сталинградского исполкома, предложил мне посетить Горную Поляну. Именно там производился бактериофаг, которым мы усердно поили сталинградцев. Мы отправились, и Покровский остановил машину на высоком холме, с которого открывался широкий поворот Волги к Каспийскому морю. Горьковатый запах полыни неподвижно стоял в нагретом воздухе; я нагнулась, чтобы сорвать этот скромный серо-зеленый пучок, и увидела в траве незаметные на первый взгляд осколки снарядов. Они лежали повсюду, куда ни взглянешь, ржавые,

полуприкрытые землей, большие и маленькие, острые и тупые. Ими был усеян каждый шаг — можно было подумать, что железный дождь сутками, без усталы лил на этот затерянный в степи невысокий холмик.

Постепенно я стала различать заросшие, почти сровнявшиеся с землей маленькие рвы, за которыми лежали бойцы. Покровский поднял обрывок пулеметной ленты, ржавый штык, и безымянный уголок Сталинградской обороны стал оживать перед нами. Здесь был передний край. Отсюда началось наступление, перешедшее в общее великое наступление, освободившее Кавказ, прорвавшее ленинградскую блокаду, разгромившее фашистские армии под Воронежем, Курском. Отсюда пошел на Запад русский солдат — по дорогам и бездорожьям, под палящим солнцем и в зимнюю стужу — вперед, пока твердой рукой не вывел на почерневшей стене рейхстага: «Мы пришли из Сталинграда».

Каждый вечер, сбежав с заседания, я шла вдоль набережной и подолгу сидела на скамейке у памятника Хользунову. Здесь было место особенное, и когда ко мне присоединялся кто-нибудь из товарищей, я старалась уйти от него под любым предлогом, чтобы наедине с собой посидеть на этой скамейке. Отсюда видны заводы — новые, построенные после войны, и старые, которые стали богаче, чем прежде; караваны с грузами шли по реке; рыбаки тащили сети, и, как осколки стекла, блестела рыба в лучах вечернего солнца. Здесь мы с Володей Лукашевичем встретились после долгой разлуки. Тогда тихо было на набережной и пусто, только девушка с красной повязкой на рукаве и солдат прошли мимо нас с серьезными счастливыми лицами. Началась тревога, но мы не ушли, потому что не было на свете ничего, кроме этой неразделенной любви, вдруг перекликнувшейся с моими затаенными мыслями, полужабытыми, отложенными надолго. Навсегда? Да, навсегда!

Мы переписывались, и перед отъездом в Сталинград я получила от него нежное, дружеское письмо. Володя попрежнему служил на Северном флоте, женился и был, кажется, счастлив.

Это были *мои* сталинградские места, но были и другие — те, о которых я узнала из писем Андрея. Сессия происходила в новом здании Совпартшколы, очень близко от гостиницы, и, переходя площадь Павших борцов, я с жадностью оглядывалась вокруг. Просторный сквер был разбит там, где летом 1943 года стояли палатки, в которых жили молодые строители, приехавшие в Сталинград по путевкам ЦК комсомола (фото этого лагеря еще недавно попало мне под руки, когда я разбирала бумаги Андрея). Новая широкая улица пересекала площадь, и нетрудно было угадать название этой улицы, вдоль которой висела прозрачная надпись из позолоченных букв: «Мир — миру». Улица была почти закончена, но самый боль-

шой дом стоял еще в лесах, и на лесах висел фанерный щит, извещавший всех проходивших мимо, что штукатурная бригада Метелкина обещалась закончить отделку дома к Первому мая. Однажды, когда я шла по улице Мира, мальчики, возвращавшиеся из школы, обогнали меня, и один из них — маленький, с круглым, как яблоко, лицом, остановившись подле дома, окинул работу взволнованным, оценивающим взглядом.

— Ладно, Метелкин, пошли, — сказал ему другой. — Авось не подкачает твой батька.

Школа, в которой был Андрей на первом, после освобождения Сталинграда, уроке, помещалась теперь в новом двухэтажном здании. Но каменщики попрежнему работали недалеко, и стук их молотков так же отдавался под высокими потолками, как прежде под низким сводом подвала. Тогда седая учительница рассказывала детям о том, как Амундсен и его спутники вернулись домой, как жены и матери встречали их с цветами на пристани в Осло. «Если бы у меня в руках были все цветы мира — я положил бы их к ногам этих женщин».

Но никто не дарит цветов женщине, которая ждет возвращения героя. Никто — или почти никто — не говорит о нем. Его нет, он вычеркнут из мира действующих, думающих, живущих. Он — никто, человек без имени, личность, которую обходят молчанием. Он — досадная подробность биографии некоей Т. П. Власенковой, которая, несомненно, была бы избрана в президиум сессии Академии медицинских наук, если бы не эта, к сожалению, слишком заметная подробность.

Четыре дня продолжается сессия. Говорят о том, как предохранить строителей Волго-Донского канала от эпидемий, которые всегда могут возникнуть в тех местах, где на новые земли приходят одновременно десятки тысяч рабочих, — и ни слова о том, кто всю жизнь сражался против эпидемий. Рассказывают о том, как поставлена медико-санитарная служба на других гидроузлах — и ни слова о том, кто лучше всех в Советском Союзе мог бы поставить эту медико-санитарную службу. Спорят о том, как наилучшим образом предупредить малярию и дизентерию — и не слышат того, чей голос был бы самым веским в затянувшемся споре.

«Что ты сделал для фронта?» — гласит полустершаяся надпись на стене одного из немногих уцелевших домов довоенного Сталинграда. «Неужели напрасен наш труд, наши жертвы, наш подвиг?» — вот о чем спрашивала теперь эта надпись.

Не напрасен. Никто не говорит со мной об Андрее. Но я слышу его голос в шуме молодых листьев на будущей Аллее Героев. В стуке молотка плотника, В шуршании лопатки, кистой проводит по кирпичу штукатур. В гудках гигантских новых заводов. В смехе детей, играющих в Пионерском саду.

Глубокоуважаемая Татьяна Петровна!

Это пишет вам человек незнакомый, хотя и не совсем, поскольку Андрей Дмитрич не однажды рассказывал мне о вас. Мне шестьдесят лет, я по профессии слесарь-инструментальщик и недавно вернулся с Печоры, где мы с Андреем Дмитричем встретились и провели около трех лет. Считаю своим долгом написать вам о нем, поскольку он вам, возможно, не сообщает того, что я намереваюсь вам о нем сообщить. Вам, безусловно, известно, что он работает врачом в больнице, но вы, наверно, не знаете, как много несчастных, находящихся в безвыходном положении людей обязано ему своей жизнью. Как врач — это одна сторона. Но он изобрел такой способ разводить дрожжи в огромных количествах, о котором на Печоре до сей поры не имели даже представления. Между тем в местных условиях — это все, потому что его дрожжи спасли и продолжают спасать буквально сотни людей, тяжело страдающих от цынги и пеллагры. Я лично находился в настолько безнадежном положении, что окружающие уже махали на меня рукой, как на труп, но Андрей Дмитрич поил меня из собственных рук и выходил, как ребенка.

Теперь подробности, касающиеся его здоровья и внешнего вида. Он здоров, хотя иногда мучается головными болями, впрочем привязавшимися к нему, по его словам, еще на воле. Одет он аккуратно, чисто, рваного ничего нет. Валенки я ему самолично подшил, а на минувших праздниках нам выдали теплое обмундирование, то есть бушлат, рукавицы, шапку и ватные брюки. Андрей Дмитрич не пал духом, спокоен, много читает, то есть насколько это возможно, и если в чем и нуждается, так разве только в махорке, которой у нас была постоянная недостача.

Вот я пишу — «была», дорогая Татьяна Петровна, и твердо надеюсь, что и вы с мужем вскоре станете вспоминать об этой печальной жизни врозь, как о прошлом. Я вам только еще скажу, что в моем лице вы имеете верного друга, всегда готового пожертвовать для вашего семейства всем и даже самой жизнью. Не горюйте и не отчаивайтесь, Татьяна Петровна. Желаю вам здоровья и скорого оправдания Андрея Дмитрича, а следовательно, счастья и счастья.

Остаюсь всецело ваш

Алексей Морозов.

Еще забыл написать, что Андрей Дмитрич придумал гнать спирт из ягеля, годного до сих пор лишь для оленьего корма, так что не удивлюсь, если он оставит на Печоре после отъезда целую промышленность, весьма полезную для нашей страны.

Это был последний дом в Москве, дальше начинался лес, в котором, впрочем, тоже уже что-то строили, и хотя мы по меньшей мере пять-шесть раз в году бывали у старших Львовых, невозможно было привыкнуть к тому, что они живут так далеко. Надо было ехать в метро, потом в трамвае, потом идти по полю, потом деревней с покосившимися домишками, потом снова по полю, и, наконец, на холме показывался этот, открытый всем ветрам, огромный, некрасивый, обыкновенный дом, в котором жили сотрудники института. Зимой в первые послевоенные годы, добираясь до него, я неизменно испытывала разочарование именно потому, что он ничем не отличался от любого другого обыкновенного дома. Потом, когда родные и друзья обзавелись «победами» и «москвичами», стало легче, но машины застревали в снегу или грязи, и приходилось вызывать из гаража какой-то вездеход, которым Львовы гордились, хотя он принадлежал институту. И волнения по поводу этих происшествий, и интерес, в котором было нечто спортивное, — кто застрянет, а кто доберется? — и радостная встреча опоздавших гостей, и неизменные жалобы на то, что Львовы живут так далеко, и неизменные пылкие Митины доказательства, что эта жизнь имеет неоценимые преимущества в сравнении с ординарным существованием где-нибудь в центре Москвы, — все входило в эти милые вечера у Львовых. «А воздух? Разве в Москве такой воздух? А близость института — три минуты ходьбы? А праздники авиации на Тушинском аэродроме, которые можно наблюдать, не выходя из дома?»

Но об одном преимуществе, которое мне, как жительнице Серебряного переуллка, действительно казалось бесспорным, Митя не упоминал. Не только праздники авиации можно было наблюдать из окон его квартиры: холм, на котором стоит дом, огибает Москва-река — просторная, в невысоких песчаных берегах, плавная, негородская; и летними вечерами не наглядеться на задумчивую красоту этого уводящего взгляд поворота.

Вечера устраивались обычно в дни рождения Мити и Елизаветы Сергеевны или под Новый год — в общем, редко. Зато все семейство занималось подготовкой к этим вечерам — поздравительными телеграммами в стихах и в прозе, которые заранее писались Митей или кем-нибудь из друзей, стенными газетами и даже радиопередачами из соседней комнаты, посвященными научно-академическо-семейным происшествиям, если собирались зимой, или семейно-огородным, если собирались летом. Впрочем, и летом до старших Львовых добраться было трудно, дача стояла в стороне от шоссе, и подчас приходилось возвращаться, потому что по проселочной дороге, размокавшей от первого же дождя, невозможно было ни пройти, ни проехать.

Когда-то Старый Доктор, с глубиной, которую я и вполнину не поняла в ту далекую пору, сказал о Мите, что в его характере соединились почти противоположные свойства — честолюбие и прямота, блеск ума и слепота эгоизма, чувствительность и душевный холод. «И над всем этим,— так он сказал,— огромная, все ломающая жажда жизни». Теперь Митя стал другим — должно быть, не остыло с годами, как это часто бывает, а, напротив, согрелось сердце, и эгоизм, который в молодости был в нем очень силен, стал разумнее и мягче. Да, жажда жизни, но не темная, стремящаяся отнять хоть маленькую частицу жизни у других, а светлая, прямая — вот что было главной чертой этого дома. Она была видна и в мальчиках, особенно в младшем — Пете, у которого было энергичное лицо с немного выдающимся, отцовским, подбородком, суховатый рот и небольшие, тоже отцовские, глаза, смотревшие с характерной для Львовых определенностью и прямоотой. И в старшем, Игоре, находили что-то львовское, хотя он был очень похож на мать. Никто не помнил или не знал, что они — неродные братья.

В общем, это было требовательное, деятельное и довольно шумное семейство, так что иногда даже начинало казаться, что Львовых гораздо больше, чем было на самом деле. Мы с Андреем были как-то потише, и на этих вечерах, хотя все были давно знакомы, выглядели, без сомнения, далеко не самыми блестящими из гостей. Но зато вместе с нами неизменно приезжали Рубакины; я познакомила их с Львовыми старшими и не только познакомила, но, можно сказать, «подружила». Иногда они брали с собой Катеньку. Рубакины удочерили ее, потому что полковник Стогин умер вскоре после окончания войны. Катенька была тоненькая, застенчивая, с румянцем, то и дело вспыхивающим на нежном лице, и Андрей, глядя на нее, все огорчался, что Павлик, который знал Катеньку с детства, никогда не встречается с ней и вообще не обращает на нее никакого внимания. Павлик был уже на пятом курсе медицинского института и, кажется, не интересовался ничем, кроме своей вирусологии, хотя время от времени любовь к героическим сказаниям, вроде эпоса о Давиде Сасунском, возвращалась к нему с удвоенной силой. Я говорю «кажется», потому что он вырос не совсем таким, как мы (или я) ожидали: ласковым, но сдержанным и молчаливым, и, хотя можно было не сомневаться в том, что у него чистые, благородные мысли, он редко считал необходимым делиться ими даже со мной.

* * *

Прошло около трех лет с того раннего июньского утра 1953 года, когда вернулся Андрей. Он написал мне, что дело пересматривается, я ждала его каждый день, а когда он, наконец, приехал, вышло так, что мы его не хотели пускать и

ему, как он потом говорил, пришлось брать приступом собственную квартиру.

...Первая вскочила Агаша — должно быть, не спала, размышляя о мирской суете и предаваясь благочестивым размышлениям. Толстая, простоволосая, в каком-то страшном капоте, она вышла в переднюю и застыла, выкатив глаза и расставив руки и ноги. Звонок повторился. Это была, очевидно, молочница, которая иногда приносила молоко очень рано.

Я спросила:

— Кто там?

— Откройте, пожалуйста, — отвечал мужской незнакомый голос.

Нет, не молочница! Я хотела открыть, но Агаша, бессвязно причитая, вцепилась в меня и не пустила. Тогда вскочили все — отец, Митя — он ночевал у нас — и в маленькой передней сразу стало тесно. Митя, босой, сонный, в пижаме, вышел с бешеным лицом, точно решив, наконец, рассчитаться за все, что произошло в этом доме.

— Кто там? — спросил он сквозь зубы.

— Откройте, будьте добры. Я приехал с Андреем Дмитриевичем.

— С каким Андреем Дмитриевичем? — прорычал Митя, как будто впервые в жизни услышал это имя.

— Он сейчас поднимется. Возьмите, пожалуйста, его чемодан.

— Вот когда поднимется, тогда и возьмем.

За дверью засмеялись.

— Можно и так.

Послышались удаляющиеся шаги, очевидно вниз по лестнице, и все утихло.

— Это очень странно, — прошептал Митя.

— Митя, откройте. Это Андрей, кто-то приехал с ним. Он вернулся! Я знаю, что это он. Почему странно?

— Ш-шш.

Агаша снова начала причитать, но Митя слегка двинул ее, и она затихла. Все стояли взволнованные, растрепанные, полуодетые и прислушивались. Опять шаги, на этот раз торопливые, легкие. Кто-то не шел, а летел вверх по лестнице, прыгая через ступеньку. Звонок, стук в дверь, голос — на этот раз можно было не сомневаться, какой Андрей Дмитриевич стоит за дверью и требует, чтобы его пустили.

— Татьянушка, это я. Не веришь? Честное слово.

Он остолбенел, увидев в передней толпу полуодетых людей, и сержант, которому, повидимому, было поручено помочь Андрею добраться до дома, тоже удивленно остановился на пороге с чемоданом в руках.

— Милый мой, дорогой! — Я бросилась к нему, обняла. Сердце замерло, потом покатилося куда-то, и на мгновение

стало страшно, что сейчас я умру — сейчас, когда он держит меня в своих объятиях и, не отпуская меня, с изумленным сияющим взглядом протягивает руку Мите и видит показавшегося на пороге сына, только что проснувшегося, дрожащего, с вдруг вспыхнувшим, потрясенным лицом.

* * *

Андрей вернулся таким, как будто гроза, или половодье, или другое явление природы заставило его терпеливо, на том берегу реки, дожидаться возможности переехать на этот, где его ждала семья, жизнь, работа. С поразившей меня сумрачной силой он постарался отстранить от себя все, что мешало ему остаться самим собою. Но все-таки что-то мешало. «Ведь я не из тех, — с горечью сказал он однажды, — кто способен каждый день шагать через пропасть». Он был оскорблен болезненно, остро, и хотя никто не услышал от него ни жалобы, ни упрека — я знала, что он оскорблен и что ему мешает жить это чувство. И ни я, ни Рубакин, который часто подолгу разговаривал с ним, не сумели возратить ему подлинную душевную бодрость.

Это сделала старая и новая дружба с братом.

Митя приехал на родину с мыслью, которая никогда не оставляла его, — читал ли он лекции в Ростовском медицинском институте, или боролся с чумой в дружественной соседней стране на Ближнем Востоке. Но до сих пор он распоряжался этой мыслью, а теперь она стала властвовать над его умом и душой.

Не буду рассказывать эту длинную историю — одну из тех историй Большой Науки, в которой всегда выигрывают щедрые и проигрывают скупые, потому что в Большой Науке ничего нельзя совершить, расплатившись меньшим, чем труд целой жизни. Скажу только, что эта история началась в тот день, когда над идеей вирусного происхождения рака от души смеялись — я это видела и слышала — полторы тысячи научных работников, приехавших в 1927 году на съезд в Ленинграде. Потом она притаилась в стороне от поля сражения, на котором решались судьбы фагов и плесневого грибка. И, быть может, один только Митя продолжал думать о ней, занимаясь другим и ошибаясь чаще, чем многие, в науке и в жизни. Так было до его возвращения, когда он привез новую, действительно необычайную догадку, и когда доказательства, сперва приблизительные, а потом все более точные, стали сбегаться к нему со всех сторон. Вернее, с двух сторон, потому что догадка возникла на скрещении двух наук — онкологии и вирусологии. Теперь нужно было только одно — собрать сторонников вокруг знамени, с которым Митя собрался в далекий, не обещавший легкой жизни, рискованный путь. И с энергией, которую даже от него ожидать было трудно, он набросился на брата, доказывая,

что именно Андрей должен бросить все начатые работы и отдать ему, Дмитрию, свое перо и организационный опыт. Понимал ли он, что это было необходимо не только ему, но и Андрею? Вероятно, да, потому что это были уже не споры, сопровождавшие братьев всю жизнь, а бешеные схватки, в которых Митя доказывал, что нашу медицинскую науку следует перестроить уже потому, что при данном состоянии она не помогает, а мешает подтвердить опытами вирусную теорию. Эти схватки кончились полной победой старшего брата, и наступила та особенная полоса, когда впервые в жизни они почувствовали, что очень нужны друг другу. Они всегда любили друг друга, но теперь к этому чувству присоединилось что-то новое, и это новое сразу осветило всю глубину привычных, почти не замечавшихся отношений.

* * *

Кончатся тосты в стихах и в прозе, прочтены — наиболее удачные даже «на бис» — новогодние пожелания каждому из гостей. Звонок у парадной двери — это поздравительные телеграммы, за которыми бегаёт Петя, впервые встречающий Новый год вместе со старшими, за общим столом. Телеграммы — совсем как настоящие, на бланках с наклеенными полосками бумаги. Исполнены заранее приготовленные номера и среди них — шарады в костюмах, доставляющие наибольшее удовольствие тому же Пете, который следит за исполнителями горящими глазами. Обеденный стол задвинут в угол — нужно освободить место для танцев, и нетанцующие уже стоят в коридорах, а танцующие, среди которых, как всегда, отличается Митя, стараются показать, что годы не так уж властны над ними, как это, может быть, кажется родственникам и знакомым. Елизавета Сергеевна, потяжелевшая, но еще красивая, сохранившая свою неторопливую плавность, приглашает к чаю. И тут внезапно оказывается, что кто-то уехал — артисты, встречающие Новый год еще в одном доме, а кто-то спит в комнате мальчиков на полу, подложив под голову реквизит театрализованной шарады. Наконец, после новых, уже в связи с разездом, жалоб на то, что Львовы живут чертовски далеко, новых, еще более убедительных опровержений Мити, новых — в десятый раз — пожеланий счастья в наступившем году, — остаются только самые близкие: мы с Андреем, Рубакины, Коломнин, по-прежнему упорно отказывающийся покинуть мою лабораторию, несмотря на самые лестные предложения, и Виктор Мерзляков, давным-давно заменивший покойного Крамова в Мечниковском институте.

Четвертый час, все устали, и больше всех, без сомнения, хозяйка, только что пожаловавшаяся, что у нее онемели ноги, только что ласково спросившая меня, почему я весь вечер сучала, только что пристроившаяся за моей спиной в уголке

дивана и уже снова убегающая на кухню, где стоят горы грязной посуды и две розовощекие девицы делают не то, что надо.

Митя тоже спрашивает меня, почему я скучаю, и я отнекиваюсь — ничего подобного, и не думаю, с чего вы взяли? А если задумывалась иногда, так это даже и хорошо, если я одна за всех по временам задумываюсь в последний вечер года. Общий возглас:

— О чем?

— Догадайтесь.

Следуют догадки:

А н д р е й. О вреде обязательного посещения лекций.

Смех. Но на самом деле в его догадке нет ничего смешного! Всю зиму мы с Андреем обсуждаем этот, на первый взгляд простой, а на деле очень сложный вопрос. И наш интерес к нему вызван вовсе не тем, что я читаю лекции в ЦИУ. Интерес — семейный и касается он Павлика, который вот уже третий год работает в лаборатории Научно-исследовательского института и которому деканат фактически запрещает заниматься наукой, потому что часы лекций совпадают с часами лабораторной работы. Это было бы вполне логично, если бы он плохо учился, но он отличник и, стало быть, не так уж нуждается в обязательном посещении лекций! Андрей посмеивается, а меня возмущает нелепость, заставляющая способных студентов терять неопределимое время на лекциях, которые читаются подчас бездарно и скучно.

— Не угадал.

К о л о м н и н. О перекрестной устойчивости к антибиотикам.

Снова смех. Последнее время я действительно немного сошла с ума на перекрестной устойчивости, и было бы очень забавно, если бы я переехала в Новый год, думая над этим вопросом.

М и т я. О любви.

— Сдаюсь, Митя. Вы угадали. Впрочем, кому же и угадать, если не вам? Ведь я всю жизнь была влюблена в вас. Это ошибка, что я вышла за вашего брата.

* * *

Виктор только что вернулся из Швеции, и хотя уже очень поздно, разговор вспыхивает с новой силой — разговор, волнующий всех людей советской науки, а не только тех тяжело вооруженных бойцов с их многолетним опытом поисков и надежд, удач и заблуждений, которых я вижу перед собой. Виктор рассказывает о своей поездке, и прежний худенький комсомолец, которого Рубакин когда-то «вырвал из сердца с кровью» и отдал мне, чтобы поддержать нашу молодую лабораторию, вдруг мелькает в нем, особенно когда он с жаром начинает нападать на «лишних людей» в науке. Он все еще молод

или выглядит молодым рядом с морщинистым Иваном Петровичем, у которого стал под старость какой-то вогнутый вид, рядом с седыми, поплотневшими, широкогрудыми и широкоплечими Львовыми и толстым Рубакиным, сердящимся на одышку, на Лену, не позволявшую ему курить, а сейчас на Виктора, не понимающего, с его точки зрения, то, что делается в нашей науке.

— Ну хорошо, Петр Николаевич, пусть так! Но ведь у нас в научно-исследовательском институте работает сто двадцать человек, а фактически участвуют в науке двадцать; все остальные только получают деньги, пользуются трудом лаборантов, расходуют животных и занимают место, которого и без того не хватает.

— А в Швеции?

— В Швеции директор института принимает вас у лабораторного стола — по крайней мере со мной в двух случаях было именно так. У них директор работает руками, а не просиживает штаны на заседаниях.

Виктор спохватывается и немного краснеет, взглянув на директора одного из самых больших в Москве научно-производственных институтов, некоего А. Д. Львова, который, впрочем, слушает его с большим интересом.

— Ничего, Виктор, валяйте! Меня вы действительно почти никогда не увидите в лаборатории. У меня шестьдесят процентов времени уходит на то, чтобы разумно использовать оставшееся сорок.

Но Рубакин сердито пыхтит.

— Вздор, Виктор, вздор.

— Почему, Петр Николаевич?

— Потому что идет огромная перестановка сил, и лишние люди в конце концов займут свое место. Сейчас кандидатская степень мешает им мыть пробирки, а придет время, когда и не помешает. Дело в другом.

— А именно?

— Дело в том, что новое стучится во все окна и двери, а некоторые почтенные люди делают вид, что не слышат этого стука. Ты спросишь меня, что это за люди? А вот те самые, которые в послевоенные годы ворвались — не в лаборатории, там им делать нечего, а в разные управления, дирекции, секретариаты.

— Нет, и в лаборатории.

— Пожалуй. Те же крамовцы, если хочешь, хотя покойный шеф с его сдержанностью, с его оглядкой на мировую науку, с его смутными воспоминаниями, что некогда он сам действовал в великой русской науке, вероятно, выглядел бы среди них старомодным старикашкой.

Елизавета Сергеевна возвращается и уводит Андрея — Белянин заснул у мальчиков в комнате, и нужно уговорить его

перейти в столовую, потому что во сне он ругательски ругает кого-то и мальчики могут проснуться и услышать.

— Ну и пусть услышат.

— Нет, не пусть. У них еще будет время, чтобы разобратся в таких выражениях.

Неясно, почему именно Андрей необходим для такой несложной задачи. Но Елизавета Сергеевна объясняет: Андрей будет действовать на Беянина силой логики, а она — фантазии. И нечего возразить, тем более что Елизавета Сергеевна, особенно когда она немного пьяна, не принимает никаких возражений! И Андрей уходит, а спор возобновляется с удвоенной силой.

— Да, те же крамовцы, — свирепо накручивая на палец клок поседевших волос, повторяет Рубакин, — только, может быть, в другом, замаскированном виде. Это они, скрежеща зубами, отступают перед духом правды и прямоты, который не может не победить, я в этом уверен. Это они, вдруг осмелев, показывают свое лицо с оцепеневшим от ненависти взглядом.

Рубакин волнуется. Коротенькая толстая шея краснеет, и Лена, которая боится за мужа, недавно перенесшего инфаркт, садится рядом с ним, очевидно рассчитывая на исходящие от нее успокоительные токи.

— Петр Николаевич, все так, — взглянув на нее понимающим взглядом, отвечает Виктор. — Слов нет, крамовщина еще жива. Но ведь нужно же действовать, черт побери. Пора, наконец, расправиться с нею не на словах, а на деле!

— Вот и действуй!

— Я?

— Да, ты. Или это случайность, что именно ты оказался на месте Крамова в Мечниковском институте?

— Игра судьбы. Правда, Дмитрий Дмитриевич?

— Нет, Виктор. К счастью, уже не игра.

— Вы думаете?

— Не сомневаюсь. Петр Николаевич прав. Они еще действуют, эти люди, но они уже начинают терять уверенность, они нервничают, они ежеминутно вспоминают, что их влияние, их положение украдено у других, в сто раз более достойных. Они еще держатся за свои кресла зубами, но в один прекрасный день они просто растают в воздухе, как мираж, как сонное видение.

— Ох, Митя, — это говорю я. — Вашими бы устами да мед пить.

— И будете пить, потому что стране нужны работники и мыслители, а не дулебы.

— Кто, кто?

— Дулебы, — смеясь, повторяет Митя. — Это те, которых еще княгиня Ольга пыталась завоевать, да не вышло. Но

знаете ли, кто виноват, что они еще действуют и отнюдь не намерены признать свое поражение? Мы.

— Мы?

— Да. Во-первых, мы потеряли чувство времени. Мы судим о нем по маленьким отрезкам — неделя, месяц, год — и не замечаем всей стремительности его движения. Во-вторых, кто же, если не мы, виноват в том, что в научных институтах тесно, что к ученой степени, которая вдвое умножает зарплату, стремятся люди, не имеющие ничего общего с наукой; что мы не смеем без бесконечных оглядок и согласований подбирать себе настоящих учеников. Ведь это же по меньшей мере вздор, который мешает развитию науки, а мы боимся поспорить и принимаем его как должное и в конце концов поощряем косность, которая нас же связывает по рукам и ногам.

— А можно мне поработать хоть года три, не думая, что я перед кем-то опять виноват? — жалобно спрашивает Виктор. — Хочется работать спокойно, весело, не спотыкаясь на мелочах. Хочется мучительно, смертельно!

— Так и работай! А ты скулишь.

Виктор жалобно смотрит на меня.

— Татьяна Петровна, разве я скулю?

— Нет. Но все идет к хорошему — вот о чем нельзя забывать, Витя. У нас была трудная жизнь, а сделано много. И трудно переоценить, что безвозвратно канули в прошлое те страшные формы борьбы, о которых — сегодня праздник! — я и вспоминать не хочу. Мне кажется, что этот спор, в котором вы оба правы, обращен в будущее и что никогда еще прошлое в сравнении с будущим не имело так мало значения. И уж признаюсь вам, ладно! Я совершенно уверена, что самое важное произойдет именно в этом будущем, но уже наступившем году. А теперь пора домой, потому что уже шестой час, а пока мы доберемся, будет седьмой. И черт их побери, этих Львовых! Когда уж они переедут поближе!

* * *

На Ленинградском шоссе деревья стояли заиндевевшие, мохнатые, озябшие, похожие на добрых зверей, беспомощно протянувших лапы, с которых свисали куски мохнатого снега.

Москва была еще сонная, пустынная, с огромным темно-красным солнцем, поднимавшимся в зимнем тумане. Выезжая на шоссе, Андрей «сделал нарушение», так что милиционер остановил нас и спросил добродушно: «Встретили?» И отпустил, хотя было совершенно ясно, что водитель именно «встретил» и так основательно, что я даже немного побаивалась, как он поведет машину. Коломнин вышел у Белорусского, еще раз пожелав нам счастливого нового года, а мы поехали дальше

по улице Горького, матовой от холода и тоже озябшей, но уже как-то совсем по-другому...

Павлик встречал Новый год в своей компании, тоже далеко, и я немного беспокоилась за него, а Андрей, как всегда, сердился, что я никак не могу привыкнуть к тому, что сын уже большой, на пятом курсе и однажды может прийти и сказать: «Я женюсь». Но мне все-таки очень хотелось, чтобы этот взрослый сын был дома, когда мы вернемся от Львовых. И хотя он мог, конечно, в любую минуту прийти и сказать: «Я женюсь», тем не менее я очень обрадовалась, увидев, что его пальто висит в передней, а он сам сидит в своей комнате и что-то пишет, низко склоняясь над столом. Он сидел без ботинок, с расстегнутым воротом — должно быть, стал раздеваться, и вдруг пришла в голову какая-то мысль. Я поцеловала его.

— С Новым годом!

И он, не переставая писать, нежно обнял меня левой рукой.

— С Новым годом.

— Ну, как ты встретил?

— Ничего.

— Весело было?

— В общем, да.

Я стала целовать его, но он ласково отстранился.

— Подожди, мамочка, — пробормотал он. — Я, понимаешь, придумал тут одну штуку.

— Никаких штук! Седьмой час. Ты и так бог знает на кого похож. Ложись сию же минуту.

— Сейчас.

Я ушла и вернулась.

— Вот папа сердится, что ты никогда не съездишь к Рубакиным. Бойтся, что пока ты соберешься жениться на Катеньке, она возьмет да и выйдет за другого.

Павлик засмеялся.

— А где, между прочим, папа?

— Ставит машину. Ложись.

— Сейчас, честное слово.

Я была уже в постели, когда пришел сердитый замерзший Андрей и сказал, что в гараже мороз, отопление не действует — должно быть, ради Нового года — и пришлось вылить из машины воду. Я сказала ему, что Павлик еще не лег, и он против ожидания обрадовался и пошел к нему, и я слышала, как они стали о чем-то разговаривать похожими голосами.

Потом Андрей вернулся и сразу уснул, а мне, чтобы уснуть, нужно было еще, лежа на спине, немного подумать.

«Плохо выглядит сын. И в кого он такой худенький, кожа да кости. И некрасивый. Кажется, некрасивый? Львовы крепкие, ширококостные, Андрей и в юности был плотный, с прямыми плечами. Должно быть, Павлик в нашу семью. Но у нас

все маленькие, а он высокий. Какая все-таки нелепость, что ему вкатили выговор за непосещение лекций! Нужно будет непременно поговорить с деканом, пусть разрешит пропускать хоть раз в неделю».

Глаза привыкли к темноте, и дверь из комнаты Павлика обозначилась чуть заметными полосками света. Еще не спит. И если я снова пойду к нему — рассердится, а потом испугается, что обидел меня, и тихонько погладит, как вчера, когда я накинулась на него за то, что он забыл зажечь настольную лампу и писал почти в темноте.

Нет, тут уж ничего не поделаешь! Это — человек науки. И то, что мне мерещилось когда-то в Анзерском посаде — рассвет на вершинах, но все еще подернуто мглой, все полно меняющихся очертаний — это сейчас происходит с ним, вступающим в дивный, высокогорный мир, в котором он, счастливый и несчастный, будет скитаться всю жизнь.

* * *

Здесь обрываются записки Татьяны Петровны Власенковой — ранним утром первого января 1956 года.

Может быть, с моей стороны нехорошо расставаться с нею, не простившись, когда она спит, продолжая во сне думать о сыне. Но, повидимому, нам обоим пора отдохнуть — Татьяне Петровне от моих настояний, от беспрестанных расспросов, от блокнотов, с которыми я ходил за ней по пятам, а мне от этого романа, который я пишу вот уже десять лет и в котором вы найдете правдивую историю одной обыкновенной и необыкновенной жизни.

Вл. Соколов



ЧАЙКА

Вот так и встретились — случайно.
— Да ты ль? — Да, я! — Ну, с коих пор!..
И, что ж, сидим, пьем пиво в чайной,
Никак не склеим разговор.

— Давно не виделись...— Давненько.
— Ну, вот и встретились.— Ну, вот...
И все какая-то ступенька
Нам шагу сделать не дает.

А за окном желтеет глина,
Накрапывает... И вот-вот
Меня попутная машина
Сигналом долгим позовет.

И — все. А были годы, годы,
Все звонкие, как на подбор.
И — через немоту — я с ходу,
Как в годы те,— через забор.

И, как всегда,— на первом слове:
Что думаешь и как живешь?
А он, приподымая брови:
— Ты,— говорит,— машину ждешь?

А я, товарищ, ни машины,
Ни божьих ангелов не жду.
Живу — как все. И нет причины
Пороть, как в детстве, ерунду.

А ты, гляжу, все так же бредишь.
Не понимаешь ничего.
Худой, как черт, бодрисься, едешь...
Куда, зачем и для кого...

Ну, старый, чокнемся давай-ка,—
И наклонился над столом.

А дальше будет все про чайку,
Про белую на голубом.

...Летела чайка, птица смелая,
Так воздух резала легко.
Дурного никому не делая,
Летать умела высоко.

Не приручишь, не приневолишь,
Не возвратишь издалека,
Хоть чайка и была всего лишь —
Со спичечного коробка.

Но, как у всякой чайки, были
И даль, и море у нее,
И к небу вскинутые крылья,
И пены белое шитье.

Но мой приятель, заугрюмев,
Коробку (видно, свет не мил)
Тупым ножом сломал в раздумье
И чайке крылья перебил.

...Лил дождь над спутанною рожью,
Над ширью смутной и рябой.
Машина шла по бездорожью
И свет несла перед собой.

Я в тучах разглядеть старался,
Как трудно прояснялась даль.
А он... Он где-то там остался,
Там, позади...

А чайку — жаль.

Алексей Сурков



ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Нет той березы, нет того крыльца
И нет скороговорки бубенца.

Нет той телеги, нет того коня,
Который в город увозил меня.

Густой травой дороги поросли,
И мать не встанет из сырой земли.

Над серой крышей не дымит труба —
Давным-давно разрушена изба.

Березу распилили на дрова,
А грусть в душе и до сих пор жива.

В тревожных снах я вижу до сих пор,
Как детство уплывает за бугор.

Как мать, не видя светлых красок дня,
От слез слепая, смотрит на меня,

Как рыбки блещут сквозь слюду воды,
Как, провожая нас, кричат дрозды,

Как из моей мальчишеской судьбы
Уходят полосатые столбы,

Уходит синий ельник и сосна
И все, чем в детстве наша жизнь красна.

.

Вот так, в былые годы, человек
Вступал в свой взрослый, беспощадный век.

* * *

Мир детства моего на дне морском исчез...
Где петухи скликались на рассвете,
Где зрела рожь, синел далекий лес,
Теперь в воде сквозят рыбацьи сети.

Ты грустным взглядом в глубину глядишь
Без горьких сожалений и обиды.
Там чудится тебе солома крыш
Уснувшей деревенской Атлантиды.

Крепчает ветер. Между черных свай
Вскипает пены белоснежной вата...
Спи, Атлантида. Спи и не всплывай.
Тому, что затонуло, нет возврата.

* * *

Проходят годы, и проходят сроки,
И в памяти встают литые строки:
«Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель тихую трудов и чистых нег».

Ты мудрость этих строк не чувствовал вчера.
Они твоей душе напомнили в пути,
Что ты уже устал, что подошла пора
На краткий миг присесть и дух перевести.

Но тот, кто мысль смутил взыскующей строкой,
Страдая, и борясь, и жадно жизнь любя,
Отринул навсегда и негу и покой
И на костре страстей испепелил себя.

И нам с тобой, мой друг, не отдыхать в тени.
Дорога далека, не кончился поход.
Когда уйдут твои товарищи вперед,
Попробуй их один, отставший, догони!

Юлия Нейман

*

1941

Москва тех дней... Крутой накат событий...
Не счесть утрат, не описать невзгод.
Но, сверстники, душою не кривите:
Он был, как факел,— чистый этот год!
Как штукатурка сыпались уловки,
И, в силу обнажившихся причин,
В год затемнения и маскировки
Мы увидали ближних без личин.
И, отшвырнув сомнительные меры:
Анкеты, стажы, должности, лета,
Мы полной мерой храбрости и веры
Измерили, чем жизнь была чиста.

И нам, свидетелям, доньне святы
И дышат в нашей памяти поднесь
Дежурства, крыши и аэростаты —
Московских буден взрывчатая смесь...
Фасадов камуфляжное убранство,
Симфония отбоев и угроз
И это чувство гордого гражданства,
Впервые пережитое всерьез.

ОСТАВЛЕННАЯ

До чиста стаканы перемыты:
В доньшко глядись и молодедей.
Пол натерт. И ребятишки сыты.
Слава богу, все, как у людей.

Слава богу, мы живем — не тужим.
Смирно, по-хорошему живем...
Не скуднее, чем иные с мужем.
Может, и спокойней, чем при нем.

Разве будет этак чисто с ними?
Накурил бы... А у нас теперь
Пахнет воском, травами сухими,
Мартом, если приотворишь дверь...

Серый снег, сырой и ноздреватый,
Тихо точит ржавая вода.
Пахнет так светло и горьковато,
Что защиплет в горле иногда...

ИДУЩИЙ ЧЕЛОВЕК

(Скульптура А. Голубкиной)

Узловатой тяжкою стопою,
Попирая все, что не живет,
Через немоту, через слепое
Противленьё он идет вперед.
Он идет своей земной дорогой,
Положивший все перенести,
Сотворивший дьявола и бога —
Обезьяний выкормыш в шерсти.
А вослед грозят его созданья:
«Над загадками души не горбь
И не зарьяся на избыток знанья —
Множа знанья, умножаешь скорбь».
Но, шагая широко и глухо,
Ни пред чем не опуская век,
Мощью мускулов и волей духа
Все вперед уходит человек.
На одной мечте сосредоточась, —
Водолаз, воитель, стратонавт, —
Темною пучиной одиночеств,
Горькою пустыней полуправд,
От наитья к смутному наитью —
По кривым извилинам пути —
Он идет, идет, идет, чтоб выйти,
Чтоб достигнуть...

И опять идти.

Константин Ваншенкин



НОЧНАЯ ДОРОГА

Иду, бодрюсь... А где-то ель скрипит,
И почему-то делается грустно.
Все спит кругом, а может, и не спит,
А только притворяется искусно.

На дне канав мерцает лунный блик.
Пугая тишь, заухал филин в чаще.
Как путь далек, как этот мир велик!..
Друзья, давайте видеться почаще!

* * *

Стучит по крыше монотонно,
Беззвучно льется по стеклу,
Бурлит в канавке из бетона,
Бормочет в кадке на углу.

В полночной мгле свистит над полем,
Шуршит по листьям мокрых рощ...
Когда б я был собой доволен,
То как бы спал под этот дождь!

* * *

Вдали стена заброшенной сторожки.
По сторонам — болото и овраг.
Мы встретились на узенькой дорожке,—
Ты обещал мне это, давний враг.

Как тщательно готовился ты к бою,
Ночною темнотою окружен.
Что ж, подходи! И я схвачусь с тобою.
Я безоружен, ты вооружен.

Иди, иди!.. И ты ступаешь гибко,
В глазах настороженность, торжество
И даже виноватая улыбка —
На случай поражения своего.

* * *

Гаснет окон позолота.
Ночью слышно мне —
За стеною ходит кто-то
От стены к стене.

Взад-вперед в глухую пору,
Как тоска сама.
Может быть, с любимой ссора,
Может, нет письма.

Иль не ладится работа...
Слышу в тишине:
За стеною ходит кто-то
От стены к стене.

Или, может, впал в немилость
У начальства вдруг.
Или впрямь беда случилась —
Предал верный друг.

Ночь идет с часами вровень,
Холодна, густа...
Ну, а может, сам виновен,
Совесть не чиста.

Ходит, сам с собою споря,
В тишине ночной...
Человеческое горе
Рядом за стеной.

Надвигается дремота.
Брезжит свет в окне...
За стеной все ходит кто-то
От стены к стене.

Н. Погудин



СОНЕТ ПЕТРАРКИ

(Драма в трех действиях)

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Суходолов Дмитрий Алексее- вич.	Дононов Афанасий Кузьмич. Майя.
Ксения Петровна.	Клара.
Армандо Яков Эдуардович.	Марина.
Павел Михайлович.	Терновников.

Продавщица мороженого, толстые — муж и жена, пропойца, де-
вушки — в сером и в голубом, перевозчик, официант.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Обрыв над огромной рекой. Лесные дали на том берегу. А на первом плане
театральной сцены городской бульвар.

Майские сумерки с роскошной зарей за рекой.

Суходолов, продавщица мороженого.

Продавщица (*предлагая прохожим свой продукт, робко и весело обращается к Суходолову*). Уважаемый гражданин, я, между прочим, хочу вас спросить, но все время стесняюсь... Может быть, вы не настроены?

Суходолов. О нет, настроен... очень настроен. Спрашивайте.

Продавщица (*громко назвала все сорта мороженого*). Я, между прочим, наблюдаю за вами целый час... неужели можно сидеть и ждать кого-то целый час? Это удивительно!

Суходолов (*изумлен*). Жду?! Я никого не жду... Нет, почему вам это показалось?

Продавщица. Взгляд выдает.

Суходолов (*весело*). Выдает?!

Продавщица. Определенно.

Суходолов. Ну и как же он выдает?

Продавщица. Томление в нем чувствуется.

Суходолов (*серьезнее*). Томление... скажи пожалуйста.

Продавщица. Очень интересный у вас взгляд! Приблизительно сказать... орлиный.

Суходолов. Орлиный... это хорошо.

Продавщица. Определенно. Но, между прочим, грустный...

Суходолов (*деланое сокрушение*). Ай-ай, родная!.. Какой же это взгляд? Ни два ни полтора.

Продавщица. И ждете вы не так, как все люди. Надеетесь и не надеетесь, думаете и не думаете.

Суходолов. Вам бы в цирке работать, чужие мысли отгадывать.

Продавщица. Не обижайтесь, гражданин, я наблюдаю за вами потому, что вы очень интересный человек... поневоле смотреть хочется.

Суходолов (*озорно*). Красивый, может быть?

Продавщица. А что?.. И красивый даже. Но не так красивый, как привлекательный. С ума сойдешь.

Суходолов. Спасибо, дорогая. Приятная характеристика... остроумная.

Продавщица. У вас, наверно, девушек... счет потеряли.

Суходолов (*оглянувшись*). Одна... и та, как видите, не пришла. И не пришла потому, что я ее не звал... Но ждал, хоть знал, что не придет. Вы тонко подсмотрели. Позвольте вам позвать за это руку, девочка. (*Уходит.*)

Продавщица (*вслед*). Какой, а!.. Скажите. Недаром говорится, что каждый человек — загадка. Но вот скажи мне он: «Маруся, следуйте за мной». И я бросила бы все к черту... Мороженое сливочное, пломбир, шоколадное!..

Суходолов на другом конце сцены видит Армандо.

Суходолов (*восторг*). Армандо?! Он. Яков Эдуардович, неужели к нам на концерты?

Армандо. К вам на концерты. Я все лето буду по Сибири концерттировать. Здравствуй, дорогой Дмитрий Алексеевич! Великолепно выглядишь. Загар. Но ты... ты! На бульваре!

Суходолов. Что ж тут удивительного?

Армандо. Так ведь ответственных работников только на курорте можно встретить запросто на бульваре, а дома вы закрыто и, в общем, угрюмо живете.

Суходолов. Дома мы — ответственные, а на курорте — отдыхающие.

Армандо. Давно в Сибири?

Суходолов. Сегодня у нас первое мая... значит, ровно полгода.

Армандо. И ты успел уже так много наворочать по берегам этой великой реки. Как мы научились строить!

Суходолов. Ворочаю не я, мой милый, а тысячи людей с машинами. Так будет точнее. А строить мы все еще не научились... учимся.

Армандо. Все тот же Суходолов, беспокойный и вечно чем-то недовольный человек! О нет, не тот же. Великолепно, молодо, блистательно выглядишь... не то, что я... я, например, совсем линияю.

Суходолов. Но как приятно, что мы встретились! Иной раз подумаешь пригласить тебя в гости, а где его искать, скрипача. Ты ведь всю жизнь гастролируешь.

Армандо. Скучаешь? Не завел друзей на новом месте?

Суходолов. Трудно это... друзья. Пойдем ко мне или погуляем по берегу? Закат сегодня немилосердно красивый.

Армандо. Грандиозно!.. Вот уж просторы, так просторы. Какие могучие края.

Суходолов. Сибирь, восток... Весна не по здешнему климату. Быть большим лесным пожарам.

Идет пропойца, останавливается, поет.

Пропойца. Не успел я пожениться,
Как жену забрал другой,
Потому что я калека
С поломатую ногой.

Уважаемые коллеги, пожертвуйте на семечки калеке, пострадавшему в результате двух войн.

Армандо. Я тебя, братец, вижу в городе в десятый раз. Врешь ты... Нога у тебя самая настоящая.

Пропойца. А вы хотите за трояк иметь несчастного калеку с деревянной ногой. Стыдитесь.

Армандо. Прощай, братец... Всего хорошего.

Пропойца. А на семечки? За что же я вам пел куплеты?

Суходолов. На... *(Дает деньги.)* И не приставай.

Пропойца *(Армандо)*. Ты мне в душу загляни, а ноги даже у коровы имеются. Ты можешь понять человека, который пал духом на почве женщин?.. Они... вот эти... в чулках... сломали мою чуткую душу! А я был когда-то тоже такой же, как ты, артист. *(Суходолову.)* Спасибо за гонорар, коллега. *(Ушел.)*

Армандо. Терпеть не могу этих уличных Мефистофелей. Типичный пропойца.

Суходолов. Что я слышу?! Яша, ты вышел из игры?!

Армандо. Но я же не пройца.

Суходолов (*ласково и иронически*). Нет, милый, нет... Ты чистый жрец искусства. Виртуоз на скрипке, а также виртуоз по части женских сердец... сердец миокардических, ожиревших, лежачих... одним словом, усталых сердец.

Армандо. На что ты намекаешь?

Суходолов. На то хотя бы, как ты соблазнял мою супругу.

Армандо. Этого никогда не было!

Суходолов. Было.

Армандо. Нет, нет...

Суходолов. Что «нет», что «нет»?! Ты моей жене на скрипке играл душераздирающие мелодии, а она спала в кресле. С первых же дней нашего знакомства ты стал беспутно ухаживать за моей женой. Но я люблю тебя со всеми твоими недостатками, как вообще принимаю жизнь, какой она есть.

Проходят двое толстых, муж и жена.

Жена. Куда ты смотришь, Васенька? Ох, до чего же нахальные пошли у нас мужья. Гуляет рядом с собственной супругой, а смотрит на сторону. Молчишь, нечего сказать... Знаем, куда вы смотрите.

Удалились.

Армандо. А Ксения Петровна что... не едет?

Суходолов. Старая история: в Москве квартира, дача. Должна приехать месяца на полтора.

Армандо. А что вы здесь сооружаете?

Суходолов. Сооружаем... да... Я строю двадцать лет, но подобными стройками не руководил. Не снилось.

Армандо. Слушай, когда мы кончим строить?

Суходолов. Смешной вопрос. Что с музыкантов спрашивать! Ты хоть какую-нибудь политграмоту знаешь?

Армандо. Учу... сдаю... Как настроение?

Суходолов. Видишь — хорошее. Рад, что тебя встретил. С тобою можно интересно поговорить... когда ты трезв, конечно... Вот у меня парторг, давний приятель, так он до бесконечности может говорить о том, кто и когда и почему был или будет или не был и никогда не будет министром. Такие беседы меня не устраивают.

Армандо. Тебя всегда что-нибудь или кто-нибудь не устраивает.

Суходолов. Меня всегда не устраивают мещане во всех своих формациях.

Армандо. А ты не выбирай приятелей из мещан.

Суходолов. Мы с ним в прошлом были друзьями, лет двенадцать тому назад. Тогда он был другим человеком. Но

деревенщина все-таки вылезла наружу. Дононов по фамилии... а по-настоящему Долдонов...

Армандо. Интересные вы приятели...

Суходолов. У него все воспоминания начинаются с мамки, которая ему блины пекла. А от блинов до мещанина дистанция короткая, а главное, прямая. Впрочем, ну его в бо-лото. Надоело.

Армандо. Вот!..

Суходолов. Что «вот»?

Армандо. Позволь задать тебе один вопрос.

Суходолов. Хоть два.

Армандо. Почему ты незнаваем?

Суходолов. Интересные вопросы задаешь, голубчик. Пойдем-ка подальше, что ли. Вот, видишь вдали в дымке мачты... Это «Старые причалы». В твоём духе, поэтическое место... Пошли?

Армандо. Постой, дай высказаться. На тебя снова взвалили огромное дело, а ты веселый, легкий... помолодел.

Суходолов. Эх, Яков Эдуардович, неужели видно?

Армандо. И вообще к пятидесяти и не поседеть. В нашу эпоху. Гигантский человек! Но я ставлю весь свой концертный гонорар, — ты здесь в кого-то влюбился.

Суходолов. Тише... не кричи.

Армандо. Даже боишься.

Суходолов. Только намеки!.. А на нашего брата, знаешь, как смотрят... Легенду создадут.

Армандо. Но я не стану создавать легенду. Я не мещанин, не обыватель.

Суходолов. Ты — нет, не обыватель... Оттого и рад тебе.

Армандо. Тебе ведь хочется поделиться?.. Я не навязываюсь. Иди делись со своим парторгом.

Суходолов. Эх ты, Яша... Яков Эдуардович... друг ты мой!.. Что бывает в нашей жизни?! Сажу я как-то на строительстве в тайге, в палатке на берегу этой самой великой реки... строительство наше выше, там за «Старыми причалами». Сажу, планирую разбег на лето... Работа адская — уметь предвидеть, предусмотреть... с головой уходишь. И в это время появляется в моей палатке... даже не знаю, как тебе передать... является то самое чудное мгновение или видение, которое должно быть в жизни каждого человека. Я изумился... Слышу, как перед лицом неизвестной мне девушки что-то захватило мое сердце и оно заколотилось. Я просто потерялся под ее взглядом. Но принял посетительницу я вполне официально. А вопрос был маленький, организация передвижных библиотек. Я дал записку, и она ушла. Она ушла, а я продолжал свое планирование на лето. В общем, мелькнуло чье-то необычайно милое мне лицо и скрылось навсегда.

Армандо. Скрылось?

Суходолов. Слушай.

Армандо. Любопытно!

Суходолов. Проходит день, другой, неделя, а образ моей девушки стоит у меня перед глазами. Ее стройная фигурка и прищуренные со свету юные глаза. Я сильный человек, напористый, считаюсь даже грубым, и трудно мне переживать какую-то детскую, глупенькую встречу... Не по возрасту, не по положению!.. Но чувствую, что случилось невыразимое несчастье. Я растерялся. Зачем? Стыдно, смешно. И я решил: забудется. Стало приятней на душе. И действительно стал позабывать об этом видении. Таким путем однажды, будучи в городе, я с тем же приятным настроением подумал: «А почему бы мне не заехать к ней на службу?.. Просто... ни за чем...» Взял, представь себе, и тут же поехал. Она работает в библиотеке, ведет какой-то научный труд, была одна, встретила меня с испугом, растерялась. Но я... уж потом на улице понял, что я ей сказал.

Армандо. А именно?

Суходолов. Как мальчик, от чистого сердца я и сказал ей, что пришел без всякого дела, ничего мне не надо, *ни за чем*. И помню, как внимательно и грустно глянули на меня ее умные и робкие глаза. Она сказала очень тихо, но и открыто: «Понимаю». Все. Конец. Прошло громадное мгновение, которое уже навеки вошло в мою жизнь. Что говорил потом — не знаю. Да это и не важно, что я говорил... Я вышел от нее на улицу, на улице была весенняя слякоть, шел моросящий дождь, но я отпустил свой ЗИМ и пошел пешком по тротуарам. За сколько лет, не помню, мне захотелось бродить одному, а этот дождь и слякоть мне страшно нравились... Словом, в этот дождливый вечер, бродя по улице, я испытывал чувство полного счастья. Вот собственно и вся история моей любви.

Армандо (*подумавши*). Значит, ты, Суходолов, еще человек.

Проходят те же муж и жена.

Жена. Опять ты будешь говорить, что никуда не смотришь? Бессовестная твоя личность, вот что. Ты хоть головы и не поворачиваешь, а глазами так и водишь, так и водишь по сторонам. Молчи. Знаем мы, куда вы смотрите.

Прошли.

Армандо. Желаю тебе успеха.

Суходолов. Какого?.. Милый, ты не понял. Ни о каком успехе я не помышляю... Тут другое — да и ты знать меня должен.

Армандо. Тогда ты вдвойне человек.

Суходолов. Эх, Яков Эдуардович, ничего я тебе не рассказал. Делиться так делиться! Но смотри, предашь — убью. Вернулся я ломой в свою пустопорожнюю хату и ночью в том

же прекрасном настроении написал ей, как гулял по улицам и что при этом думал. Не понимаешь? Письмо написал.

Армандо. Сильно...

Суходолов. Ты мне не поверишь, потому что я сам иногда думаю, что сошел с ума, я стал ей писать письма. Мы не встречаемся, это невозможно, да и не нужно, ни разу больше не виделись... только пишу. Я, Суходолов, известная личность, строитель, член партии, называю эту девочку своею песней. Страшно признаться, но я хочу, чтоб этот человек знал, что она мне как песня... И, должно быть, последняя.

Армандо. Это замечательно. Ты навел меня сейчас на воспоминание о Лауре. Именно, как Лаура. Замечательно.

Суходолов. О какой Лауре?

Армандо. Ты ничего не знаешь о Лауре, о Петрарке?

Суходолов. О Петрарке?.. А что я должен знать о них?

Армандо. Должен, потому что ты человек образованный... а во-вторых, ты сам— Петрарка, поэт эпохи Возрождения, который рыцарски обожал донью Лауру и написал ей множество сонетов. Неужели не читал?

Суходолов. Не приходилось.

Армандо. Я так могуче стану петь любовь,
Что в гордой груди тысячу желаний
Расшевелю и тысячью мечтаний
Воспламеню бездейственную кровь.

Ты и твои письма — это и есть сонет Петрарки. Митя Суходолов, если до сих пор ты был достоин моего горячего уважения, то теперь я буду перед тобою преклоняться.

Суходолов. Поэтам — что... они такие! А я стыжусь... и даже страшно... Но продолжаю... В моем существовании произошла какая-то перемена. Легче дышится, лучше к людям отношусь... Появилось вдохновение в работе... Сонет Петрарки, говоришь, Лаура... Ну что ж, пускай... Много ли этих сонетов приходится на человеческую жизнь!

Армандо. А как ее зовут?

Суходолов. Майя.

Армандо. Имя современное.

Суходолов. Да, современное.

Армандо. Эх, какие просторы!.. Могучий май... Как я тебе завидую. Я давно уж никого не люблю, а промышляю.

Суходолов. Это у меня святое... Хорошо. Но иногда тревожно, страшно.

Пауза. По реке проходит большой пассажирский пароход.

Эх вы, манящие огни! С удовольствием уехал бы на этом пароходе вниз к океану. Нельзя, вернут... и будут говорить, что Суходолов помешался.

Армандо. Пиши ей, Митя, свои письма. Пой свою песню и не бойся, что она трагическая и последняя...

КАРТИНА ВТОРАЯ

Уголок фойе концертного зала в антракте.

Ксения Петровна и Павел Михайлович.

Ксения Петровна. Колоссальный успех! Вот это музыкант... какая сила! Павел Михайлович, а вам нравится наш скрипач?

Павел Михайлович. Успех большой... да! Жаль, что у скрипача физиономия какая-то потрепанная.

Ксения Петровна. Артист.

Павел Михайлович. Не у всех же у них должны быть потрепанные физиономии.

Ксения Петровна. Много ездит.

Павел Михайлович. Может быть, много пьет.

Ксения Петровна. Поневоле. Живет в гостиницах.

Павел Михайлович. Разве что...

Ксения Петровна. Но, когда играет, он преображается.

Павел Михайлович. Это, между прочим, верно.

Ксения Петровна. Очень сильно исполняет.

Проходят девушки — в сером и голубом.

Девушка в сером. На меня музыка действует отрицательно... она меня демобилизует.

Девушка в голубом. С тобой нельзя никуда ходить. Ты только об одном и думаешь, что тебя мобилизует и демобилизует.

Девушка в сером. Странно, а для чего искусство? Для того, чтобы мобилизовать.

Девушка в голубом. Ни за что с тобой не пойду на концерты.

Прошли.

Павел Михайлович. Где Суходолов? У скрипача?

Ксения Петровна. Еще бы! Они друзья, а что?

Павел Михайлович. Надо двумя словами перекинуться.

Ксения Петровна. Дела? Дайте человеку отдохнуть. Я запрещаю.

Павел Михайлович. Вы всем так приказываете? Мужу тоже?

Ксения Петровна. Да. А что? Поимейте в виду, что я казачка... уральская. Мы, Шмыревы, — все такие.

Павел Михайлович. Вы — Шмыревы? Почему Шмыревы?

Ксения Петровна. Моя фамилия до замужества... коренная, Я в Москве до октября месяца езжу в Химки на

канал купаться. Возьмите за руку повыше локтя, ни за что не ущипнете.

Павел Михайлович. Сильно сложены, Ксения Петровна, красиво.

Ксения Петровна. Мы, Шмыревы, все один к одному. И вообще в широком смысле я не какая-нибудь мещанка в личной жизни. Я — женщина передовая. Да, да, Павел Михайлович.

Павел Михайлович. И все-таки я уж попрошу вас разрешить мне сообщить Суходолову одну новость, интересную для него.

Ксения Петровна. А что за новость? Сообщите мне.

Павел Михайлович. Тут у него пошли нелады с одним работником... наклеывается возможность разъединить их.

Ксения Петровна. Ох, эти нелады... слишком самостоятельно держится. Я Суходолову всегда говорю: сломают тебе хребет.

Павел Михайлович. Не одобряете? Сломают. А почему сломают?

Ксения Петровна. В нашей жизни нельзя выделяться. Я это утверждаю.

Павел Михайлович (*он все время говорит с нею, подавляя улыбку*). Но вот вы же, например, выделяетесь... ростом... стройностью... фигурой.

Ксения Петровна. Ах, то фигура, фигура даже помогает. Но переменим тему. Вы посмотрите, как взволнована публика.

Павел Михайлович. Вот что мне удивительно — как много любителей музыки в нашем городе. И масса молодежи. Не знал.

Ксения Петровна. А вы посещаете концерты?

Павел Михайлович. По правде говоря, мы музыку слушаем после торжественных заседаний. Стыдно, но правда.

Ксения Петровна. А я лично обожаю скрипку. На заре нашего знакомства Армандо для меня лично играл. Я просто помирала от удовольствия. Поухаживайте за мной, Павел Михайлович, мне очень пить хочется.

Павел Михайлович. Пожалуйста, пойдемте.

Ушли. Появляются Майя и Клара.

Клара. Как жаль, что он не один. Мне надо было к нему подойти по делу.

Майя. Ты о ком говоришь?

Клара. О том человеке, который пошел в буфет с высокой женщиной. Павел Михайлович. Наше областное начальство. А ты кого-то ищешь взглядом?

М а й я. Да, мне хотелось бы увидеть одного человека, его здесь нет.

К л а р а. Кого? Не секрет?

М а й я. Секрет.

К л а р а. Даже от меня?

М а й я. От всего мира.

К л а р а. Даже так?

М а й я. От всей вселенной.

К л а р а. Значит, любовь.

М а й я. Нет, не любовь.

К л а р а. Что же?

М а й я. То самое, что сейчас играли.

К л а р а. Скажи на милость, какие тонкости.

М а й я. Кларочка, милая, но ведь музыка это же чистые чувства.

К л а р а. Кажется, мы с тобою крепко дружим, но ты скрываешь от меня все свои чувства.

М а й я. Есть на свете такие вещи, о которых ничего нельзя рассказать. Они — почти фантастика. И существуют, и как будто нет. Одна мечта.

К л а р а. Опять тонкости и выдумки.

М а й я. Не выдумки, а факт.

К л а р а. Смотри, родная, я тебя разоблачу.

М а й я. В каких грехах и преступлениях?

К л а р а. Ищешь кого-то взглядом.

М а й я. Смешно, мой друг, в двадцать пять лет не искать, когда ж еще искать!

К л а р а. Так ведь... смотря кого... смотря кого, родная.

М а й я. А ты не думала, что наш взгляд сам находит, что ему нужно?

К л а р а. Мистика.

М а й я. Пусть мистика. Тебе не понять.

К л а р а. Ах, вон что... Ты считаешь, что я в этом разрезе не имела успеха.

М а й я. Ты... просто ты смешная. Очень смешная.

К л а р а (*грубо тискает Майю*). Майка, дура, как я тебя люблю! А ты замыкаешься. Мне передали, что собираешься скоро уезжать.

М а й я. Собираюсь... кажется, уеду.

К л а р а. А мне ни слова.

М а й я. Страшно опротивела моя ненужная работа, вдруг потянуло в наш мудрый Ленинград.

К л а р а. Изучать советского читателя — ненужная работа? Ты понимаешь, о чем ты говоришь?

М а й я. А зачем его изучать?

К л а р а. Как зачем, как зачем?! Постой, да ты смеешься. У тебя с некоторых пор очень веселое и рассеянное настроение. Ты не хочешь мне в чем-то признаться?

М а й я. Мне не в чем признаваться. И потом скажи, почему надо непременно в чем-то признаваться? Это уже не дружба получается, а испытательный стаж.

К л а р а. Нет, дорогая Маечка, мы обязаны очень внимательно относиться друг к другу... а то можно многое проглядеть.

М а й я. Я этого не понимаю.

К л а р а. Потому что в тебе много индивидуалистического, субъективного... А я считаю, что иногда не грех и последить за товарищем, чтобы во-время помочь ему.

М а й я. Последить в буквальном смысле?

К л а р а. А чего особенного? Ничего особенного в этом нет. Но ты прости меня; родная, мне необходимо все же подойти к этому товарищу. (Указала на Павла Михайловича.) Один из главных наших руководителей... Главный.

Клара направляется к Павлу Михайловичу.

К с е н и я П е т р о в н а. Я пойду к Армандо. Он обожает, когда я его вдохновляю.

П а в е л М и х а й л о в и ч. Вдохновляйте, вдохновляйте.

Она ушла.

К л а р а (робко). Здравствуйте, Павел Михайлович... Я Мулина Клара... Общество по распространению культурных и политических знаний. Не забыли?

П а в е л М и х а й л о в и ч. А зачем же вы принижаетесь, Мулина Клара? Я вас хорошо знаю.

К л а р а. Нас тысячи, а вы — один.

П а в е л М и х а й л о в и ч. Опять не то говорите.

К л а р а. К вам трудно добиться, решила здесь потревожить. Дело очень маленькое, даже минутное.

П а в е л М и х а й л о в и ч. Говорите.

К л а р а. Я сочла своим прямым долгом передать вам лично кое-какие материалы... позорящие...

П а в е л М и х а й л о в и ч. Материалы?.. Понятно. Кого они позорят?

К л а р а. Товарища Суходолова.

П а в е л М и х а й л о в и ч. Кого, кого?

К л а р а. Суходолова.

П а в е л М и х а й л о в и ч. Каким же образом они его позорят?

К л а р а. Из материалов сами увидите.

П а в е л М и х а й л о в и ч. Но прежде, чем взять материалы, я имею право знать, что это такое.

К л а р а. Это письма.

П а в е л М и х а й л о в и ч. Чьи?

К л а р а. Его письма... написанные его рукою.

П а в е л М и х а й л о в и ч. К кому?

К л а р а. Письма к одной девушке.

Павел Михайлович. Кто же она, эта девушка?

Клара. Научная сотрудница, практикантка из Ленинграда... работает в областной библиотеке. Имя Майя.

Павел Михайлович. И что же там есть в этих письмах?

Клара. Ну, если, скажем, пожилой ответственный работник называет постороннюю для него девушку... ну, как бы вы думали?

Павел Михайлович. Боюсь думать, потому что сам — пожилой ответственный работник. Как же он ее называет?

Клара. Он называет ее своей песней.

Павел Михайлович. Как?

Клара. Вот видите, невероятно... Песней.

Павел Михайлович. М-да, эпитет поэтический. И как же вы достали эти письма?

Клара. Случайно.

Павел Михайлович. Вам дали их прочесть?

Клара. Кто же даст читать письма с таким материалом! Я их случайно обнаружила.

Павел Михайлович. И взяли себе?

Клара. Зачем же? Я сняла с них копии. А письма находятся на своем месте.

Павел Михайлович. Зачем же вы их водворили на свое место?

Клара. Странный вопрос, — пускай накапливаются.

Павел Михайлович. М-да, я об этом не подумал. Ну, и что же?

Клара. Не понимаю вашего вопроса.

Павел Михайлович. Чего же вы хотите от меня?

Клара. Я хочу, чтобы вы прочли эти письма.

Павел Михайлович. Вот видите, какое дело: вы хотите, а я не хочу.

Клара (*изумлена*). Серьезно?!

Павел Михайлович. Да.

Клара. Не хотите взять?!

Павел Михайлович. Не хочу.

Клара. Тогда... не понимаю... кому же я их должна отдать?

Павел Михайлович. А почему вы должны их непременно кому-то отдать? Суходолов пишет не мне, не вам, а девушке. И девушка, как я полагаю, эти письма хранит. Так пусть они у девушки и остаются.

Клара. Это — директива?

Павел Михайлович. Звонок, слышите? Пойдемте музыку слушать.

Клара. Нет... как же быть мне? Если директива, то я сделаю соответствующие выводы... обобщения.

Павел Михайлович. Какая же тут может быть директива! Просто я думаю, что нехорошо воровать письма у девушки... снимать копии... Может быть, девушка — ваша подруга? Как хотите, а по-моему, это не хорошо. *(Ушел.)*

К л а р а. Либеральничает. Могу послать по почте... прочтет.

Подбегает М а й я.

М а й я. Клара, бежим в зал, а то сейчас свет погаснет.

К л а р а. Ступай одна. Мне неприятно...

М а й я. Отчего неприятно? Что случилось?

К л а р а. Нехорошо мне. Голова разболелась. До свиданья. *(Ушла.)*

М а й я. Странная и трогательная. *(Увидела Суходолова.)*

Вот и вы. Здравствуйте.

С у х о д о л о в. Здравствуйте, Майя Сергеевна. Вам не смешны мои послания? Вы на меня не сердитесь?

М а й я. Я их берегу. В них ничего смешного нет.

С у х о д о л о в. Прощайте, милая.

М а й я. Привет вам... привет.

С у х о д о л о в *(резко вернулся. Говорит тихо)*. Непременно уничтожьте письма.

М а й я. Как?! Зачем?

С у х о д о л о в. Просто, в печке на огне... И тогда ничего не будет.

М а й я. А что же может быть?

С у х о д о л о в. Мало ли что!

М а й я. Эти письма — чистая поэзия...

С у х о д о л о в. Мне не положена поэзия... не понимаете?

М а й я. Тогда вы не пишете.

С у х о д о л о в *(оглянувшись, с настойчивостью, сильно)*. Нет, буду писать... буду. Но вы хоть спрячьте их подальше.

М а й я. Не беспокойтесь, никто на свете не узнает.

С у х о д о л о в. Какая страшная радость смотреть на вас... *(Ушел.)*

М а й я. Ни мне, ни себе этот человек солгать не может... любит.

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

В квартире Суходолова ночью.

Марина и Суходолов.

С у х о д о л о в. Спи, дорогая, поздно.

М а р и н а. То-то вот что поздно... А то сказала бы я все, что знаю про тебя.

С у х о д о л о в. Ну, хорошо, скажи.

М а р и н а. И скажу. Не любишь ты свою жену. И она тебя не любит. А то не стал бы молоть мне, что твоя жизнь прошла.

Сколько я вас помню, вы никогда друг к дружке горячо не относились. А как поднялись, то и вообще почти что порознь жить стали.

Суходолов. Зачем ты все это мне твердишь?

Марина. Зло берет... терпеть не могу ложной жизни. У него жена где-то пропадает, а он толкует о старости. Не в том дело.

Суходолов (*подтрунивая*). А в чем?

Марина. Скрипач на горизонте появился.

Суходолов. До чего ты, Марина Герасимовна, говоришь интеллигентно научилась. Горизонт... А что это такое «горизонт», ну-ка, скажи?

Марина. С образованным хозяином пятнадцать лет по России скитаюсь. Просветилась.

Суходолов. Нет, все-таки, что такое горизонт?

Марина. То самое...

Суходолов. Не знаешь, а мелешь. Горизонт — это великое дело... И когда он исчезнет... ни зги не видно... тогда дело дрянь.

Марина. А ты правду слушать не уважаешь. Скажи лучше, где жена?

Суходолов. Оставь меня в покое, иди спать.

Марина. Эх, ты... не проспал ли ты свою жизнь?

Суходолов. Проспал — не вернешь.

Марина. И не жалко?

Суходолов. Эх, ты... добрая подружка бедной юности моей... Это стихи.

Марина. Сам ты добрый. Даже удивительно.

Суходолов. Что удивительно?

Марина. Что добрый... любезный какой-то.

Суходолов. Ну, сядь.

Марина. Ах, все-таки и с темною бабой поговорить приятно, даром что горизонтов не понимает. Поговори.

Суходолов. Нет, почему ты считаешь, будто я какой-то любезный... Мне это очень важно.

Марина. Потому что давно таким не был.

Суходолов. Каким?

Марина. Каким, каким... Любезным.

Суходолов. Любезным, любезным... Будто я на людей кидался.

Марина. Кидаться не кидался, а нелюдимым был до крайности. Мне-то — ничего, а чужому человеку — страх.

Суходолов. Умные вещи говоришь ты, старуха. Откуда берется.

Марина (*делая вид, что удивлена*). Как, как?

Суходолов. Так, вот так... умные и большие. Ведь я, например, с ранней юности учился ненавидеть... Вспомни революцию, чапаевские годы.

М а р и н а. Как не помнить. Ну так что же?

С у х о д о л о в. А то, что если это чувство потерять, то пиши пропало. Ты уже тогда не член нашей партии, а служащий в ее рядах. Поэтому классовую ненависть я считаю чувством святым и достойным. Но теперь у нас враждебных классов действительно нет. Спрашивается, кого же ненавидеть? Есть негодяи, отребье, воры... Они достойны разве что презрения, а иногда и сожаления. Я ведь говорю сейчас о большой ненависти. Кого я должен ненавидеть в своей стране? Может быть, пора учиться любить...

М а р и н а. Вот хорошо было бы...

С у х о д о л о в (раздумывая). Что я любил...

Пауза.

Любил начинать строительство, жить на новом месте, удивлять людей размахом, славу любил...

М а р и н а. Помирать не звали, а ты в исповедь ударился.

С у х о д о л о в. Ах, не мешай, а то мысль потеряю.

М а р и н а. А ты не говори «любил».

С у х о д о л о в. Да, вот признаюсь, славу люблю, будущее люблю, партию свою люблю, сына люблю, тебя, народ люблю... а вот человека обыкновенного, каждодневного я ведь не люблю. Я к нему отношусь подозрительно, чуждо отношусь к человеку. Что ты на это скажешь?

М а р и н а. Что скажу? Врешь ты!.. Насчет людей одни разговоры, ты всегда о них заботился. А насчет характера,— да, характер у тебя мягче стал.

С у х о д о л о в. Может быть, что-то зашевелилось, не одна ты заметила, но я в широком смысле толкую вопрос... философски.

М а р и н а. И это... философски... врешь. Если бы ты людей не любил, то тебе бы и в голову не пришло, что ты их не любишь. Жену ждать будешь?

С у х о д о л о в. Чего ее ждать, она вполне здорова.

М а р и н а. В мое темное время такие отношения назывались собачьими, а в твое — светлое — называются товарищескими. Спокойной ночи! (Ушла.)

С у х о д о л о в. Страшные вещи ты, старуха, говоришь. Я ведь до сей поры и сам не знал, что не любил жену, желал ее даже без тени чувства... Старуха знает, а я нет. Дико. А впрочем, что особенного? Привычка. Но я-то,— вот что дико! — я не знал, что это лишь привычка. Вот несчастье!.. Поздно делать такие открытия, непоправимо. Может быть, тут одна холодная рассудочность. Может быть, я Ксению просто недолюбиваю за ее беспросветное мещанство, за разухабистые манеры, за мелкий ум, за ее каменную статность?.. Что-то много всего набралось. И все это надо было видеть двадцать лет тому назад. Поздно мы с тобой прозрели, парень. Свет озарил

житьишко — вот и пошло прозрение. Свет... странно это. Три раза видел человека, а люблю. Нет, это не любовь, а ее потребность... желание любви... мечта о какой-то необыкновенной девушке, которой не было и никогда у тебя не будет. А сама эта Майя, может быть, довольно заурядная и примитивная девица... И пусть! Пусть мечта останется мечтою. Только бы жена не впуталась. Тогда пойдут концерты. Нет, Армандо не расскажет, он человек больших понятий. Так и решим. Жена ничего не будет знать, и знать тут нечего, и у меня останется в жизни одно видение... Никому оно не помешает, никому не принесет ни капли горя...

В дверях Ксения Петровна.

Ксения Петровна. Ну... что молчишь? Обругай, оскорби... назови неприлично.

Суходолов. А зачем я это буду делать?

Ксения Петровна. Затем, чтоб доказать, что я для тебя любимая жена.

Суходолов. Глупо.

Ксения Петровна. Но зато у меня умный муж, который в душе считает, что я мещанка и еще не знаю что... Он не потрудится внимательно разобраться в своей жене, как другие, и понять, что она передовая, современная женщина. Он считает ее своей рабыней.

Суходолов. Чем?

Ксения Петровна. Я говорю, рабыней... Что, не правда? Миллион раз правда!

Суходолов. Ксения, что случилось? Является домой за полночь и мне же устраивает скандал.

Ксения Петровна. Но ты скажи, кем я была в твоих глазах всю мою замужнюю жизнь? Молчишь, как пойманный с поличным! А ведь я посетила тебе всю свою первую молодость, всю себя я посетила тебе.

Суходолов (*сердясь*). Не посетила, а посвятила.

Ксения Петровна. Я в книжках не варюсь, живу домашним бытом. И мне плевать, посетила или посвятила. Я давно ждала от тебя благодарности за годы моих мучений...

Суходолов. Каких мучений? О чем ты говоришь?!

Ксения Петровна. Разве я не могла выбрать себе другую, более яркую судьбу? Вполне могла. Мы — Шмыревы, не какие-нибудь! Мой покойный дедушка говорил — нас на соленье не пустишь. Все мои братья, все сестры на хороших местах. Никифор — генерал, весь в орденах...

Суходолов. Ты, дорогая, я вижу, в приподнятом настроении.

Ксения Петровна. Вот это ты сразу увидел... Она позволила себе минуту свободы, ты это сразу подчеркнул. А то, что она посетила тебе всю себя...

Суходолов. Прости, я должен отдохнуть. Это бестолковый разговор.

Ксения Петровна. Нет, погоди! Разговор не бестолковый... Ты теперь не отделаешься от меня при помощи своих барских манер. Скажи-ка, голубчик, какую цацу ты себе здесь подцепил? Чья такая? Много стоит? Где ночует? Что, сразила? Никак не ждал подобных вопросов?

Суходолов (*тяжело, опасно*). Кто сказал?

Ксения Петровна. Тот человек, которому все это известно. Что с тобой?.. Гебя прямо шатнуло. Ты не ожидал, что Яша Армандо больше дорожит моей дружбой, чем твоей.

Суходолов. Человек... да, конечно, он тоже человек.

Ксения Петровна. Еще бы!.. Раз он тебя выдал, то какой же он человек! Эх, ты... взгляни на себя, какой сам есть человек! Негодяй ты, негодяй.

Суходолов. Прошу... можешь замолчать?

Ксения Петровна. Развратник...

Суходолов. Замолчи!

Ксения Петровна. Помолчали, хватит. Теперь пришел конец молчанию.

Суходолов (*медленно*). Я могу...

Ксения Петровна. Что ты можешь?! Ничего ты теперь не можешь. А вот я могу. Пока ты прощения не вымолишь и пока твою красотку из города не проводишь, я тебе, дружок, жизни не дам. Что, скучно, Митенька? Мы, Шмыревы, очень грубые люди... и другого обращения ты теперь от меня не жди. Пришел и на мою улицу праздник. Наконец, дождалась я.

Суходолов (*в огне*). Дождалась?! Празднуй!.. Что-то, а этого не прощу. (*Ушел.*)

Ксения Петровна. Ты?.. Мне?.. Прощать? Постой! Попался, неси повинную, покайся. А то ведь шутки — сам знаешь — очень опасные. Иди сюда, говорю, Дмитрий, в этом доме сегодня покоя не будет!

Вошла Марина.

Марина. Чего шумишь?

Ксения Петровна. Уйди. Мне муж нужен.

Марина. Ушел он.

Ксения Петровна. Куда?

Марина. На улицу.

Ксения Петровна. На улицу?.. Как же так на улицу? Хотя... что я растерялась! Лишний предлог получил к любви наведаться. Говори, часто он дома не ночует?

Марина. Чуть городишь, Ксения Петровна.

Ксения Петровна. И тебя купил?

Марина. Милая... да... того...

Ксения Петровна. Ничего не того.

М а р и н а. А я всерьез принимаю. Давай, хозяйка, спать ложиться.

К с е н и я П е т р о в н а. Разве ты его выдашь? Ты его никогда не выдавала. Задарил. Но нарыв прорвался... Погодите, голубчики, я вам сделаю.

М а р и н а (весело). Что сделаешь?

К с е н и я П е т р о в н а. Найду.

М а р и н а. А все-таки?

К с е н и я П е т р о в н а. То сделаю, что вы у меня будете ходить тише воды, ниже травы. А то «Марина Герасимовна!» «Марина Герасимовна»... Титул ей назначил «домоуправительница». Без нее не может. Знаем мы теперь, чем ты ему необходима. Не качай головой, не отделаешься. Кто в мою квартиру ходил, говори! Мне не скажешь, на суде скажешь... Постой, он действительно на улицу ушел? Правда?

М а р и н а. Пройди проверь.

К с е н и я П е т р о в н а. Неужели ушел и бросил? (Слезливо.) Ты знаешь, Марина, я не раз у известных московских баб гадала, и не раз мне выпадал удар. Неужели начинает сбываться? Какое несчастье! Кому я нужна в моем возрасте! Дети выросли, я одна и квартиры в Москве не оправдаю. Марина, ты слышишь?

М а р и н а. Слышу, слышу... не первый раз плачешься. Одно и то же.

К с е н и я П е т р о в н а. Но тогда ничего не было.

М а р и н а. И теперь ничего нет.

К с е н и я П е т р о в н а. Говори мне.

М а р и н а. И кому угодно скажу.

К с е н и я П е т р о в н а. Поклясться способна?

М а р и н а. Способна.

К с е н и я П е т р о в н а. Значит, ты слепая.

М а р и н а. Значит, слепая.

К с е н и я П е т р о в н а. Так оно и есть... А мне верный человек все рассказал. Ужасно представить, что он мне рассказал! Ох, как страшно... Это не какие-нибудь шашни... шашни можно простить... тут у них любовь с большой буквы. Но нет, не выйдет, не дам. Пускай он у меня на стену лезет, пускай ненавидит меня, как змею, а я его от себя не отпущу, развода не дам. Мое моим останется, и нечего тут в благородство играть. Против этой болезни лекарства нужны простые, грубые.

М а р и н а. Взбесилась баба.

К с е н и я П е т р о в н а. А ты на месте сорокалетней жены что бы стала делать?!

М а р и н а. Но ведь тебе резонем толкуют, что ничего нет.

К с е н и я П е т р о в н а. И пускай нет!

М а р и н а. Так чего же ради терзать себя и других?

К с е н и я П е т р о в н а. Надо терзать... надо!

М а р и н а. Совсем одичала!

Ксения Петровна. Если даже нет ничего фактически, а так... одни фантазии и мечты, что все одно, и то надо. Пусть с наждаком протрут!.. Пусть он помечтает и то опасается! Теперь с крепкой советской семьей с этими мечтами не возрадуешься. Я ему покажу эту Лауру!

Марина. Неужели имя дали? Придумают же... Лаура.

Ксения Петровна. Это скрипач ее так называет, в честь чего не знаю. А на самом деле ее зовут Майей. Но я ей покажу, голубушке, и Майю и Лауру! Поэты... Я вам дам поэзию!

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

В палатке на строительстве, днем.

Суходолов у телефона.

Суходолов (*продолжает*). Спасибо, Павел Михайлович. Тронут твоим вниманием. Здоровье у меня первоклассное, до инфаркта далеко. Но ты послушай, какую научную историю я недавно в московском самолете слышал. Ежели с обыкновенной здоровой обезьяной обращаться грубо, угнетать ее всячески, орать на нее, то через два месяца у нее непременно будет инфаркт. У обезьяны! Мыслишь? Интересно. Я тоже говорю, что интересно.

Пауза.

Теперь я на строительстве проживаю. Есть к тому и особые причины, говорить о которых не стоит, но на строительной площадке я, как рыба в воде, прекрасно себя чувствую... привычка. Живу в палатке. Спасибо, что не забываешь. Привет тебе. (*Положил трубку.*)

Входит Дононов.

Здравствуй, товарищ Дононов, давно не виделись. Я даже соскучился.

Дононов. Шутишь, товарищ начальник... много шутишь. А сам от меня бегаешь. Ведь я не раз давал тебе понять, что нам надлежит потолковать по твоим личным делам... Что делать... не Магомет к горе, так гора к Магомету.

Суходолов. Кто гора, кто Магомет?

Дононов. Ты — мудрец, тебе виднее.

Суходолов. Впрочем, что я?.. Ты сам себя определил в горы. Но смотри, горы бывают разные, покатые и плоские, крутые и страшные... А вообще, что есть гора? Мертвое тело.

Дононов. Ты мастер острить... не всегда к месту.

Суходолов. Не сердись, Афанасий Кузьмич... вредная привычка. Чаю желаешь?

Дононов. В такую жару чай!

Суходолов. А вот представь себе... меня казахи на Турксибе научили.

Дононов. И где ты только не бывал! Так что же, потолкуем?

Суходолов. Я издал бы всеобщее постановление: личными делами в нерабочее время заниматься, по ночам. Ночи, они самой природой предназначены для личных дел. Опять же и экономия государству! Сразу бы этих личных дел на девяносто процентов убавилось. Но — давай! Нет, посиди минуту. Пока работает с областью телефон, надо позвонить в гражданскую авиацию. (*Переговариваясь со станцией.*) Комаров хочу истребить.

Дононов. По-моему, неосуществимо.

Суходолов. Я уже однажды операцию подобного размаха осуществлял.

Дононов. Чего ты только не осуществлял!

Суходолов. Двадцать пять лет осуществляю. (*Его соединили.*) Гражданская? Мое почтение, Суходолов с вами говорит, нельзя ли к нам сюда прилететь на предмет уничтожения комаров? Операция у нас обширная, миллионная. Прилетайте. Кланяюсь.

Дононов. Как легко решаешь ты миллионные операции!

Суходолов. Так ведь Магомет, знаешь, чего наделал? Ввел на земле магометанство.

Дононов. Бросаешься словами. А что такое комары? Кому они мешают? Нежные мы стали очень.

Суходолов. С ними одна производительность, без них другая.

Дононов. А ты считал?

Суходолов. Все поддается учету, товарищ Дононов! Даже такая неуловимая вещь, как наши с тобой отношения... в какую копеечку они обходятся государству. Про электронные машины слыхал? Они все подсчитают.

Дононов. А какие у нас отношения? Если критикуемся взаимно, то это только страхует от нездорового сращивания. У нас самые нормальные отношения.

Суходолов. От таких нормальных отношений у людей инфаркты бывают. Но давай сегодня поедем на участки. Ты ни разу на Кедровом стану не был. Начальник там ни к черту. Тянуть надо. А Кедровый стан имеет громадное будущее.

Дононов. Слыхал, знаю, поедем. Но, Суходолов, я ведь пришел к тебе с твоим личным вопросом.

Суходолов. Извини, высыпай.

Дононов. Что значит «высыпай»?

Суходолов. Глагол в повелительном наклонении. Дел у нас много, Афанасий Кузьмич, не тяни.

Д о н о н о в. Дела, дела. И в делягу тоже превращаться не следует. Иногда невредно остановиться и оглядеться, что с тобой происходит. Я, например, давно хочу узнать от тебя, почему ты дома не ночуешь?

С у х о д о л о в. Заметил?

Д о н о н о в. А как же?

С у х о д о л о в. Ну, и какое это имеет значение?

Д о н о н о в (*значительно*). А ты не знаешь?

С у х о д о л о в. Нет.

Д о н о н о в. Если понадобится, я тебе объясню. Но как же быть в настоящем конкретном случае?

С у х о д о л о в. Как быть? Никак не быть.

Д о н о н о в. Нет, ты мне ответь на мой прямой вопрос.

С у х о д о л о в. А я не хочу отвечать на этот вопрос.

Д о н о н о в. Как, как?

С у х о д о л о в. Так. Не желаю и не буду отвечать.

Д о н о н о в. Считаешь ниже своего достоинства.

С у х о д о л о в. И моего и твоего достоинства.

Д о н о н о в. Скажи, куда метнул. Это почему же?

С у х о д о л о в. Не тебе, по твоему общественному и государственному положению, задавать такие вопросы, не мне на них отвечать.

Д о н о н о в. Ну, знаешь, уважаемый!..

Недоброе молчание.

С у х о д о л о в. Не знаю. Скажешь, буду знать.

Д о н о н о в. Люди— не чета тебе, повыше, тоже хорохорились, а потом, как миленькие, отвечали.

С у х о д о л о в. Значит, они не чета мне.

Д о н о н о в. Вот в чем твоя беда! Дмитрий Алексеевич, ты большой человек, и не ошибочно тебя ценят в верхах, но ты страдаешь колоссальным самомнением.

С у х о д о л о в. Да какое тут, к дьяволу, самомнение! Я не понимаю и понимать не хочу, почему я должен отчитываться перед тобой в том, где я сплю. Где мне удобно — там и сплю.

Д о н о н о в. Брось, брось, не уходи от существа дела. К тебе приехала супруга. Все это знают.

С у х о д о л о в. Приехала... и какое вам дело?

Д о н о н о в. Что у вас случилось? Откройся, Дмитрий Алексеевич, лучше будет.

С у х о д о л о в. Милейший Афанасий Кузьмич, будь ты мне ближайшим другом, и то не всегда можно открыться. Но кто ты мне? Официальное лицо... Как же я могу посвящать тебя в свои сокровенные дела! Прости, это по-человечески противно и бессмысленно. Помочь мне никто не может. Даже первобытные люди и те не вмешивались в распри пар.

Д о н о н о в. А мы не первобытные, а современное органи-

зованное общество. Я хочу тебе помочь... обязан, призван! Я вижу, что ты запутался.

Суходолов. Ты видишь, я — нет. Могу дать подписку.

Дононов. Брось... Давно все ясно.

Суходолов. Что ясно?

Дононов. Пассия.

Суходолов. Не понимаю.

Дононов. Полно. Что, неграмотный? Дама сердца... ну... любовница. Чего там. Люди мы взрослые.

Суходолов (*волнение*). Вот что, Дононов... вот как у нас будет... Я готов разговаривать с тобой на любые темы, можешь учить меня, как строить, но этого не потерплю. Заявляю тебе по совести и чести коммуниста, что ничего позорящего мою партию я не совершаю... Поэтому такие эпитеты, как «запутался», с негодованием отвергаю.

Дононов. Как ты возгордился! Поразительно.

Суходолов. Откуда у тебя поповские словечки?

Дононов. А твои словечки на мелкобуржуазный анархизм смахивают.

Суходолов. Научили вас на нашу голову! Действительно, начетчик. Ну, при чем тут анархизм? В общем, если ты пришел толковать о том, где мне ночевать, то считай, что наша беседа не состоялась. А меня с катера зовут — слышишь? А на том берегу ждут геологи, которые решают судьбу величайшей в мире плотины. Величайшей... (*Ушел.*)

Дононов. Глупый человек. Ребенок. Казалось бы, молодой коммунист и должен понимать, что я стремлюсь оградить его от серьезных неприятностей. Ну, зачем тебе, дураку, вызывать нездоровое любопытство к своей персоне?! Я же не могу пресечь болтовню. Она просочилась, пошла... И мне сигнализировали, хоть и анонимно. Конечно, мы знаем этих клеветников, которые порочат честных людей анонимными письмами. Но вот вам и подтверждение: Суходолов уклоняется от исполнения супружеских обязанностей. Очень хорошо. Прекрасно. Значит, что-то есть... Поссорился с женой. А почему поссорился? Мог поссориться между прочим и по своей вспыльчивости. Он нередко следует не уму, а сердцу. А кто же возражает? Мы не можем отнять у человека право иметь вспыльчивое сердце. Но у меня коммунисты спрашивают, почему директор не живет дома? Безусловно, тут тоже имеется доля обывательского любопытства. Любим мы поглядеть через щелочки в чужие квартиры. Есть это, есть. Тут тоже надо бы обуздать мещанские пережитки... А с другой стороны, только пойди навстречу и дай волю нашему брату... Тот же Суходолов с его внешностью моментально распухнет. Смешной человек! Он думает отделаться благородным негодованием. Благородством от таких вещей не отделаешься.

Входит Ксения Петровна.

Ксения Петровна. Я не ошибаюсь? Товарищ Дононов. Суходолова... жена его.

Дононов. Очень рад, хоть неожиданная встреча. Садитесь.

Ксения Петровна. Давайте познакомимся. *(Рукопожатие. Называет себя.)*

Дононов. Весьма приятно. Вы ко мне?

Ксения Петровна *(очень настороженно)*. А почему вы так думаете?

Дононов *(как же)*. Могу ошибиться.

Ксения Петровна. Нет, вы не ошиблись. Но у меня впечатление, будто вы меня ждали.

Дононов. Ждать не ждал...

Ксения Петровна. А сразу догадались, что я к вам.

Дононов. Была причина.

Ксения Петровна. Какая? Вы должны понять, как все это важно для меня.

Дононов. Мы только что с супругом вашим обменивались мнениями о том, что всем вокруг бросается в глаза.

Ксения Петровна. Да... бросается...

Дононов. А дыму без огня...

Ксения Петровна. Да, да... да, да.

Дононов. Но если опухоль не злокачественная, то, как говорят доктора, она должна рассосаться.

Ксения Петровна. Считаете?

Дононов. Зачем же делать поспешные выводы.

Ксения Петровна. А поспешные шаги?

Дононов. Шаги — это шаги, а выводы — это выводы.

Ксения Петровна. Но иногда можно и оступиться.

Дононов. И что же? Дело поправимое.

Ксения Петровна. Смотря куда оступиться... А если с кручи, вверх тормашками, — что тогда?

Дононов. Что ж тогда... известно что.

Ксения Петровна. Но вы понимаете, о чем я говорю?

Дононов. Кажется, понимаю.

Ксения Петровна. Подавать мне заявление на мужа?

Дононов. Не только от совета, но даже от намека на совет отказываюсь.

Ксения Петровна. Вот тебе и раз! Почему?!

Дононов. Не понимаю, как можно спрашивать! Вы какая-то наивная. Пусть будет заявление, пусть... но без подсказывания...

Ксения Петровна. Страшно.

Дононов. Так далеко зашло дело?

Ксения Петровна. Нет, страшно выворачивать все это.

Дононов. Тогда давайте внесем ясность.

Ксения Петровна. Давайте. Одна я потеряла голову.

Дононов. Вы чего боитесь в первую очередь?

Ксения Петровна. Повторяю: оступиться.

Дононов. То есть так: ничего нет, а вы подняли шумиху?

Ксения Петровна. Вот именно.

Дононов. Должен вам, между прочим, сообщить, что сигналы были.

Ксения Петровна. Что вы говорите?! Вот ужас. Были-таки.

Дононов. Первичные.

Ксения Петровна. Все мне ясно, у него здесь вторая семья!

Дононов. Не горячитесь. И давайте спокойно спросим себя, за что мы боремся? Я борюсь за то... за авторитет Суходолова. Его авторитет — это авторитет наших руководящих кадров.

Ксения Петровна. Значит, подавать заявление?

Дононов. Погодите... А когда человек окончательно запутается, то уж поздно за него бороться.

Ксения Петровна. А вы считаете, что он еще не запутался окончательно?

Дононов. Честно говорю, не знаю.

Ксения Петровна. А сигналы?

Дононов. Анонимные.

Ксения Петровна. Вон что! Анонимные! Значит, уже чужие люди... или, может быть, наши общие знакомые... словом, все знают, и одна я, несчастная, как всегда, узнала последней. Но пусть никто не радуется! (*Вынула конверт.*) Вот вам мое заявление.

Дононов. Теперь, уважаемая Ксения Петровна, вся эта щекотливая история принимает другое качество. Из области предположений она переходит в область обсуждений. Суходолов должен будет давать объяснения. Словом, я вам хочу сказать, что отступить уже невозможно.

Ксения Петровна. А я не собираюсь отступить.

Дононов. Бывает, знаете ли... женское сердце... привязанность.

Ксения Петровна. Вы Шмыревых не знаете.

Дононов. А это кто такие?

Ксения Петровна. Мы... я... Мы миндальничать не станем. Мы не таких валяли! Мой дедушка говорил... Мы миндальничать не станем.

На пороге Суходолов.

Суходолов. Дононов, мы едем или нет?

Дононов. Едем, едем. Я готов.

Ксения Петровна. Дмитрий, ты как же?.. Видеть меня не хочешь? Вот посторонний человек, при нем прошу прощения. Прости меня.

Суходолов. И ты, и я, мы ведь давно знаем, что не любим друг друга. Но это разговор не для посторонних... хоть ты уже нашла все, что тебе нужно. Продолжайте свои дела, я выйду.

Донов. Почему я посторонний?! Я не понимаю. Мы с тобою коммунисты, Суходолов, ты этого не забывай.

Суходолов. За товарища по партии я способен отдать жизнь, но лично этот товарищ может быть мне чужд и совершенно безразличен.

Донов. Да брось ты эти тонкие материи... Думаешь, что только ты один на диалектику способен, а другие нет. Самая лучшая диалектика вам помириться. До каких пор можно говорить о любви? Любовь решает в определенном возрасте, а потом любовь не только ничего не решает, но даже мешает.

Суходолов (*помолчавши*). Беда не в том, Донов, что ты, неглупый по природе человек, говоришь глупости, беда в том, что ты их говоришь с удовольствием. (*Ушел.*)

Ксения Петровна. Вот он весь наружу. Умник! Нет, Афанасий Кузьмич, я назад заявления не возьму.

Донов. Вы, и только вы одна — хозяйка своих поступков. Я вам ничего не подсказывал. Это надо уточнить. До свиданья, Ксения Петровна, нам еще придется не раз встретиться! (*Ушел.*)

Ксения Петровна. Не хочет видеть... Не глаза, а камни. А какой смысл теперь об этом думать. Думать теперь надо об одном, чтобы он на коленках приполз в родную семью. И приползет.

КАРТИНА ПЯТАЯ

В кабинете Павла Михайловича в обкоме.

Павел Михайлович, Суходолов.

Павел Михайлович (*после тягостного молчания. Протяжно*). Так... значит, говорить не будешь! Не хочешь. Неприятно?

Суходолов. Больше чем неприятно.

Павел Михайлович. А мне приятно?

Суходолов. Я не знаю.

Павел Михайлович (*до крика*). Ну, так знай! Дни и ночи ко мне ходит твой Афанасий Кузьмич, чтоб он трижды окошел! Твой, никуда не денешься, сам ты его привез к нам. Он говорит в присутствии членов обкома, что объективно получается так, будто я покрываю неприглядные похождения товарища Суходолова. Как ты думаешь, мне это приятно? Приятно мне, я тебя спрашиваю, разбираться в твоих семейных дрызгах, читать и выслушивать наипротивнейшие заявления твоей супруги? Ты позволяешь себе какие-то глупейшие, мальчишеские

выходки, домой не ходишь, заводишь в городе роман, даешь пищу сплетне, выводишь меня из терпения, ты сам во всем виноват, у тебя возникает дело скандального порядка, и ты же еще со мною говорить не желаешь по этому делу! Подумай трезво, не сумасшедший ли ты человек, что ты делаешь?

Суходолов. Я думал.

Павел Михайлович. Плохо думал.

Суходолов. Павел Михайлович, родной, пойми ты меня... если все существо мое протестует, содрогается!.. Нет, на эту тему не могу говорить ни с кем.

Павел Михайлович. Удивительно! Непонятно!

Суходолов. Есть в жизни человека вещи, которые бывают выше и сложнее наших обыкновенных понятий!..

Павел Михайлович. Что выше?.. Что сложнее?

Суходолов. Ничего.

Павел Михайлович. Накуролесим, напортим жизнь самим себе, а потом начинаются сложности. Слушай, брат, в последний раз предлагаю — сядь и напиши объяснение.

Суходолов. Ничего писать не буду.

Павел Михайлович. Ну, смотри... тогда не плачь.

Суходолов. У одного русского классика сказано, что даже отцу с сыном, а не только нам с тобою нельзя говорить о своих отношениях с женщиной, пусть эти отношения будут самыми чистейшими. Почему мы не можем следовать законам, установленным великою моралью?

Павел Михайлович. У кого это сказано?

Суходолов. У Достоевского.

Павел Михайлович. А ты обойди эти отношения, не трогай женщины. Как ты не понимаешь! Ведь твое нежелание объясниться будет истолковано как неуважение, как вызов, как вещь немыслимая, небывалая. Оно же обернется против тебя новым тяжелым обвинением. С кем ты отказываешься говорить?! Ты с партией отказываешься говорить.

Суходолов. Но ты... ты человек с душою, с разумом, пойми, что опять-таки есть вещи, которые нельзя высказать партии. Было бы политическое дело, тогда руби мне голову... Да что политика! Я партии всю душу отдаю, жизнь отдам... Но могут же быть у человека какие-то интимные стороны жизни, в которые он не станет посвящать никого. Просто не обязан, нет такого правила.

Павел Михайлович. Может быть... случаются вещи неожиданные, тонкие, деликатные... Ну, а на поверхности что? На поверхности непривлекательная история... двадцать лет семейной жизни... Извини, больше душу тянуть не буду. Но молчание — плохой способ защиты.

Суходолов. Тут надо бы не защищаться, а бороться... драться.

Павел Михайлович. Вот это я готов приветствовать!

Суходолов. А ежели с тобой придется драться, тогда как?

Павел Михайлович. Дерись.

Суходолов. Боюсь, что синяки мне одному достанутся.

Павел Михайлович. А я считал тебя смелым человеком.

Суходолов. Значит, я несмелый человек.

Павел Михайлович. Не верю.

Суходолов. Как угодно.

Павел Михайлович. Имелась возможность разделить вас с Дононовым по разным стройкам, но теперь нельзя. Посмотрим, чем кончится эта история. Повторяю, тягостная история.

Суходолов. А ты устраняешься?

Павел Михайлович. Рад бы — не могу. Так что не обижайся, голубчик, если придется проголосовать за крутые меры.

Суходолов. А что я в партии? Миллионная какая-то частица. Молекула. Разве бывает виновато огромное огненное вещество, если оно обидит одну молекулу?

Павел Михайлович. Суходолов, брось. Параллель крайне неудачная.

Суходолов. Голосуйте за крутые меры. Обидите, даже оскорбите — я жаловаться никуда не пойду.

Павел Михайлович. Такой ты у нас гордый?

Суходолов. Да, гордый. И в данном случае в особенности. *(Ушел.)*

Павел Михайлович. Сколько я присматриваюсь к этому человеку, и он все больше мне нравится. Есть в нем что-то кировское, неувыдаемое. И нелегкий. А что есть легкость в человеке? Черт ее знает, что это такое. А может быть, и ему нелегко? Может быть, он и сам разобратся не может, что с ним происходит? А мы его к ответу и наказывать... Я ненавижу милосердие, прекраснодушие, но как легко напрашивается кара. А сколько в каждой человеческой ошибке, драме, даже преступлении скрыто чего-то важного, чего не знает кара. Но по привычке тянет поскорее наказать. А привычка развивает шаблон и лень в отношении к людям. Нет, сам разберусь в этом деле. Нечего тянуть, нельзя мучить человека. Придется пригласить Мулину Клару. *(Набирает номер телефона.)* Мулина Клара? Узнали? Вот и хорошо. Зайдите ко мне. Письма?.. Ах то, о чем мне сообщали... тоже захватите. *(Положил трубку.)* О трагедии, трагедии! Правильно говорил Лев Николаевич Толстой: были они и будут эти трагедии, несмотря ни на какие потрясения человечества и революционные перевороты. Неужели придется читать его письма? Надо. Другие прочтут и тоже еще копий наснимают. Надо.

Входит Клара.

К л а р а. Здравствуйте, Павел Михайлович... вот я и пришла.

П а в е л М и х а й л о в и ч. Вот вы и пришли.

Пауза.

Что, Суходолов бывает в гостях у той девушки, о которой вы мне рассказывали?

К л а р а. Но вы тогда на концерте не стали меня слушать.

П а в е л М и х а й л о в и ч. Слушать — слушал, а писем не взял. Теперь и письма эти могут потребоваться.

К л а р а. Вот видите... Значит, я не зря старалась?

П а в е л М и х а й л о в и ч. Обстоятельства в данном случае переменились, но мой взгляд на это ни при каких обстоятельствах не переменится. Но раз уж вы так хорошо все знаете про Суходолова с этой стороны, то сообщите нам, навещает он или не навещает ту девушку, которой пишет.

К л а р а. Нет, не навещает.

П а в е л М и х а й л о в и ч. Точно знаете?

К л а р а. Точно.

П а в е л М и х а й л о в и ч. Странно, странно... то, что вы мне говорите, имеет громадное, решающее значение в деле Суходолова, потому что при помощи анонимок, заявлений и досужих пересудов он обвиняется в серьезных аморальных поступках.

К л а р а. Я следила. Они не встречаются. Я хотела удостовериться, врет мне моя Майя или правду говорит. Оказывается, говорит правду.

П а в е л М и х а й л о в и ч. Она ваша подруга?

К л а р а. Да, мы очень любим друг друга.

П а в е л М и х а й л о в и ч. И она вам все рассказывает про Суходолова?

К л а р а. Видите ли в чем дело, Павел Михайлович, конкретно имени его она никогда не называет и говорит о некоем дорогом для нее и очень благородном человеке, но я отлично понимаю, что это и есть товарищ Суходолов.

П а в е л М и х а й л о в и ч. Значит, она его любит... Как вы, Клара, думаете?

К л а р а. Скрытная она... Но, по-моему, да.

П а в е л М и х а й л о в и ч. Станные, однако, у вас отношения... как ее зовут?

К л а р а. Майя. Она из Ленинграда. А я — вы меня простите, за что вы меня так крепко осадили на концерте? Мною руководят одни добрые чувства к этой девушке. Она растущий молодой работник, и вдруг в Ленинградский университет придет порочащий ее материал.

П а в е л М и х а й л о в и ч. Послушайте, Клара, а что он пишет этой Майе?

К л а р а. Копии писем со мной. Пожалуйста, прочтите.

П а в е л М и х а й л о в и ч. Вы сняли копии?

К л а р а. Ну да... а что? Вот же они потребовались.

П а в е л М и х а й л о в и ч. Ох, Суходолов, Суходолов... Ну, давайте! *(Долгая пауза. Потом начинает читать вслух.)* «...Вы иногда, в особенности на реке, слышитесь мне как песня, но когда я начинаю прислушиваться, песня исчезает и ничего нет. Вот видите, милая моя, как поздно и уже ненужно пришло ко мне то, что называют люди поэзией их жизни. И все же я без горечи и вздохов подтруниваю над собой. А когда окончательно уйду с головой в работу на своем строительстве, вы опять аукнетесь обрывком мелодичного мотива, и я часто от этого ощущаю на сердце нежность и радость. Вот почему в прошлом письме я назвал вас своей песней». *(Кларе.)* Вы это читали?

К л а р а. А как же!

П а в е л М и х а й л о в и ч. И вы находите это уродливым?

К л а р а. А вы не находите?

П а в е л М и х а й л о в и ч. Что я нахожу, я сейчас скажу. Мне хочется понять, что вы находите?

К л а р а. Да, это уродливо! Суходолов сам говорит, что поздно и ненужно... Говорит и делает. Где же у него партийная принципиальность? Какой урок он может преподнести нашей молодежи? Это гниль и больше ничего.

П а в е л М и х а й л о в и ч. Вы прошлым летом, случайно, в Москве не были?

К л а р а. Была.

П а в е л М и х а й л о в и ч. Тогда вы, может быть, были на выставке картин Дрезденской галереи?

К л а р а. Была, была...

П а в е л М и х а й л о в и ч. И, конечно, видели там Сикстинскую мадонну кисти Рафаэля.

К л а р а. Сикстинку? Как же... потрясающая вещь.

П а в е л М и х а й л о в и ч. И вы не нашли, что сие уродливо?

К л а р а. Не понимаю — что?

П а в е л М и х а й л о в и ч. Показывать мать божию с младенцем Христом на руках... Вы не находите, что эта картина является пропагандой религиозного дурмана.

К л а р а. Странные сравнения... Я не такая уж... Это великое искусство, поэзия и так далее.

П а в е л М и х а й л о в и ч. Так... значит, понимаете. Отлично. А Суходолову должно быть чуждо самое малое прикосновение к поэзии? Мы, коммунисты, и тем более в почтенном возрасте, да еще занимающие ответственные посты, должны быть лишены всякой поэзии, трепета душевного, песни?.. Вы, молодая женщина, распространяющая у нас культурные знания, в этом маленьком празднике человеческого чувства увидели только материал для привлечения коммуниста к ответственности! Го-

ворю вам это с большой скорбью. Но вы можете со мной не согласиться. С письмами вы тоже имеете право поступить, как вам покажется нужным...

К л а р а. Непонятно... Вот вы меня упрекаете, а директивы дать не можете.

П а в е л М и х а й л о в и ч. Не могу. Тут не прикажешь. Вот нас двое членов партии, а взгляды у нас на этот случай разные. Мы вырабатываем новую коммунистическую мораль, и дело это длительное, мучительное, даже трагическое.

К л а р а. А разве мы еще не выработали нашу мораль? Впервые слышу. Я думала, что тут все ясно.

П а в е л М и х а й л о в и ч. Не знаю, как вам, а мне не ясно.

К л а р а. Поневоле потеряешься... Как же дальше жить?

П а в е л М и х а й л о в и ч. Увы, дать директивы не могу. Можно пригласить ко мне вашу подругу?

К л а р а. Хоть сейчас.

П а в е л М и х а й л о в и ч. Пускай сейчас. До свиданья.

К л а р а. А итог? Я не знаю же действительно, как мне теперь думать.

П а в е л М и х а й л о в и ч. Думать — это одно дело, а жить чужими мыслями — другое. Попробуйте подумать самостоятельно. Например, программа нашей партии дает огромный простор для самостоятельного мышления... а сколько дает Ленин...

К л а р а. Нет, как хотите, а я не согласна. Получается полная неразбериха. По каждому поводу индивидуально думать, индивидуально принимать решения — прежде всего с ума сойдешь. Без установок жить нельзя.

П а в е л М и х а й л о в и ч. И насчет чувств вам нужны установки?

К л а р а. А что? Конечно. Чувства тоже укладываются в определенные рамки. Павел Михайлович, я преклоняюсь перед вашим авторитетом, но вы меня путаете. После этого разговора я боюсь, что окончательно спячу. Никогда в жизни так не расстраивалась. *(Ушла.)*

П а в е л М и х а й л о в и ч. Как грустно... Очень грустно! *(Зовет секретаря.)* Скрипач не появлялся?

С е к р е т а р ь. Здесь. Ждет.

П а в е л М и х а й л о в и ч. Просите.

Входит Армандо.

А р м а н д о. Извините за воспаленный вид. Болен. Здравия желаю. Можно сесть?

П а в е л М и х а й л о в и ч. Долго же вы гостите в наших краях.

А р м а н д о. Влип в неприятную историю, теряю лучшего друга, потому и добивался свидания с вами.

Павел Михайлович. Чем могу помочь?

Армандо. Мне ничем не поможешь. У меня единственная просьба, касающаяся одного Суходолова. Если это возможно, помогите ему. Я вас прошу поверить, что ничего позорного он не совершил и, по-моему, совершить не может. Вам должно казаться странным мое посещение, просьба, но в этой проклятой истории я больше всех страдаю. Дело в том, что Митя мне открылся, а я его предал.

Павел Михайлович. Как? Кому?

Армандо. Жене.

Павел Михайлович (*вырвалось*). Эх, вы...

Армандо. Это так стыдно... мелко. Сболтнул... а фактически оклеветал, потому что в глазах такой женщины, как Ксения Петровна, — это измена и связь, а в глазах каждого мыслящего человека — естественный порыв. Теперь сижу в гостинице, пью и не знаю, когда это кончится.

Павел Михайлович. Может быть, вам надо помочь уехать?

Армандо. Только не материально. У меня есть... Мне хотелось снять с себя моральную тяжесть. Я решил высказаться перед вами.

Павел Михайлович. И хорошо, что высказались.

Армандо. Я могу письменно...

Павел Михайлович. Не надо. Мне и так поверят.

Армандо. Можно спокойно уезжать?

Павел Михайлович. В конце концов его никто казнить не собирается.

Армандо. Но я-то знаю, как ему тяжело, если его мотают... а он самолюбивый, гордый.

Павел Михайлович. Урок. Дружок не того... неважный.

Армандо. Ох, не добивайте. Я человек искусства, должен быть далек низменным рефлексам... но оклеветал ради низменных целей. И виновато нечто, лежащее вне нас.

Павел Михайлович. Почему вне нас? Все в нас.

Армандо. О нет, нет... Прощайте. Я теперь уеду с облегченным настроением. (*Ушел.*)

Входит секретарь.

Секретарь. К вам пришла Майя.

Павел Михайлович. Какая Майя? Ах, она... Просите.

Секретарь ушел.

Но о чем же я буду с нею говорить? Вот история!

Вошла Майя,

Садитесь.

Майя. Благодарю.

Павел Михайлович. Здравствуйте.

М а й я. От волнения забыла... Здравствуйте, Павел Михайлович.

П а в е л М и х а й л о в и ч. Волнение? Отчего же вам волноваться?

М а й я. Мое скромное пребывание... и вдруг вызывают наверх.

П а в е л М и х а й л о в и ч. Наверх... итак... нет, вы блокнотик уберите, я никаких указаний вам давать не собираюсь.

М а й я. Не собираетесь!.. А как же? Но простите. Хорошо.

П а в е л М и х а й л о в и ч. Вы из Ленинграда?

М а й я. Да.

П а в е л М и х а й л о в и ч. Мы — земляки. Я тоже кончил Ленинградский университет. Вот... мне неясно, чем вы у нас занимаетесь.

М а й я. Мне и самой не ясно.

П а в е л М и х а й л о в и ч. У вас командировка?

М а й я. Я должна научно определить лицо советского читателя.

П а в е л М и х а й л о в и ч. Должно быть, страшно интересно.

М а й я. Нет, это страшно скучно. Но, может быть, оттого, что я не люблю свою работу.

П а в е л М и х а й л о в и ч. Вон как? Честно признаетесь.

М а й я. Что делать? Не люблю филологию. Могла солгать: «Я в восторге от советского читателя». А я не знаю его лица. И никто не знает. Сколько читателей, столько лиц. Я никак не могу их причесать. Не даются.

П а в е л М и х а й л о в и ч (*смеется*). Не даются. Вот какие нахальные люди! Человек в командировку приехал их причесывать, а они не хотят. А, говоря по делу, что же вы любите?

М а й я. Танцы.

П а в е л М и х а й л о в и ч. Что-о?!

М а й я (*испуганно*). Вы не сердитесь, я говорю — танцы люблю.

П а в е л М и х а й л о в и ч. Вот наказание!

М а й я. Почему?

П а в е л М и х а й л о в и ч. У меня дочурка дни и ночи прыгает.

М а й я. И не мешайте. Мне помешали и сделали несчастной.

П а в е л М и х а й л о в и ч. Но танцы все-таки не дело.

М а й я. Сама природа научила человека прежде всего выразиться в танце. Еще до того, как человек научился говорить, он умел плясать. Я способна бесконечно говорить на эту тему. Вы не любите танцевать?

П а в е л М и х а й л о в и ч. Станный вопрос вы задаете партийному работнику.

М а й я. А партийную работу вы любите?

Павел Михайлович. Люблю, представьте себе.

Майя. За что ж вы сердитесь? Я серьезно говорю.

Павел Михайлович. А я серьезно отвечаю. Меня великий Киров учил любить партийную работу и послал инструктором в райком Васильевского острова... кстати, я туда пошел без особой охоты.

Майя. Но партийная работа — это не профессия.

Павел Михайлович. Для Ленина была профессией.

Майя. Простите, это, должно быть, стыдно, что я сказала. Ленин... Вы его помните, видели?

Павел Михайлович. Нет.

Майя. Вы любили Сергея Мироновича?

Павел Михайлович. Знали бы вы, как он любил нас... людей.

Майя. Вот я пришла... и удивительно... так свободно разговариваю. Странно, я совсем вас не боюсь.

Павел Михайлович. Да отчего же вам меня бояться?

Майя. Но должен быть... этот... трепет.

Павел Михайлович. А у вас его нету?

Майя. Ни капли. И все-таки вы меня поразили!

Павел Михайлович. Не тем ли уж, что сказал, что партийную работу люблю?

Майя. Не тем, что сказали, а тем, что вы ее действительно любите.

Павел Михайлович. Ого! Как же вы это узнали?

Майя. А у вас глаза не пустые. Иной раз человек говорит тебе о партии, а в глазах одна беспартийность.

Павел Михайлович (*юмор*). А разве в глазах беспартийность бывает?

Майя. Бывает.

Павел Михайлович. Какая же она?

Майя. Унылая.

Павел Михайлович. Э-э, вот и неточно. А ежели партийный работник от природы унылый... или, скажем, печенка болит... то что же, бить его, пока веселым не сделается?

Майя. Беспартийность — это полнейшее равнодушие ко всему на свете, кроме собственной персоны. А оно всегда в глазах.

Павел Михайлович. Это, пожалуй, верно. Когда в Ленинград уезжаете?

Майя. Должно быть, скоро.

Павел Михайлович. Я к вам дочурку пришлю.

Майя. Сколько лет ей?

Павел Михайлович. Шестнадцатый.

Майя. Поладим.

Павел Михайлович. Да уж... видно. (*Протянул ей руку.*)

Майя. До свиданья. Мне таким вас и описывали.

Павел Михайлович. Кто? Не секрет?

Майя. Моя подруга — Клара. Прекрасная девушка... хоть и со странностями. *(Ушла.)*

Павел Михайлович. Станный образ. Очень уж непосредственна, но не простодушна, не наивна. Она умнее своей непосредственности... Светлое впечатление остается. А ведь светлый человек должен быть непосредственным, ясным, умным. Понимаю Суходолова: «...как песня»! Значит, у него еще сохранился юный светлый дух. Но как я мог поддаться этим двум диким бабам! «Преступление, разврат». Вот тебе и пережитки... да какие! Дононов тоже... а что Дононов?.. мещанин. *(Берет со стола объемистую папку.)* Дело... персональное... Дело, возбуждающее песню. В архив. В архив.

КАРТИНА ШЕСТАЯ

В номере старинной гостиницы. Днем. Дождливо.

Армандо, официант.

Армандо. Шура, я тебя умоляю, один последний графин.

Официант. А я вас прошу о другом,— не звоните, не поможет.

Армандо. Ты же сам отнес письмо товарищу Суходолову. Суходолов заплатит.

Официант. Кто? Он? Никогда. И не ждите. Не придет. Письма в руки брать не хотел.

Армандо. Однако спросил, как я себя чувствую.

Официант. Ничего подобного. Одно слово сказал: «Пьет?» Я ответил: «Да». Хватит, ничего не дам.

Армандо. Дашь! *(Достал скрипку, открыл футляр.)*
В случае полной неудачи ее загоним. Тащи.

Официант. Ох, не стоит.

Армандо. Новое дело!

Официант. Это уж полный упадок. По-моему, стыдно.

Армандо. Не твоё дело. Помолчи.

Официант. Лучше думайте, как выехать.

Армандо. Умоляю, друг!.. Саша... Суходолов заплатит.

Официант. Не придет он.

Армандо. Ты не знаешь, какой он широкий человек.

Официант. Письма в руки брать не хотел.

Армандо. А я в него верю. Непременно придет... потому что сердце у него та же скрипка. Придет. Видишь? Смотри. Он сам.

Входит Суходолов. Официант уходит.

Шура!..

Официант. Будет исполнено. *(Ушел.)*

Армандо. Митя, ты пришел меня убить?

Суходолов. Что тут убивать! Тут все давно убито.

Армандо (*покорно*). Не все... не говори, что все.
Суходолов (*ирония, упрек*). Творческая интеллигенция!..

Армандо. Митя... не до смерти.

Суходолов. Пьешь?

Армандо. Заканчиваю.

Суходолов. Зачем звал?

Армандо. Я был в обкоме.

Суходолов. Это для чего?!

Армандо. Я им все рассказал.

Суходолов. А я тебя просил?! На черта это нужно?

Армандо. Есть же во мне что-то... О боже, боже, сам не знаю, как я выболтал!

Суходолов. Положим, знаешь. Но до сих пор я не любил так называемых сильных выражений, но вот, когда коснулся... Ты действительно мне в душу наплевал! Ты... Как я уважал вашего брата! Жрец искусства! Интеллигентный человек. Кто-то пальцем поманил... дешево продаешься.

Армандо. Но Ксения Петровна... она меня обвела.

Суходолов. Значит, легко даешься.

Армандо. Ты уверен, что я тебя угробил сознательно?

Суходолов. Я считаю, что червяк... дождевой... и тот ползает со смыслом. А ты Петрарку наизусть читаешь.

Армандо. Но мне сам Павел Михайлович дал понять, что не так уж страшно.

Суходолов. А ты полез к нему выручать друга. Идиот! Мне страшно за мое сердце, которое надо забить семью печатями и никому не открывать. А ты думаешь, что я боюсь последствий. Ничего я не боюсь. Но какое горе ты мне сделал! Какое горе!

Армандо. Понимаю.

Вошел официант с подносом. Длительное молчание, пока Армандо пьет.

А ты как хотел бы?! Ты хотел бы без мучений?! (*Официанту.*)

Александр, скажи товарищу начальнику, через какие мучения достается мне (*указал на графин*) она... А что она такое? Водка!

Официант ушел.

Самое отвратительное вещество в мире и самое доступное каждому, кто его пожелает. А ты хочешь без горя. Ты идилии захотел?! Я поступил с тобою очень подло, но неужели ты, серьезный человек, не понимаешь, что твое увлечение тысячу раз двусмысленно? В нем заложено столько же счастья, сколько и самого горького несчастья. Тяжело тебе, Митя? Вот и прекрасно. Мне тебя не жаль. И знаешь, почему не жаль? Ты еще недавно страшно презирал душевные тонкости такого рода, а теперь, когда оказалось, что и таким железобетонным товарищам они доступны, ты опять-таки был уверен, что твои пере-

живания ровным счетом ничего не стоят. Так вот пойми, уважаемый Дмитрий Алексеевич, что на земле бывают не только громадные стройки, но и громадные чувства... Громадные и страшно дорогие.

Суходолов. А ты чего хотел бы? Я ведь знаю, как вы думаете. Вам одним доступны эти громадные чувства, а нам — нет.

Армандо. Кому — вам? Кому — нам?

Суходолов. Мне думалось — художник, поэт... Понимает. Чем ты отличаешься от Ксении Петровны? Но ей простиительно — жена. А ты... слов мало!..

Армандо. Если ты пришел меня выручить, то не надо. Можешь меня покинуть.

Суходолов. А ты ждал, что водку с тобой пить стану? *(Звонит.)*

Армандо. Лауры не было, Дмитрий Алексеевич. Петрарка ее выдумал. Слышишь? Это символ, огромный, светлый.

Суходолов. Без тебя знаю.

Армандо. Нет. Без меня ты этого не знал бы.

Суходолов. Крайне признателен.

Армандо. А ты как? Женишься на своей Лауре. Старая песня, черт ее подери. Женись. Желаю счастья. Не хочу думать, будто обязательно все пойдет, как с первой женой. Вначале под вуалью молодости мы еще не видим пошлого ума и страшного мешанства... а потом вдруг, как тянут тебя по голове какой-нибудь новостью, ты и содрогнешься: «Люди, милые, что я наделал!» Эта Лаура ничем не отличается от той моей спутницы, от которой я так восторженно бежал к этой Лауре. Не хочу думать, говорю, но ты об этом помни! И женись. Желаю счастья!

Суходолов. Замолчи... Пожалуйста, прошу.

Армандо. Не трону больше, я о другом... Милое воспоминание про самого себя. Армандо мог бы сделаться великим музыкантом, но пришла она. *(Указал на водку.)* А она пришла вслед за моей Лаурой. Может быть, твой выбор выше и достойнее. Я ее не знаю.

Входит официант.

Суходолов. Много должен музыкант? *(Достал деньги, положил на стол.)* Этого хватит?

Официант утвердительно кивает.

Купите ему билет на первый проходящий поезд и отправьте. Он болен. *(Ушел.)*

Официант. Ну, что за человек?! А ведь какой солидный! Но недоволен вами. Очень недоволен.

Армандо. Уйди...

Тот уходит. Армандо со слезами на глазах берет скрипку.

Цела ты... со мною ты... О моя муза! О моя муза!

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

КАРТИНА СЕДЬМАЯ

В палатке Суходолова на строительстве, днем.

Павел Михайлович и Дононов.

Павел Михайлович (*говорит по телефону*). Ты не задерживайся, Дмитрий Алексеевич, спешу... новости большие. (*Положил трубку.*)

Дононов. Ох, новости, новости... а тут еще жара невыносимая. И вообще трудная досталась стройка. Но прошу... рассказывайте. Кого снимают? Не томите.

Павел Михайлович. Никого.

Дононов. Вы шутите! Кого-то непременно должны снять. Без жертв нельзя.

Павел Михайлович. И в жертву вы, конечно, себя не готовили. А?.. Кого-нибудь другого... Суходолова, меня...

Дононов. Вас?! Зачем же вас?

Павел Михайлович. Значит, Суходолова! Вот оно, тайное желание!

Дононов. Извините, Павел Михайлович, я ничего не сказал.

Павел Михайлович. Черта мне в том, что не сказал. Тем только и жил. Как пропустить такой прекрасный случай, когда можно человека заклевать!

Дононов. Павел Михайлович, я не клевал.

Павел Михайлович. А заявление жены... кто раздул?

Дононов. Простите — был обязан.

Павел Михайлович. Был обязан разобраться, а не варганить грязную историю.

Дононов. Павел Михайлович, я все же прошу... Я не варганил.

Павел Михайлович. Будет, Афанасий Кузьмич.

Дононов. Пересолил... но по личному убеждению, поскольку живу с собственной женой...

Павел Михайлович. Подите вы с вашими мещанскими добродетелями!

Дононов. Значит, крепкая семья — мещанство? Интересно. Далеко же мы зайдем с подобными суждениями.

Павел Михайлович. Не семья мещанство, поймите, уважаемый товарищ, а ваши семейные добродетели, возведенные в культ общества. Вот что мещанство. Так мы дойдем до осуждения женщин за прелюбодеяние, за незаконнорожденных детей.

Дононов. Ну, если уж на то пошло, то я сам читал его письма к своему предмету... чего он там ей не пишет, жуть! И песня и еще нечто подобное. А дома жена сидит. Я считаю

так, что если человек в личном поведении двурушничает, то он и партию способен обмануть.

Павел Михайлович. Предать... сделаться врагом народа.

Дононов. Я этого не говорю.

Павел Михайлович. Нет, говорите.

Дононов. Ну и пусть... есть логика поступков... одно из другого неизбежно вытекает.

Павел Михайлович. Вот, вот... по этой вашей логике мир состоит из двух антагонистических цветов — черного и белого. Все прочее одно двурушничество, предательство и все что угодно. Иного положения вы ни понять, ни представить себе не можете?

Дононов. Пытаюсь... не выходит.

Павел Михайлович. А есть и третье положение... потом пятое, потом десятое. Есть множество положений, которые начисто опровергают наши с вами закоренелые догмы. По догме Суходолов — бесчестный человек, по жизни — порядочный, святой...

Дононов. Не смешите. Нашли святого!

Павел Михайлович. А что он сделал?

Дононов. Прочтите письма!.. Вы их не читали.

Павел Михайлович. Читал.

Дононов. Вон как?!

Павел Михайлович. Да, так... читал. И утверждаю, что девушка эта для него — святое, драгоценное. А вы его таскать по допросам, прорабатывать, чуть ли не из партии исключать. Очнитесь.

Дононов. Не знаю... я привык определенно рассуждать.

Павел Михайлович. Из-за этой определенности часто людей в тюрьму сажали. А теперь сил нет разобраться, кого за дело, кого без дела.

Дононов. Резкий вы вернулись из Москвы. Не жди добра. Скажите прямо, кого снимают? Меня, что ли?

Павел Михайлович. Говорю вам: Суходолов остается на прежней должности, а вас назначают начальником строительства Кедрового стана.

Дононов. А партторгом кто же? Будет новый человек?

Павел Михайлович. Да, новый... я.

Дононов. Вот так новости! Сразу не хватишь. Что особенного в этом Суходолове?! И вот поди ж ты... мною жертвуют, а его не тронули. Рука? Рука. А где? Не знаю.

Павел Михайлович. Проникновенно рассуждаете, Афанасий Кузьмич.

Дононов. Я рассуждаю по-житейски, без колера. Не отнимая у Суходолова его положительных качеств, я все-таки скажу: видали мы и таких. Били его? Били. Случалось,

что висел на волоске? Случалось. Я ведь очень внимательно вчитывался в его личное дело... поразительно, как он уцелел!

Павел Михайлович. А мне можно сказать? И тоже без колера.

Дононов. Пожалуйста, говорите.

Павел Михайлович. Самое странное для вас, что уцелел. Как я вас понимаю! Не любите вы Суходолова.

Дононов. Но что же я такое? Человеконенавистник, может быть, по-вашему?

Павел Михайлович. Вы развивались в определенном направлении... односторонне.

Дононов. В каком же?

Павел Михайлович. В направлении недоверия к людям, нетерпимости, человекобоязни. А это и есть ограниченность и односторонность.

Дононов. Да, конечно, воспитание у меня еще то... резкая была школа. А у вас какая школа, Павел Михайлович?

Павел Михайлович. Коммунистическая... ленинская, как у большинства людей моего поколения.

Дононов. С Кировым работали, вам посчастливилось... Эх, дорогой мой, да разве я ничего не понимаю?.. Ленинские нормы, принципы... как это может быть чуждо каждому настоящему коммунисту? Но надо время.

Павел Михайлович. Я знаю. Человек вы еще молодой, у вас есть огромное положительное качество — преданность партии. Меня не это беспокоит,

Дононов. Что же... говорите.

Павел Михайлович. Боюсь, обидитесь.

Дононов. Ну, что там... мы же серьезно говорим.

Павел Михайлович. Вы — мещанин, Дононов. Вот в чем ужас.

Дононов. Простите, что смеюсь. Смешно! Чепуха, Павел Михайлович! И несколько не обидно. Это ведь Суходолов вас настрополил. Не верьте. У него в голове вечные завихрения, фантазии... а я действительно человек осторожный, с определенным чувством меры, люблю порядок. Вот вы скептически улыбаетесь... но, извините, я не дошел бы до такой глупости, как письма какой-то паршивой девчонке... тем более что между ними ничего не было. Срам! Сто раз скажу, срам!

Павел Михайлович. Самое ужасное, Афанасий Кузьмич, что вы не умеете возвышать жизнь. Вы, наверное, часто повторяете, что жизнь прекрасна. А что оно такое — это прекрасное? По моему разумению, самое прекрасное в жизни есть человек... и не всякий человек... Он может быть отвратите-

лен и даже недостойн жить среди людей... но, когда я встречаю на своем пути человека, нашего современного советского человека, наделенного огромной душевной красотой, мне делается еще радостнее жить. Ибо человек, свободный от капитализма, новый, цельный, да к тому же наделенный душевной красотой, для меня есть какое-то совершенство, радость. Я в нем вижу будущее мира, коммунизм. А коммунизм — не в камнях, он в людях.

Вошел Суходолов,

Суходолов. Рад тебе, Павел Михайлович! А с тобою, Дононов, кажется, еще не виделись? Здорово.

Дононов. Даже не помнишь, виделся или нет!

Суходолов. Да ведь ты больше с моей женой общаешься.

Дононов. Поневоле приходится, раз ты с нею не общаешься.

Суходолов. Может быть, думаешь жениться... даже и тебе не рекомендую.

Дононов. С одной женой живу... с собственной.

Суходолов. До чего похоже! Моя жена тоже на меня смотрит как на свою собственность... Вы что?.. Из одной деревни?

Дононов. А ты кичишься своим пролетарским происхождением.

Суходолов. Кичусь. Лаптем ши не хлебал.

Павел Михайлович. Довольно! Стыдно должно быть! Большие люди... (Помолчал.) Я уполномочен вам объявить решение, касающееся каждого из вас. Тебе, Дмитрий Алексеевич, ставится на вид то, что ты занял неправильную линию в отношении партийного руководства...

Суходолов. Мне?!

Павел Михайлович. Тебе! Но и руководство решено укрепить партторгом ЦК. Товарищ Дононов назначен начальником строительства Кедрового стана.

Дононов. Радуйся и веселись!

Суходолов. А кто — партторг ЦК? Еще не назначен?

Павел Михайлович. Нет, назначен. Я.

Суходолов (Дононову). А ты не рад?

Дононов. Когда официально будем оформляться?

Павел Михайлович. Время не терпит, хоть сегодня.

Дононов. Слушаюсь. Теперь, товарищ Суходолов, твои личные дела будут меня меньше всего касаться. Можешь спать спокойно. (Ушел.)

Суходолов. Какой тяжелый человек!

Павел Михайлович. Его несчастье в том, что он сам понять не может, что в нем настоящее, что временное. По

закону вещей, он должен в этом разобраться. Как думаешь, на новой должности справится?

Суходолов. Давно не было у меня такого радостного настроения. Вот ведь... Пойми меня... здесь на столе, вон там перед тобою, лежат проекты наших ученых... В этих проектах масса риска и страшная заманчивость... Хочется подарить народу миллионы неожиданной экономии... Реальные миллионы... Но наши отношения с этим Дононовым стали такими, что и по большим вопросам стало говорить невыносимо. А ведь он — дельный хозяйственник и на Кедровом себя покажет.

Павел Михайлович. Приезжай нынче вечером ко мне домой.

Суходолов. Нынче не могу. Завтра можно?

Павел Михайлович. Занят... Чем?.. Впрочем, не спрашиваю.

Суходолов. Как мое дело, прекратилось?

Павел Михайлович. Мы в обкоме посоветовались и решили прекратить. Большинство решило.

Суходолов. А Дононов свои обвинения не снял?

Павел Михайлович. Не снял и никогда не снимет. Тут убежденность. Но твои противники тебя же и реабилитировали.

Суходолов. Противники... Они противники всего, что не укладывается в их птичьих представлениях. Стоили они мне крови.

Павел Михайлович. Новый мир рождается в муках. Я повторяю эту простую истину к тому, что он рождается. Но с мещанами воевать надо. Они даже коммунизм хотят видеть как мещанский рай. Покой, упитанность и ничегонедуманье.

Суходолов. А теперь, когда нет официальной власти, когда ты... словом, теперь, а не тогда, когда ты на меня кричал... я признаю тебе в том, чего ни в какой протокол не запишешь. Я действительно люблю одну девушку, которая моложе меня лет на двадцать пять.

Павел Михайлович. Если пошло у нас откровенно, то скажи серьезно, как определить твою любовь? Что с тобой случилось, Дмитрий Алексеевич?

Суходолов. Сам не знаю. Да и любовь ли это в распространенном смысле, если серьезно говорить? Другое что-то... может быть, одна мечта.

Павел Михайлович. Мечта... Понятно. Это красиво, благородно... Но о чем мечта?

Суходолов. Как о чем? Ни о чем.

Павел Михайлович. Так не бывает. Мечта есть высшее стремление души к чему-то, ей, душе, недостающему. К чему?

Суходолов. Я не знаю. Хочу поймать, конкретизировать и не умею.

Павел Михайлович. Потребность подлинной любви, если ты ее не знал?

Суходолов. Наверно... да. Скорей всего.

Павел Михайлович. Может быть и так, что тебе не хватало в жизни проникновенной женской дружбы.

Суходолов. Да, да, очень не хватало.

Павел Михайлович. Бывают среди нас неисправимые романтики. Ты не из их числа?

Суходолов. Есть и этот грех.

Павел Михайлович. А то случается и так: было у нас что-то дорогое в молодости и не состоялось, кануло бесследно, а потом оно и воскресилось в каком-то другом человеке.

Суходолов. Кануло бесследно и вернулось... тоже верно.

Павел Михайлович. Но что же, наконец?

Суходолов. Все это вместе, может быть?

Павел Михайлович. Тогда у тебя громадная любовь.

Суходолов. Странные беседы мы с тобой ведем в служебном кабинете. Не находишь?

Павел Михайлович. А ты за окно глянь... бесконечный человеческий поток. Ты думаешь, все они ничего подобного не переживают? Переживают так или иначе и бесконечно. Нет, Суходолов, то, о чем мы говорим сейчас с тобой, дело очень серьезное, но тут никогда до конца не договоришься. Одно я вижу — тебе очень трудно.

Суходолов. Дай твою руку, Павел Михайлович. Благодарю. Это все трудно и громадно, и хватит одной лишь царапины, чтобы все уничтожить. Стоит мне только подумать, что девушка эта может засмотреться на кого-то, и все мое волшебное видение превращается в пошлый анекдот. Ты должен поэтому понять, почему я не стремлюсь к близости, почему одна мечта.

Павел Михайлович. Митя, ты ее знаешь лично, изучил?

Суходолов. Нет, не знаю. А мне и не надо... Вдруг окажется совсем не то.

Павел Михайлович. Понимаю. Но признайся, возраст тоже роль играет.

Суходолов. Тоже.

Павел Михайлович. Но если уж мы так откровенны... то ты ведь к ней идешь? Зачем?

Суходолов. Проститься. Она ведь уезжает.

Павел Михайлович. Сильная у тебя натура. Я не ошибся. Но ведь трудно, скажи правду.

Суходолов. Выразить невозможно.

Павел Михайлович. А пойдешь...

Суходолов. Пойду,

КАРТИНА ВОСЬМАЯ

Комната в старинном деревянном доме, где живет Майя, Солнце.
Перед вечером.

М а й я, К л а р а.

М а й я. Нет, ты не уходи, хотела чем-то с тобою поделиться, но вот забыла чем.

К л а р а. Не забыла, а не хочешь. Ты умеешь прятать в своей душе тайны.

М а й я. Душа — не проходной двор.

К л а р а. И умеешь мыслить. Удивительная мысль. Надо записать.

М а й я. Мысль тривиальная, и записывать ее не стоит.

К л а р а. А вот я всегда со всеми делилась, и в душе какая-то противная пустота образовалась.

М а й я. У тебя развивается самокритичность. Еще недавно ты была очень довольна собой. Ты всегда высказывала бурное желание познакомиться с моим поклонником. Радуйся. Он сейчас придет.

К л а р а (*ошеломлена*). Кто придет? Кто придет?

М а й я. Чего ты испугалась? Он преимущественно лирический поклонник. Впрочем, все поклонники — лирические. Но что с тобой?

К л а р а. Просто не могу прийти в себя.

М а й я. Клара, милая, неужели ты не видала ни одного живого поклонника?

К л а р а. Не то... как его зовут?

М а й я (*веселясь*). Юра... Митя... Сережа... Иван Иванович!

К л а р а. Сколько же их у тебя?

М а й я. Миллион!

К л а р а. С ума сойти! Да разве можно говорить такие вещи?!

М а й я. Ах, Клара, ну какая же ты буквальная! Неужели ты не ощущаешь символов? А я могу вообразить этот миллион каких-то милых, дорогих мне, разбросанных по всей планете... и каждый мог бы сделаться моим поклонником, пройти со мною жизнь, спеть мои песни.

К л а р а. Ну что ты говоришь?! Как можно говорить такие вещи! Это кошмар.

М а й я. Мещаночка ты у меня. Все мещане — люди постные, благонамеренные, середка на половине.

К л а р а. Ты это сто раз говорила.

М а й я. Еще минута, и он появится. Могу рассказать, что он будет делать.

К л а р а. Да кто он, наконец?

М а й я. Один из названного миллиона. Некто серый. Сейчас он явится, страшно аккуратно пожмет мне руку и непременно спросит: «Как самочувствие?» Затем попросит позволе-

ния присесть, попросит позволения закурить, попросит позволения посидеть у меня некоторое время. Я думаю, что он живет на свете с чьего-то позволения и если это позволение кончится, то он тут же умрет со страху. Чарующая личность. Приготовься к встрече. Вот он.

Входит Терновников.

Терновников. Позвольте войти? Это я, Терновников. Клара (*вырвалось*). А я ждала...

Майя. Чего?

Терновников. Простите, Майя Сергеевна, у вас гости, я могу зайти в следующий раз.

Майя. Это моя подруга... кстати единственная... Знакомьтесь.

Терновников (*подавая руку Кларе*). Терновников. (*Майе*.) Как самочувствие?

Майя. Как всегда.

Терновников. Не подвергались?

Майя. Заболеваниям? Нет, не подвергалась.

Терновников. Позвольте присесть?

Майя. Садитесь, прошу вас.

Терновников. Благодарю. Позвольте закурить?

Майя. Курите, пожалуйста.

Терновников. На стройке были оглушительные взрывы. Вы слышали?

Майя. Слышала... да... а что?

Терновников. А что ж... я ничего особого высказать не собирался. Так... ничего.

Майя. Колебание атмосферы... звук.

Терновников. Не спорю, звук... но очень сильный.

Майя. Сильнее не слышали?

Терновников. Звуки, по-моему, вредят... нервная система...

Майя. А некоторые звуки даже убивают... звуки бомб.

Терновников. До нашей периферии не докатилось. Вы переживали?

Майя. Переживала... в детстве.

Клара. Где вы служите, уважаемый товарищ?

Терновников (*строптиво*). А какое это может иметь значение? Служба службой, а человек человеком. Если не нравлюсь, не обращайтесь. Я ведь здесь никому не нравлюсь.

Майя. Товарищ Терновников, что с вами случилось?! Вы никогда столь острых вопросов не касались.

Терновников. А сегодня коснусь. Поскольку являюсь предметом вашего невнимания, то и коснусь. Все открылось!.. И мысли у меня подработались, теперь не обижайтесь. Большие люди интересуют вас, уважаемая Майя Сергеевна, люди

всесоюзной категории. Вот почему я так продолжительно испытывал на себе ваше безразличие. Тяжелый факт, но больше не будем. Я вас не осуждаю, потому что вполне понимаю. Не только покоряюсь, но приветствую, выбор правильный. Я же останусь глухим и немым ко всему дальнейшему. Разрешите посидеть еще некоторое время.

М а й я. Нет, не разрешу. Вы притворялись забитым и безобидным.

Т е р н о в н и к о в. А вам заметно было, что Терновников ходил к вам, умываясь слезами предварительно? Не замечали. Для кого же он рыдал так долго? Для себя или для него?

М а й я. Молчите!

Т е р н о в н и к о в. Что молчать... имеющийся материал говорит сам за себя. Но повторяю: не будем. На вашем месте я тоже точно так же поступил бы. Чего теряться. Всесоюзная категория повыше периферийной.

М а й я. Прощайте, Терновников, я уезжаю домой, больше мы никогда не увидимся.

Т е р н о в н и к о в. Вы шутите?! А как же он... тут останется?

М а й я. Больше мы никогда не увидимся.

Т е р н о в н и к о в. Тогда другая ситуация... и может быть...

М а й я. Прощайте.

Т е р н о в н и к о в. А руки вы мне не подаете?

М а й я. Подаю. Вы ни в чем не виноваты.

Т е р н о в н и к о в. Непонятная вы девушка. За то и любил. И на вечную разлуку с крайней тоской заявляю вам: любил, как мог. *(Ушел.)*

М а й я. Наконец, вспомнила, о чем я хотела с тобой поговорить. У меня из бумаг в чемодане пропали два письма.

К л а р а. Эти письма имеют для тебя ценность?

М а й я. Огромную.

К л а р а. Да?

М а й я. Безмерную.

К л а р а. А вот поделиться со мной не хочешь.

М а й я. Это невозможно.

К л а р а. Но объясни мне, почему?!

М а й я. Почему никто не видит, как распускаются цветы, как создается колос, как возникает буря!

К л а р а. А если не цветы? А если грибы?

М а й я. Мне начинает казаться, что ты за мной подглядывала.

К л а р а. Вот твои письма... смотри.

М а й я. Откуда они взялись?

К л а р а. Разбрасывать не надо.

М а й я. Ты читала? Умоляю тебя, не рассказывай... даже после того, как я отсюда уеду. Может быть, это первое и последнее в жизни...

К л а р а. Неужели ты с ним живешь?!

М а й я. Какая ты... какая ты несчастная!

В дверях Ксения Петровна и Дононов.

Ксения Петровна. Скажите, девушки, кто из вас двоих состоит в отношениях с моим мужем?

Дононов. Ксения Петровна. Я не хотел бы... очень не хотел бы. Я там побуду, во дворе... Не обижайтесь. (*Ушел.*)

Ксения Петровна. Я повторяю, девушки, кто из вас состоит в отношениях с моим мужем?

К л а р а. Кто вы? Что вам нужно?

Ксения Петровна. Мне нужно потолковать с той из вас, которая состоит в отношениях с моим мужем Дмитрием Алексеевичем Суходоловым.

К л а р а. В каких отношениях?

Ксения Петровна. В каких?! В определенных. Жену на пустое место не меняют... ее меняют на кого-то.

К л а р а. Что ж будем делать, Майя... говори.

М а й я. У меня нет никаких отношений.

Ксения Петровна (*приблизилась к Майе*). Очень приятно... хоть посмотреть вблизи. Такой именно я тебя и представляла. Он к таким равнодушен, к чистеньким. Как же это нет отношений, а?! Ты ведь готова сквозь землю провалиться передо мной. Когда у женщины с мужчиной ничего нет, она козырем держится. А ты потешилась с чужим мужем — теперь на его законную супругу смотреть жутко. Не бойся, за косы волочить не стану. Мы культурно с тобой разоидемся. Но все-таки ты давай говори.

М а й я. У меня нет никаких отношений.

Ксения Петровна (*берет со стола письмо, которое давно заметила*). А это что? Чей почерк?.. (*Читает.*) «Песня моя!» Батюшки! Он ее песней зовет. Какая глупость! В трезвом виде он не мог бы выдумать, значит пьяный писал. Так оно и водится. Где девки — там и выпивка.

К л а р а. А вы, мадам, однако, прекратите эти выражения.

Ксения Петровна. Извините, не буду, увлеклась. Значит, тебя, дорогая, зовут Майей. Будем считать, что мы теперь лично знакомы. Не хочу бранить тебя, потому что ты девушка интеллигентная. Тебе будет больно. Но ты должна понять, как девушка интеллигентная, насколько больно мне доказывать перед тобой свои права. Лучше всего для нас обеих — культурно и мирно пресечь эту историю. Если ты не хочешь, чтобы тебя отсюда выслали с позором и не прислали следом за тобой позорной характеристики, то в течение суток соберись и уезжай отсюда.

К л а р а. Вы права не имеете. Бывало, высылали. Теперь такие беззакония не пройдут.

Ксения Петровна. А ты кто такая?

К л а р а. Человек... подруга.

К с е н и я П е т р о в н а. Ах, подруга... Уж не ты ли та подруга, которая стащила письма Суходолова у своей подруги, то есть у нее, и носилась с ними по городу?

М а й я. Клара?! Ведь мне казалось!

К с е н и я П е т р о в н а. Зачем же ты таскала чужие письма?! И Суходолова позорила...

К л а р а. Мною руководили высокие принципиальные соображения. Я считала...

К с е н и я П е т р о в н а. А за мужа бороться, это не принципиальные соображения?! Она считала... Закройся!

М а й я. Вам за своего мужа бороться нечего. По-моему, он не собирался вас оставить.

К с е н и я П е т р о в н а. Что ж ты святую невинность из себя корчишь?.. Или для того, чтоб чистенькой казаться... «Не оставит». Давно оставил.

М а й я. Я этого не знаю и не узнавала. А письма... ну так что ж... Неужели он лишен права переписки? Но вы уж сами с него спрашивайте, в чем он виноват, а ко мне, пожалуйста, больше никогда не приходите. Уеду я в тот день, в который мне надо. И вот что... вы лучше уйдите, очень прошу вас. Я сделаю что-нибудь ненужное, ужасное, если вы не уйдете! Обе... обе...

В дверях почтальон.

П о ч т а л ь о н. Майя Сергеевна, вам письмецо.

К с е н и я П е т р о в н а. Местное?

П о ч т а л ь о н. Да, местное...

М а й я (*берет письмо*). Благодарю.

П о ч т а л ь о н. Уезжаете от нас, Майя Сергеевна?

М а й я. Да, нынче в ночь, с экспрессом.

П о ч т а л ь о н. Счастливо вам. Может быть, еще наведаетесь к нам. (*Ушел.*)

К с е н и я П е т р о в н а. Читайте, дорогая. Я не уйду, куда не узнаю, что он вам пишет.

М а й я. Да, я прочту, конечно. (*Читает молча.*) Узнать хотите! Нател! (*Бросает ей письмо.*) И уйдите!

К л а р а (*в испуге*). Майя!..

М а й я. Уйдите обе...

К л а р а. Маечка, прости.

М а й я. Обе... обе...

Майя уходит. Следом Клара. Ксения Петровна долго читает письмо.

К с е н и я П е т р о в н а. Значит, правда, она уезжает... типичное прощальное письмо. Но неужели правда? Неужели он с нею в отношениях не состоял?! Вот так новость! (*До крика.*) Что я наделала, дура окаянная!

Вбегает Дононов

Д о н о н о в. Что с вами, уважаемая Ксения Петровна?!

Ксения Петровна. Читайте! (Бросает ему письмо.)

Д о н о н о в. Вот удивительно, я суходоловский почерк только по резолюциям знал.

Ксения Петровна. Читайте же!..

Д о н о н о в. Читаю, читаю.. Что-то неинтересное... «Благословляю вас на чистый, честный жизни путь...» Благословляет... Правильно, конечно. Полюбить желает... семью создать... Я, Ксения Петровна, ничего не понимаю.

Ксения Петровна. Ах, уважаемый, чего же тут не понимать! Суходолов приглашает ее на первое и последнее свидание. Тут это черным по белому написано. Он желает с нею повидаться в последний раз перед ее отъездом. И, значит, между ними не было никаких отношений. Вы слышите?! Это же другое... пострашнее.

Д о н о н о в. Почему же, Ксения Петровна? Не было, и хорошо... и, как говорит молодежь, замнем.

Ксения Петровна. Сказать легко! Но мы же сами толкали его в чужие объятия...

Д о н о н о в. То есть как это «мы»? Может быть, дифференцируем?

Ксения Петровна. Мы толкали, мы его мучили... Мы, мы, мы! А спросите теперь, за что мы человека мучили, сказать будет нечего. Если по правде говорить, то я, простая баба, не в меру увлеклась домашним бытом. А вы окончили какую-то общественную академию. Вас Суходолов боялся...

Д о н о н о в. Тихо... тихо... Мучили... действительно! Распишемся.

Ксения Петровна. «Распишемся»... А я одна осталась. Ведь я за вами шла, как за идейным.

Д о н о н о в. Дорогая, не шумите. И совершенно неизвестно, кто за кем шел. И вы за мной, и я за вами. Вы не плачьте, он вернется. Мы на него воздействуем.

Ксения Петровна. Спасибо вам за ваше воздействие! Вернется... Никогда не вернется. Да, я плачу... Рыдать надо, а не плакать! По земле кататься... Ведь он не какой-нибудь там рядовой, замухрышка... а большой человек.

КАРТИНА ПОСЛЕДНЯЯ

Глухой берег реки, именуемый «Старыми причалами». Старенький пароход, мачты парусников. Вечерние фонари.

М а й я, перевозчик.

П е р е в о з ч и к. Гуляешь, дева, или человека ждешь какого?

М а й я. Жду, сторож, жду. Что спрашиваете?

П е р е в о з ч и к. Наши «Старые причалы» место одинокое. Вижу, ты одна. Заметно, что томишься. Подумал, может быть

тебе на тот берег переправиться надо. Я не сторож. Перевозчик.

М а й я. Спасибо, перевозчик, мне ничего не надо.

П е р е в о з ч и к. Ну, я мешать не стану. Запалю вот трубочку и скроюсь с глаз. Я тоже этим занимался своевременно. Климат жаркий нынче летом. Чуешь, как из тайги потягивает?.. Гарь.

М а й я. Нет, не чую.

П е р е в о з ч и к. Должно быть, я один чую... Жди, развлекайся... ждешь мальчишечку? Молчок!

М а й я. Нет, не мальчишечка, а муж чужой.

П е р е в о з ч и к. И так бывает. Тоже простительно... ежели, конечно, дело сердечное. Не он ли машет? Ишь ты, как спешит.

М а й я. Он, он.

П е р е в о з ч и к. Он?! Знакомый человек. И так бывает. Тоже простительно. (*Ушел.*)

Является Суходолов.

С у х о д о л о в. Бежал, как мальчишки бегают. Самому смешно. Но что поделаешь. Поехал на свидание и тут же повернул назад. Самолет пришлось отправить на тайгу... где-то тайга горит. Здравствуйте, моя дорогая, не сердитесь.

М а й я. Нет, я не сержусь, но возвращаться — плохой признак. Вы не верите?

С у х о д о л о в. Пустяки. У меня весь день прекрасное настроение, и никакие признаки его не разобьют.

М а й я. Чему же вы так радуетесь?

С у х о д о л о в. Тому, что ждал увидеть вас, а теперь тому, что вижу.

М а й я. А зачем видеть-то, Дмитрий Алексеевич?

С у х о д о л о в. Ни за чем.

М а й я. Опять, как в первый раз... я на всю жизнь запомнила. Но так не может быть?! Где-то в душе должно быть желание какое-то, какая-то цель... не знаю что, но есть же что-то.

С у х о д о л о в. О милая, конечно, есть! Могучее желание увидеть ваши юные глаза, послушать, как вы говорите, прикоснуться к вашему плечу... и еще тысяча вещей, от которых невыразимо бьется сердце. А попросту... попросту я хотел проститься с вами.

М а й я. Дмитрий Алексеевич, вам нельзя со мной встречаться?

С у х о д о л о в. Вопросы не понимаю. О чем вы говорите?

М а й я. У вас были тяжелые неприятности... жена... и вообще. До меня дошло.

С у х о д о л о в. Каждой женщине — и моей жене тоже — трудно понять все, что со мною происходит. Нет, Майя, никакие

неприятности не удержали бы меня, но дело в том, что я сам не мог, точнее не стремился к встречам... мне ничего не надо.

М а й я. Да, я знаю... только песня.

С у х о д о л о в. Только песня... сонет... я вам писал.

М а й я. Сонет Петрарки... Дмитрий Алексеевич, вы какой-то удивительный, вы подняли меня за облака, а я обыкновенная и у меня есть поклонники. Я собираюсь выйти замуж.

С у х о д о л о в. Все это и не должно меня волновать.

М а й я. Но ваши письма!.. Сложно, необыкновенно.

С у х о д о л о в. Нет, друг мой, все очень просто. Вот слушайте. Я вас возвысил, одухотворил, и мне это приятно, греет, очень дорого, останется до конца моей жизни. Так? Понимаете. А если было бы другое, совершенно обыкновенное, то первый ваш поклонник убил бы всю мою любовь. Началась бы ревность, упреки, ссоры, и от моей Майи ничего бы не осталось. Знаем мы это сомнительное счастье стареющих Ромео с молоденькими женами.

М а й я. Не заставляйте возражать... вы не стареющий.

С у х о д о л о в. Пусть так, но, Майя... вы не обижайтесь, я вовсе не хочу сказать, что вы из легкомысленных. И вообще мы с вами затеяли опасный разговор, легко обидеть друг друга. Вы поймите меня в том смысле, что в моей трудной, очень суровой жизни вы, Майя, мой подснежник.

М а й я. С вами страшно. Ума можно лишиться.

С у х о д о л о в. Милая...

М а й я. Дмитрий Алексеевич, не надо.

С у х о д о л о в. И это пройдет, как единственный миг огромного счастья.

М а й я. Вы загипнотизировали себя и меня своими письмами. Сначала вы меня выдумали, а потом поверили в свою выдумку.

С у х о д о л о в. Я люблю вас.

М а й я. Не надо, Дмитрий Алексеевич. Я земная.

С у х о д о л о в. Я люблю вас.

М а й я. Ваш подснежник от первого прикосновения завянет, и от Майи ничего не останется.

С у х о д о л о в. Эх, дорогая, не завял бы, да вот горе, что поздно! Какая старая история, черт бы ее побрал! Я говорю вам, что удавился бы с горя, если моя Майя только бросит на кого-то не тот взгляд... Вы правы, не надо. И сгинь, моя бесценная колдунья! Смешно, наверно, поглядеть со стороны.

М а й я. Вы удивительный, вас можно бесконечно дружески одухотворять.

С у х о д о л о в. А я чего хочу? Я как раз и стремлюсь к тому, чтобы мы дружески любили друг друга. Я хочу условиться с вами о том, чтоб нам переписываться, не терять друг друга из виду, иногда встречаться.

М а й я. У меня будет муж, и мне влетит за это.

Суходолов. А вы ему скажите, что тут одна поэзия.

Майя. Не поверит.

Суходолов. Разве что... Когда-нибудь потом, когда все это заживет, я расскажу вам, как меня мучили за эту поэзию. Но вот и наш самолет летит. Если не сбросит вымпела — я свободен на весь вечер. Тут у меня знакомый перевозчик, возьмем лодку.

Майя. Еще и тайга должна мешать! А впрочем, к лучшему.

Суходолов (*смотрит в небо*). Ну, что же ты, голубчик, не томи!

Майя. Будет вымпел. Вы хотите, чтоб он был.

Суходолов. Чего хочу? Пожара? Вы не представляете себе, какую опасность для нас представляет пожар в тайге.

Майя. Будет вымпел. Ваш самолет делает круг.

Суходолов. Какая неприятность!

Майя. Вот вам вымпел! Получайте...

Суходолов. Чему вы радуетесь?

Майя. Вы думаете? Я тоже думаю, что радуюсь.

Суходолов. А нам сейчас придется распрощаться... и кто знает, может быть, мы никогда уж больше не увидимся.

Майя. Теперь я вам скажу всю правду! Только на несколько минут забудьте про вымпел, про тайгу, про все на свете... можете?

Суходолов. Наверно... да. Скажите.

Майя. В этом «наверно», «да» вы, Дмитрий Алексеевич, весь как есть, бесконечно цельный человек. Я это говорю серьезно, а не из одной симпатии к вам. Я тоже цельная. И говорю вам, что я сделала бы для вас все, на что может быть способен человек, когда он любит, когда он преклоняется... Нет, не надо меня поправлять. Я говорю то именно, что хочу, что созрело в душе. Ведь вы, мой милый, писали мне, а ответа не просили. Вы как-то про меня совсем забыли...

Суходолов. Я?.. Как я мог забыть?!

Майя. То есть вы помнили, но помнили, как имя, как портрет, как образ, и забыли, что образ этот тоже чувствует, что там кипит кровь в сердце... Милый, вы не обижайтесь. Вот и накипело. Вот я теперь и говорю, что вам той высоты не снилось, на какой вы стоите в моем воображении. И то, что вы сейчас мне говорили, делает вас еще лучше. Еще невыносимее с вами прощаться. Страшно! Страшно, что я не боюсь разрушить мое солнце, а вы боитесь. Вы боитесь будничной жизни со мною, а я эту жизнь с вами считаю праздником. Но я девчонка... обнаглела... и всякое соображение потеряла. Люблю так, что хоть топись. Но, милый мой, ведь потому вы так и дороги мне, что я для вас — одна поэзия, подснежник... А теперь прощайте... до слез... И помните, что я... словом, если позовете, все брошу, прилечу. (*Ушла.*)

Суходолов. Ушла... и звезды падают. Жара. Вот, говорят, запутался и понимают простую связь. Нет, когда мысли путаются с чувствами и сам не знаешь, где мысли и где чувства, когда твое сердце восстает против разума... Да, о чем я бормочу?! Вернуть ее надо. Позвать сейчас же. Майя! Вернитесь, Майя!..

Является перевозчик.

Перевозчик. Она... та Майя, мимо меня, как перепелка, с криком пролетела. Не догонишь. И доброго вечера не могу сказать. Тайга у нас запылала. Слышите, начальник.

Суходолов. Отчего же не слышать. Слышу.

Перевозчик. Повек людям тяжко расставаться.

Суходолов. Сочувствуешь?

Перевозчик. Так ведь понятно. И вот что я тебе хочу высказать... прости, что по-крестьянски «ты» говорю, я старый... спешить не надо навеки расходиться. Ты думаешь, струну эту в сердце порвал, ан нет, она навеки осталась. А тебе рано еще в прошлое глядеть, ты гляди в будущее.

Суходолов. Рано, чалдон?! Ты тоже говоришь! Нагнать ее, вернуть? Чего молчишь? Советуй до конца. Я подчиняюсь.

Перевозчик. Как хочешь... Я только говорю, что у тебя будущего больше, чем прошлого. А ты спешишь... и она полетела с криком неизвестно куда. Не спеши. А сейчас вернуться не советую. Едем на ту сторону. Но — твоя воля.

Суходолов. И ты в приметы веришь!

Перевозчик. А то нет. Глянь, какое зарево. Тайга горит по всему небу.

Суходолов. Верно, чалдон, подчиняюсь. Радостные вещи ты сказал. Радостно, когда у нас будущего больше, чем прошлого! (*Кричит.*) Эй, на том берегу, слушай! Созывайте народ к пристани! Тайга горит!

Конец

Иван Катаев



Иван Иванович Катаев — писатель-коммунист, активный участник гражданской войны, родился в 1902 году в Москве в семье профессора. Печататься начал во второй половине 20-х годов. Его повести «Поэт», «Сердце», «Ленинградское шоссе», написанные своеобразно, с большой художественной силой и воодушевленные любовью к советскому человеку — строителю нового общества, имели большой успех у читателей. М. Горький оценил творчество И. И. Катаева и привлек его к участию в своем журнале «Наши достижения».

В годы первой пятилетки Иван Катаев много ездил по стране, изучая жизнь рабочих и колхозников, и написал ряд превосходных очерков, сыгравших свою роль в борьбе партии за социалистическое преобразование нашей родины. Первый съезд советских писателей избрал И. И. Катаева членом Правления Союза писателей СССР. В 1937 году, в расцвете творческих сил, он был арестован по ложному обвинению и погиб в заключении.

Рассказ «Под чистыми звездами» — последнее произведение Ивана Катаева. Он написан под впечатлением поездки на Алтай, которую Катаев совершил летом 1936 года. Публикуется впервые.

ПОД ЧИСТЫМИ ЗВЕЗДАМИ

(Рассказ)

1

Горячий июль доцветал в Уймонской долине, но все той же первородной свежестью дышал Алтай, высокая трава предгорий казалась голубоватой от влажности, и речная вода хранила холодок поднебесных снегов.

Мы ехали верхами по правому берегу Катуня, пробираясь в мараловодческий совхоз. Миновали Нижний Уймон, заречную его сторону, что звалась не так давно кулацкой. Вывеска школы красуется над резным крыльцом тяжелодумного владения Ошлаковых. Максим Ошлаков, говорят, вернулся из ссылки, одиноко моет золото где-то под Катандой. Брат его, Федор, командир отряда у Кайгородова, еще в те лихие годы словил партизанскую пулю, и серая полынь дремуче разрослась над бесчестной бандитской могилой. А было время — полтысячи коней, две сотни маралов держал в горах отец их Пилей, глухонемой, да понятливый старец. Помнит, еще помнит его округа...

Млечно-голубая Катунь в отдалении просторно шла от того края неба, утихшая на мягком лоне долины. Вчера я видел ее воды близко, когда на закате насквозь пророзовела их льдистая толща, а гребни струй стали темносиние. Здесь, выше Уймоны, река делилась на множество рукавов и лишь узкими протоками подходила к дороге. Укромный, тенистый мир камышей и сырого мелколесья недвижно стоял на низких островках, утиные выводки возились в тростнике и кое-где выплывали, мелко чернея, на ясную стрежень, золотую от предвечернего солнца.

По ту сторону дороги травянистая поверхность земли мягко взмывала кверху. Горный вал, от самого подножья клубящийся густыми березовыми рощами, подымался в синее небо. Ближе к вершинам, над свежей, счастливой зеленью берез, сухо темнели лиственничные леса.

За этой первой лесистой грядой, — мы видели вчера с того берега, на выезде из ущелья Терехты, — таилась уединенная горная страна, из тех, что всегда так властно манят в путешествие своей как бы вечно недостижимой синевой. Ее увенчивали резкие ледяные вершины Катунских Альп.

Оставив позади строения и поскотины колхозной фермы, мы стали забирать в гору. Путь наш лежал к перевалу, а ночевка замышлялась где-нибудь в лесу, на подъеме. Сразу объяло нас легкой мигающей тенью, запахами спелой травы и черно-смородинного листа. Промеж деревьев горели в косых лучах солнца наклонные луговины; березы, толпясь, смело наступали вверх по склону; тонкие стволы безошибочно сохраняли отвесную прямизну, хотя, казалось, земля ускользала у них из-под ног. Лошадь бодрым шажком привычно брала крутизну, успевая то и дело перехватить сбоку сочный стебель. Яркая белизна бересты, несмятая трава, синее небо, сверкавшее в просветах, — все тут было исполнено особой, молодой и целебной чистоты.

Подступало странное, составное чувство родины и чужбины, — его не раз уже испытывал я на Алтае. Посмотришь — березы, тихая суeta теней и свега, жесткий иван-чай розовеет в траве, темный старый гриб торчит, — что может быть ближе? — самое простое, северно-русское, известное с детства. И те же запахи, та же скромная прохлада. А оглянуться

шире — все это на горе и куда-то летит с нее кувыркком, и раскрывается бездна, и таинственно грозят дальние хребты... То, что привык понимать как Юг, как самое далекое и необычайное. Думаешь: куда ж это меня занесло!.. Азия, в двухстах километрах монгольская граница...

Меж тем мы в самом деле уже забрались высоко. Когда в просветах открывалась Уймонская долина, взгляд падал как с высоты полета и скользил далеко, через всю ее затуманенную ширь, катившую последние волны закатного света. Неясно маячили над мглою горизонта Терехтинские белки. Они дымчато порозовели. Только воздух отделял их от нас — гигантские массивы чистого, сладкого воздуха, заполнившего эту впадину земли.

По мере подъема растительность на горе постепенно менялась. Лошади продирались сквозь цепкие заросли малинника, усыпанные спелыми темными ягодами. Прозрачно рдели повсюду кисти красной смородины. Мы уже давно вступили в эту зону великого ягодного сада, опоясавшую все предгорья Алтая. Там и здесь, между березами, зачернели лиственницы, худые и будто вечно обтрепанные ветром. И все чаще стали попадаться выкошенные поляны; важно стояли на них высокие стога, их долгие тени стлались до самой опушки. Волнующе смешанный запах опахивал нас: острый, домовитый от сена и вольный, сырой — от свежей, вечерней травы.

2

Из зеленой глубины леса донеслись человеческие голоса. Мы повертели в ту сторону и скоро выехали на просторную поляну. Радостно открылась она зрению, озаренная густым розовым светом, в пестром мелькании женских платков и кофт, в веселой спешке предшабашной работы.

Здесь уймонские убрали сено, метали последние стога.

Кто-то из нас справился у проезжавшей верхом, с волоком сена, босоногой девочки: что за бригада.

— Полинарьи Лесных! — ответила та не без гордости, ударила лошаденку пятками в широкие бока, качнулась и поехала дальше.

Про Лесных Аполлинаруию мы уже кое-чего слышали на Уймоне. Из кержачек, девица, ведет бригаду второй год и всех обгоняет, была на краевом съезде...

Надо поглядеть. К тому же пора и на ночевку.

На том краю поляны из-под высоких лиственниц поднимался белый дымок костра. Мы тронули туда.

Три недовершенные стога возвышались в центре общего движения работы. Крайний сложен до половины, и там незаметно было особого оживления, рыжебородый коренастый дядя

неспешно управлялся наверху, принимая пласты. Зато два других стога, выложенные на две трети, казалось, притянули к себе всю горячую жизнь, все голоса, всю молодую силу нагорного вечера. На рысях подносились к ним ребятишки-копновозы, огромные навалины взлетали со всех сторон без передышки, смех раздавался, взвизги и задорные возгласы,— так все и кипело там. На одном стогу, на среднем, принимала женщина, на другом — парень в городской клетчатой кепке, козырьком назад.

Никто и не оглянулся на нас.

Мы спешили возле костра. Бригадный суп клокотал в широчайшем, как свод небесный, чугунном ойротском казане. Низенькая плотная девица, глядя на нас, застыла в изумлении, с черпаком в руке. Лицо ее пряталось под головным платком, повязанным ниже бровей: только бойкий нос торчал.

Лошадей привязали на выстойку. Чувство степенного, мирного отдыха, как всегда, вступило в свои права с той самой минуты, как тяжелые седла были сложены на траве и горячие кошменные потники расправлены. Тишина летнего вечера, сразу приблизившись, коснулась души. Близко, в подонном сумраке чаши, среди корней и мхов, шумел несильный поток.

— Бригадирша-то где? — справились мы у стряпухи, хотя в этом вопросе и не было особой надобности. Просто губы у этой толстенькой девицы оказались что-то уж очень яркие и глянцевицы.

Четверо, хотя бы и с ружьями,— конечно, слишком много мужчин, чтобы разговаривать с ними всерьез. Блеснули зубы первойшей белизны, вечная игра началась.

— А вам на што?

— Значит, надо.

— Надо, так поищите.

— Ишь ты, какая быстрая.

— Побыстреей вашего!

— Вон что!.. А зовут тебя как?..

Большая грудь под голубой застиранной кофтенкой пошла ходуном.

— Зовуткой!..

Мы отошли. Девица крикнула вслед:

— Вон она, Полинарья, на среднем стогу.— И добавила другим тоном, посуше: — Они с Тимкой Вершневым на спор ставят. Значит, кто раньше смечет.

Мы обернулись:

— Чья же берет?

— Ну, разве ей против Тимки выстоять! — в голосе ее прозвучала жесткость раздражения.— Одна только слава, что бригадирша... Конечно, подавальщиков она себе каких поздоровше набрала. Ну, да не угнаться, все едино...

Терпкие краски заката погасли. Дохнуло холодком, причавшимся с каких-то нелюдимых высот. Но ясное небо над

горой было еще до самых глубин налито таким всемогущим сиянием, что, казалось, оно никогда не может истощиться. Веселый гомон не стихал у стогов, кипение работы дошло там до высшей точки.

— Давай, давай! — надрывался чей-то ликующий голос. — Стой, отвязывай копну!.. Да куда ж ты, язви те, волокешь!..

Рассудительный бас гроыхал на всю поляну:

— Вершину-то, Тимофей, пообжимистей выводи, пообжимистей! Чо ж ты разгоняешь ее не знаю как... Эдак мы никогда...

— То есть это как пообжимистей?! — негодуяще визжали от другого стога. — Что значит?.. Он и так у вас тощей!..

— Тошой, тощей! — передразнивали отсюда. — Сами больно пухлые!..

— Дядя Симеон! Ты там доглядывай за ними... А то они небось...

— А я доглядаю, — важно ответил тот рыжебородый, что недавно управлялся на третьем стогу. Его, видно, призвали в арбитры. Он стоял теперь перед стогами, опершись обеими руками на грабельник, как на посох, и наблюдал за ходом соревнования.

— Все правильно у них, — прибавил он веско. — Тимке чуток и остался, еще пласточков десятка полтора, и вывершит. А мечет ладно, я доглядаю...

Тимка чертом вертелся на стогу, только грабли мелькали. Видно, не просто это было — поворачиваться там, на верхушке, сделавшейся не шире тележного колеса; пружинило сухое легкое сено, но Тимка, резко выделяясь плечистой своей фигурой на глади светлого неба, будто приплясывал, не оскользаясь, не заплетаясь ногами; без промедления, точно хватал он навилины, попевал приладить и примять пласт, не нарушая стройных, закругляющихся друг к другу навстречу очертаний вершины. Может быть, только излишняя щегольская подчеркнутость была во всех его ловких поворотах и изгибах, да и сама быстрота их казалась чрезмерной и судорожной. И свое — «давай, давай, не задерживай!» — выкрикивал он без нужды часто и залихватски. Похоже, что его самого всего пружинило и распирало там — от счастья работы, от умения, оттого, что всех выше он под небом, всех ловчей.

Аполлинария, соревновальщица его, действовала на своем стогу умело и споро, стог ее тоже рос правильно, круто. Но уже заметно поотстала она, и это видели в ее группе и уже поторапливали снизу, не выходя, впрочем, из пределов почтительности.

— Чего ж ты, Полинария, ты бы, однако, повеселей укладывала. Вон уж у них...

Кстати, стряпуха-то давеча возвела на Аполлинару явный поклеп — будто она набрала себе каких покрепче. Ей подавали все больше девницы да совсем малорослые пареньки. Взрослые

мужики, которых вообще было немного, как раз собрались вокруг Тимки. Может, оттого он и брал верх.

Бригадирша, наверное, видела, что отстает. Однако в движениях ее не прибавлялось торопливости. Она двигалась по-прежнему спокойно, и с какой-то особенной плавной грацией творилась у нее эта работа, похожая на одинокий танец, высоко над головами людей, в светлом куполе неба.

А уже загалдели у Тимкиного стога: «Вывершил, вывершил!» — и кто-то жиденько затянул: «Ура-а!..»

И рыжебородый Симеон, гордясь своим значением, громко подтвердил:

— Вывершил. Будя!

И тотчас же Тимка, как-то по-особому выгнувшись и едва скользнув рукой по веревке, перекинутой подавальщиками через вершину стога, слетел на землю с высоко поднятыми граблями, притопнул, хотел, видно, крикнуть, да сдержался, сказал тихо, хриловато, с едва приметной улыбкой, витающей вокруг запекшихся губ:

— А ничего сработали... Складно.

Но насквозь сияло и пело изнутри скуластое его лицо, с дорожками пота на грязных крепких щеках, с раскисшим и прилипшим ко лбу сивым вихром. Приставив грабли к стогу, он повернул свою явно франтовскую кепку козырьком вперед, и пока кругом голосили с преувеличенным восторгом, чтобы только погорше было тому стогу, Тимка стоял неподвижно, невысокий, ладный, сдерживая дыхание расходившейся просторной груди, и поглядывал на всех узкими смелыми глазами, из которых так и било хитрое его счастье.

Казалось, на вид ему побольше двадцати, и то ли гладко брился он, то ли бежала в нем какая-то залетная алтайская кровь, но был мальчишески гол его острый подбородок. Ситцевая выгоревшая рубаха, выбившаяся из-под ремня, была у него сильно разорвана возле плеча.

Восторженные голоса стихли. Под конец самый дюжий мужик в древней поярковой, грибом, шляпенке, кажется тот, что недавно гудел: «Пообжимистей!» — заключил столь же густо:

— Сам-от он Вершнев,— выходит, завсегда и вершить ему!..

Тут все звено обрадованно засмеялось, а Тимка, поняв минуту, нагнулся, стал отряхивать со штанов приставшее сено. Потом он подтянул голенища высоких конашин, подвязал их сыромятными ремешками и, прихватив грабли, пошел к стану, на ходу перепоясываясь и оправляя рубаху. Все двинулись за ним.

Проходя мимо Аполлинарьевого стога, Тимка остановился, посмотрел наверх, где бригадирша укладывала последние мелкие пласты, но почему-то ничего не сказал, пошел дальше. Только уж позади его крикнул кто-то:

— Эй вы, ползуны неповоротные, подсобить не надо?..

Аполлинария, выпрямившись, утерла лоб рукавом, ответила с усмешкой, без обиды:

— Спасибо на добром слове. Сейчас сами управимся.

Голос у нее был низкий и умный, из тех, что идут со дна груди и, свидетельствуя о полной душевной силе, так обогащают самый неказистый женский облик. Мы еще не сумели разглядеть, какова она собой.

Только под лиственницами, у костра, возле его живого пламени, заметили мы, как смерклось на поляне. Еще один солнечный огромный день ушел совсем. Но в этой пустынной, высокой стране, откровенно кажущей небу свои провалы, трещины и обледенелые складки, всякая подвижка времени ощущалась телесней, чем где-либо, лишь как новый поворот этого бока планеты с его хребтами и впадинами. Она давала в остатке не грусть, но чувство свободы полета. День прошел,— летим дальше, дыша этими запахами теплого сена и близких снегов.

Я поднял голову. Первая звезда водянисто дрожала в полмеркшей, еще бесцветной вышине.

3

Стреножив лошадей, мы отпустили их к бригадному табуну.

Подошла Аполлинария, работавшие с ней мальцы и девчата, толкаясь и хохоча, побежали к ручью умываться. Мы поговорили с Аполлинаруией о бригадных порядках, об урожае. К третьему августа, досрочно, они кончат сеноуборку, бригада переключится на жнитво. Весь-то колхоз запаздывает с сеном, а пшеница желтая уже, к тем горам так и вовсе погорела, лето знойное. Бригадирша отвечала просто, смело; видно, привыкла говорить с приезжими, с городскими, с кем угодно. Но разговор наш не вязался, шел по верхам; устала она, и, похоже, чем-то другим были заняты мысли. Несколько раз она оборачивалась к костру, ярко распыхавшемуся неподалеку, высоко озарившему стволы и мрачную хвою лиственниц. Что-то ее тревожило. Может быть, ужин запаздывает?

Там, возле костра, сидел Тимка до пояса голый. Он уже успел умыться, и теперь толстенная стряпка, стоя рядом с ним на коленях, чинила его порванную рубаху. Время от времени он подбрасывал в огонь сухого лапнику. Столбом взвивались искры, вдогонку вымахивало длинное пламя. Беспokoйный, дышащий круг света мгновенно раздвигался, виднелись обутки и спины бригадников, прикорнувших между толстыми корнями; по другую сторону наши седла в траве посверкивали металлическими частями и отполированной кожей. Тимкина голая грудь и плечи сияли, как начищенная красная медь; переливались при движении резкие валики мышц. Совсем не скучный разговор шел там у них, стряпка то и дело, откликнувшись, тряслась от

смеха, розово блестели ее зубы. Потом она перекусила нитку, заколола иголку себе в кофту и встала, чтобы помешать в казане. Тимка тоже поднялся, стал надевать рубаху, но, видно, запутался головой в ворота. Стряпка, оглянувшись, ловко щелкнула его горячим черпаком по твердому втянутому животу и с визгом отбежала на ту сторону костра. Тимка справился с рубахой, схватил свой ремень, погнался за девицей. Сперва она увернулась, но он все же достал ее ремнем — легонько вытянул вдоль гладкой спины и, поймав в охапку, принялся не то щипать, не то щекотать ее.

— Ой, не буду! Ой, мамоньки, не буду! — верещала она, плача от смеха.

Аполлинаруя, с минуту молча и неподвижно смотревшая на эту возню, вдруг решительно двинулась к стану. Мы последовали за ней, посмеиваясь про себя, — сейчас проборка...

Увидав бригадиршу, Тимка отпустил девицу, та вперевалочку отбежала к казану, принялась деловито помещать в нем; по выражению спины, по всей ее напряженно полусогнутой фигурке видно было, что она с неловкостью ожидает, что будет. Ждал и Тимка, глядя на подходившую Аполлинарую, но он стоял прямо и, по-красноармейски стянув рубаху борами назад, неторопливо опоясывался.

Бригадирша молча постояла перед ним, как-то неуверенно, по-девичьи, сложив на животе руки, потом произнесла обычным своим упругим и ясным голосом:

— Ну, что ж тебе сказать, Тимофей... Скажу: молодец. Работу аккуратно исполнил. — В голосе у нее дрогнула улыбка. — И меня обставил... Ну, я на то не в обиде. На жнитве сосчитаемся...

Тимка молчал, глядел на нее прямо, зорко.

— Всегда б, как ноне, работал, — продолжала она наставительно, — коли б не отлынивал, так ладно было бы. Ухватка, смелость у тебя есть во всем. А будешь стараться, по осени от правления тебе премия выйдет, это я твердо тебе говорю.

Тимкины губы чуть покривились.

— Не больно что-то я страдаю об премии этой, — сказал он отчетливо. Стряпка, с интересом слушавшая этот разговор, тут радостно захохотала. Аполлинаруя медленно повела на нее глазами и снова обратилась к Тимке:

— Значит, совсем лишняя она тебе, премия?

— Это две десятки-то или там будильник со звоном? — усмехнулся Тимка. — Так я в Ойрот-Туре, на стройке, за один день две таких премии отшибу, чем тут за нее целное лето париться. Ты уж кому другому ее выхлопатывай. Вон хоть Панька, братишка твой, почитай што без порток гуляет и старается во всю силу, ему сгодится. А уж я обойдусь как ни то...

— Во-он ты как смотришь! — спокойно удивилась Аполлинаруя. — Только на рубь меряешь. А как весь колхоз твою

работу ценит, срам ли от него, почет ли, это тебе без интересу?..

— Проживем и без почету,— пробормотал Тимка, глядя куда-то вкось.— Уймонский почет недорого стоит, языком да по собраниям крутятся, еще и легче его найти, чем на поле.

Аполлинария подступила к нему почти вплотную.

— Ну и Тимка! — протянула она с изумлением, и впервые горячая, грозная даже нота зазвучала в ее голосе, еще более низком.— Красив же ты стал, Тимка!.. Будто кто подменил тебя, право. Эдакого не слыхала я от тебя раньше... Однако, видно, новые учителя у тебя завелися. И учат они тебя, учат, и впрок идет ученье!..

Она стояла перед ним в тревожных, струящихся к небу отсветах костра, чуть отклонив голову в сторону, стараясь перехватить потупленный Тимкин взгляд. Была она одного роста с парнем, а то и повыше.

Я смотрел на нее во все глаза. Молода она — вот что больше всего удивляло. До чего же молода! Хотя мы и слыхали, что девушка она, но как-то не соединялось это совсем, совсем юное лицо ни с званием увесистым бригадирши, ни с краевой ее известностью,— и с голосом, со всей повадкой ее не вязалось. Конечно, не было ей и двадцати. Даже белый платок, низко, по-скитски скорбно, с прямым перегибом на висках повязанный, ее не старил. Продолговатое, может, слишком длинное между носом и ртом, с темными строгими бровями — северной славянки лицо. Иконописное, сказали бы раньше, рублевского века. Но куда там! В нем столько движения было, горячности, а сухости никакой. Свежи и нежны щеки, несмотря на загар или природную смуглоту, и вовсе не скарденные губы приоткрыты в напряженном внимании. И не шло в голову суждение, красива ли,— так важно и ново, как всегда, было явление из вечернего сумрака этого полного своей жизни лица, с тем особенным и страстным наклоном, ей, только ей одной свойственным, как вот вглядывалась она в ту минуту в потупленные глаза парня.

— А что еще, какие учителя? — вдруг будто очнулся он и резко поднял голову.— Ты про кого это?..— И, не дожидаясь ответа, сказал твердо, с силой, глядя прямо в глаза ей: — Знаешь чего, Полинария, лучше в мой палисад не лазай, ты в нем не хозяйка. И не время нам тут с тобой счеты сводить. А это запомни: мне учителей не надо. Ни новых, ни старых. Не нуждаюсь.— Он усмехнулся дерзко.— Славу богу, сам ноне грамотный.

И, повернувшись, пошел от нее, легко перескочил через суховатую сушину, положенную одним концом в костер, уселся невдалеке среди молодых парней и девочек. Лежа на траве звездой, головами друг к другу, они разговаривали между собой и пересмеивались.

Аполлинария постояла, глядя ему вслед, потом обернулась к стряпке.

— Таисия, ужин-от готов у тебя?.. Раздавай,— сказала она строго и пошла к ручью. Темная коса тяжело лежала на ее спине, прямой и по-женски зрелой.

Через несколько минут стряпка застучала черпаком по краю казана и звонко, на всю поляну, позвала ужинать.

Мгновенно все вдруг пришло в движение, со всех сторон из уплотнившейся дочерна темноты потянулись бригадники с мисками, котелками, столпились у костра. Сначала все шло там чинно и мирно, и уже усевшиеся поблизости истово, над ломтем хлеба, понесли ко рту дымящиеся ложки. Потом вдруг у казана зашумели, заговорили вперебой, донеслись голоса, и негодующие и жалостные:

— Это что ж такое!..

— Права не имеешь!..

— Всем давай!..

Шумели больше всего ребятишки, обступившие Таисию со своими чашками и мисками. А Таисия, не слушая их, весело и начальственно провозглашала:

— Маленьким без мяса!.. Без мяса маленьким!.. Отходи давай, кто следующий!..

Но ребята не отходили, шум разрастался, две или три бабы решительно вступились за ребячьи права. В эту минуту подошла Аполлинария.

— Из-за чего спор? — спросила она.

Все сразу загалдели, обратившись к ней. Таисия на прямой вопрос бригадирши ответила не без вызова, что ей сам Федор Климентьевич наказал, как заезжал поутру, чтобы с этого дня мясо в ужин выдавать только взрослым. Как ей председателем велено, так она и делает.

— Глупости это,— быстро сказала Аполлинария.— Трудодень ребятишки по своей работе получают, а есть всем надо ровно. Выдавай с мясом, как и раньше.

— Верные твои слова, деушка,— поддержал дядя Симеон, до того; впрочем, молчавший.— Им ведь, однако, расти надо, маненьким-то, расти...

— Так председатель же! — закричала Таисья.— Оглохли вы, чо ли? Я говорю, председатель велел, Федор Климентьич... Вон и Тимка слышал, он тут был. Тимка! Да скажи ты им!..

Тимка сидел поблизости на какой-то колоде, хлебал из своей чашки. Не поднимая головы, сказал отрывисто:

— А не знаю я. Меня это не касается.

Таисья всплеснула руками:

— Да как же ты, Тимочка... Ведь при тебе же! Слышал ведь!

— Отвяжись ты от меня! — глухо, со злобой ответил Тимка.— Чего пристала? Говорю: не слышал ничего.

— Ладно! — вмешалась Аполлиария. — Это я сама разберусь с председателем, говорил он, нет ли. А вот я тебе, Таисья, говорю: выдавай попрежнему. И кончено дело.

— А не буду попрежнему! — крикнула та. — Ты что, главней председателя стала нонче? Не могу я его приказ нарушать. Я тут, у котла, отвечаю!

— Да ты что? — тихо изумилась Аполлиария, подступая к ней. — Ты что это в голову забрала? В чьей ты бригаде состоишь?.. Думаешь, ежели... — Она осеклась и, переменив тон, закончила сухо и властно: — Делай, как я велю. А не хочешь, — сей момент от котла отставлю и другого назначу!

Неизвестно, чем бы разрешилась эта история, — похоже, Таисья не собиралась сдаваться. Но в это время из темноты раздалась радостные возгласы:

— Передвижка! Передвижка приехала!..

Многие, и скорее всех — ребятишки, кинулись в ту сторону, откуда закричали. Следом за ними пошла и Аполлиария. Таисья, видимо, решила подчиниться распоряжению бригадирши, просто ей, наверное, не захотелось затягивать раздачу. На стану все снова пришло в чинный порядок, выстроилась очередь. И чей-то мальчишеский голос удовлетворенно произнес:

— Ты побольше, побольше накладай, Таисья. А то знаешь?..

4

Механик кинопередвижки, длинноногий парень в кожаной куртке, неподалеку от костра уже устраивал все необходимое для зрелища. Ловко подрубил метра на полтора от земли высокую листовницу и повалил ее так, что она, переломившись, осталась комлем на пне. Пообчистив середину ствола от сучьев, снял с вьючной лошади динамку и прикрепил к стволу, потом приладил проекционный аппарат. Видно, все это для него было дело привычное. Полотняный экран он натянул, с помощью бригадных мальчишек, опять-таки между двумя стволами листовниц, точно по заказу, удобно и прямо стоявших поблизости. Ручей шумел теперь где-то за экраном, заменяя отсутствующий оркестр, небольшой пригорок полого снижался к воде, — он и должен был стать партером, в подлинном смысле этого слова. Оказывается, все тут, на горе, издавна было приготовлено для этого электрического колдовства.

Бригада, отужинав, тесно расселась на пригорке. Кино видели хоть и не часто, но не в первый раз, все понимали, в чем дело, все ждали с горячим любопытством и тем особым уютным волнением, какое предшествует ночному, вполне безопасному и паразитическому зрелищу.

Смутно белел экран в великолепной раме мохнатых веток и звездного неба. Звезды, совсем близкие и ясные, будто

вымытые, роились над темными верхушками деревьев в немыслимой и стройной тесноте, во всем торжественном разнообразии величин, крупные, важно переливающиеся, и те, едва намеченные в черных прогалах неба, и вся драгоценная пыль. Поток шумел неумолчно, ровно, все одним широким и мирным звуком.

Потом экран вспыхнул, звезды отступили и померкли. И, вовсе погасив шум воды, резко в лесной тишине застрекотал аппарат.

Мы, городские, видали этот фильм лет десять тому назад, он почти выветрился из памяти. Но, вспомнив его по первым кадрам, мы сразу обрадовались ему, как старому приятелю. То была простодушная и жизненная картина, с молодыми, очень увлеченными и старательными актерами, полная движения и летнего солнца. Многие, наверное, припомнят ее. Там, в центре всего, монастырь, расположенный в красивой горной местности, а главный герой — монастырский звонарь Иона, здоровенный парень, хитрец и силач, с крупным и веселым лицом. В село, что возле монастыря, приходят белые, арестовывают большевиков из ревкома, запирают их в монастырском подвале. Героиня, деревенская девушка, пытается освободить своего брата, большевика; звонарь Иона ей помогает. Тут же, рядом, — корысть, жадность и всякие блудни монахов.

Экран дождал и мерцал, лента была старенькая, однако еще вполне разборчивая. Механик громко прочитывал надписи, нещадно перевирая слова. Но его мало кто слушал, все и так понимали суть дела. Когда на экране в деревню ворвались белые, сверкнули погоны, — снизу, с земли, погруженной во мрак, сразу тревожно воскликнули:

— Кайгородов!..

Насторожились, вытянули шеи, кто-то привстал на колени, но его, видимо, сердито дернули снизу, и высунувшаяся голова пропала. На экране белогвардейцы творили расправу, металась скотина, бегали ополоумевшие бабы, плакали дети. И это все было очень знакомо и понятно здесь, на Уймоне, где всего тринадцать лет тому назад кипела кровавая мешанина, жесточайшая за всю историю сибирской гражданской войны, где при Кайгородове рубили и пороли каждого десятого, — и память о тех годах была жива. Да и местность в картине очень походила на алтайские предгорья.

Кончались части, треск аппарата смолкал, обрывалась вторая жизнь, ловкая и стремительная. Снова победно выступали звезды, еще вольней шумел поток, прохлада живой, все углублявшейся ночи становилась ошутимой.

— Давай кого другого вертеть! — крикнул механик, доставая ленту из третьей коробки. — Тебе, брат, телячий хвост крутить, а не динаму, — мирно сказал он какому-то малому, выполнявшему эту почетную обязанность. Действительно, тот крутил неумело, рывками, то слишком усердствовал, а то вдруг

замедлял, видно зазевавшись на картину, и свет слабел, почти угасая.

— Становись другой кто-нибудь, — повторил механик.

Тут многие повернули голову к Тимке Вершневу.

— Вот Тимка сумеет... Эй, Тимка!.. Вылезай, что ли!..

Вершнев сидел с краю, впереди меня, рядом с Таисьей. Перед началом картины он устроился удобно, положив соседке голову на грудь, та крепко обняла его. Так и полулежал он примерно до середины первой части, потом приподнял голову, неотрывно уставившись на экран, а к началу второй и вовсе выпрямился и даже, когда Таисья стала опять клонить его к себе, нетерпеливо снял с своего плеча ее руку.

Теперь она зашептала ему:

— Не ходи, Тимочка, чего тебе там, сиди тута...

Но он вскочил и направился к аппарату.

Дело у него пошло отлично, свет сиял ровно, не мигая.

Разгорались бои, в лесистых горах сходились партизаны. Красивая девушка, верная, храбрая и предприимчивая, пробираясь в монастырь, заглядывала в подвальное оконце, видела своего брата, измученного, заросшего диким волосом. Пленники томилась смертной мукой, на завтра их ожидал расстрел. Зрители, вполне захваченные ходом действия, то замирали в чуткой тишине, то ахали и бурно волновались.

Тимка, открутив три части, вдруг отошел от динамо.

— Ты куда? — удивился механик. — Устал, что ли?

— Устать тут не с чего, — мрачно сказал Тимка. — А вертеть больше не буду. Смотреть хочу.

— А отсюда разве не видно?

— Мешает.

Не возвращаясь на старое место, он уселся впереди всех и, невзирая на уговоры и просьбы, наотрез отказался крутить. Тогда вызвался тот дюжий колхозник в поярковой шляпе, и динамо снова заработало исправно.

Красивая девушка скакала, скакала по лесам и долам, пригнувшись к шее коня, тяжелая коса ее билась за плечами. Не лицом, но смелостью движений, зрелым и легким станом, еще чем-то походила она на Аполлинарию... И вот они, партизанские костры в долине. А молодец Иона в переполненном народом храме разоблачал придуманное монахами чудо, и разгневанная толпа повалила выручать большевиков, которые — вот уже — стоят перед дулами. Тут так лихо принялся Иона крушить оглоблей белогвардейцев, — где ни махнет, там улица, — что никак уж невозможно стало сидеть смирно. Чуть не вся бригада повскакала на ноги; загалдели, встревоженно хохоча:

— А давай, давай!

— От, язви!..

— А вон этого еще, ишь спрятался!..

И чей-то совсем уж восхищенный голос крикнул:

— Эх, братцы!.. Вот бы к нам его, стога-то метать!..

Так, под громовой хохот, рукоплескания и крики Иона схватил офицерской шашкой полы своего подрясника, так он поцеловался с красавицей, так он ехал на зрителей во главе партизанского отряда с красным знаменем в руках, молодецки поглядывая на девушку, а она ехала рядом и смотрела на него с нежной насмешливостью.

И погас экран. Снова полным разгаром своим выступили звезды, снова свежо зашумел поток. Но что-то переменялось в ночи. Стала она будто откровенней и доступней. В неподвижной тьме ясно угадывались пространства, высоко взлетевшие под небо, но не страшные, а братски близкие телу. Все, прежде разъятое, раздельное — черная, горящая высь, травянистая земля, нагретая за день, и горстка людей, закинутых работой за гору, высоко над долиной, и шумно несущаяся вода, и безмолвная сухая хвоя,— все это сошлось воедино, как бы проникло друг в друга, породнилось. И прохладный ветер, волной пробегавший по поляне, казался теперь приятным, своим,— он был дыханьем все той же простой и единой жизни.

Мне было давно знакомо и дорого это переживание. Его и сейчас породила властная работа искусства,— а оно присутствовало в этой незамысловатой, но верной и доброй картине. И хотелось мне знать, что же чувствуют другие зрители, что творится в глубине их душ. Расспросить?.. Пожалуй, никто не скажет. Бригадники расходились в темноте, возбужденные и веселые, похваливая картину, а больше всего одобряя богатыря Иону.

— Вот бы к нам-то эдакого! — все повторяли они.

— Да уж этот бы наработал!..

Скоро все стихло на поляне, люди разбрелись спать по стогам, улеглись вокруг угасавшего костра. Спутники мои тоже разошлись кто куда. В ровном, бестелесном сумраке поляны, среди нелепых, размытых теней стогов и деревьев только венец раскаленных углей вокруг черного котла виделся издали единственным цветовым пятном; этот цвет был горяч и груб в сравнении с тонким, игольчатым мерцанием звезд, но и он не дерзил, не нарушал глубокого спокойствия ночи,— он даже был, пожалуй, главным средоточием ее древней сдержанной силы.

5

Захватив свой кошемный потник, я отправился на тот край поляны, к самому дальнему стогу. В той стороне земля уж заметно убегала из-под ног, страшновато круглилась книзу. Там я с вечера приметил широкий просвет в стене леса, открывавший даль Уймонской долины. Мне и хотелось улечься здесь, чувствуя высоту, и чтобы утром встать и сразу увидеть Алтай.

Сейчас ничего нельзя было разглядеть, кроме смутного лесного моря под ногами, да горящее звездное небо впереди в огромном размахе выгибалось к горизонту, падая в черную тучу земли. Было новолуние, и молодой месяц, наверное, прятался где-нибудь за нашей горой.

Я обошел стог, подсунул с краю свою кошму и улегся, кое-как вкопавшись в тугой, колючий бок стога; как сумел, завалил себя сверху. Едкие мирные запахи сена и конского пота, пропитавшего кошму, мгновенно заволокли быструю череду дневных лиц, имен, солнечных искр; все слилось, исчезло.

Проснулся я, верно, от холода, очень неуютно зябла спина — видно, сползло с меня сено. Хотел было устроиться получше; повернулся захватить рукой сползавший ворох и — тут же замер. Совсем близко, рядом, за округлым боком стога, говорил мужской, молодой и хрипловатый голос. И столько было в нем встревоженной, страстной силы, даже когда понижался он до глухого шепота, — столько страстности, неловкой, но побеждающей всякое стеснение... Я замер, не шевелясь, и сон слетел с меня, не мог я не слушать. Ведь это же Тимка Вершнев... Ну, конечно, он!

— Не понимаешь ты!.. Эх, не понимаешь! — громко, прерывисто шептал он. — А ты пойми, на вот, хоть влезь в меня, я тебе всю душу вывернул!.. Пойми же ты, однако, не город этот мне нужен, не одежда, не деньги легкие... Ну, что она, Ойрот-Тура, с виду деревня та же, только что дома повыше... В Новосибирском был, в Омском был, знаю. И опять не про то я... Не в улицах сласть, что людей там много, трамваи... Это мальчонке лестно, поглядел — и надоело на третий день, ходишь, как на Уймоне. А мне ведь из себя вырваться надо... Из себя, понимаешь?..

Он передохнул тяжело и зашептал еще горячее, быстрее:

— Тут я чисто в шкуре какой жожу, и сквозь меня она до нутра проросла, как зверь все равно. Грузно мне, тошно, глаза застилает, к земле гнет. И все уймонское меня облепило, и сам-то я дурак дураком. Не вижу ничего, не знаю, тыкаюсь все равно что щенок слепой.

— Нет, постой, погоди однако, — заторопился он. — Знаю, ты и раньше все напевала — дескать, и тут можно... Это знаю я, что и тут все к лучшему идет и самому можно... Да ведь туго-то как!.. Еле-еле... Пластом переползаем. За годом год... А я быстрее могу жить! Я очень даже скоро взять могу. Я все понимаю, все мне открыто...

— Не хвалюся я, нет! — воскликнул он и тут же, испугавшись, что громко, понизил голос. — Я тебе говорю, а смотрюсь в себя, как в воду, и все до доньшка вижу. Слепой я, дурак нетесаный, а ведь вглубь-то я все понимаю, всю землю чувствую, всех людей. Вот — как усмехнулся человек, или там пожегился, или говорит что, а сам про другое думает, — завсегда

мне все открыто — к чему это он и чего ему надо. И не только свои мужики али ребята... Вот наемни, который инструктор приезжал, из Усть-Коксы,— начал он тут речь говорить...

— Да это все зря я! — вдруг прервал он себя с досадой.— Не об том я хочу... Я про то, однако, что мне учиться надо. Только побыстрее бы, спешно, да погуще бы как... Про все, чему только не учат. Я с места бы взял разом... И уж не отцепился бы до конца, пока все не превзойду! Как клещ бы впился...

Он вздохнул, видно, улыбнувшись.

— Ах ты, мать честна! Дотянуться бы только поскорей! Сила есть во мне, не занимать, знаю... Есть сила!.. И самостоятельность... Уж я не закружуся, запить там, загулять или еще какие пустяки... Все дальше пойду, весь мир как свой брат мне будет... Как старики наши поют,— вся тайная... Вся тайная отверзится... Я ведь как сделать-то хочу... Да ты слушаешь, Линка, аль спишь?

— Нет, слушаю я,— невесело ответил низкий женский голос, и с изумлением узнал я в нем голос Аполлинаруи.

— А все не веришь, не веришь? — зашептал Тимка.— Опять скажешь: накатило... Нет, Линушка, теперь уж крепко это, навечно. Что про картину я сказал, это так и есть. Но от нее мне... ну, только толчок будто сделался. Ведь все это и раньше во мне было, и цельное лето промаялся я, то есть прямо скрутился от тоски, хоть в петлю. И уж надумал было, совсем решился... ну — сказаться тебе, чего надумал-то... Да все как-то не вязалось одно с другим. И в город уйти надо... Надо мне, понимаешь? Вот уж до каких подступило, не могу... И от тебя уйти духу нет... Нельзя ведь мне без тебя, Лина, я это каждый день, каждый час вижу. А опять же знаю, строгая ты, свой план у тебя во всем, и с Уймона не торопишься... Что ж теперь делать?.. Измытарился я вконец... А тут вдруг как свет! Ты говоришь, чудно тебе это, чудно, сам знаю. Ведь не доказал мне никто, не скомандовал: дескать, вот так и так надо. Ну, что там? Монахи, борьба... И ведь не то чтобы пример какой... А только вдруг свет, свет в меня пошел, в горле сдавило... Кончилось представление,— тут и увидел я свою силу. Эх, да все я смогу, что ни лежит предо мной! Все одолею!.. Вот что со мной стало. И сошлось одно с другим, что раньше вразброд шло...

Он помолчал, потом заговорил умиротворенней, тише:

— Так и завсегда со мной, от картин от этих, от постановок... То есть, ясно, какая понравится. Другая, так тошно с нее, после три дня совестно на всех людей глядеть, и руки и ноги вянут. Ну, а уж понравится,— так ведь в городе, бывало, как птица летишь оттуда и кругом будто праздник первое мая. Так бы и обнял бы всех... аль бы подрался не сходя с места. С гадом с каким, с фашистом бы, чо ли... Нет не то, что во хмелю,

по-другому. Смелей, красивше... У всех так бывает?.. Не знаю я... Нет, ребята есть,— глядишь, только на улицу вышел, и уж он орешки себе лузгает и разговор про то, про се, и не вспомнит. А я дак целый год могу помнить... Вот, однако, и книжка тоже... Где про разное. Не те, что в школе учили, другие... И чтобы по-правдашнему было написано... Опять же, смотришь, нет в ней никакого... наставления. А что только и делается с нее!.. Летось вот прочел я книжечку. Не помню, кто сочинял, Пушкин будто. Ну, просто там живут старичок со старушкой. Ели они ужасно много, только и знали что ели. И ничего не случилось у них, и будто ничего не написано такого... Вот ведь, не знаю, как и передать... Ну, двери у них шибко скрипели... А после, в конце, померла старушка. И старичок сильно заскучал по ней. Заскучал он, значит, затомился и помер тоже. И все тут... Так веришь ли, нет ли, а прочитавши, чуть-чуть не взревел я с этой книжки. Так меня взяло... С чего, и сам не пойму... Ну что там? Старички какие-то, помещики, это даже надо осудить, ежели по-серьезному... А меня опять как на крыльях подняло, чтой-то мне тут опять приоткрылось. И ночь-то я мало спал, все думал... А на другой день в больнице по настилке потолочных балок две нормы сделал, вот как... И всю жизнь буду помнить ту книжечку...

Тимкин голос замолк. Самая тайная, самая черная тишина ночи в эти минуты доспевала на горе. И ветер стих. Не шелестела ни одна былинка. Только ручей вдалеке шипел нескончаемо, осторожно, одним ровным звуком, и от него было еще тише. Звезды в зените, прямо над моим лицом, горели светло, упоенно, их будто стало еще больше, и мелкие, слабые явственно отступали в свои пустые глубины, нарушая цельность и гладкость черного свода, а крупные вышли наперед, дрожа и пуская в глаза мне сияющие паутины. Я лежал, не шевелясь, не зная, что делать мне... Встать, уйти,— они услышат, спугну их и, может быть, все разрушу... Да ведь пока и говорит-то он такое, что не грех слушать... Нет уж, лежать, лежать, попрежнему затаив дыхание!

Там у них зашуршало, Тимка неуверенно окликнул:

— Лин, а Лин!..

— Что тебе?

— Так как же мы с тобой, а?

— А все так же,— тихо сказала Аполлиария.— Вот ночь переспишь, а утром Таисья тебе поприветит, все и слетит с тебя, и всем болястям твоим конец, посмеешься только, все равно как сну несуразному...

— Ну вот,— горько усмехнулся Тимка.— Опять сначала. Будто и не говорили... Да что же я душу тут всю перекопал перед тобой,— зря выходит?.. Ты слушала меня аль нет? Разве для обману я говорил тебе? Ведь не так обманывают-то, эх, Линка!

— Слушала я все,— заговорила она медленно и печально.— Слушала и вижу, что правду говорил, вот как она этот час у тебя на сердце лежит, да и нету тебе никакой корысти теперь обманывать меня... Ну, а толк-то какой в твоих словах? И по весне говорил ты мне много — заслушаешься, бывало. И про картины поминал, и про книжки, и какой от них переверот в тебе... А потом что было?.. Помнишь, как у реки, у паромы позвала я тебя?.. Как нож в меня тогда (и на низкой ноте дрогнул, оборвался ее голос)... Как нож!..

Она поборолась себя, встрепенулась:

— Я про чувства свои, про слезы не мастерица рассказывать. Не люблю. Только все поняла давно уж. Все едино тебе, перед кем ни проповедовать и кому руку жать и в чьи глаза глядеть. Везде ты только себя, себя одного видишь и сам собой весь мир застишь. И всем-то ты чистую правду говоришь, и мне, и Таське, и третьей, и десятой... Таське-то небось...

За стогом сильно зашумело, и Тимкин голос, смелый и счастливый, громко произнес:

— Линушка, знаешь чего?

— А что? — быстро откликнулась она.

— А то, что я тебе последний раз говорю: брось про Таську. Смешно мне, как ты ее с собой равняешь. Смешно, и все тут. Да ты что, сама не понимаешь, что ли? Как костыль она мне нужна была, подпереться да от тебя отхромать. Поближе было, только руку протянуть, вот и взял, не глядя. И на показ перед тобой с ней крутил и через силу старался во всем поперек тебе ставить, чтоб только на тебя осерчать, расколется с тобой напрочь. Умная ты, однако, сама должна видеть, да и понимать все, не поверю я... Таська!.. Да ежели бы по-серьезному, что ж я, лучше бы не мог сыскать! Совсем ведь бессмысленная девка, ну, нестоящая...

— Бессмысленная, а тебя вон как спутала.

— Как это спутала?

— А ты знаешь, у кого она ума набирается. Я сказала тебе, к кому она в заречье бегаёт, да кто ей рódные.

Тимка засмеялся.

— Ну, эта твоя история из газетки вычитана. Это ты от святости своей, как, значит, активистка... Да мне-то что! Хоть бы и бегала. У нас с тобой об ней кончен разговор. У нас своих делов до утра не переговорить. И все сообразить надо. Ты подь сюда ближе... Да чего же ты!

Что-то резко рванулось, зашуршало и смолкло. Потом зазвучал Тимкин тяжкий шепот:

— Так что же тебе, Полинарья... богом-господом, чо ли, божиться?.. Да не молишься ты, и я поотвык. Ты мне так поверь. Сказал: без тебя — никуда. Так и будет. До зимы — скажешь, буду зимы ждать. Еще набавишь, опять потерплю.

Говорю тебе: теперь на все хватит у меня силы. Веришь теперь, ну?.. Ну?..— повторил он властно.

Стихло. Потом зашептались едва слышно:

— Линушка, ты на каком ходишь-то?

— А сам не сосчитаешь?

— Не сбиться бы...

Засмеялась тихонько.

— На четвертом,— щепнула она.— Скоро прознают уж.

— Теперь пускай все прознают.

Зашумело сено. Не дыша, осторожно, я приподнялся, чтобы встать и уйти. И уж когда, крадучись, сделал я занемевшими ногами два-три шага по скользкой, росистой, скошенной траве, раздался Аполлинарьин голос, звучный, горестно-веселый:

— Ох, тяжко мне, Тимочка, с тобой будет, ох, чую, тяжко! Горя не оберешься... Да что уж!

Скользя по траве и спотыкаясь, я спускался по крутому склону в темноте, едва-едва потускневшей, шаги невольно уско-рялись, ноги бежали сами, и, разлетевшись, выставив вперед руки, я ткнулся ладонями в толстый, шершавый ствол лиственницы. Обхватил его и замер на месте. Что там было, подо мной? Обрыв ли, пологий ли скат?.. Смутно чернела внизу щетина нагорных лесов, холодным духом сырости, древесной гнили, кислинкой березового листа тянуло оттуда. Уже длинная тьма была чуть разбавлена белесыми полосами катунских туманов. Начиная светлеть безмерно далекий край неба, и там робкой, воздушно-серебряной чертой наметились зубцы и купола Терехтинских белков. Звезды в той стороне неба проредились, поблекли, но выше и над головой они еще горели торжественно, лучисто. Я подумал, что люди, которые вышли в эту минуту на воздух из айлов, крытых лиственничной корой, из войлочных юрт Кош-Агачского плато, из пошатнувшихся избенок Уймона,— все они видят вместе со мной те же созвездия и шепчут что-нибудь и хвалят свой желто-заревой Алтай.

А в Москве, пожалуй, и спать еще не ложились.

С. Маршак



БОР

Всех, кто утром выйдет на простор,
Сто ворот зовут в сосновый бор.

Меж высоких и прямых стволов
Сто ворот зовут под хвойный кров.

Полумрак и зной стоят в бору.
Смолы проступают сквозь кору.

А зайдешь в лесную даль и глушь,
Муравьиным спиртом пахнет сушь.

В чаще муравейники не спят —
Шевелятся, зыблются, кипят.

Да мелькают белки в вышине,
Словно стрелки, от сосны к сосне.

Этот лес полвека мне знаком.
Был ребенком, стал я стариком.

И теперь брожу, как по следам,
По моим промчавшимся годам.

Но, как прежде, для меня свои —
Иглы, шишки, белки, муравьи.

И меня, как в детстве, до сих пор
Сто ворот зовут в сосновый бор.

* * *

Не знаю, когда прилетел соловей,
Не знаю, где был он зимой,
Но полночь наполнил он песней своей,
Когда воротился домой.

Весь мир соловьиною песней прошит.
То слышится где-то свирель,
То что-то рокочет, журчит, и стучит,
И вновь рассыпается в трель.

Так четок и чист этот голос ночной,
И все же при нем тишина
Для нас остается немой тишиной,
Хоть множества звуков полна.

Еще не раскрылся березовый лист
И дует сырой ветерок,
Но в холоде ночи ликующий свист
Мы слышим в назначенный срок.

Ты издали дробь соловья улови —
И долго не сможешь уснуть.
Как будто счастливой тревогой любви
Опять переполнена грудь.

Тебе вспоминается северный сад,
Где ночью продрог ты не раз.
Тебе вспоминается пристальный взгляд
Любимых и любящих глаз.

Находят и в теплых краях соловьи
Над лавром и розой приют.
Но в тысячу раз мне милее свои,
Что в холоде вешнем поют.

Не знаю, когда прилетел соловей,
Не знаю, где был он зимой,
Но полночь наполнил он песней своей,
Когда воротился домой.

ДОБРОЕ ИМЯ

Памяти писателя Шолом Алейхема.

Потомков ты приветствуешь веселым
Простонародным именем, поэт.
«Шолом алейхем» и «алеихем шолом» —
Таков привет старинный и ответ.

«Шолом алейхем» — мира и здоровья!
Нет имени щедрее и добрей...
Еще вчера земля дымилась кровью
Растерзанных детей и матерей.

Прошла война по городам и селам,
Воронками изрыла пыльный шлях,
Где из местечка в город ездил Шолом,
Длинноволосый, в шляпе и очках.

Где в таратайке — юноша сутулый —
Под сонный скрип намазанных колес
Он балагурил с рыжим балагулой
И отвечал вопросом на вопрос.

В родной его Касриловке — Воронке,
Стирая память дедовских времен,
Война смела домишки, и лавчонки,
И синагогу, и резной амвон...

Но в день, когда друзья собрались вместе
Во имя жизни, смерти вопреки,
Победные и радостные вести
Мы принесли к могиле, как венки.

В боях за жизнь, в борьбе с фашистским рейхом
Сломила недругов твоя страна.
Ты слышишь ли, старик Шолом Алейхем?
Победой правды кончилась война!

Ты говоришь с потомками своими
Не на одном, на многих языках.
И пусть твое приветливое имя
Живет и светит в будущих веках!

Семен Курсанов



ЧЕРНОВИК

Это было написано начерно,
а потом уже переиначено
(пере-и, пере-на, пере-че, пере-но...),
перечеркнуто и, как пятно, сведено,
это было — как мучиться начато,
за мгновенье — как судорогой сведено,
а потом —
переписано заново, начисто
и к чему-то неглавному сведено.

Это было написано начерно,
где все больше, чем начисто, значило.
Черновик — это словно знакомство случайное,
неоткрытое слово на «нео»,
когда вдруг начинается необычайное:
нео-день, нео-жизнь, нео-мир, нео-мы,
неожиданность встречи перед дверьми
незнакомых — Джульетты с Ромео.
Вдруг —
кончается будничность!
Начинается будущность
новых глаз, новых губ, новых рук, новых встреч,
вдруг губам возвращается нежность и речь,
сердцу — биться способность,
как новая область
вдруг открывшейся жизни самой,
вдруг не нужно по делу, не нужно домой,
вдруг конец отмиранию и остыванию,
нужно только, любви покоряясь самой,
удивляться всеобщему существованию,

и держать,
и сжимать эту встречу в руках,
все дела посторонние выронив...

Это было написано все на листках,
рваных, разных размеров, откуда-то вырванных.

Отчего же так гладко в чистовике,
так подогнано все и подобрано,
так уложено ровно в остывшей строке
после правки и чтенья подробного?
И когда я заканчивал буквы стирать
для полнейшего правдоподобия —
начинал, начинал, начинал он терять
все свое, все мое, все особое,
умирала моя черновая тетрадь,
умирала небрежная правда помарок,
мир, который был так неожидан и ярко
и который увидеть сумели бы вы.
В этом сам я повинен, в словах не пришедших,
это было как встреча
двух мимо прошедших,
как любовь, отвернувшаяся от любви.

ЛЮДЯМ БУДУЩЕГО

Над самолетом — солнце близко,
внизу — туманная погода..
А я в уме писал записку
друзьям двухтысячного года:

— Мы с вами,
будущие люди,
все разберем, и все обсудим,
и все поправим, все наладим —
мир будет светел и наряден.

Пусть трудно тем, кто был допущен
смотреть и вглядываться дальше:
перед стихами о грядущем —
стояли бастионы фальши!

И пусть в другом тысячелетье
нет наших нынешних знакомых —
мы в этом новом Новом свете
себя почувствуем как дома.

И что в своей семье стесняться?
Теперь вы знаете, что делать.
А ваши дни нам часто снятся,
как Вере Павловне в «Что делать?».

И мы ведь были сном о чуде,
ведь до семнадцатого года
такие ж будущие люди
мы тоже были для народа.

За век до штурмов и нашествий,
свой горький день опережая,
писал те главы Чернышевский
с целинных наших урожаяев.

Для нас —
знаменами алели,
в подполье с Лениным трудились,
себя для нас не пожалели,
чтоб завтрашние мы родились.

У вас такие ж точно руки,
и вас мы кличем, заукав:
вы наши дети, наши внуки,
вы наши дети наших внуков.

И впредь у вас над головами
такое ж точно солнце будет,
ведь мы одно и то же с вами,
родные будущие люди!

Тут бой идет грознее библий,
тут нами строится преграда,
чтоб ваши бабки не погибли
от термоядерного ада.

Тут мы за будущее бились
железом, сердцем и словами,
чтоб матери в отцов влюбились,
чтоб забеременели вами.

Для вас мы выходили в поле
под шум уборочных орудий,
чтоб вам не знать голодной доли,
родные будущие люди!

Чтоб кислород остался тем же,
каким он был от сотворенья --
у нас в Москве, у них на Темзе,
у всех — на Сене и на Рейне.

Ведь ваших сыновей дыханье
мы отстояли в этом веке,
так посидите над стихами,
закрыв воспоминаний веки.

Я написал их над Ла-Маншем,
под гул винтов, во время круга.
Друзья,
давайте будем раньше,
сквозь время узнавать друг друга.

К. Мурзиди



* * *

За окнами липы цветут
И яблони пахнут весною,
А мы разглагольствуем тут...
Друзья мои рядом со мною.
Скажу им, решительно встав,
Скажу, человек откровенный:
— Я славлю партийный, военный,
Зовущий на подвиг устав!
Но этот, давно заведенный,
Не писанный, не утвержденный,
Железный устав не приму, —
Устав заседаний, собраний,
Где все расписали заранее, —
Он духу претит моему.
Казенные речи — на кой нам?
Кому они нынче нужны?
Любителям жизни спокойной,
Согласия и тишины.
Запал? Возраженья? Улыбка?
А если — обмолвка, ошибка?
А если... Им форму подай.
А душу — да ну ее к богу!
Испытывай после тревогу
И, может, безвинно страдай.
Чего председатель боится?
Ведь мы же не прочие лица.
Взросли мы на почве родной,
Сжились мы с великой страпою,
Сроднились — не надо иной.
Так яблоня с каждой весною

Все выше под солнцем встает,
Цветет, наливается силой —
И ветки разводит красиво
И горьких плодов не дает.

Скажи ему, партия, это
Взволнованным словом поэта.
А слово не тронет души —
Строжайшим решением скажи!

Юрий Нагибин



ХАЗАРСКИЙ ОРНАМЕНТ

(Рассказ)

Прошлый год зима выдалась на редкость многоснежной, а весна — на редкость водообильной. Пробираясь из Спас-Клепиков на озеро Великое, мы не узнавали уже хоженной дороги и знакомых мешчерских просторов. Леса купались в воде — казалось, они растут из неглубоких, чайного цвета озер. Каждый овраг, каждая впадина наполнились водой, отражавшей днем небесную голубизну, а ночью — звезды. Сухие канавы и обочины превратились в реки, всякая трещинка, морщина в земле обернулась ручьем, все вокруг текло, бурлило, хлюпало, парилось туманом, моросило, пронизывая до костей колючим холодом. А с северных склонов холмов еще сползали, шипя, и растекались у подножий тощими водопадами последние, серые, в стеклянной корке, снега.

Вода удивительно изменила рельеф местности. Она загладила складки, сровняла неровности, кое-где накрыв орешник, молодые дубовые рощицы, она поглотила всю молодую поросль и оказалась бессильной лишь перед елями, соснами и старыми плакучими березами. Вода отблескивала в воздух, и в этом отблеске становились невидимыми стволы дальних деревьев. Казалось, будто шатры елей, купы берез и кроны почти голых сосен свободно висят в просторе.

По зеркалу новоявленных озер, над пашнями, лугами, перелесками скользили плоскодонки и знаменитые местные «дубки», выдолбленные чаще из сосны, нежели из дуба. Деревья и кусты, над которыми они проплывали, цепляли их за днище своими верхушками, словно водоросли, порой гребцы раздвигали веслами ольшаник, словно камыш или тростник.

Будь я один, я бы давно заплутался, но мой напарник, Леонтий Сергеевич, страстный охотник и рыболов, а в свободное

от рыбалки и охоты время — искусствовед, уверенно шагал вперед, не давая весеннему потоку сбить себя с толку. Но это не значит, что мы быстро продвигались к цели нашего путешествия. Выйдя под вечер, мы к ночи — из-за бесконечных обходов — не сделали и пяти километров полезного пути. Тьма наполнилась звездами. Они горели над нами, под нами, вокруг нас. Ближе к полуночи сверху вниз и снизу вверх потек лунный свет, и уже нельзя было распознать, где земля, где небо.

Мы долго искали сухое пристанище для ночлега и, наконец, наткнулись на костер. У костра сидело несколько охотников. Они сушили сапоги, портянки и дружно, в один голос, ругали весну, половодье и свою беспокойную охотничью страсть, погнавшую их в чертову распутицу вон из дома.

Кое-как пристроившись к костру, все время грозившему потухнуть и источавшему больше дыма и чада, нежели тепла, мы с грехом пополам переночевали на еловом лапнике. Утром двое из нашей компании повернули восвояси, и мы отправились в путь впятером.

Теперь уже ругали не весну, а тех двоих, что сдрейфили, и это придавало бодрости. Все же после переправы через Святое на дубках, по мелкой, противной волне, то и дело стрелявшей из-за носовой части ледяными, колючими брызгами, отсеялось еще двое. Кое-как просушившись в лесной сторожке, омываемой со всех сторон водой, мы двинулись дальше уже втроем. С нами остался рослый, крупноватый парень с полным, немного бабьим лицом в светлом, мягком пушке молодой бороды. Он шел упрямо, не разбирая дороги, не ища тропок, черпая воду отворотами резиновых сапог, напролом сквозь чащу, обдававшую его с ног до головы скопленным в ветвях ливнем, и трудно было понять, чего больше в этой нерасчетливости — мужества или отчаяния. Все выяснилось под вечер, когда мы ужинали в крошечной чайной в одной из лежавших на пути деревушек.

Охотник выпил водки и стал рассказывать, что жена изменяет ему с ветеринаром. Рассказ был долгим, обстоятельным, ненужно откровенным, и мы поняли, что и этот спутник решил повернуть назад. Так оно и оказалось. Расплатившись за ужин, он встал, ленивым движением прихватил ружье, рюкзак и, не попрощавшись, будто на минутку, вышел из чайной. Мы ждали его с полчаса; он не вернулся.

— Тем лучше,— заметил Леонтий Сергеевич,— вся утка нам достанется.

— Нет,— сказал, оторвавшись от счета, официант, худенький, востренький паренек,— тут еще раньше вас один человек прошел.

— Какой человек?..— удивился Леонтий Сергеевич.

— Тоже охотник,— ответил официант,— он еще до вашего прихода вышел.

— Видали! — с азартным блеском в глазах воскликнул Леонтий Сергеевич.— Вот молодчага! Один, на ночь глядя, не побоялся!..

По правде говоря, я не возражал бы против того, чтоб вся утка досталась этому одинокому охотнику. Я устал, намерз, отсырел, бесконечные потоки воды давно погасили во мне охотничий запал, но я знал, что на Леонтия Сергеевича не подействуют ни жалобы, ни доводы, и только вздохнул.

«Ничего, настанет день, когда я буду думать о нашем походе в прошедшем времени»,— прибег я к излюбленному утешению и следом за Леонтием Сергеевичем вышел из тепла чайной в сырость и тьму.

Конечно, мы сбились с дороги и обнаружили это довольно поздно, ибо дорога и бездорожье в здешних местах почти едино: те же ухабы, те же лужи, та же неразбериха под ногами. В какой-то момент я вдруг почувствовал, что земля уходит из-под ног и я ступаю в жидкую, вязкую, топкую стихию. Тщетно пытался я найти хоть какую-нибудь опору вокруг себя, с каждым шагом я все сильнее погружался в омерзительное месиво.

Я остановился. Кособокая луна, замутненная бегущими в разные стороны рваными, тощими тучами, бросала на болото желтоватые пятна света. Приглядевшись к этим пятнам, я решил, что желтизной окрашена трава, стало быть там— твердь, а черные плешины— торфяная топь. Примерившись взглядом к ближайшему желтому пятнышку, я рывком вырвался из засоса, сделал два заплетающихся шага, ступил на желтизну и провалился по пояс. Ничего не понимая, я попытался схватиться руками за соседний желтый островок и увяз в торфяной жиже. Мне удалось вырвать руки, но от этого движения я еще глубже ушел в трясину. Луна так предательски распределила свет и тени, что я спутал твердое с топким. Впрочем, вина моя: как было не догадаться, что луна, отражаясь в пленке воды над торфом, желтит как раз топь, оставляя в тени травяные островки.

Странно, я никогда не придавал значения мещерским опасностям. Мне не верилось в те первобытные способы гибели, о каких любят рассказывать местные жители. Мещера так близка от Москвы, от всего привычного, прочного московского уклада, что я просто не мог поверить, будто тут можно погибнуть. Но сейчас обставшая меня со всех сторон огромная и вместе тесная ночь словно отделила меня от всего мира. Я ощутил себя безнадежно отрезанным от всего родного, привычного, безопасного и впервые испугался. Самообладания хватило лишь настолько, чтоб вместо панического «Спасите!» крикнуть: «Леонтий Сергеевич!»

— Дайте руку,— раздалось почти у самого уха, и мне сразу стало совестно. Я должен был знать, что мой надежный спутник рядом и придет на помощь, не ожидая крика.

Я наугад выбросил вперед руку и поймал его пальцы. Сильным движением Леонтий Сергеевич вырвал меня из жидкого капкана.

— Идите в мой след,— сказал он.

— Я не вижу следов.

— Шагайте по темному.

Это было не так-то просто: каждое темное пятнышко представлялось мне жутким кружком омота. Ступишь — утонешь. Но приходилось идти...

Тьма впереди уплотнилась, и это глухо-черное, чернее остальной ночи,— похоже, кустарник,— обвелось слабым, мерцающим контуром. Казалось, что не мы приближаемся к этому черному, а черное наплывает на нас. И оно было уже совсем близко, когда вдруг что-то качнулось под ногами и Леонтий Сергеевич сделался совсем крошечного роста. Через миг мы сравнялись в росте — я тоже провалился по грудь в трясину.

— Ничего, ничего...— бодро говорил Леонтий Сергеевич.— Давайте вашу руку, сейчас выберемся.

Словно крошечный лучик прожектора скользнул по болоту. Изумрудно зазеленив осочные травы, он за клубился в голубоватом испарении трясины и, вырвавшись из него, поместил нас в центр широкого светлого круга.

— Хватайтесь за палку,— послышался голос из того места, откуда выходил конусок света.— Твердое рядом...

В следующий миг Леонтий Сергеевич вдруг вырос над трясинной, его пальцы, как клещи, впились в мою руку, рывок — и мы уже стоим на твердом и высокий мокрый кустарник щекочет лицо.

— Дорога рядом — сразу за кустами,— сказал наш невидимый избавитель.

— Вы здешний? — поинтересовался Леонтий Сергеевич.

— У меня карта,— ответил незнакомец, выдавил из фонарика пучок света и показал карту под целлофановой крышкой планшета.

Мы двинулись гуськом через кустарник и вскоре вышли на широкую, поблескивающую множеством луж, уходящую вдаль, во тьму, полосу земли. Но идти по этой дороге оказалось немногим легче, чем по болоту. Видимо, когда-то она была мощена булыжником, но ее давно разъездили, разбили. и булыжник сохранился лишь на закраинах глубоких, полных воды ям.

Мы так долго, так невыносимо долго оскальзывались на глинистых, путаных колеях, проваливались в ямы, набирая полные сапоги воды, сбивали ноги о булыжник, что в конце концов добрались до какой-то деревушки.

В первом же доме, где мы попросились на ночлег, нас сразу пустили. В Мещере не было случая, чтобы охотникам отказали в пристанище, как бы мало и тесно ни было жилье. А уж теснее

этого жилья нельзя себе и представить. Посреди комнаты висела зыбка, и старуха с лицом, изъеденным волчанкой, качала ее, напевая что-то однотонное, что убаюкивало ее самое, но не младенца. Стоило старухе заклевать носом, как ребенок принимался истошно кричать. Его крик нисколько не тревожил других многочисленных обитателей избы, спавших впокат на полу. Да еще с печи свешивались две пары босых ног. Но заспанный хозяин уверенно и наугад сдвинул какие-то лавки, кинул в угол овчинный тулуп, ситцевую подушку без наволочки, подгрел сенца, застелил его полотенцем, и получилось ложе, вполне достаточное для троих. Затем, ни слова не говоря, он залез на печь, и ступней стало не четыре, а шесть.

Пока мы с Леонтием Сергеевичем чистились в сенях, наш спутник внимательно изучал карту при слабом свете коптилки.

— Нет, это действительно та самая дорога! — сказал он, когда мы вернулись в избу. — Вот болото, кустарник, вот Перхушково, где мы с вами находимся, а вот и лента дороги. Обратите внимание на условные знаки — мощеная дорога!

— Да, — согласился Леонтий Сергеевич, бросив взгляд на карту, — а что вас так удивляет?

— Но это же, черт знает что такое, а не дорога! — взорвался человек. — И не стесняются на карте помечать! Ведь по всему району такие, с позволения сказать, дороги. Да что по району, по области!..

Я знал, что Леонтий Сергеевич терпеть не мог острых разговоров. Вот и сейчас, желая отвлечь незнакомца от опасной темы, он спросил:

— Вы из Москвы?

— Нет, из города, — ответил тот вскользь — это означало на местном языке — из райцентра, и продолжал с той же горячностью: — Дороги — это лицо страны. А разве у нас дороги? Сколько лишних мук терпит русский человек из-за проклятого бездорожья!..

— Потерпите — не все сразу, — пробормотал Леонтий Сергеевич. — Мы столько строили!..

— Бросьте! — сердито перебил человек. — Строили!.. А сколько понастроили никому не нужной дряни? Все эти колонны, арки, балкончики, завитушки, все эти дома-торты, все эти дворцы! Да что говорить! В самую зачуханную забегаловку норовили втащить пальму, в самом загаженном скверике водрузить статую. А дороги, артерии жизни, о них не думали, да и сейчас мало думаем...

Он с жаром и злостью развивал эту тему, и, по мере того как он говорил, крупное, высоколобое, серьезное лицо Леонтия Сергеевича становилось все более замкнутым, запертым, рассеянно-отчужденным. Леонтий Сергеевич так отчетливо самоустранился из беседы, что, когда он вдруг встал и вышел из дома, это даже не выглядело невежливым.

— Разве я сказал что-нибудь обидное для вашего товарища? — с удивлением спросил человек. — Он, случаем, не дорожник?

— Нет, — ответил я, пожав плечами. Конечно, я не стал объяснять этому незнакомому охотнику, что мой спутник, такой уверенный и надежный в природе, был человеком раз и навсегда испуганным. Он и в науке-то выбрал область, бесконечно далекую от живой жизни: он изучал древний хазарский орнамент. Мне казалось порой, что он и сам с горечью переживает эту свою «испуганность», но ничего не может поделать с собой.

Когда Леонтий Сергеевич вернулся, человек с карандашом в руках доказывал мне, насколько убытки от бездорожья превосходят стоимость новой дороги. Я очень люблю сердитых людей. Не холодных зубоскалов, не пустых критиканов, а сердитых, даже злых от своей заинтересованности в хорошем, правильном, нужном для жизни. Незнакомец сердился и ругался с болью, и этим он сразу расположил меня к себе. Но Леонтий Сергеевич был иного мнения. Когда мы легли спать, он шепнул мне на ухо:

— Давайте пораньше выйдем... Зачем нам третий?..

Но третий и сам не стал нас дожидаться. Как ни рано мы поднялись, незнакомец опередил нас, его постель была убрана, а самого и след простыл.

Все же нам снова довелось встретиться с ним, и не позднее чем в то же утро.

Маленькая речка Стуколка, которую мы в прежнее время переходили вброд, не желая пользоваться трухлявым деревянным мостком, разлилась до размеров Волги, слизнув мосток. До ближайшего перевоза было километров шесть. Скрепя сердце двинулись мы берегом реки и вдруг увидели в камышах плоскодонку и старика рыбакова, ботавшего сазанов. За десятку он согласился перевезти нас на ту сторону. Мы медленно двинулись наискось невысокой, но тугой, резиновой волне. Глубина была такая, что длинный шест старика почти целиком уходил в воду. Волна гулко била в днище лодки: казалось, кто-то злой и упрямый пытается расстрелять нас снизу. Уже вблизи берега мы увидели темную полоску на воде, а рядом словно бы две кочки.

— Видать, перевернулись, — спокойно заметил старичок рыбак. — Разве ж можно на дубке пускаться! — Он покрутил головой и добавил с оттенком снисходительного восхищения: — Отчаянные!..

Подплыв ближе, мы увидели двух человек, по пояс в воде толкавших перед собой дубок.

— Эй, в лодке! — слышался знакомый, немного осипший голос. — Спасайте наши души!

Голос принадлежал нашему ночному спутнику. Я с некоторым удивлением пригляделся к невысокому, щупловатому, но

жилисту, средних лет человеку, с кирпичным, от века загорелым лицом, светлыми волосами, падавшими косою челкой на лоб, а на макушке торчавшими петушком. Ночью при свете коптилки он показался мне крупнее, старше, солидней.

— Весло упустили,— сообщил человек, когда мы подплыли вплотную. Перевозчик, толстый, губастый парень, смущенно гмыкнул. Мы приняли пассажиров на борт, а дубок забуксировали цепью. Усевшись на дно лодки, человек вынул носовой платок и, склонившись над водой, шумно и старательно высморкался. После этого он начал чихать. Чихал он минуты две с равными промежутками, хохолок на его макушке смешно вздрагивал.

— Волховский фронт,— наконец-то уgomонившись, сказал он и усмешливо добавил: — Полтора года болотного режима чудесно укрепляют здоровье!

Он достал из кармашка какой-то порошок, высыпал его в рот и, зачерпнув горсточкой воду, запил лекарство.

— Испортили вы себе охоту,— сочувственно заметил Леонтий Сергеевич.

— Что делать,— пожал плечами человек,— новый организм не купишь, приходится жить с этим...

В озерной сторожке, где мы сделали привал, человек разулся и сразу забрался на печь. Порасспросив сторожа, мы выяснили, что отсюда до Подсвятья есть два пути: ближний — водой, и дальний — в обход по суше. Наша старая тропка по берегу реки была затоплена.

— Хватит с нас воды,— сказал я и невольно посмотрел на печь, где прикорнул наш захворавший спутник.— Лучше сделаем крюк...

— Будь по-вашему,— пожал плечами Леонтий Сергеевич.

Он сложил на столе свой запас лекарств, без которых не ходил на охоту, хотя сам никогда не болел, и на вырванном из блокнота листке написал большими печатными буквами: «Три раза в день по две таблетки». Листок он вставил стоймя в щель стола, и мы вышли.

Не прошли мы и десятка километров, как наступила ночь, заставшая нас у околицы неведомой деревеньки, как потом оказалось — Конькова.

— Заночуем здесь,— решил Леонтий Сергеевич,— а завтра дадим последний рывок.

По обыкновению мы зашли в первую от околицы избу, благо там горел свет, значит хозяева не спали.

Нам открыл рослый, плечистый, волосатый и немного хмельной дед.

— Заходите, заходите,— сказал он с обычным мещерским радушием, к тому же подогретым вином.— Тут уже один ва-

шего звания обитается.— Он кивнул на печь, из-за ситцевой занавески слышалось мерное, влажно-хриповатое дыхание спящего человека.

— Не помешаем? — спросил Леонтий Сергеевич, складывая в угол ружье и рюкзак.

Дед отлично знал, что вопрос задан из вежливости, но почел нужным дать подробные разъяснения.

— Кому мешать-то? Сын на озере, невестка в городе, дома одни мы с внуком. А энтот,— он снова кивнул на печь,— почитай без памяти. Вот уж верно: охота пуще неволи! Пришел — изо рта паром дышит, весь так и горит. Я его чаем с сушеной малиной напоил, в две шубы закутал и на печь. Может, отпотеет.

Мы обменялись с Леонтием Сергеевичем взглядом. Похоже, что человек на печке — наш давешний спутник. Значит, купание в Стуколке не произвело на него должного впечатления: он мог опередить нас только водой.

— И ведь с чем охотиться-то пришел,— дед с таинственно-смешливым видом поманил нас пальцем.— Видали? — Он снял со стены одноствольное ружьишко, из тех, что продаются в магазинах в разгар охотничьего сезона по полсотне штука.— На что уж у наших охотников ружья неказисты, а таких не видывал. А боезапас, гляньте,— и десятка патронов не наберется. Я ему говорю: с чем охотиться-то пришел? А он: «Нешто тут нельзя патронами раздобыться?» Чудак человек, у тебя ж патроны под жевело, двенадцатый калибр, а у нас только шестнадцатый в моде!

Дед говорил громко, не боясь, что человек на печи услышит.

Меня, признаться, самого удивило в нашем знакомце сочетание редкого дорожного упорства с полным небрежением к охотничьему снаряду. Леонтий Сергеевич, верно, подумал о том же, но только пожал плечами: такт охотника не позволил ему осуждать собрата.

Мы сели ужинать, пригласив с собой деда. Мещерцы народ непьющий, вернее пьющий, но мало и редко. Ведь им необходимо всегда сохранять твердость руки и точность глаза. Но если мещерцу случится слегка оскоромиться, то он уже хочет иметь с этого полное удовольствие. Тогда мещерец, обычно человек сдержанный, задумчивый и немногословный, становится общителен, шумен и велеречив. Предметом его разговора, как правило, является Мещера, ни на что не похожая, особая, единственная. С необидным для окружающих, хотя и задиристым гонорком Мещера со всем, что в ней есть, превозносится над всеми землями, городами и весями. Наш дед не являл собой исключения, он только и ждал повода, чтоб обратиться к излюбленному предмету.

Этот повод вскоре дал Леонтий Сергеевич. У стола крутился внучек деда, мальчуган лет десяти — одиннадцати.

— На конфетку, — сказал Леонтий Сергеевич добрым голосом и погладил мальчика по спутанным русым волосам. — В каком классе учишься?

— Он уже отучился, — ответил за него дед, в то время как внук выедал из бумажки подтаявшую в кармане Леонтия Сергеевича шоколадную конфету. — Ему двенадцатый годик пошел.

— Что-то рано отучился! — озадаченно произнес Леонтий Сергеевич.

— У нас дальше третьего класса одни девочки учатся, — с достоинством пояснил дед.

— Почему так?

— А как же? Стукнет мальцу одиннадцать — ему ружье дают. Ну, и конец ученью. Весной да осенью — утка, зимой — заяц.

— Ну, а как же с всеобщим и обязательным обучением? — строго проговорил Леонтий Сергеевич.

— Мы — люди отдельные! — со смаком определил дед. — Мещера!..

Дед допил водку из граненой стопки, покрутил кудлатой головой и, радостно заблестев глазами, сказал таинственно и важно:

— Мещеру понять надо! — Он ткнул большим пальцем в черный квадрат окна. — Вон зареченские рыбаки и ботают, и удочками рыбку ловят, и жерлицами, и переметом, иные даже катушками разжились. А мы всем этим гребуем. Мы рыбку один раз в году ловим, как в старину ловили, зато сразу по пять-шесть центнеров берем.

— Это как же так? — спросил я.

— А очень просто, — обращаясь попрежнему к Леонтию Сергеевичу, заслужившему особое его уважение, пояснил дед. — Протоки видал? Ну, канавы между озерами?.. По зиме наша Пра промерзает чуть не до самого дна, а рыба там, попросту сказать, задыхается. Тогда мы беремся за черпаки и гоним по протокам чистую воду к Пре. Рыба эту воду чувствует и вся как есть идет в протоку. Чтоб ей попросторнее было, мы устьице расширяем. Набивается ее там видимо-невидимо, только знай вычерпывай.

— Кто же это вам разрешает?

— Что значит «разрешает»? — глядя мимо меня, на моего спутника, гордо спросил дед. — Мы по договору с рыбхозом промышляем.

— А-а! — с заметным облегчением протянул Леонтий Сергеевич.

— Как же иначе! Рыбачок заключит договор на четыре-пять центнеров, килограммов тридцать сдаст, остальное на рынок. Очень свободно!

— Но ведь это же обман! — морщась, словно от зубной боли, сказал Леонтий Сергеевич.

— Известно: не обманешь, не продашь! У нас и охота круглый год. Нам иначе нельзя. Мещера!..

— Что у вас за присказка такая. Мещера да Мещера! — послышался с печи из-за ситцевой занавески простуженный голос.

Услышав эту фразу, дед вздрогнул, как боевой конь при звуке трубы, но промолчал. Он не хотел разговаривать с занавеской, считая это ниже своего достоинства, как не хотел разговаривать со мной, уж слишком неровней был я ему по годам. Он хотел разговаривать с Леонтием Сергеевичем, солидным, за сорок человеком, от которого веяло домовитостью и жизненным опытом.

— Мещера!.. Мещера!.. — сквозь кашель проговорил человек на печке. — Будто вы и впрямь из особого теста слеплены.

Дед с надеждой посмотрел на Леонтия Сергеевича. Верно, ему хотелось, чтобы и тот поддержал эту еретическую мысль, тогда ему радостно и сладко будет спорить. Но лицо Леонтия Сергеевича подернулось знакомым мне непроницаемым облаком, взгляд обратился в ту далекую пустоту, где не было ни приютившей нас избы, ни общительного и настырного деда, ни сердитого и колкого человека на печи, ни сомнительных разговоров, в которые его опять пытались втянуть.

После довольно продолжительного молчания дед пустился на хитрость.

— Чего ты говоришь? — спросил он Леонтия Сергеевича. — Я что-то не понял.

— Ничего я не говорю, — угрюмо отозвался Леонтий Сергеевич.

— Чего-то ты вроде сказал, будто мы какие особенные...

— Ничего я не сказал, — повторил Леонтий Сергеевич, покосился на печку и каким-то тонким раздраженным голосом воскликнул: — И не желаю ни о чем говорить, ясно?

Наступила неловкая пауза. Желая замять неприятную выходку Леонтия Сергеевича, придать ей иной смысл, я сказал:

— В самом деле, странно вы, дедушка, рассуждаете. Живете под боком у столицы, а понятия у вас... — Я не нашел, как определить понятия деда, и только покачал головой.

Дед, несколько сбитый с толку непонятной ему вспышкой Леонтия Сергеевича, радостно откликнулся на мое замечание.

— Что мы у столицы под боком — это еще с какой стороны взглянуть! Живем мы, верно, на самом стыке Московии и Рязанщины, а вот сколько, по-вашему, письмо от нас до Москвы идет?

— Не знаю, на второй день должно прийти...

— Верно, что должно. И приходит, коли ты его через мо-

сковскую почту пошлешь, по ту сторону Пры, а если здесь в ящик бросишь, то, дай боже, на восьмой, на девятый день придет. Тоже и к нам: считай, ден с десять... Так вот, как бы вам объяснить,— уже не с прежним гонорком, а как-то раздумчиво сказал дед,— вроде и вся жизнь к нам в обход идет да с опозданием.

— Что верно, то верно! — донеслось с печки.— А только с почтой можно бы наладиться.

— А как наладишься? Сын в районную газету писал, напечатали, даже денег заплатили, шесть рублей. А почту и во все перестали носить. Нас с тех пор газетчиками в деревне кличут. Вот и вся выгода!

Дед плюнул на пол, растер ногой и продолжал:

— Под бок у Москвы. А спросите, кто тут у нас бывал в Москве? О бабах и говорить нечего, а из мужиков, может, и наберется человечка два-три. Да что в Москве — в Рязани мало кто бывал. Мне вот седьмой десяток, а я из городов только Спас-Клепики видел. Разве вот кто в армии служил, те, конечно, свет повидали... Нет, нашу жизнь ни с кем равнять нельзя. Одно слово — Мещера! — с вновь пробудившимся гонорком закончил дед.

— Ну, за всю Мещеру ты не расписывайся! — послышалось с печи. Ситцевая занавеска дрогнула и поползла в сторону. Мы увидели теперь уже не кирпичное, а пунцовое от жара лицо нашего дорожного спутника. Отчего-то потемневшие и словно завившиеся волосы колечками падали на лоб.

— Спасибо за лекарство,— сказал он Леонтию Сергеевичу.— Очень вам спасибо!.. Послушай, дед,— обратился он к старику,— а может, вся беда в том и есть, что люди вы больно отдельные. Попробовал бы жить, как в той же Мещере другие живут. Не все ж дураки кругом.

— Это ты на что же намекаешь? — впервые отнесся к нему дед.

— Охота охотой, рыбалка рыбалкой, а ведь для сельского человека колхоз, как-никак, основа жизни.

— Чего? — дед прищурился и взглянул на Леонтия Сергеевича, словно ожидая подтверждения.— Колхоз-оз?..

— Конечно,— казенным голосом подтвердил Леонтий Сергеевич.— Колхоз — фундамент...

— Понятное дело! — с торжеством, будто заранее предвидел такой оборот разговора, сказал дед.— Есть у нас колхоз, и Дунька в нем председатель.

— Кто она такая — Дунька? — спросил я.

— А кто ж она: Дунька и есть. У нас тут колхоз укрупнили, да вот укрупнение это — одна только видимость. Подсвятые от нас, почитай, половину года отрезано, а до Болотной и летом-то не во всякую погоду доберешься. Да и чего укрупняться было? Комбайна здесь сроду не видели, не проходят к

нам комбайны, да и нужды нет. Поля мелкие, дробные, все лес да болото, а всежки жили от него, от колхоза. Как укрупнили, так все и расползлось. Народ в правленья собрать — и то дело неммысленное!

— Постой, дед, ты про Дуньку хотел? — сказал человек на печке.

— К ней и веду. Колхоз у нас ныне такой, что посеем, то назад не берем. Бывает, телята потравят колхозную гречу, а народ и говорит: это хорошо, крестьянину польза и колхозу выгода — убирать не надо. Вот до чего дело дошло. Ясно, что в такой колхоз идти председателем никому неохота. В районе назначили к нам одного человека, конторой связи заведовал. Он уперся — ни в какую. Иди, говорят ему, в председатели или клади партийный билет на стол. Он подумал-подумал и решил: чем сперва мучиться, а потом билет отдать, так лучше уж сразу. И положил билет. Тогда за другого взялись: он недавно из Москвы в район переехал. Тем же манером к нему. Он и говорит: я уж под это дело с Москвой расстался, хватит с меня. Тут и вывернулась эта Дунька. Она в военном санатории уборщицей работала, а вообще местная, подсвятъинская. И кто бы подумал: кандидат в партию. Гарантируйте, говорит, мне четыреста рублей зарплаты — приму колхоз. В городе обрадовались и провели...

— Ну, и как она?

— Чего как: Дунька — она Дунька и есть. Зарплату получает.

— Зачем же вы ее выбирали?

— Чего? — не понял дед. — А как не выбрать? Не ее, так кого другого, еще почище, навяжут.

— Здорово вы, однако, осведомлены о том, что в городе делается! — с какой-то сложной интонацией сказал человек на печке.

— Мы-то сведомы, да вот город не больно о нас сведом. Неинтересная наша жизнь, товарищи дорогие, очень неинтересная! — сказал дед строго и печально. — Все куда-то движение имеют, одни мы будто в трясине увязли, ни взад, ни вперед. Так ли уж широка речка Пра? По ветру полчаса всего и ходу, а поглядите вы зареченскую жизнь и нашу. Будто цельный век между нами лежит. У них электричество, и радио, и кино, у них школа-десятилетка, клуб, к ним, сказывают, артисты с самой Москвы приезжают. А у нас копилки, у нас на три деревни у одного подсвятъинского Анатолия Ивановича — может, слышали — радио имеется. Так он, кроме последних известий, ничего не слушает, батарейки бережет. Одиковели мы тут на отшибе, что и говорить!

— Но в чем же, в чем причина?! — неожиданно вернувшись из своего бесконечного далека, спросил Леонтий Сергеевич. — Нельзя же так.

— А в том, мил-друг, что забыло о нас начальство!

— Начальство начальством,— громко сказал человек на печке,— да не в нем одном дело. Привыкли к плохой жизни — вот что худо!

Дед никак не отозвался на эти слова, только покачал головой, то ли соглашаясь с человеком, то ли отвечая каким-то своим мыслям.

— Что же, у вас никто не бывает из района? — спросил я.

— Как же, приезжали инструктора с райкома, случилось. Да ведь как приезжали! Один заявится в разгар охоты, другой под рыбу угодит, народ, конечно, в расходе. Пошебуршит он с председателем — и драла назад.

— Ну, а секретарь райкома?

— У нас главным секретарем, почитай, шесть лет женщина сидела. Ну, куда ей было в этакую глухомань ехать? Потом, правда, мужчина значился, только у него, говорят, в обычае было: из города ни шагу. После обратно мужчина состоял, тот, верно, приехал раз. Прямо к нам приехал, в самую что ни на есть глубинку, в самое что ни на есть подходящее время — в марте! — старик рассмеялся долгим-долгим, в слезу, смешком. Казалось, он никогда не наладится, так рассмешило его воспоминание о секретарской поездке.

— Ну, и чем же кончилось?

— Тот-то и оно, что ничем,— сказал дед, перестав смеяться.— Об тот год распутица была вроде нонешней. Секретарь отважный был, напрямки через Великое пустился. Ну, конечно, побрызгало его, сердягу, он на берег чуть живой выбрался. Тот-час в избу и волки требует. Народ, конечно, обрадовался: за пол-литром, известно, самый душевный разговор идет. Наладили парус и махнули в Фалеевку за двенадцать километров. Чуть не утопи, но полушечку раздобыли. А секретарь эту водку в наружное пустил, обтерся ею с маковки до пят, спросил лошадей да дунул восвосяи. Говорят, его сейчас сняли, так сказать, по совокупности дел... Вот как о нас начальство печется!..

— Это ж бог знает что! — прорвался вдруг Леонтий Сергеевич. В коротком, взволнованном, негодующем жесте руки словно впервые приоткрылось запертое за семью печатями его неубитое сердце.— Гоголевщина какая-то! Подумать только, таким вот мертвым душам доверяют живых людей!..

— Потерпите, не все сразу,— насмешливо произнес человек на печке, возвращая Леонтию Сергеевичу его собственную реплику.— Мы же столько строили!

Человек этот, видимо, был совсем не прост и куда более приметлив, чем мне казалось. Леонтий Сергеевич недоумебно вскинул брови, затем густая краска стала медленно заливать его лицо.

— Я понимаю вашу иронию,— тихо сказал он,— но, признайтесь, это пострашнее бездорожья.

— Одной цепи звенья! — резко кинул человек. — И дома с колоннами, которые ничего не поддерживают, и дикое бездорожье рядом с автострадой, и то, что рассказал нам дед. Теперь это видно, как никогда! А есть еще люди, — человек очень пристально поглядел на Леонтия Сергеевича, словно на мушку взял, — которые так сроднились с бедой, с памятью о беде, ну как больной свыкается с болезнью. Они столько лет, хоть и невольно, загоняли внутрь себя все живое, искреннее, смелое, что и теперь никак не решаются жить в открытую. Понять-го это можно, а только грустно это...

Леонтий Сергеевич как-то болезненно смутился, он засузил глазами, ресницами, каждой черточкой лица.

— Вот, дед, какие дела, — отведя взгляд от Леонтия Сергеевича, сказал человек обычным своим голосом. — Выходит, ты и сам понимаешь, что так жить долгие нельзя!

— С чего это ты взял? — снова заговорил дед. — Никто не жалуется. Мы люди отдельные! Пока рыба ловится, утка летает, мы ни от кого не зависимые.

— А ну-ка запретят охоту? — слышалось с печи.

— Это как же так — запретят?

— Очень просто — запретят, и все. По всей Средней России.

— Может, где и запретят, — уверенно сказал дед, — да только не у нас в Мещере! — Но, видно, что-то кольнуло его, потому что вслед за тем он спросил с ноткой тревоги: — А что — нешто был такой разговор?

— Не только разговор, а решение заготовлено, — твердо ответил человек. — Насчет будущей весны — это точно. А может, и на весь год, а то и на два. Зима на юг спустилась, вымерзает птица на зимовьях, от бескормицы гибнет. Лебеди, на что выносливые, и те вымирают...

— Беда! — искренно огорчился дед. — Правильно, что запретят, надо птице свой убыток пополнить. Только до нас это не касается, мы как стреляли, так и будем стрелять.

— Вам, что же, закон не писан?

— Не писан, дорогой товарищ, для нас охота — не баловство, мы только с нее и живем.

— От браконьерства убыль не меньшая, чем от заморозков на юге...

— Ты, часом, не по охране дичи работаешь? — подозрительно спросил дед.

— Отчасти и по этому делу, — чуть приметно усмехнулся человек.

— Так я тебе скажу, не знаешь ты Мещеру. Когда у других пусто, у нас густо. Мещера вовек дичью не обедняет.

— Ты так думаешь, дед? — почти с грустью спросил человек. — А где мещерский бобр?

— Бобра, это верно, повыбили, — охотно согласился дед.

- А много ль у вас лосей осталось?
- С лосем тоже маленько перестарались.
- А выдра куда девалась?

— Выдру уничтожили подчистую,— радостно, будто, наконец, поймал своего собеседника, вскинулся дед.— Выдра рыбу пожирает. У нас закон: идешь на реку, бери ружье и бей ее без пощады, гадюку. Так что насчет выдры будь покоен...

— Скажи, дед, а не замечал ты, что в последние годы рыбы меньше стало? — все так же негромко, но с каким-то заворачивающим напором спросил человек.

Быть может, ощутив этот напор, я вдруг понял, что человек на печи ведет разговор неспроста, вовсе не из желания убить время или одержать верх, как то бывает с любителями поговорить. Нет, у него, похоже, была какая-то далекая цель, была еще до того, как он перехватил нить разговора. Я увидел, что и Леонтий Сергеевич с острым вниманием прислушивается к спору.

— Рыбы хватает! — беспечно сказал дед, но тут же, с добросовестностью старого человека, поправился.— Оно, конечно, не то, что в прошлые годы, а ничего, жить можно.

— Эх, дед, дед,— человек с укором покачал головой.— Потому-то и рыбы стало меньше, что выдру побили. Выдра только больную, слабую рыбу хватает, ей за сильной, здоровой не угнаться. Не стало выдры — болезнь по рыбе пошла...

— Может, и так,— тихо подтвердил дед.— В природе, и верно, круговорот существует.— Он стал как-то очень внимательно прислушиваться к тому, что говорит человек, но сдаваться все же не хотел.— Мещера птицей сильна...

— А куда же глухарь подевался, дед? Тетерев? Вальдшнеп? Кроншнеп?

— Боровой дичи у нас не водится. Я вот седьмой десяток живу, отродясь в наших местах ни глухаря, ни тетерева не встречал. А этого, как его там... кронштей и прозвания не слышал.

— Вон как! — сказал человек и полез в нагрудный карман гимнастерки. Он вынул оттуда пачку плотно смявшихся от долгого лежания бумажек и отделил тонкий листок с каким-то печатным текстом.— Вот послушай, что писали в «Охотничьем журнале» семьдесят пять лет назад: «...Издавна славились своими глухарями и тетеревиными токами лесистые берега Пры. К сожалению, несоблюдение правил и сроков охоты, уничтожение самок на токах привело к тому, что ныне эти ценные птицы исчезают...» Что, дед? Лет этак через пятьдесят станут говорить: «Утка? Да у нас в Мещере сроду утка не водилась!..»

— Погоди маленько.— Дед вдруг сорвался с лавки и выбежал в сени; мягко хлопнула входная дверь, дохнув пахучей сыростью.

Вернулся дед не один, с ним явились четверо сельчан. Вошли они, как входят опоздавшие на собрание: осторожно ступая, не глядя по сторонам, ни с кем не здороваясь, держа в руках шапки, и тесно уселись на ближайшую к двери лавку.

— Наши мужички,— сообщил дед,— им тоже занятно послушать, что до Мещеры касается. Не повторите?

— Отчего же,— сразу согласился человек и спрыгнул вниз.

Прижавшись спиной к теплу печки, он стал перед людьми в старых военных брюках и шерстяных, с надвязанными пятками, носках, с красным от жара лицом и влажной от испарины головой, небольшой, но жильный, собранный и колючий. Прерывая себя глухим кашлем, он рассказал и про бобра, и про лося, и про выдру, и про боровую дичь, и снова прочитал вырезку из журнала. Один из пришедших, здоровенный дядька с румяным лицом в черном, как вакса, окладе давно не бритой щетины, стукнул себя ладонью по колену и громко сказал:

— Точно!

Видимо, это соответствовало каким-то его собственным, не высказанным прежде мыслям и наблюдениям, и мне показалось, что после этого свидетельства и у деда и у других мещерцев отпало всякое сомнение в правдивости того, о чем говорил человек.

— Может, оно и так, а только на наш век дичи хватит,— с прежним куражем заговорил дед, прервав долгое и тяжелое молчание.

— На твой век оно, конечно дело, хватит, от тебя уж землей пахнет,— зло отозвался румяный охотник.— Может, и на мой хватит, а вот что детям моим останется? Нет, я на это несогласный!..

Трое других охотников шарком, вздохами и покашливанием выразили ему свое одобрение.

С детской, беспомощной обидой посмотрел дед на человека, стоявшего у печки.

— Лучше бы не приходил ты сюда! — сказал он в сердцах.— Только растравил душу!..

— Вольно ж бояться правды,— пожал тот плечами.

— Тебе что: пришел, наговорил и ушел. А нам дальше жить...

— Вот давайте и поговорим об этом...

— А что с тобой говорить! — Дед невесело усмехнулся.— Подумаешь — секретарь райкома выискался!..

— Правильно, дед, я секретарь и есть,— последовал спокойный ответ.— Две недели как выбрали.

Охота воспитывает в человеке находчивость и самообладание: остоленение деда длилось не более секунды.

— Ловко я тебя вывел! — сказал дед, оглядывая всех смеющимися глазами.— Думаешь, кабы не сразу смекнул, стал бы я с тобой ласы точить? Я ж тебя по ружью распознал: нечто

пойдет кто охотиться с таким дрючком?.. Ну, давай теперь порядком знакомиться, товарищ первый секретарь райкома...

Я посмотрел на Леонтия Сергеевича. Какая-то неуловимая перемена произошла в его облике: у него были новые глаза. Не то что новые — такие глаза были у него, верно, в молодости, когда он и в мыслях не имел отдать все силы своей живой души хазарскому орнаменту...

СВЕТ В ОКНЕ

(Рассказ)

В конце марта провалился мосток через глубокую балку, отделявшую дом отдыха от шоссе. А тут еще вскрылась река, сломав ледяную дорогу — последнюю связь с миром. Снабжение дома отдыха прекратилось. Несколько дней продержались на запасах, но затем и они иссякли. В кладовых осталось немного консервов, сахара, растительного масла и сухих овощей. И тогда директор Василий Петрович решил зарезать собственную свинью, чтобы накормить отдыхающих.

Свинью резал сам шеф-повар, пожилой, крепкий, как железо, человек из фронтовых поваров, а Василий Петрович помогал. Это оказалось непростым делом. Огромная, неповоротливая, раскормленная до двенадцати пудов жирными, теплыми кухонными помоями, Машка птицей взвилась в своем закутке, когда резак переступил порог хлева. Она, видимо, догадалась, зачем к ней пришли, хотя шеф прятал ножи за спиной. Стоило огромных трудов ее повалить. Василий Петрович и шеф поочередно и враз распластывались на грязных досках пола, пытаясь поймать Машку за ноги. Но с ловкостью, порожденной страхом смерти, грузная, почти ослепшая от жира свинья выскользнула из цепких рук и с надсадным визгом металась по закутку. Наконец, удалось завалить ее на спину. Шеф схватил длинный нож, точным, рассчитанным движением вонзил тонкое, узкое лезвие под левую ногу свиньи и резко рванул на себя.

Потом Машку палили до восковистой коричневой, сдирали шкуру, разделявали, вычерпывали ложками темные загустья крови. Василий Петрович делал свою работу словно во сне. Ему не раз доводилось резать свиней, но сейчас это простое, житейское дело представилось ему жесточайшим насилием над теплой, дышащей, незащищенной жизнью. Он не мог забыть отчаянной укоризны подслепых, янтарных, узких глазок Машки. Ни одна свинья, которую он резал на собственную потребу, не смотрела на него так...

Но дело было сделано. Отдыхающие съели Машку с тем же ровным аппетитом, с каким поглощали все другие блюда столовой. Василий Петрович и не рассчитывал на благодарность. Он находил какое-то горькое удовлетворение в том, что его самоотверженный поступок обречен на забвение. Но это оказалось не так. В глазах служащих дома отдыха, когда они глядели на директора, появилось нечто, чего не было раньше. Василий Петрович не сразу подметил, а подметив, не сразу разгадал этот слабый, но теплый свет, который излучали глаза уборщиц, подавальщиц, сестер и других работников. Есть своя печальная радость в непризнанности, но куда большим счастьем дарит человека, пусть молчаливое, одобрение окружающих. В походе круглого, плотного коротыша-директора появилось что-то летящее.

Лишь один человек не оценил скромного деяния Василия Петровича: уборщица подсобного корпуса Настя. В ее черных, запавших глазах директор не улавливал знакомого согревающего лучика. А ему особенно дорого было бы ее одобрение: с Настей директора связывали тонкие и сложные отношения...

Принимая хозяйство дома отдыха, Василий Петрович вместе с прежним директором обошел все службы и уголья, все жилые помещения главного и подсобного корпусов. Когда с этим было покончено, прежний директор подвел его к опрятному одноэтажному домику с застекленной террасой.

— В этом флигеле...

Не договорив, он двинулся вперед, отомкнул английский замок в обитой войлоком и клеенкой двери и жестом пригласил Василия Петровича последовать за ним. Они оказались в просторных, пахнущих сухим сосновым деревом сенях, откуда взгляду Василия Петровича открылась большая, столично-го вида квартира из трех просторных комнат, а справа, в прозоре двери тускло зеленело сукно библиарда.

В первой комнате — гостиной — на полированном дубовом столе стоял телевизор, вдоль стен — мягкие диваны, посреди — овальный стол, накрытый тяжелой бахромчатой скатертью, вокруг него грузные, словно свинцом налитые кресла, над столом посверкивала бледным, отраженным светом хрустальная люстра. Две двери, соединявшие гостиную с другими комнатами, позволяли видеть крахмальный холодильник тугих подушек в спальне, уголок письменного стола и край ворсистого ковра в кабинете.

Василий Петрович молчал, подавленный этим великолепием.

— Наш неприкосновенный запас,— с игривой гордостью сказал прежний директор.— Держали на случай, если сам прибудет.

— Ну, сам-то едва ли сюда приедет...— пробормотал Василий Петрович с вымученной улыбкой. Он за всю свою дол-

гую жизнь хозяйственника не имел дела с высшим начальством и потому не допускал подобной возможности.

— Это, знаете ли, бабушка надвое сказала,— заключил прежний директор тем же особым, неопределенно игривым тоном, какой появился у него, когда они переступили порог святилища.— Так что будьте начеку.

Совет проник в самое сердце Василия Петровича. Он и действительно все время был начеку, чтобы приезд высокого гостя из министерства не застал его врасплох. Он закрепил за квартирой уборщицу подсобного корпуса Настю, которая обязана была ежедневно убирать необитаемые комнаты, мыть нехоженые полы, менять цветы в вазе, благоухающие впустую, чистить щеткой зеленое сукно биллиарда, ворс которого, казалось, начал отрастать, как запущенный газон. Впрочем, часть забот легла и на дворника Степана: он должен был скалывать ледок у крыльца, раскидывать навалы снега под окнами, держать наготове запасы березовых чурок, на случай если начальство захочет полюбоваться игрой пламени в камине.

Словом, было сделано все для того, чтоб ненароком нагрянувший гость почувствовал, с каким нетерпением его ждали, с какой заботой готовились к его приезду.

И все же эти комнаты были источником постоянного внутреннего беспокойства Василия Петровича. Как хозяйственнику, ему трудно было примириться с тем, что пустует прекрасное помещение, без толку поглощая и средства и труд людей. Порой ему и по-человечески досаден становился запрет, довлеющий над этими комнатами. Он долго не мог забыть лица двух молодоженов, приехавших в дом отдыха в самую тяжкую пору июльского перенаселения: их разместили по разным комнатам. Он едва не дрогнул в тот раз, представив себе, каким бы несказанным счастьем явилась для них отдельная квартира. Но он взял себя в руки, и молодые люди, обменявшись таким взглядом, будто расстанутся на всю жизнь, разошлись по разным корпусам.

Не лучше чувствовал себя Василий Петрович и во время приезда знатного каменщика, некогда строившего этот дом отдыха. Каменщик приехал с женой и тремя неумными сыновьями; даже в спаренном номере старики не знали ни минуты покоя от буйной отваги своих сорванцов.

С огорчением слушал новый директор, как грохочут шары на разбитом общем биллиарде, в то время как в пустующей квартире без дела и смысла тоскует отличный стол; такое же скверное ощущение вызывали в нем прилипшие к окнам телевизионной комнаты девушки-подавальщицы — тесный просмотровый залик едва вмещал отдыхающих. Девушки толкались, ссорились, пытаясь уловить искаженное оконным стеклом изображение, а во флигеле без толку пропадал отличный телевизор.

Все это так угнетало Василия Петровича, что ему стало невольно нести одному груз своих огорчений. Он стал делиться с уборщицей Настей: он был уверен, что эта молчаливая, замкнутая, с черными, запавшими глазами женщина никому не проговорится. Он рассказывал ей и про молодоженов и про каменщика, но всякий раз в темных глазах Насти ему ясно виделось не сочувствие, а осуждение. От этого ему становилось еще горше, и все же он вновь и вновь жаловался ей на очередную незадачу, в смутной надежде, что на этот раз она, наконец, поймет его. Но когда он убедился, что даже его жертвенный поступок, его маленький подвиг, не погасил колючего, укоризненного огонька в глубоком и слишком пристальном взгляде Насти, он понял, что должен в одиночку нести свой крест.

Василий Петрович не понимал Насти. Да и не просто было понять эту тихую, чуть глуховатую, затаенную женщину со странным, некрасивым и вместе притягательным лицом. Конечно, Настя была некрасива, но стоило кому-нибудь сказать: «А знаете, в ней что-то есть», как все готовы были согласиться с этим. Подсказка со стороны заставляла людей внезапно замечать скрытую, диковатую прелесть Насти. Трудно сказать, в чем была эта прелесть: то ли в застенчивом, очень юном, хотя Насте было далеко за тридцать, странно-глубоком и пронизательном взгляде ее глаз, то ли в горделивой посадке головы, то ли еще в чем. Этот второй образ Насти не был стойким, он быстро исчезал, оставляя по себе недоуменное чувство, и вновь возникала некрасивая, неопределенных лет женщина, с бледным, обветренным лицом и большими, натруженными руками. Много лет назад странное и непрочное очарование Насти привлекло молодого объездчика с конезавода, но началась война, и Настя из невест сразу попала во вдовы. Настя навсегда обиделась на жизнь, и если директору хотелось, чтобы его считали хорошим, то Настя больше всего опасалась, как бы ее не заподозрили в доброте.

Она яростно охраняла свои права: производить уборку от девяти до десяти утра — ни минутой раньше, ни минутой позже; подавать горячую воду для бритья ровно в восемь тридцать; не стелить постелей — это положено делать самим отдыхающим. Каждому, кто посягал на эти ее права, она прямо бросала в лицо: «Не обязана!» Но как-то так получалось, что Настя стелила постели и носила горячую воду по три раза в день и делала множество иных не обязательных для нее дел. Она по-своему мстила за это, наотрез отказываясь брать те десятки и двадцатипятирублевки, которые пытались навязать ей перед отъездом. У нее делалось при этом такое злое лицо, что отдыхающие, бормоча извинения, неловко прятали взмокшие в ладонях комочки денег.

Вся жизнь Насти пошла на иной лад, когда ее назначили уборщицей в спецкорпус. Сначала она восприняла приказ ди-

ректора как грубое посягательство на ее права, и даже грозное слово *сам* не произвело на нее никакого впечатления. Но очарованная невиданным убранством комнат, она потеряла вдруг всякую охоту протестовать. А потом в этих комнатах сосредоточился весь смысл ее существования.

Настя отдалась новой заботе со всей страстью своего неистраченного сердца. Постепенно в ее сознании сложился удивительный, сказочный образ того, кто должен приехать и воцариться среди этого великолепия. Она верила, что это необыкновенный, ни на кого не похожий человек, если ему оказывают столько заботы, если и незримый он заставляет ежедневно, ежедневно помнить о себе. И для Насти не было большей радости, чем заботиться о комнатах, которые должны были принять его. Но она не забросила и прежних обязанностей. С обычной своей неистребимой добросовестностью убирала она оба этажа подсобного корпуса: мела полы, опрастывала пепельницы, начищала до стеклянного блеска ванну и умывальники, меняла воду в графинах, перетряхивала коврики и даже, ворча про себя, стелила постели. Но все это не затрагивало ее сердца, все это принадлежало будням, той жизни, которою можно было бы и не жить. Зато она жила страстно, трепетно и полно, когда очередь доходила до заветных покоев. Здесь ее обычная работа становилась творчеством. Можно просто вымыть окно, а можно сотворить чудо: сделать его таким прозрачным, сверкающим, солнечным, что оно словно втягивает в комнату и синь неба, и белизну снега, и зелень хвои; исчезают стены, комната становится частью простора. Одно дело — навести в комнате порядок, другое — когда вещи находят в пространстве комнаты свое единственное место; поставить шкаф не прямо, а чуть наискось, немного выдвинуть телевизор, перенести цветы с тумбочек на середину овального стола — и все вдруг становится иным: вместо скучного порядка — красота.

Почти каждый день приносил Насте маленькую находку, и директор, проверявший время от времени готовность нежилых покоев, чувствовал нечто, чему и сам не мог подыскать названия. Он не замечал перемен, все как будто оставалось попрежнему, но почему-то вид этих комнат каждый раз дарил его новой радостью и все растущим ощущением безопасности.

Насте казалось кощунственным самое предположение, что эти комнаты может занять первый попавшийся, случайный человек. Колебания директора оскорбляли ее: никто не смеет переступить порог этого дома, кроме *самого*...

Но проходили дни, недели, месяцы — никто не приезжал. Минул год, быстро покатился вслед ему второй, а комнаты попрежнему оставались необитаемыми и холодными, ибо их не согревало присутствие человека; попрежнему сверкали вещи никому не нужной чистотой; попрежнему пялился белесым оком слепой и немой телевизор; разучившиеся бегать

шары, казалось, жирели и пухли на травяной зелени биллиарда; красивое, в резной оправе, зеркало не отражало ни одного человеческого лица, кроме бледносмуглого, с жестко обтянутыми скулами и черными, запавшими глазами лица Насти; ни одна одурманенная сном голова не касалась тугого, прохладного крахмала подушек.

Тщетное ожидание, даром потраченные заботы, впустую израсходованный пыл постепенно породили в Насте ненависть. Ее обманули. Обманул не директор — что ей до него! — обманул тот, кого она с таким страстным нетерпением ждала.

Но думать о том, что жданный гость не приехал, значило попрежнему ждать его, а Настя не могла — не хотела больше ждать. Она перестала что-либо трогать, перемещать в комнатах, а Василию Петровичу казалось, что Настя стала халатно относиться к своим обязанностям. Он водил ладонью по крышке телевизора, по ручкам кресел, но нигде не находил ни пылинки; он трогал пальцем стекла, и палец визжал на чисто промытой, насухо вытертой глади; топтался на ковриках, тщетно пытаясь вызвать хоть облачко пыли. Придаться было не к чему. И все же чего-то не хватало, и Василий Петрович недовольно хмурил брови.

Между тем презрение Насти к незримому жильцу росло и, наконец, охватило все ее существо. Ей казалось теперь жесточайшей несправедливостью, что ему отданы эти просторные комнаты, полные света и воздуха, все эти красивые и нужные вещи.

Однажды Василий Петрович возвращался домой после одинокой ночной прогулки. Он очень любил этот час около полуночи, когда весь дом отдыха со всеми окружающими его службами покоился во сне; когда он переставал ощущать вечную, докучную требовательность людей; когда его уже не могли потревожить ни отдыхающие, ни сестра-хозяйка, ни шеф-повар, ни бухгалтер, ни кладовщик, ни садовник, ни внезапный контролер из министерства, ни телефонный звонок из колхозов, которым всегда что-нибудь нужно от него; ни жена, которая никак не может взять в толк, что он директор, а не хозяин дома отдыха. Правда, это незатейливое счастье выпадало ему довольно редко, обычно усталость укладывала его на лопатки, едва оканчивался трудовой день.

Ночь окутывала территорию дома отдыха тьмой, чуть просквоженной зеленоватым светом народившегося месяца. В этой зеленоватой тьме все казалось нарядным, прибранным, ладным, нужным и красивым: даже высокие, жестко обледевшие по горбине сугробы снега обочь дорожек и аллей, даже невыносимо уродливая днем гипсовая фигура оленя, похожего на овчарку с на смех приставленными рогами.

Хорошо и покойно думалось обо всем: о том, что самое трудное в жизни осталось позади и теперь можно медленно и

сладко засыпать в тепле постели, не опасаясь, что тебя подымут среди ночи; что в отношениях между людьми всё больше укрепляется дух взаимопонимания и доверия; что можно, не боясь недоброжелателей, от души стараться сделать жизнь отдыхающих лучше, сытее, спокойнее и веселее, да и свою жизнь также...

Василий Петрович завернул за угол дома и вдруг замер, чуть осадив назад и косо задрав голову, как конь, наскочивший на плетень: в окнах необитаемого флигеля горел свет. Точнее, свет горел в кабинете, спальне и биллиардной, откуда доносился сухой, костяной треск шаров. В гостиной было темно, но там звучала музыка, и когда Василий Петрович, преодолев мгновенное оцепенение, шагнул вперед, он увидел на противоположной окнам стене гостиной трепещущий, бледно-сиреневый отсвет, и понял, что там работает телевизор.

Какое-то странное чувство пронизало Василия Петровича. На миг ему почудилось, что вещи, прискучив своей ненужностью, взбунтовались и без помощи человека зажали своей самостоятельной жизнью: зажглись лампы, забегали шары по зеленому полю биллиарда, ожил телевизор на радость креслам, тумбочкам, столу и диванам. Но это диковатое чувство сменилось тут же другим, более трезвым, хотя и столь же щемящим: свершилось!.. То, чего он с таким трепетом ждал более года и чего почти перестал ждать, — свершилось. Знатный гость словно нарочно прибыл в отсутствие директора, когда никто его не ждал, и таинственным, непонятным образом отыскал предназначенные ему покои, проник в них без ключа и хозяйской, уверенной властью враз оживил неживое.

Но и эта мысль лишь на миг, не более, владела сознанием Василия Петровича и вытеснилась тоскливым недоумением: нет, не может этого быть...

Став зачем-то на носки, он, почти крадучись, сошел с дорожки в талый, рыхлый снег и приблизился к окну.

У телевизора, на экране которого мерцало голубоватое пятно, перечеркнутое быстро бегущими куда-то тонкими линиями, сидела, сложив на коленях большие руки, уборщица Настя. Справа от нее, широко открыв глаза и рот, притулилась десятилетняя дочь дворника Степана Клавка, а по левую — сладко дремал в глубоком кресле Клавкин меньшей брат. Сквозь дверную щель было видно, как у залитого светом двух люстр биллиарда трудился их отец, дворник Степан, часто и неумело тыкая острием кия в шары.

Она решилась, она нарушила запрет! Открыто, вызывающе проникла она в этот очарованный мир, воцарилась в нем полноправной хозяйкой и ввела в него Степана. Со странным замиранием ощутил Василий Петрович, что он видит сейчас что-то очень хорошее, очень правильное, очень нужное. Но он

тут же поднял руку и резким, грубым движением, так что зазвенели стекла, постучал в окно...

А затем Василий Петрович орал, грозил, топал ногами, заходясь и пьянея от собственного крика. Он так старался, словно рассчитывал, что его яростное негодование достигнет ушей того, чьи права были столь грубо нарушены. Неизвестно, услышал ли его *сам*, но нарушители остались глухи к директорскому гневу. Держа за руки детей, они прошли мимо директора со спокойным и строгим достоинством.

И глядя на их суровые, почти торжественные лица, Василий Петрович вдруг осекся, замолчал, с удивлением прислушиваясь к странному, новому, незнакомому ощущению, которое подымалось, росло внутри его, пронизывая до кончиков пальцев, ощущению невыносимой гадливости к самому себе.

Ник. Жданов



ПОЕЗДКА НА РОДИНУ

(Рассказ)

Вернувшись к себе в кабинет после длинного, утомительного заседания, Павел Алексеевич Варыгин принялся за разбор служебных бумаг, накопившихся в его отсутствие (и поданных ему в коленкоровой папке секретаршей Нонной Андреевной). Он просмотрел несколько анкет и взялся за телеграммы, обычно присылаемые с периферии и содержавшие разные напоминания и запросы. Читая, он делал пометки синим карандашом и откладывал в сторону бланк за бланком. Вот уже остался всего один, почему-то не распечатанный,— очевидно, по небрежности Нонны Андреевны. Варыгин сам надорвал бумажную заклею и развернул листок.

«Марья Семеновна умерла среду двадцать четвертого, похороны субботу»,— прочел он...

Он выехал в деревню той же ночью, неудобным поездом с двумя пересадками в пути: скорый ходил через день, и его пришлось бы ждать еще целые сутки.

Жена проводила Варыгина до дверей квартиры, со скорбным видом поцеловала в щеку и сказала, что детям она, пожалуй, ничего говорить не будет: у них еще не поставили отметки за эту четверть.

— Как хочешь,— ответил он и, спускаясь вниз в желтом свете лестничных лампочек, подумал: «Для нее это только досадная неприятность, не больше».

В вагоне он все время сидел у окна на лавке, глядя сквозь мутное стекло на сероватую полосу земли и темные силуэты деревьев, несущихся мимо.

В последний раз Варыгин виделся с матерью лет шесть назад. Она приезжала из колхоза «за пошеном», как говорила

потом жена, относившаяся с некоторой иронией к его деревенской родне.

Эти шесть лет, как теперь казалось ему, прошли совершенно незаметно. Как-то осенью он собирался съездить в деревню, но врачи рекомендовали ему полечить сердце, и он отправился в Кисловодск.

Иногда, совсем редко, от матери приходили письма. Они были написаны под ее диктовку чьим-то ученическим почерком, обычно на тетрадном листке.

«Живем не дюже, но не жалуемся»,— сообщала мать. Он огорчился, но потом ему приходило в голову, что особо «дюже» мать никогда и не жила, а формула «живем — не жалуемся» звучала в сущности вполне оптимистически.

На станцию Дворики поезд прибыл более чем через сутки. Медлительный ноябрьский рассвет еще не прогнал серые ночные тени, и они липли к низкому, холодному небу и прятались под станционным навесом, где горой был навален картофель, прикрытый рогожами и, должно быть, ожидающий отправки.

Он помнил с детства, что сразу за станцией начинается мелкий болотистый лес и тянется верст на восемь, а за лесом пойдут деревни, названные на один лад: Ложкино, Деревлево, Кашино, Коркино, Лапшино, Пирогово и, наконец, их село Тюрино. Но леса вокруг не было видно. Варыгин двинулся через заболоченную низину вдоль изгороди из почерневших жердей.

По обе стороны высились ровные штабели торфа. Видно, теперь тут были разработки. За низиной началось шоссе, раньше его тоже не было. Варыгин подождал попутного грузовика и с ним добрался до Лапшина и уже оттуда, пешком,— до Тюрина.

Оказалось, что мать уже повезли на кладбище. Это сообщила ему у крайней избы пожилая женщина в стираной солдатской гимнастерке, несшая в деревянных ведрах воду с колодца.

— Вы кто же будете? — осведомилась она, оглядывая добротное драповое пальто Варыгина.

— Сын ее,— сказал он.

Женщина поставила ведра на землю и еще раз посмотрела на Варыгина.

— Никак, Константин? — спросила она.— А я Деревлева Анастасия, не помните?

— Константин у нас умер давно уже. Я другой брат, Павел,— объяснил он.

— Вот я же и говорю, что Константин померши,— подхватила женщина.— А сноха знай заладила свое, хоть ты ей что! Да найдете ли кладбище? Уже забыли небось наши-то места? Клашка! — крикнула она девочке, собиравшей на грядках

оставшиеся после уборки капустные листья.— Сбегай покажи, как на кладбище попасть — напрямки через поле!

Вслед за девочкой, которая бежала перед ним, он шагал по затвердевшему, но еще не покрытому снегом полю, тяжело спотыкался на неровностях, боролся с одышкой и часто утирал с лица пот.

Они обогнули озимый клин и перешли по кривому бревну речонку, петлявшую в кустах. Дальше берег подымался на пологий бугор, и на фоне серого неба Варыгин увидел старую деревянную церковь и кладбищенские кресты меж редкими облетевшими деревьями. Он вспомнил и эту церковь и эту речку. Только теперь они были значительно меньше, чем раньше. Вспомнил и ямы с водой, мимо которых они шли. Раньше в этих ямах мочили тресту; ребята говорили, что в них прячутся домовые.

Кладбище было не огорожено, и он еще издали заметил, что на паперти кто-то стоит.

— Дяденька, я ворочусь, ладно? — сказала девочка, замедля шаг.— Вон акушерка, постоялка ваша. Еще скажет учительке, что я в церковь ходила. Ворочусь, ладно?

— Ну, иди,— сказал Варыгин.

Когда он подошел ближе, навстречу ему сбежала по деревянным ступеням паперти молодая женщина. Разрумяненное на морозном воздухе лицо ее было мокро от слез и все-таки пылало здоровьем.

— А мы уж думали, вы не приедете,— сказала она, когда Варыгин назвал себя.— Со скорым ждали, ночью, на станцию ездили. Не знали, как и быть. Видите ли, вы, может, рассердитесь, я сама тоже неверующая, но только Мария Семеновна настаивала: хоронить ее по-старому, по-христиански...

Сняв свою меховую шапку и не поправляя прилипшие ко лбу волосы, Варыгин вошел под темные своды, где в полумраке горело несколько тонких свечей и стояли три или четыре фигуры.

Акушерка тоже вошла за ним и встала у входа, а он подвинулся ближе и вдруг увидел маленькое, как у ребенка, темное лицо матери, освещенное желтым светом свечи. Он остановился и стоял, не двигаясь, только видел перед собой это лицо.

Священник с жидкими седыми волосами и худым хрящеватым лбом читал нараспев молитву и, казалось, обращался к одной только матери, которая лежала неподвижно, сжав бескровные губы. Из тьмы выступали плоские лики святых, нарисованные на иконостасе. Запахло ладаном, и этот запах так же, как звучавшие в сумраке слова «аще», «яко», «паче» — напоминал Варыгину детство, когда он ходил с матерью в эту церковь и даже пел на клиросе. Все это было так давно, что, возможно, совсем никогда и не было. Один раз священник прошел

совсем близко, и от его вытертой, старой рясы пахнуло на Варыгина запахом чеснока.

Когда отпевание кончилось, женщины, таившиеся в темноте, закрыли гроб, подняли его и понесли.

Вместе с другими Варыгин вышел из церкви, и тоже нес гроб по вялой траве меж деревянными крестами, и пришел в себя только, когда мать схоронили.

Потом он опять перебирался по кривому бревну через маленькую речку, над которой курился легкий дымок, похожий на ладан, и опять шагал через твердое поле, и ему казалось, что он только что был в мире, который по всем его понятиям уже давно не существовал на свете...

Когда вернулись в деревню и подошли к дому, акушерка первая вбежала на крыльцо и, нащупав в кармане ключ, отомкнула дверь. Варыгин вспомнил и это крыльцо и дверь с железной скобой, только ворота у дома были другие, новые, и на них он, проходя, видел вывеску: «Акушерский пункт».

Варыгин перешагнул через порог. Налево до потолка белела печь, направо в углу стояла широкая деревянная лохань и над ней глиняный рукомойник — вероятно, та самая лохань и тот самый рукомойник, которые были в его детстве и о которых он совсем забыл с тех пор и вот только сейчас вспомнил.

Потолок стал гораздо ниже, чем раньше. Но темные тесовые матицы, чуть прогнувшись посередине, были те же, за это он мог поручиться. Вот старые железные крюки для люлек: один, другой, третий. Отец жил вместе с братьями, в доме было три снохи, и каждая качала свою люльку. В одной из них рос он, Варыгин.

— Я больше все в той половине,— говорила акушерка,— там у меня и приемная для моих пациенток. А Марья Семёновна здесь. Вот и постель ее, и полотенце еще висит, как висело.

Варыгин посмотрел на полотенце, посеревшее от давности, и вновь, уже не в первый раз, мысль, что мать испытывала нужду, больно пронзила его.

Он снял пальто и шапку и устало опустился на табурет. Хотелось положить голову на стол и забыться. Когда-то за этим столом обедала вся их семья. В углу под деревянной иконой сидел отец. Варыгин вспомнил запах щей и теплого хлеба с налипшим на нижней корке капустным листом. Мать часто мыла стол горячей водой и скребла ножом с отломанной ручкой. Вот этот сучок с темной сердцевинкой всегда казался ему похожим на лошадиный глаз. Теперь доски стола пожелтели, рассохлись, и «глаз» почернел и выкрошился.

На столе стопкой лежали тетради. «Областные акушерские курсы. Конспекты Антоновой А.»,— прочел он. Этим старательным ученическим почерком были написаны письма, что приходили иногда от матери.

Антонова А. принесла охапку дров, затопила лежанку и поставила чайник. Потом она убрала тетрадки, достала из чемодана под этажеркой чистое полотенце, протерла им чашку и налила Варыгину чаю.

— Я тороплюсь в Лапшино, там у меня сегодня роженица, — сказала она. — Вы уж извините, пожалуйста.

Чаю он не хотел и сидел один, не двигаясь. Жизнь, которая во времена его детства кипела в этом доме, теперь ушла куда-то, и казалось странным, что остались только вот эти стены и он — Варыгин. Но и ему тоже нечего здесь делать, и надо уезжать. Думать об отъезде не хотелось, вообще не хотелось двигаться. Куда бы прилечь? — Он повернул голову, чтобы осмотреться.

В углу на лавке стоял наклонившийся дурашливо на один бок старый, вышедший из употребления самовар с отпаявшимся краном и исподтишка усмехался, косясь на лавку, будто хотел сказать: «Ага, и ты распаялся в дороге, ложись, брат, со мной рядом!»

Варыгин уперся руками в стол, чтобы встать, и ему показалось, что стол тоже подмигивает ему лошадиным глазом: «Вернулся все-таки!»

Варыгин подошел к кровати и лег.

* * *

Холодная, красная полоса заката горела за частоколом и отражалась в окне, когда он открыл глаза. Ему вдруг пришла мысль, что он уснул на постели матери, где она умерла. Он поднялся и пересел к столу. Напротив на стене висело его пальто, на лавке была положена шапка. За ней в углу стоял самовар, серьезный и угрюмый, будто обиженный на что-то.

Близко, должно быть за стеной, кто-то кричал резким, нервическим голосом:

— Не по-партийному поступают, вот и шумлю! Нас, сельских механизаторов, никто, хотите знать, притеснять не позволит! Это что же, разве по закону? Должен человек знать, если порядок нарушается!..

— Разберут в райисполкоме, — послышался в ответ сдержанный, увещевающий голос. — Идите пока: говорю вам — отдыхает человек.

Голоса отодвинулись, очевидно спорившие ушли за ворота.

Потом, немного погодя, на крыльце скрипнула половица, и в дверях показалась сгорбленная фигура в полушубке.

— Не спите? — спросили из полумглы. Щелкнул выключатель, и над столом зажглась электрическая лампочка. Варыгин увидел худошавого старика, взиравшего на него маленькими веселыми глазами.

— Вы кто будете? — спросил Варыгин.

— Я-то? Мошкарев Илья. Сторож я теперь, а раньше кузнецом работал. По болезни в сторожах хожу. Тут же, при кузне. Ее и караулю.

Он сел на табуретку к столу.

— Антонине Васильевне дров приносил. Гляжу, вы спите. Она небось в Лапшино ушла: там Синюхина Зойка опять рождает.

— А кричал кто? — спросил Варыгин, кивнув на стену.

— Комкова Пелагея, комбайнерова жена, заправщица. Раньше тут у нас состояли, в артели, а теперь в кадры их зачислили в МТС. Сама-то все за колхоз держалась, но так, для формы одной, чтобы участок не отобрали — сорок соток у них. Теперь — отчислили ее. По той, стало быть, причине, что двенадцать трудодней выработала за весь год. Нешто можно за это в колхозе держать?! Участок забирают у них, вот она и шумит: «Механизаторов обидели!» Вам жаловаться пришла. Обидишь ее, как же!

— Разве им не положен участок?

— Положен. Пятнадцать соток им по закону отводится и то не из колхозной земли, а на пустыре нарезать будут, отдельно. В сельсовете на сессии решали.

Он помолчал немного и заговорил снова:

— Стало быть, прибыли мамашу схоронить? Последний долг. Уважили старого человека. Спасибо вам, не забыли. А меня на торф назначали, не поспел.

Старик вытянул одну ногу и, откинувшись назад, достал из кармана штанов начатую четвертинку.

— Вот, — продолжал он, оживляясь, — ежели не побрезгаете рабочего человека, то помянем чем бог послал. Вы не подумайте, что я сильно пьющий. Племянница моя, Скорнякова Майя, записываться ходила сегодня с Дежуровым Петром, с льнозавода. Веселье у них, а у меня, значит, Семеновна в голове. Четвертушку прихватил, да и пошел. Каждому — свое.

Он потер руки, словно от холода, заглянул на полку, бережно достал одну за другой две чашки и налил понемногу в каждую...

— Мы с твоим отцом большими дружками были. Теперь ты, слышь, в руководящих. Так ведь это — кому что. Люди-то мы все одинакие. Удержишь ли? — спросил он, протягивая чашку. — Погоди, закусить дам.

Он полез левой рукой в карман, достал темный пупырчатый огурец, обтер ладонью налипшие к нему табачные крошки и сломал пополам.

Водка обожгла Варыгину рот, он сморщился, но огурца не откусил. Кузнец тоже выпил и съел свою половину огурца.

— Ну вот, — удовлетворенно проговорил он, щуря лукавые глаза, прикрытые лохматыми выгоревшими бровями. — Вы,

стало быть, руководящие, мы — производящие, так вот оно, кхе-кхе, и выходит. Доберем, что ли, эту малость?

Он небрежно болтнул в руке непустую еще четвертинку, и они опять выпили.

— У кого, стало быть, поминки, у кого — свадьба, кхе-кхе! — сказал старик.

Варыгин ощутил теплоту в груди, и впервые за эти три дня бодрое чувство вернулось к нему.

— А как мать жила тут? Ничего или как? — спросил он.

— Да ведь всяко жила; как все, так и она.

— А все-таки? Вот питание, например, взять?

— Чего же, жаловаться нельзя. Своего хлеба у нас дольше как до весны не хватает, так в Лапшино ходим, в сельпо. А то которые и в город ездят. Ей сельсовет аренду платил, за дом. Акушерский пункт тут постановлен. По тридцать пять в месяц. А много ли надо ей? Бывает, и беленькое едала, фабричным чайком баловалась. Сегодняшний год и сахару сколько раз привозили, тоже брала. Нет, жаловаться не будешь!..

По мерзлой дороге за воротами застучали колеса, мимо дома проехали на телеге, слышно было, как лошадь топала копытами и шумно отфыркивалась.

Потом где-то близко заиграли на баяне, мимо дома прошла веселая ватага, пронзительный девичий голос, срываясь на крик, пел:

Через поле яровое,
Через райпотребсоюз,
Через курсы пчеловодов
С тобой, милый, расстаюсь!

— Наши гуляют, — сказал кузнец, — пойти разве добавить? — Он поднялся, сунул пустую четвертинку в карман и, не прощаясь, скрылся.

Варыгин тоже поднялся, надел пальто и вышел на двор. Было уже совсем темно, а в очистившемся от туч небе горели холодные звезды. Он походил немного у ворот, поежился от холода и посмотрел на часы. Светящиеся зеленые стрелки показывали всего десять минут восьмого. Он помнил, что скорый уходит ночью, и те несколько часов, что оставались еще до отъезда, представились ему неприятно долгими и утомительными.

На краю деревни играл баян, и оттуда слышались голоса, девичий визг и хохот. Варыгин повернулся и пошел к дому. На крыльце его ожидала солдатка Деревлева. На ней попрежнему была гимнастерка, но голову и плечи укутывал толстый шерстяной платок.

— Чайком пришла попить, — сказала она певуче, входя за ним в избу. — Антонина Васильевна беспокоится о вас, нарочного из Лапшина присылала. Сама-то не может никак: держит ее Зойка, не рожает.

Она развела огонь на шестке и поставила греться чайник.

— Жалко, Семеновна-то не дождалась вас! Сколько бы радости старому человеку,— услышал Варыгин.

— Ждала она меня? — спросил он.

— Да нынешний год молчала. А летось, когда приехать сулились,— сильно ждала. Все, бывало, говорит: вот ноне, вот ноне! Потом-то притихла уж. Но только не обижалась, нет. Понимала тоже, легко ли такому занятому человеку оторваться. Из наших деревенских вы небось дальше всех пошли. Еще Березин Афанасий из Коркина, тот генералом где-то на транспорте.

Заварив чай, она поставила перед ним чашку и под села к столу.

— Вот только похвастаться-то нам особенно нечем. В колхозе бабы одни, бьемся, бьемся, а все больше зря. В «Борьбе» вон опять по четыре кило выдали, а у нас...— Она удрученно махнула рукой.— Не ладится у нас,— сказала она виновато. Должно быть, перед таким видным и уважаемым человеком, как Варыгин, ей было неудобно, что в колхозе у них так мало достижений.

— Вот что я у вас спросить хотела,— продолжала она, развязав платок.— Верно ли, нет ли, ноне сделали с нами? Мы сегодняшней год конопля сеяли семьдесят четыре гектара. Только посконь зацвела, а тут, глядим, и яровые созрели. Мы было жать да скирдовать, а нам молотить велют да вывозить: заготовки. Ведь это что же происходит? От нас до ссыпного пункта тридцать девять верст да два перевоза, да у элеватора прстоишь! А посконь, если ее во-время не убрать, так ведь и матёрки не жди! Только пристали уполномоченные: вези да вези! Неужто, говорим, государство наше семи ден не подождет?! В долгу-то ведь мы не остались бы. Как бы управились с коноплей, так и повезли. Так ить нет! Ну хоть ты что с ними! И податься некуда. Пока возили на элеватор да обмолочивали — и конопля урожай упустили и недожатое наполовину осыпалось. Ну, хлебозаготовки нам записали, верно,— в числе передовых. А сами опять без хлеба! Вот ты и рассуди, хорошо ли это? Нет ли?

«Она думает, все от меня зависит»,— растерянно думал Варыгин, стараясь припомнить, что такое эти посконь и матёрка и какая между ними связь. Но припомнить так и не мог.

— Вопрос политический,— проговорил он вслух.— На первом месте у нас должно всегда стоять государство. Все зависит от уровня сознательности масс.

Он замолчал, чувствуя, что говорит не то.

Но Деревлева слушала его с выражением удовлетворенности на лице.

— Вот и я считаю — политикой вопрос,— с готовностью подхватила она, видимо довольная, что разговор обретает

истинную глубину.— Это уж верно, это вы хорошо объяснили. Нет еще сознательности у наших у масс.

В темноте за окнами раздался стук мотоцикла.

— Никак приехала,— сказала Деревлева.— Видать, эмтесовский инженер привез. Каждую субботу приезжает. А ей все недосуг. Ох! счастья своего не понимает акушерка.

Антонина Васильевна вошла первой, за ней следом появился молодой человек с обветренным скуластым лицом и льняными волосами.

— Ну, как вы тут? — спросила она оживленно. От ее утреннего грустного настроения, казалось, не осталось и следа.

Умывшись, она уселась к столу, развернула пакет с бутербродами, очевидно купленными где-то в буфете, и, угощая всех, принялась рассказывать, какую крепкую, славную девочку родила Синюхина.

Было приятно смотреть на ее молочно-белые руки, обнаженные до тугих локтей, на мягкие, женственные движения, которыми она заправляла за порозовевшие уши прядки намокших волос, на свежие щеки, пылающие горячим румянцем. Рассказывая, она ни разу не посмотрела на инженера, но, должно быть, все время чувствовала его взгляд.

«Нет, она счастье свое понимает»,— решил Варыгин, глядя в сияющие, несмотря на все тревоги и заботы дня, глаза девушки. Он вспомнил свою рыхлую жену, постоянно недовольную чем-то и перекармливающую детей, отчего Гена в одиннадцать лет уже имеет брюшко, а Света стала похожа на тетю с детским лицом и тяжелыми, грузными ногами, и подумал: «Счастливцев этот инженер». Если бы когда-то давно жизнь сделала другой поворот и он, Варыгин, остался в деревне, то, вероятно, теперь был бы еще вполне крепким и здоровым человеком, и кожа на его лице была бы тугой и смуглой, как у этого инженера. Но в прошлом уже ничего нельзя изменить, как, видимо, и в будущем. И, пожалуй, если бы теперь молодая женщина с такими вот белыми руками и гибким, красивым сильным телом согласилась бы полюбить его, то из этого все равно ничего бы не вышло.

— Вы давно здесь, в этих местах? — спросил он.

— Пора уж уезжать! — Она усмехнулась, но в глазах сверкнул жестковатый огонек.— Отсюда, из сельских районов, все норвят поскорее в город, по возможности в центр: там у вас культурнее да сытнее. Но, говорят, мы здесь больше нужны.

Она посмотрела на инженера, как бы спрашивая его поддержки.

— Да, работы здесь много,— сказал инженер.— В нашем районе из девятнадцати колхозов больше половины отстающих. Урожайи низкие, доход ничтожный, трудятся люди неохотно, едят плохо.

Он, не глядя, достал из полевой сумки, висевшей у него на боку, папиросу и нервно закурил.

— Почему же так? — спросил Варыгин.

Инженер пожал плечами.

— Вам больше знать. Бесплатно работать никто не хочет.

Акушерка молча коснулась руки инженера. Он поднялся из-за стола и заходил по комнате.

Варыгин сидел, упираясь спиной в стену, и жевал бутерброд, так как не ел с утра. Ему казалось, что инженер смотрит на него недружелюбно.

— А вы не сгущаете краски? — спросил он хрипло. — Поначалу я подумал, что вы оптимист.

Инженер отошел в угол и бросил папиросу в лохань.

— Оптимизм, — сказал он, вернувшись, — вещь более сложная, чем кажется на первый взгляд. Деревня жила бы во много раз лучше, если бы поменьше было казенных бодрячков. Надо, сцепив зубы, преодолевать трудности, а не замалчивать их. Взять хотя бы нашу МТС. Сколько у нас скрытых возможностей, — и никому нет до этого настоящего дела! Вот поедемте завтра — вы увидите сами.

— Я уезжаю сегодня скорым: дела! — сказал Варыгин и посмотрел на часы.

Инженер тоже посмотрел на часы. Воодушевление, с которым он говорил только что, сразу прошло.

— Так я двинусь, Тоня, — сказал он.

Она вышла вместе с ним в сени. И Варыгин слышал, как они шептались о чем-то на крыльце.

— Мне, вероятно, тоже пора, — сказал Варыгин, когда она вернулась.

— Подождите, время еще есть; Митя скажет в МТС, чтобы прислали машину.

Оглядываясь на Деревлеву, которая тихо мыла в углу посуду, она смущенно заговорила о доме: как же будет теперь — захочет ли он нарушить аренду, может быть думает продавать дом, или оставит все по-старому?

— Пусть будет все, как было, — сказал Варыгин.

В комодѣ остались кое-какие вещи матери. Он взял две лежавшие на дне верхнего ящика старые семейные фотографии.

Он не чувствовал в себе ни охоты, ни силы разбираться во всем этом, как и в том, что говорил инженер, и в том, что увидел тут за день.

— Вы уж, пожалуйста, распорядитесь сами, — сказал он и задвинул ящик комода.

Машина пришла гораздо быстрее, чем он ожидал. Акушерка поехала вместе с ним, чтобы ему не пришлось самому беспокоиться о билете.

Дорога до Лапшина была отвратительной, но потом, когда машина выбралась на шоссе и, мягко шурша шинами, понес-

лась по серой ленте, освещаемой лунным светом фар, к Варыгину постепенно стало возвращаться обычное для него ровное настроение, и осадок, оставленный встречей с инженером, рассеялся само собой.

«Конечно,— думал он,— местный аппарат у нас еще не укомплектован, как это нужно. И работают они подчас неумело, грубо и только прикрываются объективными причинами. Но везде положение не исправишь сразу. Сверху поправляют, подсказывают, но надо самим, самим!»

«Да, именно самим»,— думал он еще через минуту и уже сердился, что не сказал об этом инженеру.

В Дворики приехали почти за час до прихода скорого и, взяв билет, сидели в буфете.

Акушерка, смущаясь, неумело пила портвейн, которым он угощал ее, и все оглядывалась, точно боясь чего-то.

— Поехали бы вместе, стали бы у меня секретарем,— сказал Варыгин шутливо.

Она поперхнулась, пролила портвейн на клеенку и покраснела так, что ему самому стало неловко.

В поезде, укладываясь спать на диване в полутемном купе, где остальные пассажиры уже спали, он с облегчением подумал, что волнения и неприятности этих дней остались позади, и с удовольствием представил, как завтра войдет в свой теплый, хорошо обставленный кабинет и сядет у стола в кресло.

Однако чувство какой-то вины еще долго не оставляло Варыгина. Сон не шел, и сквозь тягучую дрему воображение рисовало ему бревенчатые кресты на фоне серого неба, знакомый дом, длинную тесовую скамью вдоль стены, старый самовар в углу, накренившийся набор. За струганым столом сидит мать, лицо у нее маленькое и темное, как было в церкви; она подвигается к нему и спрашивает с надеждой и ожиданием, как спрашивала солдатка Деревлева: «Верно ли, нет ли с нами сделали?»

Н. Заболоцкий



КОГДА ВДАЛИ УГАСНЕТ СВЕТ ДНЕВНОЙ

Когда вдали угаснет свет дневной
И в черной мгле, склоняющейся к хатам,
Все небо заиграет надо мной,
Как колоссальный движущийся атом,—

В который раз томит меня мечта,
Что где-то там, в другом углу вселенной,
Такой же сад, и та же темнота,
И те же звезды в красоте нетленной.

И может быть, какой-нибудь поэт
Стоит в саду и думает с тоскою,
Зачем его я на исходе лет
Своей мечтой туманной беспокою.

ЧЕРТОПОЛОХ

Принесли букет чертополоха
И на стол поставили, и вот
Предо мной пожар, и суматоха,
И огней багровый хоровод.
Эти звезды с острыми концами,
Эти брызги северной зари
И гремят и стонут бубенцами,
Фонарями вспыхнув изнутри.

Это тоже образ мироздания,
Организм, сплетенный из лучей,
Битвы неоконченной пыланье,
Полыханье поднятых мечей.
Это башни ярости и славы,
Где к копью приставлено копьё,
Где пучки цветов, кровавоглавы,
Прямо в сердце врезаны мое.
Снилась мне высокая темница
И решетка, черная, как ночь,
За решеткой — сказочная птица,
Та, которой некому помочь.
Но и я живу, как видно, плохо,
Ибо я помочь не в силах ей.
И встает стена чертополоха
Между мной и радостью моей.
И простерся шип клинообразный
В грудь мою, и уж в последний раз
Светит мне печальный и прекрасный
Взор ее неугасимых глаз.

СТАРАЯ АКТРИСА

В позолоченной комнате стиля ампир,
Где шнурами затянуты кресла,
Театральной Москвы позабытый кумир
И владычица наша воскресла.

В затрапезе похожа она на щегла,
В три погибели скорчилось тело.
А ведь, боже, какая актриса была
И какими умами владела!

Что-то было нездешнее в каждой черте
Этой женщины, юной и стройной,
И лежал на тревожной ее красоте
Отпечаток Италии знойной.

Ныне домик ее превратился в музей,
Где жива ее прежняя слава,
Где старуха подчас удивляет друзей
Своевольем капризного нрава.

Орденов ей и званий немало дано,
И она пребывает в надежде,
Что красе ее вечно сиять суждено
В этом доме, как некогда прежде.

Здесь картины, портреты, альбомы, венки,
Здесь дыхание южных растений,
И они ее образ годам вопреки
Сохранят для иных поколений.

И неважно, неважно, что в дальнем углу,
В полутемном и низком подвале,
Бесприютная девочка спит на полу,
На тряпичном своем одеяле!

Здесь у тетки-актрисы из милости ей
Предоставлена нынче квартира.
Здесь она выбивает ковры у дверей,
Пыль и плесень стирает с ампира.

И когда ее старая тетка бранит
И считает и прячет монеты,—
О, с каким удивленьем ребенок глядит
На прекрасные эти портреты!

Разве девочка может понять до конца,
Почему, поражая нам чувства,
Поднимает над миром такие сердца
Неразумная сила искусства!

* * *

При первом наступлении зимы,
Блуждая над просторною Невою,
Сиянье лета сравниваем мы
С разбросанной по берегу листвою.

Но я любитель старых тополей,
Которые до первой зимней вьюги
Пытаются не сбрасывать с ветвей
Своей сухой заржавленной кольчуги.

Как между нами сходство описать?
И я, подобно тополю, немолод,
И мне бы нужно в панцире встречать
Приход зимы, ее смертельный холод.

Николай Чуковский



БРОДЯГА

(Рассказ)

1

В тысяча девятьсот шестнадцатом Мише пошел двадцатый год. Миша был курчав, плечист, толстоног, и только темные гнилые зубы портили его. Он жил с отцом и матерью в южном городе. В разных концах города отец держал шесть рыбных лавок.

Каждый вечер Миша шел на бульвар и встречался там с приятелями. Шумной шайкой отправлялись они гулять по бульвару. Увидев какого-нибудь прохожего поскромней, они начинали с жаром спорить между собою. Когда прохожий был совсем близко, Миша внезапно оборачивался к нему и говорил:

— Послушайте!

Прохожий останавливался. Но Миша, повернувшись к нему спиной, продолжал спор. Прохожий, думая, что о нем забыли, собирался идти дальше. Однако Миша опять останавливал его:

— Подождите!

Прохожий ждал, а Миша спорил о том, сколько арбузов помещается в трюме «Андромеды» или сколько шагов между Соборной и Греческой. Потом, словно внезапно вспомнив о нем, говорил:

— Идите. Вы мне не нужны.

И прохожий шел дальше, слыша за спиной хохот, летящий сквозь ветки в теплое темнеющее небо.

А то, случалось, Миша затевал с приятелем драку, и когда какой-нибудь миролюбивый чудака начинал их разнимать и уговаривать, они, бросив драться, дружно отшлепывали его по щекам.

Он был шутник, этот Миша.

В то время Миша стоил своему отцу огромных денег. Шла война с Германией и Австро-Венгрией. Отец выкупал его от военной службы. Но, несмотря на все затраты, Мишино положение день ото дня становилось все менее прочным. Слишком уж он был на виду у всего города. Сам губернатор, говорили, был недоволен, что Миша еще не на фронте. И Мишин отец чувствовал: надо устраивать сына как-то иначе.

И после некоторых хлопот он добился, что Мишу приняли писарем в управу по снабжению лагеря военнопленных.

Лагерь находился в Средней Азии. Миша — в шинели, в папахе — уехал туда осенью.

Военнопленные строили железную дорогу. Бесснежной зимой, когда мерзлая степь гудела под ногами, они, разделенные на кучки по шесть человек, таскали рельсы. К каждой шестерке приставлен был конвойный. Вшестером брали рельс и несли на насыпь. Конвойный, держа винтовку, шагал рядом. Черноусые хорваты и босняки назад шли гуськом, в том же порядке. Рукавиц еще не выдали, и кожа с их рук была сорвана — пальцы примерзали к железу. Издали эти людские цепочки в промерзшей степи казались нотными знаками на серой бумаге. Работали до темноты, а потом ложились на твердую землю, протянув ноги к дымным кизячным кострам.

Миша, приехав, скоро прижился и освоился. В писарях просидел он недолго — его назначили приемщиком и стали посылать в Асхабад за товарами. В управлении лагерями он прославился как весельчак и рассказчик. Он рассказывал историю о пассажире, который все спрашивал, как называется следующая станция.

— Папелюхи, — отвечали ему.

— А следующая?

— Мамелюхи.

— А еще следующая?

— Люхи всех родственников!

Миша был нарасхват, его звали то в один дом, то в другой. Он пользовался полным доверием начальства. Ему стали давать деликатнейшие поручения: отвозить провиант, предназначенный для военнопленных, в Асхабад и там продавать перекупщикам. Миша сначала был потрясен, потом привык. Приходилось делиться с громадным количеством лиц, и все же Миша получал больше, чем его отец от всех своих шести рыбных лавок. И с каждым месяцем Миша становился все шумнее, все веселее.

Весной 1917 года, когда степь стала зеленой и жаркой, когда начались митинги и до Средней Азии докатилась весть о свержении царя, Миша стал покупать фунты стерлингов. Вместе с речами Керенского в лагерь пришло сообщение, что из Ташкента едет ревизия. Решено было принести кого-нибудь

в жертву: приписать одному грехи всех, чтобы остальным спастись. Выбор пал на Мишу. Он был молод, неопытен и всем здесь чужой.

С Мишей стали еще сердечнее. Напоследок ему дали красть сколько хочешь. И он целыми обозами отвозил провиант в Асхабад. А тем временем лагерная бухгалтерия переписывала на него все прежние утечки и подлоги.

Но Миша был догадлив. И когда степь из зеленой стала желтой, выжженной, он захихнул все свои фунты стерлингов в сапоги и, запасясь служебной командировкой, отправился на двуколке в приграничный кишлак.

Оттуда до Персии было двенадцать верст степью. На закате Миша, оставив лошадь в кишлаке, пошел к югу. Степь здесь волнистая, и он старался держаться в низинах между холмами. Багровое небо пылало, а над землей, как лиловый туман, клубился горячий сухой сумрак.

Уже почти совсем стемнело, и закат стал узкой полоской, когда Миша вдруг заметил человека, сидевшего на склоне бугра.

Человек поднялся. Он стоял на склоне как раз над Мишей и показался Мише огромным. Он спросил что-то сверху вполголоса на непонятном языке. Два-три слова были похожи на русские, и Миша внезапно догадался, что это хорват, бежавший из лагеря. За последнее время в лагере все развалилось, и пленные нередко убегали.

Миша ничего не ответил, и хорват нагнулся к самому его лицу, вглядываясь. Миша стоял неподвижно, чувствуя дыхание хорвата у себя на щеках. Вдруг хорват вскрикнул, и Миша понял, что тот узнал его.

Хорват заговорил быстро, и оттого, что в этой непонятной речи встречались понятные слова, было еще страшнее. Потом он ударил Мишу кулаком в лицо.

Миша выплюнул все свои темные зубы, потерял сознание и свалился в жесткую траву.

Когда он очнулся, закат уже совсем потух. Большие низкие звезды висели над степью. Обессиленный, боясь шевельнуться, Миша лежал на спине и смотрел в звезды.

Проходили часы, созвездья медленно передвигались над Мишей. Все было тихо кругом. И вдруг вдали, в тишине, прозвучали три винтовочных выстрела один за другим.

Миша жадно прислушался, но опять настала тишина, неподвижная, как каменная.

Когда ночь посерела, Миша поднялся и побрел вперед. Узкая полоска зари появилась на востоке, вершины бугров порозовели. Пробираясь, нагнувшись, по плоской открытой поляне, Миша споткнулся в траве. Глянув под ноги, Миша увидел, что зацепился носком сапога за ногу человека. Он узнал его — это был тот хорват.

Ночью хорвата убили пограничники.

В своих лохмотьях мертвый хорват похож был на тряпичную куклу. Неподвижные выпуклые глаза с оттянутыми нижними веками глядели вверх.

Миша стоял и смотрел на хорвата. Потом ударил его каблуком по лицу.

И побежал вперед, не оглядываясь. Он бежал до тех пор, пока не оказался на берегу речки. Эта речонка — он знал — и была граница.

Уже совсем рассвело. Ни одного человека кругом. Он разулся и пошел вброд, неся сапоги на плече, чтобы не замочить фунты стерлингов. Вода была теплая и желтая. Острые хрупкие камыши ломались с сухим звоном.

На персидской стороне он залез в кусты возле воды и лег. Вымыл распухшее лицо, долго пил. Десны его кровоточили. Серая ящерица смотрела на него с серого камня. Солнце подымалось над холмами.

2

Купив в персидском городе Астерабаде серый костюм и мягкую шляпу, он почтовой каретой прибыл в Тегеран. Там он снял себе комнату в одном армянском семействе, где говорили по-русски. Он изобрел себе новую фамилию и вначале был очень осторожен, так как не знал, не попытаются ли русские власти выцарапать его из Тегерана. Но из России приходили вести о все новых и новых событиях, и Миша мало-помалу начал догадываться, что русским властям не до него.

Беззубый рот был безобразен, и осенью он пошел к зубному врачу вставить себе золотые зубы. Зубной врач оказался выходцем из России и даже уроженцем того же города, где родился Миша. Миша рассказал ему, как они с приятелями дуррачили на бульваре прохожих, и зубной врач очень смеялся — юность его прошла на том же бульваре. Он сказал Мише, что, прежде чем вставить новые челюсти, нужно удалить оставшиеся в деснах корни зубов. Это было очень больно, но Миша согласился. Каждые пять дней он приходил к зубному врачу, и тот вырывал ему несколько корней. К новому 1918 году два ряда золотых зубов сияли у него во рту.

Под персидским солнцем они сияли так ярко, эти зубы, что всякий, разговаривая с Мишей, невольно жмурился. Миша был доволен, несмотря на то, что зубной врач взял с него почти четверть его состояния.

Получив зубы, Миша стал осторожно приглядываться к делам, ища применения своим капиталам. В Тегеране было немало русских дельцов, и постепенно ему удалось с ними познакомиться. Его полюбили, так как он был шутник и так как до-

гадывались, что у него есть деньги. И мало-помалу он начал принимать участие в некоторых делах и комбинациях.

Но служба в лагере военнопленных испортила его воображение. Ему не нравились медленные сложные торговые дела, дающие ничтожный доход, он не был приспособлен к ним. Ему хотелось стремительной удачи.

Однако такая удача не подвертывалась.

Он прожил в Тегеране целый год, покупая и продавая всякий грошовый вздор, но удачи не было, и деньги его таяли. Он бросил Тегеран и поехал по Персии, торгуя полисами страховых обществ. Но глиняные дома персов не боялись пожара, и полисов никто не брал. Деньги его таяли. Он радовался только слухам о гражданской войне в России,— пусть окончательно истребятся все следы его краж.

Нижняя Персия томила его. Он покинул ее и переехал сначала в Багдад, где стояли тогда английские войска, потом, через несколько месяцев, в Сирию, захваченную в то время Францией. В Александrette он выдал себя за представителя врангелевского правительства и начал продавать разные русские бумаги. Это была великолепная идея, и Миша воспрянул духом. Но, к несчастью, в Сирии появились настоящие представители врангелевского правительства и разоблачили его. Миша бросил Сирию и переехал в Палестину.

В белом костюме, в тропическом шлеме, занял он лучший номер гостиницы в Яффе — с зеркалами, с ванной, с видом на Средиземное море. Он выдавал себя за богатого человека именно потому, что дела его были плохи. Он чувствовал, что если здесь ему не удастся совершить чего-нибудь необычайного, он пропал. И он жадно и торопливо осматривался.

То было время, когда Англия устраивала в Палестине еврейское государство под своим протекторатом. Ежедневно все новые пароходы выбрасывали в Яффу все новые толпы оборванных людей из Румынии, Венгрии, Польши, Литвы. Их увозили в степь, в разные концы, и давали им клочки дикой каменистой земли. Миша случайно увидел, как они в степи, собравшись кучками, перетаскивают камни, и вспомнил хорватов, которые вот так же в такой же степи перетаскивали рельсы. Это сходство взволновало его, и все свое внимание он направил на переселенцев.

Он стал наблюдать за деятельностью одной американской благотворительной организации, распределявшей среди переселенцев одежду. Эту одежду жертвовали нью-йоркские евреи. В грудах заношенного и застиранного тряпья попадались прекрасные вещи: почти новые платья, шелковое белье, фуфайки, мужские костюмы, пальто и даже меха. Все это развозилось по палестинским поселкам и раздавалось совершенно даром.

Голодный переселенец, получив даром драповое пальто или шерстяную фуфайку и не зная, что делать с этими вещами под

аравийским солнцем, шел их продавать. Продавал он и белье, потому что ему не на что было купить еды. Но все соседи тоже продавали пальто, фуфайки, белье. Покупателей не было. Никто не давал за одежду даже мелких никелевых денег.

Подсчитав остатки своих богатств, Миша нанял старый грязный «фордик» и за месяц объехал на нем все селения между Яффой и Иерусалимом, между Вифлеемом и Назаретом, между Геннисаретским озером и приморскими долинами, где некогда жили филистимляне. Он покупал юбки, платья, пальто, пиджаки, брюки, меха. Когда «фордик» переполнялся, он отвозил все скупленное в Яффу, складывал там и опять выезжал за добычей. Многие евреи говорили по-русски. Это помогло ему: на него смотрели как на своего. Мужчинам он рассказывал очень смешную историю о том, как раввин мылся в бане. С женщинами он умел ладить еще лучше, чем с мужчинами.

На ближайший пароход, идущий в Константинополь, погрузил он груды готового платья. Ему было доподлинно известно, что константинопольские цены на одежду очень высоки. В Турции шла война. Турция вступила в войну в 1914 году, теперь шел уже 1921 год, а Турция все воевала. После капитуляции Германии в 1918 году туркам еще долго пришлось воевать с греками, с султаном, с англичанами. В Константинополе товаров не было и цены на одежду все росли и росли.

Веселый, сидел он на палубе под тентом, ел апельсины, разламывая их на золотые дольки, смотрел в синее теплое море. На пароходе ехали французские барышни — чернобровые, тоненькие, в розовых платьях. Ему удалось привлечь их внимание, кормя булкой морских чаек. Красноклювые чайки нестройно вились за кормой. Миша подбрасывал вверх комки хлебной мякоти, и чайки проглатывали их, хватая на лету. Миша знал всего несколько французских фраз, которым научился в Сирии, но барышни отлично его понимали.

В Константинополе он выгрузил свой пересыпанный нафталином товар.

Константинополь в то время был полон русскими белогвардейцами, бежавшими из Крыма, недавно занятого красными. Он встречал земляков повсюду — в ресторанах, гостиницах, на улицах. Вид их унылых лиц доставлял ему удовольствие — он чувствовал свое превосходство над ними, беглецами и неудачниками. Он знакомился, заговаривал, некоторых даже угощал пивом, рассказывал им о Папелюхах, о раввине, который мылся в бане, и туманно намекал на свои богатства.

Он действительно был очень богат — за его товар ему предлагали огромные деньги. Но продавать он не спешил. Он приглядывался, прислушивался.

Встретился ему один армянин-купец, приехавший только что из Тифлиса. В Тифлисе было меньшевистское грузинское

правительство, воевавшее с Советской Россией. Купец этот торговал чем угодно и знал цены на любые товары в любых местах. Он-то именно и сказал Мише, что готовая одежда стоит в Тифлисе по крайней мере вдвое дороже, чем в Константинополе.

Мишины планы сразу изменились. Тюки с тряпками превращались в тюки с золотом. Он прервал переговоры с константинопольскими покупателями, погрузил свой товар на пароход и поплыл через Черное море в Батум.

В Батуме было переполнено и беспокойно. Люди спали под пальмами на чемоданах. Толпы приступом брали пароход, на котором прибыл Миша,— всем хотелось уехать в Константинополь. Сюда, на батумскую набережную, съезжались торговцы, землевладельцы, чиновники со всего Кавказа: красные подходили к Тифлису.

— Вы безумец! — говорили Мише в кафе, когда узнавали, что он едет в Тифлис.

Но мысль о том, что такое замечательное предприятие, почти доведенное до конца, может внезапно рухнуть, казалась Мише невероятной. Он не боялся большевиков. В Персии все боялись курдов, в Аравии — вахабитов, а он прекрасно знал, что и курдам и вахабитам можно продавать все, что угодно. Он погрузил свои богатства в два товарных вагона и отправил их в Тифлис.

Он ехал в пустом поезде. Навстречу поезда шли переполненные — люди сидели на буферах, на крышах, на паровозах. Когда он приехал в Тифлис, там уже кое-где висели красные флаги и рабочие ходили по улицам с песнями.

Он провел ночь в гостинице, переполненной неуспевшими удрать. Все старались вести себя как можно тише и даже по коридорам ходили на цыпочках. До утра за окнами стреляли.

Утром он побрел к вокзалу посмотреть вагоны со своим товаром. По пустынным улицам шли красноармейские части. Вокзалом управлял комиссар — огромный кавказец в черной мохнатой папахе. Он ничего не знал о двух Мишиных вагонах и ничего не хотел о них знать. Миша сам пошел на поиски и долго бродил по путям. У складов и у составов стояли люди с винтовками. Они прогоняли Мишу прочь, но он возвращался. Наконец, стрелочник, с которым он заговорил, сказал ему, что товарный поезд, прибывший вчера из Батума, не разгружаясь, ушел сегодня перед рассветом на Баку.

Миша проклял того константинопольского армянина, который посоветовал ему ехать в Тифлис, сел в теплушку и трое суток тащился до Баку по только что очищенному от белых краю.

В Баку его вагонов не было. Но у него в блокноте были записаны их номера, и по номерам он узнал у дежурного, что они отправлены на Ростов. Он четыре ночи провел в Баку пе-

ред билетной кассой, и ему удалось достать билет до Ростова. В Ростове он узнал, что его вагоны ушли в Воронеж.

Был месяц март, и Миша впервые за много лет увидел снег. В Ростове снега было немного, но в Воронеже он только начинал таять. Миша прибыл в Воронеж раньше своих вагонов. Он прожил в Воронеже неделю, дожидаясь. Наконец, они прибыли — он сам видел их на ржавых запасных путях. Он бродил вокруг них тоскуя. На их плотно закрытых дверях висели пломбы.

Миша вытащил свои накладные, выданные в Батуме при белых. Но железнодорожники, посмотрев на печати, посоветовали ему никому не показывать этих бумажек. Миша понял, что его палестинский товар больше как бы и не его. Он растерялся. Теперь он уже не считал, что большевики похожи на курдов и вахабитов. Весь день ходил он по улицам Воронежа, подавляя в себе гнев и ужас.

А ночью вагоны ушли. Миша опять помчался вдогонку. Он не знал, что будет делать, когда догонит их, но он не в силах был расстаться с ними. Он поехал за ними в Казань. В Казани их не оказалось, и он помчался дальше, в Сарапуль, в Красноуфимск, Свердловск. Весна сменилась зимой, все холодней становилось, все больше было кругом снега. Без конца носился он в поездах по горным долинам, по вздыбленным темным лесам.

Вагоны свои он нагнал, наконец, в Челябинске. Они стояли в рельсовом тупике. Грязный снег таял вокруг.

Миша побежал по низкой насыпи.

Добежав до вагонов, он заглянул внутрь. Там было темно и пусто. Только несколько лепестков нафталина блестело на полу.

3

Он приехал в свой родной город, но отца там не нашел. Он не нашел в городе ничего прежнего, знакомого. Магазины были заколочены досками, а те, которые торговали, принадлежали кооперации. Из приятелей и родственников не осталось ни одного человека. Случайно удалось ему встретить старичка, служившего раньше в отцовской рыбной лавке, и старичок этот рассказал ему, что Мишина мать умерла, что отец его несколько раз сидел в тюрьме, как заложник от буржуазии, и полгода назад переехал в Петроград, не желая больше жить в родном городе, где был слишком на виду.

Миша продал на базаре свой кожаный чемодан, послал отцу телеграмму и выехал в Петроград. Отец встретил Мишу на вокзале. Миша узнал отца только тогда, когда тот кинулся его обнимать. Так вот он теперь каков, Мишин отец! Прежде он был грозным и величавым, прежде он был полным и усатым,

прежде он носил сюртук из толстого, как броня, сукна и ступал, откинув голову назад. А теперь от былой величавости его ничего не осталось; он оказался совсем маленьким, похожим на мышь,— серая толстовочка, облегающая сутулые плечи, безусое лицо все в каких-то обвислостях и пустых мешочках, широкая влажная лысина, седой пух над ушами и вздутые старческие жилы на висках. Только пахло от него попрежнему — еле уловимым запахом рыбы.

Отец обрадовался Мише, хотя, кажется, был немного разочарован, заметив, что у Миши нет даже чемодана. Они пошли пешком через город. Яркое майское солнце озаряло широкие улицы. Когда они вошли в парадную и стали подниматься по лестнице, Мише показалось, что отец слегка оробел.

Квартирка, впрочем, была у отца недурная. Комнаты загромождала мебель, ободранная и грязная, но дорогая. Обилие запертых сундуков, шкафов и комодов навело Мишу на мысль, что в этих сундуках, шкафах и комодах кое-что есть. Впереди вдруг зашелестело, зашуршало, и полная женщина средних лет в цветном капоте вышла ему навстречу. Она была бела и черноглаза. «Ого!» — подумал Миша.

Это была новая жена отца. Оказалось, после смерти Мишиной матери отец успел заново жениться. Он неуверенно остановился на пороге комнаты и ждал, как Миша встретится с мачехой. Но встреча прошла вполне сердечно. Мачеха полными своими руками обняла Мишу за шею, дотянулась до его лица и поцеловала. У нее был протяжный южный говор, и она, не умолкая, рассказывала, как они ему рады и как папаша скупал по своему сыну.

— Где же ваши чемоданы? — спросила она.

Мишу поселили в самой задней комнате. Мутное окно выходило во двор. У стены между двумя шкафами стоял потертый кожаный диван, и Миша сразу же лег на него.

День за днем, ночь за ночью лежал он на этом диване и вставал с него только тогда, когда звали есть. Поев, опять ложился. На улицу он не выходил. Шли дни, шли ночи, наступило лето, в открытую форточку со двора веяло духотой, а он все лежал и смотрел на грязные лепные завитушки потолка.

Иногда к нему заходил отец, садился у его ног на край дивана и заговаривал о делах. Начался нэп, разрешили частную торговлю, и у отца появились надежды. Он уже открыл рыбный ларек на рынке — ничтожное копеечное дело. А между тем ему удалось восстановить некоторые свои старые деловые связи с рыбопромышленниками на севере, такие связи, каких здесь никто из рыбаков не имеет. Если бы у него были теперь капиталы, в таком большом городе, как Петроград, можно было бы развить настоящее дело. Отец вздыхал. К сожалению, ему ничего сохранить не удалось. Вот если бы оказалось, что Миша кое-что привез из-за границы... Но раз он ничего не при-

вез, так нечего об этом и говорить. В таком случае хорошо было бы, если бы Миша поступил на советскую службу. В самом деле, почему бы не поступить? Тут дело не в зарплатке, зарплатка это не даст почти никакого, а вот к семье будут иначе относиться...

— Скажите, папаша, чем вы садитесь в поезде на скамейку?

Отец задумался.

— Задом,— отвечал он простодушно.

— А я пассажиром!

Нет, Миша не идиот, чтобы поступать здесь на службу. Ничего здесь Миша делать не станет. Какой смысл что-нибудь делать в стране, где государство само ведет торговлю, где земли и заводы не продаются и не покупаются. Миша чувствовал себя пленником. Он лежал на диване и думал о побеге.

Иногда, когда отца не было дома, к нему приходила махеча — круглая, в халате, в туфлях на босу ногу. Улыбаясь, она садилась на край дивана у его ног и пыталась завязать разговор. Ей очень хотелось узнать, что он делал за границей, и она расспрашивала его. Но он был угрюм и неразговорчив. Тогда она принималась говорить о себе. Она рассказывала о том, как жила в городе, где родился Миша, и о том, что был там у нее друг, который уехал с белыми за границу. Она собиралась ехать вслед за ним, но опоздала на один день, и проезда уже не было. И она вышла за Мишиного папашу, который хотя и старенький, но добрый. Однажды, слушая, Миша встал с дивана, обнял ее и поцеловал. Она вскрикнула, вырвалась и убежала. Он за ней не побежал. Он снова лег на диван.

Он лежал и прислушивался к тому, что она делала там, за стеной, в спальне. Сначала она сидела тихо, потом стала ходить, громко стуча каблуками. Возможно, она хотела привлечь его внимание. Но он лежал и молчал. Минут через десять она тихонько подошла к двери его комнаты. Она стояла за дверью. Он слышал ее дыхание. Но не двинулся с места. «Пускай постоит»,— думал он.

Отец, возвращаясь с рынка, попрежнему заходил к нему, но уже больше не заговаривал с ним о поступлении на службу. Он поглядывал на Мишу, вздыхал и словно все ждал от него чего-то. Несколько раз, будто невзначай, заговорил он о том, что на севере некоторые богатые рыбопромышленники занялись новым делом — перебрасывают на своих ботах людей в Норвегию. Он знает этих рыбопромышленников лет двадцать, и они знают его. А что им нужно? Только поручительство верного человека да деньги.

При этих словах у Миши все переворачивалось внутри, но он делал вид, что совершенно равнодушен. Он не спешил. Он еще полежит на диване и подождет. Со временем отец станет щедрее.

Мачеха перестала посещать его комнату. Но за дверью стояла часто. Она уже не заговаривала с ним так бойко, как вначале, и ужасно робела, когда он взглядызал на нее. Он иногда развлекался тем, что за обедом при отце долго смотрел ей в лицо, ничего не говоря, не улыбаясь, не мигая. Она терялась под его взглядом, задышалась, и на лице ее из каждой поры выступал пот.

Лето шло, и дела отца все расширялись и расширялись. Скоро из слов его Миша понял, что у него не один ларек на одном рынке, а по нескольку ларьков на разных рынках. Он уже присматривал помещение, где бы открыть рыбный магазин. В этом магазине будет большой аквариум с живыми рыбами. Хотя он все еще ходил в серой толстовке и вздыхал, что у него ничего не осталось, однако глаза его глядели уверенно, и все чаще Миша узнавал в нем старые повадки и замашки.

— Мишенька, хочешь я тебе дам рекомендательное письмо? — сказал отец, присаживаясь к нему на диван.

— Выгоняете, папаша? — спросил Миша.

Отец улыбался, смотрел ему в глаза и молчал.

Миша отказался взять письмо, если отец не даст ему денег. Но отец, видимо, все еще думал, что у Миши есть деньги. Он давал только одну тысячу — старыми николаевскими кредитками. Он уверял, что за перевоз берут как раз николаевскую тысячу. Миша не взял ничего и попрежнему лежал на диване. Тогда отец стал прибавлять. Он прибавлял постепенно — через день, через два. На пяти тысячах николаевскими он остановился.

— Мне за границей бумага не нужна, — сказал Миша. — Дай чего-нибудь подтверже.

Но уже понимал, что ничего подтверже отец не даст. Июль кончился, начался август. Если до осени не уедешь, придется ждать будущего лета. Миша взял письмо и пять тысяч.

Отец повеселел. Миша тоже повеселел. Они оба очень повеселели. Миша поехал на вокзал узнавать, когда отходит поезд в Мурманск. Вернувшись, он сообщил отцу и мачехе, что поезда в Мурманск уходят два раза в неделю — по вторникам и субботам. Была среда. До субботы оставалось три дня.

На следующее утро, когда отца не было дома, Миша услышал за стеною в спальне плеск воды. Он поднялся с дивана, прошел через коридор и толкнул дверь спальни. Мачеха, с распущенными волосами, в цветном своем капоте, стояла посреди комнаты и держала в руках белый фаянсовый умывальный таз. Увидя Мишу, она выронила таз, и он разбился на несколько кусков. Вода расплескалась по всему полу. Миша молча шагнул прямо к мачехе, отбрасывая ногами черепки. Он обхватил ее и поцеловал. Она ничему не противилась.

Через десять минут, сидя с нею рядом на краю кровати, он предложил ей ехать вместе с ним. Он показал ей письмо, написанное отцом и адресованное какому-то Федору Акимовичу

Лапшину в становище Усть-Шань. Он сказал ей, что нарочно переврал расписание поездов и что мурманский поезд на самом деле отходит вовсе не в субботу, а завтра, в пятницу, в два сорок дня, как раз тогда, когда отца не будет дома. Она была испугана, удручена, подавлена. Но согласилась на все.

Он сказал ей, что за границей им на первое время нужно иметь хоть немного, иначе они пропадут, и спросил, нет ли у отца валюты. Но оказалось, она совсем не знала, что есть у отца и чего нету. Отец, оказалось, дела свои от нее скрывает и дома не держит ничего. Миша сначала не поверил, потом рассердился. Увидев, что он сердится, она испугалась ужасно. Она порылась в комод и вытащила из-под груды белья две сережки, завернутые в бумагу. Это были ее собственные серьги. Он поднес их к окну и разглядел. Лицо его посветлело. Бриллианты безусловно настоящие. Да, это не хуже валюты. Он велел ейшить сережки в подкладку его брюк. И она вшила.

Вечером отец был еще веселее, чем вчера. Он беспрестанно похлопывал Мишу по спине, по плечу, беспокоился, как бы Миша не простудился в дороге, все жалел, что нечего ему подарить. Миша тоже был весел чрезвычайно, хохотал и подмигивал. Веселые, сели за стол — отец рядом с мачехой, Миша напротив. Отец достал небольшую скляночку со спиртом. Миша выпил рюмку и рассказал о том, как муж и жена пошли спать, а одеяло у них было короткое. Муж натянул одеяло до подбородка, и ноги вылезли наружу. Смотрит муж и видит: не четыре ноги торчат, а шесть.

— Слушай,— сказал муж, толкнув жену,— почему у нас с тобой шесть ног?

— Дурак,— говорит жена,— где же шесть? Четыре ноги. Посчитай еще раз.

Муж снова сосчитал ноги — опять выходит шесть.

— Да ты считать не умеешь,— кричит жена,— слезай с кровати и сосчитай, как следует.

Муж слез и стал считать.

— Правильно,— говорит,— четыре ноги.

Мачеха задохнулась и брови ее намокли. Отец смеялся от души. Сам Миша тоже очень смеялся. Хохоча, он громко хлопал себя ладонями по коленям, и желтый отсвет его зубов скользил по их лицам.

На следующий день, в пятницу, отец ушел из дому рано. Миша слышал, как за ним стукнула дверь, но долго еще лежал у себя на диване. За стеной в спальне возилась мачеха. Она плакала. Он пролежал до половины двенадцатого, оделся и пошел к ней. Она испуганно вытерла опухшие глаза. На полу стояли раскрытые чемоданы, но она, видимо, не знала, что класть в них. Он сам раскрыл комод, рассматривал ее белье, ее платья и давал ей советы. Укладывание и обсуждение вещей постепенно увлекло ее, и она оживилась. Он ходил по комнате

и посвистывал, а она показывала ему то одну вещь, то другую и спрашивала, брать или не брать. Если он видел, что вещь ей нравится, он советовал брать. Оба чемодана были полны, и всё новые тюки и свертки загромождали пол. Она раза три спросила его, который час, но он все уговаривал ее не торопиться. Он сказал, что, когда придет время, он сходит за извозчиком.

Она начала одеваться без десяти два. Был третий час, когда он отправился за извозчиком, оставив ее в квартире одну с вещами. Не спеша спустился он по лестнице, не спеша подошел к углу. В кармане его лежало письмо. Пять тысяч николаевскими висели у него на груди в холщовом мешочке. Две серги были вшиты в штанину.

До отхода поезда оставалось двадцать пять минут. Миша нанял извозчика и, не заезжая за мачехой, уехал на вокзал.

4

Миша медленно шел по берегу бухты. Волны почти касались его ног. Избы становища Усть-Шань огибали бухту полукругом. В бухте качались голые черные мачты рыбацких судов. Над мачтами крутилась крикливая стая чаек, словно колесо, заведенное навеки. За избами подымались каменистые голые кряжи холмов. Большое солнце висело совсем низко; на него можно было смотреть не щурясь. От скал бежали длинные черно-красные тени.

Миша побывал на своем веку в среднеазиатских степях, в Персии, в Аравии. Он повидал Средиземное море, повидал острова Греческого архипелага и Босфор. Теперь он шел по берегу Ледовитого океана. Но и прежде и теперь он был равнодушен к тому, что видел вокруг. Куда бы его ни заносила судьба, он оставался все тем же. Окружающее менялось, но Миша был неизменен, как гривенник, переходящий из кармана в карман.

Дойдя до конца становища, он огляделся и разыскал избу, стоявшую особняком от других, на склоне горы. Потом обернулся — не следит ли кто-нибудь за ним. Но кругом было пусто, и он неторопливо полез вверх по склону.

На крыльце его встретил долговязый подросток лет семнадцати.

— Вам кого? — недружелюбно спросил он Мишу, загородив ему дорогу.

— Федор Акимович Лапшин здесь живет?

— А вам зачем?

— Письмо, — сказал Миша. — Из Петрограда.

— Из Петрограда, — равнодушно повторил малый, словно впервые слышал это слово.

Тут на Мишино счастье из-за двери прогудел густой и угрюмый голос:

— Кондратий, пусти.

Кондратий посторонился, и Миша открыл обитую мохнатым войлоком дверь.

Духота обдала Мишу. Оконца комнаты были плотно занавешаны и не пропускали света. В первое мгновение Миша разглядел только полуоткрытую пасть железной печки, где сгорали рыхлые плитки торфа, пронизанные пламенем насквозь, как влагой, и огоньки многих лампад в углу перед иконами.

Иконы закрывали весь правый угол — от пола до потолка. Перед каждой сияла маленькая лампадка, и одна большая лампада — общая, величиной с солдатский котелок — висела перед всем иконостасом. На иконах изображены были головы, отрубленные мечами, истощенные лики, в виски которых впились черные змеи, адские костры, окруженные свинными и конскими мордами чертей.

«Неужели он деньги за иконами держит? — подумал Миша. — Нет, он не так прост. Он деньги в землю зарывает».

Когда глаза Миши привыкли к тьме, разглядел он пожилого мужика, сидевшего на лавке. Мужик был плечист, коренаст, с мохнатыми бровями. Бородища по краям поседела, но черная сердцевина ее, формой похожая на яйцо, ясно просвечивала сквозь седой волос. Крепкие, без блеска, темные глаза уставились на Мишу.

— Федор Акимыч? — спросил Миша.

Мужик молча разглядывал Мишино лицо. Потом выговорил:

— Ты бы хоть шапку снял перед иконами.

«С ним трудно будет», — подумал Миша, поспешно стаскивая с головы фуражку. Он чувствовал, что боится этого мужика.

— Я вам письмо привез.

Миша вытащил письмо и протянул Лапшину. Взяв письмо, Лапшин поднялся и подошел к лампадам. Он долго читал, беззвучно шевеля губами. Миша ждал. Ему захотелось курить. Он достал папиросу и нагнулся к лампадке, чтобы зажечь ее, но не посмел. Кто их знает, какие у них правила. Он бережно вынул папиросу из губ и спрятал ее в карман.

Прочитав, Лапшин аккуратно сложил листочки и поднес к лампадке. Огонь пополз по бумаге и добрался, наконец, до коричневых пальцев с большими потрескавшимися ногтями. Тогда Лапшин бросил легкие черные хлопья на пол.

— Кондратий! — крикнул он.

Вошел Кондратий, неся перед собой глиняный горшок. Он поставил горшок на стол и разложил две тарелки и две оловянные ложки.

— Садись,— сказал Лапшин Мише, и Миша послушно сел.

Лапшин разлил по тарелкам суп. Миша взял ложку и принялся есть. Лапшин сидел как раз против него и тоже ел. Кондратий не садился.

Жара была нестерпимая. Суп вонял рыбьим жиром. Но Миша глотал его, решив подчиниться всему. Когда суп был съеден, Кондратий унес горшок и принес на блюде вареную рыбу. Лапшин толстыми губами обсасывал позвонки. Миша осторожно выплевывал рыбьи косточки на подол своего пальто.

— Папаша мой пишет вам...— начал было Миша, чувствуя, что голос у него какой-то не свой, слишком тонкий, и осекая.

Лапшин не сказал ничего.

Подождав, Миша начал снова:

— Я ведь не безденежно, Федор Акимыч, я ведь понимаю...

Лапшин словно не слышал. Сосал кости, вытаскивал их пальцами изо рта и раскладывал по краям тарелки.

— Я могу дать даже царскими...

Миша задыхался, и пот по щекам тек ему за воротник.

— Тысячи даже полторы...

— Пять тысяч,— сказал Лапшин.

Миша хотел засмеяться, сказать: «Вы шутите!», но ничего не сказал и смех у него не получился. Лапшин продолжал молча есть, глядя себе в тарелку. «Только ничего ему не давать, пока не перевезет»,— думал Миша.

— Давай,— сказал Лапшин, вставая из-за стола.

Миша вытащил из-под рубахи ладонку, распорол ее и подал Лапшину все деньги.

Лапшин одним движением пальцев раздвинул кредитки, как карты, снова сдвинул их и сунул в карман.

Потом он открыл дверь в соседнюю каморку, впустил туда Мишу и оставил его там одного. Каморка была крохотная, с одним оконцем, таким маленьким и низким, что смотреть в него можно было только нагнувшись. Миша нагнулся, посмотрел, но ничего, кроме камней, не увидел. Не раздеваясь, он лег на кровать. «Э, все равно,— утешал он себя.— Завтра буду там».

Так пролежал он много часов, ничего не слыша, кроме грохота волн, разбивавшихся о берег. Никто не заходил к нему. Он старался не спать, он был уверен, что не заснет, но заснул, не заметив. Его разбудил легкий стук в окно.

Миша слез с кровати и подошел к окну. Он увидел — совсем близко — лицо Лапшина. Края черной бороды были седые и казались сиянием. Лапшин махнул рукой.

Миша вышел на крыльцо. Он захлебнулся — так неистово дул ветер. Бурая туча ползла по земле, скрывая избы и камни. Ветер гнал ее, мял и клубил. Миша сразу промок до рубашки. Было почти темно, хотя сквозь летящую мглу Миша мгновениями видел солнце, висевшее над горизонтом.

Из тумана появился Лапшин. Двустволка висела у него за плечами.

Он что-то кричал Мише, но ветер заглушал его слова, и Миша ничего не расслышал. Лапшин повел его вдоль самой воды, по галькам. Ветер дул с берега и тянул их в воду. Иногда туман на мгновение разрывался, и Миша видел то длинный язык волны, то угол дома.

Миша бежал, стараясь не потерять Лапшина в тумане. Они прошли все становище и пошли дальше. Через полчаса, задыхаясь от ветра, дошли они до самого мыса.

Кондратий сидел в лодке и вычерпывал из нее жестяным ковшиком воду. Миша влез в лодку и сел на скамейку. Лапшин сдвинул лодку с отмели и вскочил в нее на ходу.

Берег сразу исчез. Кругом не было ничего, кроме волн и вертящейся мглы. Лодку стремительно волокло ветром. Кондратий и Лапшин гребли.

У Миши уже вытрясло на волнах всю душу, когда он внезапно совсем рядом увидел высокий черный корпус рыбацкого моторного бота. Кондратий поймал канат и влез по канату наверх. Лапшин, несмотря на свою грузность, влез вслед за ним с легкостью. Миша тоже ухватился за канат, но ноги его скользили, и он никак не мог взобраться. Тогда Лапшин потянул канат к себе и втащил Мишу на палубу, словно куль.

Почти мгновенно подняли паруса и намотали якорную цепь. Бот пошел сквозь туман в море. Через двадцать минут застрекотал мотор.

В кубрике возле железной печурки было тепло, но в тепле больше тошнило. Миша хватался за медные поручни и вылезал на палубу. Там он садился возле мачты. Ветер пронизывал его насквозь. Волны мыли палубу и лизали его ботинки. Но он уже не берегся. Он давно промок.

За Мишиной спиной у штурвала стоял Лапшин. Он на Мишу не глядел, он глядел в море. Но близость его угнетала Мишу. Миша ежился, стараясь занимать поменьше места.

Окаменев на палубе, не в силах больше выносить холод, Миша снова спускался в духоту кубрика. Он ложился на койку, вделанную в борт. Рядом, за тонкими досками, плескалась вода. Когда Миша поворачивался на левый бок, бриллиантовые серьги, вшитые в левую штанину, впивались ему в ногу. Изнемогая от качки и тошноты, переворачивался он с боку на бок и прислушивался к тому, как Кондратий, покинув на минуту мотор, подбрасывал в печку поленья и грел чайник. Проходили часы.

Наконец, по сиянию поручней возле люка Миша понял, что снаружи посветлело. Он вскочил и выбрался наверх.

Туман исчез, солнце, вися, сияло, и тень мачты, изгибаясь, лежала на волнах. Воздух был прозрачен и чист.

Бот шел прямо к берегу. И до берега было уже недалеко.

Это тот берег, к которому Миша так стремился. Это выход в тот мир, где царствуют те законы жизни, которые милы Мише.

Миша вглядывался в края холмов, стараясь высмотреть дома, людей. Но ни домов, ни людей не было. Огненно-бурые и черные скалы, трещины, валуны. Кой-где, по склонам, темная ползучая зелень.

Бот остановился в широкой бухте, не бросив якоря и даже не выключив мотора. Берег заслонял его от ветра, и сразу стало теплее. Перебирая руками, Лапшин подтянул за канат лодку к самому борту и спрыгнул в нее. Ружейные стволы за его плечами отражали бледную синеву неба.

— Прыгай! — крикнул он Мише.

Миша спрыгнул, сел и ухватился руками за лавку, чтобы не свалиться, — так кидало и било лодчонку. Лапшин молча греб к берегу.

Выскочив на скрипучие гальки и почувствовав под ногами землю, Миша сразу пошел прочь от моря. Он хотел как можно скорее расстаться с Лапшиным.

Но Лапшин сказал внезапно:

— Я тебя провожу.

И Миша не посмел перечить.

Они полезли вверх по склону холма. Солнце нежно грело им плечи. Миша шел впереди, Лапшин сзади. Кусты голубики были им по пояс, и при каждом шаге слышно было, как осыпались на землю крупные водянистые ягоды.

— Мне дальше нельзя, — сказал Лапшин внезапно. — Иди один.

И остановился.

Миша, не попрощавшись, пошел вверх.

Он прошел шагов пятьдесят. И вдруг почувствовал, что Лапшин все еще стоит и не уходит.

Он обернулся.

Лапшин, прижав к плечу приклад двустволки, осторожно целился в него.

Миша побежал вверх.

И сразу услышал выстрел.

Лапшин промахнулся.

Прутья голубики пружинили у Миши под ногами. Миша всем телом ждал второго выстрела и бежал. Только бы добежать до гривки холма и спрятаться за ней.

На одно мгновение увидел он с вершины холма, верстах, должно быть, в двух, деревянный барак с незнакомым флагом над крышей.

Но снова грянул выстрел, и Миша упал на спину, не успев перескочить через гривку.

Он упал головой вниз, ногами кверху и раскрыл рот. Лапшин, просунув руку за ремень двустволки, неторопливо пошел к нему.

Он расстегнул на Мише все пуговицы и обшарил один за другим карманы пальто, френча и брюк. Карманы были пусты, и он разорвал Мишину рубаху, ища чего-нибудь на теле. Но и на теле ничего не было.

Лапшин упрямо переворачивал труп, прощупывал его со всех сторон. Они оба медленно сползли вниз по склону холма. Солнце сияло на Мишиных зубах. Лапшин усердно обыскивал Мишу. Но серьги, зашитые в левой штанине, никак не попались ему под пальцы.

Отчаявшись, Лапшин с силой ударил Мишу каблуком сапога по раскрытому рту. Зубы провалились. Лапшин опустился на колено, засунул пальцы в Мишину глотку и вытащил две золотые челюсти. Полой куртки осторожно стер он с них слюну и кровь и положил к себе в карман.

Евг. Долматовский



ИЗ СТИХОВ О МОНГОЛИИ

СТЕПНОЙ АЭРОДРОМ

Степь лежит сплошным аэродромом,
Дуют ветры с четырех сторон.
Почему мне кажется знакомым
Населенный пункт Обо-Сомон?
Белые дома, полынь да мята,
От жары плывущий горизонт.
Знаешь, здесь квартировал когда-то
Авиационный гарнизон.
Вот и померещилось, что юным
Летчиком советским я служу
Здесь в годах тридцатых и по дюнам
К старым самолетам подхожу.
И напутствуют хорошим словом
Улетающего в бой меня
Сам Смушкевич с Павлом Рычаговым¹,
Чьи не позабыты имена.
Но виденья прошлого погасли:
Это очень мирные места,
Вот и юрты, рядом с ними ясли —
Странные загоны для скота.
Из чего составлена ограда?
Фюзеляжи, крылья со звездой —
Все, что с давней связано бедой,
Стало новой жизнью... Так и надо.

¹ Советские летчики, герои боев у Халхин-гола.

СРАЖЕНИЕ С ОГНЕМ В РАЙОНЕ ХАЛХИН-ГОЛ

Поймешь ли ты, с каким душевным трепетом
Я подъезжал к району Халхин-гол.
Дремала степь. Над ней кружили стрепеты
И очень высоко парил орел.
Трава, трава на все четыре стороны...
А сердце вспоминать не устает
Военные события, с которыми
Я разминулся в тот далекий год,
Чтобы принять потом на скалах Севера
В буденовке крещение бойца.
То желтой, то зеленою, то серою
Я вижу степь без края и конца.
Но что это на горизонте движется?
Как будто дым? Ну, да, конечно, дым.
Пахнуло жаром. Все труднее дышится.
А может быть, мы в прошлое глядим?
Нет! Пламя развернуло наступление.
Как порох — прошлогодняя трава.
Над степью ветры мечутся весенние,
Рождая огненные острова.
Стада, гонимые дыханьем пламени,
Бегут, не ведая, куда бежать.
А танк советский, превращенный в памятник,
Над желтой бурей высится опять.
Ревет огонь... В минуту эту трудную
Из Чойбалсана мчат грузовики.
Степь оказалась вовсе не безлюдною
Всем прежним представленьям вопреки.
Выходят в битву школьники с лопатами,
И по равнинам скачут пастухи.
Глуша огонь тяжелыми халатами,
Они встают на берегу Халхи.
Огонь идет на сумасшедшей скорости,
Но люди мыслью подняты одной:
Самим избыть свои простые горести
И не пустить в Китай пожар степной.
...Разбит пожар, и людям не до лирики:
Стоит перед глазами степь в огне.
В Тамцакском клубе спят на сцене цирики,
О юности напоминая мне.
Ну, да, они в буденовках со звездами,
А много лет назад, в ином краю,
И нам такие шлемы были розданы,
Чтоб осветить звездой судьбу мою.

С тобою был и в радости и в горе я,
Суровая и нежная Монголия.
Ты от меня своей судьбы не прятала,
И руку я твою в своей держал.
Бедь вместе в августе тридцать девятого
Мы погасили не такой пожар!

Марк Соболев



* * *

Разболелся старый шрам от пули —
давний, у девятого ребра...
И опять невкусные пилюли
мне прописывают доктора.

И велят,— поскольку не в окопе,
а в доме, где тишь и благодать,—
сладкою водичкой на сиропе
горькие лекарства запивать.

Все мои протесты непонятны:
это, мол, в бреду такая муть...
...Под брезент палатки медсанбатной
входит память, раненная в грудь.

Было право: даже умирая,
криком боли раздирая рот,
оставаться на переднем крае,
неподвижным — двигаться вперед.

А как встал я — знала, в чем причина,
вся палата вместе с медсестрой:
горечью своей меня лечила
родина. И возвратила в строй.

«Помирать,— сказала,— не годится,
впереди — победные дела!..»
...Грелки к сердцу. Сладкая водица.
Неужели молодость прошла?

Правда жизни — самый лучший лекарь,
больше всех желающий добра.
Старый шрам болит у человека...
Уберите капли, доктора!

ЗИМНЯЯ НОЧЬ

Ночь январская, холодная,
в окнах иней на вершок...
Вот и выпита расходная —
на дорожку посошок.

А за окнами сыпучая
с ног валящая пурга,
зги не видно... Знать бы, к случаю,
что она такое — зга?

А зачем об этом спрошено?
Объясню — чего таить:
трудно мне, друзья хорошие,
из теплыни уходить.

И хозяйка смотрит ласково,
и хозяин домовит;
пышет жаром печь голландская,
электричество горит.

Окна полузанавешены,
глянешь в стекла — вьюга, мрак...
А кому дорога пешая
в ночь такую — этим как?

Вот путеец вдоль по линии
с фонарем пошел в обход.
Почтальон, седой от инея,
с полной выкладкой идет.

Ждут утра всю ночь не спящие
сторожа-бородачи.
Где-то врач спешит к болящему
(есть и пешие врачи).

Где-то, с воинским умением
вброд форсируя снега,
наступает отделение
на условного врага.

Где-то ветер, злость расходуя,
щеки путнику ожег.
Где-то выпита расходная —
на дорожку посошок.

Выйдешь в ночь — и за оградою
глаз не сразу разберет:
то ли снег на землю падает,
то ли ввысь земля плывет.

Влад. Семанкин



* * *

Хлопотливые первые пчелы —
вряд ли кто позавидует им —
оглашают весенние доли
непрерывным гуденьем своим.

Схлынуть схлынули полые воды —
но шиповник еще не в огне.
С одуванчиков много ли меду?
Больше горечи в их желтизне.

Не цвела еще белая липа,
медуница еще не цвела,—
и не раз догудится до хрипа
утомленная за день пчела.

От вечерней до утренней зорьки
снится пчелам несобранный мед.
Ты найди его в чем-нибудь горьком,
а в шиповнике каждый найдет.

Алексей Марков

*

* * *

Я не верю давно в предрассудки,
Но крестьянка в косынке цветной,
Что мне встретилась на первопутке
У колодца с бадейкой пустой
И стояла, покуда пройду я,
Чтоб в дороге мне не было зла,
Чтоб за счастьем я шел не впустую,—
Человеком хорошим была.

*Евг. Босняцкий,
Алексей Коробицин*

*

ЖИЗНЬ В РАССРОЧКУ

(Мексиканские сцены)

*МАЛЕНЬКОЕ, НО СОВЕРШЕННО НЕОБХОДИМОЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ ОДНОГО ИЗ АВТОРОВ*

В недалеком будущем издательство «Молодая гвардия» выпустит в свет небольшую книжку рассказов Алексея Коробицина. Это первая книга молодого автора, но не очень молодого человека.

Писателями становятся по-разному. Коробицин взялся за перо совсем недавно. Однако друзья знали и раньше его рассказы. Слушал их и я.

Сын русских революционеров, бежавших за границу из царской ссылки, Алексей Коробицин родился в Аргентине. Язык его детства — испанский, друзья его детства — мальчишки бедных кварталов южноамериканских городов, по которым вынуждены были скитаться родители. Приехав домой в Советский Союз, молодой Коробицин стал моряком торгового флота. Весь мир объехал корабельный механик Алексей Коробицин. А в годы, когда трудовая Испания отбивалась от наступающего фашизма, плечом к плечу с горняками Астурии и крестьянами Андалузии дрался боец интернациональной бригады Коробицин... Через несколько лет он прыгнет с парашютом в глубокий немецкий тыл, чтобы присоединиться к партизанам Украины, громящим фашистских захватчиков... После победы над гитлеризмом Коробицин опять уйдет в море на борту корабля дальнего плавания...

...В тот вечер, когда я впервые услышал его рассказы, он спокойным глуховатым голосом много видевшего и много думавшего человека говорил о людях, с которыми встречался в разное время и в разных странах. Я запомнил, и, кажется, навсегда, случай с интеллигентом, попавшим на рабочую окраину Мехико; смерть сторожа музея восковых фигур; странную историю старой нищей мексиканки, нашедшей в своей комнате клад. Еще не читая, только слушая, я не мог не дивиться захватывающей правде точных наблюдений и сочувствия сердца.

Простая мысль поразила меня тогда: почему у рассказчика так мало слушателей? Пусть моряк дальнего плавания бывалый человек Алексей Коробицин поведет за собой в заокееанские, так хорошо знакомые ему страны тысячи советских читателей.

Нелегко было убедить его взяться за перо... Знаете ли вы, какую испытываешь радость, открывая в человеке художника слова, помогая ему найти себя: свою манеру, свой почерк, терпеливо показывая, в чем его подлинная сила и в чем только мнимая!

Мы стали писать вместе. Нам пришлось трудно, даже очень трудно. Ему — особенно. Мы работали год. И вот перед вами маленькая невыдуманная повесть «Жизнь в рассрочку». Факты, которые Коробицин наблюдал сам и о которых слышал от тех, кого хорошо знал и кому верил, превратились в историю одного дня мексиканского кобрадора.

Теперь Алексей Коробицин пишет сам. Есть у него уже семь рассказов, он заканчивает еще одну маленькую повесть. Пожелаем же ему счастливого пути!

Евг. Босняцкий

1. КОБРАДОР В КАБИНЕТЕ

Гильермо Родригес, кобрадор торговой фирмы «Джон Гренд лимитед компани», посетив к двум часам квартиры шестерых клиентов, направился, как и всегда в это время, в свой «рабочий кабинет». Так называл он уголок церковного сквера, скрытый от взглядов прохожих нестриженным кустарником и крупными листьями декоративного банана.

Тут стояла всего лишь одна широкая скамья из полированного доломита: каменная плита, какие кладут на могилы, скользкая и холодная. Сидеть на ней неудобно — слишком высоко положена, — зато столом она может служить довольно хорошо. Родригес раскладывал на ней бумаги, сортировал карточки клиентов; на подлокотник с грубо высеченной головой кондора молодой адвокат аккуратно вешал свой пиджак... Да, он так здесь освоился, так был уверен в том, что никто его не

потревожит, что решался даже снимать пиджак и шляпу. А если удавалось собрать к этому времени две-три сотни песо, Родригес вынимал из своего тайника под скамьей пластмассовый стаканчик, доставал из кармана плоскую бутылочку с текилой; что бы ни говорили, а этот напиток, если только им не злоупотреблять, хорошо бодрит.

Вот и сегодня кобрадор Гильермо Родригес, насвистывая модную песенку, отвинтил крышку бутылки, налил в стакан...

Слова «кобрадор» звучит почти так же, как «тореадор» и «матадор», однако бой быков тут решительно ни при чем. Все же маленькие бои, которые кобрадору приходится вести, тоже требуют мужества. Еще в большей мере они требуют наличия выдержки, профессиональной галантности и приличного костюма.

Свой «недорогой, элегантный, из первосортной канадской шерсти» черный костюм Родригес приобрел два года назад, решившись вступить в должность кобрадора. Глава фирмы мексиканец Хуан Гранде (он же «Джон Гренд лимитед компани»), горячо пожимая ему руку, сказал тогда — два года назад:

— Вижу, вы побороли свои сомнения. Я рад, искренне рад, сеньор Родригес. Верьте мне — вы не теряете ровно ничего. Клиентам вы по праву станете представляться как адвокат, а в некотором роде будете и действительно юрисконсультом нашей фирмы.

Родригес уже и в то время знал: кобрадор, как бы его ни величали, всего лишь мелкий агент. Его задача — выколотить из покупателя очередной взнос за товар, приобретенный в рассрочку. Такого «представителя фирмы», случается, выставляет за дверь лакей, а иногда, что особенно неприятно, и женская прислуга. Еще неприятнее требовать деньги в небогатых домах. Там кобрадора не выставят, там он важная, а иногда и грозная фигура. Родригес, сын кустаря-жестянщика, плохо представлял себя в роли «грозной фигуры». Однако выбора не было. Три года после окончания университета он не мог найти регулярной работы.

— Итак, по рукам, сеньор лисенсиадо!¹ — воскликнул тогда Хуан Гранде. — Рядовым кобрадорам я плачу от трех до пяти процентов, вы будете у меня получать шесть процентов инкассированной суммы... — Заметив на лице Родригеса признаки колебания, Гранде, склонившись к нему, доверительно прибавил: — Среди наших клиентов есть солидные, весьма обеспеченные люди — чиновники и государственные деятели. Вы познакомитесь с ними... понимаете! К вам, возможно, будет благосклонна судьба...

И вот через два года уже опытный кобрадор Гильермо Родригес готовился в своем «кабинете» к очередному вояжу. Он

¹ Лисенсиадо — почтительное обращение к адвокату.

вытащил из кармана пиджака квитанционную книжку, несколько визитных карточек и пачку других, более крупных, захватанных, перетянутых резинкой. Сняв резинку, стал раскладывать с проворством крупье.

Первая кучка — клиенты, у которых срок платежа еще не наступал;

вторая кучка — те, которые уже просрочили, но имеют солидное обеспечение: задержка не пугает ни их самих, ни хозяина — будут платить проценты;

третья кучка — прогоревшие.

«Это люди конченные. Во всяком случае, для меня. Пропащее дело. Пусть с ними возится сам Гранде, идет в полицию, в суд». Известно, что хирург, к какой бы страшной операции он ни приступал, обязан сохранять спокойствие. Полезно даже воспитать в себе равнодушие. Родригес держал карточку директора школы Луиса Бермехо. Легко расчувствоваться, когдаходишь в дом этого клиента, Кобрадоров принимают, как родных. Все, решительно все, Бермехо приобрели в рассрочку. Должны и за газовую плитку, и за кастрюли, и за коляску для своих близнецов, и за памятник на могиле бабушки; не боятся, что отнимут! Лола, молодая хозяйка, всегда скалит зубы, — можно подумать, что выиграла в лотерее. «Рада вас видеть, сеньор! Неужели не приходили целый месяц?! Разве не вы были вчера? Боже, какое недовольное у вас лицо... Милый, не огорчайтесь, подавайте в суд! Мы с мужем просто мечтаем... Если вы все вместе, — она легко, непринужденно смеется, — но только все фирмы сразу, подадите в суд на директора Бермехо, будет сенсация! Газеты раструбят. Ведь правда? Пусть газеты раструбят повсюду, что учителям государство не платит уже полгода...»

Небольшим усилием кобрадор Гильермо Родригес гонит с лица улыбку, спокойно откладывает карточку Бермехо в число безнадежных. Что ж, тут уж ничего не поделаешь! Потом внимательно исследует карточку чиновника Гальо. На ней предельно ясный значок — сердце, проткнутое стрелой. Он проводит тыльной стороной руки по своему энергичному подбородку. Выбрит достаточно чисто. К Гальо идти можно. Глянув сквозь листву банана вверх, на церковные часы, Родригес продолжает работать.

«Хименес... Друг светлой юности! С этим придется повременить. Отложим его в четвертую кучку!»

Четвертая кучка — это «быки». Те самые «могущественные чиновники и государственные деятели», с которыми так хотел в первые дни своей работы познакомиться Родригес. Судья, прокурор, «политико», депутат. Он с ними познакомился достаточно хорошо. Встречался, приходилось. Теперь он отлично знает: «быки», все как один, исповедуют простую истину: «Если мы станем раздавать свои деньги тем, кто от нас зависит, что будем делать те, от кого зависим мы сами?»

«Быки» охотно берут в рассрочку и телевизоры, и люстры, и несгораемые шкафы, и если ничего больше не дают, — электрические утюги, вентиляторы, бритвы. Берут, но попробуйте с них получить, попробуйте войти в их дом!

И все-таки Родригес еще раз взял карточку Хименеса. Чистенькую, не залапанную кобрадорами, не имеющую нервных пометок хозяина. Недавно Гранде сказал:

— Попробуйте! Не ссылайтесь на меня, действуйте на свой страх. За этим чертовым Хименесом числится кругленькая сумма. Если удастся!..

Родригес не дал ему договорить. С внезапным вдохновением выкрикнул:

— Сорок процентов!

Во взгляде, которым наградил тогда хозяин своего кобрадора, были и презрение, и бешенство, и мольба, и страх. Он стукнул кулаком по столу, однако сказал неожиданно тихо:

— Вы с ума сошли, Родригес! Хименес должен мне три тысячи песо.

— Сорок процентов, хозяин, и ни сентаво меньше! Я знаю не хуже вас, что сейф, который вы будто бы продали Хименесу, — форма взятки!..

— Довольно, заткнитесь!.. Тридцать пять процентов я вам за Хименеса дам. Только помните — я тут ни при чем. Не пробуйте ссылаться на меня. Все равно никто не поверит, что в одной фирме сразу два сумасшедших!..

2. ПУТЬ К УСПЕХУ

Возможности человека, имеющего регулярную работу, весьма высоки. Не следует только преступать границы разумного. Обратимся к примеру. Наш герой к концу второго года своей работы в должности кобрадора осуществил заветную мечту — заказал в граверной мастерской и полностью оплатил бронзовую дверную дощечку: *«Гильермо Родригес, Лиценсиадо. Ведение гражданских и уголовных дел»*. Скромно и значительно. Шрифт — готический. И никаких виньеток. Они выдают плохой вкус и привлекают клиентуру третьего сорта. Если сделать теперь небольшой скачок, ловким маневром загрести куш хотя бы в тысячу песо... Это даст возможность оплатить вперед квартиру из двух комнат в одном из переулков центра. А когда фамилию «Родригес» внесут в городской справочник, торговые фирмы охотно продадут в рассрочку и письменный стол, и два кресла, и портьеры, и маленькую юридическую библиотеку. Вторую комнату совершенно не обязательно меблировать в тот же год. Дверь из кабинета будет завешена; не станут же клиенты отодвигать портьеру.

Родригес был — и это самое важное — уверен в успехе. Два года работы кобратором дали ему знания, каких не имеют и профессора университета. Практические знания в области особых, все более расширяющихся, общественных отношений: в области законоположений и практики торговой рассрочки. Он будет первым в городе адвокатом, владеющим в совершенстве секретами взыскания безнадежных долгов и в равной мере — законной оттяжки платежа. Он сможет дать дельный совет как продавцу, так и покупателю, сумеет построить любую, даже самую сложную композицию торговых хитросплетений, основанных на системе долговременного кредита и розничной рассрочки.

...Еще раз глянув на часы у купола церкви, Родригес разложил по карманам свою «бухгалтерию», наметил мысленно маршрут и направился к центру. Ему предстояло наскоро закутить и никак не позднее трех часов попасть на улицу Чьяпас. Чтобы избежать людных мест, он пошел через парк Аламеда. Вообще-то он не любил здесь ходить. Раздражал гравий на дорожках: забивается в дырку подметки. Сегодня Родригес не обращал внимания на мелочи. Он был во власти деятельной мысли. Подобно ученому, уверенно идущему к важному открытию, молодой юрист рассматривал разные стороны увлекшего его проекта. Взять деньги у «быков», получить с судьи, с прокурора и, наконец, с Хименеса, с «политико»!

«Судья... Он не платит уже второй год. Сделал первый взнос только для вида. Был бы то мелкий почтовый служащий или мастер с завода — давно бы отобрали телевизор. Конечно, судья уверен: Гранде с него денег не потребует. И сегодня и завтра к нему идти бесполезно. Что ж, сделаем попытку через месяц, в дни перевыборов. Можно будет пригрозить разоблачением в газете. Статья под веселеньким заголовком: «Скрытые доходы неподкупного». Или — «Фемида обожает дармовщинку». Прокурор... Ну и чудак этот Гранде. Согласился дать за взыскание с прокурора двадцать пять процентов. А ведь нет проще вынуть из Кинтано его четырехста песо. Пусть только приедет из Веракрус теща этого пустомели. Милая старушка охотно пошла бы на сговор. За обещанные пять процентов устроит именитому зятю такой скандал, что все соседи сбегутся, как на фейерверк».

Под влиянием таких захватывающих перспектив Родригес бодро прошагал парк и вышел на улицу Санта Крус. В это жаркое время дня встречался большей частью простой люд: подгулявшие рабочие в синих дунгри, одетые кое-как женщины, индейцы в коротких белых штанах. Назойливые продавцы желатиновых сладостей подносили на коромыслах к самому лицу стеклянные коробки, похожие на птичьи клетки. Мальчишки подкатывались под ноги: газетчики, распространители лотерейных билетов и самые крикливые — те, что продают кульки

с гусанос — жареными гусеницами; в центре их гоняли полицейские.

Следом за Родригесом, на некотором расстоянии, шел человек в зеленой шляпе. Слишком приличный, слишком аккуратный для этого района и для этого времени дня. Яркожелтые ботинки, красный галстук, костюм фиолетового оттенка. Этот человек напоминал желатиновую сладость, завернутую в целлофан. Он скользил в пространстве, то приближаясь к Родригесу, то в нерешительности отставая. Человек попытался даже привлечь внимание негромким покашливанием и, когда Родригес обернулся, поднял руку, намереваясь что-то сказать. Однако Родригес кинул на него рассеянный взгляд и пошел дальше. Рассеянность свойственна мечтателям.

Родригеса часто толкали, в уши врывались сигналы машин, но все эти внешние стороны жизни не проникали глубоко. Кобрадор обдумывал план, искал способ, взвешивал возможности.

Даже простой маленький покупатель электрической бритвы, если он взял ее в кредит, такой честный до наивности обыватель, становясь клиентом кобрадора, превращается в проблему, в объект изучения. Сколько покупателей — столько характеров. И сколько характеров — столько подходов к ним. Когда же дело касается крупной суммы... Когда нужно произвести взыскания безнадежного долга с человека, который не только не намерен платить, но и не намерен выслушивать напоминаний о платеже — тут задумаешь ся!

Да, Хименес не судья, не прокурор. Висенте Хименес — «политико». Чтобы встретиться с ним, надо преодолеть и страх, и отвращение, и робость, вызываемую огромной дистанцией, и... надо, наконец, понять, кто он, что он, этот Хименес.

Пять лет! Не так-то уж и много. Пять лет прошло с тех дней, когда Родригес и Хименес сидели рядом на скамье университета и люди считали их друзьями. Но какой скачок он сделал, через что он перескочил, наш Висенте!

Одно ясно — успеха он достиг, сумел стать человеком политического бизнеса. В Соединенных Штатах его именовали бы коротким, звучным титулом «босс». Он больше, нежели депутат, и сильнее начальника полиции. Он менее доступен, чем министр, и в некотором роде страшнее гангстера; будьте уверены: если «политико» завоевал себе положение — ему способствовал не один гангстер...

Однако есть и другая сторона, другая особенность профессии, которую тоже должен иметь в виду кобрадор. И не только иметь в виду, но, если возможно, — использовать. «Политико», при всем могуществе, чувствует себя в иных случаях беззащитным, как ребенок, и бесправным, как пеон. Если завтра его сделают трупом, никто не станет искать убийцу. Его дети не живут в доме отца, он прячет своих детей. Ему не придет в голову совершить подъем к вершине Попокатепетля. И не

только потому, что там излишне чистый воздух для «политико» и чересчур яркое освещение. Вероятнее всего, «политико» потому избегает альпинистских вылазок, что в тех местах не проедешь в бронированном автомобиле...

«Э, нет,— остановил себя Родригес.— Это общие места, первое, что приходит в голову. Журнально-газетные представления, общий почтительный страх, почтительное презрение... Но разве это Хименес? Разве это наш Висенте? Вспомни, что ты знаешь о нем самом, о его характере!»

Они оба — и Родригес и Хименес — были в студенческие времена «Чайками». Так называли, да и теперь называют тех студентов, что ютятся под трибунами спортивного стадиона «Камино-Диас». Почему все-таки «Чайками»? Да потому, верно, что они кидаются на любую работу, берутся за любое дело — лишь бы раздобыть себе пропитание и возможность оплатить учение. Вот только в определении того, что считать делом, друзья не всегда сходились. И в годы юности Родригес не мог преодолеть брезгливости к некоторым человеческим занятиям. Висенте Хименес, помнится, не отказывался, когда вышибалы веселых домов брали его по праздникам в помощники. Пренебрегая опасностью, он мог также, по поручению заинтересованных лиц, переодеться в костюм рабочего-забастовщика и начать потасовку, чтобы дать возможность действовать полиции.

«Брось, какое это имеет отношение к тому Висенте, который живет в переулке Святого Марка, к владельцу дома с колоннами, к руководящему лицу партии «независимых». Ищи черты характера, сделавшие его великим... Врал, что отец его был знаменитым плетельщиком лассо, хотя все знали, что тот всю жизнь красил лошадей. Дальше, дальше! Страстно мечтал нажраться соуса моле... Охотно пользовался шпаргалками и чаще всего моими...»

И все-таки стоило Родригесу выйти на торговую площадь Эль Цокало, мир внешних ощущений властно ворвался в его размышления.

Мальчик в синем матросском костюмчике догнал его, коснулся его руки.

3. ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО ЧИСТИЛЬЩИЦЕ

Мальчик сказал громким шепотом:

— Простите, сеньор... У вас, кажется... вы где-то порвали брюки.

— Быть не может! — деревянным голосом проговорил Родригес. Он знал, что брюки действительно просвечивают. Но, благодарение богу, пиджаки все еще носят длинные. Увидев,

что мальчик маленький, Родригес немного приободрился: — Ну-ка, чапаррито, влезь на тумбу!

Мальчик охотно выполнил просьбу.

— Теперь посмотри, видно?

— Нет, теперь не видно!

— Вот и хорошо!

Инцидент был исчерпан. Родригес мог вернуться к своим размышлениям. Но его окликнул знакомый голос:

— Ола, Чайка! Как дела? — Возле маленькой уличной закуской стоял Нарсисо Сантос, один из тех юристов-счастливиц, которые, подобно Родригесу, имели заработок. Из окна тянулся аппетитный дымок. — Приглашаю закусить, — продолжал говорить, пожимая руку Родригесу, Нарсисо. — Поймал жареного петуха: за два часа распродал полтора ста билетов на завтрашнюю корриду. Другьям идти не советую, Ортега только на афише, предстоит замена: наш любимец прилет отдохнуть, — на тренировке зацепился ноздрей за рог...

Родригес взял со стойки закуской тако — маисовую лепешку — и, обжигая пальцы, стараясь не уронить ни крошки завернутого в нее мяса, промычал:

— «Мужчины не теряют времени!» — так назывался последний киноевек.

— Кобрадоры смотрят подобную дрянь? — спросил Нарсисо.

— Ты что же, не считаешь кобраторов мужчинами?.. Кобрадоры не ходят в кино, кобраторы — люди солидные!

— Ах, вот оно что. Особенно, когда они работают в такой процветающей фирме. Слушай, Родригес, сын души моей! На твоём месте я бросил бы к черту этого Гранде. Уж очень от него пахнет падалью. Ручаюсь, не пройдет двух месяцев — и твоего хозяина проглотит «Дженераль электрик» или «Дженераль пауэрз»... Э, смотри-ка, смотри... Ола, дон Хиральдо!!! — крикнул Нарсисо и с энтузиазмом замахал шляпой.

Мчался знакомый всему городу автомобиль. Короткий, красный, похожий на детский. Сидящий за рулем грузный и уже не молодой человек с сигарой в зубах кивнул головой Нарсисо.

— Ты знаком? — Родригес был очень удивлен. Он не знал, что Нарсисо завел уже такие связи.

— Мы познакомились на последней корриде. Напрасно говорят, что Хиральдо недоступен. Веселый малый, честное слово, не гнушается простых людей, если они не путаются у него в ногах и не кичатся образованностью...

В разговор вмешался хозяин закуской:

— А знаете ли вы, сеньоры, что всего пять лет назад дон Хиральдо сидел вот на том углу и только мечтал о карьере! Мы с ним выпили не одну кружку пива. А теперь он ближайший друг Хименеса...

Нарсисо презрительно сплюнул.

— Любезнейший, не очень-то много вы знаете. Они друзья, это верно. И Хименес тоже кое-чего стоит — иначе дон Хиральдо не бывал бы в его доме. Но, будьте уверены, не Хиральдо ищет дружбы с Хименесом. Скорей наоборот! Через него Хименес поддерживает неофициальный контакт с высшими сферами...

Родригес бросил взгляд на пожарную каланчу: без четверти три, можно еще постоять. Хотелось бы вытянуть из Нарсисо последние новости о Хименесе...

— Дон Хиральдо сделал головокружительную карьеру, — продолжал хозяин закусочной. — Подумать только, он сидел вот на том углу и мог часами стучать своими щетками, а голова у него все время варила. Подумать только — человек без образования и бедняк мог взлететь так высоко.

Нарсисо его оборвал:

— Тоже открыли Америку. Мне известно о Хиральдо все с того самого момента, когда мать опустила его со спины. Уверю вас, все! Его биография — образец нашей национальной предприимчивости в сочетании с коммерческим гением гринго¹. Начал, как старик Рокфеллер: мальчишкой торговал на улице газетами. А стал чистильщиком сапог самого министра финансов. Родригес, сын души моей, путь, которым пошел наш общий друг Висенте Хименес, слишком опасен...

Хозяин закусочной лег на прилавок. Лицо его разгорелось от волнения. Восхищение, смешанное с недоверием, светилось в его глазах:

— Вы друзья Хименеса, сеньоры? И это правда?

— Мы вместе учились, и вместе жили, и вместе... Дался вам этот Хименес. Хиральдо — о, это иное дело! — Нарсисо увлекся, стал рассказывать, смакуя, о баснословных махинациях этого на первый взгляд ничтожнейшего приближенного министра.

— С одного лишь Фелипе он взял пять тысяч за то, чтобы передать проект распределения подрядов на ремонт казарм... Да и тот же Хименес предлагал ему семь тысяч за...

Родригес хотел отвести Нарсисо в сторону, поговорить по душам, но тут внимание его привлекла сцена, разыгравшаяся под сводами гостиного двора.

4. КУЛАКИ В КАРМАНАХ

На площади у гостиного двора остановилась большая серая машина. И сразу же возникла атмосфера праздника, великолепного деловитого веселья.

Машина была покрыта тонким слоем желтовато-серого лёсса техасского или северомексиканского происхождения.

¹ Гринго — презрительная кличка, данная американским колонизаторам.

Пыль эта рекламная — ее не следует смывать, она показывает, что владельцы машины путешествуют. На заднем стекле и на боковых стеклах и даже на переднем ветровом стекле пестрели красками этикетки автомобильных клубов и гостиниц всего континента. Как только шофер мог видеть дорогу через щели между этикетками!

Из машины во все стороны высыпались неправдоподобно большие черные очки, новые индейские сандалии на босых ногах, женские ляжки с натянутыми на них разноцветными брюками, широкополые сомбреро, загорелые и навазелиновые лица, ярко намалеванные губы, руки с кольцами и руки в кожаных перчатках, рубашки навыпуск... Все это кричало, стонало от хохота, нацеливалось фото и киноаппаратами, воняло бензином, сигарным дымом, потом и духами, жевало резину, сверкало зубами, кидалось на прохожих с воплями:

— Амиго, амиго!!!¹

Ничего удивительного в этом не было. Родригес смотрел не на туристов, а на старика Молеро — уличного адвоката. Тот позировал. Улыбался, кланялся, со снисходительной готовностью подставлял свое одутловатое интеллигентное лицо под объективы. Он не лебезил. Сохранял внешнее достоинство и как раз потому-то и был желанным натурщиком для туристов.

— Найс бой! Экселент спесимен! — несло со всех сторон.

Старик был действительно хорош. Высокий, плотный, с белыми пушистыми усами на темнобронзовом лице, с осанкой доброго барина. Даже одутловатость щек, мешки под глазами и старый выцветший костюм не делали его жалким. Родригес знал Молеро не один год как умного, весьма образованного человека и великолепного знатока законов. Он знал также, что Молеро сидит здесь на улице, где кабинет ему заменяет ящик из-под мыла и засаленное кресло, не только потому, что опустился. Молеро, в представлении молодого юриста, был человеком с принципами.

В тот момент, когда подъехали туристы, в кресле против старика сидел пеон — индеец — очередной клиент. Увидев американцев и фотоаппараты, ошеломленный криками, он отошел в тень колонны. Молодой турист в рубашке с засученными рукавами, тыкая пальцем в пишущую машинку на ящике, резкими криками сзывал своих спутников и жизнерадостно хохотал. Родригес догадывался: мальчишка-гринго смеялся над тем, что машинка прикована цепью с большим замком к стене. Турист смеялся, конечно, и над ящиком-столом, и над

¹ Амиго — друг (испанск.).

индейцем, и над фанерной вывеской старика адвоката. Она гласила:

Александро Молеро, адвокат, дипломированный в мексиканском государственном университете в 1911 году. Ведение уголовных и гражданских дел, юридические советы, составление жалоб, заявлений, просьб, деловых, личных любовных писем, перепечатка на машинке. Цены умеренные.

Гарантируется неразглашение!

Сухопарая девица (два темных пятна очков и красная полоса рта) прыгала вокруг Молеро, нацеливаясь фотоаппаратом. Пригибалась, становилась на колено.

— Плисс, плисс! — восклицала она и показывала рукой, какую следует старику принять позу. Закрывки ее очков то и дело падали, она их нервно поправляла и снова кричала: — Плисс, плисс!

Нарсисо продолжал свою болтовню, не замечая или не желая замечать происходящего на той стороне.

— ...злые языки говорят, что он стал чистить у него сапоги по пять раз в день. Ни одна девушка не имела у министра такого успеха, какой имеет Хиральдо...

Родригес толкнул приятеля локтем:

— Смотри!

— Что такое?! — Нарсисо с наивным лицом поглядывал то на американку с фотоаппаратом, то на Молеро, то на Родригеса. — Что ты там нашел?

— Этот мальчишка в зеленой рубашке... чертов гринго! Смотри, он напяливает на голову старика сомбреро... Да они просто потешаются над ним. Что он им, шут?

Нарсисо расхохотался.

— Ты, оказывается, не избавился от юношеской впечатлительности. Или ты стал членом общества ревнителей памятников старины?.. Ничего не происходит. Папаша Молеро делает свой бизнес. Схватит за «консультацию» и на добрую выпивку и на маригуану...¹ Э, да он и сейчас уже тепленький!

— Они там, в Штатах, показывают нас родственникам и знакомым только в таком вот виде. Вообрази, Нарсисо, что эта глιστα в очках хочет сфотографировать на память о Мексике...

— Ого, Чайка, завидуешь ты, что ли? Я, между прочим, слышал, что старик продает свое место...

Родригес уловил в тоне приятеля нотку презрения, смешанного с удивлением, но сдержаться не мог. Сказал с возрастающим бешенством:

— Не для того мексиканские матери нас рожали, чтобы мы подстилались цыновками под ноги этих...

¹ М а р и г у а н а — наркотик, распространенный в Мексике.

Нарсисо щелкнул языком, покачал головой и, не сказав ни слова, бросил на прилавок монету. Казалось, он так и уйдет не попрощавшись. Но вот он поднял голову, оглядел Родригеса с ног до головы и процедил:

— Не знаю, как ты, а я признаю красный цвет только на плаще тореадора... Ну, прощай, человек с мыслями. Мне мысли не по средствам, да и времени не хватает.

С гиканьем и свистом, как бы стянутые невидимой резинкой, туристы убралась в свою машину, и она покатила с недозволенной скоростью по направлению к центру.

Сжимая кулаки в карманах, Родригес пошел через мостовую. Он еще не знал, что скажет старику Молеро. В груди что-то kloкотало. Это мешало дышать, это вообще мешало жить.

Неподалеку от уличного адвоката расположился на каменной ступеньке резчик по дереву. Перед ним на лотке были расставлены одинаковые фигурки различной величины: мексиканский индеец сидит на корточках, уткнув лицо в колени. Об этом, впрочем, можно только догадаться. Лицо на подобной фигурке никогда не вырезается. Все прикрывает высокое, широкополое сомбреро, как бы прижимая мексиканца к земле. В позе фигурки и печаль, и смирение перед судьбой, и лень, и праздность... Родригес относился раньше к этим фигуркам равнодушно, не замечал их, как булыжники улиц, кактусы, груды бананов на каждом углу. Он знал, конечно, что, подобно бананам и ананасам, страна его экспортирует такие фигурки. Деревянные мексиканцы развезены по всему миру... И вдруг он понял — фигурки эти, не имея лица, олицетворяют Мексику. Кому-то нужно, чтобы Мексика, его страна, была представлена другим людям, населяющим земной шар, такой вот праздной, печальной и безликой.

«Кому, зачем?» — думал он и медленно приближался к старику Молеро.

А тот сидел за своим ящиком-столом, положив тяжелое, усталое лицо на ладони. Он отодвинул руку от щеки и пошевелил пальцами:

— Ола, коллега, садитесь. Я ждал вас, давно ждал.

Родригес не нашел в себе мужества сказать старику, что думает о нем. Он поклонился, как привык ему кланяться, — опереточно-почтительным поклоном; он даже обмел краем шляпы свои ботинки.

Молеро сделал вид, что не заметил иронической почтительности молодого юриста. Скосив на него большие мутноватые глаза, он, с натугой подбирая слова, стал говорить:

— Ты слышал, что ли, что Молеро продает должность? В самом деле, хоть и был Сервантес кобрадором, но и в то время кобрадоров не любили простые добрые люди Испании. Ох, не любили! А Сервантес, помнишь, угодил в тюрьму за растрату...

Родригес искренне расхохотался.

— Вы думаете, что дела мои так плохи?

— Нет, я этого не думаю... А что я думаю?.. Мы все, мой дорогой, мы все давно уж не думаем... Вот видишь, о чем я думаю!

Тут только Родригес увидел, что папаша Молеро пьян. Держится хорошо, но локти то и дело соскальзывают с края ящика-стола. И так воняло перегаром текилы и маригуаны, что мухи не летали ближе чем в трех метрах.

5. ПРИОБРЕТЕНИЕ ДРАГОЦЕННОСТЕЙ

«Молеро, конечно, прав! Мы мало думаем,— размышлял Родригес, лавируя в толпе празднующихся на проспекте Инсурхентес.— Теперь уже надо спешить. Слишком долго тянулся его завтрак... Но кто знает, может и Нарсисо сжимает кулаки в карманах, когда видит гринго. И папаша Молеро и этот хозяин закуской. Я ведь тоже не вынимаю их по-настоящему, только чуть-чуть высовываю. А зачем? Что я выигрываю? Вот ведь собираюсь к Хименесу, ищу способ поддеть его на крючок. Ловлю удачу. Так прочь же уныние, дыши глубже и работай локтями, пока ты молод!»

Он так ударил локтем прохожего, что тот даже вскрикнул. Родригес пробормотал:

— Простите, сеньор!

Человечек в зеленой шляпе улыбнулся во весь рот.

— Я сам виноват, сеньор. Хотел вас обогнать и получил по заслугам... Дело в том...

Как знать, уж не собирался ли этот пешеход завести с Родригесом разговор. Среди бездельников, в рабочее время гуляющих по главной улице, есть неисправимые болтуны. Родригес ускорил шаг. Зеленая шляпа сразу отстала.

Родригес свернул на улицу Чьяпас. Как вдруг... Боже мой, опять задержка!..

Полная рука высунулась из двери ювелирной лавочки. Палец, на котором сидело три рекламных кольца, поманил Родригеса:

— Сеньор лисенсиадо!

Родригес неохотно вошел и сдержанно кивнул головой кокетливой пятидесятилетней вдове, стоявшей за прилавком.

Она говорила. Округлые слова легко выкатывались из ее рта. Они, эти слова, которыми люди пользуются при встрече, не обязывают к вниманию. Родригес не слушал их. И хотя под стеклом прилавка лежало множество ярких безделушек, блеск их тоже не привлекал его зрения. Он привычно произнес:

— Донья Инэс! Вы меня звали, как вы поживаете, все ли у вас здоровы, надеюсь автоматические замки, проданные нашей фирмой, не подвели вас ни разу?

Задача состояла в том, чтобы, ничем не проявляя нетерпения, возможно быстрее отделаться от старухи. Она, разумеется, задаст какой-нибудь вопрос об условиях покупки телевизора или вентилятора. Все они путают кобродоров с агентами по продаже.

Однако донья Инэс многозначительно молчала. Осторожно опершись на раму прилавка, она склонилась к Родригесу. Лицо ее приняло выражение доверительного участия и профессионального заговорщицкого лукавства. Такое выражение свойственно официантам ночных кабаре, шоферам просторных такси, продавцам тайных открыток, а также стареющим добровольным сваям.

— Ваша девушка приобрела у меня кольцо сговора!..

Донья Инэс медленно разогнулась, чтобы лучше видеть, какое впечатление произвело на Родригеса это сообщение.

Удар был нанесен меткой рукой. Родригес чуть не задохнулся. Ему стоило большого усилия сохранить бесстрастное выражение лица. Нет, черт подери, с ним еще ничего подобного не случилось! Неужели Панчита? Ну, это ей будет дорого стоить! Донья Инэс продолжала, играя глазами и молодо встряхивая крупной головой:

— Мой покойный дон Мануэль, да покровительствуют ему ангелы во веки веков (она привычно перекрестилась), говаривал: «Молодость грызет ворота зубами!» Ах, она, эта молодость, всегда считает себя, правой!.. Ваша девушка... как ее? Здесь у меня записано.— Донья Инэс выдвинула ящик конторки и стала просматривать реестр. Она не торопилась, ждала, что Родригес первым назовет имя.

Родригес ничего не говорил. Медленно выплывало в сознании значение поступка Панчиты. Конечно, это она, только она... «Ну, погоди же!» Однако он владел собой достаточно хорошо, чтобы сказать:

— Насколько я припоминаю, обычаи таковы: кольцо сговора покупает и затем дарит своей невесте жених, иначе говоря — мужчина.

Ювелирша, скрывая неловкость положения, вежливо хохотнула. Алчные огоньки уже сверкали в ее глазах.

— Вот в том-то и беда. В том-то, любезный лисенсиадо, и состоит необычность нашего с вами положения. Приходит покупательница и просит показать ей... Будем говорить напрямик: Панчита все-таки актриса. Могу ли я ей отказать, могу ли задавать ей нескромные вопросы? Нет, сеньор, я не могу задавать вопросы столь щекошливого характера актрисе, моей покупательнице!.. Но еще два слова, уважаемый сеньор Родригес. Только два слова, и вы увидите, сколько благородства...

Панчита не взяла кольцо на свое имя. Она знает обычаи. Она уважает обычаи своей родины! Да-да! Панчита сделала первый взнос сама, но покупателем записала вас!

Родригес не торопился выразить свое отношение к происходящему, молчал. Ювелирша перешла на контральто. Она никогда не была певицей, однако инстинкт ей подсказывал, что этим можно достичь наибольшей проникновенности:

— Вы понимаете, вы же сами человек бизнеса: поскольку здесь,— она показала на реестр,— записана ваша фамилия, я, разумеется, не могла отдать девушке ее покупку. Надо, чтобы вы подписали кредитное обязательство...

Это становилось любопытным. Будущий адвокат, будущий монополюный специалист по кредитным делам, по расщотке, принудил себя отвлечься от того, что и сам он участник сделки: «Надо рассмотреть сделку со стороны!» Уже два года Родригес занимался коммерцией. Окончив пять лет назад университет, он никак не предполагал, что придется так глубоко окупаться в мир торговых страстей. Даже решившись стать кобрадором, он не понимал как следует, кем станет. Смешно сказать — в начале своей деятельности он готов был доказывать, что система рассрочки — благодеяние для бедных людей. И уж во всяком случае выгодна и продавцу и покупателю в равной мере. Теперь не то, теперь он стреляный волк, от него не ускользнет ни один завиток, ни одна, даже самая мелкая пружина кредитной операции. Все, что говорила сейчас ювелирша, имело для него два смысла: один человеческий и другой — коммерческий. И улыбки, и движения рук, и подбор слов и выражений — все, все таило в себе желание извлечь выгоду, получить прибыль, о господи, хоть какую-нибудь прибыль. Не болтать зря, не улыбаться зря, не терять рабочее время напрасно...

— Сеньор не должен думать, что имя его будет разнесено по городу моими устами. Только мы с вами — ювелиры, юристы да еще, пожалуй, врачи — умеем хранить чужую тайну. Сеньор может быть уверен, что я считаюсь с его общественным положением... Пусть девушка записала кольцо сговора на ваше имя — это ведь вас ни к чему не обязывает!

Тут ловким движением, каким шулер вытаскивает из рукава карту, она вытащила из-под прилавка коробочку и открыла ее:

— Вот оно, это кольцо!

Та часть мозга Родригеса, которая ведала коммерцией, сработала с точностью арифмометра: «Старуха знает,— если я откажусь от кольца,— первый взнос, сделанный Панчитой, десять или пятнадцать песо, останется у нее. И кольцо останется и первый взнос. Таковы правила розничной рассрочки. И эта операция-ей, пожалуй, даже больше по душе, чем продажа...»

Все же Родригес продолжал молчать. Другая часть мозга

выходила из оцепенения медленно. Он не виделся с Панчитой дней пять или шесть. Они поссорились. Нет, зачем же, они вовсе не ссорились. Но разве можно себя так вести! Днем, на глазах у всех, она открыла тогда калитку чужого сада, поклонилась ошеломленной хозяйке — совершенно незнакомой женщине — и сорвала с клумбы большой багрово-красный тюльпан. Снова поклонившись хозяйке, Панчита не торопясь вернулась на улицу. Размеренными движениями она вставила тюльпан в петлицу пиджака своего кавалера — в петлицу его, Родригеса, пиджака... Он растерялся, лицо его, должно быть, залилось глупейшим румянцем... Панчита расхохоталась, повернулась на каблучке и, смеясь, убежала от него...

...Донья Инэс все еще держала в вытянутой руке коробочку с кольцом. Лицо ее подергивалось от напряженья. Но вот наконец-то он заговорил:

— Я просил Панчиту выбрать. Она девушка с большим вкусом. Я хотел сказать — с большим художественным вкусом. Надеюсь, вы разделяете мое мнение, донья Инэс? — Он твердо, с напряженным достоинством взглянул ювелирше в глаза. Взяв коробочку с кольцом, аккуратно расписавшись в реестре, он попросил: — Напомните, пожалуйста, условия. Сколько мне вносить, в какие сроки?

Ничего больше не сказав, Родригес вышел на улицу. Рука его сжимала коробочку с кольцом сговора. Конечно же, он был деловым человеком, коммерсантом с головы до ног. Именно потому он вернулся на проспект Инсурхентес: надо было взглянуть на башенные часы, выяснить, не поздно ли идти к Гальо.

И тут опять заработала коммерческая часть его мозга: «Случай мне помог. Я заложу или продам это кольцо и куплю новые брюки! Не могу же я идти к Хименесу в этих брюках! Нет, мне положительно везет, я на пути к серьезному успеху!»

Некоторое время он развивал эту мысль, рассматривал с различных сторон, исключая одну: как к его намеренью отнесется Панчита. Впрочем, иначе и не могло быть. Точка зрения женщины не должна изменять решение, принятое мужчиной.

Тем временем Родригес с каждым шагом приближался к дому клиента фирмы, к дому чиновника муниципалитета Гальо.

6. ДОМ КЛИЕНТА

В каком бы настроении человек ни был, он может найти радость в окружающем его мире. Творческое отношение к труду — вот что прежде всего дает уверенность в себе и направляет мысль вперед. Как человек образованный, Родригес не ограничивался собиранием фактов. Он их анализировал,

делал обобщения. Вот и сейчас, переключившись с приобретения драгоценностей на будничную работу, Родригес в то же время намечал основы теории торговой рассрочки. В главе о деятельности кобрадора он напишет:

«Дом клиента — это не дом! На него не следует смотреть, как на жилище, в котором мог бы поселиться и ты. Перед тобой лицо покупателя. И если ты, кобрадор, хочешь получить деньги — сумей уловить выражение этого каменного лица.

Проникнуть в дом — труднейшая и каждый раз новая задача. Чем богаче клиент — тем менее охотно он платит. Но он может заплатить, он не из тех, которые возвращают купленный предмет после третьего или четвертого взноса. Надо его убедить сделать взнос сегодня, а для этого надо его увидеть, войти к нему!

Для кобрадора, если он хоть чему-нибудь научился, нет просто звонка, нет просто стука, нет просто приветственного восклицания. Каждое слово, и каждое движение, и каждый взгляд, и каждая улыбка — это все крючки с приманками. Кобрадор их забрасывает, чтобы открылась дверь.

У дома играют дети. Точно определи, где мальчик клиента. Бессмысленно гладить по головке каждого ребенка, который здесь толчется. На это уйдет масса времени без должного эффекта. Горничная вывела собаку клиента. Кому из них следует сделать комплимент? Если окно открыто, похвали породистость собаки, если закрыто — улыбнись горничной и скажи ей что-нибудь приятное.

Запомни: радостное выражение свежевывмытых окон бывает обманчиво. Запахи вкусных блюд, прилетающие из кухни, не всегда говорят, что клиент в добром настроении и легко раскроет свой кошелек. Скорее наоборот. Не дай бог потревожить его перед обедом или слишком поздно, когда уже начался процесс пищеварения. Однако и во время обеда его лучше не беспокоить. Стремись уловить минуту, когда клиент вытирает рот и добродушно рыгает... А как ее уловить, эту минуту? О, в том-то и состоит искусство кобрадора!»

Но вот наконец-то и цель — домик чиновника Гальо. Родригес поднял шляпу и торопливо причесался.

Подобные домики принято называть коттеджами. Фасады их построены в стиле североамериканской архитектуры сервиса. Все рассчитано, чтобы создать впечатление: здесь живет состоятельный собственник. Аккуратно подстриженный кустарник образует (без дорогостоящей древесины и еще более дорогого металла) толстую, непроницаемую для глаз ограду. Как знать — уж не расстилается ли за ней обширный сад... Дверь одна. Сразу не догадаешься, что за ней домик делится на две равные половины. Только звонки: слева один, справа — другой, говорят, что живут здесь два квартиронанимателя.

Родригес поднялся на крыльцо. Раньше чем позвонить, он бросил взгляд за кустарник. Девушка индианка согнулась над корытом. Рядом стояла коляска с ребенком. Девушка стирала и одновременно качала ногой коляску. Из окна доносился звон убираемой посуды. Это означало, во-первых, что хозяйка и сама не брезгует кое-какой работой по дому — финансовое положение семьи не очень высокое; это означало, во-вторых, что сегодня он опоздал. Все же Родригес нажал кнопку звонка.

Девушка торопливо вытерла руки о подол платья, сорвала с ветки единственного дерева кружевной фартучек, вбежала через черный ход в дом; до слуха Родригеса донесся шепот: голос хозяина раздраженно бурчал, а голос хозяйки, как показало Родригесу, скрипнул с ожесточением. Против кого направлено это ожесточение?

Наконец, в двери открылось окошечко. В нем, как в рамке, возникла голова горничной. Увидев Родригеса, девушка вспыхнула, руки ее поднялись к прическе, незаметным движением она воткнула в волосы высокий гребень, задыхаясь от волнения, прошептала:

— Почему вы так поздно, синьор? Я вас ждала. Давайте скорее визитную карточку. Дон Марио еще дома.

Она открыла дверь и, беря визитную карточку, как бы нечаянно коснулась голым локтем его руки. Пока она ходила, Родригес оценивал положение: «Если Паулина пробудет там хотя бы две минуты — есть шанс. Если сразу же вернется...»

Она вернулась, выскочила на крыльцо:

— Дон Марио сказал: «Передай этому кобрадору, что сегодня мне уже некогда. Пусть явится в понедельник». Ах, если бы вы пришли полчаса назад! Хозяин еще не ложился после обеда, и я пропустила бы вас без доклада. Но... мы увидимся послезавтра, не правда ли?.. Как вам нравится моя новая прическа? Или вы совсем перестали обращать на меня внимание?

Взгляд Родригеса говорил: «Розанчик, милашка!» Это его ни к чему не обязывало. Паулина носила только передник горничной. На самом же деле она была прислугой «за все». Таких, как она, выпускают не чаще двух раз в год. Пасха давно прошла, до рождества ее гулять не пустят. А к рождеству Гальо оплатит свой приемник полностью. Так что Родригес ничем не рисковал, когда взял руку девушки в свою и слегка погладил.

— Хорошо, я приду в понедельник, — сказал он весело и настолько громко, чтобы слова эти расслышали в доме. И тихо девушке: «Паулина, я приду на полчаса раньше, а ты уж меняпусти. Ты ведь знаешь — я не простой кобрадор, а лисенсиадо. Дон Марио не будет сердиться».

— Ладно уж, хотя, правду сказать, вы того не стоите, — Паулина кокетливо улыбнулась и погрозила пальцем. — Плутиска! В прошлое воскресенье меня посылали на проспект за цветами, и я видела вас с какой-то курносой... Горожанка...

В ней нет ничего хорошего... Только что получше одета. Но в ней нет ничего красивого, и ноги у нее, как палочки, которыми чинно едят рис... А прическа у нее такая же, как у меня!

Родригес взглянул на прическу Паулины, на высокий пластмассовый гребень. Это было и трогательно и жалко — она переняла прическу Панчиты.

— Паула! — раздался резкий голос хозяйки.

Девушка досадливо отмахнулась. У нее сияли глаза, грудь ее часто вздымалась. От нее очень сильно пахло чесноком, а когда она закрывала рот — хозяйственным мылом. Рука, которую продолжал держать Родригес, была влажной, раскрытые от долгой стирки поры кожи ощущались, как на губке. А в глазах Родригес видел откровенную смелую преданность, которую у индианки нельзя отличить от любви.

Кружевной накрахмаленный фартучек. Из-под него торчит подол старенького ситцевого платья... Нитяные чулки, простые сандалии. Все это вместе с бескорыстной любовью было бы трогательно, умилительно и только чуть смешно, если б не прическа эстрадной танцовщицы, прическа Панчиты... Как это безмерно глупо.

Тут его поразила мысль, ничего общего не имеющая с той теорией, которой должен держаться в своем поведении кобрадор. Перед ним молодая девушка. В этом большом городе один только он говорил с ней вежливо, улыбался ей. И вот же внушил чувство любви. Видит бог, он не хотел быть подлецом. Он говорил с ней так всего лишь для того, чтобы проникнуть в дом. А там, в доме, нужно еще уговорить ее хозяина сделать очередной взнос за радиоприемник.

— Вы задумались, сеньор,— услышал он голос девушки.— Я первый раз вижу ваше лицо без улыбки. Не смотрите на меня так,— она выдернула руку. Потом, тоже перестав улыбаться, сказала шепотом: — Сеньор, вы можете прийти после одиннадцати вечера вот к тому углу и слегка свистнуть...

Снова закричала хозяйка:

— Эй, Паула, куда ты запропастилась!

Девушка подняла на Родригеса глаза и тут же отвернулась. Он хотел ей сказать... но она уже скрылась за дверью. Несколько секунд спустя Родригес услышал резкий звук пощечины. Голос хозяйки, срывающийся от злости, визжал и сипел:

— Вот тебе, вот тебе! Ты что же, деревенщина, думаешь перед тобой зеленщик... Нет, вы посмотрите, она пользуется тем, что образованный человек вынужден ходить в кобрадорах! Она заводит шашни с адвокатом! И что это ты (снова звук пощечины) накрутила на голове! Посмотри, Марио, эта обезьяна, эта пожирательница насекомых хочет выглядеть, как сеньорита. Она, чего доброго, запишется в профсоюз и примкнет к красным. Дай им только волю, проклятые индюшки!..

Голоса девушки слышно не было.

Родригес, стараясь не скрипеть ступенями крыльца, спустился и шмыгнул за угол. Тут он опять пошел размеренной походкой сознающего свое достоинство интеллигента.

7. ОПЯТЬ ДРАГОЦЕННОСТИ

Родригес относился к числу тех счастливицков, фигура которых выгодно подчеркивает достоинства и скрывает недостатки костюма. Он был строен, длинноног; держался с уверенностью, во всяком случае хорошо имитировал столь необходимую человеку его профессии уверенность в себе. Он содержал свой костюм в безупречной чистоте. Но беда в том, что мы выкаем к своему костюму, слишком долго считаем его приличным, прощаем его изъяны, относимся к ним снисходительно. Единственный костюм, как и единственный ребенок: мы отдаем ему массу сил и времени, слепо верим в его совершенство.

До встречи с мальчиком Родригес думал, что одет прилично. Сейчас стало ясно: в таких брюках к Хименесу идти нельзя. Да, нельзя! Родригес остановился, вытащил из кармана коробочку. Он ведь еще не разглядел как следует свою покупку. Коробочку обтягивает тонкая, тисненная золотом кожа. Красивая вещица. Родригес нажал кнопку, открылась крышка. В обрамлении голубого бархата лежало кольцо. Темножелтый кружочек с тремя сверкающими камешками...

— Видите ли, что я вам скажу. Эти камни, если на них поглядеть с оборота, будьте уверены, они покрыты амальгамой. Конечно, вы предлагаете не стекла,— полный молодой человек, молодой, но уже обрюзгший, протянул руку к кольцу.

Родригес захлопнул крышку.

— Я ничего не предлагаю! — воскликнул он с искренним удивлением.

— Хорошо. Но согласитесь, что если возле моего магазина останавливается человек с вещью... Может быть, сеньор предпочитает разговор внутри помещения? Прошу вас!

Родригес осмотрелся. Он стоял перед магазином с тремя шарами. Давно повелось, что три шара на длинном стержне заменяют вывеску владельцу магазина подержанных вещей. Только сейчас он понял, как ловко это придумано: не надо уметь читать, чтобы найти магазин. Бедняк увидит его издалека. Родригес покачал головой и улыбнулся: ноги сами привели его сюда.

— Ну что ж,— сказал он.— Зайдемте. Я не прочь узнать подлинную цену этой безделушки.

Хозяин засуетился, пропуская в магазин Родригеса. Он все время говорил, молот, что попало:

— ...Конечно, бывает и наоборот: человек готов продать платье, чтобы купить кольцо своей невесте. Но когда он уже имеет жену, а у жены есть обручальное кольцо, так зачем кольцо сговора будет лежать?.. Вы хотите получить наличными или же вы купите себе что-нибудь из одежды?

В полутемном магазине под потолком, уходя в темноту, висели рядами длинные пыльно-серые женские платья, ветхие, как летучие мыши, костюмы, а у прилавка теснилась такая же серая обвисшая группа женщин. Передняя держала на руках бледного младенца, деловито посасывающего ее длинную грудь. Огромные прозрачные глаза ребенка были обращены к свету двери, к жизни улицы.

Досадливо поморщившись, хозяин магазина загородил своей фигурой женщин.

— Так давайте же вещь! — воскликнул он и опять протянул к Родригесу раскрытую ладонь. — Сколько можно думать?

Только сегодня утром все шло нормально. Родригес, как и вчера, как и позавчера, обходил своих клиентов, а в перерывах мечтал, что выдумает способ получить деньги с Хименеса. И вдруг это кольцо... Панчита, проклятая девчонка! Ей, видите ли, нужно решение. Окончательное. Девица из ночного ресторана «Патио», левичка, о которой говорят, что она не только поет и пляшет на сцене, но, когда ее приглашают посетители, танцует с ними между столиками. И юрист. Молодой законовед, полный надежд и планов. Будущий владелец собственной юридической конторы! Люди станут говорить: «Он потерял голову, окончательно опустился... Вы слышали, что сделал Родригес? Пошел путем старика Молеро. Его лестница повернула круто вниз».

Но ведь это не так. Он уже полтора часа назад спокойно сказал себе: «Я беру кольцо, только чтобы не пропал первый взнос. Я продам его — и конец! И если Панчита не захочет со мной встречаться, это — ее дело. Разве мало девчонок в Мехико? Разве мало таких вот круглолицых с глазами? С такими вот смеющимися, с такими лукавыми глазами?.. Их можно встретить на каждом шагу, познакомиться и в день полочки прокатиться с такой курносой на плоскодонке. Девчонок с гитарами сколько угодно, и девчонок, которые для тебя расплетут косы, тоже тьма тьмуцкая... И таких, из-за которых, когда их долго нет, ноет сердце, из-за которых бродишь, не замечая встречных, из-за которых мог бы ударить друга и брата...

— Кто вам сказал! — воскликнул Родригес с раздражением. — С чего вы взяли, что я продаю кольцо?! Поймите, я купил его. Купил и хочу узнать, не слишком ли много заплатил.

— Вы... узнать? — Хозяин повернулся к Родригесу и уставился на него. Короткая пауза и улыбка расцвела на его лице. — Так вы покупаете? Вы, наверно, хотите сделать еще несколько подарков своей невесте! Я к вашим услугам. И вот, пожалуй-

ста, что угодно: бальное платье, и платье для прогулок, и свадебная фата, и, если пожелаете, фамильные драгоценности... У меня имеется также набор посуды для молодой хозяйки...

За спиной хозяина вздохнула женщина. Откликнувшись на вздох матери, вскрикнул младенец. Он вскрикнул протяжно и жалобно, совсем как сигнал невзрачного автомобиля, забытого полицейским на перекрестке.

Заметив вопросительный взгляд Родригеса, хозяин дернул плечом.

— А что вы думаете! — воскликнул он. — Ко мне приходят только люди с золотом?.. Вы уже, конечно, слышали про беспорядки на фабрике Гамильтона. Так кто помогает бедным сироткам? Профсоюз? Правительство? Как бы не так — кто возьмет испачканные кровью тряпки?! А я плачу деньги. Мне жалко детей — и я плачу деньги!..

Родригес сунул коробочку в карман и, ничего не сказав, круто повернул к выходу.

— Эй, господин с кольцом! Куда же вы, господин с кольцом?

С удивлением Родригес обнаружил, что он вновь очутился в парке Аламеда, на отдаленной аллее, той, что ближе к беднякам. Известно, что парк Аламеда служит заслоном между нищими кварталами города и центром. Надежный заслон. И в то же время фильтр... В общем — пограничная зона. Но скамейки здесь хорошие. С высокими выгнутыми спинками.

Родригес расположился довольно удобно, откинулся на спинку. Вел себя, как плохой актер, принимающий позу безмятежности... Он посидит немного и вернется к тому типу. Просто войдет в лавочку и скажет: «Вы были правы, кольцо мне нужно продать!»

Тут размышления Родригеса прервал чей-то неуверенный кашель. Резко обернувшись, он опять увидел человечка в зеленой шляпе.

Родригес в упор посмотрел на пришельца. Человечек поспешно улыбнулся.

— Мы немного знакомы, — сказал он и при этом весьма искусно показал смущение.

8. ПОЕДИНОК

— Мы немного знакомы, — повторил человечек в зеленой шляпе. — О, совсем немного. Только изредка видимся, встречаемся в одном известном вам доме. — Делая маленькие шажки, человечек приблизился и приподнял шляпу. — Меня зовут Нойзи. Это мой музыкальный псевдоним. Я работаю на ударных инструментах в оркестре. Там же, где одна особа; она говорила мне о вас, она тоже принимает участие в наших концертах...

Родригес в упор смотрел на пришельца, он все еще не отделался от своих мыслей и не очень хорошо понимал, что происходит. Трудно было его сейчас чем-нибудь заинтересовать. Все же он протянул руку. Человечек схватил ее влажными ладонями.

— Я рад, если б вы только знали, как я рад! Случай помог мне встретиться...

— Вы, кажется, говорили о какой-то особе?

— Совершенно верно. И у меня даже есть записка. Но если вы согласитесь сначала выслушать... Ваши высокие моральные качества...

— Так-так,— проговорил Родригес. Только теперь он отчетливо осознал, что перед ним с прекрасно выдрессированной неподвижностью стоит какой-то незнакомец. Родригес стал разглядывать пришельца.

Серый в клеточку фиолетового оттенка костюм; полуботинки с очень толстой подошвой; безупречно чистая яркозеленая шляпа, хотя, кажется, и не новая. Костюм, впрочем, тоже не новый, не из дорогих. Лицо малозначительное. Оно, как у манекена, существует для костюма: не имеет смысла искать на нем какого-либо выражения.

— Итак, мистер Нойзи...

— Вы хотите сделать мне приятное. Я не мистер, я только Нойзи. Вы хотите чтобы я приступил к делу... Сию минуту.— Он продолжал словами популярных романов: — Волнение мешает мне говорить. Оно меня душит. Впервые в жизни. Я впервые в жизни попал в столь трудные... Умоляю вас, не торопите меня,— лицо человечка привычно скривилось в болезненной улыбке и глаза усиленно заморгали.— В столь трудные обстоятельства, верьте мне, я попал впервые в жизни! Сеньор Родригес, я в ваших руках. Я полностью в ваших руках, сеньор Родригес! Выслушайте меня.

— Что ж, только не лучше ли вам сесть?

Родригеса осенило. Этот барабанщик, этот Нойзи, хочет с ним посоветоваться, узнать, как толкуют ту или иную статью закона. Что-нибудь натворил и теперь хочет выпутаться, узнал, что он, Родригес, адвокат. Но от кого? Кто мог его рекомендовать? Не все ли равно. Приятно, что о нем помнят. «Нужно сосредоточиться! — приказал себе Родригес.— Дело не столько в заработке, который может тебе достаться, сколько в практике. Практика для нашего брата юриста — это вещь!»

А человечек уже сидел, поджав ножки под скамью, и говорил. Слова, как маленькие аккуратные кубики, складывались в фразы, тоже аккуратные и скользкие.

— Первый удар был нанесен, если вы обратили на это внимание, внезапным ростом цен на бобы. Я, как и другие, полагал, что это явление временное, связанное с войной в Корее. США покупают у нас продовольствие. Но война затягивается,

переговоры в Пыньманьжоне... Нет-нет, пусть это вас не тревожит, я не намерен касаться политического курса правительства. Тем более направления нашего могущественного соседа. Я говорю исключительно о бобах, о цене. Это имеет отношение ко всем, кто употребляет их в пищу. Не правда ли? В моем бюджете во всяком случае образовалась брешь. С ней я справился: немного меньше масла, на хлебе тоже можно кое-что сэкономить. И я, заметьте себе, сделал открытие: две столовых ложки маисовой муки ничуть не портят соус; я готовлю себе сам.

Птичье личико Нойзи слегка повернулось к Родригесу. В глазах вспыхнуло нечто похожее на энтузиазм. Он шевельнул пальцами в воздухе и продолжал:

— Я не унывал нисколько. В этом отношении я стою на точке зрения сенатора Кастильо. Вы, надеюсь, помните слова его знаменитой речи... Нет, не предвыборной, а новогодней. Он тогда сказал: «Мексиканский народ не из тех, которые ноют. Если интересы свободы, интересы борьбы с наступающим коммунизмом того потребуют — каждый сознательный мексиканец повернет в своем поясе новую дыру!» А потом он сказал, что сегодня в этом нет еще надобности. «Прежде всего, — сказал Кастильо, — мы должны объявить войну излишествам и расточительности».

— Я продумал, хорошенько взвесил эти слова. И я увидел, что мы и в самом деле можем тратить гораздо меньше. Если быть внимательным: во-время включать и во-время выключать свет, не сыпать в свой кофе третью ложку сахара, не думать о посторонних вещах, когда намыливаешь руки. Ведь дело доходит до смешного, сеньор, сколько раз я ловил себя на том, что во время умывания завожу мысленные споры со своей любовницей. А струя воды бежит на мыло: размягчает его без нужды, смывает целый слой... Посмотрите на мою обувь. Полуботинки совершенно новые, не так ли? А ношу я их уже два года. Вы скажете — режим смазки. Это безусловно оказывает влияние. Но мысль должна вести нас вперед, прогресс не должен останавливаться. — Нойзи приосанился. В голосе его появились нотки самоуверенной гордости первооткрывателя. Было ясно — он сел на своего конька и уже забыл, с чего начал. — Когда я купил свои полуботинки, — раньше, чем их носить, я снес их к сапожнику. «Поставьте дополнительную подметку! — сказал я. — И косячки на каблуках привинтите вот эти!» Сапожник был очень удивлен. Он долго взвешивал на ладони принесенные мною косячки, мое изобретение. Да, сеньор, если хотите знать, косячки из твердого сплава изобрел я, музыкант, человек, не имеющий никакого отношения к обувной промышленности. Ход моих рассуждений был таков...

Терпение Родригеса иссякало. Он попробовал вернуть Нойзи к первоначальной мысли:

— Вы, кажется, намеревались посоветоваться.

Нойзи съежился.

— Правда-правда, сеньор,— прежним заискивающим тоном заговорил он.— Опять я увлекаюсь. Пора бы, кажется, понять, к чему ведет увлечение. Не буду больше тратить ваше столь драгоценное время... Я начал с необходимости экономить, не так ли? Мне важно убедить вас, что вы имеете дело не с каким-нибудь авантюристом, не с расточительным мальчишкой. Раньше чем приобрести тот или иной предмет, я всегда... Поверьте мне, сеньор Родригес, я всегда самым тщательным образом взвешиваю свои возможности... Однако в прошлом месяце, в самом начале мая, со мной случилось... Сеньор, со мной произошло в начале прошлого месяца маленькое личное несчастье. И с этого момента все как-то сразу поползло. Мои расчёты, все мои построения...

— Говорите, говорите...

— Сеньор Родригес! — Человек вложил в это восклицание столько надежды, подобострастия, проникновенности, будто обращался к верховному судье, будто молил о сохранении жизни.— Сеньор Родригес, я конченный человек, если... если вы не придете мне на помощь!

— Я весь внимание. Прошу только чуть короче... Мои обязанности. Кроме того, мне кажется, что вы преувеличиваете мои возможности.

— О нет, нет! Только не это. Я не прошу невозможного... Но вот уже я, наконец, решился. Распахнуть. Решился распахнуть перед вами душу... Я сказал, что в начале прошлого месяца меня постигло несчастье. Это истинная правда. Моя любовница покинула меня, вышла замуж и уехала. Уехала в другой город, а может быть, скитается по разным городам... Вероломство ее заключается в том, что она даже не предупредила, сказала обо всем в последний час. И я был так ошеломлен, так подавлен, что не спросил ни о чем, не успел. Она уехала, а мы не условились... Но вы попрежнему ни о чем не догадались... А мне чудилось, что вы уже читаете... Что читаете в моей открытой душе. Существо дела состоит вот в чем. Мы вместе с Аделитой на равных паях приобрели у вашей фирмы рефрижератор... Вчера наступил срок очередного, предпоследнего взноса...

— Я бессилён! — воскликнул Родригес. Он был возмущен, почти взбешен. Барабанщик обманул его ожидания, подкрался, плел что-то о душе, о несчастье.

Подняв ладонь, заклиная Родригеса молчать, Нойзи говорил:

— ...только вчера. Но так как Аделита, моя бывшая любовница, так как она уехала и мои средства, мои возможности... Я сделал все, я просил займы у товарищей, я заложил один из своих барабанов, но сегодня уже поздно, ваш хозяин при-

шлет своих людей за холодильником, заберет после того, как я внес уже столько денег, уже считал его своим.

— Я бессилён! — с профессиональной твердостью повторил Родригес. — Подписывая кредитное обязательство, вы, разумеется, знакомитесь с условиями. Даже если бы вы были моим братом...

— Боже, что я наделал! — Человечек согнулся, как при схватке боли. — Что ты со мной сделала, Аделита!.. Но ведь вы же не камень, сеньор, вы человек и тоже не счесь богатый!

— Однако я не покупаю вещей не по средствам! — Сказав это, Родригес вспомнил о коробочке с кольцом и мучительно покраснел. Голос его дрогнул. — Даже если б я и хотел что-нибудь сделать, если б сам Джон Гренд захотел, мы не в силах, сеньор. Поймите: нас контролирует банк, наблюдает за всеми нашими операциями... И зачем вам только понадобился, вам, такому экономному человеку, холодильник! Как вы могли...

— Аделита любила мясо. Как маленький зверек, как ласка. Она не могла прожить и дня без мяса, без жиров. Так же, как ваша... как Панчита... Она ведь тоже танцевала и пела. «При этом, — говорила она, — уходит столько сил, и мне нужно сохранять грацию, не набивать свой желудок бобами и маисом...» А мясо, вы знаете сеньор, мясо доступно только на воскресном базаре. Когда его привозят крестьяне. Мясо, и масло, и сметана. На рынке они дешевле почти вдвое... И вот мы, рассчитав все, купили, подписали это чертово обязательство... Сеньор Родригес, не отказывайте так поспешно. Вы еще не читали, вот... — Он торопливо вынул из кармана сложенную вчетверо бумажку. — Это записка от Панчиты. Не знаю ваше отношение. Не знаю, как вы относитесь к тому, что в дела вмешивается женщина. Она сама сказала, она сказала мне, когда увидела, в каком я отчаянье: «Нойзи, я бы дала тебе денег, но я все растратила, выбросила свои сбереженья на ветер... На, возьми записку, разыщи Родригеса. Он хороший человек, добрый, и он сумеет тебе помочь...»

Родригес читал записку, а Нойзи продолжал трещать, не мог остановиться:

— Вы упрекаете меня в отсутствии здравого смысла. Но без рефрижератора все портится: мясо тухнет, сметана покрывается плесенью, хлеб черствеет. Экономия покрывает расход электроэнергии полностью, а разница между магазинными и рыночными ценами... Нет, я вовсе не расточителен. Не мог ведь я знать, что Аделита окажется так вероломна. Когда я разыщу ее, узнаю адрес... О, тогда она поймет, с кем имеет дело, вспомнит, что во мне течет индейская кровь, кровь ацтеков! О карамба, я заставляю ее быть верной своим обещаниям, своим обязательствам! Сбежала, как жалкая потаскуха...

— Одну минуту, сеньор Нойзи. Скажите, когда вы виделись с Панчитой?

— Вчера вечером. И сегодня утром тоже. Сегодня перед репетицией она. постучала ко мне и дала в долг несколько песо. Она была подругой Аделиты. Но она не такая. Панчита никогда не смотрит по сторонам. Ваш выбор...

— Я не советуюсь с вами о том, кого мне выбирать, сеньор! Это не имеет отношения к делу... Теперь я вспомнил: вы живете на одной площадке с Панчитой, даже, кажется, рядом.

— Вы вспомнили! Боже, как я рад!.. Слева от Панчиты живет маленькая маникюрша, сестра немецкого пастора, потом мастер с сыроварни, а моя дверь...

— Хорошо, я возьму риск на себя. Деньги при вас? Вы должны были внести их не позднее вчерашнего вечера. Имейте в виду — никто не должен знать, ни одна человеческая душа, что я принял у вас этот взнос сегодня. Вот я пишу вам квитанцию и ставлю вчерашнее число. Если к вам придут за рефрижератором — покажите квитанцию и можете спустить агента с лестницы. Это ваше дело. Но не вступайте с ним в разговоры. При вашей болтливости вы можете наделать мне неприятностей,— Родригес говорил и считал деньги.— Но у вас здесь не хватает двух песо!

— Сеньор Родригес, вы не должны так говорить. Мне хорошо известно: вы получаете семь процентов.

— Не семь, а шесть... Но какого черта! Вам-то что за дело до моих процентов! Вы должны сто, а даете девяносто восемь песо.

Нойзи судорожными движениями запихивал квитанцию в кармашек бумажника. Губы его прыгали в мелком ознобе, но улыбка еще удерживалась на лице.

— Я вам благодарен,— бормотал он, не глядя на Родригеса и незаметно отодвигаясь к краю скамьи.— Я буду помнить ваше благодеяние до конца своих дней. И когда я посету церковь, сеньор Родригес, я буду молиться о вас и о вашей доброй девушке... Что вы, что вы, сеньор. В ваших глазах гнев, это нехороший гнев! Два песо, которые я вам недодал,— это ведь незначительная часть ваших комиссионных. Обычно вы ходите по домам, стучитесь к клиентам. Это трудно. Я видел. Тут было иначе: я ходил за вами, уговаривал...

Родригес не мог уже владеть собой. Он взмахнул руками, но слова не пришли к нему на помощь. Нойзи соскользнул со скамьи, юркнул за спинку и, не сводя с Родригеса испуганных глаз, все говорил, говорил:

— Когда Аделита открыла дверь и вошла в тот последний раз, она задала вопрос. Она спросила: «Женишься ли ты на мне?» Вот еще!.. Это я сказал ей в ответ: «Вот еще!» Разве не смешно, что какая-то жалкая певичка хочет меня женить!.. Тогда она объявила, что ей сделал предложение... Слушайте, слушайте, сеньор, ей сделал предложение совершенно обезу-

мевший от любви шпагоглотатель, какой-то странствующий факир... И тут я...

— Эй ты, солома, пропущенная через лошадь, чертов марикон! — В два прыжка Родригес догнал пытавшегося улизнуть клиента, схватил его за галстук, притянул к себе.

— Я здесь, я никуда не ушел. Пожалуйста... Ах, не надо, не надо, вот эти два песо... Вот деньги, только не отнимайте квитанцию, только не квитанцию!.. Боже мой, всегда с нас, всегда с бедных, — руки барабанщика тряслись, голос срывался, казалось, пиджак вот-вот сползет с худеньких плечиков. Откуда-то снизу текла жалкая песенка: — Вы можете все, у вас образование, у вас деньги, на вашей стороне полиция!.. Ради святой богородицы, пресвятой девы Марии, не берите квитанцию! Что угодно, только не квитанцию!..

Повинуясь внутреннему толчку, Родригес отпрянул от своей жертвы. Из горла его рвались какие-то хриплые звуки — рыданье или рычанье, бог знает...

...Прохожие сторонились его и провожали долгими взглядами. А Родригес все ускорял шаг...

9. ДРУГ СВЕТЛОЙ ЮНОСТИ

Каждый уважающий себя человек, если только ему не изменило чувство самоконтроля, помнит: свернув в переулочек Святого Марка, следует оглядеть себя, приосаниться и уж во всяком случае замедлить шаг. Даже лимузины весьма состоятельных господ, въехав в этот переулочек, сбавляют скорость. Шофер не нажмет здесь кнопку клаксона, почтальон не посмеет громко кашлять: в переулочке Святого Марка не принято нарушать тишину.

Здесь царит покой. Маленькие зеленые попугаи перепархивают с крыши одного особняка на крышу другого. Их дружный щебет да еще удары детских пальчиков по клавишам рояля — вот, пожалуй, и все, что можно услышать в переулочке Святого Марка.

Если б Родригес мог осознать, как выглядит со стороны, какую дисгармонию вносит в жизнь этого тихого уголка!.. Человек, у которого локти на ходу работают, будто шатуны паровоза, рот плотно сжат, а глаза не видят встречных... такой человек внушает опасение и настороженность.

На дверях некоторых особняков переулочка Святого Марка сохранились с давних пор деревянные колотушки, род молотков. Такой колотушкой стучат по дубовой доске, вделанной в стену. Есть, конечно, кроме того, электрический звонок, провода которого тянутся в помещение для прислуги. Стучать в доску будет только человек, близкий владельцу дома, равный

ему. Такой посетитель, надо думать, не станет барабанить, как сумасшедший. Он сделает два-три легких удара, даст таким образом знать хозяину, что прибыл его друг. Хозяин кликнет слугу, слуга — откроет.

Со времен Великой революции никто не стучал по доске с таким остервенением, с каким это сделал Родригес, поднявшись на дверную площадку особняка Хименеса. На другой стороне переулка рабочие ремонтировали дом, штукатурили фасад. Все они, как один, обернулись и начали наблюдать со строительных лесов за развитием событий. Простые индейцы, мастеровые, не имеющие образования, они были рады бесплатному зрелищу. Бог знает — уж не приняли ли они Родригеса за члена одной из тех шаек, о которых иногда упоминают газеты...

...Родригес, стараясь справиться с одышкой, готовил в уме первую фразу. Дверь не отворялась, не слышно было обычного вопроса: «Кто там?» Он снова, однако с меньшей уверенностью, потянулся к колотушке.

Грубый голос из-за двери приказал:

— Опустит руку! — и почти без паузы: — Повернись в профиль, да поживей!

Звук голоса плохо проникал через дубовую, бронированную изнутри дверь. И все же тон говорившего заставил Родригеса повиноваться. Только сейчас он заметил на двери вогнутый объектив, стеклышко диаметром не больше жилетной пуговицы. Конечно, он знал об этом американском приспособлении, но встречался с ним впервые. На внутренней стороне двери есть экран. На нем, как в телевизоре, виден посетитель; тот, кто смотрит, остается невидимым.

— А теперь повернись задом! — продолжал тот же голос, не меняя интонации.

— Я бы хотел повидаться с сеньором, — Родригес говорил громко и требовательно — Скажите мистеру Хименесу, что я...

— Ты что же, не понимаешь слов! Ждешь, что я продырявлю ту штуку, которая воткнута в твою шляпу!

Дверь резко отворилась. Солнце осветило невысокого мужчину в широком не по фигуре пиджаке. Нетрудно было догадаться, что под пиджаком он прячет пистолет крупного калибра. Родригес понял — перед ним пистолеро¹ Хименеса. Каждый глаз этого коротышки был так же черен и так же пуст, как дуло. Его рука лезла под пиджак.

— Ну!

— Я к Хименесу, у меня дело.

— И что дальше?.. Подаяний в этом доме не дождешься. Родригес почувствовал горечь во рту. Руки напряжились. Вероятно, он не сумел скрыть блеск глаз.

— Но-но! — воскликнул пистолеро и отступил на шаг.

¹ Пистолеро — телохранитель.

— Я пришел не за подающим. Ваш хозяин должен... Ми-стер Хименес должен нашей фирме...

— Мы не платим,— с этими словами пистолеро потянул к себе дверь. Родригес, пренебрегая опасностью; сунул вперед ногу.— Ах, вот ты какой! — Пистолеро поднял колено, пола его пиджака угрожающе задралась.

— Да слушайте же, черт бы вас взял! — Не помня себя Родригес старался раскрыть дверь пошире. Все в нем напряглось, он ощущал мускулы своей спины, резинки на икрах ног натянулись. Он слышал, что пистолеро спустил предохранитель, он слышал, что приближается еще кто-то.— Да поймите же, наконец. Я действую в интересах вашего хозяина.

— Ты ведешь себя, как идиот. Мы не платим! А ну, отойди!

— Дон Висенте подписал обязательство. Оно под защитой закона и должно быть оплачено...

Пистолеро расхохотался. Лицо его стало еще меньше похоже на человеческое.

— Сейчас умру от смеха. Можно подумать, что бог дал тебе два срока, кудахчешь, как курица... Брось эти коммунистические бредни. Тоже мне революционер, хочет получить с босса... Считаю до пяти: покажи, как работают твои ноги... Рраз!

— Спрячь своего племянника! Скажи дону Висенте, что я Родригес...

— Два!

— ...его университетский товарищ.

— Три!

— Оставь шутки!

— Четыре!

Благоразумие взяло верх, Родригес отскочил за дверь. Он удивился, не услышав выстрела. Впрочем, все сразу объяснилось. Голос Висенте, знакомый с тех лет хрипловатый голос простака и выпивохи Висенте Хименеса, произнес:

— Нашли место сцепиться. Убери! Пэпэ, кому говорят, спрячь машинку!

Втащив Родригеса в полутьму холла, Хименес навалился на него грудью и неуклюже облапил. Погладил и похлопал спину, бока, горячо подышал в ухо; покончив с приветственной процедурой, он втолкнул Родригеса в глубокое кресло и плюхнулся в такое же напротив.

— Опоздай я на секунду,— Хименес тяжело дышал,— только на одну секунду — пришлось бы втягивать тебя за ноги... А ну, покажись... В самом деле Чайка в натуральную величину!

Родригес понемногу приходил в себя. Остывал. Чтобы скрыть охвативший его нервный озноб, сжал пальцами свои колени. Было прохладно, будто в часовне. Солнце, как и весь мир, осталось за дверью. Жалюзи пропускали отраженный

свет — тут почти не было теней. Тихо жужжал, изредка потрекивая, аппарат микроклимата. Где-то в глубине дома стрекотала пишущая машинка. Каретка стучала нервно и аритмично; приходила на память ожесточенная мелодия буги-вуги. Хименес молчал, и пистолеро тоже молча уставился на Родригеса: взъерошенный сторожевой пес, не скрывающий и при хозяине своей злобы.

— Ха-ха! — неожиданно тонким голосом проговорил Хименес. — Давно мы не виделись... Наверно... — и опять замолк, бросая короткие, выжидающие взгляды на Родригеса.

Родригес набрал воздуха в легкие, но так ничего и не сказал.

— Ладно, отдышись, — продолжал Хименес. — Здорово они тебя прижали... Пэпэ, оставь нас! — Когда пистолеро вышел, Хименес коснулся колена Родригеса: — Может, хочешь принять ванну? Отсюда они не придут!

Происходило что-то совсем не то. Какая-то путаница. Бог знает как относиться к словам Хименеса.

— Я очень быстро шел...

— Быстро? Да ты просто бежал, Гильермо. Улепетывал вовсю! Наш Пэпэ не любит шума, а ты гремел, будто полицейский комиссар. Полицию наш Пэпэ тоже не любит. Вообще он не человеколюбив, наш Пэпэ, его надо простить... А тебя я не узнал, Гильермо. Ты не потолстел, но ты стал мужчиной.

— И ты тоже изменился...

С возрастом на лице Хименеса резче выпятились черты мексиканского индейца. И то, что он очень растолстел, а индейцы редко толстеют, карикатурило его национальные особенности. Гладкие, как пластмасса, черные волосы будто натянуты на слишком раздавшийся череп. Глаза, коричневые, с желтоватым отливом, прячутся в избыточной коже век. Нос... Трудно было оторвать взгляд от этого удивительного предмета. Возникло желание потрогать его, убедиться, что, внедрившись под кожу, жир способен так деформировать обычный человеческий нос.

— Значит, я тоже изменился? Хочешь сказать, что я тоже стал мужчиной?

Конечно, Хименес ждал, что Родригес скажет, зачем пришел. Но не торопил. За эти годы он, видимо, многому научился. Умел во всяком случае держать себя в руках. А Родригес не знал, с чего начать. Обычные слова, те, что он говорил своим клиентам, в данном случае не годились. Может быть, следует начать с воспоминаний о годах юности? Или похвалить обстановку? Не поворачивая головы, Родригес оглядел холл.

Во всем поражало отсутствие пропорций и покоя. Лестница с широкими ступенями белого мрамора казалась украденной из другого дома и втиснутой на время, как в чулан. На верхней площадке, перед дверьми, ведущими в апартаменты,

выстроился разноцветный город шкафов. Книжные шкафы с рядами золотых корешков, длинные и пузатые сейфы и сейфики, вертящиеся этажерки, телефонные и звукозаписывающие аппараты. Их зализанные углы — эмалированные, лакированные, полированные — старательно ловили тусклый свет и щедро его отбрасывали. Бесстыжая радость красок и блеска была, презирала, уничтожала Родригеса. На одной из стен холла вплотную висели картины — все религиозного содержания... Смесь претенциозной роскоши и назойливой деловитости янки. К этому еще примешивалась холостяцкая распушенность.

В углу возвышалась, задрапированная пыльной тряпкой, мраморная фигура. Бог знает почему, но Родригес решил, что она изображает материнство. Очень подходящий сюжет для логова босса... Полная мраморная нога высывалась из-под тряпки. На ней висели галстуки, пластмассовые воротнички, подтяжки. Висел на ноге еще какой-то предмет, формой напоминающий кинескопный аппарат.

Заметив, куда направлен взгляд Родригеса, хозяин преврал молчание:

— С такой штукой чувствуешь себя уверенней. Ты не находишь, а, Гильермо? — Хименес весело подмигнул. — Умеешь пользоваться?

Родригес сообразил: на ноге «материнства» висит короткий гангстерский автомат. Улыбнувшись, он бодро воскликнул:

— Язык кобрадоров стал бы простым и лаконичным!

Хименес поморщился:

— Опять ты за свое. Брось, Чайка! Пока торчал здесь Пэпэ, эта выдумка годилась. Я выставил его, дал тебе обсушить мозги. А ты снова понес ту же песню насчет кобрадорских дел.

В душе Родригеса был полный сумбур. Мысли и чувства метались, сталкивались, возникали скоропалительные идеи, планы. Хорошо ли он знал, зачем ворвался в этот дом? Как вообще случилось, что он здесь? И почему Хименес говорит с ним доброжелательно, почему не выставит его? Ведь он, конечно, не собирается платить? А если его душевное расположение искренне... У этого человека огромные связи, просто неограниченные возможности.

— Висенте, я в самом деле кобрадор! Я пришел, чтобы...

— Ну, знаешь! — Хименес выбрался из своего кресла, подошел почти вплотную к Родригесу. Он заговорил совсем другим тоном: — Ты надо мной просто потешаешься!.. Подожди, ты молчал достаточно, теперь скажу я. Мы вместе учились, что верно — то верно, одновременно стали законооведами... — Родригес сделал еще одну попытку вставить слово. Хименес его грубо дернул за рукав: — Молчи и слушай. Я не обижен, плевать мне на тебя! Не доверяешь — не надо. Пришел ко мне, напоминаешь о старой дружбе — твое право. Будет нужно, и ты

спрячешь меня в какой-нибудь дыре. Мы не виделись пять лет. Что ты делал, где тебя носило — можешь не докладывать. Но если ищешь убежища под моим кровом, должен я знать размеры бедствия и чего опасаться? Силы преследователей тоже нужно знать... Пэпэ, сюда!.. Пэпэ, ты проводишь этого человека.

— Ты же не даешь мне сказать ни слова...

— Пэпэ, ты проводишь этого человека!..— Хименес снова повернулся к Родригесу: — Болтать некогда. Я решил, и мое слово твердо. Здесь ты не останешься.— Он вынул из ящика стола пачку денег, отделил четыре сотенные бумажки.— Возьми! На первое время это годится. Пэпэ выведет тебя на улицу Папоротников, покажет дорогу к одной бабенке. Она видала таких... Если будет нужно — перебросит в Штаты...

На Родригеса нашло вдохновение. Он поднялся, пересчитал деньги, рывком вытащил из кармана квитанционную книжку. Хименес, оборвав фразу, наблюдал за ним с острым любопытством. Пэпэ принял угрожающую позу. Быстро написав сумму прописью и лихо расписавшись, Родригес вырвал квитанцию из книжки и протянул Хименесу.

— Ваш второй взнос, сеньор Хименес...

Хименес взял. Прочитал. Лицо его стало серым, глаза спрятались...

— Так, так, так.— Кинув мимолетный взгляд на Родригеса, он повернулся к Пэпэ: — Ты знаешь, где живет Кампечо?

— Где-то на окраине...

— Он живет на Фуэнтес двадцать четыре. Найдешь без расспросов эту улицу? — Пэпэ кивнул головой.— У Кампечо нет телефона. Вместе поедете к Герреро. Там ждите моего звонка. Хесуса тоже на всякий случай предупреди. Пусть усилит наблюдение за Хиральдо... Ну, чего ты ждешь?

— Вы останетесь без меня?

— Ты, я вижу, начинаешь рассуждать! — Хименес угрожающе глянул на Пэпэ.— Если хоть один человек узнает, если до меня дойдет, что ты разболтал, что ты слышал наш разговор...

— Понятно, хозяин.

Поклонившись, Пэпэ ушел в глубину дома.

10. РЕШАЮЩИЙ УДАР

Хименес сунул голову в коридор — хотел, наверно, убедиться, что Пэпэ ушел. На Родригеса он ни разу не взглянул. Родригес следил за ним с напряженным ожиданием. Хименес стал подниматься в верхнюю часть холла. Спина его выдавала судорожное торопливое раздумье. Поднявшись, он медленно обернулся:

— Ну, а ты? Чего ты ждешь?

— Вы должны мне сказать, когда сделаете следующие взносы. Сроки давно прошли, фирма терпит убытки. Кроме того, за просрочку платежа, согласно условию, с вас придется взыскать проценты...

— Наглеешь с каждой минутой?..

Действительно, Родригеса понесло. Правду говоря, он еще не понял, что дало ему такой неожиданный успех. Он ждал, что Хименес начнет орать, требовать деньги назад, готовил даже улыбку, надеялся отделаться шуткой. Но Хименес не порвал квитанцию, не швырнул ее в лицо Родригесу.

Набирая на телефоне номер, Хименес продолжал:

— Дело есть дело. Ты взял меня за бока! Первый раз вижу кобратора в своем доме... Я-то, дурак, вообразил, что ты бежишь от полиции... Позовите мне Спилсона... Спилсон? Наведите справки о фирме «Джон Гренд»... Нет, немедленно, и позвоните мне... Кто ее прибрал к рукам... Кто из американцев?.. Да, и позвоните!

Теперь Родригес, наконец, сообразил, в чем дело.

— Ладно, я пошел. Не стану вас больше задерживать.

Хименес кивнул головой. Лицо его было спокойным. Родригес уже понимал, чего стоит ему это спокойствие. «Надо отсюда убираться как можно скорей. Если Хименесу сообщат, что хозяин фирмы попрежнему Гранде...»

Рядовой кобратор ни за что не додумался бы до сути дела. Нет, не зря Родригес систематизировал все два года, пока работал, материал. Это дало ему возможность, сопоставив несколько фраз Хименеса, смекнуть: Хименес брал вещи в рассрочку, делал первый взнос и ничего больше не платил. Никто из мексиканских дельцов не решался требовать с него деньги. Гранде накануне разорения — вот почему он пошел на этот шаг. А Хименес? Он, конечно, решил, что фирму Гранде прибрал к рукам кто-либо из американцев. С американцами не станет тягаться ни один мексиканский босс. Ему живо шею свернут.

Родригес взялся за ручку двери, хотел отодвинуть щеколду. Сильный удар тока отбросил его назад. Хименес фыркнул.

— Сейчас отключу: Пэпэ забыл.— Хименес положил телефонную трубку и стал грузно спускаться.— А все-таки, Чайка, я считал тебя человеком. Что угодно мог представить, только не такой фокус...

Родригес молчал. Что он мог сказать? Что Гранде еще держится? Что он, Родригес, получает за риск тридцать пять процентов?

«А ведь в этом что-то есть! — подумал Родригес.— Вот если бы ухватить идею за хвост! — У него даже перехватило дух.— Думай, скорее думай, Гильермо!» Он подгонял себя, а Хименес сделал вид, что забыл о той огромной дистанции, которая отделяет «политико» и кобратора.

— Ты мог бы мне сказать по старой дружбе, а, Чайка?.. Зачем мне ждать справки Спилсона, когда ты и сам можешь сказать, кто стал хозяином твоего хозяина... Фелипе? Или Хиральдо? Этот тоже в последнее время занимается делами. Не скрывай, Мэмо. Скажи кто — и ты не пожалеешь!.. А может, Гранде сам сговорился с «Дженераль пауэрз» через мою голову?.. Сядь, куда ты торопишься? Мы поговорим по душам. Видишь, никто нам не мешает...

Родригес хотел бы унести спокойно четыреста песо. Но боялся навлечь подозрения. В душе у него был праздник. Кто из кобрадоров добивался такого успеха! Известие о том, что он получил с Хименеса, облетит весь город.

— Не думал я,— сказал Родригес почтительно,— что Ви-сенте Хименеса может что-то или кто-то напугать.

Реакция была совсем не та, какую ждал Родригес.

— Ты умный... Я всегда считал тебя умным парнем, Гильермо. Я учился по твоим шпаргалкам. Но так уж сложилась твоя жизнь — ты привык играть словами... Если придет день, когда ничто и никто не сможет меня напугать... Я скажу себе: «Точка, ты конченный человек, Висенте!» Не боится только тот, кому уже нечего терять! Лучше тюрьма, паралич, пуля в висок! Тебе не приходилось об этом задумываться, а, Мэмо?

Что-то подобное Родригес читал в «Голосе Мексики». «Как это? «Чем богаче и влиятельнее в нашей стране человек, тем чаще он испытывает страх. Страх стал признаком хорошего тона...» Так вот оно что, интересно. Значит, коммунисты знают этих людей, их слабости. Да, очень интересно... Только не сейчас! Не надо отвлекаться, не надо... Что он еще скажет?»

Хименес продолжал:

— Когда я думал, что бежишь от правосудия, я пришел тебе на помощь, дал даже денег. Видишь, Мэмо, как я отношусь к старым друзьям. Не ко всем, конечно. Тебя я отличаю от многих. Слушай, я раскроюсь перед тобой, и ты увидишь, как я откровенен. Может быть, оценишь... Да сядем же, что ты торчишь, как столб! Сейчас,— он быстро открыл дверцу одного из бесчисленных шкафов, вынул бутылку французского коньяка «Мартель», наполнил рюмки. Родригес видел такой коньяк только на витринах магазинов. Панчита рассказывала, что ее угошали, а он нигде не пил такого коньяка и никогда не держал в руке такой тонкой рюмки.

— Твое здоровье, Мэмо, и твои успехи! Мы еще сделаем с тобой дела. Ты застоявшаяся лошадка, ты еще себя покажешь, поскачешь. И-го-го! — Хименес жизнерадостно рассмеялся, налил по второй. Отдышавшись, он продолжал доверительно: — Когда ты выписал мне квитанцию, меня осенило: «Это работа Хиральдо»,— подумал я.— Хименес бросил испытующий взгляд на Родригеса.— Чистильщик — страшный

человек. Он только прикидывается другом, давно ищет случая подставить мне ножку. Опредил меня, сговорился с «Дженераль электрик» или с «Дженераль пауэрз». Послал ко мне кобратора. Японский император дарил неугодному придворному шелковый шнурок. В прошлом веке капитану парусного судна хозяин посылал сапоги. И капитан понимал: его песенка спета, надо убираться... А ко мне послали кобратора... Выпьем еще, друг светлой юности!

Уже поднималась, растекалась по всему телу радость бытия, уверенность в своей значительности. Родригес знал, что жест, который сейчас сделает, будет свободным и вполне светским. Поднимая второй раз свою рюмку, он как бы ловил мысль, и тут пришел на ум верный прием, способ нанести решающий удар:

— Видишь ли, Сенте... Гранде давно уже на краю банкротства, но к тебе, к судье, к прокурору, он, конечно, не решался посылать кобраторов. Если тот, от кого зависят, будет платить...

— В том-то и дело, в том-то и штука!..

— Я работаю на процентах, Сенте, солдат на процентах. Видел таких?

— Ты стоишь большего!

Родригес слушал и боялся, что вдруг обнаружит чрезмерную радость. «Боже мой, как долго ты шел, хватался за кусты и за траву. И вот, наконец, у самой вершины, на маленькой площадке перед последним броском. Уже видны необозримые дали. Не показывай, как ты измучен. Все идет хорошо, не сорвись, Гильермо!»

— Ко мне послали кобратора,— продолжал Хименес,— но не учли, что этот кобратор мой друг, друг светлой юности... Мои ребята на местах, Мэмо, и стоит тебе только сказать Фелипе это или Хиральдо... Выпьем по третьей?

— Спилсон тебе ничего не скажет, Сенте!

— А ты?

— Я работаю на процентах, Сенте. Солдат на процентах...

— Деньги? Я дам тебе денег. Сколько надо? Тысячу?.. Не трать попусту время, Мэмо!

Родригес потерял дар речи. Решалась судьба его собственной юридической конторы.

У Хименеса иссякало терпение.

— Две?

— Выпиши чек на остальную сумму твоего долга, Сенте.

— На две тысячи шестьсот?

— Угу... И на проценты. Это составит еще сто двадцать песо.

— Но тебе-то что с того? Сколько ты получаешь процентов?

— Выпиши чек, потом я тебе все скажу.

Хименес не торговался. Однако, вручив чек, сразу стал другим:

— Ну!

Раздался телефонный звонок. Хименес схватил трубку.

— Спилсон? Что вы узнали? Быть не может! Проверьте свои сведения... А я говорю — проверьте! — Он швырнул трубку и пошел на Родригеса. Надвигался, как шкаф, огромный, тяжелый.— Выкладывай! Спилсон сообщил, что Гранде попрежнему работает самостоятельно... Что это значит?

— Я же тебе сказал, что Спилсон ничего не узнает.

— О черт, да выкладывай же, наконец! Или ты думаешь, что я даром плачу деньги!

Родригеса подмывало возразить, что деньги Хименес платит за сейф. Только то, что полагается, и ни копейки больше. Но Хименес был так возбужден, что мог полезть в драку.

— Сколько я буду ждать?

— Слушай... Но отключи сперва эту проклятую дверь... Сделано? Очень хорошо. А теперь вникай: я уже сказал, что я солдат на процентах. Но за кобрадорские шесть процентов к тебе бы никто не полез, даже я — будь Гранде мне отцом или братом.

— Понятно, дальше.

— А дальше очень просто: я получаю за тебя тридцать пять процентов!

— Подожди, подожди... Ты? Тридцать пять?

— Угу... Видишь, как моему бывшему хозяину нужны деньги?

— Так вот оно что... Понимаю, понимаю. Да, теперь я все понял. Ах, и подлец же ты, Мэмо! Далеко, далеко пойдешь!..— Он был просто в восторге.

Родригес вышел от Хименеса, но не мог сразу двигаться дальше по своим делам. Слабость, дрожь во всем теле и особенно в ногах держали его несколько минут на месте. Он слышал, как Хименес кричит в телефонную трубку:

— Хорошие новости, отличные новости, ребята! Можете расходиться по местам... Нет, Хиральдо пока ни при чем, предстоит заняться Гранде... Выпьешь за мой счет, слышишь, Пэпэ!..

11. ДРУЗЕЙ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

Будущий владелец юридической конторы и будущий автор книги о розничном кредите, молодой теоретик рассрочки, в только что купленном костюме, с головой, полной смелых обобщений и новых идей (туфли у него тоже новые), идет по направлению к кафе «Палас». Он сильно проголодался, аппетит

у него, можно сказать, развился к этому времени зверский. И все же он не спешит, походка его выражает самоуважение, ликование не прорывается ни в жестах, ни во взглядах, которыми он обменивается с встречными. Ликование теснится в груди; там ему, конечно, и место!

Эмоции следует подчинять идеям, волнение должно проявляться во-время и только в том случае, когда оно может принести плоды. Бесплодное волнение, так же, впрочем, как и бесплодное спокойствие — участь слабых и неорганизованных натур. Эмоции — капитал юриста. На любом поприще, какое изберет себе юрист, эмоции должны служить ему орудиями убеждения. Возьмем в качестве примера чередование эпизодов, которые встретились в практике кобратора Родригеса за прошедший день. Рассмотрим их. Нет, впрочем, ограничимся последним, завершающим и наиболее удачным опытом: «Взыскание долга с состоятельного неплательщика». Так можно будет озаглавить один из разделов книги об искусстве кобратора.

Из кобратора, как из любого другого коммерсанта, вдруг вылезает человек. Лезет и пищит — жалостливый, добрый, до смешного чувствительный. Он хочет тратить деньги, и делать подарки, и пить, и есть, и читать книги, и ходить в кино, и носить красивую одежду, и нравиться, и быть любимым, и растить детей, и бегать с ними взапуски, и уважать себя, и быть хорошим, и возмущаться, и вставать на дыбы с глазами, полными гнева... Лезет человек настолько не овершешный, настолько непохожий на шелкающую машинку, что от него можно ждать всяких нелепостей: смешных движений, глупых слов...

Когда, два часа назад, Родригес шел к Хименесу, он, конечно, нервничал. Со стороны могло показаться, что он бежит как потерянный. И уж никто бы не сказал, что волнение его профессионально. Оно было вызвано встречей со странным человечком, с мелким клиентом, смешным и жалким барабанщиком Нойзи.

Случайная встреча, случайное волнение сделали возможной другую, давно желанную встречу с крупным неплательщиком Висенте Хименесом. Если б не произошло разговора с Нойзи, если б разговор этот не возбудил нервной деятельности, не подстегнул кобратора Родригеса, мог ли бы он ринуться в дом «политико»? Сомнительно... Если б Родригес не стучал колотушкой с остервенением буйного психопата, не лез напролом — под пули пистолера, мог ли Хименес посчитать однокашника по университету беглым преступником и дать ему убежище? И на этот вопрос можно дать только отрицательный ответ... Третий, решающий вопрос: мог ли «политико» Хименес дать кобратору фирмы «Джон Гренд лимитед компани» четырехста песо в качестве очередного взноса за сейф? Нет, нет и еще раз нет! Практика кобраторской деятельности не имеет ни одного примера подобного рода.

Находчивость кобрадора — вот, что принесло ему успех. Сперва он ловко сходит за уголовного преступника и тем самым вызывает сочувствие политического деятеля. Затем мгновенно вновь перевоплощается в кобрадора и выписывает ошеломленному боссу квитанцию. Квитанцию на деньги, предназначавшиеся вору или гангстеру!

Вот как подлинную человеческую взволнованность кобрадор может и должен превратить в профессиональный прием. Случайность? Однако всякое искусство в том и состоит, чтобы случайность обернуть на пользу делу. Случайность, как и зверь, на ловца бежит!

Конечно, Родригес чувствовал, что подгоняет происшедший с ним эпизод к теории, грубо подтасовывает факты. Но разве не так строится теория? Теория тем и хороша, что мы выводим ее из практики. Делаем обобщения, которыми пользоваться, слава богу, будут другие!

Следующий этап операции. Самый сложный и самый эффективный. Не останавливаться на полпути, с ходу развивать успех, нажимать и нажимать на растерявшегося противника! Противник ошеломлен. Наглость он принимает за силу. Обдумывая обходный маневр, он готов дорого заплатить за надежные разведывательные данные, за достоверные сведения о тылах наступающего! И тут...

В этом пункте своих размышлений Родригес (вот уж который раз!) терпит поражение. Как обобщить, как сделать правилом поведения кобрадора его последний удар?

Гранде ведь его посылал, хотел получить эти деньги. И он, Родригес, лишь выполнял волю своего хозяина. Все три тысячи сто двадцать песо заприходованы, на них выписаны квитанции. Деньги приняты как взнос за сейф. Правда, Хименес раскошелился по иной причине. И причина эта, как ни крути, не имеет никакого отношения к кредитной системе и рассрочке.

Узнав, что кобрадор получает неслыханные проценты, почти половину стоимости товара, Хименес, конечно, сообразил: фирма на грани банкротства. Он уплатил три тысячи за то, чтобы первым прилететь на место, как прилетает кондор на пададь.

Так при чем тут квитанция, при чем тут сейф, при чем книга о рассрочке? Нельзя же написать в серьезном труде, что кобрадор, если ему представится возможность, должен продать своего хозяина — только бы получить деньги. Родригес стал себя успокаивать: «Гранде сам виноват. Да и от разорения никуда не уйдешь. Разве может торговать в рассрочку мексиканец! Не дает гарантии успеха и то, что назовешься по-американски: «Джон Гренд», — разве этим кого-нибудь обманешь? Американцы совсем в других условиях. И они, конечно, дают взятки. Но кому-нибудь одному. Министру или начальнику полиции. Покупают их на корню. А Гранде должен был совать

под видом продажи и боссу, и прокурору, и судье, и финансовому агенту...»

Тут вдруг сама собой прилегла довольно занимательная мысль. Она логически вытекала из предыдущих, но уж очень неожиданно появилась. Мысль о том, что отдавать деньги Гранде не обязательно. Что деньги эти и не принадлежат Гранде, Хименес дал их не за сейф... Ведь это большие деньги, три тысячи!.. Можно оборудовать не только приемную для клиентов, но и вторую комнату. Можно купить радиоприемник и еще один костюм, а если в рассрочку — так ведь и автомобиль... О, тогда дела пойдут по-иному! Родригес гнал от себя эти мысли. Но кто-то другой, наверное тот самый, который так ловко подгонял к теории человеческое волнение, тот самый, который хотел продать кольцо Панчиты, тот, который влюбил в себя Паулину и тащил за галстук Нойзи, — этот другой Родригес убеждал: «В том ведь и суть коммерции, Гильермо! Коммерция, так же как юриспруденция, не терпит предрассудков. А все, кроме денег, есть предрассудок, кому это не известно! Сам Гранде, если ты принесешь ему эти деньги, будет в душе потешаться над тобой... Ты вот собираешься открыть контору. А разве для тебя секрет, что юрист в буржуазном государстве не может быть честным? Или, точнее, что адвокат для того и существует, чтобы доказать честность любого поступка, подобрать статью. Ты собираешься специализироваться на рассрочке, о ней ты все знаешь. Уж не воображаешь ли ты, что торговля в рассрочку — благодеяние для бедняков? Ты же отлично знаешь, Гильермо, что рассрочка есть способ получить дополнительный барыш и ничего больше, один из способов грабить бедняка, держать его в кулаке. Ты ведь и сейчас грабишь вместе с хозяином, живешь с этого. Грабишь помалу, а когда появилась возможность взять большой куш...

При всей своей убедительности мысли эти не бодрили, а изнуряли Родригеса. Он шел все медленнее, старался не смотреть на прохожих. Подсчеты показывали, каких успехов можно добиться с помощью чужих денег и чужого несчастья. Тут припомнились ему утверждения коммунистов, которые он вычитал все в той же газете «Голос Мексики». Утверждения, что нет больше честного предпринимательства, что буржуазия в наши времена отказалась от всех условностей. «Ну и что же? Раз так поступает каждый... Ведь не каждому представляется случай...»

И все-таки в нем что-то сопротивлялось. Что?

Подошвы новых полуботинок немилосердно скрипели, мешали сосредоточиться. Кроме того, задники натирали пятки; когда покупаешь готовую обувь, нельзя спешить. Нужно перебрать несколько пар, раньше чем сделать выбор, походить по коврику.

Родригес задрал ногу на тумбу, сунул палец между пяткой и задником, стал оттягивать и мять кожу. И тут произошел за-

бавный эпизод. Родригес поднял голову, отвлекся на секунду от своего занятия и вдруг увидел, что перед ним стоит коренастый молодой человек невысокого роста с какой-то размалеванной девицей под руку. Молодой человек улыбался Родригесу, будто приятному знакомому.

После случая с Нойзи Родригес стал осторожен. Он не улыбнулся в ответ и не протянул руки. Молодой человек тоже молчал. Скалил зубы и молчал. А девица слегка хихикала и прижималась к своему кавалеру.

— Здорово ты обстригал это дельце! — сказал, наконец, молодой человек. Тут Родригес сразу его узнал.

Это был Пэпэ — пистолеро Хименеса. Но совсем другой Пэпэ. Уличный. Для гулянья, для хождения под руку с девицей. Веселый малый из тех, которые могут, конечно, при случае затеять драку, но когда они с девицами, то обычно ходят спокойно. Сейчас он говорил с Родригесом по-приятельски:

— Я все-таки на минуту зашел к хозяину. Он уже послал за твоим... Ну за этим, как его?

— За Гранде?

— Во-во... Дело будет. А меня хозяин на сегодня освободил. Пойдем-ка пропустим по стаканчику! Она, — Пэпэ кивнул на свою подругу, и та потерлась щекой о его плечо, — не помешает. Ну, пошли, что ли? — И он дернул Родригеса за рукав.

Лицо Родригеса выразило растерянность. Пэпэ захохотал, его подруга фыркнула.

— Так что? — продолжал Пэпэ. — Идешь ты или не идешь? Может, тебе денег жалко? С тебя ведь полагается, я твою особу вполне мог сегодня продырявить...

Родригес пробормотал что-то насчет дела, которое его ждет. Потом неожиданно для себя подмигнул и, скосив глаза на девицу, довольно бойко соврал:

— Мне тоже нужно... встретиться, мы договорились! Но моя не пьет...

— Ладно, наплевать, — Пэпэ махнул рукой. — Не хочешь — не надо. Только за тобой все равно выпивка, уж я-то своего не упущу! Хозяин сказал, что ты часто будешь появляться и чтобы я тебя впускал. Если только, — Пэпэ ласково потрепал Родригеса по плечу, — если ты не будешь скандалить или являться в пьяном виде... Гуд бай! — И он, делая большие шаги, потащил свою девицу на другую сторону улицы.

Родригес проводил их долгим взглядом. Он все еще не спустил ногу с тумбы и не вытащил палец из полуботинка. Он все мял и растягивал кожу задника, мял и растягивал...

Только через минуту он вышел из оцепенения, рассмеялся и отправился дальше. Надо же все-таки поесть когда-нибудь. Что он сегодня ел? Два пирожка.

12. КРУГ ЗАМНУТ

И вот он снова на площади Эль Цокало. Уже закрыты магазины, улеглась пыль, ушел продавец деревянных мексиканцев. Закатное солнце протянуло по торговым рядам длинные лучи, осветило по-новому вывески и витрины: стекла нестерпимо блестят, и золотые буквы на вывесках горят так, что больно глазам. Из открытой двери кафе «Палас» тянет ароматом кофе. Жужжание голосов и звон посуды — вот что слышно в этот час на площади Эль Цокало. В кафе, как в клубе, собираются юристы города, и стряпчие, и маклеры, из тех, что на бирже совершают сделки большей частью в собственном воображении. Юристы, обосновавшиеся в кафе «Палас», тоже не самые удачливые; некоторые из них даже назначают тут свидания клиентам.

Родригес незаметно оглядывает себя. Он, конечно, произведет впечатление. Все новое, только галстук он не успел купить. Костюм в полоску с узкими брюками: последняя мода. И туфли хоть и жмут немного — зато на ранте белый шов. Известно, что воспитанный человек умеет носить новые вещи с хорошей небрежностью. Воспитанный человек не показывает окружающим, что в жизни его произошло событие: за два года он впервые переменял костюм. Воспитанный, говорят, даже нарочно изомнет брюки и запылит ботинки. И уж во всяком случае он не будет мечтать о том, чтобы как можно скорее показаться в обновке друзьям и своей девушке.

Родригеса так и подмывало позвонить Панчите. Она могла бы уделить ему час-полтора. Но голос благоразумия говорил ему, что этого делать не следует. Голос благоразумия не позволял посвящать женщину, даже самую близкую, в свои дела. Кроме того, этот голос советовал оттянуть по возможности разговор о кольце и вообще о будущем... Хотя, конечно, было бы совсем неплохо блеснуть перед Панчитой... Ох, как бы она за него обрадовалась!

Несколько столиков кафе были вынесены на улицу. Сидевшие за ними уже заметили Родригеса. Те, что читали газеты, поглядывали на него из-за газет. Другие — кидали и тут же прятали удивленные взгляды. В руке он держал завернутый аккуратнейшим образом и перетянутый красивым шнурком большой пакет. Было ясно, что он не ограничился приобретением костюма. Правду говоря, в пакете лежала старая одежда Родригеса: домой он не заходил, переоделся в универсальном магазине. Сейчас он не пожалел об этом. Пакет делал его солиднее, прибавлял франтоватости...

А старый Молеро все еще сидел за своим столом-ящиком. Странное дело — в это время у него клиенты. Пожилой индеец что-то говорил. Кроме того, женщина в черном, печальная и безликая, стояла за колонной, прячась от взглядов мужчин.

Похоже было, что и она собирается посоветоваться с уличным адвокатом. Родригес с усмешкой подумал: «Хочет, чтобы он написал за нее любовное письмо». Женщина была стара и напомнила ему мать. Такие же натруженные руки и плечи, всегда немного приподнятые от частых стирок... Вот, если б его мать могла увидеть его сейчас, в самый счастливый день его жизни!

И вместо того чтобы зайти в кафе, Родригес свернул к Молеро.

— Ола, коллега, не могу предложить стул,— сказал старик, ничем не показав, что оценил новый костюм Родригеса.— Хотите, слушайте. Забавный случай.

Молеро сидел, опершись локтями на ящик, и смотрел в упор на своего клиента. В действительности взгляд его был углублен в себя. Слушал ли он?

Крестьянин длинно и монотонно рассказывал, как его младшая дочь пошла искать мула, а мул забрел на землю асендеро — помещика, а сын помещика подошел к дочери, она на него замахнулась, но сын помещика не стал слушать ее крика и повалил на землю; теперь дочка все время плачет, жена ругается, а судья из алькадии только пожимает плечами и просит какие-то вещественные доказательства.

Было ясно, что дело безнадежно и только в том случае, если будет ребенок, можно попытаться упрощить обидчика дать немного денег. Родригес никогда раньше не видел Молеро за работой, не знал, какие советы дает своим клиентам старый адвокат. Что-то не слышно было в последние годы о его выступлениях в суде.

Молеро, подняв глаза на Родригеса, помолчал немного, как молчит профессор в ожидании того, что скажет студент. Родригес пожал плечами.

— Он из племени жаки,— объяснил Молеро.— Не умеет прощать. Ведь правда, ты не умеешь прощать? — громко спросил Молеро индейца.

— Что? — спросил индеец, хотя отлично слышал вопрос.

— Вот они всегда так,— сказал Молеро.— С каждым надо возиться по часу, если хочешь чего-нибудь добиться.

Молеро был мучительно трезв и потому раздражителен. Ему было совершенно необходимо выпить, восстановить силы.

— Я зашел, чтобы вас пригласить,— сказал Родригес.

— Сейчас не могу. Это время моей клиентуры. Бедняки любят вечерние часы. Если б тут можно было сидеть ночами... Слушай, друг,— обратился он к клиенту.— Сколько еще будешь раздумывать? Ты ведь мне так и не ответил: умеешь прощать своих врагов или еще не научился.

— Моя девочка,— сказал индеец,— моя дочка каждую ночь плачет, а утром уходит в поле с опухшими глазами. Она не стала есть. Ничего не ест целыми днями. Ее качает от горя. Я пришел к вам издалека.

— Выходит, что ты не умеешь прощать... Так вот, слушай внимательно.— Неожиданно скрипучим торжественным тоном судьи, объявляющего приговор, Молеро произнес: — Согласно статье сто двадцать шестой уголовного кодекса за предумышленное убийство, не преследующее личной корысти,— наказание от восьми до двенадцати лет тюремного заключения. За убийство в состоянии аффекта,— аффект — это волнение, понимаешь? Понимаешь, я спрашиваю? — Индеец кивнул головой. Он был весь напряжен, как пума перед прыжком.— Но за убийство в состоянии аффекта,— продолжал Молеро торжественным тоном читающего приговор,— волнения, вызванного тяжелым оскорблением, согласно статье сто двадцать шестой, параграф «с», срок заключения от двух до пяти лет!

Клиент преобразился. Морщинистое лицо его расплылось в широкой улыбке, глаза приобрели блеск жизни. Он молодо вскочил.

— Да будет с вами бог и святая Мария, сеньор лисенсиадо! Сколько надо платить? — Скрюченными от работы пальцами он развязал большой клетчатый платок. Там лежали согнутые восемь раз два замусоленных бумажных песо и одна серебряная монета довоенной чеканки.

Старик Молеро скосил свои большие глаза на содержимое платка и медленно выдохнул:

— Два песо.

Он даже не посмотрел, как индеец быстрым прыгающим шагом пересекает площадь.

— Он же его убьет! — воскликнул Родригес.

— Да,— спокойно согласился Молеро.— Если молодчик будет недостаточно осторожен. Должен был знать, на что идет. Эти жаки не умеют прощать... А теперь, дорогой Родригес, если можешь, подожди еще минут пять. Вот та женщина, она уже была у меня один раз... Если б ты только знал, Мэмо, сколько горя приходит ко мне каждый день...

— И вы всегда помогаете так, как помогли этому жаки?

Родригес сразу же пожалел, что с языка его сорвался этот язвительный вопрос. Старый, очень больной человек и несчастный. Ведь вопрос Родригеса звучал, как обвинение. У Молеро задрожали пальцы.

— Да, так! А что же?.. Ты лучше знаешь, что надо делать? — Чтобы скрыть дрожь, он оперся ладонями на ящик и приподнялся.— Что ты хочешь, чтобы я полез в драку, завел дело против помещика о судебном преследовании?.. Я бы сказал тебе, я бы сказал! Но я слишком слаб, слишком устал. А вот она,— старый адвокат показал на женщину, робко прислонившуюся к колонне,— она еще слабее, чем я. Еще слабее.— Он задыхался.— И она во мне нуждается. Я даю советы без суда людям, которые в наше время не могут идти в суд, не могут надеяться.— Дрожь тела его все усиливалась, тряслись

плечи и голова, но глаза смотрели в упор на Родригеса, и в них он читал убежденность и глубокую силу.— Я знал времена Мадеро, и Панчо Вилья, и Сапаты. Знал времена, когда судьбы были людьми, не смотрели в руки проклятых гринго. Да, не смотрели! А вы, молодые... Все вы идете дорогой Хименеса. Если только выпадает удача, если улыбается счастье... Нет, Молеро не пошлет бедняка в суд!..

— Успокойтесь. Ради бога... Я ведь не хотел вас обидеть, папаша Молеро.

— Ты не хотел... Да, я понимаю, конечно.— Он с силой потер лоб.— Проклятая старость, проклятый склероз... Что-то еще надо было тебе сказать.— Медленно опускаясь на стул, он продолжал: — Ты прав, я должен успокоиться. Мое спокойствие нужно людям. Лучшим из людей — беднякам! И на тебя я зря напал. Ты честный. Это я знаю. Видел, какими глазами ты смотрел на туристов. И ты добрый: хочешь меня угостить... Ведь это правда? Ты хочешь старого Молеро угостить стаканчиком текилы и папиросой? Вот я поговорю с этой женщиной и приду в «Палас». Посидим. Я и тебе что-нибудь посоветую. Иди займи столик и закажи, а я приду... Да, вспомнил. Вот, что я хотел тебе сказать насчет вас, молодых и сильных. Насчет тех из вас, которые не потеряли чести: вы должны бороться! Нам поздно. Мы, юристы старой школы, учим обходить законы или толкуем их в пользу наших клиентов. А вы должны бороться против. Да, против этих законов. За новые законы! Как это делают коммунисты. Вот, что я хотел тебе сказать, мой мальчик.

Молеро повернул лицо к женщине, стоявшей у колонны.

— Простите, сеньора, я вас задержал. Подойдите, пожалуйста, и садитесь здесь. Принимаю вас так поздно потому, что этот вот молодой человек еще больше нуждался во мне, чем вы. В советах старого человека. Он тоже бедняк, хотя и вырядился, как щеголь... Садитесь и рассказывайте. Я весь внимание!

13. ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ ЭПИЛОГ

В тот вечер в кафе «Палас» произошла драка. Родригес,— это нам достоверно известно,— был зачинщиком. Но что побудило его после выхода из тюрьмы, вопреки своим надеждам и мечтам, жениться на Панчите и занять кресло папаша Молеро на площади Эль Цокало?

Этого, правду говоря, мы не знаем.

Гильермо Родригес — уличный адвокат! Разве не ясно, что он опустился на дно? Возится с бедняками, дает советы немущим. Не прячась, на виду у всех шепчется с людьми, которых власти считают красными... И это после того, как он уже

отведал сладкого, после того, как Хименес подал ему свою руку! Руку поддержки и помощи. Может быть, даже руку дружбы.

Не скроем — нашлись и такие, что считают поворотным моментом именно драку в кафе «Палас». Чепуха! Драка была пустяковой: даже полицейский суд квалифицировал ее всего лишь как «оскорбление действием». Драки случаются в кафе и барах столицы каждый вечер. И разве после всякой драки люди отказываются от своих планов?

То, что Родригес дал в морду американцу, а не соотечественнику, тоже не имеет большого значения. Белобрысый и сам бы охотно пошел на соглашение: пусть бы только Родригес извинился, объяснил бы вспышку тем, что выпил лишнего.

Нет, драка в кафе «Палас» — ничтожное звено в цепи, которая приковала талантливого юриста вместе с пишущей машинкой старого Молеро к стене гостиницы.

...С тех пор прошло три года. Три года мы не имеем никаких сведений о жизни Гильермо Родригеса. Вырвался ли он за это время из цепких объятий нужды? Потянулся ли опять за богатством, или окончательно примкнул к классу пролетариев?

Мы можем об этом только догадываться.

Впрочем, еще в то время, три года назад, о будущем Родригеса высказывались его друзья и знакомые. Не помогут ли их суждения увидеть яснее путь, по которому он мог пойти. Или уже идет. Или пойдет завтра.

Вот некоторые из этих высказываний.

Лола Бермехо. У него были хорошие глаза... Мы, женщины, видим всегда и прежде всего глаза мужчины. Человек с такими глазами не станет убийцей... Вы спрашивали меня — может ли он разбогатеть? Разве не так?.. Я вам ответила!

Нарсисо. Я хотел бы, чтобы меня слышали все. Это худший вид. Да, я утверждаю — худший вид предателя! Ему, выходцу из черни, сыну жалкого мастерового, дали возможность получить образование. Для чего? Я спрашиваю: на что употребил этот человек знания, как он распорядился богатством, которое вложил в его голову университет?! Если бы меня спросили тогда. Если бы даже не спрашивали, а я узнал бы сам, что он идет к Хименесу. Если б я мог предположить, что Хименес помнит старых друзей... Еще там, в университете, Гильермо слишком много умничал, слишком много читал, слишком много рассуждал. Это красный. Да, да — красный! Из-за таких и нам, деловым людям с университетским образованием, уже нет никакого доверия... Попробуй сунься теперь к Хименесу!

Нойзи. Вы ведь знаете — мы с ним немного знакомы. Я уже тогда ему намекал: настоящий мужчина должен быть

одет по моде, но не идти на поводу у женщины... Он не выслушал меня до конца. Дело, видите ли, в том, что он куда-то спешил. Я как раз намеревался ему объяснить... Но раньше ответьте на мой вопрос: регулярно ли вы читаете газеты?..

Паулина. Не могу больше. Уйду и я от этих людей!

Хуан Гранде (*бывший «Джон Гренд лимитед компани»*). Уж я ли не знаю, с чего все это началось и чем должно кончиться... Но послушайте: лучше я расскажу вам о себе...

Донья Инэс. Ах, это тот молодой лисенсиадо, что приобрел у меня в рассрочку кольцо сговора? Что я могу сказать о его будущем? «Э,— говаривал мой покойный дон Мануэль,— всякое бывает. Молодость грызет ворота зубами». Он и сам грыз: ходил с Панчо Вилья, громил помещиков... Но вот ведь — оставил мне ювелирную лавочку...

Пистолеро Пэпэ. Если б коммунисты платили — я бы к ним тоже перешел!

Теща прокурора. Видит бог — он мне и тогда казался излишне робким. И разговаривать не умеет с людьми нашего круга. Когда он впервые предложил мне эти пять процентов комиссионных — покраснел, будто девушка... Нет, не деловой он человек! Неужели он настоящий адвокат с университетским образованием!.. Какой ужас!

Хименес. Родригес?.. Не знаю, не помню. И знать не хочу! Родригесов много... Университетский товарищ? Ну и что же! Мне-то какое дело, отстаньте!.. Эй, Пэпэ, пойдика сюда!

Женщина в черном (*последняя клиентка папаши Молеро и первая клиентка уличного адвоката Родригеса*). Когда мы выиграли мое дело, я ему сказала: «Желаю вам счастья, дон Гильермо. И удачи и богатства!» А он весело рассмеялся и сказал: «Мы разбогатеем вместе». — «Как это вместе?» — спросила я. «Да, все вместе!» — ответил он и показал на людей, идущих по улице... Это, наверно, была шутка. А вы как думаете?

Мальчик из следующей главы. ... а он как-как даст белобрысому гринго! Тот побежал. А дон Гильермо догнал его и опять стукнул. Это был правый «хук» по-честному. Белобрысый полетел по воздуху. Что б меня молния расколола — не вру. Полетел и упал на спину. Чистый нокаут. Я сам считал... Ох и сильный наш дон Гильермо!.. Я и жену его знаю, давно знаю...

Но мы забежали вперед, поторопились с эпилогом. Мальчик рассказывает о драке, которую мы имеем возможность описать подробнее.

Это событие, хотя и не имело большого значения, запомнилось хорошо всем, кто был в кафе «Палас» вечером 16 июня.

14. ВИВА МЕХИКО!

Вот что произошло в кафе «Палас» вечером 16 июня 1953 года.

К тому моменту Родригес справился с обильным ужином. Он ел с удовольствием и с удовольствием слушал старика Молеро, а теперь перед ним дымилась чашка отличного кофе. Беспокоило только то, что старик все сильнее пьянел: Молеро успел выпить половину заказанной Родригесом бутылки коньяка и не прикасался к еде. Их столик уже привлекал внимание. Завсегдатаи кафе знали, что от Молеро можно ожидать разных штук.

Он покачивался — то приближая свое большое доброе лицо к уху Родригеса, то откидываясь на спинку стула и оглядывая посетителей. В глазах его светилась усмешка, они проницательно шурились, ласково останавливаясь на ком-нибудь, и скользили дальше. Старик был доволен собой, своей веселой мудростью и тем, что его окружают такие хорошие люди. Он наигрывал пальцами на мраморе столика браваурные мелодии песен Великой революции, а потом вдруг опять вспоминал, что сидит с Родригесом, и что учит его жить, и что нельзя молодежь оставлять без внимания: надо обязательно передать опыт своей многотрудной жизни.

Родригес попытался незаметно отодвинуть от него бутылку. Молеро погрозил ему пальцем.

— Зачем, красавица, меня ты распалила... — пропел он и потянул бутылку к себе: — О, смотри! — воскликнул Молеро и неверным движением показал на дверь. — Вот входит человек... Прекрасный, как виденье!.. Хочешь знать, кто это? Хочешь, Мэмо, я определю это с точностью до одного микрона!

Нетрудно было догадаться, что вошедший молодой белобрысый мужчина — американец. Ворот его шелковой рубашки был расстегнут, из обоих задних карманов светлосерых брюк торчали бумаги и газеты; переброшенным через локоть пиджаком белобрысый небрежно помахивал в такт шагам.

Молеро продолжал стихами:

— Вот видишь, Мэмо, это человек! Он дело знает и всегда на страже. Он знает толк в деньгах и может даже, купаясь в море, думать о продаже... — Молеро сокрушенно покачал головой: — Боже мой, боже! Никогда они не знают покоя, эти гринго! Мы вот отдыхаем, выпиваем в свое удовольствие, а этот парень трудится. Везде и всегда! Одинокий человек на чужой стороне. — Молеро, казалось, сейчас всхлипнет. — На чужой стороне продает и покупает...

Между тем белобрысый подошел к стойке и обратился к буфетчику.

Молеро смотрел на пришельца и продолжал говорить:

— Он не выпить пришел. Сейчас этот парень внесет деловую атмосферу. Так и знай, Мэмо, гринго не могут без деловой атмосферы!

Белобрысый, получив нужные сведения, радостно завиллял между столиками. Разговоры стихли. Все смотрели — куда он направляется. Все знали: он явился по делу и дело это сулит деньги. Маклеры, как один, смотрели с надеждой. Ну, а юристы — те вели себя скромнее: они наблюдали за белобрысым укладкой.

Схватив мимоходом свободный стул, пришелец поставил его у столика Родригеса.

— Хименес сказал мне, что вы здесь.— Он безошибочно протянул руку Родригесу. Пока Родригес соображал, белобрысый успел оседлать стул, протянуть сверкающую пачку «Лаки страйк», поднести огонь к сигарете.— Рад с вами познакомиться!

Молеро смотрел на американца во все глаза, но белобрысый не хотел его замечать.

— О господи,— простонал старик,— он рад. Ничего не выпил, ни капли не взял в рот и рад. Я преклоняюсь перед вами, мистер, как вас там. Вы, конечно, внесетё? Умоляю вас, мистер, внесите деловую атмосферу!

— Дон Алехандро! — сказал Родригес с укоризной и поднес к губам палец. Ему хотелось понять, чего хочет этот белобрысый. Принужденно улыбаясь, он спросил: — Что вы сказали? Я не расслышал — Хименес? Что Хименес?

— Собственно я еще не представился. Рики! Через игрек: Эр, игрек, одно ка и опять игрек. Р-и-к-и! Фамилия американская, но я гватемалец, служащий «Эй-Эф-Си».

— Это что? — Родригеса передернуло.— Вы из «Дженераль пауэрз»? Со всем, что касается рассрочки, я покончил!

— О нет! Что вы, что вы! Со слов Хименеса мне известно, что с *тем делом* вы покончили; Хименес сказал, что вы готовы к новому бизнесу. «Эй-Эф-Си» то же, что «Американ-фрут-компани». Знаете, конечно? Я из Гватемальского отделения... Компании необходимы бравые парни на границе Никарагуа с Гватемалой!..

Его опять прервал Молеро. Тронул плечо и проникновенным голосом спросил:

— Вы одинокий? Одинокий на чужой стороне?.. Вы на чужой стороне вносите деловую атмосферу?

Белобрысый не удостоил старика ответом. Его, впрочем, вполне устраивало, что Молеро так пьян. Американец не обратил внимания и на то, что лицо старика наливалось кровью и пушистые брови угрожающе сдвигались. Улыбаясь честными глазами, белобрысый выстреливал фразу за фразой:

— Нужны бравые парни. Сто, двести, можно и больше

Оплата и страховка отличными деньгами: долларами. Пять тысяч жизнь, три тысячи — тяжелое ранение.

Молеро резким движением сдвинул для чего-то посуду к середине стола. От папаши Молеро, все это знали, можно было ожидать разных штук. Несколько дней назад он потребовал гитару и целый час развлекал завсегдатаев кафе буйными куплетами времен Великой революции. Был случай — декламировал латинские стихи. Что-то он выкинет сегодня, добряк Молеро?

Американец под шумок продолжал:

— Будете пашим...— Он сделал многозначительную паузу.— Вербовщиком! Рекомендации Хименеса совершенно достаточно. Он считает вас своим человеком.

Старик запел густым басом:

— Ах, зачем, красавица, ты так меня зажгла!..— за соседними столиками рассмеялись. Белобрысого это вполне устраивало.

— Главная приманка,— говорил он,— будущее в руках: работа надсмотрщиками после победы... Вербовщикам мы платим...

— Э-эк! — крикнул, как дровосек, Молеро и опустил кулак на голову белобрысого.

Никто ничего подобного не ожидал. Бывало действительно, что папаша Молеро играл на гитаре; он мог показать нынешней молодежи, как плясали в старину; он был способен зарифмовать любую статью уголовно-процессуального кодекса, но, право же, никогда не дрался... Сейчас он выжал все возможное из своего старого и пьяного тела. Однако удар получился слабым. Трех секунд оказалось достаточно, чтобы белобрысый пришел в себя и выскочил за дверь. Минуту спустя он уже вернулся с сержантом полиции. Посетители окружили к тому времени столик. Родригес пытался рассказывать, но Молеро не давал ему говорить:

— Не вмешивайся, не твое дело!

Увидев сержанта, старик снова стал петь. Он сам прервал себя и с достоинством произнес:

— Добрый вечер, сержант.— Молеро загораживал собой Родригеса.— Вот какое несчастье. Х-хотел прикурить. З-задел парня по кумполу. Очень обидчивый парень. Дорогой сержант, этому парню обидно: все отдыхают, а он, бедняга, работает...— Встряхнувшись, старик громко сказал: — П-пошли... Пора, правда, сержант? Идем и ты, слышишь, Юнайтед фрут! В участке разберутся.

Казалось, дело кончено. Но не успел Родригес рассчитаться с официантом и объяснить знакомым, что произошло, как опять в кафе явился белобрысый. И опять лицо его светилось неподдельным добродушием, и все в нем говорило, что он понимает: такие пустяки не могут, не должны мешать.

— Дело есть дело, сеньор! Время не терпит. Надо кончать. Сядем и уточним подробности. Давайте...

Он прочитал что-то в глазах Родригеса, отпрянул, сделал попытку увернуться, однако не успел. Родригес нанес ему короткий удар в челюсть. Белобрысый отлетел к стойке.

— Ты, ты... Ну, погоди же! — Он попытался улизнуть в дверь. Но Родригес догнал его и снова ударил и снова... Белобрысый упал, сжался в комок: боялся, наверно, что его станут бить ногами. Он стонал от злости или от боли и выкрикивал: — Что вы, сеньоры, что вы!..

Родригес дул на свой кулак. Он уже заставил себя успокоиться.

— Надо кончать, говоришь? — повторял он вполголоса. — Надо кончать... Пора, давно пора!

Белобрысый все еще лежал. Официант бросил ему салфетку.

— Оставь его, — сказал Родригес. — Ему не нужна помощь. Он хочет, чтобы вы все засвидетельствовали кровь... — Белобрысый не делал попыток подняться. — Он хочет, — продолжал Родригес, — чтобы статья была покрепче и меня бы упекли... Дон Карлос! — крикнул Родригес хозяину кафе. — Пошлите за фараоном! Этот тип все равно будет валяться, пока не явится фараон. У него все рассчитано!

Когда хозяин пошел к двери, Родригес его вернул:

— Еще одна просьба, дон Карлос, — он вытащил из кармана пачку денег, отсчитал две тысячи триста песо. — Это выручка Хуана Гранде, моего бывшего патрона. Вы его знаете. Прошу: передайте! И вот квитанции. Скажите: проценты я вычел.

В кафе было тихо, как при похоронах. И все-таки Родригес чувствовал поддержку, дух поддержки.

— Ничего, ребята, — сказал он бодро.

И тут оборванный мальчишка, шустрый продавец лотерейных билетов, протиснувшись в круг, завизжал с восторгом:

— Вива Мехико!

Легкий смешок прошел по залу. Родригес тоже улыбнулся. Он потрепал мальчишку по голове.

— Ах ты чапаррито! Ах ты...

Мальчик поднял к нему восхищенное лицо. Он хотел что-то сказать, но Родригес остановил его движением руки.

— Вот что, чапаррито, и к тебе есть у меня просьба. Можно?

— Спрашиваете... Да я...

— Знаешь мою Панчиту?

— Это из «Патно», из ресторана? — Родригес кивнул. — Соседка Нойзи? Того, у которого сбежала...

Родригес его перебил:

— Ты, я вижу, все знаешь. Та самая Панчита. Моя невеста! Разущи ее, мальчик. Разущи сегодня же, сейчас, ладно?

— Сейчас? До того, как вас заберут? — Мальчик был явно разочарован.

— Да-да. И передай ей эту коробочку. В ней кольцо. Вызови Панчиту из ресторана и передай...

— Хорошо, сеньор. Можете мне не платить, сеньор! Я за даром отнесу... Во, глядите-ка, уже полиция... У, жабы! — Он нырнул под столик.

Родригес, потеряв его из виду, крикнул:

— Скажи Панчите, что жених ждет передачу!

Мальчик был уже на улице. Он спрятался за колонной и выглядывал из-за нее. Разве мог он упустить такое зрелище!

После того как Родригеса провели через площадь, мальчик снова во всю силу своих легких крикнул:

— Вива, Мехико!

И эхо пустынной площади повторило:

— ...эхико!

Николай Тихонов

*

ИЗ СТАРЫХ ТЕТРАДЕЙ

* * *

Каскад зарей воспламенен,
Летит с горы, гремуч и розов,
Но только ночь — смолкает он,
Жестоким схваченный морозом.

Не шевелясь висит каскад,
Оттрепетавший к полуночи,
Замерзший замертво собрат,
Он вновь с зарей бурлит, как хочет.

И все не может долететь
До дна глубинного долины,
Он должен ночью леденеть,
Висеть, светясь клинком былинным.

Сейчас он в полдень забурлил,
Вновь хищный камень оmyвая,
Вот также песен пенный пыл
Молчаньем память прерывает,

А вспомнит их — они не те,
Они в молчанье отсверкались,
Над ними тучи в высоте,
Спеша, как лозунги, менялись.

1939

* * *

Я не умею головы кружить,
Я не умею равнодушно жить,
Я не умею так мельчить слова,
Чтобы они означились едва.
О силе слов скажу я только двух,
И в той зиме, захватывавшей дух,
Вновь ощутил я в смертоносном вое,
Что есть на свете братство боевое.

1939—1940

КУКЛА

Тогда начинали мы финский поход,
А путь через Пампалу лесом ведет.

На снежной подушке сидела она,
Подобно игрушке из детского сна.

Шотландская юбка, румяна, бела,
Сидела голубка и куклой была,

На тумбе дорожной, надменно глядя.
Все шли, осторожно ее обходя.

Она улыбалась, слегка покраснев,
Бойцам же казалось, что это во сне.

Приказу послушны, и днем и в ночи
Шли танки, и пушки, и тягачи.

Вся армия мимо прошла, как волна,
И всеми хранима сидела она.

Я больше не ездил дорогой пустой,
Боялся встречаться с красоткою той.

Но песню о ней про запас унесу,
Про куклу, сидевшую в черном лесу.

1940

ТАНЕЦ СМЕРТИ

Под тихой радости смешок
Жонглер плясал, тряся мешок.
Ревел оркестр, скрипел настил,
В мешок он руку запустил
И вынул голову, и зал
Худого слова не сказал,
Смотрел, забывши все слова,
Как пляшет лихо голова.
Он бросил голову в мешок...
Почти пастушеский рожок
Взял в руку белую опять —
И ну играть, и ну играть.
И зал в забаве роковой
Следил за новой головой
Со сладострастьем малышей,
Со ртом, открытым до ушей,
Как смерть играла головой,
Как бы державой мировой!

Май — июнь 1940

* * *

Сквозь ночь, и дождь, и ветер, щеки режущий,
Урок суровый на ходу уча,
Уходит лондонец в свое бомбоубежище,
Плед по асфальту мокрый волоча.

В его кармане — холодок ключа
От комнат, ставших мусором колючим,
...Мы свой урок 'еще на партах учим,
Но снится нам экзамен по ночам!

Сентябрь 1940

ПРОНИЧЕСКИЕ СТИХИ

ПРУД

Обиды все и неудачи
Сложить в один мешок большой
И написать углем горячим:
«Все это звалось душой!»

И бросить в пруд, не размышляя,
Но над прудом висит печать
И надпись грозная, глухая:
«Прошу прудов не засорять!»

1940

ТРЕНИРОВКА ПАРАШЮТИСТОВ НА КАНАТЕ

Мы сели в тень на роздыхе,—
На тоненькой уздечке,
Над нами, просто в воздухе,
Летали человечки.

Сквозь листьев тонких месиво
Они мелькали дружно,
И сердцу было весело,
Что нам летать не нужно!

1940

НЕЧТО ФАНТАСТИЧЕСКОЕ

То вы мне покажетесь садом,
Где все, как нигде, хорошо,
Где в вашей тени я прохладу
Совсем молодую нашел.

То сам я в ветвях на излете,
Сам деревом стану в простор,
И с тенью моей вы ведете
Довольно большой разговор!

1940

ТАБАКЕРКА

Серебряный, крошечный ящик,
Ты весь предо мной в настоящем,
Хоть, верно, ходил талисманом
По разным придуманным странам.

Ты легкий, веселый, точеный,
Мне легкой рукою врученный,
И отсвет тех пальцев дарящих —
Он весь предо мной в настоящем!

1940

МАВР

Закручивал Дездéмоне рассказы
О войнах, путешествиях, морях,
И слушала, не подымая глаза,
Девическая синяя заря.
Лукаво улыбалась, как немая,
Глаза блестели в мира полутьму,
Дездéмону еще я понимаю,
Но Мавра вот никак я не пойму.
1938

ОДИССЕЙ И ВЫ

Девушке, изучавшей древнегреческий.

Он отлюбил, отпьянствовал,
Отпел и отсражался,
Он клялся постоянством
Путей, какими шлялся.

До умопомрачения
Он приключенья сеял,
Такое дней верчение
Зовем мы одиссеей.

Мне ж не в волнах агатовых,
В эгейской пены выческах,—
Внимать словам пиратовым
Из ваших губ девических.

Вы просто в тихой комнате
Строфу на память вспомните,
И станут древних вечера,
Как будто было все вчера.

1940

МОРСКАЯ БАСНЯ

Над морем дым столбом стоит —
Ты думаешь найти гиганта вид,
Берешь бинокль и видишь: пароходик,
Дымит всю замызганный уродик.

...Так человек дымит не по тоннажу,—
Ты ищешь дел — находишь только сажу.

1940

Александр Яшин



РЫЧАГИ

(Рассказ)

Вечером в правлении колхоза, как всегда, горела керосиновая лампа и потрескивал батарейный радиоприемник. Передавались марши, но их почти не было слышно. За сосновым квадратным столом сидели четыре собеседника, а табачного дыму было столько, что огонек в лампе еле-еле дышал, как в часы большого собрания. Казалось, что и приемник потрескивает потому, что дыму в избе много. На столе для окурков стоял глиняный горшок, он был уже полон. Временами в горшке от брошенной цыгарки вспыхивал огонь, тогда бородатый животновод Ципышев прикрывал горшок осколком настольного стекла. При этом каждый раз кто-нибудь произносил одну и ту же шутку:

— Сожжешь бороду,— коровы бояться перестанут!

На что Ципышев неизменно отвечал:

— Бояться перестанут, так, может, удоя прибавят.

И все смеялись.

Пепел с цыгарки стряхивали на пол, на подоконники, а в горшок кидали только окурки.

Сидели долго, разговаривали неторопливо — обо всем понемногу и доверительно, без всяких омядок, как старые добрые товарищи.

Сквозь полумрак на бревенчатых стенах проглядывались кое-какие случайные плакаты и лозунги список членов колхоза с указанием по месяцам количества выработанных трудодней, обрывок старой стенной газеты и пустая, вся черная доска, разделенная белой чертой на две равные части: на одной половине мелом было написано «черная», на другой половине — «красная».

— А ведь сахар-то в сельпо на днях опять привозили! — сказал кладовщик Шукин, самый молодой из собеседников, в одежде которого замечалась уже городская школа: на нем была рубашка с галстуком, из нагрудного кармана пиджака торчали авторучка и расческа.

— Донес, что ли, кто? — лукаво спросил его третий из сидевших за столом, человек без левой руки, полный, рыхловатый, в затасканном, чуть ли еще не фронтовом брезентовом плаще внакидку.

— Никто не доносил, а сам Микола с бабой послал мне на дом килограмма два, сказал — после рассчитаемся

— И ты взял?

— Взял. Не брать, так всю жизнь без сахара просидишь. И ты бы взял.

— Ну, тебе-то, Петр Кузьмич, он не пошлет! — засмеялся в бороду Ципышев, глянув на однорукого сбоку, с прищуркой. — Злой он на тебя. А Серега ему свой человек, — обернулся он к Шукину. — Серега его не снимал с кладовой, хоть и сел на его место.

Сергей Шукин совсем недавно был рядовым колхозником. Вступив в партию с месяц назад, он начал поговаривать о том, что все командные высоты в колхозе должны занимать коммунисты, а что ему теперь просто неудобно не продвигаться по должности. С ним согласились. Вспомнили, что колхозный кладовщик имеет уже несколько замечаний за воровство, и поставили в кладовую Шукина. На очередном общем собрании никто против этого решения возражать не стал. Шукин купил себе авторучку и стал носить галстук. А предшественник его ушел на работу в сельпо. О нем сейчас и шел разговор.

— Взял-то я взял, — сказал Шукин после некоторого раздумья, — но где же все-таки правда? Куда уходит сахар, где мыло, где все? — После этих слов он достал расческу и стал приглаживать густые, молодые непокорные волосы.

Тогда дал о себе знать и четвертый собеседник:

— Зачем тебе правда, ты сейчас — кладовщик?

Четвертый был человеком средних лет, но уже с сединой, бледный и, повидимому, не очень здоровый. Он курил непрерывно, больше всех и много кашлял. Когда протягивал руку к горшку, чтобы выкинуть обжигавший пальцы окуроч, видны были его большие толстые ногти и под ногтями — земля, не грязь, а земля. Это был бригадир полеводческой бригады Иван Коноплев. Слыл он мужиком справедливым, но злым, говорил редко, но едко. На резкие слова его обычно никто не обижался, видимо люди не чувствовали в них нелюбви к себе. Не обиделся и Шукин.

А однорукий, которого все называли по имени и отчеству, Петром Кузьмичом, возразил:

— Ну, правда — она нужна. На ней все держимся. Только я, мужики, чего-то опять не понимаю. Не могу понять, что у нас в районе делается? Вот ведь сказали — планируйте снизу, пусть колхоз решает, что ему выгодно сеять, что нет. А план не утверждают. Третий раз вернули для поправок. Видно, собрали все колхозные планы, сбалансировали, и вышло — с районным планом не сходятся. А районный план дают сверху. Тут кумекать много тоже нельзя. Ну, и нашла коса на камень. Искры летят, а толку нет. От нашего плана опять ничего не осталось. Вот тебе и правда! Не верят нам.

— Правду у нас в районе сажают только в почетные президиумы, чтобы не обижалась да помалкивала, — сказал бледный Коноплев и бросил окурочек в горшок.

Ввернул свое слово и Щукин:

— Правда нужна только для собраний, по праздникам, как критика и самокритика. К делу она неприменима, — так, что ли, выходит?

На лице Ципышева вдруг промелькнула настороженность и какое-то чувство неловкости — казалось, ему перестал нравиться этот доверительный разговор.

— Ладно, руби, да знай, куда щепки летят, — жестко заметил он Щукину. И тут же изменил тон, словно пожалел о своей грубости. — Правда, брат, она есть правда... А вот тебя посади в почетный президиум, ты и перестанешь землю видеть, — сказал и засмеялся, раздувая усы и бороду.

Борода у Ципышева росла не только на подбородке, но и на щеках и за ушами, сливалась с густыми рыжеватыми бровями, нависала на глаза, и когда Ципышев смеялся — смеялось все его лицо, вся борода, а глаза поблескивали откуда-то из глубины волос.

— Был я на днях в райкоме, у самого, — продолжал Петр Кузьмич, называя так первого секретаря райкома. — Что же, говорю, вы с нами делаете? Не согласятся колхозники третий раз план изменять, обидятся. Нам лен нужен. Под лен и лучшую землю отводить следует. А опыты у нас уже были и с кроликами и с травопольем. Сколько людей зря извели. Хлеба не стало — государству же во вред. Дайте, говорю, хоть десять, ну двадцать гектар на первый раз, а не сто, не тысячу. Привыкнем — сами прибавим, сами будем просить больше. Давайте не сразу... «Нет, говорит, сразу. Надо, говорит, план перевыполнить, надо активно внедрять новое». Активно-то, говорю, активно, да ведь у нас север, и народу мало, и земля — она своего требует. Людей убеждать надо. Ленин указывал — активно убеждать надо. А он говорит: «Вот ты и убеждай! Мы тебя раньше убеждали, когда колхозы организовывали, а сейчас ты убеждай других, проводи партийную линию. Вы, говорит, теперь наши рычаги в деревне». Говорит, а сам руками разводит, видно ему тоже не все сладко. А гиб-

кости в нем нет, не понимает он, чего хочет партия, боится понять.

— Накаленная атмосфера! — как бы пояснил его слова Щукин и снова потянулся за расческой.

— И не будет сладко. Он все равно долго здесь не усидит, — сказал Ципышев. — Не так себя поставил, строго очень. Людей не слушает, все сам решает. Люди для него — только рычаги. А я так понимаю, ребята, что это и есть бюрократизм. Вот, скажем, приходим мы к нему на собрание. Ну, поговори, как человек, по душам. Нет, не может без строгости, обязательно строгость соблюдает. Как оглядит всех сверху да буркнет: «Начнем, товарищи! Все в сборе?» — Ну, душа в пятки уходит, сидим, ждем выволочки... Скажи прямо, если что неладно — народ горы своротит за одно прямое слово. Нет, не может.

— Он думает, что партия авторитет потеряет, если он с народом будет разговаривать, как человек, по-простому. Ведь знает, что получаем в колхозе по сто граммов на трудодень, а твердит одно: с каждым годом растет стоимость трудодня и увеличивается благосостояние. Коров в нашем колхозе не стало, а он: с каждым годом растет и крепнет колхозное животноводство. Скажи: мол, живете вы неважно потому-то и потому-то... но будем жить лучше. Скажи — и люди охотнее за работу возьмутся.

— Накаленная атмосфера! — снова заключил Щукин горячие слова Петра Кузьмича.

Иван Коноплев докуривал новую цыгарку, нервничал и все порывался сказать что-то — видно, резкое и едкое, но тяжелый астматический кашель вдруг схватил его и вывел из-за стола. У порога Коноплев поднял веник и долго плевал в угол. А животновод Ципышев с сочувствием выговаривал ему:

— Опять, наверно, табак сменил? Я тебе давно наказывал — кури одну махорку, да корешковую, легче будет.

Немного откашлявшись, но еще не разгибаясь, Коноплев поднял голову и сказал с хрипотцой:

— Начальники наши районные с народом разговаривать разучились, стыдятся: сами все понимают, а прыгнуть боязно. Где уж тут убеждать. На рычаги надеются. Дома заколоченные в деревне видят, а сказать об этом вслух не хотят. Только и заботы, чтобы в сводках все цифры были круглые. А как люди, что люди, с чем они остались?.. — И Коноплев опять мучительно закашлялся.

— Ладно, ладно, помолчи, а то вся душа наружу выскочит! — Ципышев встал из-за стола и пошел к порогу, к Коноплеву. — Вот погоди, Иван, мы тебе путевку через райком выхлопочем. Съездишь к морю за воздухом, заодно посмотришь, как люди там живут, поучишься и нам расскажешь. Смелости всем добавишь.

Коноплев сделал навстречу ему нетерпеливое движение рукой, — сиди, дескать, зачем сюда лезешь, уйди! — но сказать из-за кашля ничего не смог. Ципышев вернулся к столу.

— Женка ему такую путевку пропишет, что и родных не узнает, — сказал Щукин. — Она у него наблюдательная: кашлей сколько хочешь, кури, пей, только чтобы от нее ни на шаг.

— Воздух у нас свой не хуже морского, — мечтательно заметил Петр Кузьмич. — Воздух-то есть! Раньше, бывало, лечиться от кашля ходили на смолокурни или живицу гнать. В сосняке поживет человек недели три-четыре, пособирает эту живицу из коробочек в бочки — глядишь; и деньги зарабатывает и дыханье легче станет. Закупают ли нынче где эту живицу? Что-то я не слыхал. Терпентин из нее какой-то делали да канифоль для скрипачей. Сейчас, поди, без канифоли играют.

— Пластмассой заменили. Вот! — Щукин показал свою расческу. — Она тоже из пластмассы.

На расческу Щукина никто не взглянул.

— А лампа у нас совсем гаснет, ребята, — поднял кверху свою бороду Ципышев.

От порога отозвался Коноплев:

— Погаснешь без воздуха. Лампе тоже воздух нужен.

Коноплев последний раз пошумел сухим веником и вернулся к столу. Лицо у него было бледное, дыхание тяжелое.

— Я так понимаю наши дела, — сказал он. — Пока нет доверия к самому рядовому мужику в колхозе, не будет и настоящих порядков, еще хлебом горя немало. Пишут у нас: появился новый человек. Верно, — появился! Колхоз переделал крестьянина. Верно, — переделал. Мужик уже не тот стал. Хорошо! Так этому мужику доверять надо. У него тоже ум есть.

— Не волк съел, — лукаво подтвердил Ципышев.

— Вот! И нас не только учить — и слушать надо. А то все сверху да сверху. Планы спускали сверху, председателей сверху, урожайность сверху. Убеждать-то некогда, да и нужды нет, так оно легче. Только спускай, знай, да рекомендуй. Культурную работу свернули — хлопотно, клубы да читальни только в отчетах и действуют, лекции и доклады проводить некому. Остались кампании по разным заготовкам да сборам — пятидневки, декадни, месячники...

Коноплев передохнул, и Петр Кузьмич воспользовался этим, вставил слово:

— Бывает и так: клин не лезет, а дерево виновато, говорят — дерево с гнильцой. Поди-ка не согласишься в районе. Они тебе дают совет, рекомендацию, а это не совет, а приказ. Не выполнишь — значит, вожжи распустил. Колхозники не соглашаются — значит, политический провал.

— А почему — провал?! — почти крикнул Коноплев. — Разве мы не за одно дело бодем, разве у нас интересы разные?

— Ну, райком тоже, брат, по головке не глядят, коли что. И с них требуется, дай боже.

— Дай боже, дай боже! — горячился Коноплев. — Рядом, в Груздихинском районе, другие порядки. Шурин приезжал на днях, рассказывает: там у председателей поджилки не дрожат, когда начальство их в район вызывает. Нет этого страха Секретарь в колхоз приходит запросто, разговаривает с людьми не по бумажке.

На полке в переднем углу слышнее заработал радиоприемник. Он все так же потрескивал и шипел, словно выдыхающийся пенный огнетушитель, но теперь сквозь шипенье и потрескиванье пробивалась музыка, а окуающая с запинками речь. Передавались письма с целинных земель. Какой-то паренек рассказывал о своих трудовых успехах на Алтае. Собеседники прислушались.

«Нас всех зовут москвичами, хотя мы из разных городов. Держимся дружно, в обиду себя никому не даем. Урожай в прошлом году выдался небывалый. В пшеницу войдешь, словно в камыши. Даже старики не помнят таких хлебов. Для сыпки не хватало мест, тяжело было...»

Паренек обращался к своей дорогой маме, но так, будто никогда раньше не произносил этого имени. Он явно робел перед микрофоном.

— Ты смотри, — сказал Петр Кузьмич, — и там свои беды: хлеб сыпать некуда. — Он ткнул рукой в сторону радиоприемника, и брезентовый плащ соскользнул с его левого безрукого плеча.

— Не всем же на Алтай ехать! — буркнул Коноплев и, закашлявшись снова, поднялся из-за стола, взял обеими руками горшок с окурками, пошел к порогу. Там он откинул ногой веник и вывалил окурки в угол.

И тогда обнаружилось, что в избе во все время этого разговора присутствовал еще один человек. Из-за широкой русской печи раздался повелительный старушечий окрик:

— Куда сыплешь, дохлой? Не тебе подметать. Пол только вымыла, опять запаскудили весь.

От неожиданности мужики вздрогнули и переглянулись.

— Ты все еще тут, Марфа? Чего тебе надо?

— Чего надо... За вами слежу! Подпалите контору, а меня на суд потянут. Метла сухая, вдруг — искра, не приведи бог...

— Иди-ка ты домой.

— Когда надо будет — уйду.

Разговор друзей оборвался, словно они почувствовали себя в чем-то друг перед другом виноватыми.

На мгновение стала слышна улица, шум ветра, далекая девичья песня.

Сергей Щукин выключил приемник, голоса целинников оборвались.

Снова стали отрывать клочки газеты, понемногу вытягивая ее из-под разбитого стекла, и скручивать цыгарки и козьи ножи. Долго молчали, курили... А когда начали опять перебрасываться короткими фразами, это были уже пустые фразы — ни о чем и ни для кого. Про погоду — дрянная стоит погода, в такую погоду кости ломит; про газеты — они ведь разные бывают, из другой свернешь цыгарку, так горечь одна, и табаком не пахнет; потом что-то про вчерашний день — сходить куда-то надо было, да не сходил; потом про завтрашний день — надо бы встать пораньше, в кои-то веки баба собирается блинами накормить... Пустые фразы, — но произносили их уже приглушенно, тихо, то и дело оглядываясь по сторонам да на печку, словно за ней скрывалась не Марфа, конторская уборщица, а какой-то посторонний, непонятный человек, которого следует остерегаться. Ципышев посерьезней, больше не разговаривал, не улыбался, только раза три спросил, так, не обращаясь ни к кому:

— Что это учительница замешкалась? Начинать бы надо партийное собрание.

Один Щукин вдруг повел себя несколько странно; ему не сиделось на месте, табуретка под ним поскрипывала, глаза — молодые, озорные, с хитринкой — блестили и смотрели на всех с вызовом. Казалось, Щукин вдруг увидел что-то такое, чего никто другой еще не видел, и потому почувствовал свое превосходство над другими. Наконец, он не выдержал и громко захохотал.

— Ох, и напугала же нас проклятая баба! — хохоча, говорил Щукин.

Петр Кузьмич и Коноплев переглянулись и тоже захохотали.

— И верно — дьяволица! Вдруг из-за печки как рявкнет. Ну, думаю... — Иван Коноплев с трудом закончил фразу: — Ну, думаю, сам приехал, застукал нас...

— Перепугались, как мальчишки на чужом горохе.

Смех разрядил напряженность и вернул людям их нормальное самочувствие.

— И чего мы боимся, мужики? — раздумчиво и немного грустно произнес вдруг Петр Кузьмич: — Ведь самих себя уже боимся!

Но Ципышев не улыбнулся и на этот раз. Он, словно не заметил, что заливались и Коноплев и Петр Кузьмич, а только на Сергея Щукина взглянул строго, как старший.

— Молод ты еще, чтобы над этим смеяться! Поживи с наше...

Но Щукин уже не унимался. К тому же и Петр Кузьмич и Коноплев были явно на его стороне. Они оживленно подмаргивали ему и продолжали смеяться.

— Вот так и боимся! — сказал Коноплев.

Марфа за печкой молчала.

В контору ввалились два паренька комсомольского возраста.

— Вы зачем? — повернулся к ним Ципышев всем телом.

— Радио хотим послушать.

— Нельзя. У нас сейчас партсобрание будет.

— А нам куда? Тут нас много.

— Куда хотите.

Сказав это, Ципышев оглянулся на своих друзей, словно хотел узнать, одобряют ли они его поведение.

Петр Кузьмич не одобрил.

— Вот что, молодцы, — сказал он, обращаясь к ребятам. — Мы тут проведем партсобрание, поговорим, а потом уж вы занимайте позиции.

Наконец, пришла и учительница, Акулина Семеновна, — молодая, низкорослая, почти девочка. Она устало распутала, сняла с головы серый шерстяной платок и ткнулась в уголок под деревянную полку с приемником. С ее приходом немного оживился и Ципышев. Но это его оживление выразилось в том, что он преувеличенно строго, по-начальнически заговорил с учительницей:

— Ты что это, Акулина Семеновна, всех ждать заставляешь?

Акулина Семеновна виновато посмотрела на Ципышева, на Петра Кузьмича, потом на горшок с окурками, на лампу и опустила глаза.

— Ну... задержалась... в школе. Вот, Петр Кузьмич, — обратилась она к однокорюму, — я бы хотела до начала собрания решить вопрос. В школе дров нет...

— О делах потом, — оборвал ее Ципышев, — сейчас собрание проводить надо. Райком давно требует, чтобы в месяц два собрания было, а мы и одного сговориться запротоколировать не можем. Как отчитываться будем?

Иван Коноплев при этом крикнул, и Ципышев опять на какое-то мгновение словно бы почувствовал неловкость, неуверенность в себе и робко оглянулся вокруг, будто просил извинения за свои слова. Но все промолчали. Тогда голос Ципышева окончательно приобрел твердость и властность. Что произошло? Борода его расправилась, удлинилась, глаза посуровели, в них исчез живой огонек, который поблескивал в минуты простой дружеской беседы. К уборщице Марфе Ципышев обратился уже тоном приказа:

— Ты, Марфа, выйди! Мы тут партийное собрание проведем. Говорить будем.

И Марфа словно почувствовала происшедшую перемену,— она не слушалась, не заворчала.

— Говорите, говорите. Разве я не понимаю. Выйду.

Когда за притихшей Марфой тихо закрылась дверь, Ципышев встал и произнес те самые слова, которые в подобных случаях произносил секретарь райкома партии, и даже тем же сухим строгим и словно бы заговорщическим голосом, каким говорил перед началом собраний секретарь райкома:

— Начнем, товарищи! Все в сборе?

Сказал он это и будто щелкнул выключателем какого-то чудодейственного механизма: все в избе начало преобразовываться до неузнаваемости — люди, и вещи, и, кажется, даже воздух.

Шукин и Коноплев бесшумно отодвинулись от стола. Петр Кузьмич остался сидеть, где сидел, только подобрал наполовину свалившийся с плеч брезентовый плащ и положил его в сторону, на лавку. Учительница Акулина Семеновна еще больше втянулась в угол под радиоприемник. Лица у всех стали сосредоточенными, напряженными и скучными, будто люди приготовились к чему-то очень давно знакомому, но все же торжественному и важному. Все земное, естественное исчезло, действие перенеслось в другой мир, в обстановку сложную и не совсем еще привычную и понятную для этих простых, сердечных людей.

— Все в сборе? — повторил Ципышев, оглядывая присутствующих, словно их было по крайней мере не один десяток.

А было их сейчас, как мы уже знаем, всего-навсего пятеро. Животновод Степан Ципышев оказался секретарем парторганизации. В секретари его избрали недавно по рекомендации райкома. Польщенный этим, Ципышев старался как можно лучше исполнять свою роль и, будучи человеком неискушенным, невольно начал во всем подражать «хозяину района». Правда, иногда он сам иронизировал над собою, но всякое указание сверху исполнял все же с таким рвением и с такой буквальностью,— все из робости допустить какую-нибудь ошибку,— что порой не хуже было бы, если бы не всякая спица ставилась им в колесницу. Присутствовавший при избрании Ципышева зональный инструктор райкома пошутил, что у товарища Ципышева есть немало достоинств, но есть и недостатки и главным его недостатком является борода. Ципышев принял эту шутку всерьез, как указание, и решил про себя, что бороду и все прочие волосы с лица обязательно снимет, но пока для этого не было подходящего случая.

Петр Кузьмич Кудрявцев, однорукий, оказался председателем колхоза. Иван Коноплев, как уже упоминалось,— бригадиром-полеводом. Сергей Шукин — кладовщиком. С тех пор как Шукина поставили кладовщиком, а его предшественник снялся с учета в связи с переходом на работу в сельпо, рядом

вых колхозников и парторганизации не было. Акулина Семеновна — та уж совсем из интеллигенции, хотя была своя, односельчанка, и во всем зависела от правления колхоза.

— Первое слово по ходу дня предоставляю председателю нашего колхоза товарищу Петру Кузьмичу.

Кудрявцев Петр Кузьмич встал.

Ципышев сел.

Партийное собрание началось.

И началось то самое, о чем с такой откровенностью и пронизательностью только что говорили между собой члены партийной организации, в том числе и сам секретарь ее, понося казенщину, бюрократизм, буквоедство в делах и в речах.

— Товарищи! — сказал председатель колхоза. — Райком и райисполком не утвердили нашего производственного плана. Я считаю, что мы кое-что не предусмотрели и пустили на самотек. Это не к лицу нам. Мы не провели разъяснительной работы с массой и не убедили ее. А людей убеждать надо, товарищи. Мы с вами являемся рычагами партии в колхозной деревне — на это нам указали в райкоме и в райисполкоме...

Учительница осторожными, крадущимися движениями рук, чтобы никому не помешать, снова повязала голову платком, лица ее не стало видно, и о чем она сейчас думала, никто бы сказать не смог.

А Шукин опять заулыбался. Он достал из кармана вечное перо, повертел его в руках, затем вынул расческу, посмотрел сквозь нее на лампу, тихонько дунул на зубья и положил расческу обратно, причесываться не стал. Лицо его расплывалось все шире и шире, а в глазах засветился лукавый издевательский огонек. Казалось, вот-вот Шукин снова расхохочется. Но он не расхохотался и только толкнул в бок Коноплева и шепнул ему:

— Видел, что делается? Узнаешь ты его сейчас?

Коноплев тоже улыбнулся, но криво, недобро.

— Ладно уж, не мешай ему выговориться. Так надо. Петр Кузьмич сейчас в своей должности. Как в районе, так и у нас. Каков поп, таков и приход.

— А правда как?

— Правда — она свое возьмет. Она, брат, скоро дойдет и до нас, она прогремит.

— До точки ведь докатимся.

— Не докатимся.

И Коноплев потянулся к столу, придвинул к себе горшок и курил, курил... Кашлять он не решался, крепился, хотя в груди все клокотало и свистело.

Кудрявцев Петр Кузьмич говорил недолго. Суть его доклада сводилась к тому, что боеспособность партийной организации район поставит под сомнение, если план севооборота колхоза на следующий год не будет исправлен немедленно и

безоговорочно согласно указаниям райкома и райисполкома. С этим согласились все выступавшие в прениях. Иначе было нельзя.

А в прениях выступали и Акулина Семеновна, и Шукин, и Коноплев. Расхождений во мнениях не обнаружилось, как не было их и во время той дружеской беседы до начала партийного собрания; правда, сейчас согласованность и единодушные прояслялись несколько в ином, можно сказать, в обратном значении.

Ципышев был удовлетворен сплоченностью коммунистов и по второму вопросу выступал сам. Как-то зональный секретарь райкома партии обратил внимание на то, что в колхозе не развернута политико-воспитательная работа и о соответствующих фактах сообщил докладной запиской первому секретарю райкома.

— Лучших мы, товарищи, не поощряем,— говорил в связи с этим Ципышев,— отсталых не наказываем, соревнования нет. Посмотрите хотя бы на нашу красно-черную доску — картина ясная. Надо возглавить массы, товарищи! Думаю так: наметить для премирования несколько объектов, для этого на каждом объекте подобрать одного-двух человек... А кое-кого штрафнуть, чтобы на обе стороны правильно было... В райкоме нас одобряют...

Собрание единогласно постановило выделить пять человек на премию, трех на штраф. Разговор возник только о том, на каких объектах нужно искать людей для поощрения, на каких — для наказания.

Ни одной резолюции написать не успели,— вернулась Марфа, чтобы прибрать и запереть контору. Петр Кузьмич предложил составление резолюций поручить секретарю.

— Ты напиши знаешь как,— шептал он, довольный, что собрание подошло к концу: — «В обстановке высокого трудового подъема по всему колхозу разворачивается...»

— «По всей стране...» — подсказал Шукин.

Домой собрались быстро, и похоже, что у всех на душе было ощущение исполненной обязанности и в то же время неловкости, недовольства собой. А на крыльце уже застучали сапоги, в дверях появилась молодежь.

— Во-время мы подошли? — спросил один из тех двух пареньков, которые уже заходили в контору

— Во-время! — ответил Петр Кузьмич. — Самое время. Заходите ребята, все.

В избу ворвался прохладный воздух с улицы. Огонек в лампе ожил, задвигались табуретки. Открыли окно.

— Ну и дыму у вас! — шумели девушки.

Акулина Семеновна с появлением молодежи выпрямилась, сбросила с головы платок. Это были люди ее возраста,

с ними она чувствовала себя свободнее. Заходил кругами и Сергей Шукин — затянул потуже галстук и уже не покидал девушек.

Включенный приемник неожиданно заговорил громко и чисто. Передавались материалы о подготовке к двадцатому партийному съезду. Это сообщение прослушали все.

Петр Кузьмич, словно подобрев, перед уходом сказал Акулине Семеновне:

— Дрова будут, ты не беспокойся, распоряджусь.

А Ципышев подошел к Сергею Шукину и сжал ему руку повыше локтя:

— Останешься тут?

— Остаюсь.

— Ну, следи, чтобы ничего такого...

Когда председатель колхоза Кудрявцев и полевод Иван Коноплев шли из конторы по темной грязной улице, возобновился разговор о жизни, о быте, о работе — тот самый, который шел до собрания.

— Теперь что двадцатый съезд скажет! — то и дело повторяли они. И снова это были чистые, сердечные, прямые люди, люди, а не рычаги.

Сергей Бондарин

*

ДУХОВНЫЙ ДИСПУТ

(Рассказ)

Осенью двадцать первого года, мальчишкой, едва кончив срочные курсы, я работал землемером в Ананьевском уезде.

В тот год продналог заменил продрозверстку, приступали к разделу земли в трудовое пользование. С бусолью и подушными ведомостями я переезжал из деревни в деревню, звание землемера, как незримый доброжелатель, охраняло меня от грустных случайностей.

Уже не в каждую деревню я согласился бы вернуться без надежного спутника, когда мне предложили сменить бусоль на винтовку — направиться в Ново-Буйницкую волость, славящуюся неукротимостью нравов.

Власть Советов на Украине тогда только устанавливалась. Действовать приходилось не только именем закона или силой убеждения, но по временам и оружием.

Глубокая осень омертвляла дороги. В пасмурное небо лениво поднимались вороны.

Еще вчера спекулянты и мешочники носились по уезду, как гуляки из трактира в трактир, а сегодня и они исчезли с дорог.

В волостном совете ко мне присоединился товарищ Лемеш с двумя красноармейцами, и мы поехали на хутора выкачивать хлеб у баптистов и скопцов.

Товарищ Лемеш, рабочий с «Завода сельскохозяйственных машин б. Белино — Фендрик», сам правил лошадьми, дышал полной грудью и вообще вел себя так, как будто всю жизнь только и ездил по степям Одесщины.

А меня одолевало страшное голодное одиночество. В крестьянских хатах я встречал не только недоброжелательство, хитрость и злобу, — встречал и совет и радушие. В пасмурных полях я видел не только черствые глыбы черного пара, —

бывало и солнце, и травы, и жаворонки; но нет, я все же не мог понять сердцем этой степной земской жизни.

Что я оставил в губернской Одессе? Голод, горе и разрушение. Казалось бы, все! Но к ее вырубленным с зимы бульварам, к ее панелям, развороченным трехдюймовками я устремлялся всею душой. Удивляла меня готовность людей жить не в городе, а в деревне, и я никак не мог понять, почему уж в таком случае не выбирают они для жизни самые красивые места, всегда готовы променять сад и речку на голое поле, требующее упорного, знойного, помрачающего ум труда. За полдесятины отдаленного клина, которые я отрезал у одного землероба и передавал другому, прежний хозяин вынимал из меня душу, а другой, наделенный дополнительным участком, не всегда умел устоять под разбойным напором завистников. И никогда я не слышал, чтобы мужик менял свою хмурую хату на другую, потому что с крыльца той, другой, видны речка или луг...

Зачем же все это? Кого радует просторный деревенский пейзаж, лесочки, ветрянки и белые колокольни церквей?

В старой почерневшей ветрянке мы и расположились на ночлег, добравшись до хуторов поздно вечером.

Лемеш считал, что искать радушного приема в хатах бесполезно, действовать силой — неразумно.

Хутора располагались между леском и глубоким непролазным яром, где густо, где пореже, мерцаая огоньками в серых, осенних степных сумерках. Запах кизячьего дыма растекался по равнине. Лемеш с красноармейцем Сарычем пошли к ближайшим хатам; мы со вторым красноармейцем, Поповым, поднялись в ветрянку по шаткой лесенке.

Ударило запахом горькой мучной пыли, там и тут задувало из щелей. Чиркая спичками, мы, наконец, выбрали угол, сложили солому, и покуда мы укладывались, вернулись Лемеш и Сарыч.

Лемеш был прав, — на ужин не нашлось даже хлеба.

— Но вас, — вежливо сказал мне Лемеш, — мы заведем к ихнему председателю, вас они уложат. Пойдем.

— Уложат, — многозначительно пробурчал Сарыч.

Я отказался.

— Как находите, — отвечал Лемеш рассудительно. — Но имейте в виду, что и тут может случиться всяческая волюшка. Вам с нами, может, невыгодно: одно дело землемер, другое — продармец.

И начались беспросветные истории Лемеша, рассказанные в ту ночь: о кулацком лукавстве, о беспощадности, с какой кулаки расправляются с продармейцами и коммунистами, и, наконец, об особо мрачных повадках хуторян-сектантов.

Выходило так, что сам-то Семен Лемеш успел уже раз двадцать выскользнуть из рук свирепых мужиков. То спасала

его собственная смётка, то, недобитый, он уползал из ямы на проезжую дорогу, то в последнюю минуту, когда его вскидывали над краем колодца, во двор, сверкая клинками, врывался кавалерийский отряд Котовского.

Но чаще всего Лемеша спасала внезапная любовь кулацкой дочки, постигшей его, Семена, правду и доблесть. Сколько красок находил при этом рассказчик! Взволнованное воображение рисовало подробности любви довольно разнообразно.

— Бабы лезут к мужику под кожих, как тараканы к теплоту хлеба,— сказал красноармеец Попов.

Молчаливый Сарыч сидел у входа с винтовкой между колен.

Лемеш продолжал, и выходило, что по всей Одессине ждут не дождутся Лемеша нарядные невесты.

— Почему же вы не женились ни на одной из них? — спросил я, стараясь постичь, чего больше в этих рассказах — тщеславия или мечты.

— Нет,— отвечал Лемеш,— все это чужие души. А мне интересно, чтобы чужая красивая женщина покорилась мне всей душой. Чтобы она, вели ей, подожгла родительское гнездо...

Помолчав, Лемеш добавил с грустью:

— Однакож этого они не тмят... Вот и езжу бобылем.

— Да зачем же вам обязательно девушку из кулацкого гнезда?

— Удовлетворение! — коротко отвечал Лемеш.

А так как нам не спалось, он начал рассказывать еще один случай: в Гнилой Балке его заманили в ветрянку, в такую же старую ветрянку, в какой не спалось нам теперь, заманили под предлогом розысков упрятого хлеба, а заманив, в темноте набросились, связали и на другой день должны были повесить на крыле.

— Послушай, Лемеш,— сказал Попов,— а может, тут тоже хлеб захован? Не пошарить ли?

— Да в той ветрянке хлеба и не было,— отвечал Лемеш.— Нас ехидно подманули и только... Ночью воеет, скрипит — совсем как тут, и я думаю: сыграл в ящик. Хорошо, что я неженатый,— не будет женского воя и детского плача. Тяжко это воображать. А нужно вам сказать, что перед той ночью стояли мы у одного хозяина и была у того хозяина дочка-чернявка...

— Хорошо рассказывать, когда уже свое пережил и дождал до спокойных лет,— сказал Попов.— А тут только беспкойство учиняешь. Брось лучше.

— А ты разве на фронте не был? — удивился Лемеш.

— Вот именно — был. Мы с Сарычем Пятьдесят первой

Перекопской дивизии. Я еще на Урале формировался... Спать пора.

В это время Сарыч, продолжавший нести караул, вступил с кем-то в переговоры.

— Кто там? — встревожился Попов.— А тебя, Лемеш, вздернут-таки на дрючок, потому что ты не о деле думаешь, а черт знает о чем... И чего только тебя назначают.

С винтовкой в руках он выглянул за двери ветрянки.

— Тут с хутора баба пришла,— сказал Сарыч.— Спрашивает, почему землемер не идет ночевать.

В степи была ночь. В холодном воздухе сильнее пахло полевым сушняком и дымом с хуторов. Перед ветрянкой стояла женщина, освещаемая высокой луной. Сложив руки под шалью калачом, она ждала, что ответят ей — пойдет землемер ночевать на хутор или не пойдет.

Лемеш выступил вперед, присматриваясь к женщине. Та стояла молча и спокойно.

— Ты кто же? — спросил Лемеш.— Работница? Хозяйка?

— А вам не все одно? — усмехнулась женщина.— Меня свекор послал,— он у нас хозяин.

Голос у женщины был свободный и сильный.

— А муж где? — допытывался Лемеш.

— Муж? Может, в Турции, может, в сырости...

— Так. Ясно. Ну, землемер, как решаешь? — тихо спросил он меня.

— Нет, я останусь с вами,— также тихо отвечал я.

Тогда Лемеш подтянул на плечах ремень и спустился по лесенке.

— Пойдем, солдатка,— позвал он женщину.

Попов в замешательстве вскрикнул:

— Эй, Лемеш, куда же ты?

Но наш начальник отвечал, не оглядываясь:

— У меня мои землемерные вопросы назрели. Спокойной ночи, товарищи!

Они долго шли через степь, под луной, удаляясь от нас.

Луна разгоралась до фаянсового блеска, продираясь из-за летучего облачка,— Лемеш все шел и шел со своей проводницей через степь.

— Он хитер,— сказал Сарыч.— Он не только землемером и скопцом скажется, лишь бы разведать.

— Да, уж тут скопцом,— иронически заметил Попов.— Опасный он человек.

А я долго стоял в степи, озаряемый длительным сиянием луны. Должно быть, при приближении Лемеша и его спутницы к хутору там усилился собачий лай, потом стало тише, совсем тихо, только продолжали поскрипывать старые крылья ветрянки. Одно крыло скрипело, слегка покачиваясь, и я

подумал, что как раз на этом дырявом крыле могут повесить человека...

Но это была лишь одна сторона мысли,— одновременно выросло веселое, задорное, живительное любопытство, чувство, от которого, как от счастья, все приобретало особенное содержание, необыкновенность и назидательность, и это чувство побеждало.

Покачнувшийся невдалеке куст репейника, тень, пролетевшая по степи, поскрипывание старого крыла — через все это душа человека, всегда жаждущая трепета, ощущала его, и, насторожившись, то приоткрывалась, то пряталась.

В стороне хуторов теперь мерцал только один огонек, и, когда потух он, я готов был думать, что он потух не без значения. Как-то там Лемеш? Что делать нам, если он не вернется?

— Не пойти ли нам на хутор? — спросил я, возвращаясь к ветрянке.

Сарыч продолжал дремать с винтовкой между колен. Отпряженные, повернутые к подводе лошади смиренно жевали сено.

— А зачем это? — сонно возразил мне Сарыч. — Чего слоняться? Ложитесь спать.

Попов уже храпел в ветрянке, пробрался туда и я и улегся, зарывшись в колючее сено. То, что наболтал здесь Лемеш, и то, что предстояло нам утром, оживлялось в дремотном воображении — и мне чудились выстрелы, бестолковая скачка коней, мешки с зерном, подпрыгивающие на подводе, а на мешках растрепанная женщина, которую умыкает Лемеш...

С этим я и заснул.

Разбудил нас он же. Лемеш, притаившийся на рассвете. Он был сосредоточен, не отвечал на ехидные словечки Попова, сразу заговорил о деле.

— Хлеба у них — завались, но действовать тут нужно тонко. Вы бы, товарищ землемер, придумали слова убеждения. А?

— Какие слова убеждения? — удивился я, еще не вполне проснувшись.

— Вам бы на сходе речь произнести.

— Да я никогда речей не произносил.

— Вот я и говорю: придумайте.

Я вспомнил, что ведь Лемеш выдал себя за землемера, следовательно, мне остается разыгрывать из себя начальника продотряда, но это как раз Лемешу и понравилось.

— Это как раз и хорошо, — сказал он. — Им треба мозги трошки передвинуть. Обязательно придумайте речь, товарищ землемер. С вас мы и начнем. Вот покушайте хлеба, — все, что достал.

В ознобе от пробуждения и утреннего холода я с тоской взглядывал на большой ломоть серого хлеба, на пасмурную,

неохотно светлеющую степь. Ночное возбуждение прошло. Белые ватные дымки, поднимающиеся над крышами, напоминали лишь о том, что в той хуторской, чужой, недружелюбной жизни нам места нет.

Лемеш продолжал сообщать сведения, добытые им за ночь: на сход хуторян придёт сам святой Илья — отец Иннокентий...

* * *

Наша подвода въехала на поляну, где ожидался сход, одновременно с тачанкой Иннокентия. Беспородные кобылки равнодушно свернули с дороги, когда с другой стороны ворвалась на ту же поляну тройка вороных гривастых тучных коней.

Чернобородый Иннокентий, бывший кузнец, потом монах и расстрига, стоял в тачанке во весь рост, поворачиваясь направо и налево, благословляя сбегающих к нему хуторян. Из дверей, распахивающихся навстречу проповеднику, неся, раздражая наши ноздри, запах теплых оладий и борща.

Может быть, для того чтобы уравновесить впечатление от двух въездов, впечатление, невыгодное для нас, Сарыч вдруг выстрелил из винтовки в воздух. Хуторяне, обступившие было нашу подводу, отпрянули; толпа, бегущая за Иннокентием, рассеялась по поляне.

Тачанка, казалось, налетает на нас, но возница с ходу остановил коней, и тяжеловесный отец Иннокентий, покачнувшись, воздел к небу руки.

— Братья! — прокричал он. — Песня наша возвещает утро славы, начнем ее. С востока луч придёт — восторг душевный и пробуждение. Подымайте ж сильно свой голос. — С речитатива проповедник постепенно восходил к мажорно нарастающему напеву, подхваченному толпой.

Женские голоса, следуя за сильным басом Иннокентия, прозвучали особенно громко, опередили его, повели хор дальше. Мужчины пели, оставаясь там, где настиг их выстрел Сарыча и окрик Иннокентия. Многие из них, не сводя глаз с Сарыча, держали руку за пазухой. Женщины собрались в отдельную группу. Впереди стояла та солдатка, которая приходила ночью к ветрянке, я узнал ее по манере складывать руки под платком, по ее смелому сильному голосу. Она была снохою местного председателя, сын которого ушел с белой армией: «Может, в Турции, а может, в сырости...»

— Ах ты дурень! — выругался Лемеш, зло оглядывая Сарыча — И чего? Чего стреляешь? Ах ты малохольный! Кинь винтовку.

Сарыч, пораженный таким сборотом дела, растерянно положил винтовку.

Песня замирала. Позванивали бубенцы на сбруе вороной тройки. Голоса обрывали песню — кто раньше, кто позже, и,

как басовая нота органа, последним прозвучал и потом обрвался голос Иннокентия.

— Слава истинному богу, пребывающему в доме у нас! — Этими словами он заключил песню и обратился к нам: — Здравствуйте, люди. Вы кого хотите изгнать пальбой? Кто мешает вам? Что тут вашего? От кого и к кому вы приехали?

— Не к тебе, молдаванин,— опять не выдержав, крикнул Сарыч.

— Да и не к нам! — выкрикнул кто-то из толпы.— Поворачивайте оглобли.

— Выслушаем людей,— хитря, чувствуя свою силу, пробасил Иннокентий. Он понимал, конечно, что в случае какой-либо беды — ему первому отвечать.— Объясните, чего вы ждете от хуторян и чего им ждать от вас?

— Пускай их начальник говорит! — опять выкрикнул кто-то.

Лемеш сильно толкнул меня кулаком, и я встал.

Подымаясь, я видел вокруг хуторян-сектантов, за ними потряхивающих гривами коней Иннокентия и его самого, сильного и бородатого мужика в зипуне, в высокой барашковой шапке, насмешливо глядящего на юнца. Слава о проповеднике Иннокентии шла далеко по уездам.

Пятно солнца проступило в туманных облаках над горизонтом, и в ту минуту, когда я начал говорить, по моему лицу, как я почувствовал, скользнул луч. Почему-то я мгновенно вспомнил притчу о мальчике Христе, проповедовавшем перед мудрецами на ступенях Иерусалимского храма, в следующую минуту, опять обратясь к себе, я понял, что я уже начал говорить.

— Мы явились сюда по праву власти,— говорил я неторопливо, спокойно, веско,— но мы не хотим требовать, а хотим убеждать. Мы люди другой веры: не Страшного суда, а людского. Не для царства божьего, а для самих себя, для нас с вами, граждане, требуем мы справедливости. Слушайте меня, граждане хуторяне!..

Я и в самом деле никогда прежде не выступал с митинговой речью, но на этот раз случилось мне неповторимо испытать это чувство самозабвения и убежденности, изливающееся точными, смелыми, неподкупными словами. Все, о чем я думал последние месяцы, разъезжая по деревням, сожалея об иной жизни, какая могла бы быть на этих жирных полях,— все провалось сейчас, как обличение.

Правда обнажила меня, и она же меня защищала.

Не Страшный суд по учению баптистов, а картины революционной борьбы и близкого, завтрашнего, всеобщего, неизбежного, справедливого ликования воодушевляли меня.

То, что я начинал с религиозных представлений сектантов, заставило их прислушаться. А дальше — я заговорил о труде

людских масс в доках, на заводах и под землей, об усилиях пролетариата и советской власти, утверждающей не загробное утро, а неизбежный рассвет человеческого сознания; говорил и о садах скорого будущего, и о сегодняшнем грозном истощении сил, требующем последнего напряжения. Отцы и мужья, поросшие щетиной голода, женщины и дети, падающие от истощения у ворот своего дома, ждут руку помощи...

— Вот чего мы ждем от вас, хуторяне.

В моих словах, говорил я, нет угрозы, хотя я мог бы не призывать, а заставлять. Но больше всего моим словам не хватает способности передать все то, что мы, городские, знаем о лишениях рабочих людей. Какой же бог простит трудящемуся человеку, отказавшему другому труженику в куске хлеба? Разве о таком боге думаете вы, хуторяне? А если таков ваш бог, то пастух Иаков, вступивший в борьбу с богом, будет нам примером.

— Сын божий Иисус Христос накормил пятью хлебами пять тысяч человек,— заревел вдруг Иннокентий со своей тачанки,— но это были люди, пришедшие по слову Иисусову.

— Нет,—возразил я,— ты неверно толкуешь, отец Иннокентий. Люди, пришедшие на море Галилейское, были вольными людьми — крестьянами, рыбаками и ремесленниками. Они были пролетариями, и Христос не спрашивал у них, какой они веры, прежде чем накормить. Ты не прав, Иннокентий.

Наша телега и тачанка Иннокентия съехались вплотную. Кони Иннокентия то порывались вперед, то пятились, закидывая головы, гремя бубенцами. Наши кобылки невозмутимо дремали. Толпа окружила нас плотно, многие влезли кто в тачанку, кто к нам на телегу, и наш спор, давно отвлекшийся от источника и цели, становился все более странным. У нас пошла речь о небесных знамениях. По апокалипсису, семь толкований дал Иннокентий затемнению солнца и багровению луны, я — одно объяснение. Но как раз тут, придерживая за пазухой обрез, выступил молодой парень.

— Тебя послушать, отец,— сказал он, обращаясь к монаху,— так повертай как хошь... хошь — так, а хошь — этак... куда язык тянет. А комиссар — як поставил, так и утвердил. Как дерево! Оно и стоит. А? Мне это больше нравится...

И после шустрого хлопца все чаще начали раздаваться возгласы одобрения в мою пользу. Как всегда, спор разделил людей. На каждую цитату Иннокентия у меня находилось две. Во мне все работало: кровь, мысль и голос. Стихи из Пушкина, Беранже, Гейне звучали ничуть не бледнее апокалипсиса, и слова не задерживались, как случалось у Иннокентия, потому что проповедник верил в слова, а я — в правду.

Ближе к полудню солнце пронизало облачность, еще безотраднее оттенив черноту степных далей. Пропели петухи. Сноха председателя протолкалась через толпу. Председатель —

старик в рыжей свитке — поднял голову и в наступившей вдруг тишине спросил:

— Ну, а обидать будете?

— Видно же, что люди хотят исть, а он пытается,— укоризненно произнесла его сноха.

— Ступайте, пообидайте,— подтвердил председатель.— Дело потом обтяжим. Сходи с тачанки, отец. Доругаетесь за столом: голубцы стынут.

— Та разве? — пожалел кто-то.— Пускай еще причесывают — занято.

Иннокентий вдруг туже надвинул шапку, столкнул своего возницу и, сам подобрав вожжи, стоя, хлестнул по коням. За ним опять было бросились хуторяне, метнулись куры, взвизгнули псы, но он, не оглядываясь, жестоко хлеща вожжами, с трубным, басистым воплем унесся с поляны — в гору, в гору, к самому краю земли, подобно пророку Илье, за которого себя выдавал.

* * *

С хуторов Ново-Буйницких мы выехали на другой день, сопровождая несколько подвод, плотно доверху груженных мешками с зерном и мукой.

После диспута, несмотря на обиду, нанесенную Иннокентию, хуторяне поставили нам лишь одно условие: «Не вмешайтесь. Всю разверстку мы решаем сами между собой, а будет сделано по совести». Сарыч чуть было опять не испортил дела: в избе, куда его приняли на постой, он закурил табак. Спас положение Лемеш. Человек ученый, землемер, он солидно объяснил хуторянам, что сей смуглый человечек совсем непонятливый: он турок.

Всю обратную тряскую дорогу до волости Сарыч молчаливо дулся на Лемеша, Попов осуждал меня.

Обозревая идущие впереди подводы, Попов говорил:

— Вроде как милостыню выпросили. Ей-богу! Мне тут больше не бывать, я демобилизуюсь, а вам, я думаю, еще придется тут стрелять из винта. Сарыч хорошо сделал. Всех их — к ногтю...

Не знаю, бывал ли еще на хуторах Лемеш — я больше там не бывал и не могу сказать, насколько прав Попов...

Как, однако, далеко все это теперь! Трудно поверить, что все так и было! Но именно там, на Ново-Буйницких хуторах, я впервые полностью приобщился в тот пасмурный день к долговременной разнообразной вдохновенно-возвышающей житейской борьбе, щедро сужденной нам революцией.

Я. Аким



ГАЛИЧ

Я вырос в городке заштатном,
Среди упряжек и рогож.
И не был на район плакатный,
По счастью, город мой похож.

Над сонным озером вставал он,
Как терем сказочных времен,
Насыпанным издревле валом
От вражьих полчищ обнесен.

Там кузнецы у наковален
С утра томились от жары,
А на базаре куковали,
Стуча по кринкам, гончары.

Там были красные обозы
И в окнах пыльная герань,
Обманутых торговок слезы
И пьяных матерная брань.

И грохот ярмарочной меди,
И будничная тишина,
Тоскливой музыки волна,
Непуганный цыган с медведем...

Там возвеличивались, меркли
Районной важности царьки,
Поспешно разбирались церкви
И долго строились ларьки.

Там песен яростно-безбожных
Немало в детстве я пропел
И там же услышал тревожный
Холодный шепоток: «Расстрел».

И был не смешанный с толпою
Там каждый встречный на виду,
И каждый уносил с собою
Чужую радость и беду.

...Он жив, доставшийся мне с детства
Упрямой правды капитал.
Я милой родины наследство
В пустых речах не промотал.

И беспокойными ночами,
Как у походного костра,
Со мною вместе галичане
Не спят в раздумьях до утра.

* * *

Разве умирают,
Как в романах —
Пригласив парторга
В кабинет,
Чтоб успеть
О графиках и планах
Напоследок высказаться?..
Нет!

Просто
Смерть
Внезапную подножку
Нашему товарищу дает.
Просто
Вызывают неотложку,
И она опаздывает.
Вот.

И звонок,
Настойчивый и грозный,
Чье-то сердце
Полоснет ножом.

А потом
На кладбище морозном
Скажем речь,
Как будто о чужом.

А весной
Женщина проторит
Стежку
Меж надгробий и крестов.
И пчела,
Не знающая горя,
Прилетит
На запахи цветов.

СЛЕПОЙ В МЕТРО

Он шел тихонько, без поводыря,
Нездешний житель, если приглядеться:
Косой стежок чиненного дыря,
Мешок из вафельного полотенца.

Вдоль гулкой залы ветерок сквозит,
Грохочет гром в подземных коридорах.
А палка непривыкшая скользит
По вылощенным плитам лабрадора.

Он век провел как будто под землей.
Всегда один. В потемках. Без ответа.
Он шествует, как патриарх седой,
Среди толпы и неживого света.

Ему в вагон пробраться помогли,
Он сел. И вдруг у девочки-соседки
В руках почуял запахи земли —
Березок зеленеющие ветки.

И с девочкой старик заговорил,
И с нею вместе выйдя из вагона,
Не трогая захватанных перил,
Поехал вверх, за веточкой зеленой.

Несла его наклонная река...
А мне казалось, что свершится чудо,
И девочка слепого старика
На землю зрячим выведет отсюда.

Сергей Бобров

*

* * *

В блестках нитей искрометных
Шел высокий статный дождь,
Легкий, звонкий, чуть заметный —
От безоблачного неба
До расплакавшихся рощ,
До волны широкой хлеба —
Тихий — нежный — добрый дождь.

СЕРВАНТЕС

На понуром коньке по серой тропе
Ковылял горюющий мытарь,
Рукав висел и бил по руке.
— Посмотри на меня, Карменсита!

В суме моей небогатый клад:
Козий сыр, винцо и Гораций,
Мой конек траве и привалу рад,
А с тобой я вспомню про граций,

Да и солнце уж низко, вот-вот уйдет,
И деньской покинет простор оно...
— Я дальний огонь, который не жжет,
— Я меч, отложенный в сторону.

Анатолий Кудрейко



СВЕТ

Метель крутилась по отрогу
 кругом наляпала белил...
Топор искал в лесу дорогу
 и без разбору все валил,—

И сталь его была горячей
 и отливала синевой...
Перед электропередачей
 забресжил просек лучевой...

Тогда ажурные опоры
 в тот коридор вошли гуськом,
на гроздьях сизого фарфора
 провисли фазы пояском...

Держа остывшие секиры,
 у разгулявшихся костров
сидели группами башкиры
 на совещаньях мастеров.

Веками люди с петухами
 ложились в рубленых домах,
и надо говорить стихами
 о солнце, блещущем впотьмах:

Не над резьбой глухого бора
 оно в урочный всходит час,
оно само без разговора
 повсюду слушается нас!

В треухах, стеганках зеленых
 пошли башкиры на восток,
и расступился лес на склонах,
 чтобы, как солнце, хлынул ток.

Сергей Михалков



ТРИ ПОРТРЕТА

(Восточная басня)

Был однорук и одноглаз
Великий хан Ахмет.
Трем живописцам как-то раз
Он заказал портрет.

«Иметь портрет угодно мне,—
Всем трем он заявил,—
Где б я в бою и на коне
Написан вами был!»

Трубят рога. На грозный суд
Того, кто всех сильней,
Два первых мастера несут
Работу многих дней.

Перед портретом хан встает,
Разгневан, возмущен:
Нет! Он себя не узнает!
Нет! На коне не он!

«Я одноглаз и однорук!
А этот хан сидит —
Двумя руками держит лук.
Во все глаза глядит!

Кто исказить меня посмел,
Пускай дает ответ!..
Гнать лакировщика велел
Сердитый хан Ахмет.

Своим вторым портретом хан
Не меньше оскорблен:
«Я узнаю коварный план! —
Затрясся в гневе он.—

На радость всем врагам вокруг
Ты подчеркнул, смутьян,
Что одноглаз и однорук
Твой повелитель — хан!»

Так портретист-натуралист
Погиб во цвете лет...
Его собрат, дрожа, как лист,
Несет еще портрет.

Поскольку хан изображен
Верхом и не анфас,
Неясно, однорук ли он
И есть ли правый глаз?

Видна здоровая рука,
Что крепко держит щит,
И левый глаз, что цел пока,
Как у орла глядит!

Ловкач художник стал богат,
Ходил в больших чинах.
И умер, люди говорят,
При многих орденах...

Средь живописцев я не раз
Встречал таких ребят,—
Они не пишут жизнь анфас,
Все в профиль норовят...

Борис Ямпольский



РАССКАЗЫ О ЗВЕРЯХ И ПТИЦАХ

ИНДЮК

Неизвестно отчего, ему вдруг приходит в голову: «Индюк я или не индюк?»

И тогда он отходит в сторону и начинает медленно надуваться, словно кто-то накачивает его насосом. С треском поднимаются перья, и веером разворачивается хвост, индюк урчит, сам себя раззадоривая и взвинчивая.

Наконец, он готов! Огромный, чуть не лопающийся от важности и спеси, он поворачивается к цесаркам и индейкам, и из раздувшегося зоба доносится: «Талбы-балды, бурды-бурды!»

Белые индейки, привыкшие к нему, устало поворачивают головы: «Опять старое завел!» — и, как глухие, уже больше не обращают на него внимания. А цесарки с красными сережками, в простых сереньких платьях испуганно взлетают на жердь и, дрожа сережками, оттуда глядят на него: «Ты толком скажи!»

— Талды-балды, бурды-бурды! — Он идет к ним медленно, осторожно, как будто бы ему самому тяжело вынести всю свою раздутую важность, как будто бы боится ее расплескать, и строго глядит на них: «Дал я вам указание или нет?»

Гнев душит его, и теперь уже слышится только сердитое бульканье: «Тбр-тбр-тбр...»

Но по всему его виду, по надутой апоплексической шее, по бесстыдно поднятому хвосту ясно, что наплевать ему, понимают его или нет, лишь бы у него самого было ощущение, что он что-то говорит, а те должны понять, а если нет, так тем хуже для них.

Но вот приходит служитель и насыпает в кормушки хлебный мякиш. И индюк вдруг преобразается: хвост с треском опускается, перья укладываются, точно приглаженные утюгом, багровый нос исчезает, он подходит к кормушке и спокойно начинает клевать.

И тогда все видят, что индюк — обыкновенная птица.

У КЛЕТКИ

Лиса рыщет по клетке, тычется в прутья, ищет лазейку. У клетки стоит женщина и с ней девочка в зеленом капюшончике.

— Леночка, вот ты говорила: лисичка-сестричка. Вот она лисичка, вот она живая.

— Лисичка-сестричка, лисичка-сестричка! А как она съела колобок? Рот открыла и съела колобок?

Подходит старушка:

— Вот Лиса-то Патрикеевна!

Появляется военный с девушкой:

— Валя, хвостик хорош!

Гражданин в белом картузе грызет яблоко:

— Кур ворует!

— Витя, ты видел? — кричит один мальчик другому.

Витя тычет в клетку «эскимо» на палочке. Лиса останавливает свой бег, облизывает мороженое. Витя:

— Кашлять будешь!

Лиса снова начинает кружиться по клетке, не обращая внимания на лица, на восклицания.

— Бегаёт! Бегаёт! — слышится вокруг.

— Она очень быстро бегаёт, проклятая, — говорит гражданин с яблоком.

— Без конца, бедная, бегаёт, — откликается старушка.

— Дает, дает! — говорит Витя.

А лиса на все в ответ — просунет между прутьев свою мордочку и смотрит: «Выйти, выйти мне нужно обязательно!..»

ЛЕБЕДЬ

— Гуси-лебеди! Гуси-лебеди!

Вот один из лебедей с желтой переносицей отделился от стаи, вышел из воды, отряхнулся и, сразу утратив лебединую статью, по-утиному переваливаясь, направился к железной решетке и что-то быстро и горячо заговорил.

Подошел маленький мальчик с большим бубликом. Лебедь тотчас же, изогнув шею, просунул сквозь решетку клюв: «Дай бублика!»

Мальчик кинул ему кусочек. Лебедь схватил бублик в клюв, понес его к пруду, смочил в воде и, запрокинув голову, проглотил, потом пробулькал глотку водой: «Хорошо!» И снова вернулся к ограде.

Девочка протянула ему яблоко. Лебедь стукнул клювом о яблоко и отвернулся: «Не надо!»

— Попробовал, не хочет. Он яблока не хочет! Видишь! — заговорили вокруг.

Лебедь стоял с униженно вытянутой шеей, все время выставляя в решетку клюв. И люди, проходя, не узнавали лебеда.

Вот какой-то мальчик сунул булочку и, когда лебедь потянулся к ней, подставил вместо булочки сандалию:

— Ну, чего хочешь?

Лебедь зашептал, как бы стараясь объяснить свое поведение.

— Нечего, нечего попрошайничать! — ответил мальчик.

Лебедь гордо поднял на длинной шее маленькую головку: «Не очень я интересуюсь твоей булочкой. Дашь — хорошо, не дашь — не надо, а я просто наблюдаю из своего лебединого интереса».

Дети закричали:

— Иди, пльви!

— Дурашок, иди, искупайся!

— Иди, лебедь!

Обрызганный грязью, в полинявших, выцветших сапожках, лебедь, ковыляя, пошел прочь, не оглядываясь.

И когда с приподнятыми над водой крыльями он поплыл, вдруг исчезло униженное выражение, — теперь он был как сон, как волшебная сказка, которую уже не помнишь — рассказывали ли тебе, читал ли, или сам видел ее. И люди, проходя мимо, говорили:

— Смотри, лебедь плывет! Белый лебедь!

ДИКООБРАЗ

Клетка дикообраза все время пуста. Люди проходят и говорят:

— Он в норе сидит.

— Любит в норе сидеть.

Но вдруг из норы показалась короткая тупая морда и шумно понюхала воздух; что-то ей не понравилось, и она исчезла. Через некоторое время опять появилась морда; на этот раз понравилось, и, шурясь от света, вылез уединенно живущий дикообраз. Неверными шагами сидящего все время в норе, медленно и неуклюже, как бы ощупывая, есть ли еще под лапами земля, двигался он по клетке.

Но при первом же крике: «Дикообраз!» — он остановился и с треском поднял все иглы: «Видишь, как мне вредно волноваться!» И, гремя седыми иглами, он убежал в нору.

Так он все время сидит в темной норе и бережет свое сердце.

Для чего?

ВЕРБЛЮД

Двугорбый, с кочьями зимней, торчащей, свалывшейся шерсти, высоко подняв голову, стоит он посредине загона на слегка вогнутых, привыкших к песчаным барханам, длинных и тощих ногах, полупрезрительно оттопырив губу и устремив куда-то мечтательный взор.

— Во какой большой! Видишь горбы?

— А зачем ему горбы?

— Вот садись и поедешь куда хочешь.

А верблюд не слышит, все глядит вперед, и морда у него, словно знает он то, чего никто, кроме него, не знает.

— Соль любит.

Он и на это молчит, только губу еще больше оттопырил и смотрит вдаль.

— Такого накорми!

— Несколько лет его не корми — у него хватит.

И тут уж мне показалось, верблюд не выдержал и печально улыбнулся.

— Верблюжина! Верблюжина! — позвала маленькая девочка, протягивая булку.

Он идет на зов величавым, легким, плавным шагом, мягко покачиваясь, как во время путешествия по пескам, презрительно оттопырив губу: «Глупышка, что можешь ты мне предложить вместо сладких колючек пустыни?»

Девочка осторожно протянула верблюду булку. Он схватил ее мягкими губами, сжевал и покрутил головой: «Ничего, не так плохо, как я думал!»

Толпа расходится, и снова верблюд остается один, величавый, спокойный, устремив куда-то вдаль мечтательный взор, не зная еще, что скоро конец пустыням.

МАКАКИ

В клетке живет семья обезьян: седой, как одуванчик, макак-резус, краснолицая, с рыжими бакенбардами макака и сынок их — глазастый макакенек с пробором на голове.

Сам макак все время лежит на широкой трубе парового отопления и дремлет. Лишь изредка он соскальзывает со своей

лежанки, садится и, очумелый от сна, долго и протяжно зевает.

Макака садится рядом: «Можно?»

Быстрым движением правой руки она вздыбливает седую шерсть, а левой ласково перебирает шерстинки.

Макак подымает равнодушно сонную морду: «Что с ней поделаешь — любит!»

Макака запускает руку в затылок. Макак покорно сгибает шею: «Поухаживай, поухаживай!»

У макакенка ни минуты спокойствия. То он пытается раскатать доску и превратить ее в качели, то сядет в жестяную ванночку и делает вид, что купается, то с размаха вскочит верхом на торчащую из клетки проволоку: «Алюр, три креста!» Вот он начал бегать по сетке вверх и вниз с такой быстротой, что макака не успевала поворачивать голову, и вдруг повис вниз головой и выгнулся полумесяцем: «Смотри, мама!»

Загремел засов, в клетку вошла женщина с кастрюлей.

С макака мигом слетела сонная одурь. Он первый прыгнул с верхней полки, коренастый, сильный, пошел пружинистой, солидной мужской походкой, схватил большой кусок и, уединившись с рисовым пудингом, повернулся спиной к семейству.

Макака лизнула картошину, раздавила ее лапой, полизала, бросила, взяла морковь: откусит и выплюнет, откусит и выплюнет, и, когда все вокруг было разбросано, расплевано, раздавлено, села: «Ну, теперь есть обстановка для обеда!» — и стала вытянутым в ниточку обезьяним ртом мерно жевать, будто на машинке строчит.

А макакенок схватил луковицу, осмотрел ее со всех сторон: «Откуда начинать?» — и быстро, как взрослый, стал разбрасывать вокруг шелуху. Наконец, кусочек сунул в рот и скривился: «Ой, горько!» Кинул луковицу, вскочил на сетку: «Антре!» — и перекувыркнулся.

Загремел засов, и в клетку кинули дольку апельсина. Макакенок тотчас же потянулся к ней. Макак ударил его по руке: «Иди погуляй!» Макакенок прижал руку к груди: «Дай кусочек, жалко тебе!» Но макак уже сам лизал апельсин, и макакенок побежал вверх по сетке, сделал несколько стоек, повис вниз головой, как бы разгоняя тоску, и вернулся назад.

Старый узконосый макак без усталости лизал и лизал в свое удовольствие апельсин.

Макакенок протянул руку: «Ну дай уж корочку!»

Макак отвел руку с апельсиновой коркой за спину.

Макакенок схватил себя за волосы, за уши: «Ой, ой, не дает!» А потом сел перед макаком, умильно глядя ему в глаза: «Дай, дай!» Открыл рот, стал пихать в него лапу: «Видишь, я правильно буду кушать, не бойся!»

— Дай, дай! — крикнул один мальчик и так стукнул по сетке, что она зазвенела.

Макак вскочил, макака длинной рукой схватила в охапку макакенка, и одним прыжком они все трое оказались под потолком, сердито глядя вниз: «Не суйся не в свое дело! Макаки сами разберутся!»

ЯК

Старый, с могучим горбом як, обросший длинной, косматой, висящей до самой земли шерстью, массивный, точно грузовик, долго стоял у изгороди, по-бычьи нагнув маленькую курчавую голову с сильными рогами, ожидая, что его позовут на работу.

Но вокруг было тихо и спокойно. Мягко падал снег.

Як лег на землю и тяжело задышал.

Сколько неизрасходованных сил в его обросшем шерстью могучем хребте, в бычьей шее, рогах и копытах, а он вот лежит без дела и дремлет. И от его горячего рабочего дыхания вокруг растаял снег.

ПОПУГАЙЧИКИ

На улице темень, февральская метель, а тут — яркий свет, птичий свист и щебетание весеннего леса.

Волнистые попугайчики не спят. Ведь там, у них на родине, в Австралии — лето и теперь еще светло, солнце. И вот им и тут, в Москве, продлили день, и большие электрические лампы светят во всю силу австралийского солнца.

У каждого попугайчика свой маленький домик под номером. Вот № 15, вот № 16, в ряд несколько улиц, целый попугайный городок.

Но что это такое? Никто не сидит дома. Все население со свистом и шелканием летает под потолком, сверкают зеленые, желтые, голубые, синие, розовые перья, и, кажется, в воздухе протянуты звонкие струны.

Что у них тут — бал, свадьба, карнавал?

Они свистят, смеются, поют и, сидя на жердочках, целуются, весь город целуется, на крылечках, в окнах, на крышах...

Один только красный попугай ара с большой головой мудреца, угрюмый, сидит на жерди и время от времени скрипуче, картаво кричит:

— А-а! Не тратьте жизнь на веселье!

Но кто его послушает?

СЛОНЫ

Похожий на гору, старый, морщинистый слон с огромными бивнями стоит неподвижно, тяжело опустив хобот к земле, и весь его вид говорит: «Когда-то мы держали на себе земной шар, а теперь отдыхаем». Лишь изредка он вытянет хобот, наберет воды и окатит себя и снова стоит неподвижно в тяжелой думе.

Слониха издали почтительно смотрит на слона и одновременно строго поглядывает на слоненка, пытающегося закинуть на спину маленький хоботок.

Вот слоненок подошел к ней, что-то тихо сказал, наверное: «Мухи кусают!», потому что слониха тотчас же набрала хоботом песок и как дунет на слоненка! Тот от удовольствия зажмурился: «Ух!»

Слониха легонько подтолкнула его: «Пойди к папе!» Слоненок подошел к слону и осторожно потерся об его хобот: «Я тебе не мешаю думать?»

Подошла и слониха: «Опять тебе шельмец надоедает!»

Она вытянула хобот и, взяв охапку сена, свернула, как повар на кухне свертывает налистники, но только хотела съесть, слоненок ловко, на лету, зацепил своим хоботком и сунул себе в рот, и сквозь маленькие бивни улыбнулся: «Вкусно!»

Слон угрюмо посмотрел на него: «Сказал бы хоть спасибо!»

И вот оба они стоят над слоненком и, не жалея времени и терпения, что-то по-своему, по-слоновьи, по-молчаливому, долго и томительно вдалбливают ему в назидание, объясняя непонятное про темные джунгли.

Слоненок слушает, опустив хоботок, выражая этим высшую степень внимания и послушания.

Иногда он для приличия кивает головой: «Понимаю, понимаю», но на самом деле ему кажется, что все это сны старой матери и нет никаких джунглей. Какие уж там джунгли, лианы...

Хобот слоненка начинает от скуки постепенно раскачиваться, и слон вдруг шлепает его: «Не раскачивай хоботком, это неприлично!»

— Хочешь что-нибудь сказать,— успокоительно кладет свой хобот слониха на спину слоненка,— скажи прилично, молчаливо, как это делают слоны на всем свете.

С улицы доносятся гудки автомобилей и звонки трамваев, и вдруг слоненок поднимает хобот, морда у него лукавая, и кажется, он спросил: «А на каком трамвае едут в джунгли?»

Слон-папа и слон-мама смотрят друг на друга и печально-укоризненно качают хоботами: «Вот что значит неправильное воспитание!..»

И вдруг неизвестно отчего, все трое одновременно поворачиваются и, подняв кверху хоботы, медленно и торжественно уходят: «Сеанс окончен».

Толпа расходится.

ФЛАМИНГО

На берегу озера — освещенный зарей фламинго, весь какой-то радостный, светящийся, стоит на одной ноге и с надеждой смотрит прямо в лицо солнцу: «Вот, наконец, сегодня, именно сегодня случится то, чего я жду всю жизнь!»

— Гонг! Гонг! — говорит он сам себе и, взмахнув алыми, словно охваченными огнем крыльями, на длинных розовых ногах бежит по воде и, разбежавшись, как с аэродрома, взмывает в воздух.

И в ясное солнечное утро, когда так далеко все видно, стремительный полет этой птицы как бы говорит: «Не ждите, летите сами навстречу счастью!»

СОСЕДИ

Рядом живут орлы-беркуты и лесные филины.

Филины, забившись в самый угол, сидят неподвижно, нахохлившись, прикрыв глаза и нагнув голову набок, точно усталые мудрецы, погруженные в разрешение неразрешимых загадок мира.

Изредка, когда в соседней клетке кричат орлы, один из филинов приподымает веко, открывая равнодушно-желтый, невидящий глаз: «Суета-сует!» — и снова безнадежно опускает голову.

А старые гордые беркуты, сохранив орлиную осанку воли, сидят на голом суку и, глядя в небо, все время к чему-то прислушиваются и, когда гудит самолет, смотрят друг на друга, поблескивая глазами: «Слышишь? Узнаешь?»

ЧАЙКА-ХОХОТУНЯ

Все время слышится хриплый хохот серебристой чайки.

Замычит в углу пеликан — объелся или рассердился, и она:

— Ха-ха-ха!

Вот черный лебедь флейтой поднял над водой свою шею и подал печальную ноту, а она откликнулась:

— Ха-ха-ха!

Вот два аиста, взглянув друг другу в глаза и прижав к груди длинные клювы свои, защелкали: «Так-так-так-так!» — она и над ними:

— Ха-ха-ха!

И каждый раз, отсмеявшись, она стоит над водой, грустная-грустная, как бы раздумывая: «Отчего же не доставляет мне радости этот смех?»

ВЕЧЕР

Заходит солнце. Высоко на вершине «турьей горки» стоят кружком розовые в свете заката туры и, низко склонив головы и упираясь друг в друга рогами, совещаются о чем-то в связи с наступлением вечера.

Вокруг в домах зажигаются огни, слышнее в сумерках гудки автомобилей, звон трамваев. Но вдруг откуда-то из глубины парка, словно из дебрей джунглей, раздается громкое, хриплое, грубое рычание льва. На мгновение устанавливается тишина. Все прислушиваются: не скажет ли еще что-нибудь царь зверей? А потом в ответ начинается «вечерняя переключка».

— Ту-ут! — трубят слоны.

— Мы-ы! — режут бегемоты.

— Я-я-я! — плачет шакал.

Несколько минут длится сплошной рев, лай, мяуканье, заглушая шум города, гудки машин и звон трамваев, и словно вы в джунглях, и странным кажется, что вокруг горят огни домов. Но вот рев все тише и глуше, и, наконец, полная тишина сливается с наступающей тьмой.

Лебеди тихо отплывают от берегов и, собравшись в стаю, прячут голову под крыло, и только патрульные, изогнув красивые шеи, медленно плывут вокруг сказочной стаи, прислушиваясь к шорохам наступающей ночи.

Выходит луна, освещая деревья, унизанные фазанами, точно золотыми и серебряными необычайной величины плодами. Спят крокодилы. Спят олени, зебры и голубые антилопы.

ВОЛК

Серый, поджарый, на легких, быстрых ногах, он одиноко бежит по загону «Острова зверей», приюхиваясь к камням, к снегу, к воздуху, добежит до каменной стены и повернет обратно, и так все время — туда и назад.

— Волк! Волк! Серый волк!

Он остановился и смотрит: «Знаю, что волк. Что толку?» —
И снова с языком на боку продолжает свой бег.

— Ему бы сейчас овечку подпустить!

Он опять остановился и смотрит: «Откуда знаете?»

— Здоров черт! — говорят в толпе.

— У-у, злой какой!

Волк несколько мгновений смотрит на людей, садится и бессильно лязгает зубами.

Падает снег. Волк, застыв на одном месте, подняв к небу длинную, темную, острую морду, воеет, точно спрашивает у снега, у ветра: «Неужели я последний волк на земле?»

Прилетает эхо, ему кажется, что это — ответ, и в начинающейся метели он долго тоскливо перекликается со своим эхом.

ЧЕРЕПАХА

Она выставила из-под панцыря узкую, сплюснутую с боков голову и глянула старыми, умудренными опытом глазами.

И только после этого она выпустила короткие мускулистые лапы с желтоватыми ногтями и, тяжело оседая под панцырем, переставляя одну лапу за другой, покачиваясь, пошла по желтому песку к ярко горящей лампе. Ей было холодно. Ей хотелось погреться. Вот она на полпути остановилась и, расставив лапы, опустила голову: «Уф, устала!»

И снова, тяжело переставляя лапы, на каждом шагу кивая головой, оседая под панцырем, двинулась вперед, и выпученные глаза ее глядели сурово: «Будь проклята опасность, родившая панцырь!»

ФАЗАН

Яркий февральский солнечный день. Сверкает снег, пахнет весной.

И фазан, который все пасмурные дни ходил молчаливо и хмуро, опустив в землю голову, весь преобразается. Он выпячивает яркую грудь свою, гордо поднимает зачесанную ветром золотистую шевелюру, пыжится, подгибает вооруженную шпорой ногу и выбрасывает ее вперед почти прусским шагом, и, все время бормоча: «Я! Я! Я!» — оглядывается: все ли видят его, приковано ли к нему внимание фазаньего мира?

Но никто его не замечает. Какая-нибудь серая курочка покосится на него: «Вот чудак, до весны еще далеко!»

Но солнце светит все ярче и теплее, фазан не выдерживает, переходит с прусского шага на шажки и, как на каблучках, выбегает на середину бульвара и франтиком подлетает

к серой курочке. Вот он забежал слева и поднял капюшончик: «Хорош?» Вот забежал справа и опять поднял капюшончик: «Красив?»

И так он бегаёт по всему бульвару, но все на него смотрят с изумлением и отворачиваются. Тогда, наконец, он выпускает крик отчаяния и с шумом и треском взлетает под самый потолок.

И теперь, в вышине, с распростертыми крыльями, весь огненный, с длинным золотистым, узорчатым хвостом, в котором ярко горят красные перья, он похож на жар-птицу, и все ахают от удивления: как это они его не разглядели?

Но вот он опускается на землю, и все повторяется сначала.

СОЙКА

В вольере у фазанов на дереве сидит сойка.

Фазаны, они ведь франты, у них главное, чтобы хохолок был зачесан, шпоры в порядке, мундир начищен, и весь день они бегают по бульвару, а когда вспомнят о просе, его ужнет: все выклевали воробьи. Воробьи в грубых серых жилетах, они не занимаются внешностью. Они клюют.

И вот для того, чтобы у фазанов от голода не побледнели золотые и оранжевые перья, в вольеру пустили сойку.

Сойка, как только явилась, показала всем свои голубые лампасы и сделала строгие глаза: «Мы сейчас!»

Потом с диким хриплым криком: «Ра-ра-ра!» — скикировала на воробьев, разогнала их и одного даже заклевала, унесла на дерево и оставила от него одни перышки. И так она съела много воробьев.

Но вот однажды какой-то воробей, не здешний, а чужой, который только что прибыл из деревни и ничего не знал, залетел в вольеру. Он сел на веточку, чтобы оглядеться, узнать расположение кормушек, ходы и выходы и все, что полагается знать злодею.

И вдруг он рядом на веточке увидел голубые лампасы и от ужаса весь стал похож на ежика.

Но сойка молчала.

Воробей успокоился, он сделал вид, что залетел сюда просто так, без нужды, ради удовольствия, и для подтверждения даже повертел хвостиком и сказал легкомысленное: «Пи-пи».

Сойка строго смотрела по сторонам и продолжала молчать, не обращая на него никакого внимания.

Тогда воробей осмелел, слетел на землю, сделал вид, что клюнул зернышко, и взглянул на часового.

Но сойка не пошевелила ни одним пером. Она продолжала строго смотреть куда-то вдаль.

С тех пор в вольере свободно летают воробьи тучами. Кто-нибудь заметит вдруг голубые лампы: «Внимание! Сойка!»

Все замрут, сольются с пылью и не дышат. Но сойка не двигается. Тогда они оживают и начинают клевать и даже шумно драться из-за крупного зернышка.

А сойка сидит на посту и молчит. Она ожирела, и тяжело ей стало летать, и лень кричать, и все тянет ко сну.

И вот как будто бы все осталось по-старому: и голубые лампы, и напряженно стерегущая поза, и строгий, всевидящий глаз, и изредка даже предостерегающий крик: «Эй! Эй!» — а воробьи клюют и клюют.

Вот и вся история.

АРА

Зимой в десять часов в попугайнике тушат свет, и словно вместе со светом выключили жизнь: на полуночи обрывается пение, свист и щебетание волнистых попугайчиков, и в наступившей тишине слышен только шелест крыльев и легкий, нежный пересвист: «А-дью!»

Попугай Ара, ошеломленный внезапной темнотой, в первое мгновение молчит, а потом орет: «Непр-авильно!»

Видя, что протест ни к чему не приводит, он еще отчаяннее орет: «Гр-рабят! Гр-рабят!» — словно выдирают у него во тьме самые ценные оранжевые перья. Но и это не помогает, и уже тише, полусонно, про себя, он ворчит: «Чер-рт! Чер-рт!»

КРАСАВИЦА И МАЛЫШ

Шимпанзе Красавица и шимпанзе Малыш получили каждый по белой тряпочке величиной в носовой платок.

Красавица тотчас же накинула ее на голову, как платок, и стала похожа на серого волка из «Красной шапочки», потом она опустила его на плечи, как косынку, потом примерила, как передник, и стала похожа на повариху, потом расстелила простыней и легла, словно больная, потом накрылась, как одеялом, будто ей холодно, и еще долго после этого складывала и развертывала тряпочку, любовалась ею и разглядывала: «Боже, всю жизнь отдала бы за эту тряпочку!»

А Малыш посмотрел на тряпочку, разорвал на мелкие кусочки и разбросал по всей клетке. Потом ухватился одной рукой за трапезию и стал раскачиваться: «Тра-ра-ра! Тра-ра-ра!»

ПТИЦА-СЕКРЕТАРЬ

Длинноногая африканская птица в обгрызанных у колен узких брючках, в сером, с острыми фалдочками, сюртучке и вздыбленным пучком длинных перьев на затылке — точь-в-точь перья, торчащие за ухом писца. Строго поблескивая глазами, она решительно расхаживает, как по кабинету, на каждом шагу кивая головой, словно говоря: «Так, так. Слушаю. Продолжайте!» Потом вдруг нервно дернет головой: «Дайте же подумать!»

Прошагав так несколько минут, она подходит к сетке, пристально глядя серо-бурыми глазками.

Так и подмывает спросить: «Что, взятку хочешь?»

БУРЫЙ МЕДВЕДЬ

Наступил вечер. Стало тихо. Прошли служители. И бурому медведю, привыкшему к вниманию людей, скучно одному.

Вот он улегся на траву, пытается заснуть, но лезут в голову смутные, косолапые мысли. Он поднялся и подошел к своему собрату — белому медведю. Понюхал, потоптался возле: «Спишь?» Присел возле, чтобы поговорить, но тот смотрит своими круглыми, глупыми глазами и вдруг как рыкнет! У него ведь все на уме льды да снега.

Обиженный Миша ворчит: «Беляк!» Ложится на спину, подымает все четыре лапы и зеваает: «Ох, скучно!»

Он лежит на спине, то раскинет лапы, то вдруг сложит крестом на груди: «А ну, может, так будет легче?»

Потом поднимается и в сумерках начинает бродить из стороны в сторону.

Тоска преследует его по пятам, и когда уже совсем невозможно, он сядет и скулит: «Ма-аша! Ма-аша!»

ГАДЮКИ

Они всегда лежат вместе, в одном клубке, и, кажется, нет на свете лучших друзей — змея большая и змея маленькая.

В клетку пустили лягушонка. В два прыжка он оказался возле змей и выпучил глаза: «Кто вы?»

Из клубка поднялись две головы. Клубок распался.

Большая гадюка отодвинулась в угол, маленькая схватила лягушонка: «Вот кто мы!»

Лягушонок подпрыгнул и замертво протянул лапки. Маленькая гадюка схватила его за голову. Тогда выползла из

угла большая и схватила лягушонка за хвост: «Отдай!» Маленькая потянула в свою сторону: «Не трогай!»

Обе зашипели.

Большая гадюка потянула лягушонка, а с ним и маленькую гадюку в пасть: «Ну, теперь отпустишь?»

Маленькая гадюка, извиваясь, упиралась изо всех сил, все ее напружившееся тело извивалось на песке: «Не пущу!» Она постепенно исчезла в пасти большой гадюки.

Большая гадюка стала толстой и важной: «Теперь я одна на свете!»

ШАКАЛЫ

Рыжие худые собаки с острыми лисьими мордами, вздыбив шерсть, злобно наскакивают друг на друга: «Р-р-р-р!.. Р-р-р-р!..»

Они все время бегают, бегают и не знают, куда деть им свою злость.

Завыл волк,— они остановились и оскалились: «Р-р-р-р!..» Заплакала гиена: «Р-р-р-р!..»

Потом долго стоят и ждут: «С кем бы еще повыть!»

ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО

1. УТРО

Большой пруд, который летом похож был на сказочное лебединое озеро, замерз, и теперь как молчаливое заснеженное поле, и на нем следы валенок.

Но кто же это, переваливаясь, двигается по заснеженному полю?

Это — лебеди. Они сливаются со снегом и кажутся рожденными из снега. Только ярко выделяются красные клювы.

Лебеди направляются к большой темной проруби, над которой в морозное утро поднимается пар.

Белолобые гуси-пискульки, пеганки, малюсенькие чирки, согревающие в проруби голые лапы свои, встречают их криком и теснятся, уступая им место.

Лебеди и в проруби не теряют своей осанки, и если даже не плывут, то в величественных позах сидят на воде, свысока поглядывая на мелочь: «Холодно?»

— Нет, нет, нет! — отвечают одни.

— Как же, как же! — отвечают другие.

— Ладно, не шумите! — Лебеди неподвижно застыли на воде.

Утки, взмахнув крыльями над водой, со свистящим шумом поднимаются в воздух, кружатся над заснеженным прудом и темными машущими платками исчезают вдаль и потом, возбужденные виденным, возвращаются назад. И тогда в проруби поднимается кряканье, гогот. Жирные китайские гуси, которые сами не любят летать, комментируют утиные сообщения, преувеличивая их и делая из этого громкие и, по мнению всех, необоснованные заключения.

Бакланы, в черных мундирах, с длинными строгими носами, молча сидят на хвостах вокруг проруби и время от времени по-полицейски каркают на расшумевшихся уток.

2. ПОЛДЕНЬ

Звякнула калитка, и все смотрят на берег, откуда идут женщины с ведрами.

— Ка-ша! Ка-ша! — кричат утки.

Вороны, которые летом кружились высоко над прудом и кричали: «Дар-р-моеды! Дар-р-моеды!» — теперь прилетают целой оравой: «Кор-рмильцы! Кор-рмильцы!» — и первые устраиваются у кормушек.

Отайки за отайками, бакланы за бакланами, чирки за чирками, толкая друг друга, выходят на лед, распахнув крылья, сушатся и шумно идут на обед. Только лебеди величаво, медленно, молчаливо подплывают к берегу, томно протягивая карминно-красные клювы: «Пожалуй, и мы поедим». И они едят кашу, грациозно вытянув шею.

3. ВЕЧЕР

В пять часов уже темно.

Отайки за отайками, бакланы за бакланами, чирки за чирками уходят на берег и семьями укладываются спать на снегу. Рыжая семья отает, черная — бакланов.

Отдельно, на соломе под низко склонившейся серебряной от инея ивой, как сугробы снега, лежат лебеди.

Одни протянули длинные шеи свои через плечо, за спину и, словно обняв себя, спрятали голову под крыло и крепко спят: утомились или просто сонны.

Другие, высоко подняв над спящими головы, еще только зевают и оглядываются: «Спать, что ли?»

Третьи спокойно, не спеша чистят клювом перья перед сном. Один, наиболее дотошный, уже по нескольку раз перебрал одни и те же перья. Спящий рядом лебедь лениво вытянул из-под крыла голову: «Долго будешь шуметь?»

У самого края, наверно, две подруги, близко соединив вытянутые шеи, шепчут что-то свое, тихое, нежное, лебединое.

А три лебедя еще плавают в проруби, и далеко и гулко раздаются их крики.

Но вот и они вышли из воды на лед, все трое молодцевато распахнули крылья на ледяном ветру и молча направились к лебединым сугробам на берегу.

Тихо. Сверкают звезды зимнего неба.

ЗИМНИЙ МИШКА

Слоны, бегемоты, жирафы — все ушли в свои теплые дома.

Павильоны, где летом жили ящерицы и саламандры, опустели и, засыпанные снегом, стоят, как дачные домики.

Только белые медведи бодро расхаживают по снегу: «Наш сезон!»

Но вот на заснеженной зимней аллее в сопровождении сторожа появляется бурый медвежонок. Его тренируют, как тяжелоатлет:

— Быстрей, быстрей, медвежина! Жир сгоняй!..

Медвежонок косолапо взбирается на сугроб снега, проваливается и с визгом выскакивает весь белый, только под большим недоумевающим бурым лбом удивленно бегают глаза.

— Ох, ты на себя не похож,— смеется сторож.— Беги жиряга!

Он ударяет его хворостиной, и медвежонок вскачь несется по аллее.

Из теплого домика выглянул удивленный лама: «Слушай, тебе ведь полагается быть в берлоге?..»

Удивлены и волки, они смотрят на медвежонка и потом взглядывают друг на друга: «Черт-те знает что, ведь они дрыхнут всю зиму».

Медвежонок запахнул шубу, важно сел и, как на салазках, съехал с горы. Вокруг искрится снег, звенят ледяные сосульки, бегут белые лошади и все деревья украшены, как на праздник. И только ведь подумать: если бы он родился в лесу, то сейчас спал бы в темной берлоге, ничего не видел и не знал и, наверное, во сне сосал бы лапу.

— Мишка, ты чего не сосешь лапу? — спросил подъехавший на коньках мальчик.

Медвежонок насмешливо посмотрел на него: «Устарело, брат!»

ВАРАН

К серому варану, большой полосатой ящерице, пустили крысу.

Варан, лежавший на камне, лениво приподнял змеиную голову: «Может, позавтракать?»

Он выставил лапы, вильнул хвостом и пополз к крысе, но неожиданно на ходу дремотно закрыл веки и заснул вниз головой.

Крыса осторожно подходит к варану, трогает его усиками, толкает мордой и вдруг вонзает резцы в длинный хвост: «А ну-ка, попробуем, каков ты?»

Варан спит каменным сном. Ему, наверное, снится родная пустыня. А крыса грызет и грызет, скоро и хвоста не останется.

Приходит служитель и поднимает тревогу: он хватает варана, трясет его: «Дурак, у тебя хвост съели!»

Варан лениво приподымает веки: «Ну что ты меня будишь по пустякам?» — и снова порывается заснуть. Служитель трясет его изо всех сил. Варан просыпается, глаза у него обиженные: «Разбудил на самом интересном месте!»

Очевидно, надо быть жителем пустыни, чтобы так самозабвенно спать.

О Ч Е Р К И



Ефим Дорош



ДЕРЕВЕНСКИЙ ДНЕВНИК

В предлагаемом читателю дневнике нет и строчки вымысла, и это обстоятельство побудило меня изменить имена людей, о которых идет здесь речь, несколько иначе назвать городок и озеро, на котором он стоит, переименовать расположенные вокруг деревеньки и села. Городок я назвал Райгородом, отчасти потому, что в таких маленьких городах, как это уже было замечено кем-то из наших писателей, каждое учреждение имеет в своем названии слово «рай», отчасти же потому, что такое имя могли ему дать первые славяне, приплывшие сюда около тысячи лет назад из Великого Новгорода и восхитившиеся «райской» прелестью здешних мест. Говорится же в одной из старинных местных рукописей: «Старейшие люди, обходя окрестные страны озера, видеша яко место то зело красно и мнози бяху туловы в дебрех лесных и во озере, обильные пажити, многочисленныя борти и бобровыя гоны, вельми удобно селитися им ту, и начаша жити ту себе». Что же до озера, впадающих в него речек и окрестных деревьев, то в их названиях, чуть измененных, я почти всюду сохранил древний корень, либо славянский, либо восходящий к тем временам, когда здесь жила меря, а в некоторых случаях просто восстановил забытое уже давнее имя.

Остается сказать, что в эти места я впервые приехал четыре года тому назад, от одной из московских газет, где работал в ту пору разъездным корреспондентом. Это была обычная журналистская командировка. Я собрал материал, написал и напечатал очерк, и, быть может, никогда не вернулся бы сюда, как это почти всегда бывает с газетчиком, но некоторое время спустя меня вдруг потянуло на берега тихого озера Каово, в Райгород с его старинным кремлем; в раскинувшийся по склону холма Ужбол, в Любогостицы и Вексу, что стоят по берегам медлительных, богатых рыбой речек, в древние Угожи, принадлежавшие некогда матери одного из гневливейших русских царей, во многие другие селения, каждое из которых куда старше Москвы. С тех пор я бываю здесь по несколько раз в течение года, дольше всего, разумеется, летом, когда под неярким

небом, вокруг зарастающего тростником озера, зеленеют болота и луга, кудрявится вереск, серебрятся овсы, вьются по грядкам широколистные огурцы, торчат из черной земли капуста, и лук, и цикорий, желтеют, уходя к дальним холмам, пшеница с рожью, а на самих холмах, окаймляющих всю эту обширную котловину, стоят, затянутые сизой дымкой, островерхие леса.

То ли полюбилась мне здешняя скромная природа, то ли пришлишь по душе люди, сноровистые, быстрые мыслью работники, чуть ли не тысячу лет возделывающие землю, сказать трудно. Скорее всего, что и то и другое, да еще история этих древнейших на Руси поселений, и богатая событиями современность с ее хозяйственными, бытовыми и культурными проблемами,— скорее всего, что все это вместе взятое делает пребывание здесь интересным, заставляет ежедневно заносить в дневник увиденное и услышанное. Дневник назван мною деревенским, потому что и городок на озере живет деревней и деревне без него никак не прожить.

Добавлю еще, что печатается дневник в отрывках.

АВТОР

✱

Остановка в лесу километрах в ста с небольшим от Москвы. От шоссе в сторону уходит мягкий и пыльный, освещенный солнцем проселок. Мы остановились на поляне под старой дуплистой березой. По ту сторону проселка тянется к небу округлый косогор. За косогором темнеет лес. На склоне косогора круто лежит серое чистое паровое поле. Оно неправильной формы, с закругленными краями и как бы вписано в зеленый склон косогора. Тишина. Летают пестрые бабочки. В небе облака... И все это — середина июля.

✱

На закате мы идем с Андреем Владимировичем в Бель, смотреть бекманию. Бель — это урочище под Ужболом, где еще два года тому назад было болото и росли кусты. Наталья Кузьминична, наша хозяйка, говорит, что когда-то здесь «водило». В 1952 году, об эту же пору, когда я впервые приехал в Ужбол, кусты были только что перепаханы. Я хорошо помню, как лежали здесь большие пласты черной торфяной земли. Из пластов торчали во все стороны запаханные ветки и корни. Земля пружинила под ногами. Как и сейчас, вечерело, лил летний дождик. Когда он перестал, над болотом темной сеткой повисли комары. Несколько позднее Андрей Владимирович написал мне в Москву, что сотрудники опорного мелиоративного пункта, где он вел научную работу, собрали в пойме озера килограммов восемьдесят семян дикорастущей бекмании. Весной 1953 года бекманию посеяли на Бели под покров овса. Овес этот, скошенный только в ноябре, по морозцу, здорово выручил колхоз и колхозников,— он бы пропал, но колхозникам разрешили косить его из двадцати процентов. А мно-

голетняя бекмания осталась расти. И вот сейчас, в июле 1954 года, когда мы вошли в Бель, перед нами простерся ровный и чистый луг, гектара в три. Мощные растения бекмании с длинными колосьями плотно стоят друг подле друга. Чуть колышутся под мелким дождем прямые колосья, образуя зеленый, с розово-желтым оттенком прямоугольник. Бекманию скоро начнут жать на семена. Сожнут только колоски, после чего скосят на сено все растение. Семян будет собрано столько, что ими можно будет засеять двенадцать гектаров луга. А сена соберут по двадцать пять центнеров с каждого гектара. Бекмания еще и тем хороша, что она влаголюбива, осушка земли под нее стоит дешево,— пройти канавокопателем, и все. Это раз в десять дешевле обычной осушки болот.



Пасмурное, но теплое утро. С комиссией Министерства сельского хозяйства мы отправились на старой полуторке в село Усолы.

Комиссия эта должна проверить, можно ли использовать озерный ил — сапропель — в качестве удобрения. Собственно последнее хорошо известно было еще древним египтянам. Да и здешние крестьяне, жители расположенных вокруг озера Каово деревень, исстари вносили ил под овощи. Сколько я знаю со слов Андрея Владимировича, да и по своим двухлетним уже наблюдениям, суть вовсе не в этом.

Важно выяснить другое: какими способами доставлять сапропель на поля,— иначе говоря, разработать технологию этого дела.

Андрей Владимирович считает, что на окружающие озеро земли ил следует намывать. Подобное решение представляется мне весьма остроумным. Дело в том, что на дне озера Каово в течение тысячелетий отложился мощный слой ила. Озеро стало зарастать и почти неспособно уже принять в себя воду семнадцати впадающих в него речек. Низкие берега его по большей части заболочены. Многие тысячи гектаров болот лежат и в других местах приозерной котловины. Чтобы осушить их, чтобы защитить от весенних и осенних паводков все остальные земли, мало построить здесь осушительные каналы, надо еще и понизить уровень воды в озере. Это можно сделать, окружив озеро высокими валами. Но постройка валов и насосных станций, которые станут перекачивать воду из осушительных каналов, обойдется очень дорого. И вот Андрей Владимирович предложил качать землесосом сапропель со дна озера и намывать его на бесплодные, обезображенные кочками и поросшие осокой берега.

Этим, во-первых, спасено будет умирающее озеро, во-вторых, будут подняты его берега и понижен уровень воды, в-третьих же, гиблые кочкарники, если залить их сапропелем и потом посеять травы, превратятся в богатые луга и пастбища. Землесос может гнать сапропель по трубам и на более отдаленные, старопашотные земли. Что же до полей, которые отстоят на большом расстоянии от озера, то туда ил надо будет доставлять машинами, хотя это и дороже.

Можно и не быть специалистом, чтобы оценить всю выгоду и, как я уже сказал, остроумие предложения Андрея Владимировича.

В Усолах, в контора, председатель колхоза, крупный, плечистый, медлительный и вместе с тем суетливый человек, разыскивая в папках какие-то документы, жалуется на агрономов Угожской МТС.

Угожская МТС, рассказывает он, торопясь выполнить план, возила торф для торфоперегонных горшочков с ближайшего ключевого болота, так было быстрее. Но торф оказался засоленным. Колхоз, ничего не подозревая, стал делать горшочки. Рассада в этих горшочках начала гибнуть. Тогда агрономы решили, что торф кислый, и посоветовали поливать горшочки известью. Рассаде стало еще хуже, потому что известь лишь увеличила засоленность. Надо было полить горшочки кислотой, но никто не знал химических свойств торфа.

Правда, в районе есть агрохимлаборатория, но она бездействует. И колхозники работают вслепую, ничего не зная о земле, на которой сеют. Кто-то из присутствующих, кажется Андрей Владимирович, вспомнил, что в лаборатории был отличный работник, энтузиаст своего дела, но он недавно умер. Помянули его несколькими добрыми словами и стали ругать нового агрохимика, который то ли не знает дела, то ли не любит его, то ли не может доказать начальству всей важности агрохимии,— этого работника, как еще часто бывает, используют для всякого рода «оперативных» заданий.

Меж тем полил дождь. Идти в поле смотреть, как повлиял сапропель на растения, нельзя было. Разумнее всего было вернуться в Райгород. Однако председатель министерской комиссии, охваченный жаждой деятельности, сел сам и посадил всю комиссию за изучение годовых отчетов колхоза. Бог ведает, зачем это ему понадобилось. Скорее всего, чтобы показать, что он «горит» на работе. Председатель этот, я думаю, принадлежит к типу самоотверженных дураков.

Мы с Андреем Владимировичем вернулись в Ужбол, а после обеда, когда дождь перестал, снова поехали в Усолы, где застали измученную своим председателем, голодную и злую комиссию.

Покамест комиссия бродит по полям, я думаю об одной, бросающейся в глаза особенности здешнего колхоза. Все приусадебные участки здесь сплошь засажены луком. Ни деревья, ни кустика, ничего, что хоть сколько-нибудь напоминало бы все, что связано со словом «усадьба». Да это и не усадьбы, так как многие участки находятся в поле. Это — товарные, промышленные плантации. Пожалуй, если соединить их вместе, то общая площадь окажется больше, нежели площадь, занятая луком в колхозе. А урожайность и подавно больше, потому что на усадьбах агротехника лука выше: его и поливают, и пропалывают в срок, и удобряют лучше; хотя лето нынче засушливое, лук на усадьбах зеленый, чистый. А в колхозе лук беднее, перо уже начало желтеть, да и зарос он изрядно сорняками.

Выходит, не усадьбы при колхозе, а колхоз при этих усадьбах, поскольку они дают больше продукции. Меж тем колхоз этот — не из последних. Председатель колхоза — агроном. Трудоспособных здесь больше, чем где-либо, со всеми работами справляются в срок, урожайность, хотя и низкая, но удовлетворительная, не катастрофическая. И строительством занимаются и с государством расплачиваются. Мало того, колхоз числится миллионером.

Едва ли Усольский колхоз вызывает у кого-либо серьезную тревогу. А мне как-то не по себе стало, когда я увидел эти усадьбы-плантации и эти плохо обработанные, засоренные колхозные поля.

Надо понять, наконец, что выполняемые в срок работы и государственные поставки, даже миллионный доход,— только лишь одна, внешняя, удобная для начальства сторона дела. Главное же в том, чтобы каждый гектар земли, каждое продуктивное животное давали бы как можно больше продукции. Именно на это, а не на «добронравие» председателя следует глядеть районным и областным руководителям. Если разделить Усольский миллион на гектары колхозной земли да сравнить с миллионами, которые дают усадьбы, то выйдет, что плохо хозяйствует председатель, хотя и не огорчает начальство.

К вечеру выглянуло солнце. Черной от грязи улицей, увязая по ступицу, едет телега, нагруженная мешками с огурцами. Телегу подталкивает многочисленная, дружная, видать, семья,— хозяин с хозяйкой и дети. Огурцы они везут к шоссе, там выгрузят их, будут долго ждать машину, проголосуют и, как объяснил нам хозяин, повезут под Москву. Не в Москву, а именно — под Москву, где по сравнению с Москвой, куда отовсюду привозят продукты, цены выше.

Возвращаемся в Райгород, высаживаем комиссию и едем в Ужбол.

Смеркается. На скошенных лугах под Ужболом, на зеленой отаве, стоят освещенные садящимся солнцем стога сена. Они стоят как-то покойно, основательно, и на душе делается спокойно. Хорошо, когда в лугах стоят стога, когда сено убрано до дождей. Какая-то домовитость в этом, ощущение основательности, порядка.

✱

Трудно работает здешняя крестьянка, куда труднее, чем мужчина. Я уже не говорю о том, что после войны мужчин в деревне мало, что большинство из них ходит в начальниках. Почти все мужские работы механизированы: пахота, сев, сенокос, уборка. А вот женские,— на том же сенокосе, где мужчины косят косилками, а женщины ворошат сено граблями и навивают стога вилами, в животноводстве, в овощеводстве, всякие подсобные работы,— механизированы в очень незначительной степени. Да еще и на своем огороде надо женщине поработать, и за скотиной ходить, и обед готовить, и обстирать, обшить всю семью. Вот и глядит она к сорока годам старухой.

✱

Сегодня воскресенье, комиссия отдыхает, и мы с Андреем Владимировичем пошли пешком в Жаворонки, маленькую деревеньку, отстоящую от Ужбола километрах в четырех. Деревенька эта входит в тот же колхоз. Мы идем мягкой полевой дорогой. Внизу — обширная котловина озера. Вправо, к Рыбному, озеро почти сплошь покрыто тростником. В высоком и светлом небе, за озером, едва проступает исполнинская колокольня

Рыбного. По всей котловине, по обеим сторонам озера, то там, то сям виднеются деревеньки с садами, колокольнями церквей... Вокруг, сколько видит глаз, поля, поля. Внизу они теряются среди болот и лугов, а здесь, наверху, заняли собою все косогоры, уходящие в разные стороны. Серозеленый овес, желто-зеленая пшеница, темнозеленые прямоугольники картофеля в белых цветах, белесая, почти поспевшая рожь... Солнце, небо в облаках. Длинные скирды клевера среди распаханного черного клеверища.

На дальнем косогоре, рядом с лесом, видна деревенька.

Мы идем к ней по холмистым полям, через овраги. Дорога затравлена. Она становится все зеленее, потом исчезает в траве.

И потому, что в Жаворонки не ведет ни дорога, ни даже тропинка, деревенька возникает как бы сама собой. В Жаворонках, рассказывали мне, было одиннадцать дворов, а сейчас — три. Все три дома окружены садами, но много садов — выморочных — разбросано вокруг, там, где еще сравнительно недавно, лет шесть назад, были дома.

Мы заходим к Антону Ивановичу Чашникову, одному из бывших председателей Ужбольского колхоза. Он сидит возле избы, за врытым в землю столом, с женой, дочкой и двоюродным братом, — кончают обедать. Все его дети разъехались кто куда, с родителями осталась только меньшая дочь, студентка сельскохозяйственного техникума. Антон Иванович — высокий, бритый, но с пышными усами старик. Жена его — коренастая, полная, добрая, должно быть, женщина.

У Антона Ивановича большой, густой, какой-то диковатый сад: сливы, вишни, яблони, смородина... Есть несколько ульев. С первого взгляда видно, что живет он спокойно, в достатке. Но видно и другое: он отстранился от активной работы в колхозе, то ли потому, что устал, то ли обижен тем, что не выбрали его председателем. Вернее всего, что и председателем ему не хочется быть, — хлопотно, ответственность большая, — и живет в нем некая ревность к новому председателю, Николаю Леонидовичу Ликину.

На вопрос Андрея Владимировича, как ему нравится новый председатель, Антон Иванович с явной неохотой отвечает, что ничего, мол, голько плохо, что ужбольским мирволит. И приводит случай, — это было, говорит он, сегодня, — когда ужбольские мужики подкашивали на корм скоту семенную тимофеевку. Кстати сказать, когда несколько позднее приехал сюда Николай Леонидович, то выяснилось, что тимофеевка эта вовсе не семенная. Рассказывает Антон Иванович и о том, что весной его назначили фуражиром, но корм уже растаскали, — те же ужбольские брали без меры, — и пришлось ему отказаться от этого дела. Замечает он еще, как бы между прочим, что новый председатель молод, неопытен, поспинал сгоряча всех бригадиров, а теперь иных из них снова назначил. Обо всем этом он говорит как-то уклончиво, не то сожалея, что председатель ошибается по молодости своей, не то осуждая его. И все это представляется мне обычной борьбой так называемых деревенских партий, в которой Антон Иванович, коммунист и опытный хозяин, участвует такими вот разговорами исподтишка и тем, что записался в старики, хотя еще крепок.

Жена Антона Ивановича приглашает нас в избу, потчует чаем с соевым медом и вареньем из вишни и красной смородины, сваренным на меду. Изба у них большая, но вся покосившаяся. На подоконниках много цветов, на стенах — ружья. Не знаю почему, но мне представляется, будто я в гостях у лесника. Антон Иванович рассказывает, что, отделившись от отца лет двадцать пять назад, он вскоре же погорел и купил эту избу в «леснине», — так называют здесь протянувшуюся на северо-запад лесную сторону. С плотниками в те времена было трудно, и когда ему уже поставили дом, он обнаружил, что дом садится на один из углов. Он стал говорить об этом плотникам, те кое-как подбили угол, и ему пришлось с этим согласиться, так как деньги он все отдал, да и других плотников не найти было. Теперь, заключает Антон Иванович, о доме он уже не думает, — стар стал.

Место здесь дивное, Антон Иванович человек умный, бывалый, гостеприимный, однако не нравится мне у него, как-то грустно и тяжело на душе. Не нравится эта о трех дворах деревенька, куда не ведет ни одна дорога, деревенька, которая скоро исчезнет с лица земли, — старики ведь умрут, а кто же из молодежи захочет жить этой хуторской жизнью. Больно глядеть на выморочные сады, принадлежащие сейчас колхозу. Председатель не знает, что с ними делать: таких садов по всем деревням у него много и держать в каждом сторожа, понятно, невыгодно, вот и пропадает большая часть урожая, да и сады дичают. Не нравится мне и наше мирное воскресное чаепитие в середине июля, в разгар сенокоса, скорее уместное у лесника, нежели у представителя колхозного актива, у коммуниста. Очень уж все тут сонно, исполнено умиротворения, как в лесу или на пасеке, не чувствуешь нашего быстрого времени, не видишь его живых примет.

В Ужбол мы возвращаемся другой дорогой, идем мимо строящегося телятника, кирпичные столбы которого краснеют на зеленой лужайке у околицы большого села Урскол, и на душе становится легче, веселее. Что там не говори, а при новом председателе живет колхоз!

Мы идем вдоль картофельного поля. Трактор окучивает картофель, посаженный квадратно-гнездовым способом. За картофелем, почти до Ужбола, протянулась поспевающая рожь, сбоку которой приткнулся самоходный комбайн. А в самом Ужболе, на горе возле церкви, стоит картофелеуборочный комбайн — новенький, выкрашенный в серый цвет, на резиновых колесах. Тут же стоят тракторы, подле которых возятся испачканные, как черти, трактористы. Стоит мощный болотный плуг. Стоят и другие машины, назначения которых я не знаю, потому что каждый день в деревню поступает новая техника.

Тракторист рассказывает нам, что новой системой оплаты они, механизаторы, довольны, — хлеб теперь в Заготзерне будут получать, — однако плохо то, что ни он, ни его товарищи до сих пор еще не знают, сколько они заработали за посевную. И мне подумалось, что не в одних лишь новых машинах дело. Неужели трудно еженедельно сообщать трактористам об их зарботке? Ведь это благотворно сказалось бы на производительности труда, потому что система оплаты — прогрессивно-поощрительная. Сколько же еще у нас безрукости!

Долго тянется воскресный день летом в деревне.

На травке возле изб сидят старухи с внучатами. Тут же и женщины помоложе. Появился первый гармонист, лениво растягивая гармонику, прошелся серединой улицы. Вышли и девчата, сперва — подростки, а за ними — невесты. Откуда-то сверху, со стороны Жаворонков и других деревень, лежащих повыше Ужбола, идут мужчины и женщины с корзинами ягод, — они идут в Райгород, к железной дороге, чтоб отправиться со своим товаром в Москву или в область.

На усадьбах у всех поспела вишня, поспевают огурцы, и все торопятся продать поскорее, так как цены с каждым днем падают.

А молодежь просто хочет погулять по случаю погожего воскресного дня, хотя день этот ох как хорош для сеноуборки.

Но убирать сено сегодня почти никто не вышел.

Председатель колхоза ходит сам не свой. Накануне он созвал бригадиров и дал наряд на работу. Однако работать никто не стал.

Появился еще один гармонист и начался «елецкий», довольно нелепый и весьма распространенный по деревням танец. Танец этот состоит в том, что две или четыре девушки, выйдя в круг, принимают медленно кружиться и отчаянно топтать ногами. Руки у них при этом безвольно опущены, лица — нарочито бесстрастные. От времени до времени какая-нибудь из девушек пронзительно выкрикивает частушку, выкрикивает с какой-то серьезностью, с подчеркнутой деловитостью:

Нас и хаут и ругают,
А мы хаены живем,
Мы и хаены — отчаяны,
Нигде не пропадем!

Расстроенный тем, что почти никто не вышел убирать сено, Николай Леонидович сел на мотоцикл и уехал к матери в Вексу, повидать свою трехлетнюю дочку, которую не видел недели три. Сам он родом из Вексы, а жена его, учительница, живет в Усолах. Сейчас она на областных курсах по переподготовке учителей, где пробудет с месяц. Сам же Николай Леонидович квартирует у нашей Натальи Кузьминичны.

До поздней ночи топчет под окнами «елецкий».

Старик кровельщик, кроющий у Натальи Кузьминичны крышу, или, как здесь произносят, «крыжу», человек, по ее же словам, бывалосный, с усмешкой говорит о «елецком»: «Пошла работать маслобойка!»

*

В Райгород мы идем с Андреем Владимировичем пешком, так как вконец «развратившийся» Шаров, шофер опорного пункта, к восьми часам — о чем было условлено — не приехал. Андрей Владимирович теперь работает в Москве, в институте, и для Шарова не начальник.

Солнечно, но не жарко. Мы перешагнули через кювет и пошли тропинкой, под хорошо разросшимися молодыми кленами и тополями.

У входа в город встречаем полуторку Шарова. Едет он вроде и не за нами, а за какими-то отчетами опорного пункта. И все же председатель министерской комиссии, когда мы встретились, стал отчитывать заведующую пунктом Людмилу Алексеевну за то, что Шаров прибыл так поздно. Отчитывал он ее и за то, что вчера, в воскресенье, у него не было машины, и за то, что в субботу, когда начался дождь, мы все уехали, оставив комиссию до вечера в Усолах.

Должно быть, чиновнику этому неприятно, что Андрей Владимирович, хотя и не работает уже здесь, пользуется у всех уважением и авторитетом. Отчитывая Людмилу Алексеевну, которая ему не подчинена, он все время повторял: «Министерская комиссия, комиссия министерства...» Остальные члены комиссии смущенно молчали.

Андрея Владимировича при этом не было: он пошел звонить в лугомелиоративную станцию, чтобы выслали «газик», потому что в полуторке комиссии тесно. В сущности без Андрея Владимировича комиссия как без рук, и это тоже раздражает ее председателя. Мелкий он, я думаю, человек, злой бюрократишка, которому не понять, почему это Андрей Владимирович хлопочет о сапропеле, об осушении приозерной котловины.

Комиссия уехала на полуторке с Шаровым, а мы с Андреем Владимировичем и Людмилой Алексеевной остались ждать «газика».

Сидим в милом провинциальном скверике под кремлевской стеной, где огромные клумбы сплошь засажены каким-нибудь одним растением: душистым белым табаком, желтым, розовым, оранжевым и пунцовым львиным зевом. В скверике прохладно, покойно и чуть грустно.

Из города мы выехали в самый зной.

Поехали кратчайшим путем, через какую-то речку, где наведен жиденький наплавной мост. Мы вылезли из машины и по крутому песчаному спуску пошли к реке. Андрей Владимирович пошел впереди машины, а мы с Людмилой Алексеевной — сзади. Конечно, он выиграл на этом, так как прошел по сухому. Доски моста под тяжестью машины вдавливались в воду, которая, сочась сквозь щели между ними, заливала мост. И в этом сказался опыт пожилого уже человека, исходившего на своем веку не одну сотню километров болот и лугов.

Позднее, в Ново-Ивановском, колхозный счетовод рассказывал нам, что они предлагали соседнему колхозу построить сообща настоящий мост, чтобы ездить можно было. Но тамошние колхозники отказались. И тогда Ново-Ивановский колхоз выстроил наплавной мост, исключительно, как сказал счетовод, для прогона скотины. А ездят — и они и соседи — кружным путем, но друг на друга не обижаются.

Выяснилось, что комиссия осматривает колхоз.

Ново-Ивановское большое, в несколько улиц, село. Здесь много двухэтажных домов, не только деревянных, но и кирпичных. Кирпичные дома с железными ставнями, а деревянные — сплошь в резьбе. Как и в Усолах, в Ужболе, в других здешних деревнях удивляет богатство и разнообразие резьбы наличников, слуховых окошек... Встречаются витые деревянные столбики на крылечках. Насколько красивы и благородны деревянные дома, настолько же уродливы каменные, с их маленькими окнами-бойницами и железными одностворчатыми ставнями. Так и представляешь

себе бывших хозяев этих домов, начисто порвавших с крестьянским трудом, сытых и пошлых.

Едва мы вышли из села, как встретили членов министерской комиссии, которые шли от скотных дворов в сопровождении председателя колхоза. Оказывается, они только что осматривали скотные дворы. Председатель комиссии посоветовал и мне обязательно посмотреть коровник с автопоилками и подвесной дорогой, полагая, видимо, что литератору это в диковинку. Сказал он об этом так, как обычно говорят корреспондентам недалекие руководители,— с известной долей снисходительности и казенного восторга. Мы отправились в поле, где, завладев колхозной агрономшей, крепенькой, деловитой девушкой, бродили, спотыкаясь на высоких каблуках, две из наших ученых дам — агроном, член комиссии, и научный сотрудник опорного пункта, сменившая на этой должности Андрея Владимировича. В руках у дам — пучки колосьев, и похожи они на экскурсантов. Да и во всей комиссии есть что-то городское, столичное, я бы сказал умильно-сюсюкающее, далекое от сегодняшних забот колхоза. Стыдно за них перед здешним председателем и его агрономшей, жалко времени, которое они отнимают у этих очень занятых людей.

Здесь, как и в других колхозах, комиссия старается определить, какое влияние оказал сапропель на посевы. Но, во-первых, когда вносили сапропель, никто из колхозников не знал, что это — опыт, и никаких контрольных делянок не было оставлено. Во-вторых, в некоторых колхозах — например, в Усолах — поля так засорены, агротехника настолько низка, что никакой сапропель не поможет.

Но высокоученая комиссия ездит из колхоза в колхоз, ходит по полям, знакомится зачем-то со всем хозяйством, изучает годовые отчеты, отрывает людей от дела, сама тратит время и государственные деньги, — а зачем, господь ведает! И всего-то нужно бы сделать простую вещь — достать для землесоса метров тридцать резиновых труб. Землесос этот, хлопотами Андрея Владимировича, вот уже два года стоит на озере и добывает сапропель. Но для лучшей маневренности нужны эти самые резиновые трубы, которых нигде не достать.

Разумеется, для этого незачем было посылать комиссию. Но коль скоро ее послали, то она должна себя «оправдать». Надо сделать вид, что поработано изрядно, и все это дотошное изучение колхозов, я полагаю, преследует одну цель — собрать материал для отчета. И я предвижу, что отчет будет закончен следующим выводом: поскольку вопрос не изучен, следует поставить опыты...

✱

Ближе к вечеру я возвращался из Райгорода на колхозном грузовике, который вез шлак для строящегося телятника. У въезда в Ужбол мне бросился в глаза начатый постройкой шлакобетонный домик. Я не знал еще, кто строит этот дом, но то, что строится он в деревне, показалось мне знаменательным. До сих пор приходилось встречать в здешних местах законченные избы, случалось видеть, как из деревень вывозят в город дома, как такие же точно шлакобетонные домики возводятся в Райгороде. Там,

в Райгороде, эти домики строили выходцы из окрестных деревень, чаще всего не рабочие, а так называемые «шабашники», которые хотя и состоят на какой-нибудь должностенке, но живут не службой, а выгодной поденкой в колхозе или же собственным огородом. Потомственные овощеводы, они выращивают на городских своих усадьбах отличный лук, превосходные помидоры и огурцы, успешно конкурируя с колхозами и колхозниками. Вот почему обрадовал меня этот строящийся в Ужболе дом. А то ведь деревня наша обеднела людьми. К примеру, я давно уже не видел многолюдной крестьянской семьи, с дедом и бабкой, с сыновьями, дочерьми, снохами и зятьями, внуками и внучками, от которых тесно и шумно, но весело в деревенском доме.

✱

Николай Леонидович предложил мне поехать с ним на совет Райгородской МТС. Совет собрался в столовой. Народу пришло человек восемьдесят: председатели колхозов, агрономы и зоотехники, руководящий состав МТС, управляющий банком, уполномоченный Министерства заготовок...

Предстоит обсудить итоги весеннего сева и подготовку к уборке урожая. Слово для доклада предоставляется директору МТС.

Я слышал о нем, что он агроном с высшим образованием. На вид ему лет тридцать, много — тридцать пять. Он сухощавый, смуглый, несколько щеголеватый, с модными косыми височками. Держится он свободно, уверенно, — видно, что привык выступать. Правда, он все время заглядывает в бумажки, но это несколько не связывает его.

Сперва директор долго читает собравшимся о том, как прошел весенний сев на целинных землях: в Казахстане, Сибири, на Алтае.

Не могу понять, зачем он это делает. Народ здесь собрался грамотный, развитой, можно сказать, лучшие люди района, которые и газеты читают и радио слушают. Да и время каждому дорого, — в самом разгаре сеенокос, через несколько дней начнется жатва...

Многие в зале дремлют. Одна девушка сняла туфли, поставила на них ноги — видать, натрудила их с утра агрономша! — и отдыхает.

Наконец, докладчик переходит к колхозам зоны МТС. Речь его уже не звучит так гладко, как она звучала, когда он говорил о весеннем севе на целине. Там у него все было написано заранее, взято из газет, а здесь он то и дело заглядывает в различные сводки и ведомости, хотя говорит о вещах, которые — разбуди его среди ночи — обязан бы знать наизусть. Ведь это — главное в его жизни.

Он говорит, что из девятнадцати колхозов зоны план весеннего сева выполнили только двенадцать колхозов. Средствами МТС посеяно только пятьдесят процентов всех овощей и кормовых корнеплодов. Если взять общий план тракторных работ, то имеются значительные отклонения от видов и сроков. За весну было четыре тысячи с лишним тракторосмен простаив.

Спокойные, какие-то круглые, будто отштампованные канцелярским штампом фразы катятся и катятся, несколько не волнуя докладчика. Он лишь изредка запинается, разыскивая в сводке нужную цифру.

А ведь фразы эти, попросту говоря, означают следующее.

МТС выполнила своими тракторами не те работы, какие нужны были колхозам, и не в те сроки, какие необходимы, чтобы собрать хороший урожай. При этом в течение сорока смен как бы простаивало сто тракторов.

Голос докладчика приобретает вдруг некоторую страстность. Он начинает говорить простым человеческим языком. Волнуется. Я бы даже сказал, гневается. Он говорит о том, что во время пахоты председатели колхозов надеялись на тракторы, не использовали лошадей.

И дальше идет похвальное слово лошади.

Директор МТС приводит в пример какого-то деда семидесяти пяти лет, который на пятнадцатилетней лошади вспахал весной восемь гектаров пашни. Он называет количество лошадей в колхозах зоны и доказывает, что все они могли бы и без тракторов вспахать всю площадь. Оказывается, он весьма осведомлен в этом вопросе.

Слов нет, если тракторы не справляются, надо пахать лошадьми. И плох тот председатель, который спокойно наблюдал, как стоит среди поля сломавшийся трактор, не запряг в плуги всех своих лошадей. Мало того, бывают случаи, — в сырую весну, например, — когда тракторы вязнут в еще не просохших полях и тут уж без лошадей не обойтись. В сельском хозяйстве, которое все еще зависит от переменчивой погоды, нельзя полагаться только лишь на машины, — случается, что и лошадь важнее трактора, а то и человеческие руки.

Однако докладчик не учел одного обстоятельства. Он не подумал, сколько же времени уйдет на то, чтобы поднять лошадьми несколько тысяч гектаров земли, какое количество людей, которыми не очень богаты колхозы, потребуется при этом. Не подумал он и о том, что ведь тракторы могли бы работать, что стояли-то они по вине МТС. И не лучше ли было бы ему сейчас, с тою же дотошностью, с какой он говорил о лошадях, разобраться в причинах вопиющего простоя тракторов.

Что же до умильного случая с дедом и его пятнадцатилетней клячей, то понадобился он директору для того, чтобы переложить ответственность с себя на колхозы. В этом убеждает меня дальнейшее.

Докладчик обвиняет колхозы в том, что многие из них до сих пор не выделили помощников комбайнеров и весовщиков, что те весовщики, которые кое-где уже назначены, не явились в МТС на инструктаж.

И тут его перебивает чей-то спокойный голос с места: «Потому не явились, что позвонили только в одиннадцать часов, чтобы к двенадцати прибыть».

Нисколько не смущаясь этим, докладчик продолжает распекают председателей колхозов. Внешне, формально, все это выглядит так, словно он и впрямь отвечает за все колхозное хозяйство. Человек он грамотный и хорошо знает, что после сентябрьского Пленума ему положено заниматься и животноводством. Поэтому он говорит и о животноводстве, о том, что оно отстает. Он говорит, что за девять месяцев на каждую фуражную корову получено по пятьсот с небольшим литров молока. Причина столь низких удоев будто бы только в том, что коров и лошадей пасут вместе, лошадей догоняет овод, они бесятся, гоняют коров, и те не могут в полдень полежать, отдохнуть. В какой-то мере это так. Но не от лени или

недомыслия пасут коров вместе с лошадьми. Видимо, пастухов мало. И не потому ли их мало, что люди заняты на других работах, которые, если бы не стояли тракторы, могла бы выполнить МТС. А главное, думается, в том, что пастбища скудные, нет зеленого конвейера, не практикуется лагерно-стойловое содержание скота, да и вообще с кормами, особенно сочными и концентратами, из рук вон плохо. Об этом, по разумению моему, и должен был сказать директор МТС. И не только сказать, но и доложить, что же он думает предпринять, спросить совета у собравшихся председателей.

Меж тем он продолжает читать свой обвинительный акт.

И опять чей-то голос, насмешливый и резкий, перебивает докладчика: «Все это нам известно. Мы на совет пришли... посоветоваться».

Это последнее слово определяет суть происходящего.

Приходит на память, как Ленин, имея в виду работу в деревне, говорил, что это не должен быть приказ командира, а совет товарища.

В докладе же директора МТС — сколько угодно желания командовать и ни слова товарищеского совета. Должно быть, он искренне убежден, что это и есть необходимый стиль руководства. Все с большей жесткостью в голосе, пожалуй даже с угрозой по отношению к председателям, он говорит, что специалист МТС — агроном или зоотехник — государственные контролеры в колхозе. Он говорит об этом так, словно хочет напугать, словно трибуна, на которой он стоит, укрепленная позиция, откуда он ведет огонь по сидящим в зале.

Когда мы возвращаемся домой, со стороны Рыбного идет огромная туча, за которой, волочась своим нижним краем по земле, тянется серая пелена дождя. Николай Леонидович с беспокойством следит, как наползает она на ужбольские луга, где еще много незастогованного сена. Но туча, помешкав, поворачивает в сторону города.

✱

Тихий закат. Сегодня собираются ехать на Шалковскую пожню — земли госфонда, где колхозу выделены сенокосы. Поедут часов в одиннадцать, так как до пожни километров двадцать пять, а съездить надо будет несколько раз — в один рейс не перевезти всех людей — и успеть до рассвета разделить участки между косцами. Вместе со всеми едет и Николай Леонидович, — не наблюдать за работой, а косить.

За ужином Наталья Кузьминична чрезвычайно возбуждена, сборы на покос волнуют ее, она вспоминает, как и сама, бывало, ездила на пожню. Теперь она больна, косить не может, ее на месяц освободили от работ. Она рассказывает: «Я косильница-то была хорошая. Я как бывалосная, у меня у одной брусочек-то к поясу подвязан. Я-то всегда наперед шла». Николай Леонидович снаряжается, — он спрашивает ватник, берет у Натальи Кузьминичны косу.

Есть в этих сборах, в этом возбуждении что-то праздничное, древнее, древнее, радостное; что выходит уже за пределы чисто хозяйственной, практической задачи, — на покосе можно и удаль свою показать и мастерство. Тут важен не один лишь результат, не одно лишь количество ско-

шенного сена, но и все, что с этим сопряжено. Люди видят в работе и артистическую ее сторону, то, что называется поэзией земледельческого труда.

Наталья Кузьминична говорит, что мужики небось и вина припасли, сегодня ведь бабы за ягоды наторговали. Николай Леонидович рассказывает, что велел шоферу купить на двоих четвертинку. Ему не сидится в избе, он выходит на улицу и ложится в ожидании машины на траву под окнами.

Темно. Осветив фарами дорогу, мчится с горы машина,— но это не наша, чужая. Наконец, и наша пришла,— в кузове полно народу. Николай Леонидович лезет в кабину, хлопает в ночной тишине дверка, машина трогает с места и катится под гору.



День, как и все эти дни, жаркий. Из окон нашего дома видна улица, с булыжным шоссе посередине. Сперва — широкая полоса земли, поросшая мелкой травкой, которая растет обычно на утопанной земле деревенской улицы, затем — такая же зеленая канава, над канавой возвышается белая на солнце полоска шоссе, идущего круто под гору, а за шоссе — темная стена другой канавы, с яркозеленой узкой кромкой травы, подступившей к плетням стоящих по ту сторону улицы изб. По шоссе то и дело проносятся машины: грузовики, самосвалы, изредка «москвич», довольно часто — «газик», совсем редко, так что это выглядит событием — «победа». В гору машины идут натужно, с глухим рокотом, под гору — стремительно и тихо, выключив моторы. Много велосипедов и мотоциклов. Велосипедисты проносятся под гору, не работая педалями, пригнувшись к рулю, с ураганной скоростью, с шумом от трущейся о булыжник резины. Иногда, лениво погромыхая, проедет телега, запряженная крупной, тяжелых статей лошадей. Лошади здесь хороши, — владимирские тяжеловозы, похожие на тех коней, какие носили на себе былинных богатырей. Они гнедые и буланые, с длинными почти белыми хвостами и гривами, которые как бы выцвели на солнце.

Но больше всего на дороге пешеходов: баб-ягодниц. Они идут обычно небольшими группами. В гору, с базара, они идут медленно, с порожними корзинами, в которые воткнуты ватники, платки с торчащими из них белыми батонами, иногда надломленными. А под гору, на базар, женщины почти бегут, согнув колени, пригнувшись под тяжелой ношей, двумя корзинами с ягодами на коромысле.

Ягод — вишни и малины — нынче очень много. Ягоды поспевают каждый день, только успевай собирать. Вот и мучаются бабы, — надо и в колхозе работать, на сенокосе, на прополке, надо и домашние дела справить, сготовить обед, подоить корову, надо и ягоды продать, да выгоднее.

В Райгороде цены не очень высоки, — там свои сады. Вот и тянутся женщины изо всех сил, надрываются, ездят в область. Правда, можно продать вишню у себя в селе, кооперации, но цена там смехотворно низкая, раза в три ниже, чем в областном центре. Можно продать в Рай-

городе в горторг или сдать в комиссионный магазин, но и там цена невысокая. Поэтому-то в магазинах нет ягод и горожане покупают их по высокой цене на базаре. Между тем существует штат торговых работников, получающих зарплату и не способных ни снабдить горожан ягодами (и другими сезонными сельскохозяйственными продуктами), ни облегчить положение колхозников, главным образом колхозниц. А ведь комиссионные магазины для этого специально были созданы. После вишеня и малины, после поспевающих одновременно с ними огурцов, которые протянутся до самой осени, пойдет черная смородина — она уже начала поспевать, — а там помидоры, за ними кормилец здешних мест, лук. Интересно, что в старое время, как рассказывает Наталья Кузьминична, с вишней несколько не мучились, ее скупали на месте торговцы и сдавали в Райгород на варочные предприятия. Значит, это было выгодно и торговцам и крестьянам. А ведь купец без прибыли не стал бы возиться, да и крестьянин, особенно крестьянка, и тогда дорожили каждой копейкой. Только малину, рассказывает Наталья Кузьминична, носили на себе на базар: ее возить нельзя, она побьется, соком изойдет.

Эти бегущие под тяжестью корзин женщины вызывают злые мысли о наших деятелях торговли, которые едва ли думают о том, как тяжело приходится такой вот бабе, и о том, что и сено, еще не скошенное или не убранное, и овощи, которые надо полоть, и хлеб, который вот-вот начнут жать, — что все это зависит от них, торговых деятелей, работы. А ведь среди них не мало, надо думать, коммунистов.

Вниз, под гору, прошел самоходный комбайн. Было это часу в двенадцатом дня. Он отправился, должно быть, к тому ржаному полю, что протянулось по косогору за свинарником. Николай Леонидович говорил, что дня через три там поспеет рожь. Спустя примерно час комбайн вернулся, а вечером, «перед скотиной», под окнами нашей избы ожесточенно ругались бригадир с агрономом. Выяснилось, что комбайн отправился жать по распоряжению агронома, который считает, что рожь поспела. А поворотил комбайн бригадир, полагающий, что зерно еще сырое, оно сторит в амбаре. Ругались они на всю улицу часа полтора или два, пока не стало совсем темно. Разошлись, не доругавшись.

За ужином говорим об этом с Николаем Леонидовичем. Он считает, что прав бригадир. Я тоже так думаю. И вот почему. Агроном, молодой человек, окончивший сельскохозяйственный техникум в Средней Азии, едва ли знает местные условия. Да у него и практики совсем нет, так как после техникума он служил в армии. Он представляется мне рьяным последователем той мысли, какую высказал на совете директор МТС: агроном — это контролер. И почему я должен верить, что этому молодому человеку, обеспеченному, как бы он ни работал и каков бы ни был урожай, заработной платой, что ему колхозная рожь дороже, чем бригадир, пожилому человеку, у которого и опыт большой и который, что очень важно, весь зависит от этой ржи, так как живет на трудодни. Я думаю, что надо больше доверять колхозникам, их здравому смыслу, их опыту, наконец их желанию быть с хлебом. Все это, как говорится, во-первых. А во-вторых, мне хорошо известен тот, я бы сказал, зуд, который охватывает районных работников, ведающих сельским хозяйством, дважды в году, —

весною и в конце лета. Им так и не терпится скорее начать сеять, скорее начать убирать. Это ведь так заманчиво — отрапортовать областному начальству: начали сеять, начали пахать... Это ведь так заманчиво — прочесть о себе в газете: такой-то район первым в области начал уборку, приступил к севу... Зуд этот передается и кое-кому в колхозах, председателям — редко, разве неопытным или карьеристам, агрономам — чаще. Им ведь тоже приятно прочесть в районной газете, что такой-то колхоз первым в районе начал сев или приступил к уборке. Тем более что и сейчас еще по скверной недавней привычке о работе агронома чаще всего судят не по урожаю, а по таким вот победным релициям.

Мне вспомнился в связи с этим разговор между секретарем райкома и председателем райисполкома, коему я был свидетель нынешней весной. Было еще очень сыро, земля не поспела, со дня на день ожидали, что она поспеет. И вот секретарь райкома спросил председателя райисполкома, не слышал ли он, говорят: в таком-то районе вроде бы начали сеять. Спросил и тут же рассмеялся, несколько виновато сказал, что вот, мол, как трудно отделаться от этой привычки, так, мол, и подмывает выскочить первым. Следует заметить, что слух о районе, где уже начали сеять, мог оказаться ложным, — выехали в поле, увязли, да и вернулись назад. Но этот слух мог оказаться и верным, могло быть, что и впрямь начали сеять, что и надо было начинать, потому что условия ведь не только в различных районах, не только в различных колхозах, но и на разных полях одного и того же колхоза — разные: различные почвы, различное расположение полей.

Николай Леонидович, когда я ему рассказал об этом, вспомнил, как весной торопили его с севом, как он, не зная еще здешних полей, начал сеять, а земля в том поле была сырая, она склеклась, потом наступила жара, земля как бы окаменела, да так, что ростки не смогли пробиться наружу и весь посев погиб.

✱

Снова жаркий день. Синее высокое небо в низких, крутых и белых облаках. Выйдешь на дорогу, и с горки далеко видно вокруг. В низине — болота и луга, уставленные стогами, кочковатые пастбища, по которым бредут коровы, заболоченный кустарник... По железнодорожной насыпи тянется поезд. Белая автомобильная магистраль с бегущими в обе стороны машинами. За всем этим — узкая полоса озера Каово, оловянная вода с темными пятнами тростников. А по косогорам — белые гречишные и желтые ржаные поля; в иных местах, где по промоинам весною и осенью бежит вода, поля разделены извилистыми зелеными полосками.

Снова, сгибаясь под тяжкой ношей, бегут по дороге бабы с ягодами. Снова мчатся автомашины, среди которых много бензовозов, — запасают горючее к предстоящей уборке, к пахоте, к озимому севу.

Часу в одиннадцатом дня промчался на «газике» директор МТС, а вскоре, после того как он уехал из колхоза, на ржаное поле, что за свиарником, проследовал комбайн. Должно быть, директора вызвал агроном и

тот распорядился начинать косить рожь. А председателя нет, он на сессии райисполкома (должно быть, и райисполком, вслед за райкомом, созвавшим недавно актив, вслед за МТС, созвавшей Совет, готовится к уборочной, собирая в сущности тех же людей, которые были и на активе и на Совете, да и речи будут те же).

Когда часу в четвертом пополудни мы шли в Райгород, видно было, как на косогоре, по краю ржаного поля, ползет комбайн. А когда возвращались часу в восьмом вечера, комбайна уже не было, с края поля темнела узкая полоска жнивья. Комбайн либо сломался, либо рожь поспела только с краю, либо, что вернее всего, она вся сырая.

На склоне горы, на которой стоит Ужбол, в темной зелени садов пылают в лучах заходящего солнца, как флаги, куски кумача. Это — чтобы пугать скворцов, охотников до сладкого вишенья.

Вечером выясняется, что директор МТС действительно приезжал для того, чтобы заставить убирать рожь. Однако она еще не поспела, зерно сырое, солома зеленая, навивается на комбайн. И комбайн опять отправился к месту своей стоянки у церкви.

Приехали «киншики», как говорят в современной нашей деревне. На афише, которую еще днем прикрепила к стене клуба девушка-почтальон, объявлена «Ночь в Венеции», что не помешало, однако, «кинщикам» показать, как выяснилось позднее, «В дальнем плавании». Главный «кинщик», паренек лет девятнадцати, довольно независимый на вид, важно щеголяет в старом канотье, бог весть откуда попавшем к нему. Он дочерна загорел, на нем, наряду с канотье, линялая майка.

✱

С утра пасмурно, быстрые рваные тучи низко бегут над обширной котловиной, кажется, что края их касаются гряды холмов, окаймляющих всю низменность вокруг озера. На фоне туч резко белеет видная издалека высокая колокольня Рыбного. Говорят, что она всего лишь на три или четыре вершка ниже Ивана Великого. Об этой колокольне рассказывают, что богатые рыбнинские мужики замыслили построить ее на несколько вершков выше, чем Иван Великий в Москве. Однако синод запретил им это.

Снова потянулся в поле комбайн. Несколько позднее из сада Натальи Кузьминичны видно было, что он стоит на краю ржаного поля, которое начинается сразу же за садом.

Скоро все же начнут жать.

С обеда стал накрапывать дождь. Сперва, с перерывами, падали из стремительно бегущих туч крупные редкие капли. Порывами налетал ветер, и от ветра, от этих капель дождя тревожно шумела листва на деревьях в садах. Громко переговаривались женщины и девушки, обиравшие малину и вишню. Может быть потому, что собирался дождь и шумел ветер, в их голосах угадывалась поспешность, с которой они работали. Женщины договорились с председателем, что завтра на рассвете он даст им машину, чтобы отвезти ягоды в область, а послезавтра они все отправятся убирать сено. Голоса женщин вдруг покрыл грохот обрушившегося

на землю ливня. Началась гроза. Даже не глядя на улицу, только по звуку, можно было определить характер дождя. Минут пять подряд слышится неистовый шум,— это ливень, тяжелый и сплошной, непрерывной массой воды бьется об землю. Потом вдруг становится тихо, воздух наполняется едва слышным шорохом и шелестом,— это на смену ливню приходит мелкий морозящий дождик, сквозь который проступает шуршание листьев на деревьях. И опять грохот ливня, и опять шорох дождика. Говорят, что дождь после обеда — суточный дождь. И еще говорят, что это «Самсон-сеногной себя оказывает». На Самсона-то был дождь!

Николай Леонидович рассказывает, что все городские учреждения и предприятия на время сеноуборки распределены между колхозами,— каждому дано задание скосить и убрать определенное количество гектаров. К здешнему колхозу прикрепили контору «Сельхозснаба» и артель «Ударник». В «Сельхозснабе» человек пять или шесть народу, скосить они должны четыре гектара. Можно представить себе, сколько провозятся с четырьмя гектарами физически слабые служащие, никогда не державшие в руках косы. Николай Леонидович договорился с управляющим конторой, чтоб они вывезли ему на своих машинах шлак для постройки телятника, а он даст им справку, что они скосили сено. Тот согласился, но только на том условии, что грузить шлак будет колхоз. Николай Леонидович отправился в артель, которая должна скосить гектаров четырнадцать, и договорился с председателем артели, что они будут грузить шлак, а он даст им справку, будто они косили сено. На том и порешили. И контора с артелью довольны и колхозу выгодно. А скосить восемнадцать гектаров сена для колхоза, который должен скосить шестьсот пятьдесят и у которого осталось нескошенных каких-нибудь семьдесят, ничего, не составляет.

Мне нравится то, как поступил молодой председатель колхоза. Может быть, в этом есть что-то не совсем дозволенное, но колхозу от этого выгода,— у колхоза нет ни лишних людей, ни машин, чтобы возить шлак, а строить телятник нужно и строительство наверняка задержалось бы из-за сенокоса. А конторе с артелью куда удобнее и сподручнее дать свои машины и людей на погрузку. Но правильнее было бы, чтобы райисполком, распределяя городские организации между колхозами, спрашивал председателей, какая помощь им нужна. Не всякий ведь председатель додумается до того, до чего додумался Николай Леонидович, а если и додумается, то, быть может, не рискнет на такую комбинацию, не станет давать фальшивые справки. Это — во-первых, а во-вторых, хоть и невелико преступление поступить так, как поступил Николай Леонидович, однако незачем его на это толкать.

И еще нравится мне, что Николай Леонидович не очень-то любит городских помощников на полях колхоза. Как правило, возни с ними много, как и со всякими временными, к тому же и неквалифицированными работниками,— устрой, накорми, покажи, что делать,— а большинство из них и работы крестьянской не знает. Толку от этой помощи очень мало. Положительно, из Николая Леонидовича выработается настоящий председатель. Как говорится, дай-то бог.



Утро стоит тихое, солнечное, обещает знойный день. Скворцы кружат над садами, поднимаются тесной стайкой, темной, имеющей округлые очертания. Скворцы поднимаются как-то наискосок, в сторону от сада, там перестраиваются так, что стая становится неожиданно большой, и стремглав падают на сад.

Наталья Кузьминична рассказывает, что когда ее меньшой сын был дома, — теперь он в армии, — он убьет, бывало, ворону, повесит ее на шесте в саду, и ни один скворец не рискнет приблизиться к саду. Характерно, что в Ужболе нег скворешен.

А день действительно знойный, очень тихий и какой-то звенящий, — и нагретый воздух звенит, и бесчисленные кузнечики, и жаворонок в небе... Бесперывный звенящий звук, как бы связанный с разлитым в воздухе зноем — я бы даже сказал, являющийся его звуковым выражением, — в то же время усиливает исключительную тишину глухого и жаркого июльского дня. На косогоре, где озимая рожь, стоят на жнивье крестцы сжатого хлеба. Эту рожь жали серпами, так как нужна солома для крыш. А рядом, на другом краю этого же поля, время от времени вываливая копну соломы, движется комбайн.

Наталья Кузьминична рассказывает, что озимая рожь, которую сейчас вот сжали — серпами и комбайном, — всегда пропадала. Неподалеку от этого поля с одной стороны расположен свинарник, а с другой — конюшня. За свиньями никто не смотрел, они постоянно голодали, бесились, выскакивали в окна и убегали в поле, причем забивались в крестцы сжатого хлеба и их долго не могли, бывало, найти. А с лошадьми было еще хуже: «заботливый» заведующий конефермой, получающий, кроме трудодней, на которые почти ничего не приходилось, еще и заработную плату и всякие премии от министерства, был больше заинтересован в лошадях, нежели во всем колхозе, и взял себе за правило пускать лошадей в озимую рожь. Можно сказать, что свиньи приканчивали то, что оставалось после лошадей. Теперь этому положен конец, — на свиноферме порядок, свиньи больше не бегают голодные, а заведующему конефермой новый председатель категорически, под угрозой штрафа, запретил пускать лошадей в рожь.

Вечером, за чаем, Наталья Кузьминична, в который уже раз, рассказывает, как тяжело работают женщины. При этом она вспоминает следующий случай. Одна женщина, в покос, полезла вечером в подполье набрать картошки, — она положила уже в печь дрова, поставила чугуны с водой, и ей осталось только достать картошку, чтобы утром, как только встанет, затопить печь и приготовить завтрак к приходу мужа с покоса. А картошка еще была старая, вся проросшая, и женщина эта, присев на корзину, стала ее перебирать. И не заметила, как уснула. Утром, когда затрубил пастух, женщина вскинулась, — время выгонять корову, — и никак не поймет, где же она находится.

Наталья Кузьминична вспоминает, что в единоличном хозяйстве работать было еще труднее. К примеру, сеяли очень много гороху, а он поспевает в самую жару, когда и других работ в поле много. А горошек надо

было собрать не теряя и часу, иначе он не будет годиться в сушку; так же быстро надо было вышелушить его, провялить, высушить в печи. Вся изба, бывало, полна горошку, печь раскалена, а на дворе и так жарко, все ходят в одном белье, обливаются потом, торопятся. Особенно мучительно было «шелкать» горох. Работа эта — сидячая, монотонная, а люди почти не спали, — тут и покос и прополка. Вот и сидят, вроде бы шелкают горох, да вдруг проснутся и увидят, что ничего еще не сделали, проспали... Поэтому чаще всего шелкали горох на улице, собирались «беседами», один конец села — в одном месте, другой — в другом. Были определенные места, где из года в год собирались, например на лужайке под окнами дома Натальи Кузьминичны. И еще рассказывает она про цикорий, — теперь его выпаживают плугом, если при этом и обрежут корень, то это не беда. А в те времена поврежденный цикорий не принимали. Приходилось выкапывать его вилами, каждый корень в отдельности, а потом резали корни специальным станочком, — вроде скамеечки с приделанным к ней куском косы, — и сушили в риге, при этом задыхались от горькой цикорной пыли. Сейчас цикорий завод принимает сырой, прямо с поля, цикорий и вся обработка корней производится на заводе. Рассказывает Наталья Кузьминична и о том, как хранят лук: семена — только на печке, а товар — в подполье. С некоторым осуждением и недоумением, как о чем-то из ряда вон выходящем, Наталья Кузьминична рассказывает, что за озером, как говорила ей одна тамошняя женщина, севок, который пойдет на продажу, хранят не на печи, как положено, а в холодном подполье. При таком хранении из этого севка получится очень плохой лук, люди, которые купят такой посадочный материал, таким образом будут обмануты. Рассказывая об этом, Наталья Кузьминична как бы даже не верит, что женщина из-за озера говорила правду: уж не подшутила ли она над ней!

Во всех этих рассказах угадывается древняя, очень древняя культура здешнего овощеводства, с его выработанными в течение многих столетий приемами. Все это создал народ, создал в результате опыта, наблюдений, без помощи со стороны, и не где-нибудь в щедрых солнцем местах, не на тучных землях, а здесь, где и солнца не так много бывает, где земля большей частью заболоченная. Да и почвы здешние — я имею в виду старопашотные земли, — созданы народом. И эта созданная народом земля, эти созданные им культуры овощей, эти выработанные многими поколениями агротехнические приемы, — все это в сущности поэма о русском земледелии и о русском земледельце. И еще одна мысль приходит в голову, когда думаешь об этом: он вовсе не был косным человеком, здешний крестьянин, не держался за привычное, не боялся нового, трудного, связанного с риском. Очень скоро поняв свою выгоду, он перестал сеять здесь рожь, занимая драгоценную землю исключительно овощами. Стоило ему узнать, что спросом пользуется какая-нибудь новая культура, и он сейчас же принимался сеять ее, — так, вслед за луком, появились в здешних местах цикорий, горошек, мята, тмин...

К сожалению, древнее это мастерство утрачивается, не слышать что-то о молодых мастерах овощеводах. А ведь сейчас возможностей куда больше, нежели прежде, сейчас наука могла бы прийти на помощь здешним овощеводам, сейчас можно бы механизировать труд овощевода.



Утро было ясное, солнечное, а с обеда полил дождь. Где-то погромыхивало, слабо вспыхивали отдаленные молнии. Должно быть, стороной шла гроза. Наталья Кузьминична вспоминает пожары, случившиеся от грозы, говорит о каком-то лете: «грозное»... Гроза, как и сто, как и триста лет назад, вполне реальная опасность для деревенского жителя, хотя и живем мы в атомный век. Точно так же все еще зависит крестьянский труд от всяких случайностей погоды. Сколько раз за эти дни было так, что Николай Леонидович накануне спланирует: косить, убирать сено, обирать горох, а с утра польет дождь, и все надо менять.

В обед в город отправилась машина с колхозными огурцами. Николаю Леонидовичу очень нужны деньги,—заплатить наемным плотникам, которые ремонтируют свинарник,—вот и решил он продать огурцы. В Николае Леонидовиче, несомненно, живут кое-какие коммерческие способности, без которых председателю колхоза почти невозможно работать. Он, к примеру, разузнал, что станционный буфет покупает огурцы для солки по цене один рубль восемьдесят семь копеек за килограмм, тогда как кооперация, покупая по государственным закупочным ценам, платит один рубль двадцать копеек. Вчера он уже продал буфету партию огурцов и сегодня повез еще одну. Однако ближе к вечеру, в самый дождь, машина с огурцами вернулась обратно в колхоз.

А вечером, за ужином, выяснилось следующее.

Когда огурцы привезли на вокзал, оказалось, что контора буфета уже закрыта. Тогда Николай Леонидович решил продать огурцы кооперации,—он повез их на базу, но там, посмотрев документы, установили, что колхоз должен сдать по заготовительной цене, в счет госпоставок, шесть тонн огурцов, не сданные им в прошлом году. А заготовительная цена — шестьдесят копеек за килограмм. Николай Леонидович стал просить, чтобы эти огурцы приняли у него по закупочным ценам, а через несколько дней он сдаст причитающиеся с него прошлогодние шесть тонн. Но сколько ни просил Николай Леонидович, сколько ни говорил, что деньги ему нужны, чтобы заплатить плотникам, которые грозятся бросить работу, ничего не помогло. Он объяснял, как важно кончить в срок свинарник, объяснял, что денег в колхозе ни копейки, что вся надежда на эти огурцы... Однако кооператоры стояли на своем. Николай Леонидович все же огурцы не сдал, повернул машину обратно в колхоз и завтра пошлет огурцы на рынок в областной центр.

Рассказывая об этом, он говорит, что теперь ему не миновать выговора, и хотя старается говорить об этом спокойно, все же видно, что возможность получить выговор,—это ему внове,—волнует его, беспокоит. Он то и дело возвращается к этому, улыбнувшись, замечает, что колхозники и не знают, что председатель получит выговор, что это им, надо полагать, безразлично. Затем он спрашивает Наталью Кузьминичну, не знает ли она, сколько в прошлом году сдали огурцов. Наталья Кузьминична говорит, что ничего не сдали, так как огурцы, да и лук настолько заросли сорняками, что их пришлось скосить на корм скоту. Видно, что Николаю Леонидовичу особенно неприятно, что он нарушает государствен-

ные установления, получит выговор в сущности по вине прошлогоднего председателя, развалившего колхоз. Не знаю, возможно, что я не прав, но свинарник, который после того, как его отремонтируют, даст возможность поставить в колхозе свиноводство, да и самочувствие молодого председателя представляется мне более важным, нежели шесть тонн огурцов, тем более что государство все равно получило бы их, но только не по шестьдесят копеек, а по рублю двадцать.



Солнечный, но очень ветренный день. В деревне — в поле — еще ничего, а в Райгороде ветер гонит по улицам тучи песка. Только в сквере возле кремля тихо, пахнет цветами. Заходили к Грачевым, разговоры о том, «почем что». Михаил Васильевич, родившийся в этом доме и проживший в нем все семьдесят с лишним лет своей жизни, — он только капитально отремонтировал дом в двадцать четвертом году, — рассказывал о прошлом Райгорода, которое все сводилось к тому, какие были купцы, да сколько стоило вот это зеркало, этот буфет, эти стулья, этот сервиз. Ложатся они с Дарьей Васильевной в девятом часу, газет не читают, радио не слушают, в кино не ходят, — и так всю жизнь.

Кроме таких вот, доживающих свой век обывателей, есть и новые. Это — выходцы, точнее беглецы из деревни, промышляющие всякими подделками: плотничают, кладут печи, копают силосные ямы... Они околачиваются на базаре, где занимаются мелкой перекупкой. Они состоят где-то в сторожах, в вахтерах, швейцарах — словом, на должностях, которые позволяют иметь много свободного времени. Они выращивают на продажу лук, помидоры и огурцы; жены их, матери и дети, что ни вечер тянутся по дороге через Ужбол в окрестные овраги за малиной, — утром они возвращаются с добычей, торопятся на рынок. После малины пойдут орехи, а там и грибы...

Почему-то сегодня, в этот солнечный день, когда на разбитых тротуарах и мостовых Райгорода мчится песок, вертятся бумажки и соломинки, — почему-то сегодня особенно явственно обывательское естество этого города. Обывателя угадываешь и в мелком служащем, бегущем с кошелкой из учреждения: должно быть, в обеденный перерыв он забегал на рынок, так как день нынче базарный.

Если не считать рабочих нескольких здешних фабричек и заводиков, то все остальные горожане призваны обслуживать окрестные колхозы. От работы этих людей во многом зависит и уровень сельского хозяйства района, и благосостояние колхозников, и снабжение городов той продукцией, которую производят местные колхозы. А очень ли отличаются иные из них от тех своих предшественников, которые сидели некогда в уездных присутствиях, в лавках и в лабазах местных купцов? Не убежден. Я имею в виду главное — отношение к труду, понимание своей работы в учреждении, в торговле, как целиком поставленной на службу сельскому хозяйству.

Уже темнело, когда мы возвращались в Ужбол.

Воздух чист, ни пылинки в нем, и люди здесь чище, понятнее; их хлопотливые заботы о хлебе насущном не кажутся такими низменными, как у райгородских обывателей, они — производители общественного продукта, как любит говорить Иван Федосеевич, председатель колхоза в Любогостицах, кстати сказать, ненавидящий райгородского обывателя лютой ненавистью.

✱

Наталья Кузьминична вспоминает, как прежде, бывало, будили пастухи хозяек. Пастухи были владимирские. Пасли они втроем. У каждого была свирель «на свой голос», шли они на рассвете серединой улицы и «так-то хорошо играли, каждый на свой лад, чистая музыка», — она показывает при этом, как играли пастухи. Игра эта была так хороша, что бабы, бывало, заслушиваются, пастухам заказывали, чтоб играли у этого дома, у того, у третьего... Наталья Кузьминична рассказывает так выразительно, что перед нами встает как бы живая картина. И снова думается об эстетической стороне крестьянского труда, о какой-то обрядовой форме такого в сущности прозаического дела, как выгон стада, и не первый, а каждодневный. Потом Наталья Кузьминична с огорчением говорит, что теперь этого ничего нет. Дошло до того, смеется она, что пастухам купили игрушечную детскую трубу, но было это так смешно, что все потешались. Тогда кто-то из жителей Ужбола вспомнил, что у него где-то валяется «мирской рог», которым сзывали на сход, и отдал этот рог пастуху. Сейчас по утрам женщин будит хриплый рев этого рога.

✱

Все небо в черных грозовых тучах. Стемнело рано, как осенью. Ночь стоит черная. И в этой черноте то здесь, то там вспыхивают на горизонте далекие молнии. Наталья Кузьминична, придя с улицы, говорит: «Гроза заходит!» Сегодня — Ильин день, и Наталья Кузьминична замечает, что теперь уж грозам конец, но зато и лето кончилось.

Послышался шум идущей со стороны Урскола тяжело нагруженной машины, и одновременно с этим шумом в тишину уснувшего села ворвалась резкая, пронзительная песня. Это поют девчата, ездившие в Урскол на престольный праздник. Должно быть, на этой же машине приехал и Николай Леонидович, минуту спустя вошедший в избу; — он тоже ездил в Урскол, уговаривал колхозников тамошней бригады завтра выйти на работу. Сегодня, понятно, они не выходили, но завтра там начнет работать комбайн, и если они и завтра станут праздновать, у комбайнеров зря пропадет день. Николай Леонидович опасается, что так оно и будет, потому что завтра с утра он уезжает в Москву, на Сельскохозяйственную выставку.

Наталья Кузьминична, услышав, что комбайн будет работать в Урсколе, так и вскинулась: почему, мол, не у нас, не в Ужболе?

Любопытно, что до сих пор, хотя укрупнение прошло несколько лет назад, существует этот своего рода местный патриотизм. Многие колхозники все еще считают себя «ужбольскими», «жаворонковскими», «урскольскими», «дубровинскими»... Те из них, которые живут в Ужболе, где находится правление и проживает председатель, считают себя как бы привилегированными.

Я ожидал, что Николай Леонидович объяснит Наталье Кузьминичне: мол, Урскол и Ужбол — это ведь один колхоз. Но он этого не сделал. Он просто сказал, что ужбольская рожь вся полегла, комбайном ее не взять, поэтому ее станут убирать серпами, тем более что колхозу нужна солома для крыш.

Меж тем на улице продолжали петь девчата.

Тут мы разговорились о молодежи, о том, что никакой культурно-просветительной работы ни она не ведет, ни среди нее не ведется.

В воскресенье вечером мы были в кино. Здешний клуб — это большое сараеобразное здание, довольно чистое правда, но очень неуютное. На стенах — два-три плаката на сельскохозяйственные темы, несколько лозунгов на кумаче. Лозунги длинные, многословные, не то чтобы непонятные, но примелькавшиеся, не берущие за сердце, словно и не обращены они к тем, кто сидит в зале.

Заднюю половину зала занимают скамейки, поставленные на широкие ступени, чтобы удобнее было смотреть картину. Передняя половина зала — свободна, чтобы можно было танцевать. Больше ничего в клубе нет, хотя здесь можно бы выгородить какую-нибудь комнатку для библиотеки или читальни, для игры в шахматы, шашки, домино.

В зале очень много детей, так как обещанный детский сеанс не состоялся, — пока мы здесь, его ни разу не было. А время — одиннадцатый час ночи. Много в зале молодежи, пожилых же людей почти не видеть. Молодежь, особенно девушки, одеты нарядно. Парни беспрерывно, я бы сказал бесцельно, матерятся, хотя рядом с ними сидят девушки: друзья их детства, невесты... То и дело вспыхивает какая-то возня, похожая на вялую, от нечего делать драку. Ни эта матерщина, ни драки никого не смущают, ни у кого не вызывают протеста.

В Ужболе есть школа, но учителя, если и ходят они в клуб, вернее в плохонькую киношку, то только как зрители, никакой культурно-просветительной работы они не ведут ни в клубе, ни в колхозе, ни среди взрослых, ни среди молодежи. Есть в Ужболе и комсомольская организация, секретарь ее — финансовый агент, человек колхозу посторонний.

На стене ужбольского клуба висит большая железная вывеска. Она старая, проржавевшая. Есть и другая, новая вывеска, а эта висит просто так, на боковой стене, вроде заплаты. На вывеске белым по черному написано: «Ужбольский народный дом имени Некрасова. Основан в 1919 году 12 октября». Я часто думаю о том, во-первых, почему этот текст не перенесли на новую вывеску, висящую над входом в клуб со стороны улицы? И во-вторых, я думаю о той молодежи, которая открывала клуб, считая это событие — историческим (даже дату поставили на вывеске), видя в нем одно из завоеваний Октября. Не из этого ли поко-

ления вышли многие замечательные наши люди! И еще я думаю о том, что это очень плохо, когда вся шефская работа здесь сводится к тому, чтобы помочь колхозу в полевых работах.

Наконец, думаю я и о том, что Николай Леонидович, которому двадцать восемь лет и который, на мой взгляд, и коммунист не плохой и человек культурный, немногим старше этих матерящихся молодых людей. Но он вырос в материально крепком колхозе у Ивана Федосеевича, прошел школу войны, армии, долгое время учился и работал в областном городе. Если бы не сентябрьский Пленум, он в деревню не поехал бы. Но у него в личном деле сказано: «Окончил школу руководящих колхозных кадров» — и его послали председателем.

А в здешнем клубе можно бы многое сделать. Нужна только самодеятельность молодежи, нужен вожак, способный ее увлечь. Нужно, чтобы молодежь стала несколько романтичнее, такими были те, кто писал старую клубную вывеску, — но этого романтизма, боюсь, нет ни у местных учителей, ни у секретаря комсомольской организации — финансового агента.

✱

Николай Леонидович уехал в Москву, на выставку, и все зашевелилось, деревня кишит как муравейник, — бабы собираются с товаром на рынок в областной город. Идут сразу две машины, с колхозной продукцией и с продукцией колхозников. Женщин на машинах довезут до Райгорода, и там они пересядут на поезд, корзины же с вишней шоферы доставят прямо на базар.

Машины ушли, а на другой день мне рассказывали, что на вокзале, у кассы, к женщинам неожиданно подошел Николай Леонидович, ожидавший московского поезда. «Ужбольские?» — спросил он, так как не всех еще знает в лицо. Женщины смутились, но все же, набравшись смелости, ответили: «Ты уж нас, Николай Леонидович, ругай не ругай, а эту неделю работать не будем — товар пропадает!» И верно — вишня почти вся созрела, осыпается, на земле под деревьями ее очень много. Над садами все время кружат скворцы, их многие сотни. Не помогают ни пугала, ни выстрелы, ни красные флаги, которых все больше и больше вывешивают в садах. Так вот, женщины сказали, что работать эту неделю не будут, а Николай Леонидович промолчал, только насупился и отошел. Он ведь не может гарантировать им, что на трудодни они получат столько же денег, сколько за «товар» с усадьбы. Колхозу трудно пока что конкурировать с усадьбой, с ее высокой агротехникой, с ее отличными урожаями.

Здешние люди — превосходные, потомственные мастера земли, и великий это грех, что таких мастеров отвратили от производства общественного продукта. Между прочим, от какого-то агронома-чиновника я слышал о мужицкой косности, о том, что крестьяне здешние не применяют новейших достижений науки, потому, мол, так плохи урожаи во многих колхозах района. Какой это бред собачий! Достаточно посмотреть на усадьбы, чтобы убедиться в обратном. И какая же это косность, если еще двадцать лет назад в Ужболе почти не было вишневых садов — на усадьбах росла

конопля,— но как только люди прослышали, что от «вишенья» можно получить большой доход, так сразу же перепахали конопляники и посадили вишневые деревья, хотя надо было два-три года ожидать урожая. Со здешними мастерами земли, людьми предприимчивыми, оборотистыми, можно многое сделать, если только их материально заинтересовать.

✱

Во втором часу ночи разразилась вдруг удивительной силы гроза. Изба буквально дрожала от ударов грома. Молнии были такие яркие, что на улице и в небе становилось светло, будто рядом пылал огромный костер. Свет был именно такой, как от костра, оранжевый, жаркий, как отсвет колыхающегося на ветру, чуть дымного, потрескивающего, постреливающего искрами пламени от сваленных в кучу и подожженных сосновых бревен. И дождя-то не слышно было за грохотом грозы. Было по-настоящему страшно, может быть еще потому, что во всех окнах зажглись огни. Деревня не спала, точнее проснулась и сидела настороженная, ожидая, что вот сейчас от этого грозного, с треском, с раскатами удара вспыхнет изба, если не своя, то соседская, что, впрочем, одинаково.

Гроза продолжалась часов до четырех.

✱

Вечером, за чаем, живущий у нас зять Николая Леонидовича, шофер «газоочистки», мобилизованный со своей машиной в колхоз на период уборочной, рассказал, что сейчас, когда председатель в Москве, в колхозе чувствуют как бы некое послабление. Каждый день уходят машины в областной центр, везут колхозников с огурцами и вишней. Сегодня даже две пойдут.

Наталья Кузьминична поахала, поахала, стала просить шофера, чтобы он уж председателю не говорил, а то ведь срам какой!.. Потом она сообщила, а шофер подтвердил, что завтра, в воскресенье, две бригады ужбольские решили гулять. Сложатся, купят вина, да и принесет каждая баба, чего у нее есть. Гулять будут бабы, так как только из них, да еще из девчат, работающих на лошадях, и состоят бригады. Вернее, бригада-то одна, месяц назад, целесообразности ради, ее составили из двух ужбольских бригад. Но колхозницы считают попрежнему, что у них две бригады, называют себя одни — «горские» (это — живущие на горе, у церкви), другие — «подгорские» (то есть живущие под горой, у въезда в село). Гулять они будут порознь.

Мысль устроить «беседу» пришла «горским». Еще когда они были отдельной бригадой, им какая-то премия причиталась, и теперь, получив эту премию, они постановили пропить ее. А «подгорские» из чувства ревности решили не отстать. Но главное не в премии: деньги теперь у всех есть,— вырученные за ягоды,— всем хочется отдохнуть после сенокоса, от которого бабы ходят худющие да черные, как говорит Наталья Кузьминична.

Все это легко понять, если взять во внимание тяжкий бабий труд и почти лишенную каких-либо развлечений жизнь. И нужны здесь не слова

о дисциплине, о сознательности,— кстати сказать, районные руководители и с этими словами редко обращаются непосредственно к колхозникам, а все председателей «прорабатывают» на совещаниях да активах,— не это нужно, но живая культурная массовая работа.

И снова думалось все о том же: как редко обращаются к народу с живым человеческим словом местные руководители, вообще весь довольно большой коллектив районных работников, которыми полон город. Редко, очень редко вспоминают они о том, что людям иногда нужны даже не развлечения, а просто разговор с незнакомым человеком о жизни, о том, что нового на свете,— не собрание, а именно разговор.

А ведь есть теперь и зональный секретарь, кстати женщина, и инструкторы, почему же не собрать им пяток-десяток колхозниц в поле, в избе у кого-нибудь, почему не поговорить об их, «бабьих», делах, о детях, о работе, обо всем, что волнует этих работающих женщин, в огромном большинстве своем вдов, мужья которых погибли за родину.

Даже на редкость любознательная Наталья Кузьминична не представляет себе, что вон в том «москвиче» или «газике» промчалась по улице села в контору,— за месяц, что я живу здесь, всего лишь два раза,— секретарь райкома партии по Райгородской МТС товарищ Ростовцева. Не знает Наталья Кузьминична и того, что должность такая есть — зональный секретарь, для чего она существует, эта должность, за что собственно получает Ростовцева зарплату.

Первый секретарь райкома партии, Алексей Петрович Кожухов, толковый и неглупый человек, был здесь за это время один раз. Он приезжал поговорить с бригадиром, чтобы тот согласился руководить объединенной бригадой. Все это нужно, и Ростовцева, надо полагать, что-то нужное делала в конторе. Но надо раз и навсегда понять, что партийная работа — это работа с людьми, с массами, что хозяйственных успехов той же своевременной уборки сена можно добиться, лишь найдя ключ к сердцу вот этих колхозниц, которые, бросив убирать сено, устроят завтра гулянку.

✱

Сегодня официальное открытие охоты, но стрелять начали еще вчера, часов с восьми вечера. На рынке, в самом конце его, на крайнем столе две-три женщины продают уток и чирков, застреленных, вероятно, их мужьями и сыновьями. Вокруг — народ, не столько покупают, сколько рассматривают. Почему-то интерес к дичи, которую несет или продает охотник, всегда велик, даже у тех, кто никогда не охотился и охотиться не будет, кто не покупает и не станет покупать эту дичь. Точно такой же интерес проявляют люди к собранным кем-нибудь грибам, ягодам, к наловленной рыбаком-любителем рыбе. В основе этого интереса, я думаю, лежит следующее: во-первых, то, что продукт это даровой, который каждому может достаться, были бы охота и сноровка; и во-вторых, уважение к мастерству человека, удивление перед этим мастерством. Если же охотник идет пустой, тут уж не миновать насмешек.

Возле стола с утками, очень смущенный, похаживает толстый железнодорожник, с ружьем, патронташем и ягдташем,— не то он проспал зорю

и опоздал, не то мазал все время, сказать трудно, но уток у него нет Зеваки потешаются над ним: что, мол, жена заругает, что пустой пришел... так ты купи, не стесняйся... ружье-то из кошелька без промаха бьет... лучшая система. Толстяк, вконец смутившись, идет к воротам рынка, где стоят его товарищи, такие же, как он, железнодорожники, с ружьями, патронташами, тоже пустые. Должно быть, они послали его на разведку: узнать, почем дичь, или посмотреть, нет ли знакомых, чтоб не дошло до жен, что они уток с базара принесли. Когда толстяк подходит к ним, они окружают его и начинают совещаться.

На рынке очень мало покупателей. Сегодня общегородской воскресник и почти все рабочие и служащие выехали в колхозы на полевые работы, выехали и в те колхозы, откуда пришли на рынок с товаром все эти женщины. Получается своеобразный обмен людьми: одни торгуют, а другие будут за них работать. А как быть, если вишня осыпается, огурцы перерастают и желтеют, если эта вишня и эти огурцы — серьезнейшая статья денежного дохода в семье колхозника, если в то же время эта вишня и эти огурцы с усадеб — почти единственный источник снабжения ими города, так как в магазинах их либо нет, либо они очень плохи. Правда, огурцами, помидорами и ягодами торгуют еще и городские обыватели, — большей частью бывшие колхозники, убежавшие из деревни, — вишня и овощи у них со своих огородов, малина, черная смородина и голубобель — с окрестных болот и лесов. Если бы эти обыватели остались в деревне, то отпала бы необходимость посылать рабочих и служащих в их выходной день на работу в колхоз, а колхозники могли бы без ущерба для производства ездить по очереди на рынок с товаром.

✱

«Горские» и «подгорские» работали сегодня без обеда, до четырех часов, чтобы иметь возможность погулять. С четырех началась гулянка. Гуляли в двух избах — под горой и на горе, — а часу в седьмом сошлись на лужайке возле нашего дома, где всегда бывают танцы. Пришли гармонисты. Закишели вокруг, возясь, бегая, сшибая друг друга, ребятишки. Четыре девушки встали в позицию, мгновенно одеревенели, стояли секунду-другую, опустив руки, в напряженных прямых позах. Но вот гармонист растянул мехи, прозвучала неестественно высокая, крикливая запевка... и пошел молотить «елецкий».

Часов до двенадцати шла «молотьба».

✱

К нам ходит соседская девочка Галька — бойкая, добрая, лет семи, с белыми, как ржаная солома, волосами, остриженными «под горшок». Совсем венециановская крестьянская девочка, но только не в холсте, а в ситцах, обувающая то и дело либо башмачки, либо сандалии, иной раз с цветными носочками. Обувается она по собственному усмотрению. В дождь может бегать босиком или в сандалиях, в ведро, в жару обует вдруг тяжелые башмаки да еще с носочками или чулками. Галька в суц-

ности сама себе хозяйка,— мать целый день в телятнике, бабка стара, да на руках у нее еще и маленький и хозяйство. Иногда, впрочем, Галька пропадает на весь день, это значит, что она вдруг соскучилась по матери и ушла к ней на телятник, где ночует, когда мать дежурит ночью.

Отца у Гальки нет, точнее, он имеется, но с матерью не живет, ушел к другой, в другую деревню. Он нездешний, Галькин отец, он взят был в зятя, и сейчас тоже живет в зятях. И к матери Галькиной он теперь ни по чем не придет,— у нее сравнительно недавно появился маленький. От кого этот маленький, никто точно не знает, но вся деревня говорит, что от бывшего председателя колхоза. То ли полюбился Галькиной матери этот бывший председатель, пьяница и к тому же не молодой уже, семейный мужчина, то ли соскучилась молодая баба о мужике, то ли взял он ее пьяный силом, ночью, когда она одна дежурила в телятнике,— откажи, попробуй, председателю, если ты одинокая, с девчонкой и старухой матерью,— сказать трудно. Но вот так обстоит дело с семьей Гальки.

И еще один случай. Возле лавки вечером встретили мы молодую женщину, может быть девушку, которая просила живущего у нас шофера отвезти ее домой в Урскол. Она была с подругой, заправщицей. Подруга вышла как раз из лавки с пол-литром,— должно быть, решили девушки попить. А шоферу как раз нужно было сменить масло, заправщица обещала сделать это, и они поехали. Но мне запомнилась не заправщица, а ее подруга, быть может потому, что была она нездешнего женского типа, коренастая, скуластая, какая-то калмыковатая, с могучими икрами, хотя и некрасивая, но чем-то привлекательная в своем черном платье с чистым фартуком, в крепких рабочих сапогах, широкая в кости и, видать, очень сильная. Из разговора ее с шофером я понял, что она работает на молочной ферме, да и по тому, какая она была гладкая, можно было догадаться, что она не на тяжелой полевой работе, а на более легкой, ну и сытной, конечно. И еще, казалось мне, от девушки исходил неуловимый запах молока, теплого коровьего стойла. Я спросил о ней потом Наталью Кузьминичну: не знает ли, кто, мол, такая? И Наталья Кузьминична сразу догадалась по моему описанию, ответила, что это — заведующая фермой, и тут же, улыбнувшись, добавила: «Не знаю уж, как назвать ее, не то барышня, не то баба!» Вот и эта понесла неизвестно от кого.

А про Валентину, которая забеременела от своего «жениха»,— такие случаи часты, и многие невесты пируют на своей свадьбе за неделю до родов или же с ребенком на руках,— про Валентину, которая, чтобы «узаконить» как-то свое положение, стала носить обручальное кольцо, про нее Наталья Кузьминична сказала, что парень ее на ней уж не женится, он теперь с другой гуляет. Наталья Кузьминична с Валентиной очень дружна, могла бы и не говорить этого.

Она рассказывает о таких случаях, мне думается, потому, что, пусть бессознательно, хочет подчеркнуть, что вот сама, оставшись вдовой двадцати четырех лет, «соблюла себя», без остатка отдалась детям, хозяйству, колхозу, вырастила двух отличных, работающих сыновей, не пьяниц, не хулиганов. Старший сын ее, Виктор, работает в Донбассе. А младший,

Андрей, служит в армии. Он очень развитой юноша, агроном-механизатор, нежно любящий мать, и, думается, человек, который сделает в жизни немало.

Все это — предмет женской гордости Натальи Кузьминичны. В ней сильно развито чувство собственного достоинства, но, быть может, в чем-то она и завидует этим женщинам, имеющим мужчин. Теперь-то, когда она по деревенским понятиям — старуха, теперь-то они ей не нужны. Но кто знает, не вспоминает ли она, рассказывая такие вот случаи, как тосковала долгими зимними ночами, одинокая, лишенная мужской ласки. И хотя по свойственной ей глубокой порядочности она ни единым словом не осудила ни Галькину мать, ни заведующую фермой, ни Валентину, ни других, все же я угадываю в ее голосе нотки осуждения и в то же время любопытства, неосознанного интереса к такого рода вещам, которые и заставляют предположить, что в чем-то она не то что завидует, а бессознательно сожалееет о прошедших годах.

Все три факта «несоблюдения себя» женщиной и девушками я узнал в разное время, но вспомнились они сегодня, так как по радио передавали «Тупейного художника» Лескова, рассказ о страстной, чистой и верной любви. И подумалось, что очень нужны рассказы о любви, о верности, о таких вот разных «случаях». И нужно еще, чтобы клуб наш стал веселым, интересным местом — школой воспитания чувств. Нужно, чтобы не одним «елецким» жила здешняя молодежь и не одними только кинофильмами, пусть и хорошими. Ужбол и другие такие же села имеют право на всю ту большую культурную жизнь, какой живет страна. И в большом долгу все работники культуры перед Галькиной матерью, перед Валентиной, перед той женщиной, которая «не то сарышня, не то баба».

✱

Сергей Сергеевич водил меня к Успенскому собору, показывал очищенную от позднейшей штукатурки часть древнего портала. Портал выложен из фигурного кирпича. Он состоит из перемежающихся бочонков, жгутов, бус, прямоугольников с рельефным изображением так называемого самовара, в сущности вазы, из «бегунков» — узких прямоугольников с рельефной насечкой в елочку.

Затем я заходил на почту, где внимание привлекает огромный, древовидный фикус в операционном зале. Фикус этот настолько велик и так раскидист, что не воспринимается как комнатное растение, кажется выкопанным где-нибудь в тропическом лесу. Не знаю, сколько ему лет и кто его вырастил, но он — гордость всего коллектива почты. Рассказывают, что во время войны, когда не было дров и здание почты не отапливалось, работники почты приносили с собой дрова и, чтобы не замерз фикус, печь в операционном зале топилась ежедневно.

Из города я вышел в сумерки, было еще не так поздно, но все небо заволкло тучами. Резко белел в этой серой мгле, на фоне свинцового неба, прочерченного округлыми темными линиями, Дмитрневский монастырь с его золотой, похожей на корону, барочной маковицей на соборе. По временам срывались крупные капли дождя. Оловянное озеро лежало в черных

тростниках. За озером, за косыми линиями далекого дождя чуть простучала в сером небе далекая колокольня Рыбного, этот неизменный ориентир котловины. Оттуда, из-за озера, набегал ветер, капли дождя падали все чаще и чаще, покрывая асфальт шоссе частой черной рябью. Наконец, хлынул дождь. Все шоссе стало черным, потом заблестело и стало такое же, как небо. С шипением проносились по мокрому асфальту машины. Намокли и почернели мешки с огурцами, сложенные штабелем вдоль обочины, — хозяева их ожидали попутных машин.

Возле Ужбола, когда дождь уже перестал, на темной дороге впереди показалась движущаяся на меня темная, занявшая всю дорогу масса. Она была почти неразличима, и только чуть зеленеющие по обеим ее сторонам скошенные луга, примыкающие к дороге, да еще топот множества ног, глухой и частый, прерываемый резким посвистом, выдавали движение большого табуна лошадей. Я сошел на обочину. Мимо меня, обдав жаром, запахом горячего пота и мокрой шерсти, мчались, распустив гривы, гнедые и буланые, потемневшие от воды кони. Позади табуна, на неоседланной лошади, подбадривая табун то пронзительным, каким-то татарским свистом, то оглушительным, как выстрел, хлопком бича, скакал паренек в одетом на голову прозрачном женском дождевнике.

...Час уже поздний, а Николая Леонидовича еще нет, он и ужинать не приходил. Должно быть, он на партийном собрании, о котором говорил мне давеча. Я просил его предупредить меня об этом собрании, но он почему-то этого не сделал, то ли забыл, то ли не очень ему хочется, чтобы я слышал, как его будут прорабатывать. А проработка будет, потому что на собрание приехала Ростовцева, секретарь по зоне МТС, и не миновать разговора о гулянке, которую устроили «горская» и «подгорская» бригады.

Пришел Николай Леонидович только в двенадцатом часу, отказался от ужина, говорит: заболел, простыл, и голова болит и все тело. Смерили температуру — нормальная. Уж не после собрания ли он заболел?

✱

Сегодня Наталью Кузьминичну «нарядили» на работу — подгребать скошенную жнейкой рожь и вязать снопы. Наталье Кузьминичне из-за болезни дали освобождение, она не работала с весны, отоспалась, поправилась, раздумянилась, выглядит моложе своих лет, тогда как весной, когда я был здесь в последний раз, выглядела куда старше. Но освобождение кончилось, идти за новой справкой в больницу Наталья Кузьминична стесняется, потому что ничего у нее сейчас не болит, а время горячее, даже старух «наряжают». По деревне и так уже идут разговоры, почему она, мол, не работает, что за барыня такая. Меж тем работать Наталье Кузьминичне положительно нельзя, врачи запретили ей физическую работу, но другой ведь в колхозе не бывает. Вот поработает она, надорвется, пожалуй умрет, тогда бабы скажут: а ведь, верно, нельзя было ей работать, умерла вишь. И Николай Леонидович и сама Наталья Кузьминична называют несколько таких случаев. И все же Наталья Кузьминична идет на работу, тем более что выглядит она куда лучше многих здоровых

молодых женщин — они ведь с весны все в работе, а она и в больнице лежала, где за ней уход был, кормили хорошо да во-время, и дома вот уже сколько времени сидит, спит, «как барыня», ест, когда положено и не всухомятку.

По тому, как Наталья Кузьминична собирается на работу, я вижу, что она даже рада этому. Сказывается многолетняя привычка к труду, именно к крестьянскому труду, без которого как-то скучно. И еще ей хочется быть с людьми, на людях, знать все деревенские новости, участвовать в их обсуждении.

Наталья Кузьминична одевает чистое, хотя и не новое, много раз стиранное платье, повязывает голову чистой белой косынкой, сперва одевает темный фартук, в котором убирает скотину, но потом, раздумав, достает ослепительно-белый. Она некоторое время колеблется, брать грабли или не брать,— не наказывали с чем выходить,— потом решает все же взять: ведь придется подгрести. За ней заходит товарка, и они вдвоем отправляются на Попово поле.

В обед Наталья Кузьминична приходит домой побледневшая, но после обеда все же снова идет работать. Не пойти ей никак нельзя, она уже чувствует себя связанной с теми женщинами, которые работали вместе с ней: они-то ведь пойдут.

Часу в шестом пополудни мы ходили к «городищу», мимо Попова поля. Хлеб еще не весь убран. Он стоит редкий, между стеблями зеленеют сорняки. Сорняков так много, что жнивье не выглядит жнивьем, оно все зеленое, словно это скошенный луг с хорошо отросшей отавой. Странно и необычно выглядят желтые снопы на яркой зелени. Только когда подойдешь поближе, видишь, что из травы и бурьянов торчат редкие, срезанные жнейкой стебли.

Тут же, вместе с другими женщинами, работает Наталья Кузьминична. Работает она лучше других, подгрести граблями колоски.

Выздоровевший к вечеру Николай Леонидович с обидой в голосе рассказывал про вчерашнее партийное собрание. Собрание проводила Ростовцева. Обсуждали ход уборки зерновых,— в колхозе убрано пока что сорок процентов. Мешают уборке дожди. Но главная помеха в том, что один из двух комбайнов, прикрепленных к колхозу, отдали соседям. И еще плохо с выходом на работу, вернее на работу выходят охотно, но все же часть времени теряется колхозниками на поездки с вишней и огурцами в областной город. Николай Леонидович считает, что не пускать колхозников на базар нельзя — товар гибнет. Ростовцева, однако, думает иначе. Она распекала бригадиров и председателя колхоза за срыв уборки, за плохую организацию труда, поставила вопрос перед собранием о взыскании с бригадира Свайкина двадцати восьми тысяч рублей, якобы за проросшую пшеницу: ее, мол, сжали жнейками и не связали в снопы, оставили в поле, уехав с вишнями на базар, она и проросла. Николай Леонидович доказывал, что пшеница не проросла, что Свайкин поступил правильно, отпустив часть людей на базар, с тем чтобы они на другой день вязали снопы. Ростовцева наставляла на своем. На стороне Ростовцевой был и Антон Иванович Чашников, который, однакоже, бригадиром быть не хочет, живет себе хуторянином.

Николай Леонидович говорил коммунистам, что ему очень трудно, что он не может не отпустить колхозницу на базар. Он спрашивал совета, как ему поступать в таких случаях, говорил, что от многих коммунистов, в том числе от Чашникова, помощи он не видит. Тот же Чашников, человек опытный, если усмотрит где непорядок, не скажет председателю, не посоветует, как ему быть, а сразу пишет в райком. Николай Леонидович назвал Чашникова американским наблюдателем. Тут Ростовцева, что называется, взвилась, стала говорить о политической ошибке, допущенной Николаем Леонидовичем, стала, как говорится, прорабатывать председателя. Для ее метода руководства, который состоит из так называемой накачки, угроз и требований, Чашников очень подходящий человек. Он о каждой промашке Николая Леонидовича донесет; Ростовцевой и ездить в колхоз не надо, чтобы быть в курсе дел. Таким образом, молодого и честного председателя, который изо всех сил старается поднять колхоз, она считает плохим коммунистом, а хуторянина Чашникова, записавшегося в старики, ничего не делающего в колхозе, живущего для себя и пишущего в сущности доносы, она считает хорошим коммунистом.

Вот почему заболел вчера Николай Леонидович.

*

Миновал год, и вот я снова подъезжаю к Райгороду...

Ночью был дождь. Травы унизаны капельками воды, и когда сквозь серые рваные облака пробивается солнце, каждая травинка одевается радужным сиянием. По временам набегают черные, как бы смазанные тучи, из которых, сверкая на солнце, лениво сыплются крупные дождевики. Могучие старые ветлы вдоль шоссе ветвями своими закрыли почти половину дороги. Чем ближе к Райгороду, тем наряднее избы,— с железными, красными и зелеными крышами, с белыми и голубыми наличниками, с выкрашенными в охру, сурик или ультрамарин террасками. Иной затейник всю избу окрасил суриком, лазурью или нежной зеленью. Или крышу покрыл голубой краской либо малиновой. В окнах, на белых подоконниках, теснясь к стеклам, красными и розовыми пучками пестреет герань. Нарядно живет райгородский крестьянин!

Подъезжаем к Ужболу, видимому издалека. Луга под горой, на которой стоит село, уставлены стогами сена. По обеим сторонам села, на мягко опускающихся к низине склонах, где в прошлом году была рожь, стоят стога скошенного клевера, желтеющие среди сочной отавы.

Это очень внушительное зрелище — село, обставленное стогами.

Николай Леонидович рассказывает, что клевера нынче хороши, да и вообще сено в этом году укосно. Скосили уже тонн пятьсот, осталось столько же, если не больше.

А в прошлом году всего накосили семьсот.

О кукурузе он говорит, что она плоха: низкая, желтоватая, вся заросла сорняками. Посеяли пятьдесят гектаров. Сеяли, когда земля была холодная, но начальство торопило — надо было выполнить план. Из-за холодов кукуруза всходила медленно, зато жизнестойкие и неприхотливые

сорняки лезли вовсю. На одном участке, расположенном высоко, где земля скорее прогрелась, кукуруза быстро взошла и сейчас выглядит неплохо. А вся остальная пропадет, потому что прополоть ее нет возможности. Завтра одно поле будут перепахивать.

Одним словом, из кукурузы в нынешнем году ничего не выйдет,— заняли землю, затратили много труда, горючего, семян, и все это пошло прахом. Страшно, однако, не столько это, сколько то, что отличную, очень выгодную культуру скомпрометировали в глазах народа.

Мне кажется, что для начала надо было посеять гектаров десять, да сеять, когда прогреется земля, и был бы урожай. Десять-то гектаров прополоть было бы не трудно. Народ понял бы все преимущества и всю выгоду кукурузы, и на будущий год можно бы увеличить площадь посева. Но запланировали, не испытав и не проверив, именно пятьдесят, с самого начала загубили дело вредной поспешностью, продиктованной оглядкой на областное начальство, а теперь, хотя дело погублено, планируют на будущий год уже восемьдесят гектаров кукурузы.

Но кто же станет работать зря? Даже если колхозники и не были бы заинтересованы в урожае, в трудодне, если бы получали они зарплату, все равно не станут они заниматься бесплодным делом.

Проходя мимо избы Павла Ивановича, трудолюбивейшего из здешних стариков, увидел у него на огороде отличную кукурузу. Посеял он ее просто так, из интереса, сеял и в прошлом году и собрал спелые початки. Соберет и нынче, надо полагать, хотя весна была поздняя и холодная,— кукуруза у него уже по плечи, каждое растение, раскинув листья, стоит зеленое на чистой черной земле. Так, вероятно, узнав свою выгоду, начинали здесь некогда сеять лук, цикорий, горошек, мяту, тмин. Приказом-то не очень возьмешь, необходим пример.

Из всего этого следует, что новый порядок планирования, из-за канцелярских методов, которые губят живое дело, пользы пока что не принес.

Считается, что планирует колхоз, но, как рассказал Николай Леонидович, если составленный правлением и утвержденный общим собранием план не отвечает представлениям начальства, то райисполком его не утверждает. Не в отношении количества продукции, которую должен сдать колхоз,— это было бы понятно, потому что исполком обязан следить, чтоб не нарушались интересы государства,— а в отношении площадей и культур.

Здешнему колхозу, например, запретили чистые пары, планируют ему пары занятые. Но земли здесь очень засорены, навозу мало, и поэтому в чистых парах пока что спасение. Мало того, когда пары будут заняты, то есть засеянные однолетними травами или же овощами, колхоз не успеет посеять в срок озимые,— пока скосят сено или уберут овощи, пока вспашут землю под озимь, глядишь наступит ранняя в этих местах, дождливая осень. Да и вообще, зачем за счет чистых паров увеличивать посевные площади, если имеющаяся у колхоза земля из-за недостатка рабочих рук плохо используется. Правильнее, мне кажется, было бы все усилия направить к тому, чтобы как можно лучше обрабатывать и удобрять эту землю, чтобы тщательно и в срок пропалывать посевы и таким образом, а не за счет расширения площадей, увеличивать производство зерна и овощей.

Заняв же пары, можно лишь увеличить площадь зарастающих сорняками полей, увеличить потребность в изнуряющей человека прополке, сознательно идти на то, что часть урожая останется в поле.



В колхоз недавно вступило шесть человек. Все больше и больше становится в Ужболе изб под дранкой и железом, окрашенным в зеленый или красный цвет. Починили возовые весы,— до недавнего времени они стояли покосившиеся, а теперь их выпрямили, и они светлеются свежими тесинами. Построен телятник, начали строить шлакобетонный птичник. Построили несколько силосных ям — кирпичных, цементированных, и теперь стали закладывать силос.

Особенно радуется богатый урожай трав Наталья Кузьминична то и дело восклицает: «Сено-то нынче как малина!» Кажется, что и природа решила помочь выбирающемуся из нужды колхозу. Впрочем, небывалые урожаи и прежде бывали, а скотина падала от бескормицы, потому что люди, ничего не получая, оставляли луга некошеными. Сильнее природы оказались знаменитые сенокосные трудодни: десять процентов сена, которые получает каждый, работающий на сенокосе. Теперь и молодому председателю стало легче.



Наталья Кузьминична говорит: «Красная сторона», то есть южная, солнечная... Зимой, говорит она, на красной-то стороне хорошо, в избе и светлее и теплее, а летом — жарко. Зимой так и говорят: «Вы-то на красной стороне живете, вам хорошо!» Много древнего сохранил здешний язык.



На исполкоме идет разговор о кукурузе. Василий Васильевич вызвал председателей колхозов и весьма сурово внушает им, что необходимо принять все меры и прополоть кукурузу, в противном случае виновные будут наказаны. Председатели отлично понимают ложность положения, в каком находится сейчас Василий Васильевич,— агроном с высшим образованием, он ведь не хуже их знает, что во время сенокоса, в самый канун жатвы, в разгар прополочных работ на уродившихся дивно овощах и луке нельзя и одного человека послать на прополку чахлой, ничего не сулящей кукурузы. Но председатели делают вид, что мобилизуют все силы и кукурузу прополот. И Василий Васильевич понимает, что они именно «делают вид».



Часу в восьмом вечера отправились в «городище». Солнце еще не село, а в небе уже стоит половинка бледной луны. Мы идем так называемой нижней дорогой, между простершимися к озеру лугами и крутой, длинной грядой, по склону которой уходят вверх поля.

Городище открылось неожиданно, за поворотом.

Два оврага устьями своими выходят на топкую, истоптанную скотиной лужайку, уже скошенную, с одиноким стогом сена. Лужайка эта — часть бывших здесь некогда сплошных болот, достигающих озера. Теперь эти болота местами осушены, местами же непроходимы, как и тысячу лет назад. Овраги разделяются длинным и высоким холмом с узким лобастым склоном. Склоны оврагов и холма поросли орешником. Овраги, извиваясь, тянутся далеко вглубь полей.

На этом холме, должно быть, и было «городище» древнее поселение, вероятно Ужбол, сперва — мерянский, а потом и княжеский.

Холм с одной стороны защищен был болотом, с двух других — оврагами, и только третью сторону, обращенную к полю, приходилось оборонять. По тем временам это было превосходное естественное укрепление. Впрочем, судя по тому, как округл и ровен спускающийся к лужайке склон холма, кое-что здесь сделано было руками человека. Был, надо полагать, на холме и крепкий тын, за которым отсиживались от неожиданно нагрянувшего врага. Можно и не знать, что это городище, и все равно догадаться, что здесь было укрепленное поселение. Многие здесь отдаленно напоминают крепостные валы.

На лужайке и в устьях оврагов сыро и холодно.

А на холме, как я считаю, в самом городище, когда мы поднимаемся, снова тепло. Всюду кудрявится орешник и светлеют среди листвы пучки еще не созревших орехов. Множество цветов: иван-чай, ромашки, колокольчики, заячий горошек... Холм обширен, как бы уютногм врезается он в заболоченную лужайку, надежно охраняют его глубокие овраги.

Древняя здесь земля!..

✱

Зной, и духота, и звенящее солнечное безмолвие...

Изредка простучит по булыжной мостовой телега. Прозвучит женский голос — напевный, с растянутыми окончаниями слов...

Так весь день.

В обед Наталья Кузьминична пришла с поля красная до малиновости, распаренная, — как она говорит: «Совсем ужарела». Она ворошила сено. Есть она почти не стала, растянулась на полу в избе. Спит и Николай Леонидович на сундуке в полутемных сенях, именуемых — мост. Как дохлая, вытянулась кошка на широкой доске под крышей на дворе, — доска переброшена на сеновал. На дворе темно и душно, на земляном полу лежит ослепительная полоса света, падающая сквозь щель приотворенных ворот. С сеновала тянет горячим свежим сеном. Свешиваются вдоль рубленой стены длинные окосья семи или восьми кос, грабли стоят в углу, пахнет навозом из коровьего закута... На двор из избы ведет дверь, выходящая на широкий помост, — род балкона, — с крутой, бегущей вдоль стены лестницей. Через перила помоста и лестницы перекинута мешки, рядна...

В темноте на мосту, в черной рубленой стене резко светится солнцем маленькое волоковое окошко, в которое вставлено стеклышко. Похожая на

огромную деревянную рюмку, грубо вырезанную из большого и толстого корявого бревна, стоит у стены ступа,— что-то в ней древнее или сказочное. Тут же кадушки, ивовые корзины, бадьи...

А в избе, в горке, фарфоровая «кузнецовская» масленка в форме барана, затейливые, толстого, пожелтевшего уже стекла вазочки, пузатенькие, несколько неправильной формы рюмочки с полустершейся золотой надписью: «Кушай», красное стеклянное яичко с золотым узором, раскрашенными, вырезанными из картона фигурками ангелов и святых в овальном оконце, наконец большой стеклянный лиловый шар, из тех, какие лет сорок назад украшали собою клумбы на дачах.

А в чемоданах можно найти вискозные тенниски, шелковые платки, скатерти, салфетки...

И батарейный радиоприемник на комодке.

✱

К обеду в небе стали появляться легкие тучки. Брызнул дождик.

В третьем часу пополудни, когда мы шли в Райгород, было жарко лишь в те короткие мгновения, когда из-за тучи появлялось солнце, но стоило ему скрыться за ней, и откуда-то тянуло прохладой. Туча наползала из-за Урскола.

Гремело вдалеке. Белая молния вспыхнула в белесом небе за деревянными главами Ивана Богослова. А над нами, впереди нас и далеко за озером сияло солнце — вернее, освещенное солнцем небо.

Небо все светилось. Правда, от тучи на земле лежала тень, и Дмитриевский монастырь силуэтом стоял на косе возле озера, но само озеро было солнечно-голубым, а на другом его берегу сияли в лучах солнца поля, луга, избы и белые церкви деревень,— сияние их еще усиливалось темной землей нашего берега и отчетливым силуэтом Дмитриевского монастыря.

Меж тем туча настигала нас, а слева, как бы нам наперерез, шла другая, значительно меньшая, но находящаяся к нам ближе, с протянувшимися к земле нитями дождя. На ее фоне, на окраине близкого уже города, сверкали серебряные цистерны. Приближение этой другой тучи ознаменовалось тихим ропотом листвы тополей, мимо которых мы шли. Это был тревожный, торопливый разговор деревьев, быстро перебирающих листвой, словно совещающихся о чем-то,— так бывает только перед дождем, и этот шум несколько не походит на тот, когда деревья просто шумят на ветру...

Едва мы вошли в город, упало несколько дождевых капель. Отсюда, от городской черты, нам видно было, как тучи, до этого словно спешившие сразиться, стали медленно уплывать на север.

Небо становилось чистым, только северная его окраина густо чернела. Но это было далеко, что можно было понять по глухому раскату грома.

А в городе было солнечно и душно. На почте, в комнате, где телеграф и междугородный телефон, девушка за окном, прорубленным в толстой стене, повторяла текст телефонограммы:

«Гроза ушла из пределов района на север... на север».

Мы зашли в кремль, и я встретил здесь Александра Ивановича Кривцова, прораба, который руководит работами по реставрации кремля. Александр Иванович, коренной райгородский житель, на мой взгляд, один из примечательных людей города. Я вспомнил, как познакомился с ним весной 1953 года, и когда мы вернулись вечером в Ужбол, перечитал относящуюся к этому времени запись, которую и привожу здесь без каких-либо изменений.

«Пришел местный «винодел», начальник ремстройконторы ткацкой фабрики — Александр Иванович Кривцов. Это — высокий, плотный, крупнолицый человек с бритой головой, винодел и садовод. Руки у него исцарапаны: сегодня воскресенье, и он обрезал крыжовник. Он рассказывает, как ухаживает за крыжовником, черной смородиной.

С 1938 года, прочитав брошюру о том, как делать плодово-ягодное вино, Александр Иванович увлекается виноделием. Он принес с собой бутылку из-под шампанского с черносмородиновым вином. Бутылка залита варом. На ней фанерная бирка: какое вино, какого года розлива. Эта бутылка оказалась 1948 года. Вино чуть кислит, но сладкое, очень вкусное. Оно густого красного цвета.

Александр Иванович по-детски радуется, когда хвалят его вино, причем, как он считает, понимающие люди. «Иному дашь,— говорит он,— а тот: ничаво, сладкое... Не запеканка ли?»

После усиленных наших похвал, Александр Иванович побежал домой, принес из погреба другую бутылку,— она в паутине и в земле. Это — крыжовенное, урожая 1950 года. Оно белое, крепкое, к нему прибавлен спирт.

Вина Александр Иванович ежегодно готовит литров сто восемьдесят. И все выпивает: пьет дома с гостями, носит приятелям, особенно если кто в больнице. Он считает свое вино целебным. В этом есть резон: оно ведь из ягод и сахара.

Между прочим, бутылки из-под шампанского Александр Иванович берет потому, что обыкновенные — разрывает или вышибает из них пробку. Он вспоминает, что когда только занялся виноделием, то пригласил гостей отведать своего вина, но получил конфуз: гости ожидают, а он полез в погреб за вином, глядит — все оно на полу: пробки вышибло!..

Ко всему этому Александр Иванович еще и охотник и рыболов. Но об этой своей страсти он рассказывает, добродушно посмеиваясь. Видно, что, будучи человеком компанейским, охоту и рыбную ловлю он любит из-за возможности быть среди людей. Он рассказывает несколько забавных, типично охотничьих историй.

О том, например, как семидесятилетний поп Иван, завзятый рыболов, решил зимой половить рыбу из лунок другого старика, знавшего «места». Поп провалился в воду, а старик, пришедший ловить рыбу, извлек его из проруби, положил, в обледеневшем тулупе, на салазки и отвез попадье. Некоторое время спустя старика позвали к попу. Старик решил, что поп отходит и хочет попроситься с ним,— они были дружны. Но поп, когда старик пришел, был здоровехонек. Пребывание в проруби на морозе ему нисколько не повредило. Он стал уговаривать приятеля уступить ему по дружбе лунки.

В рассказах этих — старый Райгород».

Сейчас, спустя два с лишним года после знакомства с Кривцовым можно о нем добавить следующее. Летом 1953 года, повздорив с начальством, он ушел с ткацкой фабрики, где проработал много лет, отремонтировал и построил много домов. Он решил поступить на «легкую» работу в кремль. Работа в кремле, в музее, не имеющем денег, была бы и впрямь легкой,— мелкий ремонт зданий. Но над Райгородом спустя несколько дней после ухода Александра Ивановича с ткацкой фабрики пронесся ураган, кремль потерпел страшные разрушения, и было решено приступить к его реставрации. Александр Иванович назначен был производителем работ. Вот уже два года как работает он в этой должности, и работает, надо сказать, хорошо, споспешествуя, как говорили в старину, украшению родного города. Понятно, что работа эта далеко не тихая, были у Александра Ивановича и неприятности, известные каждому строителю, и он с простодушной усмешкой рассказывает при встречах, как искал себе тихого стариковского местечка.

✱

На дороге в Ужбол меня окликает Виктор, старший сын Наталья Кузьминичны. Он ведет трактор «Беларусь», к которому прицеплена тележка. Тракторист сидит рядом с Виктором, уступил ему баранку, и тот горд, приглашает меня сесть в тележку Виктор работает учетчиком тракторной бригады, а сейчас, объясняет он мне, они отвезили сено в счет госпоставок.

В начале мая Виктор вернулся домой из Донбасса, где жил последние два года. В колхоз вступать он не хотел, боялся, что заставят работать на лошади, да и вообще считал колхозную работу «низкой». Он вскопал матери всю усадьбу, разделал и набил навозом гряды. Я как раз приезжал тогда в Ужбол и помню, как Николай Леонидович предлагал Виктору вступить в колхоз, работать молотобойцем, чтобы выучиться на кузнеца. Но Виктор все не решался. Ему двадцать семь лет, сложения он могучего, удивительно силен и добродушен. Он еще не женат, никак не выберет невесты, хотя на примете и есть одна девушка из дальнего лесного района, из «леснины», как говорит Наталья Кузьминична. Девушка эта работает там колхозным счетоводом, за Виктора пошла бы с охотой. Но он все раздумывает, не решается. Работой своей в тракторной бригаде, видать по всему, он увлекся, старается изучить все виды тракторов и не без гордости рассказывает мне сейчас, что ездил уже на всех тракторах, кроме «ДТ-54». Виктор ходит еще и на покос вместо матери, помогает ей на усадьбе. Судя по всему, он заработает немало хлеба и денег. А сена — и как учетчик и за косьбу — уже и сейчас много заработал. Специальности у него почти нет, и в городе он заработает куда меньше, нежели в колхозе, особенно если учесть доход с усадьбы. Наталья Кузьминична, сообразив, что весна нынче поздняя и холодная, мало посадила огурцов и помидоров — неурожай на них будет, — зато луку посадила уйму. По всем приметам, ей известным, лук должен был уродиться. И верно, лук

уродился на славу. Она выручит за него тысяч десять. Вот если бы так могли планировать и председатели колхозов.

А с усадьбы, мне кажется, и началась перемена судьбы Виктора.

В марте нынешнего года зашел ко мне в Ужбол Иван Федосеевич. Он задержался и заночевал, а утром, лежа на печи, завел с Натальей Кузьминичной несколько ленивый, как бы праздный разговор.

«Ты кто,— спросил он,— колхозница или избе своей сторож?»

Чувствуя себя как бы ответственным и за Наталью Кузьминичну и за Ивана Федосеевича и желая как-то сгладить неловкость этого разговора, я поспешил сказать, что Наталья Кузьминична больна и работать в колхозе ей врачи не разрешают. Но Иван Федосеевич не унимался. Он спросил, есть ли у Натальи Кузьминичны дети, а когда узнал, что один ее сын в армии, но есть еще и другой, в Донбассе, то совершенно спокойно рассудил:

«Был бы я у вас председателем, отрезал бы половину усадьбы, или пускай сын возвращается в колхоз. Не оставил бы тебе сорок пять соток».

«Это как же,— несколько даже растерялась Наталья Кузьминична.— Кто бы тебе позволил?»

«А вот так. Собранием бы решили».

«Да мы бы тебя, морготного, с председателей прогнали».

Тут настала очередь удивиться могущественному Ивану Федосеевичу, с которым любогостицкие колхозники не посмеют так разговаривать, с которым и начальство говорит почтительно, выбирая выражения. Он спросил с удивлением:

«Это как же, прогнали бы?»

«Да вот так. Не охальничай!»

Я похолодел от неожиданного оборота, который принял разговор. Но друзья мои продолжали разговаривать довольно мирно, не видя во всем этом ничего для себя обидного.

Должно быть, все же разговор этот запал в душу Натальи Кузьминичны. А тут еще спустя некоторое время и в Ужболе, на правлении, заговорили о том, чтобы у таких, как Наталья Кузьминична, отрезать часть усадьбы. Сперва Наталья Кузьминична не хотела верить, что Николай Леонидович, который живет у нее, да к тому же не морготный, не охальник, как Иван Федосеевич,— чтобы мягкий и деликатный Николай Леонидович согласился с таким предложением колхозников. А потом, убедившись, что это именно так, она хотела было не пускать Николая Леонидовича к себе в дом, но, отойдя и смягчившись, все же пустила, предварительно отругав. Во всяком случае, она сочла за благо вызвать Виктора домой. Правда, поскольку второй ее сын в армии, усадьбу не отобрали бы, но все же, кто его знает, чем обернется дело. Чем искать где-то справедливости, пусть уж лучше Виктор живет дома. Раз уж такие пошли разговоры, хлопот и беспокойства не оберешься.

Вот так и случилось, что Виктор стал работать в колхозе, и, как мне кажется, работой своей, да и вообще жизнью, весьма доволен. Сказалось, я думаю, и то, что и мы с Андреем Владимировичем советовали ему так поступить, что вообще Виктору жить в доме, где бывает Андрей Вла-

дмирович, где живет Николай Леонидович, куда и мы часто приезжаем, интересно.

Парень он работающий, трезвый, имеющий вкус к культуре, — он любит слушать радио, читать газеты. Вот и надо бы, чтобы доступнее было каждому здешнему молодому человеку то, что Виктор имеет благодаря общению с нами, с Николаем Леонидовичем, который привез сюда свой приемник, приносит газеты и журналы. Надо, чтобы всего этого было больше в деревне. И дело не только в том, что надо выпускать побольше интересных книг и журналов, да по дешевой цене. Дело не только в том, что надо больше выпускать хороших и дешевых приемников, мотоциклов, музыкальных инструментов. Надо еще и пропагандировать все это и многое другое, что украшает жизнь. Тут нужны бы своеобразные бесплатные преискурранты, проспекты, из которых видно было бы, как и какими предметами можно обставить свой быт, какие журналы следует выписывать, какие книги читать. Надо приучить Виктора к необходимости иметь свою библиотечку, и не в сундуке или на подоконниках, а на красивой полке, иметь репродукции с хороших картин, хорошую и красивую посуду... Потребности его еще весьма ограничены, об очень многом он и понятия не имеет, — не знает, к примеру, о существовании многих журналов, лишен возможности, имея деньги, выписывать их. Все это не требует дополнительных затрат ни материалами, ни деньгами. Сколько тратим мы на бездарную, никому не нужную рекламу, сколько изводим бумаги на серые и скучные издания, — магазины забиты ими, — сколько изводим сырья на производство плохих, почти не раскупаемых вещей. В этом последнем легко убедиться, зайдя в любой райгородский магазин: в промтоварный, книжный, посудный, мебельный, культтоваров...

✱

Приехал из Москвы Андрей Владимирович. После обеда, как повелось у нас, мы отправились с Андреем Владимировичем в Бель, посмотреть, каковы в нынешнем году травы.

Увидев Андрея Владимировича, два немолодых уже колхозника на конных косилках остановились поздороваться. Оба они стали вспоминать, с какой неохотой занимались некогда осушением, как поносили Андрея Владимировича, когда надо было ему помочь, считая, что это не им, а ему нужно осушить болото. Собственно и осушали-то не они, не колхоз, а лугомелиоративная станция, по инициативе и по планам Андрея Владимировича. Но когда нужно было дать лошадь для каких-либо работ опорного пункта или выделить несколько пареньков и девчат, чтобы собрать семена дикорастущих трав и помочь пункту посеять их, — крику и ругани было много. Случалось, травили молодые луга: загоняли на них скотину, ездили где не следует, чтобы сократить дорогу... А теперь, посмеиваясь, оба колхозника хвалят эти богатейшие луга, могучий их травостой.

Как тут было не позавидовать меллиоратору, устраивающему землю, счастливой его возможности увидеть на месте болотной дичи — высокую, по пояс, траву, вдоль которой бегут конные косилки.



Завтра мы поедем с Андреем Владимировичем к Ивану Федосеевичу. Андрей Владимирович вспоминает, как познакомился он с ним, когда приехал сюда работать. Кажется, это было в 1947 году.

Приехал, говорит он, в колхоз, председателя в конторе нет, сижу на завалинке, ожидаю. Выходит из соседней избы старушка. «Ты, говорит, родимый, к кому, не к председателю ли?» — «К нему», — отвечаю. «Он ведь у нас зверь!» — продолжает старушка. «Как зверь?» — «Да так. Чуть что не по нему, становит перед собой и бьет. Но только жить-то мы при нем начали. Дочка моя — шестнадцать тысяч нынче заработала». Потом, рассказывает Андрей Владимирович, пришел Иван Федосеевич, познакомились. Узнав, что приезжий — мелиоратор, председатель тут же потащил его смотреть поля.

Андрей Владимирович не ожидал, что в первый же приезд ему придется ходить по болотам, и потому был не в сапогах, а в туфлях. Но отказываться было не совсем удобно, и он пошел. Встретилось им одно очень топкое место, обойти его нельзя было, но и в туфлях лезть в болото тоже не хотелось.

Тут председатель колхоза неожиданно наклонился и коротко предложил: «Полезай!» — «То есть как это полезай?» — удивился Андрей Владимирович. «А вот так. На закорки!» И понес мелиоратора через болото.

Очень характерна для Ивана Федосеевича та естественность и простота, с которой он это сделал. А что до рассказа старушки о его жестоким нраве, то тут, мне представляется, дело обстоит так.

Иван Федосеевич действительно вспыльчив, люто ненавидит лодырей и расхитителей колхозного добра. С такого рода людьми он бывает груб, а честных колхозников уважает, хотя при некоторой жесткости характера своего не всегда найдет доброе слово. Но таким вот старушкам нравятся, я думаю, творить легенду о крутом нраве председателя. Это как бы освещает их существование неким романтизмом, придает им своеобразную исключительность: мы, мол, не как другие прочие люди, и председатель-то у нас особенный...

Тут я вспомнил некоторые из наших встреч с Иваном Федосеевичем, бегло записанные в разное время, перелистал свои старые записные книжки и выписал сюда то, что сумел разобрать.

В 1953 году, ранней весной, я ночевал у Ивана Федосеевича. Он жил тогда в небольшой деревеньке Стрельцы, где в начале тридцатых годов его выбрали председателем колхоза. Позднее, в пятидесятых годах, колхоз этот объединился с соседними артелями, правление перешло в большое придорожное село Любогостицы, но Иван Федосеевич оставался жить в Стрельцах, хотя своего дома у него там нет, он квартирует у какой-то старухи, совершенно ему чужой.

Иван Федосеевич — одинок. С женой не живет. Сошелся с другой женщиной, лет сорока, вдовой, у которой от него ребенок. Живут они не вместе: говорят, против того, чтобы жили одним домом, возражает ее мать.

История этой женщины такова. У нее была сестра, вышедшая замуж за несколько дней до начала войны. Как только началась война, мужа призвали. Спустя положенный срок молодая родила, но после родов серьезно заболела. Муж ее в это время служил в запасном полку не очень далеко от здешних мест, и его отпустили на побывку, к больной жене. Когда он приехал, жена уже умерла. Мать умершей, старуха, видать умная и властная, сообразила, что ребенку будет худо без матери, и, пока зять был в отпуску, выдала за него свою вторую дочь. Сыграли свадьбу, и солдат отправился в часть. Пришло время, и женщина эта родила. Воспитывала она, как своего, и ребенка сестры. Муж ее с войны не вернулся, он был убит, и она сошлась с Иваном Федосеевичем, от которого, как я уже сказал, у нее тоже ребенок. В колхозе она работает свиначкой.

У Ивана Федосеевича нет никакой в сущности собственности: ни мебели, ни посуды, ни лишней одежды, ничего, кроме книг. Он все время покупает книги, прочитает, а бабушка, как здесь произносят, складывает их в сундук. Читает Иван Федосеевич много, рассказывает, что как бы поздно ни пришел домой, обязательно часок-другой перед сном почитает. Больше всего он любит «Войну и мир» и «Фому Гордеева», которые перечитаны им по многу раз.

Со стороны поглядеть, неустроенно он живет. Все мысли и мечты его — в колхозе. Одет он в дешевенький синий шевяотовый костюм, керзовые сапоги, старенький плащ. На голове — черная кепка. Это и в праздник и в будни. А зарабатывает немало. Быть может, эта его невзыскательность, эта одержимость работой и, я бы сказал, умственными занятиями мешают ему иной раз понимать материальные и бытовые нужды колхозников, которые, хотя и уважают его, но, как мне кажется, любви к нему не чувствуют.

Мы идем с ним по сырым полям, шагаем через осушительные канавы, полные мутной воды. Льет мелкий дождик. Каждая травинка омыта водой, и все вокруг выглядит на диво свежим и чистым.

Иван Федосеевич рассказывает, что в религиозные праздники он дома не сидит. В деревне пьют, могут прийти гости, пристанут: выпьем, мол. Отказаться же нельзя — обидятся. И вот он уходит в поля. Все колхозные земли обойдет за день: думает, планирует... Он очень любит, говорит он, ходить пешком, особенно по полям.

О своей семье — о жене и старшем женатом сыне — он говорит, что они собственники. Из-за этого он и не живет с женой: она считала, что раз она жена председателя колхоза, то и работать в колхозе не должна и всеми выгодами пользоваться... А вот меньшая дочь у него, как он говорит, выродок в семье, — очень она к общественной собственности привержена, из нее человек будет. С удивительной силой он вдруг произносит: «Ненавижу я эту частную собственность!» И при этом с какой-то застенчивой нежностью принимается говорить о Нагульнове.

По раскисшей дороге молодой колхозник везет в телеге лук. Он сидит, свесив ноги, спиной к нам, не считает нужным повернуться и поздороваться с председателем колхоза. Иван Федосеевич окликает его, не здороваясь,

спрашивает что-то о луке, тот хмуро отвечает. Потом парень трогает с места, и мы тоже идем дальше.

Иван Федосеевич объясняет мне, что это старший сын.

А вот еще одна встреча с Иваном Федосеевичем, в том же 1953 году, но только летом, кажется в двадцатых числах августа.

Мы шагаем среди дремучего, в человеческий рост, кустарника. Из-под сапог с чавканьем выступает болотная вода. Потрескивая, расступается сплошная стена ветвей, с которых сыплется на нас первые сухие листья и перезревшие ягоды малины. Сорвавшиеся паутинки липнут к нашим потным лицам. Невыносимо трудно все время видеть перед собой эти качающиеся ветви, и только при взгляде вверх, на спокойное и просторное небо, глаза отдыхают. Иван Федосеевич с неожиданным озорством, с какой-то ребячливостью, удивительной в пожилом человеке, говорит, что если он сейчас оставит меня здесь одного, то мне нипочем отсюда не выбраться. Вот тут-то я и понял, откуда пошло поверье, будто на заросшем кустами болоте «водит».

Потом мы вышли из кустарника и зашагали вдоль обширного поля, где посеяны на силос подсолнух с овсом и горошком. В поле этом — гектаров пятьдесят, не меньше. Иван Федосеевич рассказывает, что еще прошлой весной здесь было такое же, в диких кустах, болото, стояла вода, но летом это болото распахали. Нынешней весной по распаханному кустарнику прошли дисковой бороной. А двадцатого июня посеяли подсолнух, горошек и овес, и вот сейчас, во второй половине августа, все это уже можно убирать и силосовать.

Шагаем дальше, скошенным лугом, на котором, словно избы в большом селе, рядами стоят стога сена. Оказывается, здесь тоже было болото. Его вспахали в пятидесятом году. Два года здесь рос овес, — год на зеленый корм, год — на зерно. Затем залужили клевером и «timoшкой». И вот — первое сено с молодого луга.

А за лугом — недавно распаханный кустарник: черная земля, корни, ветви кустов... Все как бы сплошь застлано хворостом.

Иван Федосеевич объясняет, что такие заболоченные кустарники пропадали зря. Если и срубить их, корову не вгонишь — косоруб, корова накальвает копыта. Земля же здесь хорошая. Он ворошит ветви, кострами лежащие на земле, и показывает мне: черная смородина, малина, шиповник, ольха... При этом он рассуждает: «Где растет малина и ольха, там земля плодородная. Ольха — азотособираетелъ: из воздуха в землю откладывает азот... Крапива с малиной на плохой земле не растут!» И такая вот добрая земля, говорит он, оставалась неудобью. Но он придумал вот так вот распахивать кустарник, и это болото тоже станет культурным лугом. Будущей весной он засеет его овсом и травами, а к пятьдесят пятому году здесь будет такой же точно луг, как и тот, мимо которого мы только что прошли и где стоят душистые на солнце стога.

Так, разговаривая, мы входим в каменистое поле, — камня очень много; как на севере. Иван Федосеевич, оживляясь, сообщает еще об одной своей придумке. Он говорит, что камень этот, когда вывозят в поля удобрения, забирают обратным рейсом. Получается тройная выгода: очищаются поля, транспорт не делает холостых ездов, камень идет на фундамент для вся-

кого рода хозяйственных построек. Мысль этого человека постоянно работает в таком вот направлении, и есть в этой работе расчетливой мысли нечто артистическое.

Когда мы проходим мимо экскаваторов, роющих магистральный канал, который станет забирать из осушаемых болот излишнюю влагу, Иван Федосеевич жалуется, что экскаваторщики работают без присмотра. Экскаваторный трест — в Москве, экскаваторщики же здесь, — придет кто-нибудь из Москвы, посмотрит, тем дело и кончится. Технический надзор должно бы осуществлять Областное управление сельского хозяйства, но они ведь привыкли сводки составлять, а тут на них свалилось производство, вот они и не знают, что делать. Меж тем возникают разные вопросы: например, кто станет убирать землю, вынутую из канала и наваленную по обеим его сторонам? Договор с экскаваторным трестом колхоз заключил на рывке канала, а уборку земли не предусмотрели, специально не оговорили. А экскаваторы уже вынули тысяч двадцать кубов, надо эту землю разровнять, она же поля портит... Но кто станет это делать и чем? Можно бы, соображает вдруг Иван Федосеевич, на «кошку» корчевателя положить лист железа, получился бы вроде бульдозер. Но экскаваторщикам до этого нет дела, Москва — далеко, а Областное управление сельского хозяйства — канцелярия.

Мы уже несколько устали с Иваном Федосеевичем и решили, что пора возвращаться в деревню. От экскаваторов мы взяли наискосок, к скотному двору, сложенному из красного кирпича, с двумя тесовыми, потемневшими от времени и отливающими серебристым шелком, силосными башнями. Здесь нам пришлось пересечь еще один осушительный канал — действующий, — через который переброшен жидкий деревянный мост. Иван Федосеевич посмотрел на мост, усмехнулся и рассказал мне следующую, весьма грустную историю.

На строительство осушительной сети в здешнем колхозе государством отпущено семьсот тысяч рублей. Деньгами этими распоряжается Областное управление сельского хозяйства. Оно отдало эти деньги своей строительномонтажной конторе — подрядчику, который должен осуществить все работы. У конторы этой — два субподрядчика: Московская экскаваторная станция и Райгородская луго-мелиоративная станция. Первая должна строить водоприемник, нагорный и магистральные осушительные каналы, а вторая — мелкую осушительную сеть. Но надо еще построить и мосты через каналы, на что из общей суммы выделено сто тысяч рублей. Однако ни экскаваторная станция, ни луго-мелиоративная строить мосты не умеют, — это, как говорится, не их профиль. Мосты обязана строить контора, на то она и монтажно-строительная. Но контора покамест этого не делает, предлагает колхозу, чтобы он сам строил мосты. Колхоз согласен, но ему нужны деньги, — строительство финансируется государством, и колхозу, даже если бы он хотел, никто не разрешит кредитовать работы по возведению мостов. Контора же может оплатить стоимость этих работ только лишь после того, как она, будучи подрядчиком, примет мосты. Получается заколдованный круг, или — что вернее — скверный бюрократический анекдот. Вот и построили пока что колхозники хоть один временный мост для прогона скота.

«Как бы не остался он постоянным!» — замечает Иван Федосеевич.

За такими вот разговорами мы и не заметили, как пришли в Стрельцы.

Пока мы пьем чай, несколько раз приходят звать Ивана Федосеевича на поминки. Еще утром, когда я приехал сюда, в глаза мне бросилась крышка от гроба, стоявшая возле одной из изб. Яркая, убранная бумажными цветами и фольгой, она выглядела дико и неестественно среди тихой зеленой деревеньки, в ясное летнее утро. Оказалось, что хоронят парня лет шестнадцати, несколько дней назад убитого в пьяной драке. Теперь вот и зовут председателя почтить покойника. Но он решительно отказывается, и — как объясняет он мне — по многим причинам. Во-первых, пить не любит; во-вторых, пьяного хулигана хоронят; в-третьих, нечего ему, председателю колхоза и коммунисту, с попом за одним столом сидеть; в-четвертых, нечего пить среди бела дня в горячую рабочую пору; в-пятых, — хотя этого он не говорит, — переживает он, вижу я, нелепую и дикую смерть полного сил юноши, который много мог бы сделать в жизни. Иван Федосеевич далеко не сентиментален. В этой смерти во время пьяной драки он видит ненавистную ему старую деревню. «А бригадир пошел, — говорит он с презрением, — ему там чашку вина поднесут, а он ее как ворон крови дожидается». В последних словах его уже не презрение, но ненависть. Он даже в лице переменялся, побагровел. Потом, печально улыбнувшись, вспомнил, как хоронили весной старую, заслуженную доярку. Тут уж он, разумеется, и на похороны пошел и на поминки. Много поработала на своем веку эта женщина. Надо было отдать ей последний долг, — об этом он говорит с грустью и уважением. И снова улыбается. Хоронили старуху, конечно, с попом. Перед отпеванием батюшка сказал, что он подождет, не желает ли гражданин председатель сказать слово. И председатель сказал прощальное слово ушедшей из жизни доярке. Только после этого священник стал отпевать. И за поминальным столом, по предложению священника, первое слово говорил председатель колхоза. «А тут, — заканчивает он сердито, — делать мне нечего. Пусть меня родители его поносят, не пойду к ним».

Уже на прощание Иван Федосеевич сообщает мне, что теперь у них новый секретарь райкома, Алексей Петрович Кожухов; вроде бы ничего, самостоятельный работник. И тут же не то спрашивает, не то размышляет вслух: где бы это высказать, что секретари райкома должны не в машинах ездить и не в брюках навыпуск ходить, а верхом и в сапогах; и чтобы подольше жили в колхозах, помогали, советовали, учили; и чтобы давали им работать в районе не три года, а десять, — а то он только выучится, только начнет понимать свой район, его уже в другой перебрасывают.

После этого я не один раз бывал у Ивана Федосеевича, — и в Стрельцах и в Любогостицах, куда он позднее переехал на жительство, чтобы постоянно быть рядом с конторой и хозяйственным центром колхоза. Но минувшим летом я у него не был — встречал лишь мельком несколько раз в Райгороде, — не долго пробыл у него и осенью. Встречались мы с ним зимой, когда он приезжал на совещание в Москву, да еще ранней весной я провел у него несколько часов. Понятно нетерпение, с каким я ожидаю предстоящей встречи.



Утром райкомовский «газик» сигналит под окном.

Андрей Владимирович говорит, что Ивана Федосеевича мы едва ли застанем дома — сенокос, и председатель, конечно же, в лугах, где нам его нипочем не найти. И все же мы решаем ехать.

Судя по сводке, публикуемой в районной газете, дела у Ивана Федосеевича с сеноуборкой весьма плохи. Любогостицкий колхоз занимает в сводке одно из последних мест, тогда как впереди идут какие-то неизвестные мне колхозы. Да и не с одной сеноуборкой, надо полагать, отстал Иван Федосеевич. Весной у него все было затоплено, и, как мне говорили в райисполкоме, план весеннего сева колхоз выполнил на шестьдесят процентов. Залиты были не только луга, откуда очень поздно сошла вода, что весьма плохо отразилось на травостое, но и пахотные земли. Мало чем обрадует нас Иван Федосеевич, и едва ли приятны будут ему неожиданные гости.

Правда, я слышал, что Иван Федосеевич строит новый свинарник, что огурцы из парников и теплицы уже дали ему нынче двести тысяч рублей. Но слышал я еще и другое, будто совершил он не очень красивый поступок: купил на здешнем консервном заводе свеклу, якобы для корма свиней, а на самом деле продал ее в Москве. И теперь в Райгороде поговаривают, что Иван Федосеевич, мол, ударился в спекуляцию. Его уже и «прорабатывали» за это.

Все это, казалось бы, не могло настроить нас на веселый лад. Однако я почему-то не унывал. Все ж таки не первый год знаю я Ивана Федосеевича и не могу представить его себе в числе отстающих, даже по причинам, от него не зависящим. Не могу я поверить и тому, что он спекулирует. Просто, думается мне, к торговле, к торговым операциям, отношение у нас какое-то пренебрежительно-подозрительное, хотя это ведь работа, мастерство...

Ивана Федосеевича мы все же застали дома.

Был десятый час утра, и он, объездив луга, приехал домой завтракать. Встретил он нас как обычно, не выказав ни удивления, ни какой-либо радости, так, будто мы вчера расстались.

Он варил на электрической плитке какое-то варево в маленькой кастрюльке и сказал, что сейчас угостит нас пудингом, однако больше о нем не вспомнил, — видимо, «пудинг» не удался. Он согрел самовар, приготовил салат — из огурцов, лука и тресковой печени, принялся жарить рыбу. Все это он делал быстро, умело.

В избе у него, как и прежде, по-холостяцки неуютно. Однако к купленному осенью книжному шкафу и приобретенным тогда же никелированной кровати, стульям и зеркалу прибавился еще и диван. Вообще, надо сказать, в последнее время Иван Федосеевич несколько снизошел к материальной стороне быта. Но книги у него попрежнему горами лежат на подоконниках, на сундуке, на лежанке, купленный же для них шкаф занят посудой и продуктами. «От мышей», — замечает Иван Федосеевич в связи с последним обстоятельством и говорит, что решил переехать из этого полуразвалившегося дома; печь тут холодная, крыша на дворе того и гляди упадет.

Как всегда, Иван Федосеевич бодр. Говорит, что хотя весна и была трудная, с севом запоздали, да и посеяли не то, что надо было, однако два миллиона дохода он все равно получит. Парники и теплицы действительно дали ему уже двести тысяч. Если бы не они, не мог бы он строить нынче свинарник. А свинарник, когда мы посмотрели, и впрямь хорош, кирпичные стены его уже выведены под крышу. Перекрытия будут из железных балок, устои — из железных труб. Балки он уже достал, трубы тоже. Возле свинарника стоит грузовая машина, мотор которой питает электросварку. Несколько рабочих приваривают к столбам какие-то железные косяки. Иван Федосеевич говорит, что теперь ему осталось еще достать лес для свинарника. Собственно лес у него уже есть — отвели делянку, — но от делянки до шоссе километров восемь непроезжего проселка, придется вывозить лошадьми, а уж по шоссе — машинами. Лошадей он отобрал самых сильных и ребят покрепче. Вместе с Андреем Владимировичем он обсуждает, два или три бревна можно будет грузить на лошадь. Он полагает, что три, Андрей Владимирович считает, что два. Тогда Иван Федосеевич говорит, что с возчиками у него такое условие — с определенного количества вывезенных бревен они получают одно бревно для себя, не считая, разумеется, трудодней. В таком случае, соглашается Андрей Владимирович, вывезут сколько надо и быстро.

Иван Федосеевич говорит, что животноводство в сельском хозяйстве — это все равно что в промышленности дряжелая индустрия. Оно требует больших капиталовложений. А вот овощеводство или, скажем, садоводство — это легкая индустрия. Они быстро дают деньги. Он сообщает нам, что решил разводить клубнику, показывает место, неподалеку от теплиц и парников, где он станет ее выращивать, надо лишь вынести подальше забор, которым огорожен весь участок ранних овощей. Он спрашивает, в каком из подмосковных хозяйств можно достать осенью «усы», какие сорта клубники лучше. Под клубнику он думает вывезти сапрпель. Теперь он купил самосвал, так что возить сапрпель и навоз ему будет легко. Мечтает еще он открыть в областном городе магазин «на два раствора», будет торговать свиной, маслом, ягодами и огурцами.

Разговор этот мы ведем на бревнах, неподалеку от реки, в виду лугов, уставленных до горизонта стогами сена, напротив строящегося свинарника, о котором Иван Федосеевич говорит с усмешкой, что свинарник этот должен быть лучшим в Европе. Жарко, облака бегут над лугами, отбрасывая перемещающиеся тени, пахнет сеном, известкой и речной водой.

Я спрашиваю Ивана Федосеевича о сводках в газете, где по сеноуборке он числится среди отстающих, о помещенной недавно в районной же газете заметке про его колхоз, которая называется: «Преодолеть отставание» Иван Федосеевич смеется, и у меня складывается впечатление, что ни сводок этих, ни заметки он не читал, а если и читал, то значения им не придает, — и вовсе не потому, что отмахивается от критики, пренебрегает ею. Он называет цифры сданного им уже в этом году государству молока, мяса, масла, называет количество этих продуктов, проданных по государственному закупкам и различным организациям. А в ином колхозе, который по сводке считается передовым, всего покосов-то — гектаров сто, и коров — пятнадцать — тридцать. Что проку от этих передовиков государ-

ству! Иван Федосеевич хоть и отстаёт сегодня по сводке, но заготовил уже семьсот тонн сена, и оставшиеся шестьсот тоже уберет. А сколько заготовил сена тот «передовик», убравший все в срок, сколько коров он содержит, сколько дает стране общественного продукта!

И я все больше укрепляюсь в мысли, что судить о колхозе надо не только по той исполнительности, радующей начальство, с какой этот колхоз выполняет все кампании, но главным образом по той пользе, которую колхоз приносит государству. Иначе дискредитируется вся наша пропаганда. Казалось бы, что Иван Федосеевич должен огорчаться тому, что в сводке он на одном из последних мест, что про его колхоз помещена критическая заметка, а он лишь смеется. В сущности если бы я не завел этого разговора, то он и внимания не обратил бы на газетную критику. Здесь тот же шаблон, что и во многих других областях руководства сельским хозяйством, та же поверхностность, то же незнание дела, сути его. И, быть может, в деле пропаганды, в печати, которая, как известно, коллективный организатор, шаблон этот еще пагубнее, ибо разрушает он самое для нас святое — веру в большевистское слово.

Потом речь заходит о злополучной свекле, которую Иван Федосеевич продал в Москве. Он заговорил об этом сам, должно быть, чтобы привести еще один пример того, как его критикуют, заговорил с полуулыбкой.

А дело было так. Ранней весной, когда с кормами обстояло плохо, Иван Федосеевич по обыкновению своему искал, где бы можно чего достать. Зашел он к директору консервного завода. Тот сказал ему, что есть у него гниловатая свекла и старая, начавшая портиться квашеная капуста. Свиньям все это как раз подойдет. Договорились о цене, о том, что осенью колхоз сдаст заводу взамен этой продукции столько-то тонн лука. Когда Иван Федосеевич привез домой эту свеклу и капусту, то он увидел, что если перебрать их, там найдется еще много отличного продукта. Он посадил колхозниц, те перебрали, гнилую свеклу и капусту он скормил свиньям, а хорошую отвез в Москву и продал за двадцать тысяч рублей, которые и вложил в строительство свинарника. Обо всем это прослышал Алексей Петрович, приехал к Ивану Федосеевичу, между прочим спросил, правда ли, что он покупал на заводе капусту и свеклу, правда ли, что он часть из них продал. Иван Федосеевич, ничего не подозревая, чисто-сердечно рассказал, как было дело, посмеявшись над директором. Тут Алексей Петрович вспылнул, отчитал председателя, сообщил о случившемся в обком, и Ивана Федосеевича «за спекуляцию» критиковали на районном партийном активе. Но его это нисколько не тронуло, мне кажется, что он и сейчас несколько гордится всей этой историей. Он только жалеет, что, не зная за собой преступления, искренно рассказал обо всем секретарю райкома и что из-за всей этой шумихи не купил у директора завода еще и соленых огурцов и фасоли, среди которых, наряду с гнилью, было много хорошего товара. — только бы перебрать.

Мне кажется, что из всего этого можно и нужно сделать лишь один вывод: Иван Федосеевич — хороший хозяин, а директор консервного завода — плохой, и критиковать, высмеять надо было только директора. Иван Федосеевич основу благополучия колхоза строит не на спекуляции, а на

производстве продуктов. Директора он не обманывал,— просто тот, не болея душой за доверенный ему завод, как болеет Иван Федосеевич за колхоз, не догадался или поленился посмотреть дотошно, как это сделал Иван Федосеевич, что за гнилье у него там лежит, не догадался или поленился поставить людей на сортировку этого гнилья. У него барское, высокомерное отношение к государственной собственности, а у Ивана Федосеевича этого нет, он и помыслить не мог, чтобы не посмотреть, что за свеклу и капусту станут давать свиньям, а посмотрев, сообразил, как все устроить с наибольшей выгодой для колхоза. Что же, надо было, чтобы Иван Федосеевич не брал этой капусты и свеклы, чтобы они вовсе сгнили на заводе, как сгнили, вероятно, огурцы и фасоль, которые после всего этого Иван Федосеевич побоялся взять? Или же надо было, чтобы Иван Федосеевич, купив это гнилье,— что законом не возбраняется,— скормил свиньям вместе с гнильем и хорошую продукцию? Или, после того как колхозницы перебрали свеклу и капусту, он должен был доброкачественные продукты вернуть директору завода? Об этом и толковать смешно. Директор оказался равнодушным к государственному добру человеком, барнином, считающим ниже своего достоинства запустить руку в чан с капустой, в закроем со свеклой, посмотреть, что же у него там лежит. Именно таких вот бар с партбилетом клеймил Ленин за их неумение и нежелание по-хозяйски торговать, учиться этому делу у старых купцов. И они-то, эти баре, зараженные коммунистическим чванством, губят живое дело хозяйствования, торговли, наносят ущерб народу. А Иван Федосеевич показал пример партийного отношения к народному добру, использовал природную свою торговую смекалку. Государство только выиграло от того, что выбранные из гнилья капуста и свекла не пошли свиньям, но пополнили продовольственные ресурсы, что вырученные деньги, на которые куплены были какие-то материалы для свинарника, пошли в казну, что, наконец, все это как-то ускорило строительство свинарника, который тем самым скорее станет давать продукцию.

Разговор продолжается. Иван Федосеевич рассказывает, что весной у него все затопило, сеял он поздно, да и не все посеял, что надо. К слову сказать, когда мы отправились в поля, незасеянной земли я не видел, она была засеяна вся, но только в иных случаях другими, не предусмотренными планом культурами.

На колхозном «ГАЗ-69», который куплен Иваном Федосеевичем весной, едем летней дорогой по бескрайним поемным лугам. Куда ни глянешь — стога и стога, на сотнях гектаров. Вот так отстающий!

Иван Федосеевич рассуждает вслух: «На луке возьмем нынче миллион, год нынче луковый». Лук у него и впрямь хорош. Он продолжает прикидывать: из Стрельцов лук пойдет на сдачу государству и в госзакуп, из Вексы — на продажу, из Любогостиц — заложим для зимней продажи, из Николы-Перевоза — на матку заложим. Мысль его неутомимо работает.

Приехали в Стрельцы. Иван Федосеевич показывает нам детские ясли — двухэтажный дом с каменным нижним этажом и деревянным верхним.

Два с лишним года назад, весной, когда Иван Федосеевич еще жил в Стрельцах, я как-то ночевал у него, и утром, выйдя на улицу, спросил,

что это за кирпич и бревна лежат напротив его дома, рядом с двумя ветхими, пустыми домами. Иван Федосеевич объяснил мне тогда, что дома эти куплены колхозом на слом, что на месте одного из них он построит «комбинат для баб» — не все же хозяйственные постройки возводить, — и будут в том комбинате медпункт, родилка, ясли и детсад, для чего и привезены сюда кирпич и бревна.

Потом, в последующие свои приезды, я видел, как дом этот строился: однажды, когда он уже почти был готов и оставалась только внутренняя отделка, Иван Федосеевич показывал мне его. Но с тех пор как председатель переехал в Любогостицы, в Стрельцах я почти не бывал и «бабьего комбината» не видел.

И вот теперь мы подходим к нему. Нижний каменный этаж снят в лучах полуденного солнца побелкой стен, чистыми стеклами окон, окраской рам и дверей. При всей своей суровости, жесткости, при всем том, что он постоянно занят мыслями о хозяйстве, Иван Федосеевич как-то смягчается, теплеет, показывая нам ясли. В больших и светлых комнатах, где спят в кроватках дети, чистый воздух, порядок, тишина. Осматриваем кухню, столовую. В одной из комнат немолодая женщина гладит детские костюмчики и платица. С особенной гордостью показывает нам Иван Федосеевич чистую уборную, объясняет ее устройство; поскольку нет канализации, это не просто было сделать. А второй этаж дома, где должны быть другие отделения «бабьего комбината», пока что заперт, там еще идет внутренняя отделка. Спрашиваю, хватает ли в Стрельцах ребят для столь больших яслей, — деревня эта далеко отстоит от других сел колхоза, дороги плохие и носить сюда детей оттуда едва ли будут. Иван Федосеевич отвечает, что ребят много: сейчас, мол, воспроизводство идет расширенное...

Не помню уж в какой связи, он вдруг высказывает интересную мысль о необходимости упразднить молочный пункт консервного завода. Пункт этот обслуживает лишь один этот колхоз, на земле которого и расположен, — принимает от колхоза и колхозников молоко. Там имеется заведующий, лаборант и три приемщика. Расходуются средства на аренду помещения, электроэнергию, уборку, транспорт. В зимние месяцы, когда молока мало, все это предприятие в сущности простаивает. Вот и считает Иван Федосеевич, что пункт надо ликвидировать, но зато прибавить колхозу десять процентов на сданное молоко, и колхоз станет доставлять его прямо на завод. Если учесть, сколько таких пунктов в стране, легко представить себе, какую выгоду принесло бы государству предложение Ивана Федосеевича. У него, говорит он, люди гулять не будут; сдали молоко — или же в период, когда молока нет, — пошли бы на другую работу. В этом, на мой взгляд, пример заинтересованного, творческого подхода к делам государства, желание удешевить продукты питания и высвободить людей для производительного труда. Иван Федосеевич говорит далее, что надо бы закрыть и мелкие государственные терочные и декстриновые заводики, у которых большой штат, у которых имеется все, что положено государственному предприятию пищевой промышленности, — от директора и бухгалтера вплоть до агронома. Надо бы передать это производство колхозам, где оно пойдет куда успешнее, где выпускаемая продукция будет освобождена от излишних накладных расходов, будет стоить дешевле. В этом его предложении тот смысл, что и

в первом, и исходит он из местного, чуть ли не столетнего, а то и больше опыта. В старое время почти все здешние крестьяне занимались первичной переработкой сельскохозяйственных продуктов, особенно картофеля; это было обусловлено местной экономикой, особенностями и характером земледелия в крае с большой плотностью населения и недостаточным количеством земли. Но здесь есть и новое: колхозная форма хозяйственной деятельности, учитывая еще и сезонность сельскохозяйственного производства, лучше, нежели государственная, приспособлена для такого рода мелких производств, как картофельно-терочное.

Осматриваем поля кукурузы. Она мелкая, чахлая, низкорослая. Изредка встречаются растения получше, как говорится, черные, то есть густой зеленой окраски. Но в большинстве своем кукуруза очень плоха, с желтоватыми кончиками листьев. Между тем и землю выбрали хорошую, и удобрений, как рассказывает Иван Федосеевич, ввалили много, и прополчили несколько раз. Однако не растет она. Почему? Никто не знает. Так же как никто не знает, почему отдельные экземпляры неплохи. Иван Федосеевич не столько горюет о пропавшей земле, трудах, удобрениях и семенах, сколько по свойственной ему любознательности пытается понять: в чем же причина? Он говорит: «У нее рахит, как бывает у поросят».

Впрочем, кукурузы колхоз посеял только двенадцать гектаров. Как я уже сказал, всюду стояла вода, и никто особенно не требовал выполнения плана по культурам. И вот Иван Федосеевич во множестве сеял так называемую мешанку: смесь овса с подсолнухом и викой или горохом. Теперь скот у него будет в изобилии обеспечен силосом. Он вспоминает, улыбаясь, что за это его называют идеологом райгородской мешанки.

К слову сказать, мешанка эта — отличная вещь, растет она здесь превосходно, на любых землях, не требует много удобрений, мешает произрастать сорнякам, — овес глушит их, — не требует ни прополки, ни других видов послепосевной обработки, дает обильную и богатую питательными веществами зеленую массу, убирается конными или тракторными косилками и обеспечивает колхозы силосом. Чем она плоха, эта испытанная, созданная народным опытом мешанка! Почему в столь неблагоприятную весну ее надо было повсеместно заменять неизвестной, не проверенной в здешних условиях, к тому же еще трудоемкой, требующей отличных земель и большого количества навоза кукурузой! И почему приверженность к испытанной мешанке считается чуть ли не признаком косности? Ведь правыми-то оказались не те, кто осуждал Ивана Федосеевича, а именно он. И каково теперь тем колхозам, у которых в полях не было столько воды, как у Ивана Федосеевича, — для того чтобы погибла кукуруза, ее все же было достаточно, — и которые, выполняя указания, почти отказались от мешанки, посеяли на больших площадях кукурузу. Чем они будут кормить зимой скот? Сколько молока потеряно на этом!

Тут лишь один вывод можно сделать. Надо дать председателю колхоза возможность маневрировать, и народ на этом всегда выиграет. Случилась такая, как нынче, холодная и поздняя весна, с изобилием воды, затопившей земли приозерных колхозов, оказалось возможным и выгодным сеять одну лишь мешанку, что ж, ломая плавы, надо было ее и сеять.

✱

Часу в пятом пополудни мы поехали в лесное село Галкино.

Хорошо наезженный извилистый проселок все время идет вверх и вверх, огибая холмы или же переваливая через них. Здесь проходит высокий, так называемый коренной берег озера, который, далеко отстоя от современного низкого и топкого его берега, опоясывает озеро как бы овалом, только неправильной формы. По временам, за грядой холмов, встречаются низины, но каждая последующая лежит все же выше предыдущей. Серебрятся овсы, колышется белесая желтоватая рожь, начавшая поспевать, в сиреневых цветах стоит темная зелень картофеля, розовыми выглядят в лучах предвечернего солнца распаханые суглинки паров. Расположенные на склонах холмов и мягко сбегаящие в овраги поля округлы, окаймлены кустарником, мелколесьем, которое постепенно переходит в темные и сумрачные хвойные леса и в нарядные, пронзенные солнцем, лиственные. Леса эти — с округлыми опушками — уступами лезут на холмы, открывая иной раз спрятавшееся среди них ржаное поле или скошенный, уставленный стогами луг. На иной полянке, тихой и солнечной, высятся полсenniцы недавно нарубленных дров. Пахнет грибом. Шумят по кремнистому дну бесчисленные ручейки; иные из них — истоки рек, берущих начало на здешнем водоразделе. Здесь сто пятьдесят метров над уровнем озера Каово. Здешних жителей, по отношению к живущим в котловине, можно бы назвать горцами. И живут они более скудно, я бы сказал, сурово, нежели жители котловины. Здесь то же соотношение, что всюду между жителями скудных гор и жителями богатых долин. Земли тут бедные. Крестьяне издавна сеют рожь, овес, сажают картофель. Овощеводством, особенно разведением лука, горошка, огурцов, всегда дававшими и дающими деньги, здесь не занимались. На усадьбах — только картофель. Поэтому побочные доходы не с усадеб, а с продажи сена и дров. В старину, вероятно, процветало бортничество. И народ тут не столь промышленный, не столь искусный в земледелии, как в котловине. Я заметил, что жители приозерных сел о здешних отзываются с некоторым пренебрежением: мол, бедно живут, один картофель у них да рожь, а у нас и лук, и вишня, и огурцы, и горошек, и помидоры...

А всего отсюда до Райгорода — километров двадцать. И все это убедительно показывает, сколь разнообразная вещь сельское хозяйство и как нетерпим и губителен в нем шаблон.

Когда мы возвращались в Ужбол, из мелколесья выбежал молодой волк, остановился, поглядел на нашу машинну, побежал в овсы и там снова остановился, поворотив к нам внимательную морду с острыми, сторожкими, стоящими торчком ушами.

✱

Вечером к Николаю Леонидовичу пришел колхозник, сказал, что только что вернулся с пожни — допоздна работал, — и вышло, что для него не оказалось места в машине, которая повезет людей с ягодами в областной город. Николай Леонидович распорядился, чтобы колхозника этого

посадили в первую очередь — хороший он работник. И Наталья Кузьминична рада была сказать о нем: безотказник.

Потом Николай Леонидович рассказал, что в воскресенье в колхоз приехал из области депутат Областного совета, интересовался ходом сеноуборки. Николай Леонидович пожаловался ему, что ягоды мешают, — если бы не необходимость возить их в областной центр, уборка сена шла бы значительно успешнее. Он сказал депутату, что хотя в областном городе колхозники продают на рынке вишню по девяти-десяти рублей за килограмм, на месте они охотно продали бы ее по семи. И государственная торговля или кооперация могли бы торговать вишней, — сейчас ее там нет, значит продавцы и оборудование соответствующих магазинов используются не с полной нагрузкой, от чего и государству убыток и потребителю неудобство, — и колхозники не тратили бы непроизводительно уйму рабочего времени и сил, от чего, опять же, государству прямая выгода. Все это Николай Леонидович объяснил депутату, который к тому же — председатель Облпотребсоюза. Депутат прикинул, что по семь рублей за килограмм вишни кооперации платить выгодно, без промедления, прямо из конторы колхоза, позвонил в область, договорился со своими подчиненными и заверил председателя, что в колхоз немедля приедет заготовитель.

Наталья Кузьминична, выслушав это, сказала, что никто не приедет, обманут, а если и приедут, то тоже обманут. Мы стали возражать, и тогда она рассказала, как обманули ее однажды с молоком. Представитель консервного завода как-то уговорил ее заключить с заводом контракт на поставку молока. И хотя завод платил значительно меньше, чем можно было выручить на рынке, Наталья Кузьминична разочла, что лучше она потеряет несколько сотен рублей, но зато не станет таскать молоко в город, сдаст его тут же в Ужболе. Ей это еще и потому понравилось, что завод обещал, вернее обязался, отovarить сданное молоко валенками, кровельным железом и другими, на выбор, столь же необходимыми дефицитными товарами. Наталья Кузьминична свое обязательство выполнила, даже больше, сдала не триста литров молока, как обязалась, а четыреста, завод же ее обманул: ни валенок, ни железа, ни других товаров Наталья Кузьминична не получила. Понятно, что когда после этой истории заготовитель завода как ни в чем не бывало снова явился к Наталье Кузьминичне с предложением заключить контракт на сдачу молока, — эта бесстыжность больше всего, пожалуй, удивила и возмутила Наталью Кузьминичну, — то она прогнала его, сказав, что пусть сперва валенки и железо отдадут.

Пошли тут рассказы и о продавщице местного сельпо, которая вообще не хочет закупать у колхозников продукты, потому что это ей невыгодно, — возни много, а заработков чуть, — тогда как от продаж одной только водки в розлив, не считая обчетов и обвеса, у нее изрядный доход.

И подумалось мне о запущенности нашего торгового дела в деревне, особенно кадрами, о том, какой это мог бы быть могучий рычаг в деле подъема сельского хозяйства, в укреплении смычки между городом и деревней. Хороший, расторопный и честный сельский продавец — и одновременно заготовитель — мог бы сделать для повышения урожайности неизмеримо больше, нежели разного рода уполномоченные, бесчисленные совещания и резолюции.

Забегая вперед, скажу, что обманул депутат: никто не приехал за вишнями в Ужбол. Лучше бы он уж не обещал, не подрывал своего авторитета. А ведь он, я думаю, изучает по партпросу Ленина.

Обидно. Обидно потому, что государство ни копейки не потеряло бы, а только выиграло бы от закупки продуктов на месте у колхозников, особенно сезонных, портящихся. Думается, что, купив вишню по семи рублей, кооперация может продавать ее в областном городе по восьми,— за глаза хватит ей рубля на килограмме для всех накладных расходов и возможных потерь,— при цене же на рынке в десять она продала бы эту вишню моментально, не испортив и грамма. Это не требует никаких особых вложений и затрат, тут все зависит от людей, но так как на одну сознательность этих людей рассчитывать трудно, то надо найти форму, очень простую и гибкую, чтобы заинтересовать этих людей материально. Найдена же такая форма в колхозах на сеноуборке,— как только стали давать на трудодни десять процентов сена, дело пошло успешно. И не надо нашим кооператорам, я имею в виду руководителей кооперации, дожидаться здесь правительственных постановлений, пленумов ЦК,— Ленина надо читать, надо думать о прочитанном и принимать быстрые, ответственные решения.

И еще: в сельской лавочке не найдешь ни белого хлеба, ни сахара, ни ламповых стекол, ни дешевых конфет, ни растительного масла, ни хозяйственного мыла, ни многих других, совсем уже не дефицитных продуктов. В Райгороде не найдешь ни валенок, ни кровельного железа, ни прочих, столь же нужных в деревенском обиходе товаров.

Мне могут сказать, что всего этого у нас сейчас недостача.

Согласен. Хотя и сомневаюсь. И вот почему.

Я не видел в Ужболе семьи, где бы не появлялись за чаем белые булки, чай все пьют с сахаром или конфетами, белье стирают мылом, вечером в избах светятся лампы. И валенки имеются у каждого деревенского жителя, и все больше и больше крыш кроют здесь железом или шифером.

Значит, все это имеется, все это все равно потребляет деревня. Булки, сахар, мыло, ламповые стекла, конфеты и многое другое колхозники покупают в Райгороде, в областном центре, в Москве, забывая тамшние магазины, создавая очереди, мешая таким образом горожанам и вызывая у них вредное для нас раздражение против колхозников. Все эти продукты и товары люди таскают на горбу, надрываясь, забывая пригородные поезда, автобусы. При этом, конечно, не очень благодарят город, что тоже вредно для нашего общего дела. А что до валенок, железа и прочего, то на всем этом наживаются спекулянты и воры, сидящие, надо полагать, в некоторых торговых и снабженческих организациях.

А ведь можно сделать простую вещь. По точно определенным дням, в периоды, когда поспевают вишня, огурцы, помидоры, заранее оповестив колхозников, из больших городов могли бы приезжать специальные автофургоны, привозить необходимые деревне продукты и товары, взамен же покупать у колхозников молоко, вишню, огурцы, помидоры... Разумеется, привезенные товары продаются тем, кто продал кооперации свои. Точно так же можно организовать закупку кооперацией яиц, картофеля, лука — продуктов не столь сезонных и не столь портящихся. И вместо множества заготовителей и закупщиков, представителей и кооперации, и пищевой про-

мышленности, и всяких ресторанных трестов, надо иметь на определенный куст деревень только лишь одного человека,— он должен быть одновременно и шофером,— который объезжал бы свой район, скупал бы молоко, и яйца, и лук, и картофель, и ягоды, и овощи, продавал бы по предварительным заказам различного рода товары. Купленные у колхозников продукты этот человек сдавал бы по нарядам соответствующим организациям: столько-то и того-то в торговую сеть, да прямо в магазин, столько-то и того-то в столовые и рестораны, столько-то и того-то пищевому предприятию, а столько-то и того-то на базу для отправки в областной центр, в Москву, в другие промышленные города.

Я думаю, специалисты могли бы все это уточнить, но одно для меня ясно — торговля должна быть торговлей, а не канцелярией.

✱

Мы сидим с Андреем Владимировичем у Перфильева, директора машинно-мелиоративной станции, которая до недавнего времени именовалась луго-мелиоративной. Разговор идет о сапропеле, о том, по какой цене оплачивать добычу, если влажность его при отпуске потребителю должна быть сорок процентов, но будут отпускать с более высокой влажностью, чтобы зря не занимать сапропелем отстойники.

Андрей Владимирович объясняет бухгалтеру, что пересчитать эту предполагаемую повышенную влажность к сорокапроцентной не составляет труда. Он рисует на бумаге формулу пересчета и при этом говорит: «Совершенно простая формула» — «Формула-то простая», — почесывая затылок, произносит Перфильев, и создается впечатление, что он либо не понимает Андрея Владимировича, либо несогласен с ним. И тогда Андрей Владимирович, отвлекшись от бухгалтера, с недоумением смотрит на Перфильева и снова говорит: «Совершенно же простая формула!» — «Формула-то простая, — повторяет Перфильев как бы в раздумье и неожиданно спрашивает: — А почему ребята с землесоса бегут?» И выясняется, что не о пересчете думал он, но о другом.

Он рассказал, что после реорганизации луго-мелиоративной станции в машинно-мелиоративную условия работы стали значительно хуже. Снижены, например, расценки трактористам и машинистам экскаваторов, и теперь они бегут в МТС. Снижены оклады и прибавка за выслугу лет руководящему составу и специалистам. Плохо снабжается станция необходимыми для работы материалами. Прежде, когда она называлась луго-мелиоративной и входила в систему Министерства сельского хозяйства, ее снабжал Сельхозснаб, имеющий свои отделения на местах, теперь же, когда она стала называться машинно-мелиоративной и входит в систему Министерства водного хозяйства, снабженческие организации которого находятся в Москве и далеки от нужд периферийных станций, Сельхозснаб станцию не снабжает. Да и областным организациям до нее нет дела, руководители их отвечают на любую просьбу одним: «Вы подчиняетесь Москве».

Я слушаю директора и не могу понять: зачем понадобилась реорганизация, если она губит живое, давно налаженное дело? И я вспоминаю, с каким недоверием, с какой неохотой отнесся в свое время Перфильев

к этой, тогда еще предполагавшейся реорганизации. Грешный человек, я подозревал в нем тогда косность, привычку к определенным формам, с которыми ему не хотелось расстаться. Оказалось, что я ошибался, а он был прав. Он уже тогда предвидел все то, что сейчас мешает большому делу осушения и освоения заболоченных земель. А ведь без этого,— без мелиорации,— нельзя дальше развивать и совершенствовать сельское хозяйство в нечерноземных областях страны. И такая вот ММС ничуть не менее важна, чем МТС. В сущности она ведь устраивает землю, которую обрабатывает и с которой собирает урожай МТС. Она создает основу для повышения плодородия земли. Так как же можно ею пренебрегать! Мы ведь не хищники, чтобы только брать с земли, мы должны улучшать ее и отлично устроенной передать потомкам.

Позднее мы заговорили с Перфильевым и с главным инженером станции о некоторых сторонах районного быта,— точнее, о тех условиях, в каких живут многие райгородские интеллигенты.

Главный инженер — молодой человек, в прошлом году окончивший столичный институт. Он очень приятен внешне: смугл, спортивен, держится скромно. Дело свое, повидимому, любит и знает. Я познакомился с ним еще прошлой осенью, когда он приехал сюда работать. И я задумался тогда над тем, как пойдет у него жизнь. Он приехал сюда с женой — учительницей, кончившей институт в одно время с ним. Теперь у них уже и ребенок есть. По моим наблюдениям, сейчас он уже освоился с работой, рабочие относятся к нему уважительно, Перфильев — с несколько отеческим покровительством. Когда речь зашла о квартире, о быте, инженер коротко,— он вообще немногословен,— с застенчивой и горькой усмешкой сказал: «С этим плохо». У нас почему-то не принято разговаривать о таких вещах,— обывательщиной это, что ли, считается,— мы все больше говорим о деле, о работе, и поэтому мне трудно было узнать все в подробностях. Но я все же узнал, что инженер снимает у частного дрянную комнатенку, за которую платит сто пятьдесят рублей в месяц и еще уйму денег расходует на отопление. Они с женой, которая тоже работает, еле сводят концы с концами. Заработок-то у них немалый, но деньги уходят на дорожную комнату, на дрова, которые приходится покупать по спекулятивной цене, на многое другое, что возникает, когда быт неустроен, когда не чувствуешь себя оседлым человеком, хозяином.

И Перфильев, хотя живет он в Райгороде давно, не имеет приличной квартиры. У него одна комната в ветхом, неблагоустроенном доме, требующем ремонта. Да и из этой комнаты его могут в любую минуту выселить, потому что дом принадлежит организации, где когда-то работала его жена. Хозяйства, столь необходимого в маленьком городе, у них никакого нет,— не заведешь ведь свинью и корову в большом коммунальном доме. А у них с женой двое детей.

Разумеется, и Перфильев и инженер — помани их только — с охотой переедут в Москву или какой-либо большой город. И это очень плохо, я думаю. Оба они с высшим образованием, толковые, преданные своему делу работники, очень нужные в сельском хозяйстве. Конечно, еще не скоро добьемся мы такого положения, чтобы жизнь в маленьких районных городах по удобству, по культуре равнялась бы московской. Но в этих

маленьких городах возможны свои прелести и преимущества: просторный дом, огород, сад, корова, свиньи, куры... Многим и очень многим это по душе, и нет в этом ничего зазорного, если человек при этом с увлечением делает свое дело. Так вот, было бы разумно и справедливо, чтобы взамен удобств большого города люди получали бы удобства, я бы сказал, провинциальные. Если дать их Перфильеву и его инженеру, как и всем другим работникам этого рода, так их отсюда нипочем не вытащишь, они буквально врастут в районную землю, навсегда прилепятся к своему месту. А сделать это просто и, я думаю, не дорого.

Иначе ведь что получается. Многие райгородские жители, нигде не работающие или же работающие на должностях, от которых обществу почти никакой пользы нет, живут превосходно. Строят себе домики из шлакобетона — это сейчас здесь принято — или вывозят срубы из дерева и, обзаведясь собственным домом, выращивают овощи, разводят кур, держат коров, — да не для себя, а на продажу. Иные из них заводят даже автомобили, чтобы иметь возможность более выгодно реализовать свою продукцию. Таким образом, обыватель процветает, а люди, подобные Перфильеву и его инженеру, которые все время свое и все силы отдают обществу, несут большую ответственность, из-за работы, совещаний, отчетов не имеют времени не только на то, чтобы построить себе дом, но даже чтобы пообедать толком. Эти драгоценные для нас люди по большей части живут плохо, неустроенно, без обязательной в провинции широты, позволяющей принять заезжего человека, без вполне возможной здесь удовлетворенности всеми плодами земными.

Я бы сделал так, чтобы каждый окончивший институт врач, учитель, инженер, агроном, зоотехник, ветеринар, коль скоро он поехал на работу в районный городок или в колхоз, получил возможность построить дом и обзавестись хозяйством. Надо предоставить им для этого долгосрочный кредит с вычетом из зарплаты, помочь материалами, транспортом. Такую же возможность, разумеется, должны иметь и специалисты этого рода, давно работающие в провинции, и те, кто туда переезжает из больших городов. И должны этим заняться, я думаю, министерства, в ведении которых состоят эти люди и которые, кстати сказать, для работников своего столичного аппарата строят дачные поселки. Да и профсоюзам, надо полагать, следовало бы принять в этом участие, подумать, например, о строительных кооперативах, которые существуют ведь в столичных городах. А торгующим нашим ведомствам следовало бы подумать о том, чтобы всемерно облегчить районной интеллигенции покупку автомобилей, мотоциклов, мебели, книг — всего, что украшает жизнь.

Тогда легко будет осуществить передвижку кадров в район.

✱

В пустынном магазине «Ткани», заваленном штапелем, шелками и ситцем, сидит в стеклянной своей будочке кассирша, безмятежно вьет кружево. Над окошком кассы табличка — «Кассирша Гогина Н. И.».

Посадские люди Гогины — Ивашки, Марьицы, Агапишки и прочие — весьма часто встречаются в древних переписных и дозорных книгах Рай-

города. Об иных сказано: «Пашет лучишко и огурчишко», о других: «Копает огороды и тем кормица», о третьих: «Торгует лаптишко, сапожишко», о четвертых: «Пишет на площади», о пятых: «Бродит меж двор». Гогины это не Петровы или Ивановы,— фамилии безличные и очень распространенные,— нет сомнения, что кассирша потомок тех самых Гогиных. И она не подозревает, что род ее не менее древен, нежели род какого-либо из бывших князей Райгородских.

✱

Николай Леонидович сказал сегодня, что решено приступить к жатве, убирать будут не только комбайном, но и жаткой и серпами. Правление постановило, что каждая колхозница, которая выйдет жать, до 20 августа будет получать по три килограмма зерна на заработанный трудодень, а после 20-го — два килограмма. Кроме того, всем выдадут еще десять процентов сжатой соломы.

Солома заинтересовала Наталью Кузьминичну, а хлеб почти несколько. Я думаю, что так же и других женщин. Хлеб здесь все покупают печеный,— в доколхозные времена в здешних местах лишь некоторые деревни сеяли рожь, да и то не ею жили,— поэтому получить зерно на трудодень — это значит устроить себе лишние хлопоты: и смолоть его надо и испечь, а иные хозяйки и печь-то толком не умеют. Иное дело, если бы выдали белой мукой. А вот солома очень нужна: и на подстилку и, когда потребуется, двор покрыть. Да и в корм корове она идет. Солома же не хлеб, ее не купишь.

Но Наталья Кузьминична тут же заметила, что хлеб-то отдадут, а с соломой опять, как в прошлом году, обманут. Между прочим, и в колхозе солома очень ценится: подстилка, корм, кровля... Николай Леонидович признался, что действительно в прошлом году с соломой вышло не совсем ладно, но это потому, что не успели весь хлеб обмолотить, а так выдали бы. Словно в этом году есть гарантия, что весь обмолят!

В прошлом году молотья затянута из-за того, что в колхозе нет крытых токов, нет и овинов или других, современных, сушилок. И вот, пока молотили, много хлеба намокло и проросло. Трудно понять, зачем надо было в свое время уничтожить крестьянские овины, не заменив их ничем более совершенным. И это повсеместно, во всех тех обширных районах страны, где многовековой крестьянский опыт придумал овин, без которого нельзя заниматься хлебопашеством в местах, где лето очень часто бывает дождливым, где осень с ее дождями приходит рано. Но вот смахнули овины, равняясь, должно быть, по южному, степному полеводству.

Подумав, Николай Леонидович сказал, что можно в таком случае, если не доверяют колхозу, выдавать и зерно и солому сразу же, необмолоченными снопами: мол, суши сама на печи, сама и молоти. Но видно было, что Наталья Кузьминична не очень поверила ему. Она опасается все же, что снова обманут.

Дорого обходятся нам эти небольшие, каждый в отдельности, обманы: они разрушают веру в колхоз. И не зря на другой день, когда я рассказал об этом разговоре Алексею Петровичу, он по привычке своей только зубами скрипнул и досадливо махнул сжатой в кулак рукой. Это у секретаря райкома наивысшее выражение неудовольствия, в котором и гнев и боль. Ругаться он не ругается. Он сказал еще, что зря так поступил председатель, солома эта все равно не спасла положение, а колхозу нанесен урон,— нельзя обманывать колхозников! Когда же я рассказал, что и теперь не верят, что солома будет выдана, он рассудил, как и Николай Леонидович: снопами надо выдавать, а бабы уж и высушат их на печи и обмолят...

✱

Солнечный, но все же не очень жаркий день. Каждый клочок земли в Райгороде, даже на улицах, засажен помидорами. Предположения предприимчивых горожан на сей раз рухнули: из-за поздней весны и дождливой первой половины лета помидоров мало, да и начнут они поспевать поздно, когда даже сюда дойдут в изобилии южные помидоры,— погорит райгородский обыватель.

Обедаем у Грачевых. Михаил Васильевич, всю жизнь свою прослуживший в гастрономических магазинах и питейных заведениях, весьма оживлен, хотя ему уже семьдесят четыре года. Стол он сервировал сам. Обед наш не так уж богат, да и сервировка у Грачевых не бог весть какая, однако Михаил Васильевич сервировал стол не без изыска, со знанием дела. Он вспоминает, какие были в старое время сорта икры и сколько они стоили, как их, мальчишек, учили по переписанному на русский язык прейскуранту запоминать иностранные марки вин и к чему какое вино подается. Вспоминает он не без гордости, как в прошлом или в позапрошлом году, когда он еще работал в своей «забегаловке», приехал в Красный трактир,— так по старинке называет он нынешнее кафе инвалидов,— какой-то генерал и заказал шампанского. Шампанское, разумеется, нашлось,— как и крабы, оно имеется повсеместно,— однако никто не знал, как откупорить. И тут вспомнили о Михаиле Васильевиче, послали за ним в его забегаловку, он явился, артистически откупорил бутылку и подал ее как следует генералу.

Михаил Васильевич и Дарья Васильевна воспитывают милую девushку Капу, которой семнадцатый год. Она перешла в десятый класс, и что с ней дальше будет, трудно сказать. Если не пойдет в институт, то станет, вероятно, служить по «письменной части», выйдет замуж, будет сажать помидоры и лук, варить варенье. В свободные минуты, как это они делают сейчас с дядей Мишей и тетей Дашей, она будет глядеть в окошко на тихую зеленую улочку, упирающуюся в старинный монастырь, и с интересом, хотя и ленивым, но все же интересом, рассуждать о том, что вон Кривцов пошел куда-то, должно быть в кремль, что вон прошла такая-то, что на паточный, видать, привезли булки, а таким-то везут сено, а Пашка Фадеев поехал на озеро ловить рыбу. И странно помыслить, что Капа комсомолка.

Капа рассказала Дарье Васильевне о нашей недавней встрече с волком, но та перепутала и спросила нас, не испугались ли мы медведя. Когда я поправил ее, она с застенчивой улыбкой произнесла: «Так вот складни-то и складываем». Она имела в виду, что по этому подобию растет сплетня.

✱

Сразу же за чертой города, на болотистом поле возле озера, устроены поля разлива сапропеля. Это — вырытые в земле четыре прямоугольных резервуара, разделенные дамбами и обнесенные дамбой же. В три из них уже налит сапропель, а четвертый, с очень ровным дном, пока еще пуст. Сапропель отстаивается в этих резервуарах, оседает, и на поверхности его кое-где стоит вода. Сапропель выглядит серовато-зеленой студнеобразной массой, лежащей наплывами. Там, где вода ушла, поверхность массы кое-где потрескалась.

Все это уже куда совершеннее того, что я видел в прошлом году на другом берегу озера и под Медведами. Там сапропель сливали в неаккуратно вырытые прямоугольные ямы, обнесенные небрежно насыпанными валами, сквозь которые просачивалась вода. Она уносила из сапропеля на заболоченные луга драгоценный кальций.

В этих полях разлива есть нечто от промышленного предприятия. Одно только плохо: до сих пор не поставлены опыты по намыву сапропеля прямо на поля и луга, хотя для этого можно было бы использовать бросовый приозерный кочкарник.

А ведь год уже минул с тех пор, как приезжала министерская комиссия.

С полей разлива мы едем в село с необычным названием — Медведи. Мы едем смотреть, как повлиял сапропель на капусту, под которую его вносили нынешней весной. С нами, кроме Андрея Владимировича, научный сотрудник опорного пункта, женщина лет сорока пяти, агрохимик, работающая теперь на опорном вместо Андрея Владимировича.

Капуста, которую мы смотрим, весьма средняя, сказать что-либо о влиянии сапропеля нельзя. Она заросла сорняками, да и земля здесь неважная, неизвестны и сроки посева. Может быть, при скудости почвы, засоренности, да еще если сажали капусту в неблагоприятные сроки, она бы без сапропеля была значительно хуже. Но установить этого нельзя, так как настоящих контрольных делянок не оставлено. Агрохимик наш, правда, утверждает, что по краям поля сапропеля не было, капуста там, на мой взгляд, такая же. Впрочем, высокоученая эта дама не может показать нам точную границу, за которой уже не сваливали сапропель, говорит она как-то сбивчиво, неопределенно. Оно и понятно: опыт, если это можно назвать опытом, ставила не она, а шефствующий над колхозом техник. Она не может даже точно сказать, сколько же вносили на гектар сапропеля, называет каждый раз другое количество везов, да и везы ведь могут быть разные,—какая это мера для научного опыта!

Можно считать, что и этот год потерян.

Нет сомнения, что сапрпель повышает урожайность растений, но надо знать, сколько и когда вносить его под ту или иную культуру, на той или иной почве. Надо изучить способы намыва его на поля. Вот для этого и следует ставить опыты, но только на нормальном агротехническом фоне, оставляя каждый раз контрольные делянки.

С этой целью разумно было бы вместо опорного пункта организовать научно-исследовательскую станцию, с небольшим, но толковым штатом работников. Вообще, после Андрея Владимировича, на мой взгляд, пункт никакой пользы не приносит. Андрей Владимирович осушил в Ужболе Бель, с которой колхозники снимают сейчас отличные укосы сена, хорошие урожаи капусты, развел там бекманию. Он поставил вопрос об осушении котловины озера Каово и добился, что сейчас уже готов проект осушительных работ. Наконец, он занялся сапрпелем, заинтересовал им, как и всей проблемой озера, печать, научную общественность, местные колхозы, районные и областные организации, добился того, что Райгород получил землесос и сапрпель стали добывать, снабжать им колхозы.

А вот наш агрохимик даже не могла проследить, чтобы небольшой опыт с сапрпелем, внесенным под капусту, был проделан в соответствии с самыми элементарными правилами. Между тем она получает в месяц две тысячи двести рублей, на сто рублей больше первого секретаря Райгородского райкома партии. Надо ли говорить о масштабах ее и его работы, о пользе, приносимой ими, об ответственности, лежащей на каждом из них. Дорого обходится народу такая наука, особенно если учесть, что подобных пунктов и станций в стране множество и что работают они в значительном числе случаев столь же оторванно от колхозного производства.

Но дело не только в данном научном работнике, в его личных качествах. Работу низовых звеньев сельскохозяйственных научных учреждений, мне кажется, следует вообще строить иначе, комплексно, а этого, сколько я знаю, нет. В Райгороде, например, следовало бы иметь станцию или пункт — дело не в названии, — где был бы следующий примерно штат научных работников: гидромелиоратор-осушитель, почвовед, агроном — овощевод и луговод, зоотехник, агроном-экономист, инженер по механизации сельского хозяйства. Такая станция изучала бы вопросы осушения болот и заболоченных земель, освоения их под травы и овощи, с использованием при этом сапрпеля и торфа, вопросы механизации овощеводства и животноводства, вопросы кормления скота теми кормами, которые с наибольшим эффектом могут произрастать на подобных землях. Одна эта станция могла бы заменить десятки других, разбросанных по стране, в похожих местах, стоила бы она дешевле, а пользы принесла бы неизмеримо больше, так как работа была бы сведена в точно нацеленный кулак, а не производилась бы, как сейчас, растопыренными пальцами. Опыт подобной комплексной станции можно бы рекомендовать и внедрять в сельское хозяйство всех похожих районов страны, то есть в места, где земли нечерноземные, где имеются болота и заболоченные угодья, где наличествуют богатые сапрпелем озера, богатые торфяники, где направление хозяйства овощеводческое и животноводческое или же, в целях наибольшей выгоды, должно быть таким.

Но раз уж зашла речь о сельскохозяйственной науке, нельзя не сказать, какой представляется она иной раз стороннему человеку, особенно если глядишь снизу, из деревни.

Была, например, в качестве панацеи от всех бед, травопольная система, травы сеялись всюду, даже и там, где это было невыгодно. Во многих местах провалилось это дело, и травы теперь, что совсем преступно, вовсе в опале, за них не дерутся, ими пренебрегают даже и там, где они нужны, как воздух.

Было, помнится, орошение центральных черноземных районов страны — сплошное, с шумихой, с газетной трескотней, вложили уйму денег, дергали людей, видели в этом панацею от всех бед для всей этой обширной области, а теперь — замолчали, хотя в качестве одного из способов борьбы за урожай орошение весьма полезно. Надо было лишь вводить его не сплошь, а там, где это было легче и доступнее, скажем, на овощах, постепенно изучать и распространять изученное и завоеванное, в том числе и на зерновые культуры.

Была, не в столь больших размерах, вспышка с ветвистой пшеницей, и я сам видел, как в Заволжье, где есть отличные, драгоценнейшие твердые пшеницы, посева которой в ту пору сокращались, — как в одном тамошнем колхозе колхозники, не ведая, что и зачем они делают, сеяли в обязательном порядке непроверенную и очень сомнительную ветвистую пшеницу, сеяли, разумеется, зря.

Затем были лесные полосы, влетевшие в огромную копеечку, отнявшие много земли, техники. Теперь эти полосы забыты, заброшены, хотя дело это святое, очень нужное народу, надо было лишь не видеть в нем панацею от всех бед, вводить его постепенно, в районах, где это прежде всего и жизненно необходимо, причем вводить в комплексе с другими мероприятиями. Но кто теперь думает о лесных полосах?

А сегодня вот — кукуруза. Культура это полезная, ценная, однако вводить эту культуру надо не шаблонно, но изучив ее особенности в новых для нее местах и приучив к ней народ. Именно так, например, распространились в нашем Райгороде помидоры, и я слышал, как кто-то сказал: «Райгород был город луковый, а стал помидорный». И кукурузным он станет, если ученые дадут здешним колхозникам такие сорта кукурузы, которые способны расти на местных почвах, в местных климатических условиях, если ученые найдут такие способы возделывания ее, которые применимы именно здесь, если они, наконец, опираясь на цифры, взятые из практики схожих районов, сумеют убедить колхозников, что кукуруза выгоднее мешанки.

Может быть, где-нибудь так и делается, но в нашем Райгороде этого не видно.

Отсюда-то и возникает мечта о таком научном учреждении, которое, оставив бесполезную шумливую пропаганду одного какого-либо метода, одной культуры, — для всех без исключения мест, — занялось бы комплексным изучением различных методов и культур применительно к особенностям того или иного района страны. На основе такого изучения, такой комплексной разработки должны бы составляться планы развития сельского хозяйства той или иной области, района, колхоза, причем в этих

планах, опирающихся на научные данные и местный вековой опыт, должно быть предусмотрено постепенное внедрение новых культур, пород и видов скота, методов и способов работы, новых механизмов,— новых вообще и для данной местности.



Солнечно и холодно. На три дня переселился в Райгород.

Живу у Грачевых. Рядом с ними — полуразвалившийся дом, в котором живет одинокий старик, бывший зажиточный торговец. Вся усадьба у него занята цветами: левкоями, георгинами, львиным зевом... Цветы он выращивает на продажу и, как писали в старинных писцовых книгах, «тем кормица». А дом его совсем развалился, пожарные запретили топить печи, и старик живет в холоде. То ли денег у него нет на ремонт, то ли считает, что скоро умрет и незачем тратить деньги.

Напротив, через дорогу,— большой и крепкий одноэтажный дом. Легко догадаться, что принадлежит он двум владельцам. Половина крыши выкрашена в малиновый цвет, соответственно половина дома выкрашена травянисто-зеленой масляной же краской, а наличники покрыты белилами, терраса — яркоголубая с белым. Половина этого дома принадлежит тому самому старику в синем «бывалошном» картузе, которого я несколько раз видел в кремле,— он работает там сторожем. Интересно, что у сторожа такой превосходный дом! И откуда у него столько денег, чтобы выкрасить дом масляной краской? Это одна из загадок Райгорода.

А вот еще одна. Неподдалеку от нарідного дома сторожа стоит отличный дом Фадеевых. Он интересен тонкѣй и богатой резьбой не только наличников и подзоров, но и всех промежутков между окнами. Сам Фадеев, жалуясь на ревматизм и преклонный возраст, нигде не работает, хотя лет ему не больше пятидесяти двух — пятидесяти трех, то есть столько же, сколько Ивану Федосеевичу, с которым, кстати сказать, они земляки,— оба родом из Угож.

Иван Федосеевич тоже не очень здоров, но руководит большим и сложным хозяйством колхоза, доставляющим много хлопот, неприятностей и огорчений. И по происхождению и по образованию оба они с Фадеевым одинаковы. Но один угожский мужик, став коммунистом, вот уже двадцать с лишним лет в буквальном смысле украшает землю своим трудом: осушил несколько сот гектаров болот, построил множество общественных и хозяйственных построек, ежегодно дает стране тысячи тонн «общественного продукта». А другой угожский мужик, ровесник и сверстник председателя колхоза, имеющий тоже двухклассное образование, тихо и мирно живет в отличном своем городском доме, возделывает усадьбу, ловит на озере рыбу, в сезон стреляет уток и торгует всем этим добром, накапливая деньги. Обитателям этой улицы такая жизнь может показаться завидной, но Иван Федосеевич ни за что не променял бы трудное и беспокойное свое счастье на такое сытое и благополучное существование.

Но бог с ним, со стариком Фадеевым, в конце концов его можно причислить к тому «наследству», которое досталось нам от прошлого. Однако у него есть еще и сын Пашка, здоровый парень двадцати семи лет. Так

вот, Пашка этот, испробовав множество профессий, почел за благо нигде не работать. Он числится в здешней рыболовецкой артели, куда должен сдать в год тонну рыбы. Сдаёт он, понятно, почти бросовую мелочь, так как крупная рыба в озере, мол, не ловится. А вот для себя, то есть на продажу, он ловит крупных щук, окуней, карасей, линей, лещей. У них со стариком моторка, а скоро у Пашки будет и автомобиль — он записан в Москве в очереди на «москвича». С приобретением автомобиля Пашка сможет и рыбу, и лук, огурцы и помидоры с своей усадьбы продавать не в Райгороде, но в более далеких местах, где цены выше, главным образом в подмосковных промышленных поселках и городах. Жизнь он ведет свободную: половит рыбу и затем, в летнее время, полеживает в лодке на травке среди приятелей, таких же, как и он, рыбаков и охотников. В сущности все они браконьеры, так как ловят рыбу промысловой снастью, что любителям запрещено.

Мне запомнилось, как Пашка, сидя на полу у Грачевых, размечтался, что хочет переехать куда-нибудь под Ленинград, — вот только машину получит, — куда-нибудь в лесные места, где построит себе дом тысяч в двадцать; десять — двенадцать у него имеется, остальное же батя подкинет.

Разумеется, Пашка никуда не поедет отсюда, и в этих его словах, быть может, потребная все же человеку мечта о каком-то высоком и красивом поступке: скучно ведь, я думаю, вот так существовать в двадцать семь лет, да еще в наше время. Впрочем, все это, возможно, мой домысел. Что же до Пашки, то он, что вполне вероятно, просто прослышал о более выгодных и удобных для наживы местах. Этот парень лет на десять моложе нашей революции, он учился в советской школе, где были и пионерская и комсомольская организации, и это они несут ответственность за то, что воспитали такого вот обывателя, паразитирующего на теле общества.

Мы обычно умильно пишем, что вот такая-то школа воспитала столько-то замечательных людей, перечисляем их профессии, — главным образом речь идет об инженерах, врачах, педагогах, офицерах, капитанах дальнего плавания, архитекторах, геологах и так далее. И очень мы этим довольны. Реже, но все же пишем мы об отдельных уродах, хулиганах или насильниках, учащихся такой-то школы. А вот о таких, как Пашка, мы не пишем, хотя вред от них велик, так как они ничего не дают обществу, пользуясь в то же время трудом сограждан и всеми благами нашего строя. Мало того, такие, как Пашка, разлагают своим примером не очень развитых в смысле сознания общественного долга ребят, особенно деревенских, иные из которых тянутся к тихой, привольной и благополучной жизни на такой вот зеленой окраинной улочке маленького города.

✱

В райкоме у Алексея Петровича разговариваем о туеядцах, населяющих Райгород. Он жалуется, что ткацкая фабрика не может освоить отпущенные ей на строительство восемь миллионов рублей, — не хватает рабочей силы, — тогда как в городе сколько угодно строительных рабочих, которые официально не работают по своей специальности. Все эти

каменщики и плотники частным порядком строят в колхозах скотные дворы, свинарники и телятники, зашибая большие деньги.

Потом, в связи с историей со свеклой, которую продал Иван Федосеевич, секретарь райкома говорит о безрукости работников пищевой промышленности, в частности консервного завода, о лени и безинициативности торговых работников.

Тяжело переваливаясь на больных своих ногах, он подходит к шкафу, где у него выставлены образцы продукции здешних предприятий, и достает оттуда стеклянную консервную банку с отпечатанной на машинке этикеткой. В банке — рассольник. Происхождение его следующее.

На консервном заводе скопилось в дошниках много соленых помидоров, нестандартных, которые из-за этого последнего продавать нельзя: не стандарт, значит цены нет. А дело все в том, что помидоры мелкие, кривоватые, не больше. Тогда Алексей Петрович, после неоднократных тщетных попыток уговорить торговцев взять эти помидоры и продавать их по дешевой цене, посоветовал директору завода приготовить из них консервированный рассольник. Помидоры изрезали, добавили сала, луку, перцу и прочих специй, разложили по банкам, законсервировали, наклеили самодельные этикетки и в несколько дней, к удовольствию горожан, распродали рассольник по цене в три или четыре рубля за банку.

Так именно и поступали в прошлом торговцы, не связанные губительной в торговом, да и в любом другом деле канцелярией.

Алексей Петрович говорит о директоре консервного завода, что в личном своем хозяйстве тот и былинке не даст пропасть, а на заводе может сгноить отличную продукцию. Правда, директора связывают стандарты и прочие бюрократические пути, — стандарты, замечает он, надо соблюдать, однако с разумом.

Мне кажется, что в этом случае были еще и другие, кроме безинициативности, причины. Во-первых, директор завода лично не заинтересован в том, чтобы приготовить рассольник из нестандартных помидоров. Использует он их или не использует, ему лично от этого прибыли не будет. Во-вторых, рогатки, поставленные на пути к выдумке в торговле и в пищевой промышленности, целью своей имеют пресечь различного рода махинации. Так вот, мне кажется, что те, кому ведать надлежит, должны подумать, как сделать, чтобы торгующие организации и предприятия пищевой промышленности, имеющие дело со скоропортящейся и не однородной, как, скажем, металл или ткани, продукцией, чтобы они, не обманывая потребителя и государство, могли в работе своей маневрировать.

И еще рассказал мне секретарь райкома, что в одном здешнем селе имеется маленькое кошмовое предприятие со штатом в сто человек. Разумеется, в это число входит изрядное количество административного персонала. Предприятие, конечно, полукустарное. И в этом же селе в колхозе — девять человек трудоспособных. Не лучше ли кошмовое предприятие передать колхозу, с тем чтобы во время полевых работ люди работали в поле. В сущности дело сводится к тому, чтобы организовать в этом селе промышленный колхоз.

И тут я подумал, что промколхозы у нас если и существуют, то как-то в забросе, — не слышать о них ничего, — а форма эта для районов с бед-

ной землей, с большим количеством неудобной земли, где исстари процветали кустарные промыслы, так как земля не кормила, форма эта для таких мест весьма и весьма резонная.

Такого рода темы неизбежно навели нас на разговор об Иване Федосеевиче.

Алексей Петрович был у него в воскресенье, смотрел строящийся свинарник и очень его хвалил. Иван Федосеевич, понятно, не упустил случая: попросил тридцать тысяч штук кирпича. Кирпич ему нужен, вероятно, для строительства лабаза, в котором будут храниться корнеплоды для свиней,— свинарник же уже выведен под крышу! Алексей Петрович сказал Ивану Федосеевичу, что охотно дал бы, но кирпича нет. Тогда Иван Федосеевич, имеющий обыкновение сперва узнать, есть ли просимое, сообщил, что кирпич имеется. Алексей Петрович, приехав Райгород, позвонил, убедился, что председатель прав, и велел отпустить колхозу кирпич.

Таков уж наш Иван Федосеевич. Поедет он, скажем, на какой-нибудь завод просить мотор, так сперва идет на склад, посмотрит, убедится, что нужный ему мотор имеется, а потом уже обращается к директору. Тот, конечно, отказывает: мол, дал бы с удовольствием, да нету. То ли дать не хочет, то ли и впрямь не знает, что у него на складах лежит. Тогда Иван Федосеевич говорит, что, мол, есть мотор, только что сам видел. И директор уже не может отказать. У Ивана Федосеевича здесь, на мой взгляд, не только крестьянская хитринка, но и удивительно развитое в нем чувство собственного достоинства, ощущение себя хозяином страны,— в чем он вообще-то прав,— что позволяет ему свободно пройти на любой склад.

✱

Жаркий день. Белесое озеро недвижимо, противоположный его берег затянут серой дымкой и почти сливается с мертвенной водой.

Лук весь полег, торчащая наполовину из земли репка одевается рыжеватой кожурой. Лук поспевает. Теперь ему дождь не нужен. Говорят, что он берет сок уже не из земли, а из перьев. Обычно в эту пору лук приламывают, но нынче он сам упал,— от жары?

Пришедшая в обед с Бели Наталья Кузьминична,— она ворошила там сено,— говорит, что в лугах еще жарче, чем в селе: земля там сырая, и хотя сверху подсохла, все же под горячим слоем нагретшегося сена она как бы источает пар. Печет сверху, а от сена, когда его ворошат, идет густой, жаркий, томящий дух. И мошкара донимает. И крепкий запах горячего болотного сена.

Вечером, в густой белой пыли идет черно-белое стадо.

Часу в двенадцатом ночи Николай Леонидович привез на мотоцикле, в кромешной тьме, свою старуху мать, живущую в Вексе, километров за восемнадцать отсюда. Старуха тряслась ночью на заднем седле мотоцикла из любви к сыну. Он набрал со своего сада много вишни, а везти ее на базар некому; Наталья Кузьминична отказалась, так как у нее своя. Старуха поедет с Натальей Кузьминичной продавать вишню,— та и места

знает и все порядки и вообще к торговле привычна. Мать расспрашивает Наталью Кузьминичну, не ругают ли сына, жалеет его из-за того, что у него такая трудная должность, говорит, что у них они своего председателя — Ивана Федосеевича — все время ругают, небось и Николая Леонидовича так-то.

Ночь. За черными стеклами окон не видать темной деревни. Лишь изредка вспыхнет вдруг окно в избе напротив, затем весь противоположный фасад осветится слабым светом. То ли поезд это прошел, то ли машина по шоссе. А потом все снова пропало в черной мгле.

*

Николай Леонидович поехал вечером к матери в Вексу, там престольный праздник — преображение. Иван Федосеевич, понятно, этого не сделал бы. Бедный Иван Федосеевич, престол этот заберет у него не меньше трех рабочих дней.

Мимо нас, в гору, в сторону Урскола, тянутся пешком и на велосипедах нарядные горожане. Они идут в какое-то Васильевское, где сегодня тоже престол. Сколько хлеба, сена и овощей потеряет из-за праздника район, область, вся страна! Удивительная это дикость. Добро бы в бога верили, а то ведь и молиться не умеют, и что это за преображение, почти никто не знает, а вот — праздник, работать грех...

Разговаривали об этом с Натальей Кузьминичной; она говорит, не знаю уж, что за праздник, а только — большой, грех работать. Я ей говорю: да ты же и в церковь не ходишь и у исповеди, наверно, бог знает когда была, какой же это тебе праздник, вот Октябрьская придет, тогда празднуйте. Но она смеется, и, конечно, я ее не переубедил. Тут не в религии дело, но в обычае, и еще в том, что работают люди трудно, живут скучновато, развлечений почти никаких, культуры мало, а у человека есть потребность отдохнуть, развлечься.

Вечером, за ужином, Наталья Кузьминична обстоятельно, со множеством подробностей рассказывала, как сегодня, когда они убирали в Бели сено, вышел из кустов старый лось, подошел к стогу, долго стоял неподвижно и смотрел на работающих женщин. Потом она вспомнила, как завелась у них на дворе ласка, как терзала она корову. Корова исхудала, убавила молока, и утром, бывало, когда Наталья Кузьминична выйдет на двор, корова вся стоит в инее: дело было к холодам, и вспотевшая от терзавшей ее ласки корова, как только ласка убежала, мгновенно покрывалась инеем. Об этой ласке Наталья Кузьминична рассказала Михаилу Васильевичу Грачеву, и тот посоветовал поставить на двор старого козла. Но такого не было в деревне. Тогда Михаил Васильевич принес козлиной шерсти, которую выстриг у «инвалидского» козла, то есть у козла, стоявшего на конюшне артели инвалидов. От этой шерсти ласка сразу пропала. А ведь так прижилась, что успела уже вывести где-то на дворе детенышей. «Я их не видела, — говорит Наталья Кузьминична, — но только выйду на двор, слышу, они пищат, ней, думаю, мерещится мне, ней и впрямь пищат. Иду на голос, пошарю в соломе рукой, они замолкают. Точно это

детеныши ее были. А от шерсти козлиной,— уж она такая вонючая,— и сама ласка и детеныши пропали. Перетаскала она их».

Затем Наталья Кузьминична вспоминает, какой страшный бездомный козел жил в Галкине, куда она поехала однажды с бабами за дровами, как он их всех по одной «закозырял». «Спасибо, крыльцо там было отворено, мы и спрятались». Очень подробно рассказывает Наталья Кузьминична о том, как хорь жил у них в подполье,— большой, черный, как кошка. Она рассказала об этом хоре Андрею,— тот еще маленький был, учился в школе,— и Андрей поставил на хоря капкан. А Наталья Кузьминична боялась, что пойдет в подполье, кошка за ней увяжется и попадетса в капкан. Однажды на рассвете всех разбудил шум, грохот, визг в подполье,— хорь попался в капкан. Натянув цепь, которой капкан был прикреплен к потолку, хорь, оскалив пасть и визжа, кидался то на Андрея, то на Наталью Кузьминичну. Андрей все не мог убить хоря,— убивать его надо аккуратным ударом в голову,— и Наталья Кузьминична ему помогла: то ухват принесет, то молоток. Андрей очень боялся повредить шкуру, сперва он оглушил хоря, а потом убил. Шкуру он очень умело снял, выделал и сдал. «Пять килограммов пшеничной муки дали мне за нее»,— заключает Наталья Кузьминична рассказ.

А еще было, что горбатая тетка Шура Соколова,— Наталья Кузьминична с деревенской простотой и жестокостью и в глаза кличет так свою невестку,— так вот, эта тетка Шура, работавшая тогда на свинарнике, однажды пришла и сказала, что видела за усадьбами волка. Андрей несколько ночей пропадал в стогу за усадьбой, а Наталья Кузьминична обмирала: думала, загрызут его волки. Но Андрей не выследил никого, должно быть волк больше не приходил,— тетка-то Шура Соколова врать ведь не станет, она не такая! А волков в ту зиму было много; кормов не хватало, каждый день то корова, то овца, то теленок, то лошадь падет... Резать-то без акта не разрешали, они и дохли, а мужики — им лень заковать,— мужики и выбросят прямо за скотный. Волки вот и повадись.

Там же за усадьбами, где капуста росла, тетка Шура Соколова и зайцев видела,— там кочерыжек в земле осталось много, они еще из-под снега торчали, не успело их засыпать, вот зайцы целой семьей и пришли. Бегали они там, резвились; ней праздник у них был, ней что. Дело-то было после скотины, хотя и темно, а на снегу видно. Тетка Шура пришла, сказала Андрею,— ему тогда очень хотелось зайца застрелить. Зайцев он, правда, не застал уже, но только тетка Шура не соврала, утром на снегу видны были следы. А зайца Андрей потом все же застрелил. Каждый день ходил, возвращался, когда уже темно было, стучится, бывало, и кричит: «Отворяй, мамка, зайца принес!» Он все обманывал. А однажды, глядит Наталья Кузьминична, беляк у него привязан: сам-то он маленький, а беляк — большой. Разделал он его, мясо зажарили, и хотя заяц весь красный, а мясо вкусное. А за шкуру опять-таки пять кило пшеничной муки дали. Наталья Кузьминична тогда сказала: «Андрейка, как у тебя разрыв сердца от радости не сделался, что зайца все же застрелил».

И уток Андрей, бывало, приносил: весь мокрый придет, усталый, и утками обвешан. И раков приносил он из-за Павловска: он их там на реке

из ямы в береге таскал,— все тело у него изодрано от раков, у них ведь «клещи»... Все, бывало, хвалили сына за это его умение, а Наталья Кузьминична говорила: «Смотри, Андрей, где ружье да уда, там беда».

Видно, что все это она рассказывает потому, что скучает о сыне, который служит в армии, и гордится им,

*

Редкая низкая рожь, как бы просвечивающая на солнце, колыхается у дороги. Рожью быстро идет комбайн,— такую скудную рожь убирать легко. За рожью — чахлое картофельное поле; в междурядьях видна окаменевшая, потрескавшаяся земля, у самой дороги на кустах картофеля лежат толстый слой пыли, а в глубине поля многие кусты сгорели и страшно желтеют.

Алексей Петрович вздыхает. Пыль, клубящаяся над нашим «газиком», ложится на его синий шевиотовый костюм Белое небо. Зной. Вспоминается чей-то рассказ, в котором тучный человек, секретарь райкома, в такой же точно зной, в такую же засуху потел, томился и только молоденькая девушка, новый сотрудник райкома, внесла некоторую свежесть в его нудную жизнь. Писатель, мне кажется, хотел изобразить обыкновенного человека, не героя, не борца, а именно обыкновенного смертного, усталую душу которого могут омолодить лишь извечные молодость и любовь. Писатель как бы восставал в этом рассказе против красивой лжи, однако, увы, едва ли и сам сказал правду. Алексей Петрович тучен, немолод, и обыкновенней, кажется, не найти человека, но взбодрить его, внести свежесть в его жизнь может сейчас лишь хороший дождь, который спас бы картофель.

Дорога, миновав Рыбное — большое, похожее на город, село, — оставляет свое булыжное покрытие, мягким пыльным проселком идет все вверх и вверх. Мы едем вдоль ржаных полей, вдоль полей поспевшего уже овса, стебель которого светится краснотой, как гречишный мед, а метелки золотятся. Ранний овес здесь почти всюду поспел. Созрел и лук; он кучами свален возле пустых гряд в деревеньках, через которые мы проезжаем. Места тут высокие, поэтому все поспевает раньше, нежели на полях приозерных колхозов.

Избы в здешних деревнях беднее, чем в приозерных, ни железа, ни драни почти не видать, только солома, да и то почерневшая, кое-где в дырах, и пятистенки нет, и кирпичных фундаментов, да и валяются избенки то в одну, то в другую сторону. Правда, многие строятся или ремонтируются: постукивают топоры, белеют стропила, из пазов между бревен свисают на восковую их желтизну ружие махры моха.

Возле многих изб женщины молотят сжатую на усадьбах рожь. Молотят первобытным способом, который, как говорили мне потом, принят здесь издревле, должно быть — со времен князей Янов и Долгоруких, так как более примитивного способа, я думаю, нет. Я до сих пор считал, что самая примитивная молотья — цепями, или, как в здешних местах говорят, молотилом. Но тут, в этом нагорном Заозерье, рожь охлестывают. Женщина держит в руках сноп и хлещет им изо всех сил по маленькому

деревянному скату, наклонная часть которого составлена из отстоящих друг от друга на правильном расстоянии планок. Зерно из колоса сыплется сквозь отверстия между планками на выбитую землю.

В Козищеве, возле правления колхоза, множество велосипедов. В правлении за тремя столами две девушки и парень разносят по трудовым книжкам июльские трудодни: через день-другой будут выдавать колхозникам аванс хлебом, за уборку. На лавках вдоль стен сидят начальственного вида мужчины: какие-то агенты, заготовители... Председатель здесь же. Он молод, невысок ростом, розоволиц и светловолос, в серой бумажной курточке, из кармана которой торчит новая еще записная книжка. Он бывший учитель, до недавнего времени заведовал промышленным отделом райкома. Председателем здешние колхозники выбрали его только девятого августа, то есть тринадцать дней назад. До него в течение восьми лет председателем был местный колхозник, говорят, неглупый мужик, не вор, не пьяница, понимающий сельское хозяйство, однако разваливший колхоз. Колхозный счет в банке арестован. Колхоз должен различным организациям триста с лишним тысяч рублей, из которых сто сорок пять тысяч неотложного долга. В кассе нет ни копейки. Торгуют только капустой, но ее продать очень трудно, так как и рынок и магазины завалены ею,— это ранняя капуста, в зиму она не идет,— да и цена ей рыночная полтинник за килограмм.

Председатель рассказывает Алексею Петровичу, что из трехсот с лишним тысяч долга — сто пятьдесят тысяч причитается за строительство межколхозной ГЭС, которая так и не дала тока. В пору увлечения сплошной во что бы то ни стало электрификацией села соседний колхоз предложил здешнему строить в Рыбном межколхозную ГЭС. Строили, вероятно, в спешке, под нажимом сверху, дабы поскорее послать победный рапорт, поэтому допущены были какие-то просчеты в проекте, и в первый же паводок плотину снесло. Но станция уже числилась построенной, и «Сельэлектро» больше к ней не возвращалось. Потом «мода» прошла, и мало-мощный колхоз остался должен сто пятьдесят тысяч. Алексей Петрович говорит председателю, чтобы тот от имени правления составил заявление в облисполком с просьбой списать долг, так как колхоз энергией станции не пользовался. Он обещает, что райком эту просьбу поддержит.

Из разговоров выясняется, что колхоз уже убрал всю озимую рожь: работал один комбайн, большинство же убрано было серпами. Теперь, поскольку колхоз уже обеспечен семенами, комбайн забрали, хотя поспел овес и его надо бы убирать, иначе он начнет осыпаться. Из скошенной серпами ржи успели намолотить только на семена, молотилку же, пока председатель ездил в город, где продолжает жить его жена, забрали в соседний колхоз,— вероятно, там сеять нечем. А немолоченное зерно сейчас очищают триером. Мы отправляемся к амбару, где веют зерно.

Солнце. На бугре за деревней, возле амбара, небольшой ток, где стоит зерноочистительная машина с подвешенными к ней пустыми мешками. Два парня — машинист с трактористом — сшивают приводной ремень. В ослепительном и рыхлом ворохе соломы лежат девчата, приехавшие из города помогать колхозу. Откуда-то из-под бугра то и дело приходят утки, клюют разбросанное всюду зерно. Алексей Петрович говорит,

чтобы уток прогнали, и их гонят, но они снова возвращаются. Алексей Петрович советует председателю убрать мякину и прочие отходы по-дальше: осенью, мол, все это пригодится или зимой.

Входим в полутемный амбар, куда сквозь щели в стенах пробивается солнечный свет. В амбаре прохладно, пахнет теплым и пыльным хлебным духом. Всюду на деревянном полу вороха зерна, желтовато-серые, с торчащими из них сухими безлиственными ветвями. Алексей Петрович вытаскивает то одну, то другую ветку, проводит ладонью по той ее части, которая находилась в зерне,— не влажная ли она? Немолодая уже женщина, что-то делавшая в темном углу амбара,— как выясняется, бригадир,— говорит, что за зерном она следит, все время лопатит его, да и кладовщик то же самое. Она спрашивает, скоро ли начнут выдавать хлеб на трудодни, заработанные на уборке. Когда мы выходим из амбара, Алексей Петрович советует председателю, как только расплатятся они с государством, начать выдачу авансов.

Предстоящей выдачей хлеба все интересуются. Здесь не то что в приозерных колхозах, где народ благодаря луку, вишням, овощам имеет порядочно денег и предпочитает покупать печеный хлеб. Здесь земли бедные, основное достояние — хлеб да картошка. Кстати, в прошлом году на трудодень здесь выдали всего по триста граммов зерна.

Председатель отвечает Алексею Петровичу, что в ближайшие дни рассчитается с государством и начнет выдачу хлеба на трудодни. Он напоминает нам, что, как мы видели в конторе, идет уже подсчет трудодней.

Алексей Петрович советует ему подсчитать с правлением свои возможности и сдать государству и в счет будущего года: на будущий год легче будет, тем более что неизвестно, каков будет урожай зерновых, а нынче неплохой — на круг девять центнеров. И еще он рекомендует, посоветовавшись с правлением, недодать колхозникам граммов по двести на трудодень, но засыпать семена на будущий год: никуда это не годится сеять новыми семенами, в прежнее время самый бедный крестьянин от детей урвет, а семенами себя обеспечит. Все это Алексей Петрович говорит мягко, не поучая, и мне все больше и больше начинает нравиться этот спокойный, очень обыкновенный партийный человек.

Мы стоим возле зерноочистительной машины, ожидаем, когда наладят ремень, хотим посмотреть, как она работает. Подходят колхозники. Один из них невысок ростом, горбонос, черняв и сухошав, одет в красную, выгоревшую на солнце рубаху распояской; другой — бригадир — человек плотный, что называется в теле, с крупными и добрыми чертами лица. Чернявый спрашивает у председателя, нет ли покурить, говорит, что табаком мучаются, а для мужика и поесть-то не так надо — был бы табак. Табаку же или дешевых папирос ни в лавочке нет, ни в городе. В лавочке, надо думать, бывает табак, да по своим расходуется. Алексей Петрович советует председателю держать в кладовой ящик-другой табаку. Он говорит. будешь давать тем, кто хорошо работает.

Разговор снова возвращается к тому, что рожь уже сжата, надо молотить ее, а молотилку забрали. Алексей Петрович настоятельно советует заскирдовать рожь как следует, тогда ей ничего не сделается, никакой дождь не страшен, а потом можно будет спокойно молотить. Скирдовать

нужно потому, во-первых, что поля, где стоят суслоны, надо пахать, и потому, во-вторых, что если пойдут дожди, то рожь намокнет и прорастет. Но для того, чтобы скирдовать, надо свезти снопы в одно место, с транспортом же в колхозе плохо. Чернявый колхозник говорит: «Есть у нас семь лошадей да два с половиной полка, ни сбруи порядочной нет, ни хомутов». Алексей Петрович обращается к председателю: «Лошадей-то одень, обуи...» Потом спрашивает: «А машина что делает? У вас же есть машина». Председатель отвечает, что машина лес возит. Алексей Петрович укоризненно замечает: «Что же вы, мужики, зимой надо было возить лес, как раньше хозяева делали, а вы в жнивье возите, совсем разучились крестьянствовать». Тогда чернявый, не без обиды, возражает: «Мы-то не разучились, мы вон с ним,— кивает он на бригадира,— мы с ним с осени делянку нарубили да напилили... Деловая древесина... Думали, зимой вывезут, а ее не вывезли, и неизвестно куда она подевалась. Выходит,— продолжает он с горечью,— не мы крестьянствовать, а вы руководить нами разучились». И говорит, что они все требовали убрать прежнего председателя, а районное начальство возражало. Алексей Петрович мрачнеет и молчит.

Мне вдруг приходит в голову, что для этого колхоза те два года, что минули уже с сентябрьского Пленума, прошли впустую,— хуже того, он продолжал опускаться все ниже и ниже, хотя для подъема сельского хозяйства всего-то дано было Пленумом два-три года. И еще я думаю, почему же не снимали все-таки председателя? Должно быть, потому, что он не вор, не пьяница, Устава не нарушал, с колхозниками был вежлив и, говорят, даже в хозяйстве разбирался. Но никого не смущало в течение почти двух лет после Пленума, что у председателя этого нет одного — таланта организатора, что при всех добрых намерениях его колхоз нищает и нищает. Вероятно, он и планы полевых работ кое-как выполнял и государству, не выдавая ничего колхозникам, кое-что сдавал...

Председатель меж тем говорит, что полевые работы его уже не беспокоят: все они в правлении обдумали, обсудили, людей расставили, и теперь дела идут чередом, вполне нормально. Угнетает же его животноводство. Сена, правда, накопили много, народ старательно работал, теперь скотина кормами обеспечена. А вот где она зимовать будет? Все дворы раскрыты и полуразвалились, страшно подумать, что будет зимой. Вот и составили они на правлении план первоочередных строительных работ в животноводстве.

Он достает бумагу, где у него написано, что в первую очередь надо ремонтировать, сколько для того потребуется материалов, людей, денег, времени. Лес уже заготавливают и возят к местам работ, люди — специалисты — уже выделены. А на будущий год, говорит он, колхоз начнет строить капитальные дворы. В колхозе имеется двадцать пять отличных плотников; нужен только прораб, который бы обеспечил технический надзор, и об этом колхоз будет просить шефов. Нужна будет помощь транспортом,— об этом он тоже будет шефов просить. Наконец, ссуду он думает взять. В колхозе имеется несколько стариков, кирпичных мастеров, они берутся делать кирпич по двадцать копеек за штуку, тогда как колхоз платит по тридцать шесть да еще вывезти его должен.

Меня удивляет, что в колхозе довольно много осталось рабочей силы, особенно мужчин, да еще квалифицированных мастеров. Сколько же надо было иметь терпения и веры в колхоз, чтобы остаться здесь, ничего не получая, а теперь, при новом председателе, горячо взяться за работу. А взялись горячо. Все женщины, даже старухи, вышли жать и в срок убрали рожь. Единственное богатство, которым располагает сегодня эта нищая артель и ее молодой председатель,— это люди, это их вера в колхоз, их привычка к коллективному труду, интерес к общему, мирскому делу, и этим богатством надо дорожить, ибо, пока оно есть, можно поправить дело, потеряв же его, потеряешь все. А интерес к колхозу, к новым начинаниям имеется большой, что видно и по двум колхозникам, толкующим с нами, и по той, составленной коллективно бумажке, которую показывает нам председатель. Этот скромный, точный и тщательный план, в котором каждая цифра продиктована расчетливостью бедняка, трогает до слез.

Алексей Петрович рекомендует председателю вот так же, как он это сделал с планом ремонта скотных дворов, все вопросы обсуждать на правлении, с активом, со стариками. При этом он советует ему, чтобы и сам он не приходил на правление без мыслей, планов и предложений. Иначе ведь будут целый день заседать, толковать, что вот это надо бы сделать и то следует предпринять, расплзутся мыслями, потеряют время, а толку не будет. Надо приходиться на правление с точным и ясным планом, который должен сложиться после разговора со многими людьми, тогда и народу легче будет обсудить его, внести свои добавления и предложения.

В этих рекомендациях обыкновенного секретаря райкома угадывается большой опыт, пусть не яркий, не броский, но мудрый. Скромнейший Алексей Петрович, быть может, иное иностранное слово произнесет с трудом или не совсем правильно, зато работать с народом умеет, нужды его знает, и этому научила его партия. Правда, писать о нем очень трудно. И не умеем мы этого делать, привыкнув воспевать исключительные личности.

До обеда ходим мы с председателем по Козищеву.

Председатель просит Алексея Петровича, чтобы райком помог колхозу получить делянку леса не в дальних лесах, а в ближнем, за Ижерами: в колхозе только одна машина и очень плохо с лошадьми, из Ижер-то легче возить. Алексей Петрович обещает вызвать директора леспромпхоза и дать ему указание, но советует прежде узнать, подошел ли уже этот лес к той норме, при которой его можно рубить. Председатель и оба колхозника, оживившиеся чрезвычайно, говорят, что все разузнали, лес этот подходит под порубочные нормы. Колхозники говорят это так, словно лес пойдет им лично, и не без гордости своей осведомленностью. Алексей Петрович говорит председателю, что так и надо поступать. А то ведь иной придет просить помощи, а сам не знает толком, чего ему надо. Он говорит при этом: «Ты у Ивана Федосеевича учись, тот сперва узнает, где что имеется, а потом идет просить».

Все время постукивают топоры в деревне: мужики строят и ремонтируют избы. Алексей Петрович говорит, что дело это, конечно, нужное, однако следует навести здесь порядок, составить план жилищного строи-

тельства, соблюдая очередность, и чтобы строили и ремонтировали не всем сразу, а наиболее нуждающимся, в порядке очереди, причем и колхоз здесь должен помогать. Колхозники соглашаются. Я спрашиваю, как же это так: столько у них плотников да кирпичников, а избенки очень уж незавидные, да и те в разные стороны валяются. Колхозники отвечают, что плотники и кирпичники у них знаменитые, всю округу обстроили, и Рыбинский консервный завод весь сложен из выжженного ими кирпича, а вот сами действительно допустили себя до того, что жить негде.

Взяв с собой председателя и попрощавшись с нашими собеседниками, мы едем в Филиппово смотреть скотные дворы колхоза.

Мягкая и горячая пыль проселка, спелые овсы с золотистыми на солнце метелками, чуть красные у корня. Холмы. Выгоревшие склоны оврагов. Две полуразрушенные церкви и покосившиеся избы села. Выгон и возле большого оврага несколько деревянных сараеобразных построек с распахнутыми, повисшими на одной петле воротами, с торчащими стропилами раскрытых крыш, со сгнившими венцами, а то и просто дырами в стенах. Это — скотные дворы. Возле телятника, за изгородью, девушки кормят чахлах телят, тонконогих и печальных. В остальных дворах пусто: скотина в поле. Мы хотели было войти в один из дворов, но этого нельзя сделать, так как в темных и воюющих этих зданиях, наполовину развалившихся, земляные полы чуть ли не по колени в истоптанном копытами мокром навозе. Кучи навоза лежат и у ворот. Впервые, пожалуй, вижу я такое мерзостное запустение. Как тут зимовала скотина! Здесь так холодно и сыро, навозу накопилось так много, что и сейчас, в конце августа, когда скотина весь день в поле и стоит нестерпимый зной, навоз все еще не высох. Судить нужно за такие дела!

От небольшого домика к нам поспешно идет высокий, дочерна загорелый черноволосый мужчина в черной кепке, синей, в белую полоску, рубашке, с голозадым годовалым мальчуганом на руках. Глаза у него пронзительные, сверлящие. Он здоровается. Алексей Петрович спрашивает его, не заведующий ли фермой он. Но тот отвечает, что работает молоковозом. Вместе с нами осматривает он дворы, пристально поглядывая на нас. Алексей Петрович вздыхает, потом, не выдержав, говорит: «Что же вы это, мужики, как же вы допустили такое?» Молоковоз со злостью отвечает: «Это не мы, а вы допустили, мы гнать его хотели, председателя нашего, мы сколько раз и просили и требовали: уберите его от нас, а прокурор приехал на отчетное собрание и стал грозить: головы полетят!.. Так и сказал: «Мы знаем, тут кое-кто против председателя, так пусть знают: головы у них полетят». Нет уж, это вы допустили», — чуть спокойнее заканчивает молоковоз.

Идем к домику. Две здоровенные девушки, доярки, подходят сюда с полден, неся по две бадейки с молоком. В колхозе всего тридцать дойных коров. Четыре эти бадейки — две трети полуденного удоя. Девушки, видать, толковые, смысленные, однако не очень разговорчивые. Все же, когда молоковоз заводит речь о бывшем председателе, они вставляют иной раз слово. Они рассказывают, что не только ничего не получали на трудодни, но даже свое, бывало, несут из дому: соль, чтоб прибавить в пойло, керосин для освещения, дрова, чтобы не холодным пить телят. Просят, бы-

вало, у председателя, а он — то пообещает, да забудет, то скажет, что у кладовой нет, а работать ведь надо и скотину жалко...

Новый председатель, несколько удрученный, хотя обвиняют не его, а предшественника, но сознающий, должно быть, как трудно будет ему завоевать доверие, говорит: «Вы приходите, девчата, я выпишу соли, есть в кладовке соль». Доярки отвечают, что теперь не надо уже: скотина весь день в поле, там она и пьет, зачем ей теперь соль. Алексей Петрович говорит, что соль и теперь нужна — лизунец, — что нужно взять ее и положить кусками в кормушки, скотина будет лизать, и пить станет охотно, да и есть с удовольствием. Девушки смотрят на него во все глаза. Он, видя их недоумение, говорит, что ведь и они не станут несоленое есть, спрашивает, слышали ли они про лизунца. Девушки отвечают, что слышать-то слышали, но только ихние коровы не приучены лизать соль. Видать, лизунец им представляется чем-то таким далеким от их повседневной практики, чем-то таким, существующим только в книжках и на плакатах, которые, конечно, не для них писаны, что они подозревают приезжего начальника в желании посмеяться над ними.

Подходит высокая и худая пожилая женщина — приемщица молока. Она поспешно отпирает домик, достает бидоны и мерки, сливает молоко из бадеек в мерку, потом льет его в бидон через желтоватую, застиранную, должно быть, марлю. Алексей Петрович говорит, что марлю бы надо сменить, а женщина виновато и как-то приниженно отвечает, что марля чистая. «Вы не думайте, — оправдывается она, — я ее каждый раз стираю, а что желтая, так это оттого, что в холодной воде стираю, воду-то нагреть не на чем, в домике этом печки нет».

Разговор о лизунце, и желтая эта марля, и приниженный тон женщины, и даже мусор в молоке, вполне естественный, поскольку доили в поле, на полднях, — все это вызывает представление о безысходной, берущей за сердце бедности.

И все же отсеиваются из впечатлений этого дня другие, более стойкие черты, характерные для нашего времени: внимательный, негромкий, без тени командирского окрика голос секретаря райкома; совестливый и по-хозяйски рассудительный молодой председатель колхоза; наконец, сами колхозники — не впавшие в тяжкий грех равнодушия, оживленные, любопытные ко всему тому новому, что всего лишь несколько дней назад пришло к ним в колхоз, заявило о себе убранный в срок рожью, гудением триера у амбара, перестуком топоров, листками блокнота председателя, исписанными тесными строчками планов... Вот это, и смутившаяся желтой марлей пожилая приемщица молока, и даже злость молоковоза, — вот это и представляется мне добрым предзнаменованием, сулящим значительные перемены.

✱

Серое, пасмурное утро. Изредка срывается мелкий дождик. Часу в восьмом приезжает райкомовский шофер, Петр Николаевич. У крыльца собирается народ, — прощание, пожелания, приглашения приехать снова. Наконец, усевшись в «победу», трогаем в сторону Москвы.

Всю дорогу Петр Николаевич рассказывает разные разности: об Иване Федосеевиче, об Алексее Петровиче.

С Иваном Федосеевичем они земляки, соседи, оба из Угж. Оказывается, в молодости Иван Федосеевич был грозой всей округи: выпьет, бывало, засучит рукава, идет огромный, здоровый, рукастый... Все от него разбегаются: мол, Ванька гуляет. Тогда дрались кольями, а Иван выходил на противника с одними кулаками. Потом он пить бросил, остепенился, сейчас не пьет, хотя может выпить много. Рассказал Петр Николаевич об удивительной принципиальности Ивана Федосеевича, о том, как он родную дочь под суд отдал. Она работала в лавке, и случилась у нее недостача. Отец, конечно, мог бы внести недостающие деньги, благодаря его авторитету дело замяли бы, но он из принципиальности не захотел, так и отсидела дочь положенный срок. Вспомнил Петр Николаевич и о том, как Иван Федосеевич построил в Стрельцах дом для своей второй жены — первая-то выгнала его из дому. Лес для дома он сплавил в Стрельцы по реке, не взял в колхозе ни лошадей, ни машину, на что в подобных случаях имеет право любой мало-мальски работающий колхозник. И сплавлял-то он его потому, что уж сплав все запомнят и не станут говорить, что колхозники возили ему лес. И плотников он нанял в городе: ни один колхозник к бревну не прикоснулся. Но жить ему в этом доме не пришлось: мать этой женщины так и не разрешила дочери взять к себе в дом Ивана Федосеевича. И еще рассказал Петр Николаевич, как шел однажды Иван Федосеевич в райком, зацепился где-то и вырвал кусок из полы пальто; он хотел было пройти в таком виде к Алексею Петровичу, но секретарша, ужаснувшись, предложила ему зашить полу. Иван Федосеевич легонько отстранил ее, сказав: «Ничего, Федосенча знают».

Во всех этих рассказах угадывается творимая легенда.

Рассказывает Петр Николаевич и о своем «хозяине», о том, как он «учил» его. Он говорит, что и всех предшествующих секретарей, которых возил за семнадцать лет работы в райкоме, тоже приходилось ему учить. Алексей Петрович приехал сюда из района, где ни лука, ни цикория, ни зеленого горошка не знают, там основное — лен. А лук ведь очень сложная культура. И вот Петр Николаевич возил с собой образцы лука различных генераций: севок, выборки, товар, матку. Держал он их в маленьком багажнике, и как только они с Алексеем Петровичем выедут за город, тот говорит: «Ну, Петр, доставай, учи...» Много говорит Петр Николаевич о щепетильной честности Алексея Петровича. В Райгороде с иными продуктами трудно, но Алексей Петрович не пользуется никакими преимуществами в снабжении, — за сахаром, за крупой или маслом жена его стоит в очереди наравне со всеми; а если, скажем, не достанется ей сахар, то и чай пьют без него. В колхозах, во время поездок, Алексей Петрович ни у кого не ест, — разве что у Ивана Федосеевича, — целый день так и ходит не евши. Только по дороге из одного колхоза в другой они останавливаются в поле машину и поедят кто захватил. Когда Алексей Петрович начинал здесь работать, был такой случай в одном колхозе. Приехали они, Алексей Петрович пошел с председателем по своим делам, а Петр Николаевич

отправился покуда в сад, поесть вишню. Когда он вернулся к машине, видит — внизу, у заднего сидения, стоит корзина с ягодами. Он подумал, что она принадлежит Алексею Петровичу. Потом пришел Алексей Петрович, сел, поехали. Отъехали они немного от села, Алексей Петрович спрашивает: «Петр, ты где вишню взял?» Тот отвечает, что это не его вишня, что это, он думал, Алексея Петровича вишня. Алексей Петрович велит поворачивать, возвращается в колхоз и спрашивает: кто это по ошибке поставил корзину с ягодами к нему в машину, чья это корзина? Хозяина, понятно, не нашлось. Тогда Алексей Петрович, ничего не говоря, отнес корзину в детский сад и отдал вишню детям.

За разговорами мы и не заметили, как приехали в Москву.

1954—1955

С. Синельников



ПОТВОРСТВО

Весна в нынешнем году была не из тех весен, когда все зимнее рушится, сразу солнце смелее, небо набирает глубину, а если его и заволокут внезапно тучи, то гроза иссечет их молниями, разобьет громами и сбросит наземь веселым, дерзким ливнем. Не такой была эта весна. Может быть, и не пришла пора грозам, но погожим дням надо бы явиться. А весна все еще одолевала зиму смирными, тягучими дождями. Слякоть взмесила улицы, и на перекрестках, через рытвины и лужи, понабросали доски, камни, железный хлам — иначе не пройти. В поселке наступили неприветливые дни.

Корнев не замечал проказ погоды. После демобилизации из армии он начинал новую жизнь. Работа была непривычной, зато посчастливилось попасть на большой, прославленный завод. И что было Корневу до нелепицы, случившейся со сменой времен года, и до мелких житейских неудобств, когда на душе все равно празднично!

Не знал Корнев, что заводские будни, втянув в свой водоворот, подарят, кроме радостей, много неожиданных забот и огорчений.

* * *

День шел к концу, когда дверь приоткрыла женщина в стеганом ватнике:

— С заявльницей к вам...

— Прощу,— показал Корнев на стул и взял протянутый женщиной листок бумаги.

Женщина не садилась. Привстал и Корнев, пробегаая глазами короткое заявление:

— Что ж, передам вашу просьбу членам завкома. Но за успех, товарищ Яковлева, не ручаюсь.

Губы Яковлевой вытянулись в ниточку:

— Это как же!.. Прежний председатель товарищ Курочкин никогда не отказывал...

— Я не председатель, сижу за него только первый день, да и то случайно...

— Вы, говорят, в армии политработником были, должны понимать справедливость,— глянула Яковлева из-под шерстяного платка, насевшего на самые брови.

— О справедливости я и толкую. Профсоюз не может и не должен поддерживать пособиями человека, который... Короче говоря, пьяницу, извините за прямоту.

— Что уж тут извинять...

Яковлева замолчала, вздохнув. Она провела рукой по лицу, и платок ее сполз с головы на плечи. Без платка Яковлева выглядела гораздо моложе, чем сначала казалось Корневу.

— Давно вы замужем? — спросил он помягче.

— Двенадцать лет. Как завод построили, оба сюда поступили и завели знакомство.

— И все двенадцать лет маетесь?

— Он таким не был, когда замуж за него шла...

— Как же вы позволили ему так распуститься?

Яковлева словно только и ждала такого вопроса, синие глаза ее сузились, голос дрогнул:

— Я? Я позволила? Вы! Начальники всякие, вот кто ему характер перешиб! Не такой он был, самостоятельный был, непьющий. Мы тогда во втором механо-сборочном работали. Война шла, мы, бывало, две смены подряд отстоим, Василий меня домой прогонит, а сам и третью отмахает... Когда у нас первый сынок появился, он теперь в четвертый класс ходит, мне Василий и говорит: «Я, Дашенька, курить брошу, табак по карточкам получу и на картошку сменяю». Бросил курить, раз-другой в месяц брал выходной, по деревням ходил и домой на себе картошку таскал. Или в столовую, бывало, пойдет, нам тогда еду по спецталонам давали, а через час, гляжу, к моему станку спешит, свою котлетку сует, завернутую в газету. Припрятал, стало быть, с обеда. Я отказываюсь, а он: «Ну, бери, некогда тебя уговаривать, ты же у нас кормящая мать». Война была, нужда, горе кругом, а ничего, жили, вместе победы ждали. Потом...

Глаза Яковлевой блеснули слезой. Корнев вышел из-за стола и, еще не зная, что сказать, коснулся ее плеча. Поведя плечом, Яковлева отстранила его руку:

— Не надо мне вашей жалости. Раньше надо было слушать, когда я всем начальникам твердила: «Сведете вы его с дороги». А они в ответ: «Не бойся, мы его все выше поднимаем, он без дорог летать сможет». И подымали, в газете пропечатывали: «Василий Яковлев — первый в цеху стахановец», по-теперешнему новатор, значит. А то: «Новый рекорд Василия Яковлева». Идешь, бывало, через проходную и утыкаешься в красный щит с его портретом. Размалеван, что твоя икона...

Яковлева устало опустила на стул. Тихо, словно жалуясь самой себе, она продолжала рассказывать о муже. Война окончилась, Яковлевым

дали квартиру, у них родился второй ребенок. К тому времени на заводе открылась вечерняя школа, и все советовали Василию учиться, но он отказывался: «Я и при четырех моих классах по три нормы выгоняю, мои полочки побольше, чем у инженеров». Он действительно хорошо зарабатывал, на жизнь вполне хватало, хотя жена, после рождения третьего ребенка, ушла с производства. Появились свободные деньги. Избалованный хотя и заслуженной, но неумеренной славой, Василий потянулся к жизни «на широкую ногу». В его понимании это означало, что нужно устраивать шумные попойки. Но жена не могла долго это терпеть, и Василий все чаще проводил свой досуг вне дома, в пивной. С похмелья много не работаешь, и прежних рекордов у станка он уже больше не ставил, а в цехе ничего будто и не замечали. По мере того как уплывала былая слава, Яковлева сильнее тянуло к водке. Только она, одна она, его жена, видела, как меняется характер Василия, но ничего не могла сделать. А он все больше распускался.

Переведа дыхание, Яковлева без укоризны взглянула на смущенного Корнева:

— Одно время мы в семейном бараке жили, теперь уже тех барачков нет, снесли их. Так мой-то, бывало, с вечерней смены как придет, сапоги в сенях снимет, чтобы соседей за перегородкой не потревожить и нашего ребенка не разбудить ненароком, а теперь, хоть тебе день, хоть ночь, ввалится пьяный, двери расхлебнет... То была Дашенька, а теперь помнит одно: «Филипповна, чтоб к обеду чарка стояла». Уже его ни на какие совещания не зовут, писать про него бросили, а он все куражится, не перечь ему... Он и норму еле на сто вытягивает, а другие сто на детях, на моей спине вымахивает...

— Не может быть!

— А то вру! — резким движеньем Яковлева рванулась со стула и, сбросив ватник, осталась в блузке без рукавов и приподняла левую руку, где повыше локтя синел продолговатый кровоподтек. — Стыдно сказать, в баню пойти совестно, я вся исполосованная...

Губы Яковлевой по-детски сморщились, она зарыдала, отвернувшись к стене. Корнев растерялся. Подать стакан воды, пробормотать что-нибудь в утешение? Он взял с пола ватник, подал Яковлевой:

— Присядьте, успокойтесь, Дарья Филипповна.

Сунув руки в рукава, Яковлева круто повернулась к Корневу, удивленная тем, что он запомнил ее имя и отчество:

— Внимательно вы слушали...

— Так вот, Дарья Филипповна, с вашим Василием мы справимся, найдемся на него управа. Ни вас, ни детей мы не дадим калечить.

— Детям плохо, — упавшим голосом посетовала Яковлева. — Потому я в завком и пришла. Старший в школу ходит, ему нужны ботинки, галоши, он еще в валенках шлепает, а видите, как развезло, — она показала на свои резиновые, доверху залепленные грязью сапоги и вдруг всплеснула руками: — Ой, как я наследила!

— Ничего, уберут.

— Я пойду, — заторопилась Яковлева.

Корнев впервые услышал о токаре Яковлеве еще утром. В завком пришел главный врач медсанчасти Михаил Степанович Залесский, представительный, на голову выше Корнева, круглолицый толстяк. Он грузно уселся, склонив набок почти лысую голову:

— Хочу познакомиться и заодно поплакаться в жилетку.

— Жилетки на мне нет,— в тон ему проговорил Корнев.

Добродушная улыбка сбежала с лица врача:

— Я по серьезному делу.

Залесский рассказал, что Яковлев явился в нетрезвом виде к лечащему врачу и нагрубил, требуя продлить бюллетень, хотя вполне уже здоров и работоспособен. Ему отказали. Яковлев пожаловался в цехком. В городской поликлинике подтвердили, что продлевать бюллетень нет оснований.

— Пройти мимо такого факта нельзя,— произнес Корнев.

— Ну, это как вы найдете нужным. Нас, врачей, больше волнует другое. Яковлев повредил себе руку, но не на производстве, а в пьяной драке. Тем не менее ему почти два месяца полностью оплачивали бюллетень.

— Курочкин это знает?

— Б том и беда, что наш предзавкома имеет на сей счет особое мнение. Он утверждает, что завком должен заботиться даже о таких членах профсоюза, как Яковлев. Для меня лично дело не в деньгах, я к завкомовскому бюджету непричастен. Но скажите, как после этого бороться против тех, кто злоупотребляет алкоголем? Это, собственно говоря, все, что я хотел выяснить.

Как только врач распрощался, Корнев поспешил в третий механосборочный цех. Председатель цехкома Шундик, чернявый, бойкий мастер лет тридцати, встретил Корнева очень приветливо и тут же повел в красный уголок, которым, видимо, гордился. Он без умолку хвалил рабочих, сделавших здесь все своими руками: и столы, и стулья, и бильярд со стальными шариками, и книжный шкаф, и, разумеется, диаграммы, плакаты, лозунги, фотомонтажи, украшающие все четыре стены. Но едва лишь зашла речь о Яковлеве, председатель цехкома поджал губы и процедил, словно читая неразборчивый текст:

— На профсоюзной работе нельзя быть формалистом.

— А на какой можно?

— Нельзя забывать, что профорганизация имеет дело с живыми людьми.

Корнев начал выходить из себя:

— Кроме похоронных бюро, любая организация имеет, как вы выражаетесь, дело с живыми людьми.

— Считаю, что товарищ Курочкин прав,— невозмутимо продолжал цедить Шундик, довольный тем, что говорит так складно.— Кадровых рабочих надо поддерживать, а у Яковлева есть заслуги по производственной линии.

— Вы просто-напросто потакаете пьянству.

— Ничего подобного, мы выпивки Яковлева конкретно обсуждали на цехоме и будем обсуждать. Мы проводим в его отношении и конкретные мероприятия. Недавно открыли детский сад на сто единиц и Яковлеву не дали единицы, хотя у него есть мальчик соответствующего возраста...

Продолжать разговор было бессмысленно. Не оставалось ничего иного, как посоветоваться с Васильевым.

Секретарь парткома Иван Корнеевич Васильев был у себя. Высокий, худощавый, даже плащ внакидку не скрывал стройности его фигуры, он поднялся навстречу:

— Работаете уже?

— Вроде,— Корнев присел.— Сегодня познакомился с Залесским «Хочу поплакаться в жилетку», сказал он.

— Это его любимое присловье,— улыбнулся Васильев.

— Вынужден повторить это присловье.

— Вот как? — насторожился Васильев.

— Мы ведь условились, что я буду заниматься только культработой, но Курочкин заболел, я остался уже и за предзавкома, хотя не успел войти в курс дела. И скажу прямо, запутался.

Васильев спокойно выслушал Корнева.

— Видите ли, тревожиться не стоит. Случай с Яковлевым — частный случай. Завод наш из года в год ширится. Третий механо-сборочный только недавно построен, коллектив еще не спаялся. Яковлева действительно подраспустили. Его поведение следует обсудить в цехоме.

— Похоже на то, что цехком его и распускает.

— Видите ли, с Яковлевым нельзя не считаться. Он был раньше передовым рабочим. Потом начал отставать. Новые станки, новые методы работы. Знаний у него мало. Его обогнали все. Даже бывшие ремесленники, которые лет на десять моложе. Он и запил, а в цехе не сумели взять его в руки.

— И за это профсоюз платит ему дань?

— Рабочего, отдавшего заводу годы труда, нелегко выбросить за ворота.

— Легче найти такие меры, которые бы на него подействовали.

— Какие?

— Давайте посоветуемся с рабочими его смены.

— Можно.— помедлил Васильев.— Но вам не следует разбрасываться. Члены завкома распределяют между собой обязанности Курочкина. Вам лучше поскорее взяться за культработу. Яковлевым займется цехком.

— Ладно,— согласился тогда Корнев.

А сейчас, после ухода жены Яковлева, Корневым овладело смятение. Вот тебе и прославленный ОЛМЗ — Ордена Ленина Машиностроительный завод. Что-то здесь неладно. Дали человеку опуститься, а теперь жалеют его и еще больше портят. И беда в том, что не он один катится вниз, как утверждает Залесский. Как понимать позицию Курочкина, да и Васильева? Слишком мало знал их Корнев, чтобы сделать какие-либо выводы. Но было ясно, что пройти безучастно мимо судьбы Яковлевых нельзя.

Красный уголок третьего механо-сборочного цеха был полон. Дневная смена только что окончилась, но рабочие уже успели переодеться. За небольшим столом уселись Шундик и два члена цехкома. Правее, неподалеку, склонившись над бильярдом, ни на кого не глядя, катал стальные шарики коренастый токарь Яковлев. Он был бледен: впервые за двенадцать с лишним лет рабочие собрались для того, чтобы критиковать его, а не хвалить.

Корнев прислонился к книжному шкафу, слева. Невесть откуда подкралось раздраженье. Корнев не сразу сообразил, что с ним. Правда, было душно, и человек с простреленным некогда легким чувствует это острее, чем другие. Но из-за духоты ли появилось раздраженье? Шут его знает, как будто нет. Из-за чего же? А, вот что. Построили цех по последнему слову техники. Его ажурными стальными фермами можно залюбоваться. Вытянутый в длину, он напоминает платформу Киевского вокзала в Москве — столько в цехе воздуха и света. Сходство дополняется тем, что в цех свободно въезжают, справа и слева, два товарных поезда. Цех — гигант, а красный уголок едва вместил человек семьдесят, хотя проектировщикам было известно, что в одну смену тут будет трудиться свыше трехсот рабочих. Нелепо: допуская много излишеств, скардничать на необходимом.

Шундик стукнул карандашом по графину. Все смолкло. Как ни странно, председатель цехкома был краток, только процедил, что «с товарищем Яковлевым вышла недоработка, которую следует обсудить», и предоставил слово Корневу.

Корнев тщательно готовился к выступлению, запасся в медсанчасти и отделе труда заводоуправления цифрами и фактами, показывающими, как вредят производству вызванные пьянством бытовые травмы: один, выпив лишнее, упал и вывихнул ногу, другой расшиб себе голову, а иные, подобно Яковлеву, пострадали в пьяной драке. Но тут не было тех, кто проектировал цех, — их стоило обругать. А дышать становилось трудно — девушка, сидевшая в первом ряду, обмахивалась платком. И Корнев пере-забыл все, что накануне собирался сказать.

— Многое делается для того, чтобы нашим людям жилось, наконец, получше, — начал он неожиданно для самого себя. — Естественно, что еще больше, чем о мужчинах, страна заботится о женщинах. Об этом и думалось вчера вечером, когда соседи Яковлева рассказывали, как буйствует он пьяный, как измывается над женой. Многие из вас ее знают. Почему же никто ей не помог? Одни говорят: «Его судили бы, неохота попадать в свидетели». Другие: «Что с пьяного возьмешь, а трезвый он тихий». Третьи отвечают, что жалели семью Яковлева. Мол, если его уволят, жене и детям придется туго. Но что было — прошло. Теперь решайте сами, как поступить, станьте на защиту семьи... Разве только члены цехкома отвечают за это, а не все вы?..

Никто не ответил, не прервал Корнева.

Девушка, сидевшая в первом ряду, перестала обмахиваться платком. Она комкала платок в руке, а лицо покрылось светлыми дробинками пота.словно беседуя с ней одной, Корнев рассказал, из-за чего Яковлев около двух месяцев не работал.

— Почему вы позволяете себя обкрадывать? — Корнев нашел глазами в третьем ряду рыжеватого парня в военной гимнастерке. — Здесь сидит товарищ Петряков, подручный Яковлева. Он за это время работал у станка только шестнадцать смен, а остальное время окучивал и вывозил из цеха стружку, ремонтировал цеховые ворота. Короче говоря, без дела не сидел, а потерял около семисот рублей. если взять средний заработок за предыдущие три месяца. Верно ведь?

— Шестьсот восемьдесят пять, — неловко поднялся и тут же сел Петряков.

— Не только его обобрал Яковлев. Оттого, что станок простаивал, пострадали и рабочие, занятые на последующих операциях. Точнее, шесть рабочих. — Корнев назвал их фамилии. — Как подсчитали в отделе труда, каждый из них потерял рублей по восьмидесяти. Кроме того, простой станка потянули вниз производительность труда всего цехового коллектива, да и каждого из вас в отдельности. Получается нелепо... Вы бьетесь за то, чтобы вскрывать, пускать в действие неиспользованные резервы, и в то же время теряете продукцию из-за Яковлевых. Нелепо, не так ли?

Снова ни одной ответной реплики. Озадаченные, насупленные лица. Никто не ерзал на стульях. В дверях, там, где слушали стоя, шевелились головы тех, кому плохо было видно. Прямо перед Корневым сидел человек лет сорока, рабочий или мастер, в сером костюме, в голубой вискозного шелка рубашке, очень старательно выутюженной. Держа руки на коленях, он сокрушенно покачивал головой. Он жену свою ни разу в жизни не ударил, решил про себя Корнев, и обратился к нему, словно никого больше вокруг не было:

— Почти все вы живете в достатке. Я нигде не видел столько телевизионных антенн. На крыше дома в тридцать шесть квартир легко насчитать по двадцати и даже двадцати пяти таких антенн. Заглядывал в клуб, там в фойе танцевали. День был будничным, а ни одной девушки не увидел в ситцевом платье. Все крепдешин, штапельное полотно, шерстяной трикотаж. Но если присмотреться, не у всех ладно. Взять того же Яковлева. Свои заработки он пропивает, домой приносит крохи, и семье приходится туго. Может быть, его жена обидится, но вы должны знать, что она за последнее время распродала все свои лучшие платья. А денег опять не хватает... Она просит пособие...

Все еще обращаясь к человеку в сером костюме, Корнев спросил:

— Как вы считаете, стоит дать пособие, чтобы Яковлев дальше пил, зная, что добрый дядя профсоюз позаботится о семье? Или поступить иначе? Как поступить?

Замолчав, Корнев прислонился к шкафу. Шундик выжидающе посмотрел на Корнева и спустя мгновение застучал по опустевшему графину карандашом, хотя никто не нарушал тишины:

— Вопросы будут?

Все молчали.

— Давайте высказываться, товарищи, — оживился Шундик. — Кто просит слова?

Все молчали.

За высоким окном дождь затянул серой марлей все цехи на другой стороне дороги. Люди в резиновых сапогах — то мелкими шажками, то вприпрыжку — пробирались среди луж из цеха в цех. Вспомнились резиновые сапоги Яковлевой, залепленные грязью, и сама она, беспомощно, на ощупь сующая руки в рукава ватника. Не может быть, чтобы она не вызвала сочувствие...

Первой выступила молодая работница. Потом — известный на заводе токарь-новатор и сменный мастер, и девушка-технолог, и старый строгальщик. Они зло и горячо осуждали Яковлева и его покровителей, не называя, впрочем, фамилий — может быть, оттого, что Курочкин лежал в больнице. «Давно пора кончать с водкой»... «Хорошо бы, наконец, взяться за пьющих по-настоящему»... «Плохо, если мы сегодня пошумим, а завтра будет то же самое»... Но что они предлагают? Ничего. Общие слова. Видимо, всем жаль семью Яковлева, и они опасаются, как бы не навредить ей. Видимо, слишком долго здесь мирились с тем, что есть рабочие, которые пьянствуют и безобразничают, — лишь бы это было за воротами завода.

Шестым, вытянув руки по швам, встал Петряков.

— На яковлевской хворобе я немало потерял, — чеканил он чуть громче, чем надо, по армейской, наверно, привычке. — Но я, признаться, не задумывался, виноват тут Яковлев или не виноват. А сейчас вот осерчал: я недавно демобилизовался, мне каждая сотня дорога. Это одно. А второе, новый товарищ из завкома правильно повернул вопрос. Сами мы виноваты, что не песочим Яковлева, раз начальство за него не взялось. Но и вам, товарищи руководители, — повернулся Петряков к Корневу, — надо почаще в неблагополучные дома заглядывать, а не только считать антенны на крышах. Третье. Считаю, что пособие давать не стоит. Пусть берет ссуду в кассе взаимопомощи и выплачивает по частям. А ты, Василий, — вскинулся Петряков на Яковлева, — раз до такого позора допрыгался, напиши сейчас же бумагу, доверяю, мол, жене Дарье Филипповне получать всю мою зарплату, как в аванс, так и под расчет!

— Правильно!.. Добре!.. — подхватили со всех сторон.

Яковлев, ожидавший, очевидно, чего-то более сурового, обрадованно вскочил:

— Это пожалуйста!

Петряков выхватил из кармана авторучку, вырвал из блокнота листок:

— На!

Он хотел продолжать свое выступление, но кругом зашумели. Шундик напрасно стучал карандашом по графину, выкрикивая:

— Порядок, товарищи! Порядок!

Пока Яковлев, склонившись над бильярдом, писал доверенность, десятки голосов слились в общий гул. Корнев уловил только несколько возгласов:

— Раньше не хотел доверенность дать! Гордый...

— Скажи-ка, экий черт!

— Дурной, точно вчера с ремеслухи явился!

— Эй, ремесленников не обижай, они на мороженое, а не на водку налегают!

— Дорогу женщине к финансам! Он теперь, брат, у Даши и на боржом не выпросит!

Корнев радовался в душе. Хорошо было уже то, что никто и не упомянул о былых заслугах Яковлева, не выискивал доводов в его оправдание. Но еще больше радовало другое. Корнев надеялся, что сами рабочие предложат какие-нибудь практические меры, способные хотя бы частично обуздать срывающегося токаря. А предложение Петрякова, без возражений принятое к тому же Яковлевым, было одной из таких мер, вполне приемлемой для начала. Притом рабочие, очевидно, придерживались такого же мнения, иначе бы напряжение не прорвалось неожиданным весельем.

Яковлев передал Шундику доверенность и, упершись локтями в борта биллиардного стола, начал грызть ногти. Шундик, пряча доверенность в карман, прокричал, как полагается по форме:

— Вопросов больше нет?!

Все задвигали стульями, собираясь уходить, но кто-то крикнул:

— Есть вопрос!

— Ну, что тебе, Старовойтов? — рассердился Шундик. — Опять какой-нибудь номер выкинешь!

Рослый парень, сидевший рядом с Петряковым, сделал шаг вперед. Одну бровь он поднял, другую опустил, отчего лицо его приняло странно-насмешливый вид:

— В центральных газетах волна против водки давно прокатилась. Теперь, видать, до нас докатилась. Хорошо. Но почему с нашего цеха начинают? Яковлева крыли правильно. Только почему с него начинают? Почему не с Шишкина и Сизых?

— Правильно! — пробасил кто-то.

— Шишкин поважнее Яковлева, а хлещет за милую душу! — донеслось из задних рядов.

— Сизых тоже краля! — рассмеялись в дверях.

Корнев опешил: час от часу не легче. О сталевае Сизых кое-что говорили Корневу в медсанчасти. Но кто такой Шишкин?

— Не о них речь! — вскричал Шундик и поспешил закрыть собрание.

После собрания Корнев узнал, что Шишкин — главный металлург завода.

* * *

Дома у Васильева, в небольшой комнате налево от входа в квартиру, было куда приятней, чем в просторном и почти пустом парткомовском кабинете, где все соответствовало стандарту, начиная от длинного, крытого зеленым сукном стола для заседаний и кончая множеством стульев, расставленных по стенам. Тут, дома, в комнате свободно уместились: письменный стол, шкаф и полки с книгами, тахта и круглый столик, два кресла, стул. Над письменным столом — портрет Ленина, и ничего больше на стенах. И всюду книги, журналы. На круглом столике Корнев заметил мемуары Гиляровского «Москва и москвичи», томик Чехова, толстую книгу «Стальные отливки», стопку технических журналов, свежие номера газет.

— Извините за записку, Николай Павлович,— говорил Васильев, усаживая Корнева в кресло.— По телефону не нашел вас, а пора поближе познакомиться... В парткоме не потолкуешь...

Вошла мать Васильева и подала чай с домашним печеньем. Чтобы занять чем-нибудь гостя, пока расставляется посуда, хозяйка побранила погоду: за темнеющим окном не переставал бормотать что-то бессвязное надоевший дождь. Когда эта чинная старушка закрыла за собой дверь, Васильев отодвинул чашку:

— В такое ненастье невесело у нас, особенно после венской жизни...

— Это вы к чему? — без обиняков спросил Корнев.

— Нелегко вам будет у нас...

— Отчего же?

— Если не ошибаюсь, вы слишком восторженно относитесь к хорошему и слишком болезненно воспринимаете отрицательное. По-человечески, понимаю вас, вы долго жили за пределами родины... Она рисовалась вам в одних только розовых красках. Но в практической работе такой отрыв от реальности чреват... как бы поточнее выразиться... бесплодными треволнениями, что ли...

— А еще точнее?

— Я советовал вам не заниматься Яковлевым. Вы потянули за ниточку и обнаружили запутанный клубок.

— Шишкин и Сизых?

— Хотя бы. Нам не удалось с ними сладить. Познакомьтесь с обстановкой лучше, узнаете почему.

— Допустим. Но как же быть? Ведь оба они стали спасительным маяком для пьющих. На Шишкина и Сизых ссылаются все пьющие, когда их теребят. Как же тогда бороться против пьянства?

— Оно изживается постепенно. Городу всего двадцать пять лет, а нашему поселку нет и пятнадцати. Культурных очагов мало. Со временем положение изменится, пивные тогда потеряют свою притягательную силу.

— Постепенно, со временем,— повторил Корнев.— А пока пусть пьют, делают прогулы, избивают жен, катятся вниз?

Васильев уклонился от прямого ответа:

— Многое уже достигнуто. На производстве у нас пьянство изжито

— Но на производстве сказываются последствия пьянства. В прошлом году, разрешите напомнить, хотя вы это хорошо знаете, простой станочного парка только из-за невыхода рабочих превысили сто двадцать тысяч часов. Главврач Залесский утверждает, что многие рабочие были нетрудоспособны из-за бытовых травм и заболеваний, связанных, мягко выражаясь, с неумеренной выпивкой.

— Многие?

— Ну, не многие, а одни и те же люди, которые в медсанчасти на примете. Они пьют и поэтому часто бюллетенят. В первом квартале дело не улучшилось, хотя точных данных еще нет. Не мне пояснять вам, как это разлагает дисциплину, как тянет вниз производительность труда.

— Что вы предлагаете?

— Начать с Шишкина и Сизых, как советуют и требуют рабочие.

— Видите ли, не хочется, чтобы вы попали в неловкое положение. Сизых защищают в горькоме партии.

— Слышал,— усмехнулся Корнев.— Значит, в горькоме ошибаются.

— Возможно, но доказать это не удалось. А за Шишкина горой стоит министерство.

— Значит, в министерстве ошибаются,— не мог Корнев скрыть нарастающего раздражения.

Васильев заметил это.

— Вы, Николай Павлович, чувствуете себя вольным стрелком,— усмехнулся он без обиды.— Вам представляется, что все просто. Мы же вынуждены считаться с реальными фактами. Горьком руководит нами, а не мы им. Министерство приказывает заводу, а не завод министерству. Мы ограничены определенными рамками.

— Кто это «мы»? Ведь в том и сила партийных органов, партийных работников, что они не ограничены ведомственными рамками. Если рамки связывают вашу инициативу и мешают делу, то почему вы не ломаете эти рамки?

— Мы воюем за государственный план, и это поглощает всю нашу энергию,— снова уклонился Васильев от прямого ответа.— И то не всегда побеждаем. Нам не удастся с успехом воевать на всех фронтах. У нас много особых трудностей.

— Каких?

— Не буду навязывать вам свои суждения. Познакомитесь с заводом, увидите.

— Не знаю, какие трудности вы имеете в виду,— сказал Корнев.— Но уверен, что, заботясь о плане, вы упускаете многое, что способствовало бы его выполнению. Уверен также, что на заводе напрасно потворствуют пьянству.

— Потворствуют? — холодно переспросил Васильев.— Это слишком. Мы только недавно исключили из партии коммуниста, который пьянствовал.

— Исключили перед тем, как его судили за хулиганство. Пора во время заниматься такими субъектами. Считаю, например, что нужно привлечь к партийной ответственности Шундика. Ведь это он хлопотал за Яковлева, потакая этим и ему и другим пьющим.

— Слишком круто берете.

— Я парткому не указ.

— Не в том суть, а в принципе.

— Это и раньше не было бы слишком круто, а теперь подавно. Речь идет о моральном облике людей. И не только об этом. Человек, избивающий свою жену, не может хорошо относиться к станку. Как вы от пьяницы добьетесь преданности производству, слияния государственных и личных интересов? Как вы с пьяницей будете подниматься к новым высотам техники?

— У нас до многого руки не доходят.

— Руки не доходят, потому что вы ждете директив. А никакая директива не может учесть все местные условия... Неужели вы в самом деле ждете директивы, скажем, насчет жен, толпящихся у заводских ворот в день полочки?.. Не удивляйтесь, Иван Корнеевич. Я говорю о тех женщи-

нах, которые подкарауливают своих мужей, чтобы отобрать полученные деньги, спасти их для семьи. Скажу прямо, не понимаю, как вы миритесь с таким позором...

Васильев хотел что-то возразить, но на пороге появилась его мать.

— Ваня, что же это,— процедила она не то всерьез, не то шутя.— Небось речи держишь про заботу о людях, а гостя чаем напоить не можешь.

Взяв обе чашки, она тотчас же принесла горячий чай.

— Пейте, Николай Павлович, не дожидайтесь его приглашения, он у меня сухарь... И насчет пьяниц тоже не дожидайтесь...

— Мама,— перебил ее Васильев,— зачем же вы наши разговоры слушаете?

— Как же не слушать, если эти пьянчуги у всех в печенке сидят,— взволнованно произнесла старушка и неожиданно добавила: — Я не подслушивала, это просто стены у нас тонкие, ровно у японцев в бумажных домиках...

— Не мешайте нам, мама. Включите радио.

Старушка удалилась. За стеной полилась из репродуктора притворная скорбь частушечных «страданий». Васильев, вслед за Корневым, начал отпивать, обжигаясь, чай. Оба попробовали печенье — рассыпчатое, легкое, тающее во рту.

А разговор не клеился. То отрывистый и резкий, то разбросанный и вялый, разговор этот ни к чему не привел. Корнев настаивал, что нужно немедленно начать поход против пьянства, против всех его проявлений и последствий. Ведь нет сейчас никаких объективных явлений, которые бы оправдывали пьянство. Васильев возражал: ни о каком «походе» речи быть не может. Конечно, его, Васильева, матери или другому человеку со стороны, вроде Корнева, можно и не считаться с честью заводского коллектива. Но коллектив ОЛМЗ годами труда и лишений выстрадал то, чем он по праву гордится. И нельзя ронять в грязь его доброе имя. Кроме того, сейчас, когда заводу все еще мешают большие, далеко не преодоленные трудности, нельзя отвлекать коллектив от главных задач и разминываться на такие дела, как придуманный Корневым «поход».

Было уже за полночь, когда Корнев возвращался домой. Дождь утих. Вдоль улицы фонари позолачивали мглу. Свет в окнах погас. Навстречу ни души. Покой. А на душе покоя не было. Не для того же пригласил Васильев его, Корнева, чтобы продемонстрировать кулинарные способности своей матери. А для чего? Чтобы предостеречь от «бесплодных треволнений»? Чтобы научить дожидаться, пока недостатки изживутся постепенно да со временем? Или он в самом деле опасается, что борьба против недостатков бросит тень на заводской коллектив? Но ведь это чепуха, тем более в дни, когда мы с такой прямотой вскрываем все то, что позорило и загрязнило нашу жизнь...

* * *

Час от часу не легче. Стараясь выяснить, что собой представляют Шншкин и Сизых, Корнев наткнулся на поразительную его неожиданность. Ни один цех ОЛМЗ не выполнял суточных заданий даже на треть.

— Это обычное явление,— объясняли Корневу в цехах.— В первых числах месяца еле отрываемся от нуля, а львиную долю месячной продукции даем в третьей декаде. Потому у каждой декады свое название: спячка, раскачка, горячка.

За неритмичностью производства крылись давние и все возраставшие до последнего времени трудности, на которые намекал Васильев.

Построенный во время войны, ОЛМЗ сразу же прославился. В социалистическом соревновании коллектив несколько раз завоевывал тогда знамя Государственного Комитета Обороны. Это знамя после победы передали заводу на вечное хранение. Завод наградили орденом Ленина.

После войны ОЛМЗ начало лихорадить. Долгое время он и вовсе не выполнял плана. Потом положение улучшилось, но «спячка, раскачка, горячка» не прекратились и поныне.

— Как же так?

Начальник первого механо-сборочного цеха Дмитрий Федорович Овчинников, с которым Корнев сдружился как только приехал на ОЛМЗ, был откровенней, чем Васильев. Седой в сорок восемь лет, со спокойным взглядом больших карих глаз, он походил на учителя. Объяснялось это, возможно, тем, что он был комсомольским и партийным пропагандистом, прежде чем стал инженером. Возможно, по той же причине коллектив его цеха считали самым дружным на ОЛМЗ. Говорил Овчинников обстоятельно, не спеша. Однако сейчас и он ответил не сразу.

— Это разговор километров на триста, а нам в оба конца не больше семидесяти...

Был четверг, выходной день на ОЛМЗ, и Овчинников направлялся в соседний городок, чтобы там, в ремесленном училище, повидаться со своими будущими станочниками. Корнева он пригласил с собой. Шоссе поблескивало мокрым асфальтом. Мимо мчались в обратные дали мачты высоковольтной электропередачи. Баранка руля подрагивала в уверенных руках Овчинникова. Стрелка спидометра показывала семьдесят километров.

— Добавить?

— Предпочитаю сейчас самую малую скорость и исчерпывающий ответ.

— Смысл долгих речей краток,— слегка повернулся Овчинников к Корневу.— Вы уже знаете, что нас под корень режет разрыв между мощностью заготовительной базы завода и механических цехов. К концу войны у нас было четыре механо-обрабатывающих цеха. Три литейных и кузнечно-прессовый обеспечивали их заготовками, хотя производительность труда станочников росла изо дня в день. Теперь у нас семь механо-обрабатывающих цехов, так что заготовок для них не хватает.

— Позвольте, цех краностроения и третий механо-сборочный сооружены совсем недавно. Зачем же их строили, если они не обеспечены заготовками?

— Так планировали министерские межеумки. Вернее, запроектировали еще сталелитейный, чугунолитейный и второй кузнечно-прессовый. Но министерство не заботилось о том, чтобы их построили в срок. Ведь сооружать коробки механических цехов гораздо проще. Оттого и появились не ко времени эти два новых механо-обрабатывающих цеха. А раз есть

цевые коробки, нам поставляют станки. Раз смонтировано, хотя бы частично, оборудование, увеличивается соответственно план. А обрабатывать нечего. Вот мы и крутимся...

Стрелка спидометра поползла, показывая девяносто, сто километров. Покручивая баранку, Овчинников плечом придвинулся на миг к Корневу:

— Я обещал прокатить вас с ветерком!

Нехитрая хитрость его была ясна: на такой скорости за воем ветра не поговоришь, да и опасно отвлекаться от руля. Дальше ехали молча. Видимо, очень наболела у работников ОЛМЗ проблема расширения заготовительных цехов, если каждый предпочитает набрать в рот воды. Справа мелькнула деревня, за нею покрытое снегом колхозное поле, почерневшее только на взгорках. Перемахнув через железнодорожное полотно, миновал станцию, где на путях голосисто посвистывали маневренные паровозы, машина ворвалась в городок с одноэтажными домами на окраине.

Свой человек в мастерских училища, Овчинников толковал с подростками и мастерами, острил. Корнев чувствовал себя неловко. Почти не замечая окружающего, он мысленно ругал «министерских межеумков». Ведь по их вине в прошлом году станочный парк был загружен лишь на три четверти... Спешка в третьей декаде, когда «штурмом добивают месячный план», ведет к браку. Только на этом ОЛМЗ потерял в прошлом году шесть миллионов рублей. Это равносильно тому, чтобы среди бела дня поджечь многоэтажный дом и спокойно дать ему сгореть дотла. Именно так расценивают на ОЛМЗ то, что происходит по вине министерства...

На обратном пути Овчинников не гнал машину.

— Есть вещи, о которых не говорят,— начал он первый.— Так и с этим. Надоело. Но теперь стало легче, перспектива проясняется...

Уже без расспросов Овчинников рассказал много такого, чему бы Корнев с год назад попросту не поверил.

До июльского Пленума ЦК КПСС в министерстве считали положение на ОЛМЗ благополучным. Ведь внешне все обстояло нормально. Завод конструировал, выпускал машины, отгружал их, как правило, в срок. Какой ценой это достигалось, никого не волновало. В течение нескольких лет ОЛМЗ воевал с министерством, но проку не было. То будто бы не хватало средств на строительство металлургических цехов, то подводили строители. На все в министерстве был ответ: «Выполняете план, выполняйте и дальше». Беда была в том, что ОЛМЗ и другие подобные заводы подчинялись заместителю министра Седу, который боялся новой техники и не навидел все, что требует заботы, хлопот. Это был удивительно недалекий человек, над ним в министерстве смеялись, за глаза его фамилию переименовывали. Трудно сказать, каким образом он попал на свой пост. После окончания июльского Пленума он продержался ровно двенадцать дней. Министр теперь, как известно, тоже новый. Отношение к нуждам ОЛМЗ изменилось. Вот пушен, наконец, в эксплуатацию чугунолитейный цех. Но завершить строительство остальных заготовительных цехов в ближайшие месяцы не удастся. Ведь такие несуразности, как на ОЛМЗ, обнаружены и на других заводах. Упущенное за несколько лет не наверстаешь сразу.

Есть и другие причины, мешающие заводу. Он живет сегодняшним днем, и некому определить четкую техническую политику, заглядывая в

будущее. Каждые два-три года — новый директор. За неполных тридцать лет сменилось шесть главных инженеров. Нынешний директор — инженер-механик по образованию и инструментальщик по специальности. В металлургии, «узком месте» завода, он не очень сведущ. Главный инженер и начальник производства — тоже механики. Единственный работник, который мог бы и должен определить, обосновать, в каких масштабах и в каком направлении надо развивать металлургическую базу завода, — это Шишкин. Вообще говоря, это ему по плечу. Но он — пустое место на заводе.

Асфальт серым ковром стелился под колеса. Овчинников не отрывался от какой-то воображаемой точки над никелированной пробкой радиатора.

— Конечно, через год-полтора, когда пустят в действие новые металлургические цехи, все станет на свое место. А пока директор крутится, теребит поставщиков, они нас подводят, и завод часто сидит на голодном пайке. Крутятся и начальники цехов. Партийная организация помогает, как может... Васильев был начальником фасонно-литейного цеха. Это образованный инженер, но, к сожалению, только инженер. Когда его года три назад избрали секретарем парткома, мы думали, что он одолеет Седуна. Но Васильев пошел по другому пути: раз металлургические цехи сдерживают производство, парторганизация должна на них «налечь». Им парторганизация и уделяет почти все свое внимание. Механизация труда там шагнула далеко вперед. Фактически Васильев стал негласным руководителем металлургической базы завода. В парткоме мы с ним часто спорим. Он спокойно выслушивает нас и твердит одно: «Промышленности нужны наши машины». Мы его критикуем, считая, что он порой попросту подменяет хозяйственников. Он отвечает: «Нас не спрашивают, кто сделал, важнее, что именно сделано». И верно, во многом помогает то, что он знает литейные цехи, как свои руки.

Они и не заметили, что уже приехали. Овчинников подвез Корнева домой, но оба, не выходя из машины, продолжали разговор.

— Внешне все хорошо, — говорил Овчинников. — План мы перевыполняем, в основном, благодаря новаторам. У нас полторы тысячи рабочих за пятилетку выполняли от восьми до пятнадцати годовых норм. Но в то же время многие не выполняют норм, и это отрицательно сказывается на настроении людей. Понимаете, что получается. Нам говорят, энергичнее внедряйте скоростное резание. Но надо же учитывать психологию рабочего, особенно молодого. Зачем ему спешить, когда он не обеспечен деталями для обработки? А еще хуже то, что простон, штурмовщина, брак нервируют рабочих. Наименее сознательные развинчиваются. А у парторганизации до них «руки не доходят», как выражается Васильев...

Оставшись один, Корнев долго еще перебирал в памяти все, что говорили Овчинников и другие работники ОЛМЗ. Действительно, сложное положение создалось на заводе. Васильев предстал в другом свете. Чувство неприязни, зародившееся в тот вечер, когда Корнев был дома у секретаря парткома, несколько смягчилось. И все-таки Корнев не мог согласиться с Васильевым. Партком явно запустил воспитательную работу на заводе.

В оправдание Васильев придумал сомнительную формулу: «Ненормальные производственные условия порождают и другие ненормальности». Он считает, что, когда будут ликвидированы производственные неурядицы, легче будет вести воспитательную работу. А пока что не хочет выносить сор из избы. Нет, дальше так продолжаться не должно. С этим согласны все, с кем в последние дни довелось беседовать на заводе. Во всяком случае, недопустимо, чтобы два видных на заводе человека были спасительным маяком для нарушителей дисциплины. Шишкин и Сизых не выходили у Корнева из головы.

* * *

Главный металлург ОЛМЗ Валентин Артемьевич Шишкин отсутствовал. Он был командирован министерством на Украину, где какие-то заводы нуждались в консультации специалиста-литейщика. Но Корнев так хорошо представлял себе этого пожилого, стриженного бобриком инженера, как если бы работал с ним бок о бок годами.

Заводской работник, он своей теоретической эрудицией был известен далеко за пределами ОЛМЗ. Историю металлургии Шишкин знал, можно сказать, в лицах. Когда он говорил о жизни и деятельности Аносова, Чернова и других корифеев отечественной металлургии, то приводил такие увлекательные, острым глазом подмеченные детали, что все заслушивались. Он всегда помнил наизусть, в каком году, где и при каких обстоятельствах эти ученые сформулировали ту или иную мысль, касающуюся тонкостей сталеварения.

Зная с юных лет три иностранных языка, Шишкин собрал лучшую в городе личную библиотеку. Из частых своих командировок он возвращался обычно с тючком книг, среди которых были не только новинки, но и приобретенные у букинистов редкие издания. Он любил и знал музыку, особенно фортепьянную.

Его скромности все поражались. С женой и двумя дочерьми Шишкин долго ютился в небольшой комнате, заваленной книгами. Здесь было так тесно, что Шишкин спал на какой-то коротконогой раскладушке, просовывая ее наполовину под рояль. Поселок ОЛМЗ понемногу отстраивался, уже не только начальники цехов, но и все остальные семейные инженеры получили квартиры, а Шишкин ни разу не обмолвился о том, что его жилплощадь мала. Квартиру ему дали уже после войны — без всяких его просьб. К тому времени обе дочери выросли и уехали, и Шишкин согласился переселиться в отдельную квартиру лишь потому, что «нужна комната для книг».

Кроме солидного оклада и премий, он получал вознаграждение за поездки в качестве консультанта, а также гонорар за статьи в специальных журналах. И все знали: если нужны деньги, можно обратиться к Шишкину, он никому не откажет.

Шишкин пользовался бы, вероятно, всеобщим уважением, если не всеобщей любовью, не будь он с молодых лет склонен к пьянству. В последние годы он все больше поддавался этому пороку. Шишкин способен был — вне завода — напиться когда и где угодно. Опьянев, он не грубил, не безобразничал, но почему-то им овладевала странная ненависть к посуде. Он не раз

в ресторанах срывал со стола скатерть и тут же с готовностью платил за разбитую посуду столько, сколько потребуют.

Прошлой осенью Шишкин однажды напился «до положения риз». С библейских времен под этим разумеют, что пьяный сам раздевается где попало, но с Шишкиным обстояло иначе: пальто и пиджак с него услужливо сняли другие. Поговаривали, что это дело рук «цветных» — так в поселке ОЛМЗ называют тех амнистированных в свое время уголовников, которые изукрашены синей и красной татуировкой. Не желая или опасаясь заниматься грабежом, они для Шишкина сделали исключение. Возможно, что Шишкин по доброте своей охотно помогал раздеть себя. Так это или нет, но грабители проявили удивительную деликатность: бумажник с документами главного металлурга они сунули ему в брючный карман.

После этого происшествия Шишкин некоторое время не пил. Корневу рассказывали, например, о таком эпизоде. Как-то у Шишкина собрались гости. На столе стояли виноградные вина и водка. Шишкин же пил только нарзан, подкрашенный несколькими каплями кагора. Потом он неделю другую ставил на стол пол-литровку и, пока ел, любовался бутылкой, не прикасаясь к ней. Но в борьбе с самим собой он победил ненадолго: с конца года Шишкин снова стал пить.

С тех пор зарплату главного металлурга выдавали жене. Зато в командировках он наверстывал упущенное. Так и сейчас: еще он не возвратился из поездки, а на ОЛМЗ уже было известно, что в Ново-Краматорске и Запорожье Шишкин широко прославился битьем посуды в ресторанах.

С поведением Шишкина мирились на ОЛМЗ, хотя рабочие и инженеры осуждали его, возмущались им. Когда Корнев познакомился со Старовойтовым, бросившим несколько разумных, но неуместных реплик на собрании в третьем механо-сборочном цехе, этот молодой строгальщик пояснил, что он «зол на начальство» и что «злость началась из-за Шишкина».

— Было это осенью. Иду я под вечер по Новой улице, недалеко от вокзала, и вижу, в кювете сидит человек в пальто, но без шапки. Сидит и перебирает ногами в мутной воде. Подхожу, а он бормочет стихами: «Ландыши, лютики...» Потом что-то вроде «Ласточки лепет, лобзанье лучей...» — и добавляет какие-то слова, кажется по-французски. Ну, думаю, заезжий артист. Наверно, забыл свою роль и с горя напился. Жалко его стало, пожилой ведь. Беру его подмышки: «Пойдемте, гражданин». Только я его поднял, он свалился на тротуар, одну ногу под себя, другую вытянул, штанина задралась, кальсоны черные от грязи. А он развел руками: «Это все цветы зла». И что-то опять добавил по-французски. Что делать? Взваливаю его на плечи и ташу. На углу подхожу к милиционеру, спрашиваю, как быть. Тот смеется: «Очень просто, домой отправим». Милиционер идет к столбу, открывает металлический ящик с телефоном и звонит на мое удивление в нашу диспетчерскую: мол, обеспечьте транспорт, мне опять Шишкина сдали на хранение. И верно, с завода пришла дежурная машина. Я, как узнал, кто такой Шишкин, со зла побурел. Мне двадцать четыре года, а я в восьмом классе вечерней школы. До диплома доберусь, может, только лет через десять. А он смолodu стал инженером и вот на что тратит свое

инженерство. Выходит, на самом деле забыл овою роль. Ну, думаю, по-дожди ты, ничтожество-ничевожество, сейчас подниму бучу, покажут тебе «ландыши, лютики». Газанул к парторгу цеха, а он меня на смех поднял: «Ландыши, лютики! Открыл Америку! Без тебя о Шишкине давно все известно!»

Многообещающий в молодости металлург, Шишкин не оправдал возлагавшихся на него надежд, хотя пил раньше умеренно. Лишь к пятидесяти годам он стал начальником сталелитейного цеха ОЛМЗ. Возглавляя цех, Шишкин не проявил серьезного организаторского дара. Но влюбленный в металлургию, не боящийся технических трудностей новатор, начальник цеха многое сделал для экономии дорогих металлов, ускорил формовку. Он искал — и находил. Министерство несколько раз посылало Шишкина на заводы, где не ладилось сталеварение, и он неизменно выводил местных металлургов из затруднения. Тогда появилось выражение: «Шишкин — светлая голова».

В министерстве сочли, что, освобожденный от оперативных цеховых задач, Шишкин на посту главного металлурга ОЛМЗ сможет развернуть свою новаторскую деятельность. Но это не оправдалось. Много зная, главный металлург не мог поставить себе ясную цель. Оторванный от цехов, он витал в облаках, увлекался отвлеченными теоретическими проблемами. Много работая, он был недейтелен. Шишкин не только не помогал развивать металлургическую базу ОЛМЗ, но мешал внедрению ценных предложений, шедших снизу, считая все это недостойной его внимания мелочью. Со временем появилось новое определение: «Шишкин — пустое место». Некоторые говорили еще резче: «Он путается в ногах, вредит производству».

Работники ОЛМЗ по-разному истолковывали неожиданный провал главного металлурга. Глубже других понял причины провала, пожалуй, главврач медсанчасти завода Залесский.

Назначая Шишкина на новую должность, не учли, по мнению Залесского, что и так называемое умеренное пьянство не проходит безнаказанно. Не учли, что не расширение, а сужение масштабов удел Шишкина. Он не алкоголик, психических нарушений у него нет. Но водка с годами ослабила его волю. Как не хватает у него воли не пить, так не хватает ее и на то, чтобы в течение определенного времени добиваться осуществления какой-либо производственной цели.

Пока Шишкин был начальником цеха, дело обстояло более или менее благополучно. Коллектив помогал Шишкину внедрять его же предложения, претворяя в жизнь новые замыслы, тянул за собой, подхлестывал. Здесь же, в отделе главного металлурга, масштабы больше, но нет оперативной нагрузки. Шишкин окончательно размагнитился. Он это чувствует и окружил себя людьми, которые его не теребят, не подталкивают. Особенно любит он пьяниц. Даже не потому, что они собутельники. Гораздо важнее для него то, что они пассивны. Глядя на них, находишь оправдание и себе.

— Я знаю и ценю личные достоинства Валентина Артемьевича, мы до последних лет были знакомы домами, — говорил Залесский. — И все же утверждаю, что главным металлургом он быть не может. У нас, при создавшихся на заводе условиях, он играет поистине роковую роль... Хорошая

встряска и небольшой масштаб работы могут укрепить его волю, вернуть ему уверенность в себе. Он тогда снова станет полезным человеком.

Такого мнения придерживались и работники заготовительных цехов, хорошо знающие Шишкина. На недавней общезаводской партийной конференции прямо говорилось, что пока металлургию завода возглавляет Шишкин, толку не будет. Коммунисты требовали замены главного металлурга. Но присутствовавший на конференции начальник главка Барышников отмолчался. А дирекция завода не сочла нужным добиваться освобождения Шишкина, не желая ссориться с главком и министерством.

Итак, взялся за гуж, не говори, что не дюж. Что предпринять? Конечно, лучше всего бы поехать к министру, но неизвестно, сколько времени потеряешь, пока он примет. Сведущие люди посоветовали нажать на Барышникова: он был самым рьяным покровителем Шишкина. Корнев так и поступил, позвонив в Москву, начальнику главка. Будь их разговор застенографирован, получилась бы примерно такая запись:

Барышников. Ваш секретарь парткома Васильев как-то обещал платить алименты тому, кто возьмет себе Шишкина. А вы что предлагаете?

Корнев. Разговаривать всерьез.

Барышников. Что, Шишкин уже и профсоюзу мешает?

Корнев. Заводу — с вашего благословения.

Барышников. Если вы хотя бы что-нибудь понимаете в металлургии, то должны знать, что Шишкин — крупный специалист!

Корнев. Если вы хотя бы что-нибудь знаете о положении ОЛМЗ, то должны понимать, что наш главный металлург — пустое место на заводе.

Барышников. Шишкин не будет снят с работы, и руководству ОЛМЗ это известно.

Корнев. Но зато вам известно мнение коммунистов, выступавших на партконференции. Вы не намерены с ними считаться?

Барышников. Такими кадрами никто не позволит разбрасываться. Опытные металлурги на улице не валяются!

Корнев. В том и беда, что Шишкин порой валяется на улице. Это вредит коллективу завода, и вы это знаете.

Пауза.

Барышников. Откуда в завкоме взялся такой ретивый профсоюзник?

Корнев. Из КПСС.

Пауза.

Барышников. Ловко... Согласен, поведение Шишкина связано с неприятностями. Но ему осталось до пенсии меньше двух лет. Уж кто-кто, а профработник должен понять, что нельзя уволить человека перед выходом на пенсию.

Корнев. Его и незачем увольнять. На другом заводе, в другой обстановке он себя оправдает. Если назначить его начальником цеха, загрузить оперативными каждодневными обязанностями...

Барышников. Это нецелесообразно. Он нужен также главку и министерству.

Корнев. Он вам нужен?

Барышников. Безусловно. Во всем, что касается эксплуатации печей, Шишкин — ценный консультант. Если назначить его начальником цеха, он не сможет ездить от нас в командировки.

Корнев. Значит, Шишкин вам нужен?

Барышников. Вы ведь слышали, нужен.

Корнев. Тогда возьмите его в свой аппарат.

Пауза.

Барышников. Это... это нежелательно...

Корнев. Ценный специалист нежелателен в аппарате? Давайте перестанем играть в прятки, товарищ Барышников. У вас нет малосознательных рабочих, которые будут пьянствовать, ссылаясь в оправдание на Шишкина.

Барышников. Дорогой товарищ, в аппарате нет малосознательных рабочих, но у нас есть тоже очень сознательный профсоюз... То есть местком. Он тоже не любит пьющих...

Корнев. Вы себя выдали, товарищ Барышников. Это и нужно было!

Пауза.

Барышников. Я вас понимаю, товарищ. Но...

Корнев. Вас на ОЛМЗ тоже понимают. Дело не в месткоме главка. Московская милиция не так мила, как здешняя, и не станет молча доставлять Шишкина домой. Это получит огласку. В конце концов и товарища Барышникова кое-кто призовет, пожалуй, к порядку. Вам, конечно, удобно держать Шишкина поблизости от Москвы, но не в Москве. Когда Шишкин понадобится, он под рукой. И никаких — для вас — скандалов. Обещаю, что ваша скандальная позиция будет так же широко известна, как и проделки Шишкина... Обещаю...

Барышников. Хорошо, товарищ Корнев. Горячиться незачем. Если вы так настаиваете, то я доложу обо всем министру.

Корнев. Вам полезно при этом учесть, что мнение заводских работников будет сегодня же известно министру. Завком посылает ему телеграмму.

Незачем догадываться, что в большей мере повлияло — обещание Барышникова или подписанная десятью членами завкома резкая телеграмма на имя министра, но Шишкина отозвали с ОЛМЗ и перевели в какой-то подмосковный научно-исследовательский институт.

* * *

Владимира Тарасовича Чередниченко, как и Овчинникова, Корнев знал лучше, чем других работников ОЛМЗ. Внук литейщика, сын литейщика, Чередниченко получил диплом инженера лет двадцать назад. Война застала его начальником цеха на крупном металлургическом заводе. В первые же дни войны Чередниченко ушел в армию. С фронта он был отозван, когда Советская Армия приближалась к границам гитлеровской Германии. Чередниченко назначили заместителем начальника, а затем начальником фасонно-литейного цеха ОЛМЗ.

Его кабинет был похож на кабинеты всех других начальников цехов: два стола, образующие букву Т, стулья, сейф, столик с телефонами, узкий книжный шкаф. Только в графине на столе для заседаний была, как обычно

у литейщиков, не кипяченая, а газированная вода. И даже в этом заурядном кабинете Чередниченко, коренастый, с крупными чертами лица, в заношенной пиджачной паре, выглядел посетителем, а не «хозяином»: ничто не выдавало в нем начальника большого цеха. Но это было обманчивое впечатление, рассеивавшееся после первых же слов Чередниченко. За его внешне кажущейся простоватостью скрывалась натура вдумчивого инженера, умного руководителя.

Чередниченко любили. Его хвалили, зная по опыту, что ему это не повредит, а другим пример передового командира производства пойдет на пользу. «Толковый организатор»,— считал Васильев. «Стальная воля»,— утверждал парторг цеха, старший мастер Шевяков. Фасонно-литейный цех первым на ОЛМЗ свел к минимуму прогулы. Здесь опровергли мнимую истину, будто литейщики вправе выпивать. «Чтобы хорошо варилась сталь, нужно, чтобы хорошо варился обед»,— пошучивал Чередниченко и знал все, что делается в семьях рабочих, помогал им в быту, иных, случалось, мирил с женами. «Люблю женатых»,— пошучивал Чередниченко и для молодых рабочих, обзаводившихся семьей, первым на заводе доставал ордера на комнаты и квартиры в новых домах.

И до чего же покорило Корнева, когда он узнал, что сталевар Сизых, пьяница Сизых девять лет работает в фасонно-литейном цехе!

Иван Павлович Сизых стал сталеваром незадолго до войны. Воевал, был на фронте принят в партию. После демобилизации он попросился не на Урал, где раньше жил, а в Москву. В столице его не оставили, откомандировав на ОЛМЗ. Он быстро освоился, подхватив все новое, что появилось в сталеварении за годы войны. О нем промелькнуло несколько заметок в центральной печати. Семь лет назад его избрали депутатом облсовета. Свою депутатскую деятельность он начал с того, что зачастил в гастрономические и бакалейные магазины, пытаясь якобы «навести порядок в торговле». Однако выяснилось, что он завел дружбу с некоторыми завмагами, без меры угощаясь водкой за их счет. Сизых старались урезонить, но безуспешно: его все реже видели на улице трезвым. С тех пор как депутатский мандат потерял силу, недвусмысленная щедрость дружков иссякла, и Сизых пропивал почти все, что зарабатывал. Вдобавок ко всему он был заносчив, чем оттолкнул от себя товарищей по цеху. Он вызывал презрение у всех, кто с ним сталкивался. И тем не менее он оставался членом партии.

— Как же так?

Чередниченко откинулся на спинку стула, захохотал:

— Скоро же вы добрались до моего больного места!

Корнев рассказал о собрании в третьем механо-сборочном цехе и выступлении строгальщика Старовойтова.

— Мой Сизых стал маяком для пьяниц,— согласился Чередниченко, морща широкий лоб.— Помните, я еще в первую нашу встречу говорил вам, как опасно, когда материальное и общественное положение человека опережает его внутренний рост. В лучшем случае выплывет обыватель, а чаще всего пьяница. Так получилось и с Иваном Сизых. Он выпивал, но работал с огоньком, и ему все прощали, тем более что он воевал. А испортили Сизых выдвижением в облсовет.— Чередниченко помедлил, закуривая.— Скажу вам как коммунист коммунисту, в этом нам удружил горком партии...

Вышло это так. В горкоме работал некий Солохин, заведовал отделом промышленности. На беду, он оказался председателем окружной избирательной комиссии. Он предложил выдвинуть кандидатом лучшего сталевара. Идея хорошая, но Солохин подошел к делу формально. В тот месяц среди сталеваров лучшие показатели давал Сизых. Для Солохина этого было достаточно. Мы возражаем, Солохин ни в какую: о Сизых, мол, в газетах пишут, в Москве брошюра о его опыте издается, станет депутатом, остепенится, некогда будет выпивать...

Вошел парторг цеха Иван Иванович Шевяков. Еще не переодевшись, в запыленной спецовке, он смахивал на старого мельника.

— Как раз о тебе хотел упомянуть,— встретил его Чередниченко.— Расскажи, как тебя подкузьмили, когда ты пошел против Сизых.

— Перед выборами, что ли?

— Точно. Когда ты сцепился с Солохиным.

— У вас что, вечер неприятных воспоминаний? — Шевяков поверх очков уставился на Чередниченко.— Не хотели ссориться с Солохиным, вот и сели в галошу.— Шевяков откинул на затылок старую кепку, обнаруживая высокий лоб с мысками, вдающимися в седину.— Сейчас смешно, а тогда было не до смеху. Я говорил секретарю горкома Бескаравайному, что Сизых не образец депутата и что коллектив цеха отказывается выдвигать его кандидатуру. Тут вмешался Солохин: «Стало быть, Иван Иванович, советуешь выдвинуть твою кандидатуру, ведь ты по показателям на втором месте?»

— Иван Иванович был тогда сталеваром, а не старшим мастером,— пояснил Чередниченко.

— Ну, я не ожидал такого поворота. Выходило, будто я себя вместо Сизых проталкиваю в депутаты. Пришлось замолчать. А другие не захотели спорить с этим Солохиным. Демагог он был первостатейный...

— Короче говоря, прошел Сизых в депутаты,— положил Чередниченко свои большие руки на стол.— Когда узнали, что Сизых пьет с завмагами, я считал, что его надо немедленно исключить из партии. Солохин воспротивился: «Горком не утвердит такого решения». Почему? «Пока он депутат, нельзя позорить ни его, ни наш завод, ни облсовет».

— Как хочешь, а тут ты был неправ,— Шевяков жестом остановил Чередниченко.— Ты, Владимир Тарасович, слишком остро ставил вопрос. Раз-два, исключить! Не только Солохина, но и Бескаравайного разозлило, что ты не хотел считаться с фронтовыми заслугами Сизых, у него как-никак была на груди красная звездочка, а орденами солдата за здорово живешь не награждали...

— Фронтовые заслуги! — усмехнулся Чередниченко.— Все ли они грехи отпускают? Когда депутатство Сизых кончилось, а он не переставал пить, уже всем было ясно, что он только марает свой орден. Он, кстати, и потерял свой орден спьяна. А Бескаравайный опять не дал исключить Сизых!

— Друг ты мой, я Бескаравайного знаю лучше, чем ты. Ему исключить человека из партии, как палец себе отрубить!

— Я считал, что исключение из партии заставит Сизых взяться за ум.— Чередниченко повернулся к Корневу, закуривая.— Бескаравайный вы-

звал всех членов цехового бюро в горком и давай учить: «Исключая рабочего из партии, вы расписываетесь в неумении воспитывать массы». Я ему намекнул: «Мы воспитывали Сизых, а кое-кто портил». Бескаравайный начал сердиться. А я еще добавил: «Не надо было поддерживать кандидатуру Сизых. Бачылы очи що купувалы». Бескаравайный учинил мне разнос...

— На Бескаравайного валить все нельзя, тут мы все не так сработали.

— Я лично только себя виню, не стукнул во-время кулаком по столу. Теперь расплачиваемся. Учим его, возмись с ним, а проку нет. А человек Сизых никудышный и работник такой, что любому отдам с премией из собственного кармана.

— Разве он плохо работает? — удивился Корнев.

— Сдает, хотя ему только сорок пять лет, — сказал Шевяков. — Трудно у печи с похмелья...

— Позвольте, показатели ведь у него хорошие?

Чередниченко пренебрежительно махнул рукой, а Шевяков улыбнулся:

— Нашего Сизых в цехе называют прокатчиком...

— Прокатчиком? — не понял Корнев.

— Сизых на других прокатывается, — перестал улыбаться Шевяков. — Выезжает на своей бригаде... Ребята ропшут, но терпят...

— Катится вниз, — закурил Чередниченко уже третью или четвертую папиросу. — Черт с ним. Семью только жаль. Хорошая жена, дочь школьница. Он и у них сидит в печенке. Живут в индивидуальном доме за семьдесят тысяч, а подчас нет на хлеб... Я приказал бухгалтерии выплачивать деньги только его жене. Сизых побежал к прокурору. Прокурор нас не поддержал.

— На днях, — вспомнил Шевяков, — жена его приходила. Он в получку принес домой сто двадцать рублей. Больше, говорит, не дали после вычета аванса. Утром жена увидела следы мужских сапог возле дровяного сарая. А туда, кроме нее и дочки, никто не ходит. Заглянула в сарай и там, по следам, нашла в поленнице восемьсот рублей. Это Сизых, стало быть, от жены припрятал, но с пьяных глаз не смекнул, что следы выдадут.

— Почему Яковлев запил, еще можно понять, — сказал Корнев. — Но что происходит с вашим Сизых? В медсанчасти считают, что он не алкоголик.

— Избаловали его, — разозлился Чередниченко. — Пока он считался новатором, его приглашали на всякие торжества, включали в делегации. Другие ездили, набирались ума-разума. Сизых — нет. Приедет, его спрашивают: что, мол, Иван Павлович, видел хорошего? Он знает одно: был банкет, по эту сторону сидел такой-то профессор, по другую — известная артистка...

— По-вашему, рядовых рабочих портит то, что их приглашают на торжества, включают в делегации?

— Чепуха! — Чередниченко резко прервал Корнева. — У нас десятки знатных новаторов, и ничего, кроме хорошего, о них не скажешь... У каждого человека есть своя мера, и ее нужно знать. Профессор, актриса, умный рабочий возвращались после банкета к своему труду. А наш Сизых только и ждал что новых приглашений. Понравилась легкая жизнь.

— Верно, — кивнул Шевяков. — Наша жизнь, вот она. — Он показал на свою спецовку и заношенный костюм Чередниченко. — После работы, хо-

чешь, одевайся франтом, но не забывай, хоть ты с дипломом, хоть без, что главная твоя жизнь у печи. Там измерятся твой рост.

— Вот сидит перед вами Шевяков, тоже Иван, да не тот. Ездил когда-то в Америку, изучал сталеварение и в Италии. Недавно побывал в Венгрии, где уже других учил, тоже на банкетах сиживает, но не считает актрис и профессоров... Тридцать лет носит эти очки в железной оправе, хотя денег зарабатывает дай бог каждому...

— Накипело у вас против Сизых, но почему же вы с ним так нянчитесь? Какой из него коммунист?

— Рабское подчинение формальной логике,— поднялся Чередниченко.— Раньше не исключали, какие есть основания исключать теперь?

— С каких пор мы стали рабами формальной логики? — поднялся и Корнев.— Но и она требует последовательности. Если Сизых плохо работает, плохо относится к семье, позорит парторганизацию, если все это правда, то что еще вам нужно?

— Люблю атаку! — не обиделся Чередниченко.— Причина одна. Знаете, как в народе говорят: обтерпелись. А, пожалуй, терпеть дальше не следует. Как ты думаешь, Иван Иванович?

— Позору мы с ним набрались через край...

Восемь человек говорили одно и то же. Оставалось узнать, что скажет девятый — Сизых. Он был в трехдневном отпуске: сын, солдат второго года службы, приехал на побывку. Тем лучше, решил Корнев, при сынекомсомольце и встретятся два бывших фронтовика, потолкуют о том, ради чего воевали.

Калитка в доме Сизых на улице Чкалова, обсаженной липами и застроенной индивидуальными домами, была открыта. Во дворе протяжно мычала корова: очевидно, ее забыли подоить. Ветер поигрывал открытой входной дверью. В столовой обстановка не вязалась с обликом Сизых; рижская мебель, никаких базарных украшений и, что больше всего удивило, два шкафа с книгами, которые собраны, вероятно, детьми. О Сизых напоминали только грязные сапоги, валявшиеся посреди пола. В комнате никого не было.

— Иван Павлович! — позвал Корнев.

В рубахе нараспашку, в брюках, но босиком, из соседней комнаты показался Сизых, держа почему-то руки за спиной.

— Вам кого? — не узнал он Корнева, остановив на нем мутные глаза.

— К вам ненадолго.

— Вам чего?

Корнев назвал себя.

— Пришел потолковать о делах, поздравить заодно с гостем...

— С каким это еще гостем? — пошатнулся Сизых, хмурия брови.

— Как же, Петр приехал, говорят, на побывку.

— Нет Петра дома... А дела у него какие, служит...

— Скоро вернется Петр? — спросил Корнев, понимая, что пора уходить.

— Н-не знаю,— снова пошатнулся Сизых, заикаясь.— Тебе не П-петра, а м-меня надо. Смотреть пришел, к-как выпивает Иван Сизых. Мало в

цехе насаждают, еще домой профсоюзный наседатель явился.. Н-ну, пью... Хошь, угощу, раздавим чекушку...— Он почему-то помахал в воздухе рукой, в которой оказалась полная горсть квашеной капусты.— Не хочешь, б-будь здоров, д-до свиданьяца...

На улице, возле калитки, Корнева остановила девушка лет пятнадцати:

— Меня зовут Наташа Сизых. Вы у нас были, товарищ Корнев?

— Да.

— Я вас искала в завкоме. Можно мне с вами поговорить? По очень важному вопросу.— Встретив сочувственный взгляд, Наташа зашепила, озираясь на калитку.— Вы помогли жене Яковлева, ее муж уже несколько дней не пьет. Помогите и нам. Больше терпеть нельзя. Я у отца больше жить не буду, вот окончу восьмой класс и уеду на Урал, к тете, поступлю на производство. Но маму жалко. Отец совсем,— переведа дыхание, Наташа нашла нужное слово,— совсем опустил. Он всех обманывает. Вчера вечером дом был полон пьяных, все чужие, противные. Отец похвастался, что сбвел вокруг пальца начальника цеха. Наш Петя и не собирался приезжать, это все выдумки, чтобы можно было пить три дня подряд. Если бы вы видели, что у нас творилось вчера вечером!..

Все было предельно ясно — не только Корневу, но и членам парткома.

А Бескаравайному?

Было известно, что он — в трудном положении. В годы войны он умел зажигать сердца людей, и люди на заводах этого молодого города творили чудеса. Теперь он тоже любил бывать среди рабочих, разъясняя им задачи дня. Но ни прежнего пыла, ни прежнего блеска в его речах не было. Все знали причину. На его совести лежал груз серьезных ошибок. Главную из них следовало бы назвать рабским поклонением текущему плану. Во имя выполнения плана, превращавшегося в фетиш, забывалось все остальное. В последнее время, когда на заводах города вскрылись многие — общезвестные теперь — недостатки, Бескаравайный потускнел. Он не принадлежал к тем работникам, которые остаются на прежних позициях, не считаясь с изменившейся обстановкой. Но нелегко ему было отказываться от того, чему он совсем недавно учил, на чем систематически настаивал. В новой обстановке Бескаравайный, видимо, не нашел себя, хотя коммунисты попрежнему ценили его за преданность делу и безупречную честность: на последней партконференции Бескаравайного избрали в горком почти единогласно.

Корнев был уверен, что Бескаравайный и сейчас продолжает ошибаться. Бросив все силы городской парторганизации на устранение вскрывшихся производственных недостатков, он попрежнему забывает о человеке. Люди, говорят, дороги ему. Шевяков недаром говорит о секретаре горкома: ему исключить человека из партии — как палец себе отрубить. Но что он знает о людях? Действительно, не его ли вина — по крайней мере отчасти — в том, что Сизых «совсем опустил»? Найдут ли в его душе отклик переживания восьмиклассницы Наташи?

Корнев готовился к беседе с Бескаравайным, точно к бою.

Но дать бой не пришлось. Вежливый, подтянутый, немного себе на уме, Бескаравайный не встретил Корнева в штыки, вопреки ожиданию.

Резкость Корнева не разозлила, но и не встревожила Бескаравайного. Он не сокрушался, не оправдывался, но и не искал возражений. Да, другое время, другие требования, хотя партия всегда заботилась о моральном облике коммуниста. Да, в быту не у всех благополучно, хотя и не хуже, кажется, чем в других городах. Да, имели место ошибки, хотя мириться с аморальностью нельзя, тем более со стороны членов партии.

Только прощаясь с Бескаравайным, Корнев догадался, в чем дело.

Под стеклом у секретаря горкома лежала знакомая вырезка с передовой статьей, опубликованной накануне в одной из центральных газет. Синим карандашом была жирно обведена фраза: «Надо покончить с либеральным отношением к фактам бытовой распущенности, с вредными представлениями, будто можно сквозь пальцы смотреть на недостойное поведение того или иного человека в быту, если он более или менее аккуратно выполняет свои служебные обязанности». Секретарь горкома, внимательно прочитал эту статью. И не соглашаться с Корневым в этот момент было бы опрометчиво...

Через два дня Сизых исключили из партии.

На том же заседании парткома ОЛМЗ объявили выговор, без занесения в личное дело, председателю цехкома Шундику.

Впервые за многие годы было решено во всех цехах провести открытые партийные собрания с повесткой дня: «О моральном облике советского человека».

* * *

Есть люди, которые, совершив серьезный проступок, спокойно перенесут на стороне даже судоразбирательство, но пуще судебного приговора боятся, что этот проступок получит огласку в родной среде. К таким людям, очевидно, принадлежал и Яковлев. После цехового собрания он попросил только об одном — о том, чтобы его «больше на людях не обсуждали». Яковлев присмирел, усердно трудился и бросил пить — навсегда ли, пока трудно было, конечно, решить.

Иначе повел себя Сизых. Он прямо из парткома, как только закончился разбор его персонального вопроса, направился в недавно открывшийся ресторан, где собрал любителей даровой выпивки и щедро угостил их. Сизых хорохорился, острил: теперь, мол, денюжат на водку прибавилось, так как не придется платить партийные взносы. А потом, опьянев, размахивал в воздухе партбилетом, плаксиво твердил, что не расстанется с ним, хотя бы и до Москвы пришлось дойти. Пил он дня три и на завод не являлся. Его хотели уволить, но передумали: «Авось все-таки поумнеет».

Сдавая дела Чередниченко, назначенному главным металлургом ОЛМЗ, Шишкин был невозмутим. Но от старых знакомых он не скрывал, что покидать завод ему больно.

В поселке ОЛМЗ все это знали. Всюду только и было разговоров, что о Яковлеве, Сизых и Шишкине, и не о них одних.

За семью Яковлева радовались. Сизых ни у кого не вызывал сочувствия, даже у собутыльников. Шишкина многие жалели. Когда он прощался с сослуживцами, кое-кто из женщин проронил слезу.

Да и для Корнева самой трудной за все время пребывания в поселке была та минута, когда он вдруг увидел Шишкина в завкоме. Этот высокий, седой, стриженный бобриком инженер счел нужным прийти для того, чтобы, крепко пожимая Корневу руку, познакомиться и сказать с грустью:

— Понимаю вас и не сержусь!

Иные работники ОЛМЗ были недовольны:

— Слишком круто, похоже на расправу.

Другие опасались, как бы ОЛМЗ не проиграл в глазах вышестоящих партийных и хозяйственных руководителей, выставляя пьяниц напоказ. Третьим не нравилось, что инициатива исходила от профсоюзников: обычно всю жизнь заводского коллектива регламентировал партком.

Большинство же с полным одобрением восприняло первые шаги в борьбе против пьянства.

Можно было поэтому ожидать, что потворствовать этому пороку никто уже не будет.

Как в действительности сложатся обстоятельства, покажет время.

И. Зыков



ШУМЯТ ЛЕСА

ГЛАЗАМИ КУЗНЕЧКА

Летом 1925 года случилось мне в одно время с автором «Чапаева» Дмитрием Андреевичем Фурмановым побывать в окрестностях Козельска.

Этот маленький и очень древний, тысячелетний, быть может, городок, упоминаемый в летописях раньше Москвы и прославленный геройской обороной против войск Батыя в 1238 году, находится в Калужской области и стоит на берегу реки Жиздры, на границе между полем и лесом. На три стороны от Козельска стелются поля, а в четвертой стороне виден за рекой сосновый лес — плотный частоклад медно-красных стволов, накрытый зеленой крышей. И видно с пригорка, как уходит тот лес в неоглядную даль, под самый край неба. Синее там вдалеке, окутанный голубой дымкой, и манит к себе, обещая в своих прохладных недрах покой, красоту и отраду.

Козельский массив — крайний отросток брянских лесов, глубоко вдвинувшийся в малолесную часть Калужской области. Он лежит среди полей большим обособленным островом и протянулся по правому берегу Жиздры на полсотни километров в длину и на пятнадцать в ширину. Все это пространство в несколько сотен километров плотно и густо заросло деревьями, нет никаких пустырей и прогалин.

Вдоль берега реки идет сначала полоса сосновых боров шириной в пять-шесть километров, дальше боры переходят в смешанный елово-лиственный лес, а еще дальше начинается дубняк с примесью клена, вяза и липы.

Всякому известно, что лес — накопитель влаги. Солнечные лучи не проникают под его густой зеленый полог, не сушат землю, и лесная влажная земля дает начало ручейкам.

В глубине Козельского леса течет его дитя — речка Сосенка. Еще в давние времена ее перегородили примитивной плотиной и поставили мельницу. Там шумела вода, постукивало колесо и гудели жернова. За плотиной

раскинулось широкое зеркало пруда, окаймленное зелеными стенами леса, а около мельницы выросла крошечная деревенька, тоже по имени Сосенка.

Это маленькое поселенье затерялось в лесу, несколько не нарушая его глубокого покоя. Весной за околицей деревни безбоязненно токовали тетерева, в дальней верховине пруда, куда не долетал ни один деревенский звук, гнездились дикие утки, и рогатые лоси приходили туда на водопой.

По вечерам угасал ветер, переставали кивать вершинами сосны и умолкал веселый шум ветвей, тишина опускалась на лес и на пруд. Крикнешь: «Эй! Ау!» — и на противоположном береговом крутосклоне громыхнет многоголосое эхо, оттуда тоже несется: «Эй! Ау!» Вот она какая хрупкая, лесная тишина.

Фурманов, при его кипучей деятельности и колоссальной трате энергии на многообразной работе, не мог похвалиться особо крепким здоровьем. Он очень нуждался в отдыхе. Здешний покой был для него нужнее сутолоки черноморских курортов. Чего же лучше: чистый воздух, запах хвон, глушь, тишь, эхо, дикие утки с лосями, мукомол, похожий на мельника Пушкина и Даргомыжского, и столько всяких непривычных горожанину приятных необычностей, граничащих со сказкой, что, казалось, еще немного — и начнешь верить в существование русалок в мельничном омуте. И все это очень полезно для усталого человека, когда у него начинают пошаливать нервы.

Фурманову пожить бы тут подольше! Ему нравились эти места, и он собирался приехать сюда в будущем году, но до следующего лета ему не суждено было дожить. В Москве на исходе зимы он заболел менингитом. Десять суток сорокаградусного жара при ясном сознании, последние слова: «Понял теперь — умру. Не колите мне руку: беспельно. Наука отстает от природы». Потом трое суток беспмятства, и 15 марта 1926 года Фурманова не стало.

Для окружающих смерть его была неожиданна. Он умер тридцати пяти лет, в самом начале своей литературной работы и накануне больших творческих свершений. Его серьезная литературная деятельность продолжалась всего три года, а работал он напряженно и быстро шел по пути совершенствования. Как художник он только начинался. А. М. Горький писал тогда: «Для меня нет сомнения, что в лице Фурманова потерян человек, который быстро завоевал бы себе почетное место в нашей литературе. Он много видел, он хорошо чувствовал, и у него был живой ум. Огорчила меня эта смерть».

А вскоре принялись рубить Козельский лес, в памяти моей навсегда связанный с думой об авторе «Чапаева». Наступала пора индустриализации, стране понадобилось много древесины длястроек первой пятилетки, и Козельский массив тоже должен был внести свою долю. Застучали в лесу топоры, захрипели пилы, и возчики вывозили на лошадях с лесосек круглые сосновые бревна.

Позже мне уже не пришлось бывать в тех местах, но знакомые козельчане, приезжавшие в Москву, на мои вопросы отвечали:

— Рубят! Попрежнему рубят!

И, наконец, стали передавать те же сообщения в совсем уже зловещей форме:

— Рубят! Весь вырубил! Пни торчат!

Мое воображение нарисовало громадный мрачный пустырь с почерневшими пнями, и я зачислил Козельский зеленый массив в разряд бывших

лесов, навсегда исчезнувших с лица земли. В этой уверенности меня укрепило, кроме рассказов козельчан, вот еще какое обстоятельство. Козельский лесной массив в тех границах, как я его видел, обозначен на карте Калужской губернии в 27-м полутоме энциклопедического словаря Брокгауза — Ефрона, вышедшем в 1895 году. А в 26-м томе первого издания Большой Советской Энциклопедии, выпущенном в 1933 году, на карте Западной области, куда по тогдашнему административному делению входил Козельск, нанесено много всяких других менее значительных зеленых островков, но границы Козельского леса вовсе не показаны. Значит, он не существует.

А если не стало леса, то солнце высушит оголившуюся землю, и неминуемо должна пересохнуть речка Сосенка — дитя леса. И какой уж там может быть пруд! Разве что осталось гнилое болото с осокой да с лягушками в трясине.

* * *

Кто ж не любит леса? Кому не приятен шелест листьев над головой? Протест против рубок — исконная традиция русской интеллигенции, на ней мы воспитались. Все мы с детства помним некрасовское: «Плакала Саша, как лес вырубали», и каждый сочувствовал чеховскому доктору Астрову с его картой исчезающих лесов.

Особенно громкие протесты против рубок леса раздавались в 90-х годах прошлого столетия. Тогда был напечатан «Русский лес» Ф. К. Арнольда и его же «История лесоводства в России, Германии и Франции с древнейших времен до 1894 года». Эти книги с их печалью по поводу непрекращающихся рубок леса вполне соответствовали умонастроениям тогдашнего общества.

Я в свое время читался этой литературы, рыдавшей об исчезающих с лица земли лесах, и тоже отдал дань старинной традиции. Тоже всю жизнь печалился, что рубят леса и все меньше их становится, тоже говорил, что природа оскудевает с каждым ударом топора и надо крепко подумать, прежде чем опустить топор на древесный ствол, потому что на наш век лесов, быть может, и хватит, но надо же подумать о потомках. Ведь лес — драгоценное богатство, он — регулятор климата, накопитель влаги, хранилище урожая. Как же можно оставить страну без лесов! И лесорубы представлялись мне опустошителями природы, а лесозаготовительная промышленность, казалось, существует на правах контрабанды: нельзя бы рубить, да без древесины не обойдешься — надо же человеку сидеть на стуле, а для стула приходится срубить дерево. Степные жители, те по необходимости привыкли на корточках, а у нас иные привычки, нам без стула нельзя. И никак я не мог выпутаться из этого противоречия: и сидеть надо, и рубка дерева недопустима.

Зимой 1948—1949 года, когда в газетах печатались трудовые обязательства областей, я однажды прочел, что калужские колхозники обещают посадить не помню уж теперь сколько гектаров защитных лесных полос, а через неделю было напечатано обязательство тех же калужских колхозников выполнить план лесозаготовок и нарубить сверх плана какое-то количество кубометров древесины. Я недоумевал и даже негодовал: не привели люди свои поступки к одному знаменателю, одной рукой сажают, другой срубают, не знает правая рука, что делает левая!

А неприведенными к одному знаменателю оказались мои собственные мысли; большая в них была путаница. Я всю жизнь прожил влюбленным в лес обывателем, всегда любил его зеленый шум и тенистую прохладу, но, как все влюбленные, я ничего не хотел о нем знать, мне казалось достаточным его чувствовать. Биология леса, законы его жизни, основы лесного хозяйства мне были знакомы не больше, чем некрасовской плакавшей Саше.

Только в самые последние годы я принялся за изучение науки и практики лесного хозяйства и тогда понял, что прежние мои суждения были основаны на обывательских предрассудках.

Конечно, надо беречь лес, но мы, широкая публика, понимаем эти слова вовсе не так, как понимают работники леса, ибо по нашим понятиям всякая рубка есть зло, а по понятиям лесохозяйственников лес не всегда боится топора, а иногда даже настойчиво его просит.

Более четверти века я был уверен в исчезновении с лица земли Козельского лесного массива, а теперь, в свете нового моего понимания, былая уверенность превратилась в сомнение. Это еще вопрос — уничтожен он или не уничтожен? Это еще надо посмотреть!

Я сел в поезд и через полсуток был в Козельске. Тот же городок, да словно и не тот, столько в нем за десятилетия накопилось разных перемен. Прошла новая железная дорога, построены новые поселки, и вообще много тут нового. Найдено, например, угольное месторождение и построены шахты.

Но попрежнему за рекой Жиздрой стоит темнозеленая стена соснового бора. Да, существует и лес, и речка Сосенка, и пруд! Стал он еще краше и чище, водится в нем всякая рыба. Плотина теперь новая, и работает уже не прежняя мукомольная колотушка, а гидроэлектростанция колхоза имени Орджоникидзе, дающая людям свет, культуру, всяческие удобства и облегчения в работе.

И утки гнездятся на пруду, и тетерева токуют за околницей, и лоси приходят на водопой. Да не один, не два, а целым стадом в десяток рога-гаты голов.

Но ведь лес рубили? Рубили. И в первую, и во вторую, и в третью пятилетки, а особенно много рубили во время войны. Но что из того? Во-первых, не весь срубили, много оставили. А во-вторых, кто сказал, что на вырубленном месте никогда уже не будет деревьев? Глупости! Предрассудки! Нормальная рубка так ведется по правилам лесохозяйственной науки, чтобы на вырубленных местах обязательно вырастал молодняк. В Козельском массиве на бывших лесосеках густо поднялось молодое зеленое племя, и вся площадь попрежнему покрыта лесом.

Мне довелось побывать в самых разнохарактерных лесах нашей страны — хвойных и лиственных, горных и равнинных, южных и северных, много пришлось увидеть разнообразных красивых ландшафтов. Но наиболее приятен моему глазу ажурный мир соснового молодняка в пору перехода из младенчества в подростки, когда из ершистых шариков превращается он в стройные жердочки и начинает наперегонки тянуться вверх.

В такой мир молодости и свежести вы погружаетесь, вступая на некогда вырубленные участки Козельского леса. Вас со всех сторон обступают стволы — в одном месте погуще, рядом пореже, а там снова густо;

одни потолще, с руку, другие потоньше — как тросточки, и в этой смене — погуще, пореже, потоньше, потолще — чувствуется очень сложный, но и очень законченный ритм.

На стволиках висят зеленые сгустки хвойных лапок, они такие нечетко очерченные, немножечко как бы растрепанные со своими торчащими во все стороны иголочками, и кажутся глазу хлопьями нежного зеленого пуха. Все вместе — и стволики и зеленые пятна — составляют ажурный узорчатый кружевной мир, и когда вы находитесь внутри его, верхушки сосенок вам не видны, они находятся выше уровня глаза, они заслонены зелеными пятнами веток, теряются в них. И эти стволики, идеально прямые, идеально вертикальные, идеально параллельные друг другу, не имеющие видимых верхушек и оттого как бы бесконечные, кажутся туго натянутыми струнами, уходящими в беспредельность, в небо. Отсюда создается ощущение движения вверх, буйного, стремительного роста. Вы чувствуете глазом, как движется вверх молодая зеленая сила.

Не весь, конечно, Козельский массив состоит из молодняков, не весь же он был срублен. Тут есть участки с деревьями всех возрастов: есть спелые дребостой в стадии полного расцвета своей силы, а есть участки состарившихся деревьев, отстоявших свой срок и приближающихся к дряхлости.

Охраной леса и уходом за ним заняты работники Козельского лесхоза — лесничие, объездчики, лесники. Массив поделен на кварталы, ограниченные друг от друга узенькими просеками. Весь лес на счету, и за каждым участком ведется уход, соответствующий возрасту и состоянию деревьев. Лес нуждается в культурном управлении жизнью деревьев волей человека. Особо тщательного ухода требует молодняк, этот растущий для будущего большой капитал. Его надо прореживать, вырубать лишние деревца, чтобы не было им слишком темно да тесно, оберегать от всяких жуков и личинок, короедов и древоедов.

Этим благородным делом руководит старший лесничий Козельского лесхоза Николай Гаврилович Маркин, здешний старожил. Он работает в лесхозе с 1923 года, во время войны сражался на фронте, потом снова вернулся в свой лесхоз. В то время, когда сюда приезжал Фурманов, Николай Гаврилович был совсем молодым, а сейчас ходит по борам с внуком Сережей.

Сосновые, еловые и дубовые молодняки, которые мы видим сейчас в Козельском массиве, — детище Маркина. Часть вырубленных площадей стихийно заполнилась молодняком от налетевших с деревьев семян, а многие сотни гектаров были искусственно засеяны Маркиным, и сейчас там помахивают на ветру ветками деревца лет пятнадцати и старше. Благодаря заботам лесничего площадь Козельского леса не только не уменьшилась от рубок, но даже увеличилась, потому что Маркин не ограничился восстановлением леса на вырубленных площадях, он делал посевы и посадки дубков на открытых местах, где прежде никаких деревьев не было.

— Стоит ли вспоминать о рубках довоенных пятилеток? — говорит лесничий. — Все довоенные лесосеки прекрасно возобновились, и по большей части ценными породами: сосной, елью, дубом. Вот в голы Отечественной войны нашему лесу нанесли значительные раны. Рубили тогда не по правилам. Что ж тут скажешь? Война требовала жертв, ни с чем тогда не

считались. Сказано в пословице: «В битве волос не жалеют». Нужно было рубить — вырубил, пришла пора восстанавливать — восстановили. Сейчас раны, нанесенные в войну, можно считать залеченными. Зря люди охают: «Весь лес вырубил, пропал!» Вот вы, когда ехали сюда после тридцатилетнего отсутствия, небось побаивались, что увидите пустыри? А разве есть у нас пустыри? Не найдете!

* * *

Представьте себе такую картину: ясный солнечный день, зеленый луг, в траве стрекочет и прыгает кузнечик. У него ведь тоже есть всякие безусловные и условные рефлексы, а стало быть, и свое кузнечиково отношение к окружающей среде. Вероятно, ему кажется, что зеленая трава будет стоять вечно, потому что не на его памяти она поднялась и ни разу на его глазах еще не увядала.

Пришли косари, скосили траву, и кузнечику сенокос, конечно, кажется невозможным опустошением; едва ли он в силах поверить, что трава способна снова вырасти. Но мы люди, обнимающие своим сознанием более обширные потоки времени, знаем, что траву надо косить дважды в лето и что она еще лучше растет, когда ее косят.

По продолжительности жизни человек перед деревом — то же самое, что кузнечик перед травинкой. Дерево растет медленно и живет долго, а жизнь человека сравнительно коротка. Человек с детства и до старости видит на приметном месте один и тот же дуб, и дуб начинает человеку казаться вечным, однажды природою данным, неповторимым и невозможным, как трава кузнечику.

Вот так и мы порой смотрим на лес глазами кузнечика.

Мы думаем, если опустился топор, — конец лесу. А вовсе ему и не конец. Произошла просто смена древесных поколений, старые деревья уступили место молодой поросли.

Печаль об исчезающих лесах красива и привычна интеллигентскому сердцу, на эту тему можно наговорить много вдохновенных слов, и легко сорвать бурные аплодисменты публики, переходящие, как говорится, в овацию. Но на самом деле совсем нет причин плакать при каждом ударе топора. Если с рубками леса не все еще обстоит благополучно, то мы стараемся в дальнейшем увидеть, в чем заключаются неполадки и как их устранить.

Печаль о гибели лесов бывает грамотная и бывает неграмотная. Среди широкой публики в особенном ходу неграмотная, основанная на взглядах кузнечика. А ее подлинную цену можно взвесить, проследив судьбу Козельского лесного массива по картам, изданным в девяностых и девятисотых годах, когда усиленно плакали о гибели лесов, — такое уж тогда было модное поветрие. Вы увидите, что зеленое пятно на правом берегу Жиздры против Козельска из года в год таяло на картах и дробилось на части. Потом его начисто стерли с карты — похоронили лесок и панихиду по нем пропели. А он благополучно здравствует сейчас в границах 1895 года и даже шире, потому что Маркин новый лесок посадил.

Можете проверить. Съездите в Козельск! Из Москвы недалеко. Можно с Киевского вокзала через Сухиничи, можно с Курского — через Тулу.

ПОЛЯЯ ВОДА

Заглянем теперь в другое место.

Мне приводилось бывать на средней Пинеге в разное время года, и всегда там встречаешь что-нибудь неожиданное и удивительное.

На берегах Пинеги есть все, чему полагается быть в населенных местах: шагают телеграфные столбы, от села к селу пролегли грунтовые дороги, и по ним бегают грузовые автомашины.

Но все это только на берегах, а вдали от реки простирается глухая необжитая тайга, там на сотнях километров нельзя встретить ни деревни, ни одинокой избы, там нет дорог, там бродят лоси да прыгают с дерева на дерево белки и свистят рябчики, никогда не видевшие человека, потому что охотники не заходят в такую даль.

Старая география Пинежского края определялась полями и сенокосами. Они служили основой расселения людей в прошлые эпохи и ограничивали количество населения, потому что район прежде существовал на своем продовольствии. В эпоху натурального хозяйства нельзя было прожить без своего хлеба, без молока. А сейчас география меняется. Все большую и большую роль начинает играть главное богатство края — лес. Продовольствие же для лесорубов можно теперь привезти из других районов и областей.

Пинежане издавна порубливают тайгу. Еще деды сплавляли бревна на архангельские лесопильные заводы и курили смолу. Но леса прежде вырубались только поблизости от реки, потому что издали на лошади не привезешь. А сейчас леса по берегам больших и даже малых рек отчасти уже использованы дедами и отцами, стоит задача взять лес издали, и очень это нелегкая задача.

В глубине пинежской тайги, на участках Рукола и Патья, случилось мне увидеть обширное кладбище лежащих на земле толстых бревен. Они наполовину сгнили и ни на что уже не годятся. В чем дело?

Оказывается, незадолго перед войной, по специальному заказу на древесину исключительного качества, тут были срублены самые лучшие деревья. Срубить-то их срубили, обработали, на отдельные бревна раскронли, а не вывезли.

— Вредительство! — говорит один пинежанин

— Ну что зря болтать! — возражает другой. — Никакое не вредительство, а неорганизованность. Лесорубов-то нагнали: «Заготовляй!», а транспорт для вывозки не сумели организовать. Полежали бревна, потеряли качество, а потом их уже не было смысла вывозить.

Надо сказать, что участки Рукола и Патья находятся в очень глухом месте. Они расположены на речке Пачихе, а Пачиха — внучка Пинеги, приток ее притока Юлы. Сюда ходят только пешком, иного пути нет, потому что порожистая река Юла летом мелеет, на порогах камни торчат, вода кипит да пенится, на лодке по такой реке не проедешь.

Трудно везти отсюда тяжелые бревна.

В первое время по приезде поражают контрасты: из Архангельска в Карпогоры вы прилетели на самолете и были в воздухе всего с час, а отсюда до любого лесопункта добираться долгонько. Но это только сначала

кажется неудобно, а потом вы вживаетесь в общий дух таежной жизни и начинаете считать все здешнее нормой.

Работники леспромхоза тем более привыкли. При мне в Карпогорах происходило совещание плановиков и нормировщиков всех лесопунктов. Разбирался очень важный вопрос о себестоимости древесины, присутствие всех было обязательно, и все собрались. В большинстве — девушки, недавно окончившие лесотехнические техникумы. Кончилось совещание, девушки перекинули сумки через плечо — и айда к себе на лесопункты — кто в Кавру, кто в Пачиху. По дороге где-нибудь заночуют у гостеприимных пинежан, а там, глядишь, суток через двое и дома. Ну, и что ж тут такого особенного? Это здесь в порядке вещей, все так делают. На то она и тайга, иначе в ней нельзя.

Разбросанность лесопунктов затрудняет управление ими. Директору леспромхоза Ивану Васильевичу Коловангину приходилось все время разъезжать, заглядывать и в Кавру, и в Пачиху, и в Кушкопалу. Шутники даже называют контору леспромхоза то «районным трестом лесозаготовительной промышленности», то «карпогорским штабом партизанского движения в лесах».

* * *

Чуть забрезжит рассвет, а над трубой рабочей столовой в Кушкопале уже вьется белый дымок, и слышно через окна, как грохают тарелками судомойки.

Вот и солнце поднялось над лесом за рекой. Лязгнул крюк, дверь столовой распахнулась настежь: пожалуйста, дорогие гости! И лесорубы не заставляют себя долго ждать. Столовая быстро наполняется народом; снуют между столами подавальщицы, разносят, глядя по сезону и по индивидуальным вкусам посетителей, то пинежские экзотические яства, то обыкновенные щи и каши. По утрам некогда тут долго засиживаться, все спешат. У крыльца прорычал, несколько раз отрывисто выстрелил и заглох мотор, потом опять фыркнул. То шоферы подают машины.

Столовая пустеет так же быстро, как наполнилась.

Лесорубы влезают на грузовики с лавочками в кузове и брезентовыми верхами. Шоферы кричат:

- Кто еще в Рамбу?
- Кто на григорьевский участок?
- Ну, все, что ли?
- Все!

Машины уходят, все смолкает. Потом издали доносится топот копыт. Все ближе, громче. Верхом на лошадках едут женщины, у каждой за спиной прихвачена веревочкой охапка сена. Кавалькада всадниц рысью пронесется по улице и сворачивает на дорогу в Рамбу.

Рамба — участок маленький и немеханизированный. Тут работает всего 25 человек. Механизирована только валка деревьев с корня, а для вывозки используются лошади, те самые, которые проскакали утром мимо столовой в Кушкопале.

Водить лошадей за вожжи легче, чем валить деревья, обрубить у них сучья, грузить на вагонетки. Поэтому с лошадьми работают женщины. Из

поселка на лесосеку приходится им ехать не на машине, а верхом, каждой на своей лошади.

В центре лесосеки стоит и потихонечку гудит маленькая машинка, похожая на автомобильный или тракторный мотор. На случай дождя она накрыта навесиком из листа кровельного толя. Это передвижная электростанция. Она дает ток для электропилы.

Вальщик Владимир Красуцкий тянет туда, где надо спиливать деревья, кабель, одетый в резиновую оболочку.

Электропила состоит из цилиндрика с двумя рукоятками, а сбоку приделана тонкая узкая пластинка. По ее краям натянута непрерывная замкнутая пильная цепь, похожая на ту, что в велосипеде идет от педалей на ось колеса, но на каждом ее звене сидят острые зубья.

Электропильщик подходит к дереву, наклоняется, приставляет пилу к стволу, чтобы сделать запил с той стороны, куда дерево надо свалить, потом быстро переносит пилу на другую сторону, прижимает к дереву, и начинается стрекотанье. Быстро несется цепь с пильными зубьями и делает свое дело. Десять — двадцать секунд стрекочет пила, раздается короткий, отрывистый треск надлома, дерево опрокидывается, шумя ветками, и гулко ударяется оземь.

А Владимир Красуцкий со своим молодым помощником Жорой Шкопериным уже у другого дерева. Снова десять — двадцать секунд жужжания пилы, треск, шум веток, удар.

Вслед за вальщиками идут восемь сучкорубов и едва успевают обрубить топорами ветки лежащих на земле деревьев. Потом длинные стволы раскраивают на короткие бревна разных сортов, волокут по лесосеке, грузят на вагонетки, везут к реке Юле. Всем этим заняты двадцать пять человек, и всю эту работу обеспечивает одна электропила.

— Если уж очень сильно поднажать, — рассказывает Красуцкий, — то могу свалить и больше, но больше не надо. Сучкорубы не успеют тогда обрубить ветки, и с вывозкой не справиться, накапливаться будут в лесу завалы деревьев. А навалить — сполдела.

* * *

На Пинеге различают год календарный и год фактический. Календарный, как у всех, с 1 января, потому что нельзя же вести счет времени иначе, чем во всем Советском Союзе. Но этот начинающийся в январе год не вносит никакой разницы между «вчера», «сегодня» и «завтра». Дни декабрьские похожи на дни январские, так что по существу-то ничто 1 января не заканчивается и ничто не начинается.

А существует пора, когда все старое заканчивается и начинается новое, когда Пинеге все разом за год отдает и все на год получает. Для всех пинежан бывает эта пора сильно хлопотлива, но радостна, и когда она приближается, всякий ждет нетерпеливо, тревожно и взволнованно.

Наступает она весной, сразу же после ледохода. А ледоход бывает не всегда в одно время, когда раньше, когда позже — год на год не приходится. Но обычно он случается на Пинеге в половине мая.

Первой вскрывается Двина. Ледоход на ней происходит стремительно, бурно, быстро. Река течет с юга на север, из более теплых мест в холод-

ные; в верховьях снег тает быстрее, массы воды устремляются вниз и выталкивают ледяную пробку в низовьях, как пыж из ружейного дула. Река взламывает и несет льдины метровой толщины; происходят заторы, торшования, как в полярных морях на приливе.

Чтобы ослабить этот опасный взрыв, чреватый для заводских окрестностей города Архангельска убыточными наводнениями, люди помогают реке вышибить пробку помягче да полегче; взрывают лед аммоналом, взламывают ледоколами и спроваживают в море. Прославленные в знаменитых полярных походах «Красин», «Седов», «Сибиряков», «Ленин», «Литке», «Челюскин» всегда весной занимались смягчением бурности двинских ледоходов.

И вот уже очистилась Двина, пароходы по ней идут, баржи таскают, гудки слышны, началась навигация.

А на Пинеге лед стоит дольше, течет она с востока, у нее иной гидрологический режим и календарь. Ледоход на Пинеге иногда запаздывает против Двины на несколько дней.

В Карпогорах получено известие, что на Двине у входа в Пинегу скопилось двадцать пароходов и сотня барж с грузом. Стоят и ждут. Они ринутся в Пинегу, как только пройдет лед.

Около Карпогор река уже очистилась. Сверкает полая вода, все луга на берегах залиты, и вот какая стала Пинега широкая. Весенняя Пинега — как летняя Волга.

Никогда в другое время года не ложится такая нагрузка на телефоны, как теперь. Во всех пинежских деревнях круглые сутки звякают звонки, и люди кричат до хрипоты:

— Как лед?

— Двинулся?

— Пошли караваны?

— Когда?

— Какие пароходы?

— Где «Александр Матросов»?

— Где баржа «24-90»?

— Что ты мне обрываешь провода? Подожди! Узнаем — скажем.

И уже все в Карпогорах от мала до велика знают: идут караваны! И уже каждый запомнил, что идут пароходы «Александр Матросов», «Степан Халтурин», «Афанасий Шилин», что у каждого на буксире по пяти барж, что баржа «24-10» везет бензин, а «24-90» тракторы, машины и всякую технику, что идут еще баржи-самходки, и «Юпитер» везет сахар, а «Сатурн» соленую рыбу. И уже организованы разгрузочные бригады. Ни один мужчина не имеет права в предстоящие дни сидеть у себя в учреждении; будь он хоть секретарь райкома или районный прокурор, его место на берегу, а для текущей работы в конторах останутся женщины.

И вот, наконец, дождалось. Из-за поворота у Шотовой горы показывается темный силуэт с клубами черного дыма. Старательно бурля колесами воду, медленно продвигается против быстрого встречного течения пароход с тяжелым караваном барж. Карпогорцы знают, что этот пароход «Генерал Панфилов» направляется в верховья реки, что он пройдет мимо без остановки не то в Суру, не то на Выю, но так соскучился народ по

парходам, год их не выдавши, что на берегу собирается толпа, глядит на караван и не собирается расходиться. С удивлением люди замечают, что звук гудков приятен и музыкален, а запах угольного дыма вкусен.

А вот подходит наш «Александр Матросов», и еще радостнее звучат бодрые гудки и еще вкуснее кажется запах дыма.

Пароход подводит баржи к берегу. Кладут сходни, начинается разгрузка. Все взрослое население Карпогор на берегу. Товары привезены и для леспромхозовского орсa и для райпотребсоюза. В разгрузке участвуют все: служащие, рабочие, колхозники. Катают бочки, таскают ящики, мешки, кипы. Мука, крупа, сахар, рыба, консервы, кондитерские изделия, табак, спички, ткани, одежда, обувь, велосипеды, радиоприемники. В леспромхозы завозится из Архангельска все, за исключением масла и овощей, которые лесорубы получают от здешних колхозов.

Некогда отвозить товары в склад, нагромождают горы мешков и ящиков на берегу, накрывают их брезентами и досками.

Еще подходит пароход с баржами, гудит тревожными отрывистыми гудочками, просит себе место.

Разбираются, какие баржи куда надо отправить, чтобы выгрузить товары ближе к лесопунктам. Пароходы уводят часть барж в Кылму, в Кушкопалу, на Усть-Покшеньгу. И там же идет разгрузка машин. С борта баржи перекинули на берег помост из толстых бревен, и по нему потихонечку, осторожно перебираются на берег тракторы и автомобили.

Из наливной баржи перекачивают на берег бензин.

В Кушкопалу привезли в разобранном виде пятьдесят щитовых домов. Приспособили кран, поднимают целую стену дома и кладут на сани, а потом трактор тащит на место будущей постройки. Люди не глядят на часы, потеряли счет времени, не различают дня и ночи. Работы много, всем трудно, все устали, но все радуются, и никому не хочется уходить с берега.

Березы на лесной опушке окутались зеленым дымком, а подойдешь ближе — все-то они в зеленых точечках. Кому ж в эту пору захочется уходить от реки под крышу? Не было бы пароходов — все равно сидели бы по ночам на обрыве девушки с парнями в обнимку.

Вот и солнце тоже перестало надолго отлучаться с весенней Пинеги. Еще в апреле ночи были синими, а сейчас вечерняя заря сомкнулась с утренней, нет между ними синего промежутка, и ночи сделались лилово-розовыми. Блики солнца скользят по затихшей стеклянной реке, и стала она как перламутр с розовыми и зелеными переливами по белому фону. Далекие боры за рекой тоже по ночам розовеют. Доносится оттуда, как бормочут на току тетерева-черныши.

Как две зари соединились вместе, так и у людей в эти дни радость весны сливается с радостью встречи пароходов. Соединилась Пинега с Большой землей, и бывает это раз в год.

Любопытствуют люди, что за дары прислала Большая земля. За год многое переменилось, новые товары стали выпускать. С интересом разглядывают, передавая друг другу, первый новый коробок со спичками. Даже этикетки на спичках переменились. Были в прошлом году желтые коробки с хвостатыми белками, а сейчас лодочка с белым парусом на синей воде. И ситцы с другими цветочками, клетками и горошинками. Все новое!

Торопливо пробежал белый пассажирский пароход «Гоголь», остановился на четверть часа у Карпогор, выпустил пассажиров и пустился дальше. На нем приехала партия новых рабочих в леспромхоз, их сейчас же приспособили помогать на разгрузке.

Еще новый пароход пришел с баржами. Распределили их, куда какую, принялись разгружать.

А капитаны торопят:

— Скорее, пинежане, скорее! Не успеете во-время на берег вывалить — обратно груз повезем, часу лишнего не простим.

Двенадцать суток продолжалось на Пинеге «вавилонское столпотворение». Некоторым наиболее рьяным энтузиастам разгрузки доводилось иногда спать сидя на берегу, прислонившись к какому-либо мешку с крупой. За это время Карпогорский район принял 18 тысяч тонн всякого груза — от разборных стандартных домов и передвижных электростанций до пуговиц, иголок и булавок.

Уже бежали обратно пароходы, разгрузившиеся на верховьях Пинеги — на Вые, в Суре, Лавеле. Река была полна гудками и стуком плуц. Как только в Карпогорах сбросили на берег последние мешки, пароходы подхватили опорожненные баржи и тоже пустились наутек. Все убежали вниз. Опустила ненадолго река.

А потом рекою овладел лес. Поверхность Пинеги заполнилась плывущими бревнами. Издалека посмотреть — словно бы рассыпали по воде много-много спичек. То верховые леспромхозы россыпью пустили по течению лес. Теперь пароходам уже нет на реке места, в такую гущу не сунешься.

Недаром торопили капитаны с разгрузкой и грозились увезти товары обратно. Надо было освободить дорогу лесу. Лесосплав тоже не ждет, бревна тоже надо пускать до спада воды, а после река быстро обмелеет.

Пока разгружались пароходы, лесорубы на дальних карпогорских участках, в глубине тайги, принялись за новое дело. Они начали сбрасывать в Юлу и Покшеньгу весь запас бревен, вывезенный за год на берега рек. Высоко поднялась весенняя вода, закрыла все пороги. Быстро несутся бревна к Пинеге. А когда ушли пароходы, лес из Юлы и Покшеньги начали выпускать в Пинегу, и еще гуще она заполнилась бревнами.

Так Пинега плодами своей годовой работы ответила на годовой завоз товаров.

Целый месяц сбрасывали в воду бревна, и целый месяц они плыли, кружась и сшибаясь друг с другом, по быстрой реке. Потом поток деревьев кончился, и для зачистки остатков прошел караван сплавщиков: столкнули в воду те бревна, что приткнулись на берегу и обсохли на обнажившихся отмелях. Сильно обмелела к этому времени Пинега, сузилась; там и сям желтеют пляжи. Обозначились мелкие перекаты, тут через реку можно перейти вброд.

Не пройти теперь по реке не только пароходу, а даже малому катеру. Да и не могут они теперь сюда попасть. Вся река отрезана от внешнего мира, закупорена в устье деревянной пробкой. Еще весной, когда торопливо, уступая дорогу лесосплаву, выбежали с Пинеги на Двину последние суда, устье Пинеги перегородили бонами — перемычками из бревен, скованных железными цепями. Сделано это, чтобы поймать плыву-

ший россыпью лес. Все больше приплывает сверху бревен и останавливается у преграды, и вот уже скопились их миллионы, тесно прижавшись друг к другу и заполнив собою всю поверхность реки. На протяжении многих километров легла от берега до берега деревянная мостовая,— переходи реку в любом месте сухой ногой. Хватит сплавщикам разбирать бревна и вязать плоты на целое лето.

А на Пинегу до следующей весны можно попасть только на самолете.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ — ХРАНИТЬ ЛЕС

Миллион бревен вынесла Пинега. То же самое делается на любой сплавной реке. Как отнестись к этому факту? Радоваться ли успехам лесорубов? Или надо, быть может, поглядеть на дело как-то иначе?

Существует мнение, что рубки леса опустошают страну, портят климат, иссушают реки и обеспложивают поля. Говорят, что следовало бы рубить поменьше, а лучше бы не рубить совсем.

Вопрос серьезный, и надо в нем разобраться со всею обстоятельностью. Мы, конечно, не желаем опустошения нашей родины.

Но ведь на месте срубленного леса вырастает новый лес! Мы же видели это в Козельске.

Я рассказал про этот случай одному заядлому противнику рубок, а он ответил:

— Молодняку в Козельске понадобится сто лет, чтобы стать взрослым лесом. Вот и выходит, что зря срубили: был прежде хороший лес, теперь выросли какие-то кустики да хлыстики. Слишком долго ждать. Надо было хранить старый лес, пусть бы он креп да хорошел,— и сослался на слова профессора Вихрова из романа Леонида Леонова «Русский лес»: «Вырубка тысяч гектаров векового леса не возмещается посадкой хлыстиков на таком же пространстве: чтобы сделать эти величины равноценными, необходимо еще время размером в сотню лет, в течение которого надо вести правильное лесное хозяйство. Да и то неизвестно, что из этого получится!»

И он напомнил также «Корабельную чашу» М. М. Пришвина.

В этой повести-сказке замечательного художника слова рассказано, как за северной красавицей — рекой Пинегой народ коми вот уже триста лет таит от начальства и хранит от рубок чудесный сосновый бор. Каждая сосна там в четыре обхвата, и стоят они так часто, что срубишь одну — она свалиться не может, а опирается на соседей и стоит, как живая, некуда ей падать. И уже согласился было народ коми отдать свою чудесную чашу на сруб, чтобы укрепить оборону отечества, но тут война кончилась, и чашу удалось сохранить.

Ну, что же? Благо, мы находимся на Пинеге, давайте поглядим, как тут обстоят дела с корабельными чашами.

На Пинеге и в самом деле стоят великолепные сосновые боры. Да и сама река Пинега — красавица. Может, помнит кто картину художника И. С. Остроухова «Сиверко»? Она висит в Третьяковской галерее в Москве и была широко известна по многочисленным репродукциям. Так вот,

за Пинеге есть несколько мест, удивительно похожих на эту картину; кажется, что художник именно тут сидел и писал.

Чисто здесь, сухо. Можете пройти по берегу о край воды сотни километров, и нигде ваша нога не увязнет в болотистой трясине и не встретит глинистого месива даже в самый большой дождь. Всюду лежит плотный гравий.

Дело в том, что Пинеге течет через обширный массив песков ледникового происхождения. Тысяч десять лет назад, а быть может, и все двадцать тысяч, почти все пространство России было покрыто ползучими ледниками, и разные они оставили после себя следы, в одном месте так, в другом иначе. А на Пинеге ледник нарыл песков.

Не думайте, что это какие-либо голые зыбучие пески. За десятки тысяч лет они заросли растениями, изменились: образовались плотные, сухие, здоровые почвы. Песок в почве всегда лучше, чем вязкая холодная глина, не пропускающая сквозь себя воду; песок воду пропускает, он всегда сух, и на нем не бывает болот. Север страдает от избытка влаги, от болот, потому что в холодном климате мало воды испаряется с земной поверхности, а если почва хорошо забирает влагу, это благодать.

Сосна любит песок. На здоровых песчаных пинежских почвах стоят густые боры-беломошники, а где почва чуть повлажнее — боры-зеленомошники. На белых мхах деревья помельче, на зеленых — мощнее.

Михаил Михайлович Пришвин побывал тут в 1935 году, проплыл по реке Пинеге в лодке, все видел собственными глазами, оставил по себе у пинежан хорошую память и запечатлел здешние леса в образе «корабельной чащи», придав виденной действительности некоторое преувеличение, без чего сказка не была бы сказкой. А пинежские леса таковы, что просятся именно в сказку.

Сосны, конечно, не в четыре обхвата, потоньше, и стоят пореже, но такие они прямые, как колонны, чистые, без единого сучка до самой вершины, как описывает Пришвин.

Непередаваемое очарование здешним сухим борам придает белая поверхность земли. Не холодной белизной мертвого снега она белая, а живой теплотой оленьего мха-ягеля. Нигде не встретишь таких буйных и сплошных ягельников без примеси каких-либо других растений — ни в тундре, ни в других борах, только на Пинеге; должно быть, созданная ледниками песчаная почва способствует их росту. Олений мох покрывает землю пухлым ковром. Он такой пушистый, кудрявый, затейливо кружевной, цветом белый с еле заметным глазу слабым серовато-зеленоватым оттенком. Кажется, что земля сплошь устлана шкурами белых тонкорунных овец, и на них большими пуговицами лежат коричневые шляпки грибов. Над всем этим белым великолепием возвышаются красно-бронзовые столбы сосен с зелеными хвойными макушками. Светло в лесу, торжественно и радостно. Боры-беломошники по эмоциональному действию на человека — полная противоположность темным и угрюмым еловым лесам.

Певец природы М. М. Пришвин зорким своим оком точно подглядел особенности разных лесов: еловый лес зовет человека трудиться, березовый лес — веселиться, в праздничный день на лужайках хороводы водить да песни петь, а сосновый бор светел и торжественен, как храм с белым ковром на полу, бронзовыми колоннами и с изумрудным потолком.

И, конечно, сладко помечтать о том, что эти великолепные боры смогут вечно стоять в прекрасном своем теперешнем виде.

К сожалению, это только красная сказка, столь же несбыточная, как сказки про Спящую царевну, Хозяйку медной горы, Конька-горбунка или Садко, опускающегося в подводное царство.

Мечтать можно, сказка красива, а на деле иное. Не везде одинаковы пинежские леса. Крепкие древостои идут полосами вдоль реки Пинеги, где стоят деревни и живут люди. А вдали от реки простирается глухая необжитая тайга; там стоят никогда никем не рубленные леса, и эти отдаленные леса имеют другой вид.

С пассажирского самолета, совершающего регулярные рейсы из Архангельска на Пинегу, немного увидишь, потому что идет он всегда одним и тем же маршрутом, но мне случалось летать над пинежскими лесами на самолетах противопожарной авиации разными маршрутами, и при полетах есть возможность приглядеться к лесам. Чем глубже уходишь в тайгу, тем больше видишь в ее пестрозеленом пологе серых пятен. Впечатление такое, словно лес густо запылился серой пылью. Это перестойные, умирающие на корню леса. Когда самолет идет низко, видны оголовшиеся сучья сосен и покрытые седым мхом елки.

Сейчас лесозаготовители осваивают новые массивы и, постепенно удаляясь от рек, проникают все дальше и дальше вглубь никогда не рубленных лесов.

На участке Рамба Карпогорского леспромхоза, в восемнадцати километрах от реки Пинеги, стрекочет электропила, идет рубка леса. Мастер участка Максим Павлович Земцовский обходит назначенную для рубки делянку, осматривает сосны и лиственницы, стучит обухом топора по стволам. Звук удара отрывистый, как о камень, и так же, как от камня, отскакивает от твердого дерева топор. Плотный такой звук, без резонанса.

— Эти хороши, а вот та подозрительна.— Земцовский ударяет по толстому стволу гигантской сосны, одетому морщинистой коричневой корой.— Слышите пустоту? Слышите, как бунчит?

Даже мое «неграмотное» ухо замечает совсем другой характер звука, хотя смысл его мне непонятен. Мастер объясняет, что эта сосна не так еще стара — всего сто восемьдесят лет, а сердцевина у ней уже выгнила, и пустота откликается при ударе обухом; сосна не годится на деловую древесину; выйдут только дрова, поэтому на валку этой сосны нет смысла тратить труд, пусть себе стоит в лесу. План по дровам давно выполнен, возить дрова отсюда дорого, начальство требует только хорошую деловую древесину, из которой можно пилить доски.

Попалась сосна в двести двадцать лет, тоже с внутренней гнилью, ее тоже не стоит рубить, тоже останется в лесу. А другую сосну в двести лет мастер решает взять: по звуку слышно, что внутренняя гниль захватила только нижнюю часть ствола, ее можно отпилить и бросить, а выше дерево уже без гнили и пойдет в дело.

Таких перестойных деревьев с внутренней гнилью, незаметной еще для глаза и слышимой только уху, оказалось на этой делянке до десяти процентов.

А рядом стоят мертвые деревья с видимыми признаками разрушения

Вот высокая сосна, совершенно обнажившаяся от коры; у нее и сучья на вершине пока еще целы, но вся она голая, бледносерая, с обветренной и омытой дождями древесиной.

Гниение дерева идет изнутри, в той последовательности, в какой при жизни происходило наращивание годовых слоев древесины. Живое дерево ежегодно наращивало снаружи новый слой, каждый год на ствол как бы надевался новый чехол, поэтому различные части ствола имеют разный возраст: внутренним слоям уже двести лет, а наружные кольца совсем еще молодые. Вот и сгнивают в первую очередь старые внутренние кольца, внутри ствола появляется дупло, а наружные слои древесины держатся дольше.

Иные сосны переломились пополам: верхние половины свалились на-земь, а нижние стоят прямыми серыми столбами без коры. Мастер ударил по столбу острием топора, пробил дырку; оказалось, что наружный каркас серой древесины имеет толщину всего в палец, глубже идет слой коричневой трухи, а внутри пусто, как в трубе.

Такие они красивые и чистые, боры-беломошники, даже гниение умерших деревьев происходит тут не безобразно. Во-первых, сосны очень долго гниют стоя, спрятавшись между соседями, а когда переломившиеся стволы валяются на землю, они быстро обрастают белым ягелем и лежат длинными валиками в красивых пушистых чехлах словно бы из белого плюша, а что там внутри валика — не видно.

Еще дальше от реки Пинегги начинаются еловые леса на влажных глинистых почвах. В еловом лесу все происходит иначе. У ели корни не идут вглубь земли, а расходятся во все стороны по самой поверхности и образуют широкий плоский круг. Живая ель стоит на круглой подножке, а мертвая скоро падает. Она — дерево ветровальное, потому что обилие густых веток создает на ветру большую парусность, а корни слабо держатся за землю.

В девственных еловых лесах одно из десяти деревьев обязательно лежит на земле. Лежат они, ошетилившись густым бурьяном черных сучьев, с вывороченной из земли и вставшей на дыбы круглой тарелкой корней. Через такую лежачую ель не перешагнешь, напрямик не пойдешь, приходится обходить. А там, где большие завалы, и вовсе нельзя пройти.

* * *

Лес, драгоценное наше богатство, конечно, надо хранить. Но как его хранить? Можно беречь в сундуке под замком нержавеющее золото. А дерево — живое существо, оно живет и умирает. Поэтому хранение леса — понятие довольно-таки сложное.

Конечно, приятно помечтать, что можно преодолеть старость и победить смерть. И особенно приятно мечтать об этом старикам. Михаил Михайлович Пришвин писал сказку о корабельной чаше в последний год жизни и сказкой о нетленной старости и бессмертии преодолевал думу о смерти.

На участке Рамба мы разговорились о корабельных чашах. Мастер Земцовский, коренной пинежанин, рассказал:

— На моей памяти у нас было два заповедных массива корабельной сосны. На берегу столб стоял с доской, на доске надпись: «Заповедник,

рубить нельзя». И лесник с ружьем к тому лесу был приставлен. Ну, я вам скажу, и лес. Я еще мальчишкой его видел. Все сосны толстые да высоченные, все одного роста, все чистые, без единого сучка до самой верхушки. Только на макушке пучок зеленых веточек. А высота, я думаю, метров под сорок. Не знаю, для каких важных государственных надобностей его берегли да с ружьем стерегли.

— А теперь он каков?

— Срубили его в первую голову еще в тридцатых годах: загнивать начал. Если бы не срубили, превратился бы весь в труху. Теперь там молодой сосняк растет. Его-то придется рубить только через сто тридцать лет. Раньше у нас сосну не рубят, она должна в спелость войти.

* * *

К сожалению, в нашем образованном обществе мало распространены знания по биологии леса, многие уверены, что деревья, если их не рубить, могут существовать вечно.

В статье талантливого писателя К. Паустовского «За красоту родной земли», напечатанной 12 июля 1955 года в «Литературной газете», есть такие строчки: «Я много дал бы за то, чтобы узнать имя того администратора, который приказал вырубить начисто на дрова великолепные вековые березы. Ими была в конце XVIII века обсажена вся дорога от Калуги до Тарусы. До сих пор жители Тарусы и окрестные колхозники почти со слезами говорят об этом безобразии».

Едва ли могли получиться из этих берез дрова. Вероятно, там внутри бересты была только труха да пыль, потому что березы не отличаются долговечностью. Сто пятьдесят лет — предел их жизни. Обычно они умирают раньше ста лет и очень быстро гнивают.

Убрать деревья с Тарусской дороги пришлось потому, что они сами валились на землю и даже могли придавить зазевавшихся путников.

В данном случае К. Г. Паустовский ошибается, как ошибаются в своих суждениях о лесе жители Тарусы и вообще многие горожане и как я сам тоже ошибался, хотя и вырос не в городе, а в дремучем лесу.

Нельзя до бесконечности хранить существующие взрослые деревья, они рано или поздно обречены на смерть.

Хранить лес можно только путем замены старых деревьев молодыми. Такая смена древесных поколений происходит и в свободно растущих лесах без вмешательства человека: умершие деревья сваливаются и гнивают, на освободившемся месте рождается из падающих на землю семян молодняк. Но смена поколений в девственных лесах происходит без пользы для человека и невыгодно для санитарного состояния лесов. Масса лежащей на земле высохшей древесины дает пищу лесным пожарам, создает очаги для размножения всяких вредных насекомых и разводит заразу для окружающих лесов.

В постоянном круговороте жизни, который совершается в лесах, есть законное место пиле и топору, чтобы удалить отживающее и открыть дорогу нарождающемуся. Можно ведь не дожидаться, когда деревья сами умрут да сгниют, а срубить их и вывезти.

Рубка леса равнозначна уборке урожая пшеницы или хлопка, допустить гниение леса на корню так же нелепо, как оставлять в поле необработанный хлеб.

Разумная и правильная рубка спелого леса совершенно безболезненна для сохранности лесов, она только облегчает и ускоряет процесс смены древесных поколений. Крупнейший из классиков нашей лесной науки Г. Ф. Морозов писал: «Рубка и возобновление — синонимы».

Но, разумеется, принципиальная допустимость и даже необходимость рубок вовсе не означает, что с лесом позволено делать все, что кому захочется. Принцип: «Руби все с краю!» — был бы так же дик, как сумасбродно требование запретить рубки.

Если при жатве пшеницы, необходимость которой ни у кого, кажется, не вызывает сомнений, должны соблюдаться сроки созревания зерна и разумные правила уборки, если недопустимы потравы и хищения на колхозных полях, — тем более строго и бережно надо подходить к использованию леса, потому что лес — продукт более дорогой. Пшеница поспекает ежегодно, лес же надо выращивать столетие.

Огромную роль играет восстановление лесов. Если в земледелии действует закон «Не посеешь — не пожнешь», то и в лесном хозяйстве рубка должна уравниваться восстановлением; на вырубаемых местах должен подниматься молодняк, а если останется голый пустырь, такая рубка — зло.

В ЛЕСУ И В ПАРКЕ

В пинежских борах срубают делянку, и лесорубы переходят на новое место. А на оставшемся пустыре принимается за работу природа. Пригревает солнышко, и весной на влажной земле начинают оживать сосновые семена. Часть из них лежала во мху еще с прошлых годов, а часть подкинул ветер вон с тех сосен, что остались стоять по сторонам лесосеки. Вскоре появляются всходы. Молодой лесок прет из земли буйно и неудержимо. Года через два, через три весь пустырь покрывается густым, темно-зеленым ежиком. И все происходит без участия в этом деле человека; оно здесь не требуется. Сама тайга засеивает, а природа выращивает.

В городском парке ничего подобного не увидишь. В Москве летом ветер гоняет по улице множество белого пуха. Он носится в воздухе, катится по асфальту, а в уголках, где от ветра затишье, лежит комьями рыхлой ваты. Это мелкие семена тополей, растущих кое-где на московских дворах. Каждое семечко величиной с маковое зернышко. Оно обросло пушинками и летает в воздухе, как планер на крыльях.

Из них могли бы вырасти миллионы деревьев и покрыть тысячи гектаров. Но в Москве не поднялся еще ни один самородный тополь: негде прорасти семенам — всюду асфальт, а голая земля вытаптывается подошвами. Те тополя, что стоят в Москве, посажены и выращены искусственно.

В Москве, на Пионерских прудах, есть сквер с липовыми аллеями. В июне на деревьях распускается такое множество цветочков, что не только сами липы меняют окраску, но даже дорожки в сквере становятся

желтыми от невообразимого обилия осевшей на землю цветочной пыльцы. Аромат разносится упоительный, а к осени липы разбрасывают миллионы маленьких кругленьких орешков. Но из них тоже не вырастает ни одного дерева, хотя семена падают не на асфальт, а на зеленую траву газона.

Липы на Пионерских прудах были посажены, повидимому, вскоре после пожара Москвы в 1812 году. Деревья состарились, и часть за последнее десятилетие усохла. Пришлось их спиливать, а на образовавшиеся пустоты подсаживать привезенный из питомников молодняк. И сколько же он потребовал ухода! Землю вокруг корней надо было рыхлить, удобрять, молодые деревца привязывать к жердочкам. Некоторые не прижились. Понадобилось заменить новыми. Все это стоило очень дорого. Вот ведь какая происходит обидная странность: миллионы своих семян пропадают задаром, а молодые липки приходится привозить из дальнего питомника.

Такая же картина наблюдается во многих других местах.

Березы на обочинах дороги между Калугой и Тарусой, о которых общал в «Литературной газете» писатель К. Г. Паустовский, простояли полтора десятка лет и раскидали в течение жизни квадрильоны семян. Они могли бы заселить своим потомством все материи земного шара, но на деле получилось иное: деревья умерли, не оставив после себя ни одной молодой березки.

Понятно, почему древесные семена не прорастают на асфальте городских мостовых. Но ведь липовые орешки на Пионерских прудах падали на зеленую траву, а березовые семена на Калужско-Тарусской дороге рассеивались по окрестным лугам. Асфальта там нет. Какая им встретилась помеха?

Асфальта, конечно, нет. Но на лугах и на газоне парка древесным семенам помешал прорасти дерн.

Многим горожанам во время войны приходилось заниматься огородничеством и вскапывать лопатами целину. Они порядком попотели и знают по собственному опыту, что такое дерн. Это верхний слой луговой почвы, заполненный корнями злаковых трав. Такое тут множество корешков и так туго они переплелись, что образуется очень плотный войлок толщиной сантиметров в десять. Бывало, идешь осваивать под картошку задернелый участок — старательно точишь напильником железную лопату, — тупая дерна не прорежет.

Вот этот толстый и крепкий войлок так же непроницаем для древесных семян, как асфальт мостовых. Ни один древесный росток не сумеет пробиться сквозь него к земле.

Ну, а как же прорастают древесные семена в лесах? В том-то и дело, что в лесу в большинстве случаев нет дерна.

Каждый, кто бывал в густых лесах, в особенности хвойных, замечал, что там земля покрыта совсем другими растениями, нежели на лугу. Под пологом леса встретишь чернику, бруснику, мхи, лишайники, грибы.

Белый олений лишайник — весь ажурный, пористый, легко проникаемый для семян. Возьмешь в руку пучок, и он почти без всякого сопротивления отделяется от почвы, а под ним видна голая земля, и нет никакого дерна. Точно так же и у других лесных растений.

А в особенно густых молодых хвойных лесах почва прикрыта только опавшей с деревьев хвоей, и нет никакой наземной растительности.

Ясно, что падающие с деревьев семена не встречаются на лесной почве каких-либо серьезных препятствий для прорастания.

Но почему же под березами на Калужской дороге не выросли вот такие удобные для размножения деревьев мхи? Почему в нормальных лесах деревья имеют потомство и там происходит смена поколений, а в городских парках, на обочинах дорог или в изреженных пригородных лесах не происходит?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, что такое лес.

Человечество в течение долгого времени накопило на эту тему много отрывочных знаний, а привел их в стройную систему выдающийся русский ученый Георгий Федорович Морозов (1867—1920 гг.). Его по справедливости считают создателем науки о лесе.

Морозов с большой убедительностью показал, что «лес не есть простая совокупность древесных растений, а представляет собою сообщество, или такое соединение древесных растений, в котором они проявляют взаимное влияние друг на друга, порождая тем ряд новых явлений, которые не свойственны одиноко растущим растениям».

Деревья в лесу живут не одиночками, а «колхозниками», и надо сказать, что «коллективное хозяйство» у них — крепкое, хорошо организованное, с образцовым порядком.

Внутри леса из товарищеской поддержки рождается особая обстановка. Всякий замечал, что в жаркий день в лесу прохладнее, чем на лугу,— это влияние древесного сообщества на воздух. В лесу растут совсем другие травы, чем на лугу,— это совместное воздействие деревьев на почву и ее растительность. Словом, внутри леса, из взаимодействий деревьев друг с другом устанавливаются особые законы жизни.

Эти законы обеспечивают деревьям продолжение рода и смену поколений. В лесу так все приспособлено, чтобы лес и на будущее время оставался лесом, а не превращаясь во что-нибудь другое, например в луг.

Лес не позволяет поселяться в своих недрах злаковым травам, образующим дерн. Эти травы нуждаются в солнечном свете и не могут существовать в тени лесного полога. В сомкнутом лесу царит постоянный сумрак. Там могут расти мхи, лишайники, ягодные кустарнички. Между ними и деревьями нет вражды. Сами они не страдают от тени и деревьям позволяют производить потомство.

А травянистый луг — тоже растительное сообщество, но иного типа, с другими законами, и эти законы тоже обеспечивают лугу самосохранение и оберегают от превращения в лес. Орудием защиты лугу служит дерн.

Таким образом, лес и луг — два соперничающих друг с другом растительных сообщества. Каждое отстаивает свой рубеж и не пускает соперника на свою площадь.

Но деревья представляют сообщество лишь в том случае, когда стоят тесным сомкнутым строем. А если разбрелись поодаль друг от друга или выстроились вдоль дороги в один ряд, то взаимодействие между ними ослабляется или вовсе исчезает; тогда они уже не образуют леса и не создают законов, обеспечивающих продолжение рода. Г. Ф. Морозов пишет: «Какая-нибудь аллея или дорога, обсаженная по бокам деревьями, может тянуться сотни верст, так что рассаженные вдоль нее деревья могут пред-

ставлять собою великое множество отдельных древесных растений без того, чтобы из них образовался лес».

Такие посаженные на обочинах дороги деревья не в состоянии воздействовать на почву и на травянистую растительность, потому что не могут затенить земную поверхность. Тень от них в течение дня передвигается: утром падала на запад, днем — на север, к вечеру — на восток. Земля под деревьями значительную часть дня обогревается солнцем; света более чем достаточно для того, чтобы могли расти злаки и накапливалась непроницаемая для древесных семян дернина. Деревья тут живут, как иностранцы в чужой среде. Будучи разъединены и не опираясь на взаимодействие друг с другом, они бессильны создавать обстановку, необходимую для прорастания своих семян. Почвы между одиноко стоящими или изреженными деревьями живут по законам луга.

На примере леса можно видеть, как всякий живой организм ведет нормальное существование только в обществе себе подобных и силен взаимопомощью; а «один в поле не воин».

В городах мы видели именно такие разъединенные древостой искусственных посадок — парки, бульвары, скверы, аллеи, — где деревья не подавляют травянистую растительность, живут на измененной почве и не могут оставить после себя молодую смену. Если деревья в парках или на обочинах дорог умирают от старости, на их место приходится сажать новые и вести за ними уход. Не сеять, а именно сажать. Это разные вещи.

Леса в окрестностях больших городов под влиянием многолюдья тоже перерождаются в парки.

Был прежде под Москвой маленький дачный поселок Лосиноостровская, а теперь он превратился в город Баушкин. И не просто в город, а давно уже фигурирует в списке крупнейших городов СССР. То же самое происходит с другими подмосковными дачными местами; все они разрастаются, и везде рост сопровождается изменениями в условиях существования пригородных лесов.

Если в Малаховке, Валентиновке, Ильинском, Абрамцево и во множестве других дачных поселков промеж деревьев выдвигаются дома, то ясно, что такие деревья перестают быть лесом, в силу изложенных Морозовым законов, и теряют возможность оставлять после себя смену.

Жалеть тут не о чем, надо радоваться росту подмосковных дачных городов и городков. Лес существует для человека, а не человек для леса. Но перерождение древостоев в парки налагает на нас обязанность относиться к ним совершенно иначе и тщательно заботиться об охране зеленых насаждений. Дерево становится тут драгоценностью, и нельзя сорвать с него веточку, потому что сорванная ветка — это нанесенная дереву рана, а не все породы деревьев одинаково их переносят: одни легко излечиваются, другие тяжело заболевают.

* * *

Я привел длинный ряд теоретических рассуждений, касался довольно скучных, на первый взгляд, вещей, но без них не поймешь, почему в одних случаях деревья можно срубить, а в других нельзя сорвать с них даже веточку.

Никогда не следует забывать, что деревья существуют в разных условиях: одни оставляют после себя потомство, другие потеряли эту возможность. И едва ли требуется объяснять, в каких случаях с деревом надо обращаться более бережно.

Рубка перерожденных подмосковных древостоев где-нибудь в Кунцеве или Малаховке означала бы разбойничество и заведомое уничтожение, потому что там на месте сваленного дерева не встанет новое.

Беспощадно должно караться браконьерство. Несостоятельна ссылка браконьера на то, что он-де рубит отдельными деревьями, а государство целыми гектарами. Браконьер, как моль, выгрызает дырочки, а портит всю ткань. Самовольные рубки изреживают древостои и могут привести к распаду взаимодействия между деревьями; внутрь впускаются свет, трава и дерн, лес перестает быть лесом и превращается в простое сборище отдельных деревьев, теряя возможность производить потомство.

В то же время рубки, которые ведет наша лесозаготовительная промышленность, не наносят никакого ущерба, если они производятся по правилам и если обеспечено восстановление леса.

Государственная лесная промышленность не рубит подряд что ни попало под руку. У нас различают, какие это леса, где они стоят, какую роль выполняют,

РАЗНЫЕ ЛЕСА — РАЗНЫЕ ЗАДАЧИ

Леса неравноценны друг другу. Одни защищают поля от суховеев, а другие годятся только на дрова. И для каждого леса установлены свои правила рубок, свой режим охраны и ухода.

Советское законодательство выделяет три группы лесов и по-разному их бережет.

К первой, наиболее оберегаемой группе отнесены так называемые защитные леса, предназначенные охранять почвы от образования оврагов, горные склоны и речные берега от размывания и выветривания, урожай полей от суховеев, дороги от обвалов и снежных заносов. А пригородные и курортные зеленые насаждения очищают воздух и полезны для здоровья людей.

Защитные леса могут сравниваться с музейными экспонатами и требуют особо тщательного ухода и заботы о реставрации. Если такие леса живут в соседстве с людьми, они должны быть предметом заботы всего населения. В этих лесах священно и неприкосновенно каждое дерево.

Площадь таких полезных и важных лесов ныне превышает 60 миллионов гектаров и постепенно увеличивается, потому что в степях постоянно сажаются новые защитные леса. На Юге и Юго-Востоке есть немало колхозов и совхозов, которые начали посадки в 30-х годах, полностью их завершили и сейчас вырастили великолепные полезащитные лесные полосы.

Посадки продолжают. Решения XX съезда Коммунистической партии обязывают в 1956—1960 годах «заложить не менее 370 тысяч гектаров защитных лесных насаждений по оврагам и на песках, а также

создать 560 тысяч гектаров полезащитных лесных полос на землях колхозов и совхозов».

Обычные, не имеющие особых защитных функций леса центральных, южных и западных областей СССР относятся ко второй группе. Это наши ярославские, смоленские, брянские, калужские, владимирские, белорусские, латвийские, украинские и аналогичные им леса. Список республик и областей так длинен, что всех их не перечислишь.

А к третьей группе отнесены лесоизбыточные области. Это — необозримая тайга Севера, Урала, Сибири, Дальнего Востока.

По своей хозяйственной сути леса второй и третьей группы одинаковы. И те и другие — эксплуатационные леса; основное их назначение — давать человеку древесину. Но между ними есть и огромная разница. Леса второй группы, расположенные в малолесных областях, резко отличаются от тайги своим сравнительно небольшим количеством и совсем иным состоянием древостоев. И настолько велика разница, что в тех и других лесах перед нами стоят совершенно различные задачи.

Мы видели, что тайга на 70—80 процентов состоит из одряхлевших древостоев, требующих во многих случаях немедленной рубки. На Пинеге есть немало «корабельных чаш», где сосны умирают и запас древесины на каждом гектаре уменьшается. Промедление с рубкой таких участков приносит потери и убытки. Рубить их надо, скорее рубить, пока не свалились на землю великаны! Вот какая задача стоит в тайге.

Размеры рубок явно недостаточны: они отстают от потребностей страны в древесине. Решения XX партсъезда обязывают:

«Обеспечить дальнейшее усиление лесозаготовок в районах Севера, Урала, Сибири...»

Совсем иную картину древостоев мы наблюдаем в центральных, южных и западных областях. Эти леса с давних пор регулярно рубились, и в них велось более или менее правильное хозяйство. Это отразилось на их возрастном составе. Все они омоложены рубками. Там вы почти не встретите лесов, захламленных валежником, как в первобытной тайге.

Хотя у нас принято обвинять наших предков в «истреблении лесов», но состояние древостоев показывает всю вздорность таких обвинений. Леса, срубленные в конце прошлого и начале нынешнего столетия, великолепно возобновились. Мы имеем сейчас большие резервы насаждений в возрасте от 40 до 80 лет. И еще больше молодняков на рубках последних 30 лет.

А спелых древостоев во второй группе осталось мало. В Ярославской, например, области всего 159 тысяч гектаров.

Состояние лесов второй группы заставляет обращаться с ними совсем иначе, чем с тайгой. На Севере, Урале и в Сибири надо всемерно увеличивать лесозаготовки, и предел там ставит не природа, а наши собственные силы. В малолесных же районах приходится соразмерять размеры рубок с количеством имеющихся спелых насаждений. Если в Ярославской области есть 159 тысяч, ясно, что нельзя срубить больше, и надо растянуть это количество до тех пор, пока не вступят в полную зрелость приспевающие насаждения. Поэтому рубки приходится вести строго по норме и экономить лес.

И вторая стоит задача — не допускать уменьшения площади лесов второй группы ни на один гектар.

Наше лесное хозяйство достигло блестящего развития. Сейчас в лесах второй группы не только обеспечивается восстановление древостоев на всех вырубаемых площадях, но в широких размерах производится реконструкция лесов, улучшение их качества, замена малоценных пород более ценными. На месте осинников, например, разводятся ель, дуб, лиственница.

В наши дни находит наиболее полное осуществление мысль создателя науки о лесе Г. Ф. Морозова о том, что «лесоводство становится искусством, которое не только умеет пользоваться лесом, без истощения его, но и ставит себе более трудную задачу преобразовать действительность лесную в таком направлении, чтобы она полнее и лучше удовлетворяла человеческое общество в его разнообразных запросах по отношению к лесу».

Советские лесоводы уже не довольствуются теми видами деревьев, которые создала природа, а выводят новые, до сих пор не существовавшие древесные породы, обладающие особо полезными свойствами.

Обычные деревья слишком долго растут. Слов нет, хороша архангельская сосна; все знают, что она — лучшая в мире, но поспевают-то она в сто тридцать лет. Ускорить рост деревьев — такова одна из задач лесоводов.

На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке можно видеть быстрорастущий пирамидальный тополь профессора А. С. Яблокова. Дереву нет еще 20 лет, а высотой оно около 20 метров, имеет хорошую древесину, терпеливо ко всяким метеорологическим условиям и может существовать там, где обыкновенный пирамидальный тополь погибает.

А. С. Яблоков ведет важную работу по улучшению свойств осины. Наша среднерусская осина выродилась и загнивает в самом юном возрасте. Разумеется, куда ж она, гнилая, годится? Только на плохие дрова. А теперь мичуринская наука дает путь к превращению осины из дрянного болезненного дерева в здоровое и хорошее.

Успешно работают и другие лесоводы-мичуринцы. Профессор С. С. Пятницкий вывел четыре формы быстрорастущего засухоустойчивого дуба; А. В. Альбенский создал засухоустойчивый гибридный ясень; академик В. Н. Сукачев вывел несколько новых сортов ив и отобрал для культурного разведения лучшие быстрорастущие формы лиственницы.

Новые формы деревьев можно видеть не только на выставках и в ботанических садах. Нет, воля человека заселяет ими обширные площади лесов. В Директивах XX съезда КПСС по шестому пятилетнему плану записано: «...заложить до 3 миллионов гектаров лесов хозяйственно-ценными и быстрорастущими древесными породами».

В лесах первой и второй группы культурное хозяйство поставлено хорошо. Лесоводы заботливо ухаживают за древостоями. В руках человека леса растут быстрее и лучше, чем в диком состоянии.

Иначе обстоит дело в тайге. Было бы неправильно сказать, что лес там не берегут, о лесе не заботятся. Заботиться-то заботятся, но многое в тайге пока нам не под силу.

В бескрайних таежных просторах есть много совершенно неизученных районов. Видали их только с самолетов, знают, что есть леса, а какие — неизвестно, потому что люди по ним не хаживали.

Где уж тут вести уход, управлять ростом! Удалось бы только убрать от пожаров! На это направлена главная забота. В остальном обширные участки тайги предоставлены власти природы.

Но в освоенных районах все больше и больше крепнет культурное вмешательство человека.

* * *

Много еще есть недостатков в работе лесной промышленности и лесного хозяйства. Не все люди хорошо справляются со своим делом. Случается иной раз небрежливое обращение с лесом.

Лесозаготовители не выполняют плана, а народное хозяйство требует много древесины. Отсюда рождается торопливость. Берут лес где поближе, да поскорее, да полегче. И можно составить довольно длинный список всякого рода маленьких грешков против того идеального порядка, в каком мы желали бы видеть все наши леса. Но не так уж велики грешки. Все они легко поправимы, и совершенно напрасны разговоры о том, что у нас якобы господствует неверная линия в обращении с лесом.

Нет, линия верная! Мудрость советской лесохозяйственной политики заключается в том, что у нас не меряют все леса на один аршин, а четко разграничивают различные группы и определяют, что с каким лесом можно делать и чего делать нельзя.

Никогда не следует забывать, что леса бывают разные. Пинежанина с его привычкой рубить на дрова сосны по рублю за штуку нельзя подпускать к полезащитной полосе, а жителю степей таежные лесозаготовки покажутся дневным разбоем и чудовищным истреблением. И беда, если подмосковный дачник, глядя из окна дачи, попытается решать вопросы лесного хозяйства во всесоюзном масштабе по своим дачным меркам.

И все это должна понимать наша молодежь. Комсомолец, заметив в пригородных лесах человека, обламывающего ветки, обязан отвести его в милицию. И тот же комсомолец, если выпадет на его долю поехать на работу в леспромхоз, должен взять в руки электропилу и валить за смену по триста деревьев. И в том и в другом случае выходит для родины польза.

**СТАТЬИ, ДНЕВНИКИ,
ЗАМЕТКИ**



Марк Щеглов



РЕАЛИЗМ СОВРЕМЕННОЙ ДРАМЫ

1. О «ПЬЕСЕ ЖИЗНИ»

Трудно переоценить значение тех явных сдвигов, перемен к лучшему, которые произошли со времени развенчания «концепции» бесконфликтности в нашем искусстве, и в частности в области драматургии и театра. Если сравнить общий уровень драматургического творчества у нас несколько лет тому назад с тем хотя бы, что получили зритель и читатель за последнее время, то легко увидеть, что пьесы наших драматургов становятся все интереснее, что они все более напоминают подлинную жизнь, сложность и непредвзятость ее положений, ее темпы, остроту происходящей в ней борьбы. Все чаще в этих пьесах встречаешь непринужденные человеческие лица и не абсолютно декларативные страсти и чувства персонажей.

И при всем том до сих пор еще нельзя отыскать даже среди значительных достижений советской драматургии подлинных *«пьес жизни»* (вспомним определение, которое дал произведениям Островского Н. А. Добролюбов). Таких пьес еще нет, хотя все говорит о том, что мы накануне их появления...

Термин Н. А. Добролюбова, связанный прежде всего с новыми для своего времени художественными принципами драматургического реализма Островского, хочется здесь употребить в более широком смысле.

«Пьесой жизни» мы назовем произведение, которое в динамичной и сжатой форме драматического «действия» покажет нам самую «сердцевину» жизни, одновременно очаровывая нас характерностью деталей, побочных мотивов, захватывая поэзией и «высоковольтностью» эмоций, поражая силой и непривычностью мысли. «Пьеса жизни» должна выявить характеры такими, чтобы встреча с персонажем пьесы была столь же или более интересна, как встреча с живым человеком, с *личностью*, чтобы изображаемое

на сцене было так естественно, сложно и значительно, что могло бы стать личным переживанием каждого, войти в «биографию» его чувств. Все эти общие слова можно сжать до «изречения»: «пьеса жизни» — это пьеса об остроинтересном в жизни, переданном как бы средствами самой жизни, а на самом деле — средствами «точного искусства».

Так мыслили мы себе тот шедевр драматургии, к созданию которого нужно просто лететь душой. На пути к нему — освоение новых драматических форм, глубокое познание классики, теоретические обоснования и главное — кипящее начинаниями и новизной *творчество* драматургов, захваченных интенсивностью жизненных впечатлений нашей эпохи, думающих над «загадками» действительности. Последнего особенно не хватает у нас.

Одним из самых главных и поучительных обстоятельств для развития нашей драматургии в направлении к «пьесе жизни» является торжество на наших сценах драматургической классики. Есть какой-то замечательный урок всем нам в том, что современные пьесы, герои которых, наши современники, говорят на острые политические и моральные темы, упоминают всем нам ведомые события, «вращаются» в схожей с нами бытовой и рабочей обстановке, эти сегодняшние пьесы, за малым исключением, имеют короткий «сезонный» век — даже те, что при первом своем появлении чем-то, казалось, поражали.

Двадцать лет назад, на Первом съезде советских писателей, Н. Ф. Погодин между прочим сказал: «Офелия у нашей средней интеллигентной девушки, конечно, вызовет улыбку». Сейчас, после этих двадцати исторических лет, средняя интеллигентная девушка все еще рыдает, а не улыбается над Офелией, над Анной Карениной и Катериной... Что же это? Если действительно мы были такими, если и вправду наши девушки когда-то дерзко улыбались безумным песням Офелии, то значит... какой-то «заговор чувств» все же состоялся и «Офелия» одержала верх.

Но нет, люди никогда не были такими. Чувства остались. Остались старые возвышенные драматические коллизии, питавшие и искусство драмы в течение столетий. Но они выступили в еще более драматических, остропсихологических, социально наполненных формах.

Многие наши старые пьесы показывали взятые из социалистической жизни новые отношения между людьми, новые *причины действия* — не любовные, не имущественные, не индивидуально-психологические, а коллективистские, трудовые, идейные. Тот факт, что жизнь людей в пьесе могла зависеть от хода строительства нового завода, что герои драмы могли мучиться, ссориться и расходиться из-за своего отношения к тому или иному хозяйственно-материальному, производственному фактору (который осознавался как фактор построения социализма, как момент революции!), — это говорило о том, что в жизни, а значит и на сцене, появились новые идеи, новые люди, новые импульсы и душевные стороны в человеке, новый героизм и драматизм.

Персонажи пьес первой пятилетки проявляли себя преимущественно лишь с одной стороны, героически-трудовой, но мы знали, что в жизни они многограннее, что им «ничто человеческое не чуждо», и сам их сценический аскетизм был по природе своей романтичен. С «положительным

героем» многих пьес последних лет случилось самое страшное: мы перестали чувствовать за ним прототипов, живых людей. Оказалось, что новый человек пришел на сцену не для того, чтобы показать свою новизну во всей неизмеримой и неэкономной природе человеческих проявлений, не для того, чтобы, говоря торжественно, мыслью оспорить Гамлета, а чувством сравняться с Отелло, а для того только, чтобы решить в деловой обстановке какой-то производственный или ведомственный вопрос.

И даже когда этот современный литературный герой выступает в старой «вечной драме» любви и разочарования, то мы чаще всего имеем какую-нибудь «Любовь Ани Березко», где подлинное (в жизненном оригинале) человеческое чувство просто зашифровано ложной и бедной, элементарной, как правильно выразился один критик, системой фраз и действий.

Герои многих нынешних пьес, несмотря на современные костюмы, лишь в общих чертах, одним только «пафосом», идеей, за которую они выступают, напоминают живых людей, наших современников. Для сходства им недостает очень многого: в них нет ни живого изобилия чувств, ни их интенсивности, нет простоты и иронии — о серьезных вещах они говорят, как римские ораторы на форуме, а о смешных слишком смешно, до вульгарности. Они не наделены способностью думать о чем-нибудь, кроме «дела», у них нет философии, своей оценки явлений жизни. А как быть с драгоценным качеством — чувством юмора, которое позволяет человеку говорить о самых больших для него вещах с улыбкой, стесняясь прямого обнаружения симпатий и антипатий, как быть с честной сдержанностью в слове! Ничего этого нет у героев подобных пьес, они тяжело больны патетикой и ригоризмом; чувствуя и думая на грош, они безумно расточительны в громких и важных словесах. Поэтому часто в самых возвышенных сценах вас охватывает вдруг чувство фальши и неправды.

Кроме того, даже в наших лучших пьесах, уже совершивших некоторое продвижение вперед от антиреалистической тенденции «бесконфликтности», как ни странно, все еще не хватает значительности и обширности жизненной проблематики и, наконец, роковым образом недостает *искусства* — грубая работа!..

В литературной среде принято уничижительно выражаться о наивных, но вполне понятных требованиях читателей: «Напишите книгу о пожарниках», «Почему нет героя повести — миллионера» и т. п. Однако мало кто замечает, что *по существу* способ оценки литературных произведений у нас порой не высоко отлетает от этого «напишите о пожарниках».

На самом деле. Вот в жизни определилось какое-то обстоятельство, какой-то общественный сдвиг; вот мы имеем обобщающий массу явлений политический документ или, наконец, страна просто узнает о новом общественном движении, стройке, событии и т. д. и т. п. Как правило, тут же (не дай бог опоздать!) мы получаем новую пьесу известного драматурга «на злобу дня», в которой автор, узнавший об этой «злобе» из тех же источников, что и миллионы читателей, открыв в новой теме не больше того, что напечатано в газетах, представляя себе жизнь уже вошедшей в те рамки, которые определяет газетная информация, пишет пьесу только потому, что есть и такая профессия — писать пьесы. И это подхватывается — идут пресловутые «косяки» пьес, обличительных или утвердительных,

посвященных одной теме. И критика зовет и зовет: «Пишите о пожарниках!»... Пока не окажется, что пожар потушен в самом начале домашними средствами.

Советский зритель, ждущий от театра ярких впечатлений и мудрых поучений (к которым приучили его Шекспир, Чехов, Шоу, Горький, Тренев), получает неглубокий пересказ всем известных событий и «живые картины» на тему вчерашнего сообщения радио. И это вот безвольное ремесло некоторые драматурги и критики всерьез выдают за требуемую партийность советской драматургии.

Пьеса жизни — это пьеса «о жизни», а не дидактическое представление «на тему»... Ведь никто не говорит, что «На дне» — это пьеса о положении люмпен-пролетариата в царской России, а «Ромео и Джульетта» — это выступление Шекспира против родовой мести у феодалов...

Но в искусстве, как известно, одинаково важно «что» и «как». Говоря о том, какое человеческое содержание должно хлынуть в нашу драматургию, мы должны с тем же пафосом отстаивать и новаторскую, гармоничную, высокую драматическую форму, выражающую это содержание. И это отнюдь не вопрос технологии, или, как ныне постоянно говорится, мастерства, а все тот же первый для искусства вопрос действенности, реализма, правды жизни.

Закономерность развития искусства, в том числе драматургии, в последнее время состоит, повидимому, в том, что факты, явления, картины, события и проблемы живой действительности все более щедро и «непроясненно» захватываются нашими лучшими художниками... А это вызывает необходимость усвоения всех специфических возможностей драматургии, это зовет к *высокому искусству*, психологическому, углубленному, бескомпромиссному.

Идейное качество, политические задатки художественного произведения *не могут* воздействовать *вопреки* его художественной примитивности, но лишь *благодаря* его высокому художественному уровню. Только так сейчас возможно коммунистическое воспитание средствами искусства; и в этом случае действительно «искусство и пропаганда — синонимы» (Салтыков-Щедрин).

Повидимому, в искусстве есть некоторые вечные непобедимые законы, соответствующие возможностям нашего эстетического восприятия. Повидимому, есть вещи, от которых никуда не уйдешь, дающие, например, в искусстве театра специфическую отраду и очарование, рождающие особую *силу драмы*. Эта сила — сила перевоплощения — объединяет в себе два решающих «полюса»: *естественность и условность*.

Основные недостатки современных драм, мешающие им стать подлинными «пьесами жизни», под этим углом зрения, заключаются, как нам кажется, в том, что мы забыли об этой решающей двойной природе драматического искусства, о специфической «силе драмы», о тех ее качествах, которые именно и делают ее искусством.

Поэтому в наших пьесах так мало обобщающей силы искусства, мало символов и типов и так много частных случаев; мало высокой театральной зрелищной яркости и, наоборот, во всем виден элемент скудной инсценировочности — натурализма; отсюда и наша крайняя жанровая

бедность и боязнь взойти на вершины трагедии и революционной романтики. Мы пока еще используем чаще всего лишь первую, элементарную сторону драматического искусства, как «подобия» жизни, стремясь в какой-то «средней» канонической форме пьесы как можно «буквальнее» воплотить любую тему современности, любую острую коллизию наших дней. Стремление к жизненному буквализму без учета специфической природы драмы, непонимание всей глубины «перевоплощения» в драме и театре скрывает многие потенциальные художественно-обобщающие возможности этого подлинного народного искусства.

2. ПЬЕСА ИЛИ ИНСЦЕНИРОВКА

Итак, наши пьесы последних двух-трех лет в самом важном отношении — в отношении тематики — представляют собой несомненный шаг вперед от скучной драматургической продукции времен так называемой бесконфликтности. Нынешняя драматургия берется за темы острые и жизненные. Жизнь, таким образом, вошла в искусство некоторыми новыми сторонами, интересными и сложными явлениями, само существование которых по незримому кодексу сторонников бесконфликтности, отрицалось или не принималось во внимание. Импульс, полученный нашей драматургией при таком более откровенном, честном и куда более *идейно ответственно* подходе к действительности, уже дал хорошие результаты. Вспомним ряд еще очень несовершенных, незрелых с точки зрения высокой сатиры, но очень живых комедий типа «Не называя фамилий» и такие пьесы прошлого года, как «Годы странствий» А. Арбузова, «В добрый час!» В. Розова, «Персональное дело» А. Штейна и «Сердце не прощает» А. Софронова.

Но если бы пороки бесконфликтности заключались лишь в том, что искусство сторонилось изображения борьбы, конфликтов, сложностей, существующих в действительности, и показывало наш день, который «тем и хорош, что труден», как сладчайшую и организованную идиллию, то мы уже сейчас могли бы праздновать первые победы. Не воробьиные стычки «хорошего с лучшим», а подлинные конфликты, драма непримиримости, напряженность чувств — все это есть уже в сюжетах пьес и — увы! — порою выглядит даже чрезмерно мелодраматически, как, например, финал пьесы «Сердце не прощает» или некоторые безвкусные эпизоды пьесы «Крылья» (линия Анны и Ромодана). Но принципы изображения действительности, как «улучшенной природы», породили и ряд канонических способов обработки жизненного материала...

«Способы обработки», употреблявшиеся в бесконфликтной пьесе, ее «метод» состояли в том, что драматург строил пьесу на каком-нибудь тезисе, механически заимствованном из политико-хозяйственной области и разложенном по действующим лицам: вот — противники, вот — сторонники, а не создавал ее в *художественно-образном познании жизни*. Я не хочу утверждать, что в те годы у нас совсем не было настоящих пьес, не было драматургов, которые сохраняют верность жизненной правде, вопреки любым поветриям, — речь идет о потоке пьес, в которых идейность

подменялась холодной высокопарностью, а современность — мнимой злободневностью. В них-то и рождался тот прямолинейный антиобразный дидактизм, который любую интереснейшую жизненную тему превращал в скучнейший урок нравочений.

Это было самым вульгарным искажением принципиального, эстетического «устройства» драмы, ее специфики, истощением ее художественной силы. И вот теперь, отдавая должное остроте и жизненности конфликтов, используемых ныне нашими драматургами, нельзя все же не заметить, что наивные, антиреалистические «способы обработки» бесконфликтной пьесы еще живы; они наличествуют и в ряде новых, смелых и умных по теме пьес, с ними нужно бороться, отстаивая подлинное, глубокое и специфически образное искусство драмы, творчески смелое понимание драматургического реализма, как «правды искусства», которой претит натуралистическая «буквальность», «разжевывание», схематизм.

В задачу этой статьи не входит всесторонняя оценка тех или иных современных драматургических произведений. Достижения нашей драматургии уже оценены — и печатью и зрителем. Хотелось бы именно на примере в целом удачных, лучших пьес последнего времени, заслуживших общественное признание, показать некоторые общие заблуждения современной драматургии, то стойкое упрощенство и рутинерство драматургической эстетики, которое мешает даже нашим лучшим пьесам приблизиться к шедеврам классики, к наиболее интересным пьесам 20-х и 30-х годов.

Прежде всего в связи с этим нужно сказать о часто встречающейся *неорганичности*, несоответствии драматической формы теме и сюжету, избранным автором. Повидимому, форма драмы, театральной пьесы издавна эстетически приспособлена для выражения лишь *особого рода* жизненных конфликтов, особого, специально драматического содержания, выявляющегося в каких-то специфических фактах жизни, в характерном течении событий, в особой расстановке действующих сил.

К сожалению, сейчас мы являемся свидетелями очень легкомысленного отношения к этому основному вопросу эстетики драмы. Мы не говорим о чрезвычайной легкости, с какой у нас возникают порой «сценические варианты», «инсценировки» романов, повестей и поэм. Этот жанр в конце концов тоже имеет право на существование. Гораздо хуже, что очень часто и наши пьесы, то есть произведения, возникшие с самого начала как «драмы», не рожают ощущения органической слитности, гармонии драматической темы, материала и драматической образной формы.

Одной из интереснейших пьес последнего времени единодушно признана пьеса А. Штейна «Персональное дело». Вопрос, поднятый Штейном в пьесе, событие, изображенное в ней, идейный вывод, к которому ведет пьеса зрителя,— все это политически и морально значительно и ответственно; драматург прямо говорит о некоторых очень трудных и болезненно-чувствительных сторонах действительности. В «Персональном деле» есть художественные достижения: «убийственные» обличительные образы (особенно выразительна фигура чинуши и подлеца, врага людей — Полудина); сцены, радующие жизненной верностью и особым светлым лиризмом (вспомним полный прелести сдержанный дуэт Марьяны с любимым у окна во втором акте); очень драматична завязка пьесы — ее первое действие...

Все это так, и мне оставалось бы след за сим лишь согласиться с высокоположительным мнением Е. Суркова о пьесе А. Штейна, которое он высказал в большой статье «Уроки одного персонального дела» («Советская культура», 28 и 30 августа 1955 г.). Но этому мешает одно обстоятельство.

При упоминании о недостатках «Персонального дела» Е. Сурков, в остальном пишущий интересно и вполне определенно, вдруг начинает говорить церемонными обиняками, с осторожностью. Но даже из этих обиняков следует, что в пьесе А. Штейна все превосходно, кроме того, что автор, «нам кажется, даже впал в некоторое нарочитое упрощение исходной сюжетной ситуации», да еще в конце пьесы есть ненужный ей «назидательный» привесок. Впрочем, все это критик оправдывает особым «замыслом» автора, которого не соблазнила возможность захватить зрителя перипетиями борьбы («интригующей разработкой сюжета», — небрежно замечает критик), а «соблазнило» что-то другое.

Если глубже посмотреть, что значит это «некоторое» упрощение сюжетной ситуации драмы «Персональное дело», то пусть простит мне эту шутку уважаемый Е. Сурков, но его рассуждение напоминает припев известной песенки: «Все хорошо, прекрасная маркиза, за исключением пустяка». «Пустяк», исключенный и оправданный Е. Сурковым, — «обнаженная незамысловатость приемов» в действиях врага, полная безосновательных обвинений против Хлебникова, отсутствие захватывающих перипетий борьбы, назидательность — ведь это упреки, касающиеся основных элементов драматического произведения, того, без чего попросту нет драмы!

Значит, здесь еще нет правдивого по сути и в деталях конфликта, нет увлекающих зрителя отношений между людьми, нет цепи событий без заранее обеспеченного благополучного исхода, в которых борьба положительного героя действительно была бы полна риска... Без всего этого мы имеем лишь талантливую, излагающую мысль, но назидательную иллюстрацию, а не живую драму. Таким образом, тут дело не в «интригующей разработке сюжета», как думает Е. Сурков, а в жизненной правде и художественной увлекательности.

С этой точки зрения мы вправе спросить о пьесе «Персональное дело», сознавая все ее достоинства: а почему это именно пьеса?

Эпизод с несправедливым исключением из партии честного энтузиаста и разоблачение демагогии и карьеризма на том образно-психологическом материале, который избран А. Штейном, мог бы стать содержанием очень актуального рассказа, повести, фельетона... То, что дал А. Штейн, при всем интересе, который подобная тема вызывает, лишь в очень малой степени соответствует драматургическому образному строю! Скорее, это все же инсценировка какого-то ненаписанного рассказа, это «рассказ в лицах», которому придана форма четырехактной пьесы.

Прежде всего в этой драме нарушена специфика развития драматического сюжета. В «Персональном деле» очень мало «сюжета», даже в расширительном толковании его, как «развития характера». Здесь есть определенная мысль, идея, очень благородная, гражданственная, и круг лиц, переживающих ряд «закулисных» событий, рассуждающих об этих событиях, словесно характеризующих самих себя с неестественной полнотой...

Судьба героя пьесы инженера Хлебникова и его близких в ходе драматического развития пьесы зависит в основном не от него, не от них, не от того, в какие отношения они становятся друг к другу, а от того, что происходит «за сценой»: от хода разбирательства «дела» Хлебникова в его партийной организации, в райкоме и в партколлективе. Оба собрания (одно, на котором Хлебникова исключают из партии, и другое — на котором справедливость берет верх) происходят за пределами драмы, решение «дела» не зависит по ходу пьесы от сценической активности действующих лиц. Не действующие лица ведут действие пьесы, а само ее действие зависит от *заранее известного, предположимого* развития «дела Хлебникова», за рамками непосредственно происходящего в пьесе, на сцене. Единственное в пьесе, что выглядит, как *драматическое* сюжетное обострение, зависящее от воли и взаимоотношений самих его участников,— это конфликт Хлебникова и его прежнего друга, струсившего и предавшего дружбу в тяжелый момент,— Колокольникова.

Это имеет поистине решающее значение для пьесы, содержанием которой является одно из возможных в нашей действительности, очень драматических по существу, столкновений лиц, представляющих разные идеи, разные моральные полюсы...

Но то, что в жизни происходит в накаленной и сложной обстановке, что бывает причиной несчастий не только отдельных семей, что может кончиться хорошо, но чаще кончается (или кончалось) очень плохо,— все это в пьесе выглядит, как частный эпизод в жизни частного человека, как случайная, легко поправимая беда, как осложнение, а не как трагическая сложность.

Драматург всеми силами старается ограничить драматизм события, закрыть от нас все, что происходит за стенами квартиры Хлебниковых. Хлебников — известный инженер, коммунист с годов индустриализации, причем такой безупречный, с такой написанной на лице добропорядочностью, что милиционер пропускал его в райком, не спрашивая партбилета. Вокруг Хлебникова — плотный круг лиц, которые ни на миг не допускают его вины, всем им ясно, как дважды два, что здесь допущена вопиющая несправедливость. Старый партизнец моряк Черногубов обивает пороги партийных инстанций, падчерница Хлебникова принимает прямое участие в отстаивании репутации своего отчима, жена Хлебникова в трудную минуту подает ему руку: «Твоя, можешь на нее опереться...» Наконец, во все время разбирательства «дела» Хлебникова, когда его исключают из партии и снимают с работы чуть ли не за потайные связи с врагами, с ним не прерывает отношений целая производственная группа в Челябинске, и он продолжает неофициально (1) наблюдать ее деятельность... Случай почти идеальный, неповторимый!

В таких обстоятельствах враг Хлебникова Полудин, добившийся репрессий против ни в чем неповинного советского человека, выглядит не как расчетливый и хитрый карьерист, не как действительно черная сила, мешающая счастью многих честных людей, но как жалкий ослепленный безумец, который буквально и откровенно «лезет на рожон».

Но если спросить себя: а что, если бы Хлебников был кем-нибудь «попроще», менее заслуженным и известным человеком, что, если бы, как это

часто бывает, окружающие его люди хоть в чем-то поверили бы первому постановлению по «персональному делу Хлебникова», а не собственному знанию о нем, что, если бы Полудин был не просто подлецом, а человеком, уверенным в своей «предназначенности» от имени партии решать судьбы рядовых членов партии? И что, если бы через такое трагическое сочетание вполне реальных обстоятельств все-таки пробилась моральная правда нашей жизни и победило бы благородство идей и морали коммунизма? Что тогда? Тогда мы имели бы подлинную, тяжелую и оптимистическую революционную драму.

Но это было бы совсем другое произведение. А в идущей сейчас пьесе все построено на заведомом облегчении конфликта. Фактически героям пьесы и ее зрителям почти не из-за чего страдать и волноваться. И от явления к явлению мы все более убеждаемся, что Хлебников, что бы там ни придумывал автор для «отягчения» ситуации, будет оправдан, что герои пьесы в последнем ее акте непременно увидят «небо в алмазах», а противники, явные тупицы и подлещы, получат «по делам их». И действительно, вся пьеса знаменует собой лишь неприятный отрезок времени, необходимый для того, чтобы высокая инстанция разобралась в деле, отделила правду от лжи... И на этом кончается вся, по существу очень неглубокая, драма инженера Хлебникова.

Но в таком, лишенном подлинной драматургической природы действии драмы совершенно отпадает необходимость в присутствии всех побочных действующих лиц. Ибо если в пьесе даже активность самого главного героя сведена к нулю, то что остается делать другим? Если вопрос о пребывании Хлебникова в партии решается не на сцене, без его непосредственного участия и если мы можем быть уверены, что все обязательно «само собой» устроится, что никакой тут трагедии нет и не может быть, то тогда зачем здесь, например, нужен старый товарищ Хлебникова неподкупный коммунист Черногубов — ведь он-то уж никак реально не влияет на развитие событий в драме! Единственное, что остается и живет в пьесе А. Штейна, — это характеристики действующих лиц, порою очень живо написанных, и благородные сентенции и размышления, которые идут в пьесе в ожидании развязки. Но правильные и порою пламенные мысли автора, вложенные в уста действующих лиц пьесы, не стали в ней их собственными мыслями, их сутью, их оружием в борьбе (так же как и борьбы настоящей не произошло).

Все «облегченное» и заведомо ясное содержание пьесы А. Штейна приходит в противоречие с теми очень серьезными словами, которые поставлены как бы «девизом» данного произведения (их цитирует в финале пьесы Черногубов): «Для рядовых членов партии пребывание в партии или исключение из партии — это вопрос жизни и смерти».

Жизни и смерти!.. Но представьте себе, что в какой-нибудь из великих трагедий прошлого, тоже трактующих о вопросах «жизни и смерти», мы были бы заранее осведомлены, что ничего страшного с героями не произойдет, что можно не верить, например, трагедии Отелло, ибо вести о коварстве Яго и невинности Дездемоны достигнут слуха Отелло до того, как он, мучаясь ревностью, стиснет горло своей подруги... Этого нельзя представить, это обесценило бы, унизило бы для нас трагический смысл великого творения.

Нет, о серьезных вещах нужно говорить серьезно, во весь голос, избавившись от привычки создавать «улучшенную природу», где все, «как в жизни», но в то же время нет ни интенсивности жизненных переживаний, ни живой любви, ни трагедий, ни подлинных драм, ни возвышенных побед...

В пьесе А. Штейна главный недостаток, выдающий ее «инсценировочный» характер, состоит в том, что здесь основное звено конфликта — смертельный спор двух точек зрения на советского человека (с позиций авантюриста Полудина и с позиций коммуниста) — упущено, оно находится вдали, за сценой, в том, что здесь нет подлинно типических обстоятельств драмы, а конфликт так прост, что... похож на бесконфликтность.

В эстетике античной драмы существовало понятие «трагического рока»: герои трагедии были с самого начала обречены на гибель, что бы они ни делали — все было к худшему, ошибка за ошибкой — и они подходили к неизбежному, фатальному, трагическому концу. Но в иных современных пьесах мы встречаемся с обратной эстетической крайностью: над судьбой героев властен лишь некий «благой промысел»; какие бы осложнения ни были задуманы драматургом, какие бы душераздирающие сцены ни создавало бы его воображение, зритель остается спокоен, он знает, что ни один волос не упадет с головы героя, что все эти страшные слова и терзания совершенно не страшны... На такой почве, в таком понимании драмы никогда не рождалось подлинного, напряженного драматического искусства, волнующего людей, воздействующего на течение жизни. Это лишь создает непреодолимую тягу к иллюстративности и внешне пустой эффектной нарочитости.

Так пренебрежение законами драмы, за которое А. Штейн удостоился, однако, похвалы критика, привело драматурга ко многим, на мой взгляд, пробелам в реализме пьесы. Но и сам критик, забыв, что таков ведь был «нарочитый» и достойный поощрения авторский замысел, замечает в конце статьи, что всем этим драматург «ослабил жизненную убедительность своего произведения». Что и требовалось доказать!

В подлинной драме все должно делаться и высказываться как бы «само собой», самым движением образов, чтобы мы видели, через какие действительно опасные фазы проходит борьба двух сил, чтобы естественно, а не «нарочито и демонстративно», как со странной похвалой замечает Е. Сурков о пьесе А. Штейна, раскрылась идея, наконец, чтобы мы переживали действие драмы, ее перипетии, ощущали себя вовлеченными в них. Это — закон как для драмы в целом, так и для каждой сцены в отдельности.

Итак, то, что жизненный материал, составляющий содержание современных пьес, подчас не содержит подлинно драматургического образного начала, приводит к тому, что многие наши пьесы — это не драмы в подлинном смысле, а, так сказать, «рассказы в лицах», *инсценировки* различных (подчас интереснейших) жизненных случаев. Но «рассказ в лицах» без «ведущего», рассказ, в котором остались одни диалоги, не приобретает образной силы драмы и вместе с тем теряет специфический образный строй эпоса. Сняты авторские характеристики героев «рассказа» — персонажи драмы начинают бесконечно аттестовать сами себя и своих близких (ведь надо обрисовать перед читателем характер образа)... Речь героев в «рассказе», сочетавшаяся с рядом других авторских характеристик, в драме

стала единственным средством раскрыть образ... И вот язык героев драмы делается нелепо-искусственным, чрезмерно характерным, они говорят, по выражению Ф. Достоевского, одними «эссенциями» (так говорят, например, герои пьесы А. Софронова «Сердце не прощает»). Идея, смысл произведения в рассказе выражался бы органично, в эпизодах, в отступлениях, во внутренних монологах героев, в описательных деталях. Но все это удалено, и персонажи «рассказа в лицах» по необходимости становятся страшными резонерами, они щедро, как никогда в жизни, объявляют о своих убеждениях и чувствах, несколько раз упорно формулируют идейный смысл пьесы.

Обо всем этом нужно постоянно напоминать сейчас, так как пьесы, пронизанные публицистикой и политикой, нам крайне нужны, и всякий драматургический урон, любой просчет тут бывает особенно огорчителен: пропаганда идей коммунизма в этих пьесах еще не становится *пропагандой средствами искусства*.

Это отчетливо видно на последней пьесе такого общественно-темперamentного и талантливого драматурга, как Александр Корнейчук. Пьеса «Крылья» стала одним из важных событий в литературно-театральной жизни последних лет. Как всегда бывает с произведениями этого автора, его пьеса стала также и общественным событием.

Содержание «Крыльев» действительно столь близко к самым насущным и остро беспокоящим современников вопросам политики, хозяйства, партийной жизни, в этой пьесе литература насолько сливается с, так сказать, внелитературными факторами действительности, наконец в «Крыльях» читатель нашел такие примеры агитационно-резкой и убедительной самокритики, что рассматривать эту вещь просто, в ряду прочих «пес сезона», невозможно. Это, конечно, очень значительное по теме и замыслу, по своей публицистике, очень *центральное* произведение...

Но прекрасно видя все эти блестящие «задатки» пьесы А. Корнейчука и считая, что она *могла бы* стать образцом политической драмы нашего времени, я не могу не отметить в ней ряда глубочайших провалов со стороны... трудно сказать, с какой стороны... Это и не «мастерство» только, потому что речь пойдет о некоторых гранях содержания пьесы и *нравственного* от нее впечатления; но это также и «мастерство», явные художественные просчеты по части драматургии и реализма, странные у столь опытного и одаренного мастера.

Никто из писавших о «Крыльях» до сих пор не обошел упоминанием недостатков пьесы. Но никто в полный голос и не назвал их... Как будто этому драматургу выдана на все времена некая индульгенция в защиту от критики! На мой взгляд, это, вероятно, не только удручающе для совести талантливого художника, но и подает дурной пример всей нашей драматургии. Ведь и не зоркий глаз обнаружит, что идейно-художественные качества «Крыльев» не соответствуют смыслу и значению тех вопросов, которые эта пьеса пытается осветить перед народом.

Даже трудно порой разобраться, где в пьесе «Крылья» мы имеем дело с простой художественной слабостью и где начинается человеческая нечувствительность, неспособность схватиться за голову при виде того, какие страшные вещи порою выходят из-под пера...

Не буду останавливаться здесь на таких эпизодах, как вторая картина третьего действия, где Бетховен и Чайковский обрамляют надрывный разговор Анны и Ромодана об аресте Анны — разговор, в котором делается попытка в мелодраматических выражениях рассказать о вещах, требующих иного, *строгого склада*. В этой и во многих других сценах все страшно ненатурально. Как будто автор и не представляет себе естественной позы человека, правды чувства, скромности и такта в слове...

Что это — недостаток художественного мастерства?

Надо взглянуть, как *в целом* строит драматург свое произведение, есть ли здесь жизненная основа конфликта, драма, борьба характеров, напряженность и страсть, есть ли положительный и обаятельный пример в образе героя.

Две линии в руководстве строительством коммунизма: одна — направленная на практическое улучшение дел в стране, чуткая, открытая народу, и другая — бюрократически-вельможная, чуждая массам, заботящаяся лишь о внешней помпезности; два человека — Ромодан и Дремлюга, народ, честные труженики, тяготеющие к первому, и кучка присных вокруг второго — таковы силы, противоположащиеся в драме А. Корнейчука.

Но сумел ли драматург глубоко и правдиво отразить эту реальную расстановку сил нового и старого, их борьбу в наши исторические времена?

В реальной действительности наступление нового всегда полно риска, драматических провалов, всегда проходит в напряжении борьбы, полной самых неожиданных, почти всегда исторически своеобразных приключений. Историческая драма развивается от неизвестного к известному, от первых вылазок — через подлинную борьбу — к победному результату. Пьеса же А. Корнейчука, повествующая о важнейших исторических переменах в нашей жизни, начинается... *с результата*.

Вопросы, которые являются в пьесе предметом раздоров и пафосных деклараций, фактически решены *до* начала действия, решения эти полны разума и силы, и Ромодан поневоле выступает в пьесе лишь как лицо особо полномочное, призванное очистить «авгиеву конюшню», устроенную Дремлюгой. Ромодану поистине *предопределено* занимать такое место в пьесе, и сама пьеса, таким образом, рисует не действительное сложное историческое продвижение нашего общества, а мнимое, *парадное*, уже, так сказать, по готовым рецептам и означенным дорожкам. Вот что такое иллюстративность пьесы.

Ромодан появляется в пьесе фактически тогда, когда уже все решено и в отношении колхозов (уже во втором действии он говорит Варваре о «больших переменах» в колхозной жизни, о «новых законах») и в отношении политики таких людей, как Дремлюга. Ведь мы-то знаем, что не сам он, Ромодан, от своего лица произносит филиппики против людей, прятавшихся за общие цифры, против тех, кто довел колхозников до пятака за трудодень и т. д. Более того, Ромодан входит в пьесу именно как вестник «больших перемен в колхозной жизни». Он со своими прогрессивными идеями с самого начала поставлен в такое положение, что ему остается только произносить перед колхозниками пламенные речи, принимать людей, давать указания, разоблачать жульничество и бюрократизм... То есть вся

пьеса А. Корнейчука с самого начала построена, как *следствие, эпилог* каких-то значительных драматических событий, сдвигов в обществе, случившихся *до* начала действия пьесы, *до* того, как стали возможны эпизоды, составляющие ее содержание. О каком конфликте может быть речь, когда все прочно и бесповоротно решено для Ромодана, Дремлюги, Анны, Варвары и Самосада?.. И удивительно: как только в пьесе чуть-чуть появится возможность «стычки», борьбы, а не иллюстративного противопоставления двух точек зрения, автор прибегает к могучему, но неэстетическому средству решения противоречий, которое еще раз обосновывает непогрешимость Ромодана, невозможность видеть его *действующим лицом*, а также полное бездействие других персонажей. Вот конец первого действия. Идет заседание в обкоме. Завязывается спор между Дремлюгой и Ромоданом. Дремлюга грубо отстаивает свою убогую линию в руководстве. Ромодан предупреждает о партийной ответственности. Но и этот довод встречается с наглой самоуверенностью: «Не пугайте. Нас знают не первый год». Возникает какое-то напряжение. Две силы стоят друг против друга. На одной стороне — уверенность в необходимости «ловчить», в важности «твердой руки», сила бюрократизма. На другой — народное мнение, подлинная партийная правда. Из этого могла бы выйти пьеса с большим политическим содержанием. Но едва лишь чуть-чуть «набухло» в пьесе какое-то драматическое противоречие, родилось какое-то «поле конфликта», как в кабинете Ромодана раздается телефонный звонок. «Ромодан подошел, снял трубку. «Слушаю. Киев? Кто? ЦК (это сказано явно для присутствующих в кабинете! — М. Ш.)... Слушаю. Здравствуйте» и т. д. После очень значительного разговора, из которого явствовало, что ЦК стоит за меры, принимаемые Ромоданом, в кабинете, конечно, наступает молчание, и Ромодан уже только для проформы спрашивает: «Кто против моего предложения? Нет?»

Невольно напрашивается сравнение новой пьесы А. Корнейчука с его пьесой «Фронт», сыгравшей важную роль в дни войны. Положение, которое отразила эта пьеса, действительно полно драматизма. Страшная, смертельная борьба, которую вела наша страна с фашизмом, один из самых несчастливых периодов войны, и в самом сердце и мозге армии — решительный конфликт между Горловым и Огневым, между надменной, силлогической рутинной и молодой, дерзкой и умной стратегией. В пьесе «Фронт» мы видели настоящую, бившую в жизнь мысль, страстную агитацию за передовые способы ведения войны, ведущие к победе. И главное — в пьесе и в жизни еще могущественный командарм Горлов мог в один прекрасный день расправиться с Огневым за неповиновение, за все то, что он, Горлов, веривший в свою задачу, считал пагубным для дела и для себя лично. «Горловщина» была силой, которую Огнев должен был, рискуя многим, свернуть, победить, чтобы сделать армию умелой, современной, боеспособной, и — разбить генералов Гитлера.

В «Крыльях» главному герою остается лишь один невыгоднейший способ борьбы с противником — устранение, увольнение, выговоры, перевод на другую должность и т. п. Ибо Ромодан — «начальство», он совершенно неуязвим, у него — все козыри, он общепризнанно прав. И все потому, однако, что он силен и хорош *не сам по себе*, как ни разукрасил его автор, но лишь *отраженно*, силою тех неопровержимых истин, которые он

один говорить может, так как он один в пьесе доподлинно осведомлен о них.

Таким образом, пьеса А. Корнейчука лишена основного элемента драмы — самостоятельно развивающегося, логикой образов и ситуацией диктуемого действия, «самодвижения». И виною тому не что иное, как попытка создать драму за счет заранее известной расстановки сил, *предре-шенности* конфликта, за счет драматизованного изложения всем нам известных документов.

Мудрено ли, что вокруг главного героя пьесы Ромодана складывается настоящий «культ», лишаящий всех остальных персонажей естественного права действовать в драме, самостоятельно располагая своей судьбой...

Быть может, А. Корнейчук и не предполагал, что в его пьесе Ромодан будет помпезно превознесен над остальными героями, но это получилось по неотразимой закономерности, помогающей отличить образ сконструированный, слишком «общий», от взятого из жизни, полнокровно-индивидуального, богатого личным своеобразием... Ничего другого не оставалось. Ведь если не «глаза, как у ребенка, открытые, чистые, будто сразу весь мир хотят увидеть», да не твердое заявление: «Я люблю, чтоб мне правду в глаза говорили», — что остается за Ромоданом лично, кроме привезенных с собой важных указаний?

Мы уже видели, что само появление в пьесе ее главного героя обставлено по меньшей мере как начало некоей новой эры в жизни тех людей, которые его окружают. Как ни силится драматург показать обаятельную простоту своего героя, ровность его с людьми, «душевность», но мы с самого начала почему-то остро ощущаем, что Ромодан — это, так сказать, существо высшего порядка, что он может лишь «снисходить»... Снисходит Ромодан, когда пьет пиво с садовником Самосадом, «снисходит» до беседы с причудливой старушкой учительницей, даже в разговоре с сестрой мы не чувствуем полной естественности. И дело тут не только в том, что отдельные реплики Ромодана звучат слишком «по-свойски», как будто он хочет внушить всем: «Вы видите, как я прост и ровен с вами, будем друзьями, даром что я секретарь обкома...» А дело в том, что люди, все без исключения, вполне сочувствуя и помогая ему разыгрывать эту «обыкновенность», все-таки видят в нем личность особенную и нет-нет да и «присядут» перед ним и заговорят, как малые дети.

Плохо, когда наших живых, самостоятельных, творчески работающих «простых людей» представляют в пошлом таком виде...

Садовник Самосад, даже не зная, кто такой его собеседник, со второго слова, а вернее после того, как Ромодан «улыбнулся» ему, заговорил вдруг со смешанным чувством обожания и подобоострастия: «В каких чинах служили?» И когда Ромодан ответил: «Полковником», — Самосад произносит фразу, как нельзя точно передающую самозабвенное отношение «простого человека» к Ромодану: «Не дослужились до генерала?.. Так и я. Рядовым пошел, рядовым вернулся». Есть «унижение паче гордости». Здесь же, в этом «так и я», наоборот, «гордость паче унижения». Мы с вами совсем-совсем равны, и пиво одно пьем, мы — боевые друзья, только все-таки вы едва до генерала не дослужились, а я — рядовым ушел, рядовым пришел.

Когда в кабинете Ромодана появляется его старая учительница Александра Алексеевна Горицвет, то не знаешь, чему больше удивляться: восторженно-трепетному лепету старушки или снисходительной растроганности Ромодана. К герою — вершителю судеб, к большому человеку — пришла старая нянюшка, следившая, как еще на школьной парте зрели его орлиные замыслы...

Горицвет. ...Как я рада, Петя, что ты стал теперь у нас партийным руководителем!.. В нашем доме все рады. Я пришла сказать тебе это.

Ромодан. Спасибо. Постараюсь оправдать ваше доверие...

Горицвет. Я всем рассказывала, как ты учился, какая у тебя была исключительная память. Как ты любил историюю.

(Это замечательный штрих! Великие полководцы в детстве обожали играть в оловянные солдатки,— Ромодан ребенком любил историю!)

А вот не менее выразительная сцена Ромодана и его старого товарища, бывшего замечательного агронома, превращенного в бюрократа областным начальством. Ромодан ласково кличет его «Кирюша», поминает его «светлую голову»:

«Я не забыл, как мы вместе мечтали, как горячо ты доказывал, что плодородию земли нет пределов...

...Вернигора вытирает слезы...

А помнишь, как ты читал мне произведение римского ученого Колумеллы?»

Всем этим, особенно Колумеллой, Ромодан доводит Вернигору до истерики, до отчаянных мук совести: «Жить не хочется... я понимаю, я виноват... Променял за чин, за поломанный грош такую жизнь!.. Был когда-то у тебя товарищ Кирюша... был... Прощайте, Петр Александрович». И посмотрите, какой величавой теплой радушностью вдруг оборачивается облик Ромодана. В самый жестокий момент, когда бывшему агроному сказаны все слова о его драматической ошибке, он трогательно переводит разговор в «личный план»: «Как Марина живет? Здорова? Бери жену и сейчас приезжай ко мне. Сестра моя Варвара будет. Пообедаем вместе».

Естественно, после этого Вернигора, «едва удерживая волнение», произносит: «Петр... я же» (заметьте: уже не Петр Александрович). И, понимая всю свою вину и всю меру великодушия старого друга, «склонил голову на плечо» Ромодана... Мы ожидали, что он его еще и поцелует «в плечико» — есть в этой сцене какая-то незавершенность.

Но, возразят, нельзя же отрицать, что Ромодан умно и страстно высказывает и обосновывает действительно передовые и глубоко партийные взгляды на нашу жизнь, что его слова — это слова народной правды и мужества. Да, этого отрицать нельзя.

Но этого для драмы мало! Слово в драме — действенное слово. Оно приобретает силу, открывает всю свою глубину в действии, в движении и развитии конфликта. А действие в «Крыльях» ослаблено, приглушено.

Ведь подлинный конфликт между Ромоданом и Дремлюгой невозможен еще и потому, что это персонажи, лежащие по своим художественным принципам, по способу их обрисовки в двух разных плоскостях. Корнейчук создает своих героев, по слову поэта, «то чаруясь, то чураясь». С одной

стороны, идеальный герой с погрешностями, добродетельный и обаятельный Ромодан; с другой — какие-то «крыла», фарсовые маски вроде Дремлюги. И хотя Ромодан двинут в бой против Дремлюги и ему подобных, они никогда не столкнутся, слишком подчеркнуто различны принципы художественного изображения этих фигур. Ведь смешно же видеть, как какой-то «эстрадный» подхалим Терещенко в момент делового и правдоподобного разговора в кабинете секретаря обкома вдруг неправдоподобно-лакейски снимает у Ромодана с пиджака белую ниточку — «где-то блондинка тоскует», и Ромодан после этого продолжает начатый разговор как ни в чем не бывало. Невозможно же представить, чтоб в ответ на совершенно идиотские реплики Дремлюги в первом действии Ромодан серьезно и с пафосом раскрывал перед ним сущность решений партии по вопросам сельского хозяйства.

Ошибка драматурга здесь состоит в том, что им нарушен эстетический принцип относительного художественного единства образов в произведении. Это в данном случае обрекло положительных героев драмы на патетическое резонерство и лишило подлинной драматической силы и напряжения их поступки и высказывания...

В пьесе «Крылья» *ничего не происходит*, основное событие, оказывающее влияние на перемены, происходящие с персонажами, в драматическое действие не включено. Идея пьесы, «окрыленность» советских людей на новом этапе коммунистической стройки, высказана не в художественной форме, она не органически рождается в развитии отношений, действий, мыслей ее героев, а с самого начала «внушена», заранее известна, иллюстрируется пьесой, и это лишает простых, не облеченных чинами героев (а их к тому же мало) всякой возможности жизненно проявлять себя в пьесе. Все это пропагандирует какую-то несвойственную нашей действительности абсолютную зависимость наших людей и дел от одного выдающегося деятеля обкома, хотя автор на словах критикует «культ личности». Великая тема творческой самостоятельности народных масс оказалась вне драматургии «Крыльев».

Таким образом, в пьесе «Крылья», написанной на как будто бы остро-конфликтном материале, мы встречаемся с знакомыми бесконфликтными антидраматургическими приемами: «творчество» на заранее решенную тему; «подгонка» жизни под тематическую схему; «лобовая» пропаганда — вместо партийного искусства; легкий путь прямолинейности, дидактизма, иллюстративности, наконец зависимость драмы не от действия в драме, а от какой-то благой силы, расположенной над драмой или за драмой. И как жаль, что пьеса с такими огромными, заложенными внутри и не раскрывшимися возможностями, посвященная общественно важнейшим и глубоким темам жизни, фактически не обогатила искусство драматургии: ни представления о подлинной партийности драматургии, ни понимание образа современника искусством. Герой нашего времени и здесь выступил «на котурнах», писанный отнюдь не «рембрандтовскими», но и не «рафаэлевскими», а просто пошлыми красками, на которые лишь кое-где и невпопад брошены загадочные дегтевые пятна.

Так обстоят дела с пьесой, публицистической по своему существу, с пьесой, *инсценирующей публицистику*, в которой опасность сползания дра-

матической литературы к прямой декларации и иллюстрации особенно велика.

Насколько глубоко со времен бесконфликтности в нашей драматургии укоренились иллюстративность и дидактизм, говорит то, что даже в наших лучших лирических пьесах мы постоянно наталкиваемся на попытки объясниться со зрителем назидательным и демонстративным образом, чтобы он, зритель, не дай бог, чего-нибудь не подумал. Есть этот грех и в пьесе А. Арбузова «Годы странствий».

В спорах об этом талантливом произведении (потому-то и вызывающем споры) мы целиком не присоединяемся ни к одной из сторон. Для нас «ключ» к пьесе и к пониманию образа ее главного героя находится в кратком диалоге Ведерникова и Ольги где-то в конце пьесы. Ведерников с горечью вспоминает майора, умершего у него в госпитале от гангрены: «Этого из памяти не выжжешь. Ничем».

«Ольга. Ты считаешь, что виноват в его смерти?»

Ведерников. И так можно считать.

Ольга. А иначе считать можно?

Ведерников. Можно. То-то и горе».

Вот это очень глубокое и мастерское «чуть-чуть» «можно считать» характерным и для всей арбузовской пьесы и для понимания морального устройства ее героя... Отсюда, между прочим, и такие разноречия в оценке достоинств как самого произведения, так и личности Александра Ведерникова. Так, скажем, плохо, что Ведерников бросился на фронт за Ольгой, оставив важную для армии работу над противогангренозным препаратом, но с другой стороны — разве не в пользу героя говорит то, что у него не хватило сил здраво рассудить, какой из его поступков был бы разумнее, — жгучая «личная» совесть не позволила?.. Скорее «бесконтрольное» сближение Ведерникова с Ольгой, невестой его лучшего друга, вызывает у читателя дурное к нему чувство, и заслуженно. Но «если посмотреть с точки зрения», то ведь Ольга не любила Лаврухина и сам этот «Мишук» написан таким нестерпимым ригористом и всепрощенцем, таким «респектабельным», что поневоле посочувствуешь стремительной, беззаконной любви Ольги и Ведерникова. Наконёц, разве не эгоистично это обаятельное мотовство Ведерникова в то время, когда в доме нет ни гроша?.. Но что же делать, если действительно, — как пишет критик Г. Владимов в известной статье о пьесе А. Арбузова, — так приятно истратить последние деньги на подарок. И так можно считать!..

В этом, вопреки мнению значительной части критиков, нет ни «объективизма», ни «неопределенности авторской оценки». Это верность психологии жизни, где этикетки со словами «дурно» или «похвально» не так просто навешать на носы людям, переживающим «*драму жизни*», нелегкие «годы» и бурные «странствия». В этом особое, чисто «арбузовское» обаяние пьесы.

Но оно — это обаяние — тотчас же гаснет, как только автор, поддавшись соблазну, многолетней драматургической традиции, начинает ставить точки над «i» и, не надеясь ни на искусство, ни на зрителя, начинает элементарно «расчислять» устами все того же Лаврухина «вины» и «достоинства» своего героя: «Вот мы и добрались с тобой до сути, Шура. Все желал

сделать один. Ничьей помощи не хотел, так, что ли? Ну, что молчишь, фронтовой человек? Вернулся с войны, ордена на тебе поблескивают...» и т. д. Не правда ли, Лаврухин здесь как будто говорит с каким-то взрослым «бешешкой»? И рядом другая сцена, где Ведерников и Лаврухин заключают союз на всю жизнь и «Мишка» страшно и конфузливо рад быть «на паях» с таким талантищем, как «Сашка». Оба эти эпизода, как «дважды два» упорядочивающие сложный психологический, конфликтный мир пьесы,— это опять-таки прямой отзвук дидактизма и схемы. И главное — они никому не нужны, они рвут тонкую «материю» пьесы и огрубляют ее психологический язык.

То резко антипатичное, что, несомненно, есть в Ведерникове, все его «проделки» в пьесе не позволяют нам понять трогательных объятий Лаврухина и Ведерникова в конце пьесы, это лишь подогревает ощущение неприятной «необыкновенности» героя: вот сколько нашкодил, а ему за «талант» снова воздается! Лаврухин же в этой сцене совсем «идеален»: человек у него жену отнял, жизнь разрушил, а он ему противно-восторженно глядит в очи.

В другой сцене страшно «не по себе» слышать «резонерский» басок Лаврухина, вспоминая, что у него фигура «производит впечатление силы», а «из-под густых бровей смотрят спокойные глаза...» «Вот твоя первая вина, Ведерников...» А какое его «моральное право» так судить своего друга? Только право антипода!

Так отражаются на художественных свойствах пьесы разных и непохожих авторов неизжитые черты пренебрежения собственно драматическим языком, языком драматических образов в угоду прямому и незамысловатому «объяснению» с читателем и зрителем.

Огромное значение в создании подлинно драматического — одновременно реального и условного — образа имеет язык героев пьесы. В сущности все, о чем мы говорили выше, это и есть «язык» драмы, потому что «в пьесе все основано на словах» (А. М. Горький). Но, однакоже, есть в пьесе и собственно диалог или монолог, прямая речь персонажей, те «слова», которыми, как писал Станиславский, в драме «сражаются, любят, ненавидят и убивают». Они нас в данном случае и интересуют.

Существует два рода антихудожественных упрощений драматического языка наших пьес, мешающих «поверить» в происходящее на сцене, в написанное или читаемое, ослабляющих «силу слов», и необходимую в драме «правду искусства». Во-первых, это своеобразный «натурализм» сценической речи, заключающийся в том, что речь героев бывает совершенно невыразительна, случайна, записана как бы стенографически, она не связана ни с действием, ни с психологией действия и в лучшем случае содержит необходимую в пьесе информацию — такие «диалоги» можно убирать и вставлять без ощутимой потери для пьесы. И, во-вторых, так называемое «заострение» речевой характеристики, при котором персонаж начинает объясняться с помощью «эссенций»: в его речи характерные для определенного типического круга «словечки», жаргонизмы, интонации сконцентрированы в такой невозможной степени, что уж он «словечка в простоте не скажет», в каждом слове виден «тип». Это производит нехудожественное впечатление.

Выше уже было упомянуто о характерном «словонедержании» героев наших пьес. Оно возникает все от того же искусственного, неорганического склада многих наших драм, их «инсценировочного» происхождения. Автор, «инсценируя» некий жизненный случай, ищет способов характеристики своих героев и набредает на самый легкий — герои *слишком явно* аттестуют себя с идейной, профессиональной и прочей стороны. Так герой пьесы Штейна моряк Черногубов говорит почти лишь стилем военно-морских реляций и команд. Но «речевая характеристика» героя — дело тонкое, и переборщить здесь — значит полностью погубить нужное впечатление, сделать героя драмы героем водевиля.

«Отрицательность» или «положительность» персонажа в пьесе должна сказываться не «по лицу», а по психологии, по его роли в действии: идейный облик героя не должен быть однообразным и плакатно «выпяченным» — люди, тем более честные люди, обыкновенно стыдятся *декламировать* про самое им дорогое. Они *стыдятся не идеалов своих, а лишних нарочитых слов об идеалах*. Поэтому вызывают смущение такие, например, моменты, как одно из первых явлений пьесы А. Штейна. Старый моряк, друг Хлебникова, Ион Лукич Черногубов, приехав к нему гостить, на пороге впервые сталкивается с Марьяной — падчерицей Хлебникова. Происходит знакомство. На вполне житейский вопрос Марьяны: «Вы, правда, близко знаете отца?» — Черногубов неожиданно, «как на духу», выпаливает: «Во всяком случае, настолько, что решился ему рекомендацию дать, когда он в Российскую Коммунистическую вступал». Для чего это нужно автору? Да чтобы дать ход делу: Марьяна только что случайно прочитала письмо исключенного из партии отца в ЦК — и вот перед ней человек, который рекомендовал отца в партию... Психологическая завязка! А для создания «колорита» не сказано просто: «вступал в партию», — а с интонацией торжественной шутки: «когда он в Российскую Коммунистическую вступал». И это в пьесе, которая непримиримо борется против фальшивого «краснобайства»!

Все это отнюдь не грошовые придирки: один такой эпизод, второй, третий — и вот уже стираются признаваемые нашими авторами, как закон драмы, «истина страстей и правдоподобие чувствований», кончается драматическое представление и переживание, идет мертвая, выпрениная «игра», «инсценировка»...

Корень подобных просчетов драматургии не только в том, что тот или иной автор на такую сложную и эстетически возвышенную, глубокую вещь, как драматическое произведение, посягнул с доморощенными средствами, но и в некоторых принципиальных вопросах, связанных со всем пониманием «реализма», правдоподобия в пьесах и на сценах театров.

В записях Н. Горчакова приведено одно исключительно глубокое высказывание К. С. Станиславского о природе сценической речи:

«...Слово на сцене — это не слово, сказанное в жизни. Сценическая речь — это не жизненная речь.

Ох, как виноваты мы, художественники, когда, борясь со штампом дурной декламации... мы объявили, что на сцене надо говорить, как в жизни... Какая-то общая картина бытовой, но не художественной правды у нас получилась, но скоро мы поняли, что теряли опору нашего искус-

ства — слова. И мы стали... искать законы простой, жизненной, но *выразительной* речи на сцене».

Великий реформатор театра говорит здесь о «сценической речи», о силе голоса, интонациях, слове актера на сцене, но все это имеет прямое значение и для проблемы «драматического языка», слова в драме. Слово в драме — это тоже не слово в жизни. Жизненность и простота языка пьесы должны сочетаться с таким свойством, за соблюдением которого в жизни люди специально не следят и которое мы приблизительно называем «выразительностью».

В это коренное качество подлинно реалистического, живого, полноценного языка драмы, *условного* по самой своей сути, входят по крайней мере три элемента: *осмысленность, действенность и ассоциативность*.

Здесь нет места подробно рассматривать проблему драматургического языка, но на этих чертах мы вкратце позволим себе задержаться.

«Осмысленность» драматургического языка — это требование содержательности и остроты реплик и диалога, его значительности для содержания пьесы, важности его, как средства характеристики образов. В пьесе ни одно слово не должно пропасть даром, каждая сказанная фраза имеет отношение — прямое или опосредованное — к тому, для чего пьеса написана, к ее смыслу, к показу характеров. Это также требование «интересности», увлекательной характерности сценической беседы, в которой выражается психология героев, психология их отношений, их душевное богатство или бедность. В драме поэтому слово особо «весомо», оно несет ту образно-психологическую, интеллектуальную «нагрузку», которая должна восполнить отсутствие описаний и отступлений. В каком-нибудь «Лабардан-с!» сказывается весь «кадрильный», неосмысленный нрав Хлестакова, а в жестоком «Ай-ай-ай!» Люси Ведерниковой из пьесы А. Арбузова передана вся горькая судьба этого милого, нелюбимого «человечка».

Но слово в драме не только в большей, чем в жизни, степени и остроте выражает содержание происходящего, оно еще и *ведет* его. Диалог в драме — это то, в чем прежде всего осуществляется действие пьесы. Слово, реплика — главное оружие персонажа драмы. Поэтому то, что говорилось об образном «самодвижении» в пьесе, касается прежде всего искусства строить драматический диалог с таким расчетом, чтобы словом, репликами как бы «вычерчивалось» драматическое действие... В пьесе особенно важна та черта диалога, о которой житейски говорят: «слово за слово». И когда это внутреннее движение диалога обязательно сочетается с тем, что мы назвали «осмысленностью» речи, — язык драмы увлекателен или, еще лучше сказать пришвинским словом, «завлекателен» и по-настоящему действен.

И третье — «ассоциативность».

Каждому знакомо ощущение, которое возникает при чтении всякого подлинно художественного текста: кажется, что в любой фразе сказано гораздо больше, чем непосредственно значит по смыслу слов. Может быть, с этого и начинается искусство... Слово в художественной речи гораздо многозначительнее, нежели слово в простой речи, оно обогащено множеством *ассоциаций* и связей. Поэтому так часто одна строка стихотворения или один абзац прозы способен вызвать в нас совершенно особую «задумчивость» и волнение, которое называют «эстетическим».

Таким должно быть и слово в драме — повышенно-поэтическим, ассоциативным. Здесь это достигается и интуитивно точным выбором, чувством слова, и интонацией, и всем тем, что заставляет нас порой говорить о музыкальности диалога. Появление аналогии с музыкой здесь не случайно. Именно в музыке, как нигде, неисчерпаем тот мир волнений, мыслей, образов и ассоциаций, который вызывается непосредственно звучащим «клочком» нотного текста.

Осознание *этого* качества драматургической речи привело к тому явлению, которое принято называть «подтекстом», хотя само по себе это выражение бессмысленно — ведь никакого «подтекста» на самом деле нет, весь художественный эффект достигнут именно с помощью «текста», самой пленительной расстановкой слов, интонацией, смыслом и «настроением» сказанного... Но такова, видимо, ассоциативная выразительность художественного слова, что она дает возможность «подозревать» и волноваться о том, что *не сказано*, не названо прямо, но, несомненно, «значится», таится в нем...

3. «О ФОРМЕ ИСКУССТВА...»

В то самое время, когда средняя интеллигентная девушка улыбалась над Офелией, в одной статье А. М. Горького было черным по белому написано: «... нужно учиться писать пьесы у старых, непревзойденных мастеров этой литературной формы, и больше всего у Шекспира».

Форма Шекспира, как известно, родилась в очень своеобразных условиях. С одной стороны, зритель того времени требовал от зрелища острых потрясений, грубо непосредственного эффекта; отсюда многочисленные у Шекспира яркие кровавые и фарсовые сцены, вызывающие прямую эмоциональную реакцию — ужас, хохот, отвращение... Но ведь это было Возрождение! Театр сделался местом, с которого звучала радостная проповедь гуманизма и лирики: театр отражал высокотрагедийный склад эпохи, жгучую мысль передового человека, только что вырвавшегося из склепа, где мертвыми легли Ромео и Джульетта... Отсюда — глубоко рефлексивный дух пьес Шекспира, их философская громоздкость, поэтическая аллегоричность многих персонажей, доходящая до законченной условности «Сна в летнюю ночь» или «Бури»... Эти две драматические стихии — «непосредственно-натуралистическая» и «отвлеченно-интеллектуальная» — у Шекспира большей частью еще перемешаны чисто механически, они в его трагедиях и комедиях подчас просто соседствуют. Но они есть, и именно Шекспир дает особенно отчетливо понять, в чем сила драмы... А если учесть, что во времена Шекспира театральная иллюзия создавалась куда более примитивными сценическими средствами, чем ныне, что вся идейно-образная наполненность пьесы передавалась почти только через слово и жест, минуя весь нынешний постановочный аппарат — развернутые декорации, эффекты света и звука, реквизит и прочее, то будет понятно, чему главному следует учиться именно у Шекспира: специфике драмы, которая сказалась в то время, может быть, ярче, чем когда бы то ни было потом или раньше, умению объединить в

форме пьесы искусство, отвлеченную мысль, изощренность и — непосредственность, «буквальность» происходящего на сцене.

Драма — один из наиболее объективных, безусловных родов творчества. Если вспомнить слова Н. Г. Чернышевского о том, что искусство воспроизводит действительность в «форме жизни», то на первый взгляд это наиболее всего является, пожалуй, свойством драматического искусства. Пьеса, реализованная сценически, — это как бы сама жизнь, какой-то ее отрезок, пережитый автором, актерами, зрителем. Драматург пишет живых людей, живую ссору, живой спор и подлинную любовь или смерть. Здесь жизнь выступает как бы в форме самой жизни, действие в форме самого действия, драма в форме драмы.

Но на этом нельзя остановиться. Специфика драмы, как искусства, в том, что в ней эта совершенная *естественность* «куска жизни», перенесенного на сцену, создается всегда средствами величайшей *условности и искусственности*, которую не замечает зритель. Драма одновременно и *один из самых условных* (самый неправдоподобный, как говорил А. Пушкин) видов словесного творчества. И в этом особая, выработанная веками закономерность всех драматических жанров, в этом — тоже сила драмы, которую можно или эффективно использовать, или дать ей существовать произвольно, или упустить...

Условность драмы в том, что фигуры, созданные авторским воображением, оживают, действуют, произнося, как свои, естественно рожденные слова, текст, сочиненный «за сценой» художником слова. Условность в том, что герои, будучи освобождены от побочных авторских характеристик, проявляют себя сплошь мимически и жестикуляционно и главное — через слово, речь, диалог, не имея возможности предстать перед нами «изнутри», как в романе или в поэме. Условность есть в некоторых традиционных «экономичных» словесных формах драмы — монологах, репликах «а парте» и т. д. И, наконец, самая поразительная высшая искусственность здесь состоит в выработанных за бесчисленные годы эстетических принципах драматического представления: таких, как *единство действия и самодвижение* в драме.

С одной стороны, как будто перед нами непредвзятый и естественный ход жизни, ряд перенятых у жизни сцен, столкновений, диалогов. Так это мы воспринимаем. Подобное восприятие полнейшей естественности и неподдельности картин жизни на сцене, как известно, доведено до совершенства чеховским театром (вспомним: «Люди обедают, а в это время разбиваются их жизни»). Но на самом деле здесь кроется обман и волшебство. Ничего такого в жизни не бывает. Или, вернее сказать, в жизни все то же самое бывает, но «не так». В реальной действительности в каждый момент какой-то жизненной драмы количество элементов, из которых она складывается, — бесчисленно, существенное сбито с несущественным, неслучайное со случайным. В писанной драме весь этот жизненный поток тонко и максимально *организован*, хотя — в идеале — это не может быть заметным. Все элементы драмы, действия и жесты, монологи и реплики, интонации и звуки «за сценой», появление и уход персонажей — все это высшим эстетическим «управлением» автора-художника сведено в художественное единство и служит задаче — посредством действий и речей раскрыть централь-

ный конфликт, основное «движущее» драмы, потрясти и научить зрителей. Поэтому в драме нет и не может быть ничего «просто так», тут даже простая «информация» о происходящем играет художественную роль, включена, так сказать, в электрическую цепь событий драмы. Все, каждая деталь здесь не самодовлеет, а воздействует в направлении, нужном для развертывания и прочувствования происходящего... И если есть что-либо — предмет или жест, лежащие в стороне от этой «сверхзадачи», — драма не полноценна.

А. Толстой говорил: «Пьеса — это внутренний мир данной идеи, оформленной сюжетом, где персонажи и предметы вскрывают свое истинное назначение для розыгрыша данной идеи в материальных формах». И тут же встает вопрос и еще об одной важной условности драмы, о специфике ее «самодвижения». Действующие лица драмы — это, по выражению А. Толстого, «джинны», выпущенные из «кувшина» фантазии художника и зажившие самостоятельной жизнью. То развертывание события — конфликта в драме, о которой говорилось выше и которое определяет в ней необходимое «единство действия», затем происходит как бы не по велению авторского рассудка, но по внутренним отношениям персонажей, по их отталкиванию и притяжению... Они как бы сами ведут драму — от завязки до финала; каждое их действие приводит к новым действиям, к непрерывному «цепному» движению, смене явлений, эпизодов, сцен, пока не «раскрутится» до конца сюжетная «пружина» драмы и не кончится «развитие идеи», не исчерпает себя конфликт. Поэтому всегда резко антихудожественное впечатление производит прямое присутствие авторской тенденции в ходе драмы, когда не «само собой» идет действие, не сами персонажи, своими отношениями, враждой, соперничеством или любовью, оказываются в тех или иных обстоятельствах драмы и приходят к ее финалу, а владыка-автор, кое-как выдумав своих героев, насильственно сталкивает или разводит их, забывая о драматической условности тех или иных мотивировок и ситуаций.

И вот ведь странность! Зритель как раз и аплодирует этой эстетической условности драмы, потому что на сцене ему всегда дороже не элементарность, не «натура», а нечто высшее — *правда искусства*, которую он подчас определяет чудесными словами «все, как в жизни», тогда как на самом-то деле в драме, на сцене «все, не как в жизни». Знаменитый анекдот Жана Коклена об актере, который заставил визжать на сцене живого поросенка и провалился, говорит об очень многом.

Можно подытожить эти долгие рассуждения великолепными словами Виктора Гюго: «Театр не есть страна реального. В нем картонные деревья, полотняные дверцы, тряпичное небо, стеклянные бриллианты, поддельное золото, румяна на щеках, солнце, выходящее из земли. Театр в то же время есть страна настоящего: на сцене есть человеческое сердце, за кулисами — человеческое сердце, в зрительном зале — человеческое сердце».

Ярко нарисованная здесь двойная, противоречивая колдовская природа драмы и театра, объединяющая в себе как бы полнейшую безыскусственность с величайшей условностью сценического «действия», реальность с метаморфозой, позволяет сделать общий очень важный вывод: драма, театр действительно и правдиво отображают жизнь, чувства, события, но не в форме жизни, как казалось вначале, а в *форме искусства*.

Это положение хотя и слишком общо и патетично (оно имеет значение не только для драматургии), однакоже в нем есть такой смысл, который позволяет наиболее успешно противостоять довольно широко распространенному у нас скучному шаблону в понимании *реализма в драме*, оцепенелости наших драматических форм, бессильной бытѳвщине, беспомощному дидактизму и поверхностности многих нынешних пьес. «В форме искусства» — это значит не непременно «так, как в жизни», а с большей точностью, возвышенностью, размахом и ассоциативностью. Это значит, что «кусочек жизни», художественно переработанный в драму, в комедию или трагедию, может быть и не похож на жизнь, раскрываясь во всем своем смысле в несколько иных, не «натуральных» формах — более ярких или более приглушенных и простых, выдержанных в какой-то одной эмоционально-образной системе, более лаконичных или «пышных», заостренных, гиперболических, обобщенно-символических, условных... Если при этом глубокая человеческая идея пьесы достигает цели, если сердце человека взволновано, если громадный или утонченный духовный мир пьесы исчерпан этими формами и полон глубоких и волнующих «олицетворений» и ассоциаций, то мы назовем такое произведение реалистическим, как бы ни были «условны» и деформированы по сравнению с «натурой» его черты. Ибо реализм — это не те или иные «формы», это правда жизни, ставшая «правдой искусства».

Печальным итогом уже отмеченного нами *неорганического характера* многих современных пьес, их «инсценировочного» происхождения является и тот неоспоримый факт, что большинство современных спектаклей сморгится лишь один раз, а печатаемые пьесы удовлетворяют лишь однократному прочтению... Как только мы ознакомимся с «содержанием» пьесы, то есть с тем «случаем», который лежит в ее основе, мы не испытываем к ней более никакого интереса. В первый раз это еще и ново, и остро, и смело, а во второй раз до конца знакомо, до дна исчерпано и... скучно.

А рядом с этим — попробуем-ка «пересказать», исчерпать пересказом содержание и смысл таких творений, как «Король Лир», «Пер Гюнт», «Чайка» или «Егор Булычов»! Мы этим лишь затронем громадные обобщения и эстетику этих драм, превосходящая часть их содержания останется вне нашей попытки, — да она и не поддается никакому другому прочтению, кроме как в виде *драматических образов*.

И тут, повидному, настал момент, когда нам необходимо дать какое-то определение самого термина «условность». Определения дать мы не решаемся, попробуем лишь кратко передать свое представление о природе этого явления искусства драмы.

Из всего сказанного следует, что драматическую условность мы оцениваем, как явление, тесно связанное с самим реальным характером драматической образности. Условность драмы, драматических образов, во-первых, в том, что действие, события, лица, речи и жесты, «сгущенные» в пьесе, не повторяют жизнь, не натуралистически ее воспроизводят или просто отражают, а *как бы* повторяют, воспроизводят и отражают. В этом «как бы» — огромная сила драмы. Она позволяет ей порой совершенно отказываться от непосредственной «формы жизни» или упрощать, заострять, изощрять ее с тем, чтобы «в форме искусства» передать *«правду жизни»*, мысль, чувство, событие...

И, во-вторых, художественную «условность» мы понимаем (это тоже следует из всего содержания статьи) в том смысле, что не все в драме должно быть воспринимается буквально в соответствии с «картинной» жизни, с реальными отношениями вещей. Искусство по существу своему иносказательно и ассоциативно. Условность — это значит, что художник и публика «условились» о чем-то, условились верить искусству. Только при соблюдении этого эстетического (и тайного!) «договора» можно заставить зрителя поддаться иллюзии театра и воплотить в трехчасовом спектакле огромный мир страстей, событий, а порой — долгое течение жизни и ход истории.

Для того чтобы передать в пьесе, скажем, историческую «смену», подобную той, которая изображена в «Вишневом саде», можно заставить персонажей «рассказывать» о прелести уходящих «дворянских гнезд», изобразить одно из них; но вот Чехов насадил за окнами усадьбы Раневских сияющий вишневый сад, «прекраснее которого нет ничего на свете», заставил его присутствовать в каждой сцене — трепетать лепестками и звенеть птицами в начале пьесы и глухо падать под топором в последней; он поселил в доме душу этого сада и сделал ее «телесной», смеющейся, плачущей, декламирующей — в образе Ани, и вот уже «сад» — не просто «сад», а вся неисходная весенняя прелесть, и грусть жизни, сияние и пенне любви, заря будущего. Так взятый из жизни точный факт содержания пьесы (за долги продается вишневый сад) стал пленительным иносказанием и тем самым «правдой искусства»...

Такова природа драматургической сценической «условности», направленная на реалистическое раскрытие художественных образов.

Понимание выразительной мощи «условной» формы искусства в драме позволяет художнику возвыситься над элементарным «отражением» жизни, которое, по словам Станиславского, дает на деле лишь «какую-то общую картину бытовой, но не художественной правды», и вместо этой маленькой «правденки» дать высокую «художественную правду» во всей глубине и поэзии осознания действительности.

Лишь с помощью этой художественной обработки драматической темы возможно достижение таких особых духовно воздействующих сторон драмы, как *концентрация времени* в драматическом спектакле, *концентрация атмосферы времени*, как сила образного лаконизма и заострения в драме или воздействие мысли, чувства человека в условных речевых формах (монолог и др.). Понимание эстетической силы драматической условности дает возможность появиться такого рода ярким представлениям, как театр Б. Брехта на западе, как многие спектакли у нас в 20-х годах, не просто инсценировавшие какой-то отрезок жизни, но свободно обращающиеся со всеми классицистическими «тремя единствами», парящие во времени, пространстве, разрывающие рамки сцены и объединяющие сцену с зрительным залом через «ведущего» или прямым обращением героев к современникам. Только на почве подлинной эстетической условности драмы могли возникнуть и великолепные образцы современных пьес Назыма Хикмета, с их политикой, философией, публицистикой и лирикой, звучащими в ярчайших неповторимых формах «восточной» пьесы.

Познание многообразных возможностей драмы может убедить нас, что «двуречивая», «двойная» формула драмы, объединяющая в себе полнейшую

объективность, естественность действия с высокой условностью таит в себе большие художественные открытия... Несомненно, что в интересах того или иного сюжета, той или иной темы, пафоса, наконец в зависимости от склонностей художника, могут быть безмерно развиты обе стороны драматического представления — и, так сказать, «копирующая», стремящаяся во что бы то ни стало показать жизнь как бы в ее натуральном виде и потому высказывающая идеи в их самой естественной форме, и условная, нарушающая во имя большей выразительности, поэтичности, действенности, во имя яркой «правды искусства» непременно «подобие» жизни.

Одним из ярких в советской литературе примеров передачи в остром драматическом темпе движения времени, «марша времени» (как движения человеческих судеб и меняющихся характеров), является одна из лучших старых пьес Н. Погодина «Аристократы». Здесь стремительное действие «отсчитывает» годы, а эпизоды — месяцы строительства Беломорканала, и на самом «стремне» этого исторического трудового течения мы следим за чрезвычайно острой, драматической ломкой «упругих» человеческих характеров. Героико-комедийная подвижность сцен, быстрота и хлесткость реплик, даваемых в хорошо уловимой иронически-блатной «шкале», сам бодрый дух этой пьесы, который «задан» уже первой репликой стрелка: «Веселей! Веселей!» — все это великолепно передает содержание и смысл пьесы, заключенный в популярном в те годы ловком слове «перековка».

Долголетняя, последовательная, реальная история строительства Беломорканала и его людей выражена в очень броско очерченных, любопытнейших характерах, в иронической и картинной «театральности» поведения «аристократов» — воров и убийц «высшей» марки — и главное в темпе действия. Особую роль в этой пьесе играет связанная с упоминавшимся в статье «самодвижением» динамика драматических эпизодов... Каждый из эпизодов, четко и лаконично обрисовывая определенное обстоятельство пьесы, в то же время таит в себе как бы зерно следующего эпизода, возможность перехода от предыдущего к последующему. Это всякий раз как бы «момент движения». Так создаются в пьесе неподдельный героико-комедийный блеск и динамичность; в ней как бы сконцентрировалась вся горячность и энергия широко развернутого во времени социального эпизода.

Иной случай — пьесы А. Арбузова, например. В «Годах странствий» — не краткое изображение, не «масштаб» по отношению к реальной истории жизни героев, а как будто бы свободно восстановленные картины их жизни, но на самом деле самые поворотные и кульминационные. Таким образом, несмотря на наличие в пьесе всего лишь нескольких эпизодов из жизни группы людей, мы ощущаем по существу целую жизнь, долгую цепь дней и понимаем задумчивый вопрос эпитафия: «Куда уходят все дни?»

Когда самобытный художник — романтик Всеволод Вишневский, как бы проливший в наше искусство «громокипящий кубок» своего революционного романтизма, рвался в своих пьесах к высотам обобщений, к тому, чтобы его героическая матросская песня, как в финале «Оптимистической трагедии», звучала «над равнинами, Альпами и Пиренеями», он не останавливался перед самыми крайними нарушениями «естественности»...

И даже самые крайности стиля В. Вишневского, порою чрезмерные и отталкивающие: повышенная «символистская» эмоциональность и картин-

ность его ремарок во вступлениях и финалах пьес (см., например, в «Оптимистической трагедии»: «Шум человеческих деяний, тоскливый вопль «зачем», «неистовые искания ответов и нахождения» — в начале пьесы; или «ревыв катаклизмов и потоков жизни» — в конце), хроникальность многих эпизодов, очень живых и броских (вспомним знаменитую сцену с буденовцем в поезде из «Первой конной»), но, однако, не дающих основ для построения цельного драматического характера,— все это полно такого темперамента, такого желания сделать из драмы *громдное революционное переживание*, что вызывает по сравнению со многими современными пьесами какое-то ощущение подлинной, громкой, народной *театральности*.

Всеволод Вишневский в своих ранних пьесах страстно стремился раздвинуть рамки театра: с одной стороны, отодвинуть «задник» в какие-то исторические просторы, с другой стороны, «снять» рампу, стереть грань между сценой и залом... Ему чужда была сценическая эмпирика, определенный круг персонажей, «три единства» и т. п. Он знал одно «единство»: единство происходящего на сцене героического спектакля и — сопереживающего, наэлектризованного зала зрителей. Отсюда такое умение сломать рамки «подобия жизни» на сцене, выдвинуть на первый план зажигательный комментарий Ведущего (в «Первой конной»), которого Вишневский обозначал как «нашу совесть, нашу память, наше сознание, наше сердце», или дать начальный, хватающий за душу, за самую революционную ее струну эпизод из «Оптимистической трагедии».

Конечно же, и Ведущий в «Первой конной» и эти матросы, чей «реквиемный» дуэт открывает пьесу,— условные сценические фигуры, рожденные для того, чтобы заговорить голосом автора, выразить самое дорогое в его жизни — революционные воспоминания, дать нужный «пафос» предстоящему действию, выразить свою страсть, гордость и скорбь. Так в драму пришел сам автор, непосредственно и прямо вошедший в события прошлых лет, связавший собой нынешние трудовые будни с вчерашней боевой героиней и осознавший историческое действие революции, как «оптимистическую трагедию».

И хроникальная смена кадров в его пьесах, запечатлевавшая окончательные, яркие штрихи военной эпохи, и способность от единичного, резкого в своей выразительности кадра подняться к образному обобщению момента истории, и высокая напряженная эмоциональность, выражающаяся в пламенном риторстве, в звуковых и красочных эффектах, и безбоязненная публицистичность, и, наконец, способ то интимного, «своего», то призывного, громового диалога со зрителем, борьба с рутинною времени — переключка эпох — все это блестящее вооружение новаторских пьес Вс. Вишневского прежде всего зовет к драматургическому новаторству в наше время. Слишком мало мы еще чувствуем огромные возможности драматической формы, сказавшиеся в его творчестве и в творчестве драматургов нового времени. А сколько этих художественных лав скрыто еще, нам их нужно искать, пробиваться к ним. Нужны смелые поиски и попытки, опирающиеся на опыт классической и революционной драматургии, которые бы сдвинули нашу драматургию с подчас мнимореалистического, неинтересного и бесперспективного *самоповторения*. Меняются темы, меняются конфликты, меняется место действия, характеры людей в пьесах

задумываются все богаче и ярче, но очень часто даже в лучших пьесах мы сталкиваемся еще с каким-то подобием чего-то уже давно проверенного искусством, с элементами вульгарного схематизма, то и дело перемежающегося наивным «реализмом», порывающим с самой природой драматического представления.

Необходимо, больше чем необходимо, чтобы наше особое время стремилось выразиться в новаторских формах искусства. Пусть это будет пьесой о «блудном сыне», которую собирался написать А. Арбузов, «грустной комедией о людях, которые не нашли себя в жизни», или героической, или сатирической драмой, исторической хроникой, или, наконец, современной трагедией, но в любом из этих случаев читатель и зритель вправе ожидать от драматургии настоящей «пьесы жизни», высоких образцов искусства, явившихся в неповторимой и специфической новаторской форме. Но для этого нужен какой-то «максимум» творчества и, говоря словами «Оптимистической трагедии», «неистовые искания ответов и нахождения».

Илья Эренбург



ПОЭЗИЯ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ¹

В двадцать лет Марина Цветаева мечтала:

Моим стихам о юности и смерти,
— Нечитанным стихам! —
Разбросанным в пыли по магазинам
(Где их никто не брал и не берет),
Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черед.

Первая книга Цветаевой называлась «Вечерний альбом»; когда она вышла в свет, поэтессе было семнадцать лет и она еще ходила в гимназической форме. Вторая книга «Волшебный фонарь» была издана два года спустя. В этих книгах много детского. Только в самом начале жизни можно написать:

Ты дал мне детство лучше сказки
И дай мне смерть — в семнадцать лет!

Однако и в незрелых стихах чувствовался подлинный поэт. О первой книге «Вечерний альбом» писали Валерий Брюсов, Максимилиан Волошин, Маринетта Шагинян.

После этого Марина Цветаева создала много прекрасных стихотворений и поэм, но число людей, знавших ее поэзию, не возрастало. Она умерла в 1941 году, будучи известной только немногим ревнителям поэзии.

Мы знаем поэтов, оцененных современниками и выдержавших испытание временем: Пушкина и Некрасова, Блока и Маяковского. Были другие поэты, стихи которых отвечали преходящим вкусам или настроениям их современников. Так увлекались Бенедиктовым, потом одни переписывали в альбомы Апухтина, другие проводили ночи над томиком Надсона,

¹ Публикуемая статья Ильи Эренбурга будет напечатана в качестве предисловия к одному тому стихов Марины Цветаевой, подготовленного к печати Гослитиздатом.

так сбегались на вечера Игоря Северянина. Теперь эти поэты могут заинтересовать только историка литературы. Были, наконец, поэты, нашедшие признание лишь после смерти. Вряд ли Тургенев, калеча стихотворение «О, как на склоне наших лет...», понимал все значение поэзии Тютчева.

Судьба стихов Марины Цветаевой не подходит ни под одну из этих категорий. Вряд ли кто-нибудь станет утверждать, что поэзия Цветаевой оставалась малоизвестной, потому что была чересчур сложна по форме. Многие стихи Александра Блока, не говоря уже о Пастернаке, куда труднее для восприятия.

Стихи Цветаевой эмоциональны, она быстро уводит читателя в мир своих ритмов, образов, слов. Она любила музыку и умела ворожить словами, как слагатели древних заговоров. Одно слово неожиданно, но неоспоримо точно приводит другое:

Как живется вам, хлопчется,
Ежится? Встается как?
С пошлюхой бессмертной пошлости
Как справляетесь, бедняк?

Приведу два отрывка из стихотворений, чтобы показать, насколько ясна поэзия Цветаевой. Из стихотворения, написанного в 1916 году:

Настанет день — печальный, говорят,—
Отдарствуют, оплачут, отгорят,
Остужены чужими пятаками,
Мои глаза, подвижные, как пламя.

.....
По улицам оставленной Москвы
Поеду я, и побредете вы,
И не один дорогою отстанет,
И первый ком о крышку гроба грянет,
И наконец-то будет разрешен
Себялюбивый, одинокий сон.

Из стихотворения 1920 года:

Писала я на аспидной доске,
И на листочках вееров поблеклых,
И на речном и на морском песке,
— Коньками по льду и кольцом на стеклах,—
На собственной руке и на стволах
Березовых, и — чтобы всем понятней —
На облаках и на морских валах,
И на стенах чердачной голубятни.
Как я хотела, чтобы каждый цвел
В веках со мной. Под пальцами мои.
И как потом, склонивши лоб на стол,
Крест-накрест перечерчивала имя.

Нет, нельзя объяснить «непонятностью» судьбу стихов Цветаевой. Современники попросту не знали этих стихов. Книги выходили в крохотных тиражах, так, например, сборник «Версты» был издан в Москве в 1921 году в количестве одной тысячи экземпляров. Потом Цветаева жила за границей, изредка печатала стихи в журналах или альманахах, которые мало кто читал. Многие ее произведения не изданы и поныне.

Конечно, Цветаева не стремилась к славе, она писала: «Русский стремление к прижизненной славе считает презренным или смешным». Но Цветаева сделала все, чтобы способствовать своей безвестности. Одни скажут — от гордости, другие поправят — от той чрезмерной чувствительности, которая присуща поэтам. Вероятно, и от того и от другого, а пуще всего от своеобразности своих восприятий. Одиночество, вернее сказать, отторжение, всю жизнь висело над ней, как проклятье, но это проклятье она старалась выдать не только другим — самой себе за высшее благо. В любой среде она чувствовала себя изгнанником, изгоем. Вспоминая о рабской спеси, она писала: «Какой поэт из бывших и сущих не негр?» В «Поэме конца» она сравнивает жизнь с гетто. Ее мир ей казался островом, а для других она слишком часто была островитянкой.

Ее одиночество никак нельзя приписать тому культу «башни из слоновьей кости», который был еще достаточно распространен в годы, когда Цветаева входила в русскую поэзию. Брюсов писал:

Быть может, всё в жизни лишь средство
Для яркопевучих стихов,
И ты с беспечального детства
Ищи сочетания слов.

Эти советы возмущали Цветаеву, она отвечала: «Слов вместо смыслов, рифм вместо чувств?.. Точно слова из слов, рифмы из рифм, стихи из стихов рождаются...» Она хотела быть с людьми и не могла.

Что же мне делать, слепцу и пасынку,
В мире, где каждый и отч и зряч,
Где по анафемам; как по насыпям,
Страсти, где насморком
Назван плач.

Одиночество ее давило. Одиночество (а не эгоцентризм) помогло ей написать много прекрасных стихов о человеческом несчастье. И одиночество привело ее к самоубийству.

Были поэты, которых увлекал романтизм первой половины XIX века не как литературная школа, а как некоторая умонастроенность: они подражали скорее Чайльд Гарольду, чем Байрону, скорее Печорину, чем Лермонтову. Марина Цветаева никогда не старалась загримироваться под героев романтической эпохи: своим одиночеством, своими противоречиями, своими блужданиями она была им сродни. Различные строительные материалы, будь то дерево или мрамор, гранит или железобетон, связаны с меняющимися стилями архитектуры, а стили определяются временем. Цветаева родилась не в 1792 году, как Шелли, но ровно сто лет спустя...

В одном стихотворении Цветаева говорит о своих двух бабках: одна была простой русской женщиной; сельской попадьей, другая — высокомерной польской панной. Марина Цветаева совмещала в себе старомодную учтивость и бунтарство, пниетет перед гармонией и любовь к душевному косноязычию, предельную гордость и предельную простоту. Ее жизнь была клубком прозрений и ошибок. Она писала: «Я все вещи своей жизни полюбила и пролюбила прощанием, а не встречей, разрывом, а не слиянием».

Это не программа, не утверждение какой-то философии пессимизма, а просто исповедь. Если уж говорить о мироощущении, то Марина Цветаева любила жизнь, утверждала ее, но прожить, как ей хотелось, не сумела. В Москве она писала про Лорелей, про Париж, про остров Святой Елены, а в Париже ей мерещились калужские березы и печальный огонь бузины. Ее восхищала вольница Степана Разина, но, встретившись с потомками своего любимого героя, она их не узнала. Всю свою жизнь она боролась с собой. Она написала пьесу о сердцеее Казанове, чтобы показаться если не другим, то себе спокойной, даже веселой. Но Казанова был случайным гостем на час. Она слишком хорошо знала другое:

О, вопль женщины всех времен:
«Мой милый, что тебе я сделала?»

Она писала о стрельцах, о царевне Софии, о русской Вандее. Было это от мятежного ее духа, а вовсе не от тоски по порядку. Она говорила сыну:

Перестаньте справлять поминки
По эдему, в котором вас
Не было...

Но не было и Марины Цветаевой в мнимом эдеме. Прошлый мир никогда для нее не был потерянным раем. Она признавалась:

...Я тоже любила смеяться,
Когда смеяться нельзя.

Она многое любила именно потому, что «нельзя». Она аплодировала не в тех местах, что ее соседи, глядела одна на опустившийся занавес, уходила во время действия из зрительного зала и плакала в пустом коридоре.

История всех ее влечений и увлечений — это длинный перечень разрывов. Подобно Блоку она любила Германию — за Гете, за музыку, за старые липы. Во время первой мировой войны, наперекор всему, она писала:

Германия, мое безумье!
Германия, моя любовь!

А четверть века спустя, когда германские фашисты вошли в Прагу, слово «безумье» в устах Цветаевой приобрело иной смысл:

О, мания!
О, мумия!
Величия!
Сгоришь, Германия!
Безумие,
Безумие
Творишь.

В 1922 году Марина Цветаева уехала за границу. Она жила в Берлине, в Праге, в Париже. В среде белой эмиграции она чувствовала себя одинокой и чужой. В 1939 году она вернулась в Москву. В 1941 году покончила жизнь самоубийством.

Два глубоких чувства она пронесла через всю свою сложную и трудную жизнь: любовь к России и завороченность искусством. Эти два чувства были в ней слиты.

Когда я думаю о русском характере ее поэзии, я меньше всего обращаюсь к ее сказкам или к тому, что она взяла от народной песни. Внешние приметы как бы говорят о другом: о знании и любви к самым различным сторонам — к древней Греции, к Германии, к Франции. В отрочестве Цветаева увлекалась «Орленком» и всей условной романтикой Ростана. Потом ее увлечения стали глубже: Гете, «Гамлет», «Федра». Она писала стихи по-французски и по-немецки. Однако повсюду, кроме России, она чувствовала себя иностранкой. Все в ней было связано с родным пейзажем — от «жаркой рябины» молодости до последней кровавой бузины. Основными темами ее поэзии были: любовь, смерть, искусство, и эти темы она решала по-русски, верная не только традициям великих предшественников, но и душевному складу своего народа. Любовь для нее тот «поединок роковой», о котором говорил Тютчев. Любовь — это либо разлука, либо мучительный разрыв. Цветаева писала о пушкинской Татьяне: «У кого из народов такая любовная героиня: смелая и достойная, влюбленная и непреклонная, ясновидящая и любящая?» Она ненавидела заменителей любви:

Сколько их, сколько их ест из рук,
Белых и сизых!
Целые царства воркуют вокруг
Уст твоих, Низосты!

О смерти она думала много, настойчиво, без страха, но и без примирения. Была в ней языческая мудрость, не эллинская, своя, русская:

...Паром в дыру ушла
Пресловутая ересь вздорная,
Именуемая душа.
Христианская немочь бледная.
Пар. Припарками обложить.
Да ее никогда и не было.
Было тело, хотело жить.

Может быть, самыми прекрасными можно назвать стихи Цветаевой об искусстве. Она презирала стихотворцев-ремесленников, но твердо знала, что нет вдохновения без мастерства, и высоко ставила ремесло. Может быть, повторяя про себя стихи Каролины Павловой, она назвала одну из своих книг «Ремесло». Минутами ей казалось, что знанием законов сердца можно проверить все, даже тайну чувств.

Ищи себе доверчивых подруг,
Не выправивших чуда на число.
Я знаю, что Венера — дело рук,
Ремесленник, я знаю ремесло.

Ее стихи, обращенные к письменному столу, — изумительная исповедь поэта:

Я знаю твои морщины,
Изъяны, рубцы, зубцы —
Малейшую из зазубрин.
(Зубами — коль стих не шел.)
Да, был человек возлюблен,
И сей человек был — стол.

Она работала упорно, яростно — от утра до ночи и от вечера до утра, работала с обостренной совестью, боясь отдалиться случайному сочетанию слов и проверяя вдохновение недоверьем взыскательного художника.

В русскую поэзию она принесла много нового: настойчивый цикл образов, расходящийся от одного слова, как расходятся круги по воде от брошенного камня, необычайно острое ощущение притяжений и отталкиваний слов, поспешность ритма, который передает учащенное биение сердца, композицию стихотворений и поэм, похожую на спираль, — так, потрясенный человек, как бы обрывая мысль, снова к ней возвращается, но не к той самой, к смежной. Будучи часто не в ладах со своим веком, Марина Цветаева много сделала для того, чтобы художественно осмыслить и выразить чувства своих современников. Ее поэзия — поэзия открытий.

Когда я говорю, что темы России и искусства в творчестве Марины Цветаевой были тесно сплетены, я прежде всего думаю о том сложнейшем вопросе, над которым бились почти все русские писатели от Пушкина и Гоголя до наших современников, — о взаимоотношении между долгом и вдохновением, между жизнью и творчеством, между мыслью художника и его совестью. Я не вижу Бальзака, который в смятении сжигает свою рукопись, Диккенса, который уходит в ночь, обличив перед этим все, чем он жил, Рильке, который перед смертью пишет «Двенадцать».

Вся душевная гордость и неуступчивость Марины Цветаевой сказались в ее подходе к роли писателя. Она была взыскательна к другим и себе, зачастую несправедлива в своих оценках, но никогда не равнодушна. Иногда, желая переспорить эпоху, она закрывала двери и окна своего поэтического дома. Было бы, однако, неправильным увидеть в этом эстетизм, пренебрежение к жизни. В 1939 году после того, как фашисты испепелили Испанию и вторглись в Чехословакию, Цветаева впервые отшатнулась от радости бытия:

Отказываюсь быть
В Бедламе нелюдей,
Отказываюсь жить.
С волками площадей
Отказываюсь вить.

Острова не оказалось, и жизнь Цветаевой трагически оборвалась.

В те годы, когда она еще противопоставляла поэзию бурям века, как бы противореча себе, она восхищалась Маяковским. Она спрашивала себя, что важнее — поэзия или творчество реальной жизни, и отвечала: «За исключением дармоедов, во всех их разновидностях — все важнее нас» (поэтов). Одновременно, вспоминая стихи Маяковского о поэте, наступившем на горло песне, она называла служение поэта народу «подвигом» и говорила о смерти Маяковского: «Прожил, как человек, и умер, как поэт». О Марине Цветаевой можно сказать иначе: прожила, как поэт, и умерла, как человек.

«Вечерний альбом» вышел в тот же год, что и моя первая книга; помнится, Брюсов в одной статье писал о нас обоих. Все меньше становится людей моего поколения, которые знали Марину Ивановну Цветаеву в зените ее поэтического сияния. Сейчас еще не время рассказать об ее трудной жизни: она слишком близка к нам. Но мне хочется сказать, что

Цветаева была человеком большой совести, жила чисто и благородно, почти всегда в нужде, пренебрегая внешними благами существования, вдохновенная и в буднях, страстная в привязанностях и в нелюбви, необычайно чувствительная. Можно ли упрекнуть ее за эту обостренную чувствительность? Сердечная броня для писателя то же, что слепота для живописца или глухота для композитора. Может быть, именно в сердечной обнаженности, в уязвимости объяснение трагических судеб многих и многих писателей...

У Марины Цветаевой была горделивая осанка, которая смягчалась беспомощными близорукими глазами и доброй, доверчивой улыбкой, очень высокий лоб, коротко стриженные волосы. Мне часто казалось, что внимательно следя за нитью разговора, она в то же время к чему-то прислушивается: ее всегда окружало, как облако, звучание стихов.

Иннокентий Анненский, стихи которого Цветаева любила, писал:

Смычок все понял, он затих.
А в скрипке это все держалось...
И было мукою для них,
Что людям музыкой казалось.

Наконец-то выходит сборник стихов Марины Цветаевой. Муки поэта уходят вместе с ним. Поэзия остается.

Марина Цветаева

ИЗ НЕИЗДАННОЙ КНИГИ «ЮНОШЕСКИЕ СТИХИ»

* * *

Моим стихам, написанным так рано,
Что и не знала я, что я поэт,
Сорвавшимся, как брызги из фонтана,
Как искры из ракет,

Ворвавшимся, как маленькие черти,
В Святителище, где сон и фиимам,
Моим стихам о юности и смерти,
— Нечитанным стихам! —

Разбросанным в пыли по магазинам
(Где их никто не брал и не берет),
Моим стихам, как драгоценным винам
Настанет свой черед!

Коктебель, май 1913

* * *

Белое солнце и низкие, низкие тучи,
Вдоль огородов — за белой стеною — погост,
И на песке вереницы соломенных чучел
Над перекладинами в человеческий рост.

И, перевесившись через заборные кольца,
Вижу: дороги, деревья, солдаты вразброд.
Старая баба посыпанный крупной солью
Черный ломоть у калитки жует и жует...

Чем прогневили тебя эти серые хаты —
Господи! — и для чего стольким простреливать грудь?
Поезд прошел и завыл, и завыли солдаты,
И запылел, запылел отступающий путь...

— Нет, умереть! Никогда не родиться бы лучше,
Чем этот жалобный, жалостный, каторжный вой
О чернобровых красавицах.— Ох, и поют же
Нынче солдаты! О господи, боже ты мой!

Июль 1916

* * *

У первой бабки — четыре сына,
Четыре сына — одна овчина,

Кожух овчинный, мешок пеньки,
Четыре сына — да две руки!

Как ни навалишь им чашку, — чисто!
Чай, не барчата! — Семинаристы!

А у другой — по иному трахту —
У той тоскует в ногах вся шляхта.

И вот — смеется у камелька:
«Сто богомольцев — одна рука!»

И зацелованными руками
Чудит над клавишами, шелками...

Обеим бабкам я вышла — внучка:
Чернорабочий — и белоручка!

Москва, январь 1920

ИЗ ЦИКЛА «ПОЭТЫ»

* * *

Что же мне делать, слепцу и пасынку,
В мире, где каждый и отч и зряч,
Где по анафемам, как по насыпям,
Страсти, где насморком
Назван плач!

Что же мне делать, ребром и промыслом
Певчей! Как провод! загар! Сибирь!
— По наважденьям своим — как по мосту!
С их невесомостью
В мире гирь...

Что же мне делать, певцу и первенцу,
В мире, где наичернейший — сер!
Где вдохновенье хранят, как в термосе!
С этой безмерностью
В мире мер?!

Прага, 1923

ПРОКРАСТЬСЯ...

А может, лучшая победа
Над временем и тяготеньем —
Пройти, чтоб не оставить следа,
Пройти, чтоб не оставить тени
На стенах.

Может быть, отказом
Взять? Вычеркнуть из зеркал?
Так: Лермонтовым по Кавказу
Прокрасться, не встревожив скал.

А может — лучшая потеха
Перстом Себастиана Баха
Органного не тронуть эха?
Прокрасться, не оставив праха

На урну!..

Может быть, обманом
Взять? Выписаться из широт?
Так: временем, как океаном,
Прокрасться, не встревожив вод...

Прага, май 1923

ПОПЫТКА РЕВНОСТИ

Как живется вам с другою,—
Проще ведь? — Удар весла! —
Линией береговою
Скоро ль память отошла

Обо мне; пловучем острове
(По небу — не по водам!).
— Души, души! быть вам сестрами,
Не любовницами — вам!

Как живется вам с *простою*
Женщиною? *Без* божеств?
Государыню с престола
Свергши (с оного сошед),

Как живется вам — хлопчется —
Ежится? Встается — как?
С пошлюхой бессмертной пошлости
Как справляется, бедняк?

«Судорог да перебоев —
Хватит! Дом себе найму!»
Как живется вам с любовью —
Избранному моему!

Свойственнее и съедобнее —
Снедь? — Удачи не скрывай! —
Как живется вам с подобием —
Вам, поправшему Синай!

Как живется вам с чужою,
Здешнюю? Ребром — любя?
Стыд Зевесовой вожжою
Не охлестывает лба?

Как живется вам — здоровится —
Можется? Поется — как?
С язвою бессмертной совести
Как справляется, бедняк?

Как живется вам с товаром
Рыночным? Оброк — крутой!
После мраморов Каррары
Как живется вам с трухой

Гипсовой? (Из глыбы высечен
Бог — и начисто разбит!)
Как живется с стотысячной —
Вам, познавшему Лилит!

Рыночную новизною
Сыты ли? К волшбам остыв,
Как живется вам с земною
Женщиною, без шестых

Чувств?

Ну, за голову: счастливы?
Нет? В провале без глубин —
Как живется, милый? Тяжче ли —
Так же ли — как мне с другим?

Прага, ноябрь 1924

ИЗ ЦИКЛА «СТОЛ»

* * *

Мой письменный верный стол!
Спасибо за то, что шел
Со мною по всем путям.
Меня охранял — как шрам.

Мой письменный выючный мул!
Спасибо, что ног не гнул
Под ношей, поклажу грез —
Спасибо — что нес и нес.

Строжайшее из зеркал!
Спасибо за то, что стал
— Соблазнам мирским порог —
Всем радостям поперек,

Всем низостям — наотрез!
Дубовый противовес
Льву ненависти, слону
Обиды — всему, всему.

Мой заживо смертный тес!
Спасибо, что рос и рос
Со мною, по мере дел
Настольных — большал, ширел,

Так ширился, до широт
Таких, что, раскрывши рот,
Схватясь за столовый кант...
— Меня заливал, как шtrand!

К себе пригвоздив чуть свет —
Спасибо за то, что вслед
Срывался! На всех путях
Меня настигал, как шах —

Беглянку.
— Назад, на стул!
Спасибо за то, что блюл
И гнул. У навечных благ
Меня отбивал — как маг

Сомнамбулу.
Бить рубцы
Стол, выстроивший в столбцы
Горящие: жил багрец!
Деяний моих столбец!

Столп столпника, уст затвор —
Ты был мне престол, просто: —
Тем был мне, что морю толп
Еврейских — горящий столп!

Так будь же благословен —
Лбом, локтем, узлом колен
Испытанный, — как пила
В грудь въевшийся — край стола!

Париж, 1933

Юрий Олеша



ИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ДНЕВНИКОВ

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

Вот наиболее для меня дорогое воспоминание о нем.

Сейчас не могу вспомнить, каким образом и почему, но случилось так, что мы остались с ним вдвоем в какой-то красивой просторной комнате с большими окнами, за которыми гасла в это время необъятная, как всегда в Ленинграде, заря.

Да, да, это Ленинград... И вернее всего, я просто в гостях у Толстого. Мы только что пообедали, в руках у него чашка кофе, которую он не просто держит, а держит с той особой выразительностью, с какой он совершает все действия. Чашка, вижу я, перестает быть вещью — сейчас это какой-то крохотный персонаж в сцене питья им кофе, в сцене нашего разговора с ним. Так происходило и с трубкой, и с пенсне, и с появившимся из кармана автоматическим пером. Вкус к жизни, чувственное восприятие мира, великолепная фантазия, юмор сказывались и в том, что орудуя вещами, он их оживлял.

Во всяком случае, увидев его, нельзя было не рассказать на другой день также и о том, как он закуривал, или заводил часы, или надевал шляпу.

Итак, мы только вдвоем с ним в одной из тех прекрасных ленинградских комнат, которые характерны как раз своими окнами — прямо-таки шедеврами строительного искусства с их тонкими как бы позолоченными переплетами и стеклом чуть не во все небо. Тем больше находишь в этих окнах прелести, что ведь и Пушкин, думаешь, смотрел в них...

— Слушай,— говорит вдруг Толстой,— у меня есть один замысел. Рассказать?

В дальнейшем я выслушиваю историю о том, как он, Толстой, будучи ребенком, прочел некую повесть о деревянном человечке, кукле, извлеченной старым мастером из полена и отправившейся в странствие, где ей пришлось пережить целый ряд приключений. Повесть произвела на него очень сильное впечатление, очень понравилась, но произошло так, что книга сразу же куда-то запропастилась, и потому вернуться к книге еще раз он, маленький Толстой, уже не мог. А он мечтал о том, чтобы прочесть ее товарищам.

— Тогда я стал ее пересказывать по-своему. Каждый раз что-нибудь добавлял. Стала получаться какая-то новая история... Так вот слушай, что я хочу сделать. Написать книгу о приключениях деревянного человечка, причем объяснить читателю, что в данном случае я именно вспоминаю прочитанное и забытое... Что ты скажешь? По-моему, это хороший прием?

Я отвечаю каким-то «да, да, великолепно!» или «очень хорошо!». В общении с выходящими из ряда писателями всегда чувствуешь скованность, причину которой, кстати говоря, и объяснить не так легко: то ли мешает тебе быть оживленным скромностью, то ли наоборот, здесь играет роль боязнь показаться твоему необычайному собеседнику смешным или нелепым, — и причина, таким образом, в самолюбии. Впрочем, подобное переживание, возможно, свойственно только мне... Как бы там ни было, но эта скованность помешала мне сказать и Горькому, и Маяковскому, и Алексею Толстому те слова, которые, оставшись невысказанными, теперь наполняют меня сожалением, что я был с этими людьми в недостаточно серьезном общении.

Вот и теперь я отделался ничего не значащим одобрением, вместо того чтобы высказаться так, как мне хотелось. А мне хотелось оценить замысел, которым со мной только что поделились, как замысел, конечно, лукавый, поскольку все же автор собирается строить свое произведение на чужой основе, поскольку заимствование будет иметь форму поисков этого сюжета в воспоминании, и от этого факт заимствования приобретет ценность как раз изобретения...

— Слушай, я придумал, что когда деревянный человечек во время своих странствований встретится с кукольным театром, то куклы сразу узнают деревянного человечка. Они видят его впервые, но так как и они куклы и он кукла, то им ничего не стоит его узнать; они узнают, зовут по имени, окружают его — такие же, как и он, деревянные человечки!

Трубка изо рта вынута, он смотрит на меня, мигая.

— Сразу же узнают его и зовут по имени!

«О мой дорогой, — думаю я, — тебе есть дело и до кукол! Какая мощная в тебе сила творчества!»

Проклятая скованность мешает мне произнести это... Но ведь и он не для того импровизирует сейчас передо мной, чтобы услышать мою похвалу: он просто не в состоянии не выпустить на волю хоть на короткий срок толпящиеся в нем образы!

Я назвал это воспоминание об Алексее Толстом наиболее для меня дорогим. И правда: какое переживание может быть для человека, работающего в искусстве, выше того, которое дается ему судьбой вот в таком виде: высоко призванный мастер делится с тобой своим замыслом!

Мало что написано лучше, чем та сцена, когда Кэвор («Первые люди на Луне») и его спутник, ведомые селенитами, подходят к мосту над гигантской и, как ощущают они, индустриального характера пропастью и, увидев, что мост не шире ладони, инстинктивно останавливаются... Конвоиры с тонкими пиками, не зная, что причина остановки только в том, что мост слишком узок, рассматривают эту остановку как неподчинение, бунт. Они начинают покалывать своими тонкими пиками Кэвора и спутника — ну-ка, идите, в чем дело? А те не могут идти по самой своей природе! Безвыходность положения усиливается еще и тем, что если бы даже наши два земных жителя и попытались объяснить селенитам, почему именно они не могут вступить на такой узкий мост, то те все равно не поняли бы, поскольку у них, как видно, отсутствует ощущение и страх высоты. Тут Кэвор и его спутник (раздраженные кстати покалываниями) решают, что лучшее, что можно предпринять при таком положении, это начать драться... Подхватывают валяющиеся под ногами золотые ломы и крошат селенитов направо и налево.

Чудо!

Это похоже на Данте: селениты — бесы, переход по узкому мосту — одна из адских мук. Причем, та же сила подлинности, что и у Данте — *подлинности фантастического*.

Как не восхититься теми мастерскими интонациями, которые есть, например, в «Невидимке»!

— Твое лицо мне видимо, а тебе мое — нет! — говорит Невидимка полицейскому полковнику Эдаю, глупо решившему, что он сильнее Невидимки, поскольку обладает револьвером.

Он величественен, Невидимка. Почему? О, об этом можно писать и писать!

Потом он лежит на берегу моря, избитый матросами, — они пускали в ход лопаты! — и постепенно на глазах у толпы становится видимым — все более человеком, все более жалким. Был фильм о Невидимке. Уэллс ли сценарий? Фильм хуже романа, беднее по существу. В фильме невидимость приобретает вследствие медицинских инъекций, делающих человека невидимым, но одновременно обрекающих его на безумие. Так что причина безумия Невидимки в фильме — физиологическая, низшего порядка. В романе он стервенеет, сходит с ума от одиночества, от того, что он один против всех, — причина, следовательно, историческая, высокая. Это роман, как мне кажется, об анархистах, потрясавших ту эпоху, когда он был написан. Да, да, безусловно так; художественное отображение анархизма!

(В «Похищенной бацилле» он изображает анархиста уже непосредственно: герой повествования, анархист, похищает в лаборатории бациллу холеры, чтобы заразить весь Лондон.)

У него есть рассказ («Зеленая калитка») о человеке, который однажды в детстве, открыв некую встретившуюся ему по пути зеленую калитку, очутился в неизъяснимо-прекрасном саду, где на цветущей лужайке играла мячом пантера... Хотя произошло это в далеком детстве, на заре жизни, но воспоминание о чудесном саде настолько завладело душой героя, что вот идут годы, а он все ищет зеленую калитку. Теперь он уже зрелый, достигший высокого положения человек (он министр!), но лучшее, к чему постоянно возвращается его душа,— это мечта отыскать калитку. Однажды ему кажется, что он видит ее... Вот она, вот эта калитка! Он открывает, шагает — но нет за калиткой сада с играющей на лужайке пантерой: там мрак! Оказывается, он шагнул в шахту, в которую и провалился.

Рассказ, следовательно, о разладе между чистыми устремлениями юности и последующим попаданием, что ли, в плен житейской суете, заставляющей терять эту чистоту... «Зеленая калитка», мне кажется, могла бы оказаться среди рассказов, которые отбирал для «Круга чтения» автор «Записок маркера».

Наличие такого рассказа среди творений автора фантастических романов о технике представляет интерес в том смысле, что характеризует его воображение, как воображение поэтическое. Ведь в том-то и дело, что осмыслить рождавшуюся в мире великую технику и писать о ней взялся именно поэт! От этого фантастические романы Уэллса стоят перед нами, как некие мифы новой эпохи, мифы о машине и человеке.

Если мы говорим, что в капиталистическом мире техника подавляет человека, то лучше всего это подавление, этот страх человека перед машинной выразен, конечно, автором «Борьбы миров» — романа, где есть сцена, в которой смятенный человек в пиджачке и кривом галстуке, прижавшись к какой-то жалкой городской стене, с ужасом смотрит на приближающийся к нему сквозь развалины стальное щупальце марсианина...

Обычно в противовес чересчур уж сильному возвеличиванию Уэллса выдвигают Жюль Верна: ведь именно тот первым заговорил в литературе о технике! Может быть, это и так, но куда, скажем, капитану Немо до Невидимки! Жюльверновский герой — схема, уэллсовский — живой человек... Что может быть более условным, чем фигура Паганеля? Чуть ли не комический персонаж из оперетты Оффенбаха! Когда-то я работал над инсценировкой для театра «Детей капитана Гранта» и должен был отказаться от работы по той причине, что герои никак не оживали на сцене... Нужно было изобрести для них всю систему диалога, весь характер словаря, и когда я пытался сделать это, тогда происходили нарушения системы романа по другим линиям... Мне скажут, что есть же инсценировки жюльверновских вещей, тех же самых, скажем, «Детей капитана Гранта»... Есть, но в них нет живых людей, это феерии. Этим словом можно и

определить романы Жюль Верна: да, это феерии на темы техники. Смешно было бы умалять гений Жюль Верна, однако человеческая сторона его не интересует: он даже иногда подчеркивает это, делая своих героев очень часто чудачками, эксцентриками (члены Пушечного клуба, тот же Паганель) или мелодраматическими злодеями (Айртон)... Отсюда романы Жюль Верна не приобретают тех свойств, которыми, наоборот, отличаются произведения Уэллса: свойств подлинности, свойств эпоса. Мы никогда не забудем, читая Жюль Верна, что все это выдумка; при чтении же, скажем, «Борьбы миров» мы вдруг подпадаем под действие странного представления: вдруг начинает нам казаться, что и в самом деле было такое событие, когда марсиане пытались завоевать Землю.

Это скромный человек, бывший о себе, как о писателе, не слишком высокого мнения. Л. Никулин присутствовал при одном разговоре, когда Уэллс сказал, что гений — это именно Горький...

— А у меня всего лишь хорошо организованный мозг.

(Метафоры). Животные, как ничто другое, дают повод именно для метафор. О, я берусь из любой пасти, самой маленькой, вытащить целую ленту сравнений! Никогда не иссякает источник художественности, когда смотришь на зверя.

Велемир Хлебников дал серию звериных метафор, может быть наиболее богатую в мире. Он сказал, например, что слоны кривляются, как горы во время землетрясения.

Он (Хлебников) не имел никаких имущественных связей с миром. Стихи писал на листках — прямо-таки высыпал на случайно подвернувшийся листок. Листки всовывались в мешок. Маяковский приводит свидетельство о том, что, читая кому-либо стихи, Хлебников чаще всего не считал нужным даже дочитывать их до конца. Говорил: «Ну и так далее!» Сын математика, он занимался какой-то мистической смесью истории и математики — доказывал, например, что крупные события происходят каждые двести семнадцать лет. (Я видел эти его вычисления изданными — они назывались «Доски судьбы» — на плохой, желтоватой, но чем-то приятной бумаге времен военного коммунизма: большие афишные буквы и прямо-таки целая сирень цифр.)

Читать его стихи стоит большого труда — все спутано, в куче, в беспорядке. Внезапно появляется несравненная красота!

Походы мрачные пехот,
Копьем убийство короля,
Дождь звезд и синие поля
Послушны числам, как заход.
Года войны, ковры чуме
Сложил и вычел я в уме,
И уважение к числу
Растет, ручьи ведя к руслу.

Или (в обращении к поэту-символисту Вячеславу Иванову, знатоку греческой и римской поэзии):

Ты, чей разум стекал, как седой водопад,
На пастушеский быт первой древности...

Когда получаешь общее впечатление от его стихов, видишь в нем именно славянина, причем славянство захвачено им от Севера до Адриатики.

Однажды, когда Дмитрий Петровский заболел в каком-то странствии, которое они совершали вдвоем, Хлебников вдруг встал, чтобы продолжить путь.

— Постой, а я? — спросил Петровский. — Я ведь могу тут умереть.

— Ну что ж, степь отпоет, — ответил Хлебников.

Степь отпела как раз его самого! Мы не знаем, где и как он умер, где похоронен... Недавно умер и Петровский — казак с трубкой в зубах, вечно державшийся за эту трубку и никогда, казалось, не поворачивавшийся к вам лицом, а всегда поглядывавший на вас из-за плеча, из-за трубки.

Очень богато представлены звериные метафоры у чувашского поэта Якова Ухсая. Мне как-то дали для рецензирования его большую поэму «Перевал», и я нашел там чудеса в этой области. Солнце, говорит он, на закате так близко от земли, что даже заяц может достать до него прыжком! Корову он сравнивает с ладьей; бегущую лошадь, видимую вознице, с ручьем... Картофель у него похож на бараньи лбы, рожки ягнят — восковые, рога барана — как колеса... И, наконец, ботинки франта кажутся ему желтыми утятами!

Я несколько раз предпринимал труд по перечислению метафор Маяковского. Едва начав, каждый раз я отказывался, так как убеждался, что такое перечисление окажется равным переписке почти всех его строк.

Что же лучше? Не представление ли о том, что можно, опираясь о ребра, выскочить из собственного сердца?

Я столкнулся с этой метафорой, читая «Облако в штанах», совсем молодым. Я еще не представлял себе по-настоящему, что такое стихи. Разумеется, уже состоялись встречи и со скачущим памятником, и с царем, пирующим в Петербурге-городке, и со звездой, которая разговаривает с другой звездой. Но радостному восприятию всего этого мешало то, что восприятие происходило не само по себе, не свободно, а сопровождалось ощущением обязательности, поскольку стихи эти «учили» в школе и знакомство с ними было таким уроком, как знакомство, скажем, с математикой или законоведением. Их красота поэтому потухала. А тут вдруг встреча с поэзией, так сказать, на свободе, по своей воле... Так вот какая она бывает, поэзия! «Выскочу,— кричит поэт,— выскочу, выскочу!»

Он хочет выскочить из собственного сердца. Он опирается о собственные ребра и пытается выскочить из самого себя!

Странно, мне представились в ту минуту какие-то городские видения: треки велосипедистов, дуги мостов — может быть, и в самом деле взгляд мой тогда упал на нечто грандиозно-городское... Во всяком случае, этот че-

ловец, лезущий из самого себя по спирали ребер, возник в моем сознании огромным, заслоняющим закат... Так и впоследствии, когда я встречался с живым Маяковским, он всегда мне казался еще чем-то, а не только человеком: не то городом, не то пламенем заката над ним.

(Читая Толстого). Я никогда не вижу наружности Андрея Болконского. Он, по Толстому, красивый brunet — маленького роста, с маленькими руками. Впечатления нет. Безухов — толстый, большой, в очках. В сцене гнева он схватывает с умывальника мраморную доску и готов убить того, против кого гнев. Физическая сила. Его видишь! Наибольшее впечатление от Сперанского. Неприятный смех, белые руки. И это его «нынче хорошее вино в сапожках ходит», — когда, закупорив невыпитую бутылку, он уносит ее от гостей... По силе подлинности обед у Сперанского, может быть, первая картина в романе.

Как теперь читают «Войну и мир»? Мы, я помню, постепенно приходили к этому сроку — по лестнице, что ли, возраста: «Тебе нужно прочесть «Войну и мир», — говорил кто-то. Я прочел ее в эпоху первой любви. Хотелось, чтобы девушка, которую я любил — вся в лунном свете (о, можно было отдельно взять в руки волос ее локона и отдельно легший на него луч!), — хотелось, чтобы она «не изменила» мне, как Наташа «изменила» Андрею. Она как раз изменила! Я из «Войны и мира» вырвал пучок страниц — тех, где любовь Наташи к Андрею и похищение ее Анатолом, — и послал ей: чтобы внести мир в ее душу. Удивительно, ведь это и в самом деле было в моей жизни — я со всей верой допустил, что человека можно успокоить литературой!

Прочитав, например, записки Шаховского о первых днях в Москве после того, как оттуда ушел Наполеон, чувствуешь, что чего-то не досказал Толстой, не передал каких-то особенностей того года, тех дней, того стиля. Все это было более картинно, как все древнее. Вот именно, это было более, если можно так выразиться, старинно, более древне, более отодвинуто в сказочное...

Мне кажется, что Толстой сделал неправильно, избрав героем Левина, как он есть, с его мудрствованиями, антигосударственностью, поисками правды, и не сделав его писателем. Получается, что это просто упрямый человек, шалун, анфан-террибль, кем, кстати говоря, был бы и сам Толстой, не будь он писателем. Иногда Левин кажется самовлюбленным, иногда просто глупым... Все это оттого, что он не писатель. Кто же он в самом деле, если не писатель? Такой особенный помещик? Что же это за такой особенный помещик? Если он умен, философ, видит зло общества, то почему же он не с революционерами, не с Чернышевским — почему он, видите ли, против передового (а ведь Левин не очень сочувствует освобождению крестьян)? Если он умен, то почему же он не писатель, не Лев Толстой? Кто же он? Чудак? Просто чудак?

Как обстоит дело у Толстого с имущественным отношением к жизни? В ранних дневниках нет каких-либо свидетельств, которые говорили бы о пренебрежении его к материальной стороне существования. Скорее он был скуп. Что это за прихода-расходы в дневнике великого человека? Есть высказывание Толстого о Наполеоне, где он снижает величие последнего, ставя ему в вину именно его прихода-расходность, «суетливость» — как он определяет. Замечал ли Толстой, что у него не кристальная сущность в этом смысле?

Вспомнить только, сколько нравственной работы стоило Толстому так называемое опрощение, отказ от издательских прав... В самом деле, почему должна была возникнуть особая роль жены, с которой ему пришлось бороться? Если хотел опроститься, то и сделал бы это — так уж ли это трудно! С самого начала жил бы так, чтобы не нужно было опрощаться, отказываться от чего-то. Это не обязательно? Верно, не обязательно, но и не обязательно в таком случае ходить вокруг да около того, что тебе не достижимо, чего ты не можешь!

Как некоторые высокие достижения техники или медицины определяются словом чудо, — и есть поэтому чудеса техники или медицины, — так могут быть определяемы тем же словом и высшие достижения литературы — таким образом можем мы говорить и о чудесах литературы.

К чудесам литературы относится, мне кажется, то описание неба над головой идущих ночью в ущелье солдат, которое есть в одном из кавказских рассказов Толстого. Там сказано, что та узкая извилистая полоска ночного неба, полная звезд, которую видели над собой шедшие между двух отвесных стен ущелья солдаты, была похожа на реку. Она текла над головами солдат, как река, эта темная мерцающая бесконечностью звезд полоска.

Стоило бы подобрать сотню таких чудес. Зачем? Чтоб показать людям, как умели думать и видеть другие люди. Зачем это показывать? Чтобы и те, кто не умеет так думать и видеть, все же уважали себя в эту минуту, понимая, что поскольку они тоже люди, то они способны на многое.

Начальника станции, в комнате и на постели которого умер Лев Толстой, звали — Озолин. Он после того, что случилось, стал толстовцем, потом застрелился.

Какая поразительная судьба! Представьте себе, вы спокойно живете в своем доме, в кругу семьи, заняты своим делом, не готовитесь ни к каким особенным событиям, и вдруг в один прекрасный день к вам ни с того ни с сего входит Лев Толстой, с палкой, в армяке — входит автор «Войны и мира», ложится на вашу кровать и через несколько дней умирает на ней. Есть от чего сбиться с пути и застрелиться.

Одно из поразительных, если можно так выразиться, обстоятельств «Войны и мира» — это то, что Пьер Безухов, никому не открывавший своей

тайны (любовь к Наташе), открывает эту тайну пьяному и пошлomu оккупанту в горящей Москве... Они сидят в чужом доме, пьют вино, и Пьер рассказывает этому майору Рамбалью о своей любви. Майор, как ни пошл, как ни пьян, как ни груб (в результате того, что в данном случае еще и аэрователь), относится с пониманием к тому, что говорит Пьер,— понимает, что Пьер говорит именно о чистой любви.

— Да, да,— восклицает он,— ле нюаж! Облака!

Если бы я делал сценарий для фильма «Война и мир», я начал бы с этой сцены: Рамбаль и Пьер в чужом доме, начал бы с этого признания Пьера. Это сократило бы роман почти вдвое. Эти «нюаж» и были бы монтажным поводом для краткого изображения того, что было до 1812 года — изображения Наташи и всего, что связано с ней.

Странно, что существует, так сказать, на виду у всех стиль Толстого с его нагромождением соподчиненных придаточных предложений — по существу говоря, единственный в русской литературе по свободе и своеобразной неправильности стиль,— и до сих пор, одновременно с требованием, адресуемым молодым писателям, писать так называемо правильно, никто не дает объяснений, почему же Толстой пишет неправильно? Необходимо было бы (и странно, что до сих пор этого не сделали) составить диссертацию о своеобразной «неграмотности Толстого». Кто-то заметил, что Толстой знал о нарушениях им синтаксических правил (то и дело он говорит о том, что у него «дурной слог»), но вовсе не ставил себе в необходимость избежать этих нарушений,— он писал так, сказано в этом замечании, как будто до него никто не писал, как будто он пишет впервые... Таким образом и стиль Толстого есть проявление его бунта против каких бы то ни было норм и установлений.

Согласие на синтаксические неточности дало ему возможность легче справляться с трудностями изложения мыслей и описания вещей или обстоятельств. Другие писатели эпохи Толстого были чрезвычайно связаны запрещением, например, допускать соподчинение «что» или «который»... Оставаясь в рамках синтаксиса, они искали иных путей для составления фразы, и тем значительней их работа, что они эти пути находили. Впрочем, так ли уж важен синтаксис, когда пишет Толстой! Лишь он один, кстати говоря, и писал этим своим толстовским, неправильным языком, и никто этой манеры не позволил себе унаследовать.

Что он в конце концов проповедует, когда поет гимн косьбе? Я должен косить. Почему? Я должен изобретать анализ бесконечно малых, сочинять музыку Бетховена, а не косить.

Он проповедует не что иное, как гимнастику,

Толстой относился к кинематографу, тогда только что изобретенному, с одобрением, даже хотел, есть свидетельство, написать для какой-то тогдашней фирмы сценарий. На заре своего появления кино запечатлело из очень немногих именно Толстого. Сохранилось несколько кадров из этой хроники, и мы можем видеть подкатывающий к вокзалу экипаж и в этом экипаже господина в черном сукне, в черной шляпе, с огромным количеством седины на этом сукне и вокруг лица... Лёв Толстой... Бегут студенты, карабкаются на столбы, машут фуражками... Толстой, Софья Андреевна... Экипаж шегольски заворачивает, и все исчезает.

Я тоже мог бы увидеть живого Толстого... Я знаю людей, почти моих сверстников, которые его видели в детстве. Одна женщина рассказывала мне, как однажды, когда она была девочкой, она ехала с матерью в трамвае, и об одном сидевшем впереди старике мать сообщила ей шепотом, что это Толстой. Трамвай шел по теперешней Кропоткина — по тогдашней Пречистенке. Вдруг старик встал, чтобы выйти из трамвая... И пока он шел к выходу, весь трамвай стоял.

(Тургенев). Какая вершина художественности «Живые мощи»! Что за рассказ! Весь в том колорите солнца, смешанного с темной помещением, который и есть — лето; весь в описаниях летних вещей и обстоятельств — меда, ос, лучей, лесных животных. Там и сон, о котором рассказывает Лукерья, летний — смерть с желтыми глазами появляется на ярмарке. Но лучшее в рассказе — это внезапная радость, охватывающая Лукерью, когда она вспоминает, как однажды вбежал в ее мученическую келью заяц. Сел на задние лапы, посидел, поглядывая на нее...

— Как офицер! — говорит Лукерья, вспоминая красоту свою, вспоминая любовь.

У Пушкина есть некоторые строки, наличие которых у поэта той эпохи кажется просто непостижимым.

Когда сюда, на этот гордый гроб,
Придете кудри наклонять и плакать.

«Кудри наклонять» — это результат обостренного приглядывания к вещи, несвойственного поэтам тех времен. Это слишком «крупный план» для тогдашнего поэтического мышления, умевшего создавать мощные образы, но все же не без оттенка риторики — «и звезда с звездой говорит».

Не есть ли это воспоминание о портретах Брюллова — это «кудри наклонять»? Или передача того мгновенного впечатления, которое получил поэт, посмотрев на жену, которую знаем мы в кудрях? Во всяком случае, это шаг поэта в иную, более позднюю поэтику. Ничего не было бы удивительного, если бы кто-либо, даже и знающий поэзию, стал бы не соглашаться с тем, что эти два стиха именно Пушкина.

— Что вы! Это какой-то новый поэт! Блок?

Мы имеем в конце концов право выбрать из всего Пушкина строки, которые нам нравятся более всего.

И пусть у гробового входа...

Пять раз подряд повторяющееся «о» — «гробовоговхо»... Вы спускаетесь по ступенькам под своды, в склеп. Да, да, тут под сводами — эхо!

При одном счастливом прочтении строчек «Там упоительный Россини, Европы балофень, Орфей!» я заметил, что слова «Орфей» и «Европы» зрительно чем-то похожи. Я пригляделся и обнаружил, что слово «Орфей» есть в довольно сильной степени обратное чтение слова «Европы». В самом деле, «евро», прочитанное с конца, даст «орве», а ведь это почти «орфе»! Таким образом, в строчку, начинающуюся со слова «Европы» и кончающуюся словом «Орфей», как бы вставлено зеркало!

ПАМЯТИ СЕЙФУЛЛИНОЙ

Сегодня (27 апреля 1954 года) хоронили Лидию Сейфуллину. В гробу она, кукольно-маленькая при жизни, лежала так глубоко, что я, хоть и затратил усилия, но никак не мог увидеть ее лица. Она вся была покрыта цветами, как будто упала в грядку. Совсем маленький гроб, который несли среди других Лидин, Ступникер, Арий Давыдович. Вставили в автобус сзади, как это всегда делается. В небе проглянула синева...

Сейфуллину я видел с месяц назад в том же месте, чуть дальше, во дворе Союза писателей. Она шла навстречу мне быстрым шагом не только не мертвой, не только не больной — но даже молодой женщины. При ее миниатюрности обычно даже я, глядя на нее, посылал взгляд сверху. Так же сверху послал я его и при этой встрече — и встретил блеснувший серпом взгляд, полный молодых чувств дружбы, юмора... Именно так она показалась мне молодой!

Да будет благословенным ее успокоение! Мне кажется, что она любила меня, как писателя, понимала. В последние годы я не встречался с ней на жизненном пути. Почему-то иногда думал я о ней, как о существе уже погибшем, замученном алкоголем и неразрешающимися страстями. Нет, эта встреча во дворе Союза сказала мне, что я ошибаюсь: она явилась мне никак не погибшей — наоборот, как сказал я, молодой! Как синева сегодня, проглянула мне молодость души сквозь старую, порванную куклу тела. Так и ушла она для меня навсегда — весело сверкнув на меня серпом молодого взгляда, как бы резавшим в эту минуту все дурное, что иногда вырастает между людьми.

МИХАИЛ ЛОЗИНСКИЙ

Сегодня (3 февраля 1955 года) известие в «Литературной газете» о смерти поэта Михаила Лозинского. Он перевел несколько трагедий Шекспира, перевел «Божественную комедию» Данте. С его именем и трудом связано у меня одно из значительных переживаний: впервые я прочел Данте именно в его переводе.

Я не помню, видел ли его когда-либо. Наверно, видел, знакомился, но не могу восстановить, какой он — Лозинский. Вот уже он в раю Имею ли я право так распоряжаться? Поэты, хочется вспомнить, по Данте не оказываются ни в аду, ни в чистилище, ни в раю. Они — нигде, в городе, который называется Лим, среди сумерек. Данте встречается там группу поэтов, среди которых Гомер, с мечом в руке, как сообщает о нем автор.

Вечная память поэту, пересказавшему на родном языке чужое великое произведение!

(Максимилиан Волошин). Я познакомился с ним в Одессе, куда он приехал, бежав от большевиков — из «Совдепии», как называла тогда буржуазия Советскую республику. В Одессе были французы, сменившие немцев, потерпевших поражение и занятых уже собственной революцией. Пройдет еще некоторое время — и в Одессу придет отряд Григорьева, в ту пору еще солдата советской власти, еще не предателя. Максимилиан Волошин убежит в Крым.

Он отнесся к нам, молодым поэтам, снисходительно. Он выступил в «Литературном кружке» со стихами, которые в общих чертах я помню до сих пор.

В Угличе, сжимая горсть орешков
Детской окровавленной рукой,
Ты лежал, и мать, в сених замешкав,
Голосила в страхе над тобой.

Это из стихотворения о Самозванце. Причем, к образу Самозванца он в те дни обращал взоры по той причине, что, преданный буржуазии, считал большевиков тоже «самозванцами».

Волошин был упитанного сложения, с большой рыжеволосой головой, производившей такое впечатление, как будто он в чалме, — казалось, что он похож на турка, хоть и рыжеволос. Однако он был в пенсне. Читал он стихи превосходно, это была столичная штучка.

Из Одессы уходят оккупанты... Это, вернее, даже не французы — это греки с их мулами, которых они кормят горохом. Это маленькие чумазые солдаты в зелено-желтом, травянистом хаки, в пилотках, которые, кстати, в нашей армии еще не носились. Осень? Весна? Лето? Зима? Не знаю, все в тумане прошлого. Однако фигура поэта-символиста возвышается в этом тумане довольно рельефно. С рыжей кудлатой бородой и кудлатой же головой. Чего он хотел для родины? Тогда он не ответил на этот вопрос. Он ответил позже, когда, умирая советским гражданином в Крыму, в Коктебеле, завещал поставить вместо надгробия себе скамью для двоих — небольшую скамью, на которой могли бы объясняться в любви юноша и девушка.

(Для «Воспоминаний о Маяковском»). Предполагалась некогда экранизация «Отцов и детей». Ставить должен был В. Э. Мейерхольд. Я спросил его, кого он собирается пригласить на роль Базарова. Он ответил:

— Маяковского.

Я видел фильмы раннего кино, в которых играет Маяковский. Это собственно не фильмы — сохранилось только несколько обрывков. Странно

воспринимать их: трепещущие, бледные, как растекающаяся вода, почти отсутствующие изображения. И на них лицо молодого Маяковского — грустное, страстное, вызывающее бесконечную жалость, лицо сильного и страдающего человека.

Вскоре, после того как я приехал в Москву, однажды осенним вечером гуляя с Валентином Катаевым по Москве и как раз поднимаясь по Рождественскому бульвару мимо монастыря, мы увидели, что навстречу нам идет — то есть в данном случае спускается мимо Рождественского монастыря — высокий, широко шагающий человек в полупальто, меховой шапке и с тростью.

— Маяковский, — прошептал Катаев. — Смотри, смотри, Маяковский!

Я тотчас же согласился, что это Маяковский. Он прошагал мимо нас — этот человек, весь в желтом мутном свете тумана, — прошагал мимо фонаря, когда показалось, что у него не две, а с десяток ног, как всегда это кажется в тумане.

Я не был убежден, что это Маяковский, также не был убежден в этом и Катаев, но мы в дальнейшем все больше укреплялись в той уверенности, что конечно же это был Маяковский. Мы рассказывали знакомым, как встретили на Рождественском бульваре Маяковского, как он шел сквозь туман и как от тумана казалось, что его ноги мелькают, как спицы велосипеда... Вот как хотелось нам быть в общении с этой фигурой, вот каков был общий интерес к ней!

Необходимо, чтобы читатель понял характер славы Маяковского. И теперь есть у нас известные писатели, известные артисты, известные деятели в разных областях. Но слава Маяковского была именно легендарной. Что я подразумеваю под этим определением? То и дело вспоминают о человеке, наперебой с другими хотят сказать и свое... Причем, даже не о деятельности его — о нем самом!

— Я вчера видел Маяковского, и он...

— А знаете, Маяковский...

— Маяковский, говорят...

Вот что такое легендарная слава. Она была и у Есенина. По всей вероятности, если основываться на свидетельствах современников, легендарным в такой же степени был Шалапин. И уж безусловно вся страна, да и весь мир смотрели вслед Максиму Горькому.

Эта легендарность присуща самой личности. Может быть, она рождается от наружности? Скорее всего рождается она в том случае, если в прошлом героя совершилось нечто поражающее умы. Так Горький был бродягой, так Шалапин вышел из народа, так Маяковский был футуристом.

Горький пресекал эту славу («Что я вам — балерина?»)... Что ж, и никто из тех, кого я назвал, не заботился о ней специально, она сама шла за ними. Кстати, и Маяковский никогда не кривлялся, не позировал. Я помню, как он однажды, увидев чье-то восторженно уставившееся на него лицо, сказал хоть и с юмором, но все же раздраженно:

— Смотрит на меня и что-то шепчет.

Появление его фигуры — на каком пороге она ни появлялась бы — было сенсационным, несло радость, вызывало жгучий интерес, как раскрытие занавеса в каком-то удивительном театре.

Я был молод в дни, когда познакомился с Маяковским, однако любое любовное свидание я мог забыть, не пойти на него, если знал, что час этот проведу с Маяковским.

Общение с ним чрезвычайно льстило самолюбию.

По всей вероятности, он знал об этом, но своим влиянием на людей — вернее, той силой впечатления, которое он производил на них, — он распоряжался с огромной тонкостью, осторожно, деликатно, всегда держа наготове юмор, чтобы в случае чего тотчас же, во имя хорошего самочувствия партнера, снизить именно себя. Это был, как все выдающиеся личности, добрый человек.

Он с удовольствием, когда к этому представлялся повод, говорил о своей матери.

Помню, какая-то группа стоит на перекрестке. Жаркий день, блестит рядом солнце на поверхности автомобиля. Это автомобиль Маяковского — малолитражный «шевроле».

— Куда, Владимир Владимирович? — спрашиваю я.

— К маме, — отвечает он охотно, с удовольствием.

Автомобиль он купил, кажется, в Америке. Это было в ту эпоху не обычно — иметь собственный автомобиль, и то, что у Маяковского он был, было темой разговоров в наших кругах. В том, что он приобрел автомобиль, сказались его любовь к современному, к индустриальному, к технике, журнализму, выражавшаяся также и в том, что из карманов у него торчали автоматические ручки, что ходил он на толстых, каких-то ультрасовременных подошвах, что написал он «Бруклинский мост».

Вот мы идем с ним по Пименовскому переулку — помню, вдоль ограды, за которой сад. Я иду именно вдоль ограды, он — так сказать, внешней стороной тротуара, как обычно предпочитают ходить люди большого роста: чтобы свободней себя чувствовать.

Я при всех обстоятельствах, в каждом обществе, где бы мы ни бывали вместе, неиссякаемо ощущаю интерес к нему, почтительность, постоянное удивление. У него трость в руке. Он не столько ударяет ею по земле, сколько размахивает в воздухе. Чтобы увидеть его лицо, мне надо довольно долго карабкаться взглядом. По жилету, по пуговицам сорочки, по узлу галстука... Впрочем, можно и сразу взлететь,

— Владимир Владимирович, — спрашиваю я, — что вы сейчас пишете?

— Комедию с убийством.

Я воспринимаю этот ответ в том смысле, что пишется комедия, в которой происходит между прочим и убийство...

Оказывается, что это еще и название комедии!

Я почти восклицаю:

— Bravo!

— Там приглашают в гости по принципу «кого не будет», — говорит он.

-- Как это?

— Приходите: Ивановых не будет... Приходите: Михаила Петровича не будет... Любочки тоже не будет... Приходите...

Иногда он появлялся на веранде ресторана «Дома Герцена», летом, когда посетители сидели за столиками именно здесь, у перил с цветочными ящиками, среди листьев, зеленых усиков, щепочек, поддерживающих цветы,— среди самих цветов, желтых и красных; по всей вероятности, это была герань...

Все издали уже видели его появившуюся в воротах в конце сада фигуру. Когда он появлялся на веранде, все шепталось, переглядывалось и, как всегда перед началом зрелища, откидывалось к спинкам стульев. Некоторые, знакомые, здоровались. Он замедлял ход, ища взглядом незанятый столик. Все смотрели на его пиджак — синий; на его штаны — серые; на его трость — в руке; на его лицо — длинное и в его глаза — невыносимые!

Однажды он сел за столиком неподалеку от меня и, читая «Вечерку», вдруг кинул в мою сторону:

— Олеша пишет роман «Ницше»!

Это он прочел заметку в отделе литературной хроники. Нет, знаю я, там напечатано не про роман «Ницше», а про роман «Нищий»...

— «Нищий», Владимир Владимирович,— поправляю я, чувствуя, как мне радостно, что он общается со мной.— Роман «Нищий».

— Это все равно,— гениально отвечает он мне. В самом деле, пишу-щий роман о нищем — причем надо учесть и эпоху и мои особенности как писателя — разве не начитался Ницше?

Это было не то, что вчера,— как говорят в таких случаях,— а буквально это происходит сейчас. Буквально сейчас я вижу этот столик чуть влево от меня на расстоянии лодки, сифон сельтерской воды, газетный лист, трость, уткнувшуюся в угол скатерти, и глаза, о которых у Гомера сказано, что они как у вола.

Очевидно, большому поэту мало быть только поэтом. Пушкин, вспомним, тоскует от того, что декабристы хоть и заучивают его стихи, но не посвящают его в свои планы; автор «Божественной комедии» населяет ад своими политическими врагами; лорд Байрон помогает греческим повстанцам в их борьбе против турок.

Так же и Маяковский: и его не устраивало быть только поэтом. Он стал на путь агитации, родственный путь политического трибуна. Вспомним, сперва это юноша в бархатной нерусской блузе, это художник с уклоном в левое искусство, пишущий стихи, явно внушенные французской живописью — да просто с упоминанием ее мастеров:

Автомобиль подкрасил губы
У блеклой женщины Карьера...

И вспомним также, что в это же время это юноша, задумавшийся о революции, это юноша в тюрьме, снятый на полицейских карточках в профиль и фас.

(Для «Книги воспоминаний»). Так как это произошло по пути на бульвар, расположенный над морем, то всех нас, участвовавших в встрече, охватывало пустое, чистое, голубое пространство. Сперва шли по направлению к морю только мы двое — я и Катаев; поскольку мы именно шли, куда-то направлялись, то не очень уж смотрели на пространство вокруг... И вдруг подошел третий. Тут и обнаружилось, сколько вокруг нас троих голубизны и пустоты.

— Познакомься, Юра,— сказал Катаев. И затем добавил, характеризуя меня тому, с кем знакомил: — Это тот поэт, о котором я вам говорил.

Имени того, кому он меня представил, он назвать не осмелился; я и так должен был постигнуть, кто это.

Тот протянул мне руку. Я подумал, что это старик — злой старик; рука, подумал я, жесткая, злая. На нем была шапочка, каких я никогда не видел, — из серого коленкора. Да, он был также и с тростью! Он стоял спиной к морю, к свету, и был поэтому хоть и среди голубизны, но силуэтом — и поскольку силуэт, то борода, видимая мне в профиль, была такая же, как и ручка трости: твердая, загнутая, злая.

Этот старик еще прожил много лет — целую жизнь! Написал много прекрасных страниц. Получил из рук короля награду за то, что писал. И недавно этот старик умер — Иван Бунин.

(Александр Грин). От рождения мальчика держали в условиях, где он не знал, как выглядит мир, — буквально: не видел никогда солнца! Какой-то эксперимент, причуда богатых... И вот он уже вырос, уже он юноша — и пора приступить к тому, что задумали. Его, все еще пряча от его глаз мир, доставляют в один из прекраснейших уголков земли. В Альпы? Там на лугу, где цветут цикламены, в полдень снимают с его глаз повязку... Юноша, разумеется, ошеломлен красотой мира. Но не это важно. Рассказ сосредоточивается на том, как поведет себя это никогда не видевшее солнца человеческое существо при виде заката. Наступает закат. Те, производящие царственный опыт, поглядывают на мальчика. И не замечают, что он поглядывает на них! Вот солнце уже скрылось... Что происходит? Происходит то, что мальчик говорит окружающим:

— Не бойтесь, оно вернется!

Вот что за писатель Грин!

Его недооценили. Он был отнесен к символистам, между тем все, что он писал, было исполнено веры именно в силу, в возможности человека. И, если угодно, тот оттенок раздражения, который пронизывает его рассказы, — а этот оттенок, безусловно, наличествует в них! — имел своей причиной как раз неудовольствие его по поводу того, что люди не так волшеббно-сильны, какими они представлялись ему в его фантазии. Интересно, что и он сам имел о себе неправильное представление. Так как он пришел в литературу молодых, в среду советских писателей из прошлого, — причем в этом прошлом он принадлежал к богеме, — то, чтобы не потерять уверенности в себе (несколько озлобленной уверенности), он, как за некую хартию его прав, держался за ту критическую оценку, которую

получил в свое время от критиков, являвшихся проповедниками искусства для искусства. Так с гордостью он мне сказал:

— Обо мне писал Айхенвальд.

Я не знаю, что о нем писал Айхенвальд. Во всяком случае, он относил себя к символистам. Помню характерное в этом отношении мое столкновение с ним. Примерно в 1925 году в одном из наших журналов, выходящих в то время в «Красной ниве», печатался его роман «Блестящий мир» — о человеке, который мог летать (сам по себе, без помощи машины, как летает птица, причем он не был крылат: обыкновенный человек). Роман вызывал общий интерес — как читателей, так и литераторов. И в самом деле, там были великолепные вещи: например, паническое бегство зрителей из цирка в тот момент, когда герой романа, демонстрируя свое умение летать, вдруг, после нескольких описанных бегом по арене кругов, начинает отделяться от земли и на глазах у всех взлетать... Зрители не выдерживают этого неземного зрелища и бросаются вон из цирка! Или, например, такая краска: покинув цирк, он летит во тьме осенней ночи, и первое его пристанище — окно маяка!

И вот, когда я выразил Грину свое восхищение по поводу того, какая поистине превосходная тема для фантастического романа пришла ему в голову (летающий человек!), он почти оскорбился.

— Как это для фантастического романа? Это символический роман, а не фантастический! Это вовсе не человек летает; это парение духа!

Никакая похвала не кажется достаточной, когда оцениваешь его выдумку. Тут прямо-таки даешься диву. Хотя бы рассказ о человеке, который должен был, вследствие того, что был инсургентом, покинуть город, где жил и где оставалась его семья, и поселиться на противоположном конце той дуги, которую образовал берег залива между двумя городами, и как однажды прискакал к этому человеку из покинутого города друг с сообщением, что семья его во время пожара стала жертвой огня и что если он хочет застать жену и детей еще в живых, то пусть немедленно садится на его, друга, коня и скачет туда, на ту сторону залива, на тот край дуги. Друг сходит с коня, протягивает поводья — но инсургента нет! Куда он девался? Он его зовет, а потом ищет... Нет его! Что ж, гонцу ничего не остается, как опять сесть на коня и возвращаться. Вернувшись, он, к удивлению своему, встречает инсургента уже в городе — выходящим из больницы.

— Я успел с ними попрощаться.

— Постой,— спрашивает друг в ошеломлении,— ты шел пешком? Как же ты мог оказаться здесь раньше меня? Я скакал по берегу двое суток..

Тот, оказалось, шел не по дуге залива, а пересек его по воде!

Вот как силен, по Грину, человек. Он может, даже не заметив этого, пройти по воде. При чем тут символизм, декадентство?

Иногда говорят, что творчество Грина представляет собой подражание Эдгару По, Амброзу Бирсу. Как можно подражать выдумке? Ведь надо же выдумать! Он не подражает им, он им равен, он так же уникален, как они.

Наличие в русской литературе такого писателя, как Грин, феноменально. И то, что он именно русский писатель, дает возможность нам не так уж уступать иностранным критикам, утверждающим, что сюжет, выдумка свойственны только англосаксонской литературе: ведь вот есть же и в нашей литературе писатель, создавший сюжеты настолько оригинальные, что, ища определения степени этой оригинальности, сравниваешь их даже с первозданностью таких обстоятельств, как, скажем, движение над нами миров.

В последние годы своей жизни Грин жил в Старом Крыму, недалеко от Феодосии. Я там не был, в этом его жилище. Мне только о нем рассказывали. Его комната была выбелена известью, и в ней не было ничего, кроме кровати и стола. Был только еще один предмет... На стене комнаты — на той стене, которую, лежа в кровати, видел перед собой хозяин, — был укреплен кусок корабля. Слушайте, он украсил свою комнату той деревянной статуей, которая иногда подпирает бушприт! Разумеется, это был только обломок статуи, только голова (будь она вся, эта деревянная дева, она легла бы сквозь всю комнату — может быть, сквозь весь дом и достала бы сада!), — но и того достаточно: на стену, где у других висят фотографии, этот человек плеснул морем!

По поводу мнения иностранных критиков о том, что нашей литературе чужда выдумка... Однажды, в юности, получив очередную книжку «Мира приключений» (я вспоминаю не тот «Мир приключений», который выходил в советское время, а давний — приложение к журналу «Природа и люди»), я прочел в ней рассказ какого-то неизвестного русского писателя со следующим сюжетом (подчеркиваю: неизвестного русского писателя, фамилия которого мне даже не запомнилась!).

Инженер (тоже с русской фамилией) конструирует «машину времени», способную двигаться как в будущее, так и в прошлое. Однажды, когда, занятый вычислениями, он находился в кабинете, его два сына проникли в мастерскую, где снаряд его стоял уже в законченном виде... Услышав голоса, он бросается в мастерскую, но, увы, поздно: в мастерской пусто — нет ни машины, ни сыновей, улетевших с ней! Куда они улетели? В будущее? В прошлое? Инженер в отчаянии. И вот начинается сооружение некоего магнита, который обладает силой, так сказать, вытягивания машины из пространств времени, где бы она ни находилась — в прошлом или в будущем.

Слушайте, что придумал этот писатель... Многие годы инженер конструирует свой магнит. Вот он закончен... Инженер поворачивает рычаги — и в страхе отступает: перед ним с грохотом рушится наземь римлянин, в бороде, в латах.

Молчание, оба вглядываются друг в друга.

— Отец, — шепчет римлянин.

Имя сына срывается с уст инженера...

— Это ты?!

— Да, это я!

— А где же брат?

Следует пауза, во время которой, видя смятение сына, инженер начинает догадываться о случившемся... И сын произносит:

— Отец, я был Ромулом.

Таким образом, действие магнита было той молнией, при разряде которой был, как известно, взят на небо великий Ромул — в свое время братоубийца.

Гениальный сюжет именно в отношении выдумки! Причем, к выдумке, как таковой, русский автор добавил еще и человечность.

(О Данте). Сперва о нем знаешь только то, что знают все: автор «Божественной комедии», умер в изгнании — на паперти в Равенне; любовь к Беатриче; «горек чужой хлеб и круты чужие лестницы». Ну и, конечно, с детства не покидает воображения фигурка в красном с зубчатыми краями — капюшоне, спускающаяся по кругам воронки...

И вот, собравшись с духом, вы начинаете читать, прочитываете, и перед вами — чудо! Вы никогда не думали, никогда не допускали, что это так превосходно, так ни с чем не сравнимо. Вас обманывали, когда говорили вам, что это скучно. Скучно? Боже мой, здесь целый пожар фантазии!

Уже не говоря о точной и нежной поэзии, о грустных фразах, об удивительных эпитетах...

Будем помнить: Данте спускается в ад живой — не в качестве тени, а именно живой, таким же человеком, каким был у порога ада, на земле. Все остальные — тени, Данте — человек. Тень также и Вергилий — проводник Данте по аду. Густав Доре, иллюстрировавший «Ад», впрочем, в рисунке не делает разницы между Данте и тенями. Тени имеют тот же облик, они не клубятся, ничто сквозь них не просвечивает. И сам автор не описывает их как-либо особо, он их только называет тенями — в том смысле, что они уже умерли, не люди. Доре, правда, изображает Вергилия чуть могущественнее, чем его гостя, как если бы рядом с человеком стояла, скажем, статуя. Во всяком случае, Данте порой проникает к Вергилию, ищет у него на груди защиты.

Бесы, то и дело попадающиеся на пути Вергилия и Данте в виде отдельных групп — своего рода пикетов, дозоров, — сразу же замечают, что Данте живой, что он человек. У-у, как им хочется его схватить! Однако не решаются: мешает присутствие Вергилия — для них загадочное, не ясное, но какое-то безусловно ответственное, властное. Если бы не Вергилий, Данте несдобровать! Данте это понимает и смертельно боится бесов, которые на него прямо-таки ярятся.

И вот оба они, и мертвый поэт и живой, вдруг сбились с пути. Вергилий встревожен; что касается живого поэта, то тот в ужасе: в самом деле, ведь провожатый его в любую минуту — отозванный почему-либо высшей

силой — может исчезнуть! Он останется один! Один в аду, где сами имена ужасающе: город Дит, «злые щели»!

Так сказать, ориентиром для Вергилия служил мост. Вот тут он и должен быть, этот мост. Моста, однако, нет. Может быть, с самого начала было взято неверное направление? Пикет бесов — просто подлая пьяная банда — оказывается тут как тут.

— Здесь есть поблизости мост? — спрашивает Вергилий.

— ЕСТЬ! — отвечает один из бесов. Надо помнить, между прочим, что они крылатые. Представьте себе эту дюжину крылатых уродов, которые, отвечая Вергилию, перемигиваются. Да, да, именно так Данте и пишет: они перемигиваются!

— Есть мост! ЕСТЬ! Вот там! Туда идите!

Моста нет и там (он вообще разрушен), но бесам хочется навести на обоих путников панику, окончательно сбить их с пути. У бесов, кстати говоря, имеются клички. Как у воров и убийц — клички! И они издают похабные звуки. Изображают, говорит Данте, «трубу из зада».

Данте видит эти перемигивания бесов, точно оценивает смысл их поведения, — однако что поделаешь!

Вергилий следует по пути, указанному бесами, и не находит моста...

У меня нет под рукой книги, и я не могу вспомнить, чем окончилось приключение... Я только приведу ту необычайную мотивировку, которую изобрел автор для объяснения, почему не оказалось моста. Он обвалился во время того землетрясения, которое произошло в аду, когда туда спустился Христос!

Какая мощь подлинности!

Не удивительно, что, встречая Данте на улицах Флоренции, прохожие отшатывались в священном страхе:

— О боже мой, он был в аду!

Мне бы хотелось приблизить этого великого автора к русскому читателю. Конечно, не только из желания оказать ему исключительно, так сказать, информационную услугу, сделать его более образованным, взялся бы я за эту задачу — еще хочется мне поделиться с ним тем прекрасным, которое сейчас у меня на руках... Что может быть более радостного, чем делиться прекрасным!

ИП ДНЯ БЕЗ СТРОЧКИ

1

Иногда порт заполнялся серыми военными судами. Большой броненосец, и вокруг него суета мелкоты, вплоть до катеров... Тогда, в эти дни пребывания эскадры в Одессе, по городу, покоря девушек, разгуливали военные матросы (обыкновенных матросов в Одессе и без того было много, а это были именно военные матросы в погончиках на белых плечах голландок).

В ту эпоху и в армии и во флоте носили усы. Матросы особенно щеголяли этим украшением — своими маленькими, лакированно-блестящими, в большинстве случаев черными (поскольку флот набирался на Украине) усиками. Лица у них были смугло-румяные, груди красиво выпуклые, усики шелковистые... Иногда напрашивается обобщение, что именно матросы на первых порах были физической силой революции.

Я знал интеллигентного матроса, который, говоря со мной о коммунизме, привлек в качестве метафоры синюю птицу счастья из Метерлинка — Анатолия Железнякова, того самого матроса, которому был поручен разгон (так сказать, техническое его исполнение) Учредительного собрания. Он, как известно, подошел вдруг к председательствовавшему Чернову и сказал:

— Пора вам разойтись, караул хочет спать.

Караул был из матросов.

Он был очень красивый человек, Железняков, светлой масти, утонченный, я бы сказал — в полете. Он был убит на Дону в битве с Деникиным — убит в то время, когда, высунувшись из бойницы бронепоезда, стрелял из двух револьверов одновременно. Так он и повис на раме этой амбразуры, головой вниз и вытянув руки по борту бронепоезда, руки с выпадающими из них револьверами. Это мне рассказывал очевидец.

2

Если уж начинать писать книгу о своей жизни, то следовало бы первую главу посвятить тому удивительному обстоятельству, что я не был все время одинаковым, а менялся в размерах. Даже не мешало бы вспомнить и о том, что меня вообще не было.

Я иногда думаю о некоем дне, когда некая девушка направлялась на свидание с неким молодым человеком. Я не знаю ни времени года, когда совершается этот день, ни местности, над которой он совершается... Я не вижу ни девушки, ни молодого человека. Тем не менее оттого, что они в этот клубящийся в моем воображении день направлялись друг другу навстречу, произошло то, что в мире появился я.

А если бы свидание не состоялось? Должен был бы я все же появиться от другой пары людей? Именно я?

3

Она выходит между натянутыми влево и вправо створками зеленого, как оказалось, занавеса, босая, с одеждой, унесенной ветром в сторону. Мне кажется, что «ангел Рафаэля так созерцает Божество» — это об ангелах, которые, подперев подбородки, созерцают Сикстинскую. Пушкин, не побывавший за границей, знал, разумеется, эту картину по копиям.

Там оптическое чудо. Ангелы, облокотившись о что-то земное, смотрят вперед и, хотя она идет позади них, убеждены, что они ее видят.

Когда читаешь драматургическое произведение, то с особенным интересом ждешь, как будет реагировать действующее лицо на то или иное событие, призванное его ошеломить. Не восклицаниями же должен ограничиться, изображая такую реакцию, талантливый драматург:

— Да? Да неужели? Да что вы говорите?

Я однажды прямо-таки подкрадывался к такому месту... Тень Банко появляется перед Макбетом. В первый раз Макбет только испуган, молчит. Он опять к трону — опять тень! Молчит. Тень и в третий раз...

Ну, подумал я, как же будет реагировать Макбет?

Трудно представить себе более точную реакцию.

— Кто это сделал, лорды? — спрашивает Макбет.

Зная, как шатко его положение, он имеет основание подозревать лордов в чем угодно. Возможно, они и устроили так, что появилось привидение, — кто-нибудь из них переоделся или переодели актера.

— Кто это сделал, лорды?

А лорды даже не понимают, о чем он спрашивает.

Обычно говорят о нелюбви Толстого к Шекспиру. Однако уже по тому, как пересказал Толстой содержание первой сцены «Короля Лира», видно как раз обратное: Шекспир ему нравится. «Тут могла бы получиться прелестная сценка, — то и дело говорит Толстой, — но Шекспир со свойственной ему грубостью погубил ее». Как может не нравиться писателю, у которого такие широкие возможности то и дело создавать или хотя бы только задумывать прелестные сценки?

5

Когда читаешь «Дневник» Делакруа, прямо-таки чувствуешь рядом движения физического тела. Это не дневник, а сама восстановленная заклетами ума жизнь. Тем страшней замечать мне, что книга прочтена уже до середины. Он еще пишет свои записи; он хоть и болеет, но еще, как и все мы, думает, что этого — смерти — с ним не случится... А мне стоит перевернуть некий массив страниц, и вот его уже нет, этого Делакруа, так любившего поест и писать красками!

Это сильный ум, причем рассуждающий о вопросах нравственности, жизни и смерти, а не только об искусстве.

Он удивительно интересно говорит, между прочим, о Микеланджело. Тот был живописцем, по мнению Делакруа, — все же живописцем, а не скульптором. Его статуи повернуты к нам фасом, это контуры, заполненные мрамором, а не результат мышления массами. Нельзя себе представить, замечает Делакруа, Моисея или Давида сзади. Может быть (это мы уже скажем от себя), у Микеланджело были как раз прорывы в иное, несвойственное его веку, туманное, романтическое мышление, которое именно Делакруа и мог бы заметить? Может быть, Микеланджело уже видел те клубящиеся фигуры, которые впоследствии появились под резцом Родена? Во всяком случае, хочется защитить Микеланджело даже от Делакруа. Вспомним, кто был тот. Даже одна маленькая деталь его биогра-

фии способна потрясти: незадолго до смерти он нарисовал в своем доме на стене, сопутствовавшей поворотам лестницы, смерть, несущую гроб.

Не закончим сегодняшнюю запись на этом мрачном слове. Лучше вспомним что-нибудь приятное. Что же? А вот что. Однажды, когда я возвращался по улицам темной, блокированной английским крейсером Одессы, вдруг выбежали из-за угла матросы в пулеметных лентах и, как видно, совершая какую-то операцию, тут же вбежали в переулок. Затем один выбежал из переулка и спросил меня, в тот ли переулок они попали, как называется... И я помню, что он крикнул мне, спрашивая:

— Братишка!

Я был братишкой матросов. Как только ни обращались ко мне за жизнь — даже «маэстро!» «Браво, маэстро!» — кричал мне болгарин Пантелеев, концертмейстер, на каком-то вечере поэтов в Одессе, но, когда мне бывает на душе плохо, я вспоминаю, что именно этот оклик трепетал у меня на плече:

— Братишка!

6

Он немного сродни тем людям, которые появляются в фантастических романах Уэллса — в «Невидимке», в «Первых людях на Луне»... Маленькие английские клерки в котелках и с тоненькими галстуками, разбегающиеся во все стороны от появившегося из мира будущей техники дива или, наоборот, сбегающиеся, чтобы посмотреть на это диво и погибнуть. Что ж, он родился именно в эту эпоху. Если ему сейчас шестьдесят с чем-то лет, то он мог стоять вместе с теми велосипедистами, которые обступили упавший с неба шар Кэвора. Да, в ту эпоху он был мальчиком и жил в Англии. Мы знаем кое-что из его биографии. Так нам известно, что его мать была опереточная актриса; так известно также, что он начал с участия в мимическом ансамбле в Англии и вместе с ансамблем этим приехал на гастроли в Америку. Что же это за такой ансамбль, который вызывает интерес настолько, что его даже приглашают на гастроли в другую часть света? Тут мы ничего не можем себе представить, поскольку в наше время уже не было таких ансамблей.

Итак, Чаплин сродни человечкам Уэллса. Это знаменательно — он тоже напуган техникой, как и они, он тоже из-за машины никак не может наладить своего счастья.

7

Какое царственное письмо написал Чайковский по поводу переложения молодым Рахманиновым для четырех рук «Спящей красавицы»! Он, автор произведения, которое другой автор перекладывает в иную форму, укоряет этого автора в чрезмерном поклонении авторитету (то есть ему самому, Чайковскому), в отсутствии смелости и инициативы. Другими словами, ему понравилось бы, если бы Рахманинов отнесся к его произведению разрушительно!

От «Фрегата Паллады» у меня осталось упоительное впечатление отличной литературы, юмора, искусства. Я уж не говорю о самом материале романа — о том, как изображено в нем кругосветное путешествие: оно изображено настолько хорошо, что хочется назвать эту книгу лучшей из мировых книг о путешествиях.

Он имел свою каюту, Гончаров. На острове Мадейра его носили на носилках под паланкином, и он пил, как он подчеркивает, настоящую мадеру.

Как сильна наша литература, если такой великолепный писатель, как Гончаров, ставился литературными мнениями и вкусами чуть ли не в конце первого десятка!

В «Обломове» изображена женщина, у которой утомленный своим безумием герой (а лень и бездеятельность Обломова вовсе не «национальны», а характеризуют его, как именно душевнобольного, каким, как известно, был и сам автор) ищет успокоения. Эта женщина — замечательная фигура, и ее, как мне кажется, повторил Толстой, изображая жену того офицера в «Хаджи Мурате», в которой рождается вдруг влюбленность по отношению к Хаджи Мурату.

9

Необыкновенно медленно, как никогда на моей памяти, разворачивается в этом году весна. То зеленое, что виднеется сегодня между домами, из-за домов, еще далеко не то, что называется первой зеленью. Его еще нет, этого зеленого, оно скорее угадывается. Не слышно, например, запаха, характерного для этих дней. Может быть, впрочем, мир не устанавливает со мною контакта? Может быть, с годами теряется возможность этого контакта? Может быть, школьник слышит запах — вот этот школьник, который, как я когда-то, хочет со всей добросовестностью развязаться с заботами, чтобы ни одного дня весны не прожить невнимательно.

Надо выбраться за город. Поеду на какую-нибудь станцию, сойду и буду стоять. Установится ли контакт? Когда-то я хотел есть природу, тереться щекой о ствол дерева, сдирая кожу до крови. Когда-то я, впервые после перерыва оказавшись за городом, взбежал на невысокий холм и, не видя, что вокруг кладбище, упал, чувствуя восторг, в траву лицом — в ножи травы, которые меня ранили, плакал от сознания близости к земле, разговаривал с землей.

Поднявшись, я увидел деревенское кладбище с фанерными крестами, с фотографическими карточками — все в каких-то вьющихся лиловых побегах и с темным дубом, который склонялся над ним и шумел.

10

Я никогда не думал, что так вплотную буду заниматься Достоевским (пишу инсценировку «Идиота»). Все же не могу ответить себе о качестве моего отношения к нему — люблю, не люблю?

Основная линия обработки им человеческих характеров — это линия, проходящая по чувству самолюбия. Он не представляет себе более значительной силы в душе человека, чем именно самолюбие. Это личное, мучившее его качество он внес в человека вообще — да еще и в человека — героя его произведений... Можно ли, например, допустить, что Ганечка, столь мечтающий о разбогатении, не полезет в камин Настасьи Филипповны за горящими деньгами? Тем не менее он хоть и падает в обморок, но не лезет.

Наличие самолюбия, более сильного, чем жажда денег, восхищает Настасью Филипповну.

Впрочем, повалить в обморок здорового и наглого мужчину и как раз на грани исполнения мечты — это очень хорошо, очень изобретено!

Я ждал, как будет реагировать Настасья Филипповна на это падение Ганечки, так сказать, житейски. Она восклицает:

— Девушки, дайте ему воды, спирту!

Тоже очень хорошо!

С каким недоуменным презрением отнесся бы автор к моему похвалению! Однако в письме к княжне Оболенской (просившей у него разрешения переделать в пьесу «Преступление и наказание») он пишет, в ответ на ее похвалы, что ради вот таких отзывов писатели по существу и создают свои произведения.

Н. Н. Вильмонт говорил мне, что в замысле «Идиота», как свидетельствует сам автор, присутствовала также и тема Данте (хождение по кругам ужасов). Я еще ничего не читал по «Идиоту», не читал также уже имеющихся многих инсценировок — прочту потом, когда закончу инсценировку. Мне кажется, что так правильней: решить все сходу, на свежий глаз, непосредственно, доверившись собственной фантазии.

11

Рай по Данте — это лес. Переход от чистилища к раю незаметен. Вдруг становится светлей и безопасней. Изображен ручей, почти река, которая бежит среди леса. Беатриче появляется на колеснице, запряженной грифонами, в бело-зелено-красной одежде, окруженная старцами. Данте сперва видит все это отраженным в реке. Он встречает ее, стоя на берегу по ту сторону реки. Она благодарит его за то, что он любил ее, но укоряет за суетность, которую он проявлял на земле — за политиканство.

12

Это не было ни в воскресенье, ни в какой-нибудь праздник. В том-то и дело, что это был будний, обыкновенный день — и не в преддверии каких-нибудь событий в истории или атмосфере: весны, скажем, или приезда царя — нет, обыкновенный, рядовой день среди давно уже установившегося сезона.

И тем не менее на обед была подана индейка, и было также то сладкое, которое связано чуть ли не со сказками, — сладкое, которое даже опасно есть — не превратишься ли в карлика? Пломбир!

Так, именно сверхпраздничным обедом в обыкновенный день, предстало передо мной впервые богатство, предстал правящий класс.

— Юра, ты останешься обедать? Юра останется обедать! Да, да, останется!

Мне тогда было лет десять, но я еще не гимназист. Я еще просто мальчик в синих коротких штанах и черных длинных чулках.

Просто мальчик.

— Мальчик! — кричат неизвестно кому, и я тоже оглядываюсь. Оглянусь ли теперь, когда закричат: «Старик!»

Пожалуй, не оглянусь. Не хочется? Нет, я думаю, в основном тут удивление, что это наступило так быстро... Неужели наступило?

— Старик! Эй, старик!

Нет, это не я, не может быть.

— Старик!

Нет, не оглянусь. Не может быть, чтобы это произошло так быстро.

— Старик! Вот дурак — не оглядывается! Ведь это же я — смерть!

13

Иногда Рогожин мыслит не менее «по-барски», чем Мышкин. Купеческое, простонародное исчезает. Когда Мышкин рассказывает ему о «глазах», смотревших на него на вокзале, Рогожин спрашивает:

— Чьи же были глаза-то?

Уж очень это в соответствии с бредовым (в данном случае) мышлением Мышкина — «чьи глаза?»

Он не должен был здесь спрашивать. Поскольку это действительно он смотрел на князя на вокзале, то правильной было бы, если бы он промолчал; может, испугался бы.

Впрочем, великий художник всегда прав.

Между прочим, работая сейчас над репликами для той или иной сцены моей переделки, я иногда ухожу, если можно так выразиться, по строчке в сторону от того, как предложено Достоевским. Ухожу довольно далеко (мне в таких случаях кажется, что я добиваюсь большей театральной выразительности) — и каждый раз, как бы ни думал, что ушел правильно, все же возвращаюсь обратно к покинутой строчке Достоевского. Он всегда оказывается более правым!

14

Я видел Станиславского несколько раз в жизни. В первый раз тогда, когда Московский Художественный театр справлял, по всей вероятности, свое тридцатилетие. Я написал тогда пьесу «Три толстяка», которая была принята Художественным театром, и поэтому, в качестве автора театра, я присутствовал на этом юбилее — как на торжественном спектакле, так и на банкете. На спектакле, когда читались театру приветственные адреса, Станиславский и Немирович стояли очень близко рядом — вернее всего

выразиться: купно; каждый старался не стать впереди другого. Они немного топтались на месте, старание не стать впереди другого было заметно, и иногда поэтому получалось если не нелепо, то во всяком случае комично...

Позже, на банкете, вдруг, наклонясь, чтобы не задеть висящие, вернее стоящие, в воздухе во множестве воздушные разноцветные шары, идет в черной паре, и седой, и осклабясь, прямо ко мне Станиславский с бокалом. Вот он передо мной. Я еле успеваю встать. Рядом, помню, сидят Эрдман, Булгаков...

Он, держа бокал как для чокания, говорит мне лестные вещи о моей пьесе, я что-то отвечаю. Все подвыпивши; стоят шары, как некие лианы; подняв усатую губку, страдальчески и томно улыбается молодая Еланская...

За изобретением системы Станиславского (может быть, и как одна из причин ее рождения) ощущается постоянная и грустная мысль автора-актера о том, что спектакль всегда оказывается хуже самой драмы. Великие актеры, понимал Станиславский, умели уничтожить это превосходство драмы, но можно ли удовлетвориться такими частными, одиночными случаями? И он взялся за осуществление поразительного замысла: дать всем актерам возможность достигнуть уровня великих.

15

Разговор с артистом Борисом Ливановым. Его умные мысли о Гамлете. Говорит, что ведь пять лет работал над этой ролью!

— Возьми Лаэрта, Полония... Какие сами по себе величественные фигуры! А перед Гамлетом они ничто!

— Величественные?

Совершенно правильно он мне ответил, что Полоний вовсе не комический персонаж, ограниченно-льстящий, подслушивающий и т. п. Его любил, надо помнить, покойный король. Что касается Лаэрта, то это по крайней мере Сид.

— А перед Гамлетом — он фат! Не больше, как фат! А Горацио? Ведь это Эразм Роттердамский! И Гамлет учит его! Вот кто он такой, насколько он выше всех!

16

Одна из особенностей молодости — это, конечно, убежденность в том, что ты бессмертен — и не в каком-нибудь нереальном, отвлеченном смысле, а буквально «никогда не умрешь»! И это несмотря на свойственную молодости меланхолию, несмотря на мысли о самоубийстве...

Безусловно, я никогда не умру, думал я в молодости. Пока я стану взрослым, пока пройдут годы, что-нибудь изобретут, что не даст людям умирать. Это «пока пройдут годы» представлялось какой-то золотистой городской далью, каким-то городом будущего с обложки фантастического романа — и там, в этой дали, люди уже давно бессмертны! Интересно, что

бессмертие представлялось именно как результат какого-то открытия, изобретения. Какие-то большие машины, молнии тока шириной в дерево...

Странно, никто из писателей не отмечает этой уверенности молодых в бессмертии.

17

Франклин начал сознательно жить уже культурной, почти нашей современной жизнью в ту эпоху, когда в России был Петр, потом Анна, Елизавета. Подумать только, франклиновские правила нравственности, его типогRAFия, громоотвод — и елизаветинское вырывание языков!

Когда читаешь тенденциозно подобранные факты, личность кажется поразительной. Это своего рода «мирный» Наполеон. Та же всеобъемлющая энергия, только направленная на мирные цели.

Вдруг наталкиваешься на его злорадство по поводу приверженности индейцев к алкоголю и вследствие этого их вымиранию... Вот и историческая ограниченность! Индейцев он называет жалким племенем и высказывается в том смысле, что было бы лучше, если бы «провидение заменило их трудовыми хлебопашцами»... Кем же? Плантаторами с их рабством?

Для рождающегося нового мира буржуазии действительно открыватель, вождь. Кстати, это ему принадлежит выражение «са ира». Когда французы спросили его о его взгляде на дела их революции, он сказал:

— Са ира!

(Ничего, мол, дело пойдет!).

18

Вошли две девушки, одна покрупней, другая мелкая, — обе расфуфыренные, как будто собрались на вечеринку, — и с порога начали искать кого-то глазами. Я почувствовал, что меня. Так и оказалось.

— Олёша здесь? — спросила которая покрупней, переврав, конечно, фамилию.

— Алеша здесь?

— Да, да, я.

Они двинулись ко мне упругим шагом — в подобритых бровях, в локнах. Тем не менее обе были в белых халатах, и одна держала на руках ящик со стеклянными пробирками разных калибров — ящик-дикообраз, весь в стеклянной щетине...

Помню, я сказал им навстречу:

— Служба крови.

Верно, они пришли брать на исследование мою кровь. Обе сели: одна — спустив ноги по левую сторону кровати, другая — по правую. Которая покрупней взяла из ящика шприц.

— Протяните палец. Нет, этот.

Укол довольно болезненный. Потом ваша кровь взбегает в стеклянном столбике, и вы удивляетесь, что она так ярка. Потом — ватка, потом стеклышко, потом ваша кровь в виде пятна, потом девушка дует в трубку.

Вы острите. Обе девушки молчат. Вы хорошо острите. «Служба крови», например, это хорошо. Нет, они молчат. Они видят ужасное существо с гноящимися глазами, с руками в шелушащейся коже; вы были смертник — они это знают. Упруго встав, они идут к другой кровати, а вы вздыхаете и вот-вот заплачете.

19

Я знал нескольких графологов. Один, по фамилии Зуев-Инсаров, промышлял своим искусством, сидя за столиком в кино «Уран» на Сретенке. Очень многие из пришедших в кино и прогуливавшихся пока что в фойе останавливались у столика и заказывали графологу определить их характер по почерку. Зуев-Инсаров, молодой, строгий брюнет в черном пиджаке и, как мне теперь кажется, в черных очках, писал свои определения на листках почтовой бумаги.

Он и мне тогда составил характеристику — по-моему, правильную.

Кое-что из этого искусства я начал постигать. Мне, например, понятно, что если человек, быстро пиша, не забывает неведомо для себя проделывать удивительные по сложности соединения отдельных букв в единый, если можно так выразиться, полет, то такой человек, очевидно, обладает умением организовывать... У поэтов такие соединения бывают чрезвычайно красивыми. Приглядитесь к почерку Пушкина — кажется, что плывет флот!

Понятно также, что если буква стоит отдельно, то обладатель почерка — высокого о себе мнения. В самом деле, даже в скорописи человек успевает бросить каждую букву отдельно, как бы помня о каждой, как бы очень ценя каждую... Образец такого почерка — есенинский. Я видел зелеными ализариновыми чернилами переписанные им самим строфы. Каждая буква округла, почти кружок — каждая отдельно зеленеет на белой бумаге, как куст на снегу.

Другого графолога звали Веров. У него была косая борода, он был всклокоченный, нищий... Он мне сказал, что если ему дадут даже листок, напечатанный на пишущей машинке, то и то он определит характер печатавшего. Сказал также, что по почерку он может определить не то что характер, а сколько у человека комнат в квартире.

20

Я вспоминаю, что всю жизнь мешало мне жить постоянно появляющееся соображение, что прежде чем начать жить спокойно, я должен отделаться вот от этой заботы... Забота рядилась в разные личины: то она была романом, который я собирался написать (вот напишу роман и буду жить спокойно!), то квартирой, которую нужно было получить, то ликвидацией ссоры с кем-либо, то еще каким-нибудь обстоятельством. Однако, что бы ни было выполнено, я никогда не мог сказать себе: ну вот, наконец-то теперь я буду жить спокойно. Очевидно, самое важное, что надо

преодолеть, чтобы жить спокойно, это была сама жизнь. Таким образом можно свести это к парадоксу, что самым трудным, что было в жизни, была сама жизнь: подождите, вот умру и тогда уж буду жить!

21

Редко какое чтение так увлекательно, как чтение о Наполеоне. Он в каком-то салоне, будучи молодым генералом, в период ухаживания за Жозефиной, разыгрывал какие-то импровизации, изображая черта, строя гримасы, сверкая зубами. Свидетельница, в чьих воспоминаниях описана эта сцена, сообщает, что ему очень удавались эти импровизации, поскольку со своим темным лицом и белыми зубами он как раз походил на черта.

Его обычно изображают белолицым. Стендаль пишет о ровной и, как он замечает, производящей здоровое впечатление бледности. Ипполит Тэн в книге «Наполеон» (она у нас мало известна) говорит, что этот род был в прошлом, по всей вероятности, сарацинским. На Корсике, говорит он, много сарацинских погребений. Наполеон представляется Тэну сарацином, арабом. У него темное лицо (как об этом пишет упомянутая дама), и, только творя легенду, его делали белым. Оттого, что он араб, происходит и жестокость его по отношению к Европе, равнодушное проливание им крови европейцев.

Размышление во всяком случае талантливое.

22

Однажды мне попала в руки книга Шеллера-Михайлова, какой-то роман из собрания сочинений этого писателя, изданных «Нивой». Я стал читать этот роман — некую историю о денежно-наследственной неудаче в среде не то чиновничьей, не то профессорской... Бойко написано — но ни следа очарования, магии. Свадьбы, векселя, интриги, вдовьи слезы, прожигающие жизнь сынки... И вдруг, перейдя к одной из очередных страниц, я почувствовал, как строчки тают перед моими глазами, как исчезает страница, исчезает книга, исчезает комната — и я вижу только то, что изображает автор. Я почти сам сижу на скамейке, под дождем и падающими листьями, как сидит тот, о ком говорит автор, и сам вижу, как идет ко мне грустная-грустная женщина, как видит ее тот, сидящий у автора на скамейке...

Книжка Шеллера-Михайлова была по ошибке сброширована с несколькими страницами того же, «нивского» издания сочинений Достоевского. Страницы были из «Идиота».

Я не знал, что читаю другого автора. Но я почти закричал:

— Что это? Боже мой, кто это пишет? Шеллер-Михайлов? Нет! Кто же?

И тут взгляд мой упал на вздрогнувшее в строчке имя Настасьи Филипповны... И вот еще раз оно в другом месте! Кажущееся лиловым имя, от которого то тут, то там вздрагивали строчки!

Колоссальна разница между рядовым и великим писателем!

Иногда приходит в голову мысль, что, возможно, страх смерти есть не что иное, как воспоминание о страхе рождения. В самом деле, было мгновение, когда я, раздирая в крике рот, отделился от какого-то пласта и всунулся в неведомую мне среду, выпал на чью-то ладонь... Разве это не было страшно?

Я ни разу ни в детстве, ни в юности, ни позже в зрелые годы — словом, ни разу во всю жизнь не слышал пенья соловья... Для меня это была ложь, условность — когда я сам говорил о соловье или читал у других.

И как-то раз, уже совсем в зрелые годы, когда я жил в Подмосковье, днем, точнее в полдень, когда все было неподвижно, среди птиц и растений, вдруг что-то выкатилось из тишины — огромное звенящее колесо — и покатилося... За ним сразу другое колесо, за этим еще... И сразу же это прекратилось.

Эти колеса были, безусловно, золотыми, они были выше деревьев, катились стоймя, прямо и, вдруг задребезжав, мгновенно исчезли — как не было их!

Я посмотрел на того, кто стоял рядом со мной. Тот кивнул в ответ. Он услышал вопрос, который я не задавал ему, который только хотел задать: не соловей ли?

И, кивнув, он ответил:

— Соловей.

Лидия Чуковская



РАБОЧИЙ РАЗГОВОР

(Заметки о редактировании художественной прозы)

1

Многообразны обязанности редактора! Какие только небрежности не встречаются в писательских рукописях! И не только у начинающих. Иногда кажется, что автор писать — пишет, а читать — не перечитывает, надеясь, повидимому, что внимательно прочтает редактор.

«Страх нагонял на него смертельный ужас по несколько раз в день...» Страх нагонял ужас? Разве ужас — это не то же самое, что страх, только в более сильной степени? «Стада кииков в сотни голов удивленно поднимали голову при виде яков и людей...» Стада в сотни голов поднимали голову? «Он... чуть не стал участником в перегонке скота за границу». Участвовать можно действительно в чем-нибудь, но участником можно стать только чего-нибудь... Разве не обязательно для литератора строго соблюдать со здравым смыслом и с русской грамматикой? Ведь неряшливо писать — это значит неряшливо думать. Да еще прививать эту дурную привычку другим.

Когда читаешь «Джуру» Г. Тушкана — повесть, из которой мною заимствованы эти цитаты,— испытываешь прежде всего удивление. Это не рукопись, не черновик, не первый набросок. Это книга. У нее были рецензенты, был редактор — нет, несколько редакторов, потому что книга эта выходила не одним изданием, а несколькими, не в одном издательстве, а в трех. Как же случилось, что в ней сохранились нелепицы и неряшества?

Книга Г. Тушкана «Джура», выдержавшая четыре издания, предназначена Детгизом «для детей среднего и старшего возраста». Адрес ответственный. Но, читая главу за главой, дивишься не только нарушениям грамматики. Это, если сравнить с основными изъянами книги, сущие пустяки. Гораздо хуже, что автор испытывает слишком большое пристрастие к членовредительству. Герои то и дело наносят друг другу увечья.

«Нечеловеческий крик раздался рядом». Или: «Разозлившийся Тагай бросился душить девушку». Или: «Удар по голове свалил его на землю». И опять: «Сильный удар кулаком по голове опрокинул его на спину». И опять: «Юсуф, как сноп, повалился на землю». Или так: «Джура очнулся в луже крови». И опять: «Поставив ногу на труп, он произнес слова старинной клятвы: «Пусть я умру, если не напьюсь вашей крови...» Кровь хлещет на всех страницах этой детской книги, удары сыплются один за другим. В ней стреляют в трупы и плюют трупам в лицо. Часто бьют друг друга по голове, еще чаще вцепляются в горло. «Говори! — бросился к нему Джура и сжал горло Саиду...» Или: «Он с яростью, неожиданной для него самого, вцепился в горло старшего...» Это дерутся люди. А вот собаки: «Пес упал. Тэке схватил его зубами за горло». Или: «Предсмертный визг не успел вырваться из его горла, разорванного в клочки». Это о псах. А вот опять о человеке, растерзанном псами: «Один из узников... полез в подземелье, но почти сейчас же оттуда послышался отчаянный крик. Его вытащили с разодранным горлом».

Во имя чего же льется кровь, зачем перегрызаются горла? О чем идет речь в этой книге?

Действие в повести происходит в 1929 году на Памире в советской Средней Азии. В книге рассказывается о борьбе советских людей с басмачами. О самоотверженной работе молодых советских геологов. О происках империалистов. О шпионах и диверсантах, засылаемых империалистами в Советский Союз. И о Джуре — простом киргизском юноше, опутанном вековыми предрассудками, но смелом и благородном, которому после множества приключений, бед, боев и ошибок удается оказать Красной Армии важную услугу: воймать Черного Имама, опаснейшего врага советской власти. Но даже не в подвиге дело — нет, главная тема книги психологическая: с помощью советских людей Джура становится комсомольцем, настоящим большевиком.

Вот о каких существенных вещах — о росте человека, о необычайной судьбе, о развитии редкостного по силе и чистоте характера рассказывает повесть. Вот где ее главная тема. И вот почему три издательства — сначала Детгиз, потом «Молодая гвардия», потом снова Детгиз, потом Киргизский учебгиз выпустили «Джуру» для подростков. Они рассчитывали, повидимому, что эта повесть о борьбе и победе должна иметь большое воспитательное, да и познавательное значение: действие разворачивается в интереснейшем и мало исследованном крае — на Памире.

Но если бы редакторы этой книги были теми, кем они обязаны быть, — людьми, кроме всего прочего, чуткими к слову, — они, даже не побывав на Памире, легко уяснили бы себе, что ни одна из поставленных задач ни в малой степени не решена автором, что и героическая борьба с басмачами и не менее героическая работа геологов в неисследованных горах нужны автору лишь как предлог для бесконечно монотонного изображения пыток, драк, измен, преследований, предательств и проч. Доказать это утверждение можно с помощью анализа весьма элементарного. Говоря об ударах кулаком и стрельбе, автор, не проявляя вкуса и меры, проявляет во всяком случае темперамент: «Джура выхватил револьвер и выпустил в труп все пули одну за другой...» или «...на два пальца правее —

я в моей голове была бы дырка!» Когда же Г. Тушкан заговаривает о чем-нибудь другом — не о кулачной расправе — о драгоценных ископаемых, таящихся в горах Памира, или об истории басмачества, слог его коченеет, становится вялым, текст превращается в сухую справку из энциклопедического словаря, притворяющуюся то монологом, то диалогом.

«Самым удивительным для Джуры были рассказы о власти ходжей в Кашгарии. Страной около двухсот лет назад, до завоевания ее Китаем, управляли не столько ханы, сколько их духовные советники — ходжи, которые постоянно ссорились между собой. Распри ходжей привели к тому, что вся Кашгария поделилась на два лагеря, враждовавшие между собой из-за власти. Междоусобицей «черногорцев» — сторонников ходжи Исака-Вали и «белогорцев» — сторонников ходжи Ишан-И-Калаяп — сначала воспользовался ойротско-джунгарский хан, чтобы заставить страну платить дань, а потом Китай. Апак был убит ходжой Яхья, а последнего убил джунгарский хан, чтобы заставить страну платить дань, а потом Китай».

В справочнике такой текст был бы вполне на месте (хотя не совсем понятно, что означает предложение «а потом Китай»). Но в повести он звучит отрывком из справочника. Вряд ли можно представить себе, что он взволнует кого-нибудь: Джуру или читателя... И такая немощь постигает автора каждый раз, как он прикасается к теме, ради воплощения которой, казалось бы, и написана книга... Вот, например, как беседуют между собой герои об истории басмачества:

«Во времена эмира бухарского, — объясняет молодому геологу Юрию Максимов, «стройный, но уже немолодой человек в форме войск ГПУ», — разорившиеся декхане входили в состав басмаческих, деклассированных элементов. В глазах забитого населения за басмачами сохранился ореол защитников бедноты... Басмачи были всяких направлений. Были автономисты типа курбаши Иргаша или отъявленные разбойники типа Ахунджана и Хал-Ходжи, которые переходили на сторону победителей, чтобы удобнее было грабить. Были откровенные контрреволюционеры типа Маддамин-бека и Курт-Ширмата и просто спровоцированные крестьяне Курганской долины».

Не правда ли, как все это похоже на диалог, — на живую беседу живых людей?! Нет, об ударах по голове и о горле, разорванном в клочки, автор рассказывал куда горячее!

Так и видишь подростка, жадно перелистывающего книгу: он торопится пропустить или проглотить, не прожевав, это сухое сообщение, чтобы поскорее добраться до излюбленных автором, а потому и гораздо более богатых эмоциями страниц про мордобой, погони, переправы через пропасти.

И ждать читателю приходится недолго. Отработав повинность, сообщив в виде справки все необходимые сведения — геологические, политические, исторические, автор бросается в родную стихию — приступает к тому, ради чего на самом деле написана книга:

«Старший оглянулся, и в тот же миг Безносый выстрелил ему в спину. Старший упал замертво».

Или:

«Вот тогда-то и пришла Кучаку мысль выхватить нож из ножен Саида и всадить этот нож ему в живот».

Или:

«Тигровому удалось прыгнуть Тэке на спину и, сжав передними лапами его туловище, вцепиться в шею. Тэке внезапно перевернулся через голову и в этот миг сильным рывком когтей разорвал врагу живот».

Много крови — и мало литературного вкуса! Пристрастие к низкопробным шаблонам бросается в глаза на каждой странице. Удивительно, как это оно не бросилось в глаза первым критикам книги — ее редакторам!.. У героя есть любимая девушка. Под стать ему, она, разумеется, совершает подвиги в борьбе с басмачами.

«Гости спали. Женщины, сидевшие у костра, быстро пошли к двери, переступая через спящих басмачей.

— Куда вы? Назад! — громким шепотом позвала их Зейнеб. — Я всыпала им в айран порошок... Они спят крепко... Берите винтовки, берите курджумы. Мы возьмем себе их лошадей.

— А их зарежем! Правда? — И Биби вынула нож.

— Не стоит пачкаться. Мы свяжем их и оттащим за кишлак. Пусть знают, как резать киператиф, басмачи проклятые!»

Но и у Зейнеб бывают минуты нежности. Она умеет не только связать и оттащить басмачей, но и встретить возлюбленного.

«Навстречу Джуре выбежала Зейнеб. Ее побледневшее лицо, устремленное вверх, говорило о перенесенных мучениях и томительном ожидании.

— Джура! — только и сказала она, но в этом слове были и надежда, и восторг встречи, и любовь».

Повидимому, автор полагает, что, описывая погони, драки, отравления, шифрованные приказы, клятвы, кровавые стычки, и на этом фоне — «побледневшее» лицо, устремленное вверх», — он отдает дань романтике, столь любезной юношеству. Вывести автора из этого заблуждения и обязан был редактор. Он, первый квалифицированный литератор, ознакомившийся с рукописью на ее пути от писателя к читателю, он — редактор, то есть знаток языка и литературы, обязан был объяснить автору, что не следует путать романтику с дешевой бульварщиной, что романтика — звук высокий и чистый и ей чуждо безвкусное нагромождение страхов и красотей. Что юношеская книга мужественна, не боится боев и трагедий, но она благородна и потому чуждается любования кровью. Книга для юношества должна быть окрылена духом великой борьбы — тогда не страшны кровь и трупы. Но если душевные движения героев изображены поверхностно и вульгарно, если о целях борьбы рассказывается равнодушным языком справочника — тогда пафос ее отступает на задний план, а на первый выходит мордобой, предательство, пытка. «Саид мог бы сейчас же перерезать горло Кучаку от уха до уха... Избитый плетью Кучак лежал спиной на песке, закрыв лицо руками, а Саид сидел на нем верхом... беспрестанно тыкая деревянной ручкой плетки в его окровавленные уши...»

Не блеск ископаемых Памира, которые описываются в книге, не звук киргизских песен, которые приводятся на многих страницах, не подвиги борцов с басмачами, а вспоротые животы, окровавленные уши, перерезанные и перегрызенные горла — вот что останется в памяти подростка, когда он закроет книгу. О крови автор повествует с истинным сладострастием... Вот Джура пойман врагами и брошен в яму. Он жестоко голодает вместе

с другими узниками — Чжао и Саидом. Измучен он и мыслью о том, что Зейнеб похищена.

Ночь. Саиду снится сон о вкусной пище...

«В полузабытьи он увидел перед собой груды жареного мяса и огромный котел с кипящим бульоном. Саид потянулся к мясу, но не смог достать».

Но вот он очнулся от сна.

«Саид очнулся и явственно услышал, что кто-то ест, вкусно причмокивая губами. Саид быстро сел и оглянулся. Джура лежал ничком и что-то аппетитно ел. От злости Саид даже поперхнулся. Он ясно представил себе, как Джура вынимает из укромного местечка мясо и лепешки и втихомолку уплетает, даже не поделившись с ним... Просунув руку под лохмотья, он крепко схватил Джуру за волосы и сильным рывком запрокинул голову назад.

— Он грызет... собственную руку! — прошептал в ужасе Саид».

Оказывается, узнав о похищении Зейнеб, Джура решил покончить с собой,

Итак, когда Саиду показалось, будто Джура «вкусно причмокивает губами» и что-то «аппетитно» ест, в действительности несчастный юноша, желая перекусить себе вены, грыз собственную руку! И автор хочет уверить нас, что это правдоподобно, что можно принять человека, кончающего самоубийством, за человека, с аппетитом обедающего, уплетающего лепешки и мясо,— и редактор спокойно преподносит детям это смачное кровавое чавканье!

...«Издание переработанное и дополненное» — написано на титульном листе третьего издания «Джуры» (Детгиз). Дополненное? Жаль. Его бы сокращать и сокращать, спасая от мордобойных излишеств. Разумеется, редактор не может сделать бескрылую книгу крылатой, но он может и обязан по крайней мере оберегать читателя от вульгарности, безвкусицы, неряшества. Издание переработанное? Отлично. Ведь автор бывал на Памире, сам участвовал в событиях, описанных в повести... Ведь на страницах его книги нет-нет да и мелькнет нечто увиденное, услышанное: вот старик бережно снимает угольки с колен гостя, чтобы оказать ему уважение; вот сосульки на шерсти пса тихонько позванивают... Как ни мало этих строк в многолистной книге — отдельных строк, отдельных крох, намекающих на подлинность материала, что если бы редактор, при переработке, ухватился за эти намеки, сделал попытку разбудить творческую память автора, повести ее войной против всеудушающего шаблона? Тогда, быть может, Памир не оказался бы сделанным из папье-маше, история и геология не оказались бы пустыми отписками, борьба с басмачами — пинкертоновщиной, а люди — карикатурами. Приближение к жизни не сделало бы книгу менее захватывающей, но придало бы ей художественную достоверность... Но нет, и в третьем издании кровожадная Биби с той же верностью жизни восклицает: «А их зарежем?», а Зейнеб с той же обворожительной правдоподобностью отвечает: «Не стоит пачкаться!» Эти и многие другие реплики, поражающие своею фальшивостью, попрежнему украшают повесть... Не коснулась переработка и стиля: читаешь повесть — и кажется, что перед тобою плохой перевод какого-то плохого подлинника; русский язык в этой книге неуклюж, лишен гибкости, выразитель-

ности, красоты. Редкая фраза расчленена естественно, все в этом тексте сбивчиво, неуклюже, некрасиво. «Ручной компас был укреплен на кисти руки и помогал ориентироваться, но не было анеронда, чтобы определить высоту, и это мучило Юрия, как и то, что все скалы были под снегом, и это лишало его возможности вести геологические наблюдения». И это мучило, как и то, что и это! Но ни автора, ни редактора ни то, ни это не мучает. Повидимому, и автор и редактор находятся во власти теории, утверждающей, будто «приключенческая повесть» принадлежит к жанру, так сказать, «экстерриториальному», будто к ней литературные критерии неприменимы. Между тем эти критерии неприменимы только к тому, что вне литературы. Всякая книга, в особенности книга для подростков и юношей, кроме тех идейных и воспитательных задач, которые она перед собой ставит, всегда решает и чисто литературные задачи, постоянные, неотменяемые: она должна совершенствовать литературный вкус читателя, обогащать его язык и тем самым обогащать его мышление, углублять знание жизни. Литературные шаблоны способствуют выработке шаблонов мыслительных; неряшливость языка воспитывает неряшливость мысли. Безвкусица, прививаемая читателю с юности, ставит трудно разрушаемую стену между ним и подлинными произведениями искусства; они, эти подлинные произведения, своеобразны, а шаблон учит механическому, мертвенному однообразию форм; они требуют душевной и умственной работы, а шаблон приучает читателя наспех глотать страницы, не размышляя, не чувствуя, лишь бы поскорее добраться до очередного удара по голове кулаком; они твердят о красоте и трагедии подвига, а читиво приучает читателя смаковать мордобою и любоваться красотостью «побледневшего лица» и «восходящего солнца, озолотившего края белых облаков». Подлинные произведения искусства, которые юноше предстоит полюбить, учат постигать живую жизнь, понимать реальную действительность, а вульгарное читиво, подsunутое ему вместо повести,—неправдоподобное, внутренне-грубое,—отучает его от действительной жизни, выдавая за реальность безобразную смесь из окровавленных ушей, геологических терминов, шпионских шифров, восточных имен и звонкого девичьего смеха...

... Нет, искусство редактора, доблесть того редактора, в чьи руки попала книга Г. Тушкана, должны были проявиться не в правке текста — хотя, безусловно, каждая страница требует исправлений. Книга несостоятельна в самых основах своих — в тех основах, от которых зависит и стиль. Редактор должен был напомнить автору о жизненной правде — и о литературе. Если же автору папье-маше дороже, чем действительная жизнь, а бульварщина — дороже, чем литература, то общественным долгом редактора было отказаться от повести. И сделать все возможное, чтобы она не вышла в свет.

2

Легко примиряясь с пустотами и банальностями гладкого литературного стиля; не всегда препятствуя проникновению на страницы книг, газет, журналов элементарных грамматических ошибок (вроде: «встал» вместо «остановился», «стал»; «одел» вместо «надел»; «катастрофа чего-нибудь»

вместо «катастрофа с чем-нибудь»; «процесс над вредителями» вместо «процесс вредителей» и т. д.); не ведя достаточно упорной борьбы с канцеляризмами (вроде «нахождение статьи в сборнике доказывает» или «передача себя Ивановым в руки жандармов показывает»), — короче говоря, не замечая действительных и весьма злокачественных пороков текста, иные редакторы, рецензенты и критики проявляют прямо-таки болезненный испуг перед словами и выражениями, заимствованными из живой речи. И не только разговорной. Под предлогом борьбы за чистоту языка — борьбы, завешанной нам Горьким, — иной педант настойчиво преследует все, что не соответствует его представлениям о гладкописи и выходит за пределы его собственного — порой не слишком богатого — словаря. Крылов, Грибоедов, Некрасов, Толстой учились языку у народа — это известно редактору. На страницах произведений Горького, Шолохова, Фадеева звучит народная русская речь — щедрая, яркая, меткая, разнообразная. Редактору известно, что литературный язык постоянно обогащался и обогащается речениями языка народного, питается ими. И все-таки, заметив на странице слово «шматок», или «шебаршиться», или «дырье», или «кадь», или выражение «выплакать письмо», он аккуратно подчеркивает его и на всякий случай ставит на полях птичку. Он не уверен, существуют ли такие слова, а если и существуют, то будут ли они понятны читателям.

Редактору, по большей части жителю городскому, многие слова представляются просторечьем, а то и архаизмом. Он забывает о том, что читатель, в особенности подросток, обладает чутьем к родному языку, что он легко усваивает смысл слова, даже неизвестного ему, по аналогии или из контекста, что одна из задач всякой книги — в первую очередь юношеской — расширять и углублять представления читателя о мире, о жизни, о быте, об отношениях между людьми, а достичь этого не расширяя словаря, невозможно... С такой же энергией, как и отдельные слова, преследует редактор выражения и фразы, воспроизводящие синтаксис и интонацию разговорной речи:

Дядя Яша «узнаёт, уж ремня достанется!» — говорит один школьник другому. Редактор подчеркивает последние три слова. Повидимому, он находит фразу недостаточно интеллигентной. Быть может, ему хотелось бы, чтобы было сказано так: «Если дядя Яша узнает, он накажет тебя ремнем». Но тогда жизнь отлетела бы от этой мальчишеской реплики; фраза сделалась бы книжной, переводной, сухой... Исчез бы возраст говорящего, исчез бы его характер, а заодно исчезло бы и место действия — школа в далеком от центра рабочем поселке.

В настоящее время Детгиз выпускает собрание сочинений А. Гайдара. Редакторы проделали сложную текстологическую работу. В результате тщательного сравнительного анализа отдельных изданий, а иногда и рукописей читатель получает выверенный, избавленный от искажений гайдаровский текст. Это большая радость. Однако та же работа дает возможность увидеть, а каком направлении производилось редактирование текстов в разных издательствах — при жизни автора и после его смерти.

Тут та же борьба педантов с народной речью, с жизненно-верной разговорной интонацией.

«Она... надела на босу ногу туфли и ушла»,— пишет автор.

«На босые ноги» исправлено в одном из изданий.

«Хотел Васька бежать разыскивать Петьку, а Петька и сам навстречу идет»,— вполне разговорно, как бы от имени мальчика, сказано было в первом издании.

«...а Петька сам навстречу идет» — напечатано в одном из последующих. Убрано всего только маленькое словечко *и*, но сказовая интонация, присущая фразе, исчезла.

Герой гайдаровской «Школы» обменял свое пальто на долгожданную красноармейскую шинель. Ротный Сухарев доволен обменом: пошлет пальто домой — «дома баба куда как рада будет!» — с увлечением говорит он.

В одном из последующих изданий редактор весьма находчиво убрал слово «куда». Вместе с этим словом ушла из воскулицыня бурная радость бабы — и самого ротного.

Настойчивая борьба Горького против всяких «подъялдыкивать», «скукоживаться», «базынить», против тех беззастенчивых «выкулдыкиваний», которыми некоторые писатели засоряли литературу в тридцатые годы; призывы Горького оградить литературный язык, созданный великими мастерами, от областных провинциальных словечек, без толку, единого шегольства ради, вплетаемых в текст, были превращены иными редакторами (а также педагогами и критиками) в борьбу против всякого своеобразия языка, в отстаивание его мертвенной догматической нормативности.

Об этой вредоносной борьбе гневно писал у себя в дневнике Борис Житков:

«Все правки в сторону обесцвечивания текста на манер грамматической литературности. Язык этот утверждает, что ничего не случилось».

В самом деле, гладкий, правильный, книжный, письменный язык годится для толкового и благополучного отчета; в отчете не уместны внутренние жесты, взволнованность, гул спорящих голосов, слезы в горле или откровенный смех. Для отчета довольно и узкого словаря и одной-двух интонаций, потому что отчет по большей части изображает не жизнь в ее противоречиях, а определенным образом очерченный круг явлений. Но писатель призван изучать жизнь во всей ее сложности. Как же писать о жизни, не пользуясь живым словом? Для изображения людей нашей огромной, многонациональной страны, их труда, их быта, их мыслей, окружающей их природы словарь нужен богатейший, интонации разнообразнейшие. Пейзаж тайги не похож на морской. По-иному говорят люди разных поколений, разных профессий; по-иному в Москве, по-иному в Сибири. Общий культурный подъем в стране вовсе не обозначает исчезновение краевых, профессиональных, возрастных различий в народной, а стало быть, и литературной речи. Собственно тот литератор и называется художником, который обладает обостренно тонким слухом ко всем оттенкам родного языка, умеет поставить их на службу идеям и характерам и, создавая портреты героев, использовать все лексическое и интонационное разнообразие, таящееся в народной и литературной речи.

Собрание сочинений М. Горького — наглядный комментарий к его статьям о языке

Действительно, «выкулдыкиваний» мы у него не встретим. К нарочитому вкраплению в текст областных словечек для создания бутафорского «местного колорита» он не прибегал. Но и до и после революции, в очерках, в романах, в статьях, Горький, о чем бы и для кого ни писал, пользовался и редко употребительными, и старинными, и областными словами.

Редактор, который, судя по подчеркиваниям в рукописи, опасается, что читатель не поймет фразу: «они поднялись на взлобок» или выражение «кружная дорога» (сам он, повидимому, знает только пригорок, холм и только окружную дорогу), этот редактор легко обнаружит в сочинениях Горького такие слова, как «ведун», вместо распространенного колдун, волшебник, «упокойник» вместо общепринятого покойник, отнюдь не общерусскую «горнушку» и старинные «оны, кой, сие» (в статьях, написанных в тридцатые годы нашего века), и не зарегистрированные в словаре «волнишки» вместо маленьких волн, и искаженные на татарский лад русские слова: «тырактыр — железная лошадка», «пылатил налоги» — и многие и многие сотни слов, которые могут смутить редактора, привычного к речи бесцветной и не знающего никакого быта, кроме городского...

Надо ли объяснять, что «ведун» или «горнушка» — это, разумеется, не опiski и не ошибки мастера, а краски на его палитре?

«Для писателя-художника», — говорил Горький, — необходимо широкое знакомство со всем запасом слов богатейшего нашего словаря и необходимо уметь выбирать из него наиболее точные, ясные, сильные слова». Мнимые защитники чистоты языка желают помнить из всех формулировок Горького только определение «чистый», упорно, нарочито забывая об определениях «богатый», «сильный». И самое главное: они не умеют понять, что в художественном тексте нет слов дурных или хороших, существующих вне задачи, вне художественного замысла. Слово не бывает плохим или хорошим само по себе. Оно либо пригодно, в строю других слов, для достижения поставленной художником цели, либо нет. Чтобы судить о пригодности или непригодности отдельного слова, надо понимать цель, то есть идейно-художественный замысел всего произведения, данной главы, страницы, абзаца.

«Немцы наводнили своими войсками Украину, вперлись и в Донбасс», — написано в «Школе» Гайдара.

Что же? Пугаться тут слова «вперлись»?

Или: «Революцию устроили... Вся сволочь на прежнем месте», — говорит фабриканту о февральской революции в той же повести сторож.

«Мы рановато укладываемся дрыхнуть на дешевеньких лаврах...» — пишет Горький в статье «Литературные забавы». И надо быть безнадежным ханжой, чтобы, прочитав эти абзацы, упрекнуть писателей в употреблении грубого слова. Оно тут не зря грубое.

Горького не упрекали — и в данном случае Гайдара тоже. Но иные редакторы не желали и не желают судить о слове с точки зрения идейной и художественной задачи: характеристики того времени, когда оно произносится, лица, которое его произносит, той обстановки, в которой звучит это слово. Они попросту, не затрудняясь определением задач, подчеркивают и зачеркивают такие, извольте видеть, немисливо грубые слова, как, например, «шкурка» («ты меня за шкурку тащил!»). Случается, что

слово «дурак», даже сказанное по адресу таракана, пробуждает в педанте-редакторе если не тигра, то во всяком случае классную даму. «Что, я нарочно таракана посадил? — говорил мальчик в «Школе» Гайдара. — Сам он, дурак, заполз и удавился, а я за него отвечай!» В одном издании «Школы», между прочим даже и не предназначавшемся для детей, классная дама взяла верх: слово «дурак» было выкинуто... И это случай не единственный, весьма характерный. (Кстати говоря: мы потому и не считаем нужным, приводя примеры подчеркиваний, вычеркиваний, пометок на полях, — все они подлинны! — проставлять фамилии редакторов, что, к сожалению, приемы так называемой «стилистической правки» в большинстве редакций единообразны. Задача наша не в порицании того или другого редактора, а в выяснении, разборе и классификации наиболее вредоносных тенденций и ошибок, укоренившихся в повседневной редакторской практике... Оценивая характеры героев, композицию частей, рукопись в целом, редакторы весьма расходятся друг с другом; но, скажем, в борьбе с разговорной интонацией или с так называемыми грубыми словами проявляют удивительное единодушие.)

Многие редакторы так же, как и со словами, которые им представляются грубыми, упорно и без всяких размышлений воюют и со «старинностью» слов.

«Дед кивнул.

— Благодарствуйте! — сказал он, вздыхая».

Редактор подчеркивает слово «благодарствуйте». «Зачем этот старинный язык?» — строго спрашивает он на полях.

Казалось бы, ясно: затем, чтобы создать образ «деда» — старика, чья молодость прошла не в наше время. На речи этого деда-краснодеревщика отразилась среда, общение с «господами». Вот он и говорит так, как принято было говорить в барских передних. Но редактор не желает считаться с целью, с замыслом. Он видит слово само по себе — отдельно, и если сейчас так не говорят — оно, в его глазах, подлежит истреблению.

В рецензии на книгу М. Прилежаевой «С берегов Медведицы», — рецензии, кстати сказать, вполне благожелательной и справедливой, — критик приводит в качестве неудачной такую фразу: «Страстно хотел Миша, чтобы живописец из гордости расправился со своим поперечником». Чем фраза неудачна — критик не указывает, но укоризненным жирным шрифтом выделяет слово «поперечник»... Повидимому, оно звучало бы для него естественно лишь в таком контексте: «Сколько сантиметров¹ в поперечнике?» Но деревенский подросток, Миша Калинин, про которого написана книга, вероятно, знал, что «поперечником» называется по-русски человек, идущий поперек. Знает и современный читатель слово «перечить», «упрекать». Писательница, произнося это слово от имени своего героя — деревенского паренька, привезенного в столицу в конце прошлого века, — характеризует им и паренька и среду, в которой мальчик вырос... Существует чудесная русская поговорка: «Не люби друга потатчика, а люби друга поперечника». Жаль, если рецензент или редактор умеет любоваться народным русским словом только в учебниках по фольклору... «На пригорке белела церквушка», — пишет другой автор. «Маленькая церковь»? — предлагает редактор на полях.

«Протока», «на выходе из проулка» (вместо «выходя из переулка»), «круги (на плите — Л. Ч.) были покрыты изгарью и выплесками» — для чего употреблять в повести эти и подобные им слова? — молча, но укоризненно, спрашивает редактор, ставя птички на полях рукописи, где речь идет о Забайкалье.

Для чего? Правильнее было бы спросить, почему они употреблены. Потому же, почему Лев Толстой употреблял слова «леха», «севалка», «прополонная рожь», когда от изображения людей, беседующих в гостиных, переходил к крестьянам; потому же, почему Гоголь, взглянув на царичу Екатерину глазами своих героев-запорожцев, увидел даже ее в украинской свитке и в красных сапогах; потому же, почему Шолохов, как только привел своих героев на Дон, как только услышал плеск донской воды, так и заговорил донскими словами: «За кормой журчилась, плакала вода...» Художник видит своих героев в неразрывной связи с окружающей их природой, с их бытом, заражается речью от них; употребляя слова, принятые в том или другом крае, даже в прямой авторской речи, писатель как бы сливается со своими героями, невольно смотрит их глазами, слышит их ушами, усваивает их душевный строй. Слова, заимствованные из словаря героев и употребленные автором в изображении пейзажа, или одежды, или орудий труда, углубляют подтекст, струят тот естественный воздух, в котором работают, думают, борются, движутся люди. Если происходит это без нарочитости, органично, если областные слова употреблены с чувством меры и тактом — их нельзя истреблять, они чудодейственные помощники автора, слова-созидатели, слова-строители: благодая им за плечами людей проступает образ еще одного героя книги — того заманчивого края, где эти люди живут.

«Язык надо бы по всем отделам держать в чистоте,— писал Лев Толстой,— не то, чтобы он был однообразен, а напротив — чтобы не было того однообразного литературного языка, всегда прикрывающего пустоту»

Итак, чистый язык — это вовсе не пресный, не бедный язык, а наоборот — изобильный. Чистота языка — это не бледность, не однотонность, а выразительность, разнообразие, богатство. Гладкие фразы, всегда прикрывающие шаблонные мысли, готовые чувства, — вот что должен был бы преследовать редактор. А он вместо этого подчеркивает в тексте меткую и мудрую народную поговорку.

«Стоп! Выключай мотор! — говорит на собрании молодой рабочий изолгавшейся девчонке. — Кривое кривым не исправишь».

Редактор подчеркивает «кривое кривым» и ставит на полях вопросительный знак...

...Не следует превращать борьбу за чистоту языка в борьбу за его оскудение. Пресный, бескрасочный, книжный язык, быть может, годен для отчета или для назидательного рассказа (который, скажем в скобках, и сам никуда не годен, потому что не пахнет жизнью), но в правдивой художественной прозе, призванной бесстрашно воплощать жизнь во всех ее противоречиях, — он неуместен. Точнее говоря: им не обойдешься. Разумеется, вводить в литературу поговорки, областные слова, народную, порой грубоватую речь следует умеючи, со всей осторожностью и ответственностью. Но никакую работу над языком нельзя производить механически.

Горький предупреждал, что вопросы, связанные с языком, сложны, что иногда слишком простой ответ — вредный ответ, никакую работу над языком нельзя производить механически. Работа над языком — это не внешняя и не простая работа: она заключается вовсе не в том, чтобы отмечать на странице всякое мало-мальски необычное слово. Надо уметь слышать и видеть мир, который создает своим искусством художник, и идти этому миру навстречу. Механическим подчеркиванием слов, заподозренных в областном происхождении, тут ничего не возьмешь. Ссылки же на то, что читатель не поймет русского слова, если оно предстанет перед ним в не совсем обычном виде, пора бросить. Читатель не иностранец среди родных корней. Зная слова «гарь», «гореть» или «плеск», «выплескивать», он без усилия разгадает слова «изгарь», «выплески». Оберегать читателя следует от языка гладкого и бюрократического, а не от русского.

Да, сложны обязанности редактора... «Язык — народ, в нашем языке это синонимы, и какая в этом богатая, глубокая мысль!» — говорил Достоевский.

И какую великую ответственность возлагает эта мысль на писателя, а вместе с ним и на редактора художественных произведений!

3

Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Маяковский писали на русском литературном языке, мощно раздвигая его пределы, черпая богатства из речи народа. Но они не только пользовались языком литературным и народным, как чем-то готовым, чем-то раз и навсегда законченным, — они и творили его. Материалом в этом созидании был для них и русский литературный язык, и языки иностранные, из которых можно было черпать наименования отвлеченных понятий, и звучащая вокруг живая народная речь, и сокровища русского фольклора. Изю всех этих элементов создавался индивидуальный стиль великих писателей. Пушкин писал по-русски, но и по-пушкински, Некрасов — по-некрасовски, Маяковский — по-маяковски. Они, как все истинные писатели, были не потребителями-иждивенцами, а создателями, творцами языка.

«У народа, у языктворца, умер звонкий забулдыга подмастерье», — писал Маяковский после смерти Есенина. Роль писателя он определял, таким образом, как роль участника в языковом творчестве народа.

Желая похвалить одну из присланных ему рукописей, Толстой объяснял: «Язык же выше всякой похвалы... Это... сплошной живой язык с вновь образующимися словами и формами речи».

Литератор, желающий стать редактором, должен настойчиво, вполне сознательно, развивать в себе восприимчивость к особенностям интонации, голоса, стиля писателя и к тому стремлению «образовывать новые формы речи», которыми так восхищался Толстой.

«Язык его, до безумия неправильный, приводит меня в восторг: живое тело...» — писал Тургенев о языке Герцена.

В самом деле, если подходить к стилю Герцена только с точки зрения строгой логики и грамматической правильности — чуть ли не каждый абзац его гениальной прозы должен вызывать возмущение. Герцен писал о тишине в полях, о просторе:

«Вид полей меня обмыл...»

О самодержавии при Александре II:

«...оно созвало каких-то нотаблей и велело им молчать свой совет».

О московском барстве, устраивавшем пышные официальные банкеты:

«Удивлять стерлядями и кулебяками после того, как стерляди ели Муравьеву и кулебяки Каткову, как-то стало противно», — и этим грамматическим нонсенсом — «ели Каткову и Муравьеву», или: «а ведь Муравьеву обедают не трехлетние дети» — обедают кому! — подчеркнул холопское усердие, холуйство реакционного барства.

Герцен постоянно нарушал общепринятые нормы литературного языка, нарушал умышленно, сознательно, — и достигал нарушениями той необычайной выразительности стиля, которая приводила в восторг читателей и между ними Тургенева.

Но как трудно ожидать от иного редактора, чтобы он был пленен своеобразием чьей-нибудь писательской индивидуальности! Встречаются у нас редакторы — и их немало! — которые не только не способны радоваться новизне, необычности, своеобразию, но, перелистывая рассказ или повесть, вообще забывают, повидимому, что перед ними художественное произведение, а не отчет. Они далеко не всегда руководствуются общеизвестной истиной: художественное слово — слово образное, оно обращено к воображению и чувству. «Ученые утверждали, — пишет автор, — будто чернокожие люди смахивают на обезьян». «Походят», — поправляет редактор, зачеркивая «смахивают». Автор рассказывает о прекрасном, шумном кедре. Синицы весь день прыгают по его ветвям, издали кажется, словно кедр щебечет. «Стоит он весь живой, — пишет автор, — и тянется зелеными ветками все выше и выше к солнцу». Редактору показалось, что написать про кедр «стоит весь живой» слишком смело. «Стоит он весь зеленый», — поправил редактор. «Если махать проволокой перед магнитом, то в ней заводится электричество», — пишет автор. «Возникает», — интеллигентно поправил редактор. «Страшно ей, наверно, на островке жить, — пишет автор о птице. — В сильный шторм волны и до гнезда дохлестывают». Слово «дохлестывают» показалось редактору излишне сильным. «Доходят», — аккуратно поправил он...

Примеры этих микроскопических исправлений заимствованы мною из разных рукописей, представленных разными авторами в разные редакции в разное время. К чему же дружно, хотя и не сговариваясь между собой, стремились редакторы? Как можно характеризовать мелкие стилистические изменения, внесенные ими в текст? Странно выговорить: во всех этих случаях редакторы вели борьбу с образной речью, Писатель искал слова-образа; редактор — слова-значка. Каков же результат? Смысл каждой из приведенных фраз сделался беднее. «Ученые утверждали, будто чернокожие люди смахивают на обезьян», — тут «смахивают» говорит не только о сходстве; нет, это же слово подчеркивает, что ученые презирали чернокожих, и оно же подсказывает читателю, что автор ни в грош не ставит

суждение этих ученых. В данном контексте слово «смахивают» весьма содержательно, богато смыслом; «походят» — гораздо беднее. У него единственная смысловая нагрузка, а у вычеркнутого слова их было по крайней мере три. И «живой кедр» в приведенном контексте гораздо богаче, чем зеленый: за словом «живой» мы видим синиц, которые прыгают на дереве, слышим их щебет; в воображении возникают солнечные пятна, а может быть, и шум ветра... «Стоит он весь живой...» Заменить слово «живой» словом «зеленый» — поправка, казалось бы, небольшая и якобы точная: ведь дерево-то и в самом деле зеленого цвета! Но это мнимая точность — точность справочника, а не поэтического произведения, — и в данном случае весьма злостная, прямо губительная: одним ударом поправка убила и ветер и синиц — все содержание образа... Поэтическое слово потому и выразительно, что ему присуща большая емкость. «Каждое художественное слово... тем и отличается от нехудожественного, — объяснял Лев Толстой, — что вызывает бесчисленное множество мыслей, представлений и объяснений».

Эту емкость, это «множество» следует беречь. Незначительная, еле заметная поправка, замена всего только одного слова другим — еще одна замена, вытравливающая образ, еще одна — и текст неизбежно блекнет, теряет долю своей поэтичности, а читатель — долю предназначавшегося ему богатства.

Перелистывая рукопись и следя за подчеркиваниями редактора из страницы в страницу, с удивлением замечаешь, что иной редактор пугается всякого, самого обычного тропа: олицетворения, преувеличения, сравнения...

«Ни один листик невиданных дотоле деревьев не должен был пропасть для науки», — пишет автор, говоря о благородной жадности ученого, оказавшегося на неисследованном острове. «Гипербола?» — спрашивает на полях редактор, подчеркивая слова «ни один листик», как бы уличая автора в каком-то недостойном поступке.

«Она протянула вялую руку с убегающими синими жилками», — пишет автор о больной женщине.

Редактор вычеркивает слово «убегающими». Разве жилки могут куда-нибудь убежать?

«Рыбы плавали в тишине аквариума», — пишет автор. — Им снились ленивые рыбы сны. Трава спала. Спали камни...»

Редактор подчеркивает весь этот абзац и ставит на полях большой вопросительный знак. Легко догадаться, что смутило его: ведь на самом-то деле рыбы едва ли видят сны! А уж камни и травы спать наверняка не способны.

«Они шли, — пишет автор, — а за их плечами опять раздавалась музыка... Или, может быть, это был музыкальный след, оставшийся в воздухе?»

След, оставшийся в воздухе! След — не от реактивного самолета, от музыки! Редактор подчеркивает эту несообразность и снова ставит на полях вопросительный знак.

Хорошо, что этому редактору в свое время не попались рассказы, в которых он мог бы прочитать такие слова: «ночь росла и крепла» или: «домá уходят куда-то, смеясь им в лицо темными пятнами своих окон».

Ночь — растет! Разве ночь ребенок? Домá уходят и окна смеются?! Да разве они люди?.. Какой удивленной чертой подчеркнул бы редактор эти нелепые фразы из «Старухи Изергиль» и «Деда Архипа и Ленки», какой большой вопросительный знак поставил бы он на полях! Ведь окна в такой же степени не способны смеяться, как камни спать, а рыбы — видеть сны, а музыка — оставлять след в воздухе!

4

Нередко приходится слышать: «редакция много поработала с автором» — в качестве похвалы, или: «редакция мало, недостаточно поработала» — в качестве порицания. Между тем, желая оценить работу редактора, следовало бы спрашивать не о том, много или мало он потрудился, а о том, в каком направлении шла работа? Сохранила ли книга верность жизни, или утратила ее? Богаче ли, ярче ли сделалась книга, или беднее, бледнее? Отчетливее ли, чем в первом варианте, проявился в готовой книге собственный, индивидуальный голос писателя? Чище ли, выразительнее ли сделался язык?

На интересной дискуссии «Поэт и редактор», состоявшейся в Центральном доме литераторов в декабре 1955 года, С. Кирсанов, с благодарностью характеризуя работу одного из редакторов, сказал: «Он ничего не навязывал, а только советовал. У меня было ощущение, что для данной книги он проникся моим отношением к поэзии, так сказать, стал на мое место и изнутри, с этой позиции, показал мне неточности, излишества, недостатки построения...»

Есть ли у нас редакторы, умеющие посмотреть на вещь, созданную автором, сразу с двух позиций: не только «извне», но и «изнутри»? Разумеется, есть. Каждому писателю встречались и встречаются они на пути. И добросовестный литератор всегда говорит о них с уважением и благодарностью. Роль их велика, — даже вне зависимости от того, имеют они официальное звание редакторов или нет. Иногда это роль Страхова возле Толстого; иногда Анненкова возле Тургенева; иногда Стасова возле музыкантов и живописцев прошлого века; Маршака — среди наших современных литераторов. Как определить основу, соль редакторского искусства? Некоторые полагают, будто редактировать — это значит писать вместо автора. Один редактор так и говорил, возмущаясь строптивостью писателя: «Я сам литератор, у меня есть свои книги, я не слабее его, я имею право соревноваться с ним». Да, но не на страницах его повести. Даже если вставки сделаны умелой рукой, они чаще всего остаются чужеродными тексту, не приживаются в нем. (Не потому ли, что в авторском тексте иной подтекст?) Хороший редактор напоминает селекционера, заглушающего одни свойства растения, культивирующего другие. Напоминает он также тренера: ¹ он не работает вместо автора — как тренер не совершает упражнений вместо гимнаста, — но, ясно представляя себе особенности, творческих устремлений

¹ Оба определения — селекционер и тренер — принадлежат С. Я. Маршаку.

писателя, раньше многих разглядев, в чем для литературы объективная ценность его творчества, угадав сильные стороны его дарования, понимая и любя его замысел, — отчетливо видит недостатки в исполнении этого замысла и умеет мобилизовать силы писателя на их одоление. Редактор одними сторонами своего искусства критик, другими — режиссер. И уж во всяком случае — в первую очередь — общественный деятель, настойчивый борец за все, что в искусстве представляется ему свежим, правдивым, обещающим, ярким. Трогательны и точны слова Репина о Стасове: «Да, Владимир Васильевич был истый рыцарь просвещения: так много безыменно служил он самым тонким, самым глубоким сторонам большого [чужого] творчества».

«Служить чужому творчеству» — малому ли, большому ли — вот заветный долг редактора, его служение литературе. И у нас есть редакторы, самоотверженно исполняющие этот долг. Они умеют расшевелить воображение писателя, иногда — указав новый жизненный материал, иногда — напомнив высокий литературный образец; умеют побудить писателя снова и снова, еще и еще раз, перечувствовать и передумать положение или характер и найти для перечувствованного свежее, собственное, новое слово. (Для такого редактора работа над стилем, над языком не существует отдельно, сама по себе, как нечто дополнительное, внешнее. Нет, язык произведения редактор постигает вместе с самой сущностью книги, с сердцем ее. И, воздействуя на эту сущность, он тем самым воздействует на язык, на стиль.)

Но не о них (не о Горьком и Короленко) — не о редакторах-художниках — идет сейчас речь. Об их работе, чтобы она стала явственной, осязаемой, зримой, следует написать целую книгу или объемистую статью. В подобной книге надо иметь возможность проследить все варианты повести, рассказа или романа, воспроизвести беседы редактора с автором, продемонстрировать и осмыслить крупные и мелкие перемены, возникшие в произведении в результате творческого общения редактора с автором. Тогда станут ясными и те позиции, на которых редактор стоит, и методы его работы. Книга о редакторе-художнике и редакционном коллективе, воздействующем не только на рукопись, но и на творческий путь писателя, может и должна быть создана. Однако задача настоящих заметок другая — здесь речь идет не о редакторе-художнике, не о деятеле литературы, а о человеке, в искусстве случайном и тем не менее в редакционном кресле сидящем весьма прочно. Ни собственными воззрениями, ни каким бы то ни было методом он не обременен. Воззрения ему заменяет воля непосредственного начальства, а метод — набор укоренившихся предрассудков. Подобный редактор не считает себя обязанным проникать в авторский замысел, уважать и растить индивидуальную манеру писателя. Напротив, он сознательно и бессознательно борется с этим замыслом и с этой манерой всеми доступными ему средствами. А средствами он располагает большими. Он может подталкивать писателя на упрощенное, схематическое решение конфликта вместо сложного, жизненно-верного; подчеркиваниями в тексте и вопросами на полях он может сбивать писателя с трудной собственной тропки на легкий, проторенный путь; заменами слов и фраз он может делать текст бледнее и суше; отдельными вставками — делать его тривиаль-

ним. Он может тратить силы и время писателя в самую тяжелую пору работы совершенно попусту, уснащая поля произвольными замечаниями, оспаривать которые не стоит, а исполнять не к чему. «Это был веселый, энергичский человек»,— пишет автор. Редактор подчеркивает «энергичский», он привык к форме «энергичный». «Ему представилось»,— пишет автор. «Припомнилось»,— предлагает редактор на полях... «Так создались его очерки»,— пишет автор. «Сложилось»,— предлагает редактор. Можно принять «энергичный» вместо «энергичский», и «припомнилось» вместо «представилось», и «сложилось» вместо «создались» — текст ничего не потеряет, но писатель зря потеряет время. За подобными замечаниями не стоит ровно никакой мысли, они плод обыкновенного редакторского или рецензентского зуда. Редактору и рецензенту положено что-то делать с рукописью, а что именно — им не всегда ясно. Вот и начинается «энергичный» вместо «энергичский» или странная перебранка с героями, затеянная рецензентом на полях для того, чтобы побудить их вести себя более разумно.

«Таня разделась и легла,— пишет автор про девочку, у которой незадолго до этого умерла няня,— а в кровати вдруг горько заплакала, не то вспоминая няню, не то от жалости к себе.

«Плохо, Таня!» — пишет рецензент на полях.

«Евсеев встал,— повествует автор о молодом человеке, злоупотребляющем спиртными напитками,— подошел к окну, распахнул его.— Эх! Весенние лужи, воробьи чирикают. И в комнату шум ворвался, и благовест ближнего храма, и еще чего-то там, и стук колеса.

Рецензент возмущен невежеством Евсеева. Забыть знаменитые стихи! Эттакая д-дубина!

«И говор народа, господин Евсеев!» — подсказывает он молодому человеку на полях.

Но не все поправки и замечания бывают столь беспомощны и невинны. Редактор — по неведению, конечно! — может, зачеркнув одно слово, уничтожить, убить интонацию.

«Да и о чем теперь разговоры разговаривать!» — кричит озлобленная, несчастная, грубая кладовщица учительнице, пришедшей ее утешить.

«Да и о чем теперь разговоривать!» — исправляет редактор. Убрано всего одно слово, а характерность реплики, верность жизни, простонародность интонации исчезла!

Иногда редактор вычеркивает не слово, а словечко — какой-нибудь союз,— но этого бывает достаточно, чтобы погасить фразу. «Вот и врешь»,— говорит один из героев сказки. «Вот врешь»,— поправляет редактор,— и, уничтожая «и», уничтожает сказовость речи. «А я им и говорю»,— повествует герой другой сказки. «А я им говорю»,— исправляет тот же редактор... Многие редакторы ожесточенно борются со всеми и всяческими повторениями, словно забыв, что повтор один из сильнейших способов эмоционального воздействия. «И так она его просила, так просила, что не мог Манук...» — рассказывает сказку писатель. «И так она его просила, что не мог Манук...» — исправляет редактор, уничтожая вместе с повторением всю страстность, всю настойчивость просьбы. «...а рядом с ними сидит очень худая и очень печальная красавица и поет им песню»,— вспоминает герой «Дальних стран» Гайдара, Петька, размышляя о картинке в старинной книге про

разбойников. Редактор зачеркивает «очень» и этим простым арифметическим действием — вычитанием — наповал убивает и старинность картинки и наивность Петьки, столь искусно выраженные в этих двух «очень»: «очень худая и очень печальная красавица...»

Впрочем, спешу оговориться: бывают повторения, к которым редактор благосклонен, которых обычно он не замечает совсем. Если автор,— скажем, критической статьи,— демонстрируя удивительное убожество словаря (а стало быть, и мысли!), поминутно повторяет «занял прочное место» или «вносит вклад»; если критик радуется сообщением, что творческий путь такого-то писателя «любопытен», так как у этого писателя имеются «любопытные» очерки — подобное пустословие легко сходит ему с рук... Если автор повести пишет: «Боец, закутанный в халат, подошел к Тэке и бросил кусок лепешки. Взбешенный Тэке бросился на него», редактор не замечает ляпсуса. Но стоит повторам начать в тексте работать, создавая впечатление живой, непринужденной речи, стоит им сделаться элементом постройки — им несдобровать. Редактор подсчитывает слова, вместо того чтобы вслушиваться в интонацию фразы. В своей вражде к повторениям слов, фраз, синтаксических фигур редактор не остановится даже перед тем, чтобы походя разрушить ритм — весьма существенный элемент художественной прозы. (Как известно, не только проза Гоголя проникнута ритмом; свой, иногда более, иногда менее выятный, ритм присущ всякой прозе. И ритм следовало бы уметь слышать, ведь в ритмическом движении не менее, чем в синтаксисе и словаре писателя, проявляется его индивидуальность.)

Автор пишет: «Он видел, как торгаши спаивают туземцев. Он видел, как на ржавые топоры... торговцы выменивали у туземцев жемчуг и драгоценные металлы. Он видел торговлю людьми».

Редактор, не слыша ритма, не понимая, почему автор повторяет слово «он», требует, чтобы «он» было произнесено один раз.

«Там все они заболели,— пишет автор,— и, больные, выбивали руду в дурно укрепленных, грозящих обвалами, узких, сырых и темных шахтах; там таскали они носилки с рудой — по пяти пудов на каждого, а каждый был закован в кандалы; там они жили в вонючих чуланах, где стен и пола видно не было из-за насекомых; там в ответ на бесчеловечье и грубость начальства им пришлось объявить голодовку, которая едва не была приравнена к новому бунту».

И там... в этой смрадной тюрьме, во время редких прогулок, совершаемых в цепях по берегу Аргуни, братья Борисовы приступили к научной работе».

Редактор подсчитал: пять раз повторяется «там»! И оставил одно. И из-за этого арифметического способа редактирования вся постройка оказалась разрушенной, провалилась, как мост, из-под которого вынули опору.

Напрасно в подобном случае автор попытается напомнить редактору «Полтаву»:

Что он не ведаёт святыни,
Что он не помнит благостыни,
Что он не любит ничего,
Что кровь готов он лить, как воду,
Что презирает он свободу,
Что нет отчизны для него.

Или:

Его глаза

Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен.
Он весь — как божия гроза.

«Так ведь то стихи!» — удивленно скажет редактор... Напрасно автор приведет ему кусок из «Анны Карениной», где в трех строках четыре раза повторяется слово «туго»: «У крыльца уже стояла туго обтянутая железом и кожей тележка с туго запряженною широкими гужами сытою лошадью. В тележке сидел туго налитой кровью и туго подпоясанный приказчик...»; или — из «Дыма» — «По углам виднеются молодые благообразные мужчины; тихое искательство светится в их взорах; безмятежно тихо, хотя и вкрадчиво, выражение их лиц; множество знаков отличия тихо мерцает на их грудях».

Редактор только подивится самонадеянности автора, который осмеливается сравнивать себя с Пушкиным, Тургеневым и Толстым. Такой редактор убежден, что классики — это классики; их место черстветь в шкафу; он не верит, что они принимают самое деятельное участие в повседневном труде современного советского литератора.

Но никакие вычеркивания и подчеркивания, никакие пометки на полях не могут, разумеется, нанести рукописи такой вред, как самовольные вставки, которые иногда позволяет себе в изобилии делать редактор вопреки воле автора и существующему авторскому праву.

«Эх, ребята! — сказал Володя. — До чего хороший этот Чугунок. Последней рубашки не пожалел», — пишет автор. «Ребята помолчали, охваченные единым чувством восхищения, восторга», — вставляет редактор. «Все-таки пришла», — подумал Володя. «Все-таки пришла! — задохнулся неожиданной радостью Володя», — добавляет редактор. «Она вспомнила классную комнату», — скромно пишет автор. «Перед мысленным взором возникла классная комната», — поправляет любитель красоты. «Говорила девушка», — пишет автор. «Повернула к нему пылающее лицо девушка», — украшает редактор. «Нина вернулась минут через сорок. — Вот и я! — она аккуратно вытерла ноги о половик». Но редактору неинтересны какие-то там бытовые подробности, половики, ему лишь бы приукрасить героиню. Он вычеркивает половик: «Вот и я! — радостно воскликнула она, вся румяная от мороза».

...Много ли поработал редактор? Да, очень много. Но злокачественность его самоуправства ясна: он внес в повествование инфекцию дурного вкуса, он заразил его штампами, он попытался навести глянец на повесть, а заодно и на действительность... Прискорбное происшествие это случилось на периферии, но и столица не свободна от подобной практики.

Мне известен один московский редактор, который, найдя, что в том месте рукописи, где рассказывается о поездке героини на Волгу, великая русская река изображена недостаточно величаво и пышно, достал из кармана авторучку и приписал: «Кругом была дивная природа...» Автор — москвич; можно было пригласить его в редакцию, прочесть главу с ним вместе, убедить, разохотить его. Но редактор предпочел поступить проще и быстрее — и от щедрот своих преподнес автору в подарок этот цветок

красноречия во вкусе Остапа Бендера. И очень обиделся, когда автор отказался от подарка: тот был не лауреат, даже не член Союза писателей, и, в представлении редактора, упорствовать ему не полагалось по чину...

Редактор-чиновник, искренне верящий, что, принимая рукопись к печати и «обрабатывая» ее, он оказывает автору великое благодеяние, склонен рассматривать строптивость писателя как черную неблагодарность. Ему не приходит на ум, что неуступчивость автора, повышенная чувствительность к перемене ритма, словаря, оттенка мысли, интонации (не говоря уже о переменах более существенных) свидетельствует о сильно развитом чувстве ответственности за свое слово, без которого писатель не писатель, а холодный ремесленник.

Чаще же всего в ответ на просьбу или настойчивое требование автора оставить в неприкосновенности то или иное слово, тот или иной оборот редактор возражает:

«Отчего вы так настаиваете? Ведь этот пустяк принципиального значения не имеет», — как будто для писателя, движимого желанием выразить пережитую сердцем мысль, может в его произведении оказаться «непринципиальным», безразличным хотя бы единое слово; как будто в произведении литературного искусства, материал которого — язык, можно заменять слова, не затрагиваясь при этом до характеров, до ритма, до стиля — до всех тех элементов, которые должны единодушно работать на воплощение мысли! Ведь мысль произведения не существует догматически, отдельно, в одном каком-нибудь месте; она разлита повсюду — значит — и в образах, и в пейзажах, и в ритме, и в каждом слове — «разлита», по выражению Беллинского, «как свет в хрустале».

...«Но почему же автор допускает редакторские бесчинства?» — вправе удивиться читатель.

Халтурщикам и приспособленцам (а их среди литераторов немало!) любые перемены, вносимые в текст, нипочем — им хоть трава не расти, лишь бы гонорар заплатили. «Вся румяная от мороза?» — «пожалуйста!» — сказал бы халтурщик, — даром, что речь идет о девочке истощенной, измученной недоеданием и непосильным трудом. Но писатель, который работает в полную силу ума и сердца, с чужеродными и самовольными поправками борется очень активно. Они, эти чужеродные поправки, искажают нечто основное — то, из чего родился текст: пережитую писателем мысль о жизни. Однако эта неравная борьба сильно осложнена для писателя многоступенчатостью в обработке рукописи. Неизвестно, какие требования — последние. Случается, что аппетит (у редакции) приходит во время еды. Вот рукопись — второй или третий вариант — отправлена в набор. Больше не будет изменений? Неизвестно. В гранках с нею может впервые ознакомиться главный редактор и потребовать чего-то совсем неожиданного. И это еще наилучший случай: потребовать; в худшем — главный редактор, по обычаю, перешедшему в книжные и журнальные редакции из газет, просто вписывает в текст или выкидывает из него какой-нибудь абзац, две-три строки: на то он и главный, чтобы распоряжаться окончательно! Автор живет в том же городе, его можно пригласить по телефону — зачем? Так, самому, быстрее и легче. Редактор забыл, что хоть и велика его ответствен-

ность, — полностью отвечает перед народом, перед читателем за свое произведение — автор. Случается иногда, что писатель, открыв вышедшую книжку журнала, с удивлением ищет исчезнувший из его повести или обна- руживает неизвестно когда возникший в ней абзац. Смысл этого нового абзаца, быть может, и не противоречит всему предыдущему, да стиль его другой, чужеродный: другой ритм, другая интонация, и он торчит, бро- сается в глаза, как шелковая заплатка на бархатном платье... Но предпо- ложим, что редактор не пожалел времени — довел свои предположения до сведения автора. И случилось так, что его просьбы не соответствуют замыслу писателя, чужды ему, он не согласен исполнять их. Писатель стучит ку- лаком по столу, если живет в том же городе, и шлет телеграммы — если живет далеко. Редактор настаивает. Что может сделать автор? По закону он имеет право на любой стадии взять свое произведение обратно. Но шутка сказать — взять обратно! Пропадет огромный, порою многолетний, труд. Долгожданный разговор с читателем не состоится. И где достать деньги, чтобы вернуть их издательству? Да и отказавшись исправлять, взяв рукопись обратно, писатель «срывает план». К тому же в рукопись, в гранки, кроме его труда, вложено уже много чужого труда: труд рецензен- тов, редактора, корректора, наборщиков, в нее вложены государственные деньги. Взять рукопись обратно? Она уже не совсем твоя. Да и кроме того: «Ну, что вы волнуетесь из-за пустяков? — протвореча самому себе, при- мирительно говорит главный редактор или заведующий отделом.— Неужели для вас это так уж существенно: играет румянец на щеках у героини или нет? Да еще там какие-то и! Ведь это же непринципально!»

5

«Принципиальной» редактор-чиновник склонен считать вообще только собственную деятельность, а ее он сводит в сущности к работе цензора.

Разглядеть подтекст произведения, вникнуть в идейный замысел книги, больше того — дерзнуть воздействовать на этот замысел, сделать для автора увлекательной борьбу за воплощение передовых идей века — искусство, требующее от редактора подлинной идейности, истинной любви к литера- туре, глубокой проницательности.

Редактор-чиновник этих качеств и умений лишен. Он понимает свою задачу гораздо элементарнее, грубее. Он не столько проницателен, сколько подозрителен. Основное его стремление — вывести писателя на чистую воду. Разоблачить его. В глазах такого редактора «тема» заключена в названии, в прямых высказываниях автора и действующих лиц; язык, ритм, интона- ция — все это к «теме», к «идее» книги прямого отношения не имеет; «тема», сама по себе, язык сам по себе; а уж ритм, интонация — это «полу- барские затеи», формализм, эстетство. Его излюбленное занятие под видом борьбы за высокую идейность разыскивать в тексте «чуждые ноты».

Один паренек пришел в гости к другому. Собственно он не в гости пришел — учитель просил его помочь товарищу: тот запустил английский. Раньше эти двое не дружили, и гость впервые видит своего товарища дома. И узнает, что тот вместе с отцом сильно увлечен голубями. Мальчишки

сдаются делать уроки и тут же пускаются в рассуждения: Пришедший говорит: «Занятия голубями это у отца твоего, значит, нечто вроде «припека». И поясняет: «Припек — это что-нибудь, что не относится к тому, что человек считает своим главным делом».

Редактор обводит красным карандашом не понравившееся ему слово «припек». Он прав: «припек» в данном случае не очень-то удачное определение, да и вся фраза неуклюжа: «что-нибудь, что не относится к тому, что...» При ближайшем рассмотрении оказывается, однако, что редактор встревожен вовсе не неуклюжестью фразы. Советский человек на его взгляд не должен, не может предаваться у себя дома, хотя бы и совместно с родным сыном, никаким любимым занятиям. Сын-то ведь — не коллектив? На полях рукописи редактор произносит писателю выговор.

«Подумайте об этом «припеке». Нечто подобное существует у американцев. У них каждый имеет свое любимое, лично его интересующее дело. Им он занимается в часы досуга. Это неплохо, но это свойство *обывателя*, у которого свой мирок, отделенный от коллектива».

Выговор кончается укором: «На это толкаете вы нас?»

Во время дальнейшего разговора мальчик, увлекающийся голубями, вспоминает одну свою беседу с воспитателем об этом пришедшем к нему сейчас однокласснике. Товарищ казался ребятам излишне и притом комически сдержанным. Однако воспитатель заступился за строгого и смешного подростка, угадав, что это человек больших, хотя и скрытых чувств.

«Видите ли...— пытался объяснить учитель,— сдержанность не достоинство лишь в том случае, когда нечего сдерживать. Но море, задержанное плотной, следует все же поставить в заслугу народу Голландии».

Редактор рисует на полях большой вопросительный знак, подчеркивает слова «в заслугу народу Голландии» и в конце выносит резолюцию: «Философия этой главы сомнительная. Сам факт прихода для разговора об английском интересен. Но в разговоре появились не наши ноты».

Всюду мерещатся редактору эти «не наши ноты». Вот двенадцатилетний парнишка впервые осматривает музей этнографии. Он видит статую неандертальца. Старая профессорша увлекательно рассказывает ему о людях каменного века, о первых орудиях труда, об огне. В залах музея темнеет, беседа продолжается в полутьме. Залы представляются мальчику чудесными, полными очарования. Здесь ему гораздо интереснее, чем дома, чем в гостях даже у самого любимого приятеля. «Ему захотелось долго, долго сидеть здесь на скамейке...— неосмотрительно пишет автор —...и слушать, как тихонько позвякивают на потолке подвески люстры, отвечая на дальний перезвон трамваев».

Редактор встревожен. Нет ли тут чего-нибудь чуждого? «К чему это противопоставление — музей и родной дом?» — пишет он на полях.

Научный сотрудник, войдя, внезапно зажигает в зале свет.

«Тьма за окном сразу сгустилась,— пишет автор,— поглотив все: улицу, Неву, последние проблески дня. Очарование исчезло».

«Чуждая нота» найдена! Редактор подчеркивает последние два слова и пишет на полях: «Эти слова «Очарование исчезло» приобретают какой-то особый смысл. На всем описании посещения музея лежит оттенок благоговения *перед прошлым за счет настоящего*. Эту «философию» надо

изменить. Отнюдь незачем прививать любовь к прошлому путем отрицания настоящего».

В самом деле, если мальчику в музее интереснее, чем дома, не есть ли это отрицание настоящего? На что нас толкает автор? Прочитав эту главу, не пожелает ли читатель превратиться в неандертальца или, чего доброго, восстановить на территории нашей страны каменный век?

Герцен изобрел когда-то термин «вдумать в дело» заговор. Редактор-чиновник не умеет прочесть то, что действительно живет в тексте и под текстом книги, но умеет «вчитаться» в нее то, чего в ней и в помине нет: мистику, излишнюю грусть, призывы к уходу от жизни...

Дружат двое школьников. С одним случилась беда: его заперли на ночь в музее, и он не явился домой ночевать. Родители и друзья в тревоге. Верный товарищ ищет его по всему городу. В сумерки они вместе бродили по набережной — вспомнив об этом, мальчик туда и отправился.

«Вдохновение отчаяния,— пишет автор,— правильно указало Яковлеву набережную Невы».

«Чистойшей мистика!» — восклицает на полях редактор...— А не проповедует ли к тому же писатель, кроме мистики, упадочнические настроения, печаль?»

«До чего же славно становится на душе,— пишет автор,— когда увидишь неожиданно посреди зала высокое дерево, удивленно стоящее в четырех стенах. Зеленые руки елки опущены, она еще не опомнилась, еще не поняла, что уже больше не в лесу, что ее похитили, унесли из ее огромного дома без крыши, из лесного таинственного и молчаливого одиночества. Ее колючие ветки чуть вздрагивают, и, задыхаясь в непривычном тепле, елка дышит изо всех сил, и вся зала полна запахом хвои — острым и нежным запахом ветров, земли, снега, всего, что принесла она с собой из леса в каждой чешуйке своей коры, в каждой иголке своих ветвей...»

Поймана «чуждая нота!» Редактор подчеркивает слово «похитили», «унесли», «задыхаясь». Не кладет ли тень на нашу светлую жизнь намек на то, что елка похищена? «Даже в описание елки внесен минор», — пишет он на полях.

Маленький мальчик лежит в больнице. У него воспаление среднего уха, ему больно, он хнычет, придирается к соседке... «Он залился злым и коротким смешком», — пишет автор. Но редактор против того, чтобы в книгах кто-нибудь огорчался и залился. «Почему злым?» — спрашивает он на полях. В самом деле, почему? Советский ребенок, даже испытывая сильную боль, сохраняет спокойствие и оптимизм, даже если ему семь лет. Подчеркиванием этого смешка не толкает ли нас автор к озлобленности?

Пионервожатая совершила педагогическую ошибку. С ней сурово побеседовал директор. Она осознала свою вину, она горюет, ей не спится. Она бродит ночью по городу, глядит на пушистый снег в саду. Ей хочется быть садовым сторожем, мести дорожки, ходить в тишине по этому пушистому снегу.

«Логика: «хорошо бы уйти из жизни» — так, что ли?» — негодует пронизательный редактор.

Скоро его негодование достигает апогея. Мальчику, увлеченному этнографией, старуха профессорша рассказывает историю одного ленинградского юноши, который совершил в этнографии замечательное открытие. Он работал самоотверженно, вдохновенно, с большим упорством. Окружающие находили его гениальным. Во время войны он погиб.

История произвела на школьника большое впечатление. Он по-детски завидовал юноше. Ему тоже захотелось совершать открытия. В своих наивных мечтах он в одно и то же время и трогателен и смешон. Ему мерещится подвиг и слава:

«Эх, как бы сейчас умереть! — думает он. — Как бы эдак погибнуть, пожертвовать... Чтобы и про него она сказала когда-нибудь: «Молодой этнограф, наш замечательный соотечественник... печать гениальности».

Такого глубокого пессимизма редактор уже не может перенести. Интонация, с которой изложены мысли мальчика, словцо «эдак» ничего не объясняют ему. Он глубоко убежден, что читатель все понимает буквально, что чувство юмора также чуждо читателю, как и ему самому. (Ведь редактор-чиновник не уважает не только писателя, но и читателя. Он берет в кавычки такие выражения, как «шальная пуля» или «этому образу не хватает самой малости — жизни», опасаясь, что читатель сочтет пулю в самом деле шальной, а жизнь в самом деле малостью...)

Что ему удалось «вчитаться» в наивную и смешную мечту подростка о подвиге, о гибели за науку, о бурных хвалах? Не призыв ли к самоубийству?

В объяснения на этот раз редактор пускаться не стал.

«Вон!» — односложно написал он на полях.

6

Однако не довольно ли примеров? Они, конечно, очень смешны, но от них почему-то падает сердце.

Иные редакторы, повидимому, забывают, что хотя рукопись всего только кусок бумаги, покрытый буквами, но она же и кусок душевной биографии писателя. Резолюции на полях — только ли на полях они пишутся?

«Всякое нарушение творческой жизни театра — преступление», — утверждал Станиславский. А нарушать творческую жизнь писателя разве не значит совершать преступление? Малое или большое.

Редакторское слово, произнесенное не вовремя, с недостаточной меткостью, плод поверхностной, механической или подозрительной мысли, нередко приводит — если воспользоваться термином того же Станиславского — к тяжелому писательскому «вывиху».

И дело тут, конечно, не в отдельных неудачных подчеркиваниях, пометках и вставках. Система редакционной работы настойчиво требует больших перемен. Прежде всего она требует обсуждения. Все книги, выходящие в наших издательствах, в той или иной степени подвергаются редактированию. Но кто же и где подвергает обсуждению самое редактирование? Дискуссия «Поэт и редактор» представляет редчайшее исключение. Как правило, работа редактора, приемы его работы не обсуждаются нигде.

Ходят писатели друг к другу, показывают пометки на полях... Пора о редакторской работе, играющей такую большую роль в нашей литературной жизни, заговорить во весь голос... Еще Горький писал: «Критиков-то можно критиковать, потому что они печатают свои статьи, а вот редакцию? А вот с редакцией хуже. Сидят они там и что-то делают. Это делают негласно,— наговорят они чего-то такое человеку, он уходит, и у него голова на плечах не сидит, ошеломленно качается».

В этой статье я и не пытаюсь очертить весь круг вопросов, связанных с работой редакции. Я хочу лишь нарушить привычную «негласность».

Прежде всего пора серьезно подумать о подготовке и переподготовке редакторов. Кто такой редактор? Ясно, что редактором может стать только тот, у кого есть призвание к литературно-педагогической деятельности. Но, как и во всяком искусстве, тут одного призвания мало. Прежде чем стать мастером своего дела, редактор должен пройти строгую школу — и не только общую, а и весьма специфическую, — как всякий деятель искусства: скрипач ли, актер... Литература не сможет подняться на новую, высшую ступень, если уровень редакторского искусства останется прежним. Из начинающих и рядовых литераторов должны расти мастера, а для этого наши редакции должны стать очагами литературной культуры. Сам писать книгу за автора или поручить ее «дорабатывать» (а то и дописывать!) литературному дельцу редактор не должен. От неталантливых рукописей надо непреклонно отказываться сразу, не тратя труда, времени, денег на то, чтобы их «доводить». Довести их до таланта (это понятие Лев Толстой предлагал заменить понятием «самобытность»), довести их до самобытности все равно не удастся. Против бездарных или вульгарных книг редактор должен стать надежным барьером. Над талантливыми же, то есть самобытными, хотя бы и неумелыми, рукописями редактор должен научиться работать. Для этого, в частности, он должен научиться уважать попытки писателя, в том числе и молодого и неизвестного, говорить собственным голосом и, когда литератор отстаивает то, что ему в рукописи дорого, не упрекать его немедленно в зазнайстве и неблагодарности, а постараться проникнуть в его душевный строй, ясно представить себе владеющий его воображением замысел — и помочь ему этот замысел осуществить. Редакторское искусство — одно из самых сложных. Оно требует знания жизни, широкой литературной образованности, знания родного языка.

Но знания — это еще далеко не все. Конечно, редактор должен в совершенстве, не хуже профессионального корректора знать, например, синтаксис и грамматику и опираться на это точное знание в своей работе. Но, кроме того, он должен овладеть таким инструментарием, как вкус, чутье к языку, слух — к ритмическому движению, к интонации, к стилю. Искусство — не арифметика, оно требует интуиции. Без сильно развитого чутья редактор заблудится при первых же своих шагах. Стремясь соблюдать правила, он начнет педантически оберегать и тем мертвить язык; стремясь поощрять словотворчество, станет всякий выверт принимать за самобытность... Только обладая, кроме знаний, развитым слухом и вкусом, редактор может стать тем, кем ему быть надлежит: взыскательным помощником сложившегося мастера и надежным вожакom молодого, деятелем литературы, умеющим постигать идейно-художественный замысел вещи и с

высоты этого постижения судить о каждом эпизоде, характере, слове. Сводить редакторскую работу к намеренному высккиванию «чуждых нот» или к усердному подчеркиванию народных выражений и не совсем привычных слов — значит превращать ее в занятие пустое и вредное.

...А теснота и постоянный шум в редакции разве не вредит непоправимо общему труду редактора и писателя? (Что, если бы в зрительном зале во время репетиций стоял шум?) А непосильная нагрузка редактора? А возникший в последние годы в областных издательствах обычай лишать автора гранок — не подлежит ли он обсуждению и критике? На пользу он или во вред литературе? А присвоенное иными корректорами право, не обращая ни к автору, ни к редактору, самочинно, по собственному усмотрению, «править стиль»?!

Однако никакие частные и общие недостатки в организации редакционного дела не наносят, на мой взгляд, такого ущерба творческой жизни писателя и качеству его труда, как многократность возвращений к книге, когда она еще в работе, и, если можно так выразиться, многорукость прикосновений... Все мы знаем, что Диккенс плакал в тот день, когда написал главу о смерти Поля Домби. Им владело сильнейшее душевное волнение. Без внутренней взволнованности, хотя бы и сдержанной, не может создаваться произведение искусства: нельзя исправлять свою повесть равнодушной рукой — испортишь, а не исправишь. Каждая, даже небольшая и, казалось бы, чисто внешняя поправка требует, чтобы автор вернулся к своему изначальному, горячему импульсу. Именно этот импульс рождает слово и сочетание слов. Но редакции устроены так, что подчас не раздувают, а гасят писательский жар; не сознавая того, самым количеством возвращений и прикосновений они учат писателя вносить поправки холодно, рассудочно, уже не мобилизуя воображение и чувство. К чему столько рецензий и столько инстанций? Ведь в редакциях, ведающих художественной прозой, работают специалисты по художественной прозе — зачем же столько раз рецензировать повесть, рассказ или роман, написанный не на техническом или научном, а на самом обыкновенном жизненном материале? Не потому ли, что редакция не дерзает иметь собственное мнение по поводу представленной вещи? И вот начинается «прохождение рукописи» (а значит, и многократное дерганье писательского душевного аппарата): рецензии — три, четыре, пять рецензий; коллективные обсуждения на разных стадиях работы; множественность инстанций внутри редакции: редактор, заведующий отделом, главный редактор, контрольное чтение, проверка... Казалось бы, все это должно обеспечивать высокое качество продукции. Над рукописью добросовестно и разнообразно работают. Чем больше поработать, тем, казалось бы, лучше. А в действительности это вовсе не так. «Больше» и «меньше» тут понятия бессмысленные. Во-первых, существуют рукописи, поступающие в редакции в готовом виде: их следует как можно скорее довести до читателя — и только. Правда, такие случаи — редкость. Большинство рукописей в самом деле требует редакционного вмешательства. Как же оно должно совершаться? Направление работы должно быть строго единым и определено возможно раньше. Только тогда редактирование даст результат. Но подчас случается, что никакой направленности в работе редакции нет, потому что и редакции как коллектива нет. Работа сводится к

безудержной разногласии в общих суждениях и к стандартной, игнорирующей авторский замысел, чисто внешней «литературной правке». Редакция редко бывает у нас коллективом с едиными устремлениями, едиными приемами труда, единым — относительно данной рукописи — художественным замыслом. (Разве что повторы или разговорную речь редакторы преследуют с трогательным единодушием... в остальном единодушия нет.) Редактор, сидящий за этим столом, полагает, что необходимо придать обаяние женским образам, а вон тот — весьма одобряет женские образы, но хотел бы укрепить композицию. Нет, редакция у нас далеко не то, чем она должна быть: коллектив единомышленников в искусстве, руководимых мастером. Редактор, сидящий вон в той комнате, убежден, что главное — дать читателю быстро развивающуюся фабулу, остальное приложится, а вот в этой — косо смотрит на местоимения. Разве сообщать автору все эти произвольные домыслы — значит заниматься редактированием? Да еще в разное время, на разных стадиях работы — не за один раз, не залпом, а бывает в середине или даже в конце ее. Худо, конечно, когда автор не прислушивается ни к кому, но его постигает горшая беда, когда он соглашается выполнить все: уменьшить количество местоимений, придать обаяние женским образам, заострить фабулу и убрать слово «дурак». Творческая взволнованность давно покинула его (она убита многократностью и разнохарактерностью требований), автор научился вносить поправки ремесленным способом: вполне рассудочно... Редакторы словно забыли, что рукопись не стальная деталь, идущая от станка к станку и подвергающаяся разнообразной механической обработке. Она — живой организм, она скорее похожа на живое растущее дерево.

Воздействовать на рукопись можно единолично, можно коллективно; однако в процессе работы нельзя воздействовать на нее без единого художественного плана, вразнобой. Нельзя даже в том случае, если все лица, пытающиеся влиять на нее, вполне квалифицированы. Разве не ясно, что актер, который на первых трех репетициях слушался бы указаний, скажем, такого режиссера, как Охлопков, на следующих трех перестраивал бы роль по указаниям Акимова, на следующих — Попова, а на генеральной — Завадского, был бы лишен возможности создать какой бы то ни было рисунок роли?.. Она оказалась бы никакая... «Как сыграна эта роль?» — спрашивали бы друг у друга зрители.— «Никак!»

Накладывая одно на другое противоречивые суждения рецензентов и редакторов, издательства пытаются из механической смеси плюсов и минусов извлечь истину: узнать, каково же действительное значение предлагаемой книги, в чем ее прелесть, в чем ее недостатки? Многократно пересылая рукопись с одного стола на другой, посылая ее на многочисленные рецензии и требуя, чтобы автор к ним прислушивался, издательства полагают, что ведут борьбу с возможной субъективностью оценки, с недосмотрами, ошибками, что они добиваются создания книги, имеющей объективную ценность... Но подсчет отрицательных и положительных отзывов, сложение и вычитание достоинств и недостатков, обнаруженных с совершенно разных позиций,— вся эта, месяцами, а то и годами ведущаяся вокруг рукописи игра «в мнения»,— прояснить ее живые черты все равно не может, подсказать автору путь — тоже; зато она самым пагубным образом

воздействует на созидательную волю художника, лишая ее целеустремленности, а вместе с тем и силы.

Результат многоруких прикосновений нередко бывает плачевный: книга, не превращаясь в безошибочную, теряет свой характер, превращается в «никакую»... Она утрачивает непосредственную драгоценную связь с тем, что порождало и порождает все книги — и все стили! — на свете: с теми впечатлениями жизни, с тем накалом души писателя, с той радостью, болью, горем, счастьем, которые заставили его взяться за перо.

Пришвин писал у себя в дневнике: «Долгое время жизни моей попадали в меня пульки и дробинки откуда-то в душу мою и от них оставались ранки. И уже, когда жизнь пошла на убыль, ранки эти бесчисленные стали заживать».

Где была ранка — вырастает мысль».

Конечно, это всего только причудливое и ни для кого не обязательное сравнение. Но воспользуемся им, чтоб сказать: с этой ранкой надо обращаться умело, хирургия — когда она нужна — требует единодержавия, а не то от слишком частых и неточных прикосновений покроется ранка мозолью, зарастет диким мясом и вряд ли пробьется сквозь чужеродный нарост живая и страстная поэтическая мысль.

А. Крон



ЗАМЕТКИ ПИСАТЕЛЯ

Исторической заслугой XX съезда КПСС было разоблачение культа личности, принесшего огромный вред во всех областях материальной и духовной жизни нашего общества. Чрезвычайно существенно, что партия осудила не только культ личности И. В. Сталина, она осудила культ личности вообще. Марксизму-ленинизму — научному мировоззрению пролетариата — органически враждебен всякий культ. Там, где есть культ, научная мысль вынуждена отступать перед слепой верой, творчество перед догмой, общественное мнение перед произволом. Культ порождает иерархию служителей культа, — божеству нужны святители и угодники. Культ несовместим с критикой, самая здоровая критика легко превращается в ересь и кощунство. Культ антинароден по самому своему существу — он принижает народ и заставляет рассматривать как дар свыше то, что полностью оплачено трудом и кровью народа. Даже культовое обожествление Народа с большой буквы имеет свою оборотную сторону — оно принижает отдельного человека. Вождь был слугой Народа, но когда миллионы хозяев вставали при одном упоминании имени слуги, в этом было что-то очень чуждое тем демократическим традициям, в которых мы воспитаны революцией и советским общественным строем.

Принято говорить, что культ личности принес нашему обществу неисчислимый вред. Неисчислимый, неизмеримый, безграничный, невиданный, беспредельный — употребляемые в большом количестве эти слова имеют неприятный привкус иррациональности и не случайно были в большой моде несколько лет назад. Ведь если богатства наши неисчислимы, силы неисчерпаемы, доверие беспредельно, авторитет безграничен, нет нужды беречь и взвешивать, изучать и прислушиваться, легко потерять представление о реальной действительности, утратить меру и предаться самой необузданной гигантомании. Нет, как бы ни был велик вред, принесенный культом личности, он исчислим и должен был исчислен. Одновременно мы должны трезво оценить свои силы и возможности, и мы увидим, что их более чем достаточно для того, чтоб последовательно и решительно преодолеть по-

следствия культа на всех участках нашего хозяйственного, политического и культурного строительства. Для этого нет необходимости ежеминутно называть многочисленное неисчислимым, могучее непобедимым, умное мудрым, а большое великим.

Культ личности — прежде всего идеологическое извращение. Литература и искусство не могли избежать его разрушительного воздействия. Художественное творчество неотделимо от общественной инициативы, от новаторских поисков. А новатор — в какую бы эпоху он ни жил — всегда в чем-то опережает восприятие своих современников и не всегда бывает сразу понят. Там, где вкус одного человека становится непререкаемым, неизбежны нивелировка и грубое вмешательство в творческий процесс, вредная опека, травмирующая талант, но вполне устраивающая ремесленников. В этих условиях быть непонятым значило быть осужденным. Там, где истиной бесконтрольно владеет один человек, художникам отводится скромная роль иллюстраторов и одописцев. Нельзя смотреть вперед, склонив голову.

О скромности. За последние годы были случаи, когда некоторые деятели литературы и искусства вели себя в быту недостаточно скромно. Конечно, это отвратительно. Бытовой нескромностью чаще всего страдают люди, играющие очень скромную роль в своем искусстве, именно там, где скромность отнюдь не является добродетелью. Вспомним, что писал о скромности Маркс:

«Истина так же мало скромна, как свет; да и по отношению к кому она должна быть скромна? По отношению к самой себе? *Verum index sui et falsi*¹. Стало быть, *по отношению ко лжи*?

Если скромность составляет характерную особенность исследования, то это скорее признак боязни истины, чем боязни лжи. Скромность — это средство, сковывающее каждый мой шаг вперед. *Она есть предписанный свыше исследованию страх перед выводами*, она — предохранительное средство против истины.

Далее: истина всеобща, она не принадлежит мне одному, она принадлежит всем, она владеет мною, а не я ею. Мое достоинство — это *форма*, составляющая мою духовную индивидуальность. «Стиль — это человек».

Административный стиль руководства искусством не способствовал развитию индивидуального стиля художника. Упор делался не на стиль, а на метод. Впрочем, в архитектуре и в изобразительном искусстве после войны выработался своеобразный стиль — грубо-нарядный, официально-помпезный.

Теперь уже ни для кого не секрет, что наше театральное искусство переживает серьезный застой. Люди понимающие поговаривали об этом и раньше, но в период, когда было принято рассматривать наше движение на любом участке только как сплошной победный марш без остановок и отступлений, их быстро призвали к порядку. В частности, критика наших академических театров была объявлена делом антипатриотическим. Теперь и неспециалистам ясно, что это не принесло театрам пользы. Из неприкосновенных легко превратиться в неприкасаемых. Пустующий зал там, где некогда разыгрывалось в лотерею право купить в кассе дешевый билет, — явление угрожающее. Объяснить его нашествием телевизоров невоз-

¹ Истина — пробный камень себя самой и лжи (лат.).

можно. И, может быть, самый тревожный симптом — отсутствие спроса именно на дешевые билеты. Этот факт очень удобно объяснять возросшим благосостоянием зрителей, но, вероятно, дело все-таки в другом. Нельзя рассматривать зрителей, как некую аморфную массу. Через определенные промежутки кристаллизуется новое поколение театралов. Октябрь раскрыл народу двери театра, с каждым годом театр все шире и прочней входил в культурный обиход рабочего. Есть серьезные основания предполагать, что сегодняшние затруднения вызваны не капризом заскучавших зрителей, а тем, что заметно сузился круг постоянных посетителей. На смену постаревшим или отвернувшимся от театра любителям не пришла в достаточном количестве пылкая молодежь, рассматривающая театр прежде всего как школу жизни. Как это ни печально, но сегодня позиции наших театров гораздо крепче среди той части публики, которая идет в театр отдохнуть и развлечься, сидя в удобном кресле, чем среди тех, кто готов простоять весь спектакль на галерке, чтоб ощутить биение живой мысли и радостное потрясение от игры актера. Получается странная на первый взгляд картина. Последние годы мы в своей среде столько говорили об идейности, боролись за идейность, награждали за идейность, прорабатывали за безыдейность, а пришли к снижению идейного влияния театра.

Три основные причины, тесно связанные между собой и являющиеся прямым следствием культа личности, породили этот застой: игнорирование объективно существующих законов художественного творчества, гипертрофия редактуры, создание бюрократической иерархии в искусстве.

Глубочайшая неправда, что так называемая теория бесконфликтности рождена в среде творческих работников. С таким же успехом можно утверждать, что мысль о запрещении учения Дарвина родилась в среде биологов. Нет драматурга, который не понимал бы, что конфликт — основа драматического произведения. Содержанием драмы является жизнь человеческого общества со всеми присущими ему противоречиями. Драматический конфликт есть отражение этих объективно существующих противоречий. Сознательно или бессознательно драматург следует законам диалектики. Столь же несостоятельной оказалась пресловутая теория «борьбы хорошего с еще лучшим», также служившая теоретической подпоркой для фальсификации и лакировки действительности. Кому и для какой цели были нужны эти теории, становится ясно, если вспомнить, что они возникли в годы, когда бывало, что даже такая точная наука, как статистика, использовалась аллилуйщиками для создания иллюзий. Что же говорить о театре.

Далеко не все чиновничьи заблуждения получили стройное теоретическое оформление. От этого они не менее живучи. Прочно въелось убеждение, что тема художественного произведения не является авторским изобретением, и поэтому «тематика» так же поддается планированию сверху, как промышленный ассортимент. Что сюжет пьесы это нечто вроде евангельской притчи, заключающей нравоучение в себе самой. Что у зрителя более всего развита потребность в подражании, он только и ждет случая скопировать в жизни увиденную на сцене схему. Что всякая попытка отрицательного персонажа как-то аргументировать свое мерзкое поведение есть предоставление автором трибуны врагу. Что всякое произведение, в котором порок остается ненаказанным, есть произведение пессимистическое. Что так назы-

ваемый «второй план» и подтекст, в значительной степени определяющие идейный и эмоциональный итог пьесы и спектакля, суть лукавые измышления, плохо поддающиеся учету и контролю, а посему героям надлежит формулировать свои мысли недвусмысленно и внятно. И наконец — совершенно извращенные представления о законах художественной типизации.

Одно из самых ядовитых заблуждений, еще недавно имевшее хождение наравне с «теорией бесконфликтности», формулировалось примерно так: «Произведения искусства бывают плохие, посредственные и хорошие. Наш советский читатель (зритель) неустанно трудится, у него нет времени читать (смотреть) все, что выходит в свет. В нашей власти отсечь все слабое и посредственное и дать советским людям ограниченное количество образцовых произведений». Эта доктрина, получившая наибольшее распространение в кино, привела к тому, что двухсотмиллионная страна, создавшая свое великолепное, самобытное киноискусство, одно время производила меньше фильмов, чем Польша или Бельгия. Сократилось количество театров и литературных журналов. А количество выдающихся произведений не увеличилось даже в процентном выражении. Они продолжали одиноко возвышаться на фоне посредственных и слабых. Больше того, стремление во что бы то ни стало создать произведение-эталон, художественный документ, дающий исчерпывающее и единственно правильное освещение определенной темы, приводило даже крупных художников к схематизму.

О редактуре. Вряд ли кому-нибудь придет в голову отрицать необходимость квалифицированной редакции и заслуги наших лучших редакторов. Но за последнее время развелось такое количество людей и организаций, претендующих на редакторские функции, их права и полномочия приобрели такой преувеличенный характер, что это уже стало бедствием. Теперь никого не удивляет, что в журнальных отзывах рядом с фамилией автора книги ставится фамилия редактора. Выглядит это так, как будто у книги есть командир и комиссар. Если рецензенту не нравится стиль автора, он зачастую адресует свои упреки редактору, не смущаясь тем, что автор не юнец, а зрелый, сложившийся писатель. На театре дело обстоит еще хуже. Во всех договорах, заключаемых между театром и драматургом, имеется пункт о том, что автор обязуется по требованию театра вносить любые изменения и исправления, отказ грозит ему материальными санкциями. Недавно режиссер Э. Краснянский выступил в журнале «Театр» с требованием указывать на титульном листе всякой пьесы, какой театр является ее редактором. А несколько лет назад критик А. Макаров выступил с теоретическим обоснованием укоренившейся практики, ссылаясь на то, что «жизненный опыт коллектива всегда шире, богаче, полнее индивидуального опыта».

Беспорно, люди театра могут быть очень полезны драматургу. И в первую очередь своим сценическим опытом. Что же касается жизненного опыта, то можно еще поспорить, является ли жизненный опыт писателя только индивидуальным опытом и закономерно ли ставить знак равенства между жизненным опытом театральной труппы и опытом народа, его коллективной мудростью. Я глубоко убежден, что рассматривать пьесу как полуфабрикат — ошибка в равной степени губительная и для драматурга и для театра. Вмешательство театра приносит вред не только в тех случаях,

когда автор протестует, но нередко и в тех случаях, когда автор благодарит. Как правило, произведения талантливые, оригинальные становятся от такого вмешательства хуже, произведения бездарные, беспомощные — лучше. Так приобретают право на жизнь суррогаты.

Вторгаясь в несвойственную им область, режиссеры и актеры нередко становятся менее требовательны к себе — начинают обходить трудности и уклоняться от решения сложных задач, подтасовывать текст для оправдания привычных и удобных решений. Все, что не сразу удается, начинает казаться неосуществимым, все спорное — ошибочным и требующим исправления. Так исчезает вера в пьесу, уважение к замыслу, возрождается нигилистическое отношение к тексту. Не встречая отпора у современников, оно распространяется и на классику.

Помимо театров, существует немалое количество инстанций, обладающих если не правом, то возможностью непосредственно или через театр диктовать свою волю автору. В результате пьесу редактируют все, кому не лень, любая очередная кампания, к примеру борьба с пьянством, может послужить поводом, чтоб потребовать переделки уже идущей на сцене пьесы. Даже стеклография, размножающая пьесы на правах рукописи, имеет своих редакторов. Даже издательские корректоры самовольно вычеркивают из пьес излишние, по их мнению, тире и заменяют их запятыми — частое употребление знака тире разрешается только Горькому. Бесполезно доказывать, что Горький произвел реформу в пунктуации, и в прямой речи тире отныне выполняет более широкие функции. Существует инструкция...

Невольно помянешь чорта и опять-таки наталкиваешься на инструкцию — черта писать только через «е». Может быть, оно и правильно, но вкуч уже не тот.

Нечто подобное испытывает и режиссура. Те, кому приходилось присутствовать при сдаче готовых спектаклей, знают, в каком безапелляционном тоне привыкли давать свои указания многочисленные инструкторы и инспекторы. (Кстати, в переводе на русский язык это обозначает: наставники и надзиратели.) Сейчас эта процедура обставляется несколько либеральнее, но сущность мало изменилась. Что же касается театральной критики, то газетные нравы почти не поколеблены. Попрежнему существует порядок, при котором хуже пишущие и меньше знающие имеют полную возможность править тех, кто лучше пишет и больше знает. Выбрасывать и вписывать целые абзацы считается в порядке вещей. Отсюда и отношение к газетной рецензии. Неважно, кто пишет, важно, где напечатано.

Искусство знает только одну законную иерархию — это иерархия таланта. Ее устанавливают время и народ, когда это делается поспешно и келейно, все сводится к обычной табели о рангах, несправедливой в глазах современников и смешной в глазах потомков. Сейчас уже не нужно быть смельчаком, чтоб сказать вслух о том, как мало пользы и как много вреда принесли Сталинские премии. Они вносили в театр дух конъюнктуры и ажиотажа, порождали спекуляцию на теме и далеко не социалистические формы соревнования. Они дезориентировали и творческих работников и зрителей, канонизируя фальшивки, ставя их на одну доску с подлинными произведениями искусства, а иногда и выше. То же самое можно сказать о бесчисленных конкурсах и смотрах. Вообще изобилие чинов и регалий не увели-

чивает количества талантов. Дипломы подобны казначейским знакам,— когда за ними нет достаточного золотого обеспечения, они падают в цене.

Прочтите внимательно рядовую афишу современного МХАТ. После слов «в спектакле участвуют» с красной строки перечислены Народные артисты Союза, лауреаты Сталинской премии. Ниже или отступя — Народные артисты Союза, не лауреаты. Следующая строка — Народные артисты республики, лауреаты. Ниже — просто Народные. Затем следуют разделенные соответствующими интервалами заслуженные деятели искусств и заслуженные артисты союзных республик с премиями и без оных, заслуженные деятели и заслуженные артисты автономных республик и наконец в самом низу просто артисты Художественного театра, как таковые, в том числе исполнители главных ролей.

Невольно вспоминается Чехов. Не автор лирической «Чайки», распростершей свои крылья в верхнем углу афиши, а Чехов — сатирик, автор рассказа «Винт». Вспомните карточную колоду, изобретенную скучающими чиновниками...

Вряд ли К. С. Станиславский подписал бы афишу, где артист приравнен к двойке и коллежскому регистратору.

Учреждение почетных званий имело под собой разумные основания. Звание Народных артистов присуждалось немногим, обладавшим действительно всенародным признанием актерам — Неждановой, Шалапину, Южину, Станиславскому... Звание заслуженных артистов давалось тем, кто многолетним трудом заслужил особую признательность современников. Сейчас народ уже не в силах упомянуть всех носящих звание народного артиста, а о получении звания заслуженного артиста молодой способный актер начинает заботиться в первое же пятилетие после выпуска из школы. Почет здесь ни при чем. Это вопрос положения, зарплаты, концертной ставки. В конце концов все свелось к служебной категории, к номенклатуре.

Среди драматургов иерархия устанавливается несколько иначе. Для этого существуют обзорные статьи. Подписывают эти статьи обычно никому неведомые люди, но это и не важно, так как пишутся они от имени народа: «Народ знает и любит таких писателей, как...», «Не выполняют своего долга перед народом такие писатели, как...», «Народное признание получили такие пьесы, как...», «Народ отверг такие пьесы, как...» За этой магической формулой, полностью освобождающей от аргументации, следует перечень фамилий или названий. В перечне «за здравие» лучшие места впереди, в заупокойном — в конце. И опять вспоминается Чехов. На этот раз «Канитель».

Кто же ответственен за создавшееся положение? До сих пор речь шла об ошибках в руководстве театральным делом. Ошибки серьезные. Из этого не следует делать вывода, что искусство вообще не надо направлять. Вредно не руководство, а опека. Творческие работники театра и советские писатели воспитаны партией в духе ленинского учения о партийности литературы. Именно поэтому большинство из них проявило моральную стойкость на всех крутых поворотах истории, не оторвалось от жизни народа и радостно приветствовало решения XX съезда КПСС.

То, что переживаемые трудности являются издержками культа личности, не снимает с творческих работников личной ответственности за судьбы театра. Ведь даже во время землетрясений люди ведут себя

по-разному — одни мужественно, другие трусливо, одни благородно, другие подло, одни спешат на помощь пострадавшим, другие грабят опустевшие дома. Можно безошибочно утверждать, что в трудное время честные и талантливые люди вели себя лучше карьеристов, люди партийного склада лучше, чем равнодушные приспособленцы. Поэтому поражает своей бессмысленностью давний спор о том, какой именно цех наиболее повинен в создавшемся неблагополучии — драматурги или актеры, режиссура или критика. Эта цеховая распря совершенно бесплодна и способна породить только взаимное раздражение, в котором и так нет недостатка.

Наиболее распространена и стала почти официальной версия, будто главные виновники — драматурги, которые не знают жизни, вследствие чего наша драматургия перманентно отстает. Прежде чем принять или отвергнуть эту версию, необходимо уточнить, какое содержание вкладывается в термин «наша драматургия», от кого и от чего она отстает.

Написать хорошую пьесу так же трудно, как хороший роман. А. М. Горький считал, что даже труднее. Но написать плохую пьесу гораздо легче, чем самый плохой роман. Вероятно, поэтому во все времена писалось очень много плохих пьес. Старая Александринка, будучи отличным театром, ставила поразительно много дряни. Однако русской драматургией XIX века мы называем не эти забытые пьесы, а настоящую драматическую литературу, творчество писателей, оставивших живой след в духовной жизни своего поколения. Почему-то, говоря о драматургии современной, мы прежде всего вытаскиваем запыленные списки членов драмсекций, добавляем к нему список прозаиков и поэтов, когда-либо писавших для театра, растворяем в десятикратном объеме самотека, переполняющего портфели театров и шкафы репертуарных органов, получившуюся смесь сортируем по тематическому признаку, а затем, не утруждая себя конкретным анализом произведений, оперируя в основном статистическими данными, регистрируем очередное отставание. В обзорных статьях и итоговых докладах сообщается, что «такие писатели, как...» продолжают отмалчиваться, прочие же создают «косяки» пьес на однородные темы, не учитывая разнообразных запросов неизмеримо выросшего зрителя.

Пора уже понять, что статистикой в нашем деле не много возьмешь, что настоящие пьесы по самой своей природе не могут ходить «косяками» и что делать выводы о процессах, происходящих в искусстве на материале произведений, лежащих вне искусства, — занятие вполне бесполезное. Пора развеять миф о незнании драматургами жизни. Человек, не знающий жизни, вообще не драматург, не писатель. К тому же драматурги — люди очень разные, к ним нельзя подходить с одной меркой. И если бы товарищи, увлекающиеся статистикой, взяли на себя труд Плутарха и вместо общих рассуждений проследили пути хотя бы двух советских драматургов, к примеру Арбузова и Софронова, они поняли бы гораздо больше.

Если рассматривать драматургию, как часть большой советской литературы, то нет серьезных оснований загонять ее в карцер. Советские драматурги создали ряд пьес, выдержавших испытание временем. Мы не так уж бедны, если «Оптимистическая трагедия» могла ждать своего воплощения на ленинградской сцене двадцать лет.

Может быть, драматургия отстает от театра? Сомнительно. Театр не может развиваться в отрыве от драматургии. С режиссурой дело обстоит ничуть не лучше, чем с репертуаром. Почти нет новых имен. Многие мастера старшего поколения, вместо того чтобы растить у себя в театрах полноценную смену, предпочитали держать при себе «подручных», до седых волос выполнявших за своих мэтров всю черновую работу. Теперь это называется. Неблагополучно и с актерским мастерством. Конечно, таланты у нас не перевелись, есть хорошие актеры. Но не все, какие нужны, и не столько, сколько нужно. Даже в лучших наших труппах нет актеров на многие роли классического репертуара. Средний уровень довольно высок, но над ним поднимаются немногие. Труппы перегружены середняками, способными грамотно сыграть любую роль во втором составе. На премьерах еще удастся блеснуть, но редкий театр способен сейчас выставить в рядовом спектакле такое созвездие, какое можно было ежедневно наблюдать на сцене далеко не академического, в свое время многократно обруганного, а ныне полузабытого театра бывш. Корша. Стоит в театре низкой категории появиться интересному актеру, как его забирают крупные столичные театры, хотя каждый из них имеет свою школу, в прямом и переносном смысле. Над всем этим стоит задуматься.

Может быть, драматургия отстает от зрителя? С этим можно согласиться лишь с одной существенной оговоркой. Запросы и вкусы зрителя в немалой степени зависят от состояния театра и драматургии. Почитайте письма зрителей и стенограммы зрительских конференций, и вы увидите наряду с грамотными, дельными, искренними высказываниями, свидетельствующими о культуре и гражданской зрелости, очень грустные человеческие документы, говорящие о серьезных разрушениях, произведенных бесстыжными лакировочными пьесами и ханжескими писаниями начетчиков.

Дело не в отставании, которое мы привычно пытаемся преодолеть при помощи семинаров и творческих командировок, заседаний и прочих мероприятий. И не в том беда, что пьесы пишутся зачастую людьми неталантливыми и даже недобросовестными — так было, есть и будет, — а в том, что ослабли и стали распадаться творческие связи между театрами и писателями. Многие вообще перестали писать для сцены. Упреками и заклинаниями тут не поможешь — заставить писать так же невозможно, как и запретить. Театрам стало все равно, кого ставить, драматургам все равно, где ставить.

Среди причин, вызвавших распад творческих связей между писателями и театрами, серьезную роль играет крайнее бесправие драматурга. Оно происходит совсем не от засилья режиссуры, как кажется некоторым писателям. Эпоха «режиссерского театра» давно прошла. Театр сейчас не режиссерский и не авторский, а уж если надо его как-нибудь назвать, то скорее всего директорский. Неравенство в положении драматурга и директора заключается в том, что директор представляет собой государственное учреждение, пишет на бланках и обладает круглой печатью, в то время как писатель, если он не занимает какого-нибудь высокого общественного поста, рассматривается как лицо совершенно частное, ибо пишет на обыкновенной бумаге и круглой печати не имеет. Театр не несет по отношению к драматургу никаких обязательств, кроме материальных, творческие права драма-

турга никак не ограждены, он обязан по требованию театра вносить в пьесу любые изменения и не вправе даже забрать пьесу из театра в случае принципиальных несогласий. Пока не подписан постановочный договор и директор вместе с главным режиссером уговаривают автора не отдавать пьесы другому театру, писатель еще может иметь свою точку зрения. В этот период ему даются любые обещания, которые, как правило, никогда не выполняются. Будь на месте автора учреждение, никто не осмелился бы так поступать, будь директор или главный режиссер частными лицами, им было бы совестно. В данном же случае они не испытывают никакого неудобства — за ними стоит коллектив, план, бюджет, они привыкли считать свои интересы государственными, а интересы автора частными. Конечно, есть и исключения, но они немногочисленны.

Все это говорится не для того, чтоб огульно опорочить театры. Положение у них нелегкое. Писатель может не писать пьес, театр не может не ставить спектаклей. Писатель отчитывается за свою работу не каждый год, театр — в каждом квартале. Иногда кажется, что у театра две души — одна ищет родственную писательскую душу, мечтает сказать новое слово в искусстве и устремлена в завтра, другая живет сегодняшним днем, кассой и конъюнктурой, охотится за модными пьесами и с унылым высокомерием поносит драматургов. Все зависит от того, какая душа берет верх. Театры, находящиеся на подъеме, обычно не жалуются на репертуар, они его создают. Никто не мешал Центральному Детскому театру вступить в плодотворное для обеих сторон творческое содружество с В. Розовым. С другой стороны никто не заставлял рафинированнейшего Ю. Завадского броситься в гробоватые, но казавшиеся такими надежными объятия А. Сурова.

Вне творческого содружества драматурга и театра невозможен расцвет драматической литературы, а следовательно, и всего театрального искусства. В наших силах добиться не частных успехов (они есть и были даже в худшие времена), а подлинного расцвета. Не возврата к прошлому, хотя бы и блестящему, а нового подъема, пред которым должна будет отступать телевизионная армия. Из конкурента телевизор должен превратиться в пропагандиста.

Для того чтоб прийти к новому подъему, необходимо прежде всего честно и бесстрашно оценить понесенный ущерб и подсчитать свои потери. Без этого нельзя восстановить ни истины, ни справедливости. Существует точка зрения, что незачем ворошить прошлое. Было-де много плохого, теперь все идет к лучшему, а поэтому — кто старое помянет, тому глаз вон. Но что же делать — искусство не преферанс, где можно перечеркнуть старую запись и начать игру сызнова. Так же как военное искусство не может двигаться вперед, не переоценив в свете решений XX съезда многие факты из истории Отечественной войны, искусство театра не может нормально развиваться, пока не будет покончено с фальсификацией истории советского театра, с мифами и дутыми авторитетами, пока не будут реабилитированы несправедливо опороченные люди и произведения. В частности, надо открыто сказать, что никакой антипатриотической группы театральных критиков не существовало в природе. Порознь «участники группы» давно реабилитированы, коммунисты восстановлены в партии, но миф еще живет.

Восстанавливать истину надо не для сведения старых счетов,— ничего вреднее этого нельзя было бы выдумать,— а в интересах самой истины. Замазывание существующих противоречий иногда оправдывается лозунгом «консолидации всех творческих сил». Но это плохая консолидация. Болезни надо лечить, а не скрывать.

Необходимо решительно покончить с рецидивами политики кнута и пряника в искусстве. Для художника одинаково губительны и головокружительные вознесения и головомомные падения. Не надо спешить с оценками, не надо слишком часто подбивать итоги и ставить отметки. Нет нужды подменять широкую общественную критику оргвыводами, приказами, безапелляционными статьями, после которых все критические оценки в прессе менялись на 180 градусов. Вряд ли была необходимость бить тревогу и снимать пьесу Н. Погодина «Трое поехали на целину». Вероятно, в ней не было органических пороков, а только вполне исправимые авторские просчеты, иначе как объяснить успех И. Калатозова, поставившего фильм «Первый эшелон» на тот же сюжет с теми же основными героями? Бдительные товарищи, обнаружившие крен в сторону всякого рода сатирически обличительных пьес, напрасно устроили панику: возникший как естественная реакция на бесконфликтно-лакировочную продукцию, этот крен не представлял ни малейшей опасности. Никто не собирался охаивать советскую действительность. Через несколько месяцев равновесие восстановилось бы и без тревожных свистков.

Назрела необходимость существенной реформы всей организации театрального дела. Децентрализация, решительное сокращение инстанций, имеющих право так или иначе влиять на жизнь театра и его репертуар. Пересмотр системы оплаты труда театральных работников с таким расчетом, чтобы люди равной квалификации получали за свой труд равную оплату независимо от того, где они работают. Тогда ведомственные соображения не смогут брать верх над соображениями художественного порядка. А это бывает нередко. Три примера из жизни ленинградских театров:

Несколько лет назад режиссер Н. Акимов был отстранен от руководства Театром комедии и переведен на ту же должность в театр низшей категории. Предполагалось, что наказан Акимов, а на деле наказали ни в чем не повинных зрителей. Попрежнему, отправляясь в Театр комедии, они говорили: «Сегодня идем к Акимову». Затем перестали ходить. Выяснилось, что театр развалился и надо возвращать нераскаянного Акимова.

Пример обратного свойства. Выросший за последние годы в крупного режиссера Г. Товстоногов вывел руководимый им театр им. Ленинского Комсомола в ряд лучших театров страны. Вместо того чтоб организационно закрепить успех театра, был сделан вывод, что режиссер созрел для перехода из театра городского подчинения в республиканский. Сейчас Товстоногов — главный режиссер Большого драматического театра, очень далекого по своей манере от театра им. Ленинского Комсомола.

Третий пример. Свыше четверти века существовал Театр Краснознаменного Балтийского Флота, коллектив с героической биографией и немалыми заслугами. Он выстоял в труднейшие годы войны и блокады. Теперь он уничтожен росчерком пера — при очередной реорганизации для него не нашлось нужной рубрики.

Реформа должна сделать более гибкой окостеневшую структуру. То, что отжило, должно умереть естественной смертью, на смену ему придет новое. Ведомственная рутина мешает и тому и другому. Она консервирует трупы и мешает рождению новых театров. А молодые театры нужны, как воздух. И не только сами по себе, но и для того, чтоб встряхнулись их старшие собратья. Можно не сомневаться, что молодые театры будут обеспечены репертуаром.

Театр не может жить без критики, выражающей общественное мнение. Нужна широкая дискуссия, печатная и устная. Не такая дискуссия, где истина известна президиуму еще до начала. Каждый участник должен быть уверен, что его точка зрения получит объективное освещение в печати. Газетам необходимо восстановить забытый жанр — опровержение. Честь мундира не должна цениться выше чести человека и художника. Надо развивать печатную полемику, дать слово авторам и режиссерам для защиты своих позиций. Нам есть о чем поспорить.

Все это осуществимо. Поэтому нет оснований для пессимизма. Советский театр молод, он выйдет из всех испытаний сильным и обновленным.

Марк Александрович Щеглов умер тридцати лет. Его внезапная смерть глубокой болью отозвалась в кругах нашей литературной общественности. Один из талантливейших представителей нового поколения советской литературы, Щеглов был критиком с дарованием сильным и ярким. Большие надежды связывали мы с его именем.

Жизнь М. А. Щеглова была трудной, по-своему героической. Пораженный с детских лет тяжким недугом, он на многие годы оказался прикованным к постели, месяцами лежал в больницах. Нужна была необычайная сила духа, чтобы при этих условиях учиться и работать. Щеглов блестяще закончил заочное отделение Московского университета. Его оставили в аспирантуре. Дипломная работа Щеглова, посвященная особенностям сатиры Льва Толстого, была опубликована. Это было первое печатное выступление Щеглова. С тех пор прошло менее трех лет.

В творчестве Щеглова не было периода ученичества. Уже в первых статьях, появившихся в «Новом мире», он заявил о себе как человек, который точно знает, для чего взялся за перо. Все хорошо помнят его статью о «Русском лесе» Л. Леонова, рецензию на роман О. Чернова «Опера Снегина», работу «Есенин в наши дни» и «Спор о Блоке». Щеглов принес с собой на журнальные страницы запас молодой очистительной злости. Он ненавидел в литературе фарисейство, высокопарную мнимо-идейность, воинствующий примитив, полуправду. Осознанность художественных пристрастий, зрелость мысли, честное и страстное отношение к литературе — все это с самого начала заставило читателей остановить свое внимание на том, что писал Щеглов.

Под пером Щеглова все выглядело крупно. Он рассматривал каждое произведение в сложных и многообразных связях, в связях с жизнью, с общественной борьбой, с судьбой искусства. Его взгляд на литературу отличался цельностью. Он никогда не дробил анализ на идейный и художественный, никогда не выделял из критики, как нечто самодовлеющее, публицистику, мастером которой был. Все это и давало право угадывать в Марке Щеглове черты большого писателя-критика.

Боевой, весь в сегодняшнем дне, талант и темперамент критика соседствовал у Щеглова со способностями исследователя, историка литературы. Он специализировался по творчеству Льва Толстого, написал

предисловие к одному из томов академического издания сочинений писателя. В последнее время он работал над монографией о Тютчеве.

Человек широких замыслов, благородной и нежной души, Щеглов умер в самом начале творческого пути. Его нет, но статьи, созданные им, продолжают выходить: он сдал их в редакции незадолго до смерти. Несколько его замечательных статей остались неопубликованными. Многие недописано.

Собрать воедино и издать все созданное Марком Щегловым — не просто долг писательской общественности, а насущная потребность нашей литературной жизни. И только когда эта работа будет проделана и книга с именем Марка Щеглова на переплете займет свое место на полках, мы до конца поймем, какую потерю понесла наша литература.

*А. Твардовский, К. Федин, И. Эренбург,
Н. Погодин, Н. Гудзий, Э. Казакевич, Б. Полевой,
М. Алигер, К. Чуковский, К. Паустовский, В. Катаев,
В. Некрасов, Б. Пастернак, В. Дудинцев,
В. Тендряков, А. Бек, В. Ажаев, В. Каверин,
М. Исаковский, В. Ермилов, Б. Лавренев, А. Крон,
А. Дементьев, Е. Долматовский, В. Рудный,
И. Сельвинский, В. Смирнова, В. Сытин, Л. Зорин,
А. Анастасьев, Б. Слуцкий, А. Котов, А. Пузиков,
В. Огнев, В. Саппак, А. Турков, З. Паперный,
К. Озерова, Л. Лазарев, Д. Николаев, И. Питляр,
С. Ларин, Ю. Хаянтин, Б. Галанов, И. Игнатьева,
А. Лебедев, А. Лебедева, В. Соколов, А. Анфиногенов,
Г. Левин, С. Бабенышева, З. Никитина.*

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА, ПОЭЗИЯ, ДРАМАТУРГИЯ

А. ФАДЕЕВ

От редакции	7
Последний из удэге	9
Записные книжки	20

В. КАВЕРИН

Поиски и надежды (<i>Роман</i>)	42
---	----

ВЛ. СОКОЛОВ

Чайка. <i>Стихотворение</i>	292
---------------------------------------	-----

АЛЕКСЕЙ СУРКОВ

Три стихотворения

«Нет той березы...»	294
«Мир детства моего...»	295
«Проходят годы...»	295

ЮЛИЯ НЕЙМАН. *Стихи*

1941	296
Оставленная	296
Идущий человек	297

КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН. *Стихи*

Ночная дорога	298
«Стучит по крыше монотонно...»	298
«Вдали стена...»	298
«Гаснет окон позолота...»	299

Н. ПОГОДИН

Сонет Петрарки (<i>Драма в трех действиях</i>)	300
--	-----

ИВАН КАТАЕВ	
Под чистыми звездами (<i>Рассказ</i>)	352
С. МАРШАК. <i>Стихи</i>	
Бор	371
«Не знаю, когда прилетел соловей...»	372
Доброе имя	373
СЕМЕН КИРСАНОВ. <i>Стихи</i>	
Черновик	374
Людям будущего	375
К. МУРЗИДИ	
«За окнами липы цветут...» <i>Стихотворение</i>	378
ЮРИЙ НАГИБИН	
Хазарский орнамент (<i>Рассказ</i>)	380
Свет в окне (<i>Рассказ</i>)	396
НИК. ЖДАНОВ	
Поездка на родину (<i>Рассказ</i>)	404
Н. ЗАБОЛОЦКИЙ. <i>Стихи</i>	
Когда вдали угаснет свет дневной	415
Чертополох	415
Старая актриса	416
«При первом наступлении зимы...»	417
НИКОЛАЙ ЧУКОВСКИЙ	
Бродяга (<i>Рассказ</i>)	418
ЕВГ. ДОЛМАТОВСКИЙ	
Из стихов о Монголии	
Степной аэродром	436
Сражение с огнем в районе Халхин-Гол	437
МАРК СОБОЛЬ. <i>Стихи</i>	
«Разболелся старый шрам от пули...»	439
Зимняя ночь	440
ВЛАД. СЕМАКИН	
«Хлопотливые первые пчелы...» <i>Стихотворение</i>	442
АЛЕКСЕЙ МАРКОВ	
«Я не верю...» <i>Стихотворение</i>	443
ЕВГ. БОСНЯЦКИЙ и АЛЕКСЕЙ КОРОБИЦИН	
Жизнь в рассрочку (<i>Мексиканские сцены</i>)	444
НИКОЛАЙ ТИХОНОВ. <i>Стихи</i>	
Из старых тетрадей	
«Каскад зарей воспламенен...»	497
«Я не умею головы кружить...»	498

Кукла	498
Танец смерти	499
«Сквозь ночь, и дождь...»	499
Иронические стихи	
Пруд	499
Тренировка парашютистов на канате	500
Нечто фантастическое	500
Табакерка	500
Мавр	501
Одиссей и вы	501
Морская басня	501
АЛЕКСАНДР ЯШИН	
Рычаги (<i>Рассказ</i>)	502
СЕРГЕЙ БОНДАРИН	
Духовный диспут (<i>Рассказ</i>)	514
Я. АКИМ. Стихи	
Галич	523
«Разве умирают, как в романах...»	524
Слепой в метро	525
СЕРГЕЙ БОБРОВ. Стихи	
«В блестящих нитях искрометных...»	526
Сервантес	526
АНАТОЛИЙ КУДРЕЙКО	
Свет. <i>Стихотворение</i>	527
СЕРГЕЙ МИХАЛКОВ	
Три портрета. <i>Стихотворение</i>	528
БОРИС ЯМПОЛЬСКИЙ	
Рассказы о зверях и птицах	530
О Ч Е Р К И	
ЕФИМ ДОРОШ	
Деревенский дневник	549
С. СИНЕЛЬНИКОВ	
Потворство	627
И. ЗЫКОВ	
Шумят леса	654
С Т А Т Ь И, Д Н Е В Н И К И, З А М Е Т К И	
МАРК ШЕГЛОВ	
Реализм современной драмы	681
ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ	
Поэзия Марины Цветаевой	709

МАРИНА ЦВЕТАЕВА

Из неизданной книги «Юношеские стихи»
«Моим стихам, написанным так рано...» 715
«Белое солнце и низкие, низкие тучи...» 716
«У первой бабки — четыре сына...» 716

Из цикла «Поэты»
«Что же мне делать, слепцу и пасынку...» 717
Прокрасться... 717
Попытка ревности 718

Из цикла «Стол»
«Мой письменный верный стол!» 719

ЮРИЙ ОЛЕША

Из литературных дневников 721

ЛИДИЯ ЧУКОВСКАЯ

Рабочий разговор (*Заметки о редактировании художественной прозы*) 752

А. КРОН

Заметки писателя 780

М. А. ШЕГЛОВ 791

«Литературная Москва». Сборник второй

Редакторы *Л. Красноглядова* и *В. Борисова*. Художник *Д. Бисти*

Художеств. редактор *Ю. Боярский*. Техн. редактор *Ж. Примак*.

Корректор *В. Брагина*

Сдано в набор 1/Х 1956 г. Подписано в печать 26/ХІ 1956 г. А12574.
Бумага 60 × 92¹/₁₆. 49,75 печ. л. 51,82 уч.-изд. л. Тираж 75 000.
Зак. № 2270. Цена 15 р.

Гослитиздат, Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Министерство культуры СССР. Главное управление полиграфической промышленности. Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова, Москва, Ж-54, Валовая, 28.